

История - душа и жизнь!

ЕЛЕНА СЕМЕНОВА



РПЦ им. Владимирского благочиния III



**СЛАВА
РОССИИ**

Annotation

История не безликая хронология событий, история создается людьми, складывается из их деяний, одухотворяется их стремлениями, верой, гением. Представляемую книгу можно уподобить уникальной мозаичной панораме, охватывающей практически всю историю нашего Отечества, от времён княгини Ольги и до последних битв за Россию Русской Армии генерала Врангеля. Каждая деталь мозаики — судьба одного из наших выдающихся соотечественников — военачальников, благотворителей, деятелей искусства, государственных мужей. Переплетаясь друг с другом, эти судьбы образуют единое полотно Русской истории. Сорок увлекательных рассказов, вошедших в книгу, сочетают в себе историческую достоверность событий с художественным вымыслом и лёгкостью изложения. Благодаря этому, книга открывает удивительный мир русской истории, делая этот мир близким и интересным для самых неискущённых читателей. Книга рекомендуется для семейного чтения и непременно станет истинным другом как для детей, так и для родителей.

- [Елена Семёнова](#)
 -
 - [Киевское сидение](#)
 - [Залесская повесть](#)
 - [Боголюбивый князь](#)
 - [Необоримые](#)
 - [Всему своё время](#)
 - [Святой князь](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- 3
- 4
- 5
- Поединок
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Первый самодержец
- Милосердия двери
- Воеводы Земли Русской
- Приказчик милосердных дел
- Казачья быль
- Пасха русского духа
- Три жизни
- Служа прекрасным Дамам и России
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Бдителен и смел
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- «Рыцарь своего сюзерена»
 - 1
 - 2
- На путях к русскому веку.
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Цена победы
 - 1
 - 2

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [Четыре портрета](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
- [День мужества](#)
- [Знаки судьбы](#)
- [Заговор](#)
- [Августейшая Матушка](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [Эпилог](#)
- [Граф Амура — хозяин Сибири](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
- [Воин жизни](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
- [Один день святого доктора](#)
- [Семипроклятинск](#)
- [Победитель](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
- [Русская Женщина](#)
 - [1](#)

- [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
- [В доме картин](#)
- [Сказка под названием «Отец»](#)
- [Великий герой](#)
- [Дочь своего отца](#)
- [Рождённый с душой птицы](#)
- [Побег](#)
- [Железные люди](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
- [Две клятвы](#)
- [История одной любви](#)
- [Воскресший из мёртвых](#)
- [Ангел Ольга](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)

- [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
-

Елена Семёнова

Слава России

Мы Русские! Какой восторг!
А.В. Суворов

Киевское сидение (Святая Благоверная Княгиня Ольга)

Как вороны стаей необъятной на поживу слетелись, и куда не обрати взор — до самого горизонта черно от поганых, самое солнце потускнело в дыму кочевых костров... При виде печенежского стана так и заходилась в гнев души Первуши. Так и вставал перед глазами полыхающий родной погост¹, бездыханное тело матери со стрелой в нежной груди, отец, окровавленный и из последних сил отбивающийся от доброй дюжины кочевников... Как они не изрубили тогда Дружину Всеславича? Пожалуй, изрубили бы, да печенежский князь, отдавая дань дивной силе богатыря, не велел убивать его, но только полонить.

Так, оказался Первуша с отцом в полоне у поганых. Полюбилось князю зрелище, как русский богатырь руками мечи да копья ломает, как двух коней удержать способен в могучих руках своих, как ни один из собственных батырей его не может совладать с ним. Так прошел год. Но, вот, раздалось всем окрестным с Русью племенам знакомое:

— Иду на вы!

Так объявлял о походах своих славный и неборимый киевский князь Святослав! Войско его всякому войску войско! Не сброд в нем, но богатыри отборные, своему князю под стать! Не ведали они ни поражения, ни страха, как не ведал их Святослав. Он как будто уже рожден был с мечом в руках и на добром коне, и перунов дух почил на нем. Вся жизнь князя проходила в походах. Он спал на конском потнике, положив под голову седло, а ел испеченное в углях

мясо, не беря с собой котла и не варя похлебки. Славная битва да богатая добыча — вот, чем жили русский князь и его рать. Страх неведом был этим людям.

— Не посралим земли русской, ляжем костью! Мертвые сраму не имут! — в самых отчаянных положениях возглашал славный воитель и... попирал смерть копытами своего коня!

Весть о приближении Святослава всколыхнула кочевье! Знали они о неборимости удалого русского князя и вскоре испытали ее на себе. Печенеги были обращены в бегство, их шатры преданы огню, а пленники обрели, наконец, свободу.

Как и печенежский князь подивился Святослав на Дружину Всеславича и приблизил его к себе. С той поры отца Первуша почти не видал, ибо пропадавал он в дальних походах со своим князем, покрывшим себя великой славой во многих языцах. Хотел бы и Первуша мужествовать с ним да не вошел еще в лета о ту пору, как ушел отец в последний по времени поход.

Основался князь с ратью своею в земле Болгарской и возжелал остаться в ней, как в стране, взятой им самолично, а не полученной по наследству, и как туда все богатства, все добро со всех концов света стекалось. В Киеве же оставил он править старуху-мать при малолетних княжичах.

Стиснул Первуша кулаки, не отводя взгляда от вражеских шатров. Ну, как раздалось бы теперь победоносное:

— Иду на вы!

Прочь бы побежали поганые, не дожидаясь расправы! Они оттого лишь и осмелели так, что прознали о дальнем отсутствии неборимого князя, решили, что некому теперь защитить стольного града!

На ступенях лестницы, ведущей на крепостную стену, раздались шаги. Старая княгиня вместе с внуками и приближенными поднималась, чтобы

собственными глазами видеть осадившего ее город врага. Такое восхождение совершала она всякий день, долго-долго смотрела в почерневшие степи...

Перед этой всемудрой женою склонялась уже долее полувека вся Русь. И Первуша не мог унять сердечного трепета, когда видел ее. Было ей теперь без малого 80, но стан ее сохранил доселе прямоту и стройность, а походка величественность. Взгляд глубоких, зеленоватых глаз не утерял прежней зоркости, а разум остроты. Неколебимой осталась и воля ее, воля, силой которой собрала она воедино все русские земли под властью Киева.

— Если не будет подмоги, придется отворить ворота, — донесся до Первуши голос одного из приближенных княгини. — В городе не осталось запасов, люди изнемогают от жажды, еще немного, и начнется мор.

Голод уже сдавил свою костлявую руку на горле Киева, и Первуша хорошо знал это, частенько бывая в городе.

— Лучше всем умереть от голода, чем сдать в полон поганым! — возразил воевода. — Тем более, с нами княгиня и князь! Святослав не простит нам, если мы не убережем его мать и сыновей!

Сама княгиня молчала, опершись ладонями о крепостную стену, точно не слыша разгоревшегося подле нее спора. Лишь изредка гладила она по голове младшего внука, Владимира, жавшегося к бабке.

* * *

Быстро пролетел век! Казалось бы, совсем недавно было? Двенадцатилетняя девочка Прекраса, выросшая в окруженном дивной красоты лесами псковском погосте,

обрядившись в братнюю одежду бежит к реке и, проворно вскочив в ладью, отплывает от берега...

Река... Реки... Русь — страна озер и рек! Всю ее можно пересечь водными путями! Настанет время, и пересечет ее Прекраса, и в каждый дол доплывет ее ладья, и в каждой стороне узрят ее становище, и путем из варяг в греки достигнет она до самого Понтейского моря, а через него, мятежное и лишь Божией воле покоряющееся, до самого Царьграда...

Тогда, на Псковщине, и не снился девочке Царьград, хотя и манили странствия и неведомые доли, манила эта чудная река, и хотелось узнать, где конец ей, и что на том конце? Поглядишь вперед — кажется, что река кончается там, где начинается небо, откуда в ранний час выныривает солнце. Но плывешь, плывешь — а конец все отдалается! Нет конца! Или все-таки есть? И чудилось, что должен на том конце быть удивительный, невиданный край! Может быть, тот самый Пресветлый Ирий, где, как сказывают волхвы, живут боги? Доплыть бы! И хоть одним глазком взглянуть!

Неутомимы руки обряженной мальчиком путешественницы, быстро скользит по серебристой глади ее ладья...

— Эй, рыбарь! — слышится вдруг с берега молодой сочный голос.

Богато одетый юноша в алом, шитом золотом плаще, машет рукой, призывая к себе.

Прекраса причалила.

— Почто звал? — спросила, легким, но почтительным кивком приветствуя знатного юношу.

— Перевези-ка меня на тот берег. Я охотился здесь и, кажется, немного заплутал, своей лодки не сыщу теперь.

Не дожидаясь ответа, он бросил в ладью двух зайцев, а затем запрыгнул сам и расположился на носу,

с любопытством рассматривая Прекрасу. Девочка налегла на весло и отчалила от берега.

— Как звать-то тебя? — осведомился юноша.

Был он лицом бел да румян, и мягкая, светлая борода лишь едва успела обрамить его свежее лицо.

— Олегом, — отозвалась Прекраса, назвав имя брата.

— Как дядьку моего, — улыбнулся охотник.

— А ты кем будешь? Не видал я тебе прежде в наших краях.

— Я-то? Князя Рюрика сын, Игорь, князь киевский. Слыхал, может?

— Как не слышать!

О варяжском князе, которого позвали владычествовать над собой жившие в Новгороде и окрест племена, слыхал всякий. Рюрик пришел княжить с двумя братьями, Синеусом и Трувором, но те вскоре умерли, и он остался один. Рюрик умер несколько лет назад, завещав править за малолетством сына его дядьке, князю Олегу, прозванному Вещим. Последней был славен не менее почившего родича. Хитростью начал он собирать русские земли и перво-наперво перенес стольный град в Киев, убив при том бывших рюриковых отроков, Аскольда и Дира, что самовольно утвердились там на княжении.

— Киеву должно быть матерью городов русских! — это еще услышит Прекраса из уст княжеского дяди...

— Что же ты, князь, один промышляешь в наших лесах? Али не только ладью, но и дружину потерял?

— На что здесь дружина? Видишь, небось, сколь ничтожен улов? — с досадой кивнул князь на зайцев. — Чем же мне делиться с дружиной?

В этот миг ладью качнуло, и с головы Прекрасы свалилась шапка, скрывавшая ее чудные, золотистые, как спелая пшеница, волосы, тотчас разметавшиеся по плечам. Игорь от неожиданности вскочил на ноги:

— Вот так Олег! — воскликнул он, с восторгом глядя на девочку, и тотчас протянул руку, привлек ее к себе, пытаясь обнять. — Экою ты красотою лепа! Еще ни разу не видал таких! — князь попытался поцеловать Прекрасу, но та увернулась и, с неожиданной силой оттолкнув его, прыгнула в воду.

— Стой-стой! — вскрикнул Игорь испуганно. — Утонешь!

— Лучше утонуть, чем терпеть унижение! Или думаешь, что, если ты князь, так и вольно тебе бесчинствовать и меня по незнатному моему роду оскорблять?

— Полно, полно тебе! — князь протянул девочке руку. — Прости! Не хотел я зла тебе и не сделаю! Слово мое княжеское в том даю тебе!

Княжескому слову Прекраса поверила и проворно вскарабкалась обратно в лодку. Князь взял было весло:

— Давай уж я сам...

Но девочка вырвала его у него и снова стала грести к берегу.

— Экая ты! — рассмеялся Игорь, вновь садясь на свое место. — Чудная! Много девиц видел, а таких как ты не встречал!

Ладья пристала к берегу.

— А таких и нет больше, князь! Одна я такая! — звонко засмеялась девочка, спрыгнув на берег.

— Должно, так и есть, — согласился Игорь, сходя следом. Он поклонился ей напоследок:

— Не гневись на меня боле! И скажи, как на самом деле звать тебя?

— Прекрасою, — отозвалась девочка. — Ты, князь улов позабыл.

— Оставь себе. Пусть будет моим тебе подарком и наградой за переправу.

А год спустя постучались в дом Прекрасы гонцы варяжские и потребовали ее пред ясные очи князя

Олега. Пред ним предстала она уже в женском облики, хотя и держась с обычной своей независимостью и невозмутимостью.

Старый князь, поседевший в сражениях, смерил ее пристальным взором, кивнул с удовлетворением:

— Да, красна ты, девица Прекраса, краснее, чем говорил о тебе Игорь. Значит, так тому и быть. Станешь ты ему доброй женой.

Велика была честь, оказанная скромной девушке из псковского погоста сильным киевским князем. Но не в чести было дело. В этот год нередко вспоминала Прекраса молодого князя и в глубине девичьего сердца сожалела, что, как казалось ей, боле не увидит его. К тому родители уже намечали ей в женихи богатого соседа, вовсе не любезного Прекрасе...

— Ну, а зваться ты теперь станешь так, как сама себя нарекла. Ольгою, — закончил свою краткую речь князь Олег. — Тезкою будешь мне!

* * *

Синеватый сумрак медленно окутывал Киев, и теперь особенно хорошо видны стали многочисленные костры печенегов, на которых кочевники жарили ароматные мясные туши, дразня мучимый голодом город...

Первуша проводил взглядом удаляющуюся фигуру старой княгини, следом за которой поспешила свита. Мысль о том, что Киев может быть отдан печенегам, показалась ему нестерпимой, безумной! Ах, кабы были теперь здесь Святослав и отец! Неужто не придут они избавить от гибели стольный град? Что станет тогда с княгиней и княжатами? Для Первуши всемудрая Ольга

была не только возлюбленной правительницей, но и бесценной крестной.

Вскоре после отъезда отца и князя Первуша, оставленный на попечение бабки, тяжело занемог, простыв в студеную зиму. Знахари отступились от него, а княгиня, при которой, благодаря высокому положению сына, состояла бабка, сказала ей:

— Крести отрока, и сама крестись, и Господь поможет.

Принятие Ольгою греческой веры встречено было на Руси с удивлением. Будь почитание ее меньшим, могло бы прийти ей несладко. Русские молились своим богам, и все нарастающее проникновение чужой веры раздражало их. Раздражало это в первую очередь князя Святослава, отринувшего все попытки матери обратить его.

— Моя дружина меня засмеет! — отвечал он.

— Твоя дружина последует твоему примеру, — возражала княгиня.

Но князь был непреклонен. Его воинственный дух был созвучен молоту Громовержца-Перуна, а не кроткому слову Христовой проповеди. Он и его дружина насмеялись над христианским учением, хотя и не теснили его.

Не позволено было бабке и окрестить любимых внуков. «Народ засмеет и отринет», — утверждал князь. Народ, хотя и не понял, но не осмеял и не отринул своей любимой княгини. Почему бы отринул он ее внуков? Но воля князя была законом...

Не решилась бы и бабка Первуши без дозволения Дружины Всеславича окрестить мальчика, но страх потерять единственного внука оказался сильнее. Поп Григорий, тот самый, что сопровождал Ольгу в ее путешествии в Царьград, окрестил умирающего отрока, дав ему новое имя Андрей и не обращая внимание на презрительную ругань волхвов и знахарей. Волхвы были

посрамлены — уже на другой день после крещения Первуша стал поправляться. Пораженная этим чудом, крестилась следом и его бабка.

Теперь юноше было уже шестнадцать, и, хотя он не унаследовал отцовской силы, был тем не менее крепок и ловок, не раз побеждал в состязаниях с другими отроками. Первуша страдал сердцем, что вынужден сидеть за крепостной стеной и не может со славным кликом «Иду на вы!» броситься на ненавистных печенегов и разгромить их! Так и горела голова от разыгравшегося воображения, как летит он на добром коне в блестящих на солнце кольчуге и шлеме и рубит, рубит, обращая в бегство, поганых отцовским мечом... А за ним летят в бой другие отроки — Ярослав, Щука, Сила Путятин...

Говорят, будто за Днепром собралась дружина с окрестностей, но не ударяет отчего-то на поганых. Не то слаба столь, не то нет в ней вождя, не то смущаются ударить на свой страх и риск, не ведая дел в Киеве... Узнать бы, что с той дружиной! Способна ли она бить врага? И сообщить ей, что без помощи погибнет вот-вот стольный град Русской земли, изнеможет в кольце осады! Но как сделать это, если перед Днепром стоит печенежское полчище?

Размышляя так, забрел Первуша к своему верному другу Щуке, чей отец, славный охотник, год тому назад погиб смертью напрасной и злой, угодив в лапы медведя. Щуплую с виду, но жилистую фигуру 14-летнего отрока он издали заметил в затейливой позе. Поджав правую босую ногу, пригнувшись, Щука держал в руках занесенный лапоть и неотрывно смотрел в одну точку. «Мышь!» — скорее не разглядел, а догадался Первуша, останавливаясь.

Швах! И брошенный лапоть опустился в самом углу двора. Щука прыжками подскочил туда и удовлетворенно подобрал оглушенную ударом «дичь».

Заметив Первушу, приблизился и помахал перед его лицом издыхающей мышью:

— Во, видал, чай? Ужин наш! В княжьем-то терему мышей, небось, не жрут еще?

— Скоро и там учнут жрать, — отозвался Первуша.

— Хороши пироги, нечего сказать! — фыркнул Щука, обуваясь. — Все в городе уже пожрали... Эх! Выбраться бы к Днепру, рыбы наловили бы!

— На весь город не наловишь, а сам уловом точно станешь. А уловом куда как скверно быть, поверь на слово.

— Падалью питаться тоже не пир!

— Обожди, придет князь — прогонит поганых.

— Когда он придет-то, твой князь? Когда в каждом доме по покойнику будет? — не по летам суровый Щука махнул рукой и брезгливо посмотрел на мышь. — Хоть бы еще одну добыть... Одной такой изжаренной тварью сыт не будешь.

— Я тебе поутру принесу чего-нибудь из харчей.

— Украдешь? — насмешливо прищурился Щука. — Тебе твой Бог воровать не велит, гляди!

— Воровство, Щука, все боги не одобряют. Тем паче у своих. Я не украду, просто принесу, что смогу.

— Ну, благодарствую тебе! А то ж у меня еще меньше по лавкам, всякая кроха им идет, а уж сам как Кощей тощ стал, — Щука задрал рубаху, демонстрируя впалый живот с выпирающими ребрами. — И мамаша... Ослабла совсем, третий день не встает...

Простившись с другом, Первуша вернулся в княжеский терем, ломая голову, как исполнить свое обещание. Отдать свой скромный обед — это само собой. Но Щукиному семейству того не хватит. Мать... Третий день не встает... Выросшему без материнской ласки Первуше эта скорбь всего острее понятна была. А что если?.. Несмотря на поздний час направился отрок в покои юных княжат. По воле княгини состоял он при ее

внуках, которые не менее его самого страдали от того, что еще не вошли в возраст, чтобы сражаться по примеру отца. Вот, и теперь жарко спорили они, не спеша отходить ко сну.

— А почему бы и не сразиться нам, коли отец в отсутствии? — говорил старший княжич, Ярополк, и его серые глаза загорались гневом. — Наш отец был еще ребенком, когда принял свой первый бой!

— И его первая стрела упала к ногам его коня, так как был он еще мал, — заметил рассудительный Олег, хорошо помнивший истории всех походов отца. — И тогда Свенельд сказал: «Князь уже начал! Вступим и мы!»

— У отца был Свенельд... — протянул Владимир, играя маленьким мечом, ладно лежащим в ловкой ручке маленького княжича.

— У отца он и теперь есть, — недобро бросил Олег. — Это у нас никого не осталось!

— У нас осталась княгиня! — воскликнул Первуша.

— Княгиня стара, — отозвался Ярополк. — Те дни, когда она ходила на древлян давно миновали!

— И печенеги — противник куда более сильный, — согласился Олег.

* * *

Это была судьба ее — править необъятными землями сперва при малолетнем сыне, затем при внуках... Давно уже спустилась ночь на осажденный город, все стихло, и лишь ветер доносил в окно дух вражеских костров, полыхающих у самых стен Киева. Ольга не ложилась спать. Она неподвижно сидела у окна, погружившись в свои мысли. Старуха-ключница Агнеша, Марфа в крещении, читала ей привезенное из

Царьграда Евангелие. Княгиня как будто не слушала ее, но когда старуха останавливалась, роняла:

— Продолжай.

Под этот монотонный говор Ольге лучше думалось. Правда, мысли никак не хотели сложиться в замысел, а лишь блуждали беспокойно и отрывочно, путаясь с воспоминаниями.

Когда древляне жестоко расправились с Игорем, Святослав был еще совсем ребенком. Игорь стремился взять с них дани много больше, чем было положено. Что греха таить, скуп был ясноокий витязь с реки... Оттого и за данью пошел с малой дружиной — не пожелал делить добычу с другими... За то и погиб. А бесстыдные древляне не остановились на том, явились к вдове с предложением идти за их князя Мала! Они думали, что слабой женщине ничего не останется, как покориться силе, и Киев станет принадлежать Малу... Несмысленные! Они не знали, какова женщина, представшая пред ними смиренной и кроткой.

Ольга приняла предложение древлянских послов и сказала им, что желает чествовать их при своем дворе.

— Пойдите теперь спать в свою ладью, а поутру, как придут за вами, скажите посланным моим, что пешком не пойдете и верхом не поедете, и чтобы несли они вас в той ладье к моему чертогу.

Послы так и сделали. Только принесли их не к чертогу, а к тюрьме, подле которой ночью был вырыт глубокий ров. В него и сбросили их...

— Ну, как вам моя честь? — окликнула сверху княгиня.

— Пуще Игоревои смерти! — раздался в ответ стон.

Их засыпали живьем... А Ольга направила к древлянам гонца, дабы прислали еще одно посольство, для пущей чести будущей жене их князя. Новые послы были погублены в огне, будучи заперты в бане, куда отправились омыться после дальней дороги.

Но и тем не завершилась та страшная месть. Ольга пошла на древлянскую землю с войском. Дружина Мала, которая встретила ее, как свою будущую княгиню, была приглашена на тризну по убитому Игорю и перебита во хмелю. А столица древлян Коростень сожжена... Древляне долго выдерживали осаду! Ничто не могло сломить их! Но там, где беспомощна сила, побеждает хитрость. Ольга сделала вид, что насытилась местью и готова примириться с древлянами. В качестве дани попросила она с каждого дома по воробью или голубю. Птицы были ей поднесены. Ночью по ее приказу их отпустили назад к своим гнездам, привязав к их лапам зажженные фитили...

По языческим обычаям она поступила правильно. Она мстила за мужа и князя, и эта бесконечно жестокая месть дала ей бесконечное уважение подданных и страх перед ее именем прочих племен. Дала силу. А сила дала право — править.

Каково это — править огромным пространством, населенным разными племенами? Кривичи, поляне, вятичи, древляне, радимичи... Всех и не сочтешь! И все разные, и все дорожат своею самостью. А что добра в той самости? Усобицы на радость печенегам, хазарам и иным разбойникам? Не должно быть усобиц на Русской земле, правду говорил князь Олег, Киеву должно стать матерью городов русских! Что не успел довершить он, и не стремился довершать Игорь, то она, Ольга, довершит, дабы возлюбленный сын ее принял под могучую длань свою землю, славную порядком, а не усобицами!

С той поры не было у княгини ни дня отдыха. Верхом или по устьям рек и озер путешествовала она со своей дружиной по всему необъятному краю, ставшему ее великой отчиной. Она принуждала к покорности строптивые племена, вводила единые уставы и уроки, строила новые грады и погосты... И цель была

достигнута: к тому времени, как Святослав вошел в силу, матерью была преподнесена ему единая, окрепшая страна вместо разрозненных и враждующих княжеств.

Но не таков был Святослав, чтобы удовольствоваться полученным уделом, внутренним устройством его и защитой от лихих супостатов. Киев почти не видел молодого князя, пропадавшего в нескончаемых походах. Эти походы покрыли его славой, но Руси не доставало отеческого попечения своего князя. Оставалось попечение материнское, Ольгино...

Вот, только с годами стало что-то точить княгинино сердце. Память горящего Коростеня томила ее.словно какой-то неведомый голос шептал ей, что превысила она меру мести и жестокосердия... В ту пору все чаще стали наезжать в Киев гости из далекой Византии. Некоторые киевляне обращались в их веру, становились прихожанами их церкви, выстроенной еще убитыми Олегом Аскольдом и Диром. Греческие проповедники рассказывали, что их веру на берега Днепра впервые принес еще столетия назад первый апостол их Бога по имени Андрей.

Чудны были греческие проповеди... Чудны были сами греки. Чудны и богаты. Такой роскоши не видала Ольга ни у славян, ни у варягов! Частым гостем княгини стал поп Григорий. Мудро и велеречиво говорил этот смуглый, черноокий грек. И словно видел в сердце Ольги. Ему одному поверила она тяготящие душу воспоминания.

— Что, осудил бы меня твой Бог за жестокость мою?

— Мой Бог не осуждает сокрушающихся и обращающихся к нему сердцем, но изглаживает их грехи со скрижалей судных, чтобы могли они войти вслед Ему в вечную радость.

Хорошо, утешно говорил Григорий. И утешно пели в храме греческом, куда однажды втайне пришла Ольга.

Но не должно княгине следовать одному лишь голосу сердца. Должно голос тот проверять очами и разумом.

Тогда-то и собралась Ольга в самое дальнее свое путешествие. Вместе с братом Олегом, попом Григорием и большою свитою пустилась она через Понт Аксинский² к берегам неведомой Византии. Подобно тому, как некогда девочка Прекраса стремилась достичь на своей ладье дивного Ирия, так теперь стремилась к Царьграду могущественная княгиня руссов...

Царьград встретил гостей настороженно. Здесь слишком свежа была память славянских набегов, а потому новоприбывшим долго не позволяли сойти на берег — покуда не проверили все и всех находившихся на русских судах и не удостоверились в мирных намерениях путешественников.

Сама греческая столица потрясла Ольгу. Белые двух или трехэтажные дома с крытыми железом крышами и полукруглыми окнами, вымощенные белым мрамором и полудрагоценными камнями полы, стены, украшенные дивными мозаиками и росписями!.. Мебель из слоновой кости, украшенная золотом и драгоценными камнями... Перешептывались в свите княгини восторженно:

— Экое диво! Экое богатство!

Но Ольга не показывала своего восхищения, и без того заметила она, с каким надменным самодовольством посматривают на славянских «варваров» византийцы. Это превосходство хозяев ощущалось во всем. Даже в церемонии приветствия Императора, во время которой русская княгиня принуждена была стоять в ряду византийской знати. Ей разрешалось лишь приветствовать Василевса одним кивком головы, тогда как его подданные простирались ниц при его появлении.

Впрочем, вне пышных церемоний, столь обширных, что самому венценосцу пришлось писать о них книгу, дабы потомки ничего не перепутали, Император Константин оказался человеком весьма замечательным. В долгие часы общения он выучил русскую гостью игре в шахматы и поведал ей немало диковинного. Правитель величайшего на свете царства, он сам писал историю его и более бранного дела почитал книгу... А еще, как и все греки, обожал ипподром. Знатные люди Византии и даже сами Василевсы специально разводили лошадей для этих соревнований, которыми неизменно сопровождалась все торжества. Вход на ипподром был свободен, и посетители делились на две или три противоборствующие партии, одетые в наряды разных цветов. Василевс и его приближенные наблюдали зрелище с высокой кафисмы³. Победителей по итогам 24 заездов награждали золотом. Между заездами зрителей развлекали силачи и различные удальцы, ходящие на руках, глотающие ножи и факелы и поражающие иными диковинками.

Ипподром произвел на Ольгу сильное впечатление, но ничто не могло сравниться с восторгом, который испытала она, ступив по своды храма Святой Софии. Ничего более великого и прекрасного не видела в своей жизни русская княгиня! Огромность храма, чудесная красота и богатство его отделки — все приводило душу в неизъяснимое восхищение. Велик должен быть Бог, обитающий в столь великом чертоге! — мелькнула в голове восторженная мысль. И что такое все перуновы капища подле этого дива... А сам Перун — подле греческого Бога?

— Ваш Перун сделан из дерева вашими руками, а наш Господь вездесущ и создал всех нас, — говорил поп Григорий.

Однажды во время игры в шахматы Константин сделал Ольге предложение стать его женой. Мудрая и красивая русская княгиня, славная делами своими далеко за пределами своей отчины, завоевала византийского Императора без меча и огня... Велика была предложенная честь стать владычицей великой Империи, и сам Василевс был приятен сердцу Ольги, но не должно русской княгине оставлять своей отчины в пользу чужой. Как ни прекрасна была Византия, а уже стремилась душа домой. Что-то там без нее? Пора, пора завершать дивное гощевание... В гостях хорошо, а дома лучше.

Все же не хотелось обидеть отказом Императора...

— Стану я женой тебе, будь по-твоему. Но не должно христианскому правителю брать в жены язычницу. Станешь ли восприемником моим от купели крестильной?

Константин с большой радостью согласился исполнить желание будущей жены.

И, вот, еще одна церемония, пышностью своей затмевающая все иные! Сам патриарх крестил русскую княгиню под величественными сводами Святой Софии.

— Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Благословят тебя русские люди во всех грядущих поколениях, от внуков и правнуков до отдаленнейших потомков твоих! — возгласил он.

Крещением смываются все прежние грехи, новокрещенный все что наново родившийся — безгрешен и чист. Так хорошо, так легко стало на душе от этого чувства, и впервые обращалась Ольга с ликующей молитвой к истинному Богу. Теперь уже не Ольгой была она, а Еленой — в честь святой греческой царицы...

— Теперь мы можем венчаться с тобой! — воскликнул Император.

— Как же мы сможем венчаться, если крестному воспрещается Церковью жениться на крестнице, ибо отныне они все равно что близкие родственники? — ответила Ольга-Елена.

Константин пораженно развел руками, но затем улыбнулся:

— О, Ольга! Перехитрила ты даже меня!

«Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня», — крест с такой надписью подарил княгине патриарх. Она вернулась в Киев с богослужебными книгами, иконами и богатыми дарами. По возвращении Ольга основала церковь во имя святого Николая на могиле убиенного князя-христианина Аскольда... И лишь одного не сумела добиться она: обратить к Свету возлюбленного сына и удержать его в отчих пределах, столь рачительно возделанных ею. И оттого нет теперь подле нее, старой Ольги, опоры и защитника, и вновь вынуждена она одна противостоять жаждущим поживы супостатам.

Старуха Марфа все-таки заснула за чтением, и княгиня пожалела будить свою наперсницу. Тяжело опустившись на колени перед своими иконами, она трижды земно поклонилась:

— Господи Всемогущий, даруй мне разумения, как спасти внуков моих и град сей! Ослеп ныне разум старой Ольги, так наставь же меня, как быть!

* * *

Юные княжичи сердцем не очерствели еще и дружно поделились нехитрою снедью собственного обеда с Щукиным семейством. Щуку и сами знали они — он хотя и не молодецествовал в единоборствах, зато

лучник был знатный, такому бы сам Семаргл⁴ подарил свои огненные стрелы!

— Вот, кабы мне те стрелы теперь! — мечтательно вздохнул отрок, отнеся еду матери и меньшим. — Всех поганых бы прочь рассеял!

— Сам-то что не ел? — спросил Первуша.

— Жирно мне княжескими яствами тешиться. Ничто, я себе мыша какого-нибудь изловлю. Чай, не помру, я хотя видом и хил, а крепок. А за мать благодарствую! И князьям кланяйся от меня земно. Пусть знают — во всякий час положит за них живот Щука.

Возвратясь в княжий терем, застал там Первуша немалое оживление. Созвала княгиня всех присных на совет. Заспешил и Первуша вослед прочим, притулился у самых дверей, с беспокойством ожидая: что-то будет?

Слово взял хмурый воевода. Описав бедственное положение Киева, он заключил, что самым наипервейшим делом нужно вывезти из города княгиню и княжичей, дабы не подвергать угрозе их бесценные жизни. Святослава с дружиной из дальней болгарской стороны не вскоре ждать, а в отсутствие его помочь может лишь немногочисленная рать воеводы Претича. Но рать та позади Днепра, а перед Днепром, отрезав от него Киев, раскинулись станом кочевники. Претич не может знать грозного положения Киева, а потому необходимо любой ценой донести до него весть.

Словно какая-то сила толкнула Первушу при этих словах. Сам не зная как, очутился он посередь горницы и воскликнул горячо:

— Я пойду! Я доставлю весть Претичу!

С этими словами юноша упал на колени перед княгиней:

— Зарница земли нашей! Княгиня пресветлая! Повели мне переправиться через Днепр! Я черняв, как

кочевник, и язык их знаю с малых лет! Никто не заподозрит во мне чужака!

Старая княгиня поднялась с высокого, украшенного самоцветными камнями и золотом седалища. Величием исполнена была ее статная фигура и ее облачение: белая туника с изукрашенной самоцветными камнями и медальонами бармой, шитый золотом алый плащ, белое, спадающее на плечи покрывало, обрамляющее строгое лицо, золотой венец — символ княжеской власти... Подойдя к крестнику, она положила руку на его приклоненную голову:

— Благословляю тебя, свет мой! Ступай и сбереги себя! Славные воины еще понадобятся нашей земле! Храни тебя Христос, сокол ясный! — с этими словами Ольга перекрестила юношу. А тот благоговейно поклонился ей в ноги, коснувшись челом бархатных алых сапог княгини.

Всхлипывала бабка, провожая внука на подвиг. С завистью смотрели на него юные княжичи и храбрые отроки. Все готовы были сами идти хоть в самое пекло — ради Киева и возлюбленной княгини. Но пошел он, Первуша, сын Дружинин.

Чтобы лучше сойти за печенега, юноша натер лицо, шею и руки сажей, обрядился в провонявшую конским потом одежду кочевника и залег подле тайного лаза под крепостной стеной, ожидая, когда спустится ночь. Едва начало смеркаться, рядом послышалось какое-то шевеление. Первуша молниеносно выхватил нож, но тотчас опустил его, признав в нежданном госте юркого Щуку.

— Ты почто здесь?

— По то! С тобой пойду, — отозвался отрок.

— Не пойдешь, — покачал головой Первуша.

— Почему? Мы же всегда с тобой вместе были! Как братья неразлучные! И на охоте, и на ристалищах, и...

— ...и в играх в бабки... — подытожил Первуша. — Щука, здесь уже не игра. А у тебя мать больная и полная изба меньших. Ну как что с тобой? Кто о них попечется?

Нахмурился Щука, но не возражал. Худое, почти прозрачное лицо его, выражало не то досаду, не то обиду.

— К тому же, — продолжал Первуша, — ты не знаешь языка и лицом не схож на печенега. Ты не сможешь мне, вдвоем мы лишь скорее обратим на себя внимание.

Щука поскреб подбородок:

— Ладно, леший с тобой, ступай один. Но если что с тобой, я вместо тебя пойду, так и знай!

Первуша крепко обнял друга:

— Я постараюсь, чтобы тебе не пришлось этого делать.

Щука высвободился, протянул Первуше свой лук со стрелами:

— Пусть и не Семаргловы, но ты все ж возьми. Больше у меня ничего нет, сам знаешь.

Первуша знал. Этот лук подарил Щуке сам князь Святослав, когда тот, еще почти младенец, показал себя самым метким стрелком среди иных детей. Дар княжеский берег Щука, как великую драгоценность. Первуша замаялся было, но друг сурово сдвинул белесые брови:

— Бери-бери! И пусть твой Бог тебе поможет!

Простившись с Щукой, Первуша проворно нырнул в неприметный оку лаз и через считанные мгновения был уже по ту сторону стены. От печенежского стана пахло на него жареным мясом — кочевники жарили на костре кабанью тушу. Юноша судорожно сглотнул слюну, стараясь забыть о голоде, и как ни в чем не бывало направился к вражеским шатрам, помахивая взятой с собой уздечкой. Он даже не помышлял таиться,

напротив, нарочито приставал то к одному, то к другому печенегу, спрашивая, не видал ли кто его лошади. Кочевники разводили руками, советовали искать в степи и не обращали на лазутчика внимания, принимая его за своего.

Пожалуй, Первуша мог бы легко разделить с ними трапезу, не возбудив никаких подозрений. Но соблазнительная эта мысль была отвергнута им. Нужно было торопиться! Уже серебрился впереди в лунном свете могучий и невозмутимый Днепр! Еще несколько шагов и...

— Помогите! Помогите!

Этот жалобный, молящий вскрик заставил Первушу остановиться. Голос был ему знаком! Юноша обернулся и, взглядевшись в темноту, увидел двух поганных, тащивших в шатер отчаянно вырывающуюся полонянку. Хотя волосы ее были растрепаны, а рубаха изорвана, но Первуша узнал ее. Это была посадская девочка Добромила, с которой в детские годы случалось играть ему и ходить в лес по ягоды. Печенеги нашли на Киев неожиданно, и оттого многие посадские люди не успели укрыться за крепостными стенами и были взяты в полон...

Пропадай моя голова! — мелькнула мысль, и в тот же миг первая Щукина стрела поразила одного из кочевников. Второй от неожиданности выпустил полонянку, и та опрометью бросилась к реке, а очередная стрела вонзилась в грудь ее мучителя.

Но уже заревел вражеский лагерь! Уже повскакивали от костров и выбежали из шатров заподозрившие ночное вторжение кочевники! Они ждали увидеть русских ратников, проникших в их становище с тем, чтобы перебить сонными, а увидели одного лишь отрока и насмерть перепуганную полонянку...

Схватив Добромилу за руку, Первуша бросился к Днепру:

— Господи, не выдай!

Крут и высок был берег великой реки, да не выбирать уже спуску! Бросились беглецы с крутояра в воду, а поверх их голов сплошной тучей засвистели вражеские стрелы!

Заплескалась вода окрест плывущих — это стрелы ударяли в нее, не достигая их. Первуша не видел, но знал, что уже спускают печенеги лодки на воду, чтобы броситься в погоню. Неужели конец? Неужели настигнут? Тогда уж лучше под воду, камнем на дно!

— Не могу больше... Отпусти... Я же тебя на дно утяну... — стонет изнемогшая Добромила.

И то сказать, не доплыть ей до другого берега, ни за что не доплыть... Обмирает бедная, виснет гирей на плечах своего спасителя... И впрямь только на дно и остается... Обоим...

Но что это? Уж не обманывают ли очи?... Впереди полыхнули огни!

— Слышишь?! Слышишь?! Голоса! Это не печенеги! Это наши, русские! — захлебываясь кричит Первуша Добромиле, но девица не слышит его...

Из последних сил, рывками поднимая ее над водой, погреб юноша навстречу приближавшимся огням. Уже с двух сторон свистели стрелы, так часто, что иные сталкивались в воздухе. Но не попадали в беглецов, точно неведомая сила очертила им защитный круг. Луна сокрылась за тучами, и лишь огни на приближающихся челнах рассеивали мрак.

Первуша уже ничего не чувствовал и не слышал. Он пришел в себя лишь на берегу, не помня, как оказался в спасительном челне вместе со своей хрупкой ношей... Она сидела рядом, белая, как полотно, дрожащая, укутанная медвежьей шкурой...

— Ты из Киева? — спросил юношу седоусый богатырь, протягивая ему чарку разогретого на огне меда.

— Да, — ответил Первуша, жадно сделав несколько глотков. — Мне нужен воевода Претич!

— Я воевода Претич, — ответил богатырь. — И верь слову, никогда еще не видел такого чуда, как нынешней ночью. Заговоренный ты, что ли? Или оберег какой знаешь?

— Божья воля, — отозвался Первуша, — а оберег у меня один, тот, что княгиня мне на шею одела, — с этими словами он показал воеводе своей крест.

— Значит, в самом деле силен греческий Бог... — покачал головой Претич. — Тебя княгиня послала?

— Да. Она спрашивает, отчего не идешь освободить ее.

— Рать наша слишком мала. Ждем, когда еще ратные люди подойдут.

— Нельзя дольше ждать. В городе не осталось припасов, на исходе вода, начинается мор. Еще несколько дней осады, и Киев будет отдан поганым!

— Я не могу одолеть печенегов столь ничтожным числом.

— Ты должен спасти княгиню и княжичей! Иначе как взглянешь в ярые очи Святослава, когда спросит он, что стало с его матерью и чадами?

Претич нахмурил косматые брови, покрутил длинный ус:

— Поешьте пока и обогрейтесь, — молвил спасенным беглецам. — А мы думу будем думать, как княгиню премудрую из беды выручить...

Первуше повторное приглашение не требовалось. Он с жадностью принялся хлебать из котелка горячую, ароматную и показавшуюся ему после всего пережитого райски восхитительной похлебку. Обернувшись у Добромиле, юноша протянул ей ложку:

— Давай, поешь и ты.

Девушка вздрогнула и не тронулась с места.

— Мать и отца убили, — сказала она, наконец. — Дом наш сожгли... Куда мне теперь деваться... Лучше бы ты отпустил меня, и я бы на дно пошла, водяного тешить...

— Мою мать тоже поганые убили, — вздохнул Первуша. — Оба мы сироты с тобой. И обоих нас сегодня чудо спасло. Значит, и дальше друг друга держаться надо. Ты не кручинься, я в обиду тебя не дам, защитить сумею.

Легкий румянец окрасил бледные щеки недавней пленницы, пытливо взглянули на юношу синие глаза.

— Нешто и впрямь защищать будешь?

— Как если бы ты мне сестрой была, — ответил Первуша и снова протянул ей ложку. — Ешь давай, покуда не остыло.

Добромила робко взяла ложку и принялась есть.

— Добрый ты, Первуша, — сказала она тихо. — Не такой как иные отроки...

Юноша пожал плечами. Разве иные отроки не пришли бы ей на помощь в беде? Щука бы, несомненно, пришел... И Сила... Запугана она просто, вот, оттого так и судит. Вспомнив о Щуке, Первуша подсадовал, что не сберег подарок друга. Пошел на дно княжеский лук, водяной им теперь забавляться будет!

* * *

Наутро Претич призвал к себе отдохнувшего и готового к новым подвигам гонца.

— Если нет сил побить врага, остается провести его, — молвил воевода. — Сделаем вид, что наступаем — так, чтобы печенегии решили, будто сам Святослав

идет на них. Отвлечем их так, а в это время ты, отрок, возвратишься назад в город, возьмешь княгиню и княжичей и, выждав подходящий час, выведешь их оттуда и перевезешь на другой берег — верные люди будут ждать на реке с лодками.

Первуша кивнул:

— Главное, чтобы печенеги не распознали обмана.

— Это уж моя забота, — воевода положил могучую длань на рукоять меча. — Смени свой поганый наряд и будь готов. Отправишься, как получишь мой приказ.

Юноша удалился. Приглянулся воеводе этот смельчак. И собственные его сыновья мужествовали доблестно, но этот смуглый отрок, пожалуй, храбрец отчаянней их. И удачей обласкан. Кабы своими глазами не видел Претич, как плыл он под градом стрел, так и не поверил бы...

Затрубили рога поход, взмыли ввысь княжеские стяги. Из-за стен киевских раздался ответный трубный глас.

— Постоим за Русь! — зычно взревел воевода, обнажая меч.

Весь печенежский стан разом пришел в движение. Испугались поганые одной лишь славы русского князя! Верно рассчитал Претич. Лишь выставленные для заслона отряды печенегов вступили в бой с посланными вперед русскими ратниками. Остальные кочевники предпочли отойти, выжидая, как повернется дело. Жарко пришлось передовым русским отрядам. Им надлежало отвлечь на себя внимание печенегов, изобразить большую силу и как можно дольше продержат врага в этом обмане... Лучшие богатыри пошли в тот смертный бой, наперед зная, что не сносить им головы в неравной сече. И пока бились они, истекая кровью, тесня кочевников от киевских стен, из ворот города верхом вылетело несколько всадников, одним из которых была женщина... Прежде чем

печенеги, занятые боем, успели броситься в погоню, они уже садились в ладьи, причалившие к берегу.

Когда княгиня и ее внуки были в безопасности, печенежский князь подал знак, что желает говорить с предводителем русского войска. Расступились прочь друг от друга враждующие рати, оставляя на поле брани многочисленных убитых, и заместо них съехались посреди него грозный печенег и воевода Претич.

— Ты кто? Князь? — спросил вождь поганых.

— Нет, — честно ответил воевода. — Я муж княжой и пришел в сторожах. Но грядет по мне полк с князем, бесчисленное множество войска. Меня же он послал вперед себя, узнав, что смеешь ты чинить обиду его матери и сыновьям.

— Что же, близко твой князь?

— Близко, и ты знаешь не хуже моего, сколь грозен он к своим врагам.

Печенег помолчал, озирая еще дымящееся поле недавней битвы.

— Мы не станем продолжать бой, — произнес он наконец. — Будь мне другом отныне! В знак перемирия прими от меня этот дар, — по знаку вождя один из сопровождавших его кочевников подал Претичу саблю, лук со стрелами и подвел буланого коня. Воевода в долгу не остался и послал своего отрока передать новообретенному «другу» меч, щит и броню. На том и разъехались...

* * *

Печенеги, напуганные вестью о приближении Святослава, отошли от Киева. Киевляне же послали к нему гонца сказать: «Ты, князь, чужой земли ищешь и ее блюдешь, от своей же отрекся. Чуть-чуть не взяли

нас печенеги вместе с твоею матерью и детьми. Если не придешь и не оборонишь нас, то опять возьмут. Неужели не жаль тебе ни отчины своей, ни матери-старухи, ни детей малых?» С этими до дерзости горькими словами послан был на Дунай, в далекий Переяславец Первуша. Решили киевляне, что Святослав не прогневится за тяжелое слово на спасителя своей матери и детей, на сына своего ближайшего соратника.

Почернел лицом князь, узнав грозную весть, и на другое же утро, возмущившись духом, помчался с дружиною на выручку киевлянам. Как неотвратимая гроза явился неборимый из болгарских земель и сурово покарал кочевников за их вторжение. Свершив положенную месть и водворив спокойствие в русских пределах, он вновь засобирался в чужие края. Княгиня Ольга просила сына не покидать Киева до ее кончины, и Святослав исполнил волю матери. Схоронив ее по христианскому обычаю, как завещала она, и разделив Русь между тремя своими сыновьями, он возвратился в Болгарию, где, однако, встречен был враждебно. Звезда Святослава катилась к своему концу, но он не чувствовал этого. Он еще сумел принудить к покорности болгар и разорить многие византийские земли на пути к Царьграду. Однако, Василевс собрал великую рать и разгромил дружину Святослава, изгнав его из болгарских пределов. Неборимый отправился на Русь, ища собрать там новое войско и возвратить Болгарию. Но отчина, от которой некогда отрекся воинственный князь, уже не ждала его. На пути к Киеву Святослава и его поредевшую и измученную дружину подстерегли печенеги. Тут-то и поквитались они с ненавистным им победоносным князем! Полегли в приднепровских степях славные богатыри Святославовы. Пал и сам он в неравном бою. И печенежский князь в ознаменование победы повелел изготовить кубок из черепа поверженного врага...

— Мертвые сраму не имут! — говорил Святослав. Ему не пришлось испытать чаши позора, представ побежденным и изгнанным из страны, ради которой пренебрег он Русью.

— Где ты ляжешь, там и мы ляжем! — отвечала необоримому дружина, и она также сдержала свое слово, встретив смертный час вместе с ним.

Лишь небольшой отряд, посланный Святославом вперед себя за подмогой в Киев, избежал гибели. Предводительствовали им прославленный воевода Свенельд, служивший еще при Олеге Вещем, и богатырь Дружина Всеславич, израненный у стен Царьграда. Оба они продолжили свою верную службу киевскому князю Ярополку Святославичу. Ему же, а в дальнейшем князю Владимиру, младшему сыну Святослава, служил и Первуша, сын Дружинин.

Первуша через год после освобождения Киева женился на принявшей крещение Добромиле. Тяжело было им, как и другим христианам, пережить время гонений греческой веры, наступившее при внуках благоверной Ольги. Но оно сменилось подлинным торжеством христианства. Младший внук Ольги и племянник славного богатыря Добрыни Никитича, Владимир, бывший ярым язычником, подобно преобразившемуся в Павла Савлу, получив дивное исцеление от слепоты, признал истинного Бога. То, чего не успела совершить его бабка, суждено было исполнить ему. Взяв в жены византийскую царевну Анну, Владимир, приняв в крещении имя Василий, стал крестителем всей Русской земли и обратил ко Христу весь свой народ. Так исполнилось начертанное на кресте богомудрой Ольги пророчество: *«Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня»!*

Залесская повесть (Воевода Ян Вышатич)

Янбед и париндяит прикатили в деревню поутру, и, едва завидев их повозку у околицы, быстроногая Санда помчалась в избу:

— Мамка! Мамка! Приехали!

Отец с братьями еще накануне уехали к Переяславлю. Одолела немощь братца Кураша, и повез его родитель к Трубеж-камню, прикосновение к которому, как сказывали, исцеляло больных. Мужчины всегда покидали деревню, когда приезжали в них сборщики жертвенных даров для праздника Велен-моляна, а женщины старательно готовились к их встрече. Накануне мать, как всегда, сшила четыре холщовых мешка с длинными тесемками. В первый насыпали муку, во второй положили бурачок с маслом, в третий — с медом, а в четвертый — несколько гривен. Мешки стояли теперь в ожидании сборщиков на застеленном чистом рядном столе. Заслышав, что сборщики уже прибыли, мать зажгла штатол на шестке печи и сбросила с себя рубаху, оставшись в одной лишь юбке. То же сделала и тетка. Обе женщины стали у стола, спиной к двери. Санда с двоюродными сестрицами стали рядом, но — как и полагалось девицам — не снимая с себя одежды.

— Чам-Пас, Назаром-Пас, Кардас-сярко-озаис, помилуй Васяй Шугаря, помилуй Машкась Яндру! — раздавался скрипучий голос позади.

Санде очень хотелось обернуться, но это было строжайше запрещено, и она стояла потупясь, искоса поглядывая на сестер, еще вовсе по малолетству не разумевших происходившего.

Мать закинула за спину первый мешок и попятилась, не оборачиваясь к двери. Там янбед пять раз кольнул ее священным ножом, а затем перерезал тесьму, так, что мешок упал в парку, подставленную париндяитом. Так ходила мать четыре раза, а вслед за нею — тетка. И ничего-то не видела Санда! Только слышала скрипучее бормотание янбеда и оханья тетки, когда касался ее нежного тела острый нож сборщика...

Но, вот, пропелись последние молитвы, раздались шаги уже на крыльце... Можно обернуться! Да только простыл и след волхвов, унесли они дары и в другой дом отправились. Год урожайный выдался, а, значит, много соберут они в этот раз к празднику! Мать и тетка проворно облачились в рубашки, сожгли оставшиеся от мешков тесьмы и засуетились по хозяйству. Санда же, радуясь, что обряд завершился так скоро, не дожидаясь, покуда найдется для нее работа, стрелой помчалась в лес.

Ратмир ждал ее на опушке, сидя под любимой ими обоими березой. Чудна была та береза! Два ствола ее переплелись друг с другом, словно завязались узлом и лишь затем устремились ввысь. Приближаясь к опушке, Санда остановилась, скрывшись за могучей елью, залюбовалась Ратмиром. Шел ему пятнадцатый год, а такую силу уже налит был отрок, что иному богатырю несдобровать бы от него! В охоте был он ловок, в работе — трудолюбия примерного. Вот, и теперь в ожидании не тратил времени зря, строгал что-то сосредоточенно... Не иначе как для церкви!

Ратмир и его отец, кожедуб Никита, были христианами, и от того не любили их в родных краях. Отец Санды, Шугарь, строго-настрого запрещал ей знаться с «никиткиным отродьем», но девочку неудержимо тянуло к непохожему на других отроку. Бывало лишь взглянет он своими синими, что озера

лесные глазами, и в душе соловьи поют, точно бы по небу идешь и не падаешь!

Осторожно вышла Санда из укрытия своего, бесшумно, как умела она, подкралась к увлеченному своим делом Ратмиру и, чуть постояв над ним, дотронулась до густых пшеничных волос, чубом спадавших на высокий лоб отрока.

— Пришла все-таки! — радостно воскликнул Ратмир, вскакивая на ноги. — А я думал, не сможешь с этим Велен-моляном! Что не отпустят тебя!

— Да разве ж я спрашивала, отпустят ли? — рассмеялась Санда, и эхо подхватило ее звонкий, как плеск ручья, смех. — И разве же я могла не прийти, когда тебе обещала?

В этот миг она была уверена в том, что не могла. Даже если бы отец запер ее в подпол, она вырвалась бы оттуда. Ведь ее ждал Ратмир...

Он смотрел на нее лучистыми глазами, любуясь, радуясь ей.

— А что, если бы я не пришла? — вдруг спросила Санда.

— Я бы ждал тебя.

— Долго?

— До тех пор, пока бы ты не пришла.

— И ночью?

— И ночью тоже, — улыбнулся Ратмир. — Ты же знаешь, лесной зверь мне не страшен, я любого зверя заговорить могу.

— Кроме человека...

— Да, — вздохнул отрок, — человек даже отцу Леонтию не по силам бывает. Боимся мы за него, Сандушка. Злы на него люди, всякий камнем бросить норовит, всякий расправой грозит... А за что? За то, что дети тянутся к нему, за то, что учит он их и в Христовой вере наставляет.

— Ты для церкви работал теперь?

— Нет, — мотнул головой Ратмир. — Для тебя! — при этих словах он разжал кулак, и на его большой, мозолистой ладони Санда увидела маленький, искусно вырезанный крест. — Твои, я знаю, не дадут тебе носить его, но ты возьми, храни его!

Девочка с трепетом взяла крест и прижала его к груди. Некоторое время она молчала, а затем ответила серьезно:

— Нет. Я буду носить его. Я... хочу принять твою веру!

Радостью вспыхнули васильковые глаза, но и встревожились точно:

— Сандушка, да ведь они не простят тебе этого!

— Ну и пусть, — беззаботно ответила Санда. — Вы же с отцом живете. И труды рук ваших не отвергаются от того, что вы верите в Христа.

— А твоя семья? Ты готова лишиться ее?

Сжалось на мгновение сердце. Отец никогда не простит ей принятие чужой веры. А мать?.. Лишиться любви ее и ласки, причинить ей такое горе? Вот, сейчас готовит она угощения для скорого праздника и, должно быть, сердится, куда пропала ее непутевая дочь, почему не помогает ей. А еще тайком — Санда подсмотрела — шьет ей мать к Велен-молянцу новый сарафан, красный, как она всегда мечтала! Шьет и мечтает, как возрадуется подарку ее любимица. Даже слезы навернулись на глаза девочки при мысли о матери... Но она сдержала их, тряхнула головой, отменяя сомнения:

— Я готова, и я решила...

Легко быть решительной рядом с этим сильным и добрым пригожим отроком. Может ли быть у нее иной бог, нежели его, если сердце ее ему принадлежит и полнится счастьем, лишь когда он рядом? Две березы сплетенные — это ведь они: она, Санда, и Ратмир... Никли, звеня листвою, ветви к ним, благословляя и

сочувствуя. Никла льняная головка Санды к сильному плечу Ратмира... Вечер тихонько натягивал свой покров на опушку, выдыхал прохладу из невидимых уст. Давно пора было прощаться, но так хорошо было сидеть на траве у любимой березы и чувствовать, будто ничто не может разъять две жизни, подобно двум сплетенным узлом стволам.

* * *

Первого епископа в Ростов поставил еще киевский князь Владимир, заложивший здесь и первую церковь — Рождества Пресвятой Богородицы. С той поры епископы то являлись, то отсутствовали десятилетиями. Тяжко было им нести Божие слово в этих диких краях, выносить злобу местных племен. И даже защитить их было некому, сиротствовала земля ростовская без князя, лишь посланники его с дружиною являлись сюда за данью.

Когда прибыл в Ростов Леонтий, все думали, что недолго удержится и он. Но новый епископ оказался духом крепок и терпеливо сносил все унижения. Сколько раз бывал он бит, сколько оскорблений и наветов вынес! Во имя чего? Во имя спасения душ человеческих...

Стар был святитель годами, но крепок силами. Силам этим дивилась Санда. Откуда бы взяться им в этом почти прозрачном от непрерывных постов и молитв теле? Оно точно иссушено было, кажется, подует ветер и унесет. Но наперекор всем ветрам твердо стоял старец на земле, и веяло от него нерушимым спокойствием, верой в свою правоту, приветливостью ко всякому.

— Ну, здравствуй, радость моя! — приветствовал он Санду, когда привел ее к нему Ратмир. И в этом приветствии, действительно, была неподдельная сердечная радость. Она так и струилась из ласковых глаз старца, и все тонкое лицо его словно бы излучало свет.

— Кажется, что внутри него солнышко живет... — шепнула Санда Ратмиру, и тот улыбнулся в ответ.

Старец с солнечным лицом долго говорил с девочкой, как никогда и никто не говорил с нею прежде, как может говорить лишь самый-самый родной человек, самую душу твою видящий и бесконечно любящий.

— Батюшка, как же ты можешь любить людей, когда они тебя так жестоко обижают?

— Да ведь люди — те же дети. Можно ли обижаться на детей? О них скорбеть и молиться надо, их лукавый враг обманывает и мучит. А они, им мучимые, муку свою на мне, многогрешном, вымещают.

— Дети, батюшка, любят тебя.

— Это потому, что в них душа еще чиста, к свету и любви великую чуткость имеет. А чем взрослее человек, тем больше на душе коросты. И обид больше, а от обид злобы...

Никого не осуждал Леонтий, ни о ком не говорил худого слова. Жил зимой с окнами, выбитыми озлобленными людьми, но не простужался, словно и холода не ведал. Поняла Санда, от чего с таким восторгом говорил о старце Ратмир. Он и впрямь совсем не походил на тех кудесников, в ворожбу которых верили в здешних краях.

Дети собирались у Леонтия тайком, навлекая на себя гнев родителей, бывая биты за то. Старец учил их грамоте, рассказывал о Христе... А потом все вместе молились. Чудны были те молитвы! Санда почти не понимала их слов, но сам напев их наполнял душу

неизъяснимым восторгом. Молитвам учил ее сам Ратмир, который вместе с отцом сослужил Леонтию. И вскоре девочка вторила им уже вполне осознанно. Ее струйчатый голосок чрезвычайно украсил маленький хор.

Много дней миновало, пока старец благословил Санду принять святое крещение.

— Видел я, что пришла ты к нам не по Боге, но по человеку. Однако, теперь и Богу открылось сердце твое.

Все знал многотерпеливый старец Леонтий, все видел и понимал. Знал и потаенную мечту девичьего сердце, что однажды он обвенчает ее с тем, кого нет ей дороже во всем белом свете...

* * *

Все тайное однажды становится явным. Как ни таилась Санда от родных, улаживая удобные часы, чтобы посетить старца и увидеться с Ратмиром, а все же дознались о крещении ее. Еще не обсохли волосы после троекратного погружения, еще дрожало сердце волнением сделанного безвозвратного шага, когда грозный гомон голосов раздался у дома Леонтия.

В доме в тот час был лишь сам епископ, Санда, Ратмир с отцом, старуха Агафья, ставшая восприемницей девочки, и дюжина ребят, всегда окружавших старца.

— Открывай, змеиное отродье! Верни сей же час деву!

С ужасом узнала Санда голос отца. Тяжелая рука Шугаря уже стучала в дверь, грозя разломать ее в щепы. В окна полетели камни.

— Агафьюшка, прибери-ка деток, — ласково сказал Леонтий старухе с видом самым безмятежным.

— Открывай, коровье вымя!

— Айда сожгем проклятущего!

— Куда «сожгем»?! Там дети наши!

— Не наши уже это дети! Пусть станут жертвами богам! — бесновалась толпа снаружи. В окно видела Санда перекошенные злобой лица отца, братьев, дяди Елмаса, соседей.

— Сандушка, уйди лучше, — сказал Ратмир. — Схоронись вместе с детьми в подпол!

— Нет! — вскрикнула девочка, вдруг с ужасом представив, что может сделать эта толпа с ее суженым. — Я останусь с тобой и батюшкой Леонтием!

Треснула под ударами дверь бедного жилища, и Никита, получив безмолвное благословение старца, распахнул ее и первым вышел на крыльцо:

— Угломнитесь, безумные! — крикнул он своим зычным голосом, перекрывая им яростные вопли.

Но не тут-то было.

— Отойди, кожедуб! Отдай нам старца и верни нашу девку! — рявкнул Шугарь.

Брошенный кем-то камень ударил Никиту в плечо, но тот даже не вздрогнул.

— Остановитесь, братья! Почто хотите вы совершить злодейство?! Что сделал вам отец Леонтий?!

— Он отвращает от нас наших детей, а ты ему в том помощник! — был ответ, и в следующий миг тяжелый удар чьей-то дубины обрушился на голову кожедуба. Тот охнул и стал оседать на землю.

— Отец! — вскрикнул Ратмир, выхватывая нож. Но обезумевшая от страха Санда бросилась ему на шею, а старец отнял оружие.

— Оставайтесь здесь оба, — повелительно сказал Леонтий. — Я не позволю пролиться еще и вашей крови!

С этими словами он перекрестился и вышел навстречу разъяренной толпе. Яростный рев приветствовал его. В старца полетели камни, которые, казалось, должны были бы тотчас сокрушить хрупкое тело. Но Леонтий стоял непоколебимо и безмолвно, сложив на груди крестом свои худые руки. Он молился. И точно услышав эту молитву и желая вторить ей, из подпола раздался переливистый звон детских голосов, певших псалмы. Теперь ангельских хор соперничал с руганью бесовской...

А дальше случилось нечто, чего еще никто и никогда не видал в этих краях и далеко за их пределами. Окровавленное лицо мученика вдруг просияло, словно солнце, ослепительный свет стал исходить ото всей фигуры его. Это сияние было столь ярко, что люди не могли вынести его, не могли смотреть. Иные из них в ужасе бежали прочь, другие падали на колени, закрывая руками лица. А иные бились на земле в горьком отчаянии, ибо лишились зрения. Среди них был и отец Санды.

Наконец, небесный свет, исходивший от старца, погас. У его ног лежал бездыханный Никита, а у крыльца ползали, рыдая и прося пощады, несчастные слепцы. Ратмир с плачем бросился на труп отца. Санда не отходила от него ни на шаг. Всхлипывая сама, она ласково обнимала его, шепча слова утешения. Леонтий опустил руку на голову отрока, сказал мягко:

— Крепись, мой сын. Отец твой мученического венца сподобился, велика теперь честь ему в чертогах Господа нашего!

Осторожно вышли из дома дети с Агафьей.

— Батюшка, — запричитала старуха, — да ведь эти нехристи совсем изувечили тебя! Позволь омыть раны твои!

Леонтий и впрямь был жестоко изранен, весь покрыт ссадинами, белоснежные волосы его слиплись

от крови. Однако, отстранив Агафью, он покачал головой:

— Со мной после, матушка. Сперва должно помочь сим несчастным людям, — старец кивнул на рвущих на себе волосы от отчаяния слепцов.

— Да чем же им теперь поможешь? Покарал Бог злодеев, и поделом им!

— Господь наказует, Господь и прощает, — вздохнул Леонтий. — Принеси-ка масло наше, матушка.

Старуха повиновалась и вынесла из избы сосуд с освященным маслом.

— Детушки, — поманил старец своих воспитанников, — возьмите сей сосуд и смажьте слепцам очи, а я буду молиться, чтобы Господь отверз их.

Дети исполнили приказание возлюбленного наставника, и через считанные мгновения все слепцы вновь стали зрячими. Полубезумными от пережитого страха и радости вновь видеть дневной свет глазами озирались они вокруг себя и, пятась, уходили, с великой робостью глядя на высокую фигуру старца, крестящего их вослед.

— Колдун! Колдун! — слышались испуганные голоса.

— Несчастные, темные люди... — покачал головой Леонтий и, наконец, позволил Агафье отереть кровь со своего лица. После этого он вернулся к телу Никиты, опустился перед ним на колени, трижды земно поклонился, крестясь, а затем, возложив руки на головы застывших в горестном безмолвии Санды и Ратмира, произнес своим мягким, вкрадчивым голосом:

— Терпите, детушки, как Господь наш терпел. И друг друга держитесь. Вас Бог друг другу дал.

Последние дни весны выдались знойными и засушливыми, и после долгого перехода жадно припали кони к водам Стугны. Здесь надлежало сойтись русской рати с половецкими тьмами или же заключить с ними мир. В княжьем шатре опять которые⁵ шли, не доспорили князя в Киеве.

— Грозен враг, не совладать нам с ним, — говорил Мономах. — Братья, для чего губить нам людей наших? Остановимся здесь и попросим мира!

Мудр был сей молодой князь и любезен сердцу воеводы Яна Вышатича. С юных лет стяжал он общую любовь к себе. Богатырь телом, был князь Владимир первым и в охоте, и в деле ратном. Не раз уже отведали половцы его доблестной руки с разящим всех недругов Земли Русской мечом! Разя врагов, чурался Мономах распрей со своими сродниками, от которых много страдала Русь. Наделил Господь князя не только силой и отвагою, но и мудростью, душою праведной. Он был воздержан в еде и питии, на пирах самолично служил гостям своим, гнушался греховных забав и сребролюбия и имел большое попечение о монастырях и нищей братии, для которой никогда не скудела рука его.

Этому бы мужу разума и силы стоять теперь над прочими князьями! И мог бы он стать, когда бы захотел... После смерти отца своего, князя Всеволода, Мономах мог остаться на киевском столе, но вместо этого доброю волею покинул стольный град, удалясь в Чернигов.

— Если сяду на столе отца своего, то будет у меня война со Святополком, потому что этот стол был прежде отца его, — объяснял Владимир свое решение.

Горько было Яну, честью служившему князю Всеволоду и с колыбели знавшему его сыновей,

слышать эти слова, но и не мог воевода не отдать должного мудрости Мономаха. Князь не желал достигать стола ценой братоубийственной усобицы. Все силы прилагал он, чтобы, напротив, унять ее, внести мир в обширную семью Рюриковых потомков, стремясь к соблюдению установленных правил и прав каждого Рюриковича. Этому воина-миротворца любил не только Ян, но и весь Киев, вся Русь. Горевали киевляне, что уходит от них их возлюбленный князь, но подчинились воле его, приняв с радостью князя Святополка, прибывшего на княжение из Турова.

Вздорный сын вздорного отца, он не знал Киева и имел великую жажду поставить себя в нем, показать себя. Тщеславие князя раздувала и его молодая дружина, тотчас оттеснившая дружину старую, Всеволодову. Это они, щеняти несмышленные, надоумили его посадить в темницу половецких посланников. Дескать, негоже начинать княжение покупкою мира, данью поганым! Уронит это славу молодого князя! А князю, скупостью также в отца пошедшего, к тому и дани было жаль.

Посадить послов в темницу просто. Да только в ответ на это половцы двинули тьмы свои на Русь и осадили Торческ. Святополк испугался и отпустил послов, но уже не желали мира поганые на прежних условиях. Уговаривал Ян и другие дружинники всеволодовы принять условия новые, смириться до времени. Но куда там! Ратился князь с восьмьюстами отроками побить половцев!

— Хотя бы ты пристроил и восемь тысяч, так и то было бы только впору; наша земля оскудела от рати и от продаж: пошли-ка лучше к брату своему Владимиру, чтоб помог тебе, — сказал на то Ян.

Этого совета Святополк послушал. А Владимир, как добрый брат, хотя и супротив был похода, а пришел на подмогу со своими отроками, и брату Ростиславу велел

сделать то же. Но даже втроем слишком ничтожное число являли они пред вражескими полчищами. И теперь, в виду оных, в последний раз пытался Мономах образумить зарвавшегося Святополка:

— Видишь ты, брат, сколь неравны силы наши! Если разобьют нас здесь, то кто защитит затем Землю Русскую? Кто защитит Киев?

А щеняти лаяли звонко:

— Не слушай, князь! Хотим биться! Пойдем на ту сторону реки и побьем поганых!

И не стал слушать тщеславец мудрых советов, боясь понести урон в глазах своей дружины.

— Довольно котороваться! Раз пришли на бой, значит, надлежит биться!

Ранним утром выстроилось русское войско на берегу Стугны. С печалью глядел на него Ян Вышатич, предугадывая беду. Вспоминалось воеводе совсем другое утро, далекое, туманом времени подернутое.

Ему, Яну, идет пятнадцатый год, и вместе с братом Путятой и матерью они провожают в поход отца. Славный Вышата, внук Добрыни Никитича, дядьки Владимира — Красного Солнышка, отправлялся с войском за море, которовались о ту пору русские с греками, и хотел еще один славлюбивый князь, Владимир Ярославич, показать свою силу самому византийскому Василевсу. Ведь удалось это некогда Красному Солнышку! И не давала с той поры потомкам покоя слава его...

Плакала мать по Вышате, что по убитому. Да и у Яна с Путятой сердца дрожали. Хотелось обоим плыть с отцом за море Понтейское, добывать мечом славу родной земле! Да, вот, беда — не вошли в лета еще! И оставил их родитель при мамкином подоле, словно младенцев... И, как оказалось, счастливо сделал.

Неудачным оказался тот поход для русского войска, греки разбили его, а затем многие ладьи штормом

выбросило на берег. Вышата, хотя мог спастись на одном из уцелевших суден, в отличие от князя Владимира отказался от этого, сказав:

— Мое место с моею дружиною! Если жив буду, то с ними, а если умру, то с ними же!

Оставшись со своими людьми, воевода попал в плен к грекам и был ослеплен ими. Домой отец, слепой и состарившийся на добрых двадцать лет, вернулся лишь через три года. Ни слепота, ни пережитые испытания, однако, не сломили его. До конца своих дней Вышата был верным советником киевских князей и разделял с ними все их походы...

Протрубил горн в утренней звенящей тишине, ринулись полки через Стугну на другой берег... Половцы медлили, не шли навстречу, лишь осыпали стрелами наступающих. А когда русские вышли на берег и устремились вперед, захлопнули мышеловку — откуда ни возмись появившиеся с обеих сторон половецкие отряды закрыли путь к отступлению, отрезали гордое войско Святополка от Стугны!

— Ну, братцы, не посрадим имени русского! — крикнул Ян Вышатич, врубаясь мечом в половецкие тьмы.

В безнадежном деле сраму, как говаривал князь Святослав, не имут только мертвые. Но эта участь пока что не прельщала Вышатича. А потому бился он не без смысла, но торя путь назад к Стугне и ни на миг не выпуская из поля зрения Мономаха. Этот князь — надежда Руси — не имел права сгинуть из-за глупого тщеславия брата! Его, во что бы то ни стало, следовало выручить из этой западни!

— Ратмир! — крикнул Ян своему оруженосцу, храбравшему подле него. — Оставь меня и пробивайся к князю Владимиру!

Этот приказ не по нутру был молодому богатырю, бесконечно преданному воеводе, но нарушить его он не

посмел...

Истекающее кровью и потерявшее многих ратников русское войско сумело вырваться из половецких тисков к Стугне. Но переходить реку в строевом порядке и спастись в ее волнах от наседающего противника — совсем не одно и то же! Отчаянно ржали кони, не менее отчаянно кричали тонущие люди. Ян Вышатич, прикрывая княжеское отступление, с горсткой храбрецов сдерживал натиск половецких полчищ, обороняясь на все стороны света.

В какой-то миг он увидел страшное: посреди реки тонул вместе со своим несчастным конем князь Ростислав. Ранен ли был, или захватило бедолагу течением, а только из последних сил уже рвался он из норовящих поглотить его волн.

На помощь брату, забыв о наседавшем противнике, бросился Мономах. Знать, уверен был князь в богатырской силе своей, хватая Ростислава за протянутую в последней надежде руку. Но не тут-то было! Половецкая стрела настигла коня Владимира, и тот пал под ним, а самого его затащило водоворотом вслед за братом.

— Ратмир! Ратмир! — отчаянно взревел Ян Вышатич, с ужасом понимая, что сам находится слишком далеко, и ничем не может помочь тонущим князьям.

Вряд ли мог услышать оруженосец крик воеводы в громе сечи, но он, следуя приказу, был рядом и бросился на выручку князьям. Жестоко израненный в битве, Ратмир сумел пробиться к тонущим и, ухватив Мономаха за обе руки, втащил его на своего коня, сам спрыгнув в воду. Он бросился было на помощь Ростиславу, но было поздно, вода уже сомкнулась над головой несчастного князя. И в тот же миг половецкая стрела поразила отважного богатыря...

Мерно звонили колокола Успенской церкви. Печален был этот звон, плакали колокола по павшим в битве и угнанным в полон русским людям. И плакало в унисон им сердце оруженосца Ратмира. Очнувшись, он не сразу понял, где он. Показалось на миг, будто бы в избе епископа Леонтия... Но нет, это не изба была, а пещера. Пещера Печорской обители, которую при Ярославе Мудром основал пришедший с Афона монах Антоний... Здесь, в пещерах, подвизались вместе с ним ученики — Феодосий и Варлаам. Последнего при созидании монастыря затворник Антоний, удаляясь в дальние пещеры, поставил его первым игуменом...

— Слава Господу, ожил, — в полумраке разглядел Ратмир молодого монаха с тонким, красивым лицом, обрамленным густой русой бородой.

— Кто ты? — хрипло спросил оруженосец.

— Игумен обители сей, недостойный Варлаам, — ответил монах.

— А я как здесь?

— А тебя нашему попечению поручил отец, строго-настрога наказав, чтобы мы тебя отмолили и вылечили. Уж очень дорог ты его сердцу. Ты битву-то помнишь ли? Из реки тебя уже почти бездыханным вытащили. Хотели оставить: бежали-то шибко, позади поганые наседали... А отец не дал! На своего коня уложил тебя и до самого Киева вез.

У Ратмира путалось в голове:

— Отец? — непонимающе переспросил он.

Варлаам чуть улыбнулся:

— Воевода Ян Вышатич. Мой досточтимый родитель.

Подивился Ратмир. Давно уже служил он Вышатичу, был правой рукой его, а не знал, что почитаемый киевлянами подвижник игумен Варлаам — его сын. Вот,

стало быть, отчего столь часто бывает воевода в обители! Вот, откуда тесная дружба его с ее праведными насельниками! И сын — каков! Будучи отпрыском столь древнейшего рода, наследником первого в Киеве боярина, в какой бы славе и роскоши мог жить он! А вместо этого бросил все, чтобы в постах и лишениях подвизаться в пещере...

Светло и лучисто смотрели глаза монаха, и снова вспомнился незабвенный образ старца Леонтия...

— Мы с отцом Феодосием много молились о тебе, и вся братия. Ты спас князя Владимира, и он всякий день справлялся о тебе.

— Ростислава спасти не сумел... — вздохнул Ратмир.

— На все Божия воля.

— Что же, выходит, отче, я жить буду?

— Теперь уж непременно будешь, хотя от таких ран редкий богатырь поднимается.

— Жаль... — сорвалось с уст Ратмира. И хотя едва слышен был этот вздох измученного горем сердца, но Варлаам услышал. Игумен внимательно посмотрел на оруженосца и, сев подле него, заметил:

— Раны телесные не страшны тебе, иная рана тебя к могиле тянет... Ты эти дни бредил много. Много горя ты в своей душе заключил. Расскажи, легче станет.

— Не станет, отче, — покачал головой Ратмир.

— Ты в бреду своем все одно имя называл...

Оруженосец вздрогнул, сжал бессильно кулаки. Годы прошли, а неумемная боль и теперь ножом острым пронзила сердце. Выступили слезы от болезненной слабости...

— Епископ Леонтий завещал нам держаться друг друга, а я потерял ее, отче! Потерял! Она отреклась от всего мира ради меня, а я не смог ее защитить! Не смог спасти! И старца, наставника своего, также! И отца... И зачем после этого меня из Стугны вытаскивать? Лучше бы мне на дне ее остаться...

— Не гневи Бога, чадо. Что случилось с той девицей, о которой так скорбишь ты? Она умерла?

— Нет, отче, это было бы менее страшно... — отозвался Ратмир. — Мы должны были венчаться с нею. Но ее отец ненавидел христиан. Эту ненависть ничего не могло изменить, даже чудо, явленное ему святителем... Он собрал свою родню и друзей и ночью напал на дом старца, в котором в ту пору укрывались и мы. Они подожгли дом, отче! И убили владыку Леонтия. А ее... увезли...

— Что же было с тобой?

— А я, проклятый, уцелел. Они избили меня, жестоко, и бросили. Думали, видно, что я уже мертв. А я, как теперь, зачем-то ожил... Ожил, чтобы узнать, что мою невесту тою же ночью силой отдали в жены богатому вдовцу, известному своим свирепым нравом и до смерти забившему свою первую жену! — лицо Ратмира передернуло судорогой. — Что я мог сделать, отче? Я хотел бы убить их всех. Но я был один... Один! Один! И не имел даже меча... Я мог бы сжечь их дом, даже всю деревню, я даже представлял себе это! Но тогда бы погибла и она... Хотя, может быть, для нее это было бы лучше, чем ад, на который обрекли ее. А еще в деревне были дети, которые не были виноваты ни в чем. Как же я мог отнять и их жизни?

— Мечь... недостойна христианина. И сам Бог уберег тебя от великого греха.

— Бог не уберег ее от мук, которых она не заслужила! — воскликнул Ратмир и осекся. — Прости, отче... Мне трудно, невозможно смириться... Тогда я несколько недель бродил по лесам, как безумный, как дикий зверь. А потом нечаянно встретил на дороге офеней⁶. Они меня пожалели и взяли с собой. С ними я пришел в Киев и решил поступить на княжескую службу. Тут мне улыбнулось счастье, твой отец отметил

меня и взял под свое начало. С той поры никого нет у меня на земле, кроме него... — оруженосец перевел дух и, не желая дальше ворошить горькие воспоминания, спросил: — Скажи, отче, почему имея такого отца, ты не пошел по его стопам? Твой прадед добывал стол для Ярослава, о прапрадеде Добрыне доселе слагают песни странствующие гусли... Тебе на роду было написано продолжать их стезю. И телом ты кажешься крепок. Зачем же ты здесь?

— Господь позвал меня, и я не мог ослушаться, — ответил игумен.

— Твой отец также верит в Бога, но это не мешает его ратной службе.

— У всякого своя служба и своя рать. Вся земля наша от грехов, от жестокостей, от обид терзается. Кто-то должен отмаливать их... Язычники приносят своим идолам скот, снедь, иные — людей. А мы, христиане, себя. Наш уход от мира, наше отречение от земных страстей — это наша жертва Богу. За все то зло, которое свершается, и которому не в силах мы помешать нашими слабыми руками, даже если в них есть меч... Но, поверь мне, чадо, нет жертвы более сладостной!

Гулкие шаги прервали речь монаха.

— А, вот, и отец, — улыбнулся он, узнав быстрюю, решительную поступь родителя.

Через мгновение Ян Вышатич, пригнувшись, уже входил в келью. Отец и сын взаимно приветствовали друг друга земными поклонами. Они похожи были, оба рослые, красивые. Только сын, живущий с отроческих лет в постах и молитвах, тоньше, суше. Отец выглядел более могучим и статным, и лицо его было обветрено, изрубцовано морщинами и полученными в сражениях шрамами, не портящими, впрочем, благородной красоты его. Темные волосы Вышатича были еще едва тронуты

сединай и густы, старость явно не торопилась подчинить себе отважного воеводу.

— Рад видеть тебя живым, дружище! — радостно приветствовал Ратмира Ян. — Что, долго ли ты полагаешь еще оставаться на своем одре?

— Я поднимусь с него, как только понадобится твоей милости! — отозвался оруженосец, чья угнетенная тяжелыми воспоминаниями душа сразу воспрянула при виде своего господина.

— Считай, что уже понадобился, — ответил Вышатич и, заметив попытку Ратмира встать, поднял руку: — Ну-ну! Не сей же час! Денек-другой можешь еще поднабраться сил в этих душеспасительных стенах. А затем нас ждет дальний путь!

— Неужто новый поход?

— В каком-то смысле... В родные края твои поедем, в ростовскую землю.

Вздрогнул Ратмир:

— Для какой же надобности?

— Для двух сразу, сын мой. Князь Святополк, получив по заговору за свою гордыню, ныне весьма смирил ее и заключает с половцами мир.

Оруженосец не сдержал досады:

— Который теперь будет позорен трижды!

— Обожди! Мы еще поставим половецких собак на место, всему свое время. А пока нам нужен мир, чтобы собраться с силами. А для мира нужен выкуп. Поэтому мы едем собирать дань.

— Не самое веселое занятие...

— Ты прав, — кивнул Вышатич. — Но не горюй, будет тебе занятие и повеселее. Грамота пришла из краев твоих. Пишут оттуда, будто завелись там какие-то злодеи, что под видом волхвов избивают насмерть баб, чтобы забрать их имущество. Многих уже побили.

— Страсти-то какие, Господи помилуй! — перекрестился Варлаам.

— Так что ж самих их не побьют? Родственники этих баб? — удивился Ратмир.

— Тут, видишь ли, дело сложнее. За разбойниками теми беднота гурьбой идет, с которой они добычею делятся. Иных подробностей не ведаю! Как раз за тем и поедем, чтобы разобраться, что там за бесовщина (прости Господи!) творится, да и унять ее. Не то эти волхвы больших бед понаделают! Ну, так что, готов ли ты ехать со мной? Или раны твои требуют покоя?

— Он еще очень слаб для походов, — покачал головой игумен.

— Сегодня, пожалуй, — согласился оруженосец. — Но его милость сказал, что день-другой у меня еще есть. А на третий я буду готов следовать за ним хоть на другой конец света.

— Люблю тебя за такой ответ! — довольно воскликнул воевода. — Крепись, дружище! Скоро наведем мы порядок в твоей отчине, так что вся нечисть прочь разбежится!

— И да поможет вам Бог! — благословил отца Варлаам.

* * *

Чем ближе к родной глуши, тем тоскливее сердцу... Эти гиблые для человека дремучие леса и болота снились Ратмиру в стольном Киеве — иной раз кошмарами мучительными, другой — ясным видением детства. Детства, в котором ходили они с матерью в чащобы по грибы да ягоды, не боясь ни лесной нечисти, ни лютого зверя. Это она, незабвенная родительница, научила сына слышать и понимать лес. В самую глушь мог уйти он и не потеряться, найти обратный путь. Лес

был ему домом, не страшил, а укрывал своими хвойными лапами от опасностей...

— Верно ли, что ты всякого зверя заговорить можешь? — спросил Ян Вышатич, когда дорога окончательно сделалась похожа на звериную тропу.

— Ты видел, что кони послушливы мне, даже дикие и необъезженные, — отозвался Ратмир.

— Конь не зверь, — улыбнулся воевода, похлопав по шее своего прекрасного белого скакуна. — Конь почти человек...

— В детстве случалось мне в лесу встречать медведя, расходились миром.

— А волков случалось встречать?

— Случалось и волков. Конь лучше человека, воевода... А человек злее волка. Моя мать со всяким зверем умела ладить, научила тому и меня. Так что, если встретятся нам волки, я, пожалуй, лучше сговорюсь с ними, чем наши князья меж собою, а наши послы с половцами.

Хохотнули ехавшие рядом дружинники этой шутке. Улыбнулся и Ян, одобрительно хлопнув по плечу верного оруженосца. Дорога, по которой ехал их отряд, наконец вырвалась из чащобы на широкий простор. Эти края уже совсем хорошо были знакомы Ратмиру — здесь вырос он, здесь прошло его отрочество, здесь потерял он всех, кого любил.

Внезапно на дорогу, чуть не под копыта лошадей, выбежала девочка лет восьми. Вздрыбился конь оруженосца, едва-едва удержал он его, чтобы не затоптал ребенка. Отряд остановился. Насмерть перепуганная девочка, упав на колени, плакала навзрыд, и лишь одно слово можно было разобрать в ее рыданиях:

— Спасите!

Ратмир соскочил с коня и поднял ребенка на руки:

— Что с тобой, милушка моя? Кто тебя напугал-обидел?

— Там... — девочка показала рукой в сторону едва видневшейся за полем деревни. — Матушку убить хотят! Спасите!

Ратмир взглянул на воеводу. Тот нахмурился:

— А ну-ка возьми людей и поезжай с нею, разберись, кто там кого убивает. Может статься, что это наши разбойники.

Оруженосец вскочил на коня и, посадив девочку перед собой, сделал знак дружинникам следовать за собой. Внезапно он заметил, выпавший из-под рубашонки ребенка крестик. Девочка была христианкой! Еще мгновение, и словно огнем опалило сердце...

— Откуда у тебя этот крест? — хрипло спросил Ратмир. Работу рук своих он узнал бы из тысячи других... Ему хотелось закричать, но он боялся испугать девочку.

— Матушка надела... — робко отозвалась та.

В глазах оруженосца потемнело и он, пришпорив коня, помчался к деревне прямо через поле, срезая так длинный кружной путь. Дюжина ратников следовала за ним.

Когда отряд въехал в село, то несколько оборванцев, заголосив, бросились врассыпную. Ратмир тотчас заметил уже выехавшие за околицу и быстро удаляющиеся прочь повозки, едва различимые в поднятых клубах пыли.

— Преследуйте их! — велел он ратникам, и те бросились догонять подозрительный караван.

— Где твой дом?! — обратился оруженосец к девочке, и так указала богатую избу выше по улице. То, что в это жилище совсем недавно пришла беда, было видно сразу. Ворота были настезь распахнуты, а дверь сорвана с петель...

— Матушка! — жалобно вскрикнула девочка и, спрыгнув на землю, бросилась в избу. Ратмир, не помня себя от тревоги, последовал за ней. Он еще не мог, не хотел верить страшной догадке, невозможному совпадению... Истошный визг ребенка возвестил о несчастье. Ворвавшись в горницу, оруженосец увидел лежавшую в крови женщину, которую злодеи ударили ножом в спину. Над ней голосила, ломая руки, девочка.

Ратмир, содрогаясь, склонился над женщиной, перевернул ее и отчаянно взвыл, ударив кулаками о пол и до крови рассадив их. Это была Санда, его Санда...

— Нет! Нет! Господи, Ты не можешь отнять ее второй раз! — возопил оруженосец. — Возьми мою душу, слышишь?! Предай меня вечной муке, но спаси ее!

Девочка испуганно затихла и попятилась в угол от странного и страшного в своем отчаянии человека, звавшего то ее мать, то Бога...

Вдруг едва уловимый стон слетел с уст Санды. Ратмир на миг замер, боясь, что ему почудилось. Но нет, несчастная еще дышала... Быстро подхватив ее на руки, оруженосец выбежал из дома. К воротам его как раз подъезжал отряд во главе с Яном Вышатичем. Ехал в отряде и поп Афанасий, служивший ратникам также за лекаря. Ратмир бросился прямо к нему:

— Отче, Христом Богом заклинаю, спаси ее! — крикнул он. — Не спасешь — мою душу адскому пламени обречешь, навеки-вечные погубишь!

— Окстись, — хмуро отозвался Афанасий, слезая с седла. — Бог спасает, а не я, грешный. Неси-ка ты ее в дом, а я, что сумею, сделаю.

Ратмир отнес Санду назад, уложил на постель. Поп, меж тем, поманил к себе девочку:

— Тебя как звать, радость моя?

— Агафьей...

— Хорошее имя. Значит, Агаша, будешь мне сейчас пособлять матушку лечить. Справишься?

Девочка кивнула.

— А ты, молодец, — обратился поп к Ратмиру, — уйди отсюда. Нечего тебе здесь делать.

— Но...

— Ступай. Ты воеводе надобен, — твердо повторил Афанасий.

Оруженосец понуро вышел из избы. Вышатич встретил его понимающим взглядом:

— Обожди отчаиваться, — сказал отчески. — Бог не без милости, а отец Афанасий не без дара. Глядишь, выживет зазноба твоя. А пока сделай милость, приди в себя. Нам этих злодеев, во что бы то ни стало, теперь разыскать и изловить должно. Ратники наши не догнали их, они ушли в леса, а в лесах этих ты один только все тропы знаешь.

Вскинул Ратмир голову, приливом ненависти взнуданный:

— Из-под земли достану сатанинское отродье! Клянусь тебе!

* * *

Ян Вышатич не любил попусту тратить время. Из допросов перепуганных местных жителей удалось выяснить полную картину происходивших злодейств. Двое разбойников, принявших обличие здешних жрецов, янбеда и париндяита, объявили, что голод постиг залесский край от того, что зажиточные бабы стали скрывать жертвенные дары, оставляя их себе. В доказательство этому они распарывали обвиненным женщинам спины и как будто бы из них извлекали муку, рыбу и прочую снедь. Дикий и голодный люд верил

этому обману тем охотнее, что злодеи делились с ним имуществом убитых.

Санда, рано оставшаяся вдовой, унаследовала богатое имение мужа, и это-то послужило приходу к ней «волхвов». Заступить за несчастную было некому. Ее и без того недолюбливали многие односельчане, так как держалась она независимо, обрядов не соблюдала и исповедовала «греческого бога». Когда разбойники стали ломиться в дом Санды, она успела выпустить дочь в окно, велев бежать прочь...

Ратмиру удалось изловить нескольких оборванцев из шайки «волхвов» и под ударами кнута они выдали укывище своих подельников.

— Превосходно, — усмехнулся воевода, взяв топорик. — Пойду потолкую со жрецами вашими.

— Не должно тебе, воевода, одному идти! — воскликнул Ратмир. — Их много, а ты один! Чего доброго, убьют тебя! Я с тобой пойду!

— И я пойду, — присоединился отец Афанасий. — Се брань духовная, и мне при ней быть надлежит.

Тотчас и другие дружинники вызвались идти с воеводою «на волхвов».

— Добро, — согласился Вышатич, — пойдем соборно.

— Отчего же ты не берешь свой меч? — спросил оруженосец.

— Сын, меч — оружие доблестное и славное, не годится марать его о сброд вроде этого. С них довольно будет и топора.

К разбойничьему укывищу Ратмир показал бы путь и без проводника. Было оно у чертова омота, куда издавна остерегали матери ходить детей, пугая их живущей там нечистью. Так и стало преданье злою былью.

Врасплох злодеев застать не удалось, не так глупы были они и на подступах к своему лежбищу выставили дозорных. Те, вскарабкавшись на высокие ели, издали

рассмотрели противника, и пронзительный свист раздался в чаще. Тотчас ожила, зашевелилась она. Хотели удрать разбойники, да не успели, вывел свой отряд наперерез им Ратмир. Он, преданий не боявшийся, на тот чертов омут не раз бегал в малолетстве — ягоды на нем особенно сладки и сочны бывали. Потому всякая тропинка была ему знакома лучше, чем проводникам.

Закипел бой в зверином царстве, с испугом смотрели лесные жители, как с рыком и ревом били друг друга люди. Чья-то проклятая рука ударила деревянным колом в грудь отца Афанасия. Даже перекреститься не успел праведный муж, так и отдал Богу душу, не охнув.

Многих злодеев побили у омута, да, вот, беда — не оказалось среди них главных разбойников. Ушли жрецы кровавые! Эта неудача вкупе с гибелью отважного пастыря страшно разгневала Вышатича. Уцелевшие злодеи знали немного и даже под кнутом могли сказать лишь, что волхвы до Белого озера собирались податься, по Шексне-реке.

Двинулся и воевода по Шексне, усадив дружину в ладьи. День шли, другой, третий, а ни следа волхвиного! И жители местные — все, как один, головами качают: не знаем, мол, не ведаем. Так и поверил Вышатич этому неведению!

— Перепороть всех, так расскажут, где злодеев искать! — в сердцах говорил Ратмир, томившийся неведением об оставленной при смерти и без лекаря зазнобе.

Воевода чувства своего оруженосца хорошо понимал. Он отечески любил этого удалого молодца и разделял и скорбь его, и ярость. Однако, ярость может позволить себе оруженосец, а не посланник княжеский, воевода киевский.

— Есть средство мудрее, чем шкуры драть, — отвечал он.

Расположившись станом у Шексны, Вышатич велел собрать к нему набольших людей из местных жителей. Когда тех, немало встревоженных, привели, воевода невозмутимо осведомился:

— Стало быть, где злодеев искать вы не знаете?

— Не знаем, батюшка! Откуда же нам знать?

— В таком случае я и моя дружина станем у вас на кормление на всю зиму и дольше, покуда вы не сыщите мне кровопийц-волхвов!

— Смилуйся, батюшка! Мы ведь и дань князю с великим трудом собрали! Сам видишь, какой неурожай постиг нас этот год! Где же нам твою дружину прокормить?

— Уж это ваша забота, — отрезал воевода. — А моя — злодеев изловить!

Расчет оказался верным. Страх, что придется целый год кормить княжескую рать, возымел чудодейственное влияние на память местных жителей. Три дня спустя те же набольшие люди, вооруженные кольями и топорами, привели к шатру Вышатича двух связанных разбойников:

— Гляди, воевода, мы исполнили волю твоей милости и сыскали злодеев!

На что только ни пойдут люди, чтобы избавиться от тяжкого оброка... Могли, пожалуй, и первых встречных бродяг притащить? Чтобы избежать обмана, воевода решил допросить «волхвов» самолично. Те, порядком побитые, зло глядели исподлобья, и во взгляде их не было страха, но одна лишь ненависть...

— Чего ради погубили вы столько людей? — спросил Ян.

— Они держат запасы, и если истребим их, будет изобилие! — воскликнул старший из двух злодеев. —

Прикажи, и мы пред тобою вынем жито, или рыбу, или что другое!

Вышатич поморщился от наглой попытки оморочить даже его, киевского воеводу:

— Поистине ложь это; сотворил Бог человека из земли, составлен он из костей и жил кровяных, и нет в нем больше ничего!

— Мы знаем, как человек сотворен, — отвечал на это «волхв».

— И как же?

— Бог мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека. И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, в землю идет тело, а душа к Богу.

— И какому же богу веруете вы? — нахмурился Ян.

— Антихристу! — воскликнул разбойник, глаза которого блеснули какой-то жестокой радостью.

— И где же он?

— Сидит в бездне.

— Что же это за бог, коли он сидит в бездне? — усмехнулся Вышатич. — Это бес, а Бог на небесах, восседает на престоле, славимый ангелами.

— Говорят нам наши боги: не можешь нам сделать ничего! — подал голос младший «волхв», чьего лица почти нельзя было разобрать под спутанными волосами.

— Лгут вам ваши боги, — сказал воевода и велел державшим разбойников смердам: — Ну-ка, отходите-ка хорошенько этих нечестивцев и вырвите им бороды!

Вопли и проклятья огласили стан Вышатича, когда посыпались удары на злодеев, а расщепы принялись драть клочья из их косматых бород.

— Ну, — обратился к ним воевода, — что же вам теперь молвят боги?

— Чтобы встать нам перед князем, а не перед тобой!

— Смотри-ка, — усмехнулся Ян. — Княжий посланник для них уже маловата сошка!

— Если твоя милость позволит, я... — начал с гневной дрожью в голосе Ратмир, но Вышатич остановил его:

— Сын, не марай своих рук. Они получают свое и без этого, — сказав так, он сделал знак стоящим подле ратникам: — Привяжите злодеев к мачте!

«Волхвов» привязали к мачте ладьи и пустили ее по реке. Отряд Вышатича во главе с ним шел теперь по берегу. С окрестных сел собирались люди — посмотреть на расправу. Иные из них громко выкрикивали проклятья — это были родичи убитых женщин.

Поход продолжался до самого устья Шексны. За это время подвешенные к мачте разбойники измучились настолько, что едва могли говорить. Ян шагнул в ладью и, подняв голову, окликнул их:

— Что же вам теперь ваши боги молвят?

— Так нам боги молвят: не быть нам живым от тебя, — прошелестело сверху.

— Вот это-то они вам правду поведали! — кивнул воевода и обратился к собравшимся на берегу смердам. — Что, есть среди вас кто-нибудь, у кого эти двое убили родных?

— Они убили мою мать! — крикнул кто-то.

— И мою сестру!

— И мою дочь!..

— Ну, так поступайте же с ними по воле вашей! — разрешил Вышатич, сходя на землю.

* * *

Ранней осенью особенный свет от березовой плоти исходит, и тишина в лесу необычайная, священная

тишина, тишина таинства предуготовления к скорому ледяному савану... Чист и прозрачен воздух, чисты мысли леса. И даже звуком, словом не хочется нарушать этот дивный покой. Да и к чему нарушать его? К чему все слова, когда сомкнуты руки, когда никнет голова к надежному плечу...

Словно страшный зыбкий морок рассеялся, словно створки затхлого, грязного от мышьяди чулана открылись настежь, впуская солнечный день. И так ослепителен свет, что и больно, и страшно глазам, привыкшим различать лишь тьму и сумрак.

Ей сказали тогда, что он убит... Что самое тело его растерзано зверями. Как она не умерла тогда? Не сошла с ума? Лишь голос ее, ручьистый голос, бывший радостью всех праздников, пропал. Два года не произносила Санда ни слова, чем приводила в бешенство мужа, которым покарал ее родитель. Речь вернулась к ней лишь с рождением дочери. Крестить ее было некому, да и муж не позволил бы. Агафья или Асапа, как называли ее в семье, стала единственным утешением Санды, ради дочери она сносила все издевательства мужа.

Впрочем, недолго дано ему было куражиться над нею. Прошло по окрестностям дурное поветрие и поморило много людей. Унесло оно и мужа Санды, и отца с дядькою, и брата... А ее с дочерью не тронула зараза, обошла стороной, и осталась она богатою вдовою. С той поры потекла жизнь размеренная, спокойная. Для тяжелой работы нанимала Санда людей, лишнего не копила, но и пеклась, чтобы не оказаться с дочерью в бедствии. Две скорби тяготили сердце ее: нельзя было надолго оставить дом и хозяйство, чтобы крестить Агафью, и тяжело было жить вдвоем, не видя друзей среди соседей. Не раз думала Санда продать все имущество и податься в Новгород или даже Киев. Но женщине одной нелегко поднять такое дело!

И, вот, пришла беда... Уже наслышана была Санда о разбойниках, морочащих голодный люд, а потому, когда нагрянули они, тотчас поняла — погибель надвигается! И не одни они пришли, а с изрядной шайкой, в которой узнала Санда своих же работников. Знать, они и нашептали злодеям, что хозяйка большие запасы прячет!

Погибель обернулась чудом. Подумала Санда, любимые синие глаза увидев, что в раю очнулась. Но, если и рай это был, то земной.

— Горлинка моя, радость, ты живи только, а я больше никогда не оставлю тебя! От любой беды защитить сумею! Прости, что раньше не умел защитить...

Нет уже прежнего отрока, а есть муж, в битвах закаленный, правая рука киевского воеводы. А глаза — те же... Озера лесные, из которых светлые ручьи бегут теперь, в русой бороде, как в заросли, исчезая... И вихры непокорные, на лоб, темной тесьмой перехваченный, спадающие — те же. Так хотелось всегда пригладить рукою их...

Так они встретились вновь — точно из мертвых воскресшие. А ныне, как почувствовала Санда довольно сил в себе, пришли на свое место — на опушку, к березе, стволами сплетшейся. Ратмир бережно укутал ее своим плащом и долго-долго сидели они, прислонясь спинами к старому дереву, как бывало прежде.

— Знаешь, пусть это и не в нашей вере, но все-таки у деревьев есть душа... Это дерево, все эти годы оно одно понимало меня и жалело. И только его мне будет не хватать, когда мы уедем. Мы должны были проститься с ним.

Ратмир ласково поцеловал Санду в лоб:

— Конечно, должны. Кто знает, может быть, оно, действительно, имеет душу... Мы будем помнить его. А

все прочее забудем... Скоро мы будем в Киеве, и игумен Варлаам обвенчает нас.

Санда тихонько заплакала, все еще боясь поверить такому великому счастью после всех пережитых мук.

— Ратмир! Ратмир! — раздался тоненький голосок.

На опушку выбежала Агафья и, увидев наконец мать и ее спасителя, устремилась к ним:

— Ратмир! Тебя воевода ищет! Отряд уже выступает!

Совсем потерялось чувство времени под золотистыми благословляющими сводами! Присели ненадолго, по обычаю — на дорожку, а засиделись так, что едва дорогу не забыли!

Когда Ратмир и Санда вышли из леса, Ян Вышатич уже сидел в седле, нетерпеливо теребя повод и выглядывая зорким взором своего запропавшего оруженосца. Ждала его и вся дружина, и две оседланные лошади.

— Просим твою милость простить нас! — поклонился Ратмир воеводе.

— Бог простит, — откликнулся тот. — Все в сборе наконец-то! В путь же!

Подбежавшая Агафья робко коснулась его стремени.

— Тебе что, красавица моя? — ласково спросил Ян Вышатич.

— Можно я поеду с тобой? На твоей лошади? — спросила девочка. Белоснежный конь вызывал в детской душе неизъяснимый восторг. А добродушие старого воина привязало ее к нему.

Воевода рассмеялся и, одной рукой подхватив Агафью, усадил ее перед собой:

— Нашла пропащих наших, выполнила приказ мой — получай заслуженную награду!

Санда счастливо посмотрела на дочь и с помощью Ратмира забралась на приготовленную для нее лошадь.

Прежде ей не приходилось ездить верхом, но рядом был Ратмир, а, значит, бояться больше нечего! Тронулись кони вперед, застучали копыта по еще не размытой осенними ливнями дороге. Отряд Яна Вышатича возвращался в Киев.

Боголюбивый князь (Праведный князь Андрей Боголюбский)

По юному князю скорбел весь Владимир. Когда погребали его казалось, что, как единое целое, зашелся город в плаче. Глеба народ любил. Да и как было не любить отрока чистого, в молитвах и делах милосердия дни проводившего? Ангелом он был да и только. Оттого, знать, и призвал Господь так рано в чертоги свои, чтобы сберечь ангельскую душу, не отдать миру на растление и пагубу.

Младшего сына Андрей любил особенно, в нем он, как в водной глади, видел самого себя. Не нынешнего, кровью невинной оскверненного, в распрях пустых образ Божий исказившего, а такого же отрока светлоокого, еще зла не ведавшего и не земного, а одного лишь Небесного царствия чаявшего.

Мать его, дочь половецкого князя Аепы, приняв Христа, ревностна была в вере своей. В этом Андрей ей последовал. Он уже в самые нежные лета знал и Писание, и все уставы церковные, и службы. И не только знал, но и соблюдал истово. С сердечным умилением пел он псалмы и акафисты, сам сочинял духовные стихиры и иной раз грезил о том, чтобы затвориться в монастыре подальше от мирских соблазнов. Покой и скромная красота Залесской Руси особенно настраивали на созерцательный лад. Владимир-на-Клязьме едва только строился, став меньшим братом Суздалю и Ростову, но прикипела душа юного князя к этому неименитому городу, как к колыбели родной, как к образу матери, как к отчому дому. В этих лесах охотился он, в этих заливных лугах

бегал босой и часами скакал верхом, уже трех лет вскочив в седло, в слюдяных водах Клязьмы рыбарил с посадскими ребятами.

Детство! Безмятежно и счастливо было оно вдали от бурь житейских. Мысли о служении Богу были в Андрее столь сильны, что, едва войдя в силу, испросил он благословения отца и матери в дальний путь — на Святую Землю. Дотоле ни один из князей русских не бывал там, добираясь лишь до Константинополя — сердца церковной власти и символа земного могущества. Но ни могущества искал тогда юный князь, а Христа и своего пути по Нем.

Князю Юрию, воителю и строителю, ратящемуся с братьями и дядьями за первенство в княжении, сыновняя блажь не по нутру была.

— Чего доброго, пропадешь еще в дальнем краю!

— На все Божия воля, — отвечал Андрей, понимая, что отец не «пропажи» сына боится (силен и ловок был юный князь, и тяготы и опасности пути не в страх ему были), а того, что покорит его Святая Земля, и останется он в ее пещерах служить сладчайшему Иисусу.

Мать плакала по нем, как по мертвому, но все же благословила. Более он уже не увидел ее. Упокоилась княгиня Мария, горюя по сыну, пока был он в далеких странствиях.

Стоя над гробом Глеба, так удивительно на него похожего, Андрей вспоминал Иерусалим. Дивно было видеть это чудо! Ведь одно дело читать о нем в святых книгах, словно бы некое предание, а другое — видеть, осязать! Вот здесь, по этой земле ступал своими пречистыми ногами Спаситель мира! На нее капали пот и кровь его... И хотелось пасть ниц и целовать эти камни, этот прах несчетное число раз! А, вот, и храм... И Гроб Господень... Не одну ночь провел Андрей у этого гроба, орошая его слезами и моля об указании пути.

Что если бы он остался тогда там? Бури житейские уже не коснулись бы его, не источили души своей злобой... Он остался бы таким же, каким лежал теперь перед ним его бездыханный сын.

Но не то стремление явилось тогда в князе в иерусалимской пещере. Оттуда с необычайной остротой привиделась ему оставленная отчая земля. Владимир, Суздаль, Ростов... Вся Русь — такая необъятная и такая неустроенная! Неужели не заслужила она лучшей доли? Не заслужила стать Иерусалимом новым? Христовой землей и уделом его Пречистой Матери? В устройении, просвещении и наряде нуждается Русь, и тогда быть ей великой в очах Божиих и иных народов! Быть образом Святой Земли...

Эта мечта так потрясла и вдохновила юного князя, что он уже не мог отстать от нее. Мысли о монашестве еще не покинули его души, но уже знал он точно, что место его не здесь, подле Гроба Господня, а в родных пенатах, где многие люди, целые племена еще только ждут Христовой вести.

Глеба похоронили в Успенском соборе — дивном храме, выстроенном Андреем в своем любимом городе. «Белокаменная царица» — так называли его восхищенные люди. Не было еще на Руси храма столь величественного, и новгородский, и киевский Софийские соборы уступали ему.

Народ неподдельно горевал, и на этом фоне особенно разительно было видимое равнодушие матери внезапно усопшего юноши. Ее даже в эти лета не утратившее красоты лицо не выражало никаких чувств. Губы поджаты, глаза сосредоточены и не глядят ни на кого. А в глазах этих — злоба, неистребимая, невыразимая... Неужто и на младшего сына перенесла она ее, как на любимца мужа, каждой чертой своей напоминающего его?

Взял грех на душу отец, князь Юрий, после смерти своей половчанки. Подобно Давиду-царю пожелал жены своего боярина. Да и не только жены, но и земли его. Владения боярина Кучки куда как славно подходили для строительства нового города. Место и впрямь было отменным! Андрей, наделенный даром зодчего, сразу оценил его, и город, заложенный при отце, теперь возрастал там и укреплялся, нареченный Москвою. А боярина Кучку князь Юрий казнил. Остались у боярина три сына и дочь, красавица Улита. Недобр был день, когда по возвращении из дальних странствий впервые увидел ее Андрей. Кто она, он не знал тогда.

В тот день, проведя утро в охоте с несколькими отроками, князь отдыхал на берегу реки, предоставив коню утолять жажду. Жаром полыхало полуденное солнце, но в лесной тени не чувствовалось зноя. Дышал лес смолистым, ладанным духом, и легкий ветер освежал разгоряченного охотой князя. Недолго думая, Андрей снял сапоги, рубаху и пояс и бросился в реку, радостно предавая тело ее бодрящим объятиям. Вынырнув на поверхность, он заметил на берегу пригожую девицу. Мелькнуло суеверное: уж не русалка ли явилась защекотать доброго молодца? Хотел было перекреститься, да смутился — экий вздор придет же в голову, а еще христианин!

Девица, меж тем, отвернулась и пошла по тропинке в лес. Все лепо было в ней! И плавность царственной осанки, и до самых колен спадающая смоляная коса в мужескую руку толщиной, и удивительная белизна, нежность кожи... Андрей быстро выскочил на берег и, одевшись, поспешил за приворожившим его видением. Он никогда еще не видел подобной красоты. Ни одна женщина не успела доселе тронуть его сердца. А тут, словно околдованный, последовал за ней...

— Поздорову ли живешь, боярышня? Прости, коли напугал невзначай!

— Прости, если и я помешала тебе, витязь!

Глубокий, грудной голос странным образом сочетался с совсем еще юным лицом. Станным было и лицо это — белое, продолговатое, гордое, совсем не детское в столь нежные годы... Гордости много было в этом лице! В царственной посадке головы, в высоком челе и всегда чуть поджатых губах. И в глазах! Два омута — темных, как ночь, каким огнем умели гореть они, какие молнии извергать! В тот миг Андрей еще не знал об этом. В тот миг он просто тонул в этих омутах, удивляясь собственному душевному смятению.

— Как звать тебя, боярышня?

— Улитюю.

— Меня — Андреем.

— Андрей? Мужественный, значит?

— Да, так переводится мое имя. Ты разве знаешь греческий?

— Отец много учил меня.

Андрею, в совершенстве знавшему шесть языков, это понравилось.

— А кто же твой отец?

Лицо девицы омрачилось:

— Он погиб, — проронила она, и впервые вспыхнули пугающим огнем ее черные глаза.

— Царствие Небесное ему, — Андрей перекрестился. — Это от того ты так печальна?

Скорбное выражение лица юной красавицы сразу бросилось ему в глаза, эта скорбь делала ее еще прекраснее.

— Да, витязь. Я очень любила моего отца, и мне не хватает его. Поэтому я уйду в лес, чтобы одной поплакать о нем. Прости, мне пора возвращаться домой. Братья, должно быть, уже хватились меня.

— Я хотел бы вновь увидеть тебя, боярышня!

— Приходи вновь и увидишь, — был ответ.

На другое утро он снова ждал ее на берегу, ждал не с пустыми руками, но с княжьем подарком. Из дальних краев привез он матери богатый платок, шитый жемчугами и бисером, но княгиня Мария не дождалась сыновнего гостинца, и теперь покрыл он плечи красавицы Улиты. Зарделись щеки боярышни, видно было, что по душе пришелся ей богатый дар. Но вновь торопилась она уходить, вновь ничего не сказала о себе, не сказала и где искать ее. Точно и впрямь русалка или лесовуха, а не дева из плоти и крови!

О ту пору прибыл в строимый град отец. Был он еще не стар годами и истый богатырь телом. Андрей, бывший от рождения сутул, уступал ему и ростом, и статью, хотя силой и ловкостью уже превосходил родителя. Хрупкость покойницы-матери сделала его тоньше, легче, нежнее будто бы — так, по крайней мере казалось подле могучего и грозного Юрия Владимировича.

Едва приветствовав сына, огорошил князь:

— Надумал я, Андрей, женить тебя.

При этих словах вздрогнул вчерашний созерцатель. До крайних двух дней он и вовсе не задумывался о женитьбе, а ныне лишь одну жену подле себя представить мог. Да неужто отказаться от нее в угоду отцу? И поникла душа — а ведь придется... И не в государственном смысле дело, а заповедал так Бог. Сын да будет отцу покорен... Стоял Андрей, как стрелой пораженный, ничего не отвечал родителю. А тот, не обращая внимания на его смятение, продолжал:

— Вечером попируем на славу! Заодно и познакомишься с нареченной!

Смутно было на душе у князя весь оставшийся день. Даже молитва не шла на ум ему. Проскакал наметом несколько верст по самым буеракам, чуть не запалив любимого коня, и в терем княжеский возвратился темнее тучи. Там уже всю кипела подготовка к

пиршеству, жарились ароматные туши, разливались пенные меды, носили проворные служки блюда с восточными яствами.

Умывшись и обрядившись в богатые одежды, полагающиеся случаю, Андрей присоединился к отцу, уже восседавшему с приближенными боярами за ломящимся от снеди столом. Вот, отворились двери, и вошли в трапезную новые гости — красивая, дородная боярыня, трое молодцев и... Перехватило дыхание у Андрея! Позади них увидел он свою лесную царевну. Увидела и она его, вспыхнула цветом маковым, а затем белее полотна сделалась.

Отец поднялся навстречу гостям и, радужно приветствовав боярыню, подозвал сына:

— Ну, вот, боярыня, сын мой, из дальних странствий возвратившийся! Люби и жалуй его и ты, и твои сыновья, которые да будут ему отныне названными братьями! Обещал я дочери твоей лучшего жениха сыскать, так и держит слово князь Юрий!

При этих словах Улита вскрикнула и, забыв себя, выбежала прочь. Грозно сдвинул брови князь Юрий, а Андрей бросился следом за беглянкой.

На дворе уже смеркалось, и в праздничной суматохе долго метался он, ища следов своей красавицы, но она точно в воздухе растворилась. Наконец, почти отчаявшись в поисках, Андрей увидел ее. Она одиноко стояла на смотровой башне, неподвижная, смотрящая в неведомую даль... Князь вдруг испугался, что девица бросится вниз и разобьется, и опрометью взбежал наверх. Увидев его, Улита отшатнулась. Прекрасное лицо ее, мокрое от слез, но уже спокойное, исказилось ненавистью, блеснули молниями глаза. Кабы могли метать они эти молнии, так уж верно убили бы тотчас!

— Убирайся прочь, князь! — вскрикнула девица. — Твой отец моего отца убил ради моей любодейки-матери! Но до меня не дотянуться его долгим рукам!

Мать мою взял, а я вам не достанусь! Будьте вы прокляты оба! Весь ваш род пусть будет проклят!

— Окстись, что ты говоришь! — взмолился Андрей.

— Не подходи, не то я вниз брошусь!

Она и впрямь бросилась бы в исступлении своем, и князь не тронулся с места.

— Не бойся, Улита, я не трону тебя. Лишь выслушай меня, прошу! Я не виноват в крови твоего отца. Меня даже не было здесь, когда пришла беда в твой дом, и ничего я не знал о том, что здесь поделалось. Когда я встретил тебя в лесу, я не знал, кто ты. Понял только, что иной жены мне в целом свете не надобно! Скажи, если бы я был не я, если бы посватался к тебе, ты отказала бы мне?

Дрогнули плечи измученной боярышни, печально взглянули на князя глаза-омуты:

— Нет, князь, не отказала бы я тебе. Но ты — тот, кто ты есть! И между нами великая кровь, и ее не иссушишь ничем!

— На нас с тобой нет никакой вины. Верь мне, что я любил бы тебя всю жизнь, какую Господь мне отмерит! И защищал бы тебя, если понадобится, даже от собственного отца! За что же казнишь и проклинаешь меня?

— К чему твои сладкие речи, князь? Ведь отец твой уже все решил, а его воля закон! И мне теперь два пути: или под венец с тобой, или... — Улита взглянула вниз, инстинктивно подавшись вперед трепещущим телом.

При этом движении Андрей прыжком бросился к ней и, крепко обхватив стройный стан, понес вниз. Девица отчаянно отбивалась, расцарапав ему лицо, но он не чувствовал боли. Сойдя на землю, князь отпустил ее, утер кровь.

— Не смей, не смей прикасаться ко мне! — клопоча от ярости, шипела Улита. — Сын убийцы! Думаешь, на

все ваша власть? Так я в омут брошусь! Из омута не достанешь!

— Не нужно тебе в омут бросаться, — покачал головой Андрей. — Не бери греха на душу. А меня не бойся. Силой я любую вражью крепость возьму, если возжелаю, а тебя не стану. Как сама решишь, так и будет. Откажешься быть моей, так я сам откажусь отцовскую волю исполнить. Тебе ничего не будет за то.

С этими словами он оставил свою нареченную невесту самостоятельно решать свою судьбу.

Гнева князя Юрия Улита не страшилась. Слишком ненавидела она и его, и собственную мать. И негодовала на братьев... Они ведь также ненавидели убийцу, но покорно следовали его воле, покорно готовы были пожертвовать ему и собственную сестру, лишь бы не навлечь на себя княжеский гнев.

— Отца не вернешь, — говорил Яким. — Он против князя пошел, а против силы идти нельзя, сила всегда сломит. Чтобы против силы идти, надо сперва самим силой стать. А ты, сестра, чего теперь добьешься своим упрямством? Монастырской кельи для себя и опалы для всех нас? И чем же это поможет покойному отцу? Чем приблизит час отмщения тирану? Твое глупое упрямство навсегда лишит нас возможности отомстить, неужели ты не понимаешь этого?!

Умен был Яким и хитер. И, как ни ранили слова его, а чувствовала Улита — прав братец старший. Не сердцем теперь жить, не слезами по отцу, а отмщением. А для отмщения разум потребен...

— Князь Юрий пытается загладить свой грех и ублажить нашу мать. Воспользуемся этим. Ты станешь княгиней, сестра. И не просто княгиней, а женой старшего из князей, каким однажды станет Андрей.

— И что же из того? — не понимала Улита.

— А то, что недаром погиб тогда боярин Кучка! Потому что его сыновья станут набольшими боярами при князе! Потому что его внуки наследуют власть княжескую! Понимаешь ли ты это? А иначе и памяти не останется об отце нашем!

— Но кровь его не будет отомщена! — не унималась девица, любившая отца без памяти.

— Почему нет? Дай срок, сестра, и мы отомстим. Сильным и богатым сделать это будет нам куда сподручнее, чем опальным и разоренным.

Всю ночь не сомкнула глаз Улита с того разговора. Прав был Яким, и нечего было возразить ему. Нужно было пойти на обман, на жертву, чтобы поквитаться с убийцей, чтобы род Кучковский восторжествовал в память убиенного боярина Степана.

Но к этим мыслям и терзаниям примешивалось неуловимо что-то еще. Образ светлоокого витязя, с которым дважды встречались они у реки... После смерти отца от взгляда, от ласковых речей его впервые потеплело девичье сердце. И будь он не княжеским сыном... Ведь могла бы она полюбить его, могла бы забыть эту боль и жажду отомщения, могла бы быть ему доброй женой! Разве не в этом счастье? Но теперь ничего этого не может быть, и ничего кроме ненависти к нему быть не может... И до слез было жаль ненавидеть пригожего витязя! Жаль и самого его, хотя в этой жалости к сыну убийцы было стыдно признаться самой себе. И до муки сердечной жаль невозможного счастья, саму себя.

Через три дня Улита, успокоившись и приняв свою судьбу, сама отправилась на то место у реки, где впервые встретила Андрея. Она не ошиблась, полагая найти его там. Он ждал ее и, едва завидев, встрепенулся навстречу. Кольнуло сердце девичье: ведь и впрямь не виноват он, ведь и впрямь любит ее и против воли отца для нее идти готов... За что же

ненавидеть его? За что казнить? Но тотчас отогнала Улита изменнические мысли, поджала гордые губы.

— Я пришла сказать тебе, князь, что стану твоею женою.

Точно и не ее уста те слова произносили, и потом, в церкви, не ее голос соглашался принять в мужья сего Андрея. Радовался князь Юрий, что скоро «вразумилась строптивая девка». Радовалась мать, считая заглаженной свою вину. Радовался Андрей, еще веря тогда в то, что сможет завоевать сердце молодой жены. Ведь девичье сердце — так податливо, мягко, что воск... Обогрей лишь! Вот, только не знал молодой князь сердца своей избранницы.

Более тридцати лет прошлой с той поры. Целая жизнь! И ни единого мгновения не была счастлива Улита в этой жизни. Ни когда баловал ее муж дарами и ласками, ни когда приходили в мир ее дети. Шестерых детей родила Улита Андрею. Четырех внуков и двух внучек покойному отцу... Трех сыновей уже не было в живых, точно собственное ее проклятие Юрьеву роду исполнилось на них. Оставались дочери и последний сын, коего Андрей женил на грузинской царице Тамаре.

Потеря детей почти не ранила оледеневшую душу. Вот, и смерть младшего, Глеба, не тронула ее. Этот мальчик, так похожий на отца и так привязанный к нему, никогда не был любим ею. Бедное-бедное дитя, он так искал материнской ласки, так старался угодить суровой матери, так радовался малейшему проблеску тепла к себе. Как же мало было таких проблесков... Пожалуй, она виновата была перед этим невинным отроком, своим сыном. Но нет, нет, не она... Это все его отец, и дед, князь Юрий! Это они погубили ее жизнь, отняв всякую радость! Даже радость материнства! Все зло — от них, проклятых...

Одному только и радовалась Улита, когда муж уходил в военные походы. Но беда — он всегда из них

возвращался... Да и уходить стал все реже, кожей прирастая к своему Владимиру и выстроенному поблизости Боголюбскому замку. Этот замок Улита ненавидела также. Годы не притупили ее ненависти. Напротив, лишь распалилась она. Близок был уже срок завершения земной жизни, а ее месть так и не совершилась! Более того, самовластный тиран, каким обратился ее муж, казнил ее младшего брата, заподозрив его в измене! Сын убийцы не мог не стать убийцей сам! Не мог не преумножить злодеяний своего преступного отца! И настала пора положить предел этим преступлениям...

То, что вокруг него плетется какой-то подлый заговор, Андрей почувствовал давно. И младшего Кучковича прямо уличил в злом умысле и предал за то палачу. Может, стоило проявить милосердие к родственнику? Но нет, в делах крамолы и измены милосердия Андрей не знал и не желал знать. Предатель есть Иуда, а Иуде прощения быть не должно. И родственные узы не должны иметь никакого значения.

Внезапная смерть Глеба еще больше убедила князя в действительности угрозы. Юный князь был совершенно здоров телом и духом, а скончался в одночасье без какой-либо причины. Отравили отрока невинного, стремясь лишить отца опоры и наследника... Что же теперь, его очередь настала?

Сразу после похорон князь позвал к себе своего верного слугу Кузьму Кианина. Кузьма тот, будучи рода незнатного, был приближен Андреем еще в молодые годы и с той поры сопровождал его во всех походах и даже однажды спас ему жизнь. Под Луцком князь гнал неприятелей и был окружен ими на мосту. Взмолившись о помощи Феодору Стратилату, чья память праздновалась в тот день, Андрей бросился на другую

сторону реки Стыря, оттеснил вражеских стрелков к самому городу и лишь тут заметил, что в пылу яростной сечи далеко оторвался от своих войск! Лишь один Кузьма Кианин последовал за ним и, схватив за узду раненого коня князя, успел вывести его из опасного положения, спасая если не от смерти, то от непрямого плена. Добрый конь пал тотчас на берегу, и Андрей похоронил его над рекой с воинскими почестями.

Ныне решил Андрей отправить Кузьму с письмом к брату Всеволоду с тем, чтобы тот навестил его во Владимире. Некогда, борясь с дроблением власти, он изгнал из своего княжества и мачеху княгиню Ольгу, и сводных братьев — Михаила, Василька и Всеволода. А с ними и других родственников и приближенных к отцу бояр, предпочитая опираться на собственную дружину и горожан. Однако, как ни чурался князь родственных связей, дорожа собственным самостоянием, но не всегда все возможно самому разрешить. К тому, когда лета уже велики, седьмой десяток разменен, и того гляди призовет Господь на Суд Свой. Надо готовиться к тому и позаботиться о том, что останется после, какому устройению быть тогда, дабы не вышло новых кровопролитных распрей.

Кузьма слушал князя внимательно. Он и теперь во всякую минуту готов был броситься за него в самое пекло. Доброе, верное сердце! Как мало оказалось таких на склоне дней... Не желая зависеть ни от родни, ни от боярства, Андрей старательно отодвигал от себя этот традиционный княжеский круг, ломая устои. Он приближал к себе новых людей, выбирая их не по знатности рода и даже не по племени (иных инородцев крестил князь и взял на службу), а по способностям их к делу и по преданности себе. Вот, только все эти люди, взятые им из праха и возвеличенные, оказались ничуть не лучше князей и бояр... Их способности к делу быстро

обратились способностями к грабежам и утеснениям простого люда. Их преданность... Преданность нельзя купить благодеяниями, она является лишь из чистоты и благородства сердца. Но эту истину Андрей стал понимать слишком поздно.

— Все верно говоришь ты, князь, — молвил Кузьма. — Одно не по сердцу мне.

— Что же?

— То, что отправляешь ты меня от себя в такую пору. Князь, прошу тебя, не отсылай меня! Пошли к Всеволоду кого-нибудь другого, а мне позволь остаться подле тебя!

— Мне важно, чтобы с братом моим имел беседу человек доверенный и честный.

— А здесь? Разве не нужен тебе рядом доверенный человек? Во всех боях я был с тобой князь, а ныне грозит опасность тебе! Как же оставлю тебя?

— Здесь не сражение, Кузьма, ничего со мною не случится. А если случится, так ведь на все Божия воля. Ее не отворишь... К тому же со мной остается Порфирий, другие слуги. Да и ты вернешься вскорости. Дай-то Бог с вестями добрыми. Вот, наказ тебе мой, — Андрей поднялся и крепко обнял верного сподвижника, — возвращайся скорее и непременно с добрыми вестями! Мне они нужны теперь! А теперь поезжай без промедления!

Кузьма опустился перед князем на колени, и тот благословил его в дорогу.

Усобица — отвратительный призрак, все чаще встававший перед взором стареющего князя. Дед, Владимир Мономах, мудрейший из мудрых, оставил детям наставления:

«Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем и милостыню подавайте неоскудную, — это ведь начало всякаго добра. Всего же

более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-либо, дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если же вам придется крест целовать братии или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души своей. Епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего гордости но имейте в сердце и в уме, но скажем: смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу; все это, что Ты нам дал, не наше, но Твое, поручил нам это на несколько дней. И в земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись проходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте и ночью, разставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите

нищаго, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его подарком, — то пищей и питьем: ибо они, проходя, прославят человека по всем землям, или добрым, или злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего.

Что умеете хорошаго, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. Лениость ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные».

Кажется, лишь он один, муж совершенный, имел мудрость и силу добиваться, чтобы эти наставления исполнялись, вводить русскую жизнь в единое полноводное русло! Князь Владимир был бесстрашен в сражении и на охоте, щедр и любвеобилен с бедными и страждущими, воздержан в услаждениях и горяч в молитве, мудр и справедлив в делах государственных и семейных. Для Андрея дед был примером, которому хотелось подражать во всем. Этому богомудрому князю удавалось десятилетиями утишать раздоры в измученной удельными ратями Русской Земле, защищая ее людей как от бесчинств своих набольших людей, наместников и посадников, так и от вторжений внешних. И русские люди платили Мономаху глубокой любовью, видя в нем опору свою и заступника. Большим горем стала его смерть для Руси!

Дети не имели мудрости отца, и с его кончиной вновь начались бесконечные княжеские распри, кому на

каком столе сидеть. Дяди воевали против племянников, племянники против дядей. Князья менялись в городах с такой быстротой, что населению не было времени ни привыкнуть к ним, ни запомнить их. Да и что запоминать, когда менее всего забот было у них о том населении? Смущался Андрей, видя такое нестроение своей братии, племянников и всех сродников: вечно кипели они в мятеже и волнении, все добиваясь великого княжения Киевского, ни у кого из них ни с кем не было мира, и оттого все княжения запустели, а со стороны степи все половцы выпленили...

Вот, и князь Юрий год за годом ратился с родичами, отбивая принадлежавший ему по праву киевский стол. Киев — мечта всякого русского князя! Сколько копий сломлено за него! Сколько жизней загублено! Эти бы усилия да против болгар волжских и иных поганых направить — то-то бы пользы было и Земле Русской, и Вере Христовой!

Не разделял Андрей страсти своего отца к Киеву, но, как верный сын, исправно участвовал в его походах. Несостоявшийся инок, он показал себя доблестным воином, сокрушая вражеские рати и стяжав себе великую бранную славу. Во всех ратях шел Андрей во главе передовых отрядов, первым открывал сражения, как и подобало издревле доброму и отважному князю. Дружина любила своего бесстрашного вождя и сравнивала его с самим Святославом. В дыму яростных сражений князь забывал все, летел очертя голову в самое пекло, рубил и колол, обороняясь на все стороны света. Падал ли шлем с головы, ломалось ли копье — он не чувствовал этого, не чувствовал ни ран, ни усталости. И не уставала разить неприятеля сильная рука, становившаяся одним целым с мечом. В Рутском сражении, меж реками Малый Рутец и Большой Рут, Андрей, схватив копье, поехал вперед своих полков и прежде всех столкнулся с неприятелями; копье его

было изломано, щит оторван, шлем спал с головы... Но защитила Десница Господня, и в той битве остался он невредим.

Горько плакал князь Юрий, когда изгнан был из Киева, а Андрей лишь торопил отца с отъездом, радуясь возвращению в любезную вотчину. Уже тогда, несмотря на упоения в битвах, ясно сложилось в нем убеждение: пора положить конец могуществу Киева, а, значит, и вечным сварам за него. И дроблению удельному пора положить предел, доколе не разорило оно дотла всю Русь!

Русь! Велика и необъятна она! Что есть Киев в сравнении с ней? Символ времен уходящих, ветхих... Новые времена нужны Руси, новые средоточия жизни. И одно, главное средоточие, ибо всякой семье нужна голова, всякому воинству полководец. Ибо дом, разделившийся в себе, не устоит.

Некогда позвали разрозненные и враждующие племена варяжского князя Рюрика, чтобы насадил он в их пределах порядок и наряд. Что же теперь, нового Рюрика звать, чтобы утихомирил он десятки князей Рюриковичей, самозабвенно друг друга воющих и собственную землю разоряющих?

Видел себя Андрей именно таким новым Рюриком. И даже более. Новый завет Земле Русской дать, новое устройство и направление — вот, была тайная мечта, владевшая его сердцем! Должно было стать Руси государством единым по образу Византии, и единый князь должен был править в ней, судя, карая и милуя. И не стол, не место должно давать власть князю, ибо как Бог больше храма, так и князь больше града!

От того не возрадовало Андрея возвращение отца в Киев и утверждение на вожделенном столе. Князь же Юрий, желая иметь сына подле себя, дал ему во владение Вышгород. Чужд был Андрею и Киев, и

Вышгород, и весь kloкочущий южнорусский мир. Однако же, во всем был Божий промысел!

В вышгородском храме хранилась подаренная константинопольским патриархом дивная икона Божией матери, написанная по преданию самим евангелистом Лукой. Ночи напролет молился перед нею Андрей и сподобился узреть чудо стояния ее на воздухе! Икона точно бы, как и сам Андрей, желала покинуть Вышгород, точно искала она свое место, удаляясь от того, что определили ей люди.

После этого явления князь не сомневался больше. В одну из летних ночей вместе с попом Микулицей и верным Кузьмой они вынесли чудотворный образ из храма и с небольшой дружиною тайно, не известив даже князя Юрия, навсегда покинули Вышгород.

Это путешествие из Вышгорода к Владимиру было одним из счастливейших воспоминаний Андрея. Сколько чудес явила на нем Царица Небесная, то спася тонувшего Кузьму, то исцелив затоптанную конями жену попа Микулицы! Все путешествие, как одна литургия не прекращающаяся! Слово бы самое небо отверзалось в те благословенные дни!

Наконец, уже невдалеке от Владимира, верстах в 10 от Клязьмы, вдруг остановились кони. Подумали сперва, запалились с устатку, но запрягли свежих, и те не пожелали идти дальше. Делать нечего, остановились на ночлег в указанном Промыслом месте и, отслужив литургию перед образом Владычицы, легли спать. А во сне сподобился Андрей самую Царицу Небесную узреть! Стояла она пред ним на воздухе, держа в руке свиток и повелевала: «Не хочу, чтобы ты нес образ Мой в Ростов. Поставь его во Владимире, а на сем месте воздвигни церковь каменную во имя Рождества Моего и устрой обитель инокам».

В том самом месте и выстроил князь драгоценное своему сердцу Боголюбово. А в память о чудесном

явлении Богородицы повелел лучшим мастерам написать Боголюбскую икону. На ней изобразил иконописец Владычицу такой, какой предстала она пред князем, и самого князя, преклонившего перед Нею колена.

То было зримое благословение замыслам Андрея, и отныне он уже не сомневался в своем долге и праве упорядочить и изменить существующие на Руси порядки. Да ведь и не было никаких порядков! Один всевеликий беспорядок, который и нужно было изменить.

Здесь, в сердце Русской земли, вдали от княжеских распрей, решил Андрей строить свой Новый Иерусалим, новое сердце будущего единого и сильного государства. Забьется это сердце, и потянутся, пристанут к нему разрозненные члены, и сложится, наконец, Русь в единое могучие тело — на страх врагам! На герб своего княжества Андрей поместил льва, украшавшего герб Иерусалима.

Он нарочно избрал своим стольным градом не старые Суздаль и Ростов, но молодой Владимир. Старые города были отягощены ветхими порядками, ветхими людьми и вечными спорами, кто из них старше и имеет более прав. Город молодой был избавлен от этих пороков и давал простор для свободной созидательной работы. Велика и необъятна предстояла задача! Разрушить княжескобоярское самовластье, привлечь и выделить новых людей, укрепить единую княжескую власть, опирающуюся не на узкий круг приближенных бояр, а на сам мир, на дружину, на купечество, на ремесленников... Ремесленников и купцов старательно привлекал Андрей в свою вотчину, и расцветала она мастерами искусными, богатела и хорошела день ото дня.

Наряд! Вот, что потребно земле, как и человеку! Недаром так обольщают сердца красоты

Константинополя! Будет и Святая Русь храмами белокаменными и монастырями украшена! Прежде строили на Руси храмы из кирпича, скоро разрушавшиеся, белокаменного строительства не ведали русские зодчие. Андрей, ведший переписку с европейскими монархами, без труда выписал на Русь зодчих иностранных — фряжских и иных. В этом особенно помог ему Император Фридрих Барбаросса. Зодчие, присланные им, наставляя мастеров русских, принялась творить красоту во имя Божие.

Свечой дивной взмыл к небесам белоснежный храм в устьях Нерли, и златоверхий Успенский собор, и Кидекша, и белокаменные палаты в Боголюбово. За всю свою жизнь Андрей построил более тридцати белокаменных храмов. Камни для строительства везли водным путем из Волжской Булгарии.

— Сам спит на соломе, а Богу возводит белокаменные обители, — говорили о князе в народе.

Стекавшиеся со всех концов земли в прежде малолюдный Залесский край люди дивились на глазах создававшейся красоте его. Пришельцев из иных стран, иноплеменников Андрей нередко сам приводил в святые обители, и те, потрясенные величием их, обращались в истинную веру. Так созидался Новый Иерусалим...

Среди иных чудес возвел князь и четверо ворот владимирских. Когда открывали ворота Золотые, едва не стряслось трагедии. Поспешил князь Андрей, желая удивить и порадовать горожан в праздник Успения. Хотелось ему, чтобы собрались люди на праздник, и тут бы нежданно предстало им чудо зодческого искусства! Но известка не успела высохнуть и укрепиться к празднику, и, когда народ собрался на праздник, ворота упали и накрыли 12 зрителей. Увидев это, Андрей в ужасе и отчаянии пал ниц и со слезами взмолился Богородице о чуде спасения несчастных: «Если Ты не

спасешь этих людей, я, грешный, буду повинен в их смерти». И Владычица услышала молитвенный вопль: ворота подняли, и непостижимым образом все придавленные отделились лишь легкими ушибами и ссадинами.

Князь богато украшал новые храмы, не жалея ни серебра, ни злата, он щедро оделял церковь землями и много радел о народном просвещении. Андрей собрал крупнейшую на Руси библиотеку и самолично руководил двумя церковными хорами.

Его стараниями был установлен Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в честь которого возведена была церковь на Нерли. Праздник Покрова князь установил в память о явлении в 910 году Богородицы во Влахернском храме, когда она, идя по воздуху, сняла с головы и распростерла над молящимися свое покрывало. Похожее событие произошло почти тогда же, в 911 году, во французском городе Шартре во время нападения викингов. В Шартрском соборе хранилось шелковое покрывало Девы Марии, которым она некогда укрывалась во время родов. Епископ вышел с покрывалом на крепостные стены и развернул его во всю длину — норманны в страхе бежали, а их предводитель Грольф в дальнейшем принял святое крещение и женился на дочери французского короля, став герцогом Нормандским. В память этих чудес однако не было праздников, и Русь первой почтила Покров Небесной Владычицы, вверяясь Его защите.

Еще один праздник — Святого Спаса — Андрей установил в память своей победы и избавления владимирцев от волжских булгар.

Щедр был Господь на милости молодому княжеству. Кроме иных чудес, явлены были верующим мощи первых просветителей Залесского края — святителей Леонтия и Исаии. Они были обретены при закладке ростовского Успенского собора, в котором и были

положены. Святитель Леонтий, епископ Ростовский, стараясь обратить ко Христу пребывающие во мраке язычества залесские племена, в первую очередь обращался к детям, находя отклик в чистых и чутких к истине сердцах. Это разгневало их родителей, и они, обезумев от бесовской злобы, убили святого мученика... Когда нетленные мощи святителей полагались в новом соборе, Андрей счастливо воскликнул:

— Хвалю и славлю Тя, Господи... яко сподобил мя еси сие сокровище в области моего царствия видети!

Велика сила красоты, но ничуть не меньше — милосердия. Дед Мономах всегда пекся о нищей братии, без счета раздавал деньги нуждающимся, и никогда не скудела рука его. Андрей не уступал ему в делах милосердия. Он заводил странноприимницы и установил обычай кормления нищих. Каждое утро княжеские слуги обходили город и кормили нищих и увечных горячей похлебкой. Подчас и сам князь не гнушался принимать участие в этом благом деянии, говоря об убогих: «Се есть Христос, пришедый искусить меня». И если бояре и знать старших городов роптали на него, то все бедняки и страдальцы благословляли его имя и называли Боголюбивым князем.

Он, действительно, оставался боголюбив. И, как в юности, любил затвориться в тишине храма на целую ночь и петь псалмы и акафисты. В этом утешалась душа. Этим врачевались раны ее... Хотя и не все. Одну рану никакой молитве не удавалось исцелить.

Дом, разделившийся в себе, не устоит. Не таким ли вышел дом самого Андрея? На горе и погибель встретил князь свою Улиту... Первые годы он еще верил, что сердце гордой и своенравной красавицы отогреется, что явится и в ней ответное чувство на мужнину ласку. Ведь не силой же приневолил он ее к алтарю, но сама согласилась она, будто бы и впрямь одумавшись и поняв, что нет вины Андрея за погибель ее отца.

Но шли годы, появлялись на свет дети, а ничего не менялось. Холодом веяло от княгини Улиты, и всякий миг, находясь с нею рядом, чувствовал Андрей, что жена ненавидит его. Нет, она не показывала виду, она была образцовой женой и княгиней, но не так уж недогадлив был князь, чтобы обманываться благопристойным внешним, не разумея сокровенного. Это сокровенное приводило Андрея в ярость. Он мог громить и принуждать к покорству волжских булгар и своих родичей половцев, мог сокрушать крамолу многочисленных братьев, мог заставить следовать воле своей где хитростью, а где силой и жестокостью. Он мог выстроить дивные города и святые обители. Но не мог устроить собственного дома, не мог подчинить своей воле собственной жены. Впрочем... Ведь она не противилась той воле, а лишь ненавидела ее! Разве иным было отношение князей да бояр, булгар и половцев — всех, кого он, Андрей, принуждал подчиняться своей воле? Они подчинялись. И ненавидели. И ждали часа, чтобы отомстить...

— Господи Всемогущий, для чего тогда все? — сорвался горький вопрос с княжеских уст. — Прах и тщета все, суета сует... Может, и не поздно еще возвратиться к тому, о чем грезил в лета невинные? Оставить стол и удалиться в святые обители Твои, замаливать грехи? Лучшего и нет исхода... Но что тогда станет здесь? Что без меня станет?.. Я Белую Русь городами и селами застроил и многолюдною соделал. Так неужто напрасно? Так неужто оставить все это на раззор и опустошение?..

Пока Андрей предавался мрачным мыслям, оплакивая сына и собственные грехи, княгиня Улита также не смыкала глаз. В ее тереме под покровом ночи собрались самые близкие и доверенные ее люди: братья Яким и Петр, боярин Захария, княжеские слуги-

выкресты агарянин Анбал и жид Ифраим. Облаченная в траурные одежды, подчеркивающие белизну ее кожи, Улита восседала во главе стола, гордо вскинув все еще красивую голову и пристально вглядываясь в лица своих соумышленников.

— Итак, настало время действовать, — промолвила она, сомкнув тонкие пальцы унизанных перстнями рук. — Мой супруг, тиран и изверг, окончательно лишился рассудка и в своей слепой злобе не щадит никого. Его отец отнял у нас отца, он лишил нас возлюбленного брата. Будем ли мы ждать, когда и наши головы упадут с плахи?

— Ты права, сестра, — согласился Яким. — Мы ждали слишком долго. Но и не напрасно было сие ожидание. За последние годы Андрей сумел настроить против себя всех. Старшие города не могут простить ему возвышения Владимира, боярство небрежения к нему — он не удостоивает бояр даже приглашением на княжеские охоты, предпочитая общество своих безродных дружинников! Князья негодуют на попрание их законных прав и чинимые им оскорбления, будто бы они не такие же Рюриковичи, а без малого смерды — так норовит обходиться с ними тиран! Все ропщут против него, и не в ком ему теперь искать опоры. Все вздохнут с облегчением, когда его не станет!

— Все ли? — усомнился Захария. — Ты забыл о горожанах, купцах, смердах. Облагоденствованные князем, они любят его.

— Любовь смердов остывает, как горячий навоз! — воскликнул Петр. — Едва лишь некому становится питать ее! Подлый народ не способен к благодарности.

— И все-таки, узнав о злодействе, он может возмутиться против нас!

— Не возмутится, — спокойно отозвался Яким. — Мы устроим великую тризну... Выкатим все бочки с вином, чтобы смерды пили за упокой души своего князя. А

потом откроем врата в княжеские палаты, чтобы эта нуждающаяся братия взяла там все, что пожелает. Это тебе не княжеская похлебка! В княжеских палатах есть чем поживиться!

Захария побледнел:

— Вы хотите толкнуть народ на грабежи и буйства? Это безумие! Начав грабить княжеский замок, они доберутся и до наших теремов!

— Больно труслив ты, боярин, — нахмурилась Улита. — Скажи по правде, верно ли ты с нами?

— Я с вами, ибо князь на меня гневен, и я не хочу очутиться на плахе... И все же смерды любят князя! Это ведь они прозвали его Боголюбским. Они не простят его убийства, даже если вы напоите их.

— Мы сделаем лучше, мы сделаемся их благодетелями сами, — усмехнулся Петр. — Анбал! — обратился он к темнолицему агарянину. — И ты, Ефрем, — кивнул жиду. — Скажите-ка нам, не князю ли Андрею обязаны вы всем? Вы явились на Русь нищими и безродными, а князь крестил вас, принял во служение. И, вот, теперь вы служите в княжеском замке, ни в чем не зная нужды, обласканные им и облеченные его доверием. Почто же вы решили предать вашего господина?

— Правду ты сказал, боярин, — отозвался Ифраим, — князь наш благодетель, и мы много обязаны ему. Но княгине, — он подобострастно взглянул на Улиту, — мы теперь обязаны **большим!** А посему будем служить ей, а не князю.

— Иудина душа! — возмутился Захария. — Жид — известное дело, он и Христа распял! Как вы можете доверять этим разбойникам? Ведь завтра они предадут княгиню и вас также, как сегодня предают своего князя!

— Напрасно ругаешься, боярин, — елейным голосом возразил Ифраим, склоняясь мясистым носом к

Захарии. — А разве ты сам не был благодетельствован князем? Не был другом его и ближайшим соратником в сражениях? А теперь ты готов обагрить меч его кровью? Чем же ты, боярин, лучше меня, убогого палестинца? И, может, это не я, а ты назавтра предашь нашу возлюбленную княгиню? Или уже прямо отсюда, с нашей вечери, бросишься к князю каяться и доносить на нас?

— Прочь, дьявол! — Захария вскочил на ноги и резко оттолкнул жида. — Никогда не смей говорить со мною так, не то поганая кровь твоя прольется прежде княжеской! Иудин грех я уже взял на свою душу, так, — обернулся он к Кучковичам. — Но дважды Иудой не стану. С вами пойду до конца...

— Тогда поклянемся все в этом! — воскликнул Петр. — Поклянемся, что все пойдем до конца!

Шесть голосов повторили клятву, и эхом повторилась она в ночной тишине. Последней клялась княгиня.

— Клянусь, что пойду до конца. Клянусь, что исправлю все те злодеяния, что сотворил мой изверг-муж. В память невинно убиенных отца и брата!

— Да будет так, сестра, — Яким обнял ее за плечи. — Скоро ты займешь княжеский стол, и, верю, слава твоя не уступит славе премудрой княгини Ольги! Новою Ольгою нарекут тебя, сестра, наши летописцы, и прославят твое имя в веках благодарные потомки.

— Однако, как же мы сделаем это? — спросил Петр, наполняя кубок. — Нас мало, чтобы сражаться.

— Сражаться не придется, — покачал головой Ифраим. — Князь ночи напролет проводит в храме, там никого не бывает с ним, кроме отрока Порфирия.

— Безумие! — снова попытался возражать потрясенный кощунством Захария. — Уж не хотите ли вы осквернить злодейством Божий храм?!

— Убить изверга — не злодейство, а Божие дело! — вспыхнула Улита, поднявшись.

— Обагрить алтарь кровью — Божие дело? Опомнитесь! Ведь мы же христиане, а не поганые язычники!

— Довольно, боярин! — Петр положил могучую руку на рукоять меча. — Ты дал клятву. И если желаешь нарушить ее, то отсюда ты не выйдешь.

— Я уже сказал, что дважды Иудой не стану... — откликнулся Захария, поникнув. Впервые мелькнула в его голове мысль, что, может, и лучше бы было броситься в ноги князю и донести обо всем. Ведь не зверь же он и не станет сечь покаянную голову! Ведь столько лет служил ему Захария верой и правдой, и в Рутском сражении бились они плечом к плечу. Мыслимое ли дело в Господнем храме убить человека? Убить своего князя, на молитве, пред очами Божиими предстоящего?

— В храме хранится меч Святого Глеба, — вспомнил Яким. — Князь уже стар, но крепок мышцею, и нам не стоило бы вступать с ним в схватку.

— Я унесу этот меч заранее, — пообещал Анбал, бывший княжеским ключкарем.

— В таком случае, решено! — заключил Яким. — Мы положим конец самовластию жестокого тирана!

— Да поможет нам Бог! — с чувством воскликнула Улита, и глаза ее загорелись предвкушением долгожданной мести, свободы и власти.

Свет лампад и свечей, запах теплого воска и ладана, строгие или кроткие лики икон, взирающие из полумрака — все это умиротворяюще действовало на расстроенную душу. Последнее время Андрей всякую ночь проводил здесь, в своем Боголюбовском храме, вознося горячие молитвы Господу и Его Пречистой Матери.

Покончив с дневной суетой, он приходил сюда и, оставив Порфирия спать в притворе, сам возжигал все лампы и свечи, сам пел длинные службы, тексты которых помнил наизусть — не хуже иного попа...

Среди многих устроений и преобразований своих не забыл князь Андрей и Церкви. Желая понизить значение Киева, он добивался от Константинополя отдельной митрополии для своей любезной Владимирщины и предлагал на то ставленника своего — епископа Феодора. Но Константинополь не пожелал уважить просьбу русского князя, а несчастному Феодору, как будто бы послушнику, было велено явиться в Киев, на покаяние к тамошнему митрополиту. Вот, только митрополит тот был не пастырем добрым, а истинным волком в овечьей шкуре. Явившегося к нему собрата он не простил, но предал жестоким пыткам: отрубил руку и язык, выколол глаза, а с тем утопил...

В ту пору Андрей был уже старшим в роде Рюриковичей. В отличие от своих предшественников он не поспешил в Киев, на стол которого имел законное право, предпочтя остаться в родном Владимире. После князя Юрия киевский стол занял его племянник Ростислав, умевший вносить умиротворение в сложную политическую и церковную жизнь. Однако, по его кончине на вожделенном месте попытался утвердиться сын старинного Юрьева супостата Изяслава Мстиславича, Мстислав Волынский. Узурпация киевского стола стародавним соперником и бесчинства митрополита убедили Андрея в необходимости утвердить свою власть и покарать город, в котором даже первосвященник обратился разбойником хуже поганого язычника. Для этого князь отправил на Киев отборную рать во главе со старшим сыном своим, Мстиславом.

Мстислав захватил стольный город и на несколько дней отдал его на разграбление своей дружине. После

этого вся южная Русь, все Рюриковичи ожидали явления Андрея в покоренном городе. Но он обманул ожидания, не желая становиться рабом места, каковым делал Киев своих князей. На киевский стол водворил Андрей своего младшего брата Глеба.

В прежние годы пределом мечтаний последнего был город Переяславль Южный, где сидел о ту пору все тот же Мстислав Изяславович. Однажды Глеб попытался взять Переяславль врасплох. Но князь Мстислав, узнав о его приближении, бросился к именитому богатырю Демьяну Куденевичу.

— Человек Божий! — сказал он ему, — теперь время Божией помощи и Пречистой Богородицы, и твоего мужества и крепости!

Демьян тотчас вскочил на коня и вместе со слугою своим Тарасом и пятью отроками выехал из города и напал на Глебову рать. Многие ратники пали в той схватке, и сын Долгорукого принужден был бежать от шести храбрецов под водительством одного чудо-богатыря. Он не успокоился на том, однако, упрямый младший брат. И пришел под стены Переяславля вновь — уже с половцами. На этот раз Куденевич выехал им навстречу один и без доспехов. И... обратил нападавших в бегство, изрубив многих из них. Сам, однако, был он также жестоко изранен. Когда умирающий Демьян вернулся в город, Мстислав прислал ему множество даров и обещал наградить целой волостью.

— О суета человеческая! — ответил богатырь князю. — Кто, будучи мертв, желает даров тленных и власти погибающей!

Эти слова Куденевича отчего-то особенно часто всплывали в памяти Андрея в последние месяцы...

Утвердив брата в Киеве, а сам оставшись во Владимире, он достиг желаемого. Сердце Русской Царства переместилось во Владимир. Отсюда

распределял Андрей уделы между своими родичами, отсюда посылал свои рати, когда нужно было призвать к порядку зарвавшихся.

После Киева настал черед покорствовать Новгороду. Однако, поход на него оказался неудачен для Андрея. Рать его сына, Мстислава, была разбита, и многие суздальцы попали в рабство новгородцам. Поражение, однако, не остановило князя. Он прекрасно знал, что то, что не дается мечу, возможно добыть совсем иными средствами. Средством против Новгорода стал голод. Славящийся своим свободолюбием город зависел от привозного хлеба из низовских земель... Пути из них и перекрыл Андрей. Через несколько месяцев измученные голодом новгородцы принуждены были принять на княжение его ставленника.

Еще прежде привел Андрей к вассальной зависимости княжество Рязанское и захватил построенный новгородцами Волок Ламский, где отпраздновал свадьбу своей дочери Ростиславы с князем вщижским Святославом Владимировичем.

Расширяя свои владения, Андрей щедро наделял землями свою дружину. Именно ей надлежало стать новой знатью и опорой нового царства вместо прежних бояр. Это, само собою, весьма раздражало последних. Недовольство князей также росло день ото дня. Не привыкли Рюриковичи, чтобы один лишь главенствовал над ними. Это в Византии и иных царствах — царь один, а на Руси всякий потомок Рюрика — царь. И нет у тех царей заботы большей, чем отстаивать друг от друга и умножать собственные права...

Хоть и надломил Андрей эту пагубную традицию, став собирать Русское Царство (а именно единым Царством, а не сборищем уделов виделось оно ему) и понизив значение Киева, а как же далеко еще было для преодоления ее! И нескольких жизней мало на то, не то что жалких лет оставшихся... Таят они эти лета, как та

свеча у образа Богородицы... Еще немного, и угаснет огонь навсегда...

Князь затеплил у образа новую свечу и прислушался. Из-за двери до его слуха донесся явственный шорох.

— Кто там? — позвал Андрей.

— Порфирий, — раздался голос.

Однако, голос этот не похож был на Порфирия. Князь насторожился и, сделав шаг к двери, произнес:

— Врешь ты мне, кто бы ты ни был. Голос моего Порфирия я знаю.

В тот же миг сорванная с петель дверь с грохотом рухнула к ногам Андрея, и из тьмы ее проема оцетинилось несколько мечей и копей.

— Ты прав, князь, это не Порфирий, это смерть твоя! — воскликнул один из убийц, в котором князь тотчас узнал Петра Кучковича.

— Ах вот как! — князь с юношеской легкостью отскочил назад. — Нечестивцы! Пришли убить меня, как дикого зверя, в Божием храме?! Попробуйте же!

Убийцы бросились на него, но Андрей, обрушив им под ноги подсвечник и воспользовавшись темнотой, успел увернуться от ударов. Между тем, святотатцам показалось, что они схватили его. Рев, ругань, стоны огласили святые стены.

— Я поймал его! — раздался торжествующий вопль Якима.

Кого-то кололи и рубили... Вот, зажегся огонь... На полу лежал растерзанный боярин Захария.

— Прости... прости, князь... — хрипло прошептал он. — Иуда я... Поделом мне...

— Но где же Андрей?! — вскричал Петр, озираясь.

— Вот он! — пронзительно возопила Улита, указывая на мужа, стоящего у предела, где прежде хранился меч Святого Глеба. Меча больше не было, и Андрей понял,

что это конец. Он стоял, сложив руки на груди, и спокойно взирал на надвигающихся убийц.

— Улита, Улита, — вздохнул князь. — И ты здесь! К чему уподобились вы Горясеру¹? Или слава окаянного Святополка прельстила вас? Хотите, как и он, вовеки-вечные быть проклятыми и на небе, и посреди людей? Господь отмстит вам за кровь мою и за неблагодарность к милостям моим.

— Довольно, князь! — воскликнул Яким, заноса меч. — Ныне твои речи не спасут тебя!

— Убейте его! — завизжала княгиня, дрожа всем телом, обезумев от ярости. Страшен был смертельно бледный лик ее в этот час, страшным огнем горели омуты-глаза. Дьявол жил в душе этой несчастной женщины, дьявол сделал чертог себе из ее сердца, а теперь правил ею, как бессловесной рабыней.

Градом посыпались удары на безоружного Андрея. Он упал на пол, успев перекреститься:

— Боже, прости им, не ведают бо, что творят!

Крепкое тело дал Бог возлюбившему его князю. И еще более закалилось оно в боях. И, вот, израненное мечами и копьями, не желало разлучаться с душой... Убийцы ушли, считая дело свершенным, но убитый еще не был мертв. Князь очнулся от холода и боли и встретился взглядом с очами Богородицы.

— Нешто снова милуешь меня, Чудотворица?..

С большим трудом Андрей поднялся на ноги. Убить и то не могли, безумные... Шатко двинулся слабеющий князь к двери, попутно взяв и затеплив свечу. У порога лежал в луже крови боярин Захария. Андрей перешагнул через него, а за дверями нашел еще одно тело — своего любимого отрока, Порфирия. Злодеи зарезали его спящего, чтобы он не успел предупредить своего господина. Князь поцеловал холодное чело

юноши, пробормотал заупокойную молитву. Теперь он был совсем один, и неоткуда было ждать помощи.

Может, прав был Кузьма, и не стоило отсылать его? Хоть одна душа верная осталась бы подле. А иначе поглядеть — жив останется Кианин, не сгинет понапрасну, как несчастный Порфирий. Славно сражаться с врагом открытым! Славно сшибиться силами в бою жарком! Даже если враг многократно сильнее — больше чести и славы в том! Но беда, когда враги человеку — домашние его. Против них бессилён меч и вся ратная доблесть...

Жизнь теплилась, и старый воин не хотел сдаваться без борьбы. Храм был заперт снаружи, но оставалась малая колокольня... Подняться на нее и ударить в набат! — озарила спасительная мысль. Пусть весь город услышит и сбежится на зов своего князя! И тогда он будет спасен!

Эта надежда придала изнемогающему Андрею сил, и он пополз, хватаясь цепенеющими руками за стены и ступеньки, наверх. Долгим было это восхождение, слишком долгим... Время от времени силы оставляли князя, и тьма заволакивала его сознание. Когда была преодолена половина пути, он вновь услышал внизу шум. Убийцы возвратились к своей жертве! По громким голосам было ясно, что они уже отпраздновали свое злодейство, и теперь сильно пьяны.

— Его нет! — пронзил тишину взвизг Улиты.

— Пропали наши головы! — ахнул Петр. — Ищите его! Он не мог уйти далеко!

— Правда, господин! Отсюда некуда уйти, — донесся вкрадчивый голос ключкаря Анбала. — Мы найдем его! Взгляни себе под ноги, господин — эти кровавые следы укажут нам путь!

Андрей, слыша это, глубоко вздохнул, поняв, что на сей раз чуда не случится. В узкое окно, напротив которого лежал он на холодных ступенях, струился

равнодушный ко всему лунный свет. Когда бы свет зари напоследок узреть... Но нет, не бывать утешению этому. Топот спешащих на зло ног быстро приближался. Вот, блеснули из темноты факелы, показались искаженные страхом и злобою лица.

— Что, — спросил князь, — понадобился хмель вам для храбрости, чтобы убить мертвеца? Ну же, довершайте начатое! Господи, ныне отпускаеши раба Своего!

Первый удар меча отсек поднятую для крестного знамения руку. Последнее, что увидел гаснущий взор боголюбивого князя — копье в руках его жены, которое занесла она над ним, чтобы пронзить его грудь.

Шесть дней продолжались грабежи и бесчинства, устроенные во Владимире Кучковичами. Кузьма Кианин, вернувшийся в город, нашел тело своего князя, выброшенное на растерзание зверям, и отнес в церковь, где три дня дожидалось оно отпевания.

Тем временем к городу подошли братья Андрея, Всеволод и Михаил. Они жестоко покарали безумных убийц князя. По преданию, нечестивцев живьем зашили в рогожные кули и бросили в Поганое озеро.

Когда настало отрезвление, горько восплакали жители о своем убиенном князе. Прах его был торжественно погребен в выстроенном им Успенском соборе, где честные мощи прославленного Русскою Церковью святого благоверного князя Андрея хранятся доселе.

Необоримые (Герои земли Рязанской)

Сын Чингизхана ларкашкаши Бату пришел на Русь. Его несметным тьмам уже покорились строптивые половцы и волжские болгары. Взор же предводителя татарского войска устремлен был дальше — Золотая Орда желала распространить свое могущество не только на Азию, но и на Европу. Не только свои ордынцы составляли Батыево полчище, пополнил его и китайский осадный тумэн⁸. И не было числа захватническим ратям...

Проезжая по татарскому становищу, расположившемуся на реке Воронеж, скорбел сердцем князь Федор Юрьевич. Страшная сила нашла на землю Рязанскую! Куда ни поворотись — до самого горизонта простираются шатры ордынские, дымят зловеще костры. Сотысячное полчище черной тучей напоззло на Федорову вотчину и изготовилось поглотить ее безо всякой жалости. И чем отвратить это бедствие? Как защититься от такой бесчисленной силы?

Когда прислал Батый своих послов к отцу Федора, великому князю Рязанскому Юрию Ингваревичу, и потребовал десятину от всего достояния княжества, призвал отец в помощь родича своего — великого князя Владимирского Георгия Всеволодовича. Но тот не пришел на зов. И даже людей не послал на подмогу, надменно решив сам встретить и разгромить татарское войско. Не думал несмысленный гордец ни о том, что в одиночку нельзя противостоять столь несметной силе, ни о том, сколько крови христианской может быть понапрасну пролито из-за его намерения дожидаться врага в стенах родного города. Не дождавшись помощи

понял Юрий Ингваревич, что лишь на себя и братьев своих может рассчитывать он в защите Рязани. Тотчас явились по зову его другие Ингваревичи — Давыд, Глеб и Олег, а также окрестные князья. Посовещавшись, порешили отец с дядьями, что не имея сил бороться с великой татарской тьмою, должно пощадить русские жизни и откупиться от злодея Батыя богатой данью, какой бы он ни потребовал. С тем решением и снарядили к всеильному ларкашкаши Федора Юрьевича, наказав не жалеть ни даров, ни обещаний, ни слез, вымаливая пощаду для Рязанской земли.

— Знаю, сын, тяжело и нестерпимо будет сердцу твоему унижаться перед проклятым нечестивцем, — говорил отец. — Но иного выхода нет у нас для спасения наших людей. И я, привыкший сражаться мечом и копьем, теперь склонил бы мою седую голову перед безбожным ханом и рыдал бы в ногах у него — лишь бы пощадил он нашу землю! Ты знаешь, какова будет участь Рязани, если нам не удастся умиловать агарян. Дотла сожжены будут города и веси наши, избиты и старики, и младенцы. В крови утопит хан землю нашу! — при этих словах голос князя дрогнул. — Спасение тысяч невинных стоит нашего унижения... И никто не посмеет поставить нам в вину маломужества. Мы одни, Федор. Одни против стотысячного полчища! Если бы речь шла обо мне, о тебе, о войске нашем, то, клянусь, я предпочел бы принять бой — пусть и безнадежный! Мы погибли бы с честью, как воины, а не скулили бы псами перед безбожником. Но за нами наши матери, жены, чада... Наши люди... И их мы должны защитить. И потому знай, что не на позор отправляю тебя, а на подвиг! Спасение Рязани — в твоих руках! Пред ханом будь смирен, укроти сердце, плачь, кланяйся в ноги проклятому злодею, но вымоли мир! Иначе все мы погибнем.

Смиренно слушал Федор наставления отца, заранее стесняя пылающее гневом против безбожных захватчиков сердце. Он, рожденный для подвига ратного, с младенческих лет навывший к стремени и мечу, должен был кланяться погаными, лизать вражий сапог покорным псом! Что может быть хуже этого?! И все же понимал молодой князь: отец и дядья правы. Для гордости своей предать истреблению и поруганию всю Рязанщину — дело несмысленное и греховное.

— Лучше унизимся теперь, дабы потом, сохранив людей, в свое время отплатить поганым за наши слезы! — при этих словах глаза Юрия Ингваревича блеснули. Старый воин не смирился, склоняя выю ныне, он уже мечтал и жаждал того часа, когда русские рати окажутся достаточно сильны, чтобы сразиться с Батыем. Сразиться и не повторить горького позора Калки, на берегах которой татары впервые разгромили русское войско, ослабленное и разрозненное княжескими распрями, и с той поры грабили Русскую землю, не зная удержу в алчбе и жестокости.

— Я сделаю все, как ты повелел, отец, — пообещал Федор Юрьевич. — Поклонюсь ныне — с тем, чтобы поквитаться потом.

Горько плакала княгиня Евпраксия, узнав, что возлюбленный супруг ее отправляется с посольством к Батыю.

— Феденька, свет ты мой, сокол ясный, не езд к поганому, Христом Богом молю тебя! Не вернись тебе живым оттуда! А что же тогда со мной да с сыночком нашим станется?!

Младенец — уже богатырь! — крепко спал в своей колыбели, невзирая на громкие рыдания матери. «Добрый воин будет!» — с отеческой гордостью подумал Федор, обнимая трепещущую жену:

— Полно, голубка моя! Почему я не должен вернуться? Я ведь еду с миром, с богатой данью да

обильными слезами. Унижаться еду, а не воевать...

— Нет, Феденька, — покачала головой Евпраксия. — Я тебя униженным представить не могу. Ты воин, ты не сможешь целовать ханский сапог. Поэтому ты не должен ехать! Упроси отца переменить решение! Пусть поедет кто-нибудь из дядьев твоих! Но не ты! Не ты! Твое сердце не стерпит поругания!

— Что же я, по-твоему, Ксюша, щенок какой неразумный, что только лаять и драться годится? — рассердился князь. — Я наследую отцу моему, а потому мой долг ехать к хану и защищать наших людей от гибели. И в числе их — нашего сына и тебя! Если я не поеду, Батый придет сюда и сотрет с лица земли этот город и всех в нем! Ни одна плоть не спасется!

— Пусть поедет кто-нибудь другой!.. — вновь отчаянно застонала княгиня, бессильно роняя голову на руки.

Федору было бесконечно жаль жену. Они обвенчались совсем недавно, и всякий мог позавидовать молодому князю, ибо не было девицы прекраснее, чем Евпраксия. Никогда еще природа не создавала такого чуда. Разве что в древние времена, о которых сохранились записанные учеными греками предания... Даже теперь, в великом горе своем, была она прекрасна. Настолько прекрасна, что разом унялась явившаяся в душе досада при одном лишь взгляде на нее.

— Касаточка моя, лебедушка, радость! Я клянусь тебе, что возвращусь живым и невредимым! — заговорил князь горячо, покрывая поцелуями лицо и руки жены. — И с миром, столь необходимым нам! А ты молись, молись за меня крепко!

Прояснилось лицо любимое, обвились вокруг шеи Федора лебединые руки, белые, нежные. И в полумраке ночном зашептал дрожащий голос — о любви, о том, что никакая сила не разделит их, что соединенные Богом

они навеки единое целое и в жизни, и в гибели... И князь отвечал тем же. Что еще мог отвечать и обещать он исполненной ужасом предстоящей разлуки женщине, когда до разлуки этой оставалась лишь ночь — их последняя ночь вместе?..

В посольство Федор Юрьевич отправился с большой свитой и богатыми дарами — везли хану все, что только могли собрать в кратчайший срок, дочиста опустошив рязанскую казну. Но воочию увидев несметность татарских полчищ, впервые содрогнулся молодой князь — этаким стае мало будет привезенной дани! Придется обещать еще. И много обещать! Что ж, Федор пообещает. Все рязанцы пожертвуют последний грош, если речь будет идти об их спасении. И так соберется необходимое. Надо лишь уговорить Батыя дать немного времени на сбор дани...

Ларкашкаши принимал русского князя в богатом шатре. Сразу зарябило в глазах от обилия золота и самоцветных камней, которыми было осыпано буквально все — одежды, оружие хана и его приближенных, стол, на котором он восседал, посуда и прочее. Хан словно нарочно тыкал в глаза своим богатством, желая показать посланнику, сколь ничтожны в сравнении его дары. И то сказать: что может дать Рязань разбойнику, только что проглотившему половцев и Волжскую Булгарию?..

— Что, князь, изведаль ли ты силу мою? — усмехались с издевкой маленькие злые глаза ларкашкаши.

— Изведаль, — поклонился Федор. — Велика и непобедима сила твоя!

— Правду ты сказал, непобедима. И вся Русь скоро поймет это! Вся Русь будет под сапогом моим!

Эта наглая похвальба ожгла сердце князя, но он не подал виду, смиренно слушая ханские речи.

— Я понимаю, что дары, нами привезенные, ничтожны для твоего величия, но в самом скором времени мы соберем много большую дань для тебя. Дай лишь малый срок на то!

— Соберешь, непременно соберешь! — кивнул Батый. — И срок я дам твоему отцу.

— Безгранична милость твоя! — воскликнул Федор, удивляясь легкости, с какой согласился хан на мольбу Рязани. Но ларкашкаши, между тем, продолжал:

— Есть, однако, и у меня условие.

— Мы исполним все, что ты потребуешь!

— Правильно говоришь. Так и должно говорить рабам, — одобрил Батый с издевкой, от которой князя бросило в жар. — Вы хотите, чтобы я не разорял вашу землю. Чтобы я и мои люди стояли на месте, покуда вы соберете дань. Я и мои люди готовы стать здесь на отдых перед дальнейшим походом. Но ведь ты сам воин, и понимаешь, что нужно воинам в дни отдыха от сражений, не так ли? Обильная еда, вино... — хан помедлил. — Это все есть у нас.

— Что же еще нужно твоему величию?

— Женщины, — прищелкнул языком ларкашкаши, и окружавшие его вельможи расхохотались вслед за ним.

Федор побледнел. Он робко понадеялся, что хан лишь жестоко глумится над ним, но тот был серьезен.

— Дайте нам жен и дочерей ваших на ложе, и мы дадим вам время на сбор дани и не тронем вашей земли. Я слышал, княже, что о жене твоей идет слава, будто бы нет женщин краше нее. Это большое богатство, княже! Им многое можно покрыть! Дай мне изведать красоту жены твоей, и я буду милостив к твоей земле!

При этих словах кровь бросилась князю в голову. Этот поганый богомерзкий злодей требовал у него для блуда его возлюбленную княгиню, жену, мать его сына!

Вскинул Федор гордую голову и, прямо глядя в насмешливое лицо хана, воскликнул:

— Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь! — он схватился было за меч, но тотчас был повергнут на землю батыевыми слугами, а с ним и все бывшие в его свите.

Ларкашкаши сошел с трона, приблизился к простертому на земле, скрученному по рукам и ногам князю, схватил его за волосы:

— Ты глупый человек, ты не ценишь и не умеешь распоряжаться своим богатством.

Федор со злобой плюнул в лицо хана:

— Никогда тебе не знать жены моей!

— Посмотрим! — зло усмехнулся Батый, утирая лицо и распрямляясь. — Убейте их, — небрежно бросил он своим слугам. — А тела бросьте на растерзание зверям. Завтра идем на Рязань! Слышишь, княже?! Завтра мы возьмем все то, что вы не пожелали дать нам добром! Завтра мы будем владеть и землями вашими и женами!

Ничего не успел ответить на то князь Федор Юрьевич. В тот же миг обрушились на него удары татарских мечей и копей.

* * *

Южная вежа⁹ выше иных возносилась над Рязанью, с нее, как на ладони, видны были окрестные пространства. В этот час еще тихи и незыблемы были они — быть может, последние мгновения доживая в мирной неге замешкавшегося декабрьского рассвета. Но земля уже слышит чутким слухом своим топот копыт тысяч вражеских коней, уже готовится принять в себя

верных своих сыновей, как приняла войско князя Рязанского...

Много лет служил воевода Яромир Юрию Ингваревичу, начав службу еще при его отце, и горько было ему, когда князь, уходя на битву с погаными, оставил его с запасным полком в Рязани, завещав беречь город и матушку свою, старицу-княгиню Агриппину Ростиславовну... Мужественный и благородный князь Юрий стоически встретил страшную весть о гибели сына. Но жестокой скорбью наполнилось сердце его от сознания тех ужасов, что шли теперь на его землю, и которых не осталось отныне способов отвратить. Князь Михаил Черниговский, к которому послан был за подмогой Ингварь Ингваревич, находился непоправимо далеко. И если бы даже решился он в отличие от князя Владимирского выступить в поход, то уже никак не мог успеть ко времени.

Не желая ждать врага в городе, Юрий Ингваревич собрал все свое войско и вместе с братьями выступил к реке Воронеж, дабы сойтись в единоборстве с вражескими тьмами и... погибнуть с честью, как и надлежит воину. Иного исхода не мог чаять ни князь, ни его сродники и ратники.

— Избавь нас, Боже, от врагов наших! — возгласил Юрий Ингваревич, выезжая пред свое войско. — И от подымающихся на нас освободи нас, и сокрой нас от сборища нечестивых и от множества творящих беззаконие! Да будет путь им темен и скользок! Государи мои и братия, если из рук господних благое приняли, то и злое не потерпим ли?! Лучше нам смертью жизнь вечную добыть, нежели во власти поганых быть. Вот я, брат ваш, раньше вас выпью чашу смертную за святые Божие церкви, и за веру христианскую, и за отчину отца нашего великого князя Ингваря Святославича!

В Успенском соборе служило духовенство напутственный молебен, и бесслезная, величественная старица Агриппина благословляла сыновей в последний поход. Князя Ингваревичи и их войско уходили на смерть, и это сознавали все, кто провожал их, собравшись на высоких тарасах¹⁰. Среди них был и Яромир. И как теперь стояло перед взором последнее видение своего князя. Вот, остановилась высокая фигура его, солнце серебрит в одну ночь после гибели сына поседевшую голову, плещется над ним алый стяг с ликом Спаса Нерукотворного. Проходит мимо князя его верная рать, а сам он в последний раз взирает на свой город, крестится на его купола, прощаясь навеки...

Лишь 700 человек возвратилось из того похода. Остальные остались лежать у реки Воронеж, порубленные татарами, или были пленены ими. Пали в бою и все князя Ингваревичи.

Хотя дорого продали рязанцы жизни свои, сражаясь, как львы, и забрав с собой много больше нечестивцев, но это ничуть не облегчило положения Рязани, оставшейся без своих защитников. Яромир сознавал, что спасти город может лишь чудо. Оставалось одно — по примеру павших продать свои жизни как можно дороже, истребив сколь можно больше поганых. И продержаться как можно дольше — ну, как умилоstitится Господь, и явится на выручку князь Черниговский? Или же, узнав о битве при Воронеже, очнется и поспешит к Рязани князь Владимирский?

Все свои знания, все умение вложил старый воевода в укрепление города к грядущей осаде. Рязань была сильнейшей крепостью Руси. С одной стороны ограждена она была крутым берегом Оки, с которой невозможно было вести штурм. С других трех сторон город был окружен земляным валом в 9 мер высотой и в

25 шагов шириной, со рвом спереди. На валу высились мощные тарасы, двойные стены из дубовых бревен — с землей и камнями между ними. Тарасы соединялись высокими вежами, выступающими вперед для удобства обстрела атакующих. Внутри крепости располагался еще один вал и тарасы, окружающие детинец¹¹.

Тарасами-то и занялся Яромир в первую очередь, велел залить их водой, которая в декабрьскую стужу тотчас заковала стены в ледовый панцирь. Однако, стены и орудия не спасут, если некому будет оборонять их. Оставив запасной полк в 500 гридней и имея еще столько же, воевода призвал на защиту города простых жителей. Лучшими после гридней воинами были охотники-медвежатники и лесорубы. Но спешили вступить в ополчение все, кто мог носить оружие: от отроков до стариков. Немалое пополнение составили и крестьяне, оставившие свои посады и укрывшиеся в крепости. Разбитые на сотни и десятки ополченцы вооружались мечами, дубинами, луками, топорами, копьями и занимали отведенные им Яромиром позиции.

Не отставали от мужчин и женщины. Они не могли биться с врагом мечами, но могли помогать воинам на крепостных стенах, втаскивая тяжелые камни для метательных орудий, варя смолу, опрокидывая котлы с нею на головы штурмующих... В обезлюдевшей Рязани лишних рук оказаться не могло, и в помощь годились даже слабосильные.

Несколько дней шла лихорадочная работа, и, вот, донесли дозорные, что приближаются Батыевы тьмы, выжигая все на своем пути. Пустошь и дымящуюся золу оставляли после себя поганые, ничего и никого не щадя. В ожидании врага старый воевода прошел в Успенский собор, где денно и ночью молилась осиротевшая княгиня Агриппина. Она и теперь, несмотря на лета свои, стояла на коленях пред образом

Николая-Угодника. Выцветшие глаза ее, прежде ярко зеленые, прекрасные, были сухи. Спокойствие этой женщины, потерявшей почти всю семью, поражало и восхищало. Но, может, от того так спокойна была она, что знала — разлука будет совсем недолгой?

Знали это и снохи ее, но в отличие от старицы заходились в горьких рыданиях. Плакали они по мужьям и сыновьям своим и по собственным загубленным жизням, по страшной участи, ожидавшей их.

— Полно, милые, — тихо говорила им Агриппина Ростиславовна. — Такова Божия воля. За муки наши он воздаст нам сторицей. Не бойтесь. Двери Господней святыни нечестивцы не одолеют...

Верила ли она сама в это последнее утешение? Но снохи ее не верили и голосили еще пуще, ломая руки.

Заметив вошедшего Яромира, княгиня поднялась и шагнула ему навстречу:

— Здравствуй, воевода! Чаю, недобрые вести принес ты? Добрых-то ждать нам неоткуда.

Низко поклонился Яромир старице. Вспомнился вдруг, как живой, супруг ее, Ингварь Святославович, с коим в стольких битвах вместе мужествовали! И сама она — еще молодая, полная сил красавица, окруженная гурьбой сыновей... И Юрий Ингваревич, которого именно он, Яромир, впервые сажал на смирную малорослую лошадку — гнедую, в белых «онучах»... Целая жизнь пролетела, и, вот, оканчивалась ныне — горчайше... Нет, не жаль ее, этой жизни. Она уже прожита. Но жаль всех этих юношей и дев, и малых детей, и белоснежной прекрасной Рязани, обреченных в жертву безбожному Батыю.

— Они скоро будут здесь, княгиня, — вымолвил Яромир.

— Мученический венец ждет всех нас, как моих сыновей и внуков, — отозвалась Агриппина. — Мы

готовы к тому. Не заботься и не вспоминай о нас!

— Твой сын завещал мне беречь тебя.

— А я приказываю тебе думать лишь о городе. А нас — Господь сбережет, если пожелает.

На глазах старого воеводы выступили слезы. Он опустился на колени перед своей госпожой и, склонив голову, попросил:

— Все князья наши пали, посеченные вражьими мечами. Посему тебя прошу, княгиня, благослови на грядущую битву!

Агриппина Ростиславовна медленно подошла к аналою и сняв с него икону Федотьевской Божией Матери трижды осенила ею Яромира:

— Да поможет тебе Пречистая, воевода! Тебе и всему нашему войску! Всем людям нашим! Да умолит сына своего о нас, многогрешных! Ступай, воевода! Мы все молимся за тебя. И, коли не суждено нам будет свидеться вновь, прими мою вечную благодарность за верность твою, за службу моему мужу и сыну, за все, что ты делаешь ныне. Храни тебя Христос! — и уже не иконой, но иссохшей рукой перекрестила старица своего воеводу, едва коснувшись перстами чела и плеч его.

Получив благословение своей госпожи, Яромир вернулся на Южную вежу и стал ждать, весь уйдя в глаза... Когда первые лучи солнца тронули румянцем снежные покровы, земля на горизонте ожила. Зашевелилась. Понадвинулась вперед. Так полчища саранчи сплошной тучей движутся на нивы, чтобы уничтожить их. Так шли на Рязань тумэны лалкашкаши Бату — непобедимого хана Батыя...

Тотчас ожила и крепость, всякий занял место свое, изговорясь к последней битве. И последний раз тягучим, надрывным, грозным голосом загудел над белым городом набат, возвещая, что наступает судный час и призывая всех на подвиг. На подвиг и на смерть,

ибо нет спасения от надвигавшейся тьмы, на которую удивленно взирало беспечное и беспечальное солнце.

* * *

— Ну, братцы, постоим за князей наших павших! За жен и чад наших! За веру Христову! Крепись, православные! — крикнул Апоница своей сотне, обнажая меч и горя одним-единственным желанием — снести им как можно больше татарских голов.

Верный друг благоверного князя Федора с младенческие его лет, Апоница был с ним в роковом посольстве. Господь сберег его среди немногих уцелевших от избиения, но лучше бы все мечи и копья татарские обрушились на него, нежели видеть очам брошенное на растерзание волкам и стервятникам тело несчастного князя!

Под покровом ночи, когда татары пировали, предвкушая новый поход и позабыли думать об истребленном русском посольстве, Апоница забрал тело своего возлюбленного господина и предал его земле, как велит христианский обычай. После этого с горчайшей вестью он возвратился в Рязань. Именно ему судил Бог сделаться вестником гибели своему граду и княжескому семейству...

Как теперь видел сотенный искаженное ужасом и мукой прекрасное лицо княгини Евпраксии, когда, пав пред ней ниц, он сообщил ей о страшной участи ее мужа. Как теперь слышал ее пронзительный, душераздирающий вопль!

— Сокол мой ясный, не будет твоя лебедушка принадлежать злему коршуну! По тебе грядет!

Вскочил Апоница в ужасе на ноги да уж поздно было! В единый миг выхватила обезумевшая от горя

княгиня младенца-сына из колыбели и прижав его к груди выбросилась из окна своего терема. А терем тот был самым высоким в Рязани... С содроганием взглянул верный слуга вниз. Там, на расплавленном алой кровью снегу, лежала бездыханная Евпраксия. Прекрасные руки ее так и прижимали к груди навеки умолкшего княжича, что еще мгновения назад пищал в своей колыбельке.

Горько-горько плакал Апоница по княгине и младенцу, коря себя в их смерти, в том, что не смог удержать от отчаянного шага, спасти. Воевода Яромир, видя его терзания, утешил по-своему:

— Полно убиваться, сыне. Скоро мы все пред Господом предстанем, сам знаешь. Пришло время, о котором Писание говорит, что живые позавидуют мертвым... Знаешь, какова будет участь жен и чад наших, если они уцелеют. Так уж воистину лучше было не дожидаться того нашей прекрасной княгине!

— Но княжич! Он мог спастись!

— Или быть захвачен и возвращен татаринном? Внук князя Юрия — лучше ангел в чертогах Господних, чем поганый агарянин, Бога и родства не ведающий!

Жестоки были слова старого воеводы, но была в них и правда жестокая. Только не утешила она скорбящую душу Апоницы. И все виделось ему в запоздалых грезах, как можно было бы утаить маленького княжича, отправить прочь из города с неприметными купцами, сберечь... Но что теперь грезить! Ушел младенец невинный к отцу, отлетела душенька ангельская...

Вражеские тьмы приблизились к стенам Рязани, и содрогнулись защитники ее. Впереди своих тумэнов гнали безжалостные захватчики — хашар... Хашар — тысячи пленных, рабов-смертников, живой щит и живое оружие. Мужчины, старики, дети, женщины... Хлещут их по окровавленным спинам татарские надсмотрщики, и бойся остановиться, бойся повернуть назад — тотчас

слетит с плеч голова... Хашар не щадили и не считали. Недостатка в пленных у татар не было. Рабов едва-едва кормили, так как срок жизни им был отмерян в считанные дни — для осадных работ.

У стен Рязани пленники — иные из рязанцев же! из войска князя Юрия и окрестных поселян, не успевших укрыться в крепости! — принялись рубить лес, заваливать рвы вымоченными в воде бревнами, хворостом, камнями и... своими телами. Упал изможденный и израненный раб — никто не поднимет его. Он исполнит последнюю службу — станет материалом для заполнения рва...

Хашар обслуживал и орудия осаждавших. Батыевы требюшеты и тангутские камнеметы имели дальность вдвое короче, нежели орудия осажденных. И чтобы последние не перебили орудийную прислугу перед ними ставили рабов. Чтобы добраться до врага русские должны были сперва выкосить ряды — русских же! Своих собственных братьев и сестер!

Сразу две задачи решали таким способом окаянные злодеи. На борьбу с хашаром уходили силы и боеприпасы осажденных — еще прежде чем шли в бой татарские и китайские тумэны. К тому же необходимость убивать своих подрывала дух обороняющихся.

— Как же, как же стрелять в них? — чуть не со слезами шептал кузнецов сын Василько. — Ведь там сестра моя может быть! И батя...

И дрожала рука юноши, опуская лук.

— Мой брат тоже там, — хмуро отвечал на это Апоница. — И мы должны стрелять.

— И убивать братьев?..

— Не мы убиваем их, а татары. Им нет избавленья...

Быстро наполнялись рвы. Смешивались в них бревна и пленники, камни и защитники крепости, сраженные вражескими стрелами и упавшие со стен. Столь же

быстро сооружались тараны и катапульты. Но некогда страшиться этих приготовлений, когда нужно сражаться! Рязанские лучники сменяли друг друга, отогревая у костров коченеющие на морозе руки. По крепостным лестницам спешили бабы и дети, таща на себе тяжеленные камни, охапки стрел и сулиц¹².

Поединок лучников дополнился поединком орудий. Огромные камни и деревянные чурбаны с грохотом ударялись в рязанские тарасы, но те были достаточно крепки, чтобы выдержать эти удары. Следом однако же летели горшки с горючей смесью, и огонь становился куда более опасным врагом для деревянной крепости, нежели катапульты...

— Бабы! Скорее! Туши!

Кому еще тушить, как не бабам, если мужья не могут оставить своих позиций? И бежали рязаночки, заливали пламя из ведер и кадусек, не жалели ни шуб, ни перин своих. И самих жизней не жалели. Достигали и их белых тел татарские стрелы...

Когда рвы были заполнены, тумэны двинулись на штурм. Но вперед снова был брошен — хашар. Тысячи рабов шли к стенам Рязани, направляемые кнутами погонщиков, перебирались через ров, налаживали лестницы...

Заголосили отчаянно бабы:

— Как же мы? Что же мы?! Их, сердечных наших, смолой и кипятком заливать?!

А смола и кипяток уже дымились в приготовленных чанах...

Смутились и воины-новобранцы. Одно дело рубить мечами и топорами лисьи малахаи поганых, но совсем другое обрушить их на головы своих!

Рабы лезли на скользкие стены, то и дело срываясь во рвы. Оборванные, истощенные, полубезумные... У них не было выбора. Вернешься — голова с плеч.

Доберешься до верха — голова с плеч. Однако же, лучше бы вернулись! Однава погибать! Так погибли бы от руки врага, не принуждая к братоубийству своих! От этой мысли что-то недоброе загорелось в душе Апоницы, тесня оттуда расслабляющую жалость. Выхватив меч, он ринулся навстречу хашару, увлекая за собой свою сотню.

Взмыл меч над первой показавшейся над гребнем тараса головой и замер в воздухе.

— Стой, брат! Не губи!

Замутились глаза влагой. Братец кровный, Еремеюшка... На Воронеже проклятом в полон угодивший...

Убрав меч в ножны, Апоница кинулся к брату и, подхватив его под руки, втащил на стену.

— Братцы! — закричал он зычно. — Уберите мечи и копья! Это же наши рязанцы! Поможем им вернуться и встать в наши ряды! Думают нечестивцы, что ослабят нас, послав на убой наших сродников! А мы обманем их! И будут наши сродники вновь соратниками нам супротив поганых!

Радостным гулом приветствовали эти слова тарасы и вежи, передавая их по всей крепости. И уже не мечами и смолой встречали хашар рязанцы, не сбрасывали лестниц, по которым взбирались пленники, но, напротив, сбрасывали им веревки, спеша спасти как можно больше несчастных сродников. Те же, обретя надежду на спасение, карабкались на стены с воодушевлением, какого доселе не знавали штурмующие.

Засуетились татары, поняв, что происходит неладное. Засвистели бичи, отгоняя хашар от рязанских стен. Не всех пленников удалось выволить из неволи, но освобожденные уже спешили надеть на себя кольчуги и с оружием в руках стать подле освободителей, защищая стены Рязани.

Между тем, вслед за хашаром настала очередь нукеров. Отборные Батыевы тумэны ринулись в атаку на крепость с трех сторон. Гул барабанов и рык тысяч нечестивых глоток «Хар-р-ра!» сотряс воздух.

* * *

Шесть дней билась Рязань. Волна за волной накатывали на белые стены вражеские тьмы, и не было конца тем волнам, и не было передышки между ними. Занимались огнем стены и башни, тупились мечи защитников, и с каждым часом уменьшалось число их, уже не хватало людей, чтобы охватить все крепостные стены. Женщины и дети поднимали тяжелые мечи и дубины павших мужей и отцов, предпочитая гибель в бою участи хашара...

Когда меткая татарская стрела вонзилась в шею Апоницы, Еремей успел подхватить брата, стащить его прочь со стены, чтобы не пал он в проклятый ров, утрамбованный мертвыми и еще живыми телами.

— Братец милый, обожди помирать! Сейчас я перевяжу тебя! — шептал Еремей. Ему удалось вырвать стрелу из раны, и черная кровь хлынула обильным потоком, обагрив его самого.

— Уходи, — прохрипел Апоница. — Иди обратно на стену! Защищай город! Городу нужны воины...

В этот миг раздался оглушительный грохот и отчаянный визг татар. Еремей непонимающе вскинул голову.

— Ворота... — прошептал Апоница, глаза которого неестественно расширились. — Яромир приказал обрушить своды, если протаранят ворота... Это конец...

Еремей не знал принятых воеводой мер, но, как опытный воин, понял все. С утра поганые подкатили к

воротам таран и, прячась под его навесом от русских стрел, принялись выламывать городские ворота. Наконец, им это удалось, и нечисть хлынула в долгожданный пролом. Но не знала нечисть, что старый Яромир подготовил ловушку. Дежурившие у ворот медвежатники привели в действие механизм, обрушивший крепостные своды на головы татар. Многие нечестивцы погибли под ними, другие были искалечены. А на пути захватчиков вместо ворот образовались теперь завалы, которые предстояло разобрать прежде чем ворваться в город.

Хитер был воевода, но хитрость его давала лишь малую отсрочку осажденным перед неминуемой развязкой.

— Собери всех уцелевших и отступай в детинец, к собору... — все глуше становился хрип Апоницы. — Защищайте княгиню...

Это были последние слова княжеского друга и сотника. Глотая слезы Еремей закрыл глаза старшему брату и бросился на стену, где последние ополченцы из последних сил отбивали яростные атаки татар.

Белый город был заволочен дымом, в черноте которого то и дело мелькали алые языки пламени. Полыхала погребальным костром угловая вежа. Еще чуть-чуть и обрушится она, открыв захватчикам путь в город, и уже никто и ничто не сможет тогда остановить их.

— Братья! Отходим!

Все княжеские воины были убиты, и потому Еремей, простой ратник, принял на себя обязанности сотенного, прежде исполняемые покойным братом. Свось мглу, огонь и завалы добрался отряд до главной площади. Здесь, у Успенского собора, уже заняла последний рубеж сотня Спасского погоста во главе с доблестным Гостомыслом.

— Ну, что, други, — обратился он, израненный и от слабости опирающийся, как на посох, на собственный меч, к подошедшим еремеевским ополченцам, — настала пора и нам в Божью рать собираться?

Бодро звучал голос славного воина, точно не на смерть приглашал он рязанских ратников, но на пир победный.

— В Божью рать мы давно сготовились, — отозвался Еремей. — Да только допреж пусть полчище сатанинское за наши души дорогую цену заплатит!

Треск, грохот, столп огня и пыли возвестил о том, что угловая вежа обрушилась, и путь к сердцу Рязани открыт. Последние ратники заняли круговую оборону, и через считанные минуты смяла, накрыла их визжащая волна рыжих малахаев.

— Хар-р-ра! Хар-р-ра!

Все смешалось перед глазами Еремея. Только мелькали ненавистные татарские рожи, а сам он, не обращая внимание на раны, резал, колол, рубил проклятых захватчиков. Казалось, что конец уже настал, но тут нежданно протрубил рог воеводы Яромира...

— За веру Христову! За княгиню Агриппину! За Русь! — покрыл потонувшую в воплях, грохоте и звоне мечей площадь густой бас последнего предводителя рязанского воинства.

Пятьсот гридней, приведенных им, бросились на татар, беспощадно рубя их. В самую гущу боя въехал и сам он, восседая на гнедом коне. Он прекрасен был в этот миг, величавый, еще крепкий телом, седовласый старец!

— Ратуйте, православные!

На трубный голос его, казалось, поднимались и снова шли в бой не только раненые, но даже убитые.

Тем временем со стороны ворот появилась татарская конница, предводителя которой, Батыева

сродника Бари, бывший раб Еремей узнал сразу. Остатки русского войска отступили к самым стенам храма, живым щитом заслоня затворившихся в нем.

— Ратуйте, православные! — в последнюю атаку, отбрасывая татар назад, ринулся с малым отрядом славный Яромир, и мечом к мечу сошелся с самим Бари. Молод и ловок был татарский тысяцкий, но грозной силой стал на его пути старый русский воевода, защищавший свою госпожу и свой город.

Пронзенный копьем Еремей упал на ступени собора. Его и еще нескольких раненых успели внести внутрь, пока Яромир удерживал натиск поганых...

Когда он очнулся, то понял, что на этот раз все, действительно, конечно. Снаружи неслись торжествующие вопли победителей. За окнами плясали языки пламени, а сам собор все более наполнялся удушливым дымом. Нечестивцы подожгли храм, решив погубить в огне всех, кто укрывался в Господнем доме!

Укрывшиеся понимали это. Все духовенство, облаченное в белые ризы, служило панихиду — по всем павшим, по всем бывшим в храме, по самим себе. Посреди храма гордо высилась облаченная в подобающие княжескому достоинству одежды фигура Великой Княгини. Подле с ней стояли ее снохи, другие женщины, дети, лежали, а иные и силились подняться немногочисленные раненые. Их обходили священники, причащали в последний раз. Сподобился и Еремей приобщиться... Это было последнее утешение, дарованное обреченным мученической смерти.

Дым становился все гуще, и пламя занималось в самом соборе, трещали стены и своды его, готовые обрушиться. Задыхались, кашляли женщины, срывались от смога голоса певчих, и все же уходящие в вечность продолжали выводить сладостную молитвенную песнь.

Южные князья живут своими заботами. Ратились здесь промеж собою Изяслав Киевский, Даниил Галицкий и Михаил Черниговский. То Михаил у Даниила Галича отбивает, то Даниил Чернигов осаждает, то Киев делят князья властолюбивые... А то с новгородцами, с курянами которые затевают.

Черниговский стол князь Михаил занял после гибели в битве при Калке своего дяди Мстислава. В той битве и сам Михаил храбровал и звал в ту пору всех князей русских сплотиться против татарского нашествия. Да не все зову тому откликнулись, и черниговский князь, чудом уцелевший в роковом для Руси сражении, этого не позабыл. Потому, когда явился к нему из Рязани князь Ингварь Ингваревич звать на рать с погаными, охотою к тому не возгорелся.

— Брата твоего, Юрия, я тоже некогда призывал идти с нами на поганых, да он убоился сражения. Теперь враг стучится в его собственный дом, и от сражения уже не уйти, неправда ли? Только почему думает князь Юрий, что я должен выручать его?

Евпатий видел, как при этих словах побагровел князь Ингварь. Укор брату в трусости — великое оскорбление! И хотя в том разе неправ был князь Юрий, о чем и сам сокрушался позднее, но время ли вспоминать о том сейчас? Да и не в боязни же было дело! А только видел Юрий Ингваревич, что при усобице княжеской все одно единого войска не собрать, а, значит, и победы не жди! А на убой пожалел своих рязанцев посылать... Человеколюбив был князь, не смел жизнями христианскими понапрасну разбрасываться. Только не объяснишь этого Михаилу, в сердце своем обиду взлелеявшему...

— Мой брат просит помощи твоей и других князей для спасения от общего бедствия!

Погладил черниговский князь темно-русую курчавую бородку:

— Общего? Но несколько лет назад оно не было общим для князя Юрия.

— Княже, к чему вспоминать ныне былые обиды? — вступил в разговор Евпатий. — Ты давно знал, что беда общая. Знает это и князь Юрий. Батый идет на Рязань, и, если никто не поможет, то Рязань и все земли ее будут разорены, а люди побиты и полонены. Неужто нет дела русскому князю до бедствия русской земли? И ты знаешь, княже, что на Рязани не остановится проклятый нечестивец! Он пойдет дальше! На Владимир! На Тверь! На Чернигов! На Киев! Он придет и к тебе! Неужели ты хочешь такой беды своей вотчине?!

— Вот, когда этот ненасытный зверь дойдет до моей вотчины, тогда, можете быть уверены, мне будет, чем его встретить и попотчевать!

Переглянулись безнадежно князь Ингварь с Евпатием. Дух горделивого упрямого самостийства окончательно обуял русских князей. Даже лучших и храбрейших из них. Тот же ответ прежде дал князь Владимирский...

— Княже, — тихо сказал Евпатий, — ведь ты во Христа веруешь. Неужели не обливается кровью твое христианское сердце от мысли, что орды Батыевы будут жечь наши храмы, терзать священников, ругаться над святынями, что столько душ христианских будет загублено? И что всему этому и сам ты станешь причиной, потому что не протянул руку помощи молящим тебя о ней?! Неужели прежняя обида для тебя важнее?

Нахмурился Черниговский князь, замутилась душа его от этих горьких слов.

— Та прежняя обида стала причиной нынешнего бедствия, и не я за него ответчик...

— Пусть так. Но если ты, мудрый и отважный, столь сурово судишь ныне князя Юрия, то зачем сам повторяешь ошибку его? Или же боишься идти на рать?!

Вспыхнул Михаил, блеснули гневом ярые очи. Показалось Евпатию, что вот-вот убедит он упрямого князя. Но напрасна была надежда. Не пожелал Черниговец помогать рязанскому родичу и посланников его отпустил ни с чем.

Еще не успел Ингварь Ингваревич со свитой покинуть негостеприимный Чернигов, как из Рязани прискакал гонец с вестями грозными, будто бы убит Батыем бедный князь Федор, и сражение с погаными сделалось неминуемым. Ох уж и припустили коней при известии этом! Мчались день и ночь, меняя загнанных коней и не давая передышки себе, надеясь поспеть вовремя и вместе со сродниками биться за родную землю.

Но далеко отстоит Чернигов от Рязани! Поздно примчался Ингварев отряд в родимые края. А краев этих благословенных и узнать нельзя было. Вся земля рязанская в пепелище обратилась. Только черные головешки дымились посреди отчаянного белого безмолвия, и, словно коряги, торчали из-под снега застывшие руки мертвецов, уже запорошенных метелью. Черные стаи воронья кружили над великой поживой, и жадные волки тащили в лес обильную добычу. Ни церквей, ни погостов не осталось окрест, и даже самый град Рязань, крепость белоснежная, черным пугающим остовом вздымалась над Окою...

В этих порушенных и обгоревших стенах нашли ратники сошедшихся туда немногих уцелевших и избежавших полона. От них узнали они об участии княжеского семейства и всех рязанцев. Услышав о

гибели возлюбленной матери и братьев князь Ингварь закричал, запричитал диким голосом:

— О милая моя братия и воинство! Как уснули вы, жизни мои драгоценные? Меня одного оставили в такой гибели! Почему не умер я раньше вас?! И куда скрылись вы из очей моих, и куда ушли вы, сокровища жизни моей? Почему ничего не промолвите мне, брату вашему, цветы прекрасные, сады мои незрелые? Уже не подарите сладость душе моей! Где сила ваша? Над многими землями государями были вы, а ныне лежите на земле пустой! Светочи мои ясные, зачем потускнели вы? Если услышит бог молитву вашу, то помолитесь обо мне, брате вашем, чтобы умер я вместе с вами! О земля, о земля! о дубравы! Поплачьте со мною! — и, сделавшись белее снега, пал на землю князь, будто мертвый.

Его в страхе стали отливать водой, боясь потерять последнего господина. Когда последний Ингваревич вздохнул и открыл глаза, боярин Евпатий перекрестился и кликнул побледневшей от горя и гнева рати:

— А ну, соколики, удальцы-храбрецы рязанские! Пойдем искать погубителя братьев и матерей наших! Отомстим поганым за их муки!

— Отомстим! — дружным хором грянули воины, потрясая мечами в воздухе.

Хан Батый, опустошив Рязань, без промедления ринулся к Владимиру, уводя с собой хашар. По кровавым следам нетрудно сыскать разбойное полчище. Мчалась дружина Евпатиева по горьким пепелищам и равнодушно оледенелым лесам. Что мог сделать один отряд против многих тысяч? Но ярость делала каждого ратника равным десятку, а то и сотне воинов. Тот, кто потерял все, не знает ни страха, ни боли, ни жалости. Тот, кто потерял все, сражается, даже будучи убит. Именно ратью убитых, восставшими из-под земли

рязанскими мертвецами показалась татарам русская дружина, вдруг явившаяся из лесной чащи и бросившаяся на них.

Тумэны не успели перестроиться в боевые порядки. Нукеры не ждали нападения. Хашар не был выставлен заслоном. А к тому — страшен был вид восставших мертвецов! Суеверный ужас внушали они безбожным агарянам и язычникам. Смешались, растерялись татарские полчища, и немногочисленные русские ратники насквозь проезжали их ряды. И каждый удар попадал в цель в этом побоище! Так и летели татарские головы, скошенные русскими мечами, а, когда клинки затуплялись, мстители брали мечи поверженных...

Визжали истошно нечестивцы, но не их визг, а плач вдов и сирот стоял в ушах русских воинов. Среди них не было ни единого, кто не лишился бы жены, матери, братьев, сестер, отцов...

Но, вот, сумели санчакбеи построить свои тумэны в боевые порядки, и сам зять Батыев Хостоврул ринулся в бой, желая поразить Евпатия. И тотчас встретил свою смерть — рассекла его до седла богатырская рука рязанского воина. Видя бесславный конец сильнейшего своего батыря, еще больше растерялись татары. Чудилось им, что не человек, не люди стоят против них, но рать бессмертных, неуязвимых для мечей и стрел.

Тогда на маленькую дружину, точно на крепость могучую, обратили осадные орудия. Полетели камни и горящие чурбаны на головы отважных рязанцев. Тех, кого даже многотысячной силой не могли одолеть в бою, решили сокрушить требушетами. Против камнеметов бессильны были мечи русского войска...

* * *

Ларкашкаши Бату был хмур и задумчив. Целые сутки его бесчисленное войско не могло совладать с крохотной русской дружиной. И потому победа не радовала его. Да и какая победа, если все поле устлано телами его убитых батырей! Не в один слой лежат они, но навалены друг на друга, что курган! Такие потери были бы оправданы в сражении с крупным и сильным войском. Но в сражении против горстки безумцев?

Полог шатра отодвинулся и пред очи хана внесли и положили у его ног тело русского батыря. Его не смогли убить ни мечом, ни копьем, ни стрелою. Но один из тяжелых камней все же настиг его и поверг на землю, проломив могучую грудь.

Батый посмотрел на мертвеца с сожалением. Тела своего убитого зятя он не пожелал видеть. Самодовольный пес похвалялся притащить на аркане русского батыря! Но сам погиб от его руки, поделом же...

В шатер ввели пятерых израненных пленников — всех уцелевших в побоище русских ратников. Ларкашкаши долго смотрел на них, пытаясь найти в их облике что-нибудь необычное, сверхъестественное. Но ничего не находил. Обычные люди... Вот, только глаза... Какой яростью горят они даже теперь! Какая великая неборимость в них! Они изнемогли от ран, они пленники, их могут предать самой жестокой казни, но ничто не вызывает дрожи в них. И смотрят они на всемогущего хана так, словно бы раб он, а не они. Словно бы они... боги...

— Какой вы веры, и какой земли, и зачем мне так много зла сотворили? — спросил Батый.

— Веры мы христианской, — ответил громким голосом один из пленников, — слуги великого князя Юрия Ингваревича Рязанского, а от полка мы Евпатия Коловрата. Посланы мы от князя Ингваря Ингваревича Рязанского тебя, сильного царя, почествовать, и с

честью проводить, и честь тебе воздать. Да не дивись, царь, что не успели налить вдосталь чаш на великую силу — рать татарскую!

Удивился ларкашкаши смелому и гордому ответу. Никто не отваживался говорить с ним так! Но не воспламенилось гневом сердце хана. Эти люди были слишком достойными противниками...

— Что скажете вы на это? — обратился Батый к обступившим его мурзам и санчакбеям.

Самый старый мурза по имени Гудун, слепой на один глаз, ответил:

— Со многими царями, во многих землях, на многих битвах мы бывали, а таких удальцов и резвцов не видали, и отцы наши не рассказывали нам. Это люди крылатые, не знают они смерти и так крепко и мужественно бьются — один с тысячею, а два — со тьмою.

Ларкашкаши помолчал, а затем, подойдя к телу Евпатия, вздохнул:

— О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с малою своею дружиною, и многих батырей сильной орды моей побил, и много тумэнов разбил. Если бы такой воин служил у меня, — держал бы его у самого сердца своего!

И от того всего более скорбел хан Батый, что такие великие батыри не сражались в его войске. Что великий воин, крылатый человек, почти бог, погиб понапрасну, а каким бы санчакбеем мог стать он в Орде! С таким — весь мир положили бы к ногам своим!

Хан сделал знак своим людям:

— Отпустите этих храбрецов. Крылатым воинам не место в хашаре. Они избранные! А вы, — обратился Батый к освобожденным пленникам, — возьмите тело вождя вашего и погребите по вашему обычаю со всею славою! Он первый воин из тех, каких довелось мне видеть. И да не будут звери и птицы терзать его кости!

Крылатые люди безмолвно подняли тело своего вождя и вышли из шатра — так гордо, точно не хан только что оказал им неслыханную милость, но они делали честь ему. Словно они были победителями. Впрочем, они и были таковыми. Избранными. Крылатыми. Необоримыми.

Всему своё время (Святой праведный князь Александр Невский)

Батыевы тумэны до Новгорода не дошли. Предав огню всю южную и срединную Русь, истребив множество людей, они остановились, столкнувшись с непогодью, и лишь опалили едва край новгородчины, опустошив Торжок.

Избегнул господин Великий Новгород страшной участи иных русских городов, но другой враг уже устремился к его стенам, по-стервятничьи рассчитывая на легкую поживу в обескровленной Руси. «Если можешь, сопротивляйся, — я уже здесь и пленяю твою землю», — такое послание получил князь Александр Ярославич от зятя шведского короля ярла Биргера, чьи корабли с нахальной самоуверенностью вошли в устье Невы.

Молодому князю минуло девятнадцать, но уже не новичок был он в деле ратном. Когда отчую землю раздирают междоусобицы и внешние противники, на детство и отрочество времени не остается, и всякий, рожденный мужчиной, скоро становится воином, мужая в походах и ратях. В четыре года Александр был посвящен в воины в Спасо-Преображенском соборе Переславля благодатным старцем Симоном, святителем Суздальским. Отрок едва мог еще удержать в руках меч, но уже всей душой готов был разить им лихих супостатов. В детстве, впрочем, все кажется легче и проще. Лишь с годами узнается, что не со всяким врагом можно разрешить дело мечом, что кроме львиной силы и отваги потребна князю и мудрость змеиная, и кротость голубиная...

Отроческие годы провел Александр рядом с отцом. Когда скоропостижно преставился старший брат Федор, на него, 11-летнего княжича, легла ноша наследовать родителю. К тому времени он уже четвертый год княжил в Новгороде — так пожелал отец, великий князь Киевский и Владимирский Ярослав. До 15 лет он наставлял сына в искусстве правления и ведения войны, а после доверил ему править самостоятельно. За год до этого княжеские войска изгнали литовцев из Смоленска и наголову разбили латинян на реке Эмайыги, где юный Александр впервые ощутил вкус настоящей, большой победы.

Теперь отец был далеко, в Киеве, а враг — уже совсем рядом. И прогнать его прочь из родной земли молодому князю предстояло в одиночку. Первый раз долженствовало ему вести за собою войско, полной мерой ложилась на него ответственность за судьбу своих ратников и своей вотчины, за судьбу самого Новгорода и его жителей. Ошибется князь — пропадай народ!

— Боже славный, праведный, Боже великий, крепкий, Боже превечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ! — шептал Александр, стоя на коленях посреди Софийского собора и не отводя глаз от образа Спаса. — Но прикрывающиеся крестом Твоим забыли Твою заповедь!

Божии заповеди псы-рыцари, на плащах которых был нашит крест, забыли и презрели давно. Еще тогда, когда с Божиим именем на устах предали огню и разграблению Константинополь и Святую Софию! Ныне крестоносцам не давала покоя терзаемая усобицами и нашествиями иноплеменных варваров Русь. Сперва они покоряли языческие племена, обращая их в латинскую веру, а затем добрались и до княжеств православных. В городе Феллин эти радетели за «истинную веру»

повесили весь русский гарнизон... Нашивая крест на плащи, папские рыцари мало чем отличались от вышедших из азиатской пустыни татар. Для обороны от них Александр успел еще годом раньше срубить ряд малых городков-крепостиц по реке Шелони. Но эта защита недостаточна была. Как и сами рати новгородские малы были в сравнении со шведскими. Но где бессильны силы человеческие...

— Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне! — трижды перекрестившись и простершись пред святым образом, князь поднялся и вышел из храма. Яркий солнечный свет ударил в глаза ему, не дав в тот же миг оценить необъятное людское море, бурлившее на площади в ожидании своего вождя. Когда он появился, раздался оглушительный рев:

— Князь! Веди нас на бой! Постоим за Великий Новгород!

На дело ратное толпа не надобна. Толпа создает беспорядок. Делу ратному рать потребна. Пускай невелика она будет, лишь бы действия ее были слажены, лишь бы каждый в ней хотя трех врагов стоил.

К крыльцу Софийского собора подвели белоснежного коня, и князь легко вскочил в седло.

— Не в силе Бог, а в правде! — возгласил Александр, обращаясь к своей дружине. — Иные — с оружием, иные — на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем! Они поколеблются и падут, мы же восстанем и тверды будем!

С этим кратким напутствием молодой князь повел дружину в свой первый самостоятельный поход. Он успел отправить родителю гонца с извещением о вторжении шведов и намерении сразиться с ними, но по расстояниям русским благословения отчего не приходилось ждать прежде, чем завершится битва.

Направив вперед войска толковых лазутчиков, Александр смог порядочно представить себе расположение вражеские сил, их число и уязвимые места. Шведы стояли у слияния Невы с Ижорой и в своем бахвальстве не ожидали молниеносного русского удара. Князь же рассчитывал именно на внезапность нападения. Именно поэтому русские не разбивали лагерь, но ударили с ходу, не давая врагу опомниться, выстроить свое войско в боевом порядке, продумать свои действия.

Новгородцы уже громили шведский лагерь, а латиняне лишь седлали коней, вынужденные отбиваться от нападавших. Их было много, но число не дает преимущества, если войско расстроено и обращается в вооруженную толпу, не разбирающую, как следует действовать. Единственным человеком, кто мог направить толпу и вновь обратить ее в войско, был ярл Биргер, и с первого мгновения боя Александр острым взором выглядывал королевского зятя, намеревавшегося праздновать победу в самом Новгороде. Отыскав, наконец, вражеского предводителя, князь устремился к нему:

— Ты призывал меня? Я пред тобою!

Навряд ли Биргер разумел русский язык, но намерения противника были слишком очевидны и без слов. Жаркий бой затих в сей миг, обе противоборствующие рати обратились взглядами к своим вождям, в их поединке должен был решиться исход сечи.

Крикнул что-то зычным голосом ярл и, надвинув забрало, пригнувшись к луке седла, помчался на своего врага, целясь копьем ему в грудь. Знатное копье у вельможного шведа! И латы — знатные! Такие не прошибешь копьем! И шлем с забралом — крепок и богат... А все же не все лицо скрывает то забрало. Главное, прицелиться верно...

Ловко увернулся Александр от вепрем несущегося на него Биргера. И, развернув коня, уже сам ринулся на врага. Он не собирался бить его в закованную железом грудь, не собирался лишь выбить из седла. Вражеского предводителя нужно было поразить единожды и так, чтобы уже не поднялся он, не вступил вновь в эту сечу.

Успел ли понять вепрь, что произошло, когда под самую бровь ему ударило копье, и разом померк свет, залитый потоками крови? Рухнуло, громыхнув железом доспехов, бесчувственное тело, охнули шведы, возопили торжествующе русские, славя своего победоносного князя.

До самой ночи длилась затем битва, и многие пришельцы нашли свою смерть в водах Невы. Спешно отплывали рыцарские корабли от русских берегов, увозя на родину полные трюмы убитых, коих предстояло горько оплакивать их осиротевшим семьям.

* * *

Славная добродетель, именуемая благодарностью, никогда не была в числе достоинств господина Великого Новгорода. Своего победоносного князя вечно чем-нибудь недовольные вечевики изгнали вскоре после Невской победы. Да, вот, беда, недолго привелось им наслаждаться обретенной «волей». Тевтонские рыцари захватили Псков и возвели на русской земле крепость Копорье. Угроза захвата нависла и над Новгородом, и ничего не осталось разом смирившимся вольнолюбцам, как слезно молить князя Ярослава, чтобы он вновь прислал на выручку своего отважного сына.

Неблагодарность заслуживает наказания. Но... русские жизни и русские святыни много дороже

княжеской гордости. Отец приказал внять мольбам новгородцев, и Александр поспешил спасти свою вновь обретенную вотчину. С налета освободил он крепость Копорье, а затем разгромил германских крестоносцев на льду Чудского озера. Эта победа надолго охладила воинственный пыл западных варваров и их посягновения на русские пределы.

Куда хуже обстояло дело на рубежах восточных. В Орде был замучен черниговский князь Михаил. Когда-то он призывал русских князей сплотиться и дать отпор татарам на реке Калке. Князя не вняли, и русское войско было разгромлено. Когда же рязанский князь Юрий Ингваревич прислал к нему за подмогой против наступающих на его вотчину Батыевых тумэнов, Михаил отпустил посланников ни с чем, припомнив отказ биться на Калке. Рязань была уничтожена вместе со всем княжеским семейством и большинством жителей. Такова была цена княжеской гордости, которая оказалась превыше жалости...

Теперь перед входом в шатер Батыя языческие жрецы повелели черниговскому князю пройти через священный огонь и поклониться идолам, на что Михаил ответил: «Я могу поклониться царю вашему, ибо небо вручило ему судьбу государств земных; но христианин не служит ни огню, ни глухим идолам». За эти смелые слова князь был немедленно убит со своим приближенным боярином...

А спустя две недели в столице Орды Каракоруме был отравлен Ярослав Всеволодович, отец Александра... Скрепя сердце, принужден был молодой князь вместе с братом Андреем отправиться «ко двору» убийцы своего родителя с тем, чтобы получить от него «ярлык» на правление в осиротевших землях.

— Мы должны были идти сюда войском! — кипел Андрей, едва сдерживая слезы негодования. —

Отомстить проклятым нечестивцам за отца! Сбросить ненавистное ярмо!

Уже не младенец был брат летами, а все же совсем юн еще и мыслил, как сущий ребенок. Да и мыслил ли? Скорее лишь чувствовал и горел сплошным порывом — пусть и благородным, но таким бессмысленным и губительным.

— Остынь, братец, — покачал головой Александр. — Всякий добрый меч выковать должно. Всякую победу также. С каким войском ты хотел бы идти в Орду? У нас нет такого войска. Его только предстоит создать. А теперешние наши рати будут, что кутята, избиты, даже не приблизившись к Батыеву логову.

— Что же?! Ты предлагаешь кланяться убийце отца?!

— А что предлагаешь ты? Погубить тысячи вверенных нам Богом людей безо всякой пользы? Отца теперь нет, а потому послушай меня, как старшего. Сражаться надлежит тогда, когда возможно одержать победу. Когда нет ни малейшей надежды на нее, должно смирить гордость, претерпеть и исподволь делать все, чтобы однажды эта победа стала возможной! Отец положил душу за люди своя. И наш долг следовать ему в этом.

— И погибнуть, как Михаил Черниговский? Или, может, ты и идолищу поклонись — лишь бы соблюсти мир?

— Князь Михаил погиб со славою для христианина. Мученический венец красит пуще всякой короны. Поклонюсь ли я идолищу? Нет, не поклонюсь. Но и навлекать гибель на нашу землю не стану. Я могу защитить Русь от шведов и ливонцев, но от Батыя не могу. А раз я не могу защитить моих людей от вражеских мечей, то не вправе подвергать их угрозе нового нашествия. Лучше я приму унижения от хана и

его приспешников, чем кровь православных христиан на свою голову.

— А как же «не в силе Бог, а в правде»? — усмехнулся Андрей.

— А так, милый брат, что «не искушай Господа Бога твоего», — отозвался Александр, с трудом сдерживая раздражение.

Они уже не первый день ехали по землям Золотой Орды, и с каждым днем тягостнее становилось на сердце князя. Он видел теперь воочию, что над Русью нависло смертельной угрозой государство невиданное в истории, небывалое. Государство-чудовище, к которому не подходят никакие привычные меры. Это чудовище невозможно было одолеть извне, одолеть мечом, как одолевают богатыри в сказках трехголового змея. Чудовище должно было начать разлагаться само, подавившись всем проглоченным. И лишь тогда его возможно станет победить... Русская земля претерпела разорение от того, что ее князья жили в распрях друг с другом. Человеческая природа одинакова у всех народов. Являются ли татары исключением? Наверяд ли. Их вельможи также могут пребывать в единстве под властью выдающегося вождя, во времена великих походов и завоеваний, не оставляющих времени для усобиц. Но что станет, если вождем сделается один из многих равных? Великие же походы и завоевания имеют свои пределы и не могут длиться бесконечно. А без них чудовище утрачивает свою гибкость и силу, дряхлеет, объедаясь данью, разлагается, не ведая труда, который попросту чужд для живущих разбоем кочевников. Тогда-то и является среда для распрей, столь спасительных для данников! И нужно помогать им...

— Отец недоволен Гуюком. Гуюк ничем не славен, как воин. Вся слава Орды — плод побед отца. Но Гуюк смеет обращаться с ним, как со слугой, и даже угрожать ему! И твоего отца убил Гуюк! — эти пылкие

слова исходили из уст молодого, видного татарина — сына ларкашкаши Бату Сартака. Сартак был христианином, хотя и несторианином. Именно поэтому Батый поручил ему заниматься русскими делами. Сартак сопровождал князей Ярославичей в столицу Орды Каракорум, где правил неведомый хан Гюк.

Гюк не был известен на Руси. На Руси ужасом звучало имя ларкашкаши Бату, Батыя, этого огненного смерча татаро-монгольской империи... От того тяжело было слышать Александру воспевание Батыевых побед. Но можно ли винить сына за то, что он почитает отца? Несмотря на кровавого родителя, Сартак сразу понравился князю, а за время путешествия между ними сложилась искренняя взаимная приязнь. Станный это был татарин. Христианин, прекрасно знавший русский язык, обладавший незлым сердцем и ясным разумом. Он казался чужеродным этому государству-чудовищу, но тем не менее преданно служил ему.

— Мне казалось, что настоящий властитель Орды не Гюк, а твой отец, — заметил князь, играя на сыновних чувствах татарина.

— Так и есть! — живо откликнулся тот. — Но Гюк не желает этого признавать! Этот безумный даже грозит сместить ларкашкаши!

— В таком случае я удивлен, как твой отец, не ведающий поражений, может терпеть подобное положение.

— Мы недолго будем терпеть! — маленькие черные глаза блеснули, подобно кинжалам. — Великая Степь должна принадлежать одному властителю!

Вот, и первая распря назрела. Первая да не станет последней!

— Твой отец желает сам править в Каракоруме?

— Всякий человек должен быть на своем месте, — рассудительно отозвался Сартак. — Ларкашкаши — предводительствовать войском, а хан — распоряжаться

в столице. Мункэ наш друг, и был бы куда лучшим правителем, чем подлая собака Гуюк!

Мункэ был христианином, как и Сартак, и считался вождем татар-христиан. Конечно, братские чувства между христианами давным-давно не служили соблазном для Александра, а все же Мункэ и впрямь был бы куда лучше гнусного отравителя Гуюка.

— Чего же не достает ларкашкаши?

— Золота, — коротко ответил Сартак.

Князь не смог удержаться от недоверчивой улыбки. Человеку, опустошившему такие пространства, могло ли не хватать золота? Но юный татарин молчал, не собираясь посвящать Александра в подробности положения татарской казны.

— А если у ларкашкаши будет довольно золота?

— Тогда он пойдет на Каракорум и свергнет Гуюка!

Пока Батыевы тумэны шагают в противоположную от Руси сторону и сражаются с тумэнами Гуюка, русские смогут перевести дух, залечить хотя отчасти раны и собраться с силами...

— В таком случае передай своему отцу, что у него будет достаточно золота.

Кровь всегда дороже золота. И если нет сил побеждать, то, чтобы не растратить напрасно кровь, но выиграть время и скопить силы, нужно жертвовать золотом. А золото Александр найдет. Пусть сколько угодно станут возмущаться новгородские крикуны, он не станет считаться с их вечевыми порядками, но принудит их платить дань, чтобы татары и впредь не ступили в земли Великого Новгорода, чтобы не проливали русской крови.

— Отец не забудет твоей поддержки, — сощурились и без того похожие на щелочки глаза. Сартак был неглуп и, должно быть, прекрасно угадал ход мысли своего спутника, но не подал виду. Оба они искали

своей выгоды, и выгоды эти совпадали. К чему же в таком случае лишние разъяснения?

— Скоро ночь, поспешим! — крикнул татарин, указывая на первые звезды, высыпающие на небе. — Клянусь, что я первым достигну становища!

Предприняв конную прогулку, они удалились довольно далеко от места, где расположился на отдых их караван. Расцветавшая алыми маками степь казалась особенно прекрасной в вечерний час, когда жгучее солнце усмиряло свой пыл. Кони резво мчались вперед, сминая копытами дрожащий на ветру ковыль, и Александр чуть придерживал своего скакуна, давая Сартаку обогнать себя и радоваться победе. Всегда полезно потрафить врагу в мелочи, чтобы он был в добром духе, а, значит, сговорчивее в том, что действительно важно.

До Каракорума оставалось два дня пути. Порядком уставший от длинного перехода и последующих скачек с Сартаком, Александр уже собирался отойти ко сну, когда в его шатре появился совсем неожиданный гость.

— От имени Святого Отца я рад приветствовать славного князя!

Чтобы латинский монах был рад приветствовать князя, от которого столько натерпелись его единоверцы, верилось с трудом.

— Не ждал встретить посланников Святого Отца в столь отдаленных от Рима краях...

Худощавый монах с небольшими подслеповатыми глазами улыбнулся:

— Долг слуг Церкви Христовой нести слово Господа во всех пределах земли. Хан Гюк великодушно позволил нашей миссии обосноваться при его дворе.

— Действительно, очень великодушно со стороны хана, — откликнулся князь, подумав про себя, что иезуиты вполне могли подговорить хана на убийство

его отца, измыслив какой-нибудь навет. Уж кто-кто, а эти змии в сутанах большие мастаки по этой части!

— Однако, отче, я удивлен вашим визитом в столь поздний час. Чем обязан я такой чести?

— Единственно желанию Папы как можно скорее донести до славного князя свое отеческое приветствие. Его послание давно ожидает вас и, узнав, что вы уже в двух днях пути от Каракорума, я поспешил навстречу!

Тощая рука монаха с величайшим почтением протянула Александру запечатанный свиток. Сломав печать и развернув послание Иннокентия Четвертого, князь отошел к зажженной свече и углубился в чтение. Витиеватое письмо Святого Отца сводилось к предложению объединиться христианам против ордынской угрозы, забыв бывшие разногласия. По этому случаю римский первосвященник, само собой, желал, чтобы его посланники могли вести свою деятельность в подвластных Александру землях. Попросту говоря, Папа желал под благовидным предлогом добиться лукавыми словами того, чего не добились его крестоносцы мечом на Неве и Чудском озере — возможности обращать православное население в латинство.

Подобные переговоры римский первосвятитель уже вел с Михаилом Черниговским и Даниилом Галицким. Михаил Риму не уступил. Князь Галицкий был более изворотлив. Его сыновья сделали зятьями венгерского и австрийского правителей. Сам же он принял от Папы королевский венец. Благодаря этому латиняне получили возможность распространения своего учения в вотчине Даниила. Что получил от этого сам он? Князь Галицкий то и дело принужден был ввязываться в распри своих европейских родичей, воевал с Литвой, которой, по-видимому, не было никакого дела до лояльности Даниила папскому престолу, но что же с помощью запада против Орды? Крестоносные рати, по-стервятничьи нападавшие на

ослабленную Русь, чье огромное, неповоротливое тело по существу закрыло собой Европу от татарских полчищ, отнюдь не спешили сойтись в единоборстве с тумэнами Батыя. Таким образом платой за допуск волков в овчарню для тщеславного пастуха стала корона несуществующего Галицкого «королевства».

— Его Святейшество призывает всех христиан сплотиться и выступить крестовым походом против ордынских нехристей!

Александр хотел бы пожелать Папе сперва покаяться за «крестовый поход» против православного Константинополя, со времени которого не минуло еще и полувек, но он ответил сдержанно:

— Я благодарен Его Святейшеству за его христианское стремление. Однако, как верный сын Церкви Православной, я не могу принять его... великодушных предложений. Наша Церковь крепка Верой Семи Вселенских Соборов. Все правила их мы хорошо ведаем, и от вас учения не приемлем.

Льстивая улыбка тотчас сошла с уст папского посланника.

— Святому Отцу будет весьма огорчительно услышать такой ответ!

— Премного сожалею, что огорчаю Святого Отца.

Скрылась худая тень, словно призрак, степной мираж, залетевший в шатер. Князь бросил в огонь папское письмо и глубоко вздохнул. Нужно было, как можно скорее, завершать ордынские дела и возвращаться домой. Рассерженный отказом, Папа может вновь натравить своих рыцарей на русские рубежи, а пока он, Александр, пропадает на другом конце земли, в Великой Степи, защищать Русь от набегов с запада некому.

«Король Галицкий» был объявлен Папой также и «королем Киевским» и, обуянный гордыней, даже грозил взять Киев у князя Александра. Но не Даниилу тягаться с Ярославичем. Не опасался угрозы его Александр, а только скорбел от стыда за родича. Кажется, совсем недавно вместе пировали на свадьбе — женился брат Андрей на дочери Галицкого князя. Да, вот, только не принес пользы союз сей.

Андрей вслед за тестем стал обольщаться римскими посулами и все больше роптать на Александра за его «дружбу» с татарами. Кончилось все прегорчайшим образом. Горячность брата не остудило вхождение в зрелые лета. Поставленный Батыем княжить на Владимирщине, являл он большую строптивость. Положение усугубилось еще больше, когда сторону Андрея взял младший брат Ярослав, князь Тверской. Два безумца мнили себя героями ровно до того мига, пока на горизонте не явились несметные тумэны Неврюя, посланного Батыем примерно покарать строптивых князей.

Ошибки князя всегда оплачиваются кровью его народа, разорением его земли. Неврюева рать шла, по обычаю предавая жестокому истреблению все на своем пути. Завидя татарские тьмы, Андрей и Ярослав бежали, но Неврюй настиг их у Переславля-Залесского и в кровавом бою положил их дружины, после чего продолжил разорение Владимирской земли.

Братья в той битве уцелели, хотя лучше бы было им не сносить голов, ибо как говаривал далекий предок Святослав: мертвые сраму не имут. Братья уцелели и бежали: Ярослав — во Псков, Андрей — в Швецию. В Швецию! К тем самым шведам, что так рвались

захватывать русские земли, но были посрамлены Александром...

И как не восскорбеть душой, на братнее безумие глядя? А того более на то, во что стало безумие сие родной Владимирщине... Из-за глупого молодечества положены были в землю доблестные дружины, угнаны в полон люди и скот, преданы огню веси и пашни, разграблены храмы...

— Не понуждай нас брататься со своими погаными! — вспоминались запальчивые слова Андрея.

С Сартаком Александр и впрямь побратался. Еще в том давнем путешествии по Орде. Он помог своему побратиму и его чудовищу-отцу одолеть Гююка. Но теперь уже не было в живых ни ларкашкаши Бату, ни Сартака. Последний должен был наследовать отцу, но слишком многим был не по нутру мудрый и умеренный татарин-христианин. Наследника отравили, и власть перешла к его магометанину-брату Берке... Это, однако, удовлетворило далеко не всех в Орде, распри становились и ее уделом.

Магометанство Берке не помешало Александру убедить его учредить в Сарае, столице хана, епархию Русской Церкви. Отныне не только папские миссионеры могли вести там свою работу. Существует много способов победить врага. Один из них — обратить его в свою веру. Татарин, принявший Православие, это уже совсем не тот татарин-язычник или магометанин, что придает огню храмы и глумится над святынями... Он уже не принадлежит Орде. Кроме того, разница вер способствует разногласиям в ордынском стане.

Иного добивался Александр в Русской земле. После побега брата он объединил под своей властью Киев, Владимир и Новгород. За долгое время впервые столь значимая часть Руси обрела единство. Его, впрочем, тотчас попытался нарушить господин Великий Новгород. Не желая платить дань Орде, новгородцы

перебили ханских баскаков. Что оставалось делать князю? Пути было два. Позволить хану покарать смутьянов, либо сделать это самому. В первом случае Новгород постигла бы участь Рязани, Владимира и Киева, которой он столь счастливо избегал прежде. Жители были бы перебиты, город предан огню, и дымящиеся руины Софийского собора напоминали бы о былом величии. В отличие от шумливых вечевиков Александр много раз видел страшные последствия татарских нашествий и потому не мог допустить повторения такой беды в городе, который столько раз спасал от западных супостатов.

Не дожидаясь карательных тумэнов, князь сам явился в Новгород и, казнив нескольких бунтовщиков, принудил напуганных жителей впредь платить дань Орде, после чего принес хану извинения за безумство своих подданных и послал ему богатые дары. Хан, занятый борьбой со своими сродниками, удовлетворился таким исходом дела, и Новгород был спасен. Это спасение, однако, стоило князю старшего сына... Василий, оставленный отцом княжить в Новгороде, принял сторону вечевиков и бежал во Псков. Оттуда Александр возвратил его и сослал в Суздаль.

— Не должно русскому князю прислуживать поганым! — горящие негодованием глаза сына до боли напоминали князю брата Андрея. Ломкий отроческий голос гулко отражался от монастырских стен. Троицкую обитель основала в Суздале княжна Черниговская Феодулия, невеста покойного брата Федора, принявшая по смерти его постриг с именем Евфросиния. Бывая в этих краях, Александр не упускал случая навестить праведную родственницу и ее монастырь. Он надеялся, что влияние почитаемой игуменьи благотворно скажется на племяннике, но Василий продолжал бунтовать, не желая признавать правоту отца.

— Разве возможно князю христианскому казнить и увечить своих подданных за то, что осмелились они восстать против басурман?!

— Они восстали не только против басурман, но и против княжеской власти, — холодно отозвался князь. — И не я первым пролил христианскую кровь, а защищаемые тобой мятежники, убившие посадника Михалку. Который, между прочим, верно служил тебе!

— Он обирал народ вместе с татарами!

— Он выполнял мою волю, следя за тем, чтобы дань собиралась без произвола, но в пределах установленного числа.

— Новгород не давал согласия давать поганым число! Долг христиан — защищать свою веру, разве не так?! А ты платишь поганым и сражаешься с теми, кто, как и мы, верит в Христа!

— Золото и серебро, Василько, это не вера. И платя ими, мы оберегаем свои святыни от разграбления и поругания.

— Укрепляя ими наших врагов!

— Подпитывая ими усобицу в стане наших врагов! — Александр чувствовал, как теряет самообладание. Запальчивость и самоуверенность не ведавшего еще ни доброй битвы, ни серьезного дела отрока была воистину нестерпима. Но неужели он, умевший убеждать в своей правоте татарских ханов, не может убедить в ней собственного сына?!

— Пойми, цель татар — получение казны. Им нужно наше золото. Но не наши души!

— Поэтому убили князя Черниговского за отказ поклониться идолам?

— Бесчинство одного из ханов и цели Орды — не одно и то же. Орда не ставит целью обращение Руси в язычество или магометанство! Им нет дела до нашей веры до тех пор, пока мы смиряемся с их гнетом и платим дань. То ли дело наши западные соседи! Им

потребны не только наши земли и богатства, но и душа! Их крестоносные рати идут к нам с тем, чтобы обращать нас в свою веру. Поэтому они опаснее для нас!

Совсем недавно вновь отстоял Александр Псков от тевтонских рыцарей. Стремясь укрепить и отодвинуть западные границы, он предпринял поход в полуночную Финскую землю, осваивал Поморье, дабы не пропиталось оно чужими соками, заключил мирный договор с королем Норвегии... И теперь его старший сын упрекал его за войны с христианами, убеждая, как некогда Даниил Галицкий и брат Андрей, что нужно бороться с погаными в союзе с Римом.

— Рим не одолеет Орды. Рим лишь поглотит нас, пойми это. Союз, о котором вы мечтаете, приведет к тому лишь, что Русь перестанет существовать. Часть ее отойдет Риму, пропитавшись латинством, а другая — Сараю и Каракоруму.

— Лучше, чтобы она отошла Сараю целиком?!

— Этого не случится, — твердо сказал Александр. — Да, сейчас Русь вынуждена откупаться от татарских полчищ, но она остается самой собой, хранит веру свою. Обожди, мы залечим раны, укрепим свои силы, и тогда сможем дать достойный бой Орде. Нам нужно время, Василько! Время, которое служит нашему укреплению и ослаблению Орды!

* * *

Быстро идет время для смертного человека, но куда как медленно — для истории. Истории некуда спешить, у нее впереди — вечность. А что человек? Жалок срок, отпущенный ему Богом... Александру минуло сорок, но уже чувствовал он, что безпрестанные труды, походы и битвы подточили его богатырские силы. Многие было

сделано за годы правления, но как же мало продвинулся вперед русский корабль! Время... Смертному человеку не достанет его, чтобы свершить задуманное. Лишь заложить фундамент в надежде, что наследники выстроят на нем крепкое здание.

А все же время не стояло на месте. Хан Берке все больше ссорился с Каракорумом, и Александр всемерно подпитывал эту распрю, убеждая повелителя Золотой Орды разорвать отношения с монгольским ханом Хулагой. В этом положении то, что было невысказано еще несколько лет назад, становилось возможным...

— Княже, великие бесчинства творят бесермены в землях твоих! Явился в Ярославль за данью поганый магометанин Кутлубий и глумится там над церквями нашими. Прислужником у него иуда и изверг из русских — принявший магометанство бывший монах Зосима. Этот сосуд сатаны особенно ярится супротив Православной веры! Сказывают, что он на святые лики плюет и в огонь их бросает! Народ православный не может стерпеть такого поругания! Что скажешь ты, княже?!

Ярославский посланник, боярин Степан Аникеевич, даже побагровел от ярости, описывая князю творимые Кутлубием бесчинства. Этот добрый человек и храбрый воин всей душой желал дать отпор бесерменам, но опасался, как и другие, не столько ханского гнева, сколько княжеского.

Тишина повисла под сводами палаты, и чудилось, будто бы эхо требовательно повторяет вопрос:

— Что скажешь ты, княже?!

Князь помолчал некоторое время, принимая непростое решение. Затем ответил:

— Кошунников и сквернителю веры Православной надлежит бить крепко и изгонять прочь! О том приказываю разослать грамоты по всей Владимирщине и окрестностям!

На глазах Степана Аникеевича выступили слезы и, пав пред Александром на колени, он трижды перекрестился:

— Услышал Господь наши молитвы! Теперь ничего нестрашно нам, коли твое, княже, благословение имеем!

Когда боярин ушел, к отцу подступил 12-летний Дмитрий, которому князь разрешил присутствовать при важном разговоре.

— Ты карал новгородцев, когда они восстали против баскаков, а теперь сам призываешь народ бить их?

— Я карал новгородцев, восставших против нашей власти и убивших нашего посадника, — ответил Александр. — Я карал новгородцев, убивших баскаков, которые лишь собирали дань, которую я обещал хану. Теперь иное дело. Теперь поганые не просто собирают дань, но бесчинствуют и сквернят наши святыни.

— Но ведь хан и теперь не простит избиения своих людей!

Юный княжич в отличие от старшего брата был не по годам разумен и смотрел далеко. Александр обнял сына за плечи:

— Нужно уметь угадывать время, слышать и понимать его. Хан Берке занят распрей с ханом Хулагой... Нам нужно убедить его, что Орда станет много богаче, если перестанет делиться данью с Каракорумом. Прельстить тем, что вся дань будет принадлежать Сараю! И обещать, что мы сами, князья, станем исправно собирать ее, чтобы оградить от расправ ханских посланников.

— Князья будут сами собирать дань?..

— А как ты думаешь, что легче для народа, если дань будут собирать с него люди князя, свои соплеменники и единоверцы, или же пришлые ордынские разбойники?

— Думаю, что первое...

— Верно! К тому же это избавит нас от постоянного присутствия татарских баскаков в наших городах. Дышать станет легче. Пусть немного, но легче! Славно, когда можно разгромить врага в открытом бою, с мечом в руке! Но иногда приходится вести битву совсем иными средствами и совсем в иные сроки. Учись угадывать время, сын. Гибельно упускать его, но опасно и поспешить. Завтра я отправлюсь в Орду, чтобы быть там, когда хану сообщат о восстании, и постараться обуздать его гнев и направить его по нужному нам руслу.

— Но гнев хана может пасть на тебя! — с тревогой воскликнул юный княжич.

— На все Божия воля, — ответил Александр. — Нестрашно, если гнев падет на меня. Важно лишь одно: чтобы Русь была спасена! Всему свое время. Придет час: враги наши поколеблются и падут, мы же восстанем и тверды будем!

Великий воин и политик, князь Александр Ярославич Невский, добился своей цели. Хан Берке не предпринял карательного похода против восставших русских городов, но прекратил посылать дань в Каракорум и позволил русским князьям самостоятельно собирать дань для Орды. Это была последняя победа Невского. На обратном пути из Сарая он занемог и скончался в Городце, успев перед кончиной принять схиму под именем Алексей.

**Святой князь
(Святой праведный князь
Михаил Тверской)**

Стремительной рысью мчатся по пыльной дороге борзые кони — впереди дмитриев белый в яблоках гривач, которого за большие деньги выкупили у купцов-агарян два лета назад, александров могучий Воронок и легкий, малорослый, но быстрый константинов Гнедко. Летят братья во главе войска княжеского, друг друга опережая, точно не на рать едут, а на игру веселую.

— Ну, айда! Кто до поворота того проворнее домчит?! — орет Александр, шпоря своего тяжеловеса. И зря на состязание вызывается, потому что не обойти Воронку перса-Королевича. Да и Гнедко, пожалуй, быстрее окажется, если только не падет с него седок от усталости.

На усмирение заволновавшегося Нижнего Новгорода отец лишь одного сына послал — старшего, 12-летнего Дмитрия. А Алексаха упросил, чтобы ехать с ним. Почему же нет? Годом всего он брата моложе, и стремна не слабее ему, и рука, хотя и детская совсем, но братней не уступит в ловкости владения мечом! Пора и ему в ратном деле опыта набираться — времена-то какие, помилуй Господи!

А, вот, 7-летнего Константина никогда бы отец с матерью не пустили на рать. Но так закипела кровь в сердце мальчика, отцовской обидою распаленном, что не было силы дома остаться! Тайком сам оседлал верного Гнедко, друга забав детских, с трех лет объезженного и без слов понимающего своего маленького хозяина, и поскакал догонять братьев. Кольчужка маленькая, шлем, короткий меч, подаренный отцом для учения искусству воинскому, лук со стрелами — ничего не забыл юный князь. Братья, увидев его, сперва посмеялись и, поддержанные старшими из

дружины, хотели тотчас отослать обратно домой. Но Константин был настойчив и немедленно доказал свое право быть при войске. Брат Дмитрий, желая испытать его, выпустил стрелу в тонкую березу, одиноко никнувшую на противоположной стороне опушки, на которой остановилось войско для совета, что делать с неожиданным пополнением.

— Гляди, базилевс, если три раза попадешь также, так и быть, возьму тебя с собой и перед отцом с матерью ответ за тебя держать стану!

Базилевсом братья в шутку называли Константина за византийское имя, которое носили константинопольские императоры.

Маленький князь приосанился, прищурил глаз, легко вскинул свой изящный, серебром украшенный лук и... точно выпустил по назначенной мишени три стрелы подряд, так что братняя стрела не удержалась и пала на землю, выбитая соперницами. Да, меч еще не был подходящим оружием для хрупких детских ручонок, но с луком Константин управлялся иным воинам на зависть. Остер и точен был глаз маленького тверского князя!

— Ну, куда ж в поход без такого знатного стрелка! — расхохотался Дмитрий, подхватывая брата на руки. — Твоя взяла, поезжай с нами!

И, вот, летят три юных князя, жаждая поквитаться с отцовскими супостатами! В Новгороде Нижнем по смерти тамошнего князя взяли власть бояре, но были избиты черными людьми. С той поры кипели там волнения, и перестал подчиняться Нижний князь Тверскому, как было прежде, хуже того,осоюзился с московскими Даниловичами — главными недругами Твери. Без малого шесть лет терпел князь Михаил и, наконец, решил водворить порядок на нижегородчине.

— Что, братец, шибко устал? — окликнул Константина Алексаша, видя, как младший брат никнет

к луке седла. — Потерпи маленько, скоро на привал станем! Эх ты, чай, не потешные здесь тебе игрища...

— Святослав в мои годы в походы ходил! — встрепенулся базилевс, отгоняя предательский сон.

— Слышишь, Митрий! — крикнул Алексаша. — Братец-то наш в новые Святославы метит!

Рассмеялись дружно старшие и ход своих коней замедлили, щадя младшего брата. На закате стали лагерем.

— Завтра уже во Владимире будем, — сказал Дмитрий.

Эти слова Константин расслышал сквозь сон. Едва сойдя со своего Гнедко и, не в силах дожидаться мясной похлебки, уже кипящей на весело пляшущем костре, он повалился на землю и, укутавшись в плащ, уснул. И снилась юному князю рать жестокая и праведная, в которой он разит и гонит прочь всех врагов возлюбленного отца, всех ненавистников любезного Тверского княжества.

Отец, Великий князь Михаил Ярославич, был для Константина и его братьев совершенным примером, образом, подобными которому хотелось им быть во всем. Сильный, мужественный, справедливый, щедрый, строгий к себе и милостивый к другим, боголюбивый и любимый народом... Можно ли быть человеком лучшим? Князем прекраснейшим?

Родной племянник Александра Невского, он появился на свет уже после смерти своего отца и был воспитан матерью — благочестивой княгиней Ксенией, выучившей сына грамоте и наставившей в глубокой вере. В этой вере воспитывал князь Михаил и своих сыновей. Он старался не пропускать церковных служб, любил читать божественные книги, первым знакомством с которыми юные княжичи были обязаны родителю, читавшему им вслух. Отец избегал роскоши, отдавал предпочтение простой и скромной пище, почти

не пил вина... Нередко дети видели, как князь уединяется в своих покоях для молитвы. В этом занятии проводил он целые часы, а то и ночи. Однажды Константин тайком последовал за отцом и, спрятавшись в его горнице, увидел, с каким жаром тот молится. Все лицо его было мокрым от слез... Маленький княжич сам стал на колени и стал молиться с родителем. Когда тот обернулся и увидел уставшего, заплаканного сына, кладущего вслед за ним земные поклоны, то лицо его осветилось радостью. Князь улыбнулся, встал с колен и, подняв мальчика на руки, расцеловал и отнес на свою постель:

— Спи, молитвенник! Твоим слезам Господь внемлет!

Это лицо так и стояло перед сомкнутыми сном очами маленького Константина. И ему казалось, что не на земле лежит он, а на отцовской постели, и не стон мачтовых сосен и елей баюкает его, а родной и любимый голос...

В Твери и ее окрестностях всякий, кто терпел беды, смело шел к своему князю, зная, что у него найдет помощь и заступление... Михаил Ярославич привечал всякого нуждающегося, наделяя милостыней, утешая ласковым словом... Свое княжение начал он по совету бабушки Ксении построением соборного храма в честь Преображения Господня. Вместе они, отец и бабушка, заботливо украшали этот храм, не жалея ничего, и не было в Твери красоты более великой!

Если бы можно было жить так — в молитвах, милостыни и благочестии... Но раздиралась распрями Земля Русская! Уже в тот год, когда Михаил Ярославич впервые поехал в Орду получать ярлык от хана на княжение, один из князей вместе с татарами разорил Владимир, Москву и еще дюжину городов и пошел на Тверь. Тверичи целовали крест, что станут биться с неприятелем из-за стен города до последней крайности

и ни за что не сдадутся. Отец успел вернуться из Орды к самой битве. Дорогой он едва не попал в руки врагов, но некий священник успел предупредить его об опасности, и князь счастливо избежал оной. Тверь встречала своего господина крестным ходом, а татары, узнав о его возвращении, отказались от нападения на город.

В 1304 году, после смерти сына Александра Невского, Андрея, князь Михаил сделался старшим в роде. Но не мог примириться с этим московский князь Юрий Данилович! Когда отец отправился в Орду получить ярлык на великокняжеский престол Владимирский, туда же поспешил и Юрий. Во Владимире пытался образумить гордого супостата митрополит Максим, молил и убеждал его святитель: «Я ручаюсь тебе княгиней Ксенией, матерью князя Михаила, что ты получишь от великого князя Михаила любой город, какой ты пожелаешь!» Но Юрий не смутился солгать пред очами Божиими: «Хотя я и еду в Орду, но не стану добиваться великокняжеского стола: еду я туда по своим делам». Приехав в Орду, он не жалел золота, чтобы подкупить хана и получить вождеденный ярлык, однако, хан Тохта оставил великое княжение Михаилу Ярославичу. С той поры потянулась нескончаемая распря...

В детском впечатлительном представлении Константина князь Московский представлялся истинным хищным зверем! Врезались в память рассказы старших о злодействах его, бывших еще до рождения маленького княжича. В 1302 году после смерти бездетного переяславского князя московские Даниловичи захватили его вотчину в нарушение прав великого князя, под чью власть должны были по традиции отходить выморочные княжества. В ту пору жив еще был сын Невского, князь Андрей Александрович, старший в роду, и Михаил Ярославич

принял его сторону. К Переяславлю было послано тверское войско под начальством боярина Акинфа, некогда служившего московским князьям, но перешедшего в Тверь после ссоры с боярином Родионом Несторовичем. Об этом Акинфе Константин наслышан был от брата Дмитрия, при котором боярин был чем-то вроде наставника. Дмитрий, бывший о ту пору еще совсем мал, запомнил Акинфу человеком отважным и добрым, который играл с ним, учил владеть игрушечным мечом и держаться в седле. Однажды на именины боярин сам вырезал маленькому княжичу стрелу с затейливым узором и подарил на счастье. Эту стрелу Дмитрий берег, как память о любимом наставнике.

Под Переяславлем противостояло Акинфе московское войско во главе с младшим братом Юрия Иваном Даниловичем. Рать эта была разбита тверичами, но в тыл им ударил Родион Несторович. Этот Родион, как рассказывали, собственноручно убил Акинфа, насадил его голову на копье и поднес князю Ивану со словами: «Вот, господин, твоего изменника, а моего местника голова!»

После этой вероломной и зверской расправы Михаил Ярославич сам осадил Москву, принудил супостатов к миру и вернул Переяславль Великому княжеству Владимирскому.

Рассказывалось и о других зверствах и преступлениях Даниловичей. Еще с 1301 года находился в Москве в плену рязанский князь Константин Романович. Что могло приключиться за пять лет, никому не было ведомо, а только нежданно предал князь Юрий пленника публичной казни. Да не только предал, но и сам выступил в роли палача — дело неслыханное и небывалое! Настолько, что два брата Юрия, Борис и Александр, покинули его после сего злодеяния и перебрались в Тверь, куда за защитой от

московского волка подался и сын убиенного князя — Василий Константинович. Несчастно сложилась судьба юного князя Рязанского. Ища справедливости и отмщения за отца, он поехал с жалобой на Юрия в Орду. Но московский князь успел послать хану Тохте много золота, и тот попросту казнил челобитчика...

— Зверь хуже татарина, — так говорили о Юрии Даниловиче старшие братья. И в воображении Константина московский князь виделся не иначе как с рогами на голове и копытом... Именно таким явился он ему в усталом забытьи, и юный княжич тотчас проснулся.

Заря уже окрашивала верхушки елей, а лагерь пробуждался и сбирался в дальнейший путь. Рядом с Константином сидел улыбающийся Алексаша и протягивал ему миску с горячей кашей:

— Нако-сь, подкрепись хорошенько! Вчера не повечерял даже, так умаялся! Смотри, не доедешь этак до Новгорода!

— Еще как доеду! — ответил мальчик, жадно принимаясь за еду.

Две миски каши возвратили княжича к жизни и, легко вскочив на своего Гнедко, он продолжил путь вместе с братьями. К полудню войско достигло Владимира, и тут ожидала его неприятная неожиданность. Встретил их прямо у входа митрополит Петр в полном облачении и с клиром, и с целым крестным ходом позади. Кланялся и просил подняться в его палаты. Делать нечего, первосвященника русского объехать никак неуместимо. Поднялись княжичи в митрополичьи покои, предчувствуя недоброе.

Митрополит Петр держал сторону московских Даниловичей, а потому ждать от него добра тверичам не приходилось. Когда представился митрополит Максим, единомышленник и молитвенник отца, Михаил Ярославич желал утвердить на его месте своего

ставленника, но Константинополь отдал предпочтение кандидатуре князя Юрия Львовича Галицкого и Юрия Даниловича Московского — епископу Петру Ратенскому. Уроженец Волыни, он подвизался в монастыре с 12 лет, был известен, как человек ученый и книжный, талантливый иконописец, основатель Новодворского монастыре на реке Рате... Один из образов, написанных им, хранился у покойного митрополита Максима.

Константин настороженно рассматривал первосвященника. Кажется, муж сей украшен был от Господа многими дарами, но отчего же тогда так несправедлив он к отцу? Да и не только к отцу? Почему его пастырская совесть не препятствует ему признавать захват Москвой Коломны и даже страшное убийство рязанского князя? Вот и теперь таким вкрадчивым, сердечным тоном обращается он к юным князьям, а в речи его новая обида отцу!

— Передайте вы родителю вашему, что не благословляю я поход ваш и допустить его не могу.

Братья переглянулись, но прежде чем успели возразить что-либо, святитель, легко угадав их мысли, добавил:

— Если же запрет сей будет нарушен, то суровое прещение падет на главу и отца вашего, и вас! Посему прошу вас, дети мои, распустите войско и возвращайтесь обратно. И да не прольется кровь христианская!

Тяжелыми, грозowymi взглядами смотрели исподлобья братья на митрополита. Казалось, единый вопрос застыл в них. А что же, владыка, не наложил ты прещения на убийцу рязанского князя? А что же христианскую кровь, проливаемую им который год, не торопишься ты защитить? Или же не так красна она?..

Не по-Божьему судил Божий предстоятель, а по человеческому рассуждению. Но противиться ему невозможно было. Войско на супостатов послано

сражаться, а не первосвященника русского и крестный ход с иконами и хоругвями ратовать... Как ни постыло на сердце, а придется поворачивать вспять, дальнейшее лишь отцу решать вместимо.

Поднялись резко все три брата. Старшие головы приклонили под благословение. Перекрестил их довольный митрополит. Когда же хотел он благословить Константина, тот резко отдернулся, едва сдерживая слезы бессильного негодования. По тонким губам владыки Петра скользнуло что-то похожее на улыбку — не то сожаления, не то понимания детской обиды. Напоследок троим княжичам преподнесли образы Успения Пресвятой Богородицы — списки иконы, писанной самим митрополитом, и с тем отпустили, провожая благовестом всех владимирских колоколов.

В Твери встречали княжичей сумрачный от очередного оскорбления отец, уже предуведомленный о случившемся посланными вперед гонцами, и радостная тому, что ее дети живы и невредимы, мать. Опрометью сбежала княгиня Анна с крыльца и бросилась навстречу сыновьям, едва только показались они. Еще не успел Константин вынуть ногу из стремени, а матушка уже стащила его с седла, прижала к груди, закружила:

— Это что ж ты со мной сделать удумал, чадунюшко неразумное?! — заструился ее ласковый взволнованный голос. — Бежать из отчего дома! Без родительского благословения! Да кто ж тебя надоумил?

— Я только, матушка, хотел за обиду батюшкину постоять, — отвечал Константин. — Прости за огорчение!

— Постоишь еще, придет и твое время, — сказал отец, потрепав его по светлорусым вихрам. — Мужеству и верности твоим я рад, но впредь изволь нас с матерью не пугать столь. Благословение родительское — не пустой тебе обряд, чтобы помыкать им.

— Исхудал, измучился! — причитала, меж тем, княгиня, зацеловывая раскрасневшегося от смеси упреков и ласк сына.

— Оставь уж ты его, матушка, — улыбнулся князь. — Как-никак уж не дитя, а воин пред тобой. А притомились-то они все. Ничего! Сейчас добрая банька и сытный обед разом возвратят им силы!

Хлопнул отец в ладоши, дал распоряжение слугам, и, вот, уже повалил, радостным предвкушением щекоча нос, смолистый дымок из бани.

— И кваску с капусткою снесите! — приказал отец, обнимая за плечи старших сыновей. — Сейчас сам попарю вас...

Константин, вырвавшись из материнских объятий, обхватил его обутые в мягкие, зеленого сафьяна сапоги ноги. Княгиня с умилением улыбнулась, глядя на эту картину мужского единения, смахнула слезы радости и, взяв из рук мамки младшего сына, двухлетнего Васеньку, ушла в терем распорядиться об обеде.

— Не кручиньтесь, дети, — сказал Михаил Ярославич сыновьям. — Бог не без милости! Найдем мы, как от наших врагов оборониться. Лишь бы только души наши соблюсти нам при том, ибо что в том, если, приобретая тленные царства земные, теряем мы небесное?

Белым-бело раскинулось поле пред селом Бортенево. Еще чуть-чуть и взрыхлят его незыблемую ледяную гладь копыта коней, расплавит и окрасит алым цветом кипящая кровь... Медленно-медленно поднимается солнце из-за леса, точно не хочется ему, жизнедавцу, смотреть на смертоубийство безумных людей, которым отчего-то все время не достает ни Божия мира, ни света его, с равной щедростью изливаемого на каждого.

Константин зябко поежился. Морозный воздух декабрьского утра пробирал до костей.

— Что, сын, не жалеешь, что с нами поехал? — спросил отец, вглядываясь в яснее проступающие при свете утра позиции противника.

— Нет, батюшка, я не простил бы себе, если бы не был сегодня при вас с братьями!

— Лицо получше жиром натри, обморожение — не то увечье, которое достойно в битве получать.

Дмитрий и Алексаша, ехавшие следом за отцом, проводившим последний перед битвой смотр своего войска, дружно засмеялись. Тяжесть положения не могла нарушить их юношеской бодрости, они были уверены в победе и рвались в бой. Рвался и Константин. Ему только что исполнилось двенадцать! Дмитрий в эти лета уже был послан отцом во главе войска усмирять нижегородскую чернь! А сам отец в те же годы смог отбиться от войска ордынского царевича Тудана, приведенного на Русь городецким князем Андреем Александровичем! Однако, родитель определил княжича к запасному полку, поберег до времени.

— Обожди, базилевс, придет и твой час рати за собой вести, — говорил он ободряюще. — А пока

прикрывай тылы наши и не помысли себе, что это дело маловажное! Помнишь, небось, боярина Акинфу? Если бы не удар с тыла, так быть бы ему теперь посреди нас!

Михаил Ярославич подъехал к своим воеводам, напомнил им строгое распоряжение: людей хана по возможности щадить, вражды с ним Твери не нужно, а, вот, москвичей бить без всякой жалости, ибо зло от них, не сами татары явились теперь, но приведены были Юрием Московским. Истинным проклятием сделался этот обезумевший от гордыни князь для Твери и других княжеств...

Десятилетия назад закатилось солнце Земли Русской, почил благоверный князь Александр Ярославич... Брат его, Ярослав Ярославич, по кончине его семь лет занимал великокняжеский престол во Владимире. Умер он так же, как и Александр — от неведомой хвори, приключившейся с ним на обратном пути из Орды, успев перед смертью принять монашеский постриг... Михаил, родившийся на 40-й день по кончине родителя, был уверен, что отца и дядю отравили. И какой-то внутренний голос с юных лет подсказывал князю, что и ему не избежать однажды этой участи. Оттого в Орду ездил он всякий раз, как в последний, оставляя завещание и будучи готовым никогда больше не увидеть родной вотчины и людей.

Мать, дочь пономаря Афанасия, полюбившаяся князю Ярославу за красоту, ум и благодетельность, с детства воспитывала в сыне стремление в первую голову искать чести у Бога, а не у мира, служить Богу, а не похотям и страстям человеческим. Юная душа князя жаждала мученичества за Христа, истинного и даже до смерти служения Ему. Он рано познал тщету земных богатств — в тот момент, когда дотла сгорел его дворец со всем имуществом, и они с княгиней лишь чудом успели выскочить на двор в одном исподнем... Но тщета тщетой, а долг княжеский беречь свою отчину и своих

людей, быть добрым защитой, а злым — строгим судьей. Отцовские воеводы выучили Михаила ратному делу, в котором оказался он способным учеником.

Михаил Ярославич никогда не искал чужих уделов, любовно возделывая свой. Тверь стала при нем многолюдной и процветающей. Вокруг нее умножались села и города, развивались ремесла и торговля. Радовалась душа этому достатку и благолепию! Могла бы вся Земля Русская цвести так, кабы не княжие усобицы, распри за ярлык... Омрачалось сердце княжеское памятью, как приходилось облагать данью своих тверичей, чтобы заплатить в Орде больше, чем платил Юрий Московский...

Тешились татары этою русскою сварой, и имели на то все основания... В свой первый приезд в Орду Михаил Ярославич был свидетелем любопытного спора, устроенного по велению хана Тохты. В Орде во всякое время бывало множество различного народа из самых разных сторон — купцы, путешественники, проповедники. В тот раз приказал Тохта христианам, магометанам и язычникам спорить при нем о вере. По уставу Чингисхана служители всех религий освобождались татарами от платежа дани и пользовались в Орде и на подвластных ей землях большой свободой. Жарок был спор, чуть не до раздиранья риз. Хан с любопытством слушал доводы сторон, а сам хранил молчание. Когда же по мановению его руки спор был прекращен, он подозвал к себе латинского попа, защищавшего христианскую веру, и сказал:

— Мы, татары, веруем во единого бога, которым живем и умираем. Но как руке бог дал различные пальцы, так и людям дал различные пути ко спасению. Вам Бог дал Писание, и вы его не соблюдаете. Нам дал колдунов, мы делаем то, что они нам говорят, и живем в мире.

Врезались те ханские слова, точно острая заноза в сердце молодого русского князя! Бог дал вам Писание, и вы его не соблюдаете... Ведь так и есть! Бог заповедал возлюбить ближнего, а русские князья и бояре рвут друг у друга уделы, убивают друг друга, заискивают перед погаными. Где же ждать избавления и какими очами смотреть на Небо, взывая о помощи? Поделом и посрамление выходит от тех, кому дадены колдуны, и кто чтит их волю...

С той поры пришли перемены в Орду. Вместо колдунов новый хан Узбек стал чтить Магомета и ревностно насаждать магометанство среди татар и подвластных племен. От этого-то хана и пошли беды сплошной чередой... Юрий Московский, прожив в Орде три года, свел с татарами тесную дружбу, а к тому женился на любимой сестре Узбека, Кончаке, принявшей в крещении имя Агафья. Такое родство не замедлило обеспечить Даниловичу ярлык на великое княжение... Узнав о том, Михаил смирился с несправедливостью и послал сказать узурпатору: «Если хан дал тебе великое княжение, то я уступаю тебе. Княжи на нем, только будь доволен своим и не вступайся в мой удел». Но ненасытный московский князь не собирался жить в мире и довольствоваться своим уделом. Скоро узнал Михаил, что брат идет на его землю с полчищами татар и мордвы под водительством ханского вельможи Кавгадыя. Эта разбойничья рать опустошила Тверское княжество до самой Волги. Стон и плач воцарились в еще вчера цветущем краю! Города и веси были преданы огню, женщины поруганы, мужчины преданы жестоким мукам, уцелевших взяли в полон.

Не остановившись на этом злодеянии, Юрий и Кавгадый изготавились разорить также и заволжские земли Тверского княжества. Видя это, князь Михаил в глубокой скорби созвал бояр и духовенство для совета.

— Разве не уступил я великого княжения своему сроднику, разве не дал ему я дани? — вопрошал он. — Сколько зла теперь причиняет моей отчине князь Юрий! Я претерпел все, думая, что беда эта скоро кончится. Ныне же вижу, что они ищут моей головы! Ни в чем не виновен я перед ним; если же виновен, скажите, в чем?

— Ты прав, князь наш, во всем, — едва сдерживая слезы отвечал ему престарелый епископ Тверской. — Перед племянником твоим ты обнаружил такое смирение, а они — князь Юрий с Кавгадыем — за это взяли твою волость. А теперь хотят опустошить и другую половину твоего княжества...

— Что же делать мне, владыка святой? — спросил князь. — Что делать мне, братия? — оборотился и к боярам. И был ему единодушный ответ всех собравшихся:

— Иди против них, государь, а мы готовы за тебя сложить свои головы!

Эта единодушная поддержка и благословение укрепила решимость Михаила. Он знал твердо, что в этом деле прав пред очами Божьими и людскими, а оттого в сердце его не было смущения. В короткий срок собралось под его знамя войско — не только из тверичей, но и из ратников других княжеств, жестоко претерпевших от юрьевых бесчинств. Все они устремились в Тверь, дабы поквитаться с обидчиками и защитить правду Божию и Землю Русскую.

Между тем, Данилович также собирал рать, обосновавшись в Костроме. Узнал Михаил, что остался верен своему вероломству господин Великий Новгород. Задобренные сладкими речами юрьева брата Ивана по прозванию Калита и татарского посланника Талабуги, новгородцы не только дали им денег, но и послали против Твери собственный отряд. Худа была судьба его — Михаил с дружиной разбил супостатов у Торжка, две

сотни новгородцев были побиты в той сечи, а прочие насилиу унесли ноги.

В сентябре над Тверью появилось странное, пугающее знамение: будто бы круг явился на небе, а от него протянулись три луча — два на восток, а третий на запад. Немало перепугались жители, наблюдая это чудесное явление, боясь, что сулит оно им новое горе. Но князю уже некогда было бояться небесных знамений. Враг мог напасть в любой час, и нужно было как можно скорее собирать войска, чтобы не оказаться Твери застигнутой врасплох.

И, вот, донесли дозорные, по всем дорогам посланные, что покинул Юрий пределы Костромы и идет на Тверь. Трескучие декабрьские морозы и метели не стали помехой безумным, чьи ноги спешили на пролитие крови, а сердца полыхали адским пламенем алчбы.

Высоко поднялось солнце над Бортеневским полем, и лучи его, отражаясь о снег, слепили глаза. Ничто не остановило гордого московского князя... Ни пост, в котором пребывали ныне все благочестивые люди, не грядущее Рождество Спасителя. Знать, вовсе оставил Бог эту погибшую душу, и стала она обиталищем бесов, которые и гонят Даниловича на пролитие братской крови и не дают успокоиться ему от безумной жажды власти.

Вот, вознесся ввысь московский стяг, для горького и постыдного дела поднятый. Князь Михаил развернул коня к своему войску и воскликнул:

— Братия! Вам известно, что сказал Господь во святом Евангелии: Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя! Ныне нам предстоит отдать свою жизнь не за одного или двух из наших ближних, но за множество народа, плененного и избитого врагами, за жен и дочерей, оскверненных

погаными. Если положим душу свою за стольких людей, слово Господне нам вменится во спасение!

— Постоим за Русь Святую, за Веру Православную, и за тебя, господин наш, постоим! — был ему ответ славных ратников.

Михаил выхватил меч и первым понесся навстречу противнику. За ним следовали оба сына его, Дмитрий и Александр, а позади — предводительствуемые храбрыми тверскими воеводами полки. Страшной была сшибка двух противоборствующих ратей. Зазвенели мечи, заржали отчаянно вязнущие в снегу и раненые его ломаемой коркой кони. Падали всадники, продолжали биться пеши... Таял ледяной наст от обильно проливаемой крови и, вот, кое-где уже пробивалась земля.

— Батюшка, взгляни! Кавгадый уходит! — услышал Михаил возглас Дмитрия.

И правда, почуяв, что тверская рать на сей раз сильнее, татары бросили своих московских подельников, и их потрепанная свора бежала прочь.

— Преследуйте их, не дайте им уйти! — приказал князь.

— Батюшка, дозвожь мне догнать татар! — воскликнул разгоревшийся в бою Дмитрий.

— Возьми отряд и скачи за ними, — согласился Михаил. — Но помни! Не истребляйте их, но берите в плен! Нам не нужна вражда с ханом!

— За мной! Держите Кавгадыя! — крикнул молодой княжич и вместе с отрядом отроков, таких же молодых и горячих, как он сам, бросился преследовать татар.

Между тем, прочь побежали и разгромленные москвичи. Их преследовал сам Михаил с основным войском. Победа тверичей была полной. Словно снопами в пору жатвы, Бортеневское поле было сплошь усеяно грудями тел побитых врагов и их коней. Юрий успел бежать с небольшим отрядом, бросив остатки войска и

обоз. Все это досталось победителям. В плен попали многие московские князья и бояре и даже брат Юрия, Борис Данилович. Но не пленники вражеские более всего возрадовали душу князя Михаила, но пленники свои, москвичами и татарами захваченные, а теперь вновь обретшие свободу. Измученные, они плакали от радости и благодарили Бога и князя за свое избавление.

Михаил снял с головы шлем, радуясь освежающей прохладе морозного воздуха. Только теперь он заметил, что доспехи его буквально иссечены ударами вражеских мечей. Чудо, что ни один из них не ранил его самого! Князь набожно перекрестился.

— Батюшка! — подъехал к нему Александр. — Погляди-ка, какой трофеей оставил нам собака Юрий!

С этими словами сын подвел отца к богатой, теплой кибитке и распахнул ее полог. Из кибитки раздался испуганный женский вскрик. Михаил соскочил с коня и заглянул внутрь. В углу кибитки, укутанная дорогими мехами и смертельно перепуганная, жалась молодая татарка.

— Ты — Кончака? — спросил ее князь по-татарски. — Жена Юрия?

Татарка задрожала и кивнула, затравленно глядя на князя.

— Даже жену бросил! — фыркнул Александр. — Хорош! Что будем делать с нею, отец?

— Что же можно делать с женщиной и к тому же сестрою хана Узбека? Примем, как дорогую гостью, со всеми почестями, — ответил Михаил и снова по-татарски обратился к пленнице. — Не бойся, в Твери никто не сделает тебе зла. Отныне ты княжеская гостья, и мой дом — твой дом.

При этих словах Кончака заметно успокоилась и поблагодарила русского князя за ободряющее слово.

— Ты замерзла, должно, Кончака?

— Агафья... — негромко поправила татарка.

— Агафья...

— Да, князь, мне очень холодно. Вели подать мне пить, горячего!

Михаил подозвал нескольких людей и велел позаботиться о пленнице: обогреть, накормить и, как можно скорее, отвезти в княжеские хоромы.

— Там уж княгиня позаботится о ней, баньку велит горячую да постелю пуховую... Экое все же животное мой племянник, собственную жену, ханскую сестру и ту едва не загубил! К чему было везти ее с собою на битву?

В Твери уже ожидал князя гордый исполненным отцовским приказом Дмитрий со своими отроками и Кавгадый с плененными вместе с ним татарами. Михаил пригласил ханского вельможу за княжеский стол, за которым подле княгини заняла место и Кончака-Агафья. Кавгадый немедля поднял кубок за здравие тверского князя и провозгласил:

— Отныне мы твои! Без повеления хана приходили мы на тебя с Юрием. Мы виноваты и боимся гнева хана за то, что много пролили крови!

— Я не стану жаловаться хану на бесчинства твоих людей в моей вотчине, ибо знаю, что не ты причина этому, а мой безбожный племянник, — ответил на это Михаил. — Завтра ты и твоя свита сможете покинуть Тверь, вы не пленники мои ныне, а гости. А гостей принято жаловать! — с этими словами князь хлопнул в ладоши, и явившиеся слуги поднесли Кавгадыю ларец с богатыми дарами.

Жадно вспыхнули глаза татарина, и низко поклонился он тверскому князю с заискивающей улыбкой, обезобразившей его и без того уродливое и злое лицо:

— Кавгадый отблагодарит князя за его щедрость! Кавгадый — раб князю отныне!

Когда пир завершился, к Михаилу подступили сыновья.

— Зря ты, батюшка, сделал это, — сказал старший, Дмитрий.

— Что именно?

— Отпустил Кавгадыя. Заметил ли ты, с какой злобой смотрел он на тебя весь вечер? Твои дары и милость не расположили его. Он ненавидит всех нас.

— Он ханский вельможа, и я не могу поступить иначе.

— Лучше было бы, чтобы этот вельможа занедужил и уже никогда не покинул пределов нашего княжества! — горячо выдохнул Дмитрий.

Михаил тряхнул сына за плечо:

— Не по нутру мне слова твои! Мы не поганые и не Даниловичи, чтобы злодейства творить! — взглянув на остальных сыновей он прибавил: — Дети, всю жизнь я много заботился о том, чтобы помогать христианам, я стремился быть справедливым и милостивым со всеми и никогда не искал чужого. Но за грехи мои нашему княжеству приходится терпеть много тягостей, как и всей Земле Русской — из-за наших княжьих грехов, наших раздоров. Может быть, во искупление этих безмерных грехов мне придется пролить кровь мою за народ православный. Я готов к тому, и вы всегда готовы будьте. Помните, что сказано в Писании: «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Пекитесь прежде прочего о душах ваших, не погубите их. Это единственное, что принадлежит вам, что всецело от одних только вас зависит. Сберегите свои души, живите по Божией правде, будьте верны данному слову, мужественны в защите обижаемых, милостивы к нуждающимся, а остальное вручите Божией воле. Как Он управит, так тому быть и должно.

— Отдай, слышишь, отдай мне этого неверного щенка! — гремел Узбек, надвигаясь на невозмутимую Баялун. — Я приказываю тебе отдать его! Я велю разорвать его на куски за мою Кончаку!

Страшен был молодой хан в гневе. Его выбритая голова тряслась, становилась пунцовой, глаза дико вращались, желваки дергались, а синие жилы на шее взбухали. Черт да и только! Пожалуй, и пострашнее черта будет... Но красавица Баялун не боялась его. Она продолжала с достоинством восседать на своих многочисленных подушках и бесстрашно взирать на беснующегося мужа.

— Я не выдам тебе русского княжича, — наконец, ответила она, встав и сложив руки на груди.

Узбек задохнулся от возмущения, а Баялун продолжала.

— За что хочешь казнить его? В чем его вина пред тобой?

— Его отец отравил мою возлюбленную Кончаку!

— Это твой Кавгадый и Юрий сказали тебе? И ты веришь им безо всякого рассуждения?

— Какое должен иметь я рассуждение, когда сестра моя умерла в плену у тверского князя? — раздраженного, но уже спокойнее спросил хан.

— Во-первых, как случилось так, что твой зять, князь Юрий, бежал, а сестру твою, жену свою, не защитил, но оставил врагу? Не должен ли он был беречь ее пуще зениц своих очей?

Вздутые жилы втянулись под кожу, узкие глаза обрели выражение рассудочное. Баялун умела разговаривать с не в меру горячим мужем.

— Во-вторых, откуда известно, что наша возлюбленная Кончака была отравлена? Разве Кавгадый присутствовал при ее смерти, чтобы утверждать подобное обвинение? Он зол на тверского князя за свое посрамление, как зол и Юрий, ищущий его вотчины. Зачем же тебе, мудрому властителю, призванному творить справедливый суд, становиться слепым орудием чужой злобы и мстительности? Это недостойно такого великого владыки, как ты!

— Я вовсе не слеп! — воскликнул Узбек, отирая пот.

— А если ты не слеп, то спроси себя, зачем князю Михаилу убивать твою сестру? Князю более всего нужен мир с тобой и твое расположение, чтобы сохранить свою вотчину! Он Кавгадыя отпустил, хотя тот бился против него с мечом, и он мог бы поразить его, мог бы и в плену удержать! Но он отпустил твоего вельможу, чтобы угодить тебе. Разве безумен он стал, чтобы убить твою сестру? По первой воле твоей он прислал к тебе своего сына. Если ты убьешь этого отрока, то неужели помышляешь, что отец его явится к тебе на суд, дабы ты разрешил его тяжбу с его обвинителями?

Слушая вкрадчивый голос жены, Узбек успокоился и, обняв ее, признал:

— Ты мудра, Баялун. Я не подумал об этом. Ты права, мне нужно видеть самого Михаила. Нужно, чтобы он приехал в Орду. Тогда я смогу услышать его оправдания, а не только обвинения Кавгадыя и Юрия. И рассудить, кто из них правый. Если Михаил виноват, то не сносить ему головы!

С этими словами хан покинул шатер, а Баялун с глубоким вздохом осела на подушки, пожав под себя ноги и опустив голову. Константин осторожно вышел из своего укрытия и пал перед своей спасительницей на колени:

— Спасибо, повелительница, что спасла мою голову!

Ханша ласково погладила княжича по пышным вихрам, привлекла его к себе, усадила рядом, лаская:

— Бедный-бедный мой княжич... Твой отец совершил непоправимую ошибку!

— Он не убивал Кончаку! — вспыхнул Константин. — Она замерзла, еще когда Юрий бросил ее посреди битвы, спасая одного себя! А моя матушка лечила ее, заботилась о ней, как о родной сестре! Но недуг оказался слишком коварен! У нее горлом кровь шла, и наши лекари были бессильны помочь!

— Знаю, знаю, — грустно улыбнулась Баялун. — Да не в том ошибка твоего отца, а в том, что он Кавгадыя отпустил. Знаешь ли ты, бедный мой княжич, что такое Кавгадый? Это... шайтан! Змея! Стервятник! Я не знаю души столь черной и злой, как эта. Он никогда не простит твоему отцу своего унижения, а милости его того пуще не простит. За его дары он выключет ему сердце.

Константин похолодел при этих словах. А ханша продолжала:

— Его нужно было убить, убить в бою или после, сказав, что он был ранен и умер от ран... За гибель Кавгадыя в бою Узбек не стал бы мстить. Тут не было бы ему оскорбления, тем более, что Кавгадый действовал без его приказа... Твой отец смерть свою помиловал, понимаешь ли это? Кавгадый Юрия научил возвести клевету на твоего отца — уж так им на счастье приключилась смерть Кончаки! Но это не все. Они внушают Узбеку, что твой отец часть дани оставляет себе.

— Это ложь! — возмутился княжич.

— Ложь. Но хан верит ей.

— Почему?! Почему он верит всей лжи?! Разве он не знает, кто такие Юрий и Кавгадый?

— Он знает, сколько золота привозят ему Юрий и его брат Иван... А Кавгадый... Во рту его не язык, а

жало. И оно жалит в самое сердце. Он умеет убеждать... К тому же Узбек очень молод. Его более занимают охоты и игры, чем дела. А Кавгадый услужливо занимается последними, позволяя моему мужу предаваться забавам...

Говоря это, ханша обнимала княжича и ласково целовала его. Константина смущали и тревожили ласки красавицы-татарки. В них чувствовал он, несмотря на обманчивость, что-то совсем не материнское, что-то тяжелое, удушливое, страсть, которая пугала его. В то же время Баялун была в Орде единственным человеком, на защиту которого он мог рассчитывать, человеком, понимавшим его, сочувствовавшим его горю, человеком, с которым он мог говорить без страха, раскрывая мучимую тоской душу.

После Бортеневской победы отец вновь попытался заключить с московским князем мир. У Синеевского брода, где встретились рати соперников, оный был подписан. Отец предлагал даже князю Юрию вместе отправиться в Орду и там перед ханом ходатайствовать за Русскую землю... Но что было Даниловичу до Русской земли? Он не замедлил разорвать заключенный договор, убив тверского боярина Александра Марковича, посланного в Москву с «посольством любви». Последняя надежда на мир и добрую волю Юрия рухнула, оставалось обратиться к ханскому суду. И, вот, тут-то приключилась большая беда — скончалась в Твери бедная Кончака-Агафья... Узнав в том, что в ее смерти враги хотят обвинить пред ханом его, отец послал в Орду Константина с тем, чтобы показать свою верность, а также задобрить Узбека обильной данью. Сперва хан принял княжича с честью, но затем по наущению Кавгадыя и Юрия воспылал злобой и хотел уморить Константина голодом или же растерзать дикими зверями. Если бы не добрая ханша, то и исполнил бы непременно это намерение...

Чуть покачиваясь из стороны в сторону, Баялун затянула протяжную песню, слов которой нельзя было разобрать. Константин подумал, что этой красавице-ханше не достает детей, коим могла бы дарить она тепло своего сердца. Она была одинока в своем богатом шатре, в окружении подобострастных слуг и наперсниц... Впрочем, муж почитал ее, а вслед за ним и его вельможи. Мудрая Баялун могла бы быть истинной владычицей Орды. Татарскою Ольгою...

Константин, несмотря на тяготу свою, не без любопытства изучал нравы Орды. Более всего его раздражали неопрятность татар, их лживость и заискивающая манера говорить — друг с другом и даже с теми, кто был им ненавистен, кому в следующий миг могли они воткнуть нож меж лопаток... Эти язычники, склонявшиеся теперь в магометанство, имели по несколько жен и наложниц и не делали различий меж рожденными ими детьми. В противоположность иным народам наследником в ханском семействе считался не старший, но младший сын, мать которого была выше происхождением прочих ханш. Младшего сына считали охранителем домашнего очага, который должен будет стать опорой и защитой роду, если старшие братья падут в битвах. Кроме войны и охоты татары, кажется, не знали никаких иных занятий. Они чужды были ремеслам и земледелию, а потому в промежутках между походами и охотами маялись без дела, развлекаясь лишь стрельбой из лука, состязаниями друг с другом и выездкой коней. Иные, правда, все же держали скот, и это было единственное мирное занятие, которое татары себе позволяли. Все это было так не похоже на благочестивого и трудолюбивого русского человека, который летом — пахарь, зимой — ремесленник, а когда настанет лихая година — воин...

Иное впечатление производили на Константина татарские женщины. Помимо того, что именно на них

лежали все хозяйственные заботы, они, как и мужчины, с малых лет ездили верхом и отменно стреляли из луков, которые носили при себе. Татары при всей грубости были весьма почтительны к своим женщинам. Их берегли, с ними советовались. Им позволялось даже вмешиваться и влиять на дела государственные. Умные и сильные натуры, татарские женщины выгодно отличались от своих мужчин. Так, по крайней мере, казалось Константину. И пример Баялун особенно убеждал его в этом. Эта женщина иногда пугала его, но чаще восхищала. Дважды он, пленник, заложник, сопровождал ее во время конных прогулок и не мог не восхищаться красотой и грацией этой неутомимой всадницы. Она любила лошадей. И любила сама укрощать их, не питая ни малейшего страха перед дикой необузданностью не знавших дотоле узды животных. А те... покорялись ее власти. Когда она мчалась по степи, то казалась единым целым с конем и ветром, и ветер, также покорствуя ей, далеко-далеко разносил ее гортанный, победительный крик. Она была прекрасна в эти мгновения! Прекрасна, как стихия, которой нельзя не подчиняться... И также пугающа... Можно ли удивляться, что сам хан Узбек смирял перед ней свой гнев и прислушивался к ее голосу? Он был похож на тех необузданных, бешенных жеребцов, которые могли бы растоптать на своем пути всякого, но вдруг покорялись этой ни на кого не похожей женщине.

И все же юный княжич в глубине души робел своей покровительницы, хотя и стыдился признаться себе в этом. Рядом с ней он сам начинал себя чувствовать очередным конем, которого она объезжает — объезжает всего лишь для собственной забавы, пытаюсь утолить неутолимую ордынскую, гаремную скуку и страсть собственной могучей, как сама природа, натуры. Это чувство неприятно досаждало Константину, и оттого ее ласки были тяжелы ему, угнетали его.

— А знаешь ли ты, бедный мой княжич, что они послали убийц навстречу твоему отцу? — внезапно прервав песню, произнесла ханша.

— Кто? — вскинулся княжич.

— Кавгадый и Юрий. Они боятся, что князь приедет в Орду и изобличит их ложь. Они убеждают Узбека, что он не приедет... А он уже скоро будет здесь. Совсем скоро, если ваш Бог убережет его.

— Откуда ты знаешь?

— У Кавгадыя есть лазутчики, и они донесли ему о приближении князя. У меня тоже есть верные люди, и они донесли мне о вестях, полученных этим шайтаном, и о том, что убийцы уже скачут навстречу твоему отцу...

Константин отер выступившие слезы и перекрестился:

— Пресвятая Богородица, защити раба Твоего Михаила!

— Молись, молись своим богам, бедный княжич, — печально произнесла Баялун, поднимаясь. — Молись здесь, здесь тебя никто не тронет, — с этими словами она поцеловала отрока и скрылась за пологом, не желая мешать ему.

Услышала ли Богородица сердечную сыновнюю молитву, или же убийцы оказались не расторопны, а только уже на другой день тверской князь в сопровождении свиты въезжал в Орду, готовый дать пред лицом хана ответы на все возводимые на его голову обвинения. Константин бросился на шею отцу, едва тот сошел с коня:

— Батюшка! Живой! Слава Богу!

— Помилуй, отчего же не быть мне живым?

— Оттого, что Кавгадый и Юрий послали злодеев убить тебя на пути!

— Вот как? Я предчувствовал такой разбой с их стороны и поехал другой дорогой, — усмехнулся отец,

внимательно глядя на Константина. — Ты не болен ли? Похудел, бледен...

— Вчера хан хотел убить меня, и, если бы не заступничество ханши, то тебе, батюшка, уже не застать бы меня в живых...

Лицо отца потемнело, и он с силой привлек княжича к груди.

— Злодеи! Звери! Они ни перед чем не остановятся, чтобы извести нас!

— Ах, батюшка, и зачем ты только приехал?! — воскликнул Константин, поднимая на родителя полные слез глаза. — Ведь они не помилуют тебя! Они крови твоей хотят! Хан теперь в лютом гневе и поверит всякому навету против тебя!

— Что же я должен был делать? Если бы я не приехал, хан тем более счел бы, что я виновен перед ним, а потому не являюсь ему на глаза, что я крамолу кую против него.

— Ты мог бы не ехать сам, а прислать еще кого-нибудь из братьев.

Отец покачал головой:

— Сын мой, не тебя требует хан, но меня. Моей головы он хочет. Во Владимире меня встречал ханский посол Ахмыл. Он предупредил, что если я не явлюсь в Орду через месяц, то хан пойдет на Тверь войной. Если бы я уклонился от поездки к хану, то отчина наша была бы опустошена, и множество христиан избито. Да и сам я не избег бы тогда смерти. Не лучше ли положить мне свою душу за многих?

В ясных очах отца Константин прочитал спокойную и непреклонную решимость принять, если потребуется, мученичество. Это был человек, готовый к борьбе, но в то же время уже отрешившийся от мира и всецело предавший себя Божией воле. В этом самоотвержении черпал князь спокойствие и ясность духа.

Хан принял его с честью, не спеша по совету Баялун творить бессудную расправу. Однако, суд, назначенный им, оказался равносильным приговору, ибо и главным судьей, и обвинителем Узбек поставил одного человека: Кавгадыя. Горько плакал, узнав о том, Константин, а отец сохранял спокойствие, укрепляя силы чтением Святого Писания и молитвой.

Недолог был неправедный «суд». Все измышленные Кавгадыем и другими лжесвидетелями вины были признаны «судьями»-соумышленниками за истину и объявлены всемогущему хану.

— Ты был горд и не покорялся хану, срамил его посла и бился с ним; побил многих татар и не давал хану дани; собирался с казною бежать к немцам; посылал казну папе; уморил княгиню Юрия, — такие обвинения возвели они на свою жертву пред очами грозного хана.

— Хану я покорен, — спокойно отвечал на это отец, прямо глядя на Узбека. — Сколько дани платил хану, на то у меня есть роспись. В бой с послом ханским я вступил поневоле: он пришел на меня с князем Московским; не держал я посла в плену, но с честью отпустил его в Орду. А отравить жену князя Юрия, Бог тому свидетель, у меня и помысла никогда не было. Вспомнил бы брат мой Юрий Даниилович мою дружбу и любовь к нему. Еще отцу его я не раз помогал в бедах и ему не был соперником. Он сам восстал на меня и хотел всем владеть противно нашему обычаю. Судите же меня справедливо и милостиво.

— Не достоин ты милости, а достоин смерти! — в ярости крикнул Кавгадый.

Но не сразу предали смерти оклеветанного... Сомневался ли Узбек в заключении своих «судий» или же, напротив, желал дольше и злее истомить свою жертву? А скорее всего, просто прискучило молодому хану разбирательство, просто спешил он на очередную

большую охоту, начинавшуюся как раз в эту осеннюю пору, а потому и отложил окончательное решение.

У отца отняли все имущество, возложили на шею его тяжелую колоду и, разогнав прочь его людей, приставили к нему стражу.

— Слава Тебе, Владыко Человеколюбче, что Ты сподобил меня положить ныне начало мучению моему, удостой же меня и кончить подвиг сей: да не смутят меня слова лукавых, и угрозы нечестивых да не устрашат меня! — воскликнул мученик, принимая свой горький жребий.

На другой день вся Орда двинулась к берегам Терека — в большой ханской охоте, как в войне, неизменно участвовали все татары. С собою гнали и рабов, и пленников. Сердце Константина обливалось кровью, видя, как отец вынужден идти пеш, неся на шее тяжеленную колоду, в которую по ночам заключали и руки его. Кавгадый думал, что такая кладь пригнет русского князя к земле, и тем больше будет унижение последнего, так будет он идти в вечном преклонении перед ругающейся над ним неправедной силой. Но богатырски могуч был князь Михаил, и, как ни тяжела была водруженная колода, а не преклонял он выи, не сгибал стана. Прямо и покоен шел он, окруженный стражей и скорбящими о нем боярами и слугами, пел псалмы и утешал ближних. Мученичество и величие сошлись воедино, и Константину казалось, что отец подобен теперь Христу, несущему крест на свою Голгофу...

На ночь княжич по заступничеству Баялун получил разрешение оставаться при родителе и служить ему. Руки князя были закованы в колоду, и Константин переворачивал для него страницы Писания или Псалтири, которые отец, проводящий все дни в посту и страданиях, находил силы читать вслух. Княжич вторил ему иногда срывающимся от рыданий голосом.

— Батюшка-батюшка, не нужно было приезжать тебе! Обесчестили тебя поганые, а теперь и вовсе уморят без жалости! — сокрушался он, приникая к отцовским коленям и лобызая его ноги.

Отец, не имея возможности ни обнять, ни поцеловать сына, лишь отвечал ему исполненным кротости и ласки голосом:

— Не печалься, чадо, и не скорби по мне. Не огорчайся тем, что тот, которого привыкли видеть прежде в княжеском одеянии, теперь закован в колоду. Вспомни, сколько благ я получил в своей жизни, неужели же я не хочу потерпеть за них? И что значит сия временная мука в сравнении с бесчисленными грехами моими? Еще более должен я страдать, чтобы получить прощение за свои грехи. Вспомни, сам праведный и благочестивый Иов, будучи чист, претерпел много страданий. Тебя печалит колода? Не скорби, — скоро ее не будет на вые моей.

«Как и головы», — пронеслась страшная мысль, и еще горше заплакал Константин. Дни напролет он исступленно пытался придумать, как спасти отца, как устроить побег ему. Пусть бы ценой собственной жизни и нечеловеческих мук, но лишь бы отец был спасен! Он даже поделился своими мыслями с Баялун, но та лишь осыпала его своими удушливыми поцелуями:

— Бедный-бедный мой княжич, оставь эту мысль! Твоего отца стерегут люди Кавгадыя, он не сможет бежать! Ты лишь погубишь себя и ваших людей, но не поможешь ему!

Правы были братья, когда корили отца за милость к татарскому шайтану... Права была мудрая ханша, говоря, что стервятник не простит милости и выключет милующее сердце...

В один из дней Кавгадый вывел своего пленника на торги, где было много народа, велел своим людям поставить его перед собой на колени и долго ругался

над ним, оскорбляя поносными словами. А в завершении, вдруг сменив тон на заискивающий, сказал:

— Знай, Михаил, таков существует обычай у хана: если он разгневадается на кого, даже из своих родственников, то приказывает держать его в колоде. Но когда гнев его пройдет, тогда он возвращает опальному прежние почести. Так и тебя завтра или послезавтра освободят, и ты будешь в большей чести!

Затем, обратясь к сторожам, шайтан спросил их:

— Почему вы не снимете с него колоды?

Те отвечали с насмешкою:

— Мы снимем ее завтра или послезавтра, как ты сказал!

— Так поддержите теперь колоду, чтобы она не давила ему плеч!

От этого заискивающего, притворно сочувственного тона похолодело дотолы пылавшее гневом сердце Константина. Татарское заискивание страшнее угроз, а кавгадыево «сочувствие» и подавно! Княжич понял, что муки его возлюбленного родителя подходят к концу, и участь его решена.

Измученный князь, меж тем, дождавшись ухода своего мучителя, сел отдохнуть в тени дерева. Вокруг него тотчас собралась разноплеменная толпа. Греки, немцы, литовцы, русские с любопытством разглядывали его и безо всякого смущения обсуждали унижение того, кто еще недавно был великим князем, жил в славе и богатстве. Константин бросился к отцу:

— Батюшка, не лучше ли тебе идти в свою палатку и там отдохнуть? Ты видишь, здесь стоит множество народа, все смотрят на тебя!

Князь поднял взор на собравшихся, точно на ярмарочное представление со скоморохами и медведем, праздных людей, некоторое время смотрел на них, затем проронил:

— «И аз бых поношение им: видеша мя, покиваша главами своими. Но не престану уповать на Тебя, Господи, яко ты еси исторгий мя из чрева, упование мое от сосцу матере моя».

Опершись на руку сына и, найдя в себе силы вновь выпрямиться, он направился к своему шатру. Едва они оказались внутри, как Константин пал перед отцом на колени и взмолился:

— Батюшка! Господин мой! Богом молю тебя, беги в горы, спаси свою жизнь! Кони для тебя готовы, и проводник подкуплен!

Это была сущая правда. Несмотря на отговоры ханши, Константину и верным боярам удалось найти и коней, и проводника. При разграблении княжеского имущества тверичам все же удалось сохранить некоторое ценное, и этого хватило для оплаты возможности княжеского побега.

Отец отпил из ковша холодной воды и ответил, положив ладонь на голову сына:

— Нет, чадо, не бывать этому. Я и прежде никогда не бегал от врагов моих, не сделаю сего и ныне. Если я один спасусь, а бояре и слуги мои останутся здесь в беде, то какая мне честь будет за то? Я не могу поступить так. Да будет Господня воля!

— Но батюшка!.. — воскликнул с отчаянием Константин и осекся, понимая, что решение родителя твердо.

— Когда меня не станет, позаботься о наших людях. И всегда помни, как надлежит жить и умирать христианину. Твердо держи православную веру, почитать храмы Божии и служителей их, благотвори странным и нищим. Будь справедлив и милостив. С братьями своими живи в мире, мать почитай и особое имей о ней попечение. Когда же будет у тебя жена, уважай ее, а чад своих наставляй в том же, в чем я тебя наставляю. Может быть, Господь по милосердию своему

приведет им жить в лучшие дни, чем досталось нам. А теперь призови всех наших людей и моего духовника... Хочу вперед проститься с ними и исповедаться.

Вскоре шатер наполнился скорбными боярами и слугами, многие из которых не могли сдержать слез. Князь испросил прощения у каждого из них и каждого расцеловал. После чего исповедался и велел подать ему Псалтирь. Раскрыв книгу, он прочел:

— Сердце мое смятется во мне, и боязнь смерти нападе на мя... Что означают слова сии? — спросил отец у священника.

— Государь, — ответил дрожащим голосом, — да не смущается сердце твое словами сими, ибо в том же псалме сказано: Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает!

В этот момент в шатер вбежал перепуганный отрок:

— Государь, сюда идут Кавгадый и Юрий со множеством народа!

— Знаю, зачем они идут, — спокойно отозвался князь, вставая. — Убить меня.

Константин бросился отцу на шею:

— Я не оставлю тебя, батюшка! Я буду защищать тебя и умру с тобой!

— Какая польза будет в смерти твоей? — прозвучал ответ. — Нет, мой милый базилевс, сейчас ты исполнишь мою последнюю волю: возьмешь наших людей и уйдешь вместе с ними к ханше Баялун. Она одна сможет защитить вас! Беги же скорее, пока не стало поздно! И да сохранит тебя Господь!

Это были последние слова возлюбленного родителя, которые слышал Константин. С благоговением облобызав его руки и ноги, он выбежал прочь из шатра, понимая, что более никогда не увидит отца живым. Бояре и слуги последовали за ним. А князь, распрямившись и сложив руки на груди, остался ждать

своих убийц, своего последнего, самого страшного и
безнадежного боя...

— Очнись, миленький, очнись! Слышишь? Ну же! Это только сон дурной, очнись!

Испуганный девичий голос с трудом долетал до слуха Константина, и, хотя хрупкие ручки трясли его с изрядной силой, но он долго не мог проснуться от своего кошмара. В последнее время такой глубокий, тяжелый сон сделался для него чем-то сродни болезни, но он не жаловался не нее, как и ни на какое иное недомогание — разве можно доверять московским лекарям? К тому же княжич и сам знал причину своего недуга — неисцелимое душевное страдание. Именно оно изводило его, заставляя чахнуть, гореть, как в жару, проваливаться в подобный смерти сон и... видеть бесконечные кошмары... Точнее — один и тот же кошмар. Убийство отца...

Вот, врываются в княжеский шатер превзошедшие зверей в жестокости убийцы и бросаются на пленника. От первого удара разломилась колода, и поверженный отец успел вскочить, готовый сражаться. Но лютая стая накинулась на него со всех сторон и... растерзала! Растерзала! Они не убили его мечом, не заклали кинжалом, но били и топтали ногами! А затем один из них, русский именем Романцев, выхватил нож и... вырезал мученику сердце! Это сердце преподнесено было Кавгадыю и Юрию...

Те подъехали к разоренному шатру, когда все было кончено. Взглянув на растерзанное и обнаженное тело убитого, с которого убийцы сорвали все одежды, татарин сказал своему московскому подельнику:

— Разве он не старший тебе брат, все равно как отец? Что же тело его лежит без покрова, брошенное на

порушение всем? Возьми его и вези в свою землю, погребви в отчине его по вашему обычаю.

Князь Юрий пожал плечами и сбросил свой плащ на тело поверженного врага...

А в это время убийцы преследовали тверичей. Те, кто замедлил укрыться у доброй Баялун, были избиты и закованы в цепи. Много крови и слез пролилось в ту кошмарную ночь. И много вина выпито в веже¹³ Даниловича, до утра пировавшего со своими боярами, каждый из которых похвалялся тем, какой навет измыслил на невинного.

Шум этого пира нечестивых долетал и до шатра Баялун, в котором почти в беспамятстве лежал Константин. Его терзала горячка, и по временам он начинал бредить и звать отца. Добрая ханша сама ухаживала за ним. Еще ее мать обучила ее искусству врачевания, а с той поры Баялун не упускала возможности умножить свои познания, приглашая к себе заезжих в Орду путешественников, знающих медицине.

Иногда княжич приходил в себя и видел рядом с собой ханшу. Она что-то шептала над ним, а иногда просто напевала, подносила к его устам какие-то отвары, смачивала лоб ледяной водой, жгла неведомые чудодейственные травы с терпким запахом...

— Ты будешь жить, мой княжич, — говорила ханша своим глубоким, мягким голосом. — Ты крепок телом, и хворь не одолеет тебя. Но твоя душа всегда будет страдать, и этому не помогут никакие отвары и заговоры... А Кавгадый мне заплатит за тебя, и за всех заплатит!..

Баялун, как всегда, оказалась права. Она спасла Константина и от его преследователей, и от недуга. От одного не могла спасти ханша: от кошмара, навсегда

поселившегося в душе. А еще... от князя Юрия Московского, пленником которого стал Константин.

Пленником посмертно сделался и отец, честное тело которого торжествующий Данилович, получивший ярлык на Владимирский стол, повез в Москву. Уже по ходу пути Господь сподобил мученика прославления. В одну из ночей многие из христиан и иноверных видели, как два облака осеняли то место, где находилось тело убиенного князя. Они то сходились, то расходились и сияли, точно солнце. И на утро зазвучали еще робкие, еще приглушенные, но уже исполненные верой голоса: «Князь Михаил — святой. Он убит неповинно!».

В Маржарах купцы, знавшие князя, хотели покрыть его дорогими тканями и поставить в храме, но безумные бояре князя Юрия воспрепятствовали этому и поместили тело в хлеву под стражей. И всякую ночь поднимался огненный столб от земли до небес над тем хлевом... В городе Бездеже жители видели светлых всадников, паривших над телегой, в которой везли тело мученика.

В Москве его похоронили в Преображенской церкви Спасского монастыря, и всякий день Константин приходил туда плакать на гробе отца и просить его святого заступничества. Однажды, когда он молился, в церковь робко вошла девочка, чуть младше его, и, подойдя бесшумно, также опустилась на колени у гроба. Приглядевшись Константин узнал в ней дочь князя Юрия Софью, которую мельком видел он, когда его и плененных с ним бояр привезли в Москву.

— Что тебе здесь нужно? — вспыхнул Константин, вскочив на ноги.

Девочка покраснела и поднялась также:

— Я лишь хотела помолиться...

— А что, иных церквей нет в Москве?

— Есть, — кротко отвечала Софья. — Но я пришла молиться твоему отцу.

Константин вздрогнул и, не сдержавшись, бросил зло:

— Уйди прочь! Твой отец, лютей зверь, убил моего отца! Ты не должна здесь находиться! Я не хочу, чтобы ты здесь находилась! Уходи!

Он был пленник, он не мог ничего указывать дочери своего пленителя, но слова горькой обиды и негодования сами срывались с уст. Лицо девочки исказило страдание, а из глаз потекли слезы. Княжич осекся. Девочка вдруг опустилась перед ним на колени и поклонилась ему в ноги.

— Ты что это? — отступил Константин.

— Прости меня, — отозвалась Софья, поднимая заплаканное лицо. — Ради Христа прости!

— За что? — смутился княжич.

— За все, что сделал твоему отцу и твоей семье мой отец.

— Я никогда не смогу простить твоего отца! — воскликнул Константин.

— Я не его, а меня простить прошу. Потому что я его дочь, и я вижу, что ты ненавидишь меня за это!

— Я не ненавижу тебя... — тихо ответил княжич. — Ты не виновата в родительских злодеяниях... Но мне тяжело, чтобы ты была здесь.

— Твой отец — святой, он у Бога прославлен, я знаю, — жарко заговорила Софья, продолжая стоять на коленях. — Я потому и пришла. Его молить о прощении! И о мире, чтобы больше ничья кровь не лилась... — девочка заплакала, и Константин растерялся окончательно. Ему вдруг стало жаль Софью и показалось неловким, чтобы она стояла перед ним на коленях.

— Ну, полно, полно, — торопливо сказал он, поднимая ее. — Не за что мне прощать тебя. А ты уж прости, что груб был. Боль мне сердце помрачила. Кто тебе сказал, что мой отец у Бога прославлен?

— Я во сне его видела.

— Кого?

— Твоего отца... А с ним Архистратига Михаила и ангелов... И так страшно мне сделалось!

— Отчего же страшно?

— А думаешь, не страшно, не тяжело жить, зная, что твой отец — изверг хуже язычника? Что на нем кровь святого мужа лежит? А, стало быть, и на мне... Мне этот грех до конца моих дней замаливать да не замолить!

— Полно блажить, — покачал головой Константин. — Нет на тебе крови моего родителя...

— Значит, и в твоём сердце зла на меня нет?

Княжич внимательно посмотрел на трепещущую девочку. Тоненькая, с русой косицей до пояса, в темно-синем сарафане и такого же цвета платке, бледная, с заплаканными лазоревыми глазами, она неожиданно тронула его душу своим смирением и беззащитностью.

— Нет, Софья, нет у меня зла к тебе, — ответил Константин. — Давай помолимся вместе.

Эта встреча положила начало их дружбе. Неисповедимы пути Господни! Мог ли ожидать пленник встретить во вражеском стане сердце милующее и понимающее, друга верного и искреннего? И чтобы другом этим оказалась дочь заклятого врага его?

Княжна Софья была полной противоположностью своему отцу. Сама кротость, сама чистота и набожность... Даже внешне ничем не походила она на него. Её участливая, теплая дружба стала для Константина истинным утешением в затянувшиеся месяцы плена. В отличие от ханши Баялун с Софьей было ему необычайно легко. словно с родной сестрицей, которой у него никогда не было. Вместе читали они святые книги, молились, посещали церковь, а иной раз и предавались беззаботным играм, ненадолго забывая тяготы и тревоги.

Константин тосковал по матери и братьям, практически ничего не зная о них. Лишь Софья, прислушиваясь к разговорам старших, приносила ему столь ожидаемые вести. От нее узнал княжич, что в Твери лишь несколькими месяцами спустя узнали о несчастье, что хан Узбек сохранил Тверское княжество за братом Дмитрием, что мать и братья хлопчут о выкупе у московского князя тела мужа и отца, а также всех пленников.

— Миленький! Голубчик! Очнись же!

Константин с трудом открыл отяжелевшие веки. На миг ему показалось, что он снова в Орде, а над ним склоняется ханша Баялун. Но нет, это не ханша вовсе, а Софья, его обмороком-сном до слез перепуганная.

— Слава Богу, ожил! — сплеснула она руками.

— Прости, что напугал, — Константин ласково погладил девочку по щеке. — Ты знаешь, со мной иногда случается такое... Я кричал во сне? Бредил?

— Да... Ты очень страдал...

— Я снова видел гибель моего отца...

— Я поняла это, — откликнулась Софья и, прижавшись к княжичу всем телом, крепко обняла его своими хрупкими руками, точно хотела всю боль его исцелить своим теплом, растворить в нем. — Успокойся, это был сон...

— К сожалению, прежде была явь, — отозвался княжич.

— Как бы я хотел взять себе всю твою скорбь! Это было бы справедливо!

— Спасибо тебе, — откликнулся Константин. — Ты, может быть, уже мою душу спасла, не дав ей окаменеть, озлобиться в эти месяцы. Ты кротостью и добротой своей умягчила ее.

— Твой плен к концу идет, — известила княжна, оправляя косу.

— Откуда знаешь?

— Слышала, как отец говорил с дядьями. За тебя выкуп заплачен. Уже завтра в Москву приедут тверские бояре, чтобы забрать тело твоего отца, тебя и всех пленников. Совсем скоро ты сможешь обнять мать и братьев!

— Слава Богу! — воскликнул Константин и, упав на колени перед образом, перекрестился. — И тебе, радость моя, слава за такие вести!

Софьи́нька смотрела на него со счастливой улыбкой, но из глаз ее текли слезы.

— Но почему же ты плачешь? — княжич сел рядом с девочкой и ласково взял ее за руку. — Разве ты не рада за меня?

— Безмерно рада, яхонтовый мой. Но тоскливо мне, что ты уедешь, а я останусь одна... Тяжело мне посреди своих, сам знаешь, как тяжело. А без тебя и того горше будет.

Впервые за все эти месяцы Константин вдруг отчетливо понял, что эта маленькая княжна стала для него много большим, чем подруга или сестра. Что он вовсе не хочет разлучаться с этим чутким, нежным, преданным ему существом. Мысль о предстоящей разлуке с ней омрачила и его радость.

— Не печалься, — сказал он негромко и твердо, сжав в обеих руках ладонь девочки и посмотрев ей в глаза. — Я обязательно вернусь за тобой и увезу тебя. Хочешь ли ты этого?

Софьи́нька безмолвно кивнула.

— Тогда я даю тебе, княжна Софья Юрьевна, мое княжеское слово, что так и будет! Веришь ли ты мне?

— Как в Царствие Небесное! — выдохнула девочка.

— Будем молиться, радость моя, будем молиться, чтобы мой отец упросил за нас Господа!

На другой день, еще до рассвета, зная о том, что рано поутру придут тверские бояре, Константин прошел в Преображенскую церковь, дабы в одиночестве

помолиться на гробе родителя. Однако, уединение его было прервано. В церковь по-кошачьи бесшумно ступил брат князя Юрия, Иван Данилович по прозванию Калита, коему было наказано принять тверское посольство, с которым сам Юрий не пожелал даже встречаться.

Константин резко поднялся, досадуя на неожиданное явление.

— Прости, Константин Михайлович, что потревожил тебя, — сказал Калита. — Сегодня радостный день для тебя! Скоро ты, наконец, будешь в родной отчине и посреди родных людей! — князь было протянул руку, дабы отечески коснуться плеча юного княжича, но тот уклонился, смерив родственника полным презрения и гнева взглядом.

— Ненавидишь меня? — прищурил Иван Данилович свои и без того небольшие глаза.

— Твоя правда, князь, ненавижу, — не стал отнекиваться Константин.

— Понимаю, — кивнул Калита. — И иного не ожидаю. Но послушай и запомни одно, брат. На Руси может быть лишь один властитель и один стольный град. И градом этим однажды станет Москва. И случится это уже скоро, поверь моему слову. Вокруг Москвы соберется вся Русь, и тогда никакая Орда не будет ей страшна.

— Давно ли тебе стали страшны ваши вернейшие приспешники против ваших же братьев? — запальчиво ответил княжич.

— Не всякая победа с кличем «Иду на вы» достигается, — усмехнулся Иван Данилович. — Не в Святославовы времена живем. Но я и не ищу, чтобы ты понял меня. Я лишь хочу, чтобы ты запомнил мои слова и передал своим братьям. Никогда не пытайтесь идти против Москвы!

— Мой отец не шел против вас, но искал мира! А вы оболгали и убили его!

Калита опустил голову:

— Скоро приедут ваши бояре, можешь дожидаться их здесь, я не стану дольше досаждать тебе, — он повернулся к дверям, но на мгновение задержался. — Чуть не забыл! Я полагаю, тебе приятно будет узнать, что хан Узбек казнил недавно Кавгадыя. Ханша Баялун возвела на него столь серьезные обвинения, что приговор ее царственного супруга был скор и беспощаден. Голову Кавгадыя он лично преподнес возлюбленной жене.

С этими словами Иван Данилович удалился. Потрясенный, смотрел Константин ему вслед. Ай да ханша! Прекрасная, мудрая, отважная Баялун! И как не восхищаться тобой, рожденная повелевать?! Как не благодарить тебя, верная слову?! Слава тебе, величайшая из женщин!

Послы тверские явились двумя часами позже в сопровождении духовенства, князя Ивана Даниловича и нескольких московских бояр. Отслужив молебен у гроба убиенного князя, с благоговением вскрыли его. Возглас радости огласил своды Преображенской церкви! Родное, просветленное неизреченным блаженством лицо открылось Константину и всем тверичам! Два года минуло со дня гибели мученика, и, вот, мощи его обретены были нетленными! Пав на колени, тверичи восславили Божие чудо.

Константин искоса взглянул на стоявшего поодаль Калиту. Сумрачно и непроницаемо было лицо юрьева брата. О чем-то думал он и что чувствовал, видя явное прославление Богом того, кого они, Даниловичи, оклеветали и извели?..

К кошмарным снам он привык за долгие годы... И княгиня Софья привыкла, пробудившись от чуткого сна, спешить на стоны мужа и кротчайшими ласками успокаивать его терзающуюся душу. Эта женщина стала опорой его, добрым гением, ангелом-хранителем... Много лет назад, узнав, что сын хочет жениться на дочери заклятого врага Твери, убийцы собственного отца, мать горько плакала и отказывалась благословить этот брак. Но видя искреннее чувство сына, смирилась, а позже и сама полюбила невестку, сумевшую расположить боголюбивую княгиню непритворной кротостью, набожностью и великой любовью, питаемой к своему супругу.

Впрочем, счастья этого могло бы и не быть, кабы не пришло прежде еще одно великое горе... В 1321 году брат Дмитрий, скрепя сердце, признал Юрия Даниловича великим князем и отдал ему тверскую дань, но тот не передал ее хану, а пустил в оборот в Новгороде. Тогда Дмитрий отправился в Орду и донес о том Узбеку. Хан разгневался и передал ему ярлык на великое княжение. Три года спустя посол Ахмыл передал скрывшемуся в Новгороде Юрию и Дмитрию волю своего господина, чтобы оба они вновь приехали в Орду. Оба князя подчинились этому приказанию. Каков был умысел Узбека, осталось неизвестно, так как брат Дмитрий, недаром прозванный «Грозные очи», едва увидев лицом к лицу убийцу горячо любимого отца, не смог совладать с гневом и, выхватив меч, изрубил его. Само собой, хан пришел в бешенство от такого самоуправства и приказал казнить Дмитрия. Тверское же, а с ним и Новгородское княжества были отданы им брату Александру...

Вечно повторяющийся кошмар, как проклятье! Во сне и наяву, и нет спасенья... От сна можно пробудиться и утешиться в объятиях нежного и все понимающего друга-жены. Но как пробудиться от еще более кошмарной яви?! И думать не мог Константин, что спустя долгие годы вновь придется пережить ему ужасные события своего отрочества. Но Бог судил иначе...

Когда они с Александром покидали Тверь, чтобы ехать в Орду, сама природа возмущалась против этого. Погода резко испортилась, поднялся ураганный ветер, т. ч. гребцы едва могли одолеть стремление волн, которые несли их ладью назад к берегу.

— Дурной знак! — перешептывались люди, качая головами.

И сам Константин понимал: дурной знак! Понимал, должно быть, и Александр. Но ничего не говорил, глядя перед собой невидящим взглядом, погруженный в свои безотрадные мысли... Все повторялось, как и 20 лет назад. Отрок Федор, Александров сын, томился в заложниках у хана Узбека, а теперь и отец ехал в Орду — на неправый суд с московским князем Иваном Даниловичем по прозванию Калита, оклеветавшим тверского князя... Только нет уж в Орде мудрой и отважной красавицы Баялун, умерла великая ханша несколько лет тому назад, и сильно горевал о ней Константин, поминая язычницу в домашней молитве. В ней, светом истинной веры не просвещенной, было истины больше, чем в иных, носящих христианские имена и нательные крестики...

Первый раз опала настигла Александра еще более 10 лет назад. Тогда в Тверь прибыл с большой свитой посол Шевкал, двоюродный брат Узбека. По-хозяйски расположившись во дворце, он изгнал оттуда князя с семьей, а его люди учинили истинное гонение на тверичей. Грабежи, насилия, убийства — стоном

стонала земля от бесчинств ханского посланника! А к тому пронесся слух, будто бы хочет Шевкал русских силой в магометанство обратить. Уж этого не могли вынести православные! Когда татары напали на дьякона Дудку, тверичи перебили их и уже не могли остановиться. Ханских людей стали избивать по всему городу, уцелевшие бежали к Шевкалу в княжеский дворец. Не пощадили и дворца — сожгли дотла вместе с ханским родичем и его приближенными. Это было настоящее побоище... Убиты были даже татарские купцы, не имевшие отношения к людям посла и с давних пор занимавшиеся в Твери мирной торговлей.

Разумеется, Узбек не мог спустить такого оскорбления своей власти. Карать восставший город он послал Ивана Калиту, дав ему 50 тысяч воинов под началом пяти темников. Александр, понимая, что гибель неминуема, бежал во Псков, а Константин с младшим братом Василием — в Ладогу. Тверская земля была выжжена огнем, а ее жители истреблены или взяты в полон.

Тем не менее Узбек вновь сохранил тверской удел за потомками князя Михаила, призвав из Ладоги Константина и вручив ему ярлык на княжение в родной вотчине. Потянулись долгие годы восстановления разоренного княжества...

Брат Александр, между тем, обосновался во Пскове, жители которого очень полюбили его. Однако, хан искал его головы, и ни любовь псковичей, ни дружба литовского князя Гедимина не могла защитить бывшего тверского господина. Через год после восстания во Псков явились послы от русских князей и архиепископ Моисей и стали уговаривать Александра ехать в Орду.

— Царь Узбек, — говорили они брату, — всем нам велел искать тебя и прислать к нему в Орду; ступай к нему, чтоб нам всем не пострадать от него из-за тебя

одного; лучше тебе за всех пострадать, чем после всем из-за одного тебя испустошить всю землю.

На это Александр смиренно отвечал:

— Точно, мне следует с терпением и любовью за всех страдать и не мстить за себя лукавым крамольникам; но и вам недурно было бы друг за друга и брат за брата стоять и татарам не выдавать и всем вместе противиться им, защищать Русскую землю и православное христианство.

Жертвенному решению брата ехать к Узбеку воспротивились тогда благородные и верные псковичи, сказавшие ему:

— Не езд, господин, в Орду; что б с тобой не случилось, умрем, господин, с тобою на одном месте!

Псковичи были честны, праведны и отважны. Но у них было мало сил, чтобы защититть своего господина. К тому же за дело взялся по приказу Узбека лукавый московский князь Иван Данилович. Калита уговорил митрополита Феогноста проклясть и отлучить от церкви князя Александра и весь Псков, если они не исполнят требование хана. Пред этой угрозой сокрушились христианские сердца и прежде иных сердце самого гонимого князя, головы которого искал Узбек.

— Братья мои и друзья мои! — обратился он к верным псковичам. — Не будет на вас проклятия ради меня; еду вон из вашего города и снимаю с себя крестное целование, только целуйте крест, что не выдадите княгини моей!

Но не в Орду уехал брат из Пскова, провожаемый скорбным плачем его жителей, но в Литву к князю Гедимину, не желая столь дешево отдавать своей головы поганым и крамольникам.

Калита, будучи лишен кровожадности своего покойного брата и наделен куда большей мудростью, не стал карать стойкий город, но заключил с псковичами вечный мир, после чего покинул их пределы. Александр

же вернулся в них через полтора года к великой радости жителей.

Много доброго успел сделать брат на псковской земле. На Жеравьей горе возвел он город Изборск, вырыл рвы под самим Псковом и построил вокруг него высокие каменные стены, обеспечив таким образом защиту городу на случай нападения врагов. И что бы было не благоденствовать Александру в новой вотчине? Горячий, но отходчивый хан уже позабыл о нем, занят был иными уделами и Данилович... Но душа брата томилась тоской по родному краю и печалью о том, что дети его будут лишены своего княжества, так как отец их — всего лишь беглец, милостиво принятый не имевшими своего князя псковичами.

Истомясь окончательно, брат отправился в Орду с покаянным словом и щедрыми дарами.

— Царь верховный! — сказал он хану без тени лукавства: — Я заслужил гнев твой и вручаю тебе мою судьбу. Действуй по внушению Неба и собственного сердца. Милуй или казни: в первом случае прославлю Бога и твою милость. Хочешь ли головы моей? Она пред тобою!

Смелая, полная достоинства, но вместе с тем покорная речь русского князя пришлась по душе Узбеку.

— Князь Александр смиренной мудростью избавил себя от смерти! — возвестил он своим приближенным и в знак прощения и примирения восстановил брата на Тверском княжении. Константин с готовностью уступил ему стол, радуясь избавлению Александра от смертельной опасности и возвращению его в родную отчину.

Но недолгою была та радость... Новое возвышение Твери испугало московского князя, и он пошел по стопам своего злодея-брата. Поехав в Орду и прожив там долгое время, он убедил Узбека в том, что Александр — убежденный противник татар и умышляет

крамолу на самого хана. Годы не умудрили вспыльчивой натуры последнего, он, как и прежде, готов был верить всякому извету.

Получив повеление Узбека приехать в Орду, брат почувствовал неладное и отправил вперед себя сына Федора. Но хан требовал, чтобы князь явился сам...

— Брат, не должно тебе ехать в Орду! — говорил ему Константин. — Ты оклеветан теперь, как наш несчастный отец, а хан скор на расправу! Уезжай во Псков или Литву, обожди, пока гнев его утихнет!

— Что же, базилевс, всю жизнь, до могилы быть мне в бегах? — грустно улыбнулись тонкие губы под седеющими усами. — Нет уж, довольно... На все Божия воля!

— Брат! — взмолился Константин. — Пощади себя, молю тебя! Подумай о нашей несчастной матери и обо всех нас! Уже отняты у нас отец и брат Дмитрий, и до сих пор мы горько плачем по ним, не находя утешения! Что же станет, если и ты погибнешь?!

— Когда-нибудь нам всем суждено покинуть этот мир, — спокойно откликнулся Александр. — Когда-то мы с Дмитрием точно так же, как теперь ты, отговаривали отца от поездки в Орду. Но он ответил, что каждый должен следовать своему пути и отвечать за себя. Что хан ищет его головы, и, значит, не должно для ее спасения жертвовать головами чужими. Что ты хочешь, базилевс? Чтобы я оставил хану на расправу моего сына? Чтобы навлек гнев его на мое, на наше княжество? Чтобы сюда явились татарские полчища во главе с Калитой и вновь разорили наши земли, которые мы с тобой едва-едва возродили после всех несчастий? Чтобы вновь побили наших людей? Нет, не бывать этому! Если хан хочет моей головы, он получит ее. И тем будет спасено наше княжество, о котором ты позаботишься, как заботился прежде. Возможно, нужно было, чтобы ты и продолжал о нем заботиться, а мне

надлежало остаться во Пскове, не ища новых бед на нашу семью... Прости меня! Я не смог остаться вдали от отчего края и навлек тем скорбь на него и на вас. Мой грех! Моя ошибка! Прости!

Горько заплакал при этих словах Константин, понимая, что не переубедит брата, и чувствуя приближение нового неминуемого горя.

В Орду вместе с тверскими князьями отправились их сторонники — Роман Белозерский и Василий Ярославский. Путь им попытался преградить полутысячный отряд, посланный Иваном Калитой, не желавшим, чтобы тверской князь имел поддержку на суде у хана. Однако князь Василий, отважный и удачливый воин, разгромил москвичей и продолжил путь.

И, вот, Орда... Проклятое место... Уже в самом мрачном молчании, с которым принял Узбек тверского князя и его сторонников, в безразличии его к их словам и, более того, к их дарам, сквозила неотвратимая угроза. Дни шли за днями, а суда все не было, как не было и Калиты — главного обвинителя.

Иван Данилович прибыл в Орду со своими сыновьями лишь спустя месяц. И в тот же день состоялся «суд»... «Суд», подобный тому, который производили над Христом первосвященники Каиафа и Анна... Москвичи не скупались на обвинения, хотя и прятали, возводя их, свои бесстыжие глаза. А хан, будто бы оставил отверзнутым лишь одно ухо, в которое вливались искусные наветы, а другое замкнул, не пожелал внимать оправданиям.

— Повинен смерти!

При этом возгласе голова Константина закружилась, и он упал в беспамятстве, сраженный приступом одного из тех припадков, что начались с ним после убийства отца, но не напоминали о себе уже добрых десять лет. Его перенесли в княжеский шатер, где он провел в

бреду всю ночь. А на утро бледные слуги сообщили ему, что Александр и Федор, причастившись Святых Тайн, только что отправились к месту казни. Константин отчаянно застонал: он даже не успел проститься с братом, в последний раз обнять его и племянника (его-то, отрока, за что осудил Узбек?!). С великим трудом поднявшись со своего одра, опираясь на плечо слуги, шатаясь и едва переводя дух, Константин последовал к лобному месту. Он еще надеялся догнать брата, успеть поклониться его страданию, омыть слезами его ноги...

Но по реву толпы, раздававшемуся впереди, сердце, готовое разорваться на части, почувствовало: поздно! Шаг, другой, третий... Терпкий запах крови ударяет в голову, и в глазах все мутится... Там, впереди, в пыли и крови лежит то, что минутами назад было его братом и племянником... Несчастных не только обезглавили, но и рассекли на части честные тела! Содрогаясь от рыданий, Константин пал на колени подле дорогих останков. Он осыпал их горячими поцелуями и молился об упокоении их душ. Татары и разноплеменная толпа зевая стояли кругом и с безжалостным любопытством смотрели на это зрелище.

— Возьмите их! — наконец, хрипло сказал Константин слугам, указывая на изувеченные тела. — Омойте, покройте дорогими тканями, призовите священника... И подготовьте все к отъезду. Мы отправимся, как только хан даст на то позволение.

Хан и не думал удерживать тверичей. А равно не думал лишать Михайловичей тверского княжения. Во второй раз Константин был поставлен господином в своей вотчине. Только содрогалась душа и пылали руки принимать ярлык из рук, обагренных кровью отца и братьев. Казалось, будто бы ярлык этот дымится ею, сочится ее терпким запахом, и стоит только дотронуться до него, и собственные руки окажутся выпачканы алой, липкой влагой...

Но что же делать? Кто-то должен заботиться о княжестве, о семье, о жене и сиротах брата, о матери... Мать! Несчастливая инокиня София! Как сказать ей о новом горе?! Как взглянуть в полные муки глаза ее?! Мужа, обоих сыновей и внука отняли у нее хан и Даниловичи! Как-то снесет она, все последние годы проводящая в молитвах в избранной обители, новый удар? А если не выдержит ее кроткое сердце? Господи, защити!

— Ты, князь, я вижу, недужен? — заметил хан.

— Да, я болен, — откликнулся Константин, с большим трудом унимая дрожь.

— Как жаль, что моей несравненной Баялун нет больше среди нас. Она знала медицину! Она бы помогла тебе!

— Да, жаль, что ее больше нет...

— Странно... Она знала медицину лучше врачей и знахарей, а себе помочь не смогла... — задумчиво промолвил Узбек и сделал князю знак уходить.

Константин поклонился и с облегчением покинул ханский шатер. Выйдя на Божий свет, он заметил московский обоз, покидающий Орду. Князь Иван Данилович уже поставил ногу в стремя, но Константин, вдруг разом исполнившийся сил и решимости, громко окликнул его:

— Брат Иван Данилович, задержись на мгновение, есть до тебя слово важное!

По тому, как вздрогнул Калита, как напряглись его сыновья и приближенные, Константин безошибочно угадал, что вспомнили они то же, что и сам он. Никогда еще до такой степени всем сердцем не понимал князь брата Дмитрия, того лишаящего рассудка исступления, в котором изрубил он здесь же, в Орде, князя Юрия Даниловича. Как бы желал теперь Константин уподобиться ему и истребить вероломного дядю возлюбленной жены! Но он не брат Дмитрий, он не

может ни в болезни, ни в гневе позабыть о княжестве, о матери, о семье — обо всем и обо всех, за кого теперь отвечает он перед Богом.

Князь Иван Данилович, между тем, сделал знак свите отойти, а сам шагнул навстречу противнику.

— Слушаю тебя, Константин Михайлович.

Константин несколько мгновений вглядывался в это уже старое лицо с небольшими, хитрыми глазами, никогда не смотревшими прямо.

— Я недолго задержу тебя, Иван Данилович. Я лишь хочу задать тебе один-единственный вопрос. Когда-то ты предупредил меня, чтобы ни я, ни мои братья не шли против Москвы. Мы не шли против тебя. Мой брат не был повинен ни перед тобой, ни перед ханом. И ты знаешь это. Ты не защищался. Ты просто испугался собственных призраков и из страха оклеветал моего брата. Теперь его кровь и кровь невинного отрока Феодора лежат на тебе. Скажи мне, Иван Данилович, неужели ты думаешь, что собрание русских княжеств под десницей Москвы оправдывает тебя за совершенное злодеяние на Суде Божиим, который нельзя подкупить и обмануть лжесвидетельствами?

Лицо Калиты потемнело, а глаза еще более скосились.

— На Божиим Суде Богу и решать, — глухо отозвался он. — На нем мы все за свои грехи ответим.

— Ответим, — согласился Константин. — Только твоими обвинителями на нем выступят мученики Феодор, Александр и Михаил. Подумай, князь, что ты станешь отвечать, когда их окровавленные персты укажут на тебя, как на лжесвидетеля и убийцу. Мой отец говорил: что в том, если, приобретая тленные царства земные, теряем мы небесное?

Иван Данилович передернул плечами и, не ответив ни слова, вернулся к своей свите. Через несколько минут москвичи покинули Орду. А часом позже выехали

следом за ними и тверичи, увозя с собой скорбный и драгоценный груз. Ослабевший от недуга Константин ехал в кибитке, велел отроку читать себе Псалтирь. Правда, глаголов Псалмопевца он почти не различал. Перед его мысленным взором проносилась вся прошедшая жизнь, и жег, не давая покоя, вопрос: что будет дальше? Сколько еще страдать Руси от усобиц, от княжеских неправд, от бесчинств поганых? За княжеские неправды весь народ Господь взыскивает. Зовутся князья христианами, милостыни дают да храмы строят, в пост не едят убоины, а братьев своих убивают, предают их поганым и тех же поганых сами водят кровь христианскую проливать и веру православную бесчестить. Христиане ли они после этого или безбожники хуже язычников? И как положить предел этой пагубе? Князь Иван Данилович тоже о том помышляет, власть сосредотачивает, чтобы удельную вольницу и неразбериху унять, к единению Русской Земли стремится. Да только стремится теми же путями — безбожными, проклятыми... И нет тому исхода, нет правды.

В этих печальных мыслях забылся Константин болезненным сном. И снились ему в сиянии небесном отец, обнимающий сыновей Дмитрия и Александра, и внука Феодора. Отец был еще молод, а Дмитрий и Александр — отроки, совсем такие, как в дни неудачного похода на Нижний Новгород, Феденька же — вовсе младенчик... Берет его отец на руки и подбрасывает, и все четверо смеются радостно. А вокруг отцовской головы золотой венец светится... Хорошо им там, в чертогах Господних! Батюшка, святой княже Михаиле, подай сил душе страждущей и разумения уму изнемогшему! Моли Бога о нас!

Князь Константин Тверской правил родным княжеством до 1346 года. Во время очередной поездки в Орду он тяжело занемог и умер на обратном пути, подобно своему деду. Его мать, княгиня Анна Дмитриевна, пережила его более чем на 20 лет. Настоятельница Тверского женского монастыря во имя св. Афанасия, перед смертью она приняла схиму с именем Анна и отошла ко Господу в возрасте 90 лет. Прославлена в лике святых под именем Анны Кашинской (по названию города, в котором прошел последний год ее жизни). В годы реформ патриарха Никона и его продолжателей была «расканонизирована», иконы ее были изъяты из храмов. Долгое время почитание святой Анны сохранялось лишь у старообрядцев, но затем было восстановлено и в господствующей Церкви. Святой князь Михаил Ярославич также сподобился новых гонений через 600 лет после своей гибели. В 1935 году большевики взорвали тверской Спасо-Преображенский собор, в котором хранились нетленные мощи благоверного князя. Судьба их с той поры неизвестна.

**Поединок
(Святые иноки-богатыри
Пересвет и Ослябя)**

Трудные времена наступили в Золотой Орде. Хан Тохтамыш, потомок великого Чингисхана, при поддержке войск Тамерлана предпринял поход по установлению своей власти в Золотой Орде. Одна за другой пали Синяя и Белые орды, а к апрелю 1380 года Тохтамыш захватил уже всю Золотую Орду до самого Приазовья. Лишь родные половецкие степи, Крым, волнами Черного моря омываемый, остался под властью Мамай — некогда всесильного беклярбека при малолетнем хане Муххамеде Булаке.

А тут еще, точно сговорясь с Тохтамышем, возмутились русские! Их князь, Дмитрий Московский, которому сам же Мамай некогда дал ярлык на княжение, с воспитателем которого, митрополитом Алексием, заключал договор об уменьшении дани, разорвал отношения с Ордой и отказался впредь платить ей что-либо!

— Неблагодарный пес! — в который раз сорвалось с тонких губ Мамай, и его скуластое лицо сделалось еще темнее от гнева.

— Не беспокойся, повелитель, русские собаки будут жестоко наказаны за свое вероломство! — произнес Челубей с поклоном.

Желая вернуть Русь в покорство, Мамай двинулся со своим верным войском на Москву. Ордынцы достигли реки Непрядвы, что впадает в Дон, когда лазутчики донесли, что навстречу движется для битвы рать русского князя. Узнав об этом, Мамай призвал к себе своего главного батыря:

— Мы должны истребить их, напомнить неверным собакам времена Батыя! Чтобы ужас сковал их, чтобы

даже мысль отринуть наше владычество не смела являться в них!

— Так и будет, повелитель! Я убью их князя и принесу тебе его голову.

— Лучше притащи его к моим стопам на аркане, — промолвил беклярбек, и узкие глаза его загорелись ненавистью. — Я хочу, чтобы смерть его была долгой и мучительной, чтобы он молил о смерти! А потом я поступлю с ним, как поступил половецкий князь со Святославом, велю сделать кубок из черепа Дмитрия и буду пить из него вино в честь победы над русскими! Дозволю и тебе пригубить из него! — при этих словах губы Мамая скривились в злой усмешке.

Усмехнулся и Челубей:

— Благодарю, повелитель, но я предпочел бы пить из этого кубка не вино, а кровь неверных.

— В ней недостатка не будет. И ты первый постарайся для этого!

— Я разорву проклятых собак, а князя приведу к тебе на аркане, — пообещал батырь.

В том, что обещание это будет исполнено, он не сомневался. Тибетский монах, вдали от родных кочевий, Челубей постиг все известные боевые искусства, а кроме того — Бон-по, древнейшую боевую магию, секреты которой веками хранили на Тибете, раскрывая их лишь посвященным. Стань эти секреты достоянием всего человеческого рода, и дни его были бы сочтены, ибо люди, входя в общение с духами потустороннего мира и получая от них огромную силу, истребили бы друг друга. Но тибетские монахи умели хранить тайны. Челубею пришлось долгие годы проходить ступени посвящения, чтобы наконец быть допущенным к запретным знаниям. Бон-по, открытая ему его наставником, позволяла многократно увеличить силу боевых искусств, благодаря привлечению путем магических заклинаний могущества демонов. Сила

демона вливалась в посвященного и делала его непобедимым. Лишь очень немногие монахи Тибета сумели пройти все испытания, все ступени, чтобы получить вожделенные знания и войти в круг «бессмертных». «Бессмертные» — так именовались воины, впустившие в себя силу демонов, овладевшие магией Бон-по. Никто из смертных не мог соперничать с ними в бою, не мог поразить их. Одним из «бессмертных» был батырь Челубей, возвратившийся с Тибета в Крым и сделавшийся правой рукой Мамаю.

Выйдя из шатра беклярбека, он грозно взглянул в ту сторону, где угадывались очертания русского становища, и повторил:

— Я разорву проклятых собак!

Дав эту клятву, Челубей скрылся в своем шатре, дабы провести предшествующую бою ночь в общении с тем и заклинании того, чья сила жила в нем и должна была помочь наутро одолеть всех супостатов, безумно осмелившихся пойти против Орды.

Осень едва успела вступить в свои права, но дыхание ее ощущалось уже — и в желтизне выжженной солнцем травы, и в усталости засыпающих на лету насекомых, и в тишине, рожденной отлетом в дальние края кочевых птиц... А еще в предрассветном холоде и густых непроглядных туманах.

Этим утром Яков проснулся еще затемно и, взволнованный ожиданием предстоящего боя, уже не мог вновь сомкнуть глаз. Белоснежный туман поднимался от Дона и прильнувшей к нему Непрядвы и расстилался далеко окрест, окутывал нежным одеялом спящее поле, не ведающее еще, что через несколько часов суждено ему пропитаться кровью двух непримиримых ратей. Сквозь эту молочную пелену тщетно пытался Яков различить огни татарских костров и их пестрые шатры.

Холодно было в ранний час, и, дабы немного согреться, Яков пошел вдоль русского лагеря, загребая ногами росистую траву и кутаясь в теплый плащ, сотканный для него заботливой теткой. Матушку свою отрок почти не помнил. Она умерла от горячки, когда был он еще совсем несмышленышем. Смерть ее стала таким тяжким ударом для отца, боярина Осляби, что тот, промаявшись несколько лет в миру, не выдержал и принял постриг.

С той поры Яков рос в доме тетки, не имевшей своих чад, а потому растившей племянника, как родного сына. Отца отрок видел редко. Инок Андрей удалился в радонежские леса, в обитель создаваемую святой жизни мужем — игуменом Сергием. Некогда сын благочестивых родителей, также почивших в иноческом звании, юноша Варфоломей основал в лесу пустыньку,

где сперва подвизался с братом, иноком Стефаном. Стефан, однако, не выдержал пустынной жизни и удалился в Москву. Варфоломей же, приняв постриг под именем Сергей, продолжил свои подвиги, проводя дни и ночи напролет в трудах, посте и молитве. Не единожды был искушаем подвижник от бесов, но все искушения выдержала дивная вера его. Дикий зверь не смел причинить зла Божию служителю, медведь приходил к дому его и ел хлеб из его рук. Однажды ночью яркий свет рассеял тьму, и отец Сергей увидел множество белых прекрасных птиц, паривших вокруг его скинии. В тот же миг раздался голос: «Как много ты видел птиц этих, так умножится стадо учеников твоих и после тебя не истощится, если они захотят по твоим стопам идти». Число учеников подвижника возрастало год от года, и одинокая пустынь выросла в монастырь, вскоре обретший славу во всей Руси и за ее пределами. Один греческий епископ, слушая многие рассказы об игумене Сергии, не хотел верить им и сам приехал в Троицкую обитель. При встрече с преподобным на него напала слепота, и он исповедал подвижнику свое неверие. Игумен Сергей тотчас вернул греку зрение. Много чудес было сотворено преподобным! Он открывал ключи, исцелял больных, изгонял бесов... Но самому великому чуду преподобного Яков стал свидетелем сам. Один местный житель, имея тяжело больного сына, понес его к игумену Сергию. Но когда он вошел в келью и попросил молитв о больном, дитя скончалось. Убитый горем отец, бросив горький укор преподобному, ушел за гробом, а когда вернулся... нашел свое чадо живым и здоровым.

Яков в ту пору гостил у отца и преисполнился великого восторга от чуда, коему сделался свидетелем. Оно настолько потрясло отрока, что он пожелал остаться в обители навсегда, подвизаясь вместе с

отцом. Однако, ни отец, ни преподобный не благословили его на это.

— Всякому должно испытать себя, прежде чем отречься от мира, дабы потом не сожалеть о принятом решении. Монашеский подвиг не всякому дано вместить, и оттого не может быть благословения решению, принятому скороспешно, под влиянием впечатления. Такое решение должно вызреть в тебе. Обожди, поживи в миру, а если по прошествии времени желание твое останется прежним, тогда приходи.

Таково было напутствие игумена-чудотворца. Лаской святились ясные глаза на тонком и тоже точно бы внутренний свет источающем лице. Будто бы самое небо изливалось из этих глаз, самый солнечный свет лучами устремлялся в душу, согревая ее и наполняя невыразимым ликованием.

Яков наставление исполнил и вернулся к тетке. Но сердце его стремилось к Троице, и спешил он в чудесную обитель при всякой возможности. А в этом году сподобил Господь провести в ней все лето в трудах и молитвах...

Когда лето уже клонилось к концу, в монастырь приехал со свитой великий князь Дмитрий Иванович. Когда был он еще юн летам, татарский беклярбек Мамай предложил ему и его боярам свое покровительство в обмен на предоставление русских земель генуэзцам для пушного промысла. Генуэзцы были союзниками Мамаю, и их выгода сулила и ему пополнение разоряемой распрей с Тохтамышем казны. Бояре смутились соблазнительным предложением, но голос игумена Сергия был тверд:

— На Святую Русскую землю допускать иноземных купцов нельзя, ибо это грех!

С того и пошло размирье с Мамаем... И, вот, теперь шел он на Русь со своею ордой, и пришел Дмитрий

Иванович к почитаемому старцу с вопросом, надлежит ли ему стать с войском супротив поганых.

— Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде, — отвечал князю игумен. — Иди против безбожных, смело выступай против свирепости их, нисколько не устрашаясь, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое отечество с великой честью вернешься!

Благословил преподобный на брань великую князя и войско русское, и вот близился час решающий, и замирало сердце Якова в ожидании его.

— Эй, во сне ты, что ли, бродишь?

В тумане отрок неожиданно натолкнулся на богатыря, в котором сразу узнал сподвижника отца, инока Троицкой обители Александра, в миру — славного брянского воеводу Пересвета. Высокий, статный воин, и ныне более похожий на богатыря, чем на монаха, несмотря на одеяние схимника, он стоял, прислонившись спиной к березе и глядя на восток, где из сиреневой ночной дымки медленно поднималось багровое солнце. Худощавое лицо его, обрамленное густой русой бородой с едва наметившейся проседью, было отчего-то торжественным, глаза блестели.

— Мне не спалось, — ответил Яков. — Битва скоро...

— Да, — радостно отозвался бывший воевода. — Сколько лет ждала Русь этой битвы! Сколько лет копились в ней силы духовные, чтобы рати наши соединились и вышли на брань сообща. Ныне, сын, великое дело вершится. Подвиг единения русского! Понимаешь ли ты это? Прежде мы все друг с дружкой собачились, и за то били нас поганые. А ныне промеж них свара идет, мы же едины пред них — все князья, все бояре и воеводы наши, кроме разве что пары отщепенцев. Слава Господу, что даровал он князю

Дмитрию Ивановичу разумения и решимости на рать сию подняться!

— Мы ведь разгромим сегодня поганых, правда, отче? — с жаром спросил Яков.

Воин-схимник опустил руку ему на голову:

— Если мы за Бога, то и Он за нас. Веруй, чадо! И молись.

В великую схиму отца и Пересвета перед самым походом постриг сам преподобный, благословив обоих иноков вновь вспомнить свое прежнее воинское призвание и обнажить мечи в защиту Святой Руси и Православной Веры. Земле Русской, из татарского ярма рвущейся, ныне все ратники нужны были, а паче такие, каковыми слыли в ины годы воевода Перествет и боярин Ослябя.

— Тебе тоже не спалось нынче, отче? — Яков прищурился — восходящее солнце ударило ему в глаза. — Отец сказывал, что перед боем не должно бодрствовать, но спать крепко, чтобы набраться сил.

— Сил можно набираться не только сном и пищей, — улыбнулся бывший воевода. — Здесь неподалеку живет дивный отшельник, уже двадцатый год не покидающий своей пещеры и проводящий все дни в молитвах, подобно древним столпникам, пустынникам... Он позволил мне на одну ночь разделить его уединение и подвиг. И это, сын, много лучше укрепление силам, нежели всякий сон!

Солнце уже озарило землю своими благословляющими лучами, клочья тумана поспешно-боязливо расползались по отлогам, и вот-вот должна была разрушиться священная рассветная тишина.

— Разделим трапезу и помолимся Царице Небесной. Днесь Рождество Ее, и Она, благодатная, не лишит Христову рать своего покрова, — тихо сказал Пересвет, извлекая из-под плаща просфору.

Просфора и холодная, сладкая ключевая вода — таков был завтрак воина-схимника. Воину-отроку, немало проголодавшемуся за время утренней прогулки, показалась эта трапеза слишком скромной, но он, укорив себя за чревоугодие, смолчал. Бывший воевода, однако, отгадал его мысли, рассмеялся добродушно:

— Не бойся, друже, в лагере будет тебе и похлебка горячая, и сухарь ржаной. И чтобы съел все! Ты дитя еще, не смущайся, что не ко всякому подвигу способен. Невозможно отроку обладать силой богатыря, во многих битвах ратовавшего. То же и с постами и иными подвигами. Всему свое время. А поторопишься по ревности горделивой и надорвешься: грех выйдет и беда.

Утешили Якова слова сии. И, опустившись вслед за Пересветом на колени перед восходящим солнцем, он, так же как и схимник, положил двенадцать земных поклонов, коснувшись челом прохлады росистых трав, и погрузился в молитву, изредка обращая взгляд на славного богатыря. Тот точно бы обратился в изваяние, устремленное к небу. Кажется, и взлетел бы ввысь, да тяжелые латы не пускают. На лице его, разгладившемся, просветленном, нельзя было угадать ни тени усталости. Он был полон сил и веры в грядущий день, долгожданный и вымоленный всеми русскими святыми.

— Сохрани, Господи, люди твоя! — возгласил могучий бас.

— Аминь, — заключил негромкий ломкий отроческий голосок.

Брат Ослябя против был, чтобы сын его в поход шел. Куда колоску зеленому на этакую битву ратиться! Ведь никогда еще не приводилось ему в бою быть. Но отрок упрямо оказался.

— Пусть старцы немощные да младенцы с бабами на печи сидят, когда судьба Земли Русской решается! — воскликнул горячо.

И нечего отцу было возразить на то. Зелен колосок, а все воин уже. А воину за бабьим подолом остаться, когда великая брань грядет — срамно! Пройдет время, спросят внуки: а где ты, дедушка, был, когда князь Дмитрий Иванович с Мамаем бился? А дедушка глаза отведет: сидел, мол, на завалинке, ворон считал, пока другие мужествовали.

Так и пошел Яков с ратью княжеской к Дону. Всю дорогу, на каждом привале учили Пересвет с Ослябею ретивого отрока, как с мечом да копьем управляться ловчее. Добрый ученик оказался, быстро и с азартом перенимал науку ратную. Глядел на него Пересвет и думал, что не в обитель мирную путь сему отроку лежит, при такой резвости натуры не выдержать иноческого послушания, заиграет молодая кровь, затребует жизни, и мукой тогда обернутся данные по увлечению обеты...

Сам Пересвет в яковлевы лета об иночестве не помышлял. Влекла его с младых ногтей стезя бранная. Да и как иначе? Во всех играх детских был он первым — и в кулачном бою, и на мечах, и в метании копья. Конь, даже самый буйный, смирялся под ним... С ранних лет храбровал Пересвет в походах и сражениях, рано окреп телом и закалился душой. Но душа человеческая уязвимее тела, не защитишь ее щитом да латами, не

уврачуешь бальзамами целебными. Отыщется стрела, ранит жестоко, и нечем той ране помочь...

С юных лет была у витязя зазноба — красная девица Ульяна Никитична. И пировать бы на свадьбе веселой, и вкушать бы мед земного блаженства, если бы не отец Ульянушки. С давних пор завелись которы меж ним и отцом Пересвета, да столь непримиримы сделались они, что отдал родитель дочь другому молодцу, не о счастье ее, но лишь о своей обиде помышляя...

Вернулся Пересвет из очередного похода, а суженая ненаглядная уже чужой женой сделалась. С той поры саднило душу жестоко. И тем яростнее становился витязь в сражениях, в них избывая горькую обиду. Службой славную сделался он воеводой брянской земли. Был воевода любим войском и обласкан брянским князем Дмитрием Ольгердовичем. А только не было в том успокоения душе.

Раз, будучи с князем в земле Переяславской, случилось Пересвету беседовать с жившим в том краю богомудрым старцем. Дивна была речь Божия угодника! Точно бы самую душу вынул он из груди, омыл живительной ключевой водою, от всех язв и чирей очистил ее да с тем обратно вложил, всякую боль исцелив.

Тут-то и понял богатырь, что не лежит его сердце больше к мечу, не стремится к бранной славе, но жаждет лишь единого на потребу, той благой части, что не отнимется у избравшего ее... Постриг он принял в ростовском Борисоглебском монастыре, где свела его судьба с другим постриженником — Родионом Ослябей, ставшим Пересвету названным братом, другом духовным, с которым впредь не разлучались они. Вместе постриг приняли, вместе перешли в Свято-Троицкую обитель, где сподобил Господь разделить труды преподобного Сергия. И, вот, теперь обоих призвал Всемогущий вновь опоясаться мечами, вновь не

единым крестом, но и копьем защищать родную землю...

— Мир вам, братья мои, твердо сражайтесь, как славные воины за веру Христову и за все православное христианство с погаными сыроядцами! — таково было благословение святого игумена.

Ликовало сердце Пересвета. Вся Русь собралась, забыв былые распри, на битву с врагом. Князья Мещерские, Костромские, Белозерские и Ярославские, Владимирские, Елецкие, Муромские, Полоцкие... Даже литовские! И брянский Дмитрий Ольгердович тут же был, впервые за долгие годы привелось бывшему брянскому воеводе свидеться со своим князем. Восхищался тот, озирая русские полки:

— Не бывало еще на Руси столь устроенного войска! Войску царя Македонского подобно оно!

К тому времени, как Пересвет с Яковом возвратились в лагерь, там уже не осталось и помина дремотного. Все ожило, все готовилось к бою. Последний раз начищали и оттачивали оружие, последний раз проверяли подпруги коней...

— Христос посреди нас! — раздался радостный голос Осляби, и он земно поклонился Пересвету.

— Есть и будет! — откликнулся бывший воевода с ответным поклоном.

Похристосовались, поздравляя друг друга с Рождеством Пречистой. Мягкое, редкой белесой бородкой обрамленное, лицо Андрея лучилось.

— Ну, брат, постоим нынче за Землю Русскую! — сказал он счастливо. — Не думал, что доживу до такого дня! Божие благословение всем нам — видеть то, о чем грезили еще деда и прадеды наши!

— И быть еще в силе, чтобы не только видеть, но и биться самим!

— Воистину так!

Войско, меж тем, строилось в боевые порядки. Взмыло ввысь, рея на ветру, багряное знамя с образом Спаса Нерукотворного. Князь Дмитрий Иванович пал перед ним на колени и, перекрестясь размашисто, воскликнул:

— О Владыка Вседержитель! Взгляни пронизательным оком на этих людей, что твоею десницею созданы и твоею кровью искуплены от служения дьяволу. Вслушайся, Господи, в звучание молитв наших, обрати лицо на нечестивых, которые творят зло рабам твоим. И ныне, Господи Иисусе Христе, молюсь и поклоняюсь образу твоему святому, и пречистой твоей Матери, и всем святым, угодившим тебе, и крепкому и необоримому заступнику нашему и молебнику за нас, тебе, русский святитель, новый чудотворец Петр! На милость твою надеюсь, дерзаем взывать и славить святое и прекрасное имя твое, и Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков!

Закрестилось войско вслед за князем, вторя сердечному молению его. Он же поднялся и, вскочив на коня, обратился к своим ратникам:

— Братья мои милые, сыны русские, все от мала и до велика! Мужайтесь и крепитесь, Господь с нами, сильный в битвах. Ныне, братья, уповайте на Бога живого, мир вам пусть будет с Христом! — приняв из рук одного из отроков своих палицу и копье, Дмитрий Иванович заключил: — А теперь грядите по мне! За великую обиду Земли Русской, за святые церкви и веру христианскую веду я вас в этот бой!

Как прекрасен был сей молодой и отважный князь в этот миг, в благородном порыве своем первым сойтись в единоборстве с погаными. Однако, сколь благороден, столь же и неразумен был тот порыв. И сердечное умиление не помешало бывшему брянскому воеводе тотчас отметить это. Выйдя из рядов воинства, Пересвет низко поклонился Дмитрию Ивановичу:

— Дозволь, княже, смиренному схимнику молвить слово!

— Говори, отче! Твое слово столь же свято для меня, как и того, кто послал тебя.

— Не следует тебе, великому князю, прежде всех самому в бою биться, — сказал схимник, — тебе следует в стороне стоять и на нас смотреть, а нам нужно биться и мужество свое и храбрость перед тобой показать: если тебя Господь спасет милостью своею, то ты будешь знать, кого чем наградить. Мы же готовы все в этот день головы свои положить за тебя, государь, и за святые церкви, и за православное христианство. Ты же должен, великий князь, рабам своим, насколько кто заслужит своей головой, память сотворить, как Леонтий-царь Феодору Тирону, в книге соборные записать наши имена, чтобы помнили русские сыны, которые после нас будут. Если же тебя одного погубим, то от кого нам и ждать, что по нас поминание устроит? Если все спасемся, а тебя одного оставим, то какой нам успех? И будем как стадо овечье, не имеющее пастыря; влачится оно по пустыне, а набежавшие дикие волки рассеят его, и разбегутся овцы кто куда. Тебе, государь, следует себя спасти, да и нас.

Пересвета тотчас поддержали княжеский брат Владимир Андреевич и другие князья и воеводы. Все войско воспротивилось тому, чтобы его вождь без нужды подверг себя великой опасности уже в первые мгновения битвы, все войско молило его поберечь себя ради верных чад своих, на него уповающих.

Умилительно было молодому князю то, сколь велика любовь к нему войска. Выступили слезы на васильковых очах, но голос твердо и решительно прозвучал:

— Братья мои милые, русские сыны, доброй вашей речи я не могу ответить, а только благодарю вас, ибо вы воистину благие рабы Божьи. Ведь хорошо вы знаете о мучении Христова страстотерпца Арефы. Когда его

мучили и приказал царь вести его перед народом и мечом зарубить, доблестные его друзья, один перед другим торопясь, каждый из них свою голову палачу под меч преклонял вместо Арефы, вождя своего, понимая славу поступка своего. Арефа же, вождь, сказал воинам своим: “Так знайте, братья мои, у земного царя не я ли больше вас почтен был, земную славу и дары приняв? Так и ныне впереди идти подобает мне также к небесному царю, голове моей следует первой отсеченной быть, а точнее сказать — увенчанной”. И, подступив, палач отрубил голову его, а потом и воинам его отсек головы. Так же и я, братья. Кто больше меня из русских сынов почтен был и благое беспрестанно принимал от Господа? А ныне зло нашло на меня, неужели не смогу я претерпеть: ведь из-за меня одного это все и воздвиглось. Не могу видеть вас, побеждаемых, и все, что последует, не смогу перенести, потому и хочу с вами ту же общую чашу испить и тою же смертью погибнуть за святую веру христианскую! Если умру — с вами, если спасусь — с вами!

Речь эта глубоко тронула всех воинов, и еще большей решимостью исполнились их сердца победить сим красным днем вековечного врага, покончить с унижительным игом.

— За Русь!

— За Матерь Пресвятую Богородицу!

— За Веру Христову!

— За князя Дмитрия Ивановича!

С этими возгласами ринулись навстречу татарским полчищам русские полки вслед за своим отважным князем. Сам он, в богатых доспехах, золотом сияющих на солнце, и алом плаще, на белоснежном коне, летел впереди своих ратников, подавая пример веры и храбрости.

— Прощай, брат Андрей! Может, вечерять нам уже и не придется на сей земле.

— До свидания, брат Александр! Может, вечерять будем мы уже с Господом!

Два схимника-богатыря вскочили на ретивых коней и, воздев копья, помчались следом за князем. А за ними устремился на борзом сером жеребце их ученик, юный воин Яков Ослябя.

Закипела сеча жестокая, побурела трава от людской крови... Падали бездыханны ратники храбрые, пополняя небесное воинство, а вдоль рядов татарских носился на вороном коне подобный горе великан-батырь, облаченный в черные одежды. Не было равных тому батырю, и многих русских воинов настигло его не знающее промаха копьё.

— Что, собаки? Кто из вас посмеет тягаться с Челубеем? — издевательски хохотал он, и что-то демоническое было в этом глухом, загробном хохоте. — Кто еще хочет изведать моего копьё?

Яков с ненавистью смотрел на непобедимого татарского батыря, сжимала детская рука меч. Броситься на него! Поразить! Ведь поразил же юный Давид Голиафа! Не мечом, правда, а камнем из пращи... Где бы такую пращу взять?

— Не спеши сынок, — раздался рядом голос Пересвета. Схимник спрыгнул с коня и опустил руку на плечо Якова. — Обожди, придет и тебе время мужествовать. А сей соперник не по тебе... — взгляд серых глаз богатыря-монаха неотступно следил за Челубеем, поносившим русских и бахвалившимся своею силою. — По мне он и ко мне... — добавил тихо. — Знаю я его, знаю и силу его.

— Нешто думаешь одолеть его? — спросил, подъезжая, отец.

— Человеческой силой такого не одолеешь, — отозвался Пересвет, задумчиво погладив бороду. — А Богу все возможно. Нам преподобный дал оружие духовное, — богатырь коснулся креста на своем плаще. — На него и возложим упование.

— Ты твердо решил, брат?

— Тверже некуда. Пока этот оборотень жив, не добыть нам победы. А если он падет, то войско наше воспрянет духом.

— Твой соперник трус! — подал голос Яков. — Он сделал свое копье длиннее обычных, и никто из наших ратников не успевает достичь его, как оказывается пронзен насквозь!

— Я заметил это, чадо, — кивнул Пересвет, — и хвалю твою наблюдательность. Но на всякую злую хитрость найдется бесхитростная жертва...

С этими словами бывший брянский воевода снял с себя латы и остался лишь в схимническом плаще. Отец, видимо поняв замысел друга, прослезился и бросился ему на шею:

— Да поможет тебе Царица Небесная!

Пересвет расцеловал своего многолетнего сподвижника и Якова, еще лишь гадавшего, что задумал схимник-богатырь, вскочил на коня и рысцой устремился туда, где неистовствовал жаждущий крови сыроядец.

— Эй, Челубей! — раздался зычный бас бывшего воеводы. — Я готов сразиться с тобой!

Черный великан поднял на дыбы коня, крикнул что-то на неведомом наречии и вскинул свое длинное, под стать хозяину, копье.

Расступились обе рати, давая место разойтись двум богатырям. Дрогнуло сердце Якова. Только теперь понял он смысл слов Пересвета о жертве и весь замысел его. Русский воин-схимник стоял против татарина в одном плаще, не защищенный ничем, кроме Господня креста, нашитого на нем. Удар вражеского копья неминуемо должен был пробить ему грудь, но, пробивая ее с такой легкостью, Челубей оказался бы на том расстоянии, на котором его самого способно было достичь копье Пересвета... Слезы навернулись на глаза

отрока, но он тотчас отер их, боясь пропустить хоть мгновение разворачивающегося смертного боя.

Перекрестился в последний раз бывший брянский воевода. Прокричал что-то гортанно Челубей. Понеслись навстречу друг другу борзые кони. Черная схима с белым крестом... Черные одежды татарина... Две черные тени летели друг на друга... Мгновение, другое... И страшное копье пронзило Пересвета, жутко выступило из спины его, все глубже нанизывая богатыря... Но тот, уже убитый, каким-то невероятным усилием, чудом Божиим, остался в седле, и в следующий миг могучий татарский батырь, не успев остановиться, оказался пронзен копьем своего соперника. Рухнул черный великан на землю. Заржал в испуге его конь и бросился прочь. Охнули потрясенные татары...

Русский богатырь так и остался сидеть в седле. Копье Челубея до половины вошло в его тело... Его белый, в серых яблоках, конь, понутив голову, понимая свершившуюся беду, шагом повез своего недвижимого всадника к русскому стану.

Яков вместе с отцом и другими ратниками бросились навстречу герою. Тот по-прежнему сидел на коне, лишь лицо его было опущено и полностью скрыто капюшоном. Отец и еще несколько воинов бережно сняли мертвеца, вынули страшное копье из его тела, уложили на постланные плащи... Отец опустил на колени и, глотая слезы, прочитал по своему названном брате отходную. А затем, оборотясь к полю, на котором вновь закипала сеча, воскликнул:

— За Русь, братья! За Веру Христову, Православные! — и уже тише прибавил: — За брата Александра!

Подвиг Пересвета и гибель непобедимого Челубея воспламенили русские сердца. И как ни сильны были татары, а брало верх русское оружие. Вместе со своим

воинством, словно простой ратник, бился и князь Дмитрий Иванович. Латы и плащ его были иссечены, но самого вождя русского хранил Богородицын Покров...

Все перемешалось на поле Куликовом. Русские и татары, мертвые и живые, небо и земля. Яков не чувствовал уже членов своих, изнемогая от усталости и ран, но не было из этой битвы иного исхода, кроме двух: победить или погибнуть. Видел отрок, как пал сраженный мечом отец... Сбылось пророчество утреннее! Вечерять братьям со Христом днесь! Может, и ему, Якову, суждено присоединиться к ним...

В какое-то мгновение ему показалось, что татарская сила того гляди переважит русскую. Но в этот миг с бодрым, победительным кличем вклинился в гущу боя свежий русский полк. То был полк пришедшего с литовскими князьями воеводы Дмитрия Боброк-Волынского, оставленный до времени в засаде в расположенном неподалеку леске. Видя, что силы основного войска на исходе, засадный полк поспешил на выручку, приведя в смятение не менее русских изнемогших татар.

Воспрянули духом русские ратники, воспрянул и Яков, из последних сил отбивавшийся от наседавших поганых. Вдруг возник перед ним богато одетый татарчонок, примерно одних с ним лет. Его похожее на блин лицо было бледно от ярости, а глаза горели ненавистью. Яков насилу увернулся от удара меча юного батыря и ловким прыжком поверг соперника на землю. Дальше бились уже пеши. Яков успел заметить, что оружие у его противника не простое, из чистого золота выкован был богатый меч и украшен самоцветными камнями. Уж не Мамайкин ли сын? — мелькнула мысль и придала злости. Ну, погоди, змееныш поганый! Ответишь ты и за отца, и за дядьку названного, и за всех славных воинов, нынче павших!

Удар, и вылетел из рук татарчонка золотой меч. Зарывав по-звериному, он схватил попавшееся под руку копье и ринулся на Якова. Тот отскочил ловко и, молниеносно развернувшись, рассек соперника мечом. Обливаясь кровью, татарчонок упал к его ногам. Скрюченное в смертных судорогах юное тело было последним, что увидел Яков в этом жестоком бою. Тяжелый удар по голове поверг его на землю, и отрок лишился памяти. В бесчувствии явилось ему дивное видение: небо, озаренное ослепительным светом, и два витязя в белых одеждах верхом на белых же конях, а против них темная рать...

— Ударим, брат? — спрашивает один витязь другого.

— Ударим! — соглашается тот.

Ангелы-витязи обнажают мечи и устремляются на темную рать. И та бежит от них в ужасе, истребляемая нещадно...

— Смотри-ка, живой! — ледяная вода, брызнувшая в лицо, вернула Якову сознание, а несколько глотков ключевой воды — жизнь. Склонившийся над ним ратник-костромич Гришка Холопищев довольно кивал головой: — Пей-пей, молодец. Водица, сказывают, целебная. Мне ее мать с собою дала, но Бог миловал, не понадобилась... Что, как ты? Стать можешь ли?

Яков не без труда поднялся.

— Добрый богатырь из тебя выйдет, — одобрил Гришка.

— Что битва? — спросил Яков, озираясь кругом. Ночь сходила на ратное поле, скрывая своим мраком ужасные следы дневной сечи — сотни убитых воинов...

— Мамайка с остатками своих сыроядцев бежал, мы победили. Малолетний хан Булак-Магомед убит. Его подле тебя нашли. Рассек его чуть не надвое чей-то славный меч.

Яков окончательно пришел в себя и отчетливо припомнил пышущего ненавистью татарчонка, жар которого пришлось ему остудить навеки-вечные. Похвалиться ли тем Холопищеву? Но тот вдруг омрачился:

— Вот, только... — и запнулся растерянно.

— Что только?

— Князя мы сыскать не можем... — вздохнул Гришка.

— Как так?

— Да уж так... Все видели, как он бился, но затем потеряли его. Ищем вождя нашего среди раненых, уповая на Божию милость. А я, вот, тебя вместо князя откопал...

— Так и почто ж мы время теряем?! — воскликнул Яков. — Идем искать князя!

— Да ты сам на ногах едва стоишь, тебя б перевязать сперва, вон как испянтняли поганые...

— После перевяжешь! — отозвался Яков и, опираясь на чье-то подобранное копье, устремился в темноту.

Голова гудела, а сердце обливалось слезами по отцу и Пересвету. Но все это после, после... Теперь лишь одно важно: найти князя! Иначе что это за победа, если она обезглавила воинство? Иначе рассеются овцы без пастыря, и быть тогда снова беде на Земле Русской! Ох, недаром остерегал бывший брянский воевода благородного князя, заклиная поберечь себя...

Когда тьма уже совсем сгустилась, поглощая надежды и повергая русское войско в отчаяние, Яков, окончательно изнемогший в бесплодных поисках, повалился без сил на мягкую мхово-лиственную постель тихой дубравы, что простиралась правее Куликова поля. Он готов был уже отдаться горькому сну, как вдруг расслышал тихий вздох. Привстал Яков, прислушался. Не в ушах ли звенит, не мстится ли? Нет, не мстилось:

невдалеке от него у могучего дуба лежал богатырь... Яков поспешил к нему и ахнул от радости:

— Гришка! Федор! Скачите к князю Владимиру Андреевичу и скажите, что князь великий Дмитрий Иванович жив и царствует вовеки!

Это точно был князь Дмитрий Иванович. Израненный, измученный, но живой и всего лишь уснувший от крайнего изнеможения после битвы в тени могучего дерева. От звонкого голоса отрока он пробудился и, воззрившись на Якова, спросил только:

— Что там?

— Радуйся, княже, победе великой! — отозвался Яков.

Лес, меж тем, уже осветился яркими факелами. За Гришкой и его земляком Федькой Сабуром спешили к Дмитрию Ивановичу его князья и воеводы, а впереди других — брат его, Владимир Андреевич.

— Милостью Божьей и пречистой его Матери, помощью и молитвами сродников наших святых мучеников Бориса и Глеба, и молитвами русского святителя Петра, и пособника нашего и вдохновителя игумена Сергия, — тех всех молитвами враги наши побеждены, мы же спаслись! — возвестил он, падая в ноги великому князю.

— Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся, люди! — отозвался тот, поднимаясь. — Благодарю тебя, Господи Боже мой, и почитаю имя твое святое за то, что не отдал нас врагам нашим и не дал похвалиться тем, кто замыслил на меня злое: так суди их, Господи, по делам их, я же, Господи, надеюсь на тебя!

Князю подали коня, и он в сопровождении свиты выехал в поле, на котором при свете факелов шла скорбная работа. Уцелевшие собирали убитых... Иных — дабы предать земле здесь же, немногих — дабы отвезти

в родные отчины. Глядя на это горькое зрелище, Дмитрий Иванович спросил:

— Скольких воевод, скольких служилых людей лишились мы днесь?

Из темноты прозвучал негромкий ответ:

— Нет у нас, государь, сорока бояр московских, да двенадцати князей белозерских, да тринадцать бояр — посадников новгородских, да пятидесяти бояр Новгорода Нижнего, да сорока бояр серпуховских, да двадцати бояр переяславских, да двадцати пяти бояр костромских, да тридцати пяти бояр владимирских, да пятидесяти бояр суздальских, да сорока бояр муромских, да тридцати трех бояр ростовских, да двадцати бояр дмитровских, да семидесяти бояр можайских, да шестидесяти бояр звенигородских, да пятнадцать бояр угличских, да двадцати бояр галичских, а младшим дружинникам и счета нет; но только знаем: погребло у нас дружины всей двести пятьдесят тысяч и три тысячи, а осталось у нас дружины пятьдесят тысяч...

Князь спешился и, преклонив колени, воскликнул:

— Братья, русские сыны, князья, и бояре, и воеводы, и слуги боярские! Судил вам Господь Бог такую смертью умереть. Положили вы головы свои за святые церкви и за православное христианство!

Поднявшись, он пошел по славному и скорбному полю, прощаясь с теми, кто пал на его просторе за честь и славу родной земли и веры. Яков следовал за ним поодаль, про себя молясь об упокоении всех новопреставленных ратников.

Вот, черная гора показалась впереди — то было тело великана-батыря Челубея. С отворачиванием отшатнулся от страшной падали отрок. А, вот, и роща знакомая показалась. В ней собирался на подвиг Перествет, сюда и возвратился он, здесь и лежал теперь, а подле него — брат его названный, яковлев

отец, Андрей Ослябя. С рыданиями упал отрок на грудь родителя, покрывая поцелуями скрещенные на ней руки.

Князь приблизился, сказал своим:

— Видите, братья, зачинателя своего, ибо этот Александр Пересвет, пособник наш, благословенный игуменом Сергием, и победил великого, сильного, злого татарина, от которого испили бы многие люди смертную чашу.

С этими словами Дмитрий Иванович подошел к Якову и отечески коснулся его плеча. Отрок утер слезы и поднялся.

— Это отец твой? — спросил князь.

Яков безмолвно кивнул.

— Ты сын славного и праведного воина. Я желаю, чтобы ты впредь служил мне.

Отрок поднял глаза на Дмитрия Ивановича и ответил с поклоном:

— Твоя воля — закон для меня, княже. Повелевай рабом своим.

Князь привлек Якова к груди, потрепал по голове:

— Не раб ты, чадо, но воин славный. Будь подобен своему отцу и тем послужишь мне! — взяв меч инока-воина Андрея Осляби, он подал его отроку: — Меч твоего отца отныне принадлежит тебе, чадо!

Яков опустился на колени и с благоговением принял из рук князя меч. Тяжело было отцово наследие для неокрепших от ран сил, но отрок все же препоясался мечом и, отдав целование отцу и Пересвету, последовал за Дмитрием Ивановичем.

Тот снова вскочил на коня и повелел трубить в сборные трубы, созывая людей. На трубный зов поднялись все, кто мог подняться, некоторых же вели под руки. Все стремились предстать пред очами своего вождя, услышать его слово. Огласили ночь многоголосые песнопения: богородичные,

мученические, псалмы... Со всех концов Куликова поля стеклись храбрые ратники. И со слезами глядя на их столь поредевшие ряды, князь воскликнул:

— Слава тебе, высший Творец, Царь Небесный, милостивый Спас, что помиловал нас, грешных, не отдал в руки врагов наших, поганых сыроядцев. А вам, братья, князья, и бояре, и воеводы, и младшая дружина, русские сыны, суждено место между Доном и Непрядвой, на поле Куликове, на речке Непрядве. Положили вы головы свои за землю Русскую, за веру христианскую. Простите меня, братья, и благословите в сей жизни и в будущей! Ныне похороним братьев наших, чтобы не достались честн**ые** тела их дикому зверю и отправимся к славному граду Москве, вернемся в свои вотчины и дедины: чести мы себе добыли и славного имени!

Первый самодержец (Царь Иван III Васильевич)

Страшна кара за предательство веры, горек жребий полагающихся на лукавое слово человеческое более, нежели на обетование Господне. В этом успела убедиться юная Царевна Софья за свою краткую жизнь.

В 1439 году, во Флоренции, ее дядя Император Константин и патриарх Иосиф склонились перед Римом, отступившись от отеческой веры. Соглашение сие было у византийской делегации исторгнуто обманом и насилием. Сперва Собор, что должен был проходить в Ферраре, перенесли во Флоренцию под предлогом, что набольшие люди града сего берут на себя затраты на проведение Собора, ибо у Папы не достает на то средств. На самом же деле латиняне желали лишить гостей возможности отступления. Увезенные далеко от моря, они не могли покинуть Собор до его окончания.

Собор длился пять месяцев. И все это время византийское посольство не получало ничего из обещанного ей содержания. Иерархи, вельможи и их слуги принуждены были закладывать последнее в ломбарды, едва ли не побираться. Они в самом прямом смысле слова голодали. Можно ли было после таких обманов верить латинскому слову? И верил ли взаправду Император в обещания Рима помочь ему в защите от турецкого нашествия? Зажатый в тиски, утративший все некогда огромное пространство Византийской Империи, от которой осталась лишь столица и ее пригороды, он хватался за соломинку, выбирал, как казалось ему, меньшее из двух зол. Там, где оставалось ввериться одному лишь Богу и Его Пречистой Матери, Император Константин предпочел

поверить посулам римского Первосвятителя... Остальная делегация последовала за своим Императором. Лишь Святитель Эфесский Марк и еще несколько праведных мужей наотрез отказались подчиниться давлению, изменить Православной вере. Но их боговдохновенному слову не вняли...

Расплата была страшна и началась еще до подписания унии. За восемь дней до оной скончался патриарх Иосиф. А по возвращению униженного и обтрепанного посольства на Родину турки обрушили на Константинополь все свои несметные силы. Рим, чьи рыцари некогда разорили византийскую столицу, не поспешил ныне прислать им помощь. Много дней бились последние верные на стенах обреченного города, но ничто уже не могло спасти ни Византию, ни династию. Однажды ночью в окна куполов храма Святой Софии явился яркий свет, вышедший затем наружу и охвативший все купола. Он собрался над ними воедино и стал подниматься на небо. Небо отверзлось, приняло в себя свет, изошедший из храма, и вновь затворилось. Патриарх Анастасий объяснил Императору это грозное знамение: «Свет сей неизреченный отошел от нас, знаменуя, что милость Божия и щедроты Его от града сего и от нас отходят, ибо Господь Бог хочет предать град сей врагам нашим грех ради наших».

Константинополь был захвачен неверными, храм Святой Софии султан обратил в мечеть. Император Константин пал в бою, а его родня принуждена была бежать на чужбину. Здесь, в чужих землях, его брат, отец Софьи, Фома Палеолог принял католичество и через год скончался. Его старший сын, наследник византийский императоров, побирался в прихожих европейских дворов, пытаясь продать свой уже несуществующий престол. Младший — вернулся в Константинополь и, приняв магометанство, поступил на службу к султану.

Юную же Софью готовили в жены старому венецианскому купцу. Ее, потомницу Константина Великого, ее, в чьих жилах текла благородная кровь базилевсов, просто продавали тому, кто мог заплатить за византийскую Царевну дороже других! Отчаянным и беспросветным было положение несчастной сироты. И, вот, среди этого мрака и позора — точно ослепительный луч блеснул! К ней прислал сватов вдовый московский Великий князь Иван, Государь неведомой России...

О нем говорили, как о человеке умном и властном, страна же его, несмотря на тяготы татарского ига, день ото дня укрепляла свое могущество и богатство. Об этом богатстве, а также о самом Великом князе многое сообщило Софье знаменательное событие, с которого началось его правление.

В те дни на Святой земле, так же как и Византия, поработанной османами, случилось страшное землетрясение. Оно почти полностью разрушило Храм Гроба Господня, и султан распорядился снести его руины и выстроить на их месте мечеть. Иерусалимский патриарх взмолился о сохранении главной святыни христианского мира. Магометанин не отказал, но потребовал за то баснословный выкуп. Разумеется, у нищих восточных патриархов не было и толики такой суммы. Рим же, чьи рыцари некогда ходили освобождать Гроб Господень, но так и не освободили Его, также предпочел святому делу экономию...

В этом отчаянном положении во всем мире нашелся лишь один человек, который пришел на помощь и спас святыню. Русский Великий князь Иван Васильевич. Его земля еще не оправилась от ужасов ига, еще принуждена была платить дань ордынскому хану, еще мучима была внутренними нестроениями, но на святое дело изыскались в ней потребные средства. Султан получил свой выкуп, а Храм был сохранен.

Уже один этот поступок наполнил душу Царевны-сироты глубоким благоговением перед будущим мужем, восхищением своей будущей Родиной. Сердце-вещун угадывало великий Божий промысел в том, что именно теперь, когда пал под яростью агарян оплот Православной веры Константинополь, все ярче сияет из краев неизведанных свет Москвы, веру отеческую блюдущей и унии не поддающейся. И она, Софья, часть сего дивного промысла! Ей надлежит стать связующим звеном между царством погибшим и царством нарождающимся, перенести туда наследие Византии, дабы не расточилось оно окончательно в европейских прихожих, но явило великий плод, как умершее зерно, о коем говорил Спаситель!

С такими вдохновенными чаяниями ехала Софья на свою новую Родину, неотрывно озирая необъятные пространства лесов и полей, чрез которые лежал ее долгий путь. И лишь одно тяготило душу византийской Царевны — кардинал Антоний, что послан был Папою сопровождать ее. Рим обрадовался сватовству Ивана не меньше Софьи. Латиняне думали, что этот союз позволит им, наконец, обратить в унию Русь, распространить свое учение в ее пределах. Папа тоже видел в Софье орудие Божие промысла — но не о Византии, а о вековых устремлениях Рима. Через нее он рассчитывал влиять на Великого князя, склоняя его в католичество.

Осень клонилась к концу, когда караван Царевны приблизился к Москве. Из-за частых дождей дороги порядком размыло, и спутники Софьи зябко поеживались, браня промозглую пору. Не бранился лишь один человек, Ридольфо Фьораванти по прозвищу Аристотель. Аристотелем знаменитого архитектора и фортификатора называли за многогранность его дарований и ученость. Он строил мосты в Венгрии и Павии, каналы в Парме, храмы в Венеции и Неаполе,

возводил ворота собора Святого Петра в самом Риме. Его звали к себе германский Император и турецкий султан, но самое щедрое предложение мастеру сделал русский Великий князь.

На Руси после трехсотлетнего ига многие секреты зодчества оказались утрачены. И после того, как обрушился едва возведенный Успенский собор в самой столице, Иван отправил своих послов, дабы те привезли из фряжской земли самого искусного мастера.

Аристотелю было уже 60 лет, но тягот путешествия болонец словно бы не замечал. Ему было поставлено условие изучить уцелевшие памятники русского зодчества, дабы строить на Руси в традициях русских, а не так, как привык он в своих землях. И Фьораванти вместе с сыном Андреа, своим первым помощником, прилежным образом изучал все древние церкви, что встречались на пути, восхищаясь их застенчивой красотой и подробно рассказывая своей царственной спутнице о секретах их строительства.

Любопытно было Софье слушать пожилого зодчего, говорившего столь же стремительно, сколь и двигавшегося. В нем жила детская увлеченность своим делом, познанием всего нового. Россия для такого человека была кладезем впечатлений и вдохновения. Строгие же требования хозяев не обижали мастера, изучение и освоение секретов и традиций других мастеров было для него занимательно, обогащало его знания и навыки.

— Что за чудесная земля! Какой простор! Как много можно здесь сделать! — восторженно говорил болонец, привыкший к тесному миру обильно застроенных городов.

А кардинал лишь кривил усмешливо тонкие губы и кутался в соболиную шубу, подаренную ему, как и другим привыкшим к теплу гостям, заботливыми хозяевами.

При подъезде к московским стенам затрепетало в волнении сердце Софьи. Навстречу ей женихом выслан был конный отряд, коему надлежало сопровождать невесту до самого Кремля. Кардинал Антоний первым вышел из кареты и, подняв над собою католический крест, двинулся к воротам. Однако, всадники преградили ему путь.

— Простите, ваше преосвященство, — сказал их предводитель по-латински, — но крест сей вам нести таким образом невозможно.

— Как так? — возмутился, гордо вскинув голову, папский легат. — Мой долг пролагать путь моей госпоже — невесте вашего Государя!

— Ваш долг сопровождать нашу и вашу госпожу, — невозмутимо откликнулся всадник. — А наш долг блюсти, дабы не было какого поругания вере нашей, ибо Государыня русская не может никакую иную веру исповедовать, нежели православную. В Кремле ожидает ее владыка митрополит и честное духовенство московское, дабы служить торжественный молебен в честь ее долгожданного прибытия.

— Что же, Государь ваш с первых шагов оскорбляет Ее Высочество, подвергая унижению ее свиту?! — воскликнул кардинал.

— Наш Государь глубоко почитает свою будущую супругу и никогда не позволит себе оскорбить ее. Но разве для православной Государыни может быть обидою въехать в город не под сенью римского креста?

— Спросите о том у вашей будущей госпожи!

Софья почувствовала, как жар разливается по ее телу. Вот, наконец-то, и настало время разорвать навязанные узы с предателями и лицемерами! Слово предчувствуя стремление это, предоставил ей суженный такую возможность еще до того, как переступит она хозяйкой порог его дома. Может, и нарочно стремился испытать, какова душа избранницы?

О, она не подведет своего господина! Она будет достойна спасителя Гроба Господня!

— Ваше преосвященство! — повелительно сказала Софья (здесь, у стен Москвы она могла вновь говорить, как дочь базилевсов, а не бесправная сирота, на которую смотрят, как на товар и орудие своих целей!). — Я полагаю, что нам надлежит следовать порядкам земли, в которой мы находимся, и воле моего будущего мужа и господина, Государя Московского! Воля же его священна для меня и не может нанести мне обиды.

Кардинал побледнел. Темные глаза его зло блеснули.

— В таком случае, Ваше высочество, вам придется продолжать путь одной! Ибо если вы не видите оскорбления себе, то я не могу допустить оскорбления Святому Отцу, меня пославшему!

На что рассчитывал этот лицемер? Неужели на то, что стоящая на пороге возвращения себе царственного положения наследница базилевсов отвергнет этот счастливый жребий, чтобы вновь сделаться пленницей Папы?

— Я буду сожалеть о вашем отъезде, ваше преосвященство, — с притворным смирением отозвалась Софья, — но не могу и не смею препятствовать вашему решению.

В глазах встречавших ее Государевых людей прочла Царевна удовольствие и одобрение. Свое первое испытание она выдержала! Папский легат, отвесив ей поклон, скрылся в своей карете и приказал разворачиваться. Так и избавились от опеки докучной! Не видать Риму ни Руси Святой, ни ее Государя! Легко и радостно сделалось на душе у Царевны, и со сладостными переливами, зазвучавшими в ней, соединился торжественный звон встречающих ее московских колоколов. Быстро промчались кони по

столичным улицам, столь не похожим на европейские города, а в деревянном Кремле, над строительством разрушившегося Успенского собора которого призван был трудиться Аристотель, встречало Софью празднично одетое православное (как давно не видела она его!) духовенство, бояре и... Все-таки Бог оказался необычайно щедр к натерпевшейся столько лишений и унижений сироте! Ее суженный оказался не только великим Государем. Перед ней стоял еще нестарый человек, очень высокого роста, убавлявшегося небольшой сутулостью, свойственной высоким людям, худощавый, с благообразным, хотя очень строгим лицом, которому прибавляли суровости смоляная чернота волос и бороды и точно сломанный, схожий с хищным клювом нос. Великий князь мог, вероятно, смотреть пугающе грозным, но в эти мгновения, когда темные глаза его лучились радостью встречи с нареченной, он показался Софье самым прекрасным человеком из всех, кого она когда-либо встречала.

* * *

— Сколько будешь ты терпеть унижения от неверного пса! — голос жены дрожал от волнения. Для нее татары, веками грабившие Русь, были все что османы, разорившие ее далекую Родину. Она ненавидела их со всей горячностью своего благородного сердца, и то, что ее супруг, почитаемый ею величайшим из правителей, принужден унижаться перед ханом, приводило ее в неопикуемый гнев.

— Ведь еще твой прадед, Великий князь Дмитрий покончил с этим гнетом!

Да, Дмитрий Иванович покончил... Но затем были новые битвы, новые набеги, новые поражения... И пусть

и не возвращение прежней зависимости, но принужденность платить дань. Иван, никогда не торопивший коней, если был не уверен в успехе замысленного предприятия, не спешил нарушить обязательств, взятых его предшественниками.

Но, может быть, и права любезная Софья Фоминична? Сколько еще терпеть Руси татарский гнет? Ведь уже нет той Орды, что была прежде. После поражения от войск Тамерлана Золотая Орда распалась на Большую Орду, Сибирское, Узбекское, Казанское, Крымское, Казахское ханства и Ногайскую Орду... Русскую же Землю сама Богородица защитила тогда от разорения великим монгольским воителем. Свергнув хана Тохтамыша, Тамерлан двинул свои полчища на Москву, и дед Ивана, Великий князь Василий Дмитриевич, с войском приготовился к кровавой сече на реке Оке. Тем временем митрополит Киприан привез из Владимира Святую икону Божией Матери, и вся Москва коленопреклоненно молилась пред нею об избавлении от не знающего поражений нового Чингисхана. И чудо свершилось. Заночевавшему в Ельце Тамерлану явилось во сне страшное видение: огнезрачная Жена грозно приказала ему не двигаться дальше и дала повеление небесным воинам, кои в несметном множестве бросились на монгольского завоевателя. Утром толкователи снов объяснили ему, что Жена — это Матерь русского Бога — Христа. И суеверный язычник не осмелился противостоять Ей и предпочел покинуть русские пределы...

— Ужели ты хочешь, чтобы и дети, и внуки твои продолжали гнуть выю под ярмом нечестивых?!

Софья умела быть убедительной. Но ничья убедительность не могла бы понудить Ивана к действию, правильность которого отрицал его собственный здравый смысл. Он уже довольно укрепил оставленное ему в изрядном разорении царство, шаг за

шагом упраздняя удельные княжества, подчиняя их своей воле и так собирая воедино русские земли. С ханством Крымским Иван поддерживал дружбу, вместе противостоя литовцам. Литовцы же в свою очередь поддерживали Большую Орду против Москвы. Заручившись этой поддержкой, хан Ахмат прислал в Москву своих послов с ханской басмой¹⁴ и грамотой, требующей уплаты дани.

Не тотчас принял незваных гостей Иван, но долго совещался пред тем со своими боярами, чьи суждения всегда выслушивал со вниманием, требуя от них, чтобы высказывались они без лицепрятия, но радея лишь о пользе родной земли. Бояре были в большинстве своем единомысленны Софье. Никто на Руси не желал больше удовлетворять ненасытным требованиям Орды.

— С нами Господь Бог и Пресвятая Богородица! Довольно нам гнуть выю пред погаными! — таково было общее чаяние.

С тем решением и вышел Иван навстречу ожидавшимся его послам. Разряженные в пестрые халаты, блестящие золотом и самоцветами оружия, татары глядели на Царя гневно — как смел он заставлял ждать их, послов великого хана?! С видом высокомерным поданы были Ивану грамота и басма. Взглянув на ненавистный ханский лик, Царь к ужасу послов бросил его под ноги, плюнул и растоптал, а грамоту порвал и бросил им в лицо:

— Не казначею моему, а кату поручу я вас! А хан ваш пусть знает, что, если еще раз осмелится он требовать что-либо у русского Царя, то и с ним будет то же!

Загалдели послы в страхе и негодовании.

— Опомнись, князь! Великий хан не простит тебе и всю землю твою придаст огню!

Но уже тащили прочь их стрельцы, радуясь царскому приказу. Лишь одного из посланных велел Иван оставить в живых с тем, чтобы вернулся он к Ахмату и доложил обо всем случившемся.

Само собой, Ахмат оскорбления не стерпел и поспешил со своею ратью покарать строптивца. И часы упоения от разрыва унижительной зависимости сменились тревогой. Как ни ослаблена была Орда, а все же и не бессильна еще. Как ни укрепилась Русь, а все еще не изжила удельной пагубы. Только-только объявили обиду свою два родных брата Ивана, недовольные тем, что он не делится с ними новыми землями и не позволяет переходить к ним служилым людям, карая за это. С этими двумя смутьянами срочно нужно замиряться было, дабы залучить их войска к надвигающейся битве.

Иван не любил сам участвовать в сражениях. Дело Царя — руководить войнами, а не бросаться под удары вражеских мечей. Для этого есть воеводы и ратники. Мастер шахматных поединков, он привык продумывать каждый шаг в каждом деле, будь то устроение мирное, будь то война. Расположение войск, возможные действия противника и надлежащие предупреждения и ответы на них — все продумывал Иван, размечал на карте, объяснял до мельчайших деталей своим воеводам, требуя от них точного исполнения приказов.

Русские рати выставлены были в ожидании противника на реке Угре. Сам Иван расположился в отдалении от передового края, а семью, несмотря на сопротивление Софьи, отправил от греха из Москвы. Слишком памятливы были Царю горькие события собственного детства. Два пленения отца, князя злосчастной судьбы, — татарское и шемякинское — научили его осторожности. Татарский полон еще сравнительно малой кровью обошелся, от своих натерпелся отец куда горше, а с ним и вся княжеская

семья. Дмитрий Шемяка враждовал с князем Василием за московский стол и мстил ему за ослепление своего родича Василия Косого. Отец был захвачен в плен на богомолье, в Троицкой обители — ничего святого не осталось у злодеев! Князя ослепили и заточили, а к нему, в заточение, отправили и его семью. Ивану в ту пору было шесть лет. И первый урок тогда был вынесен им: ни в каком случае не подвергать себя и своих родных угрозе полона. Находясь на свободе, можно исправить всякое положение, и потому должно беречь ее пуще самой жизни. Хотя и жизнью не должно Царю рисковать без нужды. Вести войско в бой может всякий доблестный воевода, а править государством, на много лет вперед рассчитывая все ходы, как в мудрой шахматной партии — не будет греха гордыни в том, чтобы утверждать, что этою способностью редко кто наделен бывает. Что станет с войском и самим государством, коли окажется оно обезглавлено? Страшно и представить себе! Нет, как христианин, Иван не боялся смерти. Он боялся не довести до конца начатого дела объединения России, боялся оставить ее, лишь начинающую выходить из долголетнего упадка в державы великие, какой только и надлежит ей быть, еще не готовым к правлению наследникам. Ведь чуть только отпусти теперь бразды правления, и снова запляшет удельная вольница, и рассыплется, что прежний собор Успенский, любовно возводимое здание государства Российского, коего именовался он теперь не князем, а Царем, Самодержцем — первым в ее истории.

— Мужайся и крепись, духовный сын мой, как добрый воин Христов! Ты же, Государь, сын мой духовный, не как наемник, но как истинный пастырь постарайся избавить врученное тебе от Бога словесное стадо духовных овец от приближающегося волка. А Господь Бог укрепит тебя и поможет тебе и всему

твоему христолюбивому воинству! — глаза епископа Вассиана горели, а лицо дышало готовностью хоть теперь самому идти навстречу Ахмату и биться с ним, подобно Пересвету. — Басурманин Ахмат уже приближается и губит христиан, и более всего похваляется одолеть твое Отечество, а ты перед ним смиряешься! А он, окаянный, все равно гневом дышит, желая до конца разорить христианство. Но ты не унывай, но возложи на Господа печаль твою, и Он тебя укрепит. Ибо Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. А еще дошло до меня, что прежние смутьяны не перестают шептать в ухо твое слова обманные и советуют тебе не противиться супостатам, но отступить и предать на расхищение врагам словесное стадо Христовых овец. Подумай о себе и о своем стаде, к которому тебя Дух Святой поставил!

Иван поморщился. Искренне почитая ростовского владыку, как ревностного поборника благочестия, не мог мысленно не посетовать он, что вторгается Вассиан в дела, в которых мало смыслит и ничего порядком не знает. И при том пользуется положением крестителя наследника, Иванова первенца...

— Что советуют тебе эти обманщики лжеименитые, мнящие себя христианами? Одно лишь — побросать щиты и, нимало не сопротивляясь этим окаянным сыроядцам, предав христианство и Отечество, изгнанниками скитаться по другим странам! Если последуешь примеру прародителя твоего, великого и достойного похвал Димитрия, и постарайся избавить стадо Христово от мысленного волка, то Господь, увидев твое дерзновение, также поможет тебе и покорит врагов твоих под ноги твои. И здрав и невредим победоносцем будешь перед Богом, Который сохранит тебя, и покроет Господь главу твою Своею сенью в день брани!

Вассиана, как и иных, встревожило то, что Царь отправил из стольного града семью и сам не находится при войске. Он не знал, что, едва узнав о движении Ахмата к Москве, его духовный сын приказал отрядам воеводы князя Василия Ноздреватого и Крымского царевича Нордоулата спешно идти Волгой в Орду, оставшуюся без воинов. Зная трусость хана, Иван рассчитывал, что он не решится на сражение, а когда узнает о нападении на свою беззащитную вотчину, сам побежит из пределов Руси.

— Дай мне, старику, войска в руки и увидишь, уклоню ли я лицо свое пред татарами!

Пламенный старец почти обвинял Царя в трусости. Иван не возражал. Он не считал нужным спорить теперь с Вассианом, полагая лучшим доказательством своей правоты будущую победу, которая будет достигнута не кровью русской, но продуманными действиями. Искусство полководца не в том, чтобы очертя голову ударять на противника, не ведая исхода и полагаясь лишь на свою удачу, доблесть своих войск и Господню помощь. Это уж средство последнее, отчаянное, когда нет выхода иного. Искусство же — подготовить победу верную. Обмануть противника. Сбереечь драгоценные жизни своих людей для лучшей пользы Отечеству.

Пока епископ Ростовский и его единомышленники требовали незамедлительно идти навстречу Ахмату и биться с ним, не жалея живота, Царь примирился с братьями, и те прислали к Угре своих ратников; известил о нашествии своего крымского союзника Минглет Гирея, который не замедлил ударить на союзника Ахмата Литву, тем избавив Москву от угрозы с запада. Со дня на день должны были и отряды Ноздреватого и Нордоулата дойти до разбойничьего гнезда. Вот, тогда-то и будет дело. А спешка известно, при каком случае нужна бывает... Помнится, ливонцы

испытали его на себе, когда мучимые животом, вынуждены были бежать от русских без боя...

— Знаю, отче, что ты не уклонишь лица своего пред супостатами! Но оставь это воеводам, коим и надлежит ратовать на бранном поле. Ты же пуще всего пособишь нам своими святыми молитвами о нас, грешных, — смиренно сказал Иван, склоняясь под благословение Вассиана. — Молись, отче, о даровании нам чуда, подобного елецкому!..

В память того чуда денно и ночью молились жители Москвы пред Владимирской иконою, новым домом которой сделался отстроенный зодчим Фьораванти Успенский собор. И Небесная Заступница не преминула вновь явить свою милость к избранному Ею уделу.

Едва лишь ударили морозы, а из Орды пришли вести о «вероломном» нападении русских, как Ахмат спешно отступил от Угры, не добыв ни дани, ни полона. Татары просто бежали, так и не приняв боя. В честь бескровной сей победы в новых стенах белокаменного собора был отслужен торжественный молебен Владычице, обратившей калужскую реку своим Пречистым поясом, ограждающим Русскую Землю.

После молебна Иван призвал к себе Фьораванти:

— Слышал я, Аристотель, будто бы ты на родину просишься? Плохо тебе у нас разве?

— Милостью Вашего Величества я обласкан пуще, чем где-либо во всю мою жизнь, — ответил фряжский зодчий, трудами которого был спроектирован новый белокаменный Кремль и выстроен Пушечный двор. — Но я стар, и мне хотелось бы найти последний приют в родной земле.

— Желание понятное, — согласился Царь, — но не посетуй шибко, отпустить тебя теперь я не могу. Если понадобится, велю удержать силою.

— Зачем же я столь нужен Вашему Величеству?

— Затем, что у нас до сих пор нет равного тебе доки в делах фортификационных, — честно ответил Иван, вспоминая, как два года назад при усмирении новгородского восстания именно Аристотель наводил искусные мосты для переброски московских войск. — Вот, обучишь достойную смену себе, тогда поезжай на все четыре стороны, наградою за службу не обижу. А пока...

Фортификатор тяжело вздохнул, возможно впервые в жизни сетуя на свой талант:

— Ваше Величество желает предпринять новый поход?

— Ты догадлив, — Иван подошёл к расставленным на доске шахматам и в задумчивости покрутил в пальцах искусно вырезанного чёрного слона. — Пора нам покончить с независимостью Казанского ханства.

— Покорить Казань?

— Лучше сказать, сделать ее союзной нам. Раньше Орда давала ярлыки на княжение русским князьям. Теперь будем мы ставить дружественных нам ханов взамен недружественных, дабы те, сохраняя привычный уклад внутри своих вотчин, подчинялись нам в делах политических. Мы должны покончить с Ордой и ее наследием... Поэтому готовьтесь к новому походу, сеньор Аристотель! Без фортификатора в нем никак не обойтись!

* * *

Призрак Золотой Орды уходил в историю. После бегства от Угры приказала долго жить Орда Большая, а ее трусливый хан был убит в Турции. В Казани же при помощи русских войск утвердился ставленник Москвы, сделавшийся ее вассалом. Также русские рати перешли

через Каменный Пояс Урала, достигли Иртыша и Оби и покорили множество местных князьков. Словно человек, оправляющийся от тяжелой болезни, с каждым днем крепла Русь под скипетром своего Царя. Ширились пределы ее, упорядочивались дела внутренние, чему немало помогло составление Судебника — первого со времен Ярослава Мудрого свода законов. Крепнущее могущество царств всегда отражается в искусстве. Радостью исполнялось сердце при виде белокаменного Кремля, олицетворявшего собой новую веху в истории Русской земли. Фряжские мастера трудились над ним вместе с псковскими. Росписи же новых церквей доверялись лишь русским богомазам, дабы не проникло во святая святых ничего чужеродного.

Но как же хитер враг рода человеческого! Как ни сторожись его, а отыщет он лаз — самый неожиданный, где и вообразить нельзя вторжения!

— Явного еретика люди опасаются, а от этих как убережешься?! — восклицал новгородский владыка Геннадий, первым открывший злую пагубу. — Ведь они называют себя христианами и не обличат себя пред разумным, а вот глупого — съедят. За это им подобает двойная казнь и проклятье! Не плошайте, станьте крепко, чтоб не обратился на нас Божий гнев как на човекоугодников, предающих Христа вместе с Иудой! Ведь они иконы колют, режут, ругаются над Христом — а мы им угождаем да действуем по их воле. Однозначно требуется их наказать и проклясть!

Пятьсот лет Русская великая земля пребывала в православной вере, пока враг спасения, дьявол, не привел в Великий Новгород скверного иудея Схарию! Еще в 1470 году этот странствующий чернокнижник прибыл на Русь со свитой литовского князя Михаила Олельковича. Уча медицине, астрологии и иным тайнознаниям, он совратил в жидовство двух попов, Дионисия и Алексия. Так прониклись эти двое безумных

ветхою верою, что даже пожелали обрезать. Однако, лукавый Схария отговорил их от столь явного деяния, которое уличило бы их в случае розыска. Вскоре из Литвы приехали в Новгород еще два «учителя», Шмойла Скрявый и Моисей Хапуша. Своим любознательным последователям сулили они открыть тайны предсказания человеческих судеб по движению планет и научить чудесам врачевания с помощью чародейства. Шаг за шагом увлекшимся «чудесами» несчастным внушалось, что для полного совершенства в тайных науках нужно отречься от Христа и принять иудейскую веру. Принятие же ее должно было стать также делом тайным. Въяве обращенные должны были напротив показывать особое «православное благочестие» с тем, чтобы сокрушать Церковь Христову изнутри, незаметно отравить духовные кладези. В своем кругу отступники хулили Христа и Его Пречистую Матерь, ругались над иконами и Святыми Дарами. В Успенском соборе поп Дионисий плясал за престолом и глумился над Крестом!

Так, до самого сердца Святой Руси дошла пагуба... Тех дьявольских соработников, Дионисия и Алексия, сам Государь взял в Москву, в Успенский и в Архангельский соборы Кремля, поверив учености их и внешнему благочестию. Они же соблазнили в еретичество и дьяка Федора Курицына, и вдовую царскую невестку Елену, и даже митрополита Зосиму!..

— На престоле чудотворцев Петра и Алексия и иных великих православных святителей ныне сидит скверный злобесный волк, облекшийся в пастырскую одежду, чином святитель, а делами Иуда предатель, бесам причастник, какого и среди древних еретиков и отступников не бывало! Если не искоренится этот второй Иуда — мало-помалу отступничество овладеет и всеми людьми! — так обличать главу Церкви не всякий из участников Собора отважился бы, превратно толкуя догмат о послушании, подменяя послушание Владыке

Небесному послушанием владыкам земным. Но игумен Иосиф не боялся прещений и кар. Можно ли бояться их, когда решается судьба Церкви Православной и Царства Русского? Тут всякому биться надлежит, не жалея живота! Стоять в истине непоколебимо, подобно Святителю Эфесскому Марку!

— Злой епископ, не заботящийся о пастве, — не пастырь, но волк! — громыхал игумен. — Когда не соблюдаются Божественные правила, происходят различные преступления: оттого и гнев Божий на нас, и всевозможные наказания, и окончательный суд; и виной всему — пастыри, которые не заботятся о стаде Христовом и не охраняют его. И нынешние пастыри и учителя должны уподобляться первоначальным пастырям, которые не отрекались от находящих скорбей, но полагали души свои за паству и проливали кровь свою за веру!

Обличая князей церковных, игумен Иосиф не терял веры в то, что отворится истине сердце Царево. Государь, питавший почтение к наукам и стремившийся насаждать в своей земле всяческую ученость, прислушивался к убеждениям своего многолетнего сподвижника Курицына, доказывавшего, что никакой ереси нет, а есть лишь познание движения звезд, влияющих на человеческие судьбы. Не мог поверить Самодержец и еретичеству матери своего возлюбленного внука и наследника. Но была иная причина царской медлительности в вопросе о жидовствующих, о которой догадывался Волоколамский игумен.

Государь стремился подчинить все своей самодержавной власти, стремился взять под руку свою как можно больше земель, закрепляя тем господство московских князей. Не составляли исключения и земли церковные. Царь опасался, что Церковь, сделавшаяся крупным землевладельцем, может при случае выйти из

воли Государевой, взять сторону еще не смирившихся со сломом удельной вольницы князей. Если и не вся Церковь, то отдельные ее иерархи. Посему строя и украшая храмы, Иван Васильевич не стремился к укреплению могущества Церкви. Он слишком долго отстаивал свою власть, чтобы допустить даже мысль о каком-либо разделении ее, даже с Церковью. Потому поборники церковного могущества не встречали его поддержки. Куда как приятнее были Государю, к примеру, нестяжатели, полагавшие, что Церкви не должно владеть землями и прочим имуществом, что малые братства из нескольких иноков много полезнее для спасения души, нежели крупные монастыри, в которых, как казалось им, заботы хозяйственные, мирские, вытесняют молитву.

Игумен Иосиф считал иначе. И не от того, что сам питал слабость к земным благам. В двадцать лет покинул он родительский дом, чтобы служить Богу, и следующее двадцатилетие подвизался в неусыпных трудах под руководством игумена Пафнутия Боровского, работая в поварне, пекарне, больнице... Много позже, сделавшись игуменом собственными руками заложенного и создаваемого в родном Волоке Ламском монастыря, Иосиф с тем же смирением нес самые тяжелые послушания. Отличаясь большой физической силой, он самолично валили лес, таскал бревна и камни, возводил стены новой обители, а также молот зерно для своей братии. Проповедуя во всем воздержание и умеренность, игумен носил простое холодное рубище и лапти из древесных лык. Прежде всех являлся он в церковь, читал и пел на клиросе наряду с другими, говорил поучения и последним уходил. Ночами же предавался молитвам.

Не неги для иноков искал игумен, но славы Божией. А славу эту должны были умножить богатые обители, несущие народу просвещение истинное, а в голодный

год открывающий тому же народу свои амбары. Перепись книг и хранение их, составление летописей, житий и сводов, развитие искусств, помощь страждущим — всем этим кому же, как не Церкви заниматься? Спасаться в пещерах хорошо, но должно же порадеть и народу Божьему, о его спасении и просвещении печься. После столетий ига, когда столь многое сделалось расхищено и утрачено, народу, как никогда, нужны пастыри, которые наставляли бы его и защищали от волков!

Свою обитель во имя Успения Пресвятой Богородицы Иосиф устраивал, видя пред собою эту цель. Более ста иноков подвизалось с ним в трудах, и созидание монастыря шло быстро. Игумену удалось собрать в ней огромное количество богослужебных и святоотеческих книг, перепиской которых неустанно занимались насельники, лучшие живописцы Земли Русской трудились над росписью монастырских храмов. Простой народ находил здесь средства к поддержанию своего существования. Число питающихся на монастырские средства в тяжелую годину доходило до 700 душ. Как Царь созидал государство, по новому образу и на новых принципах, так созидал игумен Волоколамский свой монастырь. И должны были такие монастыри сделаться опорой Государю, а не угрозой его власти.

— Господь наш сказал «Не судите, да не судимы будете», — игумен Сорский Нил, главный противник Иосифа в вопросе церковного землевладения, покачал головой. — Нераскаявшихся и непокорных еретиков должно держать в заключении, сие бесспорно. Однако, покаявшихся и проклявших свое заблуждение еретиков Божья Церковь принимает в распростертые объятия!

— Еретики мне приносили полное покаяние, брали епитимью — и, оставя все то, сбежали! — заметил владыка Геннадий.

— Если неверные еретики не прельщают никого из православных, то не следует делать им зла и ненавидеть, — ответил Иосиф. — Когда же увидим, что неверные и еретики хотят прельстить православных, тогда подобает не только ненавидеть их или осуждать, но и проклинать, и наносить им раны, освящая тем свою руку! Совершенно ясно и понятно воистину всем людям, что и святителям, и священникам, и инокам, и простым людям — всем христианам подобает осуждать и проклинать еретиков и отступников!

Так и не договорились ни до чего до самого вечера. Из соборян сторону еретиков не принимал никто, и в том, что ересь должна быть обличена, а ее служители получить подобающую злодейству кару, разноголосицы не было. Однако, не могли прийти к согласию, сколь жестока должна быть кара, и должно ли полагать еретиками не только самих ересеучителей, но и смущенных лукавыми словами несчастных. Также не все готовы были подняться на собственного митрополита, тем паче, что тот, как и полагалось показывавшим внешнее благочестие еретикам, сам осудил жидовствующих.

Тем вечером игумен Волоколамский призван был к Государю. Грозно смотрели немигающие царские очи из-под хмурых, угольно черных, густых бровей. Длинные пальцы рук были сомкнуты так, что в ладонях тонул ястребиный нос. Царь заговорил не сразу, некоторое время словно изучая игумена, чьи пламенные воззвания уж конечно были ему хорошо известны.

— Владыка Зосима принял решение сойти с митрополичьей кафедры и удалиться в свою обитель от поношений, — по ровному голосу Самодержца невозможно было понять, с каким чувством сообщает он эту весть. Сокрушается ли потерей и осуждает обличителей, доведших Зосиму до такого решения, или же, напротив, доволен, что дело разрешилось миром.

Иосиф, как главный «поноситель», не смог сдержать радости:

— Слава Господу, что избавил нас от сего аспида и порождения ехидны!

— Строго ты судишь, отче, — заметил Царь, опуская руки. — Должно и меня осудил уже?

— Не смею судить моего Государя, — отозвался игумен. — Но не смею и лгать пред его очами, ибо ныне всему Православному христианству грозит гибель от еретического учения. Ведомо тебе, Государь, сколь жестоко покарал Господь Царьград за предательство веры. Русский Царь не может желать подвергнуть такой участи свою Землю! Ныне Русь всех супостатов одолела благочестием своим, но что же станет, коли оно пошатнется? Ведь всякий царь или князь, живущий в небрежении, не пекущийся о своих подданных и не имеющий страха Божия, становится слугой сатаны, потому неумолимо и внезапно найдет на него гнев Господень! Царь есть Божий слуга, для милости и наказания людей. Если же некий царь царствует над людьми, но над ним самим царствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие и грех, лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего — неверие и хула, такой царь не Божий слуга, но дьявол, и не царь, но мучитель. Бог посадил вас вместо Себя на престолах ваших... Получив от Бога царский скипетр, следи же за тем, как угождать Давшему его тебе, ведь ты ответишь Богу не только за себя: если другие творят зло, то ты, давший им волю, будешь отвечать перед Богом!

— Смелы твои слова, отче, — голос Царя был по-прежнему ровен. — Но я люблю тех, кто говорит со мною смело и от сердца, в ком нет лукавства.

Поднявшись на ноги, он шагнул к столу, на котором расставлены были в неоконченной игре шахматы, и некоторое время задумчиво смотрел на них.

— Знаком ли ты с этой игрой, отче?

— Нет, Государь. Мой удел молитвы и...

— Ложного смирения я не люблю. Мне хорошо ведомы труды твои. Потому оставь говорить об одном лишь молитвенном уделе Нилу и Вассиану...

Длинные пальцы вдруг быстро передвинули по доске одну из фигур, и этим броском был повержен черный ферзь, со стуком упавший на стол.

— Значит, так тому и быть, — сказал Царь и повернулся к игумену. — Прости меня, отче! Я с тем и призвал тебя, чтобы просить твоего прощения. Я знал про новгородских еретиков, но думал, что главным занятием их была астрология...

— Государь! Мне ли тебя прощать?.. — воскликнул Иосиф, пораженный этим внезапным явлением царского смирения и смутившись собственными, только-только свысока произносимыми поучениями. Оказывается, Государь уже все осознал и решил, и игумен стучал в открытые двери.

— Нет, отче, пожалуй, прости меня!

— Если ты подвигнешься на нынешних еретиков, то Бог простит тебя!

— Можешь не сомневаться, отче, что я исполню свой долг.

Государь преклонил голову, и Иосиф благословил его.

На другой день Собор вынес свое постановление: «Новии еретицы, не верующие в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, и в Пречистую Богородицу, и похулившей всю седмь Соборов святых отец, и их ересеначальствовавшии в русстей земли, и вси их поборници и единомысленници, и развратници православной вере христианстей, да будут прокляты!»

* * *

«Долг» — это слово Елена слышала с младенчества от отца и матери. Долг русской Великой княжны, русской Царевны помышлять лишь о благе своего Отечества и веры, от всего прочего надлежит отречься ей. Все же, отправляясь из родных пределов в Литву, юная Царевна лелеяла робкую надежду на счастливый жребий. Ведь благословил же Бог счастьем ее мать, жившую с отцом в любви и согласии и подарившую ему девятерых детей...

Конечно, брак самой Елены изначально не предполагал быть легким. Мать выходила замуж за православного Царя, дочь же, напротив, отправлялась к жениху-латинянину, союз с которым должен был закрепить мир между двумя странами. Вот, только хлипкою оказалась эта скрепа, и мир очень скоро затрещал по швам...

— Будь проклят тот день, когда я дал согласие взять вас в жены! — узкое, бледное, обрамленное длинными темными волосами, лицо Александра перекошено от гнева, дрожат в бессильной ярости губы. Кажется, еще миг, и он ударит стоящую перед ним жену. Или же вовсе убьет...

— Чем я заслужила гнев Вашего Величества? — с мукой спрашивает Елена, молитвенно смыкая ладони.

— Вы не можете даже дать мне наследника!

Больно ударяют эти слова после двух потерянных детей, коих не смогла она выносить...

— Если бы вы любили меня больше, а ваша мать и приближенные не оскорбляли меня во всякий час!.. Не ненавидели меня!..

— Поблагодарите за это вашего волка-отца!

— Мой отец никогда не нарушал своего слова!

— Черта ли мне до его слов?! Вы! Вы моя жена! И должны повиноваться моей воле, а не его!

— Я должна...

Тонкие пальцы в ярости смыкаются на горле Елены:

— У жены Великого князя Литовского есть один долг! Подчиняться мужу и дать ему наследника! Вы же не желаете ни того, ни другого... — рука мужа бессильно опускается. Вспышка ярости отступает, и на смену приходит усталая горечь. — Будьте прокляты и вы, и ваш отец, который решил сжить меня со света...

— Это неправда, неправда! — плачет Елена. Ей жаль мужа, жаль себя, и в такие мгновения закрадывается в душу греховная мысль: к чему эта вечная борьба? Что худого, если она примет веру мужа? Ведь он не магометанин и не язычник... Это умиротворило бы Александра, его мать, литовскую знать. И тогда, не терзаясь всякий день противостоянием, она смогла бы, наконец, произвести на свет сына...

Но долг был выше слабости.

Соглашаясь отдать дочь в жены литовскому князю, отец поставил условием не принуждать Елену к переходу в латинство. Александр обязался построить для нее домовую православную церковь. Елене же был дан наказ стоять в Православии твердо, если придется, то и до крови и мученической смерти.

Своих обещаний Александр не исполнил... Он не выделил жене тех владений, которые давались на содержание великим княгиням литовским, не построил церкви. Следуя же требованиям Папы, стал настаивать на принятии Еленой католичества и насаждать оное на тех русских землях, которые входили во владенья Литвы. Римский первосвященник сулил причислить Александра к лику святых, если тот обратит православных в латинство.

Погоня за «святостью» князя привела к тому, что православные люди, от князей до простых землепашцев, стали переходить вместе с землями к Государю Московскому. Ушли князья Вельский, Мосальские, Хотетовские, Рыльский, Можайский и многие другие. Литва безо всякой войны потеряла

Можайск, Новгород Северский, Рыльск, Курск, Чернигов, Стародуб, Любеч, Гомель... Опомнившись, Александр снарядил в Москву посольство, клявшееся, что никаких притеснений Православию в Литве нет. Но новая ложь не убедила отца.

— Дочь моя еще не имеет придворной церкви и слышит хулу на свою веру, — ответил он. — Что делается в Литве? Строят Латинские божницы в городах русских; отнимают жен от мужей, детей у родителей и силою крестят в закон римский. То ли называется не гнать за веру? И могу ли видеть равнодушно утесняемое Православие! Одним словом, я ни в чем не преступил условий мира, а зять мой не исполняет их!

С тем была послана в Литву грамота, в которой отец складывал с себя крестное целование и объявлял Литве войну за принуждение Елены и всех русских в Литве к латинству. «Хочу стоять за христианство, сколько мне Бог поможет!» — говорилось в ней.

Это-то объявление войны и привело к припадку бешенства, в котором Александр едва не задушил свою жену. Отныне в глазах литовского Двора она окончательно сделалась не правительницей, но лишь дочерью самого злейшего врага Литвы. Ее поддержка православных, большие пожертвования на церкви и монастыри вызывали негодование. Папа Александр Борджиа требовал от Великого князя отвергнуть жену, предать ее суду и конфисковать имущество. Но эту волю Александр не исполнил. Он все-таки любил Елену, и она знала, чувствовала это. И тем тяжелее было противиться смене веры, огорчая человека, который защищал ее от собственной матери и знати, страдал за нее. Ей так хотелось бы утешить его, стать ему послушной и кроткой женою! Но такое простое счастье дается простым женам, которым неведомо слово «долг»...

Объявление отцом войны мужу стало самым горьким днем для Елены. Два самых дорогих для нее человека сошлись в единоборстве, а она оказалась меж ними — причиною их распри. Она выступала в поддержку мужа, чтобы смягчить знать, и тайком, через верных людей, сносила с отцом, сообщая ему обо всем происходящем в Литве. Эта раздвоенность обратилась настоящей пыткой.

Уже в первом большом сражении войско московского Царя страшно разбило литовцев. Пало восемь тысяч ратников Александра! На помощь ему пришел было Ливонский Орден, но и его разгромили русские, поддержанные крымскими татарами. Надменных рыцарей избивали не мечами, но шестоперами, словно свиней. Последнюю надежду дало Александру провозглашение королем Польши и поддержка королей Венгрии и Чехии. Но русские оказались сильнее и этого королевского союза. Терпя одно поражение за другим, Литва вынуждена была просить мира и принять все условия Государя Московского. По новому договору в русские пределы возвратились 19 городов, 70 волостей, 22 городища. Вернулись Руси Чернигов, Путивль, Новгород Северский, Гомель, Трубчевск, Брянск, Мценск, Дорогобуж, Торопец...

Сердце русской царевны не могло не торжествовать победу, но сердце литовской Великой княгини обливалось кровью.

— Вы мое проклятие! Мой рок! — сколько отчаяния было в этих словах Александра. Духовенство и знать даже не позволили ему короновать Елену польской королевой. В ней видели изменницу, ее ненавидели. В сущности, муж мог бы разорвать брак с нею, заточить и даже уморить смертью. Но он, подчас жестоко обличая ее наедине, неизменно оставался ее защитником...

Однако, оставаться под защитой мужа Елене суждено было недолго. Разгромленный ее отцом, он скоро умер, и Великая княгиня осталась один на один со своими противниками. Не стало у нее и иной защиты — отца. После 42-летнего правления Государь Московский почил от трудов. В отчаянии обратилась Елена к восшедшему на престол брату Василию, чтобы он помог ей возвратиться в отчие пределы. Король Сигизмунд запретил вдове своего предшественника покидать Литву, боясь лишиться принадлежащих ей земель. Между вечно противоборствующими государствами вновь шла война, и польско-литовскому правителю довольно было измены перешедшего к Василию князя Михаила Глинского и его соратников...

Ничего не осталось Елене, как бежать с постылой чужбины. Вьюжной ночью мчались ее сани к городу Браслов, стоящему на границе Литвы. Там ждали ее посланные братом отряды князей Курбского и Одоевского. Часто-часто билось измученное сердце вдовой королевы. Уже грезился ей в мечтах белокаменный Кремль, златоглавые церкви, звон колоколов. Все родное, русское, среди которого можно будет в покое дожить остатние годы...

— Стой! — озарилась вдруг ночная тьма пламенем множества факелов. Прямо на дороге, не пропуская вперед сани Елены, стоял конный отряд воеводы Радзивилла во главе с ним самим.

— Как смее вы останавливать меня?! — воскликнула она, в отчаянии понимая, что последняя надежда ее отнята, и белокаменного Кремля ей уже не увидеть.

— Приказ короля! — с лицемерным поклоном ответил ясновельможный пан. — Вы арестованы, Ваше Величество!

Она не лишилась чувств, лишь бессильно осела в своих санях, разом утратив волю... Арест... Заточение...

Зачем? Лучше бы просто убили на большой дороге... Отец, пожалуй, не допустил бы такого поругания своей дочери, нашел бы способ выволить ее. Но Василий, хотя и продолжил дело его, вернув России Псков и Смоленск, все же не отец...

Ветер с мелким, колючим снегом ударил Елене в лицо. Сани мчались назад в окружении стражи, мчались прочь от любезной Родины, слава которой так дорого стоила Царевне...

Полвека назад ее Родина была лишь собранием разрозненных княжеств, теснимых с запада, облагаемых данью татарами. Русь была в забвении у иных народов. Ее отец сотворил чудо, создав единое, могущественное государство, простершееся до Урала и дальше, вернувшее себе земли предков, захваченные западными соседями, покончившее с Ордой и грозившее самому Риму. Русские рати доходили до Лапландии и Сибири. Имя России звучало на разных языках, и Москва зримо занимала место Константинополя, становясь сердцем христианского востока. Великий князь Московский именовался теперь Царем Самодержавным, что значит независимым ни от кого, кроме одного только Бога Всевышнего. Так стало уже при отце, а брата, Василия, в иных бумагах европейских уже титуловали Императором, тем признавая великость России.

Насмешка судьбы: все это величие, весь это блеск не способен оказался помочь такой сравнительной малости — выволить из вражеского полона русскую Царевну. Шла судьба ее, жизнь ее в уплату явленного чуда созидания Третьего Рима. Что ж, одно теперь остается утешение изболевшейся душе: свои обеты Елена выполнила с честью. Ни отец, ни брат, ни Русь Святая, ни Церковь Христова не могут укорить ее в слабости. Русская Царевна исполнила свой долг!

Милосердия двери (Святая праведная Иулиания Лазаревская)

— О-хо-хо-нюшки, боярышня милая, все-то персты нежные исколола ты, — качает головой Варюшка, помогая Уленьке складывать в корзину нашитую рукодельницей детскую одеженку и нехитрую снедь. — И ведь все-то вышито! И все-то строчечка к строчечке! Такие рубашечки не нищим сиротам, а царевнам да царевичам носить впору! А сарафан-то каков! — девочка с восторгом развернула лазоревый, украшенный затейливой вышивкой сарафан и приложила к своей тучной фигуре.

Уленька не удержалась и чуть приснула: уж очень мал был пошитый на тоненькую Настену сарафан для ее верной служанки-наперсницы.

— Когда бы мне такую красоту!

— Вот, успеет тебе срок замуж идти, сошью и тебе, — улыбнулась Уленька.

— Да зачем Настене твоей этакая роскошь? Она всю жизнь босая да в рубашонке пробегала!

— И что же? Варюша, ей ведь замуж идти пора! И молодец добрый сыскался, что люб ей. Да только родители его не примут невесту, у которой вместо приданого четверо братьев и сестричек — сироток! Батюшка Ферапонт рассказывал, что Николай Угодник всегда о бедных невестах попечение имел. Если он узнавал, что та или иная девушка не может выйти замуж, потому что у нее нет приданого, то он тайно одаривал таких девушек приданым. У нас с тобой, правда, не выходит все тайно делать, и это дурно... Но

Бог нас простит. Ведь мы не из гордости, а просто не выходит пока иначе...

Уленька опустилась на колени и положила несколько земных поклонов перед образами Спасителя, Богородицы и Николая Угодника.

— Тебя-то еще и прощать... — покачала головой Варюшка. — Да ты, боярышня, всю окрестную нищету благодетельствуете, и кто знает об этом? Мавра Никитична, потому что ты за ней больной ходила, да батюшка Ферапонт.

— И ты, — улыбнулась Уленька, вставая. — И больше никто знать не должен. Тетушка и другие рассердятся, если узнают...

— Это уж к гадалке не ходи, осерчают не приведи Господь, — согласилась служанка.

— А что шитье мое, все ли продалось? — спохватилась Уленька, взглянув на уложенную корзину.

— Как не продаться! Этакая дивная работа! Все утро ноженьки на базаре оттаптывала, все продала. Вот, — с этими словами Варюшка протянула своей хозяйке-подруге позвякивающий монетами кошелек.

Та с радостью приняла его и спрятала под одежду:

— Слава Тебе, отче Николае! Будет теперь нашей Настене приданое! И будет ей муж — добрый молодец!

— Самим бы нам, боярышня милая, без добрых молодцев не остаться, — покачала головой Варюшка. — Вон, ты худенькая какая. Ничего не ешь, по ночам на всю эту нищету горемычную трудишься. Чего доброго, захвораешь от такой жизни! Вот, и бабушка-покойница волновалась, и тетюшка сердится, что такую худенькую в жены все брать побоятся.

— Зато тебе бояться нечего, — рассмеялась Уленька, шутливо похлопав служанку по дородным бокам.

— Да уж, — улыбнулась та, — не обделил Бог. Даже и слишком... Может, ты все-таки, боярышня, спать

ляжешь, не пойдешь со мной? Час-то какой!

— Прекрасный час! — отозвалась Уленька, распахивая окно и с наслаждением вдыхая яблонево-черемуховый майский дух. — Послушай, Варюшка, как соловей поет! Диво-то какое дивное!

Соловей, действительно, выводил свою чудную песню в саду, видимо, тоже радуясь погожей и благоухающей майской ночи.

— А звезды какие, Варюшка! А месяц! Светло, будто днем!

— Тетушка узнает — худо нам обеим будет.

— Не бойся, она ни о чем не узнает. А если что, то вся вина на мне.

— Конечно... Ты, боярышня, всю челядь распустила. Давеча, вот, зачем сказала, что это ты кувшин разбила? Это же Лизка со своими руками кривыми обрушила его! Зачем ты всех выгораживаешь, все проступки на себя берешь?

— Как зачем? — сплеснула руками Уленька. — Если бы узнали, что это Лиза разбила кувшин, ее бы выпороли! А это... нельзя! Нельзя пороть людей, да еще за такую безделицу! А меня на сутки под замок посадили. Ну и хорошо, и славно! Я успела, никем и ничем не тревожима, работу закончить.

— А теперь в окно прыгать собралась, как сорванец какой, прости Господи...

— Не бойся, Варюшка, зачем мне в окно прыгать? Ключ-то от моей «темницы» у тебя, значит, мы, как добрые люди, а не разбойники, уйдем и возвратимся через дверь.

— А, небось, будь не у меня ключ, так и разбойным бы путем не побрезговала? — лукаво прищурилась Варюшка.

— Пришлось бы не побрезговать, — согласилась Уленька, закрывая окно. — Ну, идем же. А не то вместо

соловья жаворонка дождемся, а с ним и солнышко красное.

Девочки осторожно вышли из горницы, задув свечу и заперев дверь, бесшумно сошли вниз и выскользнули в сад. Несколько минут они простояли под шатром любимой Ульяниной яблони, в ветвях которой и избрал себе прибежище в эту ночь соловей, а затем шмыгнули из калитки и торопливо заспешили вниз по улице.

Долю сиротскую Уленька хорошо знала. Сперва сложил голову на Царевой службе отец, нижегородский дворянин Иустин Недюрев, а следом унесла горячка и матушку, рабу Божию Стефаниду... Уленьке тогда лишь шесть годков минуло. Из Мурома приехала за нею бабушка, женщина благочестивая, но властная, привыкшая по давнему вдовству быть распорядительницей всего и всех в своем доме и хозяйстве.

Шесть лет возрастала девочка в бабушкином доме. Детские забавы и шалости были чужды ей, что немало удивляло родных, и вызывало насмешки двоюродных братьев и сестер. Они дразнили ее «черницей» и «богомолкой», но Уленька не обижалась. Богомолка и есть. Всем забавам предпочитала она шитье и иную подобающую девице работу, всем праздным разговорам — молитву и слушание святых книг. Сама Уленька не знала грамоте, хотя и очень жалела о том. Ей так хотелось самой во всякое время, в какое явится потребность, читать Святое Писание, Жития, столь наполнявшие восторгом душу... Но ни матушка, ни бабушка, ни тетушка также не знали грамоте. А дядья да братья принимали желание девочки учиться за причуду и блажь. Да и бабушка не принимала его всерьез.

— К чему тебе, девонька моя, грамотою трудить себя? Я, вот, век без нее прожила — и деток вырастила,

и хозяйство вела рачительно, и шить, и ткать, и печь, и варенья варить, и все, что по дому нужно — все умела. А Писание батюшки нам растолкуют, к чему нам больше?

— Так ведь хочется все-все прочесть! От первой строчечки до последней! — возражала Уленька. Хорошо, конечно, батюшкино толкование, да ведь это лишь толика того богатства, что в святых книгах заключено...

Бабушка улыбалась, гладила внучку по голове:

— Полно, девонька! Скоро уж ты в возраст войдешь, сыщется жених по тебе, и совсем иные заботы пойдут у тебя, не до книг станет. К ним готовься. Учись, как хозяйство вести, рукоделью и прочему... А ребята пойдут — будешь учиться, как их воспитать. Это, милая, всем наукам наука! А Писание толковать оставь батюшкам. Наше женское дело — Богу молиться, а не мудрствовать.

— Да я ведь не мудрствовать, бабушка, я только о Господе и святых его, мужах и женах праведных знать больше хочу. Радость мне, когда о них слушать доводится, да мало от кого...

Бабушкин дом по благочестивому русскому обычаю был странноприимным. Здесь всегда имели ночлег странные люди, ходившие на богомолье по святым местам. Их Уленька могла слушать часы напролет, как зачарованная. Сколько дивных мест, оказывается, было на свете! Сколько чудес Божиих свершалось на земле! Сколько мужей и жен праведных великие подвиги несли на раменах своих и муки за Христа принимали! И мечталось Уленьке однажды в самом простом платье да в лаптях, с котомкою за плечами уйти вместе с этими странными людьми по неведомым и манящим путям-дорогам, собственными глазами увидеть святыни великие и поклониться им. Но заповедь послушания превыше мечтаний, даже если благочестивы они.

Уленька знала, что ее удел исполнять волю бабушки, а затем — мужа, когда сыщут ей человека доброго...

Но было у девочки и иное стремление, кроме странствий — хоть немного уподобится тем праведникам, о подвигах которых так любила она слушать. И она всячески старалась для этого: строго постилась, отказываясь от завтраков, полдников и ужинов и позволяя себе лишь обеды, спала не более четырех часов, проводя остальное время в молитвах и трудах.

С ранних лет не могла выносить Уленька вида чужой беды, вся душа ее переворачивалась при виде увечных, нищих и всевозможных страждущих. Всякая протянутая рука, культия, всякий молящий взор казались ей обращенными к ней и только к ней одной. И если нечего было положить в ту руку, нечем осушить слез тех глаз, то чувствовала себя Уленька словно обманщицей, словно виноватой, словно бы камень вместо хлеба подала она просящему. И готова она была отдать последнюю рубаху чужой нужде, но кто бы позволил ей раздавать не ей принадлежащее?

Это было всего тяжелее! Она жила в прекрасном тереме, окруженная челядью, не знающая лишений и имеющая все, что потребно человеку, и даже с немалым избытком. Но ничего из этого имения не принадлежало ей, а принадлежало бабушке, дядьям, тетушкам. Всем, кроме нее — сиротки. И не могла она распорядиться даже как будто своими вещами, не то что по слову Спасителя «раздать имение и идти за Ним». Всякий раз, бывая в городе, в окрестных селах, в церкви, видела Уленька вокруг себя бесчисленное количество страждущих. Да что в городе! Довольно было взглянуть на челядь, что в домах хозяев была на правах бессловесных животных... Убийство холопа даже по закону не считалось проступком много более тяжким, чем убийство животного... Недаром отец Ферапонт и

другие батюшки наставляли хозяев прежде нищих, коим заведено было подавать милостыню, заботиться и с сердечным участием относиться к собственной челяди.

У бабушки челядь не голодала и не бывала терзаема почем зря. Бабушка никогда не забывала образа Божия в своих слугах. Но Уленька после очередной проповеди отца Ферапонта пошла дальше. Она стала все для себя делать сама, воспрещая даже подавать себе воду для умывания, разувать и раздевать себя. Бабушка пожимала плечами на такое чудачество, родня посмеивалась, но мешать в этом девочке никто не стал.

Самой же ей такого «подвига» было совсем недостаточно. Ее сострадательное сердечко требовало живой помощи бедным людям. Жертвы! Но для того, чтобы что-то пожертвовать, нужно сперва что-то иметь. А чтобы что-то иметь, нужно это что-то приобрести. Но как? И тут осенило детскую головку! А как простые люди добывают себе пропитание и прочее потребное? Зарабатывают своим трудом! Значит, и она заработает! Только не себе, а нуждающимся!

Эта мысль сделала Уленьку совершенно счастливой и, получив благословение отца Ферапонта, она посвятила в свой замысел свою служанку и подругу Варюшку, без помощи которой задуманное предприятие оказалось бы невозможным, и с горячим усердием взялась за дело.

Ей всегда легко давались хозяйственные заботы, к которым приучала ее бабушка. Готовить, ткать, прясть, шить — всякое дело спорилось в руках старательной девочки. Но особый дар был у нее к шитью. Одежда, покрывала, любые необходимые в обиходе вещи — все выходило у нее на-явь! Такие вещи не только служили, но и радовали тщанием и красотой работы. Узоры же, вышитые Уленькой шелком или бисером, даже строгий отец Ферапонт называл большим искусством, и поэтому

доверил девочке вышить ризу для образа самой Пречистой...

Ночи напролет проводила теперь Уленька за шитьем. Плоды ее трудов Варюшка относила на базар и продавала. Эти вырученные деньги были уже собственностью маленькой рукодельницы! За них не должно ей было ни перед кем держать отчета! И она тратила их на нищих и убогих, действуя все через ту же верную подругу.

Когда Уленьке исполнилось двенадцать, бабушка тяжело занедужила и вскоре преставилась, завещав старшей дочери, матери девятерых детей, взять к себе племянницу-сиротку. Было это без малого три года назад. Так началась для Уленьки новая жизнь... Впрочем, нового в ней было мало. Тетка жила неподалеку от Мурома, и уклад в ее доме ничем не отличался от бабушкиного. Из слуг девочка взяла с собой только Варюшку. Из милостей — выпросила у тетки позволение по большим праздникам ездить в ставшую родной церковь, к дорогому отцу Ферапонту.

Все же занятия Уленьки шли по-прежнему. Только уж тяжелее стало в большом семействе от насмешек детей, не понимавших свою слишком набожную сестрицу, от ворчливости тетушки.

— Доведешь ты себя до хвори своими постами да молитвами! Благочестие — дело доброе, но нужно же и меру знать! Ты только взгляни на себя! Жердь жердью! Ведь такую тощую девку ни один жених за себя замуж не возьмет! Всех распугаешь!

Детвора хихикала и не упускала случая поддразнить сестрицу:

— Жердь жердью! Жердь жердью!

И старшая красавица Анфиса, просватанная еще в раннем детстве, вздергивала носик:

— За тебя и впрямь никто не посватается, смотри.

— На все воля Божия, — смиренно отвечала Уленька.

Этот ночью решила она вместе с Варюшкой идти на дело благотворения. Соскучилась девочка в терему, да и Варюшка много раз жалобилась, что страшно ей в разбойные часы по улицам одной ходить. Хотя и не видали окрест никаких разбойников, а все одно страшно! А в дневной час нельзя идти — люди увидеть могут, пойдут толки да пересуды, и, чего доброго, дознаются про Уленькину тайну.

Ночь выдалась как нельзя лучше для доброго дела! Тепло, светло, а дух-то какой! Чахли вдоль всей дороги черемухи своими скромными кистями, а кое-где за оградами набухала красавица-сирень. Нет в природе времени лучшего! Светлая седмица совсем недавно отошла, но еще и Церковь, и вся природа в унисон с ней ликовала:

— Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!

Лишь в два двора должно было зайти девочкам: Настене сундучок с приданым оставить и старухе Панкратьевне, что, ходя за расслабленным мужем до последней скудости дошла, мешочек с разной снедью — ей и болящему побаловаться. А уж к Мавре Никитичне можно будет и днем по пути из церкви забежать... Она одна все про тайное Уленькино благотворение знает.

В прошлом году вспыхнула какая-то жестокая болезнь в окрестностях Муром, много жизней покосившая. Перепугались люди насмерть, до бунтов дело дошло по местам. А всех хуже пришлось болящим, ибо здоровые, боясь заразиться, ничем не желали им помочь, за версту обходили их дома, а случались и безумные, что предлагали такие дома жечь вместе с несчастными.

Среди заболевших оказалась Мавра Никитична, ее муж Борис Тимофеевич и их сынишка Петруша. Этих-то троих несчастных и бросили умирать без ухода, пищи и

воды, ибо сами они не могли подняться. Узнав об этом, Уленька решила, во что бы то ни стало, помочь несчастным. Варюшка на сей раз наотрез отказалась помогать ей, заревела горько:

— Пожалей меня, боярышня милая, я смертушки боюсь! Ох-ох-онюшки, как боюсь!

Не то, чтобы Уленька не боялась смерти. Но гораздо больше страшило ее сознание, что три невинных человека в муках умирают, оставленные всеми. И всякую ночь отважная девочка стала, одевшись простой крестьянкой, сбегать из терема, чтобы ходить за больными. Она сама мыла их, готовила и подавала им пищу и лекарства, и, конечно, неустанно молилась об их исцелении. Увы, хозяин дома, и без того хворый, преставился, несмотря на все старания. А, вот, Мавра Никитична с сыном поправились к великому удивлению соседей. Теперь Уленька, которую Господь уберег от смертельной заразы, старалась по возможности помогать бедной вдове, а та свято хранила ее тайну. И когда спрашивали ее, кто же помог им с Петрушей в дни болезни, отвечала коротко:

— Господь милосердный своего ангела послал!

Когда до дома Настены осталось лишь несколько шагов, неожиданно налетел порывистый ветер, и небо, только что столь ясное, затянулось непроглядными тучами. Варюша задрожала и прижалась к Уленьке:

— Ой, боярышня, жуть-то какая! Хоть глаз выколи! Как же мы домой-то возвращаться будем?

— Дорога прямая, не заблудимся, — беспечно откликнулась Уленька.

— Ты уже заблудилась, Ульяна! — раздался вдруг злой и неприятный голос, и прямо перед девочками выросла огромная, страшная тень. Это не был человек, но не было и животное. Уленька не могла разглядеть его самого, но лишь красноватые, как раскаленные угли

глаза, впившиеся в нее с неугасимой ненавистью и готовые испепелить.

Над головой неведомого существа сверкнула молния и грянул гром. Варюшка с визгом ничком упала на землю и лишилась чувств. На колени упала и Уленька, уже поняв, кто перед ней.

— Слушай меня, Ульяна! — хрипло сказал бес, кругом которого шел дым от только что ударившей молнии. — Прекращай свое благотворение! Если не прекратишь, то худо тебе придется! Страшную смертью умрешь ты, если не оставишь своих подвигов!

Как ни жутко было Уленьке, как ни похолодела душа ее, но не позволила она страху завладеть собой и, истово закрестившись, взмолилась:

— Святый отче Николае! Приди ко мне на помощь! Защити от нечистого духа!

В тот же миг небесное сияние разлилось между девочкой и нависавшим над ней демоном. А в сполохе света явилась сухонькая старческая фигура с белоснежной бородой и в архиерейском облачении. Святитель Николай поднял руку с архиерейским посохом и приказал:

— Изыди, сатана, и не смей впредь смущать агницу Божию!

Снова загрохотал гром, слившийся с яростным рыком, в котором расслышала Уленька последнюю угрозу:

— Придет время тебе голодом помирать, нежели чужих людей кормить!

В следующий миг исчезло жуткое существо, рассеялся дым, а следом рассеялся и сполох света со старцем-святителем... Вновь вернулись на небо месяц и звезды, улегся ветер. Точно и не бывало ничего, та же дивная майская ночь, ничем не тревожимая...

Уленька, помертвевшая от пережитого потрясения, некоторое время не находила в себе сил подняться, а

лишь тихо плакала, вознося благодарные молитвы Николаю-Угоднику и всемилостивому Господу. Когда же силы и спокойствие вернулись к ней, девочка принялась приводить в чувство подругу. Пришлось добежать до ближайшего ручья и зачерпнуть воды, чтобы побрызгать ею в пугающе неживое лицо Варюшки. Наконец, та открыла глаза и тотчас с испугом схватила Уленьку за руку:

— Святые угодники, что это такое было, боярышня милая? Страх-то какой!

— Ничего, Варюшка, просто гроза набежала и рассеялась, а нам, трусихам невесть что помстилось.

— Помстилось?.. — недоверчиво переспросила служанка, пугливо озираясь.

— Конечно, — улыбнулась Уленька. — Видишь, никого нет. А мы с тобой столько времени потеряли... Чего доброго, не успеем вернуться до свету — вот, тогда нам с тобой и впрямь страх будет от тетушки!

Угроза хозяйского гнева возымела действие, и Варюшка, охая и причитая, поднялась на ноги.

— Может, мы лучше домой вернемся? — робко спросила она.

— Ну, уж нет! — воскликнула Уленька. — До дома Настены два шага осталось! Вот, занесем все и вернемся! Только идти надо шибче! Давай, Варя, поспешай! Не отставай, голубушка моя! — и почти бегом припустилась девочка вперед по залитой лунным светом дороге. Варюшке ничего не оставалось, как бежать следом за своей юной госпожой.

Они успели наведаться к Настене и старухе Панкратьевне и уже до рассвета были дома, где никто не заметил их отлучки. Варюшка сразу ушла отсыпаться в людскую, а Уленька, помолясь, также легла и забылась на удивление крепким сном. Разбудил ее голос тетки:

— Не узнаю тебя, душа моя! — говорила та, тряся племянницу за плечо. — То чуть свет на ногах, а то уж солнце давно стало, а тебя не добудишься! Что с тобой? Ты уж не захворала ли? — прохладная рука коснулась лба девочки.

— Я здорова, тетушка, — бодро откликнулась Уленька. — Но вы же сами заперли меня, я долго не могла уснуть, огорчаясь своей неловкости и вашему гневу... А потом, вот, от огорчения и сморило меня.

— Полно! — тетка усмехнулась. — Кувшину тому грош цена в базарный день. Поднимайся живо и приведи себя в порядок. Нет! Нынче я сама прослежу за твоим нарядом!

— Что-то случилось, тетушка?

— Случилось. К обеду гости к нам будут. Осорьины из Лазарева. Сын их, Юрий, будучи наслышан о твоих добродетелях, желает посмотреть на тебя. И родители его тоже.

Так и обмерла Уленька. Смотрины! Так неожиданно, и именно после такой ночи...

— Ну, что сидишь-то? Экая ты...

Уленька покорно встала, налила из кувшина воды в тазик для умывания. Тетка смотрела на нее с явным неудовольствием:

— Тоща... Как жердь, тоща... Кто ж тебя такую возьмет. И бледная какая! Надо хоть подрумянить тебя будет. Прошу тебя, душа моя, не пугай ты их своими монашескими привычками, будь за обедом весела и приветлива, как подобает девице на выданье! Осорьины — люди хорошие, благочестивые, род их древний, имение достаточное. И сын их Юрий — молодец хоть куда! О лучшем женихе для тебя и мечтать нельзя! Слышишь ли ты меня или нет?

— Я слышу, тетушка, — кивнула Уленька, принимаясь расчесывать свои длинные, густые волосы. — И я все сделаю так, как вы велите. Буду

приветливой и веселой. И по хозяйству покажу все, что умею. Только...

— Что «только»?

— Не надо румян, пожалуйста...

Тетка тяжело вздохнула:

— Бог с тобой! Будь бледным пугалом, коли тебе так больше нравится. Но если твой суженый тебя испугается, пеняй на себя! — с этими словами она распахнула дверь и зычно крикнула: — Варька! Стешка! Палашка! Живо подавайте боярышне одеваться!

Тетка оказалась права. О лучшем женихе мечтать было нельзя. Истинный богатырь русский... И, как подобает богатырю, всю жизнь на Царевой службе провел. Вместе с Государем Иоанном Васильевичем под Казанью и под Астраханью мужествовал, а затем и в землях западных. Иной раз годами Ульяна мужа не видела, зато уж как возвращался сокол ясный, так и наглядеться не могла на него!

Всю жизнь в любви и почтении друг к другу прожили — мало кому такое счастье даровано бывает. Детками Господь благословил — 13 их было, да, вот, только пятеро осталось. Шестеро сами померли, а двое сыновей на Царевой службе пали. Что делать! Бог дал, Бог взял...

Семья мужа быстро стала для Ульяны родной. Свекор со свекровью сердечно привязались к доброй, заботливой, ласковой и рачительной невестке. Иной раз две хозяйки под одной крышей ужиться не могут, но старуха Осорьина, оценив хозяйственную распорядительность невестки, постепенно сама передала ей все «бразды правления» в доме. Лишь одно огорчало в Ульяне добросердечную старушку: строгий пост, которым она продолжала «изнурять» себя, выйдя замуж.

— Куда ж это годиться, раз в день кушать! Тебе ведь деток родить, а на то силы потребны! А ну как захвораешь?

Но Ульяна не хворала. Ни разу в жизни. А свекровь вскоре была успокоена. Когда после очередного неурожайного года, Муром и окрестности наполнились голодающими, Ульяна озаботилась тем, где раздобыть для них еды. Выручки от продажи рукоделий не хватало, а распорядиться имуществом мужниной семьи она не могла, как прежде и имуществом семьи своей. Тогда Ульяна стала просить себе и завтраки, и полдники, и ужины.

— Что это ты, милая, — лукаво спрашивала свекровь, — пока изобильные годы стояли, лишний кусочек съесть боялась? А теперь, как голод настал, так такая охота к еде в тебе, наконец, пробудилась?

— Так ведь детишек все больше делается, — улыбалась в ответ Ульяна, и впрямь носившая под сердцем очередное чадо. — Истощают они меня, надо силы поддерживать! Все время теперь есть хочется!

— То-то же, — довольно кивала старуха. — Давно бы так! — и удовлетворенная, что невестка взялась за ум, распорядилась, чтобы еду из кладовых могла брать она во всякое время.

Конечно, сама из этих запасов Ульяна не съела ни крошки. С годами она лишь строже постилась, лишь больше ограничивала себя во всем. Когда же свекор со свекровью отошли в лучший мир, приняв перед кончиной постриг, наступило время для того, к чему так стремилась всю жизнь Ульяна — широкому благотворению. Отныне запасы в имении делались лишь на год, все же собранное сверх раздавалось нищим. Ни один убогий, приходивший в дом Осорьиных, не уходил оттуда тощ и не утешен сердечным словом.

Юрий, хотя и считал чудачества жены избыточными и иногда укорял ее за то, но не препятствовал. К тому

же время и силы его занимала служба, и ведение хозяйства он всецело доверил Ульяне. После гибели старших сыновей хотела она уйти в монастырь, но Юрий отговорил — ради себя и младших детей.

Но, вот, и младшие выросли и зажили своими семьями. Юрий же почил, завещав имение сыну Дружине. Как ни люб был Ульяне сын, как ни понимал он ее, относясь с великим почтением, а все ж не хотелось на старости лет снова как бы приживалкой в чужом дому становиться, с невесткой, чужачества свекрови осуждавшей, спорить, зависеть от сыновней семьи. Собралась Ульяна да и уехала вместе с верной Варварой на родную Нижегородчину, в родительскую вотчину, столь долго по ней кручинившуюся.

Здесь завела Ульяна в хозяйстве тот же порядок, что и в Муроме: запасы делались лишь на год, а все излишки раздавались нищим. Раздавала она и все личные вещи. Зимой ходила без шубы, отдав и ее. Холода Ульяна не чувствовала. Не чувствовала и усталости, хотя спала теперь лишь по два часа, а работала еще больше прежнего.

— Ах, госпожа моя бесценная, милостивица, да ведь ты же совсем очи свои ясные испортишь работой этой! — сокрушалась Варвара. — Ну, как, не дай Господи, ослепнешь?

— И что ж это страшат все меня всю жизнь, — отвечала, качая головой, Ульяна. — То замуж не возьмут, то детей вырастить не сумею от истощения, то ослепну, то от заразы сгину... Помнишь, пять лет тому, ходила я в баню заразных больных обмывать? Как вы все страшали меня тогда... Ан ничего! Седьмой десяток лет на свете живу, ни зараза не пристала, ни посты в могилу не свели, ни слепота не одолела, и замужество счастливо прожила, и деток вырастила. Все от Господа, Варюшка. На все одна только Его воля. А потому нечего

нам бояться, нужно только дело свое делать на ниве Его. А прочее Он управит.

Но одной угрозе попустил Господь сбыться. Самой страшной угрозе, из уст врага рода человеческого прозвучавшей...

Три года неурожая тяжким бедствием пали на Русь. Царь Борис Годунов открыл в Москве скудоприимницы, стал раздавать хлеб из государственных амбаров, но это не спасало народ от мора. Уже сами скудоприимницы скоро заполнены были умершими от голода.

— Кара Господня! — шептались в народе. — За невинную кровь отрока-царевича!

Царевич Димитрий Иоаннович, законный наследник русского престола по смерти брата Феодора, был зарезан в Угличе, где жил с матерью в ссылке. Кому нужна была смерть несчастного отрока? Называлось одно имя: Годунов! Брат Феодоровой жены, так давно мечтавший о власти... Верен ли был слух тот или нет, одному Богу ведомо. А только если верен, то не диво, что за великий грех Царев вся земля мором карается.

А грех умножался только на земле, и не Царем уже, но самими людьми. Казалось бы, при таком бедствии как должны были бы повести себя добрые христиане? Устремиться в церкви, замаливать грехи, слезно просить у Бога избавления от беды и прощения, помогать друг другу, делиться последним... А что же поделалось на Руси? Какие-то разбойники при чинах и без страха Божия успели еще за гроши скупить и запрятать по своим амбарам запасы хлеба, а, когда настал мор, подняли цены на него в тридцать раз! В тридцать! Да кому же в обнищавшей и голодной Руси такой хлебушко по зубам стал?! Велел Царь таковых злодеев карать без пощады, но то ли слишком много оказалось их, то ли слишком хитры были, то ли неумело действовали Царевы люди, а только не удавалось и

Царю справиться с этим невиданным наживательством на смерти и горе ближних.

А ведь за такой грех Господь, знать, еще больше взыскует?..

А что же бояре да дворяне? Спасаясь от голода сами, стали выгонять прочь свою челядь. Без отпуска, без освобождения от крепости, чтобы в лучшие времена закабалить обратно, без всякой помощи — выгоняли просто так, нищими в чистое поле. И куда же могут пойти такие нищие? Те из них, кто не согласен был просто лечь и смиренно умереть в голодных муках? Да в разбойники же! В обычные, которые на дорогах лютуют... И залютовали по Руси ватаги разбойничьи! Бойся, всякий хожалый! Бойся, всякий проезжий! Не только тела, но и души своих слуг губили хозяева нерадивые...

И вот — один сплошной кровавый грех и бесчинный разбой царят на Руси — от Царя до последнего нищего, что с дубиной подался в леса... Какой-то кровью, каким-то страхом еще взойдет этот посев? Как-то платить придется за него? Страшно, Господи!

Запасов Ульяны Осорьиной, как всегда, хватило ровно на год. И пополнить их было нечем. Крестник Ульянин, Николай, сын той самой Настены, которой некогда подарила она приданое и который теперь помогал ей в хозяйственных заботах, сокрушенно заключил:

— Делать нечего, голубушка-барыня, челядь надо распускать. Не сможем мы прокормить ее.

— Нет, Ниолушка, не годится этак, — возразила Ульяна. — Куда же они пойдут? В леса разбойничать, как другие несчастные? Так ведь их разбой на нас грехом ляжет. Как же нам души-то людские губить? Нельзя этого...

— А что же тогда остается? — робко спросила круглая, румяная Варвара.

Оставалось распродавать все, что было в доме и за его пределами. Оставшуюся скотину. Всю утварь. Все вещи. Все ценное и грошовое. Себе Ульяна оставила лишь две смены самого простого платья, теплый платок грубой шерсти и крепкие башмаки. Все прочее было распродано. Но вскоре пришел день, когда продавать стало нечего. Между тем, двор Ульяны наполняла не только челядь, но и стекавшиеся со всех сторон нищие, привыкшие, что здесь всегда подадут им пропитание.

Истратив последние средства, Ульяна велела созвать всех холопов, и, выйдя к ним на крыльцо, сказала:

— Детушки, все вы знаете, какая беда постигла нас. Все вы свидетели, что я делала все, чтобы не допустить вас до голода и отчаяния. Но, вот, исчерпаны последние запасы наши. Посему я предлагаю дать всем вам вольные с тем, чтобы вы могли разойтись и жить впредь своим умом, как кого Бог сподобит.

Гробовая тишина с редкими бабьими всхлипами и негромкими перешептываниями мужиков была хозяйке ответом.

— Что же вы молчите? — окликнул их Николай. — Барыня вам вольные предлагает, не то что другие хозяева! Свободными людьми станете!

— Да на кой нам такая воля? — отозвался бывший конюх Силантий. — И куда нам идти от нашей госпожи-милостивицы? Нет уж, жили вместе, а коль пришла пора помирать, значит, и помирать вместе будем.

Это решение поддержала добрая половина челяди, другая же, взяв отпускные, покинула родные края.

— Что ж теперь делать будем, матушка? — спросила Варвара, тучность которой немало поубавилась за этот год.

— Что делать? — высоко вскинула голову Ульяна, распрямляясь и оглядывая верных слуг. — Жить будем! Богу молиться будем, чтобы оборонил нас от искушений

и пущей беды! — голос ее звучал громко и бодро, и бодрость эта передавалась людям. — Лебеду собирать будем, кору древесную, всякую былинку, всякую росинку маковую. А из этого будем муку делать и хлебы печь!

— Хлеб из лебеды? — удивился Николай. — Как же это, матушка?

— А, вот, ты, Николушка, возьми теперь людей и пойдя с ними собирать, что я велела. Принесете мне, а уж я хлеб испеку.

К вечеру в амбаре, некогда полном зерна, стояли мешки с корой и лебедой. Все это было смолото в муку, и Ульяна, распустив слуг, принялась за работу. Прежде всего она прочла по памяти акафист Николаю Угоднику, стоя на коленях и кладя земные поклоны. Помнила она, как пришел ей на помощь Святитель и оборонил от нечистого духа.

— Отче Николае! Спас ты меня однажды, посрамил врага рода человеческого! Помоги и теперь, не дай в расхищение ему овец Господних!

Всю ночь пекла Ульяна хлебы, распевая псалмы и молитвы, а поутру велела Варваре и Николаю расставить на дворе столы и созвать всю оставшуюся челядь, а с нею всех нищих, что встретятся окрест. Когда же двор заполнился голодными, то хозяйка сама подала свою невиданную стряпню. Настороженно начали люди вкушать предложенные хлеба, но, едва попробовав, радостно восклицали:

— Никогда не ели мы хлеба вкуснее! Чудо! Истинное чудо!

— Ну, вот, Варюшка, — сказала Ульяна своей наперснице с усталой улыбкой, — не оставили нас Господь и Николай Угодник. Глядишь и еще одну зиму выдюжим. Помнишь, как сказано? «Не бойся, токмо веруй!» И «по вере вашей будет вам». За маловерие наше страдаем мы. А коли будем веровать и не

страшиться козней искусительных, так Господь и подаст нам по вере нашей. Если не манну небесную, так хлеба из лебеды...

Голод на Руси простоял три года. Ульяна Осорбина сумела не только пережить его сама, но и все это время кормила и свою челядь, и нищих. Когда же окрестные помещики упрекали последних, для чего они ходят к нищей вдове, которой самой есть нечего, те отвечали, что ни один хлеб не елся им так всласть, как хлеб этой вдовы. Умерла Ульяна Устиновна через год после окончания голодного трехлетия, а через десять лет по успении была прославлена Русской Церковью. Первое житие и первую службу своей святой матери написал ее сын, Дружина Юрьевич Осорбин.

Мощи святой Иулиании Лазаревской хранились в храме Архангела Михаила в родовом селе Осорбиных (Осоргиных, как стала писаться их фамилия позднее) Лазарево. В 1930 г. храм был закрыт, а рака с мощами перенесена в Муромский краеведческий музей. В 2014 г. мощи святой Иулиании возвратились на место их первоначального упокоения — в возрожденный храм Архангела Михаила села Лазарево.

Воеводы Земли Русской (Михаил и Алексей Шеины)

В кровавом мареве, растекающемся перед померкшими глазами, в который раз взлетает и опускается кажущийся непомерно громадным топор...

— Отец! — вскрикивает Иван, беспомощно шаря вокруг себя коченеющими руками.

— Тятя, тятя, успокойся, я это, Семка, — слышится рядом полный слез голос, и детские ручонки хватают его ладонь, тянут к губам.

— Семушка... сынок... — Иван изо всех сил напрягает глаза, ища увидеть родную русую головушку, но напрасно, померкли глаза, слишком много довелось им видеть того, чего не должно никогда созерцать человеческому оку.

— Думал я, Семушка, что сидение смоленское — самое страшное испытание, а ныне вспоминаю я его, как время едва ль не самое счастливое...

Было Ивану 10 лет, когда вместе с отцом оказался он в Смоленске. Град сей, обнесенный грозной крепостною стеною испокон веков служил преградой на пути стремящихся на Русь супостатов. Еще в 882 году присоединил сию землю к русским владениям Олег Вещий, и с той поры не прекращалась брань за нее. Было время, когда переходил Смоленск в руки захватчиков, но затем русские вновь возвращали свою отчину. Смоленская крепость, поразившая воображение юного Ивана, была выстроена совсем недавно зодчим Федором Конем. Она насчитывала 38 высоченных башен, девять из которых имели ворота. Конь выстроил крепость, внося немало улучшений в традиционные фортификационные сооружения. К примеру,

толстенные стены насчитывали теперь не два, а три яруса и были приспособлены для боя. На первом ярусе, предназначенном для подошвенного боя были установлены пищали и пушки. На втором — для среднего боя — зодчий выстроил траншеевидные сводчатые ниши в середине стены, в них также ставили пушки. Пушкари поднимались к ним по приставным деревянным лестницам. Верхнему бою надлежало идти на верхней боевой площадке, которая была ограждена зубцами. Между зубцами были невысокие кирпичные перекрытия, из-за которых стрельцы могли бить с колена. Венчала все тесовая крыша, закрывавшая площадку, на которой также были установлены пушки...

— Тятя, этакую крепость ляхам никогда не взять! — с восторгом восклицал Иван, когда отец показывал и разъяснял ему все эти премудрости.

— Будем уповать на то, Иванушка!

Отцу в ту пору было 39 лет. Муж во цвете сил! Уже самая ладная богатырская фигура его внушала уверенность, а слава о нем, как о доблестном воине и человеке справедливом, укрепляла в горожанах веру в то, что новый воевода сможет защитить их от грядущего нашествия.

Злополучный Царь Василий Шуйский, борясь с самозванцами и разбойниками, наводнившими Русскую Землю и ввергающими ее в нескончаемую смуту, призвал в помощь себе шведских наемников, обещав им в награду Корельский уезд. Речь же Посполитая, находившаяся в войне со Швецией, использовала сие обстоятельство, чтобы пойти войной и на разрываемую смутой Русь. Ляхи не могли смириться с тем, что русские свергли с престола их ставленника — самозваного царевича Димитрия. Того самозванца с его воровскими отрядами воевода Шеин громил еще в 1605 году. Наголову разбив их под Добрыничами, он в

дальнейшем до последнего отказывался присягать Лжедмитрию.

Правление польского ставленника оказалось недолгим. Самозванец был женат на дочери польского магната, насаждал на Руси польские порядки, попирав православную веру. Через него самая Римская церковь надеялась осуществить свою давнишнюю мечту по окатоличиванию Русской Земли. Но не потерпели русские глумления над святынями своими, убили вора и развеяли его прах.

Худо было, однако, что восшедший на престол Царь Василий не имел поддержки в народе, не имел и законных прав на Мономахов венец. Незаконный Царь боролся теперь с тушинскими и прочими ворами, а шведы и поляки делили русские земли... В таком-то прямо бедственном положении воеводе Шеину вручена была судьба главных западных ворот Московского Царства — Смоленска...

— Запомни, Семушка, запомни и детям передай: дед твой не преступником и предателем был, но героем и мучеником, врагами оболганным! Слышишь ли, Семушка?!

— Слышу, тятя! И никогда не постыжусь дедова имени и носить его стану с гордостью!

Иван прижал голову сына к груди, поцеловал ее запекшимися губами. Промерзшая колымага, в которой везли их под стражей в далекую ссылку, подскакивала на ухабах, и каждый толчок приносил невероятные страдания разбитому, непослушному телу. Стражники, коих не видел теперь Иван, могли бы проявить милосердие, прервать путь, перенести больного в теплую избу, о чем молила их его жена, но они были людьми крепкой души, и мольбы страдальцев не трогали их. Может, и к лучшему?.. Иван уходил без сожаления. Скоро он снова встретится с отцом в вечной радости, скоро прекратятся мытарства и унижения.

Только семейство жаль... Что станет с несчастною матерью, на старости лет лишенной всего и обреченной на такие муки? С женой? С малолетним Семушкой?

— Ты, тятенька, поправишься! Ты еще сам внукам рассказывать будешь, как вы с дедом за Смоленск бились!

— Нет, Семушка, нет... Час мой близок. Мне бы лишь тебе досказать, пока язык мой еще повинуется мне...

Война началась летом 1609 года. Ляхи под водительством самого Сигизмунда III явились под стены Смоленска. Велика была рать их! 12,5 тысяч человек: ляхи, татарва, венгерские и немецкие наемники. А к тому более 10 тысяч запорожцев... Против них было лишь пять с половиною тысяч русских. Крепость, впрочем, снабжена была большим числом пушек, значительными запасами оружия и продовольствия. При приближении противника к Смоленску воевода приказал выжечь окружавший город посад. Так ляхи были лишены укрытий для подготовки внезапной атаки и жилищ на зиму.

В конце сентября польская кавалерия и наемники атаковали крепость. Ляхи рассчитывали отвлечь русских видимостью общего штурма и прорваться через Копытицкие и Авраамиевские ворота, взорвав их. Но не так недогадлив был воевода Шеин, чтобы не предусмотреть подобного плана! Все ворота крепости были заранее прикрыты срубами, заполненными землей и камнями. Это защищало их от огня осадной артиллерии и возможного подрыва.

Первый штурм был отражен с большими потерями для неприятеля. Три месяца спустя, ляхи попытались проникнуть в город иным образом, сделав подкоп под его стеной. Однако, русские тот подкоп обнаружили и взорвали вместе с находившимися там врагами.

— Славная была зима, Семушка... Страшная и славная. Охотники время от времени совершали

вылазки супротив ляхов, чтобы жизнь им медом не казалась. А кроме — нужно и нам многое добывать было! Дрова, воду... Нам так не хватало ее! Вылазки бывали крупными и малыми, и к сим последним я вечно рвался примкнуть! Ратник был из меня еще никудышный, но разведка, добыча — в этих делах я не плоховал! Однажды взяли меня наши охотники на опасное дело. Нас было всего шестеро. Мы переплыли Днепр на лодке и проникли во вражеский лагерь. Похитили там кое-что из снеди, но самое главное — знамя! Я лично срезал его с древка и спрятал под исподним, на груди. Можешь ли ты представить мой восторг, когда я поднес отцу свой первый боевой трофей?!

— Должно быть, дедушка очень гордился тобой?

— Да... Он поднял меня на руки и сказал: «Быть тебе, Иванушка, славным воином! Мужай, сынок!» — из невидящих глаз Ивана потекли слезы. — И такого-то человека в предательстве обвинить, псам скормить... Господи! Да уж лучше бы на престол...

Теплая ручонка в испуге заградила готовые вымолвить крамолу уста:

— Тише, тятенька! Стража услышит — беда будет!

— Куда уж большей-то беде... Все беды наши — от тех, что бьют в спину...

Беда для Смоленска, как и для всей Руси пришла со смертью ее верного непобедимого витязя — молодого князя Скопина-Шуйского. Поговаривали, что не своею смертью умер сей Богом благословленный для защиты Московского Царства воевода, но был отравлен женою царского брата Димитрия. Дочь приснопамятного Малюты Скуратова, она была ничуть не добрее своего кровавого отца. Шуйские ревновали к славе 23-летнего племянника, к той великой любви, которую питал к нему народ русский, презиравший их самих. Это перед победоносным Скопиным падали ниц русские люди, это

его наградили они титулом отца Отечества. То был новый Невский, солнце Земли Русской... И безумные губители его не понимали в самоослеплении своем, что себя же лишили единственной своей опоры.

Вскоре войско Дмитрия Шуйского было разгромлено ляхами у деревни Клушино. Царский брат позорно бежал. Разбежалось и все русское войско. Один из отрядов его присягнул на верность польскому королевичу Владиславу, к ляхам же перешли и наемники.

Этот разгром стал смертным приговором Царю Василию. Собственные бояре свели его с престола, усадили в сани и отправили... в Речь Посполитую, признав в качестве нового московского Государя королевича Владислава.

Иван помнил побагровевшее лицо отца, когда читал он сии позорные известия. Отныне Смоленск оставался один. Отныне он должен был противостоять не только внешнему врагу, но и самой Москве, с тем врагом осоюзившейся! Несколькими месяцами раньше на предложение короля Сигизмунда сдать город Шеин от имени войска, духовенства и горожан ответил: «Мы в храме Божией Матери дали обет не изменять Государю нашему Василию Ивановичу, а тебе, Литовскому королю и твоим панам не раболепствовать вовек!» Теперь Василий Иванович стал пленником. Польские ратные люди стояли в Москве. Московские бояре готовы были целовать крест Владиславу, и лишь патриарх Гермоген не допускал того бесчестия, требуя, чтобы иноземный царевич сперва принял православную веру.

Соблюдать сего условия ляхи не желали, но настаивали при том на сдаче Смоленска Сигизмунду.

— Что вам стоит поклониться отцу Смоленском, который добывает он для сына, что скоро сделается Царем вашим? — говорили они. — Что вам стоит пустить в Смоленск войско наше по примеру Москвы?

Отвечал на то посол русский, митрополит Филарет Романов:

— Того никакими мерами учинить нельзя, чтобы в Смоленск королевских людей впустить. Если даже немногие королевские люди в Смоленске будут, то нам Смоленска не видать. А если король и возьмет Смоленск приступом помимо крестного целования, то положимся на судьбу Божию — лишь бы нам своею слабостью не отдать города.

— Если Смоленск будет взят приступом, — спросили ляхи, — то не будете ли вы, послы и отцы города, в проклятии и ненависти?

Им ответил, завершая спор, воевода Шеин:

— Хотя бы в Смоленске были наши матери, жены и дети, то пусть бы погибли. Да и сами смольняне думают то же, и скорее все помрут, но не сдадутся.

Смольняне думали то же, да не то же думала Москва. Не сумев вынудить голодом и заточением к покорству Сигизмунду патриарха Гермогена, московские бояре сами предались во власть короля, потребовав того же от Смоленска.

— Я митрополит, — ответил сановным предателям Филарет Никитич, — и без патриаршей грамоты не могу дерзнуть на такое дело, чтобы приказать Смоленску целовать крест королю.

Он был прекрасен и мужественен этот истинный русский вельможа, что происками клеветников был обвинен в злом умысле супротив Царя Бориса Годунова, жестоко пытаем и насильно пострижен в монахи. Большая часть его фамилии погибла в заточении, в ссылке. Братьев его, в кандалах, везли некогда по тому же направлению, что и Ивана с родней. И точно так же, как он, не могли они снести мук, лишений и позора... Лишь один из них остался жив, да и тот был разбит ударом. А Филарет Никитич выжил. И, несмотря на все перенесенное, с непоколебимым достоинством защищал

уже не на бранном поле, но в одеждах святительских честь поругаемого изменниками русского имени.

— Хотя Москва королю крест целовала, но то на Москве сделано от изменников, — таков был вслед за митрополитом ответ отца. — А мне Смоленска королю не сдавать и ему креста не целовать, и биться с королем до тех мест, как воля Божья будет. И кого Бог даст Государем, того и будет Смоленск!

Из Москвы, меж тем, примчался с новыми грамотами главный боярский иуда, Иван Салтыков, чьи руки обагрены были невинною кровью чад и жены Бориса Годунова. Сей негодяй призывал смольнян положиться во всем на волю короля. Но смольняне были тверды и ответили Салтыкову, что следующего посла с подобными воровскими грамотами заставят они хлебнуть днепровской водицы.

Больше воровских грамот в Смоленск не присылали. Наступили самые тяжелые дни для города. Его жители вымирали от голода, холода и болезней. Чтобы подкрепить бодрость духа измученных смольнян, воевода всякий день самолично заседал в приказной избе, рассматривая прошения нуждающихся, самолично следил за верностью исполнения всех городских дел, за распределением последних запасов продовольствия из открытых им царских погребов. Однако, роковой день неумолимо приближался.

Нашелся и в Смоленске свой иуда, что бежал из крепости и, предавшись ляхам, донес им о бедственном положении вымирающего города. И тогда ляхи пошли на штурм...

— Злодей тот, Дедешин Андрей, указал супостатам слабое место в стене нашей, что не успели мы довольно укрепить после прежних штурмов. Туда и ударили они поутру 3-го июня, — голос Ивана прерывался от слабости и волнения. Ему чудилось, что он теперь не в ледяной колымаге, немощный и умирающий, но снова

мужествует подле отца у стен гибнущего Смоленска. — Им удалось пробить брешь, и в нее хлынули их ратники... Твой дед самолично встречал их с отрядом уцелевших и еще способных держать оружие... Они полегли почти все! А мы — отец, мать и я с сестрой — укрылись в башне и отбивались там. Отец был ранен в плечо, но продолжал биться! Вся лестница, ведущая в башню, была завалена телами порубленных им супостатов. И также сражались в то утро все смольняне! Они предпочитали погибнуть, но не предаться в руки врагу! Многие горожане укрылись в стенах собора, под полом которого хранились наши пороховые запасы. И когда ляхи ворвались в собор, запасы те были взорваны! Собор взлетел на воздух и погреб под своими сводами всех — и защитников, и нападавших... Твой дед хотел сделать то же. У нас в башне был порох. И когда ляхи прорвались... — Иван перевел дух. Перед померкшим взором вживе стояли, наседая друг на друга — ляхи. В грязи и крови, распаленные битвой, прорвавшиеся в последнее укрепление русской цитадели по трупам своих соратников, с лицами, перекошенными яростью, в зловещих отсветах факелов, они были страшны. Они готовы были изрубить на куски непокорного русского воеводу и его семейство.

Мать с сестрой в смертельном ужасе жались в углу. Мать обнимала дочь и закрывала ей глаза, чтобы та не увидела грядущей расправы...

Отец, чья изнемогшая рука уже едва могла держать меч, истекающий кровью, отступил к бочонкам с порохом и схватил полыхавший на стене факел. Охнула в испуге готовившаяся испить крови затравленного зверя стая. Но всех больше испугался в тот миг Иван. Не за себя, нет! За отца, за матушку с сестрой! Он так хотел, чтобы они жили!

— Тятенька, родимый, не надо! — вскрикнул отрок, бросаясь к родителю.

И дрогнула отцовская рука, взгляд его, видевший дотолле только врагов, скользнул по лицам родных... Залязгали мечи ляхов. Вот, сейчас ринутся они и изрубят всех! Иван инстинктивно заслонил собой родителя, желая лишь одного — чтобы вся эта сталь обрушилась лишь на него одного. Но в этот миг в башне появился воевода Ян Потоцкий и резко приказал своим людям:

— Мечи в ножны! Не трогать их!

Для него, Яна Потоцкого, взять в плен столь доблестного соперника, как смоленский воевода, было куда большей честью, чем убить его...

— Господи! — Иван попытался приподняться, но лишь захрипел и упал на руки сына. — Господи, зачем я помешал ему тогда?! Зачем помешал поднести огонь к тем бочонкам?! Мертвые сраму не имут... И мы бы не имели его! И никто никогда не поругал бы имени воеводы Шеина! Я, я один во всем виноват! Прости, прости меня, отец... Это я, проклятый, погубил тебя... Это все я...

* * *

Палач был мастак своего дела и на славу «потешил» толпу, собравшуюся на Красной площади поглазеть, как четвертуют самого опасного государственного преступника со времен самозванцев. Этому казачьему вождю удалось отвоевать у московского Царя Самару и Астрахань, Царицын и Саратов, все Поволжье полыхало и покорялось казацко-мужицкой силе. Он был разбойником и мятежником, но, глядя на него, не мог Алексей не испытывать уважения к его дивному

мужеству. Кнутом битый, огнем опаленный, на дыбе изломанный, стоял атаман Разин на эшафоте и со спокойствием слушал страшный приговор. А выслушав, повернулся к Собору Покрова, поклонился на три стороны и промолвил лишь одно слово:

— Простите!

Когда казнимому палач отсек руку и ногу, брат его, придя в малодушие и ища спасти себя, возопил:

— Я знаю слово и дело государево!

И тогда атаман, повернув к нему лицо с выкаченными из орбит глазами прохрипел со злостью:

— Молчи, собака!

Подивился Алексей вновь силе этого страшного, жестокого, но необычайно мужественного человека. А палач, видать, убоявшись, что царский супостат успеет сказать еще что-либо, поспешил отсечь ему голову. Сверкнул окровавленный топор, покатила голова по деревянному помосту, охнул народ одобрительно...

А Алексей невольно зажмурился. Затем искоса взглянул на стоявшего рядом отца. По бледному лицу последнего угадал он, что то же чувство, та же мысль владеет теперь родителем. То же жуткое, пускай и никогда не виденное, воспоминание...

— Пойдем отсюда, Алеша, — тихо сказал Семен Иванович, беря сына за руку.

Продравшись сквозь толпу и оказавшись за кремлевскими стенами, отец перевел дух и отер выступивший на лбу пот.

— Жаден, жаден люд московский до забав кровавых, — вымолвил он.

Алексей же, вновь вернувшийся мыслями к поразившей его атаманской силе, заметил:

— Когда бы этакое мужество да доблесть, да таланты воинские — да на Государеву службу! Какой бы славы мог он достичь!

Семен Иванович задумчиво посмотрел на сына:

— Славы? — переспросил отрывисто. — Может статься и так... А, может, и топора катова и посрамления великого — за доблесть свою да службу Государеву! Как прадед твой, Царствие ему Небесное!

Затуманилось чело мальчика при сих словах. Горькая судьба прадеда сызмальства томила его душу. Один из самых прославленных героев Смутного времени, возвратясь из долгого плена, в коем находился с женой и чадами, он поперву был обласкан молодым Государем Михаилом Федоровичем. Отец и соправитель его, патриарх Филарет, возвратился из плена вместе с прадедом и до самой кончины оставался ему другом и покровителем. Когда же святитель почил, воевода Шеин лишился своей опоры при дворе, силу обрели его завистники, клеветавшие Царю, будто бы он, Шеин, в плену целовал крест королевичу Владиславу...

Случай для расправы был найден скоро. Старому воеводе было приказано отвоевать некогда доблестного обороняемый им Смоленск у ляхов. Вот, только в предпринятом походе на всяком шагу встречал прадед препятствия со стороны Москвы. То казну и припасы задержат на несколько месяцев и тем сделают невозможным начать поход в летнюю, самую пригодную для того пору, то просрочат самый приказ царский с тем, чтобы тот оказался неволью нарушен, то не пришлют обещанных пополнений. Все это сделало невозможным взятие Смоленска. И в неудаче этой обвинили Шеина, представив его в царских очах изменником и злодеем. Старца Филарета не было в живых и защитить прадеда было некому. Царь Михаил Федорович мог бы проявить снисхождение к опальному воеводе, вспомнив прежние заслуги его, но не только не сделал этого, но обошелся с верным защитником своего царства, как с худшим из разбойников. Шеина пытали, а затем обезглавили... На том же самом месте, где ныне отсекли голову бунтарю Степану Разину.

Семью прадеда лишили всего имущества и сослали. Дед, Иван Михайлович, умер в дороге на руках у маленького сына и безутешной жены...

Когда-то похожей жестокой расправе подверг Борис Годунов бояр Романовых, и в годы младенческие будущий Царь Михаил Федорович с лихвой хлебнул и сиротства, будучи отлучен от родителей, и лишений, и унижений, находясь в ссылке на Белом озере. Но не дрогнуло сердце Государево, когда по оговору злодеев, иные из которых екшались и с ляхами, и с ворами, но, несмотря на то, по знатности родов своих оставлены были при дворе, обрек таким бесчеловечным мукам семейство, которое уже и без того претерпело много горя во вражеском плену.

Жгла эта несправедливость сердце Алексея, и во всю дорогу до дома не проронил он ни слова. Молчал и отец, погрузившись в те же тяжкие воспоминания. Не так давно Царь Алексей Михайлович слезно каялся у привезенных в Москву мощей святителя Московского Филиппа за окаянства умучившего его Царя Иоанна Грозного. Может, придет время, и кто-нибудь из последующих Государей сокрушится сердцем о судьбе несправедливо обвиненного воеводы?.. Или уже сокрушились, хотя и не напоказ, выразив то сокрушение возвращением опального семейства из ссылки? Ныне Шеины не преступники уж, а Семен Иванович, чье детство в дальних краях прошло, стольником пожалован. И перед сыном его, Алексеем, открыт путь службы Государевой. И путь сей манил мальчика! Он давно поклялся себе служить Отечеству столь же ревностно, как служил его прадед, и своею службою возратить имени Шеиных славу, какую оно заслуживает.

Своей цели юный Алексей Шеин добивался всегда. 14-ти лет по смерти родителя унаследовав от него должность стольника, он уже пять лет спустя был назначен воеводою в Тобольск, а оттуда еще через два года переведен в Курск. Царевна Софья, сделавшаяся правительницей при малолетних братьях, Петре и Иоанне, жаловала молодого воеводу и возвела его в боярское звание. Под началом любимца ее, князя Василия Голицына, Алексей участвовал в двух Крымских походах, командуя Новгородским полком. Походы те не принесли успеха, ибо войско русское немало отстало от своего века, а сами кампании были худо подготовлены.

Понимая это, все больше тяготел Шеин к подрастающему Царю Петру. Этот не по годам смысленный отрок свои потешные полки обучал на манер европейский и вместе с ними учился сам. Эти-то полки, Семеновский и Преображенский, из потешных обратившиеся в первые полки заново устрояемой русской армии, несколькими годами спустя повел Алексей в поход на Азов, взятием которого грезил молодой Государь, к тому времени утвердившийся на престоле и отправивший в монастырь едва не отравившую его в жажде власти сестру.

Азов еще более полувека назад брали казаки, но в ту пору русское правительство не готово было оказать им поддержку и удержать важную для обороны южных рубежей России крепость. Казаки ушли, а молодое русское войско с первого захода расшибло себе лоб об азовские стены. Петр поспешил, предприняв сей поход без достаточной подготовки. Однако, Царь был из тех людей, что учились на собственных ошибках и из своих неудач ковали свои будущие победы. Для взятия Азова

нужен флот? Превосходно! Значит, построим флот и возьмем Азов!

Для того, чтобы построить флотилию для нового похода на турецкую цитадель Петру понадобился всего лишь год. Своих моряков порядком еще не воспитали, и командовать флотилией взялись сам Царь, скромно носивший звание и имя бомбардира Петра Михайлова, и его давний наставник в ратном деле Франц Лефорт. Сухопутное же войско, вдвое увеличенное за счет казаков, калмыцкой конницы и холопов, получавших вольную при записи в солдаты, всецело вверено было Алексею. О казаках Шеин особенно ходатайствовал перед Царем. Хорошо зная казаков сибирских, памятую пусть и разбойную, но поразительную ратную доблесть разинцев, он не сомневался, что сии природные воители и теперь способны одни овладеть Азовом, как их предки.

— Жалую тебя, Алексей Семенович, генералиссимусом! — объявил Государь-бомбардир Шеину, опуская свои могучие руки на его плечи. — Второй раз не должно нам осрамиться! Азов станет русским, или не бывать нам обратно в Москве!

Генералиссимус — чудное для русского слуха слово, доселе неслыханное, и того гляди язык об него сломаешь. Но Петр питал слабость к иноземным словесам, к европейским нарядам и обычаям. Душно и тесно было этому гиганту в патриархальных, жарко натопленных стенах русской избы, жаждал он устроить унаследованный от прародителей дом по-новому. Иной раз и до смешного доходило пристрастие, но велика ли в том печаль? Генералиссимус, так генералиссимус! Пожалуй, хоть чурбаном зови — было бы дело верно поставлено!

А дело Царь-бомбардир поставил верно. Ровно два месяца понадобилось русскому войску, чтобы крепость капитулировала. Не подвели ни царский младенец-

флот, ни шеинские казаки. Эти, последние, на галерах атаковали караван турецких грузовых судов в устье Дона и уничтожили 11 из них. Они же еще за два дня до сдачи Азова, не утерпев, самовольно ворвались в крепость и, засев в двух бастионах, держали оборону до победы.

Казачьих воителей Алексей, коему Государь вверил устройство своего первого завоевания, сразу решил оставить при крепости. Лучшего гарнизона для окраинных владений растущей державы не найти! Гавань же азовская показалась ему неудобной, и вместе с Петром наметили они место для гавани новой, дав и имя ей — Таганрог. В Азове же Алексей положил организовать столь необходимую России навигацкую школу.

Переполненные планами самыми великими, возвращались победители в Москву. Вкус первой большой виктории несравним ни с чем! Вкус сей пьянит и кружит голову, как самое сладкое и хмельное вино! Но, как ни опьянен был Шеин сим дивным напитком, а память своего долга жила в его сердце неотступно. Накануне вступления в столицу, где к встрече победоносного войска возвели триумфальные ворота и готовились пышные торжества, генералиссимус отправился в Троице-Сергиеву Лавру. Здесь похоронены были его предки, здесь лежали и отец, и прадед. У его могилы, отправляясь в поход, Алексей молился о помощи и руководстве и теперь явился с благодарным поклоном за оное...

Было теплое осеннее утро, и розовато-белая, издали похожая на праздничный пряник, Лавра казалась особенно нарядной в золотистом убранстве листвы. Пели утешно ее колокола, возвещая окончание утрени. Степенно расходился из церкви православный люд...

Опустившись на колени перед крестом оболганного и казненного предка, Алексей низко поклонился ему,

коснувшись лбом холодной земли.

— Вот, видишь, дед, я сдержал слово, — тихо сказал он. — Я восстановил славу нашего имени. Ныне Государь жалует меня начальником над всем русским войском, а также богатыми дарами... Как бы я хотел разделить все это с тобой! Ведь ты более меня заслуживал и почестей, и наград. И звания... Не генералиссимуса, но воеводы Русской земли. Ты ведь и был им! И таковым знало тебя и войско, и народ русский. Недаром, когда тебя казнили, вся Москва загорелась бунтами. Русские люди не могли простить расправы с тобой. А сколько ратные люди покинули в ту пору войско, навсегда удалившись в свои вотчины... — Шеин помолчал, задумчиво глядя на прадедов крест. — Как бы я хотел, чтобы завтра ты вступил в Москву вместе со мной, и возгласы ликования были обращены к тебе! Но ведь ты и будешь со мной? Ты, отец... Все вы незримо будете со мной завтра, и эту викторию приношу я вам и клянусь, что никогда впредь не посрамлю чести нашего имени.

Он последний раз поклонился дорогим могилам и возвратился в войско, ставшее станом у самой Москвы на дневку, дабы служивые привели себя в порядок перед грядущим торжеством.

На другой день победоносная рать вступала в празднично убранную и ликующую столицу. В пешем строю, словно равный среди равных, лишь ростом своим возвышаясь над иными, шагал произведенный из бомбардиров в капитаны молодой Царь. А во главе войска на белом коне скакал его генералиссимус — Алексей Семенович Шеин. Иногда он поднимал глаза к безоблачному, совсем не по-осеннему сияющему небу, и ему чудилось будто оттуда, из недостижимой взору глубины смотрит на него никогда не виденный им прадед, воевода Земли Русской Михаил Борисович Шеин. Смотрит с гордой улыбкой и осеняет правнука

крестным знаменем, благословляя его на новые подвиги.

Приказчик милосердных дел (Фёдор Михайлович Ртищев)

Посвящается Александру Колчанову

Бодро уходило войско из Москвы. Молодой Государь самолично изволил вести его в поход за дело правое и святое — землю русскую и народ православный из-под ига латинского возвращать. Еще несколько лет тому назад всколыхнулась Сечь Запорожская, восстала против панов под водительством лихого гетмана Богдана Хмельницкого. Не было долше мочи у казаков терпеть издевательство ляхов, поругание ими святой Православной веры. Сказывали пришедшие с Малороссии люди, что до того обезумели латиняне, что мертвецов вырывали из могил и посмертно крестили в католическую ересь! Истинные бесы, прости Господи! А каково-то живым приходилось? Хуже, чем от татар натерпелись... С татарами Хмельницкий поперву дружествовал, бивали вместе войско королевское. Но татары, дело известное, русским не товарищи. У татар на уме лишь ясыр, выкуп, нажива. Поменялся ветер, и предали татары. И тогда гетман ударил челом московскому Царю — выручай, свет-батюшка, народ православный! Царь Алексей Михайлович наделен был душой христианской, а к тому скорбело Государево сердце ранами Смутного времени, коими болела еще Русь. Сколько русских земель осталось доселе под властью Литвы и Речи Посполитой! А на земле — сколько душ православных, почем зря мучаемых. Не мог самодержец на зов Малой Руси не отозваться. Да и войско едино с ним мыслило. Войску, в сущности, мыслить особливо не положено, на то Царь да бояре с

воеводами есть. А все не скотина ведь тоже бессмысленная! Имели разумение, что не для пустого ристалища поднялись, а за святое дело, кое Пожарский с Мининым и Гермоген-святитель со слезами бы благословили.

Славно шло русское войско! Один за другим покорялись ему города Белой и Малой Руси, и вызволенные братья радостно приветствовали освободителей. В этом походе Андрейка впервые увидел Царя. Невысок он был, не тучен, но крепок, статен, борода светлорусая, ясное чело, ясные, вдохновенно и бодро смотрящие вперед глаза. Молодой Государь был свеж, силен и отважен. И войску приятно было, что ведет их на подвиг ратный сам Царь.

Андрейке выпало служить в передовом полку князя Никиты Одоевского. В его рядах дошел он до суровых стен много испытавшего на своем пути Смоленска. Здесь Государь стал лагерем, и войско стало готовиться к штурму...

На войну Андрейка не своею охотою пошел. Пуще мечей и пицалей влекло его с младых ногтей столярное дело, к коему имел он немалый талант. Поп Мефодий не раз звал паренька поработать для церкви — Андрейка соглашался с радостью. Божий дом украсить — что может быть отраднее для души? Так бы и жить своим ремеслом, когда бы не сиротская доля. Мать Андрейкина рано померла, а отец сгинул на войне с крымцами. Мальчика взяла в дом тетка Анастасья, сестра покойной матери. Тут-то и начались Андрейкины мытарства. Муж тетки, Фома Памфилич, был человеком скаредным и жестоким и племянника держал наравне с холопами. Ни разу не ел Андрейка досыта в доме родни, ни разу не был обласкан ею. Зато сколько брани пришлось выслушать «лишнему рту»! Дети Фомы Памфилича глядели на брата свысока. Его не допускали

ни к играм, ни к семейному столу. Ел Андрейка вместе с холопами, и лишь от них знавал доброе слово...

Когда пригожий, крепкий парень стал входить в возраст, Фома Памфилич, чьи дела шли не очень хорошо, нашел способ поправить их. У соседа его, Данилы Архипыча, богатого купца, была единственная дочь — маленькая несчастная горбунья. Само собой, найти для такой невесты жениха — дело куда как нелегкое! Даже при изрядном приданном. И, вот, сговорились Фома с Данилою выдать ее замуж за сироту Андрейку...

Будущих мужа и жену не познакомили. Это и вообще не было обязательным, если отцы семейств приходили к согласию. А тут — бесправный мальчишка-сирота и засидевшаяся в девках уродиха, которой решительно все едино было, кто отважится повести ее под венец.

В преддверье дня свадьбы Фома Памфилич, опасаясь своевольства строптивого племянника, велел отобрать у него теплые вещи. На дворе стоял ноябрь-месяц... И все же Андрейка сбежал. Он не мог, не желал становиться мужем горбуньи, губить наперед свою юную жизнь, и жить невольником у своих и жениных родственников не желал. Был бы жив отец, славный стрелец Государев! Разве попустил бы он такую обиду сыну!

Студеной ночью выбрался Андрейка в окно и, провожаемый предусмотрительно промолчавшими собаками (не зря делился с ними последним куском!), перемахнул через ненавистный забор теткиного терема... Он, конечно, замерз бы в одной рубахе, если бы не отец Мефодий. К нему под утро тихонько постучал почти заоченевший парень и горько поплакался на свою тяжкую долю. Старик-священник, крестивший Андрейку, хорошо помнивший его родителей, сам не мог сдержать слез. Он дал сироте тулуп и валенки, инструменты, немного еды:

— Остальное добудешь сам! — напутствовал напоследок.

И добыл бы, непременно добыл! Работать Андрейка умел... Но только раз уснул он в придорожной харчевне, где пара дюжих молодцов сочувственно расспрашивали его о жизни и угощали вином, а, когда очнулся, не сыскал ни инструмента, ни вырученных от работы денег, ни даже валенок.

Что было делать нищему и босому сироте? Податься в такие же разбойники, как те, что обобрали его? Может быть, так именно началась и их собственная разбойная стезя... Близок был Андрейка к отчаянному поступку, голод, известно, до ножа доведет. Но тут-то как раз и услышал он, что собирает, де, Царь войско, и в войско то набирают рекрутов. Что ж, Государев поход уж точно лучше, чем лихая тропа. Правда, легко можно окончить его с распоротым брюхом, но, по крайности, до той поры брюхо это будет наполнено...

Так и оказался 16-летний Андрейка в доблестном полку князя Одоевского. Ратник из бывшего столяра вышел справный, умелая рука быстро свыклась с мечом, а занимать отваги ему не приходилось. Стены Смоленска не пугали его, он, как и другие воины изнемогал в ожидании штурма.

Однако, Государь не торопился. Город был осажден со всех сторон и изо дня в день подвергался обстрелу гранатами. В то же время саперы вели подкопы под его стенами. Поляки сопротивлялись ожесточенно. Несколько раз передовой полк отбивал их яростные вылазки, и это было единственным развлечением скучного осадного периода. Ляхи ждали подмоги от своего короля. Но королевское войско не могло прийти на выручку, скованное казаками Хмельницкого. Русскому же Царю присягали все новые города. Дорогобуж, Полоцк, Невель... Литовская часть польской армии все же направилась на помощь Смоленску, но

навстречу ей Государь послал полки князей Черкасского и Трубецкого. Литовцы были наголову разбиты под Шепелевичами, и тогда настала очередь Смоленска.

16 августа русские пошли на штурм. С юго-востока бились отряды Лесли и Хованского, с востока, на башню «Орел» карабкались brave ратники Долгорукого и драгуны Грановского, на северо-востоке мужествовал солдатский полк Гибсона и Богдана Хитрово, на северо-западе рвались в Пятницкие ворота отряды князя Милославского, через Днепр переправлялись московские стрельцы под водительством боярина Артамона Матвеева, «Королевский вал» атаковали стрельцы Зубова...

Дружно ударило русское воинство и, казалось, вот-вот должно было сломиться сопротивление гордых ляхов! В «государев пролом» подле башни «Веселуха» ринулся с победительным «ура» передовой полк, и в первых рядах его — Андрейка! В жару атак исчезает страх смерти... Рвущиеся ядра, грохот пицалей, лязг мечей, крики раненых и умирающих, мольбы и проклятья — все сливается воедино. Нет страха смерти... Нет жалости к умертвляемым врагам... А по гибнущим товарищам — скорбь явится после, когда отгремит бой, когда настанет пора считать потери и закрывать застывшие глаза тем, кто несколько часов назад весело хохотал вместе с тобой дурацкой шутке и мечтал, как будет миловаться с молодой женой, ждущей кормильца дома... Все это будет потом, а пока только ярость и страстная жажда сквитаться за каждого своего!

Вот, замахнулся Андрейка на очередного безоруженного ляха, инстинктивно заслонившего перекошенное страхом лицо, и в этот момент что-то случилось. Грохот, огонь, дым... Андрейку подбросило вверх и швырнуло на землю. Он очнулся от адской боли

в правой руке, кругом все горело. Десятки изувеченных тел были разбросаны какой-то дьявольской силой.

«Порох!» — пронеслось в затуманенной голове. Ляхи подорвали пороховой склад... Слепящиеся от дыма глаза различили обломки башни... Они взорвали башню... Не пожалели и своих... Пожертвовали ими, чтобы унести как можно больше жизней атакующих! Взгляд машинально скользнул на руку, и тут оборвалось сердце, почернело в глазах. Руки не было. Лишь окровавленная, обгоревшая тряпка болталась на ее месте...

Андрейка заблажил отчаянно:

— Господи, Господи, за что?! Как я смогу работать без руки?! Почему ты не обрушил на меня стену, как на других?!

Чьи-то руки подхватили его, потащили прочь.

— Государь приказал отступить!

Отступить! Отступить?! Так что же, зря все?! Все жертвы?!

— Братцы, Христа ради, бросьте меня! Добейте меня, братцы! Кому я теперь нужен буду!

Дальнейшее сознавал Андрейка смутно. Походный лекарь кое-как перевязал ему культю, но это оказалось не единственной бедой. Правый глаз юноши почти ничего не различал, огнем ему сильно опалило правую сторону лица. Он уже не молил добить его, понимая, что это бессмысленно, и в полубреду шагал по дороге с другими ранеными — в тыл... Назад... «Домой»... Хорошо тем, у кого есть дом. Их, может быть, приветят там, будут ходить за ними. Хотя... Если в доме молодка-жена и малые дети... Кто станет кормить их, если кормилец вернется увечным? А если нет дома? Что тогда? Христорадничать по церквям?.. Жар притуплял отчаяние, рождая спасительное равнодушие ко всему. Силы иссякали. Несколько раз Андрейка падал, но его поднимали, и он шел опять...

— Братцы, бросьте меня... — шептал он запекшимися губами, свалившись в очередной раз. — Дайте подохнуть, как собаке...

В это время рядом с простертым на земле Андрейкой и хлопчущими подле него товарищами по несчастью остановилась коляска. В ней уже сидело несколько увечных, а в самом углу притулился одетый в богатый кафтан человек, по всему видать, боярин. Андрейка смутно припомнил, что мельком видел его несколько раз в лагере под Смоленском. Боярин, хотя был еще молод, с заметным трудом сошел на землю и, сильно волоча ногу, приблизился к Андрейке. Его благообразное, ласковое лицо с пронзительно синими глазами исполнилось глубоким состраданием.

— Немедленно усадите этого несчастного в мою коляску, — приказал он.

Андрейку тотчас подхватили на руки и водрузили на боярское место. Больше спасительная колесница не могла вместить никого...

— Федор Михайлович, батюшка, ты-то как же? — воскликнул возница, оглянувшись на своего боярина.

Тот печально улыбнулся, махнул рукой:

— А я уж как-нибудь так...

Тронулась коляска по трусским дорогам медленно, чтобы не слишком тревожились увечные седоки ухабами. А боярин захромал, видимо преодолевая собственную боль, подле. Как ни худо было Андрейке, а заставил себя голову приподнять, созерцая невиданное диво: боярин из царской свиты, да еще хворый сам, пеш идет по разбитой дороге среди раненых воинов, уступив всю коляску свою увечным... Уж не в бреду ли грезится это? Ведь такого и быть не может! Не бывает бояр таких!

Но боярин не растворялся в воздухе, а все так же смиренно хромал чуть позади своей коляски, время от времени останавливаясь, чтобы помочь кому-нибудь из

раненых, ободряя их сердечным словом. Пораженный этим зрелищем, Андрейка в изнеможении закрыл глаза и лишился чувств.

* * *

После дальних скитаний родимый край всегда дороже и милее сердцу кажется. Сердце Федора Михайловича Ртищева навсегда прикипело к Москве. Но в последние годы подолгу приходилось разлучаться с ней! Сперва сопровождал Ртищев Государя в походе, затем, по взятии Смоленска, сдавшегося второму штурму, направлен был с посольством к литовскому гетману и даже попал на короткое время в плен. То посольство Федор Михайлович с успехом завершил, согласился Сапега впредь именовать Царя русского Царем Белой и Малой Руси, признал, стало быть, господство Москвы в этих землях! Важная это победа была, и батюшка Алексей Михайлович не поскупился наградами, назначив Ртищева окольным и поручив его ведению свой двор. Хотел и боярством пожаловать, да отнекался Федор Михайлович — довольно ему было своего простого дворянского звания, а высоких шапок пусть иные ищут... Думалось, что получив приказ «сидеть во дворце», придет время проститься с кочевой жизнью. Ан нет! Государю нужен был не только дворецкий, но и дипломат. И коли эти две ипостаси сошлись в одном лице, то... не тужи и изволь оборачиваться!

И Федор Михайлович, хотя и скорбен был ногами, но поворачивался скоро. И как глава Литовского приказа и судья приказа Лифляндского, ведал всеми сношениями с Литвой, всемерно стремясь защитить православное

население тех русских земель, что все еще оставались под чужеродным владычеством.

Прежде от забот многих утешалась душа в стенах создаваемой Андреевской обители. Когда-то в юные годы свои мечтавший об иноческом подвиге Ртищев жил отшельником в урочище Пленицы вблизи Воробьевых гор. В ту пору была здесь лишь крохотная деревянная церковь во имя Андрея Стратилата. В ней долгими часами молился юноша-отшельник. Здесь-то и нашел его другой юноша, также искавший Божией правды — Царь Алексей Михайлович. Кто-то рассказал ему о странном явлении: молодой родовитый дворянин вдруг оставил мирскую жизнь, сулившую ему немало радостей, дабы жить отшельником, посвятив себя Богу.

— Для отшельнической жизни тебе, друже, нужно было подальше угол найти, — заметил Государь, приехав самолично познакомиться со странным дворянином, в котором инстинктивно предугадал родственную душу. — А здесь тебе подвижничать не дадут.

Прав был свет-Алексей Михайлович. Он и не дал, призвав отшельника для служения себе и удостоив чести стать одним из самых приближенных и доверенных лиц, другом своим. Еще тогда, в первую встречу, Ртищев понял, что молодой Царь крайне нуждается в верных и честных людях. И просто в друзьях. В людях, с которыми мог бы он быть сердечно откровенен, которые понимали бы его и разделяли его заботы не корысти ради, но как и он сам — для Божией и Отечества славы. Когда Алексей Михайлович после долгого и задушевного разговора покидал Пленицу, Федор Михайлович уже знал, что отшельничество его завершено, что он уже не сможет оставить своего Царя, почти столь же юного, как и сам он, что его подвиг — быть не в скиту, но подле Государя, служа ему верой и правдой, помогая ему.

Что ж, служить Господу можно везде. Совсем не только в лесах или в стенах монастырских. Можно и в миру Христово дело творить с Его многощедрой помощью.

На месте своего отшельничества Федор Михайлович утроил Преображенский училищный монастырь, переименованный позже в Андреевский. Здесь поселилось 30 иноков из нескольких малороссийских монастырей, и в их числе известные ученые мужи. Их стараниями при монастыре составилось ученое братство, именуемое Ртищевским. Братство занималось переводом книг и бесплатным обучением желающих грамматике, славянскому, латинскому и греческому языкам, риторике и философии.

Хорошо разбираясь в делах церковных, Федор Михайлович полагал необходимым исправление многих неправильностей, допущенных в русской церковной службе и уставе. Для обсуждения этих важных вопросов составилась при Преображенской обители «Кружок ревнителей благочестия», в который вошли царский духовник Стефан Вонифатьев, настоятель Казанского собора Григорий Неронов, архимандрит Новоспасского монастыря Никон, протопоп Аввакум... При содействии этого кружка, Ртищеву удалось ввести церковные проповеди и заменить «единогласным» пением «многогласие».

Братство и Кружок были истинной отдушиной и отрадой Ртищева. Но в последнее время ложились тягота на сердце, когда ступал он в стены возлюбленной обители. Жестоковейные люди способны обратить во зло самые благие начинания, исказив их... Так на глазах Федора Михайловича происходило с преобразованиями в русской Церкви. Он желал лишь очищения святых книг от явных ошибок, нечаянно допущенных переводчиками при переписи их, лишь возвращения церковной службы к канонам, издревле

принятым в православном мире, лишь отвержения суеверий, унаследованных от языческих времен и вкравшихся уже в самые церковные традиции. Но, к примеру, отнимать и уничтожать иконы, даже если они неправильно написаны, разве можно? Какая простая христианская душа сможет смириться с этим? Ведь для верующих эти иконы — родные!

— Не вмешивайся в церковные дела, Федор! — грозно прозвучал могучий Никонов бас. Огромного роста богатырь, с черной, как сажа, густой бородой, он буквально нависал над Ртищевым и всем своим видом демонстрировал крайнее неудовольствие попытками Федора Михайловича спорить с ним.

— Когда-то, владыка святой, ты судил иначе. И не где-нибудь, а здесь, в этих стенах, — заметил Ртищев, прямо глядя на патриарха.

Власть меняет людей. Настоятель Новоспасского монастыря, а затем Нижегородский митрополит был дружественен к Ртищеву и горячо поддерживал его начинания, претворяя их в жизнь в своих вотчинах. Но что же сделалось с ним, когда голову его увенчал патриарший клобук, а Государь стал звать его «собинным другом», сделав почти соправителем своим?

— Неужели ты думаешь, владыка, что неумеренные прещения и кары наставят кого-то на истинный путь?

— Ослушники должны подлежать наказанию! — воскликнул Никон. — Иначе они разорвут Церковь на части из-за своего невежества и упрямства!

— Вы разорвете ее вместе, владыка. Из-за гордыни и упрямства, — тихо сказал Ртищев.

— Молчи, Федор! Не тебе судить патриарха!

— Не мне. Всех нас один лишь Судия будет судить. И Судия сей завещал нам единый закон — закон любви. Милости. Прощения. Дело, в основе которого не любовь лежит, не любовью движимое, не приведет к добру. Но совсем к обратному!

— Что же, по-твоему, мы не любовью к Богу ведомы в действиях наших? — сдвинул Никон густые брови. — Не ему служим?!

— Первосвященники Израилевы тоже считали, что любят Бога и служат ему.

— Не смей! — взревел патриарх и с силой ударил посохом об пол. — Уж не хочешь ли ты, Федор, нас в христубийцы, в фарисеи записать?! А Аввакум и Неронов, что ж, христолюбцы и апостолы? Берегись, Федор! Опасно ходишь!

— Мне нечего беречься, владыка, — покачал головой Ртищев. — Я никого не сужу, а лишь пытаюсь в меру своих скромных сил остановить раскол. Ты с одной стороны, Аввакум с другой — разорвете церковь. Того ли ты хочешь, владыка? Ведь не хочешь же!

— И что же, примириться мне с их еретичеством велишь?!

— Не о примирении прошу, но о милости. Ты говоришь, что они невежественны и надменны. Пусть так. Но так восплачем о том, пожалеем их в их недомыслии и помрачении, будем милостивы к их слабости, а не уподобимся им! Если два коня, запряженные в одну упряжь взбеленятся и понесут в разные стороны, что станет с телегой? Не будьте же этими конями, владыка! И ты, ты сам, будь мудрее и милостивее их!

— Милость они поймут, как слабость, Федор!

— Да не о них же речь! Не об Аввакуме! Не о Неронове! — воскликнул Ртищев. — А о многих наших единовержцах, которые не могут в одночасье принять новое! Да, они невежественны, но разве они виноваты в том? Нет! Нет! Мы виноваты! Потому что не умели и не имели времени просвещать их! Не карать нужно, владыка, а просвещать! Учить! Кротко и с любовью. Христово учение во времена древние разве же огнем и мечом насаждалось? Ты лучше меня знаешь, что нет.

Оно покоряло народы любовью. Жертвою. И нам должно следовать единственно этому примеру!

— Ты добр, но ничего не понимаешь в церковных делах, — покачал головой Никон. — Хорошо быть праведным и чистым. Да только кто же станет оборонять от волков Господню овчарню? Если пес будет милостив к волку, то овцы будут расхищены. Я лишь защищаю Церковь.

— Церковь и нас, грешных, защищает Бог. Владыка, я вижу, что ты не слышишь меня и не желаешь слышать. Но все же взываю к тебе, к мудрости твоей! Гоня несогласных с тобой, ты лишь делаешь их мучениками в глазах народа, тогда как, действуй ты любовно и отечески, они предстали бы озлобленными гордецами. Страхом нельзя упрочить веру. Неужели ты не понимаешь, что те, кто станет принимать новые обряды лишь из страха, будут лукавить и двоедушничать? Разве лукавство и двоедушие нужно Богу? Нет, владыка, ему нужно исповедание от чистого сердца! — при этих словах Ртищев опустил перед патриархом на колени. — Молю тебя, отче! Пощади души своих пасомых! Просвещай их, а не калечь!

Передернулось раздраженно разгневанное лицо, снова гулко стукнул посох об пол.

— Будет лучше, Федор, если каждый из нас станет заниматься своим делом. Ты царским двором и посольскими приказами, а я — Церковью.

— Помилуй, не ты ли более кого иного, занимаешься ныне государственными делами?

— А тебе, небось, обидно это? — усмехнулся Никон. — Боишься своего места при Государе лишиться?

Побледнел Федор Михайлович от этих слов. Не от страха гнева патриаршего, а от стыда, что этот великого ума человек может мыслить столь мелко, будто ничтожный временщик, и от того еще, как явно

сделалось, что уже не способен внять голосу рассудка обуянный гордыней святитель. Страшен, страшен демон гордыни! Иссушает он сердце, лишает разума.

Покачал головой Ртищев сокрушенно, поднялся с трудом, цепляясь за поручень кресла — Никон, все также неколебимой скалой высившийся над ним, не поспешил подать ему руки.

— Я боюсь лишь Господа Бога, владыка, и ты это знаешь. Прости, если говорил с тобой резко. Но я говорил так лишь от того, что глубоко скорблю о тебе... — с этими словами Федор Михайлович, преодолевая боль, низко поклонился патриарху и удалился, не дожидаясь ответа и не глядя более в гордое, гневное лицо предстоятеля.

Блаженны миротворцы, ибо они наследуют Царство Небесное. Но как же умиротворить обуянных гордыней?.. Кровью обливалось ртищевское сердце, и то и дело холодила его горестная мысль: а нужно ли было затевать все эти исправления?.. В конце концов, Бог зрит вперед на душу человеческую, а не на букву законническую. И что за польза в исправленной букве, если она стольким душам увечьем обернется? Болело сердце. Рушилась на глазах Церковь русская, врагами смотрели друг на друга вчерашние сопричастники. И чувствовал Федор Михайлович свою в том вину. Конечно, все могло быть иначе, если бы дело повелось любовью и милосердием, не ломая через колено. Ошибки веками копились и не единым мигмом преодолевать их! Не тот это узел, что разрубить мечом можно. Но как донести это до таких людей, как Никон и Аввакум?

В тяжелых думах добрел Ртищев до терема прежнего своего друга, Ивана Озерова. Когда-то Федор Михайлович взял его на службу, помог бедному тульскому дворянину подняться и осесть в Москве. Но благодарность не входила в число добродетелей

Озерова, и попытался он интриговать против своего благодетеля, ища места повыше, предпочтя покровительство завистников Ртищева. Федор Михайлович узнал о предательстве друга, но не подал виду, не стал чинить ему препятствий в службе, не услав прочь из стольного града. Иван сам допустил проступок на своем непосредственном поприще, и с той поры обрушились на него многие неприятности. Обвинил в них жестокий человек своего бывшего благодетеля, сочтя свои неудачи мстью Федора Михайловича. И напрасно старался Ртищев умирить гнев Озерова, объясниться с ним дружески. Дворня Ивана гнала царского окольного прочь от ворот, спускала собак, а хозяин бранился самыми злыми проклятиями...

Теперь все повторилось по обычаю. Федор Михайлович смиренно постучал в ворота озеровского дома, и тут же услышал из окна злой голос Ивана:

— Убирайся прочь! Доколе ты будешь ходить сюда?! Тебе мало, что довел меня до нищеты?!

— Моей вины нет в твоих несчастьях, и в этом я могу поцеловать крест! Если же нечаянно я огорчил тебя, то прошу, прости меня! Помирился, брат! Ведь когда-то в отрочестве мы были с тобой как братья!

— Но один из братьев оказался каином! Убирайся, лицемер! Я не поверю ни одному твоему слову! Святоша! Прочь от моего дома! Я не желаю ни видеть, ни слышать тебя! — хриплый, прерываемый кашлем, голос Ивана клокотал яростью.

— Но послушай!..

— Прочь, порождение ехидны! Или я спущу на тебя собак! И велю дворне гнать тебя взашей!

— Прости, Ваня. Не тревожься, я ухожу...

Ртищев отступил от негостеприимного дома в глубь погружающегося в сумрак переулка и почти сразу столкнулся лицом к лицу с долговязым одноруким

оборванцем. Страшен был вид этого несчастного! Правая часть лица была изуродована шрамами, а глаз слеп, длинная, клочкастая борода, спутанные волосы, грязные отрепья... Федор Михайлович с состраданием посмотрел на беднягу и потянулся за кошельком, но оборванец вдруг повергся перед ним на колени. Единственный глаз его лихорадочно блестел, из него текли слезы.

— Боярин! — воскликнул нищий. — Наконец-то привел Господь встретиться! — потрескавшиеся губы несчастного дрожали. — Помнишь ли ты меня, боярин? Под Смоленском! Ты спас мне жизнь уступив свое место...

Многим увечным воинам уступал Ртищев свое место, и не всех из них мог припомнить. Но этот однорукий калека... Вспомнился ясно Федору Михайловичу окровавленный юноша, почти мальчик с кое-как замотанной культей и обожженным лицом. Он был очень молод, а потому внушал к себе особое участие. Ртищев видел его потом еще раз, мельком, в лазарете, для которого сам же нанял дом и врачей, как делал всегда во всех городах, где случалось оставлять русскому войску своих раненых...

— Ты тогда кошелек мне оставил... И другим также... Мы бы иначе уже по выходе из лазарета с голодухи передохли! Твоей милостью живы остались...

— Я помню тебя, — кивнул Ртищев.

Калека надрывно всхлипнул и вдруг ткнулся головой в сапоги Федора Михайловича:

— Боярин, милостивец, спаси христианскую душу! Не дай сгнуться в канаве! Я хоть и без правой руки, но левой работать могу! Я грамоте знаю! Я тебе, как пес, служить стану, только спаси! Иначе пропаду! Порешу кого-нибудь, какой еще мне путь?! Не погуби, боярин!

Эти отчаянные рыдание и каменное сердце растрогать могли. Ртищев не без труда склонился к

калеке, подхватил его под руку:

— Встань, встань! Как звать тебя?

— Андреем, — отозвался несчастный, послушно поднимаясь.

— Андреем... — задумчиво повторил Федор Михайлович, вспомнив свой скит с часовней Андрея Стратилата и только что покинутый монастырь. — Ну, что ж, Андрей, пойдем со мною. Попробую найти тебе службу. Ты Царев ратник, и не должно тебе в разбойниках и нищих мытариться.

— А кому ж это должно, боярин?

— Верно говоришь, никому. Только впредь не зови меня боярином. Я не боярин и чужими чинами не именуюсь. Идем!

— Как же велишь звать тебя?

— Зови просто, Федором Михайловичем.

— Федор Михайлович, батюшка... — Андрей запнулся.

— Что-то еще?

Нищий помялся. Затем кивнул на терем Озерова, за забором которого бесновались собаки:

— Зачем ты перед ним унижал себя? Он человек злой и лживый! Ехидна, а не человек! Он нашу братию, что тебя, собаками травит! Для одной лишь забавы!

— Он несчастный человек, — ответил Ртищев. — И мы выросли вместе. Это достаточный повод, чтобы пытаться разбудить его сердце, тебе не кажется?

— У него нет сердца, — покачал головой однорукий.

— Сердце есть у всех. Но некоторые об этом забывают... А я пытаюсь напоминать. От того, что я попрошу его прощения и выслушаю его брань, у меня ничего не отнимется. Но я хочу верить, что однажды он услышит меня, и это будет самой большой мне наградой. Обогреть замерзшего, накормить голодного — важно. Спасти того, кто гибнет смертью телесной,

важно. Но разве менее важно пытаться вернуть Богу гибнущую душу?

Андрей слушал, приоткрыв рот, глядя на Федора Михайловича со смесью изумления и благоговения.

— Святой ты, не иначе...

— Святые в пустынях и скитах грехи мира замаливают. А мне бы свои замолить, — вздохнул Ртищев и побрел, волоча больную ногу, к своему дому. Андрей тенью последовал за ним.

* * *

Иногда, когда уже хоть в омут головой, Бог, дотоле занятый делами более насущными, вдруг вспоминает и призывает на оставленных. И тогда жизнь изменяется во мгновение ока!

Несколько лет христорадничал Андрейка по городам и весям, недолго пожил при монастыре, да там нужны были трудники, а не калеки... Он изо всех сил пытался не утратить человеческого облика, усердно разрабатывал левую руку, учась делать ею все то, что когда-то так ловко удавалось правой. А если случалось стать в какой-нибудь обители, упрашивал насельников допустить его до чтения священных книг. Страшно было забыть грамоту!

Все же безрукий калека с изуродованным лицом и навсегда померкшим правым глазом оказывался нигде не нужен. Летом он примкнул к странствующим мастерам-плотникам, по сердобольности взявших его с собой, благо левой рукой наострился бывший ратник делать довольно многое. Но случилась беда. Много бранили мастера новые церковные устройства, и за то были схвачены по доносу... Андрейка тогда не с ними был и тем спасся.

Долго ли, коротко ли, а достиг он стольного града, откуда некогда уходил в Государев поход здоровым молодым красавцем. Нищих в Москве было в избытке. Москва кишела нищими, как давно нестиранная одежда вшами. Очутившись в этой бездне отчаяния, Андрейка ужаснулся. Из нее, как из водоворота, уже не было спасения. Не было выхода. Побираться у храмов, пить по праздникам и обычным дням, покрываться язвами и струпьями и, наконец, околеть в какой-нибудь канаве, как собаке. Или же — снова встал давний выбор! — примкнуть к лихим людям! Благо левая рука уже проворно действовала ножом... Тут тоже конец не весел — плаха. Но все не так страшит она, как канава. Но другое страшно — человечьи души губить! Как за них отвечать после?..

Тут-то, стоя на самом краю, истощенный и отчаявшийся, вновь встретил Андрейка «чудесного боярина», когда-то спасшего его под Смоленском. Случайно увидев его в темном переулке, где он, заготовив нож, уже, очертя голову, поджидал свою первую жертву, бывший Царев ратник, не поверил своим глазам. И долго не верил, наблюдая, как странный этот человек просит прощенья у известного скареда Озерова... Нож он вышвырнул в сугроб тогда же, вручив судьбу свою милости «чудесного боярина».

Федор Михайлович определил его в людскую, велел вымыть, одеть и накормить, а наутро призвал к себе. Андрейка явился пред очи своего благодетеля уже не в столь скорбном виде. Борода и волосы расчесаны, лицо вымыто, ладно сидел на поджарой фигуре кафтан, в котором чувствовал себя вчерашний бродяга неловко. Ртищев знаком велел ему сесть и подал книгу:

— Читай, коль грамоте научен.

Андрейка жадно схватил книгу, оказавшуюся «Апостолом», и начал читать. Голос его сперва дрожал

от волнения, а затем окреп, зазвучал стройно и громко. Федор Михайлович кивнул:

— Молодец, хорошо читаешь. Теперь напиши что-нибудь.

Почерк левши, понятно, крив, но все ж разборчив. Благодетель остался удовлетворен.

— Ну, а счету учили ли тебя?

— Совсем немного, отец Мефодий сам не мастак был считать... Да и что считать в церкви? Свечи разве...

— Немногого будет довольно, — сказал Ртищев. Синие глаза его лучились теплотой, и от одного их взгляда яснее делалось на сердце. Немного помолчав, он объяснил: — Мне, Андрей, нужен человек для помощи страждущей братии. Конечно, у меня есть люди, но мне нужен человек, который сам знает эту братию.

— Нищих?

— Нищих, убогих... Даже разбойников, — кивнул Федор Михайлович. — Мною создано в Москве несколько богаделен. Тех, кого еще можно вернуть к обычной жизни, там лечат, подыскивают занятие, либо отправляют в деревню с подъемными. Старики и калеки остаются там навсегда. Есть люди, которым довольно просто помочь, подать руку... Но есть и обманщики. Ты долго жил в этой среде, знаешь ее. И сможешь лучше многих других определять, кому и какая помощь нужна.

— Но ты совсем не знаешь меня, батюшка Федор Михайлович, — заметил Андрейка. — Как ты можешь доверять мне?

— Не ты ли вчера клялся быть мне верным псом?

— А что если я один из тех обманщиков?

— Значит, я буду обманут, а ты возьмешь на душу большой грех, — развел руками Ртищев.

Так началась служба Андрейки Федору Михайловичу. Размах милосердной деятельности

последнего поразил вчерашнего нищего. Ртищев основал в Москве первую больницу для бедных, где под постоянным присмотром находилась дюжина больных. Вскоре была построена странноприимница. Слуги Федора Михайловича разыскивали и приводили в этот дом больных, неимущих и пьяных — до протрезвления, чтобы не замерзли на улице. Хворых и нищих лечили, кормили, одевали, хлопотали о дальнейшем устройстве. «Чудесный боярин» сам посещал странноприимницу, проверяя, как ухаживают за ее обитателями.

Андрейка, бродяжничавший несколько лет, лучше иных знал нищую братию и со всем рвением взялся за дело. Нуждавшихся в лечении он вел в больницу и странноприимницу, о нуждах других докладывал своему господину. Вот, скажем, у кузнеца Филимона сгорела кузня, от того пьет он, а баба его и ребятишки побираются. Чем тут горю помочь? Помочь Филимону восстановить кузню, чтобы вновь мог он трудиться и содержать семейство. А, вот, вдова с дочерьми-бесприданницами. Тут еще Никола-Угодник пример подал, как пособить в таком случае: дать девкам хоть какое приданное. А иной и толковый человек, а зашила судьба его в черную шкуру — долг над ним тяготеет, лишая всего. Выкупишь долг у заимодавца, отсрочишь бедняге выплату на срок дольний, и, глядишь, спасен человек!

Ежевечерне являлся Андрейка к своему господину и докладывал обо всех нуждах, а также о том, как ладится работа в больнице и странноприимнице. Вскоре стал бывший нищий правой рукой царского окольного в делах милосердия. Удостаивался он даже чести разделять с Федором Михайловичем трапезу. Всею душой привязался Андрейка к «чудесному боярину». Он и впрямь служил ему, как пес, но в этом не было ничего зазорного. Ведь пес — олицетворение преданности. А преданность — большая добродетель.

В милосердных хлопотах проходили годы, и всякий день благодарил Андрейка Бога, что тот дал ему такого господина и такую службу. Все это время он был почти не разлучен с Федором Михайловичем. Лишь когда тот покидал Москву, оставался «за старшего» в благотворительных делах. Ртищев уже успел убедиться в том, что не зря почтил доверием безвестного бродягу, что его «приказчик милосердных дел» ни полуски не возьмет себе, не слукавит сам и не попустит обманывать другим. Но, вот, пришло время послужить и далеко за пределами столицы.

Страшный голод постиг вологодскую землю. Узнав о бедствии, Федор Михайлович распорядился срочно продать часть своего имущества, включая одежду и утварь, и снарядил в помощь голодающим целый караван. Вологодскому архиепископу Симону было отправлено 200 мер хлеба, 900 рублей серебром и 100 — золотом. Сопроводить этот караван Ртищев приказал Андрейке.

Долен путь от Москвы до Вологды, и пленяется сердце раскрывающейся путнику загадочной красотой русского севера... Но до красоты ли, когда чрез леса бескрайние везешь столь ценный груз? Хотя для сопровождения его дал Федор Михайлович довольно людей, а все ж тревожно было. Ну как разбойники налетят? Баловали шайки их на больших дорогах. Зорко всматривался Андрейка единственным глазом в лесную чащу, чутко прислушивался ко всякому звуку...

Вдруг почудилось, будто бы крики слышны впереди. Андрейка сделал знак своим спутникам остановиться, вслушался в лесную тишину. Так и есть! Женские голоса звали на помощь, а за ними различало чуткое ухо и грубые гики... Не дать, не взять, напали лиходеи на каких-то несчастных путников!

— Андрей Петрович, повернем-ка мы на другую дорогу от греха! — шепнул дядька Филат, кивнув на

оставшийся позади поворот.

— От греха, говоришь? — нахмурился Андрейка. — А бросить христианские души на расправу лиходеям это по тебе не грех, значит?

— Наше дело — барское добро стеречь и в целости доставить! А не разбойникам его тащить!

И то верно. Барским добром рисковать не годится. Тем более что не барское оно, от добра этого жизни многих умирающих от голода зависят.

— Вот что, Филат Григорьич, бери-ка ты наши подводы и ездай по другой дороге, а я возьму пару наших людей и посмотрю, какая там нечисть куражится!

— Ты что удумал? Барин строго-настрога велел...

— Федор Михайлович вперед о людях беспокоится. Вот и я об них побеспокоиться хочу! — Андрейка хлопнул Филата по плечу: — А ну-ка, братцы! Кто со мной разбойников потревожить?

Больше половины отряда вколыхнулась на призыв. Но нельзя рисковать караваном, люди для его защиты нужны. Потому отобрал Андрейка лишь троих молодцов и, прищпорив коня, вместе с ними поспешил туда, откуда доносились крики.

Слух и догадливость не подвели бывшего ратника. Разбойники напали на несчастных проезжих. Одна из двух повозок была перевернута, и рядом лежал заколотый детина, с которого злодеи уже стащили кафтан и сапоги. Тут же поодаль распростерлась бездыханная баба, грудь которой была залита кровью... Разбойники проворно растаскивали сундуки и мешки, на ходу разбирая их содержимое. Из второй же повозки доносились отчаянные крики...

Андрейка не стал тратить времени на размышления. Молнией вылетел он из леса, выхватив меч, упражнениям с которым также успела навыкнуть левая рука, и обрушился на лиходеев, затащивших в повозку

молодую девицу. Двое разбойников, не ждавших нападения, были зарублены им сразу. Прочие, придя в себя, бросились на него. Но в этот миг на выручку подоспели трое его спутников. Злодеев оказалась целая дюжина, и от того бой выдался жарким. Со времен Смоленска не доводилось Андрейке бывать в такой передрыге! Испытывать такого прилива слепой ярости, когда никого и ничего не жаль, а есть лишь одно желание — истребить врага!

Еще трое разбойников были изрублены им в той сече. Еще пятеро убиты людьми Ртищева, один из которых и сам получил смертельный удар топором по голове... Уцелевшие злодеи бежали в лес. Андрейка соскочил с коня и приблизился к смертельно перепуганной девице. Совсем ребенок еще, лет тринадцать... Хрупкая, белая как полотно, косы пшеничные растрепаны, одежда изорвана. Круглые от ужаса серые глаза точно остановились... Уж не помешалась ли бедняжка? Есть от чего! Вся семья ее, отец, мать, брат, убиты злодеями... Андрейка протянул к девице руку, но та в испуге отпрянула. Оно и понятно... Он, с его изуродованным лицом, сам что разбойник — немудрено испугаться.

— Не бойся нас, — сказал Андрейка как можно ласковее. — Мы не разбойники. Мы люди царского окольного Федора Михайловича Ртищева, везем от него хлеб в Вологду.

Девушка ничего не ответила. Лишь подтянула к груди ноги и спрятала в коленях лицо. Андрейке стало отчаянно жаль ее, такую беззащитную в этом огромном жестоком мире.

— Соберите все! — велел он своим людям.

Те перевернули поверженную телегу, бережно перенесли в нее своих убитых, вещи же сложили к ногам онемевшей девицы. Андрейка привязал своего коня к повозке, а сам взялся за вожжи.

— Едем! — крикнул он, и скорбный маленький караван тронулся в путь.

— Ты не бойся, мы тебя не обидим, — повторил Андрейка, обращаясь к девице, и, сняв кафтан, набросил ей на плечи. Она вздрогнула, но не отшатнулась.

— Ты из Вологды?

Девушка кивнула, и Андрейка почувствовал некоторое облегчение: значит, не помешалась...

— Есть ли у тебя родственники там или где еще?

Качнулась отрицательно золотистая головка. А, вот, это худо! И очень худо! Куда ж ее теперь? Знал Андрейка долю сиротскую, врагу не пожелаешь. Он, мужчина, насилию выжить сумел — спаси Бог Федора Михайловича. А девке каково? В монастырь или в омут... Снова взглянул искоса Андрейка на девушку, стараясь не поворачиваться к ней изуродованной стороной лица. А ведь красавица писанная! С такого личика воду пить да и только... Хороша! Теперь еще юница совсем, а года через два такая краля сделается, что любой молодец обомрет, такую красоту созерцаючи. И ее-то в монастырь запереть?..

— В Москву с нами поедешь, — сказал Андрейка решительно. — Федор Михайлович для всех сырых и скорбных отец родной. Он тебя непременно приветит и позаботится, и от злых людей защитит. Он ведь святой, милостивец наш. Таких людей, почитай, и нет на свете. Ты не бойся, милая, никто больше не причинит тебе зла. Я обещаю тебе.

Девушка глухо всхлипнула, а затем вдруг зарыдала отчаянно, прижавшись к плечу Андрейки. Он и растерялся даже... Привык он к слезам больных да нищих, привык утешать, но чтобы красная девушка у него на плече плакала — такого не бывало с ним. И не находился он, что сказать и сделать. Боялся даже пошевелиться, боялся, что поднимет она глаза свои

чудные и испугается, лицо его увидев. И даже волос ее тронуть не мог, приласкать отечески — плакала сиротка на левом плече его, а правой-то руки давно не было... А ведь как бы пригодилась теперь...

— Поплачь, милая, поплачь. Легче станет... Тебя как звать-то?

— Варенькой...

— Варварою, значит. А меня Андреем зови. Я, Варенька, сам сирота и от лихих людей много натерпелся. Будешь ты мне, как сестрица названная. Я ведь и убит был, а выжил... И ты, милая, выживешь.

Андрейка ласково шептал плачущей девице утешительные слова, и с удивлением чувствовал, как наполняется его сердце каким-то ранее неведомым, горячим, словно кипящая смола, чувством. Нет, никогда не оставит он теперь этой бедной сиротки. Будет ей хоть братом, хоть псом сторожевым, как сама она пожелает. А только будет — рядом с ней, от всякой беды защищая ее. Всякому человеку нужен кто-то, кто нуждался бы в нем, кто-то, о ком бы мог он заботиться, кому отдать самое лучшее, что живет еще в оледеневшем на студеных жизненных ветрах сердце, кто-то, ради кого хотелось бы биться этому сердцу.

* * *

Иван Озеров умер разоренным дотла. В маленькой церкви, кроме попа и нескольких оборванных дворовых людей, провожал его в последний путь лишь Федор Михайлович. Он и все расходы на похороны взял на себя. Так и не пожелал примириться с ним друг детских лет... Упрямая голова, гордое сердце! Втемяшил себе, будто бы из-за Ртищева нет ему хода по службе, и всякую беду свою стал приписывать ему. Как

наваждение сделался для него Федор Михайлович, во всем чудилось ему недоброе вмешательство прежнего друга. А все попытки примириться считал Иван лицемерием и только хуже ярился, став, в конце концов, совсем безумным...

— Прости, Ваня, — с горечью отдал Ртищев последнее целование Озерову, скорбя о том, что ушел новопреставленный в мир иной в ожесточении и непримиримости.

И сколько уходят так! Или уйдут... Злобились раскольники, теснимые патриархом и Царевой властью, злобился патриарх, гневался Царь. Служилые да и простого звания люди, приняв внешне новые обряды, тайком продолжали молиться по-старому. Упрямые старообрядцы мыкались в ссылках по дальним углам, были мучимы и гонимы за свое упрямство. Где уж тут взяться миру и любви Христовой?

С горечью созерцая нарастающую разладицу русской жизни, все больше устранился Федор Михайлович от дел государственных. Казаки запорожские, памятуя его заботы, по смерти Хмельницкого просили Государя дать им Ртищева в гетманы, а того лучше поставить на княжение в Малороссии. Но не сделал Алексей Михайлович наперсника своего князем Малороссийским, иное поприще избрав для него. И поприща того не могло быть важнее — сделался Федор Михайлович наставником Царевича Алексея, наследника престола московского.

С младенческих лет отличался Царевич похвальной любознательностью и отменной памятью, в учении был способен и усерден. Будущий Государь изучал латинский и польский языки, славянскую грамматику, арифметику, философию. Из-за границы выписывались для него книги и детские потехи, игрушки, развивающие сообразительность ребенка. Юному

Царевичу прочили в жены племянницу польского короля. Венценосному отцу его мечталось, что сын унаследует русский и польский троны и объединит две державы, покончив тем нескончаемую распрю меж ними. Алексей сам встречался с польскими посланниками и держал перед ними слово, явив при том замечательное благоразумие.

Ртищев, не имевший сыновей, привязался к своему питомцу всем сердцем. Он не только обучал его наукам, но и стремился привить не менее, а, может, и более важное — милосердие, понимание не только дел государственных, но и жизни народной, сердца человеческого.

В этот день Алексей вместе со своим наставником приехал в странноприимницу Федора Михайловича. Царевичу шел шестнадцатый год. Тонкий, гибкий юноша с льняными волосами и чуть начавшим пробиваться пухом усов, с ясными, как у отца, глазами и вдумчивым выражением лица, он был похож на херувима. Было что-то неземное в этом царственном мальчике, что-то трогательное и в то же время тревожившее... Говорят, таких неотмирных земля худо держит. Отчего бы? Ведь они более всех нужны ей. И Русской земле так нужен мудрый и милостивый Царь, каким обещает он стать!

У дверей странноприимницы Ртищева и его воспитанника встречал Андрей. Он единственный знал, какой высокий гость переступает порог милосердного дома. Царевич не желал быть узанным и нарочно обрядился в самое простое платье и не взял с собою никого из слуг. Андрею надлежало доложить обо всех обитателях странноприимницы — так, как обычно докладывал он Федору Михайловичу. Тот же присовокуплял к тому пояснения об общем устройении милосердного дома.

— Некоторые говорят, что такая забота только умножает число нищих, — заметил Царевич. — Если можно выпросить кусок хлеба, то к чему зарабатывать его.

— Конечно, ледащие находятся всегда, — согласился Ртищев. — Но большинство несчастных приводит на паперть беда, а не леность. Если среди многих воистину несчастных мы нечаянно поможем нескольким обманщикам, то это не беда. А, вот, если страха ради этих обманщиков лишим помощи и надежды погибающих, обречем их гибели...

— Ты прав, Федор Михайлович, — кивнул Царевич, не дослушав. — Как всегда... Ты умеешь думать о целом, а другие все больше мыслят о мелочах.

Он был не по годам серьезен, этот юноша. И от того светлые глаза его время от времени наполнились затаенной печалью.

— Знаешь ли, я много думал об этом. Дома милосердия, больницы не должны быть делом одной доброй души или даже нескольких. Мы должны создавать их за счет казны. Не должно христианским душам пропадать в канавах... А уж паче того не должно христорадничать увечным ратникам, потерявшим здоровье на Царевой службе.

При этих словах просветлело лицо Андрея, но он не посмел вмешаться в разговор, тем более что «узнавать» Царевича было ему не велено. Ртищев, однако, заметил радость своего верного слуги и едва заметно кивнул ему, в то же время с гордостью и любовью взглянув на воспитанника. Слова Алексея и для его души были истинным бальзамом. Среди распрей, войн и смут чем можно сделать этот мир лучше? Одним лишь — просвещением и милосердием. Смирненным врачеванием ран.

— Это матушка велела передать на нужды твои, — завершив обход, Царевич протянул своему воспитателю

большой, тяжелый кошелек.

Царица Марфа Ильинична с давних пор проявляла большое участие к делам милосердия и часто жертвовала на них немалые суммы, не спрашивая у Федора Михайловича никакого отчета в их трате. Поклонился Ртищев Царевичу:

— Благослови Бог Государыню за щедрость ее!

Алексей с чувством обнял наставника:

— Помоги Бог тебе в твоих заботах о сырых и убогих, никого у них нет, кроме тебя!

Странноприимницу Царевич покинул один, не велел Ртищеву провожать себя. Юноша желал прогуляться верхом, а Федору Михайловичу такие прогулки уже давно сделались весьма затруднительны. В свои палаты возвращался он в коляске, сопровождаемый верным Андреем.

— Не бывает таких царей, — покачал головой «приказчик милосердных дел». — Ягненок да и только! А вокруг стая волчья...

— Много ты рассуждать взялся, — осадил его Ртищев. — Алексей Алексеевич кроток и добр сердцем, но отнюдь не бессловесный агнец. К тому же отец его, благодарение Богу, еще крепок силами, и Царевич успеет довольно возмужать к тому времени, как пробьет час водрузить на свою голову Мономахов венец.

— Когда при нем ты будешь, душа моя спокойна.

— Мои силы не столь крепки... — вздохнул Ртищев. — Но я надеюсь, что кое-что успел и еще успею заложить в его душу... Однако же, я об ином хотел поговорить с тобою.

— Слушаю тебя, благодетель мой.

— Варваре твоей замужем быть пора. Она же мужеского пола дичится, но при том и в монастырь уходить не желает.

При этих словах Андрей вздрогнул и напрягся, что не укрылось от внимательного взгляда пристально смотревшего на слугу Ртищева.

— Чего ж ты от меня хочешь, Федор Михайлович? — глухо спросил Андрей.

Ртищев помолчал, перебирая в пальцах лестовку, затем ответил:

— Хочу, чтобы ты ни себя не терзал, ни ее.

Андрей натянул поводья и остановил коляску, повернулся к Федору Михайловичу:

— Чем же это я ее терзаю?

— Тем же, чем и самого себя. Ведь любя тебе девка, разве я ошибаюсь?

— Она как сестра мне... — хрипло ответил Андрей.

— Я хотя и не поп, но негоже тебе врать мне, — покачал головой Ртищев. — Я не первый день на свете живу. Никогда она тебе сестрою не была. Даже когда ты ее полубесчувственную и насмерть перепуганную привез из Вологды. Видел я, как ты смотрел на нее.

— Пусть так. Что же мне, единственное око вырвать, чтобы оно не соблазняло меня?!

— А, может быть, лучше не око рвать, а сердце открыть — ей?

— Оставь это, Федор Михайлович! — воскликнул Андрей. — Не терзай мне душу! Не искушай!

— Прости, но буду терзать. Почему ты не хочешь поговорить с нею? Вы оба сироты, неволить вас некому. Оба вы в моем доме привечены, и оба получили бы от меня...

— Довольно! — прервал Андрей, забыв от волнения, как следует слуге говорить с господином. — Посмотри на меня, Федор Михайлович! Да меня дети, что черта, пугаются, встретив! Я же урод! Калека!

— Варвара не дитя, — спокойно отозвался Ртищев. — И не воск. Неужели ты не понимаешь, почему так дичится она всех возможных женихов?

Андрей не ответил. Некоторое время молчал и Федор Михайлович. Не дождавшись ответа от слуги, он подвел черту волнительной для последнего беседе:

— Ты единственный человек, которому она верит, к которому привязана. Я хочу, чтобы ты поговорил с нею по душам, не обманывая ни себя, ни ее.

— Да ведь она ангел! Как я посмею говорить с ней в моем безобразии?!

— Позволь ангелу решить вашу судьбу. Она много перенесла и заслужила это.

— Нет, Федор Михайлович, я не смогу говорить с ней...

— В таком случае поговорю я, — решительно сказал Ртищев. — Если я ошибаюсь, и девица вовсе не расположена к замужеству, а в тебе видит лишь брата, быть посему. Ни неволить ее, ни отправлять в монастырь я не стану. Если же я прав, то ты женишься на ней.

— Лучше отошли меня в Крым, пленных вызволять! — вскричал Андрей. — Глядишь, когда меня не будет, она забудет меня, и сыщется для нее достойный жених. Ты прав, Федор Михайлович, она много перенесла и заслужила лучшей доли, нежели калека-муж!

— Трогай, — махнул рукой Ртищев, поморщившись. — Как же тяжело с вами, упрямыми! Хоть кол вам на голове теши, все одно свое твердить будете...

* * *

Просьбу Андрейки Федор Михайлович исполнил, велел собираться в дальний путь — в Крым, выкупать ясыр. Это было еще одной постоянной заботой Ртищева.

Хотя в казну собирался полоняничный налог, шедший на выкуп захваченных турками и татарами русских пленников, но средств этих не хватало. Проклятые басурмане требовали по 250 рублей за людей низшего сословия, а за знатных — по тысяче. Ртищев взялся за выкупное дело на паях с греческим купцом, также озабоченным спасением своих полоненных сородичей. Вместе из года в год собирали они значительные средства и вызволяли на свободу христианские души.

Прежде отъезда поднялся Андрейка в горницу Вареньки, дабы проститься с нею. Ныло сердце в предчувствии долгой разлуки. Прав был благодетель милостивый, никогда не смотрел он на красную девицу, спасенную от разбойников, как на сестру или дочь. Хотел бы да не мог смотреть! Не сестра она была, а греза неисполнимая. Ангел, икона... Что-то, чего нельзя даже в мыслях осквернить низкими помыслами.

— Уезжаю я, милая Варенька...

Так и всколыхнулась краса ненаглядная, даже рукоделие, коим занята была, из рук выронила, подалась навстречу:

— Надолго ли?..

— Надолго. В Крым едем, пленников наших из неволи выкупать.

Варенька прижала к груди белые руки, глаза ее испуганно округлились:

— В Крым? Да ведь это опасно!

Андрейка чуть улыбнулся:

— Нисколько, милая. Я ведь все что посол. А послов не трогают. А уж паче таких, что привозят большой выкуп.

— Кто знает, что можно ждать от басурман... — покачала головой Варенька, и лицо ее сделалось еще печальнее. — Разве же некого было послать, кроме тебя? Ведь ты правая рука Федора Михайловича!

— Поэтому он меня и посылает. Он доверяет мне.

— Я не хочу, чтобы ты уезжал, — прошептала девица, и на длинных ресницах ее блеснули слезы.

У Андрейки ком подкатил к горлу, занялось пламенем прерывисто бьющееся сердце. Вишь как горюет касаточка о нем! А что если прав милостивец Федор Михайлович?..

— Ты все, что есть у меня! Что станет со мной, если с тобой что-то случится?

— Со мной ничего не случится, Варенька. Я вернусь цел и невредим, обещаю тебе!

Прямо смотрели на Андрейку огромные серые глаза, подернутые поволокой слез, и столько было в этих глазах страха за него, столько преданности ему, что он не выдержал и, рухнув на колени, воскликнул:

— Варенька, касаточка моя ненаглядная, одно скажи: когда вернусь, пойдешь ли за меня?! Не погнушаешься ли мной таким?!

Девица вздрогнула и посмотрела на Андрейку в изумлении. От ее молчания оборвалось сердце. Вот же, дурень! Кой черт за язык дернул... Ну, какой из него жених для такой крали? Таких женихов на огороде выставлять ворон пугать, а он туда же! Теперь и на глаза ей показаться невозможно станет, лучше бы и не возвращаться из Крыма...

Но Варенька вдруг подалась вперед и сама опустилась на колени. По бледному лицу ее струились слезы.

— Милый мой, свет мой, да неужто дождалась я счастья своего... — с этими словами она прильнула щекой к изуродованной щеке Андрейки, и он, почувствовав теплую влагу ее слез, с трепетом обнял свою казавшуюся недосыгаемой грезу.

— Радость моя, может ли быть, чтобы это взаправду... Может ли быть, что пойдешь за меня?

— Да ведь я за тобой хоть на север далекий, хоть в пустыню, хоть куда пойду! Босая да раздетая пойду,

лишь бы только ты был рядом.

Еще крепче обнял Андрейка Вареньку, касаясь губами пшеничных волос:

— Ну, теперь-то уж точно ничего не страшно мне, теперь-то уж точно вернусь я, и уж впредь ничто не разлучит нас!

Москву Андрейка покидал обрученным женихом, и от того впервые исполнено счастья было его настрадавшееся сердце. Дорога до Крыма, хотя далека и нелегка была, но обошлась безо всякого обстояния. Цел и невредим добрался «приказчик милосердных дел» со своими людьми и сундуком серебра до обломка некогда могущественной Орды. Край этот навевал на Андрейку тоску. Глядя на многочисленные суда, вздымавшие стройные мачты у берегов Черного моря, он думал о том, что на каждом из них томятся в цепях его единоверцы, и каждый день кто-то из них умирает «на веслах» от непосильной нагрузки, под ударами кнута... А привезенного серебра достанет на выкуп лишь немногих.

Тучный татарский бей жадно пересчитал жирными пальцами вожделенные монеты. Крохотные щелки его глаз блестели от алчного удовольствия. И то сказать, целое состояние получала басурманская рожа за вереницу полутеней, что были выстроены в цепях у берега.

— Можешь забирать их! — махнул униженной драгоценными перстнями рукой татарин.

— Вели сперва снять с них цепи.

Бей сделал знак своему подручному, и тот, лязгнув ключами, стал неторопливо расковывать пленных. Среди них были глубокие старики, и Андрейка подивился, сколь же крепка была их порода, что вынесли они такие муки и лишения, а, главное, самую безнадежность своего положения. Столько лет в иноплеменном рабстве! И выжить, и не лишиться

рассудка... Чем только держались эти старцы? Какая вера давала им силы? Во что? Неужто в то, что однажды и их выкупят из неволи, и они снова смогут обнять своих родных? А что-то случилось с родными в эти годы? Ждет ли еще кто-нибудь их в родных краях?

Освобожденные пленники один за другим проходили мимо Андрейки, кланяясь и благословляя его. Многие плакали. Поодаль ожидали их приехавшие с Андрейкой ртищевские люди, коим было наказано всех вырученных пленников накормить, выдать им одежду и немного денег на первое время по возвращении.

Измученные люди, усевшись в тени, жадно ели, укрепляя изможденные силы, прежде чем отправиться в долгожданный путь на Родину. Один из стариков, седой, как лунь, с прозрачными, но еще живыми и неожиданно бодрыми глазами, время от времени отвлекался от еды и пристально всматривался в Андрейку. Тот, занятый подготовкой к отправке в обратный путь, не сразу заметил этот взгляд. Скорее он даже не заметил его, а почувствовал.

— Чего ты все смотришь на меня, отец? — окликнул Андрейка старика.

— Сам не знаю, милостивец мой, — отозвался тот. — Почему-то почудилось мне, будто встречал тебя прежде. Хотя того не может быть, я уж четверть века как в плену. А ты в плену не бывал ли?

— Бог миловал. Как звать тебя, старче?

— Елисеем кличут. Служил я в давние поры в стрелецком войске. Бились мы с басурманами во славу Царя-батюшки. Но не свезло мне. Взяли меня в бою раненым, а дальше что рассказывать... Сам видишь.

Когда старик назвал свое имя Андрейка почувствовал смутное волнение.

— Елисеем, значит... А по батюшке?

— Андреевы мы.

Совсем замутилось на душе у Андрейки. Опустившись перед стариком на корточки и теперь уже сам всматриваясь в его прозрачное от худобы лицо, он спросил:

— А что, Елисей Андреевич, родня-то есть у тебя?

— Кто ж его знает, милостивец, кто у меня теперь есть. Четверть века прошло! Поди и вспоминать некому...

— Но ведь был же кто-то? Кто-то же ждал тебя? — допытывался Андрейка.

— Ждали, как же... Жена, Василиса Власьевна, да сынок, Андрейка...

У Андрейки защипало в глазу, губы его задрожали.

— Померла, Василиса Власьевна, — тихо прошептал он. — Еще прежде, как недобрая весть пришла, что ты в дальнем походе сгинул...

Старик вздрогнул, глаза его расширились.

— А... Андрейка? — вырвалось хриплым выдохом.

— Я — Андрейка... — отозвался «приказчик милосердных дел». — Андрей Елисеев...

Мелко задрожали плечи освобожденного пленника, потекли обильно слезы по впалым щекам, и в следующий миг сомкнулись худые руки на шее Андрейки:

— Стало быть, и впрямь встречал я тебя, сынок... Ну, здравствуй же! Вижу, и тебя судьба испетняла...

— Это ничего, тятя, — отвечал Андрейка, обнимая чудесно обретенного родителя. — Это все ничего... Теперь все хорошо будет. Теперь мы в Москву поедem, к моему господину, Федору Михайловичу Ртищеву. Там ждет меня моя невеста, Варенька... Господи, мог ли я ждать большего подарка к нашей свадьбе? Будешь ты скоро, тятя, на нашей свадьбе пировать, а потом внукам радоваться! А уж мы тебя холить станем за все годы потерянные, за все муки твои!..

Тускло мерцали лампы у древних икон, оплывали печально свечи. Иные из икон этих Никон, пожалуй, распорядился бы выбросить вон да и сжечь, ибо неправильного они, фряжского письма. Это письмо и не любо Федору Михайловичу было, и верно, что неправильно оно, от традиции православной отлично, но принадлежали те образа еще отцу, а прежде деду, поколениями ртищевского рода намолены были. Так что ж теперь, попить их?..

Перекрестился Ртищев немеющей рукой, закашлялся от душного ладанного духа. Ему не было и пятидесяти, но силы стремительно оставляли его. Федор Михайлович умирал и ясно ощущал холод приближающейся смерти. Он не боялся ее. Другая смерть уже сломала его, опустошила.

Три года назад внезапно скончался шестнадцати лет Царевич Алексей Алексеевич, надежда Земли Русской, отрок смиренномудрый и добродетельный, упование всех скорбящих. Тяжелее отца и матери принял потерю возлюбленного питомца Ртищев. В нем последние шесть лет видел он главный смысл своей жизни, возвращая его для подвига царского, надеялся со временем выправить то многое зло, что явилось теперь в Русской земле.

И вот разрушилось все. Перестало биться ангельское сердце будущего Государя. Теперь брат его, Федор, наследует ему. Он также светел разумом и чист душой, да только скорбен телом, часто и долго хворает, и не дают лекари долгих лет несчастному отроку... Что ж, неужто пресечься роду Романовых? Словно возгневался Господь на Царя Алексея, поразив его в мужском его потомстве. Девы рождались крепкими и

полными сил, а мальчики один другого слабее... В родах изнемогла и милосердная Царица Марфа.

Уж не за распрю ли церковную, не за пагубу ли душам невинным взыскивал Господь? Ох и тяжела рука Божия... И как прощение вымолить? Молил уже из последних сил Ртищев Государя преклонить гнев свой на расколоучителей и последователей их на милосердие, попытаться залечить любовью и прощением страшные раны, укротить страсти и замирить враждующих. Но не тих теперь стал прозванный Тишайшим. И с самим Никоном успел рассориться он, и гневом пылали они друг на друга. Разломы, разломы покрывали Русь, и некому было латать разодранные ризы. Только пуще и пуще разрывали их жестоковейные, в клочья...

Ртищев затворился в своем тереме, привычно хлопотал о нуждающихся, утешался чтением богомудрых книг. И таял, чах, не пытаюсь противиться неизбежному.

— Батюшка барин, там Андрей Елисеев приехал! — негромко известил слуга дрожащим от рыданий голосом.

— Зови скорее!

Андрей в тот же миг явился на пороге, на ходу снимая шапку. В последнее время жил «приказчик милосердных дел» с семейством своим домом. Прав оказался Ртищев, предвидя в этом союзе совершенное счастье. И счастье верного слуги было одним из утешений Федора Михайловича.

— Батюшка-милостивец, да что же это?! — бухнулся Андрей на колени возле господского одра. — На кого ж ты нас оставить надумал? Ведь пропадем без тебя!

— Полно, Андрюша, где тебе теперь пропасть! Ты теперь крепко на ногах стоишь. И в завещании моем не забыт останешься. Об одном прошу: страдальцев наших

не забывай без меня! Заботься о них, как если бы я жив был!

— О том мог бы и не поминать, нежели я долг свой забуду!

— Не забудешь, верю, — кивнул Ртищев. — Дочерям и зятьям я также наказал больницу и странноприимницу беречь. А холопам всем вольные подписал... Не басурмане мы, чтобы невольников держать... Не им теперь свободу даю, а себе, хочу на суде Божиим свободным от всякого непотребного имения предстать.

Тихо всхлипывал Андрей, лобызая руки своего господина.

— Полно! — Федор Михайлович чуть приподнялся. — Что жена-то?

— Через месяц еще одно дитя ждем, думали, ты окрестишь...

— Прости, не успеть мне уже... — Ртищев снова откинулся на подушки. Он не велел раздевать себя, и лежал поверх покрывала в шубе, без которой бил его жестокий озноб, в мягких сафьяновых сапогах.

— Ухожу я, Андрюша, — тихо сказал Федор Михайлович.

— К Государю бы послать надо, батюшка-милостивец!

— Не надо тревожить Государя. Ему я письмо написал, испросил прощение за все, чем был и не был виноват... Не его теперь видеть хочу. Позови сюда нищих...

— Нищих?

— Нищих, убогих, всю нашу сирую братию призови... С ним прощаться буду. Их в последний раз наделить хочу!

Нетрудно было исполнить желание Ртищева. Нищие и так часто бродили окрест его дома, надеясь быть накормленными или получить милостыню, когда же

прошла молва о том, что милостивый муж, почитаемый в Москве святым, тяжко занемог, то сирая братия собралась у его палат — не за милостыней и похлебкой, но молясь о своем благодетеле и желая хоть что-нибудь проведать о здравии его.

И, вот, отворились ворота, и все это сборище хромых, слепых и гугнивых, бесшумно устремилось за Андреем в барские хоромы. В полутемной горнице все они, как один, пали на колени, но не заголосили плакальщицами, щадя покой умирающего, а лишь тихо всхлипывали и крестились:

— Батюшка наш родимый, пропадем без тебя!

Ртищев подозвал Андрея и велел усадить себя. Тот сел подле, поддерживая уже не могшего самостоятельно сидеть господина. Дрожащая рука в последний раз осенила крестом христорадную братию.

— Теперь дай им, что должно...

Андрей бережно опустил Федора Михайловича на подушки и, взяв кошелек, вручил каждому убогому по монете:

— На помин души благодетеля нашего, болярина Феодора.

Один за другим на цыпочках покидали нищие горницу своего попечителя, кланяясь его одру и шепча молитвы. Когда дверь за последним из них затворилась, Андрей приблизился к неподвижно лежащему Ртищеву. Лицо милостивого мужа сияло тихой радостью, а пронзительно синие глаза были широко распахнуты, но уже не излучали тепла и ничего не видели. А если и видели, то уже не здесь, а где-то далеко-далеко, где встречали его возлюбленная родительница, преставившаяся, когда был он еще мал, и безвременно отнятый воспитанник, не сбывшийся богомудрый Царь Святой Руси.

Казачья быль (Афанасий Иванович Бейтон)

Грамоте выучил меня, Лукьянова сына Ивана, в дни албазинского сидения крестный мой Афанасий Иванович Бейтон. Родительница моя, Богу душу отдавая, наказала мне идти к нему: человек он, де, милостивый, сироту не оставит. Сиротою же остался я, когда желтолицые манзы¹⁵ сожгли нашу Покровскую слободу, перебив или пленив ее жителей. Так богдойцы отомстили за свой дозор, вырезанный нашими казаками на Левковом лугу...

В Покровской слободе мать моя жила в семье брата после того, как погиб ее муж, отец мой Лукьян. О родителе моем ведомо мне немного. Знаю, что дед мой, Степан, в Сибирь попал вместе с Никифором Черниговским. Сей Никифор в Смоленскую войну на стороне ляхов сражался супротив Москвы с другими запорожцами. И он, и дед Степан, были царскими стрельцами взяты в плен и отправлены охлаждать буйство нрава своего в Сибирь. Правда, кровь запорожскую никакой холод остудить не властен. Атаман Никифор крепко повздорил и илимским воеводою и убил его. И не миновать бы топора лихой головушке, когда бы не ушел атаман со своими казаками подале от Царевой десницы. За Амуром поставили они крепостицу Албазин, вокруг которой разбили несколько селений. Жили хлебопашеством, лесным и речным промыслами, а к тому собирали ясак с местных племен.

В конце концов, как бывало прежде, от самого батьки Ермака начиная, Москва простила Никифору разбой за расширение владений Царя московского и

пополнение всегда нуждающейся московской казны. Атаман был поставлен албазинским воеводою и с верными казаками ходил в походы по берегам Аргуни и Амуре, освобождая из плена русских людей.

При Государе Феодоре Алексеевиче возведен был Никифор в дети боярские и направлен в Красноярск. Дед же мой с семейством обосновался в окрестностях Албазина. Сын его, мой отец, жил службою, и когда сгинул он, матушке моей ничего не осталось, как со мной, младенцем, перейти на попечение брата. Здесь-то и застигла ее беда. Из горящей братней избы все пыталась она спасти что-то и оказалась придавлена рухнувшею балкою...

Казаки наши, само собою, не оставили злодейства без возмездия. Настигнуть косоглазых разбойников тотчас помешал им начавшийся на Амуре ледоход. Однако, едва только лед стал, удальцы перешли на другой берег и уничтожили богдойский разъезд и село Эсули, захватив при том добычу и пленных. Руководил тем делом мой крестный, Афанасий Иванович, с которым я, схоронив родительницу, разминулся и вынужден был ожидать возвращения его в самом Албазине.

— Ты, стал быть, Лукьяна Степаныча сын будешь? — таков был первый вопрос крестного, как только меня привели пред его очи.

Говорил он с заметным чужеземным выговором, но только это и выдавало в нем природного пруссака. В остальном — истый казачий богатырь! Ростом невысок, зато косая сажень в плечах и кулачищи, что твоя голова. Чекмень синий, папаха мохнатая... Длинные пшеничные с проседью усы при выбритом чисто подбородке. В зубах трубка, в желтоватых глазах — озорные огоньки. Лихостью и надежностью веет от него. Лихостью, но не злостью. Он, хотя и провел весь век в битвах, и жизнь ему, своя или чужая — полушка,

жестокостью не напился. И в молодых не по летам глазах чувствуется природное добродушие.

— Скажи-ка, как время летит... Я тебя еще в купели помню. Настоящий казак, не орал даже, когда поп тебя кунал, — говорил крестный, с любопытством меня разглядывая.

Я о ту пору, хотя и крепок был, да тощ и вида не представительного. Афанасия Ивановича видел я в тот день впервые, ибо дня крещения своего помнить не мог. Немало, однако, бывал я наслышан о нем от матери моей. Покинув родную Пруссию, солдат Бейтон добровольно поступил на русскую службу. Сражался с ляхами под Смоленском и Шкловом, Быховом, Слуцком, Ригой, Мстиславлем... Защищал Могилев. Когда же очередная война с неумными ляхами кончилась, был возведен в дети боярские и призван в самую столицу, в Москву. Вот, только не прельстило славного пруссака придворное житие и бил он челом Государю о переводе в Сибирь. Здесь Бейтон женился, для чего крестился в православную веру. Так-то и стал он Афанасием Ивановичем. С сибирскими казаками он храбро сражался против джунгар и енисейских киргизов, занимался набором местных полков и их обучением в соответствии с передовой европейской воинской наукой. Когда же Богдыхан вознамерился покуситься на русские земли, под начало Афанасия Ивановича был поставлен полк в 600 душ. Полк сей был направлен в Албазин.

Жаль, родитель мой не дожил до сего дня. С Бейтоном сошлись они еще по службе в Енисейске. И идти бы теперь казаку вместе со своим атаманом в родные края, да спит он кой год в ледяной земле. Не в бою сложил удалую головушку родитель мой, а сгинул на охоте, угодив шатуну в лапы...

Долго рассматривал меня крестный и, видать, недоволен остался.

— Зря ты, сынок, сюда пожаловал. Лучше бы тебе до Нерчинска податься. Здесь, сам, небось, не маленький, видишь — скоро жарко будет!

— Вижу, — отозвался я. — Так зачем же мне в таком разе Нерчинск? Чего я там позабыл? У меня там ни родни, ни знакомых. Мамка, помирая, велела мне до тебя идти. Сказала, что ты мне за отца будешь.

Усмехнулся атаман, погладил длинный ус:

— А на что мне здесь малец? Мне, Ивашка, солдаты нужны. С богдыхановым отродьем биться. А тебе... мамкину титьку сосать еще.

Вспыхнул я от слов этих! Меня, казака, в сосунки записывали! Так и налетел я на Афанасия Ивановича:

— Чем я не солдат?! Не казак?! Дед мой первый Албазинский острог закладывал и в этой земле лежит! Мать со всей семьей проклятые манзы убили! А ты хочешь, чтобы я в Нерчинск ушел?! Не бывать этому! Я за мамку отомстить должен!

Что-то еще кричал я моему крестному, бил себя в грудь, доказывая свое мужество, а у самого слезы на глазах закипали от обиды. А Афанасий Иванович рассмеялся только на мои крики:

— Ну! Ну! Полно лаять, не на псарне. Казак, говоришь? С манзами биться желаешь? А оружием хоть каким, кроме плуга, владеешь ли?

— Владею! — выпалил я, но при том покраснел, ибо с оружием толком не приходилось мне знаться. Отец помер рано, а дядька был пахарем, а не воином, хотя, конечно, как и все местные, оружие имел и в охоте не последним слыл...

— Врешь, — спокойно заметил крестный.

Я понурил голову, со страхом и негодованием представляя, как этот прусский казак отправит меня в Нерчинск. На коленях, что ли, молить его? Да не позволяло ретивое! Сей острог мой дед закладывал! И не какому-то пришлому Бейтону меня выгонять!

— Семейка! — неожиданно рыкнул Афанасий Иванович.

На его зов прибежал долговязый парень лет четырнадцати. Длинный, худощавый, но жилистый, весь словно бы из мускулов вылепленный, он был смугл и черноволос, черные глаза его светились веселостью, а губы, над которыми пробивался темный пух, так и стремились растянуться в улыбке, обнажающей ровные, белые зубы.

— Гляди, Семейка, — сказал ему Бейтон, раскуривая трубку, — охотник сей ратному ремеслу учиться желает. Испытай-ка его ты. Коли годен покажется, так наставляй его, как старший брат младшего.

Семейка лукаво осклабился и кивнул мне чубатой головой:

— Ну, пошли, охотник! Попытаем друг дружку!

Я готовно последовал за ним на двор. За нами вышел и Афанасий Иванович. Он расположился на крыльце, приготовившись наблюдать за нашим «сражением». Само собою, меч мне в тот раз никто в руки не дал. Мы вооружились лишь палками. Мой противник был и старше, и сильнее, и опытнее меня, но явно бился в полсилы, позволяя мне проявить себя, показать, на что я годен. Теперь, спустя много лет, мне нестыдно признаться: годен я был мало на что... Мне шел одиннадцатый год, и я никогда не держал в руках меча. Неудивительно потому, что Семейка, нисколько не утруждаясь, играючи, одною рукой, отражал все мои нападки, я же был им неоднократно повержен. Причем повергал он меня — так же, как и отбивался. Словно невзначай, не прилагая ни малейших усилий. Все же несколько раз мне удалось проявить ловкость и увернуться от удара, а однажды — даже дотронуться до Семейки своей палкой.

— Ну, будя! — пробасил с крыльца Бейтон, когда я вновь очутился на земле с разбитым носом. — Сосунок

еще не пес, но псом будет... У него есть воля и он умеет подниматься на ноги. Учи его, Семейка! Его дед основал эту крепость, пусть же внук защищает ее вместе с нами.

С этими словами Афанасий Иванович ушел, а Семейка протянул мне, до одури счастливому, свою сильную, до черноты загоревшую руку:

— Поднимайся, братка! И айда ко мне!

Я тотчас вскочил на ноги и последовал за своим наставником. Семейка обитал в коморке при оружейном складе:

— Входи! — пропустил он меня. — Здесь двоим места довольно будет!

— Ты здесь живешь?

— Да, с тех пор как погиб отец... — лицо моего наставника затуманилось. — Это верно, что твой дед с батюшкой Никифором основал Албазин?

— Мой дед был его сподвижником! А твой отец? Как он погиб?

— Как и многие казаки, защищая крепость от богдойской нечисти, — вздохнул Семейка, ставя на служивший стол чурбан кувшин молока с краюхой хлеба. — Ешь! Тощий ты, что щепка... Богатырю силы нужны!

— Ты тоже дородностью не красен, — усмехнулся я.

— Я — другое дело, — Семейка потянулся длинным телом. — Я зато как уж свернуться могу, в любую щель просочусь, по любой веревке пройду, как по мосту.

— Про веревку — врешь, небось!

— Я никогда не вру, — фыркнул мой названный брат.

С Семейкой мы поладили легко. Коренной албазинец, он охотно рассказывал мне о крепости, о которой дотоле знал я лишь по семейным преданиям да людской молве.

В описываемую мною пору богдойский царь Канси великую мечту заимел прогнать русских с берегов Амура. И часто-часто стали являться в наших землях отряды желтолицых манз. Албазин сразу стал им бельмом на глазу, и богдойские фудутуны¹⁶ приезжали в крепость под видом заблудившихся охотников. Приказчик Лоншаков, сменивший атамана Никифора, принимал дорогих гостей с распростертыми объятиями и слишком поздно понял, что хитрые манзы использовали русское гостеприимство для изучения крепости...

В скором времени фудутун Лантань привел на Амур построенную на Сунгари флотилию и напал на казачий отряд, везший провиант в Долонский и Селемджинский остроги. Крепостицы эти, лишенные еды и пороха, пришлось оставить без боя, и враг устремился к острогу Верхнезейскому. Крепость сию защищали лишь 20 казаков. И — поверите ли? — эта горсть удальцов целых полгода удерживала натиск 400 воинов Богдыхана! За это время растяпу Лоншакова заменили на воеводу Алексея Толбузина. Потомственный тобольский казак, он прибыл в Албазин к самой что ни на есть раздаче. Три тысячи богдойцев при восьми сотнях конницы подошли к стенам крепости, за которыми укрылись 450 казаков и жившие в окрестных деревнях крестьяне. Некоторые не успели бежать и были захвачены в плен... Корабельные пушки Лантаня расстреливали плоты, на которых пытались спастись поселяне — старики, бабы, младенцы...

Слушая об этом, я, конечно, не мог не вспоминать родную Покровскую слободу, как жгли ее проклятые манзы, как убили дядьку Еремея, как погибла незабвенная матушка...

— Наши стены были ветхими, — рассказывал Семейка. — Ядра ломовых пушек пробивали их

насквозь. За три дня у нас погибло больше сотни людей! Амбар сгорел, из трех пушек одна была разбита... Тогда манзы пошли на приступ! Ты еще увидишь, как они идут... Под барабанную дробь и звон цимбал, выжигая землю перед собой... Казалось, они просто сметут нашу хрупкую крепостицу! Но манзы не знали, что кроме стен Албазин ограждает глубокий ров. Его не чистили годами, и он так переполнился илом и нечистотами, что издали сливался с землей... Манзы бросались через ров к нашим стенам и проваливались, точно в болото! О, какой это был восхитительный миг, братка! Толпа манз, увязших во рву, не могущих бежать... Наши стрелки убили их всех! Но Лантань не остановился. Богдойцы лезли на наши стены, идя по телам своих убитых. Мы бились с ними день напролет! Мы убили сотни врагов, но их было больше, а у нас закончился порох. На другой день манзы стали вырубать лес и заваливать ров. И тогда наш батька Лексей поставил Лантаню условие: либо мы будем сражаться до последнего воина, либо нам позволят беспрепятственно уйти в Нерчинск.

— А твой отец?..

— В день приступа он и еще 25 смельчаков бросились на богдойцев, стремясь захватить их знамя. Они погибли все, не взяв знамени, но взяв с собой по дюжине врагов на каждого! — при этих словах черные глаза Семейки блеснули. Он очень гордился отцом и мечтал быть похожим на него.

Гарнизон Албазина благополучно добрался до Нерчинска. Здесь сын нерчинского воеводы Алексей Ларионович Толбузин соединил свою изрядно побитую в боях рать с отрядами забайкальских казаков, ополчением и полком Бейтона. Тогда же собранный по почину Толбузина Войсковой Круг единодушно отказался учинять себе побежную славу из Албазина.

Через два месяца после оставления крепости русские струги вновь причалили к тому месту, где возвышалась она. К тому времени манзы взорвали ее и ушли зализывать раны в Айгунь. Еще два месяца потребовалось тысяче людей, пришедших с Толбузиным и Бейтоном, чтобы восстановить разрушенный острог.

Строительством новой крепости руководил мой крестный. Он единственный владел сложной наукой с мудреным названием, которое не враз сумел я повторить — фортификацией. Новый острог возводился по казацкой росписи. Рыли глубокие рвы, землю из них высыпали на широкие решетчатые срубы из толстых стволов деревьев — так вырастал невысокий вал с широкой верхней площадкой, по которой можно было передвигать пушки. Такое устройство давало сразу три выгоды: земля, взметаемая взрывом, не наносила вреда людям, в земле увязали вражеские ядра, по валу можно было быстро перебрасывать наличные силы.

— Когда бы нам к этому еще пушки хорошие! — мечтательно вздыхал Семейка.

С пушками в Албазине дело было худо. Восемь медных старушек да три легких затинных пищали времен батюшки Хабарова. Да старинная мортира, стрелявшая пудовыми ядрами и нещадно поглощавшая порох...

Все это мне только предстояло увидеть, узнать, понять. А самое главное — научиться воевать, чтобы не стать для готовящегося к осаде острога обузой и лишним ртом. И я старался изо всех моих сил!

Через несколько дней после моего водворения в Албазине случился большой переполох. Желтолицые манзы сожгли Большую заимку — село в каких-то 10 верстах от нашей крепости! Горячо возмутились этому наши удалые казаки! Как теперь вижу на площади их негодующие чубатые головы, их взметенные ввысь шашки, слышу яростный рев сотен глоток, требующих

немедленного возмездия супостатам! На крыльце — энергичный, всюду поспевающий батька Лексей — воевода Толбузин. Русоволосый, с окладистой бородой, мягкими чертами лица и ясными синими глазами, он был похож на самого настоящего сказочного богатыря. Рядом с ним — Бейтон. Ухмыляются чему-то желтоватые глаза. Могучая рука лежит на рукояти палаша, который привычнее ему, нежели казачья шашка. Неизменная трубка в зубах. Неизменное спокойствие.

— Что, братцы, пора, что ли, показать тьме богдойской, где раки зимуют, и отбить у них охоту вторгаться в наши приделы? — вопрошает он, лукаво щурясь.

— Пора, батька Афанасий! Пора! — орут казаки и ополченцы. — Веди нас на косоглазое отродье! На самого Богдыхана-дьявола веди!

Афанасий Иванович улыбается:

— Добре, братцы! Поучим богдойцев зарвавшихся уму-разуму!

В тот же вечер влетевший в нашу коморку Семейка с восторгом известил меня, что идет с отрядом Бейтона на Хуму! Можете представить себе, как зашлась моя душа! Как нестерпимо мне хотелось пойти в поход с моим названным братом и крестным! Но на сей раз Афанасий Иванович был непреклонен:

— Это тебе не в лес по грибы сходить! Здесь мне люд отборный надобен!

— А Семейка что ж?.. Он самую малость меня старше!

— Иногда и малость велика случается. Семейка ко всякому дозорному что твоя тень подберется, неслышим, невидим, по всякой балке пройдет, во всякую щель просочится. Такого, как он, ни один самый справный богатырь не заменит. Ступай и не докучай мне впредь!

Каюсь, но и в том могу признаться ныне: страшно завидовал я моему названному брату в те дни. И в то же время очень боялся за него. Хума была средоточием богдойских сил. Именно оттуда совершали манзы свои поиски вверх по Амуру. Вьюжным зимним днем их разъезд едва успел выйти из-за стен на построение, как восемь конников были уложены наповал меткими выстрелами. Манзы не успели опомниться, как из примыкающей к крепости боковой лощины на них бросились с волчьим воем наши удальцы. Перепуганные воем лошади сбрасывали всадников и убегали, а те немедленно гибли от рук мстителей. В считанные минуты ворота крепости были распахнуты настежь, и в них с победным кличем влетели две сотни казаков во главе с моим крестным. Гарнизон Хумы был изрублен. Мы же в том деле потеряли лишь семь душ.

Победителей Хумы в Албазине встречали ликованиям. Ликовал и я, но к ликованию моему примешивалась грусть. Я с восхищением смотрел на Семейку, гарцующего на вороном коне — наездником он был непревзойденным! Он мог вскочить ногами на седло и проехать круг стоя, и конь не сбрасывал его. Я смотрел на своего наставника и с тоской понимал, что мне никогда не стать столь же ловким, как он!

В таких сокрушениях стоял я у крыльца, пока победители делились с окружившими их товарищами подробностями славной вылазки. Вдруг кто-то потрепал меня по голове:

— Не горюй, сынок! Всякому псу — свое время драться. И на твой век придется еще вдоволь драк! Еще успеешь осатанеть от них... — грубоватый голос с неподражаемым выговором звучал почти ласково, и кончик длинного уса щекотал мне щеку. Склонившись ко мне, стоял передо мной улыбающийся крестный. Мне, сироте, захотелось обнять его, как обнимают

сыновья вернувшихся из походов отцов. Но я отчего-то смутился... Подобают ли казаку такие нежности?

* * *

Албазин... Как теперь вижу я невысокие, но крепкие стены его, еще не потемневшие от времени, только-только возведенные мастеровитыми руками. Вижу и всех товарищей моих... Вот, объезжает горячего жеребца босоногий Семейка. Ни седла, ни уздечки нет на коне, но легко держится на мускулистой спине молодой казак. Конь стремительно мчит по кругу, и вдруг Семейка совершает непостижимый разуму прыжок и становится на спину жеребца. Как, на каких крыльях держится он?! Казаки восторженно орут, одобряя удаль юноши. Он же на ходу спрыгивает на землю. Чудо да и только!

А, вот, пузатый Гришака, наш главный силач. Он один способен сдвинуть с места громадную мортиру. Он же в часы тревоги бьет в огромный запорожский барабан... Голос его похож на тот барабан и на залпы орудий, ибо Гришака туг на ухо...

На крепостной стене совещаются о чем-то наши атаманы — батьки Лексей и Афанасий... С каким благоговением смотрели мы на них! Мы верили им, да простится мне кощунство, пуще, чем в Пресвятую Троицу. Они были нам и царь, и бог... Иных царей мы не ведали.

Да и цари не ведали и не шибко желали ведать нас. Московское царство все больше смотрело на запад, ратилось с ляхами и прочими латынянами, а Сибирь... Здесь хозяйничали мы, вольные люди, которым тесно было в земле Московской. Московское царство к тому времени еще не успело залечить раны Смутного

времени, зато успело самое себе нанести раны новые, расколов и Церковь Христову, и народ православный...

Я солдат, казак, не искушен в вопросах веры. Но и теперь не могу я взять в толк, от чего и для чего затеялась та всевеликая распря? Не все ли равно Господу Богу, двумя или тремя перстами крестится верящий в Его благодать? По солнцу или же супротив солнца обходят храмы? В наших краях почти никто не знал грамоте, не читал Писания, мы просто верили в Христа и Его Пречистую Матерь, с тем шли мы на смерть, сражаясь с супостатами, с тем отдавали грешные наши души за други своя... Мало ли это? И что еще надлежало нам знать? Не ведаю. А как по мне, так нам простой той веры довольно было...

Мужам же ученым ее, видать, показалось недостаточно. И пошел от них, ученых мужей, разлад и вражда промеж братьев... И Сибирь наша пополнилась новыми жителями, кнутом дранными, на дыбах искалеченными — раскольниками. В чем была их вина? Ни тогда в малолетстве, встречая их, ни ныне, приближаясь к седьмому десятку лет, не могу уразуметь.

А тут еще, сказывали, по смерти Царя-батюшки Алексей Михайловича большие которы промеж детей его начались. А особливо промеж царевичем Петром и царевною Софьей...

Где уж тут было московским боярам о делах сибирских да Богдыхановой угрозе помышлять! Свои бы головы да титлы сберечь в сумятице!

А, вот, нам голов наших буйных не сносить было...

Полгода минуло со дня истребления Хумы, когда полчища манз подошли к нашим стенам. 150 судов доставили четыре с половиною тысячи богдойских солдат, три тысячи конников шли берегом... Наши разведчики успели вовремя донести об угрозе, и на сей

раз манзы не обрели никакой добычи на пути к крепости: селяне успели бежать, а поля были сожжены.

Когда богдойцы стали выгружаться на берег и окружать Албазин, ворота крепости распахнулись, и из них во главе пяти сотен храбрецов вышел мой крестный. Отряд тотчас ринулся вниз по крутому склону и бросился рубить не успевшие перестроиться в боевой порядок полки Лантаня. Волчий вой огласил амурский берег! С этим звуком всегда шли в бой наши казаки. И только один хрипловатый голос нарушал этот волчий хор яростным рыком:

— Майн Гот!

С этим рыком обрушивал Афанасий Иванович свой тяжелый палаш на вражеские головы.

Мы с Семейкой с замиранием сердца следили за боем с крепостной стены. На сей раз нас не взяли на дело обоих. И оба мы дрожали от досады и желания быть там, в гуще драки! Там, где наши удальцы, прорубаясь сквозь скопище манз, рвались к самой реке, туда, где стояли богдойские суда с оружием и продовольствием!

Наконец, разметав желтолицые полчища, трупами врагов и товарищей проложив себе путь, казаки достигли пристани, и в тот же миг вспыхнули корабли. Огонь, охвативший передние из них, весело побежал по палубам, перескакивая на крыльях ветра с мачты на мачту, уничтожая флотилию Богдыхана.

— Ура! — завопили мы с Семейкой, обнимаясь и подпрыгивая от радости.

Еще чуть-чуть, и вся армия Лантаня была бы разгромлена, не начав осады! Но этого «чуть-чуть» нам и не достало... Нам не достало считанных пары сотен воинов, что ударили бы во флаг манзам. Зато им, желтолицым дьяволам, солдат хватало. Их конница атаковала наш отряд, но Афанасий Иванович, всегда предугадывавший действия врага, успел перестроить

нашу фланговую сотню, и она ударила навстречу богдойцам, позволив нашим удальцам отойти в крепость. Их встречали, как победителей, каковыми они и были, но Бейтон против обыкновения был мрачен и потому поспешил скрыться у себя под предлогом раздумий над новой вылазкой. Когда я сторожко проник к нему, крестный сидел в полумраке, опершись на свой палаш, пил вино, к которому сохранил привычку еще со времен своей прусской юности, и каким-то невидящим взглядом смотрел на лежавшую на столе карту.

— А, сынок! — протянул он ко мне руку. — Что тебе?

— Здоров ли ты, батька? Не ранен ли?

— Здоровее не бывает, — отозвался Афанасий Иванович и задымил трубкой. — Только, знать, недолго нам здесь здоровыми быть придется.

— Но корабли уничтожены! — воскликнул я, посмотрев в окно, из которого видно было окрашенное заревом пожара небо.

— Корабли — да. Но не войско Лантаня. Оно превосходит нас раз в десять, а то и в двадцать. И их пушки не чета нашим.

— И что же? Мы же казаки! — запальчиво ответил я.

— И казаки не бессмертны, сынок. Крепость... мы отстоим, — задумчиво произнес крестный. — Но платить нам за это придется дорого. Лантань — хитрая bestия и отличный воин. В прошлый раз он быстро угадал слабые места Албазина. Уверен, что и теперь он уже знает нашу слабинку.

— Не ты ли говорил, что Албазин непорочен?

— Так. Но наша слабость не в стенах. А в нашем числе. И в том, что... — крестный помолчал, точно решая, достоин ли я его доверия. — Поклянись, что не разболтаешь того, что я тебе говорю.

— Чтоб меня черти разорвали! — выругался я, научившись ругательствам у Гришаки.

— Мунгалы, дружественные Богдыхану, перерезали пути к Нерчинску. А это значит...

— Нам неоткуда будет добыть снабжение?.. — догадался я и понял, почему так мрачен Афанасий Иванович.

— Меня утешает одно. Лантаню его взять неоткуда также. Его запасы мы сожгли... И теперь все решит выносливость, кто из нас окажется более живуч.

— Мы, конечно! — уверенно сказал я. — Мы же казаки! Мы же русские!

Бейтон улыбнулся и потрепал меня по голове:

— Молодец, сынок! Я тоже думаю, что мы их переважим. А теперь ступай. Мне надо подумать.

Вечером в крепости хоронили убитых. Уныло тянул поп стихиры панихиды, уныло выли вдовы, которых уже не могли мы отослать с чадами в Нерчинск, и которым суждено было разделить с нами все тяготы и ужасы осады.

Возле одного из павших с удивлением заметил я своего названного брата. Необычайно строгий, в черном чекмене и сбитой набок папахе, он показался мне вдруг очень возмужавшим. Вот, и робкий пух над губой его обратился полоской тонких, очень идущих к его лицу усов. Семейка стоял возле юной девушки, что в невыразимой скорби склонилась над покойником и беззвучно плакала. Рука моего наставника лежала на плече девицы, и время от времени он что-то тихо говорил ей. Девица, хотя лицо ее и распухло от слез, была замечательно хороша собой! Большие, серо-синие глаза, обрамленные длинными ресницами, золотая, в канат толщиной, коса, губы, что ягоды спелые, нижняя самую малость припухшая, от чего в лице чудится что-то детское... Почему никогда прежде я не видел ее в Албазине? Откуда она взялась здесь в своей безутешной скорби? И почему мой названный брат так заботится о ней?

Я осторожно приблизился. Семейка заметил меня и, что-то шепнув девушке, шагнул мне навстречу.

— Кто она? — сразу любопытствовал я, не сводя взгляда с поразившей меня красавицы.

— Моя невеста, — спокойно ответил Семейка.

Я с изумлением воззрился на него, не веря своим ушам. Вот, уже более полугода делим мы с ним одну комнату, проводим почти все время вместе, и он никогда ни словом не обмолвился мне о том, что у него есть зазноба!

Семейка понял мой немой вопрос:

— Мы были дружны с нею в детстве, росли вместе. Отец ее, когда был сильно ранен, оставил службу, занялся хлебопашеством. Они вернулись на свою землю вместе с нами, с батюшкой Лексеем и Афанасием Ивановичем...

— Постой! — меня озарила догадка. — Значит, когда ты уезжал из крепости объезжать коней и отказывался брать меня с собой...

— Да! — черные глаза вспыхнули. — Я ездил к ней!

— Ты мог бы и сказать... — пожал плечами я, немного обиженный таким недоверием.

— Мог. Но не хотел. Ни тебе, ни кому иному... Ее отец меня не любил, он хотел для нее лучшего жениха. Я хотел украсть ее... Ты знаешь, мне это было бы легче легкого. Но она не желала идти против родительской воли. Теперь преград между нами нет больше. Ее отец, когда пожег свое поле и дом, придя в крепость, вступил опять в войско. И погиб нынче... Голубица моя одна-одинешенька на свете осталась.

Я слушал рассказ моего названного брата, а сам не сводил глаз с Агафьи. Никогда еще не видел я создания более прекрасного, нежного. Будто бы не от земли она была, а попала в наш ад нечаянной ошибкою из миров горних. Сердце мое непривычно трепетало одновременно сладко и тоскливо...

— Я к крестному жить перейду, — вздохнул я. — У него чулан свободный... Тебе я теперь постоялец лишний, так ведь?

Семейка покачал головой и рывком привлек меня к груди:

— Экой ты еще ... Сосунок... Ты брат мне, понял ли? Брат! И таковым всегда будешь. И, как брата, прошу тебя, Ванюшка, Агашу мою ты, как сестру привечай. И если со мной что...

— Что ты! Что ты! — вздрогнул я и замахал на него руками. — Тебе теперь только и жить! С такою-то невестой! Я ее, как сестру любить стану, клянусь тебе в том! Вы двое и Афанасий Иванович — все, что есть у меня на свете!

Поклялся я брату любить Агафью, как сестру, а клятвы той не сдержал. Ни в тот час, ни после не мог я любить ее любовью братской. Был я еще сосунком, а она девицею на выданье, но горело сердце мое при виде ее. Однажды Гришака, заметив, как слежу я за хлопочущей по хозяйству красавицей, больно ухватил меня за ухо:

— Что пасть-то раззявил на чужой калач? Ишь таращится! Я те потаращусь!

Ухо мое горело долго, и стыдно было, что поймал меня Гришака за «любодейским созерцанием». Но таращиться я не перестал, уж слишком запала мне в душу братняя зазноба...

Из нашей коморки я все-таки съехал, переселясь к Афанасию Ивановичу. Я уже довольно порядочно владел шашкой и того лучше стрелял, а потому стал нести службу на стенах крепости наравне с другими казаками. Чекмень, папаха, шашка на боку — пусть я еще был младшим и последним, но все же уже среди равных. И мои попадавшие в цель выстрелы изо дня в день укрепляли меня в этом равенстве.

На крепостицу нашу сыпались что небесные градины раскаленные ядра богдойцев. Однако, мой крестный не бахвалился, утверждая, что в его крепости брешей нет. Она мужественно выдерживала каждодневные обстрелы, и мы, ее защитники и жители, успели по привыкнуть к постоянному грохоту и опасным «осадкам».

Как-то погожим осенним днем я, сменившись с караула, явился к Семейке. Брата не застал, а Агафья была дома и стряпала какое-то варево к обеду. За два месяца, что прошли со дня гибели ее отца, она заметно повеселела. Зарумянилось чистое, нежное лицо, засветились озерные очи. Семейку она любила, от того и светилась вся. Да и он с нею рядом другим становился. Не то чтобы совсем, а все же... Что-то нежное являлось в этом веселом удальце, мягкость, какой нельзя было подозревать в нем.

— Как славно, что ты зашел! — приветствовала меня Агафья. — Сейчас накормлю тебя!

Я примостился у знакомого чурбана, с удовольствием вдыхая сытный запах хозяйкиной стряпни и любуюсь ею самой.

— Красивая ты... — заметил я. — И дети у вас с Семейкой красивые будут и сильные.

Агафья зарделась от этих моих простодушных слов, но не отмахнулась, как от приставучего дитяти, а вдруг спросила серьезно:

— А что, Иванушка, будешь ли ты крестным нашим деткам? Ты ведь Семейке как братец родимый!

Столько сердечности было в просьбе этой, что уж мне пришла очередь краской залиться. Казаку не пристало краснеть, стыдно даже, но перед Агафьей я всегда смущался, и Афанасий Иванович, видя меня таким, уж непременно обругал бы «сосунком».

Я ничего не успел ответить, так как снаружи начался вдруг страшный переполох.

— Что-то случилось! — воскликнул я, вскакивая на ноги.

В дверях мы столкнулись с Семейкой. Лицо брата было бледно и перекошено, таким никогда еще не видал я его.

— Батьку Лексея ранило! — вдохнул он.

Агафья поднесла руки к груди, осела, закрестилась:

— Сохрани Господи Алексея Ларионыча!

Вдвоем с Семейкой бросились мы к дому воеводы. Дорогой брат рассказал мне, как все приключилось. Толбузин, как всегда, осматривал вражеские позиции, поднявшись на крепостную стену. И в этот миг настигло воеводу богдойское ядро. Это проклятое ядро оторвало батьке Лексею ногу выше колена...

У крыльца воеводы толпились мрачные и непривычно молчаливые казаки. Еще не сказано было горчайших слов, но уже клубилось горе в сердцах, уже окутало оно крепость своим вороньим крылом. На суровых глазах у многих воинов, прошедших не одну битву, много раз глядевших в глаза смерти, стояли слезы.

Вот, отворилась дверь, и на крыльцо тяжело вышел Бейтон. По сумрачно склоненной голове его, по снятой папахе все стало ясно без слов. Охнула площадь, скорбя о потере...

— Пили мы с покойным одну кровавую чашу, с Алексеем Ларионовичем, — раздался над площадью прерывистый хрипловатый голос. — Он выбрал себе радость небесную, а нас оставил в печали.

— Царствие Небесное атаману! — раздались нестройные голоса.

Тело погибшего воеводы перенесли в церковь, и здесь я под утро нашел моего крестного. Он сидел у последнего одра своего товарища, скорбный, безмолвный, и не то по привычке совещался с ним, не

то испрашивал благословение на то, чтобы впредь защищать крепость одному.

Я тихонько приблизился к Афанасию Ивановичу и полупшепотом доложил, с чем был послан:

— Батька, до тебя тут Лантанево письмо пришло!

Крестный вскинул на меня запавшие желтоватые глаза:

— Письмо, говоришь? Ну, пойдем, почитаем.

Письмо богдойского фудутуна доставлено было одним из наших отпущенных пленников.

— Вы большие силы не сердите, скорее сдайтесь... А коли так не будет, отнюдь добром не разойдемся, — прочитал Афанасий Иванович и зло рассмеялся. — Ишь ты! Не сердите! Думает сукин сын, что, коли воеводу нашего поразили, так уж мы и сдаться ему готовые? А, вот, черта им лысого! Пока жив Бейтон, Албазин будет стоять! А Бейтон будет жить очень долго! Его и сто желтолицых дьяволов не возьмут!

— Что ответим Лантаню? — спросил писарь Диомид, пощипывая редкий, седой ус.

— Ответ, что ухо мое он получит, а не Албазин, — презрительно бросил крестный. — Пиши так: «Русские в плен не сдаются, не привыкши. А назад без указа нейдём». Ответ сей пошли с тремя пленниками.

— Тремя?

— Тремя. Мы, русские, народ щедрый. Нам за одного своего трех желтолицых не жаль. Пущай сами своих чертей кормят.

Сказано — сделано! Получив отказ, Лантань в гневе бросил свои войска на штурм нашей крепости. Богдойцы выстроили два дровяных вала из «смоля» и сырого дерева. Валы эти хотели они подвести под самые наши стены, а затем зажечь. Но мы не пустили им сделать этого! Семейка с несколькими охотниками подвел подкоп под богдойские сооружения и взорвал их. Тогда разъяренные манзы стали метать в нас

сеченые дрова своими катапультами. Куда как кстати были нам сии чурбаны! Зима близилась, и печи надо было топить жарко!

Пять дней разбивались полчища манз о наши стены, пять дней сдерживали мы их безрассудный натиск, перебрасывая то туда, то сюда наши малочисленные отряды. Наконец, богдойцы истомились и оставили попытки взять Албазин налетом.

В первый тихий вечер Афанасий Иванович призвал меня и Семейку пред свои очи и сказал:

— Что, сынки, небось скучаете по настоящему делу?

Так и загорелись мы с братом от этих слов. И более всего я. Весь обратясь в слух, я внимал крестному.

— Наши лазутчики доносят, что манзы получили подмогу от своих. Зерно и оружие. И то, и другое должно быть уничтожено. Семейка!

Брат выступил вперед.

— Собери людей самых сноровистых к такому делу. Учить тебя не стану, ты сам знаешь пригодных лучше меня. Вы должны незаметно проникнуть в богдойское становище и сжечь их склады. Они должны голодать так же, как мы!

— Исполним, батька! — кивнул Семейка, весело блеснув черными глазами. Такие задания всегда были ему по нутру.

— А я?.. — робко подал голос я, испугавшись, что опять останусь не у дел.

— А ты пойдешь со своим братом, если он в тебе не сомневается. На рожон не лезь. Помни, что это твоя первая вылазка, и ты еще ничего не умеешь! Учись, повторяй, запоминай. Это твоя задача. Понял ли?

— Понял! — звонко ответил я и покосился на Семейку. Брат ободрительно кивнул мне, и мы отправились собирать наш отряд.

Само собой, это был отряд Семейки, я же был в нем лишь пристяжным. И все же я буду называть его

«нашим», теща мою старческую гордость.

Ночь та безлунной выдалось, но названный мой брат видел во тьме что твоя кошка. Он скользил впереди отряда, как тень, изгибаясь жилистым телом. То на землю ляжет, вслушиваясь, то в кусты метнется, то с ловкостью белки вскарабкается на дерево, что-то выглядывая.

Мы следовали за ним шаг в шаг, затаив дыхание. Оружия при нас мало было, дабы не бряцало оно и не отягощало движений. Нашей задачей была не битва. А попадись мы в лапы богдойцев, оружие уже не помогло бы нам.

Свистит Семейка ночной птицей — значит, богдойский караул рядом. Пора действовать. Бесшумно ползем мы на брюхе вперед, в зубах — кинжалы. Стрелять в ночной тиши нельзя, сразу заметят нас. Значит, только — колоть и резать. При том так, чтобы жертвы наши не успели бы и охнуть.

Вот и сторожа... Черной ночной птицей, нетопырем падает на них сверху Семейка, два удара, и нет сторожей, и только вздымается над ними долговязая черная фигура с окровавленным кинжалом. Знаком он зовет нас за собой.

Пробираться к становищу манз было нам несложно. Как-никак — родная земля! Каждую кочку знали, каждую вмятину. Здесь в канавке пересидели, тут за валом схоронились... Но, вот, уже и шатры богдойские. Тенями скользим мы мимо них. И тут навстречу нам выступает дюжий богдоец и что-то настороженно выпрашивает по-своему. Мы по-богдойски ни так, ни сяк... Еще миг, и желтолицый дьявол поднимет тревогу! Он надвигается прямо на меня, и уже раскрывает рот, чтобы звать подмогу... Но нет, ни единого звука не издать ему больше. Моя рука быстрее разума. Один удар, и всего меня обдало горячей вражеской кровью...

Я точно бы очнулся. В руке моей зажат был окровавленный кинжал... Так впервые в жизни я убил человека. Прежде доводилось мне стрелять со стены по живым мишеням, но это совсем не то. Со стены ты не видишь людей, не слышишь их дыхания, не встречаешься с ними глазами. И запаха их крови не чувствуешь, размазывая ее по собственному лицу.

— Ну, что встал? Идем! — шипит на меня Семейка.

И с отвращением перешагнув через богдойца, я спешу за своими.

Семейка знает, куда идти. Накануне он уже ходил к становищу с лазутчиками, и те рассказали ему доходчиво, где расположены нужные нам склады — с оружием и припасами. Склады те манзы охраняют. Вокруг них горят костры, и желтолицые черти не смыкают глаз, сторожа свои сокровища. От содержимого этих складов зависит их жизнь! И наша...

Лежа на холодной земле, мы долго следим за сторожами. Спать они не завалятся, это ясно... И перерезать дюжину человек без шума, куда труднее, чем двух или трех. Труднее, но надо.

— Заходим с разных сторон, и по моему знаку разом бросаемся на них. Только — уразумели ли? — разом! Иначе не сносить нам голов!

Мы дружно киваем. Уразумели, мол, не скудоумные, чай. Знаем, почем фунт лиха.

Так и расползлись поодиночке, чтобы с разных сторон на манз напасть — каждому свой намечен, и смотри, не попутай!

В этой ночной тиши даже собственное дыхание, биение собственного сердца чудятся необычайно громкими. Странно, что не слышат их богдойцы! Может, глухи они, как наш пузатый Гришака?

Я подползаю совсем близко к своей жертве, так что в отблесках костра могу ясно различать лица сторожей.

Нет, ничего-то не слышат они, ничего не предчувствуют...

Своих же я не вижу и не слышу. Но точно знаю — они рядом. И как и я ждут условленного птичьего клича. И, вот, надрывно звучит он во тьме. Пора!

Во мгновение ока со всех сторон бросаются к костру черные тени, зловеще вспыхивают кинжалы в отблесках пламени... Снова чужая липкая кровь на моем лице. Звери пьянеют от ее запаха. Но я пока еще не зверь, и меня тошнит от него.

А Семейка уже расторопно запаливает смоляные «гранаты», сыплет порох, чтобы скорее занялись шатры с припасами, чтобы ничто и никто уже не остановил все истребляющего пламени. Быстро занялось оно, и едва успели мы отойти, как загрохотали взрывы — это гибли в огне оружейные запасы богдойцев. Этот порох и эти ядра уже никогда не будут угрожать Албазину!

Всколыхнулось, завизжало, заметалось становище! Одни пытались потушить пожар или хотя бы спасти из него что возможно, другие бросились искать нас.

А мы уходили. Камышовой зарослью, невидимыми ложбинами, благодаря непроглядный мрак этой ночи и ловкость нашего вожака. Потаенным ходом просачиваемся мы в крепость, где при свете факелов дожидается нас крестный.

— Ну, сынки, истые вы казаки и герои! — восклицает он, после чего каждого заключает в объятия, от которых трещат кости, и лобызает троекратно.

Он прав, наш Афанасий Иванович, в эту ночь мы всем удальцам удальцы. И одного только жаль нам, что не было времени у нас, чтобы прежде чем жечь склад со снедью, хоть что-нибудь да украсть с него. Нашим скудеющим запасам то бы ох как пригодилось!..

Наши припасы закончились скоро, и уже не манзы косили наши ряды, но враг куда более страшный и беспощадный. Бледная Смерть. Царь-Голод... Видали ли вы, читающие сии строки, как варят шкуру павшей лошади, а затем с жадностью рвут ее зубами, давятся ею, а затем блажат и маются от жестоких колик? А как выбирают из конского помета всякое непереваренное зерно? Голод лишает разума, голодный человек способен съесть все... К зиме 1686 года из 826 защитников крепости осталось нас лишь 150. И эти полторы сотни походили скорее на тени, чем на людей.

На крыльцо воеводского терема, тяжело оседая на костыли, выходит Афанасий Иванович. Словно половина осталось от кряжистого казака-пруссака, ноги, источенные цингой и покрытые язвами, уже не держат его. Но желтоватые глаза глядят с прежней бодростью, и голос не утратил прежней властной силы.

В ту пору я почти безотлучно находился при крестном. Мои ноги еще не утратили прыти и ими я служил ему, бегая с разными поручениями. Вскоре стал я служить и другим. Бессонными ночами взялся Афанасий Иванович, дабы время убить, наставлять меня грамоте. И оказалось, что к чтению имею я и охоту, и способность. Очень скоро наострился я складывать буквы в слова, а, так как иных книг, кроме псалтири, в крепости не водилось, то выпросил ее крестный у отца Иакинфия. Научась порядком читать, начал я и бумагу мараить каракулями. Неделя, другая, и стали каракули черты буквиц обретать...

О ту пору писарь наш приказал долго жить, а так как грамотных в остроге, кроме Бейтона и попа, никого

не осталось, то велел крестный мне впредь писать под его диктовку.

— Светлая голова у тебя, Ивашка, — говорил Афанасий Иванович. — Как отобьем Богдыхановы полчища, так пошлю тебя учиться. Выйдешь в люди — много пользы принести им сможешь.

В то, что богдойцев мы одолеем, крестный верил свято. И этой верой мы все жили, питались ею вместо пищи. Вся площадь наша обратилась в погост, ежедневно принимавший новых вечных постояльцев, но остающиеся слепнущими глазами смотрели на своего атамана и знали твердо: он не выдаст, он отстоит крепость. Пусть даже ценой жизнью всех их, но слава казацкая не будет посрамлена, и проклятые манзы вынуждены будут убраться восвояси.

— У богдойцев дела не шибко наших лучше, — рассказывал мне Семейка, время от времени делавший вылазки к вражьему становищу. Истончившийся, с отросшими до плеч вьющимися волосами, побледневший, с глазами, казавшимися огромными на исхудалом лице, он оставался по-прежнему крепок и ловок. Ни голод, ни цинга не брали его.

— Все ж лучше... — качал я головой. — Они хотя могут уйти.

— То-то и оно что не могут, — довольно объяснял названный брат. — Уцелевшие суда их амурскими льдами скованы. Лошадей у них не осталось — пожрали они лошадей, как и мы. Им один путь назад — пешком. А как? Куда? Сотни верст сквозь вьюги и метели к форту Эсули, который мы сожгли? Лантань бы подписал своему войску смертный приговор, решился он на такой шаг. Теперь побежден будет тот, кого голод выморит раньше...

При этих словах лицо Семейки побледнело еще больше. В темной оружейной коморке, на топчане, укрытая двумя шубами, лежала теперь та, что и ему, и

мне дороже была самой жизни. Лежала и уже почти не вставала. Просто таяла день за днем, как восковая свеча. Личико ее сделалось совсем прозрачным, синеватым, но, стоило нам появиться, и оно озарилось улыбкой, от которой щемило сердце. Сперва она поднималась нам навстречу, пыталась хлопотать, но, наконец, не смогла и этого. Лишь тонкие руки тянулись к нам, приветствуя, а на чудных озерных очах блестели слезы.

— Сегодня за добычей пойду, — сказал мне Семейка как-то ночью.

— Куда?! Пропадешь! — уцепился я за рукав его короткой шубы.

— А иначе она пропадет, — мрачно отозвался брат. — Ты видел ее? Она умирает! Она жена мне, Ванюшка, понимаешь? Жена! И что я за муж, если, имея силы и сноровку, позволю голубице своей зачахнуть, не сумею добыть для нее хотя что-нибудь? Если буду просто сидеть и смотреть, как она уходит, а затем отнесу ее невесомое тело на площадь и закопаю вместе с прочими?! Нет, Ванюшка, я спасти ее должен! Во что бы то ни стало спасти!

— Тогда я пойду с тобой, — решительно сказал я.

Семейка ничего не ответил, лишь хлопнул меня по плечу. Ночью мы ушли из крепости и устремились к вражескому становищу. Как ни скудны были запасы богдойцев, как ни вымирали они, подобно нам, от голода, а все же кой-какая снедь еще водилась у них. К тому же в отличие от нас могли манзы заниматься охотой и рыболовством.

Зимой вылазки делать сложнее. Нет зелени, чтобы укрываться в ней. А на белом снегу всякая тень видна издали. Все же нам удалось незамеченными пробраться в стан Лантаня. Мы были одеты в богдойское платье, снятое с убитых манз, и потому не привлекали к себе внимание.

Внезапно в ноздри нам ударил запах варимой на костре похлебки. Манзам удалось подстрелить какую-то птицу, и они готовились разговеться своей добычей. В нутре у меня сладко засосало, и я жадно сглотнул слюну. Но богдойцев было шестеро. Двоим отправить к праотцам шестерых в один миг никак невозможно.

— Я отвлеку их, а ты украдешь «куренка», — прошептал Семейка.

Скрывшись в зарослях высокого кустарника, он засвистел по-птичьи, захлопал рукавицами так, как будто бы хлопала крыльями птица. Манзы отвлеклись от своего варева, изготовили пищали. Чем худо к одному «куренку» прибавить другого? Пятеро голодных людей осторожно ринулись к кустам, боясь упустить добычу, а шестой остался следить за похлебкой.

Знаете, с той давней ночи мне часто приходилось убивать — в боях, в опасных вылазках, убивать не только в единоборстве, но и «снимая» вражеских караульных, чтобы проникнуть в их стан. Я солдат и казак, война — мое ремесло, и руки мои обильно обагрены кровью. И ни один убитый враг не является мне во снах, не мучит мою душу. Кроме единственного... Молодого, прозрачного от голода и дрожащего в радостном предвкушении долгожданной трапезы богдойца, чье сердце навсегда остановил воткнутый в него по самую рукоятку нож. Мой нож! Он не закричал этот несчастный, только узкие глаза его вдруг расширились и посмотрели на меня в изумлении... Грех бить зверя на водопое. Грех убивать смертельно голодного человека, чтобы отнять у него его добычу. Даже если этот человек — манза...

И лишь одно служит мне оправданием. Я убил не ради себя. Не для того, чтобы удовлетворить голод свой. Но чтобы спасти ту, которая с первой нашей встречи владела моим еще не огрубевшим в ту пору сердцем.

Выхватывая птичью тушку из варева, я знатно обжег себе руку, но не почувствовал боли. На бегу пряча украденную добычу в мешок, я бросился удирать, моля Бога, чтобы мой названный брат сумел обмануть богдойцев и бежать незамеченным.

Я был уже недалеко от нашего вала, когда вдали раздалось несколько выстрелов. Сердце мое оборвалось. Они все-таки заметили Семейку! Они гнались за ним! Я хотел броситься назад, на выручку брату, но меня остановила мысль об Агафье. Что станет с нею, если пропадем мы оба? И куда бежать? Чем помочь? Что я могу с одним своим кинжалом против озверевших от голода манз, гонящихся за Семейкой?

Мне следовало бы уйти в крепость, но я не мог. Скрывшись в ложбине, продрогнув до костей, я с отчаянием вглядывался в темноту ночи, надеясь увидеть знакомую скользящую фигуру...

Я тогда не увидел Семейки. Я только почувствовал его. Не знаю, как объяснить, да и неважно это... Я выбрался из своего укрытия, пополз вперед и вскоре увидел на снегу тень. Тень была неподвижна и казалась бесформенной из-за растекающегося во все стороны пятна крови.

— Семейка! — забыв осторожность, я бросился к нему. Это казалось невозможным, чтобы такой удалец, как он, позволил ранить себя, позволил себя... убить...

Брат еще дышал.

— Уходи! — прохрипел он, не разжимая зубов.

— Я не оставлю тебя! — со слезами воскликнул я, пытаюсь поднять длинное тело на свои еще детские плечи.

— Брось! — в слабеющем голосе послышалась злость. — Они тебя заметят!

Мне не хватало сил, чтобы нести его... Я свалился на колени, с отчаянием ища способ дотащить раненого брата до крепости.

В этот миг раздались выстрелы, и на горизонте замелькали факелы. Манзы бежали к нам!

— Уходи! — из последних сил крикнул Семейка.

Но я точно окаменел. Я не мог оставить его, моего любимого названного брата, моего наставника — на расправу озверевшим богдойцам. В последний раз блеснули черные Семейкины глаза. Блеснули яростью на меня. А в следующий миг блеснул его кинжал, к моему ужасу вонзенный им в собственную грудь.

Он все понял, мой славный, мой отважный брат. Он понял, что я не уйду от него, пока он жив, останусь с ним и погибну. И он освободил меня...

И тогда я завыл. Впервые завыл по-волчьи, как воют наши казаки, идя на врага. И с этим отчаянным воем бросился к крепости. Пули летели мне вслед, но ни одна не достигла меня, точно брат невидимой стеной стал на их пути, защищая меня.

Агафье я поперву не посмел сказать о несчастье. Соврал, будто бы послали Семейку с отрядом в далекий и опасный поход — в Нерчинск, за подмогою. Бабе — откуда знать про то, каково на самом деле положение наше? Баба в воинских делах не смыслит. Я тогда же забрал ее из оружейки в терем воеводы. Афанасий Иванович не возражал. Он горько печалился о смерти Семейки, но при Агафье не подавал виду, жалея ее.

Моя добыча, оплаченная столь страшной ценой, поддержала таящие силы моей тайной зазнобы. Я сам варил для нее похлебку, сам кормил ее с ложечки — по чуть-чуть, чтобы не сделалось ей худо. Странно, но, несмотря на собственный голод, у меня ни разу не явилось желания самому пригубить сего яства...

— Иванушка, родимый, почто обманываешь меня? — от этого тихого, печального голоса бросает меня в дрожь.

— О чем это ты, сестрица? — пытаюсь я изобразить беспечность.

— Он ведь погиб, да? Соколик мой, свет мой? Ведь уже нет его промеж живых, верно? — озерные очи полнятся слезами, и я не могу смотреть в них. — Скажи, коли так, чтобы мне за упокой душеньки его молиться, покуда Господь меня с ним вновь не соединит!

— Где же мне знать про то, Агаша? Смог ли он дойти до Нерчинска, кто знает...

При этих словах я чувствую на себе тяжелый взгляд крестного. Он делает мне знак головой, и я, оставив больную, следую за ним.

— Долго ты бабе брехать будешь? — хмуро спрашивает Афанасий Иванович, посасывая трубку — табак для нее закончился, и это обстоятельство немало раздражает воеводу.

— А как мне ей правду сказать, что я мужа ее убересть не смог?

— Не мели околесицы, — морщится Бейтон. — Как бы ты мог убересть его... Он сделал то, что был должен сделать. И ты также... Если, конечно, не говорить о том, что вас, двоих, в ту ночь вообще не должно было там быть! — тяжелый кулак ударяет по столу. — Майн Гот! Такого казака из-за бабы потеряли!

Я вспыхиваю, но не смею возражать крестному.

— А теперь из-за бабы, того гляди, другого казака потеряем!

Я вопросительно поднимаю голову и встречаюсь взглядом с желтоватыми глазами, смотрящими на меня с явным неодобрением.

— Думаешь, я не вижу, как ты каждую крошку ей тащишь, а сам снег с корой жрешь?

— С меня и того довольно, я сильный, — гордо отвечаю я.

— Сосунок! — рычит крестный. — Бабий подол тебе нужен! Пришел бы ты в разум уже, коли он у тебя есть! Она — баба, а ты что? Щенок рядом с ней!

— Щенки скоро волками делаются, — усмехаюсь я. — Год-другой, и я буду казак не хуже прочих. А она успеет утешиться...

— Поди к дьяволу с глаз моих! — сердито отмахивается Афанасий Иванович.

И я ухожу. Не к дьяволу, правда, а всего лишь к глухому Гришаке, которому одному могу поверить я свою скорбь. Он все равно не услышит, но зато что-то почувствует и, сострадательно покивав заросшей ключьями волос головой, облапит своей огромной дланью. И поделится кусочком сушеной конской шкуры...

Я застал Гришаку спящим на своем барабане. Отощавший, похожий на большой мешок, из которого выбросили его содержимое, он положил на него голову и не шевелился. Я тряхнул его за плечо и в этот миг понял, что Гришака не храпит, как бывало обычно, и могучий храп его не сотрясает стен...

Хоронили силача без отпевания, ибо наш бедный отец Иакинфий уже переселился на братский погост, бывший некогда площадью.

— Проклятые... — тихо шептал Афанасий Иванович, водя пальцем по карте. — Сколько я просил их, чтобы прислали нам людей! Мне хватило бы двух сотен казаков, чтобы покончить с Лантанем! Но они не дали ничего!..

— Неужели о нас просто забыли? — спросил я.

Крестный не ответил.

Отрезанные от мира, мы не могли знать, что из Нерчинска посылался к нам конный отряд Лоншакова, но он не смог прорваться к нам и вынужден был уйти назад. Не знали мы и того, что и Нерчинск не был в те дни безопасен. На него напали дружественные манзам мунгалы, но были начисто разгромлены. В то же время якутские казаки подавили восстание тунгусов, а, преследуя их, наши удальцы обнаружили большой

отряд богдойцев, которые и возбудили тунгусов супротив московского Царя. Отряд был уничтожен полностью.

Но мы ничего этого не знали и продолжали одинокую борьбу с бледной смертью...

В канун Рождества Лантань прислал Афанасию Ивановичу письмо с предложением снарядить в крепость богдойских лекарей для помощи нашим больным. Усмехнулся крестный на такую «доброту»:

— Отпиши ему, сынок, что в Албазине служилые люди милостию великого Бога все здоровы. Пускай о своих служилых печется... — с этим кратким ответом Бейтон послал богдойскому воеводе рождественский подарок — пудовый пшеничный пирог «на разговины».

К концу зимы в Албазине осталось лишь 60 душ, и лишь 20 из них еще способны были носить оружие.

Положение Лантаня также было отчаянным, и, видимо, от отчаяния решился он на последний штурм.

Ранним морозным утром раздались перед нашими стенами барабанная дробь и звон цимбал: живые мертвецы надвигались на нас. Быть может, думали богдойцы, что уже окончательно выморены мы, что уже не удержат наши руки мечей? Они не знали, что наши крепости защищают даже мертвые. И мы чувствовали это в тот день, чувствовали, что силы всех наших павших — с нами, поддерживают нас.

Тяжело поднялся на своих костылях на крепостную стену Афанасий Иванович. Он не мог идти в бой сам, но присутствие его воодушевляло последних ратников.

Нас было двадцать теней. Двадцать призраков, не желавших смириться со своей участью и готовых биться до конца. Распахнулись ворота, и волчий вой приветствовал незваных гостей.

То был мой первый настоящий бой. Бой, на который вышел я, как равный с равными. Он был недолог, так как на долгую битву не было сил ни у нас, ни у манз.

Убедившись, что порох в наших пороховницах еще есть, и голыми руками нас не взять, богдойцы спешно отступили. Мы сперва преследовали их, исступленная ненависть придавала нам сил. Я помню, как сошелся в поединке с каким-то крикливым богдойцем. Он был на голову выше меня, но кое-чему успел меня научить покойный брат. Шашка моя в тот день была продолжением моей руки и разила без промаха. Богдоец что-то верещал, отмахиваясь своим огромным клинком, а я... Я уже не выл, я берег силы для ударов. Оборот, просверк стали, и рассеченный ратник Лантаня валится к моим ногам...

В тот день мы, полумертвые и мертвые, в очередной раз отстояли Албазин. Убедившись в нашей неборимости, манзы на другой день отступили от его стен, оставив лежать под ними почти все свое войско. Не веря собственным глазам, следил я со смотровой башни, как уходят прочь остатки богдыхановой рати. Когда же последние манзы скрылись за горизонтом, я бросился к Агафье:

— Агаша! Сестрица! Мы победили! Слышишь ли, голубица моя? Ушли манзы! Свободен Албазин!

Но голубица моя не отвечала мне... Недвижимая, холодная, она не открывала глаз, а губы ее посинели. С ужасом я потрянул ее за плечи:

— Агаша! Ты что это?! Ты это не смей! Не смей помирать! Я Семейке обещал!.. Я.. — слезы отчаяния душили меня, и я совершенно потерял рассудок.

Внезапно сильная рука буквально отшвырнула меня от одра моей зазнобы:

— Сосунок! — раздался гневный рык.

Я повалился на пол, а крестный, оседая на костыли, шагнул к бесчувственной Агафье. Афанасий Иванович достал из-за пазухи флягу, в которой берег он последние глотки своего вина. Быстро разжав умирающей зубы, он влил ей в рот свою «живую воду».

Агафья закашлялась, захрипела, широко раскрыла глаза.

— Спасибо, батька! Спасибо! — сквозь слезы бормотал я, готовый в те мгновения лобызать рваные сапоги моего крестного.

Он лишь поморщился и ушел, бросив недовольно:

— Другой нужды мне нет, как с вами возиться...

* * *

Много лет утекло с той поры... Афанасий Иванович Бейтон сдержал свое слово и отстоял Албазин. И мы, казаки, ополченцы, селяне, не сдали нашей крепости, положив за нее свои животы.

Но Москва рассудила иначе. Ее, Москвы, взор устремлен был на запад, а нас, ежели и удостаивала взглядом она, то как надоедливых пасынков. В Москве в те дни решалось, кто же станет править в ней — Петр ли царь, али сестрица его, Софья? А нашими делами послан был заниматься болярин Федор Головин, вельможа столь просвещенный, что даже бороду скоблил, как в Европе заведено. Сей Головин и повел в Нерчинске переговоры о мире с посланцами Богдыхана... От тех переговоров мы не ждали зла, ибо в борьбе с манзами явился у нас добрый соспешник. Джунгуры вторглись в западные приделы Богдойского царства, и их верховный хан Галдан предлагал правительству русскому действовать совместно. Растеряв союзников и наживя противников, Богдыхан должен был проявлять сговорчивость...

К тому времени минуло два года со дня отступления богдойцев от стен Албазина. Все это время мы, как могли залечивали раны, восстанавливали порушенное, укрепляли крепость, возвращались к жизни... Сам я из

«сосунка» быстро превращался в молодого и сильного волка. Правда, зазноба моя видеть того вовсе не желала. Я был для нее меньшим братцем, нежно любимым, с которым сладко и горько было вспоминать дорогого нам обоим Семейку. Мне же такое положение с каждым днем становилось все нетерпимее.

Однажды я решился заговорить с Агафьей. Она полоскала белье на реке, матовая кожа ее лоснилась от июльского жара...

— Послушай меня, Агаша, ты уже два года как вдова. Негоже бабе одной, сама знаешь. Да и невозможно никак. Мать моя, как отца не стало, до брата подалась. У тебя же нет никого...

— Как же нет? — встрепенулась Агафья, поднимаясь. — И у меня братец любимый есть! — матерински ласковый взгляд ее точно ожег меня.

— Я не братец тебе, ты знаешь, — отозвался я резко. — Тебе муж нужен.

Красавица моя лишь пожала плечами:

— И кого же ты, Иванушка, хочешь сосватать мне?

С какой-то самого меня изводящей яростью я с силой схватил ее за руки повыше локтей, привлек к себе:

— А кого еще тебе надобно? Или же ты не видишь ничего? Не понимаешь?! Я казак! Я завтра, может, в поход уйду! Долго ли ты еще будешь со мной, как с несмышленишем играть?!

Агафья побледнела и попыталась вырваться из моих рук. Но я был сильнее и не выпустил ее.

— Я тебя от смерти спас! Я жизнь за тебя отдам! Я... — не находя слов, я горячо поцеловал мою зазнобу в губы.

Она же оттолкнула меня... Метнулась в сторону, споткнулась, упала у самой воды и смотрела на меня с обидой и страхом. Будто бы я был зверем и мог причинить ей зло...

Я опустился на колени, не приближаясь к ней.

— Прости, окаянного, коли обидел... Выходи за меня! Молод я еще, знаю. Так что с того? Жизни наши что миг... Никто уж младыми летами не попрекает меня. Всякий скажет, каков Ивашка Лукьянов воин. Чем же я тебе не годен?! Я же все для тебя сделаю!

Но Агафья не отвечала. С испугом и горечью смотрели на меня озерные очи. И этот взгляд говорил мне, что надежды мои напрасны. Ничем, кроме меньшого братца, не мог я быть для нее. А теперь не мог остаться и им.

— Я уеду, — вдруг тихо сказала она. — В монастырь уйду...

— Майн Гот! — вырвалось у меня приставшее к языку бейтоновское... Схватившись за голову, я вскочил и бросился прочь.

Когда я, распаленный горьким разговором, прибежал в крепость, то понял, что творится в ней что-то неладное. Прибыли из Нерчинска посыльные с приказом... Приказ тот зачитывал теперь один из них собравшимся казакам. И от звучащих слов кровь бросалась в голову, не верилось в эти слова!

— ...город Албазин разорить, и вал раскопать без остатку, а служилых людей с женами и с детьми и со всеми животы вывезть в Нерчинск...

Таков был приказ Федора Головина, росчерком пера предавшего все наши жертвы и отдавшего Амур во власть уже не ждавшего такой поживы Богдыхана. То, чего не смогло добиться войско Лантаня силою оружия, было поднесено Богдойскому царству за мзду московским посланником.

Загудели грозно казаки, не желая мириться с предательством.

— Не пойдём! — ревели они. — С места отсюда не сдвинемся! Здесь вся родня и товарищи наши лежат! Не

оставим их! Не отдадим манзам поганым земли русской!
Батяка Афанасий, что ж ты молчишь?!

Сумрачно было лицо крестного и не сразу ответил он своим казакам. Наконец, раздался его хрипловатый с неправильным выговором голос:

— Я поклялся не отдавать эту крепость манзам. Слово свое я сдержал. Но идти против воли царской я не могу...

Гул негодования прервал речь крестного. Забыв собственные огорчения, я растолкал толпу и стал с ним рядом, положив руку на рукоять шашки.

— Вы все знаете, какие жертвы мы принесли, защищая Албазин! — продолжал Бейтон. — Они были столь велики от того, что нам не дали помощи! Ее не дали нам даже тогда, когда мы выполняли Цареву волю! А что же будет теперь? Если мы останемся здесь супротив ей?

— Будем жить без Царя! Как предки наши живали! Как Сечь жила!

— Добре! Но пройдет полгода, и к нашим стенам снова придут полчища богдойцев! И чем мы встретим их? Как сможем отразить их натиск, не имея подмоги?! Мы не сможем отстоять Албазина вновь! Мы только напрасно погубим свои жизни!

Но тонул, тонул голос рассудка в волнах праведного гнева. Бушевало море казацкое, взметались вверх наточенные шашки. Эти люди уже забыли голодный ад, поглотивший гарнизон и население Албазина, они готовы были биться до последней капли крови, лишь бы не терпела унижения казацкая слава.

Ярость казаков была столь велика, что меня охватил страх за крестного. Эта толпа, обезумев, могла наброситься и на своего атамана.

— Молчать! — прогремел его властный голос. Выхватив свой огромный палаш, он спустился с крыльца

и без страха прошел сквозь расступившуюся перед ним толпу. Казаки последовали за ним.

Афанасий Иванович спустился к Амуру и с яростью швырнул палаш в его воды:

— Не бывать нам в Албазине — как этому палашу не всплывать! — крикнул он.

И в это мгновение из волн показалась рукоятка меча — будто крест поднялась она над водой, блеснув в лучах солнца, а лишь затем медленно погрузилась в пучину.

На какое-то время на берегу воцарилась тишина. Все мы были потрясены явленным знамением. Некоторые закрестились, славя Христа и Его Пресвятую Матерь. Перекрестился размашисто и Бейтон.

— Мы еще вернемся! — сказал он, и желтоватые глаза его вновь засветились бодростью и уверенностью в грядущем дне. — Мы обязательно вернемся!

Пасха русского духа (Яков Фёдорович Долгоруков)

...Барабан умолк, выпали палочки из коченеющих рук мальчишки-барабанщика, полетели в снежную мглу вниз с крепостной стены, на которую с победными воплями карабкались торжествующие шведы...

Это было 10 лет назад! 10 лет жестокого унижения России... Счастье еще, что Государь отбыл накануне из действующей армии. Поражение армии, пленение ее генералов позорно и горько, но каково было бы, если бы поражение потерпел и попал в плен сам Царь? И воображать такого не хочется.

Шведы, конечно, сразу забахвалились: испугался, де, Петр нас! Сбежал от нашего юного Карла, нашего нового Александра Македонского! Всякого, кто в его присутствии подобную ересь молотить осмеливался, Яков Федорович тотчас за грудки брал: не мели, чего не знаешь! Не смей имени Государя русского марать!

Князь Долгоруков Петра знал с малолетства и мог дать голову на отсечение, что такого греха, как трусость, за ним не водилось ни в какие поры. Да и как было не закалиться душе его, когда возрастая ему привелось без отцовской защиты и наставления, но под гнетом узурпаторши-сестры? Сей зверь теремный, до воли и власти дорвавшись, взбаламутила стрельцов на дело страшное — на бессудное избиение родни и ближних бояр царицы Натальи Кирилловны. На глазах маленького Петра изрубили палашами, растерзали без жалости и дядьев его, и ближнего боярина Артамона Матвеева, и скольких, скольких еще!.. Как было забыть ему душераздирающий вопль матери, бросившейся за отцом и братом, уводимыми на муку — «для

умиротворения возмущенных». Отца постригли в монахи, а брата запытали жестокости... А могли ведь и саму Государыню загубить, рвался маленький Петр тогда перед стрельцами явиться, защитить своих, да мать чадо возлюбленное не пустила.

По всей Москве лютовали стрельцы, коим внушили приспешники извергини-Софьи, будто бы Нарышкины царя Федора умили и слабоумного царя Ивана умерить хотят. Опьянели звери от крови, распалились вином, врывались в терема боярские да чинили расправы кровавые. Ужас стоял над Москвой в страшные те дни. Царица Наталья Кирилловна с той поры печальна и молчалива сделалась, все плакала да о сыне тревожилась.

Таково было детство Петра. В дни, когда истязали его родных, невинный отрок, дотоле зла не ведавший, понял, что надлежит ему взять большую силу, дабы никакой враг не мог угрожать ни ему, ни его несчастной матери. И когда Софья, боясь мужания брата, решилась известить его, Петр уже был готов держать удар...

Яков Федорович принял сторону маленького Царя еще в кровавые дни первого стрелецкого бунта, не убоявшись ни расправы, ни опалы. Князь был убежден, что России необходим сильный, полновластный правитель, а иначе не миновать новой смуты. Да и покойный Царь Федор Алексеевич, ни разумом светлым, ни сердцем справедливым не обделенный, желал, несмотря на родственные чувства к сестре и прочей родне своей матери, чтобы трон по нем наследовал Петр, уже в младенческие годы обнаруживший и ум, и отменное здоровье, коего так не хватало отпрыскам «Тишайшего» мужеского пола, рожденным его первую женою.

Софья, боясь влияния Долгорукого, отправила его с посольством в Испанию и Францию. По Божией милости вернулся он из дальних краев как раз ко времени. По

прошествии семи лет снова пришла пора сойтись в противоборстве брату с сестрой. И Яков Федорович оказался одним из первых, кто принял сторону Царя и явился к нему в Троице-Сергиеву Лавру. Петр ревность ту оценил и сделал князя сперва судьей Московского приказа, затем ближним боярином и, наконец, начальником над Рейтарским и Иноземным приказами, объединенными в «особый приказ»...

Тут-то и подоспела война с вечным недоброжелателем Москвы — Швецией. Юный шведский монарх, восшедший на престол пятнадцати лет, начал, впрочем, с выражений намерений мирных и даже прислал в Россию посольство. Петр посольство то принял милостиво, отправил и ответное, а с тем... объявил шведам войну. После успеха Азовского похода показалось Государю, что молодая армия его уже довольно крепка и научена, чтобы сразиться с отборными полками Карла. К тому и число ратников русских много превосходило армию противника.

Яков Федорович, хотя уже перешагнул шестидесятилетний рубеж, выступил в поход вместе со своим Государем. Несмотря на годы, он не чувствовал еще утомления сил, не ведал и хворей. Грузность могучей фигуры не мешала ему молодцевато держаться в седле, ну, а в драке многим юношам мог дать он фору, разметывая их как кутят.

Рвавшийся в бой Петр противника недооценил. Своих же солдат и полководцев переоценил изрядно. Если Преображенцев и Семеновцев уже удалось вымуштровать, то иные полки пребывали в состоянии стародавнем. Дисциплина в них слаба была, разведкой, дозорами они пренебрегали, а потому то и дело оказывались застигнутыми врасплох проворным и отменно вышколенным неприятелем.

А еще беда: имея справедливое желание обучить свою армию по лучшим европейским образцам, принял в

нее Петр многих иностранцев на командные должности. Среди них и эстляндца Гуммерта. Эстляндец тот, пользовавшийся особым доверием Царя, сбежал к шведскому королю, прихватив с собою карты русских укреплений. Тут только открылось, что иностранец может быть хорошим учителем, но хорошим солдатом в войне — отнюдь не всегда. Срочно очистили действующую армию от потенциальных изменщиков, но делу это не помогло. Осторожный Шереметьев спешно отступал, не удосуживаясь произвести порядочной разведки и даже не зная, сколь значительные силы идут по его пятам. Так и докатился до Нарвы...

А вскоре настала памятная ночь, ночь бесчестья для русского оружия... Сокрытые метелью и ночным мраком и ничуть не смущаемые оными, шведы подошли вплотную к крепости и бросились на штурм. Русские вновь оказались застигнуты врасплох. Саксонец де Круа, представитель союзной в этой кампании державы, оставленный Петром в качестве командующего, принял решение о капитуляции, дабы сохранить жизни людей.

Переговоры об ее условиях вели Автоном Головин, Иван Бутурлин, царевич Александр Имеретинский и Яков Федорович. Долгоруков требовал, чтобы шведы в обмен на сдачу крепости разрешили русским войскам свободный проход на правый берег Нарвы без артиллерии и обоза, но с оружием и знаменами. Карл XII самолично обещал исполнить это условие. В ночь на 2 декабря саперы навели мосты через реку, и русские полки двинулись на правый берег... И тут-то проклятые вероломцы в нарушение договоренностей пошли в атаку!

В ярости отбивался князь во главе русской гвардии от нападающего неприятеля. Когда шпага его была изломана, бился оружием, отнятым у шведского солдата, шли в ход и могучие кулаки, не менее

смертоносные чем сталь... И все же застигнутые на переправе, лишенные артиллерии русские не могли достойно противостоять нападавшим. Часть войск, впрочем, сумела достигнуть заветного берега, другие пали в последней вероломной схватке, третьи оказались в плену. И среди них — Долгоруков и еще несколько генералов...

— Snabbare! Snabbare! — нахальное «быстрее» шведского офицера до коллик раздражало Якова Федоровича, и он нарочно шел медленнее, сохраняя княжеское достоинство и военную выправку.

— Эй, детушки! Подтянитесь! Строй держать! Или забыли, чему вас учили? Вы не толпа арестантов, а воинство русское! — крикнул своим, понуро бредущим по причалу к шхуне, на которой после десятилетнего стокгольмского сидения должны были переправить их в другое место содержания. Заслышав зычный генеральский бас, вскинули головы, выпрямились, четче стали печатать шаг... То-то же! Хотя, вправду сказать, менее всего эти измученные, оборванные, голодные, закованные в цепи люди походили ныне на войско. Да и сам Яков Федорович... Запыленный, латанный-перелатанный мундир, непокрытая голова, от сапога подметка отлетает. Борода, какой давненько носить не приводилось, седые волосы до плеч, ветром перепутанные... Ну, так и что с того? Можно быть царем в отрепьях и ничтожеством в королевской мантии.

Десять лет лишений и унижений... Даже переписку с родными запретили мерзавцы-шведы. И эти люди со своим королем-выскочкой изображают из себя рыцарей! Лишь по отголоскам, по случайным, в кой-то веки тайком полученным запискам узнавали пленники о том, что происходило на далекой родине. И лишь эти вести придавали сил терпеть, ждать, жить.

«Бомбардир Петр Михайлов», каковым записан был честно прошедший всю армейскую выучку, начиная с рядового звания, Государь, всегда имел великий талант к учению. Будь то науки, будь то ремесла, будь то военное дело. Все постигал он личным опытом, во всем стремился достичь лучшего результата. Горький урок Нарвы не прошел для него даром, показав недостатки русской армии, которые следовало как можно скорее устранить. И Петр устранил их, и по прошествии нескольких лет ни слава лучшей армии Европы, ни предательство негодяя Мазепы не могло спасти короля Карла от позорного разгрома под Полтавой, откуда раненый шведский монарх вынужден был улепетывать, как заяц. А еще прежде этой блистательной виктории Петр возвратил России Нарву. Ликовало сердце Якова Федоровича, когда долетела до него эта весть. Он знал, он верил, подписывая капитуляцию окаянной зимней ночью 1700 года, что так и будет! Что его Царь непременно вернет отнятое!

Претерпеваемые поражения разорили Швецию. Хлеба не доставало у нее уже не только для пленных, но и для своих подданных. Но, вот, однако же, экий гордый и глупый нрав! Не желал Карл с пленными расставаться. Хотя уже тысячи шведов, не исключая и генералов, оказались в русском плену, хотя Петр не единожды предлагал обменять их, возвратить, наконец, отцов, мужей и сыновей долгие годы сиротствующим семьям, но король упирался.

Стремительное продвижение русских войск, по-видимому, поставило под угрозу уже самую столицу Швеции, и от того пленников решено было переправить подальше от Стокгольма...

Шхуна, наполненная живым грузом, тяжело качнулась на волнах и отчалила от берега.

— Ro hårdare¹⁷! — побагровел Долгоруков от наглости помощника шкипера. Этот напудренный мальчишка свысока поглядывал на измученных, закованных в кандалы пленников и требовал, чтобы они, годившиеся ему в отцы, а то и деды, сильнее налегали на весла, дабы шхуна, вынужденная идти против ветра, скорее доставила их в новую тюрьму... Только бича в руке не доставало ему! Вот, уж воистину страстной выдалась страстная пятница!

От натуги и палящего солнца пот струился градом, но не помешало это Якову Федоровичу самым внимательным образом изучить свою плавучую тюрьму...

— А команда-то невелика здесь, — шепнул он прикованному подле него бригадиру Мясоедову. — Душ двадцать всего...

— Что же с того? — отозвался тот, чутко вытягиваю шею. — Кажется, ветер меняется на попутный! Слава тебе, Господи! А то будто бы рабы галерные, каторжане пропащие!

— А то, Антипушка, — ответил Долгоруков, оставив без внимания радость ждущего отдыха раба, — что нас здесь 44 души!

— Под Нарвою соотношение сил еще лучше было, — резонно заметил бригадир, наконец, сообразив, к чему клонит его старший союзник.

— Под Нарвою были простые солдаты, не ведавшие дисциплины, а здесь мы — генералы и офицеры русской армии. Помилуй Бог, Антип Васильич! Да неужто ты не спешишь свою Глафиру обнять да деток?

— Не сыпь соль на раны, Яков Федорыч. Знаешь сам, что извелся я по ним за десять-то лет! Марья-то, поди, замуж выйти успела, я, может, и дед уже стал!

— То-то, что дед! Хочешь в неволе прадедом издохнуть?

— А что ты предлагаешь? В кандалах не повоюешь!

— Значит, найдем способ от них избавиться, — решительно сказал князь. — Мне, Антипушка, семьдесят лет, и десять из них я, как и ты, кроме тюрем шведских ничего не вижу. Сколько мне еще осталось? Год-другой? Я не желаю больше менять тюрьмы, и времени ждать, когда его подлое величество согласится вернуть нас домой в обмен на своих людей, у меня нет. Или я освобожу себя сам теперь или пойду на корм рыбам! Вот и весь мой сказ! А ты решай, со мною ли ты свободный человек и русский воин, или сам по себе — раб галерный и пропащий каторжанин.

— Ты генерал, я бригадир, — пожал плечами Мясоедов. — И мы — все еще русское войско. Командуй, князь!

На другое утро Долгоруков обратился к начальнику конвоя:

— Герр капитан, завтра мы, русские, отмечаем Воскресение Господа нашего, Иисуса Христа. Вы, как добрый христианин, понимаете, сколь много значит для нас этот великий праздник. Посему прибегаю к вашему милосердию и прошу позволить нам вознести молитву нашему Господу без оков.

— Я хотел бы удовлетворить ваше прошение, князь, но я не вправе нарушать данный мне приказ и порядок перевозки заключенных.

— Сударь! — воскликнул Мясоедов. — Имейте сострадание! Больше половины ваших арестантов глубокие старики, изнуренные лишениями и окончательно измученные вчерашней греблей! Освободите хоть их для великого праздника! Или вы боитесь этих старцев? Что они бросятся за борт и сбегут вплавь?

Капитан помялся и, оглядев своих являвших самое жалкое зрелище конвоируемых, махнул рукой:

— Черт с вами, стариков я велю расковать, пускай молятся, — и усмехнувшись, добавил: — И меня в своих молитвах поминают за мою доброту!

— Уж я тебя помяну... — неслышно прошептал Долгоруков, а вслух произнес с самым кротчайшим видом: — Премного признательны вам за ваше снисхождение!

Капитан, спесивая крыса, снова усмехнулся: цените, мол, мою милость! Погоди, еще как оценим... Яков Федорович с наслаждением почувствовал, как тяжелые цепи спали с его рук. Потерев стертые до ссадин запястья, он с набожным видом перекрестился. И впрямь помолиться впору!

Господи Всемогущий! В канун светлого Воскресения Твоего даруй чудо жалким рабам Твоим! Выведи их из плена жестокого, как некогда вывел Израиля из рабства египетского! И прости всю кровь, что будет нынче пролита... Не гоже в такой день христианские души губить, да что делать? Отпусти, Господи, грехи наши тяжкие, смилуйся, вызволи! Даруй снова облобызать землю Отечества любезного и в ней, а не на дне морском и не в чужом краю упокоиться!

Жарко молился старый князь, на несколько мгновений отрешившись от происходящего вокруг. На чью помощь еще уповать безоружным пленникам, как не на Божию?..

Перекрестился еще раз размахисто, пригладил разметанную белоснежную гриву, зорко оглядел палубу. Все старики были уже раскованы. Князья да бояре московские, море в диковинку им, и от дела ратного за 10 лет немало поотвыкли они, да и немощи не обошли стороной дряхлеющих воинов. Но ничто! На один залп и в этом сыром порохе щепотка сухого сыщется, на бой последний достанет и этих сил, а отчаяние и ярость утроят их. К тому же — внезапность!

Не ждут шведы себе никакой опасности. А дичь, опасность не чующую, бить проще всего.

— Дерзайте убо, дерзайте, люди Божие! — зычным басом заправского кремлевского протодиакона пропел Долгоруков.

Этот благочестивый запев был условным сигналом, по которому освобожденные кандальники бросились на караульных солдат. Их душили цепями, добивали захваченным у них же оружием и без жалости бросали за борт.

Цепь, сжимаемая могучими руками Якова Федоровича, настигла шею помощника шкипера, того самого куренка, что вечер измывался над узниками, заставляя их грести против ветра. Для него и цепи-то не нужно было, эту цеплячью шею князь свернул бы и голыми руками... Расправившись с помощником и завладев его саблей, Долгоруков с юношеской прытью погнался за самим шкипером, в ужасе бросившимся улепетывать от седого великана, чьи глаза сверкали беспощадной яростью. Путь Якову Федоровичу преградил начальник караула.

— Так, вот, каковы ваши молитвы! — воскликнул он, обнажая шпагу.

— Да, капитан! — ответил князь. — После десяти лет унижений мы можем молиться лишь об одном, чтобы Господь истребил наших мучителей! И клянусь, сегодня эта молитва исполнится — нашими руками!

Спесивый капитан, молодой, ловкий, сильный, вероятно, был совершенно уверен, что с легкостью одолеет посмевшегося столь вероломно обмануть его старика. Так несмышленный щенок с залиvistым лаем бросается на матерого волка. Но волк — животное опасное. Даже если этот волк очень стар... Конечно, 70-ти годам уже трудно сравниться прытью с пышущими здоровьем 30-ю, а унылое безвременье плена не придает гибкости членам, но русская богатырская

силушка еще играет в них, а азарт боя и жажда свободы бодрит ее лучше всякого вина!

Своего бывшего тюремщика Яков Федорович просто смял, как медведь. Насадил на шпагу и приколот к корме. Да так изрядно, что проще оказалось новую шпагу из рук поверженного врага выхватить, чем старую выдернуть...

А на палубе уже настоящее побоище шло! Перемежалась мелодия клинков выстрелами. Напирали шведы на изнемогавших стариков-пленников. Забрав у убитого капитана ключи, Долгоруков проворно расковал томившегося в ожидании освобождения Мясоедова и, передав их ему, велел:

— Давай, Антипушка, освобождай живей остальных! Не то худо нам будет!

Вовремя подоспела подмога, трухнули шведы, увидев, как ринулись на них свежие русские силы!

— Вперед, детушки! — подбадривал своих князь. — Бей-рубят-ратуй!

Обожгла пуля щеку. Дюймом правей, и пришлось бы Пасху в чертогах небесных праздновать или же в аду по грехам тяжким.

— Ах ты, крыса корабельная! — зарычал Яков Федорович, разглядев, что стрелял в него с капитанского мостика боцман. — А ну, стой!

Расшвырвав в разные стороны трех солдат, оказавшихся у него на пути, Долгоруков ринулся на мостик и здесь сошелся с боцманом. Этот пиратского вида морской волк оказался более опасным противником, чем капитан. Рубился он как разбойник, а не как дуэлянт. Сперва князь ловко отражал его атаки, но не ко времени подвело перетруженное колено. Оступился Яков Федорович, рухнул на палубу. Боцман с торжествующим криком бросился на него, но князь успел с размаху ударить его клинком по ноге. Кровь хлынула фонтаном, и морской волк со стоном упал на

одно колено. Долгоруков тотчас вскочил, сгреб противника в охапку и бросил за борт. Утерев пот, он взглянул на палубу: русские уверенно добивали шведский экипаж... Бригадир Мясоедов теснил к корме раненого шкипера. А, вот, этого бедолагу срочно выручать надо! Иначе кто станет управлять кораблем? Среди пленников моряков нет!

— Антип! — крикнул Яков Федорович. — Шкипера брать живым!

Услышал Мясоедов. И шкипер услышал. И, поняв, что забрезжила надежда спасти свою жизнь, протянул бригадиру свою шпагу, сдаваясь на милость победителя.

Через несколько мгновений Антип уже втаскивал его на капитанский мостик. Здесь Долгоруков схватил шкипера за волосы и, приставив к его горлу кортик, произнес:

— Если хочешь быть жив, вези нас к Кроншлоту или Ревелю. И Бог тебя сохрани от измены, ибо тогда ты мертвым завидовать будешь. Бойся меня. Понял ли?

— Понял... — прохрипел шкипер.

Князь убрал кортик в ножны и, выпустив своего пленника, приказал Мясоедову:

— Перевяжи его, напои и давай к кормилу. Не то, пожалуй, унесет нас невесть куда... — обзрев залитую кровью палубу, Яков Федорович покачал головой. — Перестарались мы, детушки. Всех-то бить не нужно было... Теперь ведь самим по реям лазить придется. А мы в отличие от батюшки Петра Алексеича делу тому не обучались...

Жизнь заставит — забегаешь и по реям. А для собственной-то свободы и подавно! Постигали вчерашние пленники нелегкую морскую науку, молясь теперь об одном лишь — чтобы избавил Бог от шторма. Но Бог в этом путешествии был явно на русской

стороне, и дни стояли ясные и погожие. Воистину Светлая седмица! Когда бы ветер еще в паруса покрепче дул! Ну да и на том спасибо, что не дует супротив...

Долгоруков обосновался на капитанском мостике, приглядывая за пленным шкипером, а иногда, когда требовался роздых тому, сам становясь у руля. Именно в таком положении и застиг его счастливый вопль, донесшийся с мачты:

— Берег! Берег!!! Ре-е-ве-е-ель!

Снял Яков Федорович треуголку шведскую, перекрестился:

— Ну, вот, мы и дома! Слава Тебе, Господи! — и взглянув на побледневшего шкипера, улыбнулся, похлопал его по плечу. — Да не дрожи ты, как лист осиновый. Мое слово верное. Вернешься к своей бабе и ребятишкам без препятствий и ущерба.

Шхуна входила в гавань Ревеля без флага. Навстречу неведомому судну направился шлюп под любезным андреевским стягом. И грубоватый окрик молодого офицера, осведомлявшегося, кто и зачем входит в русские воды, радостью на сердце отозвался.

— Кто на палубе?

— Генерал-кригскомиссар князь Яков Федорович Долгоруков сотоварищи возвращается из плена!

И едва верилось, что не сон это, а самая настоящая явь. Русский берег, русские стяги... Отечество милое! Снова ступает Яков Федорович на землю его! Со славою ступает, ибо свободу свою себе сам вернул, умножив чреду блистательных русских викторий! И словно все сорок сороков в груди благовестом переливаются! Вот она, радость пасхальная, Пасха русского духа!

Князю Якову Федоровичу Долгорукову было отпущено еще десять лет служения Царю и Отечеству. В русскую историю и поэзию вошло оно, как образец неподкупного служения не за страх, а за совесть. Князь не искал своей выгоды и не боялся прямить Царю. Однажды вспыльчивый Петр в споре с Долгоруковым схватился за кортик, но Яков Федорович остановил его руку со словами: «Постой, Государь! Честь твоя дороже мне моей жизни. Если тебе голова моя нужна, то не действуй руками, а вели палачу отсечь мне голову на площади; тогда еще подумают, что я казнен за какое-нибудь важное преступление; судить же меня с тобой будет один Бог». В другом случае Сенат постановил собрать по четверику ржи с крестьян ближайших к Петербургу местностей по случаю грозившего столице голода. Указ уже был одобрен Царем, и не хватало лишь формальной подписи под протоколом сенатора Долгорукова, не присутствовавшего в тот день на заседании Сената. Протокол доставили старому князю домой, но, вместо того, чтобы подписать, он запечатал его и тем приостановил его исполнение. Трижды Петр посылал за Яковом Федоровичем, требуя, чтобы он явился в Сенат, но тот был в церкви и явился на царский зов лишь по окончании литургии. Разгневанному самодержцу князь объяснил, что не следует отягощать новыми поборами и без того разоренных крестьян, а нехватку хлеба в столице легко можно восполнить, позаимствовав оный из богатых закромов князя Меншикова и других вельмож, включая самого Долгорукова. Государь, остыв, внял мудрому совету. Петр питал глубочайшее уважение к старому князю, и, когда тот скончался, горько плакал над его гробом.

Три жизни (Фёдор Михайлович Соймонов)

— За важные клятвопреступнические, возмутительные и изменческие вины и прочие злодейские преступления Волынского посадить на кол, вырезав прежде язык, а сообщников его за участие в его злодейских сочинениях и рассуждениях: Хрущева, Мусина-Пушкина, Соймонова, Еропкина четвертовать и отсечь голову, Эйхлера — колесовать и также отсечь ему голову, Суде — просто отсечь голову. Имение всех конфисковать, а детей Волынского послать на вечную ссылку...

Металлом звенел голос, читающий страшный приговор, и не было, по-видимому, этому голосу ни малейшего дела до тех, кому он был вынесен. Как не было его и всему Генеральному собранию, созданному, чтобы осудить «клятвопреступников»... И ведь все эти назначенные по повелению Императрицы «судии» прекрасно сознавали, что казнимые ими перед престолом и Отечеством вины не имеют, а виноваты лишь тем, что не могли без возмущения видеть поругания всего русского пришлыми временщиками — Биронами, Остерманами, Левенвольдами и прочей нечистью, что облепила подножие трона и нахально распорядилась всею Россиею, имея ввиду лишь личную корысть. Вот, кто злодеи истинные! Вот, кому на плахе место! Да где уж...

Покосился Соймонов заплывшим от побоев глазом на Волынского. И половины не осталось от прежнего дородного богатыря-вельможи, кабинет-министра, одного из первых лиц Империи Российской —

изможденный старик, едва держащийся на ногах от перенесенных пыток... Но прямится, но взглядом твердым смотрит на своих «судий», обрекших его лютой казни. Не ему, нет, выносили они приговор, а петровской Империи, России, народу русскому. А русские у врагов в ногах не валялись, сапог палачей своих слезами не омывали...

Много роптали на Государя Петра Алексеевича за крутой нрав, за жестокость. Да, крут был батюшка, но ведь не для себя старался, а лишь о державе Российской радел, для нее силы свои надрывая. И, вот, не стало его, и вельможи волю почувствовали, палкою царской не битые, взором его грозным не надзираемые. И пошла кутерьма! Сперва Долгорукие с Меньшиковым бодались, затем мудрые головы из Верховного тайного совета умыслили самое самодержавие укоротить. Дочь Петрову, Елизавету, не пожелали на престоле видеть, но привезли из Курляндии тетку ее, герцогиню Анну Иоанновну, обещав усадить ее на трон при условии, что править при ней будут они — мудрецы грошковые... Казалось этим мудрецам, что приходит их час, что теперь-то развернутся они при царице-марионетке! Анна Иоанновна поперву «верховников» разочаровывать не стала, подписала составленные ими кондиции, а затем, вступив на престол, разорвала их. Сами же «верховники» заплатили за свои честолюбивые планы свободой, честью и самой жизнью.

Они, впрочем, пожинали посеянное. Но за что расплачивалась уже который год вся страна, весь народ русский? «Слово и дело!» — всякое сердце трепетало при этих словах. Сыпались доносы, свежевали людей в казематах тайной канцелярии, пополнялась Сибирь изувеченным палачами населением... Средневековая инквизиция обрела себе достойное подобие в едва-едва обрядившейся по европейской моде России. И подобие это не русскими создавалось, а курляндской и прочей

нечистью, даже языка доставшейся им на разорения страны толком не ведавшей.

Волинский, поднявшись к вершинам власти, попытался отодвинуть от кормила нахальную олигархию, отвести русский корабль от курса губительного. И все, чьи сердца не лишились еще русского чувства, стали собираться подле него, образуя своего рода русскую партию — в противовес немецкой. Немецкая партия победила... Надолго ли? Бог весть! Соймонову, по крайней мере, падения ее уже не увидеть. Разве что с высоты небесной...

Краешек этой высоты едва различался в крохотном просвете высокого тюремного оконца. Федор Михайлович смотрел на него неотрывно, стараясь не видеть обступившего его сырого мрака. Июльские ночи коротки, а потому лишь ненадолго угасает светлая точка, и тогда безысходность овладевает душой. Пока же сияет она небесной лазурью, словно маяк в штормовую ночь, теплится безумная надежда на чудо. Даже теперь, когда приговор был оглашен, сердце не желало мириться с уготованным мучительным концом, сердце искало последний тонкий луч, который не дал бы сгуститься все подавляющей тьме. И луч не гас. Даже глубокой ночью светилось крохотное, как бойница, оконце — сиянием лунным... И в этом сиянии проходила перед Соймоновым вся его долгая жизнь.

Московская Математико-навигационная школа. За плечами гардемарина Федора Соймонова пять лет стажировки в голландском флоте и несколько морских походов. Его подготовка превосходна, и он недаром слывет лучшим по успеваемости навигатором. Но замирает в страхе сердце перед экзаменами, ибо экзаменационную комиссию возглавляет сам вице-адмирал Петр Михайлов — Император Петр Алексеевич, что под этим именем честь по чести выслужил свой чин, пройдя все ступени к оному на практике. Дух

захватывает впервые держать ответ перед самим Царем! И все же взял себя в руки Федор — как-никак уже бывалый моряк был к тому времени, а не недоросль смущенный. Отвечал четко и точно, но Государь все задавал и задавал новые вопросы. Сам зная морское дело в совершенстве, Петр установил высочайшие требования к кандидатам в морские офицеры. Даже наличие европейского патента не могло гарантировать соискателю получения чина в русском флоте. Соймонов уже начинал опасаться, что отвечает дурно, когда Царь удовлетворенно кивнул:

— Любо-дорого такого офицера слушать! Иной, и до чинов дослужась, знает менее твоего! Вот, какие моряки нужны России!

В этот день Федор был произведен в чин мичмана и направлен на новейший флагманский 64-пушечный линейный корабль «Ингерманланд» Котлинской эскадры, на котором Император держал свой адмиральский флаг. С той поры судил Бог молодому офицеру быть сподвижником Государя, находясь подле него и разделяя его труды. Шестью годами позже Соймонов сопровождал Петра в Персидском походе, доставившем России Дербент.

В том походе Государь, как всегда, довольствовался малым. Во время осады крепости жил в землянке, ничуть не смущаясь неудобствами. В этой землянке ночами жаркими сколько памятных бесед велось! Так и виделась Федору Ивановичу огромная фигура великого Императора, склоненная над освященными сальной свечою картами.

— Все, друг ты мой, трудами приобретается, и Америка не без труда сыскана, чрез столь далекий путь около мыса Доброй Надежды... — слышится никогда не выдающий усталости голос.

Вспыхивает сердце Соймонова давней мечтой, для которой слова царские — что масло...

— Я давно размышляю о том, Государь, что должно нам проложить новый путь к берегам Северной Америки! — и рука уже сама тянется к циркулю, на карте отмечает чаемый маршрут. Какая важность, что от пределов персидских до сибирской стороны целая вселенная протянулась! Ведь не просто вселенная это, а Россия! И не одними южными да западными границами исчерпывается она! Сколько открытий, сколько богатств ждет своих колумбов на востоке и севере!

В 1711 году Данила Анциферов вместе с Иваном Козыревским перебрался с Камчатки на северные Курильские острова, а уже через год Козыревский сделал описание Курил и составил схематические карты. Кроме того, он собрал сведения о Японии и о морских путях к ней.

В 1713 году Семен Анабара и Иван Быков открыли в Охотском море Шантарские острова. Государь тогда же обещал большую награду за открытие морского пути к Камчатке, и в 1716 году Кузьма Соколов и Никифор Треска открыли оный и составили карту. Петр направил на Дальний Восток двух геодезистов с предписанием «...до Камчатки и далее, куда вам указано, и описать тамошние места, где сошлася ль Америка с Азиею...» В 1721 году они прошли на ладье от Камчатки на юго-запад и описали четырнадцать Курильских островов.

— Надо идти Волгой в Каму, затем Тоболом в Иртыш, а оттуда по Оби и Кети достичь Маковского волока! — горячо говорит Соймонов, как воочию представляя себе начертаемый путь. — За ним начнется плавание по Енисею, Тунгуске и Ангаре до Байкала, а от Байкала — к Яблоновым горам. Волок приведет нас к Ингоде, а Шилкою и Амуром мы достигнем Восточного океана. Как Вашему Величеству известно, сибирские восточные места и особливо Камчатка от всех тех мест и филиппинских и японских островов до самой Америки

по западному берегу не в дальнем расстоянии находятся. И потому много способнее и безубыточнее российским мореплавателям до тех мест доходить возможно было бы против того, сколько ныне европейцы почти целые полкруга обходить принуждены!

Но рассеянно слушает Царь планы жаждущего открытий моряка... И дорога ему идея пути северного, но теперь иные пути занимают его куда больше.

— Полно, Федюшка, эго занесло тебя! Колумбовы лавры покоя тебе не дают? Понимаю! Но, однако же, есть у нас пока дела поближе, чем твои берега сибирские.

Поближе — это Персия и Индия. Грезил Император походами туда, и не в Тихом, но в Индийском океане желал омыть сапоги своих солдат. Повинуясь царской воле, Соймонов исследовал море Каспийское, первым из европейских мореплавателей достигнув входа в залив Кара-Богаз-Гол. По итогам этих исследований был составлен атлас карт Каспийского моря, на которых впервые была точно очерчена береговая линия, и обширный труд — «Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских завоеваний». Карту эту, как важную новость в мировой географии, Государь представил в Парижской академии наук и в Королевском обществе в Лондоне.

Хотя и тяготел Петр Алексеевич к направлениям иным, а все ж не могли и его «колумбовы лавры» не увлечь. Уже будучи болен после того, как самолично спас тонущих у Лахты моряков, Император приступил к организации Первой Камчатской экспедиции, основной целью которой постановил — искать, где Азия «сошлась с Америкой». Это было одним из последних деяний Государя, его предсмертной волей... Смерть не позволила осуществить ее. Со смертью своего исполина-преобразователя Россия стала погружаться в

хаос, превращаясь в игрушку чуждых всякого государственного смысла и долга временщиков...

Всякие времена случались на Русской земле. И иго, и жестокость Иоаннова, и Смута... Но не бывает такого времени, в какое нельзя было бы честью служить Богу и Отечеству. Желаящий такой службы, всегда найдет ее. Федор Иванович был именно из таких людей. В течение восьми лет имея счастье находиться подле великого Императора, он, во что бы то ни стало, стремился продолжать его дело. Не имея возможности осуществить сибирские замыслы, он детально исследовал Балтийское и Белое моря, составив их атласы, издал «Экстракт штурманского искусства из наук, принадлежащих к мореплаванию, сочиненный в вопросах и ответах для пользы и безопасности мореплавателей»... Выполнил Соймонов и дипломатические поручения. Именно он добился, что хан Калмыцкой орды признал себя вассалом Императрицы и послал в русскую армию 10 тысяч калмыков. Наконец, Федору Ивановичу была доверена должность прокурора Адмиралтейской коллегии. Исполняя должность эту без всякого страха, Соймонов вскрыл множество злоупотреблений и не желал закрывать на них глаза. Это доставило ему немалое число врагов, среди которых оказался и фаворит Императрицы герцог Бирон. Тем-то и было обусловлено роковое обвинение, будто бы он «слыша от Волынского злодейские рассуждения и непристойные разговоры и видя его злоумышленные письменные сочинения и прочие злодейские поступки, не токмо, где должно не объявил, но и в сообщении к нему пристал». Впрочем, в обвинении этом навета не было. Ибо злодеи, всякие рассуждения, против них направленные, завсегда называют злодейскими, а думать и судить по-русски в дни торжества нового ига — несомненное преступление.

В сущности, оглядываясь на прожитые 58 лет жизни, можно со спокойным сердцем сказать, что прожиты они не даром, что оставленное по себе наследие будет и далее служить благу России. Но слабо сластит это утешение последние часы обреченного варварской казни четвертованием.

Каземат, в котором заточили Соймонова, походил на колодец и был столь мал, что по нему нельзя было даже ступить шагу. Федор Иванович страдал от удушья и мучительной боли разорванных дыбой сухожилий. А пуще — от горестных мыслей о покидаемой семье. Занятый службой и исследованиями, он обзавелся ею лишь к сорока годам, и теперь не суждено будет увидеть мужания, взросления любимых чад. Что-то станет с ними, опальными?..

Призрачный лунный свет сменился робким солнечным — грустным и словно смущенным в эти часы последнего рассвета. Вот, лязгнули тяжелые засовы, и раздалась такая безразличная команда:

— Пора!

Пора... Тяжело волоча закованные в кандалы ноги, последовал Соймонов за своими тюремщиками. Вспомнился вдруг Пустозерск, протопоп Аввакум и его единовверные, пожираемые безжалостным пламенем. Вынесли они ту муку лютую во имя веры своей... Правы ли, нет ли были, а какова сила! Где-то взять такую?

Скованные руки не позволяли перекреститься, и Федор Иванович мог лишь мысленно взывать к Небесному Владыке. Скоро-скоро настанут мгновения последних жесточайших мук, но это будут лишь мгновения, а затем все кончится, не будет больше не кишащего мышами каземата, не дыбы и прочих пыток, а лишь дававшая все это время надежду лазурь — цвет двух вечных стихий, неба и моря...

Измученных, окровавленных, оборванных узников возвели на плаху, где уже заготовлены были орудия

предстоящей казни. Хоть и закованы были в цепи, а все ж кое-как обнялись с Волынским, подкрепляя друг друга.

— Скоро снова встретимся, Артемий Петрович!

— Встретимся, Федор Иванович... — отозвался Волынский, но полыхающие гневом глаза его не на Соймонова смотрели, а испепеляли того, кто в богатом камзоле, точно на бал, явился в первый ряд кровавого зрелища — Бирона.

— Проклятый, проклятый!.. — шептали бескровные губы Артемия Петровича.

Всесильный фаворит Императрицы открыто торжествовал свою победу. С устранением Волынского и его сторонников он чувствовал себя по-настоящему всемогущим. Теперь уж никто не мог представлять для него угрозы, перебить его влияния. Разве что другие немцы... Но они не стремились к этому, ведя свои партии исподтишка, как уже лет двадцать «умирающий» Остерман, которому надлежало бы теперь быть подле Бирона, деля с ним триумф. Но умный Остерман всегда предпочитал оставаться в тени, которая куда как лучше идет преступлениям, нежели солнечный свет, на котором выставлялся, бравирюя своей наглостью, глупец-курляндец, привлекавший таким образом всю ненависть к своей особе.

— Проклятый...

Бледный священник приложил к губам главного «клятвопреступника» крест, точно замыкая их от проклятий. Следом приложился к распятию Соймонов:

— Господи, прими наши души в Царствии Твоем!

Ослепительно ярко сияло июльское солнце. Ослепительно блистали брильянты глумящегося курляндца, на которого Федор Иванович предпочитал не смотреть. У страшных орудий шли последние приготовления. Внезапно к скорбному помосту выехал офицер...

— Повеление Государыни-Императрицы!.. Ее Императорское Величество, безграничную милость свою являя, повелевает смягчить приговор...

Тяжело, словно удары в рынду, отдавались слова нового приговора в голове... Волынского, Еропкина и Хрущева казнить смертью, Мусина-Пушкина — сослать на Соловки, вырвав язык, Соймонова — бить кнутом и, вырвав ноздри, сослать в Охотск. Такой-то экспедиции в Сибирь дождался!..

Взглянул Федор Иванович на Волынского. Тот краем бледных, растрескавшихся губ усмехнулся:

— Знать, нескоро свидимся теперь, Федя! Прощай, друг! Дай Бог тебе до нашего торжества дожить! Не все остерманам с биронами праздновать!

* * *

Велика ты, Сибирь-матушка! Как океан, необъятна! Сутки едешь, другие, а окрест все пространства заснеженные, лишь с одним небом граничащие. И леса... Привычен русский человек к лесам, Русь — страна лесов и рек, а в сибирской тайге иной раз не по себе сделается. Почудится вдруг, что никогда не кончится она, и от воя по пятам спешащих волков позамрет сердце. Особливо если угораздило тебя с одним лишь возницей пуститься в санный путь через волчью вотчину...

— Эх, барин, надоть было до завтрава обождать, — Гаврила то и дело беспокойно оглядывался, не мчат ли за его проворной тройкой серые хищники. — Смеркается нынче рано, не дай Господи застигнет нас ночь в тайге!

Варенцов лишь плотнее укутался в шубу. В прежней службе своей привык он сражаться с морской пучиной,

противостоять ревушим валам штормов, но стихия таежная была внове ему. В душе он готов был согласиться с возницей, что можно было бы отложить путь до утра. Столько дней бесполезно кружа по Сибири, что за разница — днем больше или меньше... Но уж таков нрав был у капитана Варенцова, что не мог он мешкать ни в каком деле, а паче — в Государевом, а паче — в деле, призванном восстановить злодеями поправленную справедливость.

— И сколько ж нам, барин, еще по острогам-то плутать! Может, он уж помер давно, адмирал-то ваш?

При этих словах Варенцов вздрогнул. Это горестное предчувствие все увереннее входило в его сердце. Неужто опоздал он? Опоздала свет-царица Елизавета? И достойнейший сын Отечества, славный герой и петров сподвижник скончался в каком-нибудь затхлом острожном углу от непосильных трудов и истощения? Кровью обливалось сердце капитана от этого встающего в его воображении зрелища. Потому оборвал досадливо не в меру разговорившегося холопа:

— Молчи, Гаврила! Лучше погоняй шибче, не то станем волчьим ужином!

Кони и без того шибко мчали, их и погонять не нужно было — чай, и им совсем не желалось трапезой таежных хозяев сделаться...

Холопу рот заткнуть несложно, а, вот, с мыслями своим как быть? Исколесил уже вдоль и поперек Варенцов каторжный край, и нигде помину не было о Федоре Ивановиче. В Охотском остроге капитан самолично списки заключенных пересмотрел — не оказалось в них Соймонова.

— Да дошел ли он хотя до Охотска?

— Кто ж его знает! К нам за последние годы куды как много люда гнали, разве ж всех учтешь!

— Ну, а коли умер у вас арестант, так как же?

— В общую яму, куды ж его!

— Но должны же быть в этом случае записи о смерти!

— Да разве ж их всех учтешь! У нас здесь жизнь не сахар, от такой жизни люди частенько мрут.

Из себя выходил Варенцов от безразличия осторожных начальников. Никакого дела не было им до человеческой жизни, до судьбы человеческой. Все каторжане представлялись им на одно лицо — разбойники, преступники. Что о них печаловаться! Только и годятся, чтобы, пока в силах, самые тяжкие работы выполнять, а как не станет сил, так в общую яму лечь, удобряя суровую землю. Конечно, и суровость края, и каторжное окружение не способствуют доброте и сердечности, напротив, вымораживают сердца, но не до такой же степени! Ведь и за скотиной хорошие хозяева догляд и заботу имеют! А здесь — люди. И подчас вовсе без вины муки терпящие...

Что если Федор Иванович вовсе не достиг Охотска? В 58 лет, да после дыбы и кнута такое расстояние в кандалах и лишениях многим ли под силу? Иной, рассудив таким образом, пожалуй, и забросил бы безнадежное дело, поспешив покинуть неприятный край. Но только не Варенцов! Для него розыск Соймонова был не только Государевым делом, но и личным.

Когда-то юный мичман Сашка Варенцов принимал участие в осаде Гданска. За этот польский город, а через него — за влияние в Речи Посполитой после кончины ее короля сошлись тогда в противоборстве Россия с союзной Саксонией и Франция. Сухопутными войсками командовали в том деле Ласси и Миних, отдельными отрядами под их началом — генералы Артемий Волынский и Карл Бирон, брат нахального курляндца, силы же морские предводительствовали адмирал Томас Гордон и обер-штер-криг-комиссар флота Соймонов. Мичману Варенцову привелось

принимать боевое крещение под началом последнего. Навсегда запомнилось ему холодное мужество этого статного, красивого моряка, его отеческое внимание к молодым офицерам, его мудрые наставления.

Соймонов тотчас отметил способного юношу и в дальнейшем не упускал из виду. Благодаря ему, участвовал Александр в экспедициях по Белому и Балтийскому морям, составляя их описания. Федор Иванович грезил об экспедиции к берегам Камчатки и заразил этой мечтой Варенцова. Вдвоем они, бывало, пролагали на карте возможные маршруты этого путешествия... Кто бы мог подумать, что совсем иным маршрутом придется следовать адмиралу к влекущему его помыслы краю, и моря Охотского достигнет он кандалником с вырванными ноздрями...

Снова сжалось сердце капитана. Более двух лет минуло с той поры, как вынесен был позорный приговор. Судьба наставника и друга поразила его настолько, что крепко засела в нем мысль добраться до проклятого фаворита и расквитаться с ним за совершенное злодейство. Пускай бы колесовали затем... Разумеется, офицерская честь не допускала кинжального удара из-за угла, Александр представлял себе, как подкараулит Бирона во время прогулки и вызовет его на поединок. На котором, несомненно, убьет. Ибо ловкости ему не занимать. Сложность исполнения плана, однако, заключалась в том, что трусливый временщик почти не оставался один, его неизменно сопровождали слуги...

Естественным образом капитан скоро вошел в круг сторонников Цесаревны Елизаветы. Если сама дочь Петрова не рвалась к власти, то ее приближенные видели своей целью возвращение ей отцовского престола. Вдобавок после расправы с Волынским Бирон решил заняться судьбой Цесаревны. Конечно, отправить ее на плаху возможным не представлялось, но... можно

было выдать замуж. За иностранного принца — с обязательной отсылкой в страну супруга. А того лучше — не имела приделов наглость курляндская! — за собственного малолетнего сына! Чтоб, когда не станет Царицы Анны, не только не потерять, но и упрочить свое положение, оказавшись тестем новой Императрицы.

Бог, однако же, умилоствовал над Россией, скоропостижно призвав к себе Анну Иоанновну. С ее смертью престол унаследовал младенец Иоанн Шестой, сын ее племянницы Анны Леопольдовны, ненавидевшей, но боявшейся Бирона. Эта молодая женщина и ее безвольный муж, принц Антон Брауншвейгский, не имели за собой, в сущности, никакой вины. Тем более невинен был их сын. Однако, декоративное правление этой несчастной семьи, далекой от какого-либо понимания России, при фактическом диктате Бирона, Россию презиравшего, продолжаться дольше не могло. Восставшая гвардия низложила узурпаторскую власть и возвела на престол Цесаревну Елизавету.

Новая Императрица, отличавшаяся великодушным сердцем, не стала казнить своих обидчиков, ограничившись их ссылкой, и поспешила восстановить справедливость в отношении мучеников прежнего царствования. Вызволена была из ссылки с возвращением всего имущества семья Волынского, возвращено достоинство его сподвижникам. Зная близость Варенцова к Соймонову, именно его выбрала Елизавета Петровна для путешествия в Охотск с целью отыскать там адмирала и объявить ему царскую милость.

Знала бы Государыня-Матушка о том аду, какой творится в этих каторжных дебрях! Слезами бы облилось ее нежное сердце, всякую жестокость

отвергающее. Пропал в этих дебрях великий человек, и нет в том никому никакой печали...

— Слава Тебе, Господи, успели до ночи! — Гаврила набожно перекрестился.

Первые звезды уже замерцали на небе, когда тайга распахнула свой зев, выпустив на широкий простор озябших путников. Теперь лишь с пути не сбиться, и уже рукой подать до цели!

Целью Варенцова был один из расположенных окрест соляных заводов. На них работали многие заключенные, и капитан еще не утратил надежды найти в их числе незабвенного наставника. Он осмотрел уже почти все заводы, не погнушался, не довольствуясь списками, обойти и бараки, говорил с каторжанами, спрашивая их, не встречался ли им адмирал флота Российского Федор Соймонов. Но унылое качание головами было ему ответом...

Завод, до которого добрался Александр уже потемну, был брат-близнец тех, какие довелось ему посещать. Та же неразбериха в списках, та же пустота в глазах начальства... Конечно, Государынину посланнику стремились услужить, перед ним всячески заискивали, но вместо помощи в деле предлагали угостить копченой медвежатиной под особо целебную наливку. Чертовы бестии везде одинаковы! Что в Петербурге, что на краю земли... Боятся, подлое племя, что Варенцов не просто так прислан, а с тайною инспекцией, что донесет на Высочайшее имя о бесчинствах увиденных! Еще чуть-чуть и взятку предлагать начнут с видом кротчайшим и невинным.

— Где теперь ваши заключенные?

— Где и положено им быть в сей час. На ужине.

Осторожный ужин — статья особая. Смерд неведомо из чего приготовленного варева мешается со смердом сгрудившихся человеческих тел, давным-давно не знавших бани. Духота, грязь... Рваные ноздри, клейма,

иные увечья... Обреченно проходил Варенцов вдоль столов, вглядываясь в заросшие, изможденные лица, время от времени задавая вопрос, не слышал ли кто о Федоре Соймонове. Но и здесь никому неизвестна была славная фамилия петровского сподвижника.

Наконец, капитан достиг кухни, где среди кипящих котлов проворно орудовала какая-то баба. Устало опустившись на лавку и попросив кружку воды смочить пересохшее горло, Варенцов безнадежно спросил:

— Не знаешь ли ты, мамаша, здесь, в числе каторжных, Федора Соймонова?

Баба, ловко посадив лопату с хлебами в печь, обернулась, вытерла о ветхую юбку перепачканные мукой руки:

— Соймонова... Нет, нет у нас такого. И не бывало на моей памяти...

Варенцов тяжело вздохнул и поднялся, чтобы уходить. Но баба вдруг наморщила лоб, словно что-то вспоминая:

— Федора... — повторила она задумчиво. — Есть у нас, барин, Федька-варник. Вон, — кивнула в сторону, — в углу дрыхнет. Спроси, не он ли.

Федька-варник... Чего только не придет в глупую бабью голову... Однако, что бы не спросить? Капитан шагнул к спящему на голом полу, укутавшись в каторжный серый зипун, старику. Тряхнув его за плечо, спросил:

— Не знаешь ли ты, отец, Федора Соймонова?

Варенцов был готов услышать обычное безразлично-отрицательное мычание в ответ, но старик вдруг поднялся и распрямился. Запавшие глаза, точно и не тронутые сном, пристально оглядели капитана.

— На что его вам? — прозвучал ответ.

— Нужно... — растерянно отозвался Варенцов, в свою очередь вглядываясь в худое, обрамленное длинными седыми волосами и бородой лицо. Старик не

спешил с ответом, продолжая изучать столичного гостя. Этот спокойный, умный, твердый взгляд, этот голос... Эта безукоризненно прямая осанка истощенного старца... Капитан вздрогнул и, не дожидаясь ответа, спросил вдруг севшим от волнения голосом:

— Да не вы ли и есть Федор Иванович Соймонов?!

— На что вам? — повторил старик.

— Очень нужно... Федор Иванович, вы не узнали меня? Я Варенцов! Александр Варенцов!

Тут только сообразил капитан, что в углу, где спал «Федька-варник», совсем темно, а сам он стоит спиной к свету так, что старику почти невозможно различить его лица.

— Да, я некогда был Федор Соймонов, — голос Федора Ивановича дрогнул, — но теперь я лишь несчастный Федор Иванов...

На глазах Варенцова выступили слезы, и он, порывисто обняв своего дорогого наставника, которого уже почти не чаял найти живым, выдохнул:

— Федор Иванович, Государыня Елизавета Петровна милует вас и послала меня с тем, чтобы я сыскал вас!

Плечи старика задрожали, и в первые мгновения он не мог вымолвить ни слова. По впалым щекам его беззвучно текли слезы. Наконец, он отер их рукавом зипуна и перекрестился:

— Слава тебе, Господи, что избавил недостойного раба своего от мук и позора! И Государыни-милостивице слава за мое спасение... А тебе, Саша, — голос Федора Ивановича потеплел, — спасибо! Вижу, что не забыл меня-старика и в беде моей...

— Федор Иванович, дорогой, да как же забыть... — не мог сдержать слез и Варенцов. — Вы же мне, что отец второй! Идемте же отсюда немедленно! — и бережно взяв старика под руку, капитан провел его мимо опешившей от удивления бабы. У самых дверей Соймонов обернулся к ней, кивнул на прощание:

— Спасибо тебе, Марья, за все!

Баба лишь перекрестила его вослед.

Не дожидаясь утра, Варенцов велел построить на площади всех наличных солдат, составлявших местную стражу. От воткнутых в землю факелов стало светло, почти как днем. Федор Иванович преклонил колени, и капитан зачитал указ о его помиловании. После этого он покрыл адмирала знаменем и вручил ему свою шпагу в ознаменование возвращения бывшему «государственному преступнику» прежнего достоинства. Солдаты нестройно грянули «виват Императрице!». Соймонов с трепетом коснулся губами холодной стали, затем поднял глаза к небу, на черном атласе которого воцарилась луна. На мгновение заводская площадь погрузилась в молитвенную тишину.

— Слава Богу, — прошептал Федор Иванович. — Сподобил дожить до торжества нашего, как Артемий Петрович завещал... Значит, послужим еще Отечеству и Государыне. И за себя, и за тех, кто не дождался...

* * *

Март-месяц насилу теснил из московских пределов зиму, следя по пятам ее проталинами, провожая гомоном птиц и яркими лучами сражающегося с тьмой и отвоевывающего себе все новые минуты солнца. Иной сказал бы, что ослепительно оно, но знающий солнце сибирское, в снегах подвенечных отраженное, промолчит. Сибирское солнце столь ярко бывает, что самое зрение помрачить может, коли не беречься. Солнце московское милостивее, ласковее... Под стать самой Москве-матушке, всегда теплой и гостеприимной.

В Москве прошла большая часть детства Михаила Федоровича. С опалю отца горькой могла бы стать

судьба отрока, кабы не дед, прежних времен стольник Иван Васильевич Отяев. Старик принял опальное семейство под свой кров, всецело взяв на себя попечение о дочери и внуках. Младшие еще несмышлены были в ту пору и не так остро чувствовали постигшую их беду. Наивно не понимали малютки-сестрицы, отчего приходится покидать им любимый дом на Васильевском острове... Миша понимал все, при нем и мать, почерневшая от горя, но крепившаяся на людях, давала волю сердцу, рыдая в сыновних объятиях. И от рыданий этих разрывалось сердце мальчика. И тем тяжелее было, что самому ему не осталось плеча, на которое можно было бы преклонить скорбную голову. С арестом отца он становился главой семьи и должен был вести себя подобающе, быть сильным. Так и дед пестовал:

— Ты обязан быть мужественным! В память отца и во имя матери и сестер с братьями. Я стар, помру скоро. В поле чистом да без полушки вы, вестимо, не останетесь. Но этого мало. Семье нужна опора. И твой долг такой опорой быть.

«Долг» — это слово сделалось главным для Миши с нежных его лет. Долгом пронизана была его жизнь в доме деда, долгом было обучение по воле Ивана Васильевича в Академии Наук, а затем — в Артиллерийской школе. Он забыл детские забавы и юношеские проказы и ни мгновения не жил для себя. Он жил для матери, для братьев и сестер, но прежде всего — для отца. С младенчества тот был для него примером, олицетворением мужества, ума, благородства. Расправа над ним потрясла мальчика, унижение его всякий миг жгло оскорбленное сыновнее сердце.

Миша не присутствовал на казни, но иногда по ночам его преследовал кошмар: он будто бы слышал свист кнута, коим бичевали его родителя, видел черную

фигуру палача, залитую кровью плаху... Только самого отца не видел при этом, звал его, но не мог дозваться. И от этого жутко становилось на душе, и в холодном поту пробуждался мальчик от страшного видения.

По производству в штык-юнкера Михаил по собственному горячему ходатайству был причислен к «Секретной комиссии», отправлявшейся в Сибирь для описания в Нерчинском уезде «хлебопахотных земель и измерения фарватера р. Шилки и сочинения планов». Руководителем этой экспедиции, предпринятой по Шилке и Амуру, был назначен Федор Иванович Соймонов.

В нехоженых краях, в таежно-каторжной глухомани, у бурливой и своенравной Шилки состоялась первая после долгих лет разлуки встреча отца и сына. Точно восставший из гроба Лазарь явился перед Мишей родитель — несмотря на утекшие годы и тяжкие испытания, по-прежнему крепкий телом и бодрый духом. Трудно было поверить, что этому исполину, легко переправляющемуся через опасные стремнины, с легкостью юноши перепрыгивающему с камня на камень, совсем скоро стукнет семьдесят. Адмирал флота Российского командовал маленькой речной флотилией, пролагая по ним новые пути, составляя их гидрографическое описание, строил боты для сплава по ним и, кажется, вовсе не ведал ни усталости, ни тоски по столичному блеску. Всегда мечтавший исследовать Сибирь и Дальний Восток отец, занесенный в этот край злой судьбою, принял эту судьбу и взялся на новом месте за дело с обычной своею неутомимостью.

В дни Нерчинской экспедиции Миша был совершенно счастлив. До глубокой ночи засиживали они с отцом у костра, не в силах наговориться друг с другом. За столько лет у обоих накопилось, что рассказать! А кроме рассказов явились и чаяния общие! Приметливый глаз младшего Соймонова уже тогда

приглядывался к организации горной добычи в сибирском краю и находил, что худо налажена она. Горное дело требовалось упорядочить, но, как всегда, не доставало России времени, людей и средств на освоение отдаленных от столицы богатств, не хватало внимания к нуждам необъятных окраин, которые по пространству своему давно уж не окраинами, а основой России сделались... И этакое Богом данное сокровище в каторжную глухомань обратить!..

Сибирский губернатор адмирал Мятлев, давний друг отца, куда как хорошо понимал это и в Соймоновых обрел себе вернейших и деятельных сподвижников. Желая иметь в Сибири своих штурманов, он инициировал открытие двух навигацких школ, а отец создал их — в Нерчинске и Иркутске, лично опекал оба учебных заведения и почти два года самолично преподавал в Нерчинской школе, радуясь возможности передать свои огромные знания молодым морякам.

Михаил же, произведенный за Нерчинскую экспедицию в поручики, получил задание описать Китайскую границу и укрепить Нерчинск по последнему слову инженерно-фортификационной мысли. Так сомкнулись пути отца и сына, чтобы уж не размыкаться более.

С началом войны с Пруссией Василий Алексеевич Мятлев был призван на флот, и не было у адмирала человека более надежного для оставления в его ведении Сибири, нежели старый боевой товарищ и долголетний соратник по преобразовательной деятельности. Отец, хоть и готов всегда был любую ношу на свои могучие плечи взвалить, а тут смутился сперва:

— Мне уж семьдесят пять, Вася, куда в такие лета губернаторствовать! Того гляди с Богом общаться час пробьет!

По богатырскому виду отцовскому никак нельзя было сказать, будто бы скоро этому скорбному часу настать надлежит. Ни ума ясного, ни памяти не растерял Федор Иванович, да и крепость здоровья — иным в расцвете сил молодцам на зависть!

— Все понимаю, Федя, — ответил ему Мятлев, — но ведь и ты понимаешь: кроме тебя некому! Посуди сам. Если ты теперь откажешься, то на мое место пришлют из Петербурга неведомо кого — в лучшем случае человека, дел наших не знающего, который одним своим незнанием все наши с тобой начинания остановит! В худшем же — прямого проходимца и вора. Сибири завсегда не везет с губернаторами!

— Не только ей...

— Не только. Но у Сибири по крайности пока есть ты. И если я оставлю ее в твоих руках, душа моя будет спокойна!

Долг... Для отца это слово также было главным в жизни. И отказать уходящему воевать с прусским забиякой-королем другу, а к тому поставить под угрозу дорогое им обоим и важное для Отечества дело он не мог. В новый свой приезд в Сибирь Михаил обнимал родителя уже в губернаторском доме в Тобольске. От Государыни получил он повеление состоять при особе отца и во всем быть ему помощником.

Должно быть, еще не имела Сибирь столь милостивого, заботливого и непримиримого ко всякому лихоимству начальника. Новый губернатор изменил порядок рассмотрения жалоб: отныне дела, не связанные с оскорблением Государя, рассматривались без волокиты. Почти полностью были упразднены им телесные наказания. «Я сам испытал, каков кнут!», — говаривал адмирал и, пройдя все ужасы положения раба и преступника, не знал пренебрежения ни к кому из последних людей. Его работоспособность была удивительна, и в этом он был подобен своему

Императору. Тот, однако, несмотря на богатырский вид, оказался куда слабее здоровьем. Соймонов же, приближаясь к 80-летнему рубежу, вставал в четыре часа утра и после легкого завтрака тут же принимался за работу, продолжавшуюся до самой ночи. Он строил корабли и маяки, учреждал школы, намечал новые пути исследования Тихого океана, замирял восставших жителей Чукотки, развивал земледелие. Благодаря его неутомимой деятельности Охотск обрел собственную Морскую школу, Тобольск — школу Геодезическую, а неповторимое чудо-озеро Байкал — гавань. За всем этим успевал отец еще и изобретать! Приметив нужды лесного дела, губернатор сам сконструировал пильную машину, действующую конской силой, описание которой было опубликовано в научном вестнике. Вверенному его попечению краю Соймонов посвятил два труда «Известие о торгах сибирских» и «Сибирь — золотое дно».

Когда по кончине царицы-милостивицы занял трон ее разумом скорбный племянник Петр Федорович, Михаил в столице был. Ох и замутилось тогда на душе артиллерии майора! Слово бы времена проклятой бироновщины вновь возвратились в Россию! Новый царь презирал все русское и всем ничтожным существом своим был преданным вассалом прусского короля. Уже разгромленному русской армией Фридриху были преподнесены на блюде все русские победы. Такого попиранья русской крови, подвигов и жертв не ведала Россия даже во времена Анны Иоанновны, которая хотя и была куклой в руках временщиков, но все же не забывала достоинства Императрицы Российской, не полагала его к ногам иноземных властителей.

На счастье, и года не довелось править полоумному голштинцу. На этот раз русская гвардия не стала медлить десять лет, но путем проторенным возвела на престол новую Императрицу — жену Петра, Екатерину

Алексеевну. Ныне обласканный ею сибирский губернатор, наконец, получил по второму своему прошению отставку от должности, которая на девятом десятке лет сделалась для него слишком тяжелым бременем.

Государыня наградила его орденом Александра Невского и призвала в столицу, назначив сенатором. Михаил тотчас после этого выехал в Москву, дабы подготовить дом к приезду родителя и встретить его самого.

Федор Иванович пустился в путь в самую студеную пору, не пожелав дожидаться удобного для путешествий лета. День за днем мчались сани бывшего сибирского губернатора по заснеженным русским пространствам. Ему перевалило за восемьдесят, и он знал, что Сибири, с которой сроднился он, ему больше не увидать. Знал и прощался с нею навсегда, в последний раз обозревая край, в который пришел он обреченным кандалником, а покидал его хозяином и благодетелем...

С раннего утра выехал Михаил навстречу отцу верхом и после пары часов пути увидел споро мчавшийся по накатанной дороге «караван» из двух крытых саней. Губернатор Сибири и сенатор путешествовал просто и налегке. Вещей он не копил, а потому и достало для них одних саней, да и тех много было.

«Караван» остановился. Дверца первых саней отворилась, и на снег сошел высокий, статный старец в собольей шубе нараспашку...

— Ну, здравствуй, сын!

Михаил, как десять лет назад, в Нерчинске, по-мальчишески бросился родителю на шею. Он и теперь питал к нему то же восторженное благоговение, и каждая встреча с ним была — величайшим праздником.

— Что Ломоносов? — это был первый вопрос, заданный отцом, едва Михаил пересел в его сани, и кони вновь тронулись в путь.

— Готовит с Чичаговым северную экспедицию.

— Наслышан уже о том прожекте и писал ему свои соображения. Не с того конца они взятыся хотят! Этой экспедиции ход еще Петр Алексеевич дать собирался, да Господь не оставил времени. С той поры не идет она у меня из головы. Михайле бы Васильичу получше прежние прожекты разузнать, его ум велик, а все ж не все объять может.

— Вскоре вы сами сможете обсудить с ним это, — улыбнулся Михаил, радуясь, что родитель не утратил прежнего рвения и тяги к делу. — Ломоносов страстно увлечен сим прожектом и Сибирью вообще. Он считает, что именно ею станет прирастать Россия.

— Верно считает, — одобрил Соймонов-старший. — Думаю, мы сойдемся с ним. Он честный и настоящий русский человек, о пользе Отечества радеющий. А с такими людьми завсегда понимание найти нетрудно.

На горизонте огненно блеснули кресты и купола московских церквей и соборов. Отец с силой ударил палкой в потолок своего экипажа:

— Филька, а ну, стой!

Сани остановились, и бывший губернатор вновь сошел на землю.

— Прежде чем въехать, дайте мне на Москву мою издаля посмотреть-полюбоваться! Почитай, целую жизнь не виделась! Ну, здравствуй, милая! Здравствуй, колыбель и кормилица! Здравствуй, матушка незабвенная! — трижды поклонился отец, обнажив белоснежную голову и не отирая навернувшихся на глаза слез.

Москва лежала перед ним, как на ладони, пестрая, теремная, родная, как слышанная в детстве сказка... Близился час окончания утренней службы, и одни за

другими загудели, запели, зазвенели, вливаясь в общий хор, московские колокола. Соймонов перекрестился:

— Шестое царствование сподобил Господь служить России! Дай-то, чтобы нынешнее было благословенным для нее. А уж мы... — старый моряк надел шапку и чуть улыбнулся, щуря на солнце живые, ясные глаза. — Мы послужим еще. Доколе Бог грехам терпит!

Федор Иванович Соймонов служил России еще несколько лет, не дожив лишь двух лет до своего 90-летия. Под его влиянием Ломоносов пересмотрел свой изначальный проект северной экспедиции, и она была осуществлена в 1765 году адмиралом Чичаговым. Последние годы Соймонов жил в своем имении под Серпуховым, где успел написать историю правления Петра Великого — первое жизнеописание Царя-реформатора. Похоронен великий ученый и государственный деятель в серпуховском Высоцком монастыре. Его сын, Михаил Федорович дослужился до звания генерала и стал директором Берг-коллегии и монетных дворов. В этой должности он возродил пришедшие в упадок Олонецкие заводы Петра Великого и учредил Горную школу (ныне Горный Институт). Соймонов-младший был одним из немногих «екатерининских» вельмож, пользовавшихся симпатией Императора Павла. Павел Петрович пожаловал его в тайные советники и сенаторы и назначил директором горных и монетных дел. Расстроенное здоровье вскоре вынудило Михаила Федоровича оставить все посты и уехать в Москву. В последние годы жизни он много переписывался с Императрицей Марией Федоровной, которая проявляла к нему большую заботу и даже присылала носки собственного вязания. По ее желанию Соймонов был назначен членом Совета Смольного и

Екатерининского институтов, которые находились под ее Августейшим попечением. Похоронен Михаил Федорович подле отца, в Высоцком монастыре. Однако, могила его со временем была утрачена. Славная фамилия Соймоновых сохранилась в топонимике родной для них Москвы — одна из ее набережных носит наименование Соймоновской.

**Служа прекрасным Дамам и
России
(Пётр Александрович
Румянцев-Задунайский)**

Двух выразительной наружности висельников, не в меру пристально шарящих за ним глазами, Петр Александрович заметил сразу. Они сидели в самом углу заведения милейшего папаши Бурдо, цедили неприлично дешевое вино и лишь изредка, для вида, позволяли ущипнуть или посадить на колени какую-нибудь из спящих вокруг птичек. С такими рожами и такими скудно набитыми кошельками не ходят служить Амуру и Бахусу. Какому же богу служат они? Уж не Аиду ли, притаившемуся в тайной канцелярии?

Петр Александрович уже почти уверился в этом заключении, как вдруг один из соглядатаев, не выпуская из руки початый стакан, поднялся и шаткой походкой направился в его сторону. Поравнявшись со столом, за которым сидел полковник в окружении своих нимф, он вдруг сильно покачнулся и как будто бы нечаянно расплескал вино прямо на мундир Петра Александровича.

— Ах ты, мерзавец! — взревел тот. — Да я с тебя сейчас кожу на барабан сниму!

Девушки взвизгнули и кинулись врассыпную, предвкушая веселое зрелище.

Марать славную шпагу о всякий сброд — дело неблагодарное, поэтому молодой полковник положился на свои дюжие кулаки. Однако, его соперник легко увернулся от первого удара, обнаружив тем самым, что вовсе не так пьян, как желал показаться прежде. Еще мгновение, и в руках у него блеснул нож.

Нет, это не соглядатаи, — решил Петр Александрович. Обычные головорезы, уже легче! С таким сбродом он разделается в два счета! Схватив табурет, он защитился от удара ножом и, отшвырнув

его вместе с воткнувшимся в дерево несостоявшимся орудием убийства, ударом кулака поверг разбойника на пол.

Однако, сзади на него налетел второй головорез, и полковник едва успел увернуться от направленного в спину удара ножа.

— Ну, держись, каналья! — с этими словами молодой офицер перехватил руку убийцы и с хрустом заломил ее ему за спину. Разбойник заорал благим матом:

— Отпустите, сударь! Это ошибка!

— Ошибка? — Петр Александрович с медвежьей силой навалился на мерзавца. — То есть ты, друг, хотел зарезать меня по ошибке?

Он бы без сомнения сломал своему супостату плечо, но в этот момент почувствовал увесистый удар по спине — это пришедший в себя первый разбойник изломал о него стул и теперь снова угрожал ножом. Поневоле выпустив свою покалеченную жертву, полковник вновь сошелся с первым противником. Он был моложе, сильнее и ловчее своего приятеля. Но до бравого офицера было ему далеко. Принципиально так и не обнажив шпаги, которая облегчила бы дело, Петр Александрович увернулся от нескольких вероломных ударов и, наконец, улучив момент, нанес удар свой — кулаком в лицо негодяю.

Удар был такой силы, что головорез ничком повалился на пол, а его подельник, поняв, что пришла его очередь, в ужасе бросился наутек и исчез прежде, чем полковник успел догнать его.

— Ладно, черт с ним, — решил Петр Александрович. — Потешимся одним висельником! — с этими словами он сгреб головореза в охапку и опустил головой в бочонок с пивом. Разбойник в отчаянии забарахтался:

— Не губите, сударь! Утопите!

— Непременно утоплю, — невозмутимо отвечал полковник. — И это будет для тебя честью! Быть утопленным в отменном пиве рукой русского дворянина! Зачем вы хотели убить меня, отвечай, если хочешь жить!

— Нам заплатили! — вынужден был признаться наемник.

— Кто заплатил? — продолжал допрос Петр Александрович, не забывая погружать своего пленника в бочонок.

— Надворный советник Л-ский! — выдохнул почти захлебнувшийся головорез и при этих словах был низвергнут на пол.

Полковник обтер руки:

— Вот ведь каналья! — бросил он весело. — Сразу видать мещанское ничтожество, хоть и дворянство выслужил... Сам сатисфакции потребовать побоялся, трус. Ну ничего, проучим и его. Долго он меня помнить будет!

С этими словами Петр Александрович расцеловал хлынувших к нему красавиц и, бросив увесистый кошелек хозяину за причиненный погром, покинул гостеприимное заведение папаши Бурдо.

Той майской ночью сон надворного советника Семена Леонтьевича Л-ского был прерван самым бесцеремонным образом — а именно барабанной дробью, в своеобразной «музыке» которой человек военный, конечно, безошибочно угадал бы команду к наступлению. В ужасе посмотрев на спавшую рядом жену, Л-ский вскочил с постели и бросился к окну. Глазам его предстало зрелище невообразимое.

Прямо под окнами его дома был выстроен для учений целый батальон солдат. Командовал же ими высокий, плотного сложения человек, из всей одежды на котором была лишь перевязь со шпагой и

треуголка... Семен Леонтьевич задохнулся от гнева. Этого бесстыдного адама он узнал сразу! Месяц назад Л-ский выследил собственную жену во время посещения укромной квартиры, куда она якобы ходила шить в обществе своей подруги — старой девы. Старая дева на проверку оказалась молодым офицером... Чего не хватало этому знатному повесе? Неужели мало ему было дам своего круга и девиц известного поведения? Почему именно на Като положил он свой нахальный глаз? Като! Все, что было у Семена Леонтьевича... Она была редкая красавица, его Като... Сиротка из дворянской семьи, бесприданница... Чтобы стало с ней, если бы он не посватался к ней, когда ей исполнилось тринадцать? Он был ей и мужем, и отцом. И, вот, как она отплатила ему! Предала! Опозорила! Насмеялась!

Кровь бросилась в голову Л-скому, и он, забыв даже снять ночной колпак, бросился на улицу.

— Салют кавалеру ордена рогоносцев! — приветствовал его Петр Александрович, и весь батальон вытянулся вместе с ним во фронт перед Семеном Леонтьевичем.

— Мерзавец! — задыхаясь, крикнул Л-ский. — Как вы смеете чинить мне и моей жене подобное оскорбление!

— Вашей жене никто не наносил оскорблений, кроме одного старого сластолюбивого собачьего сына, который купил ее по сходной цене у опекунов, растлил в самые нежные годы и измывался вслед за тем над беззащитной добрых десять лет!

— Подлец! — Семен Леонтьевич неуклюже выхватил шпагу, к которой доселе не приводилось ему прибегать, но которую, выслужив личное дворянство, он всегда гордо носил при себе.

— Потеше, господин рогонесец, — усмехнулся полковник и еще выше задрал свой и без того непропорционально маленький и вскинутый кверху

нос. — Ваши головорезы шлют вам пламенный привет из бочки с пивом, в которой мне пришлось утопить их нынче вечером, как котят. Мало того, что вы трус, так еще и жлоб! Послать на Румянцева двух недоносков! Экое гнусное оскорбление! На Румянцева, сударь, нужно посылать минимум полк! Верно, ребята?

— Так точно! — рявкнули солдаты.

— Ну, что ж! — прохрипел Л-ский. — Тогда я убью тебя сам.

Полковник звонко расхохотался и даже не тронулся с места. Семен Леонтьевич бросился на него, но тотчас упал, поверженный ударом не вынутой из ножен шпаги Румянцева.

— А теперь, — заговорил тот, — поскольку благородным оружием вы не владеете, я покажу вам единственное оружие, которого вы стоите. Палку!

В качестве палки полковник использовал все те же ножны, с удовольствием вытягивая ими своего блажащего противника.

В этот момент из дома выбежала испуганная Като, казавшаяся особенно хрупкой в своем кружевном розовом пеньюаре.

— Ах, мой друг! — вскрикнула она, приложив дрожащие руки к груди.

Румянцев отвесил ей церемонный поклон:

— Прошу простить, что принужден был нарушить ваш покой, мадам! — прекратив избиение Л-ского, он наступил на него ногой, не давая сбежать. — Довольно с вас, сударь. Будем считать, что удовлетворение я получил, и недоразумения между нами улажены. Но запомните. Если вы хоть пальцем тронете вашу прекрасную жену, посмеете оскорбить ее, я буду беспощаден и сумею избавить ее от вашего докучного общества. Ей-Богу, она заслужила гораздо лучшей доли!

При этих словах Като подалась вперед всем трепещущим телом и взглянула на своего возлюбленного полным обожания взглядом. Полковник поймал этот взгляд и вдруг извлек из своей треуголки розу.

— Прощайте, прекрасная Катиш! — он бросил женщине цветок, который та с восторгом поймала, и послал ей воздушный поцелуй.

— С сею почтою получил я из Выборга письмо сборщика пошлин тамошней почтовой таможни Людвиха, приносит на вас жалобу; первое, как вы едущую на дороге жену его обидели, и потом, после пробития зори, с солдатами, вломаясь в дом, непотребные поступки делали... Рассуди, пристойно ли человеку, имеющему знатный чин, такие шалости делать, не храня как родительскую, так и свою честь!.. — отец, дотоле меривший крупными шагами кабинет, наконец, остановился и вперился в Петра Александровича полный негодования взгляд.

Румянцев потупил голову, сознавая справедливость родительских упреков. Поздно-поздно взялся за воспитание не в меру резвого чада старый дипломат и царедворец! В детские и отроческие годы юный Петр, возраставший на малороссийском приволье, отца практически не видел. Смешно сказать, впервые познакомился с родителем в пятилетнем возрасте! Александр Иванович, ближайший сподвижник Императора Петра, был неизменно занят на царской службе, выполняя особенно деликатные и ответственные поручения монарха. В отличие от сына, уже от рождения имевшего и положение, и состояние, отец достигал своего положения исключительно собственными талантами. Еще юношей он поступил в потешные войска, затем служил в Преображенском полку, достойно показал себя в битвах Северной войны

и, наконец, обратил на себя внимание Государя. Петр Алексеевич учинил молодому офицеру настоящий экзамен, засыпав мудреными вопросам. Румянцев ответил на все и был пожалован адъютантом. С той поры Александр Иванович стал одним из самых доверенных помощников Императора. Именно ему поручил Петр слежку за бежавшим за границу сыном и возвращение Цесаревича в Россию.

Невесту своему любимцу Государь также избрал сам — внучку знаменитого сподвижника Царя Алексея Михайловича боярина Артамона Матвеева, растерзанного во время устроенного царевной Софьей Стрелецкого бунта. В красавицу Марию Андреевну был влюблен и сам великий Император, эту сердечную привязанность он пронес через всю жизнь. Матвеевы вовсе не жаждали породниться с не сановитым Румянцевым, но хватило грозного царского взора, чтобы сей жених сделался любезен вельможным боярам. Крестной первенца молодой четы, названного в честь августейшего благодетеля, стала сама Императрица Екатерина Алексеевна.

Возрастая без отца, полностью подчинив себе женское царство его малороссийского имения, этот неутолимо жадный до радостей жизни первенец был подобен жеребенку, никогда не знавшему узды, и потому запоздалое проявление отцовской власти наткнулось на яростное сопротивление свободолюбивой натуры. Александр Иванович хотел видеть сына дипломатом! Для этого 14-летний недоросль был отправлен в Берлин для стажировки при русском посольстве с жалованием в 400 рублей. Однако, в планы Петра не входила ни разлука с Родиной, ни чинная стажировка у посла Бракеля. 400 рублей он в считанные дни промотал в берлинских трактирах, а затем, будучи в изрядном подпитье, записался волонтером в один из прусских полков.

Пропавшего юношу искало все посольство. Когда его нашли и вызволили из рядов прусской армии, бедняга Бракель оплатил все долги, который «будущий дипломат» успел наделать в столь короткий срок, и отправил его с глаз долой в Петербург к отцу. Александр Иванович, сгорая от стыда, вынужден был просить Императрицу Анну Иоанновну определить непутевое чадо в Кадетский корпус...

Это славное заведение выдержало нового постояльца еще меньший срок чем берлинское посольство. Помилуй Бог! Возможно ли было вольному сыну малороссийских степей, истинному казаку по духу, примириться с бессмысленным регламентом и муштрой! Каждая минута — отмерена! Занятия в классах, скучнейшие упражнения на плацу, и за всякую ничтожную мелочь — строгое наказание! Ни единого глотка свободы! Ни малейшей радости жизни! Что оставалось юному Петру, как не попытаться внести эту радость в стены кадетского монастыря? Правда, начальство отчего-то несколько не обрадовалось подобным попыткам, и через четыре месяца Румянцев-младший к общему удовольствию покинул корпус.

Лишь отец с матерью не разделили этого удовольствия. Впрочем, Александр Иванович еще не потерял надежды выправить стезю своего наследника. Он определил Петра в полк и самым рачительным образом пекся о его продвижении по службе. Тем более, что в полку молодой Румянцев и сам оказался отнюдь недурен. Молодечество и лихость к лицу доброму воину! А Петр, несмотря на молодость, обнаружил в себе к тому задатки военного вождя и расчетливого командира. Первый случай проявить себя выпал ему в Шведскую кампанию 1742 года. Петру исполнилось семнадцать, но он, еще 6 лет записанный в полк, уже носил офицерский чин. Старшие офицеры морщились и бранились от его «казацких» выходок, этой не

стесняемой ничем разухабистой вольницы, манкирующей правилами и регламентами. Зато солдаты обожали своего командира. Отчески заботливый, расторопный и предприимчивый, он умел сделать так, чтобы его люди всегда были обеспечены не только кашей, но и мясом. А ведь это куда как немало для вечно подведенного солдатского желудка!

Завоеванной в ту войну Финляндией управлял отец, генерал-аншеф Александр Румянцев. Петр, получивший за Гельсингфорское сражение чин капитана, исполнял обязанности флигель-адъютанта отца на мирных переговорах. Когда же договор был подписан, Александр Иванович отправил его с радостной вестью прямиком к Императрице! Государыня была щедра к вестнику своей виктории и произвела 18-летнего молодца в полковники.

— О твоих последних подвигах мне поведала сама Ее Величество! — голос отца клокотал от гнева. — Я готов был провалиться сквозь землю от срама! Слава ей, благодетельнице, что не стала тебя, бездельника, учить! Не разжаловала и не сослала, куда Макар телят не гонял! Ну, так уж я тебе поучу! — при этих грозных словах Александр Иванович извлек розги и повелительно указал сыну на стоявшую в углу тахту. — Снимай порты!

Петр Александрович опешил:

— Что это вы, батюшка? Я полковник!

— Знаю и уважаю твой мундир, но ему ничего не сделается: я буду наказывать не полковника, а сына, — ответил отец.

Делать было нечего, и полковник Румянцев лег на экзекуцию. Отведя душу, старик скомандовал:

— Подымайся! У нас с матерью разговор до тебя есть!

Эти слова прозвучали угрозой почище розог, и Петр Александрович приготовился к худшему. Через

несколько минут в кабинет вошла мать, за которой послал Александр Иванович. Мария Андреевна еще не утратила своей знаменитой красоты. Моложавая, статная, величественная, она и теперь легко могла очаровать всякого, кого пожелала бы. В детстве для Петра мать была образцом женской красоты, образцом женщины вообще. Она бегло читала на нескольких языках и имела большую страсть к чтению, легко и умно умела поддержать всякую беседу, хорошо разбиралась в хитросплетениях не только русского двора, при котором прошла вся ее жизнь и при котором она неизменно блистала, но и в тайнах дворов иностранных, при которых ей, дочери и жене дипломатов, не раз доводилось бывать. Мария Андреевна присутствовала при заложении города Петербурга, бывала на обедах у Людовика XIV и могла детально описать каждую деталь их, посещала прославленного герцога Мальборо в его лагере, была осыпана милостями английской королевы Анны, гостя при ее дворе... Все эти рассказы-легенды завораживали благодарных слушателей. И в не меньшей степени завораживало обаяние Марии Андреевны. При этом многие опасались ее острого языка, зная, какими точными могут быть ее характеристики...

— Матушка, — поклонился Петр родительнице, потирая ноющую спину и ожидая, чем намерены его огорошить.

Ждать пришлось недолго. Мария Андреевна быстро перешла к делу.

— Дитя мое, несмотря на твои проказы, матушка-Государыня имеет о тебе особое попечение. Она оказала нашему семейству честь и самолично выбрала для тебя невесту.

Так и есть! Только этакой беды и не доставало полковнику! И какой же несчастной сватает его благодетельница?

— Государыня остановила свой выбор на Марии Артемьевне Волынской.

Волынская! Вот оно что! С той поры, как отца ее, достойнейшего кабинет-министра Артемия Петровича Волынского, подлец Бирон отправил на плаху, Императрица Елизавета Петровна, придя к власти, всячески старалась вознаградить семейство покойного. Старалась в высшей степени справедливо. Но ничуть не улыбалось Румянцеву сделаться одной из таковых наград.

— Такой богатой и доброй девки едва найти будет можно! — говорил меж тем отец. — Ее богатеe сыскать трудно. За ней более двух тысяч душ, и не знаю, не будет ли трех! Двор Московский... каменный великий дом в Петербурге... Конский завод и всякий домовый скарб!

Так расходился старик, перечисляя невестино приданное, будто бы сам по сей день был тем бездольным преображенским офицером, коего некогда заметил великий Император.

И мать, Государынина наперсница, угадывая неудовольствие сына, пыталась умаслить его:

— Не умори нас безвременно. А ежели наш совет послушал, то все лучше будет! Ведь для того только тебе и хочется одною головою жить, чтоб свободнее одному шалить и пустошом жить!

— Учти, — подвел итог отец, — если пойдешь против воли Государыни, я уже в твои дела вступаться не буду: живи как хочешь, и хотя до каторги себя доведи, слово никому не вымолвлю, понеже довольно стыда от тебя натерпелся... Мне пришло до того: или уши свои зашить и худых дел твоих не слышать, или отречься от тебя! А теперь пойдь прочь с глаз наших!

Горько было слышать угрозу проклятия от отца, коего Петр Александрович искренно почитал. Но, вот, позволение уйти с родительских глаз было весьма

кстати. К баталиям о будущей невесте полковник был не готов. Поцеловав руку матери, он поднялся в свою комнату.

— Григорий! — кликнул денщика.

— Слушаю! — тотчас явился тот.

— Поддай вина и... распорядись, чтобы в ночь две лошади оседланные ждали. Да так, чтоб никто не знал о том.

— Уезжаем? — без тени удивления спросил Григорий, давно привыкший к выходкам своего хозяина.

— В полк поедем, брат, — кивнул Румянцев. — Куда ж еще деваться порядочному человеку, когда ему на шею это такое ярмо водрузить хотят... Марья Артемьевна, конечно, девка справная и с состоянием, да, вот, только мне она без нужды. Да и зачем портить жизнь доброй девице? Дочь достойного Артемий Петровича, живот за Отечество не пожалевшего, заслужила лучшего мужа! И матушка-Государыня ей непременно сыщет такового! С таким-то приданным и такой-то свахой...

Ночью два всадника покинули Петербург и помчались в сторону Ревеля, где ожидал своего удалого молодца-командира вверенный его доблести полк.

Медленно рассеивался туман в Норкиттенском лесу — уже давно утро настало, а вперед на несколько шагов ни зги не видать, одно молоко белое! Ворчали солдаты на промозглость — за ночь мундиры их отсырели, и теперь жаждали молодцы дела, хоть в нем отогреться! Этих солдат Петр Александрович еще не успел узнать. Буквально десять дней назад генерал-аншеф Апраксин изволил поставить его, кавалериста, командиром трех сводных пехотных полков. Вместо родных, выпестованных и обученных им ревельцев оказались под его началом солдаты, еще вовсе не знавшие ни его, ни его методов. Конечно, все эти десять дней Румянцев старался хоть что-то успеть вложить, внушить своим новым подчиненным, узнать их и позволить им узнать себя. Но десять дней!..

Между тем, пришел час большой битвы. Может быть, даже решающей. Там, из-за леса уже вовсю громыхали орудия, начиналось горячее дело! Сколько времени старался избегать его хитроумный генерал-аншеф, стремившийся усидеть на двух стульях — угодить и стареющей Императрице, требовавшей покончить с Фридрихом, и ее убогому наследнику — почитателю того самого Фридриха. Где уж тут о славе русского оружия и солдате русском порадеть!

О солдате вообще мало думали со времен петровских... Армия жила традициями, установленными в ней фельдмаршалом Минихом. Миних же никогда не смущался количеством солдатских жизней, которыми оплачивались его победы. И уж тем более не опускался до таких низменных подробностей, как солдатский быт. Давно уже опален был старый полководец, а дух его витал над армией... Солдатское брюхо волновало

многих регламентеров куда меньше чем солдатские напудренные косицы и прочие изыски, которые, положив руку на сердце, к чему вообще нужны солдатам? Ведь не по плацу шагать, теша взоры вельможные выправкою да изящной сбруей, задача их! А воевать! Бить врага! А в этом простом и будничном деле сбруя изысканная, пудры да помады только помехой становятся.

Были, конечно, и совсем иные вожди в русской армии. Особенно любимы ею были Петр Петрович Ласси и Петр Семенович Салтыков. Кто-кто, а они с великой экономией относились к жизням своих людей и с отеческим вниманием к их нуждам. Мягкий по манере держать себя, неизменно учтивый и даже ласковый, Петр Семенович, будучи одним из лучших военачальников, в ответ на похвалы себе, неизменно отвечал: «Это не я. Это все мои солдатики». И в этом не было ни капли рисовки, но искренняя скромность воина-христианина, доброго отца своих солдатиков и грозы всякого супостата.

Жаль, не такие люди задавали общий тон... Задавал его теперь честолюбивый, пронырливый и погрязший в роскоши боров Апраксин... И что это за генерал-аншеф! Стол от яств ломится! В гардеробе — сотни камзолов! На один обоз его 500 лошадей приходится, а, как становится этот караван-сарай лагерем, так словно целый город в чистом поле вырастает! И сколько же казны уходит на все это роскошество! Иной раз грешным делом и пожелаешь, чтобы распотрошил пруссак это сибаритское гнездо! И как не вспомнить тут бомбардира Петра Михайлова, Царя Петра Алексеевича. Вот, кто в походах роскоши не ведал, кто истинным солдатом был! Изломал бы он о спину борова не одну палку, увидев такой срам, как война в кружевах! Хороши кружева на веселых петербургских балах, да не на войне же! Россия не воевала полтора десятилетия,

молодые офицеры не нюхали еще пороха, многие из них не избегли расхолаживающего влияния мирных лет. И у всех на устах был Фридрих! Фридрих! Прирожденный вождь! Король-воин! Предводитель самой сильной армии Европы, доселе непобедимой! И, вот, этому-то задире решилась преподать урок дочь Петра Великого. Все-таки она, несмотря на любовь к балам, нарядам и веселью, была истинной дочерью своего отца, и слава Отечества пробуждала в ее добродушном сердце горячую ревность. Растущее могущество Пруссии становилось зримой угрозой для западных границ России. И Елизавете Петровне ничего не оставалось, как в союзе с Францией и Австрией, ведшими борьбу с Фридрихом, вступить в войну и поставить дерзкого пруссака на место.

Правда, избранный ею главнокомандующий явно не торопился исполнить эту задачу. После долгих и бестолковых маневров с единственной целью уклониться от генерального сражения русская армия остановилась у селения Гросс-Егерсдорф. Шедший со своими револьцами в авангарде Румянцев, первым очутился на подступах к этому пункту и тут-то настиг его «подарок» генерал-аншефа — разлука с верными кавалеристами и позиция в Норкиттенских болотах с пехотой.

— Эх, и почто мы тут мерзнем! — ворчал денщик Григорий. — Ведь земля уж дрожит, бьются там наши! Чего доброго, попадем к шапочному разбору!

Боялся и Румянцев этого, но того больше — иного. Неразберихи, господствующей в русском войске, отсутствия продуманного плана сражения! Был ли тот план вообще? Генерал-аншеф не удосужился даже выслать вперед дозорных, и явление из утреннего тумана прусской армии — в полном боевом порядке — стало едва ли не громом среди ясного неба! Противник был явно настроен на решительное сражение. А что же

Апраксин? Боров, несомненно, поворотил бы оглобли, ничуть не беспокоясь о славе Государыни и русского имени, но... Обозы! Собственные обозы преградили русской армии путь к отступлению! И сражение сделалось неизбежным.

Прусскими войсками командовал один из лучших королевских полководцев — 72-летний Иоганн фон Левальд. Старый лис, несомненно, знал, что творится в армии неприятеля. Уж он-то не позабыл ни о дозорных, ни о лазутчиках. Оттого и застал русское войско в самом неловком положении.

Туман, наконец, рассеялся, открыв «засадному полку» картину разгоравшейся битвы. Румянцев, дотоле бывший сплошным слухом, жадно ловящим каждый звук, теперь весь ушел в глаза. На глазах разыгрывалась драма...

Свой главный удар пруссаки обрушили на левый фланг русских, которым командовал племянник царицы Евдокии Федоровны, первой супруги великого Петра, генерал-аншеф Василий Авраамович Лопухин. Удар неприятеля был столь силен, что русские полки оказались смяты. И тогда доблестный генерал-аншеф, возглавив Второй Гренадерский полк, командир которого был убит, сам повел войска в атаку. В тот же миг он был ранен пулей, но не покинул строй, зовя своих солдат за собою.

Зов бравого генерала был услышан, воодушевленные примером любимого командира солдаты бросились в штыковую и оттеснили неприятеля. Лопухин же пал, простреленный еще одной пулей... Солдаты отбили героя и вынесли его с поля боя, но враг вновь перешел в наступление и принялся громить растрепанные русские полки.

Видя это, Румянцев понял: надо действовать! После подвига славного Лопухина и его доблестных воинов отступить и отдать победу Фридриху — мыслимое дело

для петровского воинства?! Бежать с поля боя, покрыв позором русские знамена?! Нет, не бывать тому! Оглядев своих солдат, Петр Александрович по напряженным лицам их ясно увидел — молодцы всей душой рвутся в бой, рвутся выручать погибающих товарищей. В этот миг впервые за десять дней молодой генерал ощутил себя единым целым со своими подчиненными. Выхватив шпагу, он крикнул своим сильным голосом:

— Ребята, постоим за Россию и матушку-Государыню! Поможем нашим!

— Ура! — грянули в ответ сотни глоток. Они только и ждали этого приказа! Им нипочем был густой лес, сквозь который приходилось продираться. Они устремились сквозь него быстрее и легче, чем через постылый плац, на котором принуждены бывали маршировать.

— За Лопухина!

— За матушку-Государыню!

— Ура!

— Вперед, ребята! Не посраим имени русского и славы петровской! — воодушевлял Румянцев своих удальцов.

Пушки, патронные ящики и всю прочую поклажу пришлось бросить. Тащить ее через чащобу — лишь потерять драгоценное время, а времени этого каждая секунда на вес золота была.

Вот, вырвались из леса неожиданно для уже торжествующих пруссаков первые цепи новгородцев, гренадер и воронежцев и с яростью бросились в схватку, мстя за павших товарищей. Бился вместе со своими солдатами и генерал Румянцев. Его шпага разила неприятелей, не зная промаха, сам же он был словно заговорен от пуль и клинков.

Израненные русские войска, дело которых казалось почти конченным, увидев подмогу, воспрянули духом.

Вопли восхищения встречали румянцевских богатырей.

— Братцы! Поспешайте! — хрипели надорванные голоса людей, которым Бог неожиданно послал избавление от верной гибели.

И «засадный полк» спешил. И не щадил себя, разя неприятеля штыками, выручая своих. Разом преобразилась картина боя. Рассеялось, как дым, краткое прусское торжество, и уже русские с восторженным гиком гнали супостата. Солдаты Фридриха подались назад, попытались перестроить свои ряды. Но не тут-то было! Русские не дали им ни мгновения времени, наседая на них. Оказалось, что господа пруссаки не любят штыкового боя, лоб в лоб, глаза в глаза! Зато для русских штык — первое оружие!

Яростной выдалась та сеча. Один смертельно раненый гренадер зубами впился в горло прусского солдата и так и не разжал их, не выпустил своего пленника, доставшегося русским с прочими. Хваленая лучшая армия Европы, встретив неожиданный отпор, сперва заколебалась, затем стала ретироваться и, наконец, побежала, подобно стаду скотов, утратив всякое подобие порядка и строя.

Вместо поражения русская армия отметила 19 августа 1757 года блистательную викторию, истинным героем которой стал молодой генерал Румянцев. Когда битва завершилась, Петр Александрович вспомнил об отце. Как бы гордился им старик в этот день! В этот день он, пожалуй, убедился бы, что его сын не просто повеса, поднимающийся по карьерной лестнице благодаря заслугам отца, но достойный его наследник, за которого не придется стыдиться ни ему, ни Отечеству.

Увы, Александр Иванович покинул этот мир, уйдя в лучший с самым горьким сознанием о сыне. Старый Румянцев уже не мог поверить, что Петр, хорошенько повеселившись в юные годы, по мере вхождения в зрелость во многом переменился, всерьез посвятив себя

службе и отстав от многих дурных наклонностей. Суров был родитель, что и говорить... В конце концов, кто смолodu не баловал? Велик ли грех в том озорстве? Конечно, и теперь любил Петр Александрович и добрый пир в кругу боевых товарищей, и женское общество, но уже по службе в Ревеле зарекомендовал он себя знающим и рачительным командиром, и свой генеральский чин получил в канун прусской кампании не за заслуги покойного родителя, но за собственную службу...

Петр Александрович взглянул на подернутое дымом небо, словно желая разглядеть в нем взыскующее лицо отца и сказать ему:

— Вот, батюшка, а вы не верили в меня!

И услышать оттуда благословение успокоенного и, наконец, гордого за сына старика...

Но небо молчало, и Румянцев, не склонный долго предаваться патетическим размышлениям, поспешил в лазарет, желая справиться о Лопухине, которого, как и все в армии, безмерно уважал, как честного, справедливого и отважного воина.

Василий Авраамович умирал. Среди нескольких ран, полученных им в сражении, смертельной оказалась одна — пуля насквозь прошла ему живот. Такие ранения считаются наиболее мучительными, но генерал держался мужественно. Лекарей он отослал от себя прочь:

— Мне уже не помочь. Позаботьтесь о тех, кто меня счастливее, — и теперь лежал в своем экипаже один, ожидая смертного часа. Его восковое лицо покрывала испарина, слабое дыхание прерывалось. Румянцев склонился над генералом и коснулся его руки:

— Василий Авраамович!

Герой с трудом открыл полные муки глаза, и в них блеснул последний огонек затухающей жизни:

— Что? Победен ли неприятель?! — это единственное, что волновало теперь благородное, истинно рыцарское сердце генерал-аншефа. Ради этого известия он, почти убитый, несколько часов вел невидимую брань с белой дамой, стоявшей у его изголовья...

— Победен! — ответил Румянцев, до слез растроганный этим замечательным мужеством.

— Слава Богу! — вздохнул Лопухин. — Теперь я с покоем умираю.

Через несколько мгновений сердце Василия Авраамовича уже не билось. Прочитав молитву над почившим героем, Петр Александрович удалился, до глубины души проникнутый величием сердца доблестного героя и жаждая впредь быть подобным ему.

На поле битвы спускалась ночная тьма. Загорались костры, и запах крови вытеснял куда более приятный дух горячей каши и жареного мяса. Из лазарета доносились стоны раненых, а там, где закипали походные котелки, уже слышался смех, прибаутки, бодрые солдатские песни. И среди них расслышал Румянцев совсем новую, выводил ее сипло старый солдат, легко раненый в левую руку:

Как не пыль в поле пылит,
Пруссак с армией валит,
Близехонько подвалили,
В полки они становили.
Они зачали палить —
Только дым с сажей валит.
Нам не видно ничего,
Только видно на прекрасе,
На зеленом на лугу
Стоит армия в кругу,

Лопухин ездит в полку,
Курит трубку табаку.
Для того табак курит,
Чтобы смело подступить,
Чтобы смело подступить
Под лютого под врага,
Под лютого под врага,
Под прущего короля.
Они билися рубилися
Четырнадцать часов.
Утолилася баталья,
Стали тела разбирать:
Находили во телах
Полковничков до пяти,
Полковничков до пяти,
Генералов десяти.
Еще того подале
Заставали душу в теле,
Заставали душу в теле —
Лопухин лежит убит...

Знать, уж не умрет герой в молве народной!
Легендою в веках останется! Довольный этой мыслью,
Румянцев нашел своего Григория и велел
незамедлительно подать доброго вина и ужин и позвать
всех своих офицеров, кого оставила в живых Гросс-
Егерсдорфская битва. Сегодня победители имели
законное право пировать, поминая павших, славя
матушку-Государыню и суля большого черта
дерзновенному Фридриху, чья непревзойденная слава
отныне уже не будет пленять всю Европу!

— Слава русскому оружию!

— Виват, Елизавета!

«Батюшка мой, Петр Александрович, лишь на прошлой почте через почтарских людей сведала о том, что был ты в Петербурге, а ко мне хотя бы строчку написал о своем приезде...» Петр Александрович поморщился. Жалобные письма жены, с которой жили они порознь уже который год, всегда вызывали в нем досаду. Жаль, конечно, бедняжку, но что же поделаться, если находиться подле нее хуже всякой каторги... Воистину черт подкузьмил жениться на ней! Ведь не по неволе, не по настоянию родительскому или царскому дал обротать себя! По собственной своей охоте! Можно сказать, по страсти! Эх, хороши были страсти в годы юности, весь ответ за них был — драки с ревнивыми мужьями да отцовские взбучки... Так нет же, не достало их, и воспылало неукротимое сердце к дочери князя Голицына Катерине Михайловне! Что и говорить, красавица она была собой редкая, а к тому девица высокой добродетели, набожная, воспитания едва ли не теремного! Разжечь любовью такое неискушенное сердце — это ведь тоже азарт, тоже вдохновение. И столь сильным явилось вдохновение, что Румянцев решил, что действительно влюблен в Катерину Михайловну. После самых изысканных и настойчивых ухаживаний молодого офицера девушка предсказуемо ответила ему полной взаимностью.

Оба семейства были довольны заключаемым союзом. Румянцевы к тому надеялись, что брак образумит их ветреного сына. В первый год эта надежда как будто бы даже оправдалась. Петр Александрович был искренне увлечен молодой женой и находил неизведанное ранее удовольствие в семейной жизни, в том, чтобы радовать и баловать свою

избранницу. Но, увы, всякое удовольствие приедается. А всякая книга, будучи прочитанной, ставится на полку. Особенно, если книга эта под дорогим переплетом не обнаруживает ни глубины мысли, ни высокого слога. Чтобы удержать внимание мужа его жене надлежало походить на Марию Андреевну. Не зря ведь с нею не мог соскучиться даже Царь Петр! Но такие женщины, как мать, редки и рождаются, должно быть, не чаще, чем раз в десятилетие...

Скука — вот, слово, которым через год с лишком определились и исчерпались все отношения молодой четы. А еще через несколько лет Петр Александрович навсегда покинул свою вторую половину в Москве, предоставив ей жить, как ей заблагорассудится. Она не раз просила позволения приехать к нему в Петербург или Малороссию, но он неизменно отказывал, понимая, что совместная жизнь обернется сугубо пыткой и ложью. Для официального церковного развода не было причин, к тому же, как ни кратко было супружество, а явились на свет и возрастали теперь вдали от отца трое сыновей. К чему же бросать тень на их имя?

«Нахожу последнее уже сказать: я с охотою к тебе поеду и ничего в жизни, ниже живота своего, не пожалею...» — и снова упреки, упреки... Будто бы Петр Александрович веселится с любовницами, а она, Катерина Михайловна, обречена плакать да кручиниться, да в долги входить. Насчет долгов уж несомненная напраслина была. О благосостоянии семейства Румянцев не забывал никогда, исправно оплачивая счета и лишь предоставив жене самой вести хозяйственные дела, в которых была она достаточно практична...

«Покорная верная жена Катерина Румянцева»...

Петр Александрович скомкал письмо в кулаке и бросил его в огонь. Что сожжено, то сожжено, из пепла

не восстановить. Мертвецам должно лежать в могилах, даже если эти мертвецы — наши собственные чувства...

Раздосадованный не ко времени пришедшим докучным посланием, Румянцев вышел из палатки. Ночь уже давно вступила в свои права, и в лагере было темно и тихо. Неспешно прогуливаясь в желании унять раздражение, Петр Александрович вдруг заметил в отблесках костра две подозрительные тени у одной из палаток. Румянцев осторожно приблизился и увидел молодого офицера в халате и ночном колпаке, обнимавшего...

— Э! Да на груди этого солдатика, пожалуй, мундир не застегнется! — усмехнулся генерал-аншеф. — И косица до поясу явно не по нашему регламенту...

Насмотревшись на сибаритские привычки и их следствия в апраксинской армии, Румянцев взялся старательно искоренять этот недуг из своих войск. Ныне он, генерал-губернатор Малороссии, генерал-аншеф, главнокомандующий армии, имел для того все возможности. В этом году он завершил свой теоретический труд «Обряд службы», коему надлежало стать первым действенным кодексом русской армии, учебником для ее офицеров и руководством по боевой подготовке. Введение «Обряда» уже немало способствовало преодолению прежнего разнобоя в воспитании войск. А это куда как необходимо было! Чтобы турка побить и навсегда обеспечить безопасность России от Порты Оттоманской нужна была армия дисциплинированная, в которой продумано и отлажено все: взаимодействие родов войск, устройство лазаретов, обоза, снабжения — нет мелочей в военном деле, нет незначительных деталей. Но за деталями никогда нельзя упускать из виду главного, ибо «... искусство военное... состоит в одном том, чтоб держать всегда в виду главную причину войны, знать, что было полезно и вредно в подобных случаях в прошедших

временах, совокупно положение места и сопряженные с тем выгоды и трудности, размеряя противных предприятия по себе, какое бы могли мы сделать употребление, будучи на их месте».

Взявшись устанавливать дисциплину, Петр Александрович зорко доглядывал за своими офицерами, отучая их от барских замашек, не приставших на театре военных действий. И, вот, скажи на милость, какой нашелся франт! Всего-то, кажется, майор, а на войну явился, как на пикник! Халат, колпак, девица, солдатом ряженая! Завтра того гляди турок в наступление перейдет, либо уж самим придется ударить на него, не смущаясь численным его превосходством, а у этого молодца лишь амуры на уме!

Выйдя из своего укрытия, генерал-аншеф окликнул офицера:

— Поздорову ли ночевали, милостивый государь?

Майор в страхе вздрогнул, девица слабо пискнула и спряталась за его спину, судорожно нахлобучивая треуголку и сляясь спрятать под нее волосы. Заметив движение пойманного с поличным шалопая к ретираде, Петр Александрович шагнул к нему и взял под руку:

— Куда же вы спешите, друг мой? Еще рано. Продолжим беседу у меня!

Майору и его «денщице» ничего не оставалось делать, как последовать за главнокомандующим в его палатку.

— Присаживайтесь, друг мой, — с самым любезным видом пригласил Румянцев к столу своего гостя. — Григорий! Чаю! Сейчас почаевничаем по русскому обычаю, посидим рядком, поговорим ладком.

Обернувшись к замершей и смертельно бледной от страха девице, генерал-аншеф оценивающе оглядел ее. Что ж, надо признать, хороша! В былые годы и сам бы не упустил. И такую красоту в солдатский мундир рядить — экое, право, варварство!

— Как звать-то тебя, солдатушка?

— Дарья... — еле вымолвила девица.

Петр Александрович шагнул к ней и собственноручно застегнул полураскрытый мундир, упрятал под треуголку пышную пшеничную косу:

— Дарья, значит... Нечего сказать, хорош дар нашему войску. Завтра ты, конечно, покинешь его, а покамест изволь не срамить мундира более, чем осрамила уж. Посиди-ка в уголку, покуда мы с твоим милым другом побеседуем.

Девица как тень скользнула в угол и замерла там, укрывшись плащом. Майор попытался встать, но Румянцев усадил его на место. Григорий подал чай, и генерал-аншеф сам налил его гостю, присовокупив целых три куска сахара:

— Пейте, друг мой, вы, должно быть, сладкое уважаете? Вот и варенье у нас водится, сливовое. Знатное, доложу я вам, варенье! Отведайте!

Майор принужден был отведать и поданного варенья.

— Совсем запамятовал спросить имени вашего?

— Майор граф Степан Алексеевич Муромский.

— Граф... — протянул Румянцев. — Что же, родители ваши, живы?

— Померли, ваше сиятельство, — отозвался Муромский.

— Царствие небесное! — генерал-аншеф перекрестился. — Что же имение ваше? Довольны ли им?

— Имением управляет мой старший брат, Василий. Должно быть, он доволен.

— И в каких краях ваши угодья будут?

— В Полтавской губернии.

— Почти соседи! Благодатный край! — кивнул Румянцев. — И много ли душ у вас?

— Батюшка по себе семьсот душ оставил.

— Недурно, ей-Богу! И что же вам, сударь мой, помешало наслаждаться радостями мирной жизни в вашем имении?

— Скука, — ответил Муромский.

— Достойная причина. Стало быть, в военную службу вы по склонности подались, а не по нужде?

— Точно так, — подтвердил майор, затравленно поглядывая на полураспахнутый полог палатки. Уже светало, и к Румянцеву стали заходить с докладом офицеры. Все, само собой, одетые по форме и держащиеся строго по уставу, они с насмешкой поглядывали на кутающегося в халат генерал-аншефского гостя и с любопытством на притулившегося в углу смазливого солдата.

Петр Александрович выслушивал доклады, а затем вновь возвращался с прерванной беседе, не забывая потчевать Муромского вареньями и сладким чаем. Майора уже мутило от сладостей, к которым был он весьма равнодушен, но хуже того был стыд — он чувствовал себя голым в присутствии входивших офицеров и готов был провалиться сквозь землю.

— Значит, по склонности... И как же вы, милостивый государь, предполагали воевать? Сидя голым задом на кобыле, да посадив красавицу на круп? Отменное, черт побери, зрелище!

Муромский вспыхнул:

— Голый зад делу не помеха, была бы рука крепка, да глаз верен! А уж этого мне не занимать! И в рубке и в стрельбе я всегда из первых был!

Румянецв улыбнулся. Эти запальчивые, но в то же время смелые и полные достоинства слова понравились Петру Александровичу. Он слишком помнил собственную юность, чтобы сурово судить проделки юности чужой.

— Лихость твою у тебя в скором времени будет случай явить. А пока ступай, приведи себя в

надлежащий вид и возвращайся.

Майор с облегчением вскочил на ноги.

— Девку свою, — Румянцев кивнул на дрожащую «денщицу», — сегодня же отправишь вон.

Муромский нахмурился:

— Она не девка, ваше сиятельство.

Генерал-аншеф усмехнулся:

— Охотно верю.

— Я ее люблю, — твердо сказал молодой офицер. — И идти ей некуда, сирота она.

— А ты, значит, сироты сердобольный попечитель? — лукаво прищурился Петр Александрович. — А не кажется ли тебе, мой друг, что ведешь ты себя предедерзостно?

— Готов понести всякое наказание! — вытянулся майор.

— Оставь уж, фрунт в шлафроке также смешон, как мундир на твоей девке. Жаль, отца твоего нет, некому тебя розгами попотчевать хорошенько! Так и быть, до генерального сражения пусть остается в лагере, да уж только так, чтоб никто срама сего не видел. А затем изволь это дело решить. Коль любишь, так веди к попу и венчайся с нею, меня то не касает. А комедию из службы ломать и честь воинскую срамить не дозволено никому, изволь, сударь мой, накрепко усвоить это, если намерен служить. Либо попрощайся со службою и предавайся негам на благословенной Полтавщине. Понял ли?

— Понял, ваше сиятельство! — кивнул Муромский. — И благодарю вас за отеческое обо мне попечение!

Румянцев вновь усмехнулся — этот строптивый юноша был ему чем-то симпатичен.

— Ступай. Жду тебя вновь через четверть часа уже в виде офицера русского, а не шута, каким ты теперь смотришь.

Ровно через четверть часа Степан Муромский вновь предстал пред грозные очи генерал-аншефа, ожидая заслуженной кары. Он понимал, что проступок его серьезен, но в то же время решил, несмотря ни на что, не дать в обиду свою Дашу. Она и впрямь не была тою, за кого принял ее Румянцев. Ну, или почти не была... Степан встретил ее, когда его полк стоял в Т-ске. Более отвратительного городишки трудно было вообразить себе! Грязь, жидишки, какие-то повсеместные жулики... Еще и дернул тогда черт с жуликами за карточный стол сесть! Все, что было спустил! До исподнего! Только мундир да халат уцелели... Смешно сказать, сорочку и то спустил. Брату писать о бедственном положении стыдно было. Вася всегда был человеком иного склада, гордостью семьи. Оттого и завещал родитель все имение ему, опасаясь, что младший сын все промотает. Обидно это было Степану, но ведь не так уж не прав оказался отец. По крайней мере, тот капитал, что по слезным мольбам матери все же завещан был Степушке, он спустил весьма и весьма быстро. И теперь ничего не осталось у него, кроме службы, ибо вернуться блудным братом в отеческое имение было совершенно немыслимо.

А еще была Даша... Служанка отвратительного Т-ского постоянного двора. Родители ее померли от холеры, тетка, единственная родня, скоро пристроила ее в содержанки к заезжему барину, а когда тот уехал, стала Даша прислуживать на том самом постоялом дворе, где капитан Муромский проиграл последнюю сорочку. После того эпического проигрыша она только и утешила незадачливого игрока, и, когда полк — счастливейший день! — покидал Т-ск, то покинула его и сиротка Даша, обряженная в солдатскую одежду и записанная денщиком капитана Муромского Демьяном...

Бедственного положения Степана не знал никто ни в полку, ни за его пределами. Он умел играть роль балагура и баловня судьбы, столь хорошо ему дававшуюся. Помогало этому и то, что Муромский отнюдь не всегда играл столь несчастливо, как в Т-ске, бывало удавалось и знатный куш сорвать. Его любили товарищи за щедрость, веселость и бесшабашную удаль, которой ничуть не мешала время от времени — особенно после изрядного выигрыша — пробуждавшая тяга к неге и роскоши. Роскошь, впрочем, в виде накупленных бутылок лучшего вина и всевозможных дорогих безделиц тотчас расходилась на пиры с друзьями да на подарки хорошеньким женщинам. Случись ему вдруг разбогатеть, и богатство бы тотчас уплыло из его рук, не знаящих цену деньгам, но знавших цену добродетели. Муромский не преувеличил, сказав генерал-аншефу, что в рубке и стрельбе всегда бывал из первых. Он был рожден для войны, военное ремесло давалось ему легко — когда бы вольницы еще в избытке, вместо всевозможных регламентаций! Часто возникала в воображении молодого офицера Запорожская Сечь — вот, где было бы раздолье ему! Но, увы, миновала эпоха казацкого рыцарства, и немало приложил к тому руку генерал-губернатор Малороссии Румянцев. Государыня Екатерина Алексеевна по воцарении своем сочла, что пора привести малороссийскую вольницу к общепринятым в Империи порядкам и, упразднив гетманство, поручила эту задачу Петру Александровичу, хорошо знавшему этот край и его нравы. Румянцев взялся за дело основательно и скоро зарекомендовал себя не только блестящим полководцем, но и талантливым администратором.

В 1769 году военная труба вновь позвала Румянцева-полководца. А с ним и всю армию русскую. Начиналась война долгожданная, война судьбоносная

для России! Настало время покончить с могуществом Порты Оттоманской, утвердив русское владычество в Крыму и на Дунае! Мысль эта учащенно заставляла биться сердца русских воинов, и среди них — Степана Муромского. Эта кампания пробуждала в нем самые смелые мечты. Проявив себя (а это при его удали было делом несомненным), он мог, наконец, сделать порядочную карьеру и, чем черт не шутит, выйти в генералы! Тогда уж не посмел бы смотреть на него свысока брат Василий! Военный герой и генерал — это тебе не вечно безгрошовый братец-игрок!

Дальше, впрочем, обрывались честолюбивые мечты. Потому, должно быть, что никогда не было у Степана настоящего честолюбия. Иной на его месте задумался бы вслед о выгодной партии, о милой женушке с именьями в несколько сот душ, что так способно упрочить всякое расстроенное состояние. А балагур-майор видел генеральшей свою ненаглядную Дашеньку. И его нисколько не печалило, что подобный мезальянс ляжет пятном не только на него, но и на всю его фамилию. В конце концов, Петр Великий не смутился мезальянсом, взяв в жены и императрицы российские служанку пастора Марту Скавронскую! И то, что трудно исполнить нищему майору, будет вполне вмести́мо генералу. Генеральскую причуду проглотят, никуда не денутся!

Так рассуждал молодой офицер, вступая в войну.

К началу боевых действий Россия сосредоточила на главном Днестровско-Бугском театре военных действий две армии: Первую в районе Киева под командой генерал-аншефа Александра Михайловича Голицына, и Вторую на Днестре — под началом Румянцева. Главная роль в начинавшейся кампании отводилась Голицыну, ему была передана даже часть вышколенных Петром Александровичем войск Второй армии. Тем не менее, именно последняя уже в январе 1769 года отразила

удар крымской конницы, и, используя этот опыт, Румянцев спешно разработал и наладил подвижную систему защиты от новых набегов.

Тем временем Первая армия сосредоточила все силы на взятии Хотина. Петр Александрович считал тактику свояка ошибочной, предлагая наступление на Очаков и Перекоп, взятие которых расколело бы силы союзников — Турции и Крымского ханства. Но предпочтение все же было отдано Хотину. Крепость эта была в итоге занята без единого выстрела — турецкий гарнизон попросту покинул свою цитадель. Рассказывали, что старик-фельдмаршал Салтыков не преминул лукаво пошутить по поводу этой виктории. Заведя Голицына в Успенском соборе Кремля, где в неурочный час оказались они единственными богомольцами, Петр Семенович шепнул покорителю Хотина:

— Пусто здесь. Как в Хотине...

Румянцев же полагал, что брать города, не разбивая живой силы неприятеля, дело в изрядной степени пустое. Однако, ему недолго оставалось ожидать возможности воплощения собственной стратегии войны. Голицын был назначен генерал-губернатором Петербурга, и теперь главная роль в войне отводилась Петру Александровичу.

Генерал-аншеф не замедлил оправдать оказанного ему Государыней доверия, и слава первой виктории вскоре овеяла победоносные русские знамена — превосходящие силы турок были разбиты в битве при Ларге! Именно за эту битву капитан Муромский был произведен в майоры! Сражаться под началом Румянцева, имя которого почитал он с юных лет, было для него и честью, и удачей. А потому Степан искренне сокрушался, что так глупо обмишурился в глазах генерал-аншефа.

Когда он переступил порог палатки Румянцева, Петр Александрович бегло взглянул на часы:

— 15 минут! Отменно! Жалую вас, сударь мой, своим адъютантом!

Муромский опешил. Он ожидал самого строгого взыскания, но никак не милости генерал-аншефа! А тот, меж тем, продолжал:

— Глядишь, адъютантом моим не позволишь себе больше халатного разгильдяйства.

— Клянусь оправдать ваше доверие, ваше сиятельство! — выдохнул Муромский.

— Непременно оправдаешь, — кивнул Румянцев. — Ступай пока, без тебя дел довольно. Да будь поблизости на случай поручений.

Степан вышел из палатки и прежде, чем приступить к адъютантским обязанностям, прошел в свою палатку и, достав из дорожного сундука халат, бросил его в огонь.

Тем временем в палатке генерал-аншефа собрался военный совет, которому предстояло решить судьбу русской армии. После длительного похода войска были утомлены. Многих солдат унесли болезни, ощутимо сказывалась нехватка продовольствия. Между тем, у берегов глубоководного Кагула, к которому вышла теперь румянцевская армия, турки, переправившись через Дунай, собрали 150-тысячное полчище, готовое в любой момент перейти в наступление. Командовал этими несметными силами великий визирь Османской империи Иваззаде-Халил-паша, равно известный как талантливый полководец и как великий сибарит. Свежие турецкие силы не знали нужды ни в чем. А их командование было хорошо осведомлено о малочисленности и изнуренности противника. Русская армия насчитывала лишь 23000 штыков, из которых шесть тысяч прикрывали обоз. Вдобавок расположение русского лагеря делало его уязвимым. Лагерь был зажат двумя озерами, а турки с крымчаками стягивали

свои войска и с фронта, и с тыла. Армии Румянцева грозило окружение.

На военном совете многие высказывались за немедленное отступление, считая создавшееся положение в случае турецкого наступления безнадежным. После триумфа Ларги отступление, как полагали они, не нанесет бесчестия русскому имени. Но Петр Александрович считал иначе:

— Русские, подобно древним римлянам, никогда не спрашивают: сколько неприятелей, но: где они? — заявил он. — С малым числом разбить великие силы — тут есть искусство и сугубая слава!

— Турки поутру начали менять позиции и, должно быть, готовятся ударить на нас уже в ближайшие дни, если не часы!

— Вот как? В таком случае пройдемте осмотрим новые позиции нашего неприятеля!

23 тысячи против 150-ти — велика честь и слава в такой победе! Это тебе, бабушка, не пустые крепости брать! Это искусство воинское и такой урок неприятелю, который долго памятен будет ему. Петр Александрович чувствовал, что здесь, при Кагуле, должна решиться судьба всей кампании, что поворачивать вспять нельзя, но пора явить русскую силу и умение воинское во всем блеске оного! Недаром же столько времени обучал он своих солдат! Так неужто подведут они?

Неприятель и впрямь начал передвижения на другом берегу, снялся с прежнего своего местоположения и явно демонстрировал, что готовится к сражению и собирается разбить стан уже в самой близи от русских войск, не удаивая последние страха перед ними. Румянецв некоторое время наблюдал за этими маневрами в подзорную трубу, а затем, решительно сложив ее, объявил:

— Слава и достоинство воинства российского не терпят, чтобы сносить неприятеля, в виду стоящего, не наступая на него. Если турки осмелятся разбить в сем месте хотя одну палатку, то я их в ту же ночь пойду атаковать!

Решение было принято. Нельзя было отдать противнику инициативу, необходимо было опередить его и перейти в наступление самим, чего никак он ожидать не может. На подготовку атаки у русских оставались считанные часы. Но их хватило. Уже в час ночи войска покинули позиции и подошли к турецким укреплениям на расстояние пушечного выстрела. Турки бросили навстречу многочисленную легкую конницу, но она была рассеяна огнем русской артиллерии.

Майор Муромский безотлучно находился подле генерал-аншефа. Перед самым выступлением тот, дружески хлопнув по плечу молодого офицера, спросил весело:

— Ну, что, сударь мой, скажите вы, видя пред собой этакие полчища?

— Скажу, что зрелище сие прекрасно, и сулит нам сегодня великую славу! — с восторгом выдохнул Степан.

— А нестрашно такой силы тебе? — прищурился Румянцев.

— Что может быть веселее игры ва-банк? — с задором неисправимого картежника отвечивал Муромский.

— Твоя правда, — согласился генерал-аншеф, — сегодня мы играем ва-банк. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Но будь уверен, сударь мой, мы свой банк сегодня возьмем! И дай Бог тебе к вечеру быть полковником!

Дорогого стоило такое напутствие! И, подобно взнузданному жеребцу, рвался Степан в самую гущу боя. Раззудись плечо молодецкое! Когда еще явится

случай такой показать отвагу свою и удаль! С колоннами Репнина и Олицы штурмовал Муромский неприятельские позиции. Велико было сопротивление их! Как ни ошарашила поганых русская дерзость, но численное превосходство исцелило это первоначальное смущение, и уже напирала басурмане всей мощью своей, тесня русские полки. Разя супостатов направо и налево, весь перепачканный кровью своей и вражеской, Степан, вырвавшись из схватки, опрометью долетел до командного пункта, с которого Румянцев и герцог Брауншвейгский наблюдали за ходом сражения.

— Войска Племянникова потеряли строй и в панике отступают! — хрипло доложил он.

Румянцев невозмутимо взглянул в подзорную трубу по указанному направлению и бросил герцогу:

— Теперь настало наше дело!

С юношеской резвостью генерал-аншеф оседлал коня и самолично помчался в самую гущу потрепанного каре генерала Петра Племянникова... Муромский последовал за ним, стремясь не отстать ни на шаг.

— Ребята, стой! — этот громоподобный возглас, перекрывший рев орудий, возымел магическое действие на расстроенные русские войска, как и само явление пред них генерал-аншефа, лично поведшего в атаку своих солдат.

— Вперед, ребята! Да здравствует Екатерина!

С дружным «ура» еще миг назад расстроенные полки сомкнули свои ряды и, ударив в штыки, опрокинули турецкие полчища. Дело решили лейб-гренадеры бригадира Озерова, предпринявшие стремительную атаку на отличавшихся особенной лютостью и яростью янычар. Янычары были смяты, и казавшиеся несметными силы противника в панике бежали за Дунай, оставив победителям многочисленных пленных, весь лагерь, обоз, 140 пушек и 60 знамен. Русские же преследовали бегущего неприятеля и,

настигнув на переправе, захватывали в плен уже практически без потерь.

Подобной ослепительной виктории, пожалуй, еще не знало русское оружие. Утомленный боем, в котором сражался, как в лучшие годы свои, радуя не утратившую силы руку знатными ударами, Петр Александрович объезжал поле боя. Захваченный турецкий обоз, наконец, решил вопрос провианта, и теперь, оставленный с ночи во главе 6000 штыков для охраны русского обоза генерал Потемкин не мог скрыть своего огорчения. Пожалуй, и было за что обижаться этому молодцу, из которого Румянцев стремился изгнать неистребимые привычки к сибаритству. При Ларге изрядно отличился он, но Петр Александрович вместо награды распек его за слабое преследование противника. Теперь же и вовсе лишил молодого генерала случая отличиться, оставив при обозе. Да, есть отчего журиться Григорию Александровичу. Ну, да ничего, потерпит, пообтесается.

Между тем, Потемкин, с сумрачным видом ехавший подле генерал-аншефа и в свою очередь заметив его задумчивость, полюбопытствовал:

— Вся армия ликует нынче славной виктории, а вы, ваше сиятельство, словно бы и не рады ей!

Румянцев остановил лошадь и повел рукой вокруг себя:

— Посмотри на сии потоки струящейся крови, на сии тела, принесенные в жертву ужасной войне. Как гражданин сражался я за Отечество, как предводитель победил, но как человек я плачу.

В этот момент мимо пронесли носилки, в безжизненном теле, расprostертом на которых, Петр Александрович угадал что-то знакомое. Соскочив с седла, он склонился над павшим героем и тяжело вздохнул. Хотя лицо погибшего было рассечено

турецким ятаганом, а все же не мог генерал-аншеф не узнать своего свежееиспеченного адъютанта...

— Значит, все-таки голова в кустах... — покачал головой Румянцев. — Эх ты, «ва-банк»! Как же ты, друг, не уберегся? Ведь таким молодцом турка бил — любодорого смотреть было!

Вновь вскочив на коня, Петр Александрович прибавил:

— Надо хотя посмертно достойно наградить храбреца, — и, тронув повод, обратился к Потемкину. — А ты, сударь мой, не журишь. Твое имя тоже в представлении будет.

Григорий Александрович удивленно вскинул понуренную голову:

— Чем же я заслужил, коли меня в нынешнем деле почитай как и не было?

— А это тебе не за Кагул, а за Ларгу! — отозвался генерал-аншеф.

Славный для России день клонился к концу, и победоносные русские полки строились, чтобы приветствовать своего вождя. Румянцев бодрой рысью выехал перед них и воскликнул:

— Я прошел все пространство степей до берегов Дуная, сбивая перед собою в превосходном числе стоявшего неприятеля, не делая нигде полевых укреплений, а противопоставлял бесчисленным врагам одно мужество и добрую волю вашу, как непреоборимую стену! Кланяюсь вам, ребята! — с этими словами генерал-аншеф снял треуголку и поклонился своим солдатам.

Закаленные в кровавой сече воины отвечали своему герою-предводителю восторженным «ура», а один старый солдат, не умея отыскать слов, подходящих для ответной здравицы полководцу, помявшись в волнении, вымолвил только с неподдельным восхищением и навернувшимися слезами:

— Ты, ваше сиятельство, прямой солдат!

И не было, не могло быть русскому полководцу аттестации лучше и выше этой!

Прежде чем отойти ко сну, Петру Александровичу оставалось покончить с еще одним неожиданным долгом. На другом конце лагеря, сокрывшись от людских глаз, сидел и горько рыдал хрупкий солдат с предательски выбивавшимися из-под треуголки косами. Завидя крупную фигуру генерал-аншефа, Даша в испуге вскочила и отпрянула, но тот сделал ей знак приблизиться, и она смущенно подошла.

— Скорбь твою, красавица, разделяю, — коротко сказал Румянцев. — Не такой судьбы заслуживал твой майор, но война есть война, ее бог не менее своенравен, чем бог любви, но куда более жесток. У тебя, в самом деле, нет никого родни?

— Никого, ваше сиятельство... — промолвила Даша. — Степа мой спас меня, а теперь мне одно осталось — утопиться от худшей участи.

Петр Александрович вздохнул.

— В память о твоём Степане такого исхода я допустить не могу. Отправлю я тебе завтра отсюда прочь с надежным человеком. Свезет он тебя в мое малороссийское имение...

Даша вспыхнула, но генерал-аншеф невозмутимо продолжал:

— Место для новой служанки там всегда найдется. Поживешь-пообвыкнешься, а затем гляди сама: хочешь оставайся, замуж выходи, хочешь иной доли ищи. Никто тебя обижать и неволить не станет.

Девица, рыдая, упала перед Румянцевым на колени и стала целовать его руки. Но Петр Александрович одернул их и поднял Дашу на ноги:

— Полно, мужчины должны целовать руки красивым женщинам, кто бы они ни были, а не наоборот. А ты для меня невеста моего адъютанта, и позаботиться о тебе в

память о нем мой отеческий долг. Посему не благодари и готовься поутру к отъезду. Здесь тебе оставаться никак невозможно.

— Благослови вас Бог, ваше сиятельство! — прошептала Даша. — Правду о вас Степа говорил, что вы лучший человек из всех.

— Он много преувеличил, — покачал головой Петр Александрович. — Прощай, красавица. Ступай и не греш.

Сентябрь выдался на редкость погожим, будто бы лето испросило у матери-природы позволения задержаться сверх срока. Лишь все ярче проступавший багрянец и желтизна листвы выдавали медленное приближение осени. Листья, расцвеченные напоследок царственным пурпуром и золотом, падали теперь на бестрепетную гладь пруда... Не это ли судьба земной славы?

Румянцев! Я тебя хвалити хоть стремлюся,
Однако не хвалю, да только лишь дивлюся.
Ты знаешь, не скажу я лести ни о ком,
От самой юности я был тебе знаком,
Но ты отечество толико прославляешь,
Что мя в безмолвии, восхитив, оставляешь.
Не я — Европа вся хвалу тебе плетет.
Молчу, но не молчит Европа и весь свет...

Сумароков Алексашка виршами воспел — друг незабвенных юных дней, с которым свела судьба в пору краткого пребывания в памятных стенах кадетского монастыря. Алексашка муштру того монастыря исправно вынес, но — вот, поди ж ты — славу стяжал не как воин, а как поэт Божией милостью. Из всех славословий, на кои столь щедры были поэты, вирши старого приятеля всего дороже были Румянцеву. Знал он, что Сумароков не из лести писал их, и не торопился в отличие от иных с оными, а от сердца, дружества не позабывшего.

Еще один лист, оторвавшись с ветви, плавно лег рядом с поплавком, который не спешила потревожить этим утром жадная рыбешка. Земная слава! Суета суета... Хотя его, Петра Александровича, слава не суетной была, не игрой пустого случая, он стяжал ее вместе с Россией и во имя России.

Но солнце мрак не одолело
И не сиял еще восток,
А русско воинство гремело
И полился кровавый ток.
Румянцев рек: и только стали —
Уже срацины смерть сретали
На ложах, где вкушали сон;
Пустились долом янычары,
Но вопль и тщетны их удары
Предвозвещали их урон.

Так восславлял Кагульскую викторию еще один стихотворец, Муравьев. А ему вторил Хемницер:

О день, геройством освященный!
О безпримерный день в веках!
День, славою неизреченный!
Величественный день в делах!
Который показать вселенной
Триумф каков сей несравненный,
Поднесь, как чудо, сохранил;
Дабы героям предоставить
Российским, коих бы прославить
Премудрость, мужество и сил.

Сам Фридрих Великий, некогда окрестившей Румянцева собакой, которой единственной надо бояться среди русских полководцев, лично воздал ему хвалу через шесть лет после Кагула. Петр Александрович прибыл в Берлин, сопровождая Цесаревича Павла Петровича, после кончины горячо любимой жены предпринявшего путешествие с целью знакомства с новой невестой — принцессой Штутгартской. Прусский Император устроил фельдмаршалу торжественную встречу. Он выстроил весь свой потсдамский гарнизон по образцу кагульских позиций и представил поразившую его воображение битву.

— Приветствую победителя Оттоманов! — провозгласил старый король, некогда разбитый при Гросс-Егерсдорфе, своего прежнего противника.

Слава Ларги и Кагула положила начало череде блистательных и невероятных побед. В борьбе с сарацинами не иначе как сам Господь предводительствовал русскому воинству, не ведавшему поражений!

В 1774 году с 50-тысячным войском Румянцев обошел 150-тысячную турецкую армию, стоявшую на высотах у Шумлы. Это посеяло в ее рядах такую панику, что визирь принял все мирные условия, оформленные в Кучук-Кайнарджийский мирный договор. Это был зенит, триумф Петра Александровича! Государыня наградила его фельдмаршалским жезлом и наименованием Задунайского, возвела в честь его победobeliski в Царском Селе и Санкт-Петербурге и предлагала герою въехать в Москву на триумфальной колеснице сквозь торжественные ворота... От последней чести Румянцев отказался, сочтя смешным изображать из себя древнегреческого бога или иного античного героя. Фельдмаршал Задунайский предпочитал оставаться

самим собой, не ища чужой славы, чужих титулов, чужих регалий.

Всякий зенит неизбежно предшествует закату. Неизбежно загораются новые светила, сияние которых затмевает прежние. Новым светилом неудержимо становился фаворит Государыни, Григорий Александрович Потемкин, некогда начинавший свой воинский путь под началом Румянцева. К началу новой войны с Портой именно Григорию Александровичу, а не стареющему «русскому Нестору», как называл Петра Александровича Суворов, отводилась первенствующая роль. Очаковская победа Потемкина еще более упрочила его положение.

Румянецв чувствовал предпочтение, отдаваемое Императрицей «одноглазому Голиафу» и его Екатеринославской армии, и предугадывал, что вскорости, армия Украинская, предводительствуемая им самим, также будет вверена Потемкину. Уязвляло ли это самолюбие стареющего фельдмаршала? И немало уязвляло! Отдавая должное несомненным крупным дарованиям Григория Александровича, он раздражался честолюбием и заносчивостью последнего, тем, как ревниво норовил тот подмять под себя все и вся.

Сам Петр Александрович всегда жил в ладу со своим честолюбием, умея, когда нужно, обуздать его. В 1789 году пришел именно такой случай. Румянецв не стал усугублять разногласий с Потемкиным, обострять неуместное в общем деле соперничество, не стал дожидаться своего устранения от войск под благовидно-почетным предлогом, а сам обратился с письмом к Григорию Александровичу: «А по моему обыкновению, не скрываясь, вам говорю, что не может лучше и пойтить наше дело в сем краю, верно как под одним вашим начальством».

Так все и исполнилось. Отставленный от действующей армии и сказавшийся больным во

избежание неуместных «назначений» и вызова в Петербург, Румянцев до конца кампании оставался в Яссах, несмотря на неудовольствие Государыни. Все это время верный и любимый ученик, Александр Васильевич Суворов, одержавший тем временем блестящие победы при Фокшанах и Рымнике, исправно посылал ему рапорты о своих действиях, как если бы Петр Александрович оставался командующим...

Та кампания завершилась новым русским триумфом. Ясский мир навсегда сломал могущество Оттоманской Порты и утвердил Россию на Черном море. Увы, «одноглазому Голиафу» судьба не дала времени насладиться одержанными победами, умноженной его неутомимыми стараниями русской славой, расцветом любимого детища его — Новороссии... Князь Таврический скончался в 1791 году, и весть эта глубоко поразила Румянцева. Старый фельдмаршал не мог сдержать слез:

— Вечная тебе память, князь Григорий Александрович! — вздохнул он, получив письмо с горьким извещением. Бывшие за обедом немногочисленные гости не смогли скрыть удивления этой непритворной скорби. Заметив оное, Петр Александрович сказал, предупреждая охотников вспоминать старые счета:

— Князь был мне соперником, может быть, даже неприятелем, но Россия лишилась великого человека, Отечество потеряло сына бессмертного по заслугам своим!

Земная слава проходит, как проходит земная жизнь, но остается бессмертная душа и бессмертная слава, коли она истинна, а не сиюминутна. Именно к такой истинной и доброй славе, а не суетным почестям достойно стремиться человеку. Добре сказал Гаврила Державин:

Блажен, когда стремясь за славой
Он пользу общую хранил
Был милосерд в войне кровавой
И самых жизнь врагов щадил;
Благословен средь поздних веков
Да будет друг сей человек.

Не утративший остроты слух старого фельдмаршала различил шаги, слышавшиеся в тиши парка. Отвлечшись от созерцания прудового зеркала и собственной удочки, упрямо не желавшей в это утро порадовать рыбака хоть какой-нибудь добычей, он обернулся, высматривая неожиданных гостей. Они вскоре показались в аллее — мужчина лет сорока, статский, но не щеголь, не франт, и дама в простом дорожном платье...

— Покорнейше просим простить нас, — подал голос мужчина, — но где бы нам найти сиятельного графа?

Петр Александрович улыбнулся, поднимаясь навстречу гостям — в простом кафтане, без парика, кто бы узнал в нем «сиятельного графа»?

— Он перед вами, — ответил с церемонным поклоном. — Наше дело — города пленить да рыбку ловить... А раньше мы и воевать умели.

— О, ваше сиятельство! — дама опустила в реверансе, а ее муж низко поклонился графу.

— Имею честь рекомендоваться, Дмитрий Сергеевич Тульчин, действительный статский советник. Моя супруга, Екатерина Семеновна.

— Рад приветствовать вас. Позвольте осведомиться целью вашего визита?

— О, мы покорнейше просим простить наше столь дерзновенное вторжение! Дело в том, что, держа путь в имение наше и узнавши, что вы гостите теперь в

Вишенках, мы не могли удержать нашего желания засвидетельствовать наше восхищение герою Ларги и Кагула!

— И угадали akurat к обеду, — снова улыбнулся Румянцев, прищурясь на просачивающееся сквозь редющую листву солнце. — Пройдемте же в дом! В моих Вишенках по русскому обычаю гостям рады всегда!

Путешественники явно не ожидали такой чести и с заметным волнением последовали за радушным хозяином. Последние годы, отойдя от дел, Петр Александрович жил преимущественно в имении Ташань под Киевом, доходы которого тратил он на помощь многим неимущим семействам, о которых втайне от света взял на себя попечение. Его давно взрослые сыновья делали успешную и достойную карьеру в столице, умножая добрую славу отцовского имени на поприще статском, покровительствуя наукам и искусствам. Его жена посвятила себя устройению имения подмосковного. Сам же граф коротал время за чтением книг, на которые в молодые годы никогда не доставало времени. Преувлекательное оказалось занятие! И где еще сыщешь столь мудрых собеседников?

Время от времени Петр Александрович наезжал в любовно отстроенные некогда к приезду Государыни Вишенки. В отличие от Ташани это был настоящий замок! Главный Вишенский дворец был выстроен в стиле средневековой романтической крепости. Дворцы поменьше — Молдавский, Турецкий, Готический и Итальянский — архитектурой своей точно отвечали названиям. Возводили эту красоту некогда привеченный Императрицей, а позже опальный Василий Баженов и зодчий-малоросс Максим Мосципанов, коего открыл сам Румянцев. В Готическом дворце во время своей поездки в Новороссию в 1787 году останавливалась Государыня. Память о ее пребывании

здесь поныне грела душу хозяина. После недолгого охлаждения она еще не раз призывала верного фельдмаршала, не раз дарила своими милостями и, что еще дороже, теплыми, сердечными письмами... Служить такой монархине, такой Прекрасной Даме — не великое ли это счастье? И оно даровано было и Петру Александровичу, и его ученикам, имена которых гремели теперь победными литаврами. Прекрасные Дамы его судьбы... Елизавета... Екатерина... Россия! Все они могли засвидетельствовать пред грядущими поколениями, что был он их вернейшим и ревностным рыцарем.

Нежданных гостей Румянцев провел сразу в столовую, велел прислуге подавать обед. Путешественники с удивлением огляделись. Простота убранства, состоявшего из дубовых столов и стульев, явно поразила их. Дама не удержалась от любопытства:

— Неужели ваше сиятельство удовольствуется столь скромной обстановкой?

— Отчего же, в этом дворце есть комнаты, которые удовлетворили бы роскошью самого Халил-пашу! Но к чему роскошь старому солдату? Великолепные комнаты внушают мне мысль, что я выше кого-либо из людей, а сии простые стулья напоминают, что я такой же простой человек, как и все. Надеюсь, и вы, друзья мои, не побрезгуете ими и простотой наших яств? Уж не посетуйте, ведь мы нынче гостей не ожидали.

— Помилуйте, ваше сиятельство, это великая честь для нас! — искренне ответил Тульчин.

Обед был по-русски прост и изобилен: щи, пироги с разнообразными начинками, соленья и варенья на любой вкус и крепость желудка... И, конечно же, квас, и собственная вишенская наливка, и ароматный чай с приправами. Гости прилежно отдали дань всем угощениям, что понравилось старому фельдмаршалу. Он не ошибся: в этих случайно нарушивших его

уединение людях не было ни спеси, ни фальши. Муж — явно деловой человек, не избалованный протекциями и излишествами, без подобострастья почтительный и свое достоинство блюдуший. А жена... Было в ней что-то очень открытое, радостное, даже детское, несмотря на то, что молодость ее уже миновала. Лицо ее с маленьким, вздернутом кверху носиком и бойкими глазами, не столько красивое, сколько оригинальное и милое своей неправильностью, светилась жизнелюбием и задором. Эта женщина кого-то смутно напоминала Петру Александровичу.

— Простите мне мой вопрос, сударыня, но не случилось ли нам встречаться прежде? Ваше лицо отчего-то кажется мне знакомым.

Екатерина Семеновна смущенно покраснела.

— Вы почти угадали, ваше сиятельство. Моя матушка рассказывала мне не однажды, что в молодые годы имела честь встречать вас.

— Вот как? — приподнял бровь Румянцев. — Как же звали вашу почтенную родительницу?

— Екатерина Даниловна Л-ская, — прозвучал ответ.

Образ Катиш тотчас всплыл в памяти старого фельдмаршала. Помилуй Бог, как же тесен мир, и какие удивительные встречи случаются на его затейливо переплетенных дорогах!

— Да, — кивнул Петр Александрович, — я припоминаю вашу матушку. Жива ли она?

— Преставилась пять лет тому назад.

— Царствие Небесное! Славная была женщина, — Румянцев перекрестился. — Что же, она много говорила вам обо мне?

— При всякой вашей победе она вспоминала вас, вспоминала, что ее печальная молодость подарила ей единственное счастье — встречу с великим человеком, память о которой всегда с нею. Более она ничего не рассказывала, к сожалению.

— А ваш отец?

— Он скончался, когда мне не было и года. Матушка не любила вспоминать о нем... После его кончины на оставшееся после него небольшое наследство она купила маленькое имение в Тверской губернии, и там мы жили с нею вдвоем...

— Пока я не похитил это сокровище, — впервые за весь обед улыбнулся Тульчин, поцеловав руку жены. Та ответила ему ласковой улыбкой. Жизнь этой четы сложилась явно счастливее, чем судьба покойной Катерины Даниловны, земля ей пухом...

Петр Александрович задумчиво вглядывался в зазорное лицо своей гостьи. Причудливо плетет судьба свои стези... Подозвав вошедшую осведомиться, не подать ли что-нибудь еще, ключницу Дарью, он шепотом сделал короткое распоряжение и отослал ее.

Через некоторое время гости засобирались уезжать, прося прощение, что посмели отнять время у его сиятельства.

— Помилуйте, мое время уже давно вечности принадлежит, так что отнять его у меня невозможно, — добродушно отвечал Румянцев, провожая Тульчиных на крыльцо. Навстречу им поднималась Дарья, несшая корзину со свежесрезанными розами. Граф принял у нее корзину и с поклоном подал Екатерине Семеновне:

— Примите, сударыня, в память нашего знакомства и в знак моего почтения к вашей матушке! Если моя старческая память мне не изменяет, она очень любила эти цветы.

Лицо Тульчиной просияло, а на глазах выступили растроганные слезы. Совсем как некогда ее мать, она почти с благоговением приняла поданные ей розы и уткнулась в них лицом, жадно вдыхая аромат.

Проводив гостей, Петр Александрович возвратился к своему любимому пруду и вновь закинул удочку в надежде, что вечер окажется щедрее утра для

рыбацкой удачи. И впрямь скоро задергался поплавок, и граф, торжествуя, вытянул из воды крупную рыбину.

— Не дергайся, брат! Все равно быть тебе ухой! — довольно проговорил он.

Солнце мерно клонилось на запад, а листья, подчиняясь налетевшему ветерку, еще чаще покидали свои ветви, устилая пруд царственными красками...

**Бдителен и смел
(Гавриил Романович
Державин)**

Невинность разрушил! Я в роскошах забав
Испортил уже мой и непорочный нрав,
Испортил, развратил, в тьму скарестств
погрузился, —
Повеса, мот, буян, картежник очутился;
И вместо, чтоб талант мой в пользу обратил,
Порочной жизнь его я погубил;
Презрен теперь от всех и всеми презираем, —
От всех честных людей, от всех унижаем.
О град ты роскошей, распутства и вреда!
Ты людям молодым и горесть и беда!
Москва, хотя в тебе забавы пребывают,
Веселья, радости живущих восхищают;
Но самый ты, Москва, уж тот же Вавилон:
Ты так же слабишь дух, как прежде слабил он.
Ты склонности людей отравой напояешь,
Ко сластолюбию насильно привлекаешь.
Надлежит мрамора крепчае сердцу быть,
Как бывши молоду, в тебе безстрастным жить.

Крутились в голове горькие строки, то легко спрягаясь друг с другом, то упрямо не находя себе пары... Да и до пары ли, до рифм ли, когда душа — точно на сковородке у чертей мытарится! Но поэт на то и поэт, чтобы чувства в рифмы переплавлять, так легче ему источать свою боль и отчаяние.

А отчаяться было от чего! Сидя в своей темной комнате, нарочно не зажигая свечи, Гаврила чувствовал это с особенной остротой. Мало было всех прочих бедствий, так еще мамаша прапорщика Дмитриева

изволила подать жалобу, что де капрал Державин с товарищем своим Максимовым сына ее, как липку, обчистили. И самое престыдное, что жалоба та была вполне справедлива... Обчистили. При том самым шулерским способом обчистили. Хотя сынок ее тоже хорош! Вечно в долг брал, в долг играл и никогда не отдавал! А карточный долг — дело святое. Это любой скажет. Ну, вот, и проучили гуся как следует...

Но гусь гусем, заслужил он науки той, а себя-то тем не оправдать. Не один ведь Дмитриев ощипан был подобным манером...

— Ганя! — окрик из-за окна вывел Гаврилу из тяжких размышлений.

Вот, они! Черти-искусители! Явились... И ведь в дверь не постучат, всегда в окно зовут. Оно и лучше. На кой еще добросердечную тетку смущать такими фармазонскими рожами? Она женщина благочестивая, не то что сынок ейный, бестия продувная. А ведь чего доброго дойдет и до нее дмитриевское дело! То-то сраму будет... А ежели до матери, до Казани? Даже в жар бросило от стыда. Нет, надо кончать с дурным ремеслом. Вот, только бы отыграть мамашины деньги и тогда уж!.. Эх, когда бы свезло сегодня! Тогда бы — вон из Москвы! В полку уж заждались его возвращения, заотпусковался капрал, пора и честь знать.

— Что это ты, брат, такой угрюмый? — спросил Яшка, смуглый, кучерявый брюнет, схожий видом с цыганом, когда Державин вышел из дома.

— Зуб болит, — хмуро отозвался Гаврила.

— Поправить можно! — осклабился Ванька Серебряков — плут крестьянского звания, которого разные темные делишки довели от родимых заволжских просторов до — матушки-Москвы. — Я зубы куды как хорошо рвать умею!

— Обойдусь.

— Полно, Ганя, не хмурься, — подпоручик Максимов, главарь несвятой троицы, дружески обнял капрала за плечи. — Игра не любит печали и тяжких дум! Игра любит кураж и бодрость духа! Эх, нам бы нынче распотрошить башмака¹⁸ побогаче!

Вот, так и Гаврилу некогда распотрошили до исподнего... Блудов, гнида, втянул в этот треклятый круг да еще же и сам потом обобрал до нитки. А еще кузен! Сволочь...

Повозка, громыхая колесами по мостовой, с гиком и свистом домчала трех игроков до трактира. Странное это было заведение! Здесь можно было встретить и родовитого дворянина, и последнего мизерабля вроде того же Яшки, у которого, кажется, и роду-племени-то не было. Воры, карточные шулера, гулящие девки — все это весело и разухабисто гуляло в гостеприимных стенах. Мордобитье и поножовщина были здесь делом обыденным. Но никого из приличных господ не смущало столь оригинальное соседство. Приходя сюда, они располагались за карточными и бильярдными столами и... спускали иной раз целые состояния.

Матушка-императрица, приметив, какой урон подобные игры приносят дворянству, расточающему в них свои имения, строго-настрога запретила азартные игры. Отныне в порядочных домах велись лишь игры коммерческие, пытавшие не удачу, а ум игроков. Но... Разве могли матерые игроки отказаться от будоражащего нервы испытания фортуны? В несколько секунд решалась судьба! В несколько секунд — пан или пропал! Можно было остаться без исподнего, а можно выиграть целое состояние... И всякий игрок, влезая в долги, закладывая все вплоть до собственной головы, мечтал именно об этом! Что однажды выпадет его день, и ему достанутся счастливые карты!

Мечтал об этом и Державин. Уже наметанным глазом определил он среди играющих двух-трех барашек¹⁹ при средствах, которых можно было выпотрошить даже без кляуз. Занявшись ими, Гаврила время от времени поглядывал на своих сообщников — те хищными стервятниками налетели на молодого поручика-измайловца. Поручик был совсем юн и очень недурен собой. Трактирные девки так и лопали красавца наглыми зенками, а он, растепель, еще и отвлекался от игры, когда какая-нибудь лярва лезла к нему с ласкою...

Ах ты, чертова мать, ведь пропадет поручик не за понюшку табаку! Играли в макао, и раз за разом измайловец проигрывал. Да и как бы иначе, если карты тасовал Яшка, а Яшка завсегда умудрялся сохранить баламут²⁰. Исключительная ловкость рук! С такою хоть в балаган иди, народ честной трюками забавлять, хоть ширмачом на ярмарку — нигде не пропадешь, покуда в кандалы не закуют или кости не переломают...

Поручик краснел, бледнел, покрывался испариной, но игры не оставлял. Азарт заставляет забывать ум! Чем больше проигрываешь, тем отчаянней жажда отыграться... Оставив своих барашек, Державин с тоской наблюдал за измайловцем. Теленок да и только... Дитя! Мальчишка... Этакий ведь точно не то, что собственное исподнее, но семейное имущество по миру дотла пустит...

Не выдержал Гаврила: подозвав Марютку, разбитную, белокурую девку, усадил ее на колени и стал шепотом на ухо объяснять, что следует ей сделать. Красавица звонко расхохоталась:

— И только-то? Я думала, ты, Ганюшка, меня о большем попросишь!

— О большем я тебе вдругорядь попрошу, — многообещающе отозвался Державин, вложив в

шаловливую ручку Марютки монету. — А пока сделай, что сказал.

— Для вас, господин капрал, все, что угодно! — лучезарно улыбнулась девица.

Гаврила для вида вновь занялся игрой, а сам следил за Марюткой. Вот, обвилась она плющом вокруг молодого офицера, вот, зашептала что-то в самое ухо, изображая (а может, и вполне искренне?) страсть... А парень-то не промах! Не упустил случая красотку облапить! А она уже влекла, влекла его за собою, залиvisto смеясь. Молодец девка! Все, как следует, исполнила! Вышел и Гаврила неприметно из зала и тотчас наткнулся на свою парочку: жарко целовал поручик Марютку в самом углу, у ведущей на второй этаж лестницы.

Державин кашлянул. Марютка встрепенулась:

— Вот, Ганюшка, получай своего башмака!

Юноша непонимающе обернулся:

— Башмака? Что это значит? Извольте объяснить, сударь! — рука поручика легла на эфес шпаги.

— Башмак — это жертва шулеров, — ответил Державин. — Те двое, с которыми вы теперь играли, шулера. И, видя как они обирают вас, я почел должным вмешаться. Ну, а чтобы избежать стычки, попросил Марютку помочь...

— К чему же избегать стычки? — вспыхнул измайловец. — Если эти мерзавцы шулера, то их должно проучить!

Гаврила преградил путь ринувшемуся было назад в зал юноше:

— В этом заведении шулера и воры составляют значительную часть посетителей. И, можете не сомневаться, у каждого из них припасен добрый нож. К чему вам сиротить ваше семейство?

Поручик с досадой выругался:

— Черт меня дернул притащиться сюда!

— А, действительно, какой черт вас дернул сюда притащиться? — полюбопытствовал Державин. — Мне кажется, вы не привыкли к подобным рассадникам порока.

— Мой приятель назначил мне здесь встречу. Да так и не явился, бестия! А я из-за него теперь еще и должен этим двум мерзавцам!

— Родительское имение проиграть не успели?

— Слава Богу, нет!

— Вы счастливее меня...

— Что?

— Неважно. Вам не стоит здесь задерживаться дольше. Прощайте! — Державин направился обратно к залу.

— Благодарю вас, сударь! — прозвучал вслед голос поручика. — Но я бы хотел знать имя моего спасителя.

— Лейб-гвардии Преображенского полка капрал Гаврила Романович Державин!

— Лейб-гвардии Измайловского полка поручик Иван Федорович Кувшинников!

Офицеры церемонно раскланялись, и Державин скрылся в зале. Его приятели уже заняты были новой жертвой — на сей раз у бильярдного стола. Пройдоха Ванька подменял шары на более легкие, и жертва неизбежно проигрывала... Опрокинув стакан вина и помilовавшись недолго с Марюткой, Гаврила покинул трактир, не желая больше играть. К своему удивлению, уходя, он не заметил своей несвятой троицы. Шулера куда-то скрылись, и это было весьма странно и не похоже на них.

Недоумение капрала разрешилось очень скоро. Стоило ему отойти лишь несколько шагов от трактира, как навстречу ему с разных сторон выступило несколько теней. В трех из них Державин сразу узнал своих приятелей. Дело явно пахло жареным. Шестерых

головорезов многовато на одного капрала, хоть он и силой дюж, и ловкостью не обделен.

— Чем обязан такой торжественно встрече? — осведомился Гаврила, быстро прикидывая диспозицию возможного боя, а, главное, отыскивая путь к отступлению.

— Нехорошо, брат Ганя, выдавать друзей, — ответил Максимов. — Мы уж прежде замечали за тобой подобные выкрутасы, и нынче ты нам за все твои милосердия скопом ответишь! Если бы не ты, этот щенок-поручик к утру бы спустил нам все родительское имение, и еще бы остался должен!

— Этот щенок и так остался тебе должен дюжину палок, мерзавец! — раздался из темноты юношески звонкий голос, и следом блеснула выхваченная из ножен шпага.

Ну, что ж, двое гвардейцев против шестерых головорезов — это уже что-то! Драка так драка! В сущности, не менее веселое занятие, чем игра!

— Ну, берегитесь, друзья! Здесь вам не карточный стол!

Шпаги оказались лишь у двоих из противников, включая Максимова. Прочие орудовали ножами, которых у каждого было по штуке за голенищем. Поручик был заметно более подготовлен к дуэлям и воинским поединкам, нежели к разбойной поножовщине, однако, держался молодцом, отражая натиск злодеев. Державин же уже в первые мгновения умудрился поразить в плечо Максимова:

— Извини брат! Шпага — это тебе не кий!

Упавшую шпагу схватил Яшка, но этот, будучи трусоват от природы и худо владея благородным оружием, держался позади остальных.

Наконец, улучив момент, Державин, все время боя отступавший к узкому переулку, крикнул Кувшинникову:

— Ко мне, поручик!

Измайловец нашелся быстро, и, пропустив его мимо себя, Гаврила сразил кулаком подскочившего Серебрякова и бросился следом за своим негаданным товарищем. Офицеры бежали стремительно, но их преследователи не отставали. Переулок оканчивался деревянным забором. Могучий и длинный Державин с ходу легко подсадил тонкокостного поручика, а тот, оседлав преграду подал ему руку. Через несколько мгновений оба гвардейца были уже по ту сторону забора.

Московские затейливые улочки и переулки не чета петербургским проспектам. В них можно заплутать, как в вотчине Минотавра, но и скрываться в них любо-дорого! Так и скрылись беглецы от своих преследователей, а, выбравшись из непроглядного лабиринта, кое-где щекочущего обоняние смрадом нечистот, оказались пред дверями... кабака.

— Добрый город! Славный город! — тяжело дыша, заметил Гаврила, утирая пот со лба. — Пропащему человеку во всякое время суток найдется, где утолить жажду! Что, Иван Федорович, отметим, что ли, наше знакомство? Я теперь ваш должник!

— Отнюдь, — покачал головой поручик. — Теперь мы всего лишь квиты! А промочить горло после такой ретирады я не прочь.

Сказано — сделано. Вскоре оба офицера уже пили вино, закусывая ветчиной и паштетом. Вино оказалось изрядной кислятиной, но откуда было взяться иному в такой дыре? Заспанная хозяйка, подав на стол, удалилась с недовольным видом. Видимо, почтенная мегера предпочла бы спать, а не обслуживать бродящих по ночам повес. За ужин она взяла явно больше, чем следовало, но Державин, бывший в выигрыше и оттого плативший, не спорил.

— Позволишь ли вопрос, Гаврила Романович? — осведомился Кувшинников после второй кружки на брудершафт.

— Изволь, Иван Федорович, — махнул рукой Державин.

— Из слов тех негодяев мне показалось, будто ты с ними... — поручик замялся, не находя подходящего слова и, видимо, не желая оскорбить друга прямоотой.

— Точно так, — усмехнулся Гаврила невесело. — Я им подельник выхожу... Да только, знать, не того покроя моя душа, не получается до последнего дна дойти.

Поручик растерянно опустил на стол кружку:

— Да как же это могло случиться? Ведь ты дворянин! Офицер! Преображенец!

Дворянин... Офицер... Преображенец... Звучит-то как! А за звучанием этим что? Дворянин без гроша, капрал к 30 годам, когда иной уже в 20 в полковники смотрит, гвардеец, не могущий даже на войну снарядить себя...

— У тебя сколько душ, Ваня?

— У отца триста душ...

— Ничего, жить можно. А у моего отца было 10 душ. И был он премьер-майором. Он был настолько беден, что один знатный вельможа на своем празднике поглумился над ним, а затем велел своим слугам избить. Мой дед, видя это, с горя и стыда умер. А через год родился я. Отец с матерью ездили из гарнизона в гарнизон... Дорогой мать упала с телеги, начались роды. Выжить я был не должен по слабости, но меня запекли в хлеб...

— Как это — запекли?

— Просто. Обмазали тестом и сунули в печку ненадолго. Есть такой народный обычай... Как видишь, помогло, — Державин улыбнулся. — Мать моя была неграмотной, поэтому, когда отец помер от чахотки,

совершенно запуталась в делах. К тому времени, благодаря ее приданному, у нас было душ 60, несколько дворов в Казанской губернии... Одну деревню пришлось продать. Мы были нищие, Ваня. И на мою мать, когда приходила она в присутственное место, смотрели как на попрошайку... Я учился сперва у одного пьяницы немца, затем вахту у него приняли два записных пройдохи из отставных унтеров. Но, как ни странно, кое-чему я все же выучился. Немец научил меня немецкому, а унтеры привили любовь к рисованию, черчению, в котором сами, они, впрочем, ничего не понимали, а лишь делали вид, что понимают. Потом мне несказанно повезло! Граф Шувалов завел в Казани гимназию. В ней я учился исправно до тех пор, пока меня не призвали на службу... И, вот, тут-то судьба готовила мне большое сокрушение. В младенческие годы не был я приписан к полку, как другие благородные недоросли, а от того на офицерский чин не имел никакого права... А к тому у меня не было ни гроша, чтобы содержать себя, как подобает гвардейцу. Я оказался самым рядовым солдатом. А дворянину тянуть ляжку в солдатчине куда как тяжко! Я, брат Ваня, был простым солдатом 10 лет. Добро бы хоть на войне выдался случай отличиться! Так нет! Преображенцев на войну не посылают, мы гвардия Ее Величества... Я мог бы проситься охотником, но где бы я взял средства на амуницию? И, вот, итог: ты, Ваня, много юнее меня, но уже поручик, а я едва успел выслужить капрала...

— Да, незавидна твоя доля, брат, — вздохнул Кувшинников. — Но все же кой черт толкнул тебя к этим шулерам?

Черт прозывался Блудовым...

По производстве в капралы Державин взял отпуск и отправился в Казань проведать мать. Родительница в ту пору скопила довольно денег и вручила их сыну для покупки под Москвою какой-нибудь деревеньки. С тем и

приехал Гаврила в Первопрестольную, где остановился у тетки и кузена. Этот-то кузен и потянул за собою впервые почувствовавшего себя «на воле» родича по разным вертепам... В игру Державин втянулся быстро, его манила греза о крупном выигрыше, который разом изменил бы его жизнь!

Безумная тобой владеет слепота,
Мечтанье лживое, суетств всех суета.
Блестящие в сердцах и во умах прельщенья
Под видом доброты сугубят потемненья.

Деньги матери он проиграл. В отчаянии пытался отыгратъся, но увяз в долгах. Блулов ссудил его деньгами, но подсунул такую хитрую расписку, что теперь мог претендовать на все ничтожное имение Державиных... Опутанный таким образом по рукам и ногам, Гаврила искал и не находил выход. Тут-то и появились Максимов с Яшкой да Серебряковым и предложили «работать» вместе.

— Бесчестье скажешь, Иван Федорович? Да, бесчестье... Да только я тогда не о чести помышлял, а о том, как напишу моей несчастной матери, что проиграл ее деньги...

— Что же, вернул ты их?

Если бы! Не получилось из Державина настоящего шулера. Он то проникался сочувствием к башмакам, то, выиграв, увлекался сам, ища скорейший путь к большему выигрышу и расторжению тяготящих его уз, и спускал все приобретенное... Одним словом, дела капрал так и не поправил, а, вот, репутацию успел запятнать, весть о дмитриевском деле достигла и Преображенского полка.

— Худо, брат... — покачал головой уже порядком захмелевший Кувшинников.

— Куда уж хуже! — согласился Гаврила, с сожалением тряхнув вторую бутылку и обнаружив, что она успела опустеть, как и первая.

— Что ж теперь будешь делать?

— А черт знает... — Державин поднялся из-за стола и взглянул в окно. — Утро уже, однако... Пора нам и проститься. Авось, в Петербурге свидимся!

— Стало быть, ты в полк теперь?

— Куда ж мне еще? Не дожидаться же в самом деле, чтобы там дезертиром почли...

— А у меня еще месяц отпуску. Рад буду обнять тебя вновь в столице! Ты мне, Ганя, брат теперь! — с этими словами Кувшинников с чувством обнял и расцеловал Гаврилу, и тот ответил тем же.

Распрощавшись с новообретенным товарищем, Державин воротился в дом Блудовых и проспал до вечера. Проснувшись же, решил твердо: надо уезжать. Уже не раз принимал он это решение, но затем вновь возвращался, как пес на блевотину свою.

Доколе я в тебе свой буду век влачить?

Доколе мне, Москва, в тебе распутно жить?

Покинуть я тебя стократно намеряюсь

И, будучи готов, стократно возвращаюсь.

Довольно! Больше никаких возвращений... Он найдет способ исправить свои ошибки, возместить поруху, нанесенную семейному состоянию. И способ этот будет честным. Не может быть, чтобы служба и впредь не представила ему случай отличиться. О, он отыщет этот случай и, видит Бог, не упустит его!

Александр Ильич Бибииков был не здоров. Не жаловавший лекарей, он сражался со своим недугом один на один, ни на мгновение не забывая и сражения главного, с Пугачевым. Этот неведомый мужик оказался для Империи едва не большею угрозой, чем турки. Может быть, и впрямь большею... Турок — что ж? Противник внешний, и битвы с ним в отдалении от русских губерний идут, и в битвах этих — все по правилам, как следует. Пугачев — иное. Тут уж не в нем, разбойнике, дело! Дело в народе. Народ ищет своей правды, своего права. Воли своей. А Пугачев — что ж? Выразитель мечты этой. «Добрый царь», «настоящий», «нашинский»... Так уже было на Руси, когда в образе чудом спасенного Димитрия-царевича явился самозванец. Самозванца убили, но это не помогло. На его месте явился еще один чудом спасшийся «царевич», вор тушинский... А сколько мелких самозванцев народилось тогда! И за всеми шел народ! Смута — вот, что страшно! Не Пугачев, а пугачевщина. Она — как холера охватывает область за областью, обычно рассудительные русские мужики теряют всякий смысл. Можно изловить Пугачева, можно в том или ином бою разбить его ватагу, но этого мало. Разбить противника довольно в войне обычной, правильной. А в усобице победу надо в душах одержать, иначе не будет конца кровопролитию, в котором не супостаты вторгшиеся, но сами русские убивают русских же.

Бибииков лучше кого-либо иного разобрался в природе народных восстаний. Привелось ему на своем веку и подавлять бунт в этих же краях, и польских конфедератов усмирять. Потому и назначила матушка-

Императрица Александра Ильича бороться с «чудом спасшимся Императором Петром Федоровичем». Узнав о том назначении, и о том, что генерал-аншеф набирает офицеров для похода супротив супостата, Державин не колебался. Он всегда мечтал служить под началом Румянцева или Бибикова, а к тому участие в подавлении мятежа могло и должно было стать тем случаем, который положил бы конец унылому прозябанию Гаврилы.

Александр Ильич жаждущего службы преображенца оценил. Ему нужны были не просто удалые сражатели, способные драться с мятежниками, но люди, пригодные к делу куда более сложному — к поискам в охваченных мятежом губерниях, к разведке, а, самое главное — умеющие говорить с людьми, доходчиво доносить до них положение дел, как то требовалось правительству. Подпоручик Державин порядочно владел не только шпагой, но и пером, и языком, мыслил творчески и дерзко. Смута — стихия творческая, ее не одолеть регулярством. Для творческой стихии и подход требуется — творческий!

Эти мысли Гаврила горячо и красочно озвучивал генерал-аншефу — глаголов было не занимать, ведь от решения Бибикова зависела его судьба! Решение оказалось положительным, и, вот, уже который месяц метался Державин по охваченным мятежом пространствам. В осажденных или же освобожденных городах разведывал настроения — в первую очередь, офицерства, среди которых находились такие, что предавались самозванцу, а также и солдат, дававших немалое число перебежчиков, духовенства... Самарские попы вместо того, чтобы наставлять народ супротив крамолы, встречали бунтовщиков колокольным звоном! Стоило бы, конечно, примерно наказать мятежников в рясах, но, если оставить город без духовенства, отнять у народа его пастырей, так, пожалуй, еще хуже народ

взбеленится? Тонкая это материя — народ! Тут и слабину дать смерти подобно, но и перегнуть палку — куда как опасно быть может! Оставили пастырей пастве, лишь припугнув усердно...

На реке Иргиз, где с давних пор селились староверы и беглые крестьяне, повстречал Державин недоброй памяти московского знакольца...

— Ты только подумай, подумай, Гаврила Романыч! Схватим мы Емельку и самой Царице доставим! Уж она, матушка, милостями нас за такую услугу осыплет — до конца дней горя знать не будем!

Глаза Серебрякова горели огнем истинного азарта, и против воли чувствовал Гаврила, как заражается сам отчаянной идеей. Это ведь — что три карты счастливые из колоды выдернуть! Та же фортуна, только дело поблагороднее, без сраму чести, а наоборот.

— Сам-то ты какого черта здесь делаешь? Я думал, что вы и теперь в Москве башмаков потрошите.

— Э, что вспомнил! — махнул рукой Ванька. — Сколько же можно на одном месте сидючи потрошить? Примелькались там рожи наши, пришлось убираться от греха. Максимов, кстати, помещиком здешним! Можем и на него рассчитывать! Он, правда, сердит на тебя за тот раз, рука-то у него от твоей шпаги высохла совсем. Да уж теперь такое дело...

Только Максимова и не доставало Державину! Надо же было приехать в этакую глухомань, чтобы всю ту же вездесущую шулерскую братию встретить! Или в этих местах воздух дурной какой, что все с судьбой сыграть ва-банк норовят? Из этого прохиндея Серебрякова, пожалуй, при случае тоже Пугачев мог бы выйти... Да и из Максимова...

— Ладно, свезу тебя к Бибикову, а уж он решит, как с твоими прожеками быть, — проворчал Гаврила, укрощая ретивое, хоть теперь готовое на Яик лететь — Емельку ловить.

И, вот, стоял теперь вчерашний шулер пред грозными очами генерал-аншефа и излагал свои идеи. Так залихватски излагал, что любо-дорого слушать! Чем-то напомнил старый плут Гавриле его самого, когда он с таким же жаром убеждал Александра Ильича принять его на службу. Кроме захвата супостата живьем была среди прожектов Ваньки и подсылка к Пугачеву убийцы — подходящий человек, готовый пожертвовать головой для пользы Отечества, у Серебрякова был. Бибиков слушал, морщась от недомогания. Затем, прервав увлеченный монолог шулера, сказал:

— Если визнаешь доподлинно, где теперь скопище воровское стоит, снарядим туда отряд. Когда послужишь Государыне верой и правдою, наградой обойден не будешь. А теперь ступайте оба! — лицо Бибикова было покрыто липкой испариной, а глаза лихорадочно блестели. Тревожно стало Державину за своего покровителя — никто, кроме него, не ведал тайных заслуг подпоручика, тех секретных миссий, что выполнял он. И откуда же ждать награды, коли случится что с Александром Ильичом?

— Хочешь, Гаврила Романыч, совет дружеский? — спросил Серебряков, по обыкновению кося левым глазом, когда они вышли от генерал-аншефа.

— Уволь, сделай милость! Мне от ваших с Максимовым советов до сих пор икается!

— Не возводи напраслину! Не от наших советов, а от дури собственной!

— Придержи язык! Не в Москве!

— Это ты прав, не в Москве, — согласился плут. — А совет я тебе все-таки дам! Даже два!

— Экая щедрость! — усмехнулся Гаврила.

— Становище-то Емелькино я сыщу, не сумлевайся. Да, вот, только в таком деле — чем меньше разного начальства, тем лучше. Начальство — оно ведь,

известное дело, все заслуги себе припишет, а нам что ж останется?

— Довольно и нам останется, — отозвался Державин. — К тому же засунуть Пугача в мешок и, доскакав с ним до Петербурга, бросить трофей сей к ногам Императрицы у тебя все одно не выйдет.

— А жаль! — щербато осклабился Серебряков. — То-то бы слава была!

— Полно! Не в сказке живем!

— То-то, что не в сказке! — подвижное лицо бывшего шулера, обрамленное редкой бороденкой, тотчас приняло серьезное выражение. — То-то, что не в сказке! — повторил он, хватая Гаврилу за руку. — А народ наш в сказки верит, понимаешь? О сказке мечтает! О чу-у-уде! — Серебряков описал руками огромный круг. — Что такое Пугачев? Чудо мужицкое! Ты думаешь, они сами не знают в глубине своей, что их ставка будет однажды бита? Знают! И Емелька знает, что петля его ждет! Но прежде-то — вот, она сказка мужицкая! Мужик на престоле, мужики вельможи! И не их дерут, как сидоровых коз, не их каждый наместник, каждая сошка ничтожная грабит, но сами они вольны всякого карать и миловать! И гра-а-абить! И в том числе обидчиков своих! Ска-а-азка! Кровавая, страшная, но прекрасная, потому что — хоть раз пожить наотмашь! Без оглядки пожить! Понимаешь ли ты?!

Державин понимал. За время своих секретных миссий он вдоволь насмотрелся на царящее повсюду лихоимство, на то, как нечистые на руку чиновники обируют народ, как не стало у людей никакой надежды на правду и справедливую расправу.

— Вот и пошли они расправу чинить! Против правых и виноватых! Без разбору! Тут же обида великая, вечная! — вдохновенно продолжал Серебряков.

— Это ясно, что корень беды в лихоимцах и раздражении народном супротив них, — согласился

Державин. — Да только мне того не поправить, маловата сошка!

— Да не о поправлении я! — воскликнул плут. — Этого никто не поправит! И Емелька не поправит! Но ска-а-азка, понимаешь? Ты не поправь, ты сказку придумай, чтобы народ в нее уверовал и жил ею! Емелька придумал! В этом его сила! Он себя придумал, царевича, царя сказочного! А ты?

— Что — я?

— Верно сказывают, что воззвания ты сочиняешь?

— Иные моим пером писаны, верно.

— Знатно твое перо, а все ж не то выходит у тебя! В твоих воззваниях, Гаврила Романыч, одна только правда, а народу не правда нужна, а сказка. Мечта! Напиши так, чтобы сердце у мужика загорелось, забилося! Чтобы не по страху, а по вдохновению он шел за тобой! Тогда карачун Пугачу!

Серебряков говорил страстно, кружась вокруг Державина мелким бесом, на которого схож бывал плюгавой фигурой, и не в силах ни мгновения стоять на одном месте. Гаврила понимал, что прав этот предприимчивый мужик, обученный староверами грамоте и всю жизнь живущий охотой на удачу. Кто-кто, а уж он-то народную душу куда как хорошо знал! Он сам этим народом был и жил верой в несбыточную сказку. Вот, и теперь грезилось ему, как бросает он к ногам Царицы мешок с пойманным Пугачом, и та возводит его в вельможное достоинство...

— Для того, чтобы мне в воззваниях моих писать сказку, какую мне вольно, самому бы Пугачевым стать пришлось, — отозвался Гаврила. — Потому как не дозволено подчиненным сказки от имени начальства сочинять. Так-то.

— Эх! — вздохнул Серебряков. — Начальство, начальство... Помяни мое слово, на этом и Емелька сломается.

— На чем?

— Надоест кому-нибудь под самодуром в холуях ходить и продадут его. Может, уже кто из холуев готов к тому... — хитро прищурился косящий глаз.

— Вот, ты и вызнай это, коли груздем назвался, — хлопнул Державин по плечу бывшего шулера. — А у меня нынче в ночь еще иная вылазка. Езжай, а коль прознаешь что, наперед мне докладывай. А там уж поглядим, как Пугача ловить...

Серебряков ощерил зубы в довольной улыбке:

— Будет исполнено, Гаврила Романыч! Бог тебе в помощь!

— И тебе, — отозвался Гаврила, подумав, что такой продувной бестии в помощники вернее было бы звать черта.

Путь Державина лежал в деревушку Шафгаузен. Это наименование дано было ей немцами-колонистами, расселившимися в Поволжье еще с петровских времен. Среди них, как и среди русских крестьян, Гаврила завербовал осведомителей, исправно доносивших ему, как о настроениях в своей среде, так и о доходивших слухах о действиях самозванца. Самым надежным человеком был окружной комиссар Иван Давыдович Вильгельми. С этим почтенным, основательным немцем, уже не молодых лет, но не утратившим сил, у Державина сразу сложились отношения самые приятные, и именно к нему направился Гаврила после аудиенции у Бибикова.

Дорогой немало размышлял он о словах Серебрякова. Во многом прав был бывший шулер. Не от хорошей жизни поднимаются мужики за разбойником и из мирных землепашцев сами оборачиваются разбойниками. Вспомнил Державин, как подъезжая инкогнито к Симбирску пытался из путанных рассказов возниц и встречных мужиков, разобрать, кто же все-

таки верховодит в городе: разбойники или правительственные войска? Мужики говорили лишь, что грабят... Лишь из описаний «грабителей», у которых наличествовали штыки, сделалось ясно — город остался в руках законной власти. У мятежников штыков не было. Но ведь, черт побери, и язык не повернется называть словом «законная» власть, лихоимствующую так, что лишь по штыкам возможно было отличить ее от разбойников! Когда бы воистину закон стал править, когда бы не было утеснения бедным, может, и не расцвела бы столь пышно пугачевщина.

В сущности, и на себе познал Гаврила беду сию. И сам он в Москве сбился на темную стезю, ища, как вырваться из той черной шкуры, в которую зашила его судьба. Он пытал судьбу за карточным столом, а безграмотные мужики пытали ее же, схватясь за топоры... А под эти топоры сколько невинных голов попало! Собственная мать Державина и та была с другими казанскими дворянами в плен захвачена и с петлей на шее принуждена каяться перед самозванцем! Она-то, столько унижений от сильных мира за свою многотрудную жизнь вынесшая! Добро еще, что не признали супостаты, кто ее сын... Ведь голову охотящегося за ним поручика Пугачев оценил в десять тысяч! Когда бы собственное командование ценило также...

В Шафгаузен Гаврила прискакал ночью, стараясь остаться незамеченным. Лишнее внимание ни к чему в таком деле. От того и приехал Державин один. Войска с собой не возмешь, а лишние несколько душ казаков лишь обратят на себя внимание и тем могут навлечь беду. В случае же самой беды все равно не смогут противостоять превосходящему противнику. А то ведь и того хуже — переметнутся к нему. Раз уж было такое — целый отряд казачий переметнулся к «государю Петру Федоровичу», прихватив с собой кибитку с оружием.

Насилу ноги тогда унес Гаврила, несколько верст преследовали его разбойники и свои же казаки. Ан улыбнулась фортуна, выручила от смерти неминуемой!

Вильгельми уже поджидал гостя и тотчас усадил его к столу. После долгого пути добрый ужин неизменно кстати! А под кружку доброго вина и разговор идет добрее!

— Неспокойно у нас, Гаврила Романович. Иные из наших колонистов до Пугача подались, других проклятые киргизы в раззор ввели, иных и полонили, угнали в степь — жестоко мы от них бедствуем!

— Что же они сами нападают или же с разбойниками сообща?

— Покуда сами. Но во всякий миг могут соединиться они с Пугачевым, и тогда беды не миновать. С такой силой всю Волгу под сапог свой разбойник положит.

— А что же колонисты твои? Им-то Емелька к чему? Наши мужики, казаки — дело ясное, но вы, немцы? На кой ляд вам этот мужицкий царек-самозванец?

— Немцы, как и русские, разные, — ответил Иван Давыдович. Говорил он всегда с расстановкой, немного медленно, словно щупая языком так и не ставшие родными русские слова. — Есть немцы трудолюбивые, исправные. И они свое хозяйство не променяют ни на какую разбойничью волю. А есть... — Вильгельми сделал неопределенное движение рукой, но не нашел слова и продолжил: — Труд для них в тягость, хозяйство в раззоре... Вот, такие и бегут к Пугачеву за жизнью легкой и веселой.

— За сказкой, стало быть... — хмуро произнес Державин. — Скажи-ка, пожалуйста, такие разные народы, а сказка у всех одна: как бы ближнего зарезать и имение его прогулять весело... Вот и вся сказка...

В этот момент снаружи послышался шорох. Вильгельми вздрогнул, а Гаврила проворно выхватил

пистолет. Иван Давыдович шагнул к двери, окрикнул громко:

— Есть здесь кто?

И впрямь не послышалось комиссару и его гостю — стоял на пороге комиссаров егерь, вымокший под дождем и смертельно бледный.

— Пугачевские шайки окрест рыскают! — доложил он, тяжело дыша. — Кажется, кто-то донес им на вашего гостя!

Державин вскочил из-за стола:

— Надо уходить! Иначе нагрянут сюда — тогда и тебе, Иван Давыдыч, головы не сносить!

— Уходите меж дворов к лесу, на выездах в деревню они наверняка вас уже ждут, — посоветовал егерь. — Хотите, я провожу вас?

Немец был еще молод, круглолиц, крепок. Но глаза его смотрели испуганно, а зубы то и дело постукивали не то от холода, не то от страха.

— Не стоит, — Гаврила хлопнул егеря по плечу. — Сюда дорогу нашел сам, значит, и обратно сам выберусь. А тебе твоя голова еще пригодится!

С этими словами он окунулся в промозглую ночную тьму. Вильгельми выбежал следом:

— Пойдите, — шепнул он, — я дам вам свежего коня! Ваш еще не успел остыть с дороги, а обратный путь может оказаться жарким!

Бросив мудрому немцу кошелек с деньгами, Державин вскочил на его коня и по указанной Иваном Давыдовичем тропинке, вихлявшей меж строгих немецких домиков, устремился к лесу. Когда деревня осталась позади, он пришпорил своего скакуна и помчался галопом. Непроглядной выдалась ночь, ни единой звездочки не освещало мрачного неба. Дождь хлестал в лицо, до последней нитки вымочил одежду. Но холода Гаврила не чувствовал. Он едва отъехал от Шафгаузена, как услышал за спиной выстрел. Попасть в

цель в таком мороке было едва ли возможным, а, вот, загнать травимого зверя, настигнуть его на пустынной лесной дороге — можно вполне, если удача будет. И на чьей-то стороне сыграешь ты ныне, своенравная фортуна? Вновь пришпорил поручик коня:

— Давай, дружище! На тебя надежда теперь!

Впереди полыхнул факел. Ах ты, бесово отродье! По всем правилам дичь обложили! Даже дозорных на дороге выставили!

Как ни темно было, а в факельном свете разглядел Державин вскинутое навстреч ему ружье. И не дожидаясь выстрела, тотчас разрядил свой пистолет в первого дозорного, второго же на полном ходу успел огорчить ударом шпаги.

И снова продолжалась погоня, разбойничий свист неся сзади, и подчас казалось, что раздается он уже совсем рядом, прямо над ухом. Громыкнуло и несколько выстрелов, наугад пытались разбойники поразить проворного беглеца. Ах, только бы утро замешкалось! Иначе пропадай, поручик! При свете дня уж точно не промахнутся охотники!

А рассвет близился. Чувствуя это, Гаврила повернул коня в лес. Затаившись в черноте его, он не видел, а только слышал топот промчавшихся мимо коней и ругань всадников. Когда все затихло, поручик жадно глотнул дождевой воды, отер лицо.

— Сказал бы, что фортуна сегодня к нам благосклонна, — обратился он к коню, — но повременю. Как говорится, не говори «гоп», не перемахнув канавы... Теперь бы не напороться нам на наших приятелей вновь.

Возвращаться на дорогу было опасно, и ничего не оставалось Державину, как медленно пробираться вперед сквозь лесную заросль. Вот, она «прелесть» смуты в сравнении с обычной войной! На войне есть свои позиции и неприятельские, и всегда ясно, кто друг,

а кто враг. Не то смута! Здесь нет позиций и никогда неясно, где друзья, а где враги. Враги могут быть везде — впереди, позади, по флангам. В каждой деревне, где вечера ты ел хлеб-соль. Врагом может оказаться любой, вплоть до собственных боевых соратников, до самых доверенных людей. А потому ни в какой миг нельзя пребывать в спокойе...

А фортуна в ту ночь все-таки была на его стороне. Это Державин почувствовал в полной мере, когда, достигнув Бугульмы, повалился на постель в жарко натопленной комнате. Все-таки есть на свете удача! Вот, только является она не там, где ты расставляешь на нее силки, а там, где самой ей взбредет в голову. И величайшим неблагоприятным невежей будет тот, кто скажет, что явления сии выходят не ко времени!

Серебряков свое слово сдержал. Довольно скоро к Державину явился его сын, Захарка, с депешей от отца. Писал прежний шулер довольно грамотно и ровно — не пропала даром староверская наука! Сообщал Ванька, что стоит Пугач со своим скопищем на реке Узень, и теперь самое время взять супостата. Так и загорелось сердце от этого известия! Вот она — карта заветная! Теперь только бы не упустить, и тогда... Тогда-то уж не придется несчастной матери лить слезы о разоренных пугачевцами деревеньках своих, о том, что лишилась она через разбойников последнего достояния. Хоть под конец дней поживет она, настрадавшаяся, в достатке и неге, видя первенца своего в чинах и почете...

Отряд для поиска и поимки самозванца Гаврила собрал быстро: костяк из надежных офицеров, казаки и крестьянское ополчение, набранное по деревням. Хотя от казаков и мужиков всегда можно измены ждать, хоть бы и дюжину раз ко кресту приложились, но что ж поделывать, коли больше воевать некем? По обе стороны

одни и те же казаки и крестьяне, и те, и другие могут в любой момент предаться другой стороне. Смута!

Путь отряда должен был проходить через деревню Малыковку, где не раз бывал Державин, и даже стоял штабом. Штаб тот местные мужички поджигали дважды. В один из своих приездов угодил Гаврила аккурат к зачинавшемуся бунту — собрался народ у церкви вместо попа горлопанов-подстрекателей слушать. Уже закипали страсти! Державин, хотя было с ним лишь два казака, не стал посылать за подмогой, но устремился в самую гущу толпы и тотчас велел повесить смутьянов. Смутьянов повесили, толпа угрюмо разошлась, не успев вкусить крови и опьянеть от нее.

Теперь же, не доезжая до Малыковки, остановил отряд никто иной, как Серебряков:

— Гаврила Романыч, мятеж в Малыковке! Какая-то пугачевская шайка ворвалась туда и бесчинствует! — выдохнул.

Почему-то лишь теперь заметил Державин, что старый знакомец его уже сед, как лунь, и подумал, что этому королю макао и штоса пора бы лежать на печи да читать внукам Писание, а не играть в куда более опасные, нежели прежние, игры... И зачем ему эта охота за самозванцем? Верно ли жаждет великой награды, чтобы по иному кругу жизнь завертелась? Или просто пьянит азарт беспокойную душу?

— Тишина-казначея убили! — продолжал, меж тем, торопливой скороговоркой Серебряков.

— Что?! — побагровел Гаврила. — Да ведь я велел ему от греха уехать прочь из деревни с бабой и детьми!

— Он было и уехал, — пожал костлявыми, присутуленными плечами Ванька. — На остров. Чуть ниже по Волге. Посидел там какое-то время, а затем, видать, счел, что зазря ты страху нагнал. Он и допреж всегда бранился, что тебе лишь бы страх нагонять и, прости, перед начальством выслужиться!

Скверный характер был у казначея, что и говорить! Иноредь так и просто прибить хотелось строптивца, не желавшего слушать заезжего поручика. Достроптивился...

— Уж так масть ему скверно легла, что вернулся он прямо в тот день, что шайка пугачевцев в деревню на свадебное гульбище нагрнула. Только и успел из лодки вылезть, как указали на него. Что тут началось, Гаврила Романыч!.. Бабу его у врат церковных разбойники насильничали, самого избили до полусмерти. А детишек... Головы им всем размозжили, детишкам-то... А затем уж только повесили отца и мать ополоумевшую.

Передернуло Державина от этого рассказа. Жестокость жестокостью, но, чтобы детям невинным головы разбивать, это уж лютыми зверями быть надо. Даже жилы вздулись на шее от ярости. Тишин-то, Тишин! Мудрым человеком считал себя! Все семейство загубил! И почто?! Из одной только глупой строптивости, желания доказать, что он лучше понимает положение, чем столичный поручик!

На ходу менялась диспозиция. Теперь, прежде чем в дальнейший поход двигаться, должно было очистить от крамолы Малыковку и примерно покарать всех злодеев и их приспешников.

В пьяную от крови и самогона деревню державинский отряд налетом вошел и тотчас принялся хватать всех без разбору. Тела несчастных Тишиных, нагие и изувеченные, еще висели неподалеку от церкви, кресты которой не остановили забывших Бога бывших людей, обратившихся злейшими бесами.

Гаврила не сразу приказал снять убитых, но прежде у эшафота их произвел следствие, выгнав, кто именно совершил злодейство. Пугачевцы, как оказалось, успели покинуть Малыковку. Но их наиболее ярых приверженцев, ставших «дружинниками Государя

Петра Федоровича» перепуганные односельчане выдали тотчас. Лишь после этого Державин велел снять с виселицы тела казначея и его жены с тем, чтобы заменить их телами их мучителей.

Казнь была назначена на другое утро. Всем жителям, включая женщин, было приказано выйти на лежащую близ самого села Соколову гору. Здесь, задом к берегу Волги, водружена была заряженная пушка, при которой находились 20 фузелеров. Гусарам своего отряда Державин приказал с обнаженными саблями разъезжать около Малыковки и всех, кто попытается бежать, рубить нещадно. Злодеев, облаченных в саваны, гнали к месту казни через все село в сопровождении семи попов из семи церквей, при зажженных свечах и колокольном звоне.

Не только Серебряков хорошо знал народную душу. Изучил ее и Гаврила. Душу эту можно соблазнить сказкой, но и утратить — ею же. Не обычной будничной казнью, к крови и расправам успели попривыкнуть в здешних краях, но зрелищем, которое бы навсегда врезалось в память, потрясло бы души. И совсем не обязательно, чтобы потрясение то было от некой бессмысленной, превосходной жестокости. Потрясти может и поставленная, как на театре, трагедия...

Несколько тысяч человек наблюдали за казнью. Во все время этого грозного действия в воздухе царила звенящая тишина, нарушенная лишь чтением приговора.

Когда злодеи были вздернуты наступила очередь их соучастников. Таковых набралось двести душ. Их Державин приказал высечь плетью. Экзекуцию должны были провести такие же обвиненные в измене малыковцы. Сам же он расхаживал между ними, повторяя:

— Помните же впредь, что нет у вас иной Государыни, нежели та, которой все мы присягали! И ей вы обязаны верностью!

Многотысячная толпа стояла на коленях и, заламывая руки, завывала:

— Прости, батюшка! Виноваты! Рады служить Государыне верою и правдою!

Так прошел день, а на другой явилось к подпоручику сразу два гонца, и оба с вестями печальными. Первый известил, что генерал Мансуров, опередив Державина, достиг Яицкого городка и взял его, однако, Пугачеву удалось уйти. Смешенное чувство овладело Гаврилой при чтении этой депеши. С одной стороны, горько, что самозванец вновь ускользнул, а с другой... С другой оставалась надежда поймать его не кому-нибудь, а именно ему, поручику Державину!

— Серебряков!

— Что изволишь, Гаврила Романович?

— Отправляйся-ка ты, брат, теперь к Мансурову. Отвезешь от меня ответное письмо, а заодно поосмотришься, авось, на след Емельки нападешь иных прежде.

Знакомая щербатая ухмылка расплылась по лицу старого плута, закосил больше обыкновенного левый глаз:

— Не кручинься, Гаврила Романыч, сыщем мы сего собачьего сына! Есть у меня в его шайке свои люди! А сам ты что же? Назад теперь или все же на Узень?

— Не туда и не туда, — покачал головой Державин и, кивнув на вторую депешу, пояснил: — Иное мне дело, брат, наклюнулось.

— Прибыльное или суетное?

— Как карта ляжет...

Вторая депеша была от Вильгельми. Киргизы совершили очередной набег на колонистов, угнали в степи большой полон в несколько сотен человек и даже

патера Губера. Умолял Иван Давыдович защитить своих соплеменников от этих варварских посягательств. И то сказать, не дело, чтобы обнаглевшие кочевники, как во времена Батыя, полоны в сотни душ угоняли! К тому пора отогнать их прочь, чтобы не нависала впредь угроза их соития с пугачевцами. Раз Пугача схватить не легла карта, так хоть к какой-то пользе обратить начатый поход!

— Ну, помогай тебе Бог, Гаврила Романыч!

— И тебе!

Тем же днем отправился Серебряков с Захаркой к Мансурову, а Державин на другое утро, пополнив свой отряд малыковцами, коих в доказательство своей верности и во искупление вины набралось целых семь сотен, отправился в киргиз-кайсацкие степи выручать бедолаг-колонистов.

Становище кочевников по донесениям лазутчиков находилось в верховьях Малого Кармана, и было их до тысячи душ при почти таком же количестве пленных. Ругнув крепким словом колонистов, которые при такой-то пропорции не могли порядком постоять за себя, Гаврила принялся наспех прикидывать диспозицию. Доселе не приводилось петербургскому поручику военные операции планировать, в бою-то впервые побывать довелось совсем недавно — под Самарою. Но война — учитель суровый и требует от своих пестуемых мгновенного усвоения уроков. Иначе — голова с плеч.

Разделив свой отряд надвое, Державин атаковал киргизов с двух сторон. Не ожидавшие нападения кочевники мирно готовились к трапезе, водрузив на огонь походные котлы с мясным варевом. Они переполошились, уже завидев столбы пыли, поднятые гусарскими конями. Когда же гроыхнула — покамест только для острастки, Гаврила опасался повредить пленникам — пушка, так и вовсе отчаянный вопль поднялся над становищем. Киргизы решили, что

царское войско, наконец, вознамерилось расправиться с ними.

Во мгновение ока повскакивали степные разбойники на своих маленьких, легких лошадемок и припустились наутек. Лишь малая часть их явила воинский дух и приняла бой. В итоге 48 кочевников были убиты, а шестеро взяты в плен. Даже подраться порядочно не вышло! Еще более крепким словом приложил поручик колонистов — вот же тетери! Эдаких трусливых собак сами отогнать не могли! А к нему — со слезами, с поклонами — уже шел смертельно перепуганный патер Грубер. Вид этого измученного, заикающегося от благодарных рыданий старика воистину внушал жалость, и сердце Гаврилы смягчилось.

Что ж, теперь будет видеть немчура, кого им держаться след. Будет видеть, что стоит на страже их Государство Российское. И, авось, впредь не станут с самозванцем шашней разводить... Хоть и почти без драки виктория досталось, ан не умоляет то ни ее, ни заслуги державинской! Как-никак свыше 800 христианских душ к домам своим вернутся, а к тому и скот их и имущество. Дабы впредь обезопасить немцев от непрошенных вторжений, Державин учредил в колониях посты и разъезды из добровольцев.

Обо всем походе и итогах его подпоручик рапортовал по начальству, представив, как следовало, к наградам наиболее отличившихся смельчаков. Когда бы еще самого кто к заслуженным наградам представил... Бибиков-благодетель в аттестации Гавриле два слова, как заправский девиз, вывел: «Бдительен и смел!» Но за бдительность ту и смелость покамест лишь чином поручика удостоили...

На обратном пути из киргизских степей достигло Гаврилу письмо нового охотника за Пугачевым, по случаю победы над Турцией переброшенного с Дуная, где прославился он изумительными подвигами, на

Волгу, где подвиги лишь ожидали его: «О усердии к службе Ея Императорского величества вашего благородия я уже много известен; то же и о последнем от вас разбитии Киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачева от Карамана; по возможности и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений. Я ныне при деташаменте графа Меллина следую к Узеням на речке Таргуне, до вершин его верст с 60-ть, оттуда до 1 Узеня верст с 40. Деташамент полковника Михельсона за мною сутках в двух. Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь. Иргиз важен, но как тут следует от Сосновки его сиятельство князь Голицын, то от Узеней не учиню ли или прикажу учинить подвиг к Яицкому городку. Александр Суворов».

Нет более капризной и своенравной дамы, нежели фортуна! А иной раз эта дама и вовсе легким поведением отличается — льнет к сильным мира, а остальных, сколь бы не усердовали, не примечает.

Пугачева из рук связавших его собственных приспешников принял Суворов. Но главная слава досталась не ему даже, а родичу Потемкина, фаворита Государыни, да брату Панина, человека, помогавшего ей взойти на престол. Бибиков к тому времени отдал Богу душу в Богом забытой Богульме. Казалось, что уже и вспомнить будет некому о каком-то поручике Державине! Тем паче, что успел он и нажать себе недоброжелателя в панинском брате, и разочаровать потемкинского кузена — тот, видите ли, считал, что предприимчивый офицер для особых поручений сможет добыть ему Пугачева, которого Суворов уже вез Панину, с тем, чтобы именно он, Павел Потемкин преподнес связанного бунтовщика Императрице!

Так и возвратился Гаврила Романович в столицу, выслужив чин поручика и едва не преставившись от тяжкой хвори, свалившей его на долгие недели по одолении мятежа.

Впрочем, как знать, может, это и была улыбка фортуны? В том, что остался он жить на этом свете... Ни болезнь не взяла его, ни разбойничьи засады. Вот, от бедняги Серебрякова отвернулась она бесповоротно: по дороге к Мансурову схватили его бунтовщики да и повесили вместе с сыном. Державин потом тех злодеев разыскал. Отплатил им сторицей за смерть своего лазутчика...

Как ни тяжело приходилось на Волге, а в столице по первости не слаще пришлось. Сперва огорчило известие

от матери: за разоренное имение вместо положенных 25 тысяч получила она лишь семь, и на них никак нельзя было поправить положения. А затем сам показал себя первостатейным болваном: дернул черт поручиться за приятеля, поручика Маслова! А тот, каналья, сбежал, оставив на шее поручителя долг в 40 тысяч! Когда на шею твою уже надета петля, терять оказывается нечего. Тут лишь одно остается — играть ва-банк! И Державин сыграл, впервые с московского грехопадения вернувшись за карточный стол. И в этот раз фортуна благоволила отчаянному поручику — долг был погашен полностью.

Нет, все же не стоит пенять на судьбу. Ведь пока бьется сердце, пока не ослабели разум и силы, на извилистом пути под названием жизнь куда как много может быть поворотов! И кто знает, не кроется ли за одним из них... счастье? Главное, не упустить тот поворот и узнать то счастье!

Первым поворотом стала долгожданная и запоздавшая награда за Пугача. Обязан ею был Державин Григорию Потемкину. Всесильный фаворит, ставший командиром Преображенцев, несмотря на изветы своего заместителя Толстого, в котором Гаврила Романович также успел нажать недоброжелателя через эпиграмму, перевел его на статскую службу в чине коллежского советника, равного полковничьему, с наделением трехстами душами в Белоруссии. Новая стезя открылась Державину. Статская служба, служение музам...

Все, что писал он в юности, было утрачено при побеге из Москвы. В России в ту пору бушевала холера, и караульные на пути в столицу ни за что не желали пропускать задержавшегося в отпуске офицера сквозь карантин. У Державина же не было ни полушки, чтобы пересидеть где-то карантинное время. Равно как и на то, чтобы умиловить стражу. Пришлось унижаться,

умолять сжалиться над бедственным положением нищего гвардейца и позволить ему вернуться в полк. Отчаянность положения придало убедительности, караульные разрешили проезд при условии уничтожения всех вещей, могших быть источником заразы... Так и пропал в огне сундук с последними пожитками и первыми серьезными виршами... Словно вся московская безумная жизнь сгорела в карающем пламени!

С той поры, однако, немало было написано нового, лучшего. И на это лучшее возлагал Гаврила Романович немалые надежды. Надежды внушало и новое поприще. Избирая его, Державин решил искать покровительства одного из самых могущественных людей Империи — генерал-прокурора Вяземского. Общие знакомые ввели его в дом вельможи, дальнейшее же оказалось проще, чем сам он мог ожидать. Супруга генерал-прокурора была большой любительницей поэзии и радостно ухватилась за возможность иметь в доме «своего поэта», который украшал бы ее вечера, развлекая гостей остроумной беседой и прелестными виршами. Сам же князь Александр Александрович питал слабость к картам и нашел себе в лице нового знакомого достойного партнера для коммерческих игр «по маленькой». В отличие от жены Вяземский слабо разбирался в изысках литературы, но любил послушать чтение стихов, а иногда и вздремнуть под оное... Вирши же, воспевавшие Александра Александровича и Елену Никитичну, ожидаемо растрогали обоих.

В конце концов, сделавшись своим человеком в доме, Державин запросто попросил о назначении себя на освободившееся место сенатского экзекутора. Генерал-прокурор просьбу уважил.

— Фортуне, брат Иван, тоже женщина! И преноровистая! Ее сперва укротить надо, а затем умаслить. Я, вот, и за карточным столом теперь не тот,

что прежде. Рассудком играю, а не страстью! — эти сентенции излагал Гаврила Романович своему другу Кувшинникову, также служившему теперь по статской части. Слова его иногда тонули в громе музыки, а вокруг кружил, веселился, шутил, лукаво глядя из-под затейливых личин — маскарад! Державин любил маскарады. В отличие от чопорных балов они позволяли чувствовать себя свободно — ведь под масками все чины становились равны. Или же почти все...

Иван Федорович отпил шампанского и улыбнулся — улыбка его по-прежнему отличалась почти женственной нежностью, она оставалась такой, даже когда он шутил:

— Сдается мне, брат Гаврила, что ты на себя клеветешь теперь!

— Отчего же?

— От того, мой друг, что зачем же столь рассудительный и умудренный жизнью человек, каким ты ныне представляешься, отказался от блестящей партии в лице княжны Урусовой? Сиятельная княжна! Родня Вяземским! С приданным изрядным! И собой не урод, и стишки пописывает... Чего тебе еще надо было?

— То-то, что стишки пописывает, — усмехнулся Державин. — Она будет писать, я буду писать. Этак и щей сварить некому окажется!

— А ведь княгиня Елена Никитична могла и прогневаться на тебя за обиду родственнице!

— По счастью, они обе не обделены мудростью и не оскорбились за мое невежество.

— Вот, и мудростью не обделена! Не женщина, а собрание достоинств! А ты — в отказ! И после сего-то ты рассудительный человек? Отказался от такой жены! Поставил на карту дружбу со своими благодетелями! И ради чего?

Гаврила Романович разом забыл тон рассудительного человека и воскликнул горячо:

— Как ради чего?! Ради любви, конечно!

— Так ты отверг княжну из-за любви к другой женщине?

— Нет, не так... — покачал головой Державин. — Но я же знал, что где-то есть — моя женщина. Та, которую я люблю. Та, ради которой... — он помолчал и так и не окончил фразы. — Друг мой Иван Федорович, если есть счастье в жизни, то оно не в барышах, не в чинах, хотя они и тешут нас, и пьянят, заставляя терять человеческий облик. Счастье в том, чтобы рядом была родная душа. А не случайная... Я много раз падал, ты знаешь. Проигрывался до исподнего, плутовал, льстил и заискивал... — Державин досадливо махнул рукой. — Но брать жену из коммерческих побуждений я не желаю!

— Однако, другие берут!

— Вижу я, как живут те другие... Для себя я желал бы иной жизни!

Кувшинников весело рассмеялся:

— Воистину, мы любим порочность в чужих женах, но в своих ищем обрести высшую добродетель! Выпьем, друг мой, чтобы ты нашел таковую!

Державин чокнулся бокалом с другом и тихо отозвался:

— Уже нашел. И сегодня, Ваня, ты ее увидишь.

Иван Федорович с любопытством посмотрел на друга:

— Да, брат, умеешь ты удивлять!

К сорока годам душе хочется домашнего уюта, чего-то почти пасторального, патриархального... Мимолетная любовь веселых красавиц уже не горячит кровь, как бывало прежде. Хочется совсем иного. Чистоты, доброты, нежности... И при мысли о счастье вчерашнему повесе и моту, видевшему его ранее в удачно легшей карте, в зрелости является оно совсем в ином облики: уютный дом, мирный семейный ужин у очага, кроткая, милая, заботливая жена и непоседливые

ребятишки. В юности над таким сиропом принято потешаться. Что ж, всякой мечте свое время.

— Вот она! — от этого восклицания, похожего на рев, некоторые стоявшие поблизости дамы вздрогнули и недоуменно оглянулись, а Кувшинников, с силой схваченный за локоть, поперхнулся шампанским.

В залу вошла тонкая, легкая девушка с большими, угольно черными глазами и нежным румянцем на нетронутых пудрой щеках. Девушка на мгновение остановила взгляд на Гавриле Романовиче, но тотчас отвела его и покраснела. Эта застенчивость приводила Державина в восторг! В Петербурге да и в Москве стыдливость уже нечасто можно было встретить в девице, а паче — в женщине...

— И кто сие прекрасное создание? — осведомился Кувшинников, следя взглядом за парящей меж фигур девушкой.

— Ее зовут Екатериной Яковлевной Бастидоновой! — умиленно ответил Державин. — И она будет моей женой!

— Совет да любовь, — улыбнулся Иван Федорович. — А все же, Ганя, до рассудительности тебе куда как далеко еще. И слава Богу! Иначе ты перестал бы быть поэтом...

Державин уже не слушал друга, весь поглощенный созерцанием предмета своего обожания. В этот вечер руки их впервые соприкоснулись, а глаза посмотрели в глаза, когда Гаврила Романович набрался решимости пригласить девушку на танец. Екатерина Яковлевна приметно робела и почти не поднимала глаз на своего кавалера. Чистое, неиспорченное дитя! — в сердечном умилении думал тот, не сводя с нее взгляда...

На другой день за обедом у Вяземских князь Александр Александрович с лукавым прищуром обратился к своему подчиненному:

— Ну, и что за красавица тебя так скоропостижно пленила?

— Ее зовут Екатерина Бастидонова, — честно ответил Державин, на миг скосив взгляд на Елену Никитичну — как-то отнесется после истории с Урусовой? Но княгиня сохраняла видимое благодушие.

— Полно, братец, нехорошо шутить насчет честного семейства! — нахмурился бывший тут же правитель ассигнационного банка Кирилов. — Сей дом мне коротко знаком; покойный отец девушки мне был друг. Не позволю шутить насчет нее!

— А я не шучу! — вспыхнул Державин. — Я поистине смертельно влюблен и намерен свататься!

За столом на короткое время повисла тишина. Гости переглядывались, с любопытством смотрели на вдруг явившегося жениха. Наконец, Кирилов отер губы и пальцы салфеткой и сказал:

— Коли так, то готов быть тебе сватом. Готов ли вечером ехать со мною к Бастидоновым?

— Хоть сей же миг готов!

Сухие губы свата тронула удовлетворенная улыбка.

Вечера Гаврила Романович насилу дождался. Переступая заветный порог, он волновался больше, чем когда решалась судьба за карточным столом, чем когда странствовал по охваченным мятежом деревням, рискуя всякий миг нарваться на засаду. Теперь решалось счастье всей его жизни!

Семейство португальца Бастидона жило по его смерти весьма небогато. За чаем гостям прислуживала босая девка, иных же слуг Гаврила Романович не заметил. Сама Екатерина Яковлевна весь вечер сидела в углу и вязала чулок, лишь изредка вмешиваясь в общую беседу. Со вдовой Бастидоновой, Матреной Дмитриевной, разговаривал Кирилов, постаравшийся, как мог, расхвалить жениха. Заручась ее

благосклонностью, сват обратной дорогой обнадежил Державина:

— Считай, дело слажено! Сам не отступишь ли?

— Ни за что не отступлю! В ней — счастье мое!

Кирилов одобрительно кивнул:

— Катерина — девица славная и женой будет доброй.

Несмотря на удачное сватовство, на душе Гаврилы Романовича лежала тягость. Он еще толком не обмолвился словом со своей нареченной! Ее уже почти просватали за него, не спросясь даже, что сама она думает о будущем муже. Будто бы в позапрошлом веке! Нет, не годится так. Счастье не фортуна, его укрощением не возьмешь. А жена не вещь на базаре — сторговался и взял понравившуюся. А что если?.. Точно жаром опалило от мысли: что если не люб он окажется Екатерине Яковлевне? Сказал «ни за что не отступлю», а коли она-то не пожелает его в мужья? Что же неволить ее тогда? А на неволе, на принуждении может ли счастье быть?

Всю ночь провел Державин без сна от этих мыслей, а поутру помчался к Бастидоновым. Дверь ему отворила уже знакомая босая девка, взглянувшая на него с удивлением.

— Позови мне сейчас Екатерину Яковлевну! — потребовал Гаврила Романович.

Девка смерила его еще более изумленным взглядом, но противоречить не стала, а, проведя визитера в гостиную, молча удалилась. Через некоторое время в комнату вошла смущенная и также удивленная нежданным визитом Екатерина Яковлевна. Державин почтительно поклонился ей:

— Я прошу великодушно простить мне это дерзкое вторжение, но я... должен был увидеть вас! Должен был говорить с вами!

— Я слушаю вас, сударь, — тихо откликнулась девушка.

— Вы, должно быть, знаете причину моего вчерашнего визита?

— Матушка мне сказывала...

— Что она думает?

— От нее зависит, — Екатерина Яковлевна отвечала робко и не поднимала глаз, и от того Гаврила Романович не мог прочесть в ее взгляде, что думала и чувствовала она. Оставалось задать прямой вопрос:

— Но если бы от вас, могу ли я надеяться?..

Вспыхнули на мгновение из-под ресниц черные угли, зарделись маками нежные щеки.

— Вы мне не противны... — прозвучал показавшийся дивной мелодией голос.

Услышав этот ответ, Державин упал перед своей избранницей на колени и с жаром приник к ее мягкой руке. Рука дрогнула, но не была отдернута. Гаврила Романович почувствовал себя на вершине блаженства: ему удалось поймать не шаловливую изменницу-фортуну, но гораздо, гораздо большее — счастье!

Ветреная удача может изменить, добродетельное счастье к изменам не склонно. Но оно может просто уйти. Уйти навсегда... «КД» — машинально чертила рука вилкой по пустой тарелке.

— Ганюшка, очнись! Ганюшка, что ты там делаешь?

— Ничего, матушка, ничего... — встрепенулся Гаврила Романович, зачеркивая дорогие инициалы, точно боясь, что Дарья Алексеевна прочтет их. Будто бы не знала она, что непроизвольно чертит его рука, чей образ время от времени встает перед его мысленным взором. Она стала хозяйкой его дома, но хозяйкой сердца стать не могла. У сердца была в этой жизни лишь одна властительница...

Когда-то Катенька пыталась найти хорошую партию для своей юной родственницы — Даши Дьяковой. Даша в ответ смеялась звонко:

— А вы найдите мне такого мужа, как Гаврила Романыч, тогда уж я не откажу!

Кто бы мог подумать, что пророческой та шутка окажется!

Впрочем, для Даши это и не было шуткою. Она и впрямь любила его... И когда через полгода после смерти Кати, чтобы не обезуметь от одиночества, Державин посватался к ней, она приняла это предложение, зная, что навсегда останется лишь тенью... Эта девочка, рядом с которой он был уже почти стариком, имела твердый характер и ясный ум. В ней не было легкости, нежности, ранимости Кати. От того все дела по дому взяла она на себя, от того боялись ее слуги. Светского блеска, приемов Даша чуралась. Ее делом был — дом. Его дом. И он сам. Вся ее жизнь была посвящена заботе о нем, любовному служению ему. И

он был сердечно благодарен ей за это. А ведь, должно быть, не так просто было этой умной, властной женщине смириться с отведенной ей ролью, с вечной соперницей, незримое присутствие которой она обречена была чувствовать всегда...

Даша оказалась чудесной хозяйкой, и все-таки счастье ушло из этого дома безвозвратно. В него входили по-прежнему и радость, и веселье, и удача. Его двери были настежь открыты всем друзьям и просто заходим посетителям, которые могли пройти в кабинет хозяина без доклада и не чинясь. Но счастье ушло из этих гостеприимных стен. Его, быть может, могли вернуть дети, но их так и не дал Бог. Лишь многочисленные племянники и племянницы наполняли дом своим смехом. Племянники и племянницы Дарьи Алексеевны...

— Барин, к вам господин просится, — доложил лакей, войдя в столовую.

— Так пусть же немедля идет к столу! — распорядился хлебосольный хозяин, не осведомясь даже, кого привела к нему нужда в поздний час.

А привела она соседа по Белорусским вотчинам — помещика Павла Михайловича Гурко.

— Помилуй Бог, Павел Михайлович! — Державин радушно устремился навстречу гостю и заключил его в объятия. — Какими судьбами? Вот уж не ждал тебя видеть в Петербурге!

Гурко был прямо с дороги, устал и пропылен, и уже по виду его, по встревоженному лицу угадалось: не к теще на блины приехал соседка.

— Дело-то у меня до тебя не из радостных, Гаврила Романович, и пресрочное, ехал к тебе почти без остановок, все бока изломал.

Потому как гость беспокойно взглянул на Дарью Алексеевну и ее племянниц, Державин понял, что предстоящий разговор не для дамских ушей.

— Дашенька, ангел мой, вели подать нам ужин в кабинет, да комнату приготовить Павлу Михайловичу, да ванную ему с дороги!

Распорядившись таким образом, Гаврила Романович увел Гурко в кабинет, где тотчас предложил ему стопку водки:

— С дороги — первое дело!

Павел Михайлович стопку с удовольствием опрокинул и, довольно выдохнув, расположился на хозяйском диване.

— Вот, Гаврила Романыч, — сказал он, протягивая Державину распечатанное письмо, — читай, что изверги супротив тебя удумали. По всем кагалам в свете наложили они на тебя херем, как на своего гонителя!

— Я, Павел Михайлович, христианин и жидовских проклятий не опасюсь.

Значение слова «херем» Державину было хорошо известно. Это самое страшное проклятие налагалось иудеями на своих отступников, а также на наиболее опасных врагов еврейского племени. Считалось, что проклятый был обречен тем скорой смерти. Для тех, кто верит в это, может, так и есть. Но Гаврила Романович верил в иное: в то, что его жизнь будет взята у него Творцом лишь тогда, когда придет тому час, и никто, включая его самого, не способен и мгновения прибавить к установленным Жизнодавцем срокам...

— Но есть и иное. Жиды собрали миллион рублей и послали в Петербург своему поверенному, коему письмом сим вменено в обязанность приложить всевозможное старание о смещении тебя с должности, а ежели возможно, то и покуситься на твою жизнь!

— Стало быть и сами они своему херему не верят, коли покушаться вознамерились, — усмехнулся Державин. — А, вот, миллион на взятки — это дело серьезное. Откуда у тебя сия депеша?

— Да нечаянно вышло... — неопределенно отозвался Гурко. — Люди мои с посыльным кагальским в одной корчме столкнулись да, вот, письмецо-то мне и доставили, что при нем было.

— Посыльный-то жив остался?

— Побойся Бога, Гаврила Романыч, мои люди не душегубы же какие с большой дороги!

— Ладно, Павел Михайлович, в моей благодарности ты можешь быть уверен, — кивнул Державин.

Подали ужин, за который гость принялся с большим аппетитом. Гаврила же Романович лишь пригублял его, будучи сыт и занят своими мыслями.

Так уж легла карта, что поручик, некогда отличившийся поисками в поволжских краях, достигнув преклонных лет и чинов, принужден бы заняться делом весьма схожим уже в мирной жизни.

Сперва, впрочем, ничто не предвещало этого. Послужив под началом Вяземского и, наконец, рассорившись с ним, Гаврила Романович был поставлен губернатором — сначала в Олонецкую, а затем в Тамбовскую губернии. В обеих не удалось ему удержаться надолго. Насмотревшись в дни пугачевщины на гущу народной жизни и изведав несправедливости сам, Державин пришел к убеждению, что самым надежным средством супротив бунтов является искоренение лихоимства и просвещение народа. Потому в своих городах заводил он школы и училища, театры и газеты, богадельни, больницы, сиротские дома... А с другой стороны стремился нещадно истреблять всяческую неправду. И в Олонецке, и в Тамбове простые люди всегда могли прийти к губернатору с жалобой на притеснения, и никогда Гаврила Романович не оставлял их без внимания. Он лично проводил розыск и карал виновных. Вот, только у виновных подчас находились покровители, стоящие выше губернатора. Например, генерал-губернаторы...

Державин своим стремлением к установлению закона, своей неподкупностью грозил сокрушить годами отлаженные связи, мир, в котором рука мыла руку, в котором одни лихоимствовали, а другие покрывали то за мзду, и каждый имел свой барыш — за счет угнетения и разорения народа. Такой человек был поистине опасен! И на него тотчас посыпались доносы, жалобы и наветы. Чем, в сущности, так уж отличались свои чиновники от того же кагала? Разве что «херем» не накладывали...

От тех доносов отбился Гаврила Романович, в Петербурге знали цену и ему, и тем, кто пытался опорочить его. Правда, порочившие остались при своих местах и темных делишках, а Державин губернаторства лишился. Но иная должность ждала его — теперь уже проводил он розыски, будучи кабинет-секретарем самой Государыни, благоволившей к нему после оды «Фелица», сочиненной в ее честь.

Увы, и премудрая Фелица не стремилась искоренять беззаконий в тех случаях, когда учинялись они людьми влиятельными, дружбою которых дорожила она. Очень быстро дотошность и настойчивость секретаря, не желавшего прятать под сукно «неугодные» дела, но старавшегося в каждом дойти до сути, вывести виновных на чистую воду и оправдать невинных, стала Императрицу тяготить. Нередко между ними вспыхивали ссоры. Отличие просвещенной монархини от сатрапа на троне — с нею можно было спорить, и горячо. Подчас можно было и убедить в своей правоте. Но подчиненных, упрямо стоящих на своей правоте, не жалуют нигде... И норовистого секретаря отправили в Сенат.

Лишь при Государе Павле Петровиче вновь оказались востребованы служебные качества Державина. Новый «поиск» был поручен сенатору и тайному советнику в белорусских землях, которые

постиг жестокий голод. Картина, представшая глазам Гаврилы Романовича, была ужасна. Много повидал он в своей жизни бесправия и неправды, но страдание белорусского простонародья превосходили все прежде виденное, ибо сии несчастные томились под двойным гнетом: польских магнатов и евреев, которым те же магнаты ради барыша позволяли среди прочей коммерции заниматься винной торговлей. Ни те, ни другие не имели ни малейшего сожаления о крестьянах, помышляя лишь о собственном насыщении и для обогащения своего ни мгновения не задумываясь истощать подпавший их власти люд хоть бы и до самой смерти.

Помещики, отдавая на откуп евреям винную продажу в своих вотчинах, обязывали мужиков ничего ни у кого не покупать и не брать в долг, кроме как у этих откупщиков, завышавших втрое цены на свои товары. Также и продавать плоды трудов своих крестьянам разрешалось только откупщикам — разумеется, по цене заниженной. Измученным нуждой людям давали в рост деньги и иное потребное, взysкивая затем втрое. Так доводили поселян до нищеты, отнимая всякую возможность стать зажиточными и сытыми. Винной же торговле промышляло до 300 тысяч евреев из миллиона проживавших на землях Белоруссии. В каждом селении была устроена корчма, а то и несколько, и денно и нощно спаивался там лишенный даже мечты о лучшей доле народ. По собрании урожая в угаре пьяного веселья мужики спускали евреям все: сам урожай, имущество и даже урожай будущий, еще не посеянный. Евреи же, ездя по деревням в эту благодатную пору, спаивали крестьян целыми семействами, обсчитывали пьяных, похищали последнее нужное их пропитание...

Потрясенный увиденным, Гаврила Романович тут же разработал меры для искоренения пороков

крестьянской жизни. Согласно им, помещикам вменялось впредь держать виноторговлю исключительно под собственным присмотром, корчмы предлагалось сократить, евреям вовсе запретить продажу вина. Помещик также должен был ежегодно оставлять у себя и у крестьян своих в зерне запасного хлеба сколько нужно для прокормления. За нарушение этого порядка землевладельцы должны были караться конфискацией имений в казну.

Это, однако же, были меры, касаемые лишь одного вопроса. Державин же, увидя еврейскую кабалу, в которую попали белорусские крестьяне, понял, что беда эта куда глубже и опаснее, нежели отдельно взятый голод в отдельно взятой губернии. В века отдаленные, зря ту опасность, Владимир Мономах и Иван Грозный прозорливо выселяли евреев из русских пределов. Во дни недавние Императрица Елизавета воспретила впускать их в Россию, заявив, что не желает иметь выгод от врагов Христовых. Премудрая Фелица судила иначе... Возвращая западнорусские земли, веками томившиеся под польско-литовским владычеством, она не выселяла из них евреев, но оставляла их в тех же правах, какие были у них в Польше, и даже расширяла их. Евреи стали заселять земли Малороссии и Новороссии, иные проникали и вглубь Империи. Уже при Потемкине снабжением его армии занимался иудей Нота Ноткин.

Державин привык вникать во всякое дело, которым занимался, не ограничиваясь поверхностным взглядом и выводами. А потому со всем вниманием изучил и историю еврейского народа, и его положение и деятельность в границах Империи. Много помог ему один из редких просвещенных евреев — медик Илья Франк. Франк в своем обстоятельном письме разъяснил Гавриле Романовичу суть талмудических законов, обособляющих евреев от остальных народов и

внушающих им мечту о господстве над оными и глубокую ненависть ко всякой другой религии. Сплоченное, чрезвычайно организованное, обособленное от иных народов и прямо враждебное им, живущее по своему изуверскому закону и подчиненное власти кагала еврейское сообщество становилось государством в государстве, а это не могло не представлять угрозы для России, как и для всякой иной державы.

Чтобы обезопасить Империю от этой угрозы, Гаврила Романович считал необходимым подтвердить указ Елизаветы о запрете пускать евреев в Россию. Тех же, что уже оказались в ее пределах, коли так попустил Господь, не допускать в иные губернии и даже каторжных не ссылатъ в Сибирь, дабы там не развратили они сердца Империю. Кроме того надлежало, сколь возможно, сократить число евреев в сельской местности, защитив тем самым крестьян от постоянного разбоя, и запретить им заседать в ратушах и магистратах, дабы не могли они иметь власти над христианами.

Следовало, однако, помыслить, и о положении самих евреев, коль скоро стали они подданными России. Вслед за немногими просвещенными евреями Державин видел главное зло в кагале. Необходимо было разрушить кагальную систему, разрушить государство в государстве, ибо в Империю может быть лишь один закон. Не желающим подчиниться ему — разрешить выезд за границу. Евреям необходимо было просвещение, а также возможность зарабатывать свой хлеб так, чтобы не разорять тем русское население. Последнее было задачей непростой с учетом, что иудеи избегали тяжелого труда, зарабатывая себе на пропитание исключительно легкими промыслами и коммерцией.

Все это с опорой на факты и документы изложил Державин на многих страницах «Мнения об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и прочем», представленного Государю. Император Павел внимательно изучил обширный доклад, отозвался о нем с похвалой и велел дать ему сенатский ход.

Это повеление страхом отозвалась в кагале, и первым ударом его стала жалоба на Государево имя еврейки из Лиозно, будто бы на тамошнем винокуренном заводе сенатор Державин «смертельно бил ее палкою, от чего она, будучи чревата, выкинула мертвого младенца». По этой жалобе было проведено сенатское расследование, итогом которого стало оправдание Гаврилы Романовича и отправка еврея, написавшего донос от имени якобы избитой женщины, на год в смиренный дом. Однако, время было упущено. А последовавшее вскоре убийство Павла Петровича вовсе остановило дело. И хотя по прошествии времени новый Император возобновил рассмотрение оногo, но шайка якобинцев, собравшаяся при нем под названием «негласного комитета», не сулила ничего хорошего ни державинскому проекту, ни Империи в целом... Правда, молодой Царь назначил Гаврилу Романовича министром юстиции, и это давало надежды на возможность принятия решения в интересах России и ее народа, а не магнатов и жидов.

Последние, по-видимому, также опасались такой возможности и не дремали... Образование комитета для решения еврейского вопроса подтолкнул их к решительным действиям. Для Державина же этот комитет стал большим разочарованием. Хотя сам Гаврила Романович вошел в состав оногo, но из четырех остальных членов лишь в Валерьяне Зубове мог видеть он союзника, лишь с ним был он в дружбе. Потоцкий и Чарторыйский — поляки, они были прямо

заинтересованы в арендах и откупах, а потому никогда бы не поддержали державинских мер. А с Кочубеем допреж еврейского развел иезуитский вопрос...

Будучи министром внутренних дел, граф Кочубей выступил с предложением позволить иезуитам распространять католичество на территории Империи — в частности в землях магометанских и языческих. Державин ответил на то, что делать веру католическую господствующею неприлично достоинству России, что это может потрясти дух народа и произвести со временем мятежи и возмущения, каковы были во Франции, а русскому правительству лучше позаботиться о посылке в иноверческие земли, подвластные русскому Царю, миссионеров православных, как делалось это при Царе Иване Грозном. Доводы Державина победили, и в длинном списке его недоброжелателей появился еще один враг...

Вскоре рассеялась надежда и на Зубова. Владея также обширными имениями в бывших польских землях, граф женился на полячке и подпал под влияние магнатов.

Кроме того, и на Зубова, и на самого Царя великое влияние имел вдруг взмывший к вершинам власти сын сельского причетника Сперанский, находившийся в совершенной зависимости от петербургского откупщика Абрама Перетца...

Партия складывалась явно не в пользу Державина: все что играть без козырей против заправских шулеров. Разделают, как башмака, будьте благонадежны... И все же Гаврила Романович был полон решимости довести эту партию до конца. Фортуна иногда одаривает своей улыбкой в самые неожиданные мгновения, в самых безнадежных случаях. Да и Государь... У него ведь нет откупов и аренд, должен же он внимать гласу разума и думать в первую голову о пользе Отечества, а не об

удовольствию своих приближенных. Хотя эта добродетель иной раз изменяла даже его премудрой и великой бабке...

Ночью Державин не сомкнул глаз, то расхаживая по кабинету, то набрасывая новые доводы — уже не для комитета, решающее заседание которого приближалось, но единственно для Государя. Утром же к Гавриле Романовичу явился еще один неожиданный визитер — московский купец Нота Ноткин, с которым Державин имел немало споров по поводу предлагаемых мер в отношении его народа.

Благообразное лицо старого иудея по обыкновению выражало совершенное доброжелательство, речь была негромка и вкрадчива. Этот человек всегда производил приятное впечатление, вызывал доверие к себе. И хотя после долгих и бесполезных споров оно немало пошатнулось, все же Державин еще сохранял к Ноткину уважение, видя в нем одного из просвещенных представителей еврейского народа.

— Мы имеем к вам предложение, Гаврила Романович, — эта фраза еще до ее продолжения уважение убила.

Когда Нота только возник в дверях его кабинета, Державин еще хотел думать, что это всего лишь совпадение. Но нет! Старому прохиндею сообщили о перехваченном письме, и он решил действовать на опережение. А вернее, ему приказал действовать кагал...

— Неужели вы еще сомневаетесь, что решение будет в нашу пользу?

— Последнее слово всегда за Государем!

— Государь слушает мнение своих друзей, — тонко улыбнулся Нота. — А они не чужды коммерции и понимают свою выгоду.

— Продаются, как непотребные девки, вы хотели сказать? — рывкнул Гаврила Романович закипая от

ярости. Этот ничтожный иудей смел вот так запросто объявлять ему, что кагал покупает русских вельмож! Правительство! Хотя какие русские из Потоцких и Чарторыйских? Да и из Сперанских не лучше... И кто же тут более виноват, евреи, покупающие русских помещиков и сановников для пользы своего народа, или же помещики и сановники, продающие для своей выгоды пользу русского народа и России? Этих, последних, не учили в синагогах науке ненависти и лихоимства. Напротив, их учили в церквях христовой любви, праведности. Знать, худо учили, раз за несправедные гроши аренд и откупов, за жидовскую взятку и самого Христа предадут они, пожалуй, на распятие...

— Зачем же так зло? — ничто не смущало маски благодушия, ровно и почти сочувственно звучал надтреснутый голос. — Умные люди всегда понимают свою выгоду и не упускают ее. Вы умный человек. Скажу честно: один из умнейших людей, кого я встречал. Отчего же вы не желаете понять своей выгоды?

— И в чем же моя выгода? — с нескрываемым презрением спросил Державин.

— В двухстах тысячах рублей. Жалование русского министра за 13 лет — разве плоха выгода?

— Дорого вы меня оценили, спасибо. Это значит по двести тысяч каждому члену комитета? Так-то вы ваш кагальский миллион разделили?

Холодком блеснули глаза старого иудея, но улыбка не сошла с его губ:

— Что вы, Гаврила Романович, разве мы могли бы так оскорбить вас, чтобы оценить как других? Другие обходятся гораздо-гораздо дешевле. Они знают свою выгоду сами! А вам приходится указывать на нее, как несмышленому ребенку.

— Наш Господь завещал нам быть, как дети, — холодно отозвался Державин. — Я, пожалуй, плохой христианин, и грехов на мне с избытком. Но я стар, как и вы. И в отличие от вас предпочту уйти из этого мира несмышленным ребенком, а не умным подлецом.

— Как вы не понимаете... — покачал головой Ноткин. — Завтра ваш комитет решит дело в нашу пользу, и вы ничего не сможете сделать, потому что вы — один.

— И один в поле воин. Если я ничего не могу сделать, то для чего вы так усердствуете? Двухсот тысяч не жалеете на того, чья карта уже заранее бита!

— Мы лишь желали решить дело полюбовно, чтобы все остались при своей пользе.

— Кроме загнанных в кабалу крестьян и Империи Российской. Вы пришли ко мне, министру юстиции России, предлагать взятку. Так уж хоть не изворачивайтесь в столь знаменательный час вашей жизни! Вы хотите купить меня с тем, чтобы умолк и голос мой. Чтобы, если сменится нынешнее польское окружение Государя, уже не мог бы я вновь возобновить дела, столь беспокоящего вас! Чтобы и я был в руках у вас! Так не будет этого! Никогда не будет! Хоть бы вы и весь миллион предложили мне! Ни Христом, ни кровью христианской я не торгую! — голос Державина, и без того зычный и резкий, оглашал теперь весь дом, громыхая все более угрожающе. — А теперь убирайтесь прочь и найдите вашим разбойничьим рублям более выгодное применение!

Ничто не дрогнуло в лице старого еврея. Так же тихо и безмятежно, как вошел, вышел он из кабинета Державина, напоследок поклонившись и прикрыв за собою дверь.

— Ганя, помилуй, что случилось? — вбежала спустя несколько минут взволнованная Дарья Алексеевна. — Ты так кричал, что я перепугалась!

— Не бойся, ангел мой, — принужденно улыбнулся ей Гаврила Романович. — Я всего лишь вытолкал взашей одну продувную бестию... Ступай, мне нужно теперь поработать, — и он ласково поцеловал жену, дабы успокоить ее.

Даша послушно скрылась, но работать Державин не стал, а, велев подать мундир и карету, направился в Зимний. Молодой Государь принял его милостиво, но — не укрылось от наблюдательного взгляда — словно бы смущенно. Ах, как не хотелось этому юному Аполлону омрачить свой день неприятным разговором! То ли дело праздные мечты о конституциях и прочих из Франции да Англии завезенных прекраснотушных глупостях в обществе якобинской шайки... Или амурные игры с хорошенькими дамами... А тут слушай старого, дотошного брюзгу с его вечными предупреждениями, остережениями, требованиями, обличениями. Гавриле Романовичу казалось, что он почти слышит унылые мысли Александра...

— Ваше Величество, я пришел, чтобы донести вам о преступлении.

— Помилуйте, что такое стряслось? — снова не мог скрыть Император желанья оттолкнуть от себя нависшую неприятность. Пожалуй, прочь бы сбежал теперь от разговора, когда бы мог...

— Вчера я получил верное донесение о том, что евреи собрали миллион рублей на подкуп должностных лиц с целью противостоять моему прожектору, а также умышляют на самую жизнь мою. Это письмо тому неопровержимое доказательство, — Гаврила Романович положил на стол перед Государем перехваченное Гурко письмо. — Сегодня же я удостоился посещения известного вам купца Ноткина, благодаря доброте русского правительства, получившего право жить в Москве. Сей Ноткин прямо предложил мне двести тысяч рублей в качестве взятки за то, чтобы я отрекся от

собственного мнения. Угодно ли будет Вашему Величеству дать сему делу ход?

Царственный Аполлон посмотрел на своего министра почти затравлено, точно на мучителя.

— То, что вы говорите, ужасно, и в это даже трудно поверить...

— Ваше Величество полагает, что я лгу?!

— Нет, что вы, что вы! — торопливо отозвался Император. — Я лишь весьма потрясен таким оборотом... Дело столь серьезно, что я не могу тотчас вам ответить. Я должен обдумать его...

— Разумеется, Ваше Величество, — с поклоном согласился Державин и положил перед Государем еще одну бумагу. — Здесь мое подробное изложение произошедшего.

— Благодарю вас, Гаврила Романович. Я ознакомлюсь и в скором времени сообщу о своем решении.

Как торопливо говорил этот ангелоподобный венценосец, как спешил выпроводить требовательного министра, как избегал даже взгляда прямого, кося куда-то в сторону... Отец-то, несмотря на чудаковатость свою, покрепче был. Мог наорать, мог вдруг наказать опалой, но хотя решимость имел. А сын... Прекрасен, просвещен, любезен, а ни Богу свечка, ни черту кочерга. Отец был стеной. О нее можно было разбить голову, но при значительной крепости сего предмета и пробить ее. Сын — подушка. Шишек не набьешь, но и дыры не провертишь, сколь не пытайся...

По тому, как держал себя Император, Державин с горечью заключил, что и эта карта бита. А, значит, партия проиграна. Русские крестьяне так и останутся погибать в беспросветной кабале, а государство в государстве будет набирать силу день за днем, подкупам и обманом умножая свое влияние и, наконец, навязывая свою волю.

Однако, партия — это еще не вся игра. Равно как сражение — еще не вся война. Можно проиграть много битв, но в итоге выиграть войну. Можно проиграть много партий, спустить все до исподнего, а затем вдруг взять весь банк и так сделать игру! Строптивая фортуна — непредсказуемая дама!

Кто знает, может, пройдет немного времени, и Государь разочаруется в своих нынешних приятелях, освободится от их влияния? Ведь он еще так молод и неопытен! И мечтателен, как и подобает в эти годы... Может быть, повзрослев и убедившись в бесплодности своих либеральных затей, он начнет прислушиваться к голосам разумным и верным, к тем, кто не продаст его за еврейскую или иную мзду? Вот, только лета Гаврилы Романовича в отличие от лет Императора совсем не располагают к долгим ожиданиям. Ну да ничего. Он терпелив. Он привык к ожиданию, и ожидания его, в конце концов, всегда бывали вознаграждены сполна. Он подождет и теперь, а Создатель подаст потребное время, если только для чего-то еще нужен Ему Державин на сей земле. Избирающие выгоду теряют себя. Он сам частенько и жадно искал ее, хотя и не столь постыдным образом, но в тех поисках — терял себя. Ныне же, несмотря на всю тягость обиды и огорчения, чувствовал Гаврила Романович, что, напротив, обрел самого себя, а вместе с собою Нечто гораздо большее, Того, Чье имя было первым словом, сошедшим с его уст во младенчестве...

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,

Я царь — я раб — я червь — я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? — безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твое создание я, создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие твое.

Проект Державина по еврейскому вопросу был отвергнут, а сам Гаврила Романович смещен с должности министра юстиции. И хотя со временем Чарторыйский и другие приближенные Александра Первого утратили свое влияние, Державин на государственную службу возвращен не был. Не обрел второй жизни и его проект. После своей отставки он прожил еще 13 лет, занимаясь преимущественно литературой, а также написанием мемуаров и будучи окружен восторженным почитанием любителей словесности и молодых литераторов. Скончался Гаврила Романович Державин в 1816 году в своем новгородском имении Званково.

**«Рыцарь своего сюзерена»
(Екатерина Романовна
Дашкова)**

Платье было прекрасно. Не поскупился дядюшка, порадовал нарядом изысканным из самого Парижа! В нем обычно не радовавшаяся собственному отражению в зеркале Катя показалась себе почти красавицей. Пусть и не такую, как любезная кузина, но... Может, и рано она так безоговорочно поставила крест на своей внешности? В конце концов, ей только лишь пятнадцать, и она еще может расцвести. Иной невзрачный бутон прекрасным цветом оборачивается!

А, впрочем, к чему эти мечтания? Они подобают лишь натурам пустым и никчемным. А к таким Катя Воронцова уж точно не относится! Совсем недавно открылся ей целый мир, в котором жили и творили такие гении, как Вольтер, Монтескье, Дидро, Бейль... Их идеи глубоко вошли в разум и сердце 15-летней девушки. В частности, вычитала она у Гельвеция, что все люди от природы наделены равными способностями, и нужно лишь иметь волю развивать их в себе. Воли Кате было не занимать...

Она рано осталась сиротой. После смерти матери отец, генерал-аншеф и сенатор, дабы не стеснять себя, отдал двух дочерей на воспитание брату — канцлеру Воронцову. Михаил Илларионович дал им лучшее домашнее образование, какое только могли получить благородные девушки. Однако, девичье образование всегда отстает от мужского, и его пытливому уму Кати было недостаточно.

Все решило Провидение. Заболевшую корью девочку отправили поправлять здоровье в дальнее имение. Казалось бы, что может быть хуже? Глушь, одиночество, никаких светских развлечений, никаких друзей. Сестра Лиза обезумела бы с тоски, да и не она

одна. Но совсем иное дело — Катя. В своей «тюрьме» обнаружила она огромную библиотеку и с ненасытностью вышедшего из пустыни путника принялась изучать ее. Сколько же мудрости открылось ей в те месяцы деревенского заточения! Она словно бы разом повзрослела на много лет. Отныне уже не занимали ее детские игры, но влекла политика, наука, литература, в которой стала пробовать она и собственные скромные силы...

В те месяцы немало поддержал Катю в ее тяге к просвещению добрейший Иван Иванович, присылавший ей все новые издания, которые выписывал из-за границы. Иван Иванович Шувалов был фаворитом Государыни. Некогда его кузены, возводившие Императрицу на престол, представили ей юного пажа, рассчитывая на монаршее покровительство. Кто бы мог подумать, что этот очаровательный паж станет самым близким и доверенным лицом Елизаветы. Именно он разбирал и докладывал ей все дела, встречался с иностранными послами, составлял документы от ее имени... Станный это был фаворит. Но, кажется, совершенно ничего не искал для себя. Даже когда Государыня пожаловала графским титулом его братьев, отказался от этой чести. При этом Иван Иванович всемерно поддерживал науки и искусства, покровительствовал Ломоносову, вместе с которым организовал первый в России Университет и развивал сеть гимназий в провинции, создал и возглавлял Академию художеств, под которую отдал собственный дом в Петербурге и для которой сам отобрал первых учеников — Федю Шубина, Васю Баженова, Федю Рокотова²¹ и еще тринадцать талантливых юношей... Всякую же свободную минуту странный фаворит посвящал чтению. Еще в пажеские годы запомнился Шувалов многим, как чрезвычайно пригожий юноша с

книжкой... И встретив однажды девочку с книжкой — Катю Воронцову — угадал в ней Иван Иванович родственную душу и стал помогать...

Вернувшись из деревни, Катя уже на многое смотрела по-иному. Теперь ее крайне занимали дела дяди, и она не упускала случая, пробравшись в его кабинет, полюбопытствовать содержанием его дипломатической корреспонденции. И нападала порой зависть к брату Семену. Вот, кто может посвятить себя, чему пожелает! Хоть по стезе военной идти, хоть по дипломатической... А ей, Кате, что остается? Книги и мечты, мечты и книги...

Хотя все-таки ужасно хорошо иной раз вырваться из этого книжно-мечтательного рая! Отдаться власти чарующей музыки и беззаботному веселью... Юная Катя знала толк не только в книгах, она хорошо танцевала и прекрасно пела. По крайней мере, голос ее единодушно хвалили все. В этот вечер в доме Квашниных-Самариных она могла, наконец, блеснуть своими дарованиями.

И хотелось именно — блистать! И не для милого дядюшки, не для друзей и подруг, не для всей этой пышной залы, но для одного человека, при взгляде на которого как-то сладко заныло, а затем учащенно забилося сердце. Никогда еще Катя не видела молодого человека столь прекрасной наружности! Греческий бог, сошедший на землю и надевший мундир Преображенского полка. Тонкое, продолговатое лицо, высокий лоб, прямой, красивый нос, темные глаза под высокими бровями... В народе говорят: с такого лица только воду пить!

Самое же удивительное было то, что этот красавец-офицер смотрел на нее — невзрачную, незаметную Катю... Неужто и впрямь дядино платье чудеса творит? Или это только мечтательно кажется ей? И на самом деле глядит он не на нее, а на какую-нибудь из хорошеньких девиц, коих так много вокруг?..

Однако, молодой человек не ограничился взглядами, а подошел прямо к Кате. Щелкнул каблуком, поклонился, представляясь... Как сквозь туман долетело:

— Михаил Иванович Дашков! Смее ли пригласить вас на следующий танец?

Рядом с ним, таким высоким, Катя при малом росте своем казалась миниатюрной. Подавая ему руку, она впервые в жизни боялась оступиться — какой был бы ужасный конфуз! Но она не оступилась. Она даже не чувствовала своих ног, всецело отдавшись власти своего кавалера и видя пред собою лишь его лицо, слыша лишь его голос. Страх уже не было, был лишь восторг, дававший вдохновение с легкостью поддерживать беседу.

Танец закончился, но прерывать разговор не хотелось обоим. И шумная зала казалась теперь тесной...

— Мне немного душно...

— Хотите, я провожу вас в сад?

Несмотря на поздний вечер, в саду было светло как днем. Или почти как днем, ибо лунный свет всегда придает особый оттенок всему, чего касается. В этом призрачном мерцании все казалось волшебным, ненастоящим, но от этого не менее прекрасным.

— Я доселе не встречал женщин, подобных вам, Катерина Романовна! Вы удивительны, и я благодарен этому вечеру, что он подарил мне встречу с вами!

— И я также благодарна ему за такое приятное знакомство, — отвечала Катя. — Но вы, однако, слишком добры...

— Уверю вас, в моих словах нет ни капли лести, но одно только искреннее восхищение. Мы с вами знакомы не более часа, а мне кажется, будто бы я знал вас всегда. И будто бы вы, — Дашков улыбнулся, — знаете этот мир со дня творения!

— Неужели я кажусь столь непоправимо старой? — отшутилась Катя.

— Просто я знаю не столь много мужчин, которые могли бы с вашей легкостью трактовать о Буало и Монтестье, дипломатических коллизиях и устройстве народного просвещения.

— Видимо, ваших знакомых мужчин более волнуют иные предметы.

— О, вы правы! Лошади. Собаки. Оружие.

— Карты, может быть.

— И прекрасные дамы непременно, — снова улыбнулся Дашков, коснувшись губами кончиков пальцев Кати.

— И вы один из них? — снова полушутя спросила Катя, пытаясь решить, надлежит ли ей отдернуть руку и не обидит ли она тем своего кавалера. Отдергивать, впрочем, не хотелось...

— Вполне возможно, что и так, милая Катерина Романовна! Думаю, впрочем, что учения Монтестье и Буало, рассказанные столь прекрасным просветителем, возымели бы успех даже у самых отчаянных забияк!

— Ну, и куда же вы исчезли, племянница? — грузная фигура Михаила Илларионовича вдруг вошла в мерцающий волшебный мир и разом сокрушила его.

Дашков резко выпрямился, а покрасневшая Катя, наконец, отняла свою руку.

— Кажется, я прервал вас? — голос дядюшки не предвещал ничего хорошего. — Вы были чем-то заняты? Не поделитесь ли со мною вашими секретами?

— Охотно, дядюшка, — ответила Катя, все еще находясь во власти неведомого прежде восторженного вдохновения. — Михаил Иванович просто просил моей руки.

Два изумленных взгляда остановились на сияющей девушке. Первым очнулся от удивления Михаил Илларионович.

— Это правда, поручик?

— Так точно, ваше сиятельство... — неуверенно ответил Дашков. — Я имел эту честь...

— Экой ты... стремительный! — покачал головой дядюшка. — Сразу на abordаж! Ну, что ж... Заходи завтра к нам, обтолкуем это дело, как добрым людям следует, а не этак вот... с места в карьер! А ты, племянница, идем со мною. Гости разъезжаются уже, тебя, умницу, потеряли!

Тут только поняла Катя, как долго затянулась их непринужденная беседа с Дашковым!

Уходя вслед за дядей, она обернулась на своего кавалера. Тот так и стоял, точно окаменев, побледневший, растерянный — словно прекрасное изваяние в белом свете полной луны... И кольнуло сердце горестно. Да ведь он, пожалуй, лишь шутил с нею, как водится у гвардейцев, а она-то увлеклась, размечталась... А что же будет теперь? Так и оборвалось сердце! Ведь уже сказала дядюшке... Да и он — подтвердил. Шутка ли — перед самым канцлером отречься, сказать ему, что его племянница все наврала, а что сам он лишь морочил ей голову...

Господи, хоть бы не явился он на завтра! Тогда бы она придумала что-нибудь, сказала бы дяде, что разыграла его, вымолила прощенье. Должно быть, так и будет. Зачем этому красавцу и умнице, князю, ведущему свой род от Рюриковичей, такая невзрачная серая мышка, как Катя? Книжный ум, может и занимателен, да не в качестве приданного для женщины. Конечно, приданное за Катей немалое дадут, но зачем, зачем ему такая жена? По ней ли такой муж? Нет уж, довольно и мечтать о несбыточном. Надо успокоиться, очнуться от грез и приготовиться к непростому разговору с дядей.

Однако, ее прекрасный князь пришел. Невозмутимый и даже веселый.

— Удивлены? — осведомился он, церемонно поклонившись.

— Признаться, да...

— Я и сам удивлен. Знаете, вчера думал срочно попросить о переводе в какой-нибудь далекий полк и бежать прочь, но потом...

— Что же было потом?

— Потом я подумал, что неприлично бросать девушку, сделав ей предложение.

— Но вы не делали мне предложения.

— Я просто не успел! Ваш дядюшка появился на сцене слишком рано.

— Вы можете не бояться, дядюшке я объясню, что все это было шуткой, он не станет преследовать вас.

Дашков звонко рассмеялся:

— Милая Катерина Романовна, я не боюсь ни отца вашего, ни дяди. Тем более что совесть моя чиста. Ведь в разговорах при луне о Вольтере и Бейле нет большого греха!

— Тогда зачем вы пришли?

— Как зачем? Просить вашей руки, как это заведено у добрых людей.

— Вы проигрались в карты, и у вас большие долги? — выпалила неожиданную догадку Катя.

Князь засмеялся еще заразительнее:

— Нет, вы поистине невозможны! Какое знание жизни в столь юные лета!

— Значит, я угадала...

— Увы, нет! Все мои долги давно уплачены, и ни наследству моей матушки, ни приданному моей будущей жены ничего не угрожает.

— Тогда что вам нужно от меня?

Дашков стал серьезным. Мягко взяв Катю за руку, он ответил:

— Мелочь, сударыня. Вы.

Катя с изумлением посмотрела на Михаила Ивановича. Не шутит ли? Может ли такое быть взаправду?

— Видите ли, Катерина Романовна, трактаты о государстве, воспитании и прочем прекрасны. Но постарайтесь не упустить за ними и то, о чем ваши философы не пишут в своих ученых трудах.

— О чем же они не пишут?

— О любви. О том, как это прекрасно — встретить человека и вдруг понять, что знал его всю жизнь и не хочешь разлучаться с ним, но хочешь быть с ним до конца своих дней...

От этих слов, сказанных уже без налета иронии, дрожь пробежала по телу Кати, а голова закружилась. И все слова, которые иной раз потоком лились из ее уст, вдруг забылись, забылись и мудрости философов, и самый дар речи как будто отнялся у нее.

— Так что же вы ответите мне, Катерина Романовна?

Дар речи вернулся, и в тот же миг сорвалось с уст самым сердцем исторгнутое:

— Я отвечу вам, Михаил Иванович, что жены, более любящей и боготворящей вас, нежели я, вы не найдете!

* * *

Свое слово Катя Воронцова умела держать даже в самые нежные годы. И, став женою Дашкова, она, действительно, боготворила его, без остатка растворяясь в обожаемом муже. Одно было худо: молодую жену Михаил Иванович отвез в Москву, в свой дом, к матери, сам же вернулся на службу, лишь изредка приезжая в первопрестольную.

Тяжка сперва была московская жизнь в патриархальном доме свекрови, где даже ни единого

иностранный язык не ведали! Делать нечего, пришлось совершенствоваться в языке русском, который неожиданно открылся Кате в своей замечательной красоте, богатстве и певучести и буквально влюбил ее в себя. И как можно столь прекрасный язык обрекать участи быть языком простолюдинов? Этот язык должен, напротив, идти за пределы русские, другие народы покоряя! Вот, только как достигнуть этого?

Под руководством свекрови осваивала Катя также премудрости ведения хозяйства. И здесь показала она себя ученицей способной и все на лету схватывающей. Довольна была старуха невесткой и о том к радости последней сообщала сыну.

Вскоре не до хлопот стало Кате. Подходил срок рожать ей, и последний месяц ожидания весьма тягостен оказался: насилу и подняться могла она, да и доктора велели лежать. Миша из Петербурга отписал, что выезжает, что вскоре будет рядом с нею, и сердце дрожало в ожидании долгожданной встречи. Но проходил день за днем, а мужа все не было. Плакала Катя тайком в подушку: не нужна она ему! Забыл он ее! Отправил с глаз долой к матери и живет своею жизнью, а она теперь точно вдова соломенная. И зачем тогда было жениться, коли не любил? И зачем она согласилась, зная наперед, что не по ней такой муж? Вся жизнь теперь загублена безвозвратно...

— Барин-то болен шибко, Герасим сказывал...

Эти слова Катя случайно услышала. В тот день сделалось ей худо, а девка-прислужница, как назло, не приходила на зов. Пришлось самой подняться, пройти в людскую. А в людской, как всегда, шушукалась дворня.

— Барин-то болен шибко...

От этих слов чуть в бесчувствии не упала Катя. Да ведь если случится с ним что... Да ведь тогда всей жизни конец...

— Акулька! Сколько тебя звать можно! — крикнула, с невероятным трудом взяв себя в руки.

— Бегу, барыня, бегу! — бросилась к ней перепуганная девка.

Стоило бы отругать примерно негодницу, да не о том теперь мысли были. Едва дошли до горницы, вперила Катя требовательный взгляд в прислужницу:

— А теперь сказывай, что с барином!

— Так едут, должно... — пробормотала Акулька, кося глазами.

— Не смей мне врать! Слышала я, как вы в людской толковали, что барин шибко болен! — голос Кати сорвался. — Христом Богом прошу, скажи мне всю правду! Нет мне мочи не знать! Что с ним? Где он?

— В Москве Михайло Иванович, — покорно ответила девка. — Уж несколько дней как... Они в дороге простудились шибко да, вот, и побоялись вас напугать. Остановились у своего друга, чтобы поправиться сперва.

Немного отлегло от сердца, но не вполне. Простуда простуде рознь. Надо своими глазами увидеть, убедиться, что нет угрозы ненаглядному Мише, единственному свету души, без которого весь мир потемками станет.

— Вели Герасиму сани заложить, к барину поедем.

— Барыня, голубушка, да вы с ума сошли! — всполошилась Акулька. — Да вам рожать вот-вот! Доктор-то строго-настрога вставать вам запретил! И барин бы никогда вам не позволили!

— Делай, что велено, не то отправлю тебя в деревню! — крикнула Катя. — Все равно от тебя здесь никакого толку! Зовешь — не докричишься! Ну, что стоишь?!

Девка заревела, но побежала выполнять приказание барыни.

Внутри все болело, и всякий шаг давался с мукой, но, едва не теряя сознание, дошла Катя до поданных к крыльцу саней. Акулька поехала с нею, как можно теплее укутав свою барыню. День выдался холодный и вьюжный. Но Кате было жарко от боли и тревоги... В глазах то и дело темнело, но силы возвращались от мысли, что вот-вот она увидит, наконец, своего Мишу. Лишь бы только не был он в опасности! А все прочее — неважно, с прочим она справится...

Наконец, сани остановились. Подняться по лестнице — что за мука теперь! Но Катя поднялась и, едва переводя дыхание, подошла к заветной двери.

— Входите, барыня, — распахнул ее поддерживавший нежданную гостью лакей.

Дашков, бледный и осунувшийся, лежал в постели. Увидев входящую жену, он тотчас вскочил и бросился к ней.

— Живой... Слава Тебе, Господи!.. — перекрестилась Катя, глотая слезы.

Муж хотел что-то сказать, но не мог. Болезнь лишила его голоса. И он лишь беспомощно делал непонятные жесты. От зрелища этой беспомощности и ставшей, наконец, невыносимой боли Катя вскрикнула и лишилась чувств.

В тот вечер в этот мир пришел ее первенец, девочка, названная в честь матери Екатериною. Когда она пришла в себя, то увидела сидящего рядом мужа. Он безмолвно улыбался ей и ласково гладил по голове.

— Поклянись, что мы больше не расстанемся, — тихо прошептала она. — Что ты заберешь нас с собой в Петербург!.. Поклянись! Поклянись! — слезы покатались из ее глаз.

Миша кивнул и поцеловал ее руку.

Никита Иванович Панин, крупный дипломат и воспитатель наследника-цесаревича, был человеком, искусственным в политике и потому осторожным. Он никогда не говорил всего, что знал и думал, а, когда говорил, настолько взвешивал каждое слово, будто даже в самых ближайших и доверенных подозревал сотрудников Тайной канцелярии, приказавшей, впрочем, долго жить по манию руки Государя Петра Федоровича... Вот и теперь, с видом величайшей задумчивости помешивая чай, цедил он вечно уклончивое:

— Конечно, Екатерина Романовна, я разделяю негодование ваше, но нельзя действовать сгоряча. Поспешишь — людей насмешишь, как говорит пословица. А то и хуже того, голову потеряешь. Всему требуется время...

— Какое же время, Никита Иванович, вам требуется? — усмехнулся Дашков.

— Не мне, Михаил Иванович, а естественному ходу истории. К примеру, покойная Государыня ждала своего часа более 10 лет!

— Слава Богу, Петр не императрица Анна, а моя сестра не Бирон! — заметила Катя, в который раз передернувшись от отвращения, что ее родная сестра сделалась фавориткой слабоумного голштинца, злой насмешкой рока оказавшегося на русском престоле.

— Правда. Но и Екатерина Алексеевна не родная дочь Петра Великого, неправда ли?

— Правда! Но у нее нет времени ждать, потому что ее в отличие от дочери Петра Великого безумный супруг может насильно заточить в монастырь! Вы хотите дождаться этого, Никита Иванович?

От одной мысли, что ее любимую подругу, ее божество, идеал совершенной женщины могут заточить в монастырь, угасить этот дивный светоч просвещенного разума, столь необходимый России, Катя приходила в исступление. Она, не колеблясь, дала бы растерзать себя на части раскаленными щипцами, лишь бы не допустить такого непоправимого несчастья!

Великой княгине Екатерине Алексеевне Катю представили, как юную особу, очень увлекающуюся чтением. Великая княгиня была старше ее четырнадцатью годами и в отличие от нее весьма несчастлива в браке. Тем не менее, обе женщины сразу почувствовали взаимную приязнь. Их объединяли общие идеалы, навеянные французскими просветителями, общая любовь у их мудрым трудам и книгам вообще, а также склонность к перу. Что за наслаждение было обмениваться мыслями с родственной душой, столь понимающей и разделяющей их! Более того — душой, стоящей много выше, душой великою!

Если бы Катя родилась мужчиной в Европе времен крестовых походов, она непременно была бы рыцарем. И с рыцарской преданностью служила бы своему королю. Этого служения не хватало ее рыцарскому сердцу. Есть те, кто создан для того, чтобы править, и те, кто созданы служить им, быть их правой рукой, оруженосцем. Или же серым кардиналом... Созданы, чтобы умножать славу своего сюзерена и согреваться в лучах ее, находя вознаграждение в королевском доверии, милости и дружбе, черпая в оной величайшее из блаженств.

При встрече с Екатериной Алексеевной сердце Кати обрело сюзерена. Таковым не могла стать ни добрейшая Государыня Елизавета, некогда матерински благословившая брак Дашковой, ни тем более ее слабоумный племянник. Великая княгиня была личностью совсем иной. В этой молодой женщине были

и глубокий ум, и воля, и характер. Она была из рожденных царствовать, природной правительницей. И ей готова была Катя посвятить жизнь, сражаться за нее на поле брани, и, если надо, погибнуть. Это благородное стремление наполнило жизнь Дашковой новым смыслом.

Природа, в свет тебя стараясь произвести,
Дары свои на тя едину истощила,
Чтобы на верх тебя величия возвесть,
И, награждая всем, она нас наградила.

Прочтя эти вирши, сложенные в ее честь, Екатерина Алексеевна была растрогана до слез.

— О, какие стихи! И в семнадцать лет! — восклицала она, прижимая Катю к сердцу. — Я прошу, нет, я умоляю вас не пренебрегать таким редким талантом! Только заклинаю продолжать любить меня; будьте уверены, что моя пламенная дружба никогда не изменит вашему сочувствию!

Став вместе с мужем бывать при дворе наследной четы, Катя была безмерно возмущена оскорбительным отношением Петра Федоровича к своей жене. Он унижал ее прилюдно, ничуть не стесняясь. Во время одного из обедов Великий князь крикнул ей:

— Ты дура! Дура!

И какую же силу нужно было иметь, чтобы сохранить самообладание! Катя готова была стать перед своей повелительницей на колени и целовать ее руки...

Случилось и самой ей заспорить со вздорным голштинцем, стяжав себе тем уважение в офицерской среде. Во время одного из обедов «чертушка» изволил

бранить конногвардейца, уличенного в связи с племянницей самой Государыни:

— Этот негодяй заслуживает, чтобы ему отрубили голову! Тогда наученные примером другие офицеры не посмеют волочиться за фрейлинами и тем паче родственницами Императрицы!

Никто не посмел возразить, и лишь Катя подала голос:

— Я не слышала, чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и ужасное наказание! А большинство из присутствующих родились, слава Богу, в благословенное время, когда смертная казнь уже не применялась.

— Это-то и скверно! — скривился Петр. — Отсутствие смертной казни вызывает много беспорядков и уничтожает субординацию и дисциплину. Говорю вам, что вы ребенок и не понимаете подобных вещей!

— Я действительно ничего в этом не понимаю, Ваше Высочество, но зато знаю, что ваша Августейшая тетушка еще жива и считает иначе, о чем вы, вероятно, забыли.

В ответ «чертушка» лишь показал Кате язык. Всерьез юную сестру своей фаворитки Великий князь не воспринимал. Раз лишь бросил ей насмешливо, зная ее привязанность к Великой княгине: «Дитя мое, вам бы очень не мешало помнить, что гораздо лучше иметь дело с честными простаками, как я и ваша сестра, чем с великими умниками, которые выжмут сок из апельсина, а корку выбросят вон».

Не перенося общества Петра, Катя старалась избегать придворных мероприятий, предпочитая им встречи с Екатериной Алексеевной и людьми единого с нею мнения. Таковых было немало. Увидеть на престоле «чертушку», как называла племянника Елизавета

Петровна, было истинным кошмаром для большинства русских людей.

Однако, день этот пришел...

Узнав, что Государыня кончается, Катя бросилась к Великой княгине. В тот вечер она была сильно больна, ее который день изводила лихорадка, но ничто не могло помешать ей исполнить свой долг, как она понимало его.

Екатерина Алексеевна, уже собиравшаяся отойти ко сну, встретила ее с большой тревогой и, видя, что Дашкова едва держится на ногах, спешно усадила подругу на свою постель:

— Что привело вас, дорогая княгиня, ко мне в такой поздний час и побудило рисковать здоровьем, столь драгоценным для вашего супруга и для меня?

— Ваше высочество, я не могла более противиться желанию узнать, что можно сделать, чтобы развеять тучи над вашей головой, — отвечала Катя. — Доверьтесь мне, ради Бога, я заслуживаю вашего доверия и надеюсь и в дальнейшем его заслужить. Скажите, каковы ваши намерения? Что вы думаете предпринять ради своей безопасности? Императрице остается жить несколько дней, может быть, несколько часов. Могу ли я быть вам чем-нибудь полезной? Приказывайте, повелевайте мною!

Слезы выступили на прекрасных глазах Великой княгини, и от этого еще больше затрепетало сердце Кати.

— Я вам невыразимо признательна, дорогая княгиня, — услышался горький ответ, — и поверьте, что со всей искренностью и полным доверием к вам я говорю, что у меня нет никакого плана; я не могу ничего предпринять, я должна и хочу мужественно встретить то, что должно случиться...

Мосты были сожжены. Цель определена. Дашкова твердо решила, что не допустит беды и приведет свою

премудрую подругу к престолу, столь заслуживаемому ею.

— В таком случае, — сказала Катя, поднимаясь, — друзья должны действовать за вас... И я не уступлю другим в рвении к жертвам, которые готова принести ради вас!

Растроганная Екатерина Алексеевна заключила свою наперсницу в объятия.

С той ночи Дашкова трудилась, не покладая рук и не зная отдыха. Вернейшим соратником стал ей возлюбленный муж. Вместе они вели беседы с офицерами-преображенцами и людьми своего круга, такими, как Панин, привлекая их на сторону Великой княгини. Это было тем легче, что Петр Федорович, едва взойдя на престол, дал полную волю своему фанатичному пруссофильству. Все победы русского оружия в Семилетней войне, все русские жертвы, самый Берлин, по которому маршировали русские солдаты — отданы были уже побежденному и не чаявшему спасения Фридриху. А на торжественном балу человек, именовавшийся русским царем, пил здоровье прусского императора и восторженно преклонял колени пред его портретом! Могло ли быть что-то более унижительное для России и русских?

А ведь голштинский безумец вознамерился еще и реформировать Церковь! Как и армию — по прусскому образцу... Терпеть подобное было решительно невозможно. И на этом фоне Великая княгиня, демонстративно преданная всему русскому, чтущая установления Православной Церкви, обретала все больше последователей.

Об одном печалилась Катя — оказалась она по разные стороны фронта с собственной семьей. И отец, и дядя служили Петру. Сестра была его фавориткой... Даже любимый брат Семен отнекивался от серьезных разговоров, заявляя, что он давал присягу и его долг

присяге следовать. Будто бы славные гвардейцы, возведшие на престол Елизавету, не давали присяги младенцу Иоанну Антоновичу!

Душа Дашковой горела нетерпением. Она боялась, что промедление может привести к заточению ее бесценной повелительницы, и тогда весь заговор, который так старательно плела она, пойдет прахом. Да что заговор! Самая жизнь ее прахом пойдет... Не говоря уж о том, что станет тогда с несчастной Россией!

А Панин был невозмутим. Помешивал вишневое варенье в чае и цедил свои выверенные слова:

— Не нужно горячиться, княгиня. Горячность — плохой советник в политике. Мы должны ничего не упустить, просчитать все риски...

Рассудительные сентенции Никиты Ивановича были прерваны требовательным стуком в дверь, и через мгновение на пороге гостиной возникла рослая, крепкая фигура Григория Орлова, капитана Семеновского полка и казначея Канцелярии главной артиллерии и фортификации. Этот пост, полученный им совсем недавно, дал заговорщикам необходимые денежные средства.

— Что-то случилось, Григорий Григорьевич? — спросил Михаил, обеспокоенно поднимаясь навстречу гостю.

— Пассек арестован, — коротко ответил Орлов.

Капитан Преображенского полка Пассек был близким другом Дашковых и одной из центральных фигур заговора.

— Нужно немедленно ехать к Ее Величеству! — воскликнула Катя. — Я говорила вам, Никита Иванович, что промедление смерти подобно, и вот!

— Не спешите, дорогая княгиня, — отозвался с не изменяющим ему хладнокровием Панин. — Сперва надлежит все лучше разузнать. Ведь Пассек мог быть арестован по иной причине!

— Помилуйте, какая же еще может быть причина! — поддержал жену Михаил.

— Любая. Поэтому сперва нужно все узнать, иначе можно и дров наломать.

— Алехан должен привезти более точные вести, — сказал Орлов. — Я велел ему ехать сюда.

Алеханом в гвардии называли брата Григория, Алексея. Как и все пять братьев Орловых, был он необычайно силен и обладал неукротимой натурой. Однажды в трактире за игрой в бильярд изрядно повздорили Григорий с Алексеем с лейб-компанейцем Шванвичем, а, повздорив, хорошенько отделали и вышвырнули вон. Но противник не пожелал уйти битым и, дождавшись, когда Алексей вышел на улицу, ударил его саблей по голове. Красивое лицо навсегда было изуродовано страшным шрамом, и имя «Алехан» очень подходило его обладателю...

Он приехал довольно нескоро, так что Катя уже не находила себе места, и, войдя вальяжно, будто бы в трактир, оглядел всю компанию невозмутимо-насмешливо, неуловимый бесенок играл в темных, недобрых глазах.

— Ну, что?! — спросил его брат.

— Ничего, — невозмутимо откликнулся Алехан. — Заговор практически раскрыт, и скоро мы все можем последовать за нашим другом Пассеком.

— Вы и теперь скажете, что надо обождать, Никита Иванович? — обратилась Катя к Панину.

— Теперь не скажу, — покачал головой тот.

— Григорий Григорьевич, скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткову и Бредихину, чтобы, не теряя ни минуты, они отправлялись в свой Измайловский полк и что они должны встретить там Императрицу (это первый полк на ее пути), а вы, Алексей Григорьевич, или один из ваших братьев должны стрелой мчаться в Петергоф и сказать Ее Величеству от меня, чтобы она

воспользовалась ожидающей ее наемной каретой и безотлагательно приехала в Измайловский полк, где она немедленно будет провозглашена Императрицей!

— Слышал, Григорий Григорьевич? — усмехнулся Алехан, вертя в руках треуголку. — Поехали, что ли, исполнять приказ?

— Полно тебе скоморшничать, — хлопнул его по плечу Григорий, — айда в Петергоф!

Ничего нет невыносимее, нежели ожидание! В эту ночь решалась судьба. Судьба России, судьба Императрицы, судьба самой Кати. Ей хотелось теперь разделиться на десятеро, мчаться одновременно к Преображенцам, Семеновцам, Измайловцам, в Петербург! Быть везде, следить за всем... И главное, быть рядом со своей Государыней!

Но всему свое время, и всякому своя роль. Если не можешь быть везде, оставайся там, куда сойдутся вести отовсюду, и откуда сможешь в случае нужды передать их по назначению, будь связующим звеном. Так сказал Михаил, уезжая вслед за Орловыми... Конечно, он был прав. И роль связующего звена важна, но сколько же интереснее роли иные! Где-то поднимаются теперь полки, вершится история, а она, Катя, столь много сделавшая для этого, мечется по своей гостиной, прислушиваясь ко всякому звуку — не скажут ли, не идут ли, не стучат ли? Никаких вестей... И никакого связующего звена... Не нужно сделалось это звено. Может, и к лучшему? Значит, все идет хорошо?..

На какое-то время Дашковой показалось, что о ней просто забыли. Но она отогнала прочь глупую и столь неуместную в такой час обиду. И вовремя! Наконец-то послышался в предрассветном сумраке топот копыт!

— Миша! — она сама выбежала на крыльцо, когда муж только-только соскочил с коня.

— Собирайся скорее! — крикнул он. — Дело сделано! Государыня уже в Петербурге! Церемония

присяги назначена на полдень!

Таким ликованием наполнилось сердце при этих словах, что едва не лопнуло! Сбывалось то, о чем грезила Катя днями и ночами, для чего позабыла обо всем и трудилась, не ведая усталости! Ей, Екатерине Дашковой, удалось доставить престол для своей повелительницы! Катя уже видела себя подле нее, правой рукой ее... Вместе они начнут претворять в жизнь все те гуманные идеи, которые столь впечатлили души обеих! Сколько раз они мечтали об этом, мечтали, какие преобразования необходимы России! Теперь настал их час!

Карета летела к Петербургу стремительно, но Кате казалось, что она ползет еле-еле. Только бы не опоздать! Ведь это будет поистине ужасно — опоздать на присягу!

Но, вот, наконец, столица... Зимний дворец... И целая площадь, переполненная народом так, что и яблоку негде упасть. Сжимается сердце страхом — да как же пробиться через это такое столпотворение?! Катя тревожно взглянула на мужа, и тот ободряюще улыбнулся и поднял ее, миниатюрную, невесомую, на руки. Неподалеку стояли родные Преображенцы, узнавшие Дашковых.

— Дорогу княгине Дашковой!

— Да здравствует Екатерина Романовна!

Ей не пришлось ступить на Дворцовую площадь, не пришлось протискиваться сквозь толпу. Она плыла над этой толпой, бережно передаваемая из рук в руки верными Преображенцами и сопровождаемая восторженными возгласами простых русских людей, пусть и не знавших ее роли, но уже знавших, что роль эта была, что она сподвижница Императрицы!

Перед своей великой Подругой предстала Катя растрепанной, помятой и совершенно счастливой.

— Ваше Величество! — она хотела преклонить колени, но Екатерина Алексеевна бросилась ей навстречу и заключила ее в объятия:

— Ну, здравствуй, Романовна, здравствуй, княгиня! Уж как я заждалась тебя!

— Ваше Величество, сегодня самый счастливый день в моей жизни! — со слезами воскликнула Катя.

На приветствия и душевные излияния немного времени было. Императрица окинула подругу оценивающим взглядом и велела:

— Вот, что, Романовна, сыщи себе скоро мундир Преображенский. После присяги в Петергоф отправимся с полком. Там и дождемся ответа от моего супруга. Согласится ли он миром уйти...

Трудно было подобрать мундир на миниатюрную фигурку Дашковой, однако же отыскали среди рослых гвардейцев юношу щуплого, одолжили у него мундир «для Государыниной надобности». Великоват и он был, а все ж ни в одном платье не чувствовала себя Катя лучше! Теперь она была истинным рыцарем своего сюзерена! «Сюзерен» — также в мундире Преображенского полка — восседала верхом на лошади, демонстрируя превосходную осанку. Катя мчалась рядом с нею на стремительном черном жеребце, то и дело с восхищением глядя на подругу. Две амазонки во главе русской гвардии — этот день принадлежал им, а вместе с ним и все грядущее!

До Петергофа в тот день не добрались. И сами истомились, и солдаты после 12 часов на ногах нуждались в отдыхе. Остановились ночевать в Красном Кабаке, что на дороге к Петергофу. Кабак есть кабак, места в нем немного, но и к чему оно?

— Что скажешь, Романовна, хватит нам одной постели на двоих? — весело спросила Императрица.

— Я и на полу спать готова, Ваше Величество!

— Зачем на полу? Кровать широкая!

Кровать, действительно, была широкой. Но только не шел к опьяненным триумфом подругам сон! Ни усталость, ни славный ужин и вино не дали умиротворения возбужденным душам.

— Я буду стараться, чтобы мое правление стало самым справедливым! — говорила Екатерина Алексеевна, и ее продолговатое лицо с большими, темными глазами сияло верой в свое предназначение. Веры этой было не занимать и Кате...

— Ваше царствование будет благословенным!

Конечно, будет... Разве может оно быть иным при таком замечательном уме и сердце?

— А я сделаю все, чтобы помочь вам! Я буду служить вам со всем рвением, вы ведь уже испытали меня. Сегодня у нас все получилось! И дальше, я уверена, получится также!

Государыня поднялась с постели:

— Я уже написала проекты моих первых указов! Сейчас я прочту тебе!

Ах, как хорошо, как тепло было на сердце... К чему сон? К чему отдых? Когда возлюбленная Императрица, полуодетая, сидит подле тебя на краю постели, время от времени вставая и ходя по комнате, и читает вслух свои будущие указы — те самые дорогие идеи, что выношены были ее справедливым сердцем, которые так часто обсуждали они... В этом было высочайшее доверие, и Катя не сомневалась, что так теперь будет всегда. Они с Государыней будут неразлучны, и никого не будет у них ближе друг друга. Катя всегда будет рядом с ней, вся жизнь ее будет посвящена служению этой великой Императрице, которая даст наконец России столь необходимые ей законы и устройство, сделается истинной матерью своих подданных.

Что и в какой момент сломалось после этой прекрасной ночи? Что пошло не так? Где она, Катя, допустила ошибку? Этим вопросом Дашкова мучительно терзалась долгие годы. Когда она потеряла свою повелительницу? Когда охладело к ней сердце великой Подруги? Может быть, все началось в то утро, когда она, явившись к Императрице, застала у нее в будуаре Орлова?

Красавец Григорий, без камзола, в расстегнутом жилете, лежал на диване и просматривал переписку Государыни. Катя замерла в дверях, пораженная этим зрелищем, спросила с негодованием:

— Что вы здесь делаете, Григорий Григорьевич? И по какому праву читаете письма Ее Величества?

В другую дверь в этот момент вошла Екатерина Алексеевна, в пеньюаре, не причесанная, по-видимому, едва вставшая ото сна. Орлов насмешливо взглянул на Дашкову и обратился к Императрице:

— Матушка, Екатерина Романовна спрашивает, по какому праву я твою переписку перлюстрирую!

— Не волнуйся, Романовна, — улыбнулась Государыня. — Ему это дозволено и даже в обязанность вменено. Кофе с нами испить изволишь ли?

— Благодарю, Ваше Величество. Если у вас нет для меня никаких приказаний, я зайду позже с вашего позволения.

Кате казалось, что из ее груди вынули душу, ноги едва слушались ее, ей было душно. Господи, какая же она была дура! Столько времени заниматься заговором, играть в нем ведущую роль, полагать себя самым ближайшим лицом к Императрице и... не разглядеть лицо, куда более близкое! Не понять, что капитан Орлов не просто один из доблестных гвардейцев-

заговорщиков, а... Обжигало губы слово, ранило душу открытие. Вспомнились тотчас все насмешливые взгляды Григория и Алехана... Они смеялись над ней! А, может быть, и Екатерина также? И весь ее порыв, все ее служение — все это вздор? Дань идеалу, который сама же она и выдумала, но который имеет мало общего с живой молодой женщиной из плоти и крови? Неужто «чертушка» был прав, говоря об умниках, которые выжмут апельсин, а корку выбросят? Неужто она и сделалась этой коркой?..

Привыкшая анализировать свои чувства и мысли, Катя пыталась успокоиться и разобраться, что именно столь сильно ранило ее. В том, что у молодой, полной сил женщины, пренебреженной и унижаемой многие годы собственным мужем, есть привязанность, нет ничего противоестественного и даже предосудительного. Ей, невзрачной Кате, Бог послал прекрасного и любящего мужа, с которым узнала она счастье. Отчего же Императрица должна быть лишена его?

Нет, дело было в другом. В том, что Катя ничего не знала об этой привязанности. Что чудившееся ей доверие Государыни было отнюдь не столь велико. Ее лишь использовали, когда была она нужна, а теперь надобность в ней отпала, и все проступает в истинном свете. Катя видела свое божество поруганным, а саму себя обманутой...

Ревность к Орлову и положила начало охлаждению. Дашкова, всегда прямолинейная, не умела скрыть своего недоброжелательства к фавориту и колко высказывалась о нем, а Императрица не могла не сердиться за подобные нападки на любимого ею человека. В выборе между подругой и возлюбленным первая неизбежно должна была потерпеть фиаско. Так и произошло...

Чужд и неприютен стал Петербург, царские дворцы. Мечты Кати разбились, рыцарь оказался не нужен своему сюзерену. Более того, рыцарь со своей прямоотой и требовательностью в напоминании прежних обетов становился в тягость. Обеты же, а вернее мудрые проекты обустройства России были убраны под сукно... Что остается в таком положении рыцарю?

— Мы, Иван Иванович, вскоре в Москву уедем, в наше имение. Свекровь моя почила, Царствие ей Небесное, и надо заняться хозяйством.

Шувалов понимающе кивал. Ему ничего не нужно было объяснять. Чуткий и внимательный к людям, он всегда хорошо чувствовал их. Ивану Ивановичу также не находилось места при новом царствовании, хотя он тотчас поддержал Екатерину и присягнул ей.

— Не понимаю, чем вы прогневили Ее Величество. Она всегда с добротой отзывалась о вас, вспоминая ваше знакомство в те поры, когда вы были еще пажом с вечной книжкой...

— Правда, а она застенчивой юной принцессой, за которой я иногда носил ее книжки на прогулках...

— В чем же причина немилости?

— В вас, княгиня, — грустно улыбнулся Шувалов.

— Во мне?

— Я имел неосторожность сказать, что 19-летняя женщина произвела переворот в России, а Государыня узнала об этом и сочла, что я, скажем так, слишком преувеличил ваши заслуги. Ей показалось, что это унизило ее собственные заслуги в глазах Европы...

— Не может быть! — вспыхнула Катя. — Это же глупо! Мелко! Это недостойно ее!

Всего более ранило сердце Дашковой не обида ей самой, но именно это — что ее божество роняет себя, совершает поступки недостойные своего величия. Живший в душе Кати идеал не желал прощать слабости

живому человеку, которого прежде она упорно не видела, заслонив его идеалом...

— Это всего лишь по-человечески, — мягко возразил никогда и никого не осуждавший и стремившийся всех примирять Иван Иванович.

— Мне жаль, что я невольно послужила причиной немилости к вам. Это так несправедливо... Неужели именно из-за этой опалы вы распродаете теперь вашу замечательную коллекцию живописи?

— Коллекцию я распродаю, так как мне нужны деньги на путешествие по Европе. К тому же не всю коллекцию, а лишь ее часть.

— Стало быть, и вы уезжаете...

— Я давно мечтал посмотреть мир, воочию увидеть шедевры великих мастеров... Прежде такой возможности у меня не было, так как я нужен был покойной Государыне. Теперь же, если дела для меня в Отечестве нет, я могу с чистой совестью насладиться исполнением мечты.

Катя хорошо знала Шувалова и прекрасно понимала, что он, как и она, забыл бы всякую мечту для счастья служения России, что путешествие для такого человека — лишь утешение вынужденного бездействия. Хотя бездействовать такие люди не способны, не способны не служить, даже если в их услугах не нуждаются. И Иван Иванович несомненно найдет способ быть полезным России в своих странствиях. То ли дело Катя... Куда ей направить свои порывы?

— Все же удивительно, что вам приходится продавать ваши шедевры. Орловым бы не пришлось, они уже теперь осыпаны милостями!

— Что ж, и я был ими не обойден, — пожал плечами Шувалов. — Покойная Государыня даже завещала мне 200000 рублей.

Катя с удивлением посмотрела на Ивана Ивановича:

— И этой суммы не довольно для путешествия?

— Милая Екатерина Романовна, я рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, чести и знатности. Какое право я имел на эти деньги? Чем заслужил? Я вернул их в казну, так как не считал себя вправе взять их.

Дашкова улыбнулась, ласково посмотрев на Шувалова:

— Удивительный вы человек! Ни один из тех, кого я знаю, не сделал бы того, что сделали вы. Может, только тогда и настанут у нас перемены, о которых мы столько мечтали, когда будет больше людей, столь же бескорыстных, сколь вы...

— Спасибо, княгиня! Не знаю, как насчет меня, но в одном вы правы: самые лучшие и надежные перемены происходят не от повелений правителей, хотя бы и самых мудрых, но от совершенствования нравов. И если наш университет хоть в малой степени послужит этому, то жизнь моя прошла не зря! А так непременно будет. Тихонько, мало-помалу.

Когда он говорил об Университете благородное лицо его светилось вдохновением. У него есть Университет... Гимназии... Дело, которым он живет. И которое будет жить после него. А что есть у Кати? Что останется после нее? Неужели ее участь совершенствоваться в домашнем хозяйстве, сделаться старосветской матроной, какой была покойная свекровь? И для чего тогда все? Для чего был упоительный июньский день, когда скакали они с Императрицей в Петергоф в окружении бравых Преображенцев? Конечно, восшествие на престол Екатерины — великое благо для России, и за это Богу слава! Но ее, Кати, роль неужто завершена на этом?..

Подпоручик Ястребцов прибыл в Троицкое около полудня. Стоял теплый весенний день, и воздух был напитан ароматом распускающихся цветов, а победный звон птичьих голосов возвещал окончательное и бесповоротное торжество над зимою. Едва въехав в Троицкое поручик отметил необычайную благоустроенность этого имения. Расположено оно было на равнине и окружено прекрасным лесом. Значительную часть поместья занимал парк в английском стиле. В центре его находились господский дом, церковь, театр, больница, дом для слуг, конюшня, школа... Этот комплекс зданий, обступивших просторную площадь, напоминал маленький город. А вокруг этого города во все стороны были разбросаны 16 деревень, многочисленные крепкие и нарядные дома которых говорили о благосостоянии здешних крестьян, а также поля и пастбища... Стада, которые видел Ястребцов по пути, были тучны и ухожены, люди — хорошо одеты и веселы. Решительно на всем в Троицком лежала печать довольства. Знать, недаром говорили, что здешняя барыня — умнейшая женщина в России после покойной Императрицы!

Дмитрий Ястребцов вступил на службу в первый год царствования Императора Павла и по юности лет не застал уже ни великой Государыни, ни бывшей — дивное дело не только для России, но и для мира! — директрисы Академии Наук, к которой ныне был послан подпоручик с письмом от молодого Императора Александра. Будучи много наслышан о княгине Дашковой, молодой офицер с любопытством ожидал встречи с нею.

В «городке», куда Ястребцов въехал шагом, разглядывая многочисленные постройки, кипела работа. Мужики под доглядом невысокой сухопарой старухи в старом коричневом платье и дырявом платке возводили новое здание...

— Филька, Филька, сколько раз говорить! Песка меньше сыпь, иначе кладка развалится! — покрикивала на мужиков суровая надзирательница.

Дмитрий остановился, привлеченный этой оригинальной сценой. Маленькая старуха так и сновала меж мужиков, что-то показывала им, проверяла раствор. Подол ее платья был безнадежно перепачкан глиной, но ее это ничуть не заботило. Казалось, что она вот-вот сама начнет таскать и класть тяжелые камни.

— Ты пойми, Филя, конюшня — это тот же дом! Лошадям в нем тепло и уютно быть должно! Разумеешь? И крепок дом должен быть! Ты, небось, свою избу не станешь так строить, чтобы через год перестраивать? То-то же! Вот, и хозяйскую копейку считай! Хозяйская копейка, небось, тоже не на ветер идет, а для вашей же пользы расходуется! И смотри, чтобы без воровства у меня! Ты меня знаешь, я ваш разбой тотчас примечу!

— Да как можно! Господь с вами! Все на совесть сделаем! — мужик перекрестился.

— Смотри! Если что, с тебя спрос! — старуха, наконец, заметила подъехавшего офицера. — Что вам угодно, сударь? — спросила своим резковатым голосом, смерив гостя изучающим взглядом.

— Я привез пакет для княгини Дашковой от Государя Императора! — ответил Ястребцов. — И желал бы видеть ее сиятельство!

Старуха протянула сухую руку:

— Ну так давайте его сюда, ваш пакет, подпоручик!

— Простите, но я должен передать его в руки самой княгини!

Грохнули орудовавшие рядом мужики, так и покатались со смеху. Чуть улыбнулась и сама старуха, оглядела свое перепачканное платье, пригладила седые пряди:

— Прощаю, подпоручик. Я и есть княгиня Екатерина Романовна Дашкова. Если не верите, то, вот, мои люди вам подтвердят.

— Не извольте сумлеваться, ваше благородие, она это, наша матушка-барыня, — смеялись мужики.

Опешивший Ястребцов протянул старухе пакет:

— Простите, ваше сиятельство, я никак не думал...

— Примите лошадь у Государева посланника, — крикнула княгиня. — А вы, сударь, пойдите со мною в дом.

Екатерина Романовна направилась к дому, не дожидаясь своего гостя.

— Не удивляйтесь, барин, — улыбнулся явившийся конюх, беря под уздцы лошадь офицера. — Княгиня-матушка никакого дела своими белыми ручками касаться не гнушается. Коров ли кормить, дорогу ли строить — за всем она, кормилица наша, догляд имеет.

Нагнав княгиню у крыльца, Дмитрий стал было вновь извиняться за свою оплошность, но Дашкова сразу прервала его:

— Полно, батюшка! Где вам узнавать меня! Меня бы теперь и прежде знавшие не узнали... Обождите, покуда я письмо прочту. Фекла! Фекла! Подай обедать подпоручику!

Ее второго явления Ястребцов ждал долее часа, отдавая должное поданному обеду, куда как кстати пришедшемуся после дальней дороги. За это время княгиня преобразилась. Локоны ее были тщательно завиты, истрепанный наряд сменило темно-зеленое бархатное платье.

— Как ваше имя, подпоручик? Наше знакомство вышло несколько скомканным.

— Дмитрий Павлович Ястребцов, — представился Дмитрий, лязгнув шпорой, и выпрямившись по стойке, точно перед ним был генерал.

— Вы знаете ли содержание привезенного вами письма?

— Его Величество поручил мне сопровождать вас в Петербург, ваше сиятельство!

— Прекрасно, — кивнула княгиня. — В таком случае хорошенько отдохните с дороги, мы выезжаем на рассвете.

За оставшийся день проведенный в Троицком, Ястребцов убедился, что конюх, принимавший его лошадь, не преувеличивал. Барыня, действительно, занималась всем и вникала во все... Троицкое было ее маленьким государством с тремя тысячами подданных, и им правила она со всею своею мудростью и деловитостью. Здесь все было продумано, устроено, отлажено, здесь никто не мог украсть ни полушки, потому что барыня вела счет всякой полушке, и ничто не могло укрыться от ее зоркого и требовательного взгляда. Когда находила эта удивительная женщина время, чтобы за всем этим заниматься сочинением музыки, написанием статей в заграничные журналы?.. Глядя на троицкое благоденствие, думал Ястребцов, что княгиня вполне могла бы руководить много большим, чем это имение. Например, губернией. Хотя бы своей родной, Калужской. А, может быть, и еще большим...

* * *

Несбыточные мечты иногда имеют обыкновение сбываться. Но страшно, какой счет предъявят они, сбываясь? Невзрачная девочка с книгой многое взяла у

жизни: прекрасного мужа, славу едва ли не руководительницы заговора, возведшего на престол Императрицу, дружбу, пускай и неверную, последней...

Платить пришлось дорого. Отдаление венценосной подруги, смерть маленького сына и, наконец, удар, от которого никогда не оправиться — смерть Михаила... Ее красавец-князь умер вдали от нее, в Польше, куда был послан с дипломатической миссией... Жизнь опустела. Однако же, в ней оставались еще долги: дети — явившийся на свет незадолго до кончины отца Паша и Катерина... Своему единственному наследнику Дашкова решила дать лучшее образование и для этого испросила разрешение на отъезд за границу. Началась многолетняя жизнь на чужбине...

Когда-то юная Катя, читая мудреные трактаты и поэтические сочинения любимых авторов, представляла свою встречу с ними. Ах, какие захватывающие были грезы! Какие увлекательные беседы рождались в богатом воображении! Даже споры! Кто бы мог подумать, что воображаемые Вольтер и Дидро обретут вдруг плоть и кровь, что она, невзрачная Катя, не знавшая университетов, будет... гостить у них, говорить с ними наравных...

— Ваша страна изувечена страшною язвою, княгиня. Рабство, в котором живет большая часть ваших граждан, это просто ужасно. Наши крестьяне, хотя и несут тяжкую долю, но являются, по крайней мере, свободными людьми, которые могут своею охотою уйти от своего хозяина и наняться к другому, или же вовсе переселиться в город. Отношение же к крестьянам в России истинно варварское!

Так говорил Дидро. Великий Дидро! Собеседник ее отрочества! Что ж, в отрочестве она, быть может, ловила бы всякое его слово. Но теперь перед ним сидела не восторженная 15-летняя Катя Воронцова, а женщина, многое пережившая и передумавшая. Нет,

она и теперь почитала учителей своего отрочества, но уже знала — они всего лишь люди, они также подвержены страстям и заблуждениям. И... Дидро может ошибаться. Да и как может он судить о делах русских, в России не жив и России не зная? Даже нечестно это со стороны почитаемого просветителя...

— Поскольку душа у меня не деспотична, я заслуживаю вашего доверия, — отвечала Дашкова. — В моем орловском имении мною установлено такое управление, которое, думаю, может сделать крестьян более свободными и счастливыми и в тоже время оградить их от притеснения мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы; помещик должен быть совершенно безмозглым, чтобы самому иссушать источник собственного богатства. Дворянство — так считают и крестьяне — служит посредником между ними и государством, поэтому в интересах самих помещиков защищать крестьян от лихоимства губернаторов и их чиновников.

— Однако, княгиня, вы не можете не признать, что, будучи свободными, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче.

— Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения производит только анархию и беспорядок. Когда низшие слои моих соотечественников станут просвещенными, тогда они будут достойны свободы, поскольку не смогут использовать ее во вред своим согражданам, не вознамерятся разрушить порядок и отказаться от повиновения, необходимого при любом правлении.

15-летняя Катя удивилась бы этим словам. Сколько мечтали они с великой Подругой о том, как избавят крестьян от позорного рабства! И, вот, обе принуждены были отречься от своих иллюзий. Ничего нельзя сделать

простым росчерком пера, всякое преобразование требует большой и кропотливой работы...

Дашкова знала, что Дидро ведет активную переписку с Императрицей, и в душе надеялась, что в своих письмах почитаемый философ найдет добрые слова и для нее. Ей все еще хотелось доказать своей великой Подруге, что та куда как недостаточно оценила ее роль и способности!

Это стремление не оставляло ее и в компании ферейского затворника Вольтера, в доме которого она гостила продолжительное время. Ученые беседы с философом сменялись прогулками и катанием на лодке в обществе его друга Гюбера, музыканта, поэта и художника. Лодка бороздила Женевское озеро под непременным русским стягом. Мессира Гюбера княгиня не без успеха учила русским песням, которые прекрасно исполняла сам.

Музыка — великая стихия, врачующая, вдохновляющая, переносящая в иные миры! Упоительно слушать и исполнять ее, но еще упоительнее — сочинять! По просьбе своей английской подруги, живя в Ирландии, Екатерина сочинила музыку и слова для приюта Марии-Магдалины, попечительницей которого была благородная леди...

В Англии она прожила долго, здесь в Эдинбургском университете учился ее сын, здесь служил послом ее брат, Семен Романович. Английский уклад жизни, как никакой иной, пришелся по душе Дашковой, однако, душа все больше тосковала о России.

Европа дала ей все. Бенджамин Франклин²² принял ее в Филадельфийское общество. Ей были открыты двери всех знаменитостей... Король Фридрих позволил ей присутствовать на параде в Берлине, а по окончании оногo — ко всеобщему изумлению — сам подъехал к ней и удостоил беседы. Такого Пруссия еще не ведала! А во

Франции княгиню милостиво приняли король Людовик и Мария-Антуанетта.

— Ах, как жаль, что у нас во Франции не принято танцевать после 25 лет! — сокрушалась хорошенькая королева, чья грациозность была создана для танца.

— Помилуйте, танцевать надо до тех пор, пока не откажут ноги! — воскликнула Дашкова. — Это куда полезнее карточных игр!

Эти слова русской путешественницы на другой день повторял весь Париж.

В Париже судьба вновь свела ее с Шуваловым, единственным русским, которого французская королева пригласила в круг своих приближенных, Сиреневую Лигу. Влияние Ивана Ивановича в европейских кругах и его дипломатический талант к тому времени были в достаточной степени оценены великой Подругой, и теперь он уже был не просто путешественником, но неофициальным агентом своей Государыни. Именно ему поручила она переговоры с Римским понтификом, проведенные им к полному удовлетворению желаний России.

В России же в ту пору пал главный враг Дашковой — Орлов. Теперь уже он без цели колесил по Европе, «поправляя здоровье» и ожидая падения своего счастливого соперника — Григория Потемкина. Увидев сына княгини, Пашу, прекрасного, как его покойный отец, ухмыльнулся:

— Представьте вашего отпрыска матушке! Бьюсь об заклад он займет место одноглазого Голиафа!

Екатерину Романовну брезгливо передернуло от этих слов. Не такой будущности желала она для своего единственного сына!

Образование Паши, меж тем, было завершено, и настала пора возвращаться в Отечество, дабы служить ему полученными знаниями...

Карета прыгала по ухабам, сотрясая хрупкое и уже не единожды бывшее в полушаге от смерти тело.

— Ваше сиятельство, не желаете ли вы отдохнуть? — заботливо осведомился подпоручик, заглянув в окно. Был он молод и свеж и странно похож на милого Пашу... Это сходство кольнуло материнское сердце. С сыном Дашкова не общалась уже несколько лет — с той поры, как без ее ведома он женился в Киеве на какой-то купеческой дочке, которую затем сам же и бросил, так и оставшись связанным напрасными узами... К чему был Эдинбург, лучшие педагоги? Мальчик предпочел наукам и трудам кутежи и карты, только успевала княгиня оплачивать его долги. Такою же выросла и дочь, ведшая разгульную жизнь с тех пор, как муж ее помешался. Видимо, и Гельвеций ошибался, утверждая равные от природы способности всех людей... Стоило бы понять это много раньше, хотя бы на примере «чертушки» Петра и Екатерины. Нешто же их способности могли быть от природы равны?

— Спасибо, подпоручик, я не устала. Мы отдохнем, когда стемнеет.

Весна — не лучшая пора для дальних странствий. Всю душу вытрясут русские дороги... Но Екатерина Романовна торопилась. Она желала, как можно скорее знать, зачем призвал ее молодой Император.

Последний царский посланник приезжал в Троицкое с тем, чтобы отправить ее в ссылку. Павел Петрович мстил всем, кто был причастен к свержению его отца. Он не мог отомстить матери и, вот, срывал злость своей раненой души на ее приближенных. Несколько месяцев жила Дашкова в крестьянской избе, экономя даже бумагу и убивая время рисованием ножом на деревянном столе. Рисунки можно было сколько угодно

раз сошкрябывать и рисовать что-то иное... Выручило заступничество Императрицы Марии и неожиданный, хотя и кратковременный, фавор сына.

С той поры Петербург словно забыл о существовании Дашковой. Да и она, обустроивая Троицкое, хлопоча о других своих имениях, нечасто обращалась мысленным взором к столице. Там уже не осталось ничего для нее дорогого, кроме памяти. Гробница воспоминаний и только... А для новых людей — кто она? Тень славного прошлого, на которую смотрят кто с любопытством, кто с почтением, кто с жалостью... Обломок великой эпохи, почти музейный экспонат. Но все же зачем-то вспомнил о ней внук великой Подруги, и это пробуждало в сердце любопытство. Она пережила четыре царствования, и даже взглянуть в глаза пятому монарху — будущему России, которое ей, старухе, уже не увидеть — будет интересно. Хоть бы он был достойным наследником своей великой бабки, как мечтала о том она сама!

— Много ли переменилось теперь в Петербурге?.. А, впрочем, вы еще очень молоды и вряд ли можете сравнивать...

— Вы давно не были в столице, ваше сиятельство?

— Шесть лет.

— Срок не столь уж большой.

— Сроки... определяют не минуты, а события.

Когда без малого 20 лет назад она возвращалась в столицу, то возвращалась — в свое время, в среду людей, которых знала и любила, под скипетр монархини, которой не переставала восхищаться, несмотря на обиды и огорчения. Однако, возвращаясь, Екатерина Романовна никак не могла предположить, что вновь сделается участницей переворота — но уже не в политике, а в науке.

— Я имею сообщить вам, княгиня, нечто особенное! Я назначаю вас директором Академии Наук, — это было

сообщено в разгар придворного бала, едва ли не на ухо, заговорщицки. Великая Подруга умела удивлять!

— Но, Ваше Величество, я не могу принять этого назначения! — воскликнула Дашкова.

— Это отчего же?

На мгновение княгине показалось, что ее возлюбленная правительница решила посмеяться над ней, и от этого слезы обиды подступили к горлу. Но Екатерина Романовна умела владеть собой.

— Ваше Величество, сам Господь Бог, создав меня женщиной, избавил меня от должности директора Академии Наук. Я невежда и никогда не мечтала попасть в научную корпорацию!

По тонким губам Императрицы скользнула ироничная улыбка: уж она-то точно знала, сколь амбициозная душа гнездилась в хрупком теле ее прежней наперсницы. Взяв Дашкову под руку, она отвела ее в сторону и сказала, как бывало в лучшие дни, с чарующей доверительной простотой:

— Меня ведь, Романовна, Бог тоже по образу Евы создал, но от престола не избавил. Может, скажешь, что неверно судил Создатель?

— Что вы, Ваше Величество! Вы знаете, как я предана вам!

— Знаю, поэтому и доверяю тебе такую должность.

— Но ведь это курам на смех! Чтобы невежда руководила Академией!

— Давно ли ты себя невеждой почла? Полно, Романовна, скромность никогда не была твоей добродетелью. Тебе там не ученые открытия делать должно! А организовывать работу ученых мужей наших с тем, чтобы как можно более пользы приносить могли они Отечеству. Можешь, когда угодно, хотя бы и ночью, обращаться ко мне по каждому делу, до Академии касающемуся, я буду тебе всячески помогать. Профессора наши нынче без жалованья сидят,

жалуются, что даже на покупку бумаги им средств не достаёт! Устала я от этих жалоб... Ты, я знаю точно, гроша себе не возьмешь. Разгильдяйства не попустишь. А это очень хорошие качества для управления. В том числе и святилищем наук наших. Наведи там порядок, сделай милость! — полная, мягкая рука легла на плечо княгини, и ей почудилось, что возвращаются далекие времена, когда в ночной тиши возлюбленная Государыня читала своей верной наперснице проекты своих будущих указов. И можно ли было обмануть это вернувшееся доверие?

— Я вся в вашей воле, Ваше Величество.

Если тебя, не умеющую плавать, бросили в реку, остается одно: барахтаться изо всех сил и... выплывать.

И Екатерина Романовна выплыла. Смешно, женщина, не получившая никакого образования, стала руководить Академией Наук... А вскоре добавила к ней и еще одну — Российскую Академию, задачей которой было заниматься не точными науками, но языком, словесностью.

— Будьте уверены, — обещала Дашкова при ее открытии, — что я всегда гореть буду беспредельным усердием, истекающим из любви моей к любезному Отечеству, ко всему тому, что всему нашему обществу полезно быть может, и что неусыпною прилежностью буду стараться заменить недостатки моих способностей... в помощи ж вашей надежду свою полагаю и тем самым желаю искреннее свое к вам почтение засвидетельствовать.

В новую Академию вошли Шувалов, Державин, Княжнин, Херасков, Фонвизин — цвет русского мыслящего и пишущего общества. Академия издавала первый литературный журнал «Собеседник любителей русского слова», а также научно-популярный журнал «Новые ежемесячные сочинения», составляла первый русский словарь. Шесть десятилетий потребовалось

некогда Академии французской, чтобы составить словарь французского языка. Академия, основанная Дашковой, под ее руководством справилась с составлением словаря русского вдесятеро быстрее — всего лишь за шесть лет.

В обе Академии княгиня постаралась внести дух творческого поиска и товарищества. Все сотрудники могли обращаться к ней со всяким вопросом. Екатерина Романовна определяла главные направления научных исследований, ориентировала членов Академии на использование достижений мировой научной мысли, направляла экспедиции в мало исследованные области России — на Кавказ, в Таврию... Дашковой удалось пополнить фонд академической библиотеки четырьмя тысячами книг, наладить обеспечение научного святилища иностранной литературой. Для работы с ней был учрежден институт переводчиков. Была значительно обновлена лабораторная база научных исследований, которую пополнила и коллекция окаменелостей, минералов и семян, собранная Дашковой во время заграничных путешествий. Площадь ботанического сада увеличилась в десять раз, химический и физический кабинет были оснащены новым оборудованием. Наконец, Академия обрела новый корпус, построенный архитектором Кваренги.

Академия пополнялась не только книгами и экспонатами, но и людьми. Ее почетными членами стали Франклин и Кант, ректор Эдинбургского университета Робертсон и другие европейские светила. С другой стороны, русские люди, интересующиеся наукой, стали присылать в Академию результаты своих опытов, свои находки, образцы минералов, обращались за получением доступа к документам для своих научных работ. Столь долго пребывавшее в небрежении и запустении святилище зажило, наконец, полнокровной и плодотворной жизнью.

Екатерина Романовна неустанно пеклась о развитии просвещения. Ею была возрождена ломоносовская традиция публичных лекций для детей бедных дворян, чиновников и военных, читаемых ведущими учеными. Было вдвое увеличено число учеников академической гимназии...

— Вот так, княгиня, тихонько, мало-помалу, и переменится все, и не только победный звон нашего оружия, но и красота языка нашего, и гений народа русского будет вызывать восхищение Европы... «Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать»²³, — говорил, ласково улыбаясь, Шувалов.

Дашковой не хотелось «тихонько», не хотелось «мало-помалу», она изо всех сил торопилась сделать былью мечту, которой оба они жили с давних пор, которой служили истово и самозабвенно.

13 лет Екатерина Романовна стояла во главе Академии. Велик был труд, велико и счастье созерцать плоды его. Счастью этому положила конец новая опала. Великой Подруге донесли будто бы в напечатанной Дашковой трагедии почившего Княжнина звучат идеи противомонархические, антигосударственные, и напуганная французской революцией Императрица велела злосчастный номер изъять и сжечь. Доводов Екатерины Романовны слушать она не стала. Такое недоверие к себе, подозрения от той, кому служила она верой и правдой, княгиня терпеть не могла и испросила отпуск для поправки здоровья. Великая Подруга удерживать ее не стала...

Дашкова уехала в Троицкое, а через несколько месяцев ее возлюбленной Императрицы не стало. Это был второй страшный удар в ее жизни. После первого — смерти мужа — на долгое время отнялась у нее левая сторона тела. Второй едва не отправил ее на тот свет, и

три недели была она на волоске от смерти. Несмотря на все обиды и размолвки, Екатерина Романовна в глубине души оставалась все тою же юной Катей, «рыцарем своего сюзерена», боготворившей свою Подругу и готовой, не задумываясь, идти ради нее на плаху. И лишиться этой Подруги было великим горем, невосполнимой потерей...

Еще через год не стало Ивана Ивановича, друга, брата по духу, наставника, соратника... Мир пустел, великая эпоха угасала, уступая место иной. Есть ли ей, Екатерине Романовне, место в ней?

Забилось волнением сердце, когда на горизонте показался такой знакомый и такой чужой теперь Петербург. Дашкова ехала по его ровным, прямым улицам и ловила себя на странном чувстве: улицы были полны людей, но ей казалось, будто бы она одна, будто бы они не видят ее, а она движется меж ними, как призрак самой себя.

То же было и в Зимнем. Она шла по до боли знакомым коридорам, лестницам, залам, ее приветствовали придворные, среди которых изредка попадались знакомые лица, она отвечала им тем же... Но вновь то же чувство томило ее: будто бы все эти люди декорация, будто не настоящие они, или же сама она — не настоящая. Словно бы этой чей-то сон, в который неведомым образом попала она, будучи ему чужой.

Молодого Императора Екатерина Романовна помнила еще совсем мальчиком. Солнцеголовый, синеглазый херувимчик, любимый внук своей бабушки, теперь был он прекрасным юношей, внешняя привлекательность которого дополнялась галантностью, которая дала бы фору английским лордам.

— Дорогая княгиня! Как я счастлив и благодарен вам, что вы столь быстро откликнулись на мое

приглашение! Не слишком ли тяжела была для вас дорога? — Государь самолично предложил своей гостье кресло и, усадив ее, расположился напротив.

— Не беспокойтесь, Ваше Величество, я прекрасно добралась и спешу благодарить вас за честь, которую вы оказали мне, вспомнив о моем существовании.

Подали кофе. Царственный херувим любезно расспрашивал княгиню о ее жизни в Троицком, с большим воодушевлением говорил об Англии, узнав о том, что у Екатерины Романовны гостят сестры-англичанки, дочери ее старой подруги. Затем поведал о своем желании открыть учебное заведение, лицей — для дворян, с тем, чтобы готовить для России будущих просвещенных чиновников. Эта идея в свою очередь вызвала горячее воодушевление Дашковой.

Наконец, после светской беседы, которую Император по-видимому полагал необходимой по правилам хорошего тона, он объявил о причине, по которой призвал сподвижницу своей великой бабки ко Двору.

— Я хотел бы, княгиня, чтобы вы вновь заняли место директора Академии Наук. Точнее, этого хочу не только я, но и сами академики. На своем заседании они единодушно проголосовали за вашу кандидатуру, отдавая должное вашим трудам на благо русской науки, и просили вернуть вас. Согласитесь ли вы принять этот пост?

Сердце Дашковой так и подскочило от радости, и едва не вырвалось из груди упоенное:

— О, конечно, Ваше Величество! Я готова хоть теперь приступить к моим обязанностям!

Не монаршая милость переполнила душу Екатерины Романовны блаженством, но признание ее заслуг членами Академии. Стало быть, права оказалась премудрая Подруга! И она, Дашкова, хотя и не имея образования, не зная по-настоящему ни одной науки,

достойно справилась с возложенным на нее делом, не став посмешищем в роли начальницы над учеными мужами! Милость монархов продиктована бывает разными обстоятельствами, но признание ученого сообщества беспристрастно. И оно было выше всех орденов, любых наград...

Сердце забилося ровно, в голове прояснилось. Необдуманная фраза осталась задушенной в горле. Помолчав несколько мгновений, Екатерина Романовна заговорила негромко, взвешивая каждое слово:

— Ваше Величество, я безмерно благодарна вам за доверие. Однако, не могу ответить согласием. Страшно упустить свой час, но скверно и не заметить его завершения. Свои часы, коих было в моей жизни два, я не упустила. И в свое время сделала для Академии все, что могла. Теперь я стара и принадлежу ушедшей эпохе. И уже вряд ли могу сделать что-то еще. Сегодня мне благодарны и меня призывают, и это дает блаженное успокоение моей душе от сознания, что труды мои были не напрасны. Однако же я вовсе не хочу дожидаться времени, когда сделаюсь предметом насмешек, когда вместо благодарности в мой адрес раздастся брань. Нужно знать свое время, Ваше Величество, и уходить вовремя.

— Знать свое время и уходить вовремя... — задумчиво повторил Император. — Быть может, вы и правы, княгиня... Это ваш окончательный ответ? Помнится, моей бабке вы сперва также отказали, но она смогла вас переубедить.

— То была ваша бабка! — с чувством воскликнула Дашкова.

По пригожему лицу промелькнула едва заметная тень. Да, это было не слишком тактично — дать понять юному Царю, что ему еще куда как далеко до своей великой предшественницы. Но что поделать! Екатерине

Романовне никогда не удавалось быть дипломатичной. Все же сгладила напоследок бестактность:

— Я уверена, Ваше Величество, что под вашим скипетром в России настанет тот расцвет просвещения, о котором мечтала, и для которого трудилась все свое правление Екатерина!

Россия вступала в новый век... А на век «Екатерины Маленькой», как в шутку прозывали ее в дни заговора, достало взлетов и опал. Ее место теперь — в любимом Троицком, где она «маленькая царица», в «царстве» которой царит достаток и трудолюбие, и нет места лихоимству. Это идеальное «царство» выстроила она сама, и лишь одно угнетало душу: не с кем разделить его, не с кем разделить радость...

Покинув Зимний, княгиня нанесла еще один визит — в Благовещенскую церковь Александро-Невской лавры, где обрел последний приют Иван Иванович Шувалов. «Рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, честям и знатности», — вспомнились его слова.

— Хотела бы я, Иван Иванович, то же о себе сказать, да не посмею. Ибо мое самолюбие всегда паче всех иных страстей было... Но сегодня вы одобрили бы меня, неправда ли? Быть чучелом среди этих юношей, что теперь окружают Государя, ждать пока выгонят прочь за непонимание новых мод, идей и веяний. Зачем? Им жить, им и строить... Авось и построят? Худо только, что говорить на родном языке они брезгуют. Уж мы-то все как старались по-русски лишь говорить — в России, в доме своем! И матушка наша — первая. А ныне то английский слышу, то французский. Будто бы умнее они себе кажутся от того, что родным языком пренебрегают!

Тихо оплывал воск тепло яснеющих свечей. Тихо катились слезы по морщинистым щекам.

— Ну, ничего, ничего. Пройдет и эта блажь... Блажь пройдет, мы уйдем, а дело рук наших, сердец наших — останется. Ваш Университет да моя Академия... Это уж не сгинет никуда, а преумножаться будет, чтобы ни было. Настанет время, когда народ наш просвещен сделается в земле своей, и язык наш восславится лирами поэтов наших так, что честью станет говорить на нем. Всему свой срок... Все устроится... Тихонько. Мало-помалу.

**На путях к русскому веку
(Александр Строганов и
Андрей Воронихин)**

Строгановы — эту фамилию носить, пожалуй, и повыше баронского и иного другого, кроме разве что царского, титула честь. Куда как повыше... Баронов-то пруд пруди, а Строгановы — одни. Из поморских земель вышедшие, крепкие и деловитые, они стали известны еще при Василии Темном, деньги на выкуп которого из плена дал Лука Кузьмич Строганов. Тесно было предприимчивым и основательным Строгановым на старой Руси, усобицами и набегами разоряемой. И пошли они в земли необжитые, пустые, полудикими племенами населенные. Федор Лукич, что потом инокество принял, основал солеварный промысел в Соли Вычегодской, с того и пошел расцвет и края, прежде неприятного, и фамилии...

На Урале возводили Строгановы города и крепости, развивали рыбные, охотничьи, рудные промыслы и земледелие, силами ратных людей своих, что дозволил им держать грозный царь Иоанн, присоединяли к России новые пространства. Вся Сибирь, что Ермаком и людьми его, на службе у Строгановых состоящих, покорена была — не их ли, Строгановых, дар любезному Отечеству?

Кама, Tobол... Что было здесь до Строгановых? Дикий край... А ныне — кипит жизнь! Заводы работают, земли возделываются... Царю Петру Алексеевичу для пушек, для защиты пределов российских и расширения их железо надобно было, Строгановы наладили добычу, построили заводы. Не впервой было выручать им самодержцев российских в их военных и иных предприятиях, и в дни Смуты, и в последующие войны щедро помогали они и казной, и ратными людьми.

Великий Петр в благодарность за то пожаловал Строгановых баронскими титулами.

Все эти славные страницы родовой летописи вставляли в памяти графа Александра Сергеевича Строганова во время поездки по своим пермским владениям. Несколько лет не бывал он здесь, по кончине первенца-дочери уехав с безутешной супругой в путешествие по Европе, а ныне настала пора доглядеть хозяйским взором, как спорится дело, да как живут податные люди. Это, последнее, немало заботило графа, желавшего, чтобы его крепостные жили достойно, не терпя нужды и притеснений. Вот и теперь, слушая доклады сопровождавшего его управителя, Александр Сергеевич не преминул напомнить о главном:

— Во всех твоих предприятиях и расположениях помни, Яков Федорович, что ты сердцу моему ни спокойствия, ни сладкого удовольствия принести не можешь, когда хотя б до миллионов распространил мои доходы, но отягчил бы чрез то судьбу моих крестьян. В таком случае приказываю тебе всегда предпочесть моим выгодам выгоды тех людей, коим я должен и хочу быть более отцом, нежели господином.

— Помилуйте, ваше сиятельство, батюшка, — пытался возражать Яков, — да ведь при таком отношении народец разболтается, дерзок сделается и ленив! Да и вашему состоянию урон случиться может!

— Ничего, состояние наше велико и крепко достаточно, чтобы не быть для наших людей жестокосердными тиранами и кровопийцами. Мы ведь, Яков Федорович, за них перед Богом в ответе. Дерзки, говоришь, станут? Значит, простим, обиды забывать надо... Воспитывать же надлежит не страхом, но прибегая к чувствам любви родительской... А, главное, иметь сердце открытое к бедствиям вдов и сирот,

угнетенных бедностью. Если какое семейство кормильца лишилось, так о нем прямой наш долг позаботиться. Вот, тогда и будет благоденствие в наших имениях.

— Воля ваша, батюшка Александр Сергеевич, да только уж больно вы ко всякой твари добры и снисходительны. Прощение и любовь родительские — оно, конечно, дело божеское, а только иноредь и розга, и даже кнут требуются. Даже и в родительских руках! А без того ведь одно пороку поощрение выходит!

Яков еще при деде службу начинал и знал Александра Сергеевича с детских лет, потому говорил, не чинясь, хотя и не договаривал... Угадал Строганов в словах верного управителя намек на совсем иную доброту и снисхождение, к крестьянам отношения не имеющие. То самое снисхождение, что отчасти и привело теперь его в Пермский край в поисках забвения обиды и успокоения отягощенного горечью сердца.

Один из первых вельмож Империи, хозяин необъятных вотчин и наследник огромного состояния, друг самой Государыни и французских философов, Александр Сергеевич, всегда остроумный, обходительный, мгновенно становящейся душой всякого просвещенного общества, мог считаться истинным счастливецом и баловнем судьбы, если бы не одно: женщины! Эта самая загадочная из существующих субстанций оставалась вне его понимания...

Первая жена Строганова, графиня Воронцова, будучи привержена, как и ее отец, Императору Петру Третьему, не простила мужу приверженности Екатерине и ушла от него в родительский дом. Попытки развестись ни к чему не привели, и свободу для нового брака Александр Сергеевич получил, лишь став вдовцом. Его новая избранница, княгиня Екатерина Петровна Трубецкая, родила ему сына Павла и дочь

Наталью и... сбежала в Москву с любовником — бывшим фаворитом Императрицы Корсаковым. Не желая умножать скандал и щадя малолетнего сына, Строганов не стал искать развода, напротив подарил неверной жене дом в Первопрестольной, подмосковное имение и щедрое содержание. Эта-то графская снисходительность и точила теперь управителя куда больше, чем его доброта к крестьянам. Александр Сергеевич понимал это так же хорошо, как Яков угадал, что граф приехал в свою вотчину не только по хозяйственным нуждам, но и отвлечься от того позора, который навлекла на него жена. Ведь столько лет прежде не наведывался он сюда...

Возвышение, вхождение в придворный круг немало отдалили Строгановых от их заводов, порученных заботам управителей. Уже отец графа, барон Сергей Григорьевич, проживал исключительно в столице, занимался благотворительностью, помогая нищим и убогим, поддерживал искусства... Даже предсмертное завещание свое старик оставил в стихах:

Смотри, чтоб жребий мой душе твоей достался.
Старайся обращать, как сыны, все благие
Учения плоды на пользу всей России,
Священным музам, друг, во всем ты верен будь.

И Александр Сергеевич всецело следовал родительской воле. Предметом особого попечения его были крестьянские школы. Строганов был убежден, что дети крепостных должны учиться грамоте и ремеслам, а потому открывал для них школы и художественные мастерские, убеждал в необходимости оных других землевладельцев.

Ныне Яков Федорович не без гордости показывал графу, что успелось сделать со времени его последнего приезда. И радовалось сердце Александра Сергеевича, видя опрятных детей, прилежно набирающихся знаний, которые непременно пригодятся им в их будущей жизни и позволят улучшить эту жизнь.

После полудня приехали в село Ильинское, где при расположенном неподалеку Тыскорском монастыре организована была иконописная мастерская Гаврилы Юшкова. Гостей низкими поклонами встречал сам мастер, а за его спиной толпились, с любопытством глядя на барина, и пестуемые им отроки.

— Ну, Гаврила, — заговорил Яков, положив руку на плечо мастеру, — порадуй барина питомцев твоих успехами! Много ли богомазов воспитал?

— Извольте посмотреть, ваше сиятельство, — с поклоном отозвался Юшков, — мы выставили для вас лучшие работы наших учеников.

Пройдя в мастерскую, Строганов с неподдельным вниманием осмотрел каждую из представленных работ: радостью наполнилось сердце от того, сколь богат народ русский талантами, и что удалось те таланты найти, раскрыть, дать им возможность проявить себя и в дальнейшем служить Богу и людям ими, а не зарыть их в землю...

Иконы, резные и расписные предметы церковной утвари...

— А это?..

Остановился Александр Сергеевич перед единственным в этом собрании исключительным произведением — весьма искусственно выполненным макетом храма.

— А это, ваше сиятельство, — просиял Юшков, довольный, что граф обратил внимание на гордость всей его выставки, — будущая церковь села Ильинского! Андрюша Воронихин своими руками

сделал! Золотые руки у парня! Андрей, подойди-ка! — позвал мастер любимого ученика.

Из рядов отроков выдвинулся высокий, худощавый юноша с живым, умным лицом и мягкими серыми глазами. Все это время он держался несколько поодаль, пропуская вперед, ближе к высокопоставленному гостю, младших.

— Вот, узнаете, ваше сиятельство? — улыбнулся Юшков. — Это же вы когда-то, в прошлый приезд свой, в нем искру Божию различили и учиться изволили отправить.

Память Строганова не подводила никогда, и он быстро вспомнил мальчонку из соликамского села Новое Усолье, что знатно рисовал углем. Когда Александру Сергеевичу показали его рисунки, он распорядился отправить юного художника в Ильинское, обучаться иконописному мастерству. А отрок-то, пожалуй, скорее не в Рублевы, а в Растрелли метит... Ведь никто здесь зодческому делу не учил его, а руки и глаз верный сами подсказали ему, что и как должно делать. Талантливый самоучка! Такие однажды составят славу России, дайте только подняться им, набраться знаний, отшлифовать умение...

— Ну, здравствуй, крестник, — граф улыбнулся Андрею. — Вижу, не ошибся я в тебе, и недаром для тебя прошли эти годы.

— Век Бога буду молить за вас, ваше сиятельство, — с поклоном отвечал Воронихин.

— У тебя несомненный талант к архитектуре, — задумчиво сказал Александр Сергеевич, бережно поворачивая в руках макет и изучая его глазом знатока. — Но здесь ты не сможешь развить его. Зодчих в наших мастерских еще не обучают, слишком редкий товар... Поедешь в Москву. Будешь учиться зодческому искусству у Баженова и Казакова. Сперва будешь подмастерьем, а там, кто знает... Что-то мне

подсказывает, что я не ошибаюсь в тебе и теперь, и ты еще возведешь что-то гораздо более славное, чем деревенская церковь.

Когда Андрей, задыхаясь от восторга, ворвался в дом, мать сплеснула руками:

— Да что с тобой, свет мой? Ты как в горячке весь!

— Матушка! Матушка милая! Я в Москву еду! В Москву! — воскликнул Андрей, обнимая мать.

Он и сам еще не верил своему счастью, которое буквально пьянило его. Но почему бы и нет? Ведь однажды это счастье уже являлось ему в том же прекрасном облики...

Андрей, конечно, много лучше графа помнил тот знаменательный день, когда тот впервые изменил его жизнь. Тогда в избу, где он пытался что-то вылепить из глины, вбежал запыхавшийся отец:

— Андрюшка, идем скорее! Барин тебя требует! — и не дожидаясь, пока сын опомнится, схватил его за руку и потащил следом за собой. Мать лишь успела на ходу отряхнуть и оправить на мальчике рубаху да набросить ему на плечи зипун.

Барин встретил Андрюшу с большой ласковостью. Ласка, казалось, вообще была частью его натуры, она так и струилась из глаз его, ею освещалось его тонкое, замечательно красивое, благородное лицо с мягкой, открытой улыбкой. Александр Сергеевич был высок ростом и тонок в кости, каждое движение его было исполнено изящества. Андрюше по малолетству показался он тогда сказочным Иваном-царевичем, полубогом, чем-то неземным, чем-то несоизмеримо возвышенным. Им хотелось просто любоваться, просто греться в солнечных лучах его внимательных глаз и ласковой улыбки...

— Это твои рисунки, Андрюша? — и голос барина был таким же теплым, ласковым, как и облик его. — Ты

большой молодец. Я хочу, чтобы ты не бросал этого занятия, но совершенствовал свой талант, учился.

Вот тебе на! А отец-то бранился всегда, застав сына за рисованием или лепкой! Говорил, что простому крестьянину это все без надобности, и нечего зазря время расходовать, а лучше бы родителям помог! Мать неизменно вступалась за мальчика, а с нею — отец Никита, приносивший ему бумагу, на которой Андрюша, высунув язычок от старания, выводил сюжеты из Писания. Эти-то рисунки отец Никита и показал заехавшему в село барину, зная, что тот имеет большое попечение об образовании крестьянских детей и обо всяческих талантах.

— Поедешь в Ильинское, учиться иконописному мастерству у Гаврилы Юшкова.

— Батюшка, а как же он один там будет? — робко спросила мать, испугавшаяся разлуки с единственным сыном. — Он ведь мал еще совсем...

— Молчи, Пелагея, — строго оборвал ее отец. — Барин великую милость явил семейству нашему!

— Зачем же один? — словно из высот недостижимых мягкий голос раздался. — Вы поедете вместе с ним. Ильинское — село большое и богатое. Так ведь, Яков Федорович? Будете жить там.

— Батюшка-милостивец! — мать повалилась барину в ноги. — Век за тебя Бога молить будем!

Барин как будто смутился таким горячим изъявлением признательности. Он не любил, когда ему падали в ноги, лобызали руки, считая это обычаем варварским. Потрепав по голове Андрюшу, Александр Сергеевич напутствовал его:

— Учись прилежно! Я хочу быть уверен, что не ошибся в тебе!

И Андрюша учился! Все эти годы он познавал искусства, насколько возможно это было в Ильинском, а к тому читал все книги, которые возможно было

достать. Но возможностей в пермском селе было весьма немного... В мастерской Юшкова он был первым учеником и гордился этим не от тщеславия, а от того, что оправдывал тем самым доверие своего благодетеля, что благодетель не ошибся в нем. И так хотелось, чтобы тот узнал об этом! Но слышал Андрюша, что барин путешествует где-то за границей, а, значит, никак не узнать ему об успехах отмеченного им отрока. Да и нужно ли ему это? Мало ли таких облагодетельствованных им... И все-таки таилась мечта снова увидеть Александра Сергеевича. Хоть пошел Андрею восемнадцатый год, а так и сохранилось в нем то детское восприятия барина, как сошедшего с неба ангела.

И вдруг стало известно, что ангел-барин едет в Ильинское! Так и возликовало сердце! Ждал Андрюша гостя важного пуще всех в мастерской, хотя и виду не показывал, и смиренно стоял позади других, когда прибыл Александр Сергеевич. Графу шел уже сорок пятый год, но прошедшие лета почти не изменили его облика. Он стал лишь еще более утонченным. Да вот еще печаль то и дело примешивалась к по-прежнему струящемуся из ясных глаз свету. Что-то томило этого прекрасного человека, что-то незримой чужим кладью лежало на его благородном сердце...

И снова он отметил Андрюшу, почти все повторилось, как в тот, первый раз!

Мать так и упала на лавку при сыновнем известии:

— Ах ты, Господи, а мы-то с отцом на кого останемся?

А отец, последнее время прихваровавший, уж кряхтел, с печи слезая:

— Экая, мать, ты дура у нас! Сына твоего барин-милостивец не куда-нибудь, а в самую Москву посылает разума набираться! Человека из него сделать хочет, в люди вывести! А ты реветь! Радоваться надо, Пелагея

Ивановна, и Бога благодарить, что так он многощедр к нам! — с этими словами отец, с годами помягчевший сердцем, обнял мать, и та, всхлипывая, согласилась:

— А я радуюсь, Никифор Степанович, от радости и плачу.

Андрей опустился перед матерью на колени и приник губами к ее натруженным, шершавым рукам:

— Благословите, матушка! И вы, батюшка, также!

Перед глазами его уже стояла, наполняя сердце ликованием и невольным страхом, Москва! Никогда им не виденная, но непременно прекрасная! Белый город со множеством церквей, как описывали его выдавшие или слышавшие рассказы о ней. Царственный город! Первопрестольный! Юный зодчий чувствовал, что решилась его судьба, и сладостно замирала душа в ожидании: что-то сулит она ему? И не ошибся ли в нем батюшка-барин?

— К оружию, граждане! Тиран не должен оставаться в Версале! Осиное гнездо аристократии должно быть разорено! Тиран должен быть в руках народа, иначе аристократы вновь возьмут власть над нами и уничтожат нас!

— Верно! На Версаль! На Версаль!

Эта речь была очень похожа на ту, что несколькими днями назад произнес журналист Камиль Демулен: «Граждане! Время не терпит; отставка Неккера — все равно что набат Варфоломеевской ночи для патриотов! Сегодня вечером все швейцарские и немецкие войска выступят с Марсова поля, чтобы нас перерезать! Нам остается один путь к спасению — самим взяться за оружие! К оружию!» После этого толпа парижан, возбужденная отставкой первого министра и концентрацией вокруг города войск, явно грозящих разгоном Национального собрания, ринулась на штурм Бастилии... Этот мрачный символ, в чьих казематах некогда томились многие именитые узники, ныне практически не использовался. В легендарной тюрьме не содержалось и десятка заключенных, да и те не имели отношения к политике. Однако, крепость была важным стратегическим укреплением, и ее пушки были направлены на Сент-Антуанское предместье, что весьма не понравилось местным жителям.

Гарнизон Бастилии составляли инвалидная команда из 82 ветеранов и 32 швейцарца. Штурмовать цитадель пришла вся парижская чернь, спешно записывавшаяся в создаваемую для защиты Национального собрания национальную же гвардию... Эта-то толпа, разграбившая по дороге склады с оружием и захватившая пять пушек в Доме Инвалидов, и взяла

штурмом крепость. Ее коменданта, трех солдат и трех офицеров растерзали по дороге в ратушу. Их отрубленные головы насадили на пики и носили по городу в качестве победного трофея... И чем, спрашивается, нравы просвещенного европейского города, признанного центра культуры, отличаются от азиатских?..

А теперь какая-то женщина с безумно горящими глазами, в красной амазонке, в огромной шляпе, с саблей и двумя пистолетами на поясе, стоит на барабане, ставшем ей импровизированной трибуной и к восторгу толпы зовет ее на штурм Версаля...

— Кто это, месье Ромм? — Попо, восхищенно смотрящий на ораторшу, дергает за рукав своего наставника.

— Это Теруань де Мерикур! — гордо отвечает Ромм. — Актриса и член нашего общества!

Актриса... Что ж, понятно, актриса играет роль жрицы революции. Но ее игра будет оплачена кровью, и это никого не волнует. В том числе Ромма и Попо... В последнее время Андрей переставал понимать своих спутников. Ему, вчерашнему крепостному, совсем не по сердцу были ни кровавые расправы, ни митинговые речи, ни все то происходящее, что обращало прекраснейший из городов в бедлам. Что же может прельщать в этом графского сына, аристократа и богача? Ведь все эти граждане мечтают расправиться именно с такими, как он, как его отец... Что бы сказал Александр Сергеевич, увидев сейчас своего сына?

Мысль о благодетеле еще больше смутила душу Андрея.

Несколько лет тому назад Строганов приехал в Москву. К тому времени Воронихин уже два года обучался в Первопрестольной зодческому ремеслу, руководимый такими гениями, как Баженов и Казаков, отличавшими способного ученика и доложившими о его

успехах графу. Александр Сергеевич, ознакомившись с работами своего подопечного, обнял его и сказал со своей обаятельной улыбкой:

— Не ошибся я в тебе, «крестник»! Ну, что ж, раз здесь ты справился, то и в столице будешь хорош. Мой отец, Царствие ему Небесное, начал строить дворец, пригласив из Италии самого Растрелли. Дворец уж возведен, но над его отделкой должно еще много работать. Для тебя это будет хорошим опытом!

При имени великого итальянского архитектора сердце Андрея гулко забилося. Работать во дворце, построенном таким гениальным мастером! Во дворце самого благодетеля! Может ли быть доверие больше? Он хотел по крепостной привычке поцеловать руку барина, но тот опередил его, положив обе руки ему на плечи:

— Ты не холоп, а зодчий. И учись вести себя, как зодчий с тем, чтобы прочие видели в тебе то, кто ты есть на самом деле, кем создал тебя Господь Бог.

— Бог создал меня крепостным...

Строганов покачал головой:

— Бог создал тебя зодчим. А все прочее устанавливают люди, а не Бог... И, поскольку в твоём случае, право подобных установлений принадлежит мне, то отныне ты более не крепостной, а свободный человек. Вольная твоя уже подписана. Надеюсь, свобода не вскружит тебе голову, и ты не обратишь ее к худу, забросив учение.

— Ваше сиятельство, если прежде я учился и работал, как крепостной, то отныне буду работать, как свободный человек — то есть вдвое усерднее, — с поклоном ответил Воронихин.

— Достойный ответ, хвалю! — одобрил граф.

Его доверие к Андрею оказалось много больше, чем тот мог ожидать. Заботясь об образовании молодого зодчего, Александр Сергеевич определил его постигать

науки и искусства вместе со своим сыном Павлом, Попо, как называли его близкие. Вместе исколесили они сперва Россию, от Тавриды до Архангелогородчины и Олонецкой губернии, а затем направились в Европу...

Попо был много младше Андрея, но ни лета, ни разность положения не помешали искренней дружбе, которая сложилась между ними. Юный Строганов лишь начинал постигать науки. Его наставник, француз Жильбер Ромм, следуя педагогике Руссо, считал, что обучать отроков наукам надлежит не ранее 12 лет. Поэтому до сего возраста единственное, что Попо знал превосходно, это Священное Писание, а потому был весьма религиозен. Кроме этого Ромм требовал от своего воспитанника строгого аскетизма, умеренности во всем. Почтенный ментор регламентировал даже кушанья своего питомца. Таким образом ко времени прибытия во Францию 17-летний Строганов был еще чистейшим ребенком, к которому Андрей относился, как к любимому младшему брату, всячески заботясь и опекая его.

Но парижская жизнь изменила Попо. Он как-то разом повзрослел, отстал от наук и почувствовал вкус к неизведанной доселе свободе. Это было, конечно, влияние Ромма... Француз также преобразился. Неказистый, медлительный, говоривший монотонно, он был теперь весь — движение, весь — порыв, весь — огонь! В сущности, оба они были точно в лихорадке. Вместо постижения наук наставник и ученик проводили все время на заседаниях Национального собрания, занимая места на трибуне, на которой собирались самые радикальные зрители, поддерживавшие возгласами с мест любимых ораторов. Пару раз и Воронихин ходил с ними, но никакого удовольствия в подобном времяпрепровождении не нашел. Базарный день да и только...

Для Андрея Париж был городом искусств и мастеров, секретами которых мечтал он овладеть. А потому все дни проводил он, изучая дворцы и галереи, прогуливаясь в парках и просиживая за книгами в библиотеках. Все было прекрасно в прекрасном городе, кроме одного — ритма жизни. Все французы жили в каком-то лихорадочном нетерпении, непрерывной суете: бежали, а не шли, тараторили, а не говорили. Какой контраст с тою же степенной Германией! С вечным Римом! Куда так спешили эти люди, расталкивая друг друга, не успевая договорить, а, пожалуй, и додумать собственной мысли?

Теперь они спешили в Версаль, предводительствуемые заигравшейся артисткой... Спешили преимущественно женщины, вооруженные пиками, вилами, ружьями... И сжималось сердце при мысли о королевской семье. Эта несчастная семья уже жила, точно в плену. Воронихин однажды посетил собор Святого Людовика, в котором молились Августейшие особы. Церковь была наполнена праздною публикой, и молились здесь лишь королевская семья и их приближенные, а прочие шушукались: одни сочувствуя венценосцам, другие, напротив, злорадствуя и насмехаясь... А они, венценосцы, точно не слышали этого, точно находились вне всего окружающего их, обращенные единственно к Богу. В этом было величие и истинная высота духа. И Андрею было нестерпимо жаль этого несколько неуклюжего короля, добряка по виду, эту исполненную скорби королеву, такую хрупкую и прекрасную, их несчастных детей, особенно маленького дофина, еще не понимавшего, какие тучи сгущаются над его льняной головкой.

Национальное собрание желало изменить строй, принять конституцию, по сути, совершить переворот. Король попытался защититься... Но у него ничего не вышло. И, вот, чернь по камню разносит Бастилию,

пляшет и пьет вино в ее стенах, а толпа озлобленных баб идет штурмовать Версаль — эту дивную жемчужину архитектурного искусства! А украшенные зелеными революционными кокардами Попо и Ромм приветствуют это... И тоже кричат что-то антитираническое. И плывет над всем этим безумным спектаклем уже заученное всеми патриотами:

Вперед сыны отечества,
День славы пришел!
Против нас тирании!
Кровавое знамя поднято,
Договоритесь в наших кампаниях.
Мычат эти жестокие солдаты?
Они идут в ваши руки.
Резать ваших сыновей, ваших подруг!

К оружию граждане,
Создавайте ваши батальоны!
Марш, марш!
Чтоб нечистая кровь
Напоила наши поля.²⁴

— Брат Андре, как я рад, что ты дома! — Попо, едва перешагнув порог, бросился на шею Воронихину. — Король уже в Париже! В Тюильри! Он пошел навстречу требованиям патриотов! Версаль опустел!

Андрей мысленно посочувствовал королю и Версалью, но не стал высказывать свои мысли вслух.

— Сегодня вечером Ромм назначил большое собрание «Общества друзей закона»! И мы пойдем на него!

— Прости, Попо, но вечером я предпочел бы позаниматься живописью. Ты же знаешь, что политические страсти не увлекают меня, — отозвался Воронихин.

— Андре, душа моя, — Строганов развалился на диване и наполнил вином бокал, — я не понимаю, как ты можешь оставаться таким холодным, когда все кипит?

— Что же хорошего в кипении? Рано или поздно, оно приведет к пожару, а пожар — препаршивая вещь. И я бы вовсе не желал быть его созерцателем, а тем более сам оказаться в горящем здании. В нашей деревне однажды был пожар. И что ж доброго? Несчастные погибшие, несчастные погорельцы, уничтоженное хозяйство...

— Да причем тут твоя деревня, право! — Попо сделал несколько глотков вина. — Народ борется за свою свободу, разве ты не понимаешь? Какая великая, победительная, удивительная стихия! Ведь ты художник! Неужели тебя не волнует и не восхищает стихия?!

— Везувий может быть прекрасен, но когда его лава погребает под собой города и веси с живущими в них — то что хорошего в такой стихии? Шторм тоже может быть живописен, когда стоишь на берегу, но что хорошего, когда он поглощает корабли с их командами и пассажирами?

— Как ты не можешь понять... — поморщился Строганов. — Ведь здесь идет борьба за идеалы справедливости и гуманизма! За то, что проповедовал Руссо, Вольтер и другие!

— Что-то я не помню, чтобы Руссо проповедовал насаживание голов на пики, и не знал, что наш Пугачев был борцом за светлые идеалы гуманизма.

— Пугачев был бунтовщик! — воскликнул Попо.
Воронихин невольно рассмеялся:

— А Демулен и прочие, зовущие на борьбу с тираном?.. Милый Попо, представь себе, что на заводах твоего отца поднялось бы восстание. Как бы тебе это понравилось?

— А зачем нашим людям восставать? Мы же их не притесняем, напротив, всячески заботимся, — развел руками Строганов. — Нет, ты просто не понимаешь, о чем говоришь... Ты... слишком увлечен своим искусством!

— Твоя правда, мое дело — искусство, а не политика.

— И все же сегодня ты пойдешь со мной! Я так хочу!

— Слушаюсь, барин, — поклонился Воронихин. — Но не вырождаетесь ли вы в тиранию? Может, и мне начать бунтовать?

Попо легко вскочил на ноги и, обняв друга, сказал почти жалобно:

— Андре, друг мой, не будь таким мизантропом, прошу тебя! Пойми, для меня сегодня очень важный день! Меня, — он перешел на шепот, — должны принять в члены общества!

— Граф Строганов — член революционного общества? Ты подумал о своем отце?

— Не Строганов, а гражданин Очер!

Ах, да... Андрей совсем забыл, что с началом волнений Попо по совету Ромма сменил фамилию на «Очер» — по названию отцовского завода. И место жительства тоже пришлось сменить — перебрались из сен-жерменского строгановского дома на квартиру в Париже, взяв с собой лишь одного слугу-швейцарца...

— А еще я написал статью для нашей газеты! Я непременно дам тебе ее прочесть!

Много трогательного было в этом красивом, как херувим, нежном и восторженном юноше. Воронихин никогда не умел отказывать ему и с тоской уже

понимал, что вечер ему предстоит провести в малоприятной компании...

— А еще, милый Андре, знаешь ли кто будет сегодня на собрании?

— Маркиз Мирабо?

— Нет! Гораздо лучше! Теруань! — это имя было произнесено с таким взволнованным придыханием, что Воронихин едва не выругался. Все было еще хуже, чем он предполагал...

— Так ты пойдешь со мной, верно? — тон Попо опять стал детски жалобным.

— Что ж мне остается... Но, прошу тебя, друг мой, в первый и в последний раз!

— Я всегда знал, что могу на тебя рассчитывать! — обрадовался Строганов, троекратно расцеловав друга. — И раз так, то у меня к тебе еще одна просьба! Не мог бы ты ссудить меня небольшою суммою?

С этой просьбой Попо и Ромм в последнее время довольно исправно обращались и к Андрею, и к швейцарцу Клемансу. Деньги, присылаемые графом сыну и наставнику, исчезали с чудесной скоростью. Клеманс же и Воронихин всегда весьма экономно расходовали свое жалование, а потому имели сбережения. Их-то и повадились одалживать борцы за идеалы гуманизма.

Воронихин, ничего не говоря, достал свою шкатулку и вручил Попо просимое.

— Спасибо, мой милый, добрый Андре! — воскликнул тот. — Как только отец пришлет деньги, я тотчас все верну тебе!

Бедный-бедный благодетель-граф, знал бы он, куда уходят деньги, столь щедро посылаемые им на образование своего сына...

Очередное собрание «Общества друзей закона» было посвящено знаковой дате — годовщине клятвы в

зале для игры в мяч, первому выступлению третьего сословия против королевской власти, произошедшему в том самом зале Версаля. На празднование этого события собрались не только члены общества, но и его друзья, и гости. Были здесь и маркиз Мирабо, и Дантон, и Робеспьер, а также находившийся в Париже проездом русский путешественник, начинающий литератор Карамзин.

Нешуточные баталии развернулись между Мирабо и Робеспьером. Маркиз брал природным артистизмом и редким красноречием, Робеспьер, не обладавший ни тем, ни другим — абсолютной убежденностью в своих словах. И эта убежденность фанатика брала верх над игрой артиста...

Однако, Павел, назначенный в этот знаменательный вечер библиотекарем общества, впервые был невнимателен к прениям ораторов. Его внимание было приковано к той, попечению которой был вверен архив общества...

— Сударыня, я восхищен вашей красотой и отвагой и счастлив, что мы теперь состоим в одном обществе и служим одной цели!

— Более того, исполняем схожие должности: вы заведуете библиотекой, я — архивом... Не кажется ли вам, что это судьба?

После этих слов можно ли было думать о чем-то еще? Можно ли было думать о чем-то еще, находясь рядом с этой женщиной? Женщина-пламя! Женщина-буря! Женщина-визувий! Женщина-стихия... Ее густые, волнистые, огненно рыжие волосы лавой стекали по плечам, сливаясь с пурпурным платьем, глубокое декольте которого позволяло любоваться высоко вздымаемой взволнованным дыханием грудью. А это лицо! Ни одна античная богиня не превзойдет его красотой! И сколько решимости и вдохновения в нем! Как горят ее изумрудные очи! «Наша Эсфирь» —

называли ее в обществе... Да, именно такой должно было быть Эсфири²⁵, чтобы покорить своим чарам несчастного Артаксеркса.

— Андре, ты только взгляни, как она прекрасна! — шепнул Павел на ухо своему верному другу Андрею. Но тот отчего-то не спешил выражать восхищения.

— Помилуй! Неужели она не потрясает тебя, если не как мужчину, то хотя бы как художника?!

— Ты забываешь, что я прежде всего архитектор, а не живописец, — отозвался Воронихин. — И даже обращаясь к живописи, я предпочитаю изображать здания, а не людей.

— Ах, друг мой, ты прекрасный человек, но чудовищный зануда, — махнул рукой Павел. — Что твои здания? Как бы ни были великолепны, а все ж мертвы. А люди — живы! А жизнь, Андрей, прекрасна! Нет ничего прекраснее жизни во всех ее проявлениях!

Тем вечером он ускользнул и от друга, и от наставника. Вместе с Теруань они покинули дом, в котором собралось общество, через черный ход, и Эсфирь повлекла его за собой лабиринтами парижских улиц, пустынных и темных в этот поздний час. Павел слепо следовал за своей спутницей, двигавшейся в темноте с ловкостью кошки, и лишь один раз спросил:

— Куда мы идем?

Горячий палец коснулся его губ:

— Не спрашивай и увидишь!

Узкая улочка, дверь, темная лестница, во мраке которой можно, однако, различить пурпурное платье... Все-таки он дважды споткнулся, и оба раза слышал ее залиvistый смех. И, вот, наконец, цель пути... Квартирка в мансарде... Вспыхнувшая свеча позволяет разглядеть ее артистический беспорядок: шляпы, лежащие прямо на полу, неубранная со стола посуда,

кое-как свернутая одежда, пестрым комом или скорее горой высящаяся в кресле, неприбранная постель...

— Хочешь вина? — спросила Теруань, оборачиваясь к своему гостю.

— Пожалуй. Я немного продрог... — отозвался Павел, чувствуя, как дрожь охватила все его тело.

Она улыбнулась и провела горячей ладонью по его щеке, еще ни разу не тронутой цирюльником. Строганов внезапно смутился. Смутился разом своей юности и неопытности, своего почти девичьи нежного, румяного лица... Каким желторотым мальчишкой должен выглядеть он в глазах этой богини!

— Ты боишься меня? — спросила Теруань.

— Ты знаешь, что тебя называют Эсфирью?

Эсфирь расхохоталась, обнажая ровные ряды белоснежных зубов.

— Знаю и горжусь! Но Эсфирь страшна для врагов своего народа, а ты друг народа, как и мы все, и, значит, тебе нечего бояться! — с этими словами она поцеловала Павла в лоб и, продолжая смеяться, скрылась за занавесой. — Я принесу тебе вина.

Этот материнский поцелуй задел самолюбие Строганова. Неужели она и в самом деле относится к нему, как к ребенку? — с досадой думал он. Но в этот миг занавеса вновь отодвинулась, и Павел остолбенел, лишившись дара речи. Его богиня стояла перед ним с бокалом вина, совершенно обнаженная и прикрытая лишь огненными прядями своих изумительных волос...

Утром, уткнувшись в них пылающим лицом, гражданин Очер прошептал:

— Я еще никогда не чувствовал себя таким свободным! Революция прекрасна! Прекрасна, как ты! Ты ее жрица и моя богиня! Я всегда буду любить тебя! А лучшим днем в моей жизни будет день, когда я увижу Россию, обновленную такой же революцией! Может

быть, я буду играть там ту же роль, какую здесь играет гениальный Мирабо...

Ответом ему был лишь захлебчивый хохот богини...

— Как тебе не совестно, Александр Сергеевич! Уже четвертый раз подряд меня обыгрываешь! — с шутливой обидой воскликнула Екатерина, ловко поймав подушку, брошенную в нее Строгановым.

То была их давняя забава: при игре в бостон, если Государыня проигрывала, граф в шутку бросал в нее подушкой. В этот вечер Екатерине не везло...

— Ваше Величество сами беспокоились, что я всю жизнь хлопочу, чтобы растратить свое состояние... — с улыбкой отвечал Строганов.

— И не преуспеваешь в этом!

— Потому что время от времени Ваше Величество дает мне возможность несколько приумножить его!

Их дружба началась еще в бытность Екатерины цесаревной и с той поры оставалась самой искренней и задушевной. Строганов был чужд придворных интриг, всецело разделял страсть Государыни к искусству и коллекционированию шедевров оного, а также ее увлечение французскими просветителями. Трудями последних Императрица зачитывалась в юности и, хотя, придя в власти, на опыте убедилась в нежизнеспособности их теорий и отвергла их, но сохранила сердечную привязанность к их авторам. И Вольтер, и Дидро были друзьями ее, а также и Строганова. Александру Сергеевичу даже довелось гостить у фернейского мудреца. Частенько вспоминалась ему эта встреча... В парке скромного замка их с женой встретил странный человек, одетый в халат, длиннополую подбитую желтой подкладкой куртку из синего сукна в желтых цветочках. Под ней были надеты безрукавка и фуфайка. Всю эту пестроту дополняли красные короткие штаны, белые шерстяные

чулки, полотняные туфли и черная бархатная шляпа, надвинутая на старомодный парик вплоть до густых бровей и подчеркивавшая напоминая щипцы для раскалывания орехов профиль. В руках странный человек держал шест, на одном конце которого был садовый нож, а на другом мотыга. Это и был монсеньер Вольтер...

— Ах, мадам, какой сегодня счастливый день для меня. Я видел солнце и вас! — легко, как юноша, склонился он в поклоне перед Екатериной Петровной...

Государыня, слушая рассказ об этой встрече, смеялась:

— Вольтер, несомненно, большой артист, и ему не хватает подмостков и благодарных зрителей!

К подмосткам тяготела и она сама, и время от времени устраивала домашние представления для узкого круга, для которых сама же сочиняла пьесы.

При отъезде Строгановых Вольтер гордо показал роскошную соболью шубу, подаренную ему Екатериной:

— Я бы охотнее подчинился одному-единственному самодержцу, чем тремстам крысам местного пошиба.

Однако, Дидро и Вольтер уже успели сделаться вчерашним днем Франции, а день новый выдвигал совсем иных властителей дум, и они, зовя себя учениками просветителей-гуманистов, кажется, менее всего тяготели к гуманности...

— Вот что, батюшка, Александр Сергеевич, — Государыня вдруг стала серьезной, — давно я хотела поговорить с тобою, да все откладывала, не желая огорчать тебя. Но да ты все одно узнаешь, и лучше ранее, чтобы успеть меры принять.

Строганов насторожился, почувствовав, что речь пойдет о Попо.

— Знаешь ли ты, свет мой, чем твой недоросль со своим учителем в Париже занимаются?

— Предполагал, что науками... — произнес Александр Сергеевич.

Екатерина протянула ему свернутое письмо:

— Это от нашего посла Симолина. Прочти-ка, что за наукам учит этот злодей твоего сына.

Строганов принял бумагу из рук Императрицы и углубился в безрадостное чтение.

Многолетнее путешествие сына сперва по России, а затем по Европе было предпринято им, чтобы, насколько возможно, защитить Попо от того удара, который нанесла мальчику в самые нежные годы измена матери. К тому же европейское образование считалось обязательным для русского благородного юноши. Самого Александра Сергеевича отец также отправил за границу в сопровождении гувернера-француза по достижении 19 лет. К тому времени Строганов свободно говорил на нескольких языках, в совершенстве знал французский, и, имея рекомендательные письма отца и довольно денег, не встречал в своем путешествии никаких затруднений.

Это была лучшая пора в его жизни! В Берлине Александр Сергеевич жил у губернатора фельдмаршала Кейта, некогда служившего в России и с той поры дружившего со старшим Строгановым. В ту пору молодой путешественник сошелся со всеми известными прусскими учеными и деятелями искусств, он изучал музеи, библиотеки, мануфактуры, а также работу всех важных ведомств. Его жадному до знаний уму было интересно решительно все! Далее последовали Франкфурт, Ганновер, Ганау, Страсбург...

В Женеве Строганов погрузился в науку. Он изучал физику у Некера, юриспруденцию у Ромина, математику и логику у Жильбера, историю и географию у Верне... Со всеми у Александра Сергеевича сложились самые теплые дружеские отношения. Уже с их рекомендациями он перебрался в Италию, которую

объехал вдоль и поперек, изучая творения знаменитых мастеров и покупая ценные экспонаты для коллекции, начало которой положил его отец. Здесь Строганов был принят самим Папой Римским и также обрел много добрых друзей, которые затем посещали его в Петербурге. Александр Сергеевич вообще чрезвычайно легко сходилась с людьми, люди были интересны ему, он же был любим ими, умея очаровать их сердечностью общения, огромной эрудицией, умением непринужденно и остроумно вести беседу.

В Париже он два года изучал химию, физику и металлургию, осматривал фабрики, литейные и сталелитейные заводы, желая внести усовершенствования в собственные уральские заводы. Советник русского посольства в Париже Бехтерев отписал Строганову-старшему о сыне: «Остается только желать, чтобы всех русских так любили и уважали, как его».

Совсем иное сообщал теперь о Попо Симолин. Ромм, которому Александр Сергеевич так доверял, втянул своего воспитанника в якобинский клуб, вместе они участвуют в каких-то сборищах, активно поддерживают революцию... Попо даже подарил якобинцам библиотеку! И на это-то, стало быть, тратил он отцовские деньги! Мрачнел Строганов с каждой прочитанной строчкой... Не сдержался, помянул недобро жену, вот уж яблочко от яблоньки... Сообщал русский посланник, что юный Строганов сменил место жительства втайне от посольства и вступил в связь с яркой революционеркой, артисткой Теруань де Мерикур. Этого еще не доставало! Теперь понятно, почему все рекомендации Александра Сергеевича покинуть революционный Париж остались без внимания Попо и Ромма...

Вспомнил Строганов, как при начале войны с Турцией сын писал ему из Женевы, прося дозволения

вступить в армию Румянцева, обещавшего принять его в адъютанты, и сражаться за Отечество. Может, лучше было согласиться тогда? По крайности, то был порыв благородный, а теперь — Бог знает, что такое!

— Я чувствовал, что с ним что-то не так, но не думал, что дело столь худо. Я уже писал ему, чтобы он покинул Францию, но...

— Но он не послушал, — dokonчила Екатерина. — Это неудивительно!

— Я напишу еще раз и ему, и Ромму.

— Напиши, батюшка, — кивнула Императрица. — Только вот что, свет мой Александр Сергеевич, теперь твоему недорослю еще и матушка напишет. А точнее приказание отправит, чтобы возвращался немедленно. Это я и всем нашим подданным приказать намерена. Нечего им там французской заразой заражаться. И вот еще что. Человека за сыном своим пошли надежного. Так, чтобы уж никуда он не делся. Молод он, ветер в голове. А наставник его смутьян и бестия. Как бы еще что не учудили. Так уж ты...

— Я племянника пошлю за ним, Новосильцева, — сказал Строганов. — Он его отыщет и привезет.

— Так-то оно лучше будет, — одобрила Государыня, машинально тасуя колоду карт.

— Вы совсем не похожи на своего друга, месье Андре, — кокетливо заметила хорошенькая Миет, подходя к Воронихину, коротавшему время за этюдником. — Он дни напролет или забавляется с нашими девушками, или агитирует наших мужчин вместе с дядей Жильбером. А вы пренебрегаете и тем, и другим.

— Я не люблю политику, мадмуазель Миет, и не столь хорош собой, как Андре, чтобы ваши девушки не давали мне прохода, — отозвался Воронихин.

— Вы серьезный и нелюдимый, — покачала головой Миет. — Серьезность — это достоинство. Нелюдимость — недостаток.

— Возможно, но у всех есть свои недостатки, не так ли?

— Вы рассуждаете совсем, как бабушка... Она тоже смеется над нами! И ничего не понимает в политике... Но она уже старая, а вы молоды! Юность всегда любит перемены!

— Вы разбираетесь в политике, милая Миет?

— Я читаю газеты, слушаю дядю Жильбера... Дядя Жильбер скоро будет депутатом! Представляете? Наш дядя Жильбер — депутатом! Правда... — девушка помялась. — Эта санкюлотская мода...

— Вам она не по душе?

— Она придает всем простецкий вид. Дядю Жильбера невозможно узнать после того, как он отказался от пудры и облачился в куртку и брюки. В этом костюме он весьма напоминает сапожника с угла улицы.

Воронихин рассмеялся этому весьма точному сравнению, но Миет, напротив, посерьезнела и добавила:

— Однако его принципы облагораживают его больше, чем хорошая одежда. Тот, кто любит роскошь, любит и привилегии, а привилегии составляют несчастье народов. Равенство — естественное право. В основе общественного устройства лежат различия между людьми, которые не должны существовать. Законы не могут быть более благосклонны к одним за счет других. Мы все — братья и должны жить одной семьей. Дворяне, считающие себя иными существами, нежели крестьяне, никогда не примут подобную систему. У них в голове слишком много предрассудков, чтобы услышать голос разума. Они негодуют на философов, просветивших народ.

Все эти заученные сентенции Андрей слышал уже бесчисленное множество раз, и они давно набили ему оскомину, поэтому он решился завершить отвлекавший его от занятий разговор.

— Знаете, милая Миет, я простой крестьянин, поэтому вы, как просвещенная девушка, должны простить мне мое суждение мужлана. Но мне кажется, что женщина всегда несравненно милее, когда рассуждает о шитье или обеде, нежели о равенстве.

Миет обиженно поджала губки и удалилась, оставив Андрея предаваться блаженному одиночеству. Ему уже глубоко опостылела Овернь, родина Ромма, куда тот увез, исполняя после неоднократных настояний требование графа покинуть Париж, своего воспитанника. Ромм еще надеялся, что сумеет переубедить Александра Сергеевича, и они вместе с Попо смогут вернуться в Париж и продолжать свою деятельность. И наставник, и ученик были теперь членами якобинского клуба, по случаю чего гражданин Очер облачился в широкие холщовые штаны, короткую куртку, свободную рубашку без жабо с небрежно повязанным галстуком, деревянные башмаки и красный фригийский колпак с трехцветной кокардой. Здесь, в Оверни, новоявленные якобинцы изо дня в день колесили по окрестностям, выступая с зажигательными речами перед крестьянами.

— Свобода или смерть! — кричали они, и толпа, конечно же, вторила им, после чего, правда, разбредалась заниматься повседневными делами, как после театральной постановки.

Даже из похорон умершего от болезни бедняги Клеманса эти двое умудрились устроить политическую демонстрацию, в которой участвовало 20 человек...

Одно только радовало Андрея: Париж остался в прошлом. А с ним и бешеная Эсфирь-Теруань, совершенно вскружившая голову бедному Попо. Перед

отъездом он поклялся ей в вечной любви и в том, что возвратиться к ней при первой же возможности, несмотря на деспотизм отца и волю Императрицы.

В том, что надежды Ромма не разлучаться с воспитанником и вернуться в Париж напрасны, Воронихин не сомневался. Матушка-Государыня повелела покинуть осиное гнездо своим подданным и возвращаться в Отечество. А, значит, уже недолго осталось томиться в чужих землях! Скоро-скоро вернутся они с Попо в Россию... От этой мысли теплело на душе у Андрея. Он успел многому научиться за время путешествия и теперь горел желанием применить новые знания и идеи на практике. А к тому немало соскучился Воронихин и по Отечеству, и по благодетелю-барину, и по матери, которая, овдовев, жила лишь одной надеждой — повидать сына до собственного смертного часа.

— Месье Андре! — голос Миет прервал воспоминания Андрея о родительнице. Он досадливо поморщился, но, тотчас придав лицу любезное выражение, обернулся:

— Что-то случилось, мадемуазель Миет?

— Приехал какой-то господин из вашей страны, ищет вашего друга и дядю Жильбера.

— А что же они? Где же?..

Девушка пожалала плечами. В самом деле, можно было и не спрашивать... Агитируют французских мужиков в якобинство в какой-нибудь из близлежащих деревень... Воронихин поспешно сложил свой этюдник и вместе с Миет поспешил к дому Ромма, в котором жила его мать и прочая родня, смотревшая на наставника «русского принца», как на важную персону, а на самого «принца» — с восхищением. Обычные люди! Они бы непременно с восторгом кланялись юному дофину и счастливы были лобызать его ручки, случись ему оказаться в их краях. Обычные патриархальные нравы,

обычная жизнь, к которой все привыкли и, хотя мечтают о лучшей доле (покажите человека, который бы о ней не мечтал!), но вовсе не стремятся переверачивать сложившийся порядок вверх дном, играть в русскую рулетку с судьбой. Спрашивается, к чему нужно будить в душах этих мирных, добрых, трудолюбивых и веселых людей демонов, жаждущих крови? Насаженные на пики головы коменданта Бастилии и его солдат и десятки убитых при штурме крепости до сих пор не давали покоя Андрею. Эту бессмысленную жестокость, эти умножающиеся жертвы, это разнуздание страстей — какая справедливость окупит? И где она во всем этом бедламе? И кто вернет семьям их убитых? Нет, мечтатель Жан-Жак, могиле которого поклонились Попо, Андрей и Ромм по пути в Овернь, доживи он до этих дней, не одобрил бы их безумия. Ведь не к бунту звал Руссо, а к совершенствованию нравов, к милосердию... Но этого призыва не услышали ни по одну из сторон возводимых в умах и душах баррикад, и баррикады стали возводиться на улицах, обагрясь кровью.

В доме Ромма его мать и бабушка Миет уже вовсю потчевала расположившегося за столом знатного гостя, в котором Воронихин с радостью узнал племянника Александра Сергеевича Николая Новосильцева. После приветствий Николай Николаевич осведомился, где пропадает его любезный кузен и, не получив внятного ответа, покачал головой:

— Мне пришлось гнаться за этим юнцом из самого Парижа! Понимает ли он, что не только огорчает своего добрейшего отца, но и навлекает на себя гнев матушки-Императрицы? Тебе-то, надеюсь, не вскружила голову эта парижская кутерьма?

— Месье Воронихин — редкий зануда, чтобы что-то могло вскружить ему голову, — подала голос припомнившая утреннюю обиду Миет.

— И это лучшая для него рекомендация, — улыбнулся Новосильцев, похлопав Андрея по плечу.

В это время в окно они увидели приближающихся к дому Ромма и Попо, беспечно обнимавшего какую-то сельскую хохотушку и что-то нашептывавшего ей на ухо. И наставник, и ученик были одеты по санкюлотской моде. Николай Николаевич подернул плечом:

— Экий, право, срам! Графский сын в клоунском колпаке и тряпье портового грузчика...

Дверь распахнулась, и вся троица замерла на пороге, явно не обрадовавшись нежданному гостю. Попо что-то шепнул своей подружке, и та не замедлила исчезнуть. Холодно приветствовав кузена и его учителя, Новосильцев заметил:

— Вижу, господа, вы меня не ждали. Хотя должны были бы. Месье Ромм, извольте ознакомиться с письмом графа! — он подал ментору запечатанную бумагу.

Тот вскрыл письмо и с самым скорбным видом принялся читать вслух:

— Любезный Ромм, я давно противился той грозе, которая на днях разразилась. Сколько раз, опасаясь ее, я просил вас уехать из Парижа и еще недавно совсем выехать из пределов Франции. Право, я не мог яснее выразиться. Вас не довольно знают, милый Ромм, и не отдают полной справедливости чистоте ваших намерений. Признано крайне опасным оставлять за границей и, главное, в стране, обуреваемой безначалием, молодого человека, в сердце которого могут укорениться принципы, не совместимые с уважением к властям его родины. Полагают, что и вы, по увлечению, не станете его оберегать от этих начал. Говорят, что вы оба состоите членами Якобинского клуба, именуемого клубом Пропаганды, или Бешеных. Распространенным слухам и общему негодованию я противопоставлял мое доверие к вашей честности. Но, как я уже выше говорил, буря, наконец, разыгралась, и

я обязан отозвать своего сына, лишив его почтенного наставника в то самое время, когда сын мой больше всего нуждается в его советах. С этой целью я посылаю моего племянника Новосильцева.

В каждой строке этого полного такта и предупредительности послания слышал Воронихин голос благородного графа, которого даже предосудительное поведение сына и еще более его наставника не заставило дать место гневу, браниться и обвинять.

— Мой дорогой брат, — обратился меж тем Николай Николаевич к побледневшему и походившего в этот миг на обиженное дитя, у которого отняли любимую игрушку, Попо. — Извольте привести себя в порядок и подготовиться к отъезду. Мы отправимся завтра утром.

Попо, ничего не ответив, едва ли не бегом устремился на второй этаж, где отведена была им с Андреем небольшая, но уютная комната. Миет и ее бабушка проводили «принца» сочувственными взглядами, а Ромм бессильно опустил на стул, поникнув головой. Человек, одинокий и бессемейный, он искренне был привязан к своему питомцу, и разлука с ним причиняла ему непритворное горе. Воронихин успел заметить слезы, навернувшиеся на глаза друга, и поспешил следом за ним, всем сердцем жалея его, как жалеют напроказивших и страдающих от заслуженного наказания детей.

— Милый Попо, не горюй! Ты ведь давно знал, что наше возвращение не за горами. Ведь это воля Государыни!

— О, брат Андре! — вскрикнул Строганов, порывисто обнимая Андрея. — Я видел целый народ, восставший под знаменем свободы, и я никогда не забуду этого мгновения! И никогда уже не буду столь счастлив, сколь был здесь... Когда я вспоминаю о прекрасной революции, свидетелями которой мы были, то с ужасом

приподнимаю край завесы, скрывающей от меня будущее, страшный призрак деспотизма. Это зрелище мне ненавистно, и тем не менее я должен к нему приблизиться! Я все равно вернусь сюда, Андре! К моей Теруань! К месье Ромму! Я никогда, никогда не забуду их!

— Ну, что ты так волнуешься, «крестник»? — весело обратился Александр Сергеевич к Воронихину, ерзавшему напротив него и безпокойно глядевшего то в окно, то на свои ногти.

— Помилуйте, ваше сиятельство, не всякий день к Государю на аудиенцию являться приходится. Мне так и вовсе впервой...

— Все когда-то бывает впервой. Привыкай и к этой чести, — Строганов чуть пристукнул тростью о пол саней и посмотрел в окно.

Морозный зимний день украсил столицу искристыми ледяными узорами. На Неве резвилась, нацепив коньки, молодежь. Рождество едва миновало, и теперь стояло на Руси то дивное время, что зовется Святками, время беззаботного веселья, веры в чудеса, а иногда и исполнения их...

— К чести лучше не привыкать, ваше сиятельство, ведь ее всегда можно лишиться.

— Мне кажется, ты сомневаешься в успехе нашего предприятия? — прищурился граф.

— Не скрою, ваше сиятельство, я не верю, что Государь остановит выбор на моем проекте. Ведь мои соперники — Гонзаго, Камерон, Тромбара, Тома де Томон!..

— И что же? Твой проект лучше их. И неужто ты, предерзостный, сомневаешься в отменном вкусе своего монарха?

— Ни в коей мере! Но вы прекрасно понимаете, о чем я... Кто они, а кто я! Всего лишь бывший крепостной...

— Друг мой, тебе давно пора забыть об этом. Ты известный и уважаемый мастер. Академик. И тебе

нечего стыдиться своего происхождения. К тому же твои родители были честными людьми, а не разбойниками. Ломоносов тоже был из мужиков, но это не помешало ему стать академиком трех академий и пользоваться почтением всех, начиная с венценосных особ!

— Я, однако же, не Ломоносов.

— Верно, — кивнул Строганов. — Но ты Воронихин. И никогда не забывай об этом.

— Вас будут упрекать, что вы пытаетесь продвинуть своего протеже.

— Это меня не волнует, — граф плотнее запахнул свою соболью шубу. — Твой проект лучший. И не думаю, что тебе хватит дерзости полагать, что я утверждаю это, потому что люблю тебя, как сына, а не потому что так есть на самом деле.

— Помилуйте, ваше сиятельство, я...

— Твой проект лучший. А я в этом кое-что понимаю. А Государь, что бы не говорили о нем, человек, обладающий порядочным вкусом, чтобы с этим согласиться. Что до твоей глупой, прости уж, вечной печали о своем происхождении, то уж кого-кого, а Павла Петровича это точно не смутит. Ты ведь знаешь, наш Император начал свое царствование с того, что дозволил простым людям обращаться к себе напрямую, даже завел для этих обращений специальный почтовый ящик... Государю не по душе избыточные привилегии дворянства, за что оно и недовольно им. Но человек труда и таланта, как ты, всегда может рассчитывать на его благоволение. К тому же Его величество согласен с моим мнением, что храм сей должен строить русский зодчий.

Воронихин немного успокоился. Граф не преувеличивал, говоря, что относится к своему протеже, как к сыну. Этот мальчик, которого он много лет назад отметил в далекой пермской деревне и с той

поры помогал его становлению, всегда с лихвой оправдывал его надежды. Его голова никогда не кружилась от успеха, ему не знакома была леность. Скромный и ответственный, он служил своим даром Дародателю, не возносясь, подобно богомазам, одним из которых он так и не стал. Строганов доверял Андрею многие проекты в собственных владеньях. Им уже были возведены дача на Черной речке и дом в усадьбе Городня. Кроме того, Воронихину была доверена реконструкция каскадов у «Ковша Самсона» в Петергофе.

Возглавив Академию, Александр Сергеевич, примечая, что знать все еще гнушается бывшего крепостного, использовал свое положение и принял «крестника» в число академиков. Отныне Воронихин, так и оставшийся самоучкой, преподавал мастерство будущим зодчим.

Однако, пора было сделать следующий шаг, закрепить положение мастера. Строганов приближался к 70-летнему рубежу и отнюдь не желал, чтобы, лишившись покровителя, найденный им самоцвет-гений, оказался затоптан более родовитыми завистниками.

Как раз в это время Павел Петрович озаботился строительством храма для особо чтимой Казанской иконы Божией матери. Еще в 1733 году на Невском проспекте была заложена каменная придворная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная русским зодчим Михаилом Земцовым. Сорок лет спустя именно в этом храме венчался Цесаревич Павел Петрович. Уже с середины века явилась идея постройки нового храма — более величественного и соответствующего статусу хранящейся в нем святыни Императорской семьи. Один из проектов был разработан Семеном Волоковым, другой — Джакомо Кваренги. Однако, идея так и повисала в воздухе, пока

Государь Павел Петрович не распорядился о строительстве. Император желал, чтобы чтимая икона обрела дом прекрасный и величественный, и проект Воронихина, в котором без труда угадывались мотивы собора Петра и Павла в Риме, как нельзя более отвечал этой задаче. И... вкусу Государя, на которого это чудо западного зодчества произвело в свое время сильнейшее впечатление. Поэтому Строганов, коему и было поручено проследить за достойным воплощением монаршей воли, не сомневался в успехе. В конце концов во всем, что не касалось дел семейных, удача всегда была на его стороне.

— Позволь спросить тебя, «крестник», не знаешь ли ты, что такое происходит в последнее время с Попо? Он весь черен от непонятной хандры, и я опасюсь, как бы не занедужил от нее всерьез...

Первое время по возвращении из заграничного вояжа санкюлотствующий недоросль бунтовал, хандрил и бывал решительно предерзостен. Пришлось Александру Сергеевичу применить отцовскую власть и «заточить» любимого сына в Братцево, где так и не стала жить его беспутная мать. Несколько лет затвора оказались воистину благодетельны для юноши. Он успокоился и остепенился и, наконец, женился на соседке по имению — прелестной Софье Голицыной. На венчании Строганов, незадолго перед тем лишившийся дочери, молил Бога только об одном: чтобы сын оказался счастливее в семейной жизни, чем он сам.

Молодые зажили как будто бы дружно. Невестка радовала Александр Сергеевича заботой о крестьянах, для которых она, продолжая его почин, стала открывать школы. Вскоре пошли и дети. Казалось бы, все хорошо? Но примечал граф, что сын, вопреки всякому здравому смыслу, несчастлив, что какая-то маята томит его душу, а в последнее время — особенно.

Из Франции среди прочих ужасных вестей, умножающихся изо дня в день, пришла особенно горькая для бедного Попо: казнили Жильбера Ромма. Бывший учитель успел высоко подняться на гребне революции, заседал в Конвенте, голосовал за бесчеловечную казнь короля, стал автором нового революционного летоисчисления. И, вот, финал: его и четырех его товарищей, последних якобинцев, как их называли, приговорили к гильотине за попытку восстания против Термидора... Чтобы не дать палачу живыми, они закололи себя кинжалами...

Это известие потрясло Попо. Да и сам граф не остался к нему равнодушен. Слишком много связывало его с Роммом. С тех далеких времен, когда они с женой еще жили в старой-доброй Франции, и явился на свет их первенец, в наставники которому рекомендован был друзьями энциклопедически образованный и весьма одаренный молодой педагог... Этому человеку Александр Сергеевич доверился всецело, доверил ему самое дорогое — душу единственного сына. И, вот, душа эта заполнена химерами и тоской, никогда и ничем не бывает удовлетворена, а наставник, принявший на свою голову кровь Божия помазанника (и сколько еще иной! невинной!) — казнен своими же друзьями революционерами... Это ли так надломило ранимого Попо?

Строганов пристально посмотрел на Воронихина, ожидая ответа.

— Ты что-нибудь знаешь? — повторил вопрос, уже по смущению своего подопечного угадав, что — знает. — Ведь ты друг моему сыну, и он доверяет тебе. Равно, как ты, я надеюсь, доверишь мне.

— Родному отцу я не мог бы доверять более вас, ваше сиятельство, — отозвался Воронихин. — Недавно Попо получил из Парижа весьма горькую весть о женщине, которую он любил.

— Это та артистка, что избрала своими подмостками баррикады?

— Теруань де Мерикур.

— И что же? Ей отрубили голову, как и всем прочим «друзьям народа»?

— Хуже, ваше сиятельство. Разгневанные парижанки, доведенные до отчаяния нескончаемыми революционными бесчинствами, поймали ее на улице, раздели донага и высекли.

Граф усмехнулся:

— Хотя я и не поклонник телесных наказаний, но в данном случае...

— Они засекали бы ее до смерти, если бы не появился Марат и не отбил ее.

— Однако же, трагедии покамест не вижу.

— Несчастливая Марикур сошла с ума, ваше сиятельство. Страх лишил ее рассудка, и теперь она помещена в дом умалишенных.

— В сущности закономерный конец для такой особы, — покачал головой Александр Сергеевич. — Но лучше было бы Попо не знать об этом. Дурно, что он сохранил во Франции связи... И в том числе, насколько мне известно, с семейством Ромма.

— Увы, он узнал об этом, и это произвело на него ужасное впечатление. Кажется, он действительно любил эту женщину и так и не смог забыть ее.

— Тем хуже, — тяжело вздохнул Строганов и, отвернувшись к окну, попытался обратить печальные мысли к предметам более отрадным.

Судьба явно не желала дать ему счастья ни в женщинах, ни в детях. Для того ли, быть может, чтобы счастье это искал он в ином, умножая тем и счастье самой России? Его долголетние просветительские труды были увенчаны двумя высокими должностями — президента Императорской Академии художеств и директора Императорской Публичной библиотеки. И это

было счастье, ибо на этих должностях мог Александр Сергеевич еще больше и ревностнее служить просвещению и искусству, а также помогать тем, кого наградила Бог куда более великими дарами. Прежде в его распоряжении была лишь собственная галерея и собственная библиотека, коими он предоставлял пользоваться всякому, серьезно интересовавшемуся той или другой областью искусства или литературы. Теперь Император дал графу возможность развить свою деятельность в государственном масштабе.

Ему шел 68-й год, его блестящий 18-й век канул в прошлое, уступая место неведомому еще 19-му. И этот новый век ставил старые-новые задачи. И первая из них — просвещение. Стараниями графа в Императорскую библиотеку поступали теперь целиком лучшие книжные собрания, для которых были открыты новые помещения. Александр Сергеевич неутомимо следил за всякой мелочью — от изготовления шкафов до соблюдения требований пожарной безопасности. Графский титул, придворная жизнь, близость к государям не истребила в нем исконного строгановского духа — работника, делателя, не боящегося труда, не прикипающего душой к роскоши. Строганов жил в самом прекрасном дворце Петербурга, но, случись нужда, мог бы он и теперь сам работать на своих пермских заводах, как работали его предки — первые русские промышленники... А вот, Попо — сможет ли? Смотрел Александр Сергеевич на сына и чувствовал — нет, не сможет, оторвался от корней, от того и не находит ни в чем успокоения и радости, ни к одному делу прочно пристать не может. А без дела — какая же жизнь? Какое счастье?

У Строганова счастье было. Счастье, во всякий день переполнявшее ликованием душу. Когда-то все собрание его и иных коллекционеров составляли шедевры европейских мастеров, литература была сплошь иностранной. Но новый век уже уверенно

обещал стать веком русским. Следом за Ломоносовым и Державиным явились Гнедич, Дмитриев, Карамзин и чудо из чудес — русский Лафонтен — Крылов! Этого неповоротливого, отчаянно ленивого гения Александр Сергеевич определил на должность библиотекаря с окладом в полторы тысячи рублей — с тем, чтобы он мог впредь творить, не нуждаясь. Впервые заявила о себе русская музыка — в творениях Бортнянского... А живопись, скульптура? Боровиковский, Левицкий, Варнек, Щукин, Шебуев, Мартос... Всех и не счесть вдруг разом явившихся гениев! А сколько еще будущих возрастало теперь в Академии! В ней Строганов завел новые классы: реставрационный и медальерный. Он добился, чтобы в вольные слушатели отныне принимали крепостных, а самые талантливые студенты имели возможность путешествовать по Европе, изучая творения старых мастеров. Частично эти вояжи оплачивал Александр Сергеевич из личных средств. Что было жалеть их? Ведь ими слагалась будущая слава России, слава, которой предстояло затмить и Францию, и Италию... В это Строганов верил свято, и эта вера также составляла его счастье, окрыляла, прогоняла прочь усталость и недуги. Когда-то незабвенная Императрица, беседы с которой граф неизменно записывал, сказала: «Какими бы побудительными причинами ни руководствовались те, кто совершает добрые поступки на благо людей или общества, — при этом совершенно безразлично, ради чего это делается, то ли из-за стремления к личной выгоде, то ли из-за тщеславия, трусости или нетвердого характера или просто из-за желания творить добро, — эти добрые дела являются важными и благодатными для тех, для кого они совершаются». Строганов всю свою долгую жизнь стремился умножать добрые дела. Уж, конечно, не для выгоды. Для тщеславия? Что ж, грешен, для него тоже, и во многом — для него. Но в первую очередь все

же — для самого добра. И это первое да покроет в очах Божиих грешное иное, слабость человеческую!

Сани остановились у только что отстроенного Михайловского замка, и Александр Сергеевич сделал Воронихину знак следовать за собой. Государь не заставил себя ждать, и вышел к ним, едва только ему было доложено об их приезде. Прямой, точно всегда вытянувшийся во фронт, нервный, с движениями быстрыми и порывистыми, Павел Первый тепло приветствовал Строганова. Он был одним из очень немногих приближенных Екатерины, кого не постигла опала ее сына. Возможно, от того, что Александр Сергеевич всегда был далек от политики. Или же сыграла свою роль его репутация первого в России знатока искусств, а также его неизменная щедрость к нуждам государственным. В 1790 году Строганов подарил казне треть своих земель — случай невиданный ни в русской, ни во всеобщей истории. Впрочем, было еще и другое. Несмотря на свою дружбу с Императрицей, граф всегда сердечно жалел ее сына... Этот ребенок знал мало любви, но много потаканий своим капризам с одной стороны и много обид с другой... Недоброжелатели его матери вливали яд в детское сердце, настраивая его против родительницы и заискивали перед будущим монархом. Фавориты матери, напротив, слишком пренебрегали им. А она сама... Она была великой Государыней, не уступавшей Петру в своем государственном гении. Она была истинной женщиной. Но ей так и не удалось сделаться нежной матерью своему сыну... А ребенок, которому кажется, что мать пренебрегает им, унижает его ради чужих людей, ребенок, которому представляют мать убийцей его отца, обречен жить с тяжелейшей сердечной раной, которую ничто не сможет исцелить. Даже такая ангельская душа, которая после первого

трагически завершившегося смертью Цесаревны брака, досталась ему в жены...

И ныне видел Строганов, что стремления Императора большею частью благи и справедливы, но незаживающая его рана отравляет их частой поспешностью, непродуманностью, уродливостью исполнения. И чем тут поможешь этому несчастному Царю, который настроил против себя уже большую часть знати, отвергнув и обидев подчас и достойных, и верных престолу?..

— Проект хорош, — таков был вердикт Государя по изучении представленных ему Воронихиным чертежей. — Верно ли, что ты бывший крепостной?

— Так и есть, Ваше Величество, — робко отозвался зодчий.

— Напрасно краснеешь. Стыдиться должно тем, кто бездарные проекты предлагает. Да они не умеют того... Строганов!

— Ваше Величество?

— Теперь мне понятны твои постоянные хлопоты о просвещении крестьян и их доступе в Академию. Наш народ талантлив, а таланты должны служить славе своего Отечества и своего Царя. Вот, пускай твой зодчий и послужит нашей славе. Ты, как председатель попечительского совета по строительству собора, проследи, чтобы строительство сие началось как можно скорее. Я жажду видеть сей проект не на бумаге, но в камне, во всем величии его! Этот собор станет жемчужиной моей столицы!

— Так и будет, Государь! — с поклоном отвечал довольный победой Строганов.

Императору Павлу Петровичу не суждено было увидеть храма своей мечты. Ни даже присутствовать на закладке оного. Несчастный монарх был убит заговорщиками из числа собственных приближенных в своем замке буквально через считанные недели после того, как Воронихин удостоился Высочайшей аудиенции. И по сию пору, оказываясь вблизи Михайловского дворца, чувствовал он какой-то неприятный холодок, а с ним печаль. Сколь ужасались многие в русском обществе расправою над французской королевской семьей! Казню на площади короля и королевы, мученической судьбой дофина... Но отчего так мало досталось слез своему убитому Царю? Его не возводили на эшафот, его просто вероломно убили в собственной опочивальне, как некогда Андрея Боголюбского — в его храме... Убили. Забили. Слово бы собаку... Хотя хороший человек и животного никогда не замучает. Изувеченное тело даже нельзя было показать народу при прощании. И ведь это сделала не безумная, нищая чернь, а люди благородного сословия. Их имена шепотом назывались, но не произносились в полной голос. Их знало общество. Их знал молодой Государь, который вроде бы даже был осведомлен о заговоре и потому не мог покарать убийц отца. Все знали и... молчали. Но хуже того, даже не сочувствовали замученному Государю. В дни Великого Поста люди, словно нехристи, ездили друг к другу в гости и поздравляли с окончанием «мрачного времени», с новым молодым Императором... С цареубийством? С преступлением? Они говорили, что Павел был безумен. Но Воронихин, вспоминая монаршую аудиенцию, не мог согласиться с этим вздорным обвинением. Его

распускали те, чья совесть, а, может, и руки были не чисты...

Впрочем, свое мнение Андрей Никифорович держал при себе. Мелкой сошке высказывать себя не годится, да и кому какое дело до его суждений? Разве что милой Мери, его ненаглядной Машеньке. Все-таки необычайно милостив был к нему Господь! Он дал ему дело, дал благороднейшего покровителя, отечески поддерживавшего его всю жизнь, дал добрую и кроткую жену, не только родившую ему троих ребятишек, но ставшую верной сподвижницей, незаменимой помощницей. Дочь английского пастора, она начинала служанкою в доме Строганова, а затем выучилась на чертежницу. И, вот, уже который год копии всех проектов Воронихина снимала ее верная рука. Иногда она даже подавала ему советы, делала небольшие, но точные замечания к его расчетам. Имея такую спутницу и свое дело, что еще вправе желать мужчина для счастья? Андрей Никифорович не желал ничего более, изо дня в день благодаря Бога за свой жребий.

Его крепостное происхождение более не угнетало его, а небрежность сановитых членов-попечителей, надзиравших за постройкой Казанского собора — не уязвляла самолюбия. Воронихин научился не обращать на нее внимания. В конце концов, какое дело ему до всех этих высокомерных снобов? Главное, что он может неустанно работать над своим детищем, облечен на то доверием двух Государей, почившего и здравствующего. И, как всегда, хранит его от козней завистников добрый гений — граф Александр Сергеевич...

Граф добился, чтобы на строительстве собора были заняты только русские мастера, использовались только русские материалы. Стены строили из пудостского камня, привозимого из-под Гатчины. Резьбу по нему

выполнял искусный мастер-самоучка Самсон Суханов. Приезжавшие поглазеть на возводимое диво иностранцы изумлялись: «Простые мужики в рваных полушубках, пылливо взглянув на указанный им план или модель, они точно и изящно их копировали. Глазомер этих людей чрезвычайно точен. С окончанием постройки собора торопились; несмотря на зимнее время и 13–15 градусов мороза, работы продолжались даже ночью. Крепко зажав кольцо фонаря зубами, эти изумительные работники, забравшись на верх лесов, старательно исполняли свое дело».

Полнилось сердце Воронихина гордостью за своих мастеров! Прав барин-благодетель: придет время, что не Россия у Европы, а Европа у России учиться станет — с таким-то даровитым и самоотверженным народом! Эти мужики работали по 15–17 часов и в нестерпимый зной, и в лютую стужу. Не просто работали, но радели Божиему делу.

Десятый год возводился собор, и, вот — не верилось даже! — близился срок окончания строительства. Воронихин дневал и ночевал на нем, не зная усталости и покоя, проверяя всякую мелочь. Помогали ему, а в случае нужды заменяли — ученики, Андрей Михайлов, Иван Колодин, незаконнорожденный сын бывшей крепостной и сын казачьего сотника Николай Алферов. Именно им надлежало завершать строительство собора в случае преждевременной кончины главного архитектора. Ох, как не нравилось это господам попечителям и прочим знатым особам! Чтобы жемчужину стольного града «выскочки» строили! Но делать нечего, приходилось смириться им. Глядишь, и попривыкнут со временем, как некогда привыкли родовитые бояре к петровским сподвижникам...

За эти без малого десять лет Воронихин успел возвести не только Казанский собор. Ему было доверено строительство Горного института, а вдовствующая

Императрица Мария Павловна сделал его главным архитектором в своем любимом Павловске. Здесь Андрей Никифорович создал Розовый павильон, несколько хозяйственных построек, павильонов, мостов и беседок, а также проектировал интерьеры самого дворца. Не оставлял Воронихин и преподавания в Академии. Однако, Казанский собор оставался главным делом его жизни, его любимым детищем. И теперь, в последние месяцы строительства, все силы и время всецело отдавались ему.

Ночные сумерки только рассеивались, но вокруг храма было светло, благодаря полыхающим кострам. Работа уже кипела вовсю, начавшись, как всегда задолго до зари. Неожиданно к опутанному лесами зданию подъехала запряженная четверкой превосходных лошадей карета. Воронихин тотчас узнал ее и, спешно отдав Колодину чертежи, которые перед тем совместно разбирали они, поспешил навстречу гостю. Гость уже и сам шел ему навстречу — как всегда легкий, стремительный, почти не касающийся земли...

— Ну, здравствуй, «крестник»! — граф широко распахнул руки и обнял Андрея Никифоровича. — Вижу, трудишься, рук не покладая!

— Вижу и вы, ваше сиятельство, уже на ногах в столь ранний час!

— Ты знаешь, я никогда не был рабом Морфея, а в нынешние мои лета мне вполне довольно и трех часов для отдыха. Жизнь коротка, мой друг, и это главный ее недостаток! Поэтому надо дорожить каждым ее мгновением.

Строганову шел 78-й год, но язык не поворачивался назвать его стариком. Многие страдающие новомодным английским «сплином» юноши казались рядом с ним дряхлой ветошью. С годами никогда не отличавшийся плотностью Александр Сергеевич еще больше высох, что придавало его подвижной фигуре ощущение

невесомости. Истончившееся же лицо его сделалось теперь словно прозрачным и светилось тем внутренним светом, который изливала на всех его щедрая душа. Этот человек был прекрасен, прекрасен еще более, чем много лет назад, когда впервые увидел его Воронихин и принял за сказочного царевича. Глядя на своего благодетеля, Андрей Никифорович на мгновение пожалел, что архитектор Его Величества не может пасть на колени и лобызать руки барина, как сделал бы это крепостной...

Они шли по длинной галерее собора, вдоль многочисленных колонн, и Александр Сергеевич подробно расспрашивал Воронихина о ходе работ. Этот храм был его детищем не в меньшей степени, чем Андрея Никифоровича. И не только потому, что он все эти годы курировал это строительство, вкладывал в него свою душу. Когда казна переживала тяжелые времена, Строганов сам финансировал все работы, чтобы проект не был остановлен.

— Злые языки утверждают, что Казанский собор вас разорил...

— На то они и злые, — тонко улыбался Александр Сергеевич. — Но если он и разорит меня, то жалеть о том я не стану. Легче будет пройти в узкие ворота.

— Не думаю, что ваши родственники согласятся с этим.

— Им пора приучаться рассчитывать на себя, жить своим умом и своим трудом, а не праздно растрачивать то, что в поту стяжали веками наши предки. Я был бы счастлив, если бы мой внук понял это и имел бы в себе тот стержень, коего всегда не хватало его отцу...

— Мне кажется, Попо, наконец, нашел себя на военной стезе, — заметил Воронихин.

В первые годы царствования Александра Первого Павел Строганов, как и вся Россия окрыленный надеждами на преобразования, а к тому являясь

близким другом молодого Императора, буквально ожил. Он вошел в негласный комитет, созданный при Государе для разработки либеральных реформ, кои и Александру, и его сподвижникам казались исключительно необходимыми и благодетельными. Их идеалом была Англия, устоям которой стремились они подражать, отстаивая новые общественные идеи. Павел же, памятуя о провозглашенной в дни французской революции «Декларации прав человека и гражданина», ратовал за признание прав человека в России, за отмену крепостного права, обличал дворянство, называя это сословие невежественным, тупым и ничтожным... Старик Державин назвал членов комитета «якобинской шайкой» и высмеял их в басне «Жмурки». Мальчишество это, однако, вскоре закончилось. Государь, столкнувшись с реальным положением дел, вынужден был с сожалением оставить многие прекраснодушные мечтания юности, и это стало поводом для отдаления Попо. Последний был верен своим идеалам и немало разочарован, что его венценосный друг не оправдал его надежд. Огорченный таким отступничеством, он отказался от государственной службы и перешел на военную. На этой стезе молодой Строганов, приняв под свое начало казачий полк, участвовал уже в нескольких кампаниях, показав изрядную доблесть и был неоднократно отмечен наградами.

— Вот, только принесло ли это мир его метущейся душе... — задумчиво произнес граф и, тотчас встряхнувшись, заговорил с прежней живостью: — Кстати, о войне. Поторопись, мой милый, со своим строительством. Ходят слухи, будто корсиканец вынашивает намерение идти войной на нас.

— А как же мир? Тильзит?

— Договоры, мой милый, соблюдают люди, имеющие понятие о чести. А какая же честь у этого

короновавшего себя авантюриста? Он бы, несомненно, продал и родную мать, когда бы это служило его выгоде и честолюбию. К тому же очевидно, что двум медведям в одной берлоге не жить. И рано или поздно мы обречены сойтись в единоборстве... Этого, в сущности, требует и наша честь, честь нашего Императора, столь униженная Тильзитом.

— Что же, угроза столь серьезна и близка?

— Серьезна. А близка ли... Сроков не положено, как сказано в Откровении. Но мы должны бодрствовать всегда. Поэтому поспеши.

— Строительство будет окончено до конца сего года, ваше сиятельство! — пообещал Воронихин.

— Вот и славно, — одобрил Строганов.

Они вышли к главному входу в Собор. Граф посмотрел наверх и, скинув свой подбитый мехом плащ на землю, сказал:

— А теперь осмотрим этот прекрасный купол изблизи!

— Ваше сиятельство, это может быть опасно, — покачал головой Воронихин.

— В мои лета, «крестник», опасно уже все, а это все равно что не опасно ничего, — улыбнулся Александр Сергеевич и с удивительным проворством стал карабкаться по лесам вверх, ничуть не беспокоясь чистотой своего богатого камзола и кружевных манжет. Андрей Никифорович последовал за ним. Сам он совершал такие подъемы почти всякий день и чувствовал себя на крыше собора, как птица в родном гнезде, но холодело сердце от страха, как бы не оступился граф.

Но Строганов не оступился, будто бы всю жизнь только и занимался подобными упражнениями. Быстро взобравшись на крышу, он отряхнул пыль с камзола и, распрямившись, оглядел представшую его взору панораму Петербурга, окрашенного первыми розовыми

лучами всходившего на горизонте солнца. Воронихин встал подле Александра Сергеевича, готовый во всякий миг подхватить его под руку. Лицо графа сияло. Казалось, что заря поднималась теперь не где-то там, на востоке, но в полных вдохновения глазах этого человека.

Что видели его глаза в дали, в которую были устремлены? Начало ли нового дня? Наполняющую душу восторженным трепетом красоту петрова детища, что лежало теперь перед смотрящими, как на ладони? Или же что-то много более дальнее и великое?

Стоя на самом краю крыши, не обращая внимание на ветер, разметавший его белоснежные волосы и готовый поднять и унести прочь его самого, Строганов опустил руку на плечо Воронихина:

— Знаешь, мой милый, стоя здесь, я думаю, что все-таки недаром прожил свою жизнь. И что мало найдется людей, столь счастливых, сколь был в своей жизни я. Меня, нас с тобой не станет, но останется этот собор, вся эта великая красота, во имя которой стоит жить!

Солнце уже высоко поднялось над городом, и граф, прищурив глаза, приветственно улыбнулся ему, добавив:

— И новый век будет русским веком и ничьим другим!

Александр Сергеевич Строганов скончался в 1811 году вскоре после освящения Казанского собора, оставив наследникам помимо имущества долг в три миллиона, на погашение которого последним пришлось брать ссуду. В своем завещании сыну Александр Сергеевич писал: «Павел, сын мой, я тебе повторял сто раз — и днем и ночью, во всякое время и всюду, нужна вера в единого и истинного Бога. Он на небесах, он

езде, без Него все ничто и все исполнено Им. Он велик. Он добр, я верю в Него. Сверх того, будь добрым русским, подчиняйся требованиям страны, где родились все твои. Будешь ли ты начальником или подчиненным, будешь ли ты при Дворе или не будешь, имей в глубине своего сердца следующие, многократно тебе мною говоренные слова: будь добр, будь прям, будь уверен, сын мой, что, когда желаешь того, что достижимо, достигнешь всего, чего пожелаешь. Мое самое большое желание, сын мой, чтобы цель твоей жизни заключалась в любви к правде, ко всему возвышенному, ко всему прекрасному».

Павел Строганов доблестно проявил себя в войне 1812-1814 гг. Эта война, однако, привела к еще одной горчайшей потере для него. В 1814 году, в сражении при Краоне пал его единственный сын, 19-летний прапорщик Александр Строганов. Юноше оторвало голову ядром, и отец едва нашел обезображенное тело среди других трупов. Эта потеря надломила Павла Александровича. Он оставил службу с тем, чтобы отвезти сына в столицу и похоронить подле могилы деда на кладбище Александро-Невской лавры. В Петербурге его ждало известие об еще одной утрате: за два дня до битвы при Краоне от удара скорострительно скончался Андрей Никифорович Воронихин... На службу Павел Строганов не вернулся. Он жил в своем имении с женой и тремя дочерьми. Вскоре граф заболел чахоткой, от которой и скончался, направляясь на лечение за границу. На другой день в парижском доме умалишенных окончила свою многострадальную жизнь Теруань де Марикур...

**Цена победы
(Пётр Степанович
Котляревский)**

— Оборони нас, Царица Небесная, спаси и помилуй!

Голос отца долетал до слуха Петруши словно издалека, и теплело от него на дремотою окутанной душе. За окном в непроглядном мраке бушевала настоящая стихия, выла с какою-то отчаянной, яростной злобою вьюга, бешеным круговоротом заверчивая испуганные снежинки, цепляющиеся в страхе друг за друга и хлопьями летящие на землю. А землю запуржило уже так, что не только дорог, но и хат иных не разглядеть под сугробами — лишь по дымку, из труб тянущему, угадать их можно. Страшно попасть путнику в такую непогоду! Так и замерзнешь ни за что, ни про что...

Слава Богу, успел Петруша домчать до родного дома аккурат накануне бури, а не то — пропадай каникулы! Пришлось бы все их провести в изрядно опостылевшем бойкому мальчику Харьковском духовном коллегиуме, куда отец, сельский священник из обедневших малороссийских дворян, определил его для изучения наук. По рассуждению батюшки путь его сыну один — идти по духовной стезе. Правда, взигрывало родительское честолюбие, радуясь успехам чада: глядишь, повыше поднимется Петруша по стезе этой, да архиерея дослужится! С такою-то светлой головушкой...

К наукам Петруша был прилежен, и давались они ему легко. Да только скучал он в коллегиуме, и к чему-то совсем иному стремилась созревающая душа 10-летнего отрока... К чему? Он и сам не знал еще точно. Зато точно знал, что счастливое время каникул лучше всего провести в родной Ольховатке! Второй день радовался мальчик уюту родного дома. И теперь

полнилась тихой радостью душа от света лампад перед странными семейными образами, от треска печи, жарко, до духоты в доме растопленной, от негромкого голоса отца, читающего часы, от с младенчества знакомых запахов и звуков... Мышь ли заскребет, половица ли скрипнет — все родно дома, все греет.

Внезапно раздался стук в дверь. Петруша тотчас очнулся от дремоты и соскочил с печи, встал с колен и отец, перекрестившись.

— Кого это Бог привел в такой час?

— Отворите, люди добрые! Не дайте пропасть христианским душам! — раздалось из-за двери.

Отец отодвинул засов. В натопленную избу тотчас ворвался ледяной ветер с хлопьями снега и три человека, точно втолкнуемых вьюгой в двери священнического жилища. Белые от снега и инея, замерзшие, они поклонились хозяину.

— Ну, батюшка, думали уже — пришла пора Богу души отдавать! Хуже, чем турка бороть, с этакою стихией сражаться! — воскликнул один из путников, сбрасывая шубу, под которой обнаружился военный мундир с немалым числом наград, что сразу восхитило Петрушу. — Честь имею рекомендоваться: командир 4-го батальона Кубанского егерского корпуса подполковник Иван Петрович Лазарев!

Его спутник, старший годами и явно замерзший сильнее, уже измученно сидел на лавке, ожидая, когда денщик — третий из ночных гостей — сумеет стянуть валенки с его замерзших ног.

— Нешто отморозил... — едва слышно говорил он, сокрушенно качая головой.

— Губернатор Харьковской губернии Федор Иванович Кишенский! — представил его бравый подполковник.

Губернатор вскинул голову:

— И покорный данник добрых хозяев, — чуть улыбнулся он. — Думали мы и впрямь, что конец наш пришел. А, вот, Господь милостивый к слуге Своему привел!

— Ваше превосходительство! — всполошился отец. — Какая честь для моего скромного дома! Петруша, что же ты стоишь? Помоги немедля гостям, а я сейчас соберу на стол...

Перво-наперво батюшка подал гостям собственного приготовления настойку «ото всех простуд», после чего принялся за ужин. Тем временем Петруша, отстранив также зачоченевшего и оттого нерасторопного Фимку, проворно стащил с ног губернатора валенки и, убедясь, что ноги важной особы целы, растер их водкою.

Отвечеряв, Федор Иванович тотчас завалился спать, Фимка последовал его примеру. А, вот, подполковник Лазарев, бодрый и подтянутый, не спешил отходить ко сну. Много и вдохновенно рассказывал он о своих былых походах, о победоносных схватках с турками, о великом Суворове, под началом которого привелось ему сражаться... Отец клевал носом, а Петруша слушал с замиранием сердца и будто бы наяву видел все те славные битвы, о которых повествовал гость.

...Буря затянулась на целую неделю. И все эти дни Петруша, мечтавший провести каникулы в играх с деревенскими приятелями, проводил с Иваном Петровичем, о многом расспрашивая его и охотно отвечая на вопросы подполковника, который точно экзаменовал бойкого мальчугана.

— А что, братец, не скучно ли тебе в твоём коллегииуме штаны протирать? — спросил однажды Лазарев, испытующе глядя на Петрушу.

— Науки мне занимательны, — отозвался мальчик, — но быть священником или монахом призвания в себе я не нахожу вовсе.

— К чему ж лежит душа твоя? — осведомился Лазарев.

Глаза Петруши вспыхнули и он, неожиданно для себя, ответил горячо:

— Сражаться за Отечество!

Иван Петрович рассмеялся и потрепал мальчика по голове:

— Верное стремление, юноша! Ведь ты дворянин, а первый долг дворянина — защищать Отечество!

На другой день впервые проглянуло солнце, и буря, измотавшая саму себя, наконец, сникла, стихла, в изнеможении улеглась, оставив после себя радость детворе — громадные, переливающиеся в солнечных лучах сугробы. Но погожий день не обрадовал Петрушу. Конец бури означал и конец гощеванию постояльца, к которому успел он уже привязаться, а заодно и конец неожиданно озарившей душу мечте...

Однако, Иван Петрович относился к тем людям, у которых слово никогда не расходится с делом. В тот же день после обеда он напрямик спросил хозяина:

— А не хотели бы вы, отец Стефан, чтобы ваш сын, как и подобает дворянскому отпрыску, посвятил себя служению Царю и Отечеству?

Отец, удивленный вопросом, замялся в смущении:

— Так ведь вы сами видите наше положение. Чтобы Петруше выйти в офицеры и служить, нужны немалые средства, а мне неоткуда их достать.

— А что бы вы сказали, если бы я пообещал сделать из вашего сына образцового офицера? Он смысленный и крепкий мальчик, у него есть все задатки для это. Я общался с ним целую неделю и могу говорить об этом уверенно. Теперь, как вы знаете, я следую в Моздок к новому месту службы. По устройстве своем там, я мог бы взять Петра к себе, и он бы начал службу под моей командой.

— Ваше предложение честь для нас, — помедлив, отозвался отец, поглядывая на разгоревшегося румянцем и уже теперь готового в бой сына.

— Но вас что-то смущает?

— Я хотел бы, чтобы мой сын был образованным человеком. Чтобы он познал не только искусство воевать, но и науки.

— Помилуйте, батюшка, я ведь обещал сделать из вашего сына офицера, а не солдафона, — рассмеялся Лазарев. — А офицеру науки потребны не менее, чем служителю Церкви. Можете не сомневаться, я лично буду следить за его обучением. Да и у него самого голова светлая, и он не забросит наук, и будет прилежен к ним. Так ведь, братец?

— Я обещаю, что пройду полный курс наук, и служба никак не помешает этому, — с волнением отозвался Петруша, просительно глядя на отца.

Тот помолчал некоторое время, то ли размышляя, то ли молясь, чтобы Господь вразумил его, как поступить. Затем перекрестился троекратно, вымолвил:

— Знать, Богу так угодно, и недаром он привел вас в наш дом. А коли так, то не мне, смиренному рабу, противиться. Если вы обещаете позаботиться о моем Петруше, то я готов поручить его вашему милостивому попечению и буду молиться за вас, как за второго отца ему.

Петруша порывисто опустился на колени и облобызал руки родителя.

— Вот, и поладили, — довольно кивнул Лазарев.

С того знаменательного дня минул год, в который Петруша исправно продолжал постигать науки в коллегииуме. Иногда на него нападал страх: что если Иван Петрович забудет о нем? Передумает? Или просто что-то переменится в службе его, и уговор расстроится? Мысль о военном поприще уже настолько завладела

мальчиком, что ни о какой иной стезе он не мог больше и помышлять.

Даже очередные каникулы не могли вытеснить из сердца Петруши тревогу. Он вспоминал все свои продолжительные разговоры с Лазаревым и томился неизвестностью о нем и о своей судьбе. А что если уже и нет в живых бравого Ивана Петровича? Ведь служба на Кавказе куда как тяжела и опасна...

От этих мыслей отвлекали игры с деревенской детворой. Зима — прекрасная пора для игр! Штурмы снежных крепостей, салазки, снежные горки... Вот, скатились с самой высокой из них гурьбою, подскочив на рытвине, вывалились в сугроб, забарахтались, швыряя друг в друга снежками. В этот момент Петруша увидел на дороге сухопарую фигуру отца, а с ним неизвестного военного. Тотчас забыв игры, мальчик опрометью бросился им навстречу.

Отец, прежде чем заговорить, отряхнул с него снег, поправил сбившуюся шапку, затем указал на своего спутника:

— Вот, сынок, сержант за тобой прибыл. Иван Петрович велит тебе собираться и ехать к нему в Моздок. Там ты уж и на службу зачислен... как бишь...

— Фурьером 4-го батальона! — по-военному отчеканил сержант.

Волна радости ударила в голову Петруше и дал лихого антраша, но тотчас устыдился своего мальчишества и выпрямился, стараясь придать себе военную выправку. Радость, впрочем, быстро умерила примешавшаяся к ней печаль. Жаль было покидать любимого отца, жаль было видеть, в какое огорчение повергает его эта разлука. Кто знает, придется ли свидеться вновь? Ведь не к тетке на блины едет мальчик, не в корпусе кадетском постигать науку ратную, а на переднем крае, в диких кавказских землях.

На другой день отслужил отец Стефан напутственный молебен, со слезами обнял и благословил сына и с тем отпустил юного фурьера к его второму нареченному отцу, навстречу своей судьбе.

— Ох, чувствую, и наемся мы с этим семейством царьков, — раздраженно говорил Лазарев, направляясь во дворец грузинских царей. — Экая неблагодарная змеиная порода! Папаша их матушке-Императрице, а затем Павлу Петровичу челом бил — примите, де, под державную длань свою, защитите от проклятых басурман, пока они нас всех не зарезали, не дайте сгинуть христианскому племени! Кой год обороняем мы их от тех басурман, и что же? Стоило Георгию отдать Богу душу, как его наследники готовы запродать нас кому угодно, чтобы захватить себе трон!

Петр согласно слушал своего отца-командира и всецело разделял его негодование. Вся пока еще недолгая служба юного адъютанта доселе была отдана защите терзаемой персиянами Грузии. На третьем году службы он в звании сержанта, которое было им получено двенадцати лет, участвовал в своем первом походе.

В 1796 году граф Зубов предпринял поход против Персии. Перейдя через Кавказский хребет, русские войска осадили крепость Дербент. 14-летний Петр одним из первых влез на стены вражеской цитадели при взятии ее. За проявленную доблесть сержант Котляревский был представлен к офицерскому чину, но... в это время в Петербурге скончалась матушка-Императрица, а ее сын подверг всесильного графа Зубова опале, в результате чего все его представления остались без утверждения.

Свой офицерский чин Петр получил лишь три года спустя, когда его родной 4-й батальон был преобразован в 17-й егерский полк, шефом которого стал Лазарев. Одновременно Иван Петрович назначил

своего воспитанника адъютантом. Он сдержал слово, данное родному отцу Петра, и все эти годы заботился о нем, как о сыне, хотя и без каких-либо поблажек по службе. Петр же прилагал все усилия, чтобы эти поблажки и не требовались, показывая образцовое усердие. Лазарев сделался для него вторым отцом, и эти узы еще прочнее укрепила трагедия — гибель жены и дочери Ивана Петровича. С потерей их у него в целом свете не осталось никого, кроме Божиим Промыслом взятого из далекой Ольховатки на воспитание мальчика...

Производство в офицеры совпало с началом нового похода против Персии, предпринятого по просьбе грузинского царя Георгия XII. Егеря генерала Лазарева вновь перешли Кавказский хребет и спустились в долину Арагви. Поход был предпринят в ноябре, в холод и метели, когда в горах нельзя было отыскать ни дорог, ни просек. Но русские чудо-богатыри вынесли этот поход и даже не потеряли в нем ни одного орудия. Тифлис встречал героев пушечной пальбой, колокольным звоном и всенародным ликованием! Георгий XII вместе с царевичами и многочисленной свитой лично встретил Лазарева хлебом-солью за городскими воротами. Грузия была спасена, и с этого дня именно Иван Петрович, ставший командующим отрядом русских войск в этой стране, отвечал за ее судьбу. Своему адъютанту он поручил не только отслеживание военно-политической ситуации в крае и ведение всей официальной переписки, но даже сношения с грузинским царем. Петр, которому в ту пору исполнилось лишь семнадцать, сперва немного оробел от возложенных на него обязанностей, спросил прямо:

— Не слишком ли я молод для таких поручений? Ведь у меня нет опыта, я многого не знаю.

— Ты знаешь вполне довольно, — отрезал Лазарев. — А самое главное, имеешь голову на плечах.

Возраст твой тут не причем. Довольно я знаю убеленных сединами болванов, которым ничего нельзя доверить... А опыта набирайся, пока я жив. Он тебе пригодится.

Опыт сей был куда как посложнее военного! Однажды царь Георгий даже подал русскому посланнику жалобу на дерзкого адъютанта, который «ворвался» в его опочивальню, требуя предъявить отчет, почему срывается снабжение русских войск. Посланник, впрочем, оставил жалобу без последствий.

Намаявшись «дипломатической службой», Петр был безмерно рад новому походу, в коем пришлось наломать бока поддерживаемым Персией лезгинам. Перед победным сражением у селения Кагабет Котляревский несколько дней с отрядом казаков проводил разведку в горах, благодаря чему русское командование получило все необходимые сведения о передвижениях и составе сил противника.

У Лазарева было всего 500 солдат, против которых правитель Аварии Умма-хан выставил 15 тысяч воинов. Такое огромное преимущество не остановило Ивана Петровича, генерал сделал ставку на свою артиллерию и не ошибся. Огонь русских батарей расстроил ряды войска Умма-хана, а затем русские ударили в штыки и обратили неприятеля в бегство. Лезгины потеряли в тот день более полутора тысяч человек, сам аварский правитель был тяжело ранен. За это славное сражение Котляревский, под огнем врага обеспечивавший взаимодействие русских и грузинских войск, был произведен в штабс-капитаны и награжден орденом Святого Иоанна Иерусалимского.

Увы, поход был краток, и юному адъютанту пришлось вновь вернуться к дипломатии... В те дни Грузия лишилась своего царя. Перед смертью Георгий завещал свою страну в подданство Российской Империи, но карталинские князья подняли мятеж. Котляревскому было поручено склонить мятежников на

русскую сторону. Задача для умудренного дипломата, а не для юноши... Но распоряжения начальства не обсуждают, а выполняют. Тем более распоряжения Лазарева! Раз Иван Петрович так верит в способности своего адъютанта, то как можно эту веру обмануть? Из кожи вылезай, но оправдывай, чтобы не пришлось отцу названному краснеть за воспитанника!

Уже и не помнил Петр порядочно, что такое говорил он князьям, но говорил с изрядным вдохновением и, по-видимому, с не меньшей убедительностью. Само собой, среди прочего посулил печальную судьбу аварского хана, память о нападении и бесславии которого еще так жива была... В итоге карталинцы заявили о своем желании «пролить кровь за русского Государя».

Но волнения в Грузии на этом не улеглись. Новый командующий кавказскими войсками генерал князь Павел Дмитриевич Цицианов, грузин по происхождению и русский по духу, начал с того, что для укрепления границ потребовал от местных владетельных князей выслать в его распоряжение большую часть надворной охраны, запретив при этом под страхом ссылки в Сибирь и конфискации имущества решать местнические споры вооруженным путем. Это мера положила начало формированию в грузинской среде принципиально нового военного сословия на русской службе. Однако, наследники царя Георгия были не довольны тем, что вся власть в их маленькой стране оказывалась в руках русских наместников. Они стремились вернуть утраченное влияние, при этом не умея прийти к соглашению, кому же из них наследовать опустевший трон. То и дело составлявшиеся заговоры с вовлечением в них Дагестана, Турции и Персии вынудило русское правительство принять решение о вывозе членов семьи бывших грузинских царей в Россию, где они должны были проживать на правах российских помещиков с

сохранением привилегий, соответствующих их высокому званию.

Однако, вдовствующая царица Мариам и ее дети не пожелали подчиниться этому решению. Более того, Цицианову донесли, что непокорное семейство готовится бежать в Персию, которая обещала ему помощь в борьбе за престол. Подобный оборот грозил самыми пагубными последствиями для положения дел в регионе. Поэтому Павел Дмитриевич приказал генералу Тучкову незамедлительно задержать царевичей, а генералу Лазареву — арестовать царицу с дочерью с целью их высылки в Россию.

С этою-то миссией и направлялся теперь Иван Петрович с верным адъютантом и небольшим отрядом в сделавшийся рассадником антироссийских интриг дворец грузинских царей. Прибывшим было объявлено, что царица больна и не может подняться с постели. Однако, Лазарева это не остановило.

— Я имею приказ донести до царицы волю моего Государя, и приказ сей я исполню, — решительно заявил генерал и, не слушая лепет растерявшейся челяди, направился прямо в спальню Мариам в сопровождении Котляревского и поручика Мартынова.

Царица, действительно, лежала в постели, до подбородка укрытая одеялом. Ее еще не старое и сохранившее следы прежней красоты гордое лицо было исполнено ненависти к вошедшим. Рядом с ней стояли ее дети — сын Джебраил и дочь Тамара. Их лица и тяжелые взгляды исподлобья также не обещали незваным гостям радушного приема.

— Ваше величество, я имею предписание проводить вас в Мцхет, откуда вы с подобающими вашему царскому достоинству почестями будете доставлены в Россию.

— Вы же видите, что я нездорова.

— Я распоряджусь, чтобы вам прислали врача. Он осмотрит вас и, уверен, найдет средство для вашего скорейшего излечения.

Смуглое лицо царицы вспыхнуло:

— Благодарю вас, генерал, но у меня есть свой врач, и он не велел мне вставать.

— Полагаю, что наш эскулап будет даровитее вашего и поднимет вас на ноги куда быстрее, — усмехнулся Лазарев.

— Способности вашего эскулапа не важны, — резко ответила Мариам. — Ни я, ни мои дети не покинем Родины. И вы не имеете права требовать от нас этого. Мы не порабощенная вами страна, не ваша провинция, не рабы вашего Царя!

— Нашего Царя, Ваше Величество, — поправил Иван Петрович. — Ваш покойный супруг, если вы не забыли, завещал Грузию в подданство русского Государя. Вы, как и мы, не рабы ему, это так. Но все мы — его верноподданные, призванные исполнять его волю ко благу нашего Отечества. А оно теперь одно у нас. Или, быть может, вы хотите, чтобы ваш несчастный край опять разоряли персияне, проливая здесь потоки крови?

— Я все сказала, — перебила царица. — Мы не покинем наш край. Либо вам придется действовать силой!

— Напрасно, — холодно откликнулся Лазарев. — Поручик, — обратился он к Мартынову, — останьтесь здесь. А вы, Котляревский, идите со мной.

Выйдя из покоев царицы, Иван Петрович раздраженно выругался:

— Экая же змея, дьявол ее возьми! Хочет предаться персиянам за право любимого сына сидеть на отцовском троне! Рабство Грузии Персии с бумажной короной для Джебраила лучше для этой безумной женщины, нежели быть верноподданными русского Царя, вельможами в России!

— Что же мы станем делать с нею? — спросил Петр. — Ведь все-таки царица, за волосы не потащишь...

Лазарев досадливо поскреб подбородок:

— Признаться, у меня большой искус поступить с этой злобной бабой именно так, но ты совершенно прав: так мы поступить не можем. Поэтому для начала ты сейчас поедешь и привезешь нашего врача, чтобы он осмотрел сию «больную» и засвидетельствовал, что она может отправляться в дорогу. А дальше...

Генерал не успел договорить, так как из спальни вдруг раздался страшный шум и крики.

— Что там еще? — Лазарев шагнул к дверям и, распахнув их, остановился пораженный увиденным. Поручик Мартынов, окровавленный и прижатый к стене, отбивался шпагой от Джебраила и Тамары, напавших на него с кинжалами. При этом бедняга Мартынов явно старался не поранить высокородных противников. Котляревский рванулся было на помощь товарищу, но Лазарев удержал его и, быстро подойдя к кровати Мариам, потребовал:

— Ваше Величество, немедленно прикажите вашим детям сложить оружие! Или, черт побери, я позову сюда моих людей и прикажу применить оружие им! Пожалейте ваших детей!

— Пожалейте самого себя, генерал! — с ненавистью выкрикнула царица, и взметнувшаяся из-под одеяла рука с кинжалом ударила Ивана Петровича в бок. Генерал застонал и зажимая рукой рану повалился на пол. В следующий миг смертельный удар настиг и Мартынова.

Котляревский бывал во многих сражениях, видел много ужасов войны, но никогда не испытывал страха. Теперь же, видя стоящую на постели, страшную в своей ненависти царицу с окровавленным кинжалом, ее бешеных от злобы детей-убийц с такими же клинками и

два окровавленных трупа, одним из которых был его названный отец, Петр впервые испытал это леденящее душу чувство.

Он не стал дожидаться, пока руки убийц дотянутся и до него, и выбежав из покоев Мариам, позвал на подмогу солдат. Дальнейшее происходило как во сне... Прибежавшие на клич егеря окружили оцетинившееся кинжалами семейство, подавляя в себе желание тотчас отомстить подлым убийцам за гибель любимого командира. Приехавшие затем грузинские вельможи и полицмейстер Сергунов тщетно уговаривали последних сложить оружие. Наконец, Сергунов, завернув руку в толстую папаху, приблизился в царице и вырвал кинжал из ее рук. В этот миг стоявшая рядом царица Тамара бросилась на него, но, по счастью, промахнулась и вонзила свой кинжал в плечо матери... Увидев мать истекающей кровью, царевич Джебраил разрыдался, как ребенок, и бросил оружие на пол.

Вечером того же страшного дня царское семейство было вывезено в Россию. Грузия была спасена от смуты, но за это была заплачена бесконечно дорогая цена... Всю ночь Котляревский провел у гроба своего отца-командира, выставленного в тифлисском Сионском соборе, горько оплакивая его. Как истинный воин, он по примеру Лазарева презирал слезы, считая их недостойной слабостью. Но здесь, под сводами древней грузинской святыни, он впервые в жизни дал слезам полную волю, не стыдясь их.

— Иван Петрович, Иван Петрович... Вы для меня были больше отца, вы дали мне все, научили всему. А я не смог защитить вас, принять этот вероломный удар в свою грудь. Вы вышли невредимым из стольких сражений, и, вот, жало змеи оказалось опаснее ядер и пуль... Простите, Иван Петрович! Клянусь, я не забуду ничего из того, чему вы учили меня, и буду достойно

служить нашему Отечеству. Так, чтобы вы могли гордиться мной, своим названным сыном!

Утром тело славного генерала было погребено здесь же, в соборе, под гром артиллерийского салюта, в присутствии войск и большого количества простого народа. Искренни ли были слезы этого народа или просто опасались они, привыкшие к варварству, что русские ответят жестокими карами на такое вероломное убийство? Напрасно. Русские не карают невинных...

Первую горсть земли бросил на гроб князь Цицианов.

— Прощай, брат Иван Петрович! Упокой Господь в селениях праведных твою отважную душу.

После погребения, Павел Дмитриевич отозвал бледного, но уже овладевшего собой Котляревского и, отечески положив ему руки на плечи, участливо спросил:

— Что, штабс-капитан, осиротели вы нынче?

— Точно так, ваше превосходительство, — отозвался Петр.

— Примите искренние соболезнования, я знаю, как дорог вам был Иван Петрович.

— Благодарю вас!

— Зная вашу службу при нем, я хотел бы предложить вам быть отныне моим адъютантом.

Котляревский на мгновение задумался. Быть адъютантом командующего, да еще столь достойного воина, каким был любимый войсками князь Цицианов — предложение это было немалой честью для молодого офицера. Но...

— Благодарю за оказанную честь, но осмелюсь, ваше превосходительство, доложить вам со всей искренностью: я очень устал от штабной службы. И потому хотел бы просить назначения в любую из строевых частей!

Павел Дмитриевич внимательно посмотрел на Котляревского, будто угадывая его душевное состояние и стремление:

— Что ж, Петр Степанович, понимаю ваше стремление! Обещаю, ваша просьба будет удовлетворена, и в ближайшее время вы получите новое назначение.

Глаза Котляревского зорко вглядывались во тьму, а слух ловил всякий шорох. Томилась душа Петра Степановича тем, что из-за ранения ноги не смог он сам произвести рискованную и самим им разработанную вылазку, а пришлось отрядить на нее молодых офицеров, еще не имевших достаточного опыта. Как-то справятся они? А ведь от их успеха жизнь отряда зависит! По крайности в части грозящей ему смерти от нестерпимой жажды...

Восемь дней назад, узнав о появлении крупных неприятельских сил, князь Цицианов отправил навстречу им отряд в 493 человека при двух орудиях под командой полковника Карягина. Отряду надлежало соединиться с занимавшим крепость Шушу гарнизоном полковника Лисаневича и совместно любой ценой задержать продвижение персиян — до той поры, пока Павел Дмитриевич соберет рассыпанные по всему Кавказу основные силы и сможет выступить в поход сам.

Все силы Русской армии были брошены в эту пору на противостояние бешеной собаке Бонапарту. Кавказ, окруженный другими, более мелкими бешеными собаками, почти выпал из поля зрения русского правительства, помочь его защитникам оно не могло. Защитников же этих осталось лишь шесть тысяч пехоты да полторы тысячи кавалерии — и все это по огромной территории рассеяно, и все это не снимешь, не соберешь в кулак, потому что нельзя оголить пограничья и разбойные гнезда, которые караулят они!

А персияне вторглись, как водится, целой ордой — 20 тысяч воинов! И, вот, все, что смог выставить против них Цицианов — менее пятиста солдатских и

офицерских душ. Что ж, приказ был ясен: умереть, но не дать врагу прорваться в Тифлис, прежде чем Павел Дмитриевич сможет оборонить его. Умирать нам не привыкать, а персиянина бивать в пропорции один против десяти — и того паче. Правда, пропорцию один против сорока отведывать еще не доводилось...

А все ж бодро шли в поход смертный. Кавказский солдат — особый солдат, такими тропами ходить ему доводилось, в таких передрягах бывать, что ко всякому лиху притерпелся он. Раньше смерти не помрешь, а пока живешь — тешь душу песнею бодрой да прибауткой веселой. Так и шли-поспешали, надеясь прежде встречи с неприятелем до Шуши дойти — все ж с Лисаневичем и его солдатами крепче стоять будет!

Но не вышло. Уже на середине пути показались впереди песианские тьмы. Карягин немедленно распорядился расположить обоз в форме каре, создав таким образом импровизированную «крепость». За ее «стенами» и принял бой маленький отряд. Успел Павел Михайлович отослать гонца в Шушу с письмом к Лисаневичу срочно идти на выручку. Но подмога так и не пришла... Боялся Лисаневич крепость оставить, боялся, что в его отсутствие вспыхнет там мятеж, и тогда уж еще и Шушу назад штурмом брать придется — а какими силами? И не откажешь полковнику в своей правоте. Но карягинскому-то отряду что ж, помирать теперь?

За три дня беспрестанных отражений атак треть отряда выбыла из строя. Правда, и басурманам досталось изрядно. Котляревский, бывший заместителем Карягина, трижды прогонял персиян с занимаемых ими возвышенностей. Отличились также капитаны Парфенов и Клюкин.

Но подвиги эти не могли спасти положения. К бомбардировкам с четырех фальконетных батарей и периодическим атакам неприятельской конницы

добавлялся нестерпимый зной и отсутствие воды, особенно губительное для раненых. Поэтому, едваждавшись темноты, Карягин отправил группу под командой поручика Ключина и подпоручика Туманова на рискованное задание — уничтожить батареи противника, прорваться к реке и доставить воду. Этих-то смельчаков и ждал теперь Котляревский с нарастающим волнением, за которым забывалась даже боль в распухшей ноге. Славно еще, что кость не задета, авось заживет царапина, лишь бы до «антонова огня» дело не дошло, иначе пропадай нога, а то и голова с нею.

Многострадальная нога! Первая пуля досталась ей два года назад. Тогда при штурме крепости Ганжа Котляревский первым взобрался на ее стену, но неприятельская пуля повергла его на землю. Там подхватил его славный егерь Богатырев, но тотчас пал, сраженный пулею в сердце. Пожалуй, и сам бы Петр Степанович не вышел живым из того побоища, если бы не вынес его на себе молодой граф Воронцов... Теперь этот отважный воин, с которым неожиданно сердечно сошелся Котляревский, сражался на европейских полях с наполеоновскими разбойниками, а Петру Степановичу достались разбойники здешние...

Наконец ночную тишину нарушил грохот, и яркие вспышки запылали там, где у реки располагалась батарея противника. Ай-да молодцы соколики! Следом грянул еще один взрыв, третий, четвертый... Задрожало сердце майора ликованием. Все четыре батареи вражеские уничтожили лазутчики! Лишь бы возвратились теперь! И воды, воды достали... Иначе раненым — смерть!

И они возвратились. И Туманов, и Ключин. Оба раненые, оба черные от копоти, но неизменно молодцеватые и развеселившиеся собственным лихим делом! Солдаты, правда, не все с ними были, несколько

героев сложили головы в схватке с орудийной прислугой...

— Батареи уничтожены, фальконеты сброшены в реку, прислуга перебита! — коротко отрапортовал Ключин. — Вода доставлена...

При этих словах он зашатался от потери крови, и подхватившие его солдаты поспешно унесли славного поручика, призывая доктора.

— Вода! Вода! — как благая весть пронеслось по лагерю, и все зашевелилось, ожило, потянуло руки: — Вода!

Котляревский и Карягин лишь несколько глотков разрешили себе, уступая драгоценную воду раненым более тяжело, чем они сами.

— Сегодня — спасены, — вымолвил устало Павел Михайлович, морщась от боли в простреленной спине. — Что-то завтра нас ждет?

А назавтра к месту неравного сражения подошли основные силы противника во главе с наследником персидского престола Аббас-Мирзой. Эти тьмы раз за разом лавиной обрушивались на русское каре, но всякий раз вынуждены были отступать. Около полудня к полуразрушенной «обозной крепости» подъехали три парламентаря с нахальным предложением сдаться. Павел Михайлович лишь презрительно сплюнул:

— Передайте вашему Аббас-Мирзе, что русские не сдаются!

Правда, и среди русских нашлись предатели... Испугавшись неизбежной гибели, дезертировал поручик Лисенко с шестью нижними чинами, следом неприятелю предалась еще 19 солдат.

Когда наступила ночь, и атаки неприятеля прекратились, Карягин собрал у себя всех уцелевших офицеров. Лицо его было черно от усталости, глаза глубоко запали. Вдобавок полковника мучила лихорадка от полученной раны.

— Итак, господа, что будем делать? — коротко спросил он. — Мы все понимаем, что если не завтра, то послезавтра нас неизбежно уничтожат. Это понимают и наши солдаты, и пример Лисенко и других стал для них крайне растлевающим.

Командир мушкетерского полка капитан Татаринцев резко взмахнул рукой:

— Погибать так с честью! Завтра с утра ударим на противника оставшимися силами! По крайности, погибнем в бою, а не от жажды и ран!

— Не горячитесь, капитан, — покачал головой молодой командир артиллеристов Гудим-Левкович. — Красивая и благородная смерть — это не всегда лучший выход... К тому же, если мы погибнем, то откроем Аббас-Мирзе путь на Тифлис.

— Где еще не собраны силы для отражения нападения этих полчищ, — прибавил капитан Парфенов.

— Гудим-Левкович и Парфенов правы, — кивнул Карягин. — Наша гибель сейчас погубит не только нас, но и Тифлис. Нам дан приказ задержать наступление противника, и мы должны его выполнить!

— Вы сами сказали, Павел Михайлович, что мы не продержимся дольше двух дней, — слабым голосом заметил едва держащийся на ногах от тяжелой раны Клюпин. — И солдаты... Они не хотят гибнуть в этой мышеловке... За мерзавцами, что удрали сегодня, последуют другие. А это позор, господа!

— Поэтому я и говорю, что лучше всем погибнуть с честью! — воскликнул Татаринцев. — Иначе эти дезертиры, будь они прокляты, покроют позором весь наш отряд! У кого-то есть предложения лучше?

Котляревский, сидевший на снарядном ящике и до времени не вмешивавшийся в спор, чертя что-то на песке, поднял голову и ответил утвердительно:

— Есть.

— И каков же ваш план? — осведомился Татаринцев.

— Недалеко от нас расположена крепость Шах-Булах, стоящая прямо на реке. Единственный наш путь — вырваться из окружения, добраться до крепости и укрыться в ней.

Карягин, молча, расстелил карту, и все офицеры обступили ее, без лишних рассуждений согласившись, что из трех вариантов погибнуть — лобовая атака на позиции противника, смерть от жажды и неприятельского огня в лагере и прорыв в крепость — лишь последний оставляет хоть какую-то надежду на спасение.

— Мы недостаточно знаем местность, а идти придется ночью, — заметил Парфенов.

— У нас есть проводник, — тотчас вспомнил Карягин о перебежчике-армянине. — Приведите сюда Мелика Вани!

Мелик Вани, родившийся в этих краях, подтвердил, что знает дорогу к Шах-Булаху и готов провести туда русских.

— Господа, медлить нельзя, — решительно заявил Павел Михайлович. — Завтрашний день может стать для нас последним. Поднимайте ваших людей и готовьтесь выступить в поход через час. Обоз оставляем неприятелю. Трофейное оружие приказываю зарыть в землю. С собой берем лишь наши пушки и наших раненых. Этой ноши нам достанет с избытком...

Дополнительных огней при сборах не зажигали, дабы не привлечь внимание противника. Скоро и бесшумно собрался небольшой и сильно потрепанный отряд в дорогу. Мало было в нем воинов, не имевших хотя бы малой царапины, полученной в последние адские дни. Легко раненые несли на своих плечах раненых тяжело. Здоровые тянули, выбиваясь из сил, пушки. Неприятель не ожидал столь дерзкого предприятия, а потому русским удалось беспрепятственно покинуть лагерь...

Гарнизон крепости Шах-Булах составлял полторы сотни человек. Прежде чем персияне, не ожидавшие нападения, успели спохватиться, ядро, метко пущенное артиллеристами Гудим-Левковича, разнесло ворота замка, и солдаты с хриплым криком «ура» ворвались внутрь, переколов штыками всполошенных часовых. Навстречу им выбежало еще несколько десятков персиян во главе с комендантом крепости Эмир-ханом.

Карягин, выступив вперед своих людей, обратился к нему с усталым вопросом:

— Хан, вы сами покинете замок или предпочтете сражение?

Силы русских явно превышали гарнизон маленькой крепости, а собаки-персияне привыкли нападать, лишь превосходя противника не менее, чем вдесятеро. Тем не менее, Эмир-хан, боясь гнева Аббас-Мирзы, предпочел сражение. С яростью ринулись басурмане на незваных гостей, и получили не менее яростный отпор. Котляревский, несмотря на раненую ногу, скрестил клинки с правой рукой Эмира — одноглазым Фалей-ханом. Бились ожесточенно и сосредоточенно. Ни русское «ура», ни магометанское «алла» практически не нарушали ночного безмолвия. Лишь крики и стоны раненых тревожили небеса в предрассветный час.

Когда солнце стало над крепостью, ее гарнизон был уже мертв. Лишь немногим удалось бежать. Убиты были и оба хана. Об этой победе Карягин незамедлительно отправил депешу Цицианову и приказал солдатам срочно восстановить и укрепить взорванные ворота.

— Да, Петр Степанович, — обратился он к Котляревскому уже в замке, где расположились они в бывших покоях коменданта, — здесь отражать атаки все же приятнее, чем в нашем обозном гнезде. Однако, в строю у нас осталось 170 штыков, а в арсенале 45 снарядов.

— И практически никакого продовольствия, — добавил Котляревский, успевший проинспектировать подвалы крепости. — Эти собаки весьма дурно заботились о своих запасах... — он помолчал, борясь с наваливающимся сном. — Мелик Вани говорит, что можно попытаться добыть продовольствие...

— Наш добрый гений...

— Слава Богу, хотя бы вода теперь есть.

— Вы, кажется, смертельно устали, майор, — заметил Карягин.

— Как и мы все.

— Да... И полагаю, прежде чем готовиться к новым испытаниями, мы должны хотя бы пару часов отдохнуть. Или сон свалит нас прямо в бою.

Котляревский, не смыкавший глаз более трех суток и получивший в последнем бою ранение картечью в правую руку, согласился с этим предложением. Отдых его, однако, продолжался недолго, будучи прерван орудийными залпами. Аббас-Мирза, обнаружив, что русские бежали под покровом ночи, бросился в погоню, и теперь его полчища занимали позиции у Шах-Булаха, а его пушки начинали пристрелку, готовясь к бомбардировке крепости...

Очнувшись ото сна, Петр Степанович с досадой почувствовал, что старая рана, залечивать которую не было никакой возможности, и добившаяся к ней новая вкуче с измотом последних дней сделали свое дело: голова его горела в лихорадке, а в глазах чернело при малейшей попытке подняться.

Жар не отпускал его трое суток, но на четвертые высохший еще более обыкновенного, дрожа от озноба и слабости, он все же нашел в себе силы встать и явиться на совещание к Карягину. Первое, что бросилось ему в глаза — отсутствие некоторых офицеров.

— Жудковский погиб при взятии батарей, Гудим-Левкович сражен на батарее нашей... Все канониры его

были изранены, и он сам заряжал орудия... — пояснил Павел Михайлович, поняв вопрошающий взгляд своего заместителя.

— Что Тифлис?

— Тифлис «в отчаянии неслыханном» просит нас подкрепить солдат, а Бога подкрепить нас, — Карягин поморщился. — Скоро подкреплять станет некого... И подкрепляться — нечем.

— Мелик не смог достать провиант?

— Смог. Но мало. Он с нашими охотниками уже две продовольственных вылазки провел. Но на второй раз чудом ушли от погони. В третий раз тем же путем соваться — верная гибель. Конину уже изрядно поели, траву подьедаем... Еще одна мышеловка, майор, и, если мы не найдем из нее выхода, то эти стены станут нашей могилой.

— Я полагаю, господа... — со свойственной ему решительностью начал Татаринцев.

— Прошу вас, капитан... — устало отозвался Парфенов. — Только не предлагайте опять выйти из крепости в количестве ста человек, неся на плечах наших раненых, и ударить в штыки...

— А я думаю, что нам как раз придется выйти из крепости, — сказал Котляревский, прикрывая глаза, чтобы расходившиеся перед ними круги не мешали работе мысли. — В количестве ста человек и неся на плечах наших раненых... Только без удара в штыки.

— Мухрат? — догадался Карягин, уже склонившийся над картой. — Я сам думал о нем.

— До него, если я не ошибаюсь, будет верст двадцать пять? — приоткрыл один глаз Петр Степанович.

— Около того.

— Мухрат почти не имеет гарнизона, но может иметь запасы. Если мы сможем пробиться туда...

— О Шах-Булахе вы говорили то же самое! — заметил Татаринцев.

— И что же? Вам кажется, что наша прежняя диспозиция была лучше? — живо откликнулся Котляревский.

— Наша задача — тянуть время, — произнес Карягин. — Пока Цицианов не соберет основные силы... И любой способ, который служит этой цели, должен быть использован. Мы уже находимся в худшем положении, чем герои Фермопил. Но кто знает, может быть, Бог явит нами милость, и наша судьба окажется счастливее?

— По крайней мере, вряд ли о нас сложат столь поэтические легенды, — усмехнулся Парфенов.

— Полно, не до легенд теперь, — махнул рукой Павел Михайлович. — Давайте-ка, господа, поразмыслим лучше, как нам покинуть нашу мышеловку с наименьшим риском. Петр Степанович, я ошибаюсь, или у вас уже есть соображения на этот счет?

Котляревский открыл оба глаза, сумрачные круги перед которыми рассеялись, и коротко ответил:

— Мы обманем наших сторожей. Расставим часовых, которые будут вести положенную перекличку и создавать видимость нашего присутствия в крепости, а сами уйдем из нее.

— Часовыми придется пожертвовать, — заметил Карягин.

— Возможно, если им не хватит прыти нагнать нас, когда мы будем на довольном расстоянии. Я сам отберу людей, расставляю их и дам им необходимые инструкции.

— Справитесь? — спросил Павел Михайлович. — Вы, кажется, еще очень слабы.

Петр Степанович резко поднялся:

— Среди нас мало таких, кто не был бы ранен. Мои раны не тяжелее иных и выбывать из строя я покамест

не намерен.

К ночи охотники, вызвавшиеся на призыв Котляревского, заняли свои посты, и Петр Степанович, дав им последние наставления, поспешил к основным частям. Нелегко было для измученных людей пеший поход через горную местность, по извилистым тропинкам, через мелководные, но бурные потоки... Да еще с ранеными, с подводами да с орудиями...

— Стой! — остановились артиллеристы перед рвом глубоким. Остальная колонна, минуя их, проворно сползала вниз по склону, а затем карабкалась вверх. Не тратить же время на наведение мостов, когда того гляди неприятель позади покажется!

— Да... Но орудия-то таким порядком не перетащишь... — заметил Карягин, остановившись позади артиллеристов. — И бросить нельзя — неприятелю достанутся. Да и нам еще сгодиться могут.

Пока командиры пытались придумать, как и из чего наскоро организовать переправу для орудий, у солдат-артиллеристов шло свое совещание. Оно оказалось короче командирского.

— Ребята, спины-то наши на что? — воскликнул Гаврила Сидоров и первым прыгнул в ров. За ним последовало еще три охотника. — Давай, ребята! Кати пушки по нам! Наши спины крепкие, выдюжат!

Солдаты тотчас подскочили к орудиям, навалились на них. Первая пушка с легкостью перелетела на другую сторону, сопровождаемая победным «ура». Настала очередь второй. С силой толкнули ее солдаты, но она, пойдя по живому мосту, как-то накренилась, провиснув правым колесом. Из рва раздался глухой стон. Испуганные солдаты еще раз толкнули орудие, и оно также оказалось на другой стороне.

В тот же миг все бросились ко рву. На его дне лежал окровавленный Гаврила Сидоров, над которым в слезах склонились его уцелевшие товарищи.

— Убило Гаврилу, — всхлипнул один из них. — Колесо это клятое прямо в висок его ударило...

Героя похоронили здесь же, а когда заравнивали свежую могилу, увидели догоняющих отряд часовых. Хоть эти спастись сумели! Но кроме радости тревога читалась на их лицах.

— Персияне следом идут, увидели, что крепость пуста и в погоню рванули. Скоро будут здесь! — доложили, не успевая отдышаться. — Поспешать надо!

Поспешали, как могли. Котляревский с инвалидной командой и подводами с ранеными шел впереди, Карягин с остатками отряда и орудиями образовали арьергард. И все же не измученным и израненным людям состязаться в скорости передвижения! Протяжное «алла!» слышали русские в трех верстах от Мухрата. Из облака пыли стремительно летела на отряд персиянская конница.

— Ребята! — крикнул Павел Михайлович, выхватив шпагу. — Защищайте пушки! Пушки развернуть! На передки!

Маленький отряд успел расположиться в каре и встретить противника ружейным залпом. В это время артиллеристы успели развернуть свои орудия и поставить их на передки.

— Снаряды беречь!

Этот приказ и не отдавать можно было. И сами знали пушкарки, что снарядов осталось — по пальцам счесть. Каждый — на вес золота! А, значит, ни единого нельзя потратить без пользы. Целились точно, били метко. Конница без орудий в погоню мчалась, и отвечать ей на русский огонь нечем было.

— Молодцы, голубчики! Молодцы! Покажем басурманам, что такое русские солдаты, если доселе не поняли они! — подбодрял своих чудо-богатырей Карягин, время от времени с тревогой поглядывая в сторону Мухрата. — Надо раненых наших прикрыть!

Если они успеют до крепости дойти, то все спасены будем! А они успеют! Там — Котляревский...

Инвалидная команда уже приближалась к крепости. В этот миг зоркий взгляд Петра Степановича заметил летевшую наперерез русским группу всадников. Это Аббас-Мирза отрядил их от основного отряда, чтобы защитить Мухрат от вторжения. Сразу поняв намерение противника, Котляревский скомандовал:

— Братцы! Кто из вас в силах держать оружие, вперед! Сейчас судьба всего отряда зависит от нас!

Живые мертвецы, изувеченные, окровавленные, горящие от лихорадки, сползали солдаты и офицеры с подвод и занимали позиции. Выпрягли и уцелевших лошадей — тоже «кавалерия»! Рвавшегося к крепости неприятеля встретили оружейным огнем — пушки остались у Карягина и не могли помочь делу. Персиянская конница замешкалась, и тогда Петр Степанович, взобравшись на коня, крикнул:

— За мной, братцы! Не посрамим имени русского!

Нет, никак не могли ожидать персияне, что дюжина калек на голодных и вымотанных походом лошадях бросится атаковать их. Но калеки были русскими. А к тому отчаявшимися людьми, которым уже нечего было терять, и для которых единственным спасением был Мухрат, от которого пытались их отрезать на последних шагах похода.

— Бей-руби басурман! Ура!

У самых стен крепости крохотная кавалерийская группа Котляревского сшиблась с персиянскими конниками. Перебитая правая рука Петра Степановича болталась плетью, и он бился левой. Бился, как и его воины, с отчаянием и яростью обреченного, забыв о ранах и не зная пощады. Следом за передовой дюжиной ударили в штыки и пешие инвалиды. Они тащили персиян из седел, кололи штыками оказавшихся на земле, никого не оставляя в живых. Они, эти увечные

полумертвецы во главе со своим командиром, были страшны в этот час. «Ура» уже не выговаривали пересохшие глотки, лишь утробный рык и хрип рвался из стиснутых зубов, лишь решимостью умереть или прорваться в крепость горели лихорадочно воспаленные глаза, лишь ненавистью были перекошены запыленные, почерневшие, изможденные лица...

И конники Аббас-Мирзы не выдержали этой атаки отчаявшихся и обреченных и отступили прочь, открыв путь на Мухрат. Окровавленный Котляревский, получивший в этой схватке знатный сабельный удар, но еще принуждавший себя держаться в седле, понимая, как важно это для его людей, крикнул из последних сил:

— Победа, братцы! Вперед герои-молодцы! Мухрат и его запасы ждут нас!

И живые мертвецы, уцелевшие в последнем бою, также нашли в себе силы ответить своему герою-командиру хриплым ревом, в котором можно было разгадать русское «ура».

Когда ворота крепости отворились, и первые русские воины ступили в нее, Петр Степанович сполз с коня на руки подхвативших его офицеров, которые тотчас отнесли командира на одну из подвод.

— Доложите полковнику Карягину, что крепость взята! — распорядился Котляревский и потерял сознание.

Он пришел в себя уже в Мухрате, ворота которого закрылись за остатками отряда Карягина, сумевшего отбиться от полуторатысячной конницы Аббас-Мирзы и даже сохранить свои пушки. Ядра, правда, были израсходованы в последней схватке, и теперь спасенные орудия могли служить лишь для чести осажденных, но не для помощи им. Крепость, само собой, была уже окружена разъяренным неприятелем... Одно не могло не радовать: в своих надеждах

Котляревский и Карягин не ошиблись — запасов в Мухрате оказалось несравненно больше, чем в покинутом Шах-Булахе, и унылая смерть от голода русским чудо-богатырям теперь точно не грозила.

Павел Михайлович отослал в Тифлис Малика Вани с очередным донесением Цицианову. Смельчаку-армянину, знавшему в родных краях каждый звериный лаз, было легче преодолеть становившийся все более опасным для гонцов путь. С тревогой ожидали в крепости возвращения Малика и вестей из грузинской столицы, но вместо них...

— Цицианов! Братцы, ура! Ци-ци-а-нов! — этот крик дозорного, первым разглядевшего на горизонте русские знамена, способен был поднять на ноги даже мертвого.

Все в Мухрате, что способно было двигаться, и не находилось на позициях, перестреливаясь с противником, высыпало на двор. Карягин и, с немалым трудом передвигавшийся Котляревский, заботливо поддерживаемый полковником, поднялись на стену крепости. В подзорную трубу Петр Степанович увидел то, что все эти недели более всего жаждал увидеть: русские полки занявшие позиции на господствующих высотах, русские знамена, гордо реющие в небесной лазури и обещающие скорую викторию и освобождение осажденных, статную фигуру благородного князя Цицианова, лично предводительствующего войска.

— Наши! Наши! — разносились по крепости ликующие возгласы. — Наши идут нам на выручку! Братцы, спасены! Цицианов пришел! Ура Цицианову! Да здравствует Цицианов! Ура!

Котляревский перекрестился:

— И впрямь — ура Павлу Дмитриевичу! Не оставил нас пропадать!

Перекрестился и Карягин:

— Слава Богу, спасены!

«Если через пять дней я не получу испрашиваемого разрешения, то, невзирая ни на что, пойду за Аракс; ибо если Аббас-Мирза успеет овладеть Талышинским ханством, то это будет такой вред, что его нельзя будет поправить», — этот рапорт Котляревский отправил главнокомандующему всего лишь неделю назад. И, как водится, не получил на него ответа. И, вот, Талышинское ханство возмутилось, и 10000 персиян вошли в крепость Ленкорань в то самое время, как Аббас-Мирза убаюкивал старика Ртищева разговорами о мире...

И как тут было не вспомнить отважного Цицианова? Этот мудрый и благородный воин никогда бы не дал водить себя за нос подобным образом! Хотя однажды обманут был и он, и этот обман стоил ему жизни... Павел Дмитриевич был предательски зарезан посланником из объявившей о сдаче Бакинской крепости. Он должен был вручить русскому главнокомандующему ключи от покоренного города, но вместо этого поразил выехавшего ему навстречу генерала ударом кинжала... Совсем так же, как некогда поразила царица Мариам Лазарева...

Проведя на Кавказе много лет, Котляревский знал, что вероломство — составляет самую суть противника, что противник, будь то персияне или разбойники горских племен, понимают лишь один язык — победоносного оружия. Сперва должно победить, а лишь потом разговаривать, налаживать административное устройство и заниматься прочими важными, но не первостепенными задачами.

Но новый наместник этого не понимал. Николай Федорович Ртищев был по натуре своей добрым и

честным человеком и достойным воином, отличившимся во многих кампаниях. Однако преклонные лета выработали в нем переходящую в медлительность и нерешительность осторожность и чрезмерное желание угодить вышестоящему начальству. А начальству в годину наполеонова нашествия куда как важен был мир на Кавказе, пусть даже самый худой.

Посему, едва прибыв к новому месту службы, Николай Федорович занялся миротворчеством. Начал он с того, что собрал в Моздоке для мирных переговоров чеченских старшин и осыпал их подарками, полагая таким образом задобрить вечных бунтарей. Чеченцы подарки взяли и... в ту же ночь, возвращаясь домой, напали за Терекон на обоз самого Ртищева и разграбили его почти на глазах генерала.

Казалось бы, это должно было охладить миротворческий пыл Николая Федоровича? Но нет! Теперь к величайшему негодованию Котляревского новый наместник решил задабривать Аббас-Мирзу. Аббас-Мирзу! Этого волка, не упускавшего случай вторгнуться в русские пределы, опустошить их, поднять восстания непокорных племен... Но Ртищев повел с ним переговоры, используя посредничество англичан, издавна помогавших Персии и стремившихся ее руками ослабить влияние России в регионе. Английский посланник в Тегеране прислал в Тифлис своего племянника, и Николай Федорович провел для него смотр войск. Пока англичанин трафил неисполнимым грезам старика о мире, Аббас-Мирза продолжал нападать на приграничные области... Наконец, пришло известие в Тифлис, что персияне готовятся сделать нападение уже на самую Грузию. Ртищев всполошился и послал к Араксу три небольших отряда во главе с Котляревским для защиты Карабаха и пресечения возможного движения неприятеля к Тифлису.

Аббас-Мирза, конечно же, не преминул вступить в русские владения, но переписка о мире при этом продолжалась... Помилуй Бог! Довольно было перейти трем русским отрядам Аракс, чтобы проучить зарвавшегося шахского наследника и отогнать его орду прочь от русских пределов! Но Ртищев все еще надеялся на мир...

Старый генерал сам прибыл к Араксу для переговоров и послал к Аббас-Мирзе офицера с предложением назначить место для встречи. В ответ нахальный персиянин предложил русскому главнокомандующему приехать к нему, на 80 верст вглубь Персии. На то, чтобы не сунуть голову в петлю, осторожности Николая Федоровича, разумеется, хватило. Но предложение ответить на дерзость нападением было им категорически отвергнуто:

— Нам нужен мир, а не новое кровопролитие!

И, вот, пало Талышское ханство... В точности, как предсказывал Котляревский... На обеде у главнокомандующего, на котором традиционно присутствовали все старшие офицеры, Петр Степанович не находил себе места. А пространные рассуждения Ртищева о возможностях мирного договора с вероломными разбойниками, уже почувствовавшими вкус к вседозволенности, доводили его до белого каления.

— Осмелюсь в очередной раз доложить, ваше превосходительство, — наконец, не выдержал он, — что мирные переговоры лишь с каждым днем ухудшают наше положение! Сегодня Аббас-Мирза восставил против нас Талышское ханство, завтра последуют другие! Вместо прекращения кровопролития, вы лишь многократно умножите его! Единственный способ остановить большую войну — это атаковать персиян прямо теперь! И в этом случае я обещаю решительную победу!

Породистое продолговатое лицо Ртищева с изогнутым носом побледнело, а большие темные глаза, обычно полуприкрытые длинными веками, широко распахнулись и впились в Котляревского полным раздражения взглядом.

— Молодые генералы, — произнес он сдержанно, поджав губы, — должны, прежде всего, выучиться молчать перед старшими.

— Когда дело идет о спасении людей и славы русского оружия, я не стану уклончиво молчать там, где надо говорить правду! — вспыхнул Петр Степанович. — Если же мои слова неуютны вашему превосходительству, то прошу вовсе уволить меня от службы, ибо к делу мира я, по-видимому, непригоден!

Николай Федорович побледнел еще больше, но, сохраняя самообладание, ответил:

— Каждый дворянин имеет право выходить в отставку, когда пожелает.

Котляревский покинул обед, провожаемый встревоженными взглядами сослуживцев, а, едва ступив в свою палатку, принужден был выдержать атаку друзей — подполковника Шультена и майора Енохина.

— Петр Степанович, душа моя, да ты в своем ли разуме? — первым налетел на него коренастый Шультен, сильно припадавший на правую ногу. — Так дерзить главнокомандующему!

— Помилуй Бог! Слухи в нашем лагере разносятся, как в убогом селе! — с досадой откликнулся Котляревский.

— А что бы ты хотел? Войско уже волнуется! Многие просто пали духом, узнав о твоей отставке!

— Одумайтесь, право, — приблизился и Енохин. — Зачем делать такой подарок Аббасу? Ведь уйди вы теперь с Кавказа, и пропало дело! Аббас, пожалуй, и до Тифлиса дойдет!

— А что толку, что я теперь здесь, если эта старая баба вяжет мне руки своими запретами и заклинаниями о мире, которого нет и не может быть?! — взорвался Котляревский. — Я не могу участвовать в этом миротворческом балагане и ждать, когда Аббас-Мирза захватит половину Кавказа, а другую возмутит против нас! И не могу молчать, видя безумие задабривания хищника! Да и что теперь говорить... — Петр Степанович махнул рукой. — После сегодняшней перепалки я уже не могу служить под началом Ртищева.

— А о войсках ты подумал? — нахмурился Шультен.

— Я высказал то, что обязан был высказать. И после того, что ответил его превосходительство, обязан подать рапорт об отставке. И ты, мой друг, это понимаешь не хуже меня.

— Остается надеяться, что старик окажется мудрее и не примет твоего мальчишеского рапорта, — сердито бросил Шультен. — Ты можешь быть тысячу раз прав, но ты отвечаешь за войско и не можешь оставить его в такое время, когда нужен ему более, чем когда-либо, — с этими словами подполковник вышел из палатки.

Котляревский и сам сознавал, что проявил чрезмерную и непозволительную горячность, но обратного пути уже не было, и он достал из походного сундука бумагу и чернила для рапорта.

— Полно, Енохин, — похлопал он по плечу печального майора. — Лучше подумай о том, что я наконец-то смогу сдержать слово, данное твоей Варе, и повести ее к венцу.

Полное, добродушное лицо Енохина сразу посветлело. Он очень любил свою красавицу-дочь и был безмерно счастлив, когда его командир, уже генерал и признанный герой, обратил на нее благосклонное внимание.

— Моя юница души в вас не чает, — сказал он. — Всякий час ожидает своего ясного сокола.

— Ну, вот, и напиши ей, что скоро прилетит к ней сокол ее, — улыбнулся Петр Степанович. Воспоминание о Варе отогрело и успокоило его сердце. Эта милая, добрая девушка, почти еще дитя, стала первой женщиной, при встрече с которой чаще забилось его сердце, без малого двадцать лет не знавшее ничего, кроме войны.

Его лета стремились к тридцати, но до сих пор он не думал о женитьбе. Когда уж было думать в постоянных походах и сражениях? Да и что мог он предложить будущей жене? Ни кола, ни двора... И все те же постоянные походы, за которыми и не видать ей мужа. Но, вот, получив отпуск после очередного ранения, Петр Степанович поехал в родную деревню проводить старика-отца. Сопровождал его также отпускной майор Енохин, следовавший на побывку к семейству. В этом почтенном семействе Котляревский прогостил тогда три дня, окруженный заботой и лаской жены и дочери добряка Енохина. Эта забота, эта ласка были внове для генерала-солдата. Рано лишившийся матери, он не успел изведать их в своей жизни...

Варе было в ту пору четырнадцать. Тонкая, легкая, она точно не касалась земли, а порхала над нею, сияя ясной улыбкой, озаряя светом чудных синих глаз-озер... В эти глаза нельзя было не влюбиться. А того паче в тот взгляд, которым взирали они... В нем был и детский восторг перед прославленным героем, и застенчивая девичья робость, и уже женская внимательная, чуткая ласка... Котляревскому было удивительно хорошо в обществе этой полуженщины-полуребенка, несколько раз они прогуливались по саду, и Варя рассказывала ему о своей нехитрой девичьей жизни, мелодично звенел ее голос и смех... А Петр Степанович все больше молчал и слушал ее, и любовался ею. И впервые постигал значение дотоле позабытого и непонятого

слова «уют». С этой девочкой было ему уютно и радостно...

На обратном пути он вновь заехал к Енохиным и, не привыкнув откладывать дела в долгий ящик, сделал Варе предложение. Девочка приняла его с восторгом, с не меньшей радостью дали свое согласие и родители. Свадьбу решили играть, как только юной невесте исполнится шестнадцать.

Шестнадцать милой Вареньке исполнилось ровно месяц назад. Вот, уж кто не только не огорчится его отставке, но будет счастлив оной — она, бедняжка, так измаялась быть в вечной тревоге о всякий день рискующем жизнью женихе... Правда, волнения ее этою отставкой не завершатся. Ведь Петр Степанович покинет лишь Кавказ, а не армию. Армии теперь как никогда нужны ее воины, нахальный корсиканец явился на русскую землю, и пора проучить его, как здешних разбойников.

Но прежде он сдержит слово и женится на Вареньке. Она ждала этого часа без малого два года! Да и он ждал не меньше...

— Петр Степаныч, свет мой! К тебе гости! — взволнованно сообщил Шультен, почти ворвавшись в палатку.

— Неужто сам Аббас-Мирза? — усмехнулся Котляревский.

— Лучше! Его превосходительство прислал адъютанта известить, что будет к тебе нынче на чай.

— Ко мне на чай? — опешив, переспросил Петр Степанович. Явлению шахского наследника он был бы удивлен куда меньше!

— Именно! Я сейчас обо всем распоряджусь, а ты... Душа моя, ради всех нас, друзей твоих и соратников, будь на сей раз учтив и не лезь на рожон! Очень прошу тебя от имени всего войска!

Хозяйственный и основательный немец, Шультен все подготовил к приему высокого гостя. Ртищев прибыл к Котляревскому с парой адъютантов, но и их оставил ждать снаружи. Оставшись с молодым генералом наедине, Николай Федорович сказал:

— Дорогой Петр Степанович, я прошу вас простить мне мою старческую нетерпимость. Я на Кавказе человек новый, многого еще не понимаю. Вы же — душа Кавказской армии и покидать ее не должны ни при каких обстоятельствах. Потому прошу вас отказаться от своего намерения подать в отставку.

Сказано это было необычайно тепло и искренне. Темные глаза главнокомандующего смотрели прямо и без тени лукавства.

— Помилуйте, ваше превосходительство! — воскликнула Котляревский, глубоко тронутый способностью старого генерала повиниться перед обиженным подчиненным. — Это я должен просить прощения вашего за взятый мной недопустимый тон, за допущенную непозволительную дерзость! Простите меня великодушно!

Ртищев мягко улыбнулся:

— Полно, в вас говорила ревность по славе Отечества... Но поймите и меня. Я не могу рисковать, я имею наказ Государя удерживать мир в этом краю, пока не минет нас опасность главная — Бонапарт...

За ужином главнокомандующий объявил:

— Обстоятельства требуют моего немедленного возвращения в Тифлис. Вы лучше меня знаете край и характер войны, поэтому я доверяю вам действовать во всем по собственному усмотрению. Кроме одного. Аракса вы с вашей горсткой храбрецов переходить не должны! Ваших сил для битвы недостаточно, а мне нечем подкрепить вас. Если вы и ваши люди погибните, то границы наши уже некому будет оборонить. Всецело полагаюсь на ваш опыт и благоразумие!

— Благодарю вас за доверие, ваше превосходительство, — отозвался Котляревский, выдержав пристально-испытующий взгляд Ртищева. — Клянусь оправдать его лучшим образом!

— Самоуверенности вам не занимать, — усмехнулся старик. — Но ваши заслуги дают вам на нее право.

На другое утро Николай Федорович со свитой покинул лагерь. Проводив его, Петр Степанович подозвал к себе Шультена:

— А что, брат Иосиф, отчего это карабахских хан не изволил проводить почтившего своим присутствием его владения нашего главнокомандующего?

— Собака держит нос по ветру, — отозвался подполковник. — Мы из-за бонапартишки послабели шибко, за Араксом полчища Аббасовы стекаются, того гляди сюда заявятся. Вот, он, знать, уже нового хозяина ждет и угодничать перед ним торопится.

— Слишком торопится, — нахмурился Котляревский, давно приметивший непочтительность, с которою стали относиться к русским в Карабахе в последнее время. А публичное презрение, выказанное ханом русскому главнокомандующему, могло послужить самым дурным примером населению, и без того подстрекаемому к возмущению персисянскими агентами.

— Как думаешь, брат Иосиф, не пора ли напомнить хану о хороших манерах и долге гостеприимного хозяина?

— Пора, брат Петр, — согласился Шультен.

Уже через час оба офицера прибыли в Шушу и лихой рысью въехали прямо на ханский двор. Карабахский властитель полулежал у фонтана, куря кальян, в окружении своей челяди. Челядь весьма встревожилась и схватилась за кинжалы, завидя непрошенных гостей. Но Котляревский подскочил к хану и, размахивая нагайкой, крикнул:

— Я тебя повешу!

Хан, знавший Петра Степановича еще с той поры, как он был комендантом Шуши после Лисаневича, недоуменно развел руками:

— За что ты гневаешься?

— Как за что! Разве ты ни во что ставишь русского сардаря, что смел не приехать проводить его и проститься с ним?! Ты должен был явиться к нему и провожать его!

— Как? — изобразил удивление хан. — Разве высокородный сардарь уже покинул нас? Клянусь Аллахом, я не знал об этом, иначе бы проводил его, как и подобает хозяину!

— Аллах, должно быть, уже устал краснеть от ваших неверных клятв! Сардарь еще не успел уехать далеко, и ты можешь успеть принести ему свои извинения!

Хан тотчас же распорядился погрузить на мулов предназначенные для русского главнокомандующего дары и уже через полчаса выехал догонять его.

— Ну, вот, — довольно заключил Котляревский, — дома мы восстановили порядок и показали, кто здесь хозяин. Теперь пора поучить уважению Аббас-Мирзу...

— А как же запрет Ртищева? — спросил Шультен.

— Победителей не судят, — отозвался Петр Степанович, прищпоривая коня.

В успехе задуманного предприятия он был совершенно убежден и имел к тому достаточным основанием весь свой боевой опыт.

Два года назад поддерживаемые англичанами персияне заключили союз с турками и вторглись в Карабах, защита которого была вверена Котляревскому. Войска Аббас-Мирзы заняли крепость Мигри, находящуюся на неприступных скалах. Тогдашний главнокомандующий генерал Тормасов отправил Петру Степановичу распоряжение не пытаться взять цитадель штурмом во имя сохранения солдатских жизней. Этот приказ, однако, пришел, когда Мигри была уже взята...

В распоряжении Котляревского было всего 400 человек без артиллерии. Гарнизон крепости составлял 2000 человек, а неподалеку располагались основные силы Аббас-Мирзы. Днем и ночью русские солдаты обходными путями, звериными тропами, через утесы и ущелья пробирались к Мигри и в итоге, незамеченные неприятелем, неожиданно ударили на нее с трех сторон. К тому моменту, когда основные силы персиян, услышав выстрелы, пришли на помощь своим, крепость была уже в руках Котляревского. Взбешенный Аббас-Мирза пытался вновь взять ее штурмом, но, потерпев неудачу, вынужден был отступить. Однако, в планы Петра Степановича не входило дать неприятелю уйти. Незаметно преследуя персиян, его отряд напал на них ночью при переправе через Аракс. Нападение было столь неожиданным, что неприятельское войско было истреблено практически полностью.

Через год Котляревский повторил свой подвиг, взяв крепость Ахалкалаки, от которой прежде принужден был отступить генерал Гудович. Пройдя все теми же звериными тропами, там, где орлы вьют себе гнезда, русские под покровом ночи вышли из ущелий и незаметно окружили крепость. Неприятель спохватился лишь тогда, когда из ночного мрака по приставленным к стенам крепости лестницам на них стали проворно взбираться русские солдаты, спорящие меж собой, кому лезть на приступ первым. В ту ночь покрыл себя славой капитан Шультен! Во главе гренадер бросился он на батарею, которая была всех ближе, и, овладев ею, устремился на две других и также занял их. К утру Ахалкалаки была занята русскими, а гарнизон большей частью уничтожен. Котляревский послал капитана Шультена с донесением к главнокомандующему, а тот оказал герою честь, отправив его с тем же победным известием к самому Государю...

После таких-то побед мяться в нерешительности у берегов Аракса, дожидаясь, пока инициативу возьмет на себя противник? Нет уж, самое это напрасное и пагубное занятие! Дурно и непростительно офицеру нарушать приказы, но ведь Суворов как учил? Местному видней! То есть тому, кто ближе к месту боевых действий, виднее, что надлежит предпринять.

К тому подозревал Котляревский лукавство в ртищевском распоряжении. С одной стороны дал полную свободу действий и решений, с другой наложил запрет... Перед Государем старался прикрыть себя старик на любой случай. Если молодой генерал приказ нарушит и победит, то победителей не судят, и Ртищеву хвала за победу подчиненного. Если же проиграет, то на нем, нарушителе приказа главнокомандующего, вся вина будет, а сам Николай Федорович никак не ответственен.

Едва Петр Степанович вернулся в лагерь, как ему донесли, что противник, дотоле укреплявшийся на противоположном берегу с явной целью перейти в наступление, вдруг стал сворачивать приготовления и... отступать. Котляревскому не потребовалось много времени, чтобы разгадать план Аббас-Мирзы. Здесь, у Шуши, его уже ждали, и ждал не кто-нибудь, а Котляревский, чье имя слишком хорошо было ведомо персиянам. Шахский наследник решил обмануть русских и ударить там, где они этого не ожидают.

— Верно рассудил, — заметил Петр Степанович. — Я бы сделал то же. Такой удар для нас всего опаснее, от него мы не успеем и не сможем защититься. Что ж, он хочет обмануть нас, а мы ему помешаем!

В распоряжении Котляревского было полторы тысячи солдат, пятьсот кавалеристов и девять орудий. На другом берегу стояло 30-тысячное войско...

— Бить в барабаны! Трубить поход! — распорядился генерал.

Когда его отряд был построен, он коротко обратился к солдатам:

— Братцы! Нам должно идти за Аракс и разбить персиян. Их на одного десять; но храбрый из вас стоит десяти, а чем более врагов, тем славнее победа. Идем, братцы, и разобьем!

— Ура! Ура Котляревскому! — раздалось в ответ.

Через Аракс переправились пятнадцатью верстами выше персиянского лагеря и, бодрым маршем одолев еще 70 верст, вышли противнику в тыл. Петр Степанович сразу отметил выгодное расположение неприятельской конницы, стоявшей на возвышенности, и направил туда свой первый удар.

Неожиданное нападение привело персиян в панику. Аббас-Мирза попытался обойти захваченную возвышенность и выбить оттуда русских, но был встречен штыковой атакой и принужден отступить. После этого сражение превратилось в позорное бегство противника. Несмотря на угрозы и увещевания английских офицеров, персияне панически бежали за реку Дараурт, бросив свой лагерь со всеми припасами, одних тюков с английскими патронами нашлось в нем четыре сотни...

Но Петр Степанович был сосредоточен на другом. Отгонять и рассеивать противника — дело пустое, ибо рассеянные силы соберутся вновь. Поэтому противника надо уничтожать. Посланные лазутчики донесли, что персияне затворились в горной крепости Асландуз на другом берегу Дараурта. Что ж, не привыкать русским брать такие цитадели! А, вот, Аббас-Мирзе после Мигри и Ахалкалаки пора бы не слишком рассчитывать на неприступность высоких стен и отвесных утесов!

Действовали, как всегда, ночью. Любил Котляревский это время суток. Ночью противник расслабляется, не ждет удара. Ночь, прежде бывшая покровительницей татей, сделалась теперь верной

союзницей русского воинства. Как тени переправился закаленный в боях отряд через Дараурт, с ловкостью барсов вскарабкался по склонам... Вот, и Асландуз! Костры... Кальяны... Беспечные голоса не чувствующих угрозы людей, предающихся отдыху и неге после пережитых накануне волнений, боя с этими остервенелыми русскими, тяжелого перехода. Они, позорно бежавшие от горстки смельчаков, искренне почитали себя героями, имеющими право отдохнуть в сладких грезах о прекрасных гуриях.

И вдруг...

Трудно вообразить себе тот смертельный ужас, который испытали персияне, когда вместо призрачных гурий в кровавых отблесках костров явились пред них полные ненависти лица русских солдат.

— Алла! Алла!..

Засверкали штыки и сабли, творя беспощадную расправу. И напрасны были все вопли, все мольбы о помиловании. Даже «ура!» не раздавалось в этот час на стенах Асландуза. Русские, измотанные двумя переправами и переходами за сутки, берегли силы. И сил этих уже не осталось на жалость, на снисхождение к сдающимся.

— Довольно! Довольно! — крикнул было Котляревский, желая прекратить кровавую расправу над безоружными, но его не слышали. В этот момент Петр Степанович заметил группу персиян, убежавших в башню, расположенную на самой вершине горы, и надеявшихся укрыться в ней. Не медля ни мгновения, генерал бросился в погоню за беглецами. Укрепление было взято тотчас с налета, а персияне, искавшие там спасения, перебиты.

Первые лучи зари робко окрасили зрелище кровавой тризны... Подполковник Шультен, как всегда основательный и успевший осмотреть и сосчитать трофеи, доложил возвратившемуся Котляревскому:

— Взято пять знамен и одиннадцать пушек! — и тотчас подведя Петра Степановича к одной из них, указал: — Обрати, брат Петр, внимание на трогательную надпись!

— От короля над королями шаху над шахами, в дар, — прочел Котляревский. — Заботится его английское величество о наших врагах, ничего не скажешь... В Европе вместе противу Бонапарта бьемся, а здесь они на всяком шагу нам каверзы готовят. Экая, право, двоедушная порода у этих островетян!

— Жаль не попались они нам, ушли с Аббас-Мирзой!

— Жаль, что ушел Аббас. Вот, чья голова была бы лучшим трофеем.

— С ним спаслось не более полусотни душ. Остальные отправились к аллаху. Мы сосчитали убитых. Девять тысяч.

— Неужто столь много, брат Иосиф?

— Брат Петр, ты ведь знаешь мою немецкую педантичность!

Котляревский улыбнулся и, окинув удовлетворенным взглядом покоренную крепость, заключил, хлопнув друга по плечу:

— Здесь нам более делать нечего. Трофеи берем с собой. Стены взорвать, чтобы и помину не осталось. Солдаты пусть передохнут немного, и выступаем в обратный путь. Думаю... милейший Николай Федорович простит нам наше дерзкое нарушение его приказа, когда мы поднесем ему на блюде столь изрядную победу.

— Ртищев — старик добрый, — улыбнулся Шультен. — Так что, сдается, скоро все мы получим новые чины и награды.

— Да... добрый... — по лицу Петра Степановича пробежала тень. — Только от его миротворческого усердия у нас теперь Ленкорань, как заноза в

непристойном месте. И занозу эту, брат Иосиф, нам с тобой еще с кровавым потом извлекать придется.

— Полно, душа моя, оставь заботу завтрашнего дня завтрашнему дню! А сегодня насладимся викторией нынешней!

— И то верно, — согласился Котляревский.

— Как вернемся, испроси-ка отпуск у главнокомандующего! Варвара-то, поди, ждет не дождется!

При упоминании о нареченной потеплело на душе Петра Степановича, но тотчас отогнал видение блазнящее:

— Не время теперь для отпусков. А, вот, соснуть часок перед походом будет недурно... А ты, брат Иосиф, отошли пока гонца к его превосходительству с кратким донесением.

— Что прикажешь написать?

— Бог, ура и штыки даровали и здесь победу Всемиловитейшего Государя, — ответил Котляревский, расстилая в тени плащ и устало опускаясь на него. — А про пушки, знамена и прочее ты все лучше меня знаешь. Только, друг мой, прошу тебя, не пиши о девяти тысячах убитых персиян, напиши о двух.

— Почему? — почти обиделся Шультен.

— Потому, брат Иосиф, — ответил Котляревский, — что если написать правду, то нам с тобой все равно не поверят!

Часы не били. Они молчали всегда, ибо всякий громкий звук причинял невыносимую боль их страдальцу-хозяину. Но он всегда знал, который час они показывали. Знал и теперь: 11 ночи... Несмотря на октябрь, ночь по-южному тепла и тиха, лишь издали долетает до «Доброго приюта» плеск волн. А луна на ущербе теперь... И это хорошо, потому что ее полнота полнит и меру боли...

11 ночи. Да, он не ошибся, узнав этот час. Но узнал он и другой час. Свой час...

Последние дни Петр Степанович уже не поднимался с постели, не было сил, но теперь, собрав последние, поднялся, надел халат, вышел, едва переставляя ноги, из комнаты. Тотчас прибежали испуганные племянники, засуетились вокруг:

— Дядюшка, зачем это вы поднялись? Вам же лежать доктора велели!

— Помогите мне дойти до кресла, — слабо попросил Петр Степанович.

Его бережно проводили в кабинет, усадили в кресло, за стол, за которым привык он работать, и в ящичке которого и теперь еще лежали неоконченные письма и заметки в журналы. Жаль, что не закончить их уже... И без того нелегко писать, продираясь через боль, окольцовывающую голову, преодолевая мучительную дрожь в руках, а уж теперь... Пришел час, тот самый, уже однажды пробивший, но зачем-то отсроченный почти на сорок лет...

Но другого жаль больше. Жаль любимой старшей племянницы... Петр Степанович думал заключить с нею фиктивный брак, чтобы по смерти его она могла

наследовать его генеральскую пенсию, а, вот, не успевалось.

Племянники и племянницы продолжали тревожно толпиться вокруг, ожидая распоряжений и не смея произнести хоть звук, зная, что это может раздражить дядюшку.

Дальняя это все родня, двоюродная, троюродная... Да иной нет. Хоть бы один из этих толпящихся человеком стал, способен оказался достойно послужить Царю и Отечеству. Он бы пусть и наследовал все... Да ни в ком не мог разглядеть единственный, но по-прежнему зоркий глаз такого наследника. Значит, разделят поровну...

— Подайте мне мою шкатулку!

Тотчас явилась шкатулка, и Котляревский дрожащими руками открыл ее. Перво-наперво извлек миниатюрный портрет и с трепетом поднес его к губам. Милая, незабвенная, нежная ангел Варенька! И за что так жестока оказалась к тебе судьба? Ты ждала суженного — 31-летнего героя-генерала, а на его месте явился изуродованный калека. Но ты не испугалась ни уродства его, ни болезни, ты покрыла слезами и поцелуями его раны и всю себя отдала ему, желая быть ему опорой и утешением. А что же вышло?.. И года не продлилась семейная жизнь. Умерла ангел Варенька в родовых муках. А с нею и дитя... И ничего не осталось живому мертвецу, мертвец должен быть мертв, мертвец не может иметь продолжения... Именно тогда он заказал себе печать со скелетом, которой стал скреплять все бумаги.

Милая, незабвенная, бедная Варенька... Далеко похоронена она от «Доброго приюта», там, где жили они свой единственный год почти сорок лет назад... Здесь же лишь одна дорогая могила — верного Шультена. Друга, управляющего имением, самого близкого человека во все эти десятилетия. Кто бы мог

подумать, что живому мертвецу доведется пережить и этого здоровяка... Он ушел год назад. Что ж, теперь пришла пора свидеться. И с ним. И с Варенькой. И с обоими отцами — родным и названным... И со сколькими еще!..

Следом из шкатулки было извлечено драгоценное письмо Государя Николая Павловича, писанное им тотчас по восшествии на престол:

«Отличное служение на поприще военном и неоднократно опытами доказанное искусство и храбрость ваши, не переставали обращать на себя внимание в Бозе почивающего Брата Моего, который, с прискорбием видя, что расстроенное здоровье и раны, полученные вами на поле чести, были действительными препятствиями к дальнейшему продолжению службы, принужден был согласиться на временное ваше от оной удаление. Отдавая всегда должное уважение заслугам вашим и зная всю пользу, которую опытность и храбрость ваша могут принести отечеству, при возникающих ныне неприязненных делах с персиянами, Я льщу Себя надеждою, что время уврачевало раны ваши и успокоило от трудов, понесенных для славы российского оружия, и что, при настоящих обстоятельствах, вы не откажете Мне вступить на то поприще, на коем вы подвизались с таким успехом. Уверен, что одного имени вашего достаточно будет, чтобы одушевить войска, предводительствуемые вами, устрашить врага неоднократно вами пораженного и дерзающего снова нарушить тот мир, которому открыли вы первый путь подвигами вашими».

И теперь наворачивались слезы при чтении. А тогда! Четверть века назад! Вся душа, все естество рвалось ответить благодарным согласиём на монарший зов! Но...

«Желал бы излить последнюю кровь на службе твоей, Всемилостивейший Государь, но совершенно

расстроенное здоровье, а особенно головная рана, недавно вновь открывшаяся, не позволяя мне даже пользоваться открытым воздухом, отнимает всякую возможность явиться на поприще трудов и славы» — так принужден он был ответить...

Наконец, в руках Котляревского оказался небольшой ларец. Генерал откинул крышку и показал ахнувшим племянникам его содержимое — осколки костей...

— Их всего сорок, — произнес Петр Степанович. — Все они извлечены из моей многострадальной головы... Вот что было причиной, что я не мог принять назначения и служить до гроба Престолу и Отечеству... Это вам останется на память обо мне...

Память о нем... Память о Ленкорани. Ни в один поход не шел Котляревский с таким тяжелым, угрюмым чувством, как в тот, последний. «Итак, я выступаю; эта экспедиция меня сильно тревожит. Прошу Бога о помощи и могу назваться слишком счастливым, если Бог даст кончить счастливо», — писал он одному из тифлисских друзей.

Возвращение Ленкорани было необходимо для окончательной победы над персиянами. Это понимали все. И понимали в числе прочих англичане, чьи фортификаторы старательно укрепляли крепость. Окруженная болотами, защищенная валами и земляными верками гранитная цитадель была буквально унижена орудиями. Оборонял ее четырехтысячный гарнизон во главе с Садык-ханом.

Отряд Котляревского численностью в полторы тысячи гренадеров и 470 казаков при шести орудиях подошел к непреступным стенам в конце декабря, по дороге захватив крепость Аркевань, двухтысячный гарнизон которой бежал, бросив все пушки. Петр Степанович предложил Садык-хану сдаться, напомнив

Мигри, Ахалкалаки и Асландуз, но этот персидский воин был не чета другим.

— Напрасно вы думаете, генерал, что несчастье, постигшее моего государя, должно служить мне примером. Один Аллах располагает судьбою сражения и знает, кому пошлет свою помощь! — таков был его полный достоинства ответ, который Котляревский не мог не оценить.

Хан поклялся победить или умереть. Петру Степановичу оставался такой же выбор, о чем и написал он Ртищеву: «Мне, как русскому, остается только победить или умереть; ибо отступить значило бы посрамить честь оружия российского».

В последний день грозного 1812 года, 31 декабря, дождавшись ночи, русские войска пошли на штурм Ленкорани. Тремя колоннами быстро двинулись они к крепости, соблюдая мертвую тишину. Но на сей раз неприятель оказался готов к ночной атаке, и нападавших, еще не доходя до крепости, встретил шквальный огонь. Под градом пуль и снарядов русские чудо-богатыри спустились в ров и стали укреплять лестницы, но засевшие на стенах персияне стали засыпать их ручными гранатами. Атакующие несли огромные потери, погибли их командир, подполковник Ушаков, и многие офицеры. Все же уцелевшие солдаты сумели укрепить лестницы и бросились на стены. Их встречал град камней и гранат. Один за другим сыпались в ров убитые и искалеченные герои. И, вот, уже дрогнули они перед таким яростным сопротивлением... Увидев это, Котляревский сам бросился в заполненный его убитыми храбрецами ров, тотчас получив пулю в ногу. Зажимая рану рукой, он устремился к лестницам с криком:

— Сюда, молодцы-голубчики! Вперед, ребята! За мной!..

С криком «ура!» вдохновленные примером своего обожаемого командира, солдаты последовали за ним.

А в следующий миг все почернело, и осталась только страшная, невыносима боль и неумолчный гул и грохот, слившийся в одну чудовищную какофонию... Но в этой какофонии еще различалось одно такое дорогое и понятное сердцу слово — «Ура!»

А потом он различил горестный плач над своим безжизненным телом и понял, что это по нем плачут его солдаты, нашедшие его среди других мертвецов. С усилием открыв уцелевший глаз, Котляревский прошептал:

— Я умер, но все слышу и уже догадался о победе вашей...

За эту победу русские отдали свыше трехсот жизней. Ее итогом стал Гюлистанский мир, по которому карабахское, ганжинское, шекинское, ширванское, дербентское, кубинское, бакинское ханства и часть талышинского с крепостью Ленкоранью были признаны на вечные времена принадлежащими России, и Персия отказалась от всяких притязаний на Дагестан и Грузию.

И такой триумф остался полностью в тени европейских побед! Это всегда задевало Котляревского несправедливостью. «Кровь русская, пролитая в Азии, на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая в Европе, на берегах Москвы и Сены, а пули галлов и персиян причиняют одинаковые страдания», — отмечал он в одной из своих статей.

Цена победы... Триста с лишком жизней... И среди них — жизнь его, генерала Петра Котляревского. «Я сам получил три раны и благодарю Бога, благословившего запечатлеть успех дела сего собственной моею кровью. Надеюсь, что сей же самый успех облегчит страдания мои», — написал он Ртищеву со своего одра. Однако, не всякое страдание возможно облегчить успехом...

Как он мог выжить? Никто не ответит на этот вопрос, даже славный доктор, которому Петр Степанович всю жизнь выплачивал пенсию в благодарность за спасение. Правая челюсть, правая скула, правый висок — все было раздроблено двумя пулями. Осколки черепа выходили из уха и впивались в мозг. Глаз вытек. Лицо навсегда перекосило.

Но он остался жить. Только это была уже совсем иная, чужая жизнь. Жизнь, в которой он был лишен возможности служить Отечеству, жизнь инвалида. Но... ведь и это жизнь? И для чего-то дана она? И значит, следует, чтобы была от нее польза...

На пожалованные Государем деньги Петр Степанович купил имение неподалеку от Бахмута. Там и схоронил он свою Вареньку и дитя... Жить же там оказалось для него невыносимо, ибо малейший холод причинял его голове нестерпимую боль и принуждал сидеть взаперти. После многолетних мучений он перебрался в Феодосию, и теплый крымский климат, а также гомеопатия самым благотворным образом повлияли на его здоровье. Последние тринадцать лет боли терзали генерала гораздо меньше.

Мыза «Добрый приют» стала приютом для многих искалеченных сослуживцев Котляревского. Благодаря Шультену, его имение приносило стабильный доход, разведение меринсов также оказалось делом выгодным. И этот доход давал возможность изувеченному генералу помогать другим инвалидам в их нужде. Эта благотворительность стала главной отдушиной в жизни Петра Степановича.

40 лет после смерти... Вот и прожито. Пройдено. Отмерено. Скользит бесшумно стрелка по циферблату, отмеряя последние минуты. Вечное море играет своими волнами, облизывая и шлифуя прибрежные камни... Вечное море! Недаром так влюблен в него милый друг и неизменный гость Айвазовский! Все пройдет, все канет,

все рассеется, и лишь небо и море никогда не переменятся и при этом ни в какой миг не будут одинаковы. Хорошо бы взглянуть на него еще раз... Но уж поздно... Который час теперь? Катится стрелка бесшумно, но голова знает ее ход. Два часа по полуночи... Ныне отпускаеши раба Твоего...

— Дядюшка, дядюшка, что с вами? Дядюшка, очнитесь!

— Пошлите за доктором!

— Полно, ему уже не нужен доктор. Ступайте за священником.

Утром на рейде Феодосии выстроилась эскадра кораблей Черноморского флота с приспущенными траурными флагами.

Генерал-от-инфантерии Петр Степанович Котляревский был навечно зачислен в списки Грузинского гренадерского полка. На ежевечерней перекличке фельдфебель первой роты первого батальона выкрикивал: «Генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский». Правофланговый рядовой отвечал: «Умер в 1851 году геройской смертью от сорока ран, полученных им в сражениях за Царя и Отечество!» Эта традиция сохранялась до расформирования полка в 1918 году.

Еще при жизни Котляревского Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов, друг и соратник Петра Степановича, установил ему памятник-обелиск в переименованной в Елисаветполь Ганже, где некогда вынес его с поля боя. Памятник этот был уничтожен большевиками. Та же участь постигла и выстроенную в память о герое художником И.А. Айвазовским часовню-усыпальницу в Феодосии. С нею была уничтожена и могила генерала.

Четыре портрета (Пётр Иванович Багратион)

«Война теперешняя не для союзников, а наша собственная, а как война делает часто такие следствия, что дает и берет корону, следовательно, в таком случае всем надо жертвовать, чтобы наступать и побеждать», — так писал князь Петр Иванович Царю и военному министру, доказывая, что в грядущей войне опорой России должен стать народ, а не эфемерные союзы, в которых союзники то и дело норовят ударить в спину. Указывал он и на то, что отступление для армии вредно в принципе, оно деморализует армию, и активные наступательные действия всегда являются лучшей защитой. Русская армия, тем не менее, готовилась к войне оборонительной, но и эта подготовка лишена была здравого смысла. Если вы собираетесь обороняться, то на кой же ляд размещаете предназначенные для обороны армии вблизи границ, да еще растянув их так, что в случае нападения неприятеля на одну из них, остальные уже никак не успеют подтянуть силы ей на выручку? А хлеб? Если ждете вы нападения, то к чему же держите запасы его у самой границы? Ведь в случае удара не то что вывезти его вглубь России, но даже сжечь, чтобы не достался неприятелю, может не оказаться времени!

Обо всем писал Петр Иванович Государю и Барклаю, изо всех сил пытаясь достучаться, докричаться, доказать очевидную правоту своих доводов. Его не слушали. Не слышали. Как же! Для них он был «неуч», у которого в офицерском формуляре значилось лишь, что он сносно знает грамоте по-русски и по-грузински... Он не кончал никаких учебных заведений, не знал мудреных наук. Он знал в совершенстве лишь одну великую науку — науку воевать. Науку побеждать. И ею

он с отроческих лет овладевал на поле брани. И, черт побери, владел куда успешнее кабинетных стратегов!

Но кабинетные стратеги одержали верх. Они... не могли мыслить, как мыслил Наполеон. А Багратион — мог. Изю дня в день представлял он себе, как бы поступил, какую стратегию избрал бы, будь он на месте нахального корсиканца. И представляя себе это, писал свои депеши в столицу.

Не то, чтобы Наполеон поступил в точности, как предсказывал Петр Иванович. С местом удара противника князь все же прогадал. Но в остальном все предупреждения его исполнились. Бессмысленно растянутые вдоль границы армии не смогли вовремя соединиться, и цепь их была легко прорвана неприятелем. А затем, при отходе от Вильны, неприятелю оставили гигантские запасы продовольствия, собранные за год! То-то поблагодарили ротозеев господ французы!

Закипая от гнева при виде отступающих и отступающих русских частей, чувствуя, как стремится враг обложить со всех сторон его 2-ю армию, не допустить ее к соединению с 1-й, Барклаевой, Петр Иванович клял на чем свет стоит и Барклаю, и всю новоявленную «отступательную стратегию». Помилуй Бог, что-то сказал бы, видя это, незабвенный Александр Васильевич?..

В начале апреля 1799 года офицеры корпуса генерала Розенберга, расквартированного в Вероне, встречали нового главнокомандующего. Одно только имя его заставляло учащенно биться сердца. Суворов! Непобедимый! Рымник, Измаил, Очаков — ореол великих побед сиял над этим победоносным старцем. Ему уже вот-вот должно было стукнуть 70, и последние годы он жил в своем имении, попав в опалу у нового Императора. Но, вот, перед угрозой Бонапарта и для

удовлетворения союзников Павел принужден был вновь призвать ни единойжды не побежденного воителя своей матери и вручить ему армию со словами: «Воюй, как умеешь!»

Русская армия, посланная на помощь австрийцам против зарвавшегося корсиканца, с волнением ждала своего героя. И, вот, он появился. Маленький, сухонький, необычайно подвижный, с характерными чертами живого лица, стремительный, резкий в движениях. По манере своей старец сей больше походил на мальчишку — из тех, деревенских, с коими любил он играть в лапту в родном Кончанском.

Фельдмаршал вышел к собравшимся при полном параде, но... с закрытыми глазами. Точно не на смотр явился, а в жмурки играл. Немного растерянный Розенберг начал представлять Александру Васильевичу своих генералов. Имена сии старику были большей частью не знакомы. И слыша новое, он открывал свои прозрачные, светящиеся глаза и восклицал:

— Помилуй Бог! Не слыхал! Познакомимся!

Некоторые генералы недоуменно переглядывались. Где им было знать повадки победоносного чудодея! Они не видали, как всякое утро выходил он из своей палатки и, ставши на одну ногу, кукарекал! Эта юродивость была для них непонятной и — если бы не имя Суворова — даже предосудительной, оскорбительной для них.

— Генерал-майор Милорадович!

— А! А! Это Миша! Михайло! — обрадовался старец знакомому лицу.

— Я, ваше сиятельство! — выступил вперед статный красавец-серб.

— Я знал вас вот таким, — Суворов показал рукою на аршин пола, — и едал у вашего батюшки Андрея пироги. О! Да какие были сладкие! Как теперь помню! Помню и вас, Михайло Андреевич! Вы хорошо тогда ездили верхом на палочке! О! Да как же вы тогда

рубил деревянной саблей! Поцелуемся, Михайло Андреевич! Ты будешь герой! Ура!

— Все мои усилия употреблю оправдать доверенность вашего сиятельства! — щелкнул шпорою Милорадович.

— Генерал-майор князь Багратион! — продолжал Розенберг.

Тут еще больше обрадовался старый фельдмаршал. Заискрились, прищурились, глаза его.

— Князь Петр? Это ты, Петр? Помнишь ли ты... под Очаковым! С турками! В Польше!

Как было забыть это! Но то, что юному офицеру незабвенен легендарный полководец — естественно, а, вот, чтобы полководец помнил одного из офицеров... Впрочем, у Александра Васильевича была удивительная память: он помнил всех своих боевых соратников в лицо и по именам вплоть до простого солдата.

Петр Иванович и опомниться не успел, как уже оказался в объятиях фельдмаршала, целовавшего его в глаза и лоб, отечески крестившего:

— Господь Бог с тобою, князь Петр! Помнишь ли? А?

— Нельзя не помнить, ваше сиятельство! Нельзя не помнить того счастливого времени, в которое служил под командою вашею!

— Помнишь ли походы? — глаза старика горели юношеским вдохновением.

— Не забыл и не забуду, ваше сиятельство! — отвечал Багратион, до слез тронутый таким вниманием к себе великого героя. Собственный отец его ушел рано, и князь принужден был с ранних лет тянуть сиротскую долю. От того волной сыновней нежности откликалось сердце на заботу старого фельдмаршала.

Багратион был самым молодым из представляемых генералов, и на нем знакомство Суворова со старшим командным составом завершилось. Александр

Васильевич быстро заходил по комнате, заговорил часто в своей обычной манере, вновь зажмурив глаза:

— Субординация! Экзерциция! Военный шаг — аршин, в захождении полтора; голова хвоста не ждет; внезапно, как снег на голову; пуля бьет в полчеловека; стреляй редко, да метко; штыком коли крепко; трое наскочат — одного заколи, другого застрели, а третьему карачун! Пуля дура, штык молодец! Пуля обмишуются, а штык не обмишуются! Береги пулю на три дни, а иногда и на целую кампанию. Мы пришли бить безбожных, ветреных, сумасбродных французишек; они воют колоннами, и мы их будем бить колоннами! Жителей не обижай! Просящего пощады помилуй! — проговорив эти постулаты собственного трактата «Наука побеждать», фельдмаршал повернулся к Розенбергу. — Ваше высокопревосходительство! Пожалуйста мне два полчка пехоты и два полчка казачков!

— В воле вашего сиятельства все войско; которых прикажете, — развел руками Андрей Григорьевич.

Снова зажмурил глаза покоритель Измаила:

— Помилуй Бог! Надо два полчка пехоты и два полчка казачков!

Никто из присутствующих не служил прежде с Суворовым, никто не умел еще понимать его странной манеры говорить. И Петр Иванович, нарушая субординацию, принужден был выступить вперед:

— Мой полк готов, ваше сиятельство!

Александр Васильевич быстро обернулся к нему, спросил радостно:

— Так ты меня понял, князь Петр? Понял! Иди! Приготовь и приготовься!

«Экая проклятая выскочка!» — услышал Багратион приглушенный шепот вослед себе, когда покидал собрание для исполнения приказа фельдмаршала. Только усмехнулся князь на это шипение завистников.

Что ему до них, когда должно выполнять волю великого героя? Не прошло и часа, как он представил пред очи Суворова два гренадерских и два казачьих полка:

— Все готово, ваше сиятельство!

— Спасибо, князь Петр! Спасибо! Ступай вперед! — загадочно улыбнулся фельдмаршал. — Господь с тобою, князь Петр! Помни: голова хвоста не ждет, внезапно, как снег на голову!

И этих слов хватило Багратиону, чтобы уяснить свою задачу: идти в авангарде быстро, без отдыхов и ожидать либо самого Александра Васильевича, либо особого приказа от него.

Так начался знаменитый Итальянский поход. Вступив в Северную Италию, Суворов наметил операционную линию вдоль подошвы Альп, дав на левый фланг французов и обеспечивая своему правому флангу, втрое превосходящему силы противника, бесперебойную связь с Австрией через долины. Уже первые десять дней показали, что старый полководец ничуть не утратил своего победительного дара. Армия продвинулась на сто верст, форсировали пять рек, одержала несколько крупных побед.

— В военных действиях следует быстро сообразить — и немедленно же исполнить, чтобы неприятелю не дать времени опомниться, — говорил Суворов. — У кого плохое здоровье, тот пусть и останется назади. Италия должна быть освобождена от ига безбожников и французов: всякий честный офицер должен жертвовать собою для этой цели. Ни в какой армии нельзя терпеть таких, которые умничают. Глазомер, быстрота, стремительность!

Его глазомер не подводил его никогда. В отличие от глазомера венского... Австрийцы, сами призвав русских на помощь в борьбе с Бонапартом, ныне так и стремились ставить палки в колеса фельдмаршалу. Не то глупая зависть к русским победам гложила их, не то

раздражало суворовское недипломатичное нежелание считаться с их глупыми мнениями и тратить драгоценное время на их обсуждение. Александр Васильевич воевал, как умел. И здесь не нужны ему были ни наставники, ни командиры. Не дожидаясь одобрения Вены, он продолжил наступление, освобождая от неприятеля все новые территории.

Австрийцы обижались. А напрасно! Суворов прямил не только им, но всем без исключения — будь то сам Царь, будь то его сын. Этот, последний, по юношеской запальчивости едва не погубил войско под Валенцей. Генерал Розенберг, увидев большое численное преимущество французов, желал подождать подкрепления, но Великий князь Константин обвинил генерала в трусости, и тот, желая доказать обратное, сам ринулся вброд через реку По, увлекая за собой солдат. В итоге было убито и ранено до полутора тысяч человек... Фельдмаршал отчитал царского сына, как мальчишку, и пообещал отдать его под суд. Угрозы он не осуществил, но выволочки хватило для Великого князя, чтобы впредь держать свой нрав при себе...

Настоящей школой полководческого искусства стало для молодого генерала Багратиона битва при Треббии, в которой командовал он левым флангом. Накануне оной Петр Иванович заметил фельдмаршалу, что еще не все войска подошли к месту сражения и лучше было бы отложить его, дожидаться отставших.

— В иных из наших рот лишь по 40 человек!

Александр Васильевич склонился к самому уху князя:

— А у французов нет и 20; атакуй с Богом. Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время всего дороже! Ура!

Дружно ударили русские на неприятельские колонны. Против войск Багратиона стояли насмерть поляки Домбровского, мстившие ему и Суворову за

подавление польского восстания и взятие Варшавы. Не менее жарко пришлось Розенбергу, против которого французы сосредоточили основные силы. Корпус начал отступать, и Андрей Григорьевич бросился к фельдмаршалу. К нему же устремился и Петр Иванович. Однако, адъютант великого объявил, что тот изволит почивать...

Старик и впрямь лежал на земле, прислонившись к огромному камню и укрывшись плащом. Глаза его были плотно закрыты. На миг взволнованному князю даже почудилось, будто фельдмаршал не дышит... Но тотчас глаза последнего широко раскрылись, и он резко сел, отбросив плащ:

— Помилуй Бог, заснул! Пора вставать!

— Ваше сиятельство, мои люди более не в силах сдерживать натиск неприятеля! — с отчаянием выступил вперед Розенберг.

Суворов вопросительно взглянул на генерала:

— Андрей Григорьевич! Подымите-ка этот камень, вот этот, что я лежу возле него.

Розенберг растерянно покосился на Багратиона, точно спрашивая у опытного толмача перевод загадочному фельдмаршалскому иносказанию.

— Не можете? А? Ну, так стало быть, так же не можно, чтобы, помилуй Бог! и русские отступали! Ступайте, помилуй Бог, ступайте, держитесь крепко! бейте! гоните! Смотрите направо! а иначе, помилуй Бог, вам будет худо! Мы — русские, не ундер-куфт, не мейсенеры!

С тем и уехал Андрей Григорьевич, а Суворов приказал адъютанту:

— Ступай-ка шибко к Меласу, скажи ему, чтобы он всеми силами в колоннах бил врага в середину, шибко, прямо бил бы! непременно, помилуй Бог, бил бы насквозь французов... конница наблюдает, часть ее

несется быстро вперед — рубить! Штыки! Ты там будь — смотри!

Едва молодой офицер ускакал, Александр Васильевич обратился, наконец, к изнемогавшему в ожидании Багратиону.

— Что, Петр? У тебя как?

— Худо, ваше сиятельство! — выдохнул князь. — Если малейшее подкрепление придет к неприятельской линии против меня, я не удержусь на месте. Люди мои до высочайшей степени ослабели в силах, число их уменьшается каждую минуту от неприятельского огня. Последний запас моих гренадер пустил я в бой, ружья худо стреляют, так как замки и полки у них запеклись накипом от пороха...

Фельдмаршал вскинул руку, прерывая этот безрадостный доклад:

— Помилуй Бог! Это нехорошо, князь Петр! — и уже вскакывая с юношеской прытью на ноги, приказал: — Лошадь!

Через мгновение великий уже мчался во весь опор к Багратионовой линии, а тот едва поспевал за ним и даже не заметил, как старик отдал приказ, чтобы полк казаков и батальон егерей, ставший лишь из боя в запас на отдых, неслись шибко следом.

Линия уже откатывалась назад, когда в смятенные ряды солдат въехал Суворов.

— Молодцы, ребята! — весело крикнул он им. — Заманивай их, заманивай! Спасибо, ребята, что догадались!

Остановились бегущие, заулыбались, отца родного видя. А тот, указав на неприятеля, скомандовал:

— Теперь пора! Вперед, ребята, и хорошенько их!

И какое-то неведомое чудо преобразило всю линию. Беглый огонь усилился, ружья стали стрелять, люди, от усталости и жара едва переводившие дух, оживились, все воскресло и облеклось в новую силу! Барабаны

ударил сбор, и в одно мгновение рассеянные были ратники вновь сделались одним целым.

— Князь Петр! — воскликнул Александр Васильевич, — ударим! прогоним! это облегчит победу над врагом!

И ударили, и погнали, и сбили штыками неприятеля с места, опрокинули, коля нещадно. Французы отступили. Не отступили даже, а бежали, преследуемые русскими и австрийцами. Такова была цена угаданной минуты! И умения обращаться с солдатом... В этом фельдмаршалу не было равных. Тотчас после одержанной победы Суворов передал Петру Ивановичу бумажку, на которой были написаны двенадцать французских слов с переводом на русский язык: «Балезарм» («Опусти оружие!»), «Пардон, жете ле зарм!» («Сдавайся, бросай оружие!») и т. п.

— Князь Петр! Смотри! Чтобы все выучили наизусть, знали их, буду спрашивать!

Как только люди начинали уставать, унтер-офицеры читали им заветные слова, и те старательно затверживали. Это придавало солдатам уверенность в победе. Также некогда снабдил Александр Васильевич своих чудо-богатырей польским «словарем» для победителей. Он категорически запрещал употреблять в бою команды «Стой!», «Назад!», «Отступаем!». Все, решительно все должно было настраивать солдата на неминуемую победу.

Фельдмаршал всегда пристально наблюдал за своей армией. Незаметно оторвавшись от колонны, он уезжал вперед, ложился в винограднике и долго смотрел на проходящие войска, после чего неожиданно выезжал на дорогу и заводил разговоры с солдатами:

— Вот там безбожники-французы, их мы будем бить по-русски! Горы велики, есть пропасти, есть водотоки, а мы их перейдем-перелетим, мы — русские! Бог нами водит. Лезши в горы, одни стрелки стреляй по головам

врага — стреляй редко, да метко! А прочие шибко лезь в россыпь. Взлезли — бей-коли-гони— не давай отдыху! Просящим — пощада — грех напрасно убивать. Везде фронт! Помилуй Бог, мы — русские! Богу молимся — он нам и помощник; царю служим — он на нас и надеется и нас любит, и нас наградит он словом ласковым, чудобогатыри! Чада Павловы! Кого из нас убьют — Царство небесное! Церковь Бога молит. Останемся живы — нам честь, нам слава, слава, слава!

Горы и пропасти и впрямь велики на пути стали. А хуже того из обещанных для перехода мулов австрийцы не прислали и половины. Что ж делать, пришлось спешить часть кавалерии... Посмеивался Александр Васильевич: «Нет лошаков, нет лошадей, есть австрийцы, и горы, и пропасти». Чтобы соединиться с теми австрийцами, а также корпусом генерала Римского-Корсакова для совместного освобождения Швейцарии, армии должно было пересечь горный перевал Сен-Готард и выйти к Люцернскому озеру. Тяжек был тот переход в холод и непрерывный дождь, во мраке, меж скользких, отвесных склонов, камни которых то и дело с грохотом летели в глубокие пропасти, готовые поглотить всякого оступившегося.

Авангард Багратиона, как всегда, шел впереди. Вскарabкавшись по козьим тропам, он нанес удар охранным французским бригадам и опрокинул их. Сен-Готард был взят, и измученные русские войска спустились к Альтдорфу, откуда предполагалось идти вдоль Люцернского озера в Швиц на соединение с союзниками. Тут-то и выяснилась еще одна подлость австрийцев. Зная план движения Суворова, они не упредили его, что по суше из Альтдорфа в Швиц вокруг Люцернского озера дороги нет. Однако, и этому обстоятельству не удалось связать руки великому.

Нет дороги? Значит, пройдем козьей тропой! Тропа та проходила на высоте семи тысяч футов над уровнем

моря. Идти по ней можно было только гуськом, поодионочке, скользя по обледеневшим уступам скал. И все же русские чудо-богатыри пошли этой тропой. Не столь и длинна была она — всего лишь 16 верст. Но какие это были версты для голодных, оборванных, замерзших и измученных людей! Несчастные лошади то и дело срывались с тропы и падали в пропасть, увлекая за собой людей. Дров не было, и потому невозможно было даже развести костров. Уснувшие в снегу уже не просыпались...

Авангард Багратиона шел впереди, и в его рядах шел пешком, деля с армией все тяготы, Великий князь Константин Павлович. Шел пешком и великий старец, лишь время от времени садясь на свою казачью лошадку. На бивуаках он подходил к солдатам и надтреснутым голосом запевал веселые, разухабистые песни. И чудо-богатыри веселели, оживали, вдохновленные этой неукротимой бодростью...

Но, когда армия спустилась вниз, преодолев и это испытание, ее ждал сокрушительный удар. Французы успели разбить части Корсакова и австрийцев и теперь, киша повсюду, ожидали захватить в плен русского фельдмаршала и царского сына. Армия оказалась в ловушке. Позади пики гор, впереди — враг. Помощи ждать неоткуда. Голод достиг таких масштабов, что солдаты вынуждены были есть собственные ремни. Любой полководец пришел бы в отчаяние в таких обстоятельствах! Но только не Суворов.

Собрав у себя своих генералов, дабы обрисовать им создавшееся положение, фельдмаршал оставил свои обычные прибаутки. Облаченный в парадный мундир, усталый, строгий, он казался в этот час небывало величественным, несмотря на волнение.

— Парады! Разводы! — бормотал он, ходя из угла в угол. — Большое к себе уважение... обернется: шляпы долой! Помилуй Господи! да, и это нужно, да вовремя...

А нужно-то: знать, как вести войну, знать местность, уметь расчесть, уметь не дать себя в обман, уметь бить! А битому быть... Не мудрено! Погубить столько тысяч, и каких, и в один день... Помилуй Господи!

Когда все собрались, Александр Васильевич резко остановился, ненадолго прикрыл глаза, а затем широко распахнул их и, точно преобразившись, заговорил быстро:

— Корсаков разбит и прогнан за Цюрих! Готц пропал без вести и корпус его рассеян. Прочие австрийские войска, шедшие для соединения с нами, опрокинуты от Глариса и прогнаны. Итак, весь операционный план для изгнания французов из Швейцарии исчез! Теперь идти нам вперед на Швиц невозможно — у Массены свыше 60 тысяч, а у нас нет полных 20 тысяч. Идти назад — стыд! Это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали! Мы окружены горами, мы в горах! У нас осталось мало сухарей на пищу, а менее того боевых артиллерийских зарядов и ружейных патронов. Мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою... победою, устроенною коварною изменою. Со времени дела при Пруте, при государе императоре Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении, как мы теперь... никогда! Ни на мгновение! Повсюду были победы над врагами, и слава России с лишком восемьдесят лет сияла на ее воинственных знаменах, и слава эта неслась гулом от Востока до Запада, и был страх врагам России, и защита, и верная помощь ее союзникам... Но Петру Великому, величайшему из царей земных, изменил мелкий человек! А государю императору Павлу Петровичу, нашему великому царю, изменил... кто же? Верный союзник России — кабинет великой, могучей Австрии! Нет, это не измена, а явное предательство, чистое, без глупостей, разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за

спасение Австрии! Помощи теперь нам ожидать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и на высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых! Это одно остается нам. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире: мы на краю пропасти!

Несколько мгновений великий старец молчал. Молчали потрясенно и все присутствующие. Но, вот, вспыхнули, не примирясь со своей участью, ясные глаза:

— Но мы русские! С нами Бог! — с этими словами поседевший в славных битвах герой, не знавший доселе ни единого поражения, вдруг пал на колени и взмолился срывающимся голосом: — Спасите, спасите честь и достояние России и ее самодержца, отца нашего, Государя Императора! Спасите сына его, Великого князя Константина Павловича, залог царской милостивой к нам доверенности!

При этих словах Константин Павлович со слезами бросился к старику, быстро поднял его, покрывая благоговейными поцелуями его плечи и руки. Пораженные этой картиной, генералы обратили взор на старейшего из присутствующих, не считая фельдмаршала, полководца — 65-летнего Вилима Христофоровича Дерфельдена, наставника Великого князя.

— Отец Александр Васильевич! — заговорил тот ровно. — Мы видим и теперь знаем, что нам предстоит, но ведь ты знаешь нас, знаешь, отец, ратников, преданных тебе душою, безотчетно любящих тебя. Верь нам! Клянемся тебе перед Богом за себя и за всех, что бы ни встретилось, в нас ты, отец, не увидишь ни гнусной, незнакомой русскому трусости, ни ропота. Пусть сто вражьих тысяч станут пред нами, пусть горы эти втрое, вдесятеро представят нам препон, мы будем победителями того и другого, все перенесем и не

посраим русского оружия, а если падём, то умрём со славою! Веди нас, куда думаешь, делай, что знаешь: мы твои, отец! мы — русские!

— Клянемся в том пред Всесильным Богом! — почти хором с волнением воскликнули все присутствующие.

Просветлело лицо великого при этих словах, благодарностью исполнились влажные от слез глаза его.

— Надеюсь! — горячо сказа он. — Рад! Помилуй Бог! Мы — русские! Благодарю! Спасибо... разобьем врага! И победа над ним, победа над коварством будет... победа!

И в тот же миг вновь преобразился фельдмаршал. И с обычно своею уверенностью устремился к разложенным на столе картам. У него уже — конечно же! — был план спасения армии!

— Все, все вы русские! — повторял он. — Не давать врагу верха, бить его и гнать по-прежнему! С Богом! Идите и делайте все во славу России и ее самодержца, Царя-Государя!

Через несколько дней корпус Розенберга в самом крупном сражении Швейцарской кампании разбил превосходящие силы французов, обеспечив тем самым тыл русской армии от преследования. Русским удалось выйти в Гларис в надежде соединиться там с уцелевшим австрийским корпусом Линкена, но тот после поражения союзников ушел на недосягаемое расстояние. Оставалось лишь одно — для сбережения армии от истребления и плена пробиваться к австрийской границе. Французы, оправившиеся от поражения, уже шли по пятам русских чудо-богатырей, и теперь полки Багратиона отбивали атаки противника в арьергарде. За недостатком патронов приходилось ударять в штыки...

В морозную, вьюжную ночь русской армии предстояло переправиться через хребет Панике. Люди

обледеневали на ходу, а тем, кто упал или присел отдохнуть, уже не суждено было подняться. Великий князь предложил жечь лафеты пушек и казачьи пики, и это было единственное «топливо» для спасительных бивуачных костров. Пушки в итоге пришлось закопать в землю, а все вьючные тюки сбросить в пропасть. Склон Панике оказался столь крут, что ступить на него было нельзя. Пропась зияла перед чудо-богатырями Суворова. И все же спуск был начат. Спускались самым простым из возможных способов — просто садясь и съезжая по ледяному склону в пропасть, надеясь не расшибиться о встречные выступы.

Два дюжих казака вели под уздцы лошадь Александра Васильевича, поддерживая его самого. Великий старец отбивался:

— Да пустите же меня! Помилуй Бог! Я сам пойду!

Но казаки сурово и коротко отвечали фельдмаршалу:

— Сиди!

И фельдмаршал повиновался...

Армия была спасена. По ту сторону перевала, в Австрии, Суворова встречал генерал Римский-Корсаков с рапортом об обстоятельствах своего поражения... Александр Васильевич бумагу не взял. Вместо этого он одолжил у одного из своих офицеров короткую алебарду и, делая ею странные приемы, спросил, точно бы размышляя:

— Как же вы отдали честь Массене? Так, этак, вот этак... Да вы отдали ему честь не по-русски, помилуй Бог, не по-русски!!

Так воевал великий Суворов. Петр Иванович с благоговением посмотрел на его миниатюрный портрет, который всегда возил с собой, и глубоко вздохнул. С уходом великого, последовавшим вскоре после Итальянской кампании, измотавшей его силы, русская

армия стала забывать его науку. В русскую армию проник тлетворный дух беннигсеновщины...

Леонтий Беннигсен был поистине злым гением русских войск. Но еще больше отвращало от него Багратиона то, что генерал сей был участником подлого убийства Императора Павла. Об этом знали все... Знали, что Беннигсен — цареубийца. Знал и молодой Государь. Но, несмотря на то, жаловал Леонтия Леонтьевича. На горе русской армии...

О несчастном Императоре Павле Петровиче Багратион хранил благодарную память. Царь всегда был милостив к нему, и не единожды приводилось Петру Ивановичу быть в числе государевых сотрапезников. Он входил в ближний круг царской семьи. Его Павел Петрович посылал к умирающему Суворову, дабы передать последнее «прости». Когда же заметил на глазах вернувшегося от одра Александра Васильевича князя слезы, сказал с теплотой:

— Вы очень любили его, это делает вам честь.

В роковую ночь Багратиона не было в Михайловском замке, и он ничем не мог помочь своему Императору. А если бы был? Что смог бы сделать он против своры заговорщиков? Против них оказались бессильны и Императрица, и Наследник... Этот, последний, ныне словно бы питал страх перед убийцами отца, от того и возвышался неоправданно Беннигсен, не знавший и презиравший русского солдата и ни во что не ставивший его драгоценную жизнь.

И теперь по прошествии многих лет ожигало сердце обидой воспоминание о кровопролитном бое при Прейсиш-Эйлау. Тогда арьергард Багратиона, теснимый французами со всех сторон, прикрывал отход русских войск. Что может быть тяжелее и страшнее уличных боев? Когда каждый закоулок превращается в очаг сражения, когда все окна некогда мирных домов обывателей делаются вражескими бойницами... На

улицах Прейсиш-Эйлау сами собой выростали жуткие «баррикады» из наваленных друг на друга трупов. Потери обеих сторон были ужасными. В той бойне был тяжело ранен Барклай, и его едва вынесли с «поля боя». Наконец, Багратиону удалось вытянуть арьергард из полыхающего города. А за его пределами изможденных, окровавленных чудо-богатырей встречал недовольно кривящий впалые губы Беннигсен.

— Как вы смели оставить город без моего приказа?! — набросился он на Багратиона. — Я отдам вас под суд, князь!

Дальнейшую тираду с трудом разобрал оглушенный канонадой слух, но и от разобранного впору было немедленно потребовать сатисфакции. Его, князя Багратиона, надменный цареубийца обвинял в... трусости!

Петр Иванович сатисфакции не потребовал. Серый от усталости, покрытый копотью и вражеской кровью, он медленно сошел с коня и, хрипло приказав своим людям следовать за собой, молча устремился назад — на Прейсиш-Эйлау. Русская цепь шла без единого выстрела, твердым размеренным шагом — прямо на беспощадный огонь противника. Превратившемся в авангард арьергарду было приказано вернуть город. Любой ценой. Те, кто дошел до позиций противника, уцелев под смертоносным огнем, ударили в штыки. Ударили с такой не терпящей сопротивления яростью, что город был возвращен. Но какой ценой!..

И эту победу цареубийца умудрился обратить в поражение самое позорное, каких не ведала еще армия Петра Великого!

Все началось с того, что Беннигсен оставил войско без снабжения. Этому уверенному в монаршем благоволении негодяю не было дела, что русские солдаты с жадностью едят вырытую из земли гнилую картошку и попросту в самом прямом значении этого

слова умирают от голода. В чужой земле. Ограбленные интендантами и прочно забытые собственным командованием. Напрасно писал Петр Иванович отчаянные письма в Петербург. Положение Беннигсена было незыблемым. И армия умирала и сокрушалась морально. Ибо какой дух не будет надломлен отношением столь возмутительным?

При этом упускалось драгоценное время для развития успеха русских войск. Обескровленная при Прейсиш-Эйлау армия Наполеона вынуждена была приостановить активные действия, дабы восполнить потери. Она была в тот момент уязвимее, чем когда-либо! Но царубийца выжидал... Чего? Не того ли, чтобы противник собрался с силами?! Во всяком случае именно дождавшись этого времени, Леонтий Леонтьевич решил перейти в наступление. И каков же был план этого наступления! Где, когда, какой полководец ставил свою армию в тесной долине, где с двух сторон реки, а с третьей — враг? Лишая ее маневра и путей к отступлению? Обрекая на гибель?! Именно это и сделал Беннигсен.

И снова арьергард Багратиона, истекая кровью, прикрывал отход армии. Измученные солдаты падали на землю, уже не имея сил сражаться, садились посреди дороги и бесчувственно смотрели перед собой. Сердце Петра Ивановича обливалось кровью при виде того, до чего довели суворовских чудо-богатырей. Глядя на них, он, генерал, уже не смел приказывать им. Он просто шел меж них в своей простреленной в нескольких местах треуголке, земно кланялся им и говорил сорванным голосом:

— Братцы! Не приказываю, прошу... Снова надобно драться. Окромя нас, некому! Надо соблюсти честь матушки-России. Не приказываю, братцы. Прощу...

И похожие на тени люди поднимались с земли и, примкнув штыки, снова шли в бой за своим генералом,

который шел вместе с ними — как равный. Он не мог иначе... Не мог оставить своих солдат, не мог оставаться за их спинами. И они знали это, поэтому и поднимались, и шли вслед за ним, веря ему и полагаясь на него. И в свою очередь не допуская мысли оставить своего генерала...

— Спасибо, братцы! Я с вами, вы со мною... Как всегда!

То был Фридланд.

Это слово ранило до сих пор душу всякого русского чувством горького позора. Фридланд, проложивший путь к Тильзиту! К противоестественному союзу венчанного Царя и наглого самозванца-якобинца, самолично короновавшего себя, жадно выхватившего корону из рук римского первосвященника и водрузившего на ее на свою голову!

Этот союз, так называемый мир, заключенный в Тильзите между Императором Александром и Бонапартом, не мог быть ничем иным, как прологом к отложенной войне. Это признавали все. Но черт возьми, отчего же, сознавая это, не умели порядочно подготовиться? Не извлекли уроков? Не избавились от предателей? Ведь и теперь командует где-то Беннигсен, и гнилое слово его звучит при принятии решений Ставкой. И потому страшно от тех решений, страшно за судьбу армии и России.

Вид древних высоких и могучих стен Смоленска вызвал ликование 2-й армии. Полтора месяца шла она пыльными дорогами, по палящему зною, томимая нестерпимой жаждой. Полтора месяца вела бои на все стороны света, отражая натиск таких грозных противников, как Даву и Жером Бонапарт. Полтора месяца жила ожиданием соединения с армией 1-й и — наконец-то! — решительного сражения! И, вот, армии встретились! И в этом уже была первая победа, ибо план Наполеона по недопущению этой встречи и разгрому русских армий по одиночке оказался сорван.

В Смоленске немедленно бросилось в глаза явное отличие двух армий. Уставшие от отступления и разуверившиеся в собственном командовании воины 1-й армии были молчаливы и подавлены. Войско же Багратиона, несмотря на ратный труд этих огненных недель, вступали в древнюю цитадель в настроении приподнятом. Бодрым маршем шагали они по улицам с развернутыми знаменами и походными песнями.

Но генерал их был мрачен. Его недовольство действиями Баркляя в последние десять дней превысило все пределы. Помилуй Бог! Что это за министр, за стратег, который сперва сообщает, что генеральное сражение невозможно силами одной его армии, через два дня изволит изменить решение и назначает дату решающей битвы, несмотря на то, что в это же время очевидно становится, что 2-я армия не сможет поспеть к ней ввиду невозможности следовать изначально намеченным путем, так как оный блокирован неприятелем. И, наконец, еще через пару дней вновь меняет решение и отказывается от сражения. При этом сам, вместо того, чтобы быстрее

двигаться навстречу 2-й армии, стоит на месте, отчего-то считая, что, дойдя до Витебска, выполнил свою часть дела, а остальные усилия для соединения должен прилагать Багратион... Так и стоял бы в удобной «гавани», кабы в это время, пока готовился он к генеральному сражению, французы не надвинулись бы уже на самый Смоленск.

Теперь, однако, министр и здесь не желал давать решающей битвы, несмотря на соединение армий. Дух беженства, по-видимому, совершенно овладел им!

Петр Иванович исподлобья взирал на Барклая. Бледное лицо того, изуродованное ранением, оставалось по обыкновению бесстрастным. И это еще более раздражало князя. Совершенно невозможно было постичь, какие мысли, какие чувства кроются за этой непроницаемой маской, за деревянным тоном, которым говорил министр. Сам Багратион не имел такого самообладания.

— Помилуй Бог, России жалко! — воскликнул он, заслушав проект отступления по московскому тракту. Это ведь значит — к самой Москве! В самое сердце России впустить неприятеля! Столько земель русских оставить ему на поругание и разорение! Заходилось гневом сердце князя. — Да войско бы наше шапками их закидало! Сколько раз писал я, слезно просил: наступайте, я помогу! Нет! Куда вы бежите? За что вы срамите Россию и армию?! Наступайте, Бога ради! Ей-Богу, неприятель места не найдет, куда ретироваться! Они боятся нас, войско ропщет, и все недовольны. У вас зад был чист и фланги. Зачем побежали? Надобно было наступать! У вас было 100 тысяч! А я бы тогда помог. А вы побежали... И неделя за неделей я принужден был искать вас. Знаете ли вы, что в войске говорят уже открыто, что мы проданы, что нас на гибель ведут? Как вы можете смотреть на это с таким равнодушием?!

При этих упреках, граничащих с оскорблением, бледные, впалые щеки Михаила Богдановича покраснели. Но и здесь сдержался он, отчеканил хладнокровно:

— Не дело войску болтать. И не дело командующему слушать.

Вспыхнул Петр Иванович:

— А по-вашему, солдаты русские должны, как стадо бессловесное, идти на убой и голоса не подавать? И не грех бы было слушать их вам, ваше высокопревосходительство! Уж на что велик был батюшка Александр Васильевич, а солдата слушать не брезговал, солдата уважал!

Но где, где было услышать русского солдата этому надменному немцу, который и по-русски объяснялся не без труда? Храбр он, Барклай, не отнять этого — видел Петр Иванович в бою его. Но рыба кровь! Но не русское сердце! Не понимает он солдата русского, не понимает минуты... И слышать доводов противных не желает. И будто бы вовсе дела нет ему, что уже в собственном штабе ругают его предателем. Да ведь от этого одного провалиться предпочтешь сквозь землю, уйдешь от должности и на переднем крае будешь смерти или славы искать!

Жарок разговор вышел, до того жарок, что изругали друг друга так, что в ином случае ничего бы не осталось, как пойти стреляться. Но когда враг уже под стенами Смоленска... Только и не доставало в таком положении, чтобы командующие армиями начали друг в друга стрелять!

Так и продолжилось беженство. Армии, едва соединившись, снова отступали параллельными дорогами, оставив прикрывать отход доблестного Раевского. Можно горсткой людей разгромить могучие воинство, можно отроку с пращей поразить исполина, можно пробить головой брешь в стене. Но нельзя

пробить ее в бесстрастии Барклая и... в Государевом обходительном упрямстве...

Спор двух командующих Император разрешил по-своему, объединив противников и саму армию под началом командующего главного, коим стал Михаил Илларионович Кутузов. Под его командованием уже приводилось сражаться Багратиону. Все с тем же неизменным врагом, все в тех же чужих землях... Семь лет тому назад после катастрофы под Ульмом, когда разгромлен был австрийский фельдмаршал Макк, армия Кутузова была вынуждена спешно оставить занятый ею австрийский город Кремс под угрозой превосходящих сил неприятеля. Как и ныне, Наполеон стремился не допустить соединения ее с другой русской армией — Буксгевдена. А Петру Ивановичу по традиции выпало служить заслоном для отходивших русских частей... Кутузов, понимая, что корсиканец вот-вот перережет ему путь, изо всех сил спешил навстречу Буксгевдену. Багратиону же с небольшим отрядом было приказано занять позиции у придорожной деревни Голлабрюн на пути у наступавших на пятки русским французам и стоять там насмерть, пока армия не отойдет на безопасное расстояние. В ночном дождливом октябрьском мороке Багратион успел провести рекогносцировку местности. И даже ночной беглый осмотр со всей очевидностью показал, что избранная позиция никуда не годится. Князь спешно отвел свои войска к деревне Шенграбен и приготовился к последней в своей жизни битве. Он ясно понимал, что его отряд сделался тою пешкою, которою решено было пожертвовать для спасения армии... Сознал это и Кутузов, на прощание перекрестивший Петра Ивановича, благословляя на последний подвиг.

Содействовать русскому отряду должны были австрийцы графа Ностица. Но этот образцовый болван,

поверив слову Мюрата о якобы заключенном между Императором Францем и Бонапартом мире, оставил свои позиции. И тщетны были попытки убедить его в том, что мира сего не существовало! Оставалось только плюнуть в лицо трусу, которому так кстати оказался Мюратов обман, чтобы спасти свою драгоценную шкуру...

Русские, как некогда в Швейцарских Альпах, остались одни против грозного соперника. Но Багратион не был бы лучшим учеником незабвенного Суворова, если бы в схожем положении не нашел бы выхода. И Кутузов не был бы Кутузовым, если бы не превзошел хитростью хитрого неаполитанца Мюрата. Мюрат обманывал своих противников мнимым миром. Кутузов сделал вид, что верит обману и готов капитулировать. Начались переговоры. А в это время русская армия, столь уязвимая в тот момент для удара, уходила все дальше. Наполеон, получив в Вене известие о «капитуляции» русских, тотчас понял, что его маршала провели, как болвана. И только тогда спохватившийся Мюрат обрушил всю свою огневую мощь на позиции Багратиона. Самое большее, на что мог рассчитывать маленький русский отряд, это продержаться четыре часа и погибнуть со славой. Петр Иванович приказал поджечь Шенграбен. Пламя стало на пути у наступавших французов. Это дало выигрыш времени, однако, неприятель все теснее окружал отряд со всех сторон. На некоторых участках из «мешка» приходилось продираться штыками. Но русский штык всегда творил чудеса в отличие от дур-пуля!

Двое суток отступал Багратионов отряд с короткими передышками, отражая атаки противника. Пушки пришлось бросить. Сам отряд сократился в половину в этих кровопролитных боях. Однако, другая половина, оторвавшись от преследования, настигла успевшую вырваться из уготованного ей капкана армию, где по

Петру Ивановичу и его чудо-богатырям уже справляли поминальную тризну.

Багратион явился в расположение русских войск живым, невредимым и победительным. Он не только вывел из безнадёжного положение половину своего отряда, но захватил пленных и французское знамя — первый русский трофей в той кампании! Михаил Илларионович спешно вышел навстречу князю из своей палатки и, порывисто обняв его, воскликнул:

— О потере не спрашиваю, ты жив — для меня довольно!

А пришедший вскоре на соединение генерал Буксгевден говорил восхищенно:

— Таким образом отбиться от превосходнейшего силами неприятеля — сие должно служить примером всем, упражняющимся в военном ремесле!

За славное дело под Шенграбеном Петр Иванович получил орден Святого Георгия 2-й степени, люди его также были осыпаны наградами.

Позже Кутузов сменил Багратиона во главе Дунайской армии. Командуя оной, Петр Иванович навлек на себя неудовольствие Государя. Император требовал взять крепость Силистрию, а Багратион не желал брать ее любую ценой. Князь привык жалеть не только солдат, но даже лошадей и мулов, и не считал возможным бессмысленно морить своих людей под стенами цитадели — в осенней слякоти, в сырых глиняных землянках, укрепить и утеплить которые нечем было в пустынной местности. Он разработал план весенней кампании, предполагая за зиму подготовить все необходимое для успешного наступления и принуждения турок к необходимому для России миру. Этот план сулил полный успех, но без лишних жертв. Император нехотя позволил Багратиону отойти до лучшего времени от стен Силистрии, но осуществить план весенней кампании не позволил, сменив его более,

как казалось ему, «решительным» полководцем. Молодым Каменским. И тот, ценою не смущаясь, взял Силистрию. А вскоре после этого заболел воспалением мозга и скончался в полном безумии... Принуждать же турок к миру назначен был Кутузов. Там, на Дунае, и оставался он до последнего времени. И, вот теперь, добившись покорства Порты, прибыл, чтобы принудить к тому же противника куда более могущественного...

Армия все ближе подходила к Москве, и здесь, на подступах к ней, у деревни Бородино, намечено было дать, наконец, генеральное сражение...

— Ваше высокопревосходительство! — как ни густа была ночная тьма, рассеиваемая по местам лишь бивуачными кострами, а тотчас узнал Петр Иванович в подъехавшем к нему стремительном всаднике своего бывшего адъютанта Давыдова.

— А! — улыбнулся князь. — Это ты, «крестник»? Рад видеть тебя! Что, близок ли неприятель?

— Совсем близок, уже на носу! — отозвался Денис, спрыгивая с коня.

— На носу, говоришь? — прищурился Багратион. — На чьем, на твоём или на моем? Потому как то, братец, большая разница. Коли на твоём, так впору подниматься в штыки, а коли на моем, так, пожалуй, мы и отужинать, и соснуть часок, и порядком укрепиться успеем.

Рассмеялся бравый ахтырский гусар этой шутке, поскреб свой пуговицей вздернутый нос. Некогда сей забияка и пиит осмелился пошутить о Багратионовом носе в своих виршах. Но, вот, ведь хитрец: сам же с этих виршей начал знакомство с генералом. Об устройстве его на службу хлопотала тогда красавица княгиня Нарышкина, фаворитка самого Государя. Петр Иванович был с нею в дружбе, и потому именно ему

рекомендовала она своего протеже, когда он явился к ней с визитом.

Юный офицер прочел дерзкие строфы, а затем с самым почтительным видом присовокупил:

— Надеюсь, ваше высокопревосходительство не сомневается, что к написанию сего подтолкнула меня единственно лишь зависть к тому, чего вовсе лишила меня природа, — и с этими словами коснулся пуговицы-носа.

Багратион расхохотался, засмеялась и Нарышкина.

— А ты, хитрец, братец! — заметил Петр Иванович, разгадав маневр Дениса. Опасаясь, что князь уже знает его вирши и таит на него обиду, он решил оправдаться столь оригинальным образом. Виршей Багратион, однако, не знал, но и обижаться на них не подумал. К тому же ведомы были ему иные вирши молодого пиита.

Все это хорошо, пусть ты б повелевала,
По крайней мере нас повсюду б не швыряла,
А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да между нами, ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
То мы имеем право спотыкаться,
И можем иногда, споткнувшись, — как же
быть, —
Твое величество об камень расшибить.

Это не о ком-нибудь, это вольнодумец предерзский о самом Государе написал! Дивно, что после этого отделался он лишь изгнанием из кавалергардского полка... Родич его, Ермолов, за смелые речи свои в родительское имение был сослан. А вирши-то —

проступок почище речей! Речи всякий говорить горазд, а, вот, облечь крамолу в форму поэтическую...

— Сие ты, братец, небось, тоже от исключительного почтения к адресату сочинил? — с иронией осведомился князь.

Молодой офицер чуть покраснел, покосился на свою благодетельницу. А затем ответил чистосердечно:

— Никак нет! — и добавил, из той же крамольной басни окончанием: — Просто... «дурак — кто все болтает»...

— А ты, часом, не якобинец ли? — усмехнулся Петр Иванович.

— Полно, батюшка! — вступилась Нарышкина за юношу. — Какой из него якобинец! Сие лишь шалость младенческая, кою Денис Васильевич жаждет на поле брани искупить! Вот, и к старому графу Каменскому под начало просился, ночью ворвался к нему да с постели поднял!

— И что же граф, уступил натиску?

— Обманул граф, — вздохнул Денис. — Обещал с тем, знать, чтобы выставить поскорее, да наутро слово свое обратно взял!

— Признаться, извинительно для старика, разбуженного посреди ночи мальчишкой...

Вспыхнул молодой офицер, метнули молнии темные глаза. Того гляди за саблю схватится!

— Экой ты, брат, ярый! — рассмеялся Багратион. — Полно, не журись. Будешь при мне адъютантом. Один пиит у меня уж служит, Марин, ты, небось, знаешь его. Будет теперь два! Кто из генералов этаким Парнасом в штабе похвастать может?

Слов этих Давыдов явно не ждал. Тотчас переменилось лицо его, засветились благодарностью и счастьем только что грозные глаза.

— Ваше высокопревосходительство! Князь! Я навеки раб ваш и данник! Нет слов, чтобы выразить вам мою

благодарность!

О своем решении Петру Ивановичу не пришлось сожалеть ни разу. Протеже княгини Нарышкиной оказался доблестным воином и славной души человеком. Вместе прошли они несколько кампаний, и во всяком деле отважный Денис бывал в первом ряду. Иногда был он слишком горяч, и не доставало ему политеса в отношении старших чинами, коли те не заслужили уважения его. Прямым был сей служитель Марса и Аполлона, и от того нажил себе довольно недругов. Но куда больше было друзей, не чаявших в нем души! О нем рассказывали легенды, его вирши затверживали наизусть...

Сей корсиканец целый век
Гремит кровавыми делами.
Ест по сту тысяч человек
И гадит королями.

Ныне полковник Давыдов командовал ахтырскими гусарами. Адъютантская должность тесна была для такого воина. Его делом были поиски в тылах противника, славные рубки, а не штабная скука. А уж в грозную для Отечества годину — тем паче! Багратион прекрасно понимал это, а потому отпустил своего адъютанта, хотя и не без сожаления. По сердцу был князю сей молодец, и жаль было терять его.

— Пойдем, «крестник», потолкуем, — кивнул Багратион в сторону своей палатки.

На пороге оной наткнулись они на нового генеральского адъютанта, мирно спавшего, укутавшись в плащ.

— Хорош, нечего сказать! — фыркнул Денис. — Дозвольте растолкать?

— Не нужно, — покачал головой князь. — И не шуми. День был утомительным, он устал. Пусть выпится. Солдат завсегда воует лучше, если хорошенько выпится.

— А генерал — разве же хуже? — понижая голос, покачал головой Давыдов.

Багратион практически не спал уже третьи сутки, смуглое лицо его побледнело, без того впалые щеки провалились до черноты, запали и воспаленные глаза.

— Разве вы, Петр Иванович, утомлены менее сего молодца?

— По-видимому, так, — пожал плечами князь и, с отеческой заботой поправив укрывавший засоню-адъютанта плащ, вошел в палатку. Он всегда с большим вниманием относился к тому, чтобы люди его были сыты и устроены. И ныне, прямо перед приездом ахтырца, обходил лагерь, пробовал солдатскую кашу, толковал с солдатами об их нуждах, ободрял их перед грядущей сечей. С иными старыми служаками, коим всегда особенно радовалось сердце, вспомнили Александра Васильевича, и от одного воспоминания о нем светлее делалось, и укреплялась вера, что прекратится постыдное беженство, и русский штык снова заблестит во всей славе.

Давыдов, хотя и молод был, а также великого помнил. Тот однажды был гостем отца его и, потрепав шустрого мальчонку по голове, предрек ему будущность славного воина. И ныне стремился Денис осуществить пророчество.

— Петр Иванович, не томите, каков ответ Кутузова? — нетерпеливо спросил он, едва лишь Багратион зажег свечу и расположился у заваленного картами стола.

— Да не дрожи уж, одобрил Михайло Илларионович план твой, — махнул рукой Багратион.

Так и просияло круглое лицо. Чертяка чертякой! Усы чернящие, волосы — точно навсегда дыбом стоят, а в черных куделях их — полоса белая, память о Прейсиш-Эйлау...

— Значит?..

— Значит, можешь создавать свой отряд и действовать, — отозвался князь, протягивая Давыдову бумагу. — Приказ я уже подписал.

С жаром схватил бравый гусар вождеденный приказ, жадно пробежал его глазами. То был карт-бланш ему на осуществление истинно русской затеи — задумал Денис устроить противнику скифскую войну, разоряя тылы его, уничтожая запасы. Для этого нужны были партизанские отряды, которые являлись бы внезапно и везде и исчезали бы в никуда, которые постоянными вылазками не давали бы неприятелю покоя, делали так, чтобы нигде и никогда не могли почувствовать себя завоеватели в безопасности.

— Рискованное дело замыслил ты, «крестник»! Но ей-Богу славное! И был бы я иных лет и чина, так, пожалуй, отправился бы с тобой... После всех отступлений куда как бодрить должно этокое молодечество! Завидую тебе, брат! И благословляю!

Лицо Давыдова лучилось радостью и, как когда-то в гостинной Нарышкиной, не умел он, мастак нанизывать слова в виршах, подобрать их для того, чтобы выразить благодарное чувство.

— Я сейчас вернусь! — вдруг сказал гусар и исчез.

Возвратился он через считанные минуты... с ужином. Карты были сдвинуты, и на столе явилась бутылка доброго вина, каша с мясом, хлеб, две кружки и все необходимое для скромного бивуачного ужина.

— Дозвольте по старой памяти быть сегодня вновь вашим адъютантом! — широко улыбнулся Давыдов,

распушив разбойные усы. — Раз уж вы не велите будить того лентяя!

За хлопотами о подчиненных и диспозиции будущего сражения об ужине князь попросту позабыл. И предложение свежее испеченного партизана оказалось весьма кстати.

Поведай подвиги усатого героя,
О муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.

Задумчиво слушал Петр Иванович строфы, посвященные павшему недавно кумиру всех гусар — отважному Якову Петровичу Кульневу. Многих славных воинов унесла уже эта война, не дав вкусить им упоения победой, не одарив напоследок надеждой на скорый разгром неприятеля, но не отняв веры в то, что разгром сей неминуем. Ибо русские не привыкли бывать битыми! Да, русские, несомненно, победят. Но какую же ценой? Здесь, при Бородино вновь свела судьба Багратиона с Беннигсеном, назначенным начальником главного штаба. И уже успел царевубийца сотворить зло, избрав для крайней позиции на левом, Багратионовом, фланге село Шевардино. Спешно возвели редут там, высунув его вперед линии обороны — так, что защитники его просто обречены были погибнуть. И для какой же пользы?! От такого «стратегического» хода и Барклай руками развел. Кутузов же, хотя и согласился с невыгодностью позиции и приказал сместить ее к защищенной оврагом деревне Семеновское, но

смещение сие разрешено было лишь в случае неприятельского нападения на левый фланг. Почему только тогда? Почему не заблаговременно? Неужто потому лишь, что Беннигсен не желал опорочить себя признанием своей ошибки, а Кутузов предпочитал проявлять дипломатичность в отношении Государева фаворита и не вступать с ним в борьбу? Но жизни-то, жизни солдатские неужто столь мало стоят, что перед лицом неприятельских полчищ возможно вот так, попусту, тратить их?

«Воюй, как умеешь!» — сказал некогда Император Павел Суворову. Самой жизни не пожалел бы Багратион, чтобы услышать то же от его сына!.. Долгое отступление и многие огорчения порядком измотали не только армию, но и самого князя. Он чувствовал, как от бессилия переменить то, что казалось ему ошибочным и даже роковым, иссякают уже не в фигуральном смысле его силы. Но делать нечего, оставалось добивать себя...

Давыдов, долгое время бывший рядом, чувствовал настроение генерала. Чувствовал и сочувствовал ему. И с ним можно было оставить напускную браваду, необходимую в окружении войска, а говорить по душам и от сердца...

— Я на все решусь, чтобы только еще иметь счастье видеть славу России. Я крепко уповаю на милость Бога, но ежели ему угодно, чтобы мы погибли, стало быть, мы грешны и сожалеть уже не должно, а надо повиноваться, ибо власть его святая...

— Свидимся ли мы еще, Петр Иванович? — грусть коснулась чела храброго полковника. — Вот, уж не думал, что родительский дом от корсиканца защищать придется...

Бородино, а также окрестные села принадлежали семейству Давыдова, и потому ему особенно горько было видеть их разорение в преддверье грядущей битвы и представлять дальнейшую участь их.

— Свидимся, Денис Васильевич, — отозвался Багратион. — Если не на этом свете, так уж на том — непременно!

За это неизбежное свидание и выпили «на посошок». Пора было полковнику спешить к своим ахтырцам и, не откладывая, начинать свой новый подвиг.

— С Богом, «крестник»! — обнял и перекрестил напоследок князь Давыдова.

— С Богом, Петр Иванович! — эхом отозвался тот, и блеснули слезы на отважных глазах.

Глядя вслед бравому гусару, Петр Иванович невольно вздохнул. Сколь счастлив бы он был, кабы такой молодец был его сыном! Но не дал Бог продолжения, не пожелала Катя подарить мужу наследника... Что ж, он сам виноват, пленившись женщиной, для него не созданной, вместо того, чтобы найти верную спутницу, в нежные объятия и к теплу очага которой было бы куда как слаще возвращаться из походов, нежели на казенные квартиры.

Много лет назад молодой князь со всей пылкостью южного сердца полюбил первую красавицу павловского Петербурга — юную Екатерину Скавронскую. Багратион и теперь мог бы поклясться, что природа никогда не создавала красоты более совершенной, чем та, которой одарила она Катю.

В жилах этой прелестницы смешалась кровь таких страстных особ, как Марта Скавронская, ставшая Императрицей Екатериной Первой, и Александра Энгельгардт, любимая племянница князя Потемкина. Эту страстность унаследовала и Катя. Вот, только обращена она была вовсе не к бедному грузинскому князю, но к красавцу и придворному щеголю — молодому графу Палену. Может быть, выйди она за него, сделалась бы счастливой и не сошла бы на тот

путь, что обратил ее в известную европейскую кокетку?..

Но матерински нежное сердце Императрицы Марии Федоровны с живым участием откликнулось на страдания молодого князя, к которому она благоволила. Да и Государь Император решил помочь устройству судьбы бравого генерала, первого молодца и в бою, и на параде.

Какая честолюбивая женщина откажет жениху, сватами которого выступают Царь и Царица? Пален получил отставку, и Катя приняла предложение Багратиона. Свадьбу играли в Павловске, в присутствии Августейшей четы. Посаженым отцом, ведшим невесту к алтарю, стал граф Александр Сергеевич Строганов... Судьба! Несчастливый в браке сам, брошенный некогда своей ветреной женой, граф нечаянно послужил рождению такого же несчастливого союза.

То, что союз сей несчастлив, стало очевидно скоро. Красавица Катя привыкла жить на широкую ногу, блистать в обществе и мечтала совсем не о той жизни, которую мог дать ей боевой генерал, живущий на свое жалование. Беспечные траты жены привели к тому, что князю пришлось продать казне в уплату долгов единственную деревню, некогда пожалованную ему Государем за службу. Но то была капля в море, долги росли как снежный ком, а Катя и не помышляла о том, чтобы изменить образ жизни.

— Финансы — забота мужа, — холодно говорила она. — Женщина ничего не должна знать о них!

Кроме того, как их тратить... Первое время Петр Иванович, как мог, пытался удовлетворить капризы жены, но все эти старания ничего не меняли в их отношениях. Муж, который покупает ласки собственной жены, как куртизанки, жалок. Жена, обратившаяся в куртизанку, жалка не меньше.

А Катя обратилась именно в куртизанку. И не только для собственного мужа. Багратион же не принадлежал к числу тех мужей, что спокойно мирятся с положением, когда у жены «своя жизнь», утешаясь при этом собственной «свободой». Для молодого князя узы брака представлялись священными, а роль рогоносца совершенно нетерпимой. Но что он мог сделать? Он не мог убить на дуэли своих обидчиков. Он даже не знал их доподлинно. И употребить власть над женой не мог также. Что есть употребить власть над женой? К примеру, отправить ее в глухое поместье и запереть там под надзором дворни... Но для этого нужно иметь поместье и дворню. У Багратиона же не было ничего. Его стол всегда был полон угощений для всех друзей и сослуживцев, но у него не было даже собственной крыши над головой. В промежутках между походами он принужден был останавливаться на постой у чужих людей. Какие же еще меры воздействия возможно применить в таком случае к неверной жене? Рукоприкладство? Эта мысль была отвратительна князю, несмотря на жгучую ревность. Бить женщину... Бить Катю... Он мог ненавидеть ее всей душой за причиняемую ему боль, но, когда она предстала перед ним, такая прекрасная и недоступная, он немел перед нею и не мог поднять руку на это обманчивое совершенство. К тому же поднимать руку на придворную даму... Общество не поняло и не приняло бы такого варварства. Катя непременно устроила бы скандал, и уж конечно при дворе сочли бы его средневековым деспотом.

Даже развестись с насмехающейся над ним женой князь не мог. Для развода нужно было разрешение Святейшего Синода, а Синоду требовались неопровержимые улики, доказывающие измену. Что же было делать? Следить? Вскрывать письма? Подкараулить и еще, пожалуй, привести свидетелей

для подтверждения позора? Не мог и на это унижение пойти Петр Иванович. В итоге решено было разъехаться без скандала. Катя отбыла в Европу и, обосновавшись в Австрии, завела там модный салон, найдя себе покровителя в канцлере Меттернихе. Молва говорила о будто бы незаконном сыне, которого родила она канцлеру. Этот слух особенно ранил Багратиона, хотя уже давным-давно не поддерживал он связи с женой. От Кати у него остались лишь долги, которые и теперь еще не были погашены полностью, и портрет, который он все еще хранил. Много раз хотел он выбросить эту миниатюру, но, стоило лишь взглянуть на запечатленный на ней совершенный образ, и рука опускалась сама собой. Он не мог истребить портрет этой женщины также, как не мог в свое время ударить оригинал. Слишком прекрасна была Катя, непозволительно прекрасна...

Он сражался в кровопролитных боях с отроческих лет. С воинственными горцами и с турками, с поляками, с финнами, с французами... И к сорока годам ни разу не был ранен. От того внезапное чувство собственной беспомощности — да еще в самый разгар решающей битвы, в момент, когда неприятель жестоко трепал и грозил оттеснить его фланг — было для Багратиона совершенно невыносимым. Он лежал на траве под палящим солнцем, застилаемым дымом гремящего совсем рядом боя, мучительно стискивал зубы от боли, а над ним суетились одуревшие от бесчисленного множества раненых хирурги. Пуля-дура пробила князю голень и, раздробив кость, застряла в ней. Как будто бы не смертельно? Но что будет с ногой?.. Участь калеки — единственное, что внушало ужас Петру Ивановичу. Впрочем, теперь больший ужас внушало ему грозное положение собственного фланга. Как никогда, нужен он был своим частям! Своим солдатам, которым легче становилось сдерживать натиск неприятеля от одного лишь присутствия рядом своего генерала! Его ранение может подорвать их дух! Как же не вовремя приключилась проклятая пуля!

В этот момент зоркий глаз Багратиона различил шатко шагающую прочь от полевого госпиталя знакомую фигуру генерала Левенштерна. Левенштерн был ранен, но по-видимому, легко, и от того спешил вернуться на позиции.

— Владимир Иванович! — окликнул его князь.

И хотя от грохота битвы и стонов раненых мудрено было услышать ослабевший голос, но Левенштерн различил зов и, сколь мог, быстро устремился на него:

— Ах, князь!.. Какое несчастье! И вы здесь! Что с вами?

— Пустяки, — отмахнулся небрежно Багратион, — царапина и только. Прошу вас непременно передать это моим людям!

— О, всенепременно!

— А теперь, Бога ради, скажите, что — там? — Петр Иванович кивнул в сторону поля боя.

— Там... ад... — развел руками Левенштерн. — Но мы держимся, князь! Генерал Ермолов только что отбил у неприятеля захваченную им батарею Раевского, хотя сам при этом был ранен!

— Слава Алексей Петровичу... И помогай Бог ему.

Владимир Иванович мгновение помолчал, а затем сообщил:

— Михаил Богданович теперь на левом фланге, приехал узнать положение.

Багратион вздохнул. С того часа, как Барклай был смещен с должности, он уже не чувствовал прежнего озлобления на него. И уж совсем утихло оно, когда сделалось известно, что Михаил Богданович подал в отставку и желает покинуть армию. Стало быть, обманчива была внешняя невозмутимость его, лишь умело скрывал он ту глубокую обиду, что причиняли ему всеобщие оговоры. Может быть, слишком жестокие и не всегда справедливые? Здесь, под Бородино, он, как и Багратион, оказался в числе особо третируемых Беннигсеном генералов. Этот желчный, похожий на гнилой зуб негодяй, чья шевардинская глупость ныне обошлась в добрых 6000 жизней, кажется, стремился отравить жизнь всякому, кто оказывался на его пути... И такого-то каналью — в начальники штаба Михайле Илларионовичу! Кабы только совладал с ним старый лис Севера, а иначе шнапс армии!

— Что же Барклай? — спросил Багратион, с усилием приподнявшись на локте.

— Герой! — с искренним уважением выдохнул Левенштерн. — Весь день в самом пекле, словно нарочно под самый огонь стремится! Пять лошадей под ним убито, всех офицеров вокруг него выкосило.

Он говорил еще что-то, но Петр Иванович уже не слушал, поняв, что в рассказе этом одно слово явно лишнее. Слово это «словно». Он, действительно, стремился под картечь — бывший главнокомандующий, затравленный собственной армией и обществом. Он искал подвига и смерти. Славной смерти солдата, которая навсегда сняла бы с него мучительное клеймо, смыла его кровью.

— Вот что, Владимир Иванович, — сказал Багратион, дотянувшись до руки склонившегося к нему Левенштерна, — скачите теперь прямо к Михаилу Богдановичу. И передайте ему от меня... Скажите, что участь армии и ее спасение от него одного теперь зависит. До сих пор все идет хорошо, но пусть он следит за моей армией!

В глазах Левенштерна мелькнуло удивление.

— Поезжайте, — повторил князь. — И поскорее, пока он еще здесь.

Владимир Иванович ускакал, а Багратион вновь бессильно повалился на траву. Земля ходила ходуном от терзавших ее разрывов, земля дрожала от ран, нещадно ей наносимых, и Петр Иванович чувствовал эту дрожь, и она сливалась с лихорадочной дрожью его собственного тела.

Его отправили в Москву, и уже туда достигло сокрушительное известие. Хотя сражение, как показалось в первые часы, было выиграно русскими, но силы их были истощены настолько, что Кутузов... приказал отступить! Отступить! Значит, отдать Бонапарту Москву! Этого уже не в силах был перенести Багратион. Он чувствовал, что жизнь покидает его, что он умирает. Но умирает не от раны, а от Москвы...

Из Первопрестольной его увезли ночью, горящего в лихорадке, временами впадающего в бред, терзаемого невыносимой болью.

— Вам пакет от принца Ольденбургского! — голос посыльного, нагнавшего ехавшую в беженском потоке по направлению к Владимирской губернии карету, вывел князя из забытья. Распечатав пакет, он скользнул взглядом по скупым строкам письма. Сколько бы дал он теперь, чтобы прочесть совсем иные строки! Может быть, эти строки даже заставили бы его снова бороться, биться за свою жизнь, несмотря на Москву, несмотря на участь калеки... Но нет! Он никогда, никогда не позволил бы, чтобы она увидела его калекой. И случись теперь чудо, пояись она, он запретил бы допускать ее к себе. Впрочем... Разве смог бы он запретить что-либо сестре самого Царя?.. Да еще такой, как она! Ей ничего не мог запретить даже собственный брат... Ее не смог завоевать даже Наполеон...

— Вообрази, мой друг, до какого позора мы дошли! Этот корсиканский разбойник смеет предлагать мне свою руку! — голос Катиш дрожал от гнева, но в дрожи этой не было ни страха, ни горечи, но азартная веселость бойца, вступающего в жаркую схватку. Она была настоящей воительницей — его Катиш! Его Екатерина Вторая... Причудливо распорядилась судьба, обе женщины, которых он любил, носили одно и то же имя: Екатерина Павловна...

— Теперь мне ничего не остается, как разбить этого негодяя и доставить его тебе в качестве пленника!

Завитая головка приникла к его груди:

— Ах, князь, если бы ты и впрямь разбил его...

— Я клянусь тебе, что так и будет! — горячо пообещал Багратион, осыпая поцелуями руки Катиш. Он чувствовал в улыбке ее, во взгляде недоверие своему

обещанию, и это еще больше распаляло его. — Ты не веришь мне?

Царевна с нежностью погладила его жесткие кудри:

— Не сердись, прошу. Ты мог бы победить его, я верю. Ты герой. Но ты не можешь вступить с ним в единоборство, биться лишь по своему разумению... Мы оба связаны... — в ее голосе послышалась грусть. — А жизнь не похожа на сказки и легенды, в которых благородные рыцари поражают в единоборстве жестоких тиранов во имя своих прекрасных дам...

— И в которых прекрасные дамы вознаграждают рыцарей вечной любовью?

— Но разве я не награждаю тебя?

— Ты самая большая моя награда, самая драгоценная звезда на моей груди, — откликнулся князь и набросил на хрупкие плечи царевны свой китель: — Ты продрогла.

— Совсем нет, — покачала головой она. — Рядом с тобой невозможно продрогнуть...

За стенами Старого Шале отбивал монотонную дробь затянувшийся ливень, от которого укрылись они в любимой хижине Императрицы-матери. Государыня любила природу, сельские пасторали, поэтому ее любимый Павловск совсем не походил на чопорные дворцовые парки. Леса, луга — все здесь казалось естественным, нетронутым рукой человека. Каменная хижина с соломенной крышей вполне могла быть жилищем какого-нибудь пастуха. Мария Федоровна любила приезжать сюда и кушать кофий, любуясь прекрасным видом. Привязанность к этому месту питала и ее любимая четвертая дочь.

Катиш не походила характером на свою мать. Государыня с детства прониклась сознанием своей будущей роли жены и матери и была совершенно покорна сперва воле родительской, а затем — мужниной. Дочь же ее скорее унаследовала нрав своей

великой бабки. Она была умна и начитана, обладала огромной волей и не меньшим честолюбием. Эта женщина была рождена, чтобы стать царицей, королевой. Чтобы править и повелевать. И Багратион нередко думал, что его Катиш на троне была бы более решительна и тверда, чем ее брат. Последнему она позволяла себе высказывать многое, что не позволил бы никто другой.

Царевна обладала душой совершенно русской, ей были чужды господствующие при дворе иностранные, английские или французские, веяния, либеральные идеи, которыми увлечен был Император. Она терпеть не могла «выскачку» Сперанского и в конце концов сыграла немалую роль в его падении. Катиш глубоко переживала позор Тильзита и пламенно ненавидела Бонапарта за унижение России и своего брата.

И, вот, корсиканец вознамерился развестись со своей женой и сделаться мужем ее — сестры русского Царя! Так желал он упрочить за собой воровски присвоенный титул Императора, закрепить свое положение в семье европейских монархов. Катиш ответила решительным отказом, заявив, что пойдет замуж за последнего безродного нищего, но не за злодея Бонапарта. В этом она получила полную поддержку матери. Государь же оказался меж двух огней. Он не мог допустить оскорбления своей семьи подобным мезальянсом, но не мог и прямо отказать Наполеону, ибо это грозило спровоцировать очередную войну, к которой Россия не была готова.

— Никогда, никогда не пойду я под венец с этим извергом, — говорила Царевна. — Хоть с холопом, хоть с конюхом, но не с ним!

При словах о холопе и конюхе зачастило сердце князя:

— Зачем же с холопом? У тебя есть генерал...

— Милый мой генерал... — Катиш лучезарно улыбнулась и поцеловала его. — Уж не хочешь ли ты похитить царскую дочь?

— Почему бы и нет?

— Ты безумец! — рассмеялась Царевна. — Мой брат никогда не простит этого ни мне, ни тебе... — и сделавшись серьезной добавила: — Он ведь и того не простит, что теперь между нами. Знаешь ли это?

— Мне все равно, — отозвался Багратион. — Я не откажусь от тебя.

— Кажется, Императрица уже о чем-то догадывается. Ей, праведнице, не понять меня... Она всегда меня недолюбливала, а теперь смотрит свысока... А почему? Не потому ли, что несчастлива сама, и чужое счастье ее ранит.

— Стало быть, ты счастлива?

— Разве с тобой можно не быть счастливой?

От этих слов затрепетало ликованием сердце. Он и впрямь в ту пору пошел бы на все ради своей Екатерины Второй. Пожалуй, и на престол возвел бы ее, когда бы явилась в том нужда. Он любил ее со всею страстью своего сердца, забывая обо всем, стараясь не слышать и не вспоминать ее рассуждений о своих возможных брачных союзах, которые не смущалась она высказывать при нем.

Катиш мечтала быть королевой. Императрицей. Она искала брака с австрийским Императором, но против был брат. Ей не было дело до лет, внешности, ума и характера будущего мужа.

— Грубияна я научу хорошим манерам, глупца наставлю на путь, уroda... отмою, причешу и сделаю схожим с человеком, — таково было смелое и самоуверенное суждение молодой Царевны. Однако, ее мечтам не суждено оказалось сбыться. Угроза брака с корсиканцем заставила ее спешно выйти замуж за принца Ольденбургского, и уделом ее стало не

собственное королевство, а всего лишь Тверская губерния...

Любила ли честолюбивая Царевна «своего генерала»? В то павловское лето, сжимая ее в своих объятиях, чувствуя на губах своих жар ее поцелуев, Петр Иванович не мог сомневаться в этом. Старое Шале сделалось их тайным убежищем, скромной обителью мимолетного и обманчивого счастья.

Обманчивость его князь понял, когда отосланный на Дунай Императором узнал о браке Катиш... Переписку с ним она резко прервала, наказав лишь уничтожить ее пылкие письма, дабы они не попали в чужие руки. Возвратившись в Петербург, Багратион искал встречи со своей Царевной, но она не пожелала встречаться, бестрепетно перевернув страницу их краткой любви. Да и была ли та любовь? Способна ли была эта гордая женщина вообще испытывать ее?

Он клялся ей победить ее обидчика, обещал защищать ее и был... смешон в этих обещаниях. Катиш не нуждалась в защите. Она умела защищаться лучше, чем кто-либо иной. И, защищая себя, не ведала жалости ни к кому.

Ее письма Багратион сжег. Там же, в Павловске. Рядом со Старым Шале... Все было неизбежно в той обители мимолетного счастья. Уют приветных стен, ласковый шепот лип и осин над соломенной крышей. Только не слетали теперь нежные признания с любимых уст, а летели эти признания в огонь, обращаясь в пепел, как и сама почудившаяся любовь.

В ту тоскливую пору лишь в одном человеке обрел Петр Иванович живое сочувствие и поддержку — в Императрице-матери. Мария Федоровна догадывалась об отношениях дочери с князем, но не подавала виду. Ее огромному сердцу, тепла которого хватало на всякую скорбь, было жаль обоих «детей». Когда Катиш вышла замуж, она написала князю полное участия письмо.

Конечно, в нем ничего не говорилось прямо, и в то же время в каждом слове звучали ноты материнского утешения.

— Не кручинься, князь, — говорила она уже в Павловске, угощая гостя кофею. — Поправится все, вот увидишь, поправится!

Государыня говорила это об отставке Петра Ивановича от Дунайской армии, кою также переживал он, как незаслуженное недоверие со стороны Государя, но и другое подспудно звучало в уветливых словах.

— Корсиканец-то проклятуший не унимается, знаешь ли? Ныне к младшей моей дочери сватов засылает! Чтобы я, мать, родное дитя на поругание отдала! Нешто же не будет нам покоя от злодея этого?

В ту встречу Императрица подарила князю свой портрет, матерински обняла, перекрестила... Ныне, трясясь в карете по проселочным дорогам и чувствуя приближение смерти, Петр Иванович понял, что именно ее, Государыню Марию Федоровну, желал бы он увидеть напоследок. Как мать... Как единственную женщину, всегда относившуюся к нему с неподдельным сердечным участием...

— Ваше высокопревосходительство, будете ли вы писать ответ принцу?

— Нет, не буду, — покачал головой Багратион. — Передайте его высочеству, что застали меня совершенно без сил, и что я кланяюсь ему и благодарю за его обо мне попечение...

Если бы это было письмо Катиш! Настоящее, от сердца написанное, как бывало прежде! Тогда он, пожалуй, нашел бы в себе силы, чтобы ответить ей... Чтобы проститься... Он попросил бы прощения ее, что не сдержал своей клятвы и не одолел Бонапарта. Он написал бы ей, что по-прежнему любит ее, что все эти три года мечтал снова увидеть ее, что «ее генерал» и на смертном одре остается ее верноподданным. Он

успокоил бы ее, что письма, которых так боится она, давно сожжены, и никогда сторонний глаз не прочтет их, не узнает ее тайны. Но она не прислала ему даже прощального привета...

И все же, несмотря ни на что, его Катиш оставалась самой драгоценной звездой на его груди. Та, которой тщетно добивался Наполеон, одарила его, пусть и ненадолго, своею любовью, и в этом он оказался счастливее корсиканца...

Карета подпрыгнула на ухабе, и сознание князя померкло от пронзительной боли. В бреду перед ним мелькали, сменяя друг друга, сцены баталий, коих он был участником. Бородино... Прейсиш-Эйлау... Шенграбен... Треббия... Дым... Кровь... Треск ружей и громовые раскаты орудий... И вдруг стихло все, и в наступившей тишине послышался до слез знакомый голос:

— Князь Петр! Петр, ты ли это?! — глаза великого лучились радостью встречи. Он стоял перед Багратионом в полном парадном облачении и, распахнув руки, ждал заключить его в объятия.

— Я, Александр Васильевич! — откликнулся Петр Иванович и, вдруг забыв о боли, легко шагнул навстречу любимому учителю.

— Поспешим же, князь Петр! Поможем нашим чудобогатырям побить Бонапартишку! С нами Бог, мы Русские! Ура!

Князь Петр Иванович Багратион скончался в селе Сима Владимирской губернии от гангрены. Все имущество, которое осталось после него, составляло четыре миниатюрных портрета: А.В. Суворова, Императрицы Марии Федоровны, Екатерины Савронской и Великой княгини Екатерины Павловны.

Денис Давыдов добился перезахоронения праха своего незабвенного начальника на Бородинском поле. Оно было осуществлено уже после смерти Давыдова, в 1839 году, в присутствии Императора Николая Павловича и 120-тысячного войска. А спустя без малого 100 лет, в год 120-летия Бородинской битвы, большевики взорвали главный памятник Бородинского мемориала на бывшей батарее Раевского, превратив его в груды обломков. При этом был разрушен и расположенный рядом склеп Багратиона. Многострадальные останки князя были разбросаны вокруг, яму на месте уничтоженного захоронения засыпали песком... Полвека спустя памятник все-таки восстановили в первоначальном виде, только останки героя после стольких лет найти было едва ли возможно. Существуют версии, будто бы какая-то крестьянка или монашка собрала их и похоронила, но места никто уже не мог указать. В 80-е годы солдаты под руководством археолога Морева два месяца перебирали землю и мусор на месте уничтоженной могилы и нашли горстку осколков костей, фрагменты мундира. Морев сложил это все в рюкзак и на электричке отвез в Москву. Этот рюкзак какое-то время лежал у него в кабинете, ожидая экспертизы. Но ее так и не провели. Похоронили князя скромно: группа солдат во главе с полковником Лаптевым, строители, сотрудники музея... Лаптева поразил тогда пустой, как показалось ему, гроб, опущенный в могилу.

День мужества (Раевские)

Земляника уже сходила, торопило ее знойное лето, оплавляло до истечения соком, запахом которого полнился лес, навевая сладкие воспоминания об оставленном доме, о матушке, о старом Илье, что водил детвору и в их числе маленьких барчуков по землянику да малину, по грибы, а то и по чернику — на дальние болота. Возвращались оттуда, бывало, грязнющие, что черти, поболее солдат, почерневших ныне от пыли после многодневного похода. Это были первые приключения в жизни Николки! Только их мальчику упрямо не доставало. Иное дело, кабы на болотах в самом деле водились лешаки и водяные, которых так боялись темный деревенские ребята! Или на худой конец разбойники... Ну, уж на самый худой — зверь какой дикий, волк или медведь... Гриня, пастуха сын, сказывал, что однажды повстречал в лесу шатуна и едва успел забраться от него на высокую сосну! Сидеть пришлось долго. Хищник не уходил, выжидая, когда у добычи иссякнут силы и она свалится ему в пасть. Целую ночь просидел Гриня на дереве, до костей промерз и почти готов был свалиться созревшим плодом и стать мишкиным завтраком, но тут на счастье приключился егерь Игнатъич и Гриню спас. Николка не раз разглядывал самые высокие сосны, представляя, как вскарабкается на них и сколько сможет просидеть в их ветвях в ожидании подмоги. Но случая испытать себя так и не представилось...

Потому известие о том, что отец намерен взять с собою в действующую армию не только старшего брата Сашу, которому едва исполнилось шестнадцать, но и

его, одиннадцатилетка, привело мальчика в бурный восторг.

— Ура! Ура! — вопил он, бегая по дому. — Мы идем на войну!

Братья радовались, предвкушая грядущие славные отличия и наперед видя себя героями с Георгиями на груди. Недаром говорил отчаянный рубака Кульнев: «Россия-матушка тем и хороша, что в каком-нибудь углу ее уж непременно рубятся!» Милый Яков Петрович закончил свою рубку три дня назад, когда при переправе через реку французский снаряд оторвал ему ноги... О подобных страшных «приключениях» не думается в одиннадцать лет, когда впервые уходишь на войну с отцом, они настигают уже по ходу сражений... Война — не лесное болото. На ней враги водятся в избытке в отличие от сказочной лесной нечисти.

Пули посыпали лес подобно изрядному граду, то там, то здесь взрыхляли они землю, ударяли в стволы. Перестрелка между русскими и французскими частями была яростная. Но Николка не обращал внимание на смертоносный град. Что толку обращать? Как говорит отец, свою пулю не обминешь, так нечего чужим кланяться. Русские кланяться вообще не любят, ни офицеры, ни солдаты. Не уважал поклонов и Николка.

Теперь он сосредоточенно объедал последнюю землянику. День-другой — и уже не будет этой ягоды чудной! И жди тогда до следующего лета ее! Целую вечность... Николка ждать не хотел и с наслаждением набивал рот.

Внезапно что-то царапнуло по ноге. Вот тебе на! Кровь! Зацепила градина огненная панталончик, разорвала его и ободрала до крови кожу. Могло быть и хуже! Однако же, царапину не годится просто так оставить, и Николка проворно поспешил к протекавшему рядом маленькому, едва приметному ручейку, смочил в воде платок, приложил к ноге...

— Не пуцу! Не пуцу! — как рыдала бедная родительница, когда отец велел собирать сыновей в поход!

Внучка гениального Ломоносова, она была женщиной нрава мирного, кроткого. Самой счастливой порой для нее стали годы правления Павла Петровича, когда муж ее попал в опалу и вынужден был все время проводить в имении, заботясь о его благоустройстве.

— Зачем забираешь обоих?! Пощади хотя одного! Оставь Николеньку, ведь он ребенок совсем!

Боялся Николка, слушая причитания матери, что отец уступит и возьмет с собою лишь одного Сашу. Но генерал был упрям.

— С вами остаются в утешение все ваши дочери, мадам! Пять дочерей! А я беру с собой лишь двух мальчиков. И обещаюсь беречь их!

— Беречь?! На войне-то?!..

Что можно было ответить убитой горем женщине? Николай Николаевич молчал. Мог ли он принять иное решение? Наверяд ли. Отец всего лишь следовал той науке, какова была с младых ногтей преподана ему самому.

Раевские с древних времен служили на поприще военном. Прадед Николки мужествовал 19-летним юношей вместе с самим Петром при Полтаве, а дед пал при штурме турецкой крепости Журжи, отправившись охотником на театр военных действий и оставив в утробе жены своего второго сына — Николая... 20 лет спустя судьбу отца повторит первенец, дядя Александр, которого ни Саша, ни Николка уже не застали в живых. Погиб он при легендарном штурме Измаила.

Отец в свою очередь начал действительную службу в 14 лет. Будучи зачислен в Преображенский полк, он сам ходатайствовал о переводе в действующую армию. Ходатайство было удовлетворено, и юноша был определен под начало своего двоюродного деда —

светлейшего князя Григория Александровича Потемкина. Наставления и протекция вельможного родственника были довольно оригинальны. Приписав племянника к казачьему отряду полковника Орлова, светлейший наказал последнему употреблять его «в службу как простого казака, а потом уже по чину поручика гвардии». Григорий Александрович, сам записавшийся в казаки под именем Грицко Нечеса, считал, что для молодого человека весьма полезно с юных лет разделить наравне с простым солдатом тяготы походной жизни. От своего покровителя Раевский удостоился следующего напутствия:

— Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врожденную смелость частым обхождением с неприятелем.

Отца в таком деле учить и не требовалось. В схватках он всегда бывал из первых и показывал примерную отвагу. За годы службы он побывал на самых разных театрах военных действий. Сперва бить привелось вековечного врага — турка. Раевский участвовал в переходе через Молдавию, в боях на реках Ларга и Кагул под началом славного Румянцева, в осадах Аккермана и Бендер. Потемкин доблесть племянника оценил и поручил ему командование Казачьим булавы Великого Гетмана полком. Таким образом уже в 19 лет отец имел чин подполковника, с честью выслуженный в боях.

После турок пришла очередь персов, служба на Кавказе и дербентский поход графа Зубова... Вслед за павловой опалой настал черед защищать честь матушки-России на западе. В нежном детстве своем Николка слушал захватывающие дух рассказы о том, как храбрый отец обращал в бегство французов при Гуттштадте, как был ранен при Гейльсберге, как командовал всеми егерями в мясорубке Фридланда и прикрывал отступление русских частей... После

Тильзитского мира, заключенного с Францией, отец буквально кочевал по разным фронтам: то громил он шведов в Финляндии, то на Дунае снова наводил страх на турок и штурмовал крепость Силистрию. Природный воин, он, хотя и мог с большим разумением вести хозяйство, но пороховой дым оставался для него единственной естественной средой обитания.

Больше всего на свете мечтал Николка быть похожим на героя-отца. Вот, и теперь руководит он сражением, сдерживая продвижение превосходных сил противника...

— Никол! Никол! — резкий, ломающийся голос брата вывел мальчика из задумчивости. Замыв царапину, он лежал на траве, не ища новых встреч с жужжащими, как в улье, пулями, и грыз набранные в кивер ягоды. На зов Саши Николка проворно вскочил на ноги и почти тотчас столкнулся с братом. Всегда насмешливое лицо последнего подернулось гримасой презрения.

— Хорош солдат, нечего сказать! Ты чего валяешься здесь? Мы не на пикнике!

— Прости, Саша, я просто...

— Что «ты просто»? Лицо-то вымой! До самых ушей в ягоде: в полк явишься — смеху-то будет!

Николка покраснел и бросился к ручью умываться. И впрямь и лицо, и руки липкими были от земляничного сока...

— Хочешь землянички, Саша? Ты угощайся пока! Я много собрать успел...

Брат взглянул на кивер, мирно оставшийся на траве, и схватился за голову:

— Помилуй Бог! Ну и солдат! В кивер землянику собирать! Что это тебе, корзина?! Форму уважать надо, Никол! А ты позоришь ее!

Николка насупился:

— Чем это моя земляника кивер позорит? И вообще... Я тут, может быть, уже первое боевое

ранение получил! — и он с гордостью показал прострелянный панталон.

— Ранение! — усмехнулся Саша, проведя пальцами над губой, где едва-едва начинал пробиваться темный пух долгожданных усов. — В земляничной охоте! Эх, права была матушка: надо было тебя дома оставить при ее подоле! Ходил бы теперь с Ильей, как положено, собирал бы грибы да ягоду в корзинку!

— А это не тебе решать! — сердито крикнул Николка.

— Не мне, не мне, — брат все-таки отправил в рот целую пригоршню земляники. — Придется тебя, малыша, выручить, не на голову же тебе урожаем свой надевать.

— Можешь не выручать, я и сам со своим урожаем справлюсь! — Николка протянул руку за кивером, но брат не отдал его, рассмеялся только:

— Но! Но! Объешься чего доброго! А лекари с ранеными заняты!

Николка всегда досадовал на братние подковырки. Но что поделаться с ним? Таков уж человек Саша, что не может не колотить, не трунить, не пересмешничать. Заноза, как Илья его прозывал. Заноза и есть. Не со злости язвит, а так, для развлечения праздного унижает ближнего.

— Ты чего искал-то меня, Саша?

— Отец послал, — лицо брата вмиг стало серьезным. — Скоро в атаку идем, так он хочет, чтобы мы рядом были.

Всколыхнулось сердце. Помилуй Бог! Стало быть, и он, Николка, наконец, в деле участие примет?! Перестанут его прятать в обозе, подальше от места боя, так что мальчик только недоумевал, для чего в таком случае было брать его с собою, коли не допускать до самой войны?

— Успеешь еще! — отмахивался отец. — Считаю, что ты наш арьергард, и выполняй мои приказы.

— Слушаюсь, мой генерал!

Уже месяц шла война. С той июньской ночи, когда Наполеоновы войска перешли через Неман. И все это время русские... отступали! Это было так мучительно, так нестерпимо стыдно! Разве русские — могут отступить? При Суворове не отступали, только вперед шли. А тут... То Фридланд, то Аустерлиц... Неужто воевать разучились генералы русские? Или же и впрямь корсиканец с самим чертом договор заключил, и тот ворожит ему?

Но Фридланд, Аустерлиц — это все земли русскому сердцу чужие были. Ныне же отступали по своим! Отдавали врагу свою русскую землю! Города, деревни, пажити... Живых людей! Этим людям стыдно в глаза смотреть — армия уходит мимо них в тыл, бросая их на глумление неприятелю!

Роптали в войсках все громче, из себя выходя от позора — ругали на чем свет стоит Баркляя, который, будучи не только командующим 1-й армией, но и военным министром, определял стратегию действий, которой вынуждена была подчиняться армия 2-я, Багратионова. Багратион, любимый ученик Суворова, обожаемый своими солдатами и офицерами, роптал также. Он еще загодя предсказывал возможное вторжение неприятеля, предлагая подготовиться к нему и составив проект необходимых для встречи неприятеля мер. Увы, предупреждения генерала услышаны не были, а неприятель напал на Россию именно так, как предсказывал Багратион... Теперь же решительным действиям, быстроте и натиску, завещанным Суворовым, противопоставлялась стратегия отступления...

Неприятель, вторгшись в Россию, разделил две русских армии, рассчитывая истребить их по одиночке.

50-тысячный корпус маршала Даву был брошен наперерез Багратиону, чтобы не допустить его соединения с Барклаем в Витебске. Это французам удалось. Опережая 2-ю армию, они захватили Минск и Могилев, закрыв путь на Витебск. Вдобавок по пятам Багратиона шел Жером Бонапарт. Эта изнурительная погоня длилась уже месяц, месяц беспрестанных маршей по выжженным июльским солнцем дорогам, по адскому зною, не имея достаточно воды... и с неприятелем, дышащим в затылок и поджидающим впереди! Несколько улучшили положение отряды генералов Платова и Дорохова, каким-то чудом проскользнувшие меж французских корпусов и пополнившие ряды 2-й армии.

Тем не менее армии грозило окружение. Чтобы не допустить его и все-таки соединиться с Барклаем, необходимо было любой ценой задержать противника, хоть на день, хоть на час, но держать, выигрывая время. Эта-то самая главная и самая трудная задача была поставлена Багратионом перед старым другом Раевским.

В нескольких верстах от Могилева, у деревни Салтановка, Даву разместил свой авангард, укрепив оборонительную позицию. Багратион поручил 7-му пехотному корпусу Раевского атаковать позиции Даву и, если получится, овладеть Могилевом. Основные же силы оставались в полутора переходах от Салтановки, возле городка Быхов...

Бой загрохотал на рассвете. Французские позиции были отделены от наступающих глубоким ручьем, мосты и плотины через который, не считая одной, были разрушены неприятелем. Егеря генерала Колюбакина атаковали единственную переправу, оттеснив французские посты, но были остановлены бившей с холмов вражеской артиллерией. Тем временем генерал Паскевич лесными оврагами обошел неприятеля с

правого фланга, захватив деревню Фатово. Однако, дальнейшее продвижение имевшего репутацию баловня судьбы генерала было остановлено атакой четырех французских батальонов.

Битва была в самом разгаре, когда Николка и Саша предстали пред суровыми очами родителя.

— Вы что, господа, грибы собирали или, быть может, охотились? На тетеревов? — грозно спросил он потупившихся мальчиков. — Я думал уже посылать на ваши поиски кого-нибудь из солдат, как будто нет у них теперь дела более важного!

— Простите, мой генерал... — пробормотал Николка. — Это я виноват, я слишком далеко забрел...

— И его оцарапала пуля, — присовокупил Саша. — Я едва нашел его, отец.

— Спасибо, что позиций наших не потеряли! — сердито бросил генерал. — Небось, сложно было сыскать! Где-то оно громыхает! — заметив, что Николка хочет что-то сказать, он поднял руку: — Все оправдания потом, если из бою живыми выйдем. А сейчас молчите и держитесь меня! Ни на шаг не отходить, ясно ли это?

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — хором ответили мальчики.

— То-то же!

Николка всегда восхищался отцом. Слушая рассказы его и его боевых друзей, он всегда силился представить себе родителя на поле брани, победоносного, сокрушающего вражеские полчища, ведущего за собою верных солдат! И, вот, теперь он видел это воочию! Три русских полка под барабанную дробь и грохот орудий форсировали ручей. Смоленский полк под командой самого генерала наступал на плотину.

Велика отвага русского солдата! Недаром говорят, что русского легче убить, чем заставить отступить. Полк шагал в сомкнутом строю, плечо к плечу, точно на смотре, не обращая внимание на то и дело падающих

на землю товарищей. Казалось, точно несокрушимая стена надвигалась на французов... И впереди нее — отец! Прекрасный! С лицом сосредоточенно-вдохновенным! С саблей, вскинутой вверх и сияющей на солнце столь же ослепительно, как генеральские эполеты...

Рядом шагала знаменосец Данилин, подпрапорщик всего лишь парой лет старше Николки. За время похода мальчишки успели порядком сдружиться, а теперь зависть брала смотреть, как этот стройный, бледный юноша вышагивает вперед, гордо неся над головой полковое знамя.

— Данилин, голубчик! — взмолился Николка. — Дайте, пожалуйста, мне понести знамя! Ах, миленький, прошу вас, дайте!

— Оставьте, Раевский, — качнул головой знаменосец, — я сам умею умирать!

В этот момент отец схватил Николку за руку и привлек к себе:

— Я же сказал тебе держаться меня, — прошептал он по-французски.

Николка ничего не возразил, но ком обиды подкатил к горлу. Такой же как он мальчишка нес знамя, а его родитель вел за руку, точно маленького ребенка на прогулке!

Ручей, между тем, становился все ближе, неприятель — также. Огонь же сделался столь плотным, что стена, наконец, остановилась под его напором, не выдерживая его. Понимая, что настал решительный миг, отец крикнул громовым голосом, перекрывая рев орудий и картечи:

— Что пятитесь, смоленцы?! Решается судьба наша и всего Отечества! Слушайте, братцы! Я здесь с вами. И дети мои со мной. Мы все идем в этот смертный бой. Жертвую всем ради вас и ради Отечества. Отобьем плотину! Поднимем француза на штыки! Я и мои дети

откроем вам путь к славе! Вперед за Царя и Отечество!
За мной!

Горячая рука выпустила ладонь Николки. Отец ринулся вперед, увлекая за собой солдат, вторивших ему оглушительным «ура».

— Ура! — кричал Саша, спеша за отцом.

— Ура! — повторял Николка.

— Ур... — остановился вдруг подпрапорщик, и лицо его сделалось бледнее обычного.

— Что с вами, Данилин?! — вскрикнул Николка, бросаясь к приятелю. Тот как-то шало взглянул на него, рука, сжимавшая древко, задрожала, и знамя стало вываливаться из нее...

— Знамя... — едва слышно сорвалось с посиневших губ.

Но Николка уже подхватил его и только сейчас заметил, что грудь подпрапорщика залита кровью...

— Голубчик, держитесь, я сейчас помогу вам!

Но Данилин уже не мог держаться и ничком повалился на траву. Мимо него бежали в атаку славные солдаты. Иные из них падали совсем рядом, так же как и он сраженные картечью... Николка опустился на колени возле подпрапорщика, из глаз его покатались слезы:

— Данилин, миленький, да как же это...

— Не будьте ребенком, мы на войне... — прошептал знаменосец. — Сохраните знамя...

Оборвался навсегда ломкий мальчишеский голос. Он и впрямь знал, как умирать, этот 13-летний герой... Николка закрыл ему глаза:

— Я сохраню его, дружище, клянусь!

Высоко вскинув знамя так, чтобы видно было победное реяние всем солдатам, он помчался вперед, за отцом и братом.

— Ура! Ура! — звенел, срываясь, его еще совсем детский голос.

Единая сила наступающих как-то сама собою, будто бы речной поток, вынесла Николку на плотину, где кипела отчаянная рукопашная. Французы отступали, не выдерживая русской ярости...

К вечеру мост был отбит у неприятеля, оставившего свои передовые позиции, но серьезно укрепившегося на другом берегу. Сумерки прекратили бой, настала пора считать потери, предавать земле павших... Два солдата проворно бросили в наскоро вырытую яму тело Данилина, а полковой батюшка пропел «Со святыми упокой» и поспешил к следующей могиле. Николка опустился на колени перед едва заметным холмиком, над которым не было времени даже поставить креста.

— Вот, Данилин... — произнес он, — я сдержал слово. Я не потерял знамени, и сегодня мы покрыли его славой. Ты ведь знаешь об этом, правда? Ты наверняка видел нас... — Николка взглянул на небо, на полог которого бледно проступали грустные звезды. Найдя две ветки, и обломав лишние сучья, он перевязал их крест-накрест веревкой и воткнул в изголовье могилы друга.

— Прости, Данилин. Это все, что я могу сделать для тебя... Когда побьем француза, поставлю тебе крест настоящий, и панихиду отслужим настоящую.

Тяжелая рука легла на плечо Николки. Мальчик обернулся. Над ним, опираясь на трость, стоял отец, бледный, усталый. Ему тоже досталось в этом бою: контузило картечью в грудь. Уберег Господь, рана оказалась неопасной, а все ж и от неопасной дышитя тяжелее, коле она грудь пробила...

— Отслужим, брат, отслужим... Хотя солдатние души к Богу и без пароля пройдут, из ада земного в чертоги Его...

— Как вы себя чувствуете, отец?

— Хорошо.

— А Саша?

— И Саша также. Должно быть, спит уже с усталости. Молодцами вы показали себя нынче, да... Горжусь вами обоими. Ты бы тоже шел спать. Завтра очередной переход...

— Как? — вскинул голову Николка. — Разве мы не будем вновь штурмовать француза?!

— По сведениям, полученным от пленных, в Могилеве Даву сосредоточил пять дивизий. У нас нет сил против них, а, значит, чаянья Петра Ивановича на взятие города мы оправдать не сможем. Только людей зря погубим.

— А сегодня? — Николка взглянул на могилу Данилина. — Что же, они погибли зря?..

— Нет, не зря, — покачал головой отец. — Мы отвлекли на себя силы неприятеля, дав время князю Петру Ивановичу для возведения моста через Днепр. Это единственный путь к Смоленску, понимаешь? В Смоленске две армии, наконец, соединятся, и, вот, тогда уж мы сможем дать отпор французам, не рискуя быть разбитыми по одиночке!

— Разве Багратиону достанет дня для строительства моста?

Мужественное лицо отца озарила улыбка:

— Ты верно рассуждаешь, сын! Не достанет, конечно. Поэтому мы лишь отойдем на более безопасную позицию, в Дашковку, оставив здесь сильный арьергард. А Платов с казаками тем временем прогуляется вдоль Днепра к Могилеву, показав неприятелю наше присутствие. Даву будет думать, что мы сосредотачиваем силы для нового штурма и ждать этого штурма, понимаешь? А если он ждет штурма здесь, то не решится ослабить позиции и перебросить хотя бы часть войск. Мы сковываем его силы, не давая обрушить их на основные силы наши, на Багратиона. Как только мост будет готов, мы последуем за Петром Ивановичем, и большое удивление будет господам

французам узнать, что 2-я армия выскользнула из их клещей! Представляю себе ярость Даву!

Слова отца придали Николке бодрости.

— Мы еще разделаем этого Даву под орех! — воскликнул он, вспомнив любимое выражение Данилина. — И самого Наполеона!

— Так и будет без сомнения, — кивнул отец, обнимая мальчика за плечи. — А для тебя у меня хорошая новость. За отличие твое при нынешнем деле ты будешь произведен в подпоручики и зачислен в 5-й Егерский полк. Я посмотрел на тебя сегодня и убедился, что ты стоишь того, чтобы служить по-настоящему, несмотря на твои лета!

У Николки перехватило дыхание. Никакая награда не могла доставить ему больший восторг чем эта — разрешение драться на войне за Отечество наравне со старшими! И к тому похвала не чья-нибудь, но взыскательного героя-отца, боготворимого кумира, на которого так мечтал походить Николка! Он гордится им! И это выражается не только в словах, в производстве, но во взгляде, которым смотрит он на отличившегося сына! Хотелось плакать от переполнявших грудь чувств, броситься родителю на шею! Но все это было бы под стать мальчишке, ребенку, а не офицеру. И с трудом уняв взволнованно бьющееся сердце, 11-летний подпоручик преклонил колени перед отцом-генералом:

— Благодарю вас за доверие и клянусь оправдать его! Клянусь не уронить чести нашего имени!

— Я не сомневаюсь в этом, сын, — ответил генерал, подняв мальчика на ноги и прижав его к раненой груди. — А теперь ступай-ка спать. Я знаю, ты теперь переполнен впечатлениями, сон нейдет к тебе, и, кажется, что можно снова идти в бой. Но это чувство обманчиво и, если ты не отдохнешь теперь, то завтра тебя разморит в дороге.

— Хорошо, отец, — кивнул Николка. — Дайте мне еще лишь десять минут... Попрощаться...

Отец кивнул и удалился, дабы не мешать последнему прощанию сына с погибшим товарищем.

— Вот, видишь, Данилин, как все обернулось... Я и тебе клянусь, что воинской нашей чести не уроню. Что достоин буду... А ты это увидишь, правда?

Над Салтановкой сгустилась ночь. Не была ни тиха, ни спокойна она. Стоны раненых нарушали тишину, а на другом берегу жег костры неприятель, и его близкое присутствие тревожило душу ненавистью. Улегшись подле безмятежно спящего брата, Николка долго не мог уснуть. Тело ломило от усталости, но перед глазами все время вставали картины минувшего боя, и будоражила воображение мысль о скором производстве и начале настоящей службы.

— Саша, а, Саша? Ты спишь? Ты слышишь меня, Саша? — Николке безумно хотелось поговорить с кем-то, поделиться наплывом чувств, не дававших покоя, но брат был куда меньшим романтиком, чем он, а потому лишь досадливо пробурчал по-французски:

— Николая, прошу тебя, не мешай мне спать! Надо было все-таки оставить тебя с маман...

Николка хмыкнул. Будет же тебе удивление, Саша, когда узнаешь ты, что брат твой уже офицер! Скорее бы начать службу! Скорее бы к егерям! Глаз и рука у Николки верные, и он постарается быть не хуже прочих, старших летами, воинов... Как-то примут они его? Как сложится его служба в их рядах? Не призовет ли Бог и его «без пароля», как нынче Данилина? Что ж, пусть так. Он, Николка, знает теперь доподлинно, как нужно умирать и сам умеет умирать...

Судьба будет милостива к Николаю Раевскому-младшему. Ни пуля, ни штык не коснутся его ни под Смоленском, ни на Бородинском поле, ни в Заграничном походе, который завершит он в Лейб-гвардии Гусарском полку адъютантом генерала И.В. Васильчикова. В дальнейшем Николай доблестно усмирал воинственных горцев под началом Ермолова, сражался с персами и турками под водительством Паскевича, заслужил генеральский чин и орден Святого Георгия... Отличился Раевский и на поприще административно-дипломатическом. В 1837 году он был назначен начальником 1-го Отделения Черноморской прибрежной линии, где развернул огромную работу: устраивал десантные высадки против непокорных племен у разных пунктов побережья, возводил многочисленные укрепления, вел дипломатические сношения с горцами, стремясь замирить их посредством установления торговых отношений и развития цивилизации... Один из построенных Николаем Николаевичем фортов по воле Государя Николая Первого был назван фортом Раевского. Самое же знаменитое наследие генерала — заложенный им город Новороссийск. Раевский был близко дружен с такими разными и выдающимися личностями своей эпохи, как генерал-губернатор Новороссии граф М.С. Воронцов, адмирал М.П. Лазарев, поэт А.С. Пушкин, с которым Николай Николаевич подружился еще в лицейские годы последнего в Царском Селе, а затем путешествовал по Крыму и Кавказу... Умер Раевский на 42-м году жизни, оставив двоих сыновей, продолживших фамильную стезю и в свое время также вышедших в генералы.

Знаки судьбы (Маргарита Тучкова)

Траурные языки пламени жадно рвались к сочащемуся осенней изморозью небу, то ли от испуга, то ли от дыма разом лишившемуся всех своих звезд. Пламя рвалось прямо из изрытой, изувеченной земли, унося с собой жуткую жатву — тысячи и тысячи мертвых тел. Преисподняя вырвалась на поверхность земли и теперь яростно штурмовала небо...

Впрочем, вырвалась она давно, а ныне лишь справляла последнюю кошмарную тризну, торжествуя великой поживе.

— Участь твоя решится в Бородино! — как теперь слышала Маргарита голос из повергшего ее в трепет сна. Саша рассмеялся тогда суеверным страхам, достал свой походный атлас, и все утро искали они на нем загадочное Бородино. Тщетно!

— Полно, должно быть, и нет никакого Бородина! — беззаботно махнул рукой Саша, целуя немного успокоившуюся жену. У них только что родился долгожданный первенец, Коко, и ни о чем страшном думать не хотелось. Хотелось мечтать о том, как наконец-то заживут они тихой жизнью в своем имении... Вечерние чтения и музыкальные вечера в семейном кругу, цветы, хозяйство. И, конечно же, дети! Много-много детей, таких же прекрасных и благородных, как их отец.

Маргарита часто вспоминала свое детство. Кажется, все оно было соткано из перламутровых волокон счастья. Ее род дал жизнь великому Императору — Петру! Нарышкины... Эта фамилия и теперь заслуженно была среди самых высокопоставленных в Империи. В

семье подполковника Михаила Петровича Нарышкина росло девять детей — трое мальчиков и шестеро девочек. Родители равным образом пеклись об их образовании. Если к сыновьям ходили учителя, преподававшие логику, ботанику, географию, анатомию и иные «мужские» предметы, то и дочерям было дозволено присутствовать на занятиях, приобщаясь к наукам. Особенное усердие проявляла в этом живая и по-мальчишески сильная Марго. Она даже посещала анатомический театр и присутствовала при медицинских опытах.

Природа не наградила девушку особенной красотой, хотя черты неправильного лица ее отличались оригинальностью, живостью и миловидностью. Рыжеватая, с огромными зелеными глазами, она обладала высокой, стройной фигурой и изумительным голосом. «Сирена», — так иногда в шутку называли ее.

«Сирена» прекрасно танцевала и пела, играла на фортепиано сложнейшие партии Моцарта и Бетховена, хорошо рисовала пером и кистью, знала три иностранных языка... При этом она ничуть не уступала братьям в мальчишеских играх и с удовольствием проводила время в компании деревенской ребятни — в походах по ягоду и грибы, купаниях и даже рыбной ловле. Выносливая и ловкая, она превосходно плавала и легко держалась в седле...

— Марго, Марго, ты русалка! — кричит, барахтаясь сзади, брат Миша, не угнавшийся за сестрой в заплыве по пруду. А из дома уже спешит взволнованная гувернантка:

— Барышня! Да разве это можно?! Вас ждут в гостиной! А вы..!

— Сегодня такой день жаркий... — потупив глаза, виноватится Марго, торопливо вытирая мокрые волосы.

— Вам уже пора повзрослеть! — сердито бросает гувернантка, уводя свою воспитанницу в дом.

16 лет... Разве, действительно, так обязательно было взрослеть в те нежные лета? Родители решили, что обязательно. К ним посватался генеральский сын, офицер лейб-гвардии Павел Михайлович Ласунский. Это его отец, капитан-поручик Измайловского полка вместе со своим другом Рославлевым провозгласил некогда Императрицей матушку Екатерину! Хотя в царствование Императора Павла фавориты прежней Государыни пришлись не ко двору, но блеск имени Ласунского еще не померк. К тому же генеральша Ласунская была доброй приятельницей Нарышкиных. Лучшей партии для дочери искать не стали. Да и сама девушка сперва ничего не имела против своего суженного. Он был хорош собой, обладал светскими манерами... Да и вообще, много ли нужно, чтобы произвести приятное впечатление на романтическую барышню, начитанную французскими романами и стихами и мечтающую о чувствах прекрасных и высоких?

Правда, оказалось, что чувства жениху были не нужны вовсе. Картежнику, гуляке и волоките было нужно приданое — на покрытие долгов, которые уже не выдерживал достаток Ласунских. Два года прошли, как в чад. Муж не скрывал своих привязанностей и не брезговал воровать драгоценности прямо из шкатулки жены, когда того требовал карточный долг. Однажды, застав его за этим беспардонным занятием, Маргарита в первый и в последний раз в жизни получила пощечину.

На счастье, Нарышкины были не теми родителями, чтобы терпеть издевательства над любимой дочерью. Они добились развода с беспутным мужем, репутация которого уже стала хорошо известна в обществе, с правом для дочери считаться впредь вновь девицей Нарышкиной, будто бы Ласунского в ее жизни не было вовсе.

Однако, он был. И были два года жизни... И был молодой полковник — частый гость дома Ласунских. Таких нерукотворных лиц нет более на земле. А, может быть, и не бывало никогда. Его сравнивали с Аполлоном, но это не то, не то... Статью, силой, грацией — да! Но лицо! Но глаза! Весь Божий мир — в глазах этих! Его участие, внимание, преданность — как много они значили для Маргариты в те два года бесконечных унижений...

Когда развод был получен, Александр поспешил сделать ей предложение. Двадцатидвухлетний полковник! Четвертый сын древнего рода, в коем все мужчины традиционно посвящали себя воинской стезе, в другое время он стал бы для Нарышкиных достойным претендентом на руку их дочери. Но только что обжегшись на одном военном, родители испугались бросать с таким трудом вызволенную из домашнего ада Маргариту из огня в полымя. Ну, как и этот не по летам стремящийся в генералы красавец окажется мотом и волокитой? Совсем пропадай тогда любезной дочери!

Родительский отказ поразил Маргариту, как громом. Удар был еще тяжелее от того, что начиналась новая война, и Александр должен был отбыть в действующую армию. Молодая женщина слегла в нервной горячке. Вокруг нее суетились мать, сестры, горничные. Она то плакала, то бредила, то впадала в забытие. Однажды в момент такого забытия в комнату сестры с самым таинственным видом проскользнул Миша. Когда Маргарита с трудом открыла глаза, он поднес палец к губам и протянул ей записку:

«Кто владеет моим сердцем и кто волнует его? Прекрасная Маргарита!»

Эта строфа повторялась в письме рефреном. Кажется, и теперь слышится она... Сквозь стон ветра, сквозь треск пламени повторяет ее родной голос!

Маргарита с легкостью вскарабкалась на очередной курган. Десятки тел, сваленных друг на друга... Перевернула одного, другого, силясь различить в изуродованных, уже тлеющих, страшно оскаленных лицах — единственное дорогое...

Позади плелся измученный старик-священник отец Иосаф. Тяжело поднявшись вслед за Маргаритой, он окропил павших святой водой, затянул заупокойную надтреснутым, сорванным голосом. Ветер широко раздувал полы наброшенной поверх рясы меховой душегреи...

— Со святыми упокой!

— Супостаты есть?!

Приблизилось из темноты несколько солдат инвалидной команды с носилками, закрестились следом за священником, надсадно кашляя от дыма и при том норовя забить носы табаком, или же раскурить трубки, чтобы не чувствовать отвратительного смрада разлагающихся тел.

После Бородинского сражения убирать его жуткий урожай было некому. Неделя за неделей лежали вперемешку тела, растаскиваемые по окрестностям лишь дикими зверями и стервятниками — до той поры, пока Наполеон не покинул сожженную Москву. После этого русское правительство, боясь эпидемии, велело сжечь все останки. Но не таков русский человек, чтобы предавать огню честные кости Христолюбивого воинства. Солдаты и крестьяне бережно отделяли своих павших и предавали их земле в братской могиле. Добычей же огня становились лишь останки французов.

— Супостаты есть?!

— Где ж их нет... — тяжело вздохнул священник, окидывая скорбным взглядом человеческое месиво.

Маргарита вздрогнула от звука солдатских голосов, болезненно подернулась, когда взялись они за свою

горькую работу, и снова двинулась вперед, склоняясь к павшим и все ища, ища своего...

— Пропадет барынька! — вздохнул старый солдат, глядя ей вслед.

На то, чтобы доказать Нарышкиным серьезность своих намерений, Александру Тучкову 4-му понадобилось шесть долгих лет. Шесть лет молодой красавец, доблестный и признанный, несмотря на юность, полководец, пользовавшийся благоволением самого Государя, преданно ухаживал за своей избранницей, ожидая заветного часа.

Наконец, этот час настал! Более прекрасного дня не было в жизни Маргариты. Церковь на Пречистенке была заполнена народом. И, казалось, все и все ликовало счастьем новобрачных. Да и могло ли быть иначе? В обеих столицах и за их пределами уже только ленивый не знал о том, как красавец Тучков уже седьмой год добивается своей избранницы, и как сама избранница живет ожиданием того часа, когда Господь соединит их.

В тот день в лучах собственного счастья казавшаяся почти прекрасной невеста получила странный подарок. Когда она выходила из церкви, какой-то юродивый бросился ей в ноги и протянул ей свою суковатую палку:

— Мать Мария, возьми посох!

Маргарита машинально приняла «дар» и вместе с ним села в карету. В тот момент ей было не до юродивого, не до странных слов его и этой натертой его заскорузлыми руками палки. Она видела тогда только своего Сашу, его сияющие глаза и нежную улыбку. Сон золотой! Неужели был он взаправду? Или лишь пригрезилось это неизмеримое счастье? А явью оказались совсем иные сны... Страшные... Темные... Зачем Бог посылал ей их? Ведь не всякому смертному дается видеть то, что затем исполняется. И если это

дано увидеть, то что это? Неизбежность или предупреждение? Если неизбежность, то какой смысл в таких видениях? А если предупреждение?.. Значит, можно было вовремя понять и отворотить беду? А она не поняла, не отвратила, не спасла...

— Барыня, нельзя вам дальше-то идти, — робко подал голос отец Иосаф. — Вы истомились совсем, того гляди в бесчувствии упадете.

— Нет, — встряхнула головой Маргарита. — Надо идти... Иначе всех закопают или сожгут, и тогда я уже никогда не смогу похоронить моего Сашу. А усталость — это ничего... Это нестрашно. В прежние годы мне приводилось преодолевать куда большие расстояния.

Это были первые счастливые годы их брака. Саша уже тогда подал прошение об отставке, желая посвятить себя тихой семейной жизни, но Государь не принял его. В Европе бушевал Наполеон, и России нужны были ее отважные офицеры — в строю, а не в тихом семейном уюте.

Когда очередная походная труба позвала Александра в действующую армию, начинавшую кампанию против Бонапарта в Пруссии, Маргарита пришла в ужас. Она не могла расстаться с любимым мужем, едва-едва обретя его! И раз нельзя было сделать так, чтобы он остался с нею у домашнего очага, оставалось одно — добиться разрешения сопровождать ему самой.

«Государь Всемилостивейший! Повелением любящего сердца своего осмеливаюсь припасть с мольбою к стопам Вашего Императорского Величества с просьбой о благодеянии. Умоляю позволить мне сопровождать мужа моего, генерал-майора Тучкова Александра Алексеевича в шведском походе. Любовь к Тучкову составляет мой личный мир и выражается жаждой дела — вместе служить Престолу и Отечеству.

Прошу Вашего разрешения выехать с мужем в действующую армию; не лелею никаких выгод для обеспечения собственной жизни, но имею надежду покорить себе счастье разделить с мужем и марсовы испытания судьбы. Моя натура крепка, а идея и прожигающее душу чувство справедливы, они освещены внушениями христианской веры», — с таким письмом обратилась Маргарита к Императору Александру Первому. Государь был поражен беспримерной силой любви молодой женщины и повелел князю Багратиону, в армию которого направлялся со своим Ревельским полком Тучков, не чинить влюбленным супругам никаких препятствий. Отныне рядом с молодым полковником неотступно следовал тонкий гибкий денщик с белоснежным лицом и удивительными зелеными глазами, которые не мог скрыть козырек низко надвинутой фуражки.

Полковая походная жизнь не предусматривала присутствия в ней женщин, и дамский гардероб был всего менее уместен на длинных переходах и на бивуаках. Пришлось Маргарите облачиться в мужское платье. Оно, однако же, ничуть не тяготило ее. Недаром ведь так ловка и проворна была она в детстве во всех мальчишеских играх! И теперь, в мужском обличии, верхом на легком коне, рядом с ненаглядным супругом молодая женщина чувствовала себя необычайно свободно и уверенно.

Одно в известной степени тяготило Маргариту. Затаенная насмешка, которую читала она в глазах солдат и иных офицеров. Услышала раз грубоватое:

— Нет, чтобы девок подлых в палатки тащили, это мы видывали, дело статнее, но чтобы собственную бабу в поход тащить — учудил полковник наш!

— Видать, приворожила она его!

— Полно молоть!

— А что? У нас в деревне тоже, вот, была одна глазастая! Полдеревни приворожила — от тебе крест! Ты глаза-то, глаза-то погляди, какие! Лесовуха как есть!

И смешно, и обидно было Маргарите слышать колкости. Но и где же ждать, чтобы иначе отнеслись простые мужики к этакой невидали, как женщина в войске? Хотелось, однако, доказать и им, и всем, что она не просто ряженая полковничья жена, «потащившаяся» за ним в армию. Что и она — часть этой армии. Что и она способна приносить пользу.

Такой случай представился ей с разгаром боев. Лазарет стал распухать от все прибывавших раненых, и Маргарита самоотверженно взялась помогать им. Тут-то пригодились и уроки анатомии, кою постигала она так прилежно, и собственная выносливость, и... чисто женская нежность, которая так нужна бывает страждущим, но которой в аду войны лишены они. Видя, как молодая полковница, вчерашняя избалованная аристократка ходит за ранеными, не гнушаясь черной работы, язв их и брани, как выхаживает их, подобно заботливой сестре, приутихли прежние острословы. Уже совсем иные взгляды встречала теперь на себе Маргарита. Уважительные, восхищенные, благодарные. «Ангел-хранитель!» — так стали называть ее солдаты...

Александр гордился женой, хотя не мог не переживать, что та постоянно подвергает себя риску. А она не чувствовала страха за себя, сопровождая его повсюду. Ей казалось, что пока она рядом, ничто не может случиться с ее Сашей, будто бы она, как ангел за плечом его, отваживает беду... Ядра... Картечь... Может быть, так и было? Может быть, и теперь, останься она рядом, и ничего бы не случилось?

Гейльсберг, ужас Фридланда — все поделила с мужем Маргарита.

Фридланд! Тогда казалось, что это земной ад! Ломила и крушила все французская сила! И армия Багратиона, прикрывавшая отход основных русских войск, несла наиболее тяжелые потери. Врезалось в память, как в безнадежных попытках остановить врага пал командир Полтавского полка генерал Мазовский. Раненный в руку и ногу и уже не имевший возможности сидеть на коне, он велел нести себя двум гренадерам перед полком и так в последний раз повел его в штыки.

— Друзья, неприятель усиливается, умрем или победим!

И гренадеры бросились вперед! Но картечная пуля в тот же миг поразила Мазовского насмерть. Он все же успел выдохнуть своим молодцам-солдатам последнее напутствие:

— Друзья, не робейте!

Никто не сробел. От солдата до командующего. Генерал Багратион самолично, обнажив шпагу, вел в бой русские рати, но и он — Бог Рати, как величали его шутливо-уважительно вслед за стариком Державиным, — не мог совершить невозможного.

А, может быть, совершил? Как и все войско русское в тот день? Да, битва при Фридланде была проиграна, но русская армия избежала разгрома. И это уже было чудо. В той битве русские потеряли 12 тысяч человек... Но Александр не получил в этом пекле ни единой царапины. Как и его «денщик»...

После неудачной кампании в Пруссии, завершившейся для России и вынужденным Тильзитским миром с нахальным корсиканцем, русская внешняя политика претерпела серьезные изменения. Отныне у России и ее самодержавного монарха и Франции с ее великим самозванцем враги стали общими. И первый среди них — Англия. Стремясь поддержать собственную безопасность, островная

Империя нанесла удар по испокон веков дружественной России Дании, захватив ее флот. Само собой, и Россия, и Франция потребовали вернуть флот и компенсацию своему союзнику. Поддержать это требование закрытием Балтийского моря для западных держав, предписанного еще договорами 1780 и 1800 годов, русский Император призвал короля Швеции, но Густав Четвертый выполнить договор отказался, не без резона указав, что договор не может исполняться, пока в гаванях Балтики стоят французские суда.

Шведский король принял сторону Англии и уже готовился вместе с ней напасть на Данию с целью отвоевать у нее Норвегию. Настала пора обезопасить русские пределы от не в меру воинственного соседа, чреде войн с которым, казалось, не будет конца. Еще до официального объявления войны русская армия выступила в новый поход — в Финляндию, где и должно было разрешиться русско-шведскому спору.

Бодрым маршем отправился на войну в составе корпуса генерала Барклая-де-Толли и Ревельский пехотный полк под командой своего любимого командира полковника Тучкова, вновь сопровождаемого своим зеленоглазым «денщиком». После Фридланда, после трудов Маргариты в лазарете уже никто не оспаривал ее право находиться в войске. Не право любящей женщины, но гораздо большее право — право полноправной части этого войска, сражательницы его, ангел-хранительницы...

В мае 1809 года русские войска форсировали Ботнический пролив, еще покрытый льдами. Беспримерен был тот переход! Идти приходилось по пояс в снегу, но Маргарита выдержала и это наряду с простыми солдатами.

Ревельский полк показал себя в той кампании образцово, плечи Александра украсили генеральские эполеты, а грудь Георгиевский крест. Русские войска

сломили сопротивление ландскнехтов Густава Четвертого и финских партизан. Отныне Финляндия сделалась частью Российской Империи, а шведские гавани затворились для англичан. Король же Густав был низложен в результате переворота, приведшего к власти его дядю.

Удивительно ощущалась эта виктория русского оружия! И от того, сколь важна она была для русского сердца после неудач в Пруссии! И от того, что в ней была и ее, Маргариты, толика участия! В уже привычном платье денщика мчалась она рядом с мужем-генералом, упоенная счастьем и мечтами о будущем! Ревельский полк отправлялся на зимние квартиры — в Минскую губернию. Изрядное захолустье, но не все ли равно? После палаток, ночевок на земле под открытым небом, форсирования ледяных рек и многоверстных переходов — что могло устроить генеральшу Тучкову? Только одно — расставание...

Но о нем не думалось тогда. Очередная война завершилась. Они возвращались с нее счастливыми и невредимыми. И Маргарита, хотя и поднаторевшая уже в походной жизни, мечтала лишь о мире. О том, что войны, наконец, утихнут, и ее Саша выйдет в отставку, и их бурная молодость (многие ли из женщин извели столько приключений на своем веку?) сменится степенной и тихой семейной жизнью.

Но расставание уже караулило счастье за дверью. Его не случилось бы, нет, если бы не долгожданное Божие благословение — Николенька, Коко. Он родился год назад, таким хрупким вопреки родительской крепости, и нуждался в хороших условиях, в особой заботе...

Самый жуткий сон — родительский дом, выходит отец с младенцем на руках и, вручая его Маргарите, произносит:

— «Александра больше нет. Вот все, что осталось тебе от мужа. Береги себя ради своего ребенка».

И жуткому этому видению суждено было сбыться вживе, до мелких деталей...

Незадолго до вторжения Наполеона Александр вновь подал в отставку. Но Государь и в этот раз отказал. России нужны были ее воины... Они действительно были ей нужны. И в скором времени — как никогда еще со времен татарского нашествия...

С началом войны Александр получил приказ отправляться в Смоленск, где кипели самые ожесточенные бои. Маргарита отправилась провожать мужа. Это были последние часы, проведенные вместе.

«Участь твоя решится в Бородино!»

— Нет никакого Бородина, не тревожься! Забудь свои страхи и береги Коко!

С какой бы радостью она вновь вскочила на коня и, облачившись в денщицкий мундир, мчалась за ним сквозь дым! Ангелом-хранителем за правым плечом... Но нужно было возвращаться в Москву, к родителям, увозить сына в безопасное место. В те жаркие летние дни Москва еще виделась таковым... Правда к тому моменту, как нескончаемый и медленно продвигавшийся поток беженцев достиг Первопрестольной, враг уже следовал по их пятам.

Нарышкины уехали в свое костромское имение, а Маргарита осталась в Кинешме. Здесь исправно работала почта, а потерять последнюю связующую нить с мужем было слишком страшно.

Но эта нить все же оборвалась. Письма приходят перестали... И все исполнилось, как в том ночном кошмаре. Маргарита возвратилась домой из церкви, а там ее ждал отец с малюткой Коко на руках и теми самыми словами:

— Александра больше нет. Вот все, что осталось тебе от мужа. Береги себя ради своего ребенка!

Но разве могла она беречь себя, зная, что дорогой прах расхищают дикие звери и стервятники? Что нет над ним креста, у которого можно будет предаться своему горю? Едва оправившись от вызванной горем болезни, Маргарита тайком покинула родительский дом и устремилась в Бородино. Теперь она слишком хорошо знала, что оно есть. И весь мир знал об этом...

26 августа генерал Тучков 4-й вместе со своими солдатами оборонял Семеновские (Багратионовские) флеши. Эти флеши и батарея Раевского были самыми убийственными позициями Бородинского сражения. Пройдя две кампании бок о бок с мужем, Маргарита видела много ужасов, но таких гор человеческих тел, тысяч убитых она не могла себе даже вообразить...

Генерал Коновницын, родственник семьи Нарышкиных и близкий друг Тучковых, нарисовал план, на котором отметил место, где принял свой последний бой Александр. Перекрывая своим звучным голосом рев орудий, он поднял в атаку своих верных ревельцев, но те оробели, замешкались перед шквалом огня.

— Стоите?! — вскричал генерал гневно. — Ну, так я один пойду! — с этими словами он схватил знамя и, высоко подняв его над собой, бросился вперед.

В тот же миг залп картечи разбил ему грудь.

Солдаты все же пошли в атаку, вдохновленные подвигом павшего командира, и отбросили неприятеля прочь от своих позиций. Уцелел ли кто-нибудь из этих храбрых солдат, неизменно верных своему командиру, тех самых солдат, для которых была «Ангелом-Хранителем» генеральша-«денщик»?.. После роковой схватки на Багратионовы флеши обрушилось такое количество ядер и бомб, что земля и все, чтобы было на ней, превратилось в сплошное, много раз перепаханное

и взрытое месиво, в котором не уцелело и мертвой плоти...

— Барыня, барыня, очнитесь! Говорил же я вам!

Сквозь туман доносится тревожный надтреснутый старческий голос.

Сквозь смрад дыма и разлагающихся тел продирается ядреный дух нюхательных солей...

Обдувает лицо холодный ветер... Но не его касания чувствуют запавшие щеки вдовы, а последние прикосновения тонких пальцев и нежных губ любимого.

— Кто владеет моим сердцем и кто волнует его? Прекрасная Маргарита!

Могла ли она спасти его? Могла ли понять свои сны? А если нет, то к чему посылал ей их Бог? Наверное, она слишком жадно пила дарованное ей счастье. Вот, и достало его лишь на шесть лет...

Сознание неумолимо возвращалось, и помутневший взгляд различил непритворно сочувственное лицо отца Иосафа, старавшегося привести ее в чувство. Девять верст позади... Она обошла все... И не нашла Саши.

— Давайте, барыня, я солдатиков покличу, на носилки вас положим... — хлопотал отец Иосаф.

— Не нужно, — качнула головой Маргарита, с трудом поднимаясь. — Я могу идти сама...

Некоторое время она стояла безмолвно, словно окаменев. Издалека доносились голоса солдат и мужиков, продолжавших скорбное хороново дело. Господи, сколько же их! И ни у кого из них не будет ни имен, ни могильных крестов! Ей, Маргарите, начертано место, где погиб ее муж. Другие лишены даже этого... Жены... Дети... Матери... Мать Александра, потерявшая двоих сыновей и страшась потерять третьего, попавшего в плен, ослепла от горя... Скольким убитым горем будет некуда прийти и преклонить скорбную голову?

— Я поставлю здесь храм, — сорвалось с запекшихся, потрескавшихся губ. — Продам все, что имею, и поставлю храм. В память о моем Саше и обо всех здесь погибших. И тогда... нам всем будет, где оплакивать их... Здесь они всегда будут с нами...

Свое решение генеральша Маргарита Тучкова исполнила. Ее храм во имя Спаса Нерукотворного, икону которого завещал ей муж, отправляясь в свой последний поход, станет первым памятником на Бородинском поле. Сама Маргарита подолгу жила здесь в маленькой деревянной сторожке и всякий год привозила сюда сына.

Пятнадцать лет спустя судьба пошлет ей новый пугающий знак. Она потеряет перстень — подарок Александра — на котором переплетались гербы их родов. Вскоре после этого Коко, росший копией отца, но с детства отличавшийся слабым здоровьем, тяжело занемог и скончался...

Потеряв последнее, что держало ее в миру, Маргарита приняла постриг и посвятила себя устройению Бородинской обители и помощи страждущим. С разных концов России потянулись к ней такие же потерявшие своих дорогих вдовы, и из них стала складываться община будущего Спасо-Бородинского монастыря. Годы спустя, Маргарита станет его первой игуменьей с именем Мария. И уже не юрод и не суковатую палку, но настоящий посох вложит ей митрополит Московский Филарет, святитель Земли Русской.

Мать Мария взяла свой посох. Сорок лет возводила она обитель в память всех героев Бородина и оплакивала мужа и сына, боль о которых не покидала ее до последнего часа.

В начале 30-х годов XX века Спасо-Бородинский монастырь был закрыт, фамильный склеп Раевских, где покоился прах Маргариты Тучковой и ее сына, разорен. Многие годы туда сбрасывали нечистоты. Склеп был восстановлен в 60-е, к 150-летию Бородинской битвы.

Заговор (Николай Михайлович Карамзин)

На квартире братьев Муравьевых-Апостолов в казармах Семеновского полка было как всегда шумно. В этот вечер здесь, помимо хозяев, собрались их родственники, Никита и Александр Муравьевы, поручик князь Трубецкой, Николай Тургенев, Михаил Новиков, племянник осужденного при Екатерине за вольнодумство издателя, поручик Пестель, штабс-капитан Глинка, ротмистр Лунин и еще несколько совсем юных офицеров, среди которых был и Миша Леницын. Он лишь недавно, благодаря поручительству Никиты Муравьева, сделался членом тайного общества, названного «Союзом спасения», и пылкая душа юноши заходила восторгом от того, что в России сыскалось столько благородных и отважных сердец, желающих переменить все к лучшему, покончить с лихоимством, утвердить справедливость...

— Так не может продолжаться дольше! — говорил Сергей Муравьев-Апостол, чье полное лицо с по-женски мелкими чертами покраснело от негодования. — После победы над Бонапартом, когда весь народ находился на подъеме лучших душевных сил своих, исполнен был веры в справедливость, в Царя, этот Царь растоптал этот подъем и веру! Народ так и остался в рабстве, а вся Россия сделалась вотчиной бессовестного временщика, который распоряжается здесь по своему произволу!

— А как прекрасно все начиналось, — усмехнулся Тургенев. — Что там 12-й год! 14-й! Вспомните его

восшествие на престол! С каким ликованием встречали его, как многого ждали!

— А не нужно было ждать! Мы сами, сами остаемся рабами! — воскликнул подпоручик Якушкин. — Вечно ждем чего-то от царей, от нового царствования... От Александра ждали либеральных реформ и конституции!

— Он подавал надежды...

— И каков итог? Обещал конституцию, а дал аракчеевщину! Лицемер!

— Этот Царь не любит России и русского народа, — проронил Трубецкой. — В этом главная беда! И его отношение к Польше, его планы в отношении Польши — лучшее тому свидетельство!

— Да, Александр заметно благоволит к полякам, — заметил Муравьев-Апостол. — Они для него куда роднее, чем русские... Видимо, в его понимании поляки — народ образованный, европейский. Не то, что русские варвары!

— А почему бы ему не сделать русских образованными? — вспыхнул Фонвизин. — Вместо того чтобы мордовать их в солдатчине и аракчеевских поселениях? Это же каторга! Только безо всякой вины!

— В итоге конституцию получила Польша, а мы — кнут... — покачал головой Тургенев.

— Польша получит не только конституцию, господа. Я слышал, что Польша будет восстановлена в своих исторических границах, с возвращением ей русских земель, а самая столица наша вскоре будет перенесена в Варшаву, — объявил Трубецкой ко всеобщему возмущению.

— Не может быть! — воскликнуло несколько голосов.

— До какой же степени нужно ненавидеть Россию и презирать ее! — сокрушенно вздохнул Муравьев-Апостол.

— Но верны ли ваши сведения, князь? — спросил, дрожа, как в лихорадке, Якушкин, лицо которого покрылась испариной. — Надежны ли ваши источники?

— Вполне надежны, увы.

— Тогда... тогда... — Якушкин нервно заходил по комнате. — Россия не может быть более несчастной, чем под скипетром этого Царя! Согласны ли вы с этим, господа?

Присутствующие единодушно согласились.

— В таком случае обществу здесь больше нечего делать. Отныне каждому из нас надлежит действовать по собственной совести и собственному убеждению!

На несколько мгновений повисло молчание. Леницыну показалось, что он слышит стук собственного сердца. Но, вот, поднялся Сергей Муравьев-Апостол и, обведя взглядом собравшихся, произнес:

— Если сведения князя о польских делах верны, то наш долг прекратить это царствование для предотвращения бедствий, грозящих России. Я предлагаю бросить жребий, дабы судьба решила, кому из нас надлежит избавить ее от тирана.

— Вы опоздали! — воскликнул Якушкин. — Я уже безо всякого жребия решил принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести! Я покончу с тираном, а затем и с собой!

— Пойдите, пойдите, господа! — подал голос Тургенев. — Давайте не будем пороть горячку! Сообщенное князем может оказаться пустым слухом! Сперва должно проверить эти сведения — они слишком серьезны!

— Пока вы будете их проверять, столицей уже может стать Варшава! — горячился Якушкин.

— Сергей Петрович, что скажете вы? — обратился Тургенев к виновнику разбушевавшихся страстей.

Трубецкой, по-видимому, сам смутился той крайней реакцией, которую вызвали его слова. Идея

цареубийства отнюдь не вдохновляла его. Но и лицо хотелось сохранить.

— Мои источники достаточно надежны, но никто не может быть вполне уверен в том, что происходит в голове и сердце сфинкса... Поэтому я согласен с Тургеневым, столь серьезные решения нельзя принимать в одночасье, следуя слухам. Дождемся подтверждения им.

Якушкин и Муравьев-Апостол были явно разочарованы, эти горячие головы готовы были уже теперь освободить Россию от тирана. Остальные, однако, вздохнули с облегчением, согласившись, что нельзя действовать скоропалительно. Среди последних был и Миша Леницын, которому идея убийства Царя показалась прямо-таки ужасной. Разве можно начинать благое и справедливое дело с подлого убийства? Пусть даже тирана... Хотя в представлении Миши слово «тиран» менее всего вязалось с образом усталого и печального человека, некогда весьма привлекательной, но с годами немало истрепавшейся наружности. Сфинкс... Да, пожалуй, Трубецкой употребил точное слово. Но неужели же сфинкс может быть столь вероломен, чтобы оскорбить всю Россию переносом столицы в Польшу? Не верилось в такое безмерное предательство! Пусть Царь не любит России, но не безумен же он! Хотя иные поговаривали и о слабоумии Государя... И чему же тут верить? Одно очевидно, что так не может продолжаться долго, слишком много несправедливости, унижения и бесправия вокруг.

— Нигде так не попорно достоинство человеческое, как в России!

— Нужно положить предел самовластью, ограничив его законом!

— Воскресить традиции вече!

— Франция дала нам пример патриотической борьбы!

Долго еще продолжались кипящие дискуссии, но, вот, наконец, стали расходиться задержавшиеся допоздна заговорщики. Леницын покидал квартиру Апостолов вместе с Муравьевыми, с которыми был дружен с первых дней службы. Немного стесняясь своего любопытства, он все-таки спросил:

— А верно ли, Никита, что в вашем доме теперь Карамзин живет?

— Да, — кивнул Муравьев. — Он дружен с нашей мамашей. Приехал по делам издания своей «Истории»...

— Великий труд! — выдохнул Леницын, не удержав своего восхищения перед историографом, имя которого в семье его неизменно произносилось с благоговением, на книгах которого возрастал он сам.

Братья Муравьевы посмотрели на приятеля насмешливо.

— Великий своей глупостью! — презрительно бросил Никита. — Старик слишком предан кнуту. Подумать только! Написать столько томов и для чего? Для пустого факта? Даже величественного предания о наших древних предках — славянах не оставлено нам! Ничего решительно возвеличивающего душу, зовущего к праведной борьбе за честь и славу свою! Одно лишь пошлое раболепство...

— Уж больно ты крут, братец, — рассмеялся Саша, похлопав брата по плечу. — Хорошо, что маман не слышит! Но в целом, да. Старик посвятил свой труд Царю, указав, что история принадлежит ему, то есть даже история собственная народу не оставлена! И этим сказано все.

Жаль было Мише слышать столь пренебрежительные отклики о любимом писателе, но спорить он не решился — авторитет Карамзина был поколеблен и в его сердце, и всякое оскорбление ему Леницын чувствовал, как укор себе — за недостойность своего кумира, ибо всякий создающий себе кумира

становится ответчиком за него перед другими. Отвечать за Карамзина юный прапорщик не мог, а потому старался избегать разговоров о нем, не травить душу. А в нынешний вечер и вовсе совершенный разлад царил в ней после собрания, и все больше снедали колебания, что истинно, а что ложно. А ведь когда-то было все так изумительно просто!..

Миша Леницын вырос в Москве. Семья его была патриархальна по своему укладу, но в то же время книгочейна. Особливую страсть к книге питала матушка, и именно от нее унаследовал Миша любовь к сочинениям Карамзина. «Бедная Лиза», «Марфа Посадница», любимый «Остров Борнгольм» и многое другое — на этих книгах рос Леницын и мечтал сам сделаться писателем, даже набрасывал кое-что в подражание кумиру. Этого занятия он не оставил и распрощавшись с детством и возлюбленной столицей. И, вот, теперь Мише казалось, что он написал нечто стоящее. То была повесть, которую он много раз правил и переписывал по ночам и скрывал даже от самых близких друзей. Теперь же, узнав, что в доме Муравьевых поселился Карамзин, сердце юноши загорелось. Именно его отзыва жаждал он более всего! И виделось воображению, как патриарх отечественной словесности, прочтя его сочинение, со слезами выражает свою радость явлению нового крупного таланта и благословляет его! Сам же Миша преклоняет перед ним колени, признаваясь, что всему лучшему, что есть в нем, обязан он сочинениям Карамзина... Вот, только тот ли это Карамзин, каким воображал его себе Леницын?

В иную пору он просто попросил бы Никиту и Сашу представить его знаменитому гостю. Но теперь и заикнуться о том неловко — в Союзе на Карамзина эпиграммы сочиняют, считая его ретроградом. Странно, однако... Может ли быть, чтобы такой человек, как

Николай Михайлович, отринув идеалы человеколюбия, гуманизма, просвещения и сделался тем, чем назвал его Саша, «певцом кнута»? И этот вопрос также требовал встречи с Карамзиным. Кто же еще может помочь разрешить теснящие сердце сомнения, как не он? Отец и мать Леницына уже умерли, и от того ждать отеческого наставления было юноше не от кого.

Не имея возможности обратиться с просьбою к друзьям, оставалось одно: самым простым и беззастенчивым образом явиться с визитом, с покорнейшей просьбой принять... А там — лишь бы язык к гортани не присох, лишь бы в грязь лицом не ударить!..

— Вы знаете, милостивые государи, что язык и словесность суть не только способы, но и главные способы народного просвещения. Что богатство языка есть богатство мыслей. Что он служит первым училищем для юной души, незаметно, но тем сильнее впечатлевающая в ней понятия, на коих основываются самые глубокомысленные науки. Что сии науки занимают только особенный, весьма немногочисленный класс людей, а словесность бывает достоянием всякого кто имеет душу. Что успехи наук свидетельствуют вообще о превосходстве разума человеческого, успехи же языка и словесности свидетельствуют о превосходстве народа, являя степень его образования, ум и чувствительность к изящному...

Члены Академии слушали приветственную речь принимаемого в свои ряды собрата с заметным удовольствием. Даже хмурое лицо адмирала Шишкова светилось радостью! А сколько сталкивали их друг с другом! Целые партии выдумали — шишковисты против карамзинистов... А Николай Михайлович Александра Семеновича всегда уважал, как человека искреннего и влюбленного в родной язык. Да, бывало, подвергал он

нападкам Карамзина за использование, как казалось ему, ненужных иностранных оборотов, но ведь это не от злой души, а от ревности по равно дорогому им обоим родному языку. Карамзин полагал допустимым употребление в русской речи недостающих в ней иностранных слов, адаптированных к русской грамматике неологизмов, приближения языка литературного к разговорному, более легкому и доступному. Шишков же был «старовером» и желал удержать язык в ветхих канонах, «обновляя» его лишь за счет придумываемых русских заменителей иностранных слов... Заменители бывали грубы и пошлы, но — зато свои!

Однажды Дмитриев²⁶ буквально заставил Карамзина написать ответ на выпады Шишкова. Николай Михайлович написал и привез рукопись другу. Тот всецело одобрил написанное и рассыпался в похвалах...

— Сделал ли я то, чего ты желал, Иван Иванович? — осведомился Николай Михайлович.

— О да! В высшей степени!

— Могу ли я теперь сделать то, что желаю я?

— Все, что захочешь!

В тот же миг Карамзин бросил рукопись в камин. Он не хотел умножать ссор. И, если не мог запретить ссориться другим, то уж во всяком случае сам считал должным уклоняться от этого занятия. Добряк Державин некогда искренне переживал, приглашая Карамзина на литературное собрание, не оскорбится ли он, что помимо него, приглашен и Шишков. Николай Михайлович не обиделся. Александр Семенович также...

И, вот, теперь возглавляемая Шишковым Российская Академия принимала Карамзина в свои члены. Да и другие «карамзинисты» уже удостоились этой чести — Батюшков, Жуковский, Гдедич... А юного Пушкина

предложил принять в члены Академии сам Шишков! Вот, что значит истинная любовь к живому слову, о нее разбиваются все мертвые идейные построения...

— Есть звуки сердца русского, есть игра ума русского в произведениях нашей словесности, которая еще более отличится ими в своих дальнейших успехах. Будучи источником душевных удовольствий для человека, словесность возвышает и нравственное достоинство государств. И жизнь наша, и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства, все бессмертно в их успехах! Возвеличенная, утвержденная победами, да сияет Россия всеми блестящими дарами ума бессмертного, да умножает богатства наук и словесности; да слава России будет славою человечества!

Последние слова потонули в громе оваций. Из выцветших глаз Шишкова катились слезы. Это был настоящий триумф! И Карамзин внутренне усмехнулся своим недавним сомнениям, не слишком ли резкой для «шишковистов» вышла его речь. Он даже думал смягчить ее, опасаясь ненужных ссор. Но оставил как есть... В сущности, так он поступал всегда, даже, когда говорил с сильными мира сего.

Завершив дела в Академии, Николай Михайлович отправился домой, а, вернее, на постой к Муравьевым. Его тяготило вынужденное пребывание в столице. И дорого, и холодно... Душа-москвитка рвалась в Москву, там ждал его дом, ждали друзья. В Петербурге же из друзей была лишь молодежь, но она последнее время все больше отказывала в дружестве, революционируя и предаваясь жажде перемен здесь и сейчас, немедленно. До того дошло, что уже опасалась любезная Катенька, что при встрече на улице станут такие «друзья» изображать незнакомых... Увы, либералы ничуть не либеральны даже в разговорах и

привязанностях своих, им не свойственно быть терпимыми к тем, кто имеет иные взгляды. Куда уж до них Шишкову и «шишковистам»!

— Вас, барин, какой-то молодой офицер дожидается, — доложил старик Илья, приняв у Николая Михайловича шубу. Этого старого слугу даже лакеем язык не поворачивался назвать. Всю жизнь был он рядом. Дочка ненаглядная, Сонюшка, на его руках выросла после смерти матери. Нянчился он с нею, тетешкал, кормил с ложечки...

— Спасибо, старина, ты вели, чтобы чаю нам подали, покуда ужин еще не вскоре.

— Слушаюсь, барин.

Нежданном гостем оказался прапорщик-семеновец, совсем еще мальчик. Когда Карамзин вошел в кабинет, он листал какую-то книгу и, увидев хозяина, так взволновался, что едва не уронил ее и с трудом пристроил вновь на полку.

— Имею честь рекомендоваться, прапорщик Семеновского полка Михаил Петрович Леницын!

— Милости прошу, Михаил Петрович, располагайтесь, как дома, — дружелюбно пригласил Карамзин оробевшего юношу, усаживаясь в высокое вольтеровское кресло. — Леницын, говорите? Не из московских ли вы Леницыных?

— Точно так, я вырос в Москве.

— Земляки значит, — улыбнулся Карамзин. — Рад этому. Я знаете ли родился далеко от столиц, в Оренбургской губернии... В детство мое там Пугачев шалил, и нам пришлось уехать. Потом мы жили в нашем симбирском имении. Чудный там был край, и Волга — несравненное чудо. Я там до того Россией напитаюсь, что уж ничто вытравить не могло. А все же единственно родной Москва мне сделалась. А что же родители ваши, живы?

— Увы, они скончались, — молодой человек явно продолжал смущаться, и его девичьи нежные щеки от волнения покрылись румянцем. Такая застенчивость тронула Николая Михайловича.

— Стало быть, вы сирота. Соболезную... Я, знаете ли, тоже рос наполовину сиротой. Матушка моя преставилась в годы моего младенчества и с той поры, верите ли, я все пытаюсь вспомнить ее лицо. И не могу! Не могу вспомнить лица матери... Руки ее, ласку ее помню и люблю безмерно, а лица не могу вспомнить. Вы хорошо помните вашу матушку?

— Да, — Леницын оживился, — ей я обязан всему лучшему, что есть во мне.

— Вы очень счастливы, что можете сказать так! И так чувствовать!

— Среди прочего я обязан моей матушке тем благоговением, какое питаю к вам. С самых детских лет я сделался вашим восторженным почитателем, и теперь, узнав от моих приятелей Муравьевых, что вы гость их дома, не мог не прийти и не выразить... — юноша запнулся и опять покраснел.

В этот момент подали чай, и Николай Михайлович пригласил робкого гостя за стол — откусать вместе с ним.

— Отчего же вы решили представиться сами, не прибегнув к посредничеству ваших друзей?

— Дело в том, что вы... что они... В общем, ваша «История» не во всем нравится им...

— Иными словами, я непопулярен у молодых Муравьевых и их круга, — улыбнулся Карамзин. — Не беспокойтесь, дорогой Михаил Петрович, это для меня не новость. Что поделаешь, я не червонец, чтобы всем нравиться. Однако же, сильно ли бранят меня?

— Некоторые очень сильно... До эпиграмм доходит... Карамзин рассмеялся:

— В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута?

Наслышан!

— Говорят, что это Пушкина вирши...

— А, вот, это ложь! — решительно покачал головой Николай Михайлович. — Пушкин мне поклялся, что не сочинял этого. А он при всем своем озорстве человек чести.

Юный Пушкин уже давно был причиной тревог Карамзина. Они познакомились в Царском Селе, где Николай Михайлович с семьей жил на даче, предоставленной историографу по велению Государя, а молодой поэт, еще совсем мальчик, учился в лицее. Что за уморительный это был юноша! Порох и ветер! Как сочетался в нем удивительный гений с отчаянным озорством, а страстность природы со способностью искреннего раскаяния. Буян и баламут, он не мог ни мгновения усидеть на месте, от его шалостей стонали педагоги, но в сердце его не было зла. Сердце было детским... Бывая в гостях у Карамзина, Саша Пушкин подолгу играл с его детьми, и в этих беззаботных играх, полных веселого озорства, открывалась душа — детская, нараспашку открытая. Мамушка, Марья Ивановна, вечно боялась, как бы Саша не навредил своими проказами детям:

— Да полноте, Александр Сергеевич, дите-то уроните! Что же это такое, ни на что не похоже! Перестаньте шалить!

Саша кривлялся и беззаботно хохотал в ответ. У него был чудесный, заразительный смех, такой же, как весь он — нараспашку. Иногда, даже будучи рассержен

на него, Карамзин не мог удержаться и в итоге начинал смеяться вслед за этим Богом поцелованным отроком...

А сердиться бывало за что! Что стоила одна эта история с Катериной Андреевной! Получила Катя любовное послание... от Пушкина! И ведь — смех сказать — ошибочно ей адресованное! Юный повеса попросил приятеля отнести письма сразу нескольким предметам своего обожания, а тот напутал... Ох уж и посмеялись с Катериною Андреевной, читаючи! Но смех смехом, а ведь экая распушенность! Ничего не оставалось, как хорошенько отчитать вертопраха! Бедняга так огорчился, что разрыдался, прося прощения.

Вообще, в ту благословенную пору довольно было сурового взгляда Николая Михайловича, чтобы озорник утихал и вел себя подобающе. Иное дело теперь! Озорник вырос, но не переменялся нравом. Все тот же буян и баламут. И чиста душа детская, да вот беда — удержу ни в чем не знает! И добро бы лишь повесничал и картежничал — дело молодое... Этих «радостей» уже с избытком насмотрелся Карамзин на примере свояка, князя Петра, который оказался на его попечении после смерти отца. Юный Вяземский играл по-крупному, до того дошло, что пришлось родительский дом продавать на покрытие его долгов!

Иной раз в сердцах задавался Карамзин вопросом — чего уж так не хватает в жизни этим юношам нового века, что они так отчаянно кутят и развеивают в дым родительские состояния? И неужто настолько не к чему им — с их-то талантами — определить себя, дабы и себе и Отечеству польза была?

Николай Михайлович вспоминал собственную молодость. Конечно, и он не был свят. Были и в его жизни амурные похождения, случались и глупости... Но, вот, так, чтобы в один присест проиграть, скажем, дом... Но, вот, так, чтобы целые дни проводить в

кутежах... Нет, такого не бывало. Карамзин во всем знал меру и никогда не терял контроля над собой. К тому же он слишком дорожил своим временем и слишком был предан своему делу, чтобы позволить себе безрассудный образ жизни. Даже после смерти горячо любимой жены, будучи в глубочайшем отчаянии, он не забывал о долге и продолжал работать, писать, лечь только тем страдающую душу.

Но Бог бы с ним — кутежи! Так ведь юный Пушкин увлекся еще и политикой — по новой моде и под влиянием друзей-либералистов. С его-то чистым сердцем и бойким языком! И, вот, теперь всякую эпиграмму против правительства приписывали ему, и тучи сгущались над беспутной головой. Уже и расследование было начато по Императорскому велению, и грозила смутьяну ссылка в Сибирь. В последний раз умолил Карамзин не карать не в меру вспыльчивого юношу, а только лишь отослать его в Крым, подальше от дурных влияний столицы. Саша приходил прощаться, клялся, бия себя в грудь и не сдерживая слез, что политики ближайшие два года не коснется... Дал ему наставление Николай Михайлович напоследок:

— Честному человеку не должно подвергать себя виселице!

Услышал ли? А если услышал, то не будет ли забито то доброе семя плевелами, сеемыми в неопытной душе либералистами? Ах, хоть бы слово-то свое сдержал! Ведь в другой раз уже не удастся отнять его из рук Немизиды...

А теперь, вот, еще один юнец ерзал взволнованно на стуле... Чай его давно уже простыл, а он едва коснулся его. Тоже ведь, как и мальчиков Муравьевых, как и все поколение (и только ли его?), точит — политика!

— Отчего вы историю народа в принадлежность Царю отнесли?

— Помилуй Бог, какое пошлое понимание мысли... Она принадлежит ему в том смысле, что он обязан знать ее и отвечать перед ней. Простому смертному принадлежит лишь история его жизни, быть может, его рода. Но Царю — вся история его народа. Судьба народа — его судьба. Он неотделим от нее. И это огромный груз, крест.

— У нас многие недовольны, что ваша История скупа на примеры подлинно героические, что она не возвышает души народной.

— Ваш однополчанин Никита Муравьев показывал мне свои возражения на эту тему. Он желает не истории, а мифа, легенды... Поэзии! Но, друг мой, не надо путать поэзию и историю. Историк работает с фактами, и его дело дать именно факты. А уж дело поэтов, опираясь на них, создавать прекрасные легенды, слагать песни и возвышенные слова, подобные тому, что безымянный русский гомер сложил об Игоровом походе... — Карамзин помолчал. — Я знаю, что многие принимают мой труд в штыки и обвиняют меня в раболепстве.

— И вас это не огорчает? Почему вы не ответите вашим критикам?

— Если их впечатления не согласуются с моим мнением, то в этом я не вижу беды. Добросовестный труд повествователя не теряет своего достоинства потому только, что читатели его, узнав с точностью события, разногласят с ним в выводах. Лишь бы картина была верна — пусть смотрят на нее с различных точек!

— Но ведь упреки их... несправедливы! — с жаром воскликнул Леницын.

— В самом деле? Что же, выходит, вы не согласны с вашими друзьями? — лукаво прищурился Николай

Михайлович и тотчас уловил, что гость смутился вопросу.

— Я сам еще не знаю вполне, — честно ответил он. — Я знаю лишь, что нельзя молчать и бездействовать, когда все вокруг вопиет о бесправии и несправедливости. Россия достойна лучшей доли, нежели та, что влачит она! Разве вы не согласны с этим?

— С тем, что Россия достойна лучшей доли, полагаю, согласится любой любящий Отечество человек.

— Тогда почему вы не требуете этой лучшей доли? Ведь, что исповедуешь, того и желать надо! И желать не только цели, но и действия, ведущего к этой цели! Русские солдаты победили самого Наполеона! А что получили они в награду? Палки? 25-летнюю каторгу службы? Аракчеевские поселения? А Государь воздаёт хвалы армиям Англии, Пруссии... Ведь это... низость, Николай Михайлович! Это оскорбление всех нас! Этого нельзя терпеть! Разве мы не правы?

Карамзин про себя отметил это многозначительное «мы». Юноша увлекся и уже не таился и говорил не только за себя, но и за многие пылкие головы, чьи чувства он теперь выражал.

— Знаете, любезный Михаил Петрович, в юности я был свидетелем французской революции...

— Вы счастливец!

— Возможно... Зрелище и впрямь было весьма... занимательное... Хотя ныне я предпочел бы комедию ристалищам знаменитых трибунов в Национальном собрании. Мне довелось слышать многих вождей революции, в том числе Робеспьера, бывать на тайных собраниях... Могу предположить, что сегодня иные горячие и желающие блага Родине головы произносят очень схожие речи в схожих обстановках...

При этих словах Леницын вздрогнул, и Карамзин понял, что попал в точку. Конечно, эти пылкие умы уже собираются и строят планы преобразования России отнюдь не мирным и постепенным путем...

— И вы не одобряете этого? — отрывисто спросил прапорщик.

— Не одобряю.

— Но почему?! Неужели справедливость и свобода не заслуживают того, чтобы на их защиту от поругания стали, наконец, честные и преданные Родине люди?

— Робеспьер был очень честным человеком, — ответил Карамзин. — Признаюсь, его честность и теперь вызывает мое восхищение. И он был предан Франции. И верил в слова о свободе и справедливости, которые произносил сам. Но, вот, беда, инструментом достижения свободы и справедливости в руках честнейшего, неподкупного патриота сделалась... гильотина. Желаете ли вы такой справедливости? И не кажется ли вам, что это будет довольно своеобразная свобода, при которой придется горько оплакивать нынешнее рабство?

— Что же, по-вашему, нужно просто сидеть и ждать, пока тирания сама решит поступиться своим самовластьем? Нужно все терпеть? Любую гнусность?

— А вам кажется, что изменить что-либо можно только силой и только разом? Вы молоды, и от этого ваше нетерпение. Однако, рассудите. Лихоимство, о котором все мы скорбим, не есть примета общественного строя или времени. Оно есть единственно лишь следствие испорченности человеческой души. А испорченные души могут быть равно как либеральны, так и консервативны. Как улучшить сердце человеческое, сделать его чище? Этому никакие революции не помогут, уверяю вас. Напротив, революции, даже если делают их самые честные и исполненные благих помыслов люди,

неизменно открывают шлюзы для всего самого низменного, и это низменное пользуется созданным хаосом. Народ наш, Михаил Петрович, все тот же, что был в дни Пугачева. И какую же свободу вы хотите дать ему? Свободу топора и вил? Ведь справедливость — у каждого своя... Народ нужно сперва просветить, обществу нужно сперва привить нравственные понятия, которые стали бы нелицемерной основой бытия его. А гильотинами ничего доброго не сделаешь. К тому же, друг мой, вы никогда не задумывались, кто неизменно всех больше требует свободы? Ее более иных требуют те, кто сам стремится к власти. А стремящийся к власти, достигнув ее, будет думать не о чужой свободе, а о том, как удержать свою власть. Это закон истории. И именно поэтому ее нужно знать такой, какая она есть, а не в виде красивых легенд, удовлетворяющих нашим желанием.

— Когда вы говорите, мне хочется соглашаться с вами, — признался Леницын. — Я, бывало, негодовал против вас, хотя всегда бесконечно почитал. И из этого почтения, из любви к вам загоралось негодование. Мне казалось, что вы обязаны мыслить иначе, что вы не должны примиряться с самовластьем... А еще мне было жестоко обидно, когда некоторые из моих приятелей пренебрежительно отзывались о вас. Я хотел защищать вас, но не умел, и от этого досадовал на вас! А теперь я хочу соглашаться с вами, но...

Карамзин видел, что его молодой гость искренне переживает их разговор, их расхождения. Этот юноша еще не имел твердого взгляда, но только искал его, и хотелось помочь ему и, быть может, уберечь от опасных путей, к которым клонился он вслед за своими друзьями.

— Друг мой, я вовсе не требую согласия с собой и не мешаю иным мыслить иначе. Один умный человек сказал: «Я не люблю молодых людей, которые не любят

вольности; но не люблю и пожилых людей, которые любят вольность». Если он сказал не бессмыслицу, то вы должны любить меня, а я вас. Мне ничего не мешает вас любить. А вам?

Прапорщик ответил не сразу. Хмурящийся лоб его выдавал внутреннее сопротивление.

— Возможно, мешает, — тихо ответил он, наконец, — но от этого я не могу перестать любить и почитать вас... Однако, скажите, Николай Михайлович... — глаза Леницына заблестели, а голос обрел твердость: юноша заговорил о наблевшем: — Если Царь восстановит Польшу и перенесет русскую столицу в Варшаву? Вы и тогда скажете, что нужно терпеть, ждать, когда все изменится само? Да неужели вы и впрямь думаете, что все может как-то вдруг измениться? Что волку надоест есть овец, а лисице воровать курей?

— Друг мой, мир не стоит на месте, и наше дело возможно помогать благотворным переменам, но не ломать построенное нашими предками для того лишь, что нам кажется, будто на освободившемся пустыре мы сможем выстроить что-то совершенное. Однако, откуда вы взяли странную идею о переносе столицы?

— Ходят такие слухи, — уклончиво ответил Леницын.

— Эти слухи вздорны и лживы, и, послушайте отеческого совета, не повторяйте всякого услышанного вздора, если не желаете оказаться в числе тех самых лживых и бесчестных людей, коих вы справедливо презираете.

Молодой человек покраснел, видимо, задетый за живое.

— Простите, если я был дерзок. Заверяю вас в совершеннейшем моем почтении. Могу ли я вновь быть у вас?

— Конечно, друг мой, — тепло ответил Карамзин. — Я буду рад вам во всякое время. В Петербурге мы с женой живем довольно одиноко. Не желаете ли отужинать с нами?

— Почел бы за честь, но мне уже пора возвращаться в полк.

— В таком случае до встречи! Надеюсь, что вы не замедлите навестить меня вновь.

Леницын по-военному щелкнул каблуком и откланялся.

Карамзин догадался, почему молодому офицеру не хотелось оставаться на ужин. Это грозило ему встречей с молодыми Муравьевыми, а он, по-видимому, совсем не желал, чтобы они знали о его встрече с историографом. Оно и понятно. Мальчики, по всему виду, якобинствуют, и Карамзин у них не в чести.

Николай Михайлович был хорошо осведомлен о том невыгодном впечатлении, которое произвела его «История» на либеральные круги. Критики, хлесткие эпиграммы, злословия, охлаждение прежних добрых знакомых — все это не осталось без его внимания. И кто бы мог подумать, как причудливо закольцовывает жизнь судьба!

Много лет назад, прибыв в Москву, юный и полный самых благих мечтаний Карамзин стал членом кружка издателя Новикова, а также принял посвящение в масонское братство, надеясь, что оно поможет ему лучше понять загадки бытия и сделаться полезным членом общества. Однако, время шло, а никаких глубин масонство ему не открывало. В свою очередь антураж таинственности очень быстро стал казаться какой-то детской игрой, воспринимать которую всерьез было странно. Довольно скоро разочаровавшись в масонах, Николай Михайлович отправился в путешествие по Европе, а, возвратясь, окончательно порвал с братьями, избрав свою стезю.

Стезей этой была литература и журналистика. Карамзин взялся издавать свой журнал, получивший название «Московского» — по существу, первое в России литературно-общественное издание, которое должно было не уступать по уровню европейским аналогам. Это было... безрассудство! Так говорили ему едва ли не все! Что бы совсем молодой человек, не успевший даже составить имени в литературе, подъял такое дело — быть того не может! Да еще без помощников, без покровителей... Но молодой человек был упрям, быстро учился всему, что полагал необходимым, схватывал налету всякий предмет и не боялся труда. Ему не нужно было вычитывать от корки до корки толстые тома, его глаз был устроен так, что выхватывал нужное, лишь взглянув на страницу. Он с легкостью ладил с любым жанром, будь то политическая статья, повесть, стихи, критика или исторический очерк. Ему все давалось легко, потому что все было интересно. В своем журнале он был всем: издателем, редактором, автором во всех рубриках, переводчиком иностранной литературы... Он же занимался подпиской и рассылкой номеров подписчикам. Спасибо, поддержали начинание не только молодые литераторы, но и корифеи — Державин, Херасков, Дмитриев...

Журнал состоялся и стал прообразом всей русской журналистики, ее первой вехой. Но кто же пуще всех негодовал против него и его издателя? Вчерашние друзья! Братья-масоны! Они единодушно считали Карамзина предателем и на этом основании отказывали ему в каком-либо даровании, зло высмеивали его начинание, суля ему полный провал, бранили и его самого. Яд эпиграмм и злословия в те далекие годы Николай Михайлович испил полной мерой. Но он не повредил, а лишь укрепил от природы цельную натуру.

Хула всегда обидна, но разрушительна она лишь для того, кто сам в себе не имеет цельности, кто колеблется. И кто с другой стороны наделен болезненной любовью к самому себе при недостатке оной к другим... Карамзин всегда точно знал свою цель и не колебался на пути к ней. Он ничего не искал от сильных мира, не входил в долги, опасаясь быть обязанным и живя исключительно тем немногим, что выручал от своих трудов, к падшим же и опальным был неизменно участлив. Он не отрекся от Новикова, когда тот был осужден, а когда Император Павел отправил в ссылку московского градоначальника, стал единственным, кто без какой-либо прежней дружбы примчался проводить его — со снедью и теплыми вещами в дорогу...

Человек, умеющий оставаться самим собою, свободен всегда и ему нет нужды сокрушать престолы, чтобы обрести свободу мнимую. Но как объяснить это благородным шалопаем, полагающим, что они способны переменить мир? Ведь жаль их! Доведут до беды и себя, и, чего доброго, Россию...

Закольцевала судьба жизнь. Снова, как на заре ее, взвалил он на себя необъятный труд, не слушая мудрых указаний, что оный не под силу одному человеку, к тому же не историку, а литератору, дотоле не ведавшему работы с архивами. Но, вот, выходили том за томом, и оказалось, что права русская пословица — и один в поле воин.

И снова клокочет яд, рвутся узы, передается из уст в уста хула...

Но не это страшно. Страшно, что из уст в уста передается иное — русская столица будет перенесена в Варшаву! Польша получит русские земли! И когда бы не было вовсе повода к этим слухам, так ведь дает его не кто-нибудь, а сам Государь...

— Здесь два пистолета, — Якушкин, лицо которого в этот момент точно окаменело в ледяной решимости, поставил на стол шкатулку с дуэльными пистолетами. — Из одного я выпущу пулю в тирана, из другого в себя. Это будет своего рода дуэль...

— Однако, брат, при дуэли обе стороны знают, что участвуют в них, — заметил Михаил Фонвизин, племянник прославленного драматурга и командир 37-го Егерского полка, в котором служил Якушкин.

— Я был бы не против, чтобы он знал! Но ведь в этом случае он откажется стреляться!

— Это верно, — согласился Саша Муравьев, — у царей сатисфакции не требуют.

— Однако, господа, — вмешался Леницын, — ведь мы так и не знаем доподлинно, верен ли слух! Трубецкой не сообщил подтверждений!

— Трубецкой — баба! — резко бросил Якушкин. — От болтовни ничего не изменится в судьбе нашей несчастной Родины! Ее можно изменить лишь решительным и волевым действием!

Подпоручику Ивану Якушкину решительности было не занимать. По окончании Московского университета этот молодой и просвещенный дворянин вступил в Семеновский полк и в его рядах отчаянно храбрился в сражениях с Бонапартом. За отличия при Бородине он был награжден Георгиевским крестом, а затем показал примерную доблесть в Заграничном походе.

Леницын, вступивший в полк к своему горю уже по окончании войны, всем сердцем восхищался старшим товарищем. Разница в боевом опыте и годах не помешала им сдружиться, благодаря большому сходству суждений и чаяний. Правда, Якушкин вскоре покинул родной полк, так как служба в гвардии из-за навязываемой Аракчеевым шагистики сделалась для него совершенно невыносимой. Он отправился на Черниговщину, к егерям своего приятеля Фонвизина.

Теперь оба они прибыли в столицу к неопишуемой радости Миши. Вот, только планы Ивана все больше пугали его...

— Якушкин, голубчик, да ведь вы же слышали вчера на собрании... И Пестель говорил, что убивать Царя теперь не ко времени!

— Ваш Пестель метит в наполеоны, — холодно отозвался Якушкин, любовно проверяя пистолеты. — Ему не нужна свобода. И справедливость не нужна. Ему нужна лишь собственная власть! Ты читал ли устав его? То-то! Шаг вправо, шаг влево — уже кара! Сплошная тайна всего! Сплошная слежка за всеми! Так-то он мыслит себе будущее устройство! Ну уж нет, увольте! Я такой будущности не желаю! А незнание рядовыми членами своих вождей? Не гнусность ли? Он желает рядовых членов использовать вслепую, чтобы они даже не знали, кто их ведет, и что за всем этим стоит!

— Однако, это не так уж глупо, — заметил Никита Муравьев. — Если членов станет много, то совсем нельзя поручиться, что среди них не окажется предателей. При пестелевской секретности уменьшается риск того, что предатели выдадут руководителей. Ведь если дело будет обезглавлено, то ему придет конец.

— Да, это не глупо, — согласился Якушкин. — Но гнусно. Все это масонские штучки Павла Ивановича. Может быть, он и дьявольски умен, да только что проку в уме, если к нему не приложена честь? Теперь, пожалуй, тоже не дураки в кабинетах высоких сидят! Да только совести нет в этих умниках! А менять одно бесчестье на другое — увольте!

— А разве убить безоружного — честно? — не удержался Миша.

Якушкин метнул на него испепеляющий взгляд:

— Вы слюняй, Леницын! Я завтра принесу себя в жертву на алтарь Отечества, а вы пускаетесь в какие-то

сентиментальные рассуждения!

Леницын вспыхнул:

— Извольте извиниться, подпоручик. Я не имею за плечами ваших заслуг, но я дворянин и офицер и оскорблять себя не позволю!

— Можете требоваться сатисфакции, — тоном затаенного бешенства ответил Иван. — Правда, завтра меня уже не будет на этом свете, и я вряд ли смогу дать вам удовлетворение!

— Полно, господа! — вмешался Фонвизин. — Словно петухи на ярмарке! Якушкин, друг мой, подумай все же еще раз. Черт с ним, с Пестелем. Но ведь у нас же ничего не подготовлено к перевороту. Что проку убить Царя? На его место придет другой, и все пойдет также! В цареубийстве был бы смысл, если бы мы смогли использовать его для полной перемены строя, для установления конституции... А так? Ну, придет на место Александра Константин со своей польской любовницей! И что изменится?

— То, что он будет знать, что не все сойдет с рук самовластью! Оно будет поколеблено! Я дам пример борьбы, и этот пример будет стоять куда больше всех слов и мудреных сочинений!

— А то, что ты своим выстрелом поставишь под удар весь Союз, тебя не смущает? Кто будет продолжать дело, если нас всех разгромят?

— Я не предатель, и мне не нужно уставов, чтобы не выдавать моих братьев, — ответил Якушкин. — К тому же я покидаю Союз.

— Вот как? — удивился Муравьев-Апостол. — Но почему?

— Потому что Союз не желает действовать, предпочитая тешить праздность умными разговорами. А мне это претит! Так что не беспокойтесь, господа. То, что случится завтра, будет деянием и жертвой одиночки!

— Я восхищаюсь вами, Якушкин! — с волнением воскликнул Никита, обнимая Ивана. — Пусть жертва ваша не станет напрасной!

Тронуты были этой трагической минутой и остальные немногочисленные на сей раз гости апостоловой квартиры. Душа же Леницына разрывалась на части. С одной стороны ему хотелось броситься другу на шею — в своей жестокой решимости он был несомненно прекрасен. С другой, повиснуть на руках его и удержать от безумного шага. Этот высокого благородства человек, могший стать благодетелем своих крестьян, а, может, и не только их, не должен был оканчивать свою жизнь вот так! Оканчивать... преступлением! Двойным... Миша вырос в набожной семье, и хотя многое успело выветриться из души юноши, но все же холодела и содрогалась она от мысли, что же ждет человека, поднявшего руку на Божия помазанника и отвергнувшего собственную жизнь? Ведь это гибель! Это мука вечная! Зачем? Во имя чего? И Царь, каков бы ни был он, но ведь — се человек! Разве заслужил он того, чтобы быть убитым из-за угла? Хотя и его отец не заслужил... А его убили... И Царь знал убийц и не покарал их, они и теперь занимали высокие посты. Будто бы и не вопияла Павлова кровь об отмщении...

Мише хотелось все это — отчаянное и больное — высказать теперь. Но так и звучало в ушах, словно горело пощечиной — «Слюнтяй!» И это оскорбление требовало удовлетворения, но практически не могло рассчитывать на него.

— Прощайте, господа. И будьте уверены, что честь России не будет предана на поругание полякам, — таковы были последние слова Якушкина, и темные глаза его, особенно выразительные на фоне побледневшего лица, ярко блеснули. Он уже как будто

видел своего противника перед собой, уже мысленно взводил курок...

Царь-сфинкс... Даже близость к нему, даже доверительные долгие беседы не могли вполне раскрыть этого противоречивого, непонятного характера. Все его начинания клонились ко благу, но большинство посевов давали горькие плоды. Оттого ли, что работники, призванные возделывать нивы, были дурны? Оттого ли, что сеятель помышлял более не об урожае для насыщения голодных, но об урожае для своей славы?

Александр любил славу, эта была его великая слабость. И в этом славолюбии он был весьма обычным человеком. Ведь всякий любящий славу человек не ищет ее посреди домашних своих, но гордится, когда превознесут его в чужих пределах, когда чужие, а не свои, скажут о нем, что он прекрасен, умен и добродетелен... Всякий старается в гостях выглядеть лучше, чем в кругу собственного семейства. Так и Александр искал воздаяний себе вне пределов Отечества, отдавая сердце свое делам европейским и пренебрегая для них делами русскими.

Однако, при всем славолюбии своем сфинкс не был тираном, и того, кто смел представить пред его очи прямое и честное суждение, не постигала опала. В этом Карамзин имел случай убедиться совершенно. Еще до войны, Великая княгиня Екатерина Павловна, наделенная душой отменно русскою, а к тому глубоким и деятельным умом, возгорелась желанием наставить «на путь истинный» возлюбленного брата. И не нашла она для той цели наставника лучшего, нежели Карамзин. Когда Александр гостил у нее в Твери, Екатерина Павловна пригласила и Николая Михайловича. Она поручила ему составить для брата своего рода доклад, обзор, получивший название

«Записка о старой и новой России». Карамзин был чужд царедворства и написал в «Записке» все, что полагал должным, подробно описав то, как бездарны и пагубны оказываются Александровы реформы, затеянные им ко благу России.

За такое прямодушное обличение собственных деяний и Государыня Екатерина Алексеевна, и Государь Павел Петрович незамедлительно покарали бы слишком много возомнившего о себе сочинителя. Александр этого не сделал. Хотя «Записка» явно задела его и послужила охлаждению к Николаю Михайловичу, но этим охлаждением все и ограничилось. Карамзин сохранил звание историографа и возможность работать над Историей России. «Записку» он никогда и никому не показывал. Читать ее имел право лишь тот, кому была она адресована.

И, вот, по прошествии многих лет наступило время вновь испытать царскую милость. Делать этого по-человечески вовсе не хотелось. И не из опасения потерять что-то, оказаться в опале, но жаль было огорчить человека, который, не пожелав вспоминать укоры прежние, со всем вниманием относился к нуждам историографа, был как будто расположен к нему и даже «по-соседски» заходил для бесед в китайский домик, когда случалось им обоим бывать в Царском Селе.

Однако, есть предметы, стоящие выше личной приязни и благодарности. Николаю Михайловичу до последнего не хотелось верить в то, что Государь действительно решится восстановить Польшу в ее древних границах. Но за обедом в Зимнем дворце Александр объявил об этом сам.

— Мы, Николай Михайлович, должны следовать христианским заповедям любви, всепрощения и самопожертвования. Вернуть хотя бы отчасти Царству Польскому его прежнее величие будет достойно нашей великой Империи, которой уже не приходится бояться

давних противников. Теперь мы можем проявить щедрость к некогда побежденным.

При этих словах он любовался не величию Империи, но самим собой — своей щедростью, своей добротой. Он смотрел на себя теперь не глазами русских, но глазами Европы, и читал в этих глазах одобрение, удивление, восхищение высотой души российского монарха. Из этого же ряда была щедрая помощь крестьянам разоренного Ватерлоо при полностью забытых крестьянах Бородина и множества менее знаменитых русских деревень. Он купался в лучах европейской славы, не замечая, какое негодование рождается от этого в русских сердцах... А придворные льстецы, конечно же, потакали, подливая масла в огонь.

При них Карамзин говорить не стал. Как и в случае с «Запиской», то, что он должен был высказать, мог слышать лишь один человек — Государь. Их разговор состоялся с глазу на глаз, за вечерним чаем, в кабинете Александра.

— Государь, — начал Николай Михайлович почтительно, но твердо, — вы думаете восстановить древнее Королевство Польское; но сие восстановление согласно ли с законом государственного блага России? согласно ли с Вашими священными обязанностями, с Вашей любовью к России и к самой справедливости? Можете ли с мирною совестью отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынию, Подолию, утвержденную собственность России еще до Вашего царствования? Не клянутся ли Государи блюсти целостность своих Держав? Старых крепостей нет в Политике: иначе мы должныствовали бы восстановить и Казанское, Астраханское Царство, Новгородскую Республику, Великое Княжество Рязанское, и так далее. К тому же и по старым крепостям Белоруссия, Волыния, Подолия, вместе с Галициею, были некогда коренным достоянием

России. Если Вы отдадите их, то у Вас потребуют и Киева, и Чернигова, и Смоленска: ибо они также долго принадлежали враждебной Литве. Или все, или ничего!

— Вы преувеличиваете, Николай Михайлович, — отозвался Александр. — Во-первых, Польша не обретает независимости, а остается частью Российской Империи, поэтому никакого ущерба ее целостности не будет. Однако же, восстановив ее целостность, мы смягчим те вековые обиды, что гнетут сердца поляков и настраивают их против нас. Моя великая бабка поступила жестоко, разделив Польшу. Я желаю видеть в поляках друзей России и не желаю, чтобы сердца их распались оскорбленною гордостью, толкая их хоть под знамя Наполеона, хоть под иное, враждебное нам. Нам нужно прекратить эту вражду, залечить старые раны. И мы, как победители, как сильные, должны сделать первый шаг навстречу братскому для нас народу!

— Но, Государь, поляки никогда не будут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками, — возразил Карамзин. — Теперь они слабы и ничтожны: слабые не любят сильных, а сильные презирают слабых; когда же усилите их, то они захотят независимости, и первым опытом ее будет отступление от России! Доселе нашим государственным правилом было: ни пяди — ни врагу, ни другу! Наполеон мог завоевать Россию; но Вы, хотя и Самодержец, не могли договором уступить ему ни одной хижины Русской. Таков наш характер и дух государственный. Любите людей, но еще более любите Россиян, ибо они и люди и ваши подданные, дети вашего сердца. И поляки теперь слушаются Александра: но Александр взял их Русскою силою, а Россиян дал ему Бог, и с ними снискал он благодетельную славу Освободителя Европы. Я слышу Русских, и знаю их: мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к Царю: остыли бы

душою и к Отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением Государства, но и духом; унизились бы пред другими и пред собою. Не опустел бы конечно дворец; Вы и тогда имели бы министров, генералов: но они служили бы не Отечеству, а единственно своим личным выгодам, как наемники, как истинные рабы!

— Вы забываетесь, Николай Михайлович! — в голосе Государя послышалось раздражение. — Послушать вас, так мое желание оказать милость полякам — это такое неслыханное преступление, от которого вся Россия погибнет! Я лучшего мнения о нашей державе! И уж конечно, все мои генералы и министры рабы и наемники, и лишь вы говорите мне истинную правду, обличая меня, подобно ветхозаветному пророку!

При этих словах Карамзин вспыхнул.

— Господь Сердцеведец да замкнет смертью уста мои в сию минуту, если говорю вам не истину! — воскликнул он. — Восстановление Польши будет падением России, или сыновья наши обагрят своею кровью землю Польскую и снова возьмут штурмом ее столицу! Неужто же вы желаете, чтобы ваше милосердие было оплачено такой ценой?

Александр резко поднялся:

— С каких пор вы стали предсказывать будущее?!

— С той поры, как, благодаря моему Государю, получил возможность изучать прошлое.

— Да, и я не жалею, что дал вам эту возможность. Но не кажется ли вам, что будет лучше, если каждый будет заниматься своим делом? Вы — писать историю, я — заниматься делами государства. Знаю, вам всегда было не по душе то, как я ими занимаюсь! Не одно мое начинание вы не обошли своей критикой! Послушать вас, так, пожалуй, и не было в нашей истории худшего монарха!

— Напротив, Государь, слава ваших деяний будет еще многие века сиять нашим потомкам. Но как русский, как ваш верный подданный, я не желаю, чтобы слава эта была омрачена ошибкою, — при этих словах Николай Михайлович опустился перед Александром на колени и произнес с воодушевлением: — Государь! Бог дал вам такую славу и такую Державу, что вам без неблагодарности, без греха Христианского и без тщеславия, осуждаемого самою человеческою политикою, нельзя хотеть ничего более, кроме того, чтобы утвердить мир в Европе и благоустройство в России: первый бескорыстным, великодушным посредничеством; второе хорошими законами и еще лучшею управою. Вы уже приобрели имя Великого: приобретите имя Отца нашего! Пусть существует и даже благоденствует Королевство Польское, как оно есть ныне; но да существует, да благоденствует и Россия, как она есть, и как оставлена вам Екатериною!..

— Ну, довольно, довольно! — Александр смутился и поспешил поднять историографа с колен. — Поза покорного вассала вам не к лицу...

Некоторое время Государь молчал, напряженно обдумывая услышанное. Затем, взглянув на Карамзина, так и не возвратившегося в свое кресло и продолжавшего стоять, спросил:

— Вы всерьез полагаете, что мое решение приведет к столь ужасным последствиям?

— Я убежден в этом, Государь. Общество уже пропитано самыми безумными слухами. Говорят даже, будто сама столица будет перенесена в Варшаву.

— Что за глупая ложь! У меня и в мыслях не было подобного!

— Я не сомневаюсь в этом, Государь, но ваше благоволение к полякам порождает подобные страхи, а из страхов рождаются настроения самые опасные.

Пощадите русские чувства, не приносите их в жертву польским!

— Я не спрашиваю вас, откуда вам известны эти настроения, вы все равно не скажете и будете правы, так как это было бы бесчестным...

— Боюсь, Государь, что эти настроения уже давно не достояние отдельных лиц, ими в большей или меньшей мере охвачено за малым изъясном все общество. Русские не извинят вам, если вы ввергнете их в отчаяние ради рукоплескания поляков.

С каждым словом Карамзина Александр делался все мрачнее. Но Николай Михайлович чувствовал, что слова его постепенно проникают в сознание Императора. Он уже был поколеблен в своей уверенности, уже лишился твердой решимости войти в историю объединителем Польши. В то же время чувствовал Карамзин и то, что этот разговор, горькие истины, высказанные Государю, отдалят его, разорвут те невидимые узы взаимной приязни, что связывали их доселе, пролягут межой... Это была жертва самого Николая Михайловича — во имя блага Отечества. Ни действовать, ни говорить иначе он не мог. А если бы смог, то не простил бы себе малодушия.

— Государь, — сказал Карамзин напоследок, всем сердцем соболезнуя тому огорчению, в которое был повергнут Александр, — у вас много самолюбия. Я не боюсь ничего. Мы все равны перед Богом. Что говорю я вам, то сказал бы и вашему отцу. Я презираю либералистов нынешних, я люблю только ту свободу, которой никакой тиран не может у меня отнять... Я не прошу более вашего благоволения, я говорю с вами, может быть, в последний раз... Простите, если слова мои были резки, но все, что я сказал вам — правда! И ничего более не прошу я, как одного лишь — пощадите Россию!

Было уже утро, когда утомительный этот разговор окончился. Государь собирался на службу к заутрене, Карамзин же отправился домой. Прежде чем сесть в экипаж, он решил немного пройтись пешком — от напряженного спора разболелась голова, а прогулки иногда помогали от этой напасти. Внезапно Николай Михайлович заметил в рассветной дымке смутно знакомую фигуру. Фигура, по-видимому, также заметила его и попыталась скрыться. Однако, сделать это в нескольких шагах от Зимнего дворца было непросто.

— Михаил Петрович? Вас ли я вижу? — окликнул Карамзин юного прапорщика, сделав вид, что не заметил его странных маневров.

— Доброго утра, Николай Михайлович! Простите мне мою рассеянность, я совсем не ждал вас встретить здесь в такой час...

Юноша был явно взволнован, и глаза его как-то странно бегали, точно ища кого-то.

— Вы что-то потеряли?

— Нет-нет, ничего... Я просто... прогуливался...

Лгать Леницын явно еще не научился и совершенно не знал, что сказать и как благопристойно завершить негаданную встречу. Карамзин подумал, что у молодого человека может быть здесь тайное свидание с какой-нибудь проживающей во дворце дамой, и решил не мешать ему.

— Что ж, не стану задерживать вас разговорами. Однако, вы должны обещать мне быть у нас с Екатериной Андреевной к обеду. Мы будем вам очень рады!

— Почту за честь и непременно буду, Николай Михайлович! — готовно отозвался юноша с поклоном.

Карамзин чуть поклонился в ответ и прибавил:

— Да, вот еще что. Если кто-нибудь изволит вам опять рассказывать о переносе столицы в Польшу и

прочие злонамеренные глупости, можете смело отвечать, что сие есть ложь.

Леницын вздрогнул. Глаза его перестали растеряно бегать, а почти впелись в лицо историографа.

— Это точно? Вы уверены в этом, Николай Михайлович? Мне это очень, очень важно знать!

— Друг мой, я не имею привычки утверждать то, в чем я не уверен, — ответил Карамзин, удивленный столь взволнованной реакцией. Пожалуй, не для амурных потех заявился прапорщик ко дворцу в столь ранний час... Для чего же тогда? Что на уме у этих безрассудных?..

— Спасибо вам, дорогой Николай Михайлович! Простите, мне нужно бежать! Я непременно буду у вас к обеду! Спасибо!

И убежал куда-то бедовый... Только руками оставалось развести вослед ему. А голова, меж тем прошла, прояснела на холодном воздухе. И довольный этому обстоятельству, Карамзин кликнул ожидавшего его возницу и помчался к дому Муравьевых.

Ледяной рассвет, красный, как раскрытая рана, поднимался над Невой. Мише казалось, что сердце его колотится где-то в горле. Расстояние от Зимнего до Исаакия он пробежал за считанные минуты, но к отчаянию своему не увидел на своем пути того, кого ожидал у дворца, и чей выход, по-видимому, пропустил, отвлеченный Карамзиным...

Зачем он ждал его? Остановить? Открыть ему готовящееся покушение? Конечно, нет. Михаил Леницын был человеком чести и даже под пыткой не согласился бы предать своих друзей. Но и допустить бессудного убийства он не мог также. И не потому, что жертвой должен был стать Царь, Божий помазанник, коему он, прапорщик Леницын, присягал. Но потому что... нельзя, преступно стрелять в безоружного! Какое

благо может родиться из крови, пролитой таким образом? Подлым ударом из-за угла? Царь обретет в этом случае ореол мученика, а последние начатки свободы будут задавлены — просто потому что иначе ответить на убийство Царя его брат не сможет. И он будет в своем праве...

Не сомкнув глаз во всю ночь, Миша нашел лишь один способ предотвратить трагедию — принести в жертву себя. Пусть живет Якушкин и процветает Союз! Пусть живет и Император! Он, прапорщик Леницын, никому не причинит зла, он лишь заслонит Государя собой и примет в свою грудь предназначенную ему пулю. Преисполненный решимости действовать таким образом, Миша ожидал выхода Царя. Он знал, что Якушкин будет ждать свою жертву у Исаакиевского собора, и намеревался незаметно проследовать за Императором, а в решительный час — загородить его от гибели. Правда, тревожил Мишу страх: что если он запоздает? Не угадает тот самый решительный миг?..

И, вот, уже запаздывал... Государя нигде не было! Что если он уже достиг Исаакия? Что если Якушкин уже взводит курок?!

Но, вот, наконец, Исаакий. Кроваво светится его купол-шелом на фоне мрачного неба... Тишина. Ни души. Может быть, Государь, проведя всю ночь в беседе с Николаем Михайловичем, просто лег спать и не придет в это утро?

Однако, охотник здесь... Леницын разглядел закутанную в плащ фигуру бывшего приятеля, скрывающуюся за одной из колонн. Якушкин ждал свою жертву. Тоскливо заныло сердце Миши. Господи, хоть бы Государь не пришел! Ведь, право слово, так жалко умирать в 20 лет, ничего не успев...

Покидая свою квартиру, Леницын успел набросать короткую записку, в которой просил в случае своей смерти передать написанное им сочинение Карамзину.

А больше как будто и заботиться слишком не о чем? А все же не хочется умирать...

Увы, надеждам Миши не суждено было оправдаться. Государь, растревоженный тяжелым разговором, не лег спать, но лишь изменил свой маршрут, решив немного прогуляться. Он был совсем один, даже дежурный офицер не сопровождал его. Встретишь и, пожалуй, не подумаешь, что Царь... Александр шел неспешно, опустив голову и глубоко о чем-то задумавшись. Чувствовалась какая-то надломленность, скрытая боль в его облике — теперь, когда, как казалось ему, никто не видит его, и не нужно было играть роли.

Вот, он остановился, глубоко и тяжело вздохнул, взглянув на небо, снял треуголку, перекрестился размашисто...

А там, за колонной — уже откинута пола плаща. Уже взводит рука курок, прилаживаясь к цели и не смущаясь соседством с Господним храмом... Миг, другой... И вдруг сильнейший удар выбивает пистолет из руки убийцы...

— Подлец! — хрипло выдохнул Якушкин, с ненавистью взглянув на Мишу. Он не мог заорать на него во весь голос, так как Император был слишком близко, и услышал бы.

— Нет, Иван, я не подлец! — таким же жарким шепотом отозвался Леницын. — Это ложь, что Царь собирается перенести столицу в Варшаву! Нельзя убивать из-за лжи!

— Откуда ты знаешь, что это ложь?! Он тебе сам об этом сообщил?! Ты, может быть, соглядатай?!

— Если бы я был соглядатай, ты был бы теперь в крепости! А о Варшаве... я знаю от Карамзина.

— Нашел кому доверять! Мальчишка! Слюнтяй! — Якушкина трясло от бешенства.

Государь, меж тем, скрылся в храме, и Мише сразу стало легче.

— Да, подпоручик, я больше доверяю Карамзину, чем неведомым анонимам! А от вас я требую сатисфакции! Вы нанесли мне вторичное оскорбление, и ваша ярость вас не извиняет!

— А я и не прошу вашего извинения, — зло процедил несостоявшийся цареубийца. — И весь к вашим услугам! По крайней мере отведу душу, убив вас вместо него!

Когда гнев застит разум и сердце, человек уже не в состоянии владеть ни словами своими, ни поступками. Одержимый злою силою, он готов испепелить всякого в лаве своей ненависти. Остынув и рассудив хладнокровно, он, пожалуй, и раскается, но будет, скорее всего поздно...

Якушкин был отличным стрелком, а Миша никогда не мог похвастаться этим дарованием. Однако, становясь в позицию, он не чувствовал страха. На душе его, напротив, было спокойно: он знал, что исполнил свой долг, что поступил правильно, и чувство своей правды давало душе и свободу, и твердость. Было два часа по полудни того же ужасно длинного и в то же время стремительного дня...

— Быть может, господа, вы примиритесь? — голос Саши Муравьева, одного из двух секундантов, прозвучал точно издалека.

— Я с подлецами и предателями мира не заключаю! — никогда не было хладнокровие добродетелью Якушкина. Столько часов прошло, а так и колотило его от ярости, что помешали ему убить Царя. Впрочем, на твердости руки это клокотание не скажется...

— Сходитесь, господа! Раз! Два!

Где-то далеко блестел сквозь паутину редких снежинок — теперь уже не кроваво, но сияюще-радостно — купол Святого Исаакия... Гулкий хлопок, и первый, еще совсем тонкий снежный покров окрасился кровью. Не царской. Всего лишь прапорщицкой...

Когда он открыл глаза, то увидел над собой полное отеческого участия продолговатое лицо с поседевшими баками... Мудрые карие глаза, удлинённый разрез которых прибавлял им выразительности, смотрели тепло и ласково. Мягкие губы тронула улыбка:

— Ну, вот, вы и снова с нами! С возвращением, дорогой Михаил Петрович!

Леницын не мог понять, где находится. Не мог вспомнить ничего, что было с ним после выстрела Якушкина. Ясно было одно: он, несмотря на жгучую боль в боку, жив, а перед ним, у постели его сидит Карамзин... Почтенный историограф в это мгновение почудился Мише каким-то средоточием земной доброты. Хотелось поцеловать руку его, благодарить и по-детски заливаться слезами. Впрочем, это, конечно, нервы, после тяжелой болезни они всегда бывают слабы...

— Где я? — тихо спросил Леницын.

— В доме ваших друзей Муравьевых. Саша примчал вас сюда тотчас после поединка. Признаться, тогда мы не надеялись на ваше спасение, рана была ужасна...

— А Саша? Что с ним? — встревожился Миша, зная, что секунданты, как и дуэлянты всегда подвергаются наказанию по причине запрета дуэлей.

— С ним все хорошо, — откликнулся Карамзин. — Благодаря родительским хлопотам...

— А Якушкин?

— Ваш противник подал в отставку и отбыл в свою деревню.

— Слава Богу... — вздохнул Миша с облегчением. Если Иван уехал в свою вотчину, то новых покушений точно не будет.

Карамзин внимательно посмотрел на Леницына:

— Позвольте задать вам вопрос... В то утро, когда мы нечаянно встретились с вами, вы ведь ждали кого-

то?..

— Я ждал Императора, — честно ответил Миша.

— Зачем?

Леницыну очень хотелось рассказать Николаю Михайловичу все случившееся, но это значило — выдать чужую тайну. И Миша солгал:

— Я хотел броситься перед ним на колени и молить его не оскорблять России переносом столицы в Варшаву и восстановлением Польши.

— И откуда только вы взяли этот вздор о переносе столицы... — поморщился Карамзин. — Однако, какое совпадение целей! Ведь и я приходил к Государю по тому же поводу. Утешьтесь, благородное русское сердце, восстановления Польши не случится. Император отказался от этих идей, радея о благе Отечества и ставя его пользу превыше всего!

— Это вы? Вы убедили его? — с восторгом догадался Миша.

— Господь с вами, Государь сам довольно знает нужды и чаяния России.

Историограф явно стремился скрыть свою роль в польском вопросе, и от этого скромного достоинства еще большим благоговением исполнилось сердце молодого офицера. Этому человеку, без криков, без возношения себя, без насилия, удалось лишь мудрым словом своим отвлечь беду. И не велик ли он после этого? Однако же, и Царь, способный слышать слово мудрости и чести, а не только лесть вельможных подхалимов, куда лучше, чем то представление о нем, что бытовало среди членов Союза и единомысленных с ними...

— Николай Михайлович, я в тот день кое-что оставлял для передачи вам...

— Да, друг мой, мне передали в тот же вечер записку и папку с вашей рукописью.

Леницына бросило в жар:

— И вы прочли ее?

— Нет, не прочел, — покачал головой Карамзин. — Разве же я имел право читать труд, который вы мне завещали по смерти своей в то время, как все мы молили Господа о вашем выздоровлении? Господь услышал наши молитвы, и теперь вы один можете распоряжаться вашим сочинением.

— В таком случае... — Миша помедлил несколько мгновений, а затем решительно заключил: — Сожгите ее, Николай Михайлович!

— Сжечь? — с удивлением приподнял бровь историограф.

— Да, да! Сожгите! Это не то... Это все совсем не то! И я только теперь понял, что это не то...

— Вот что, милый Михаил Петрович, — Карамзин ласково взял Мишу за руку. — Я не стану ничего делать с вашей рукописью, а возвращу ее вам в целости, как только вы встанете на ноги. А уж тогда, оправившись и рассудив не сгоряча, вы сами и решите, бросать ли ее в печь. И сами исполните над нею приговор.

— Николай Михайлович, вы утомите больного, а доктор прописал ему полный покой, — раздался тихий голос. В дверном проеме появился женский силуэт, и, хотя в полумраке Леницын не мог разглядеть лица дамы, но догадался, что это, вероятно жена Карамзина, Екатерина Андреевна.

— Да-да, душа моя, — спохватился историограф. — Вы совершенно правильно сделали, что нас прервали! — он поднялся и, пожав Мише руку, ободрительно улыбнулся. — Я навещу вас завтра! А теперь отдыхайте и набирайтесь сил!

Дверь затворилась, и уже не лихорадочно-бредовый, но мирный, спокойный сон выздоравливающего окутал Леницына. Ему снилось, будто бы он читает Николаю Михайловичу свою рукопись. Не ту, что приговорена была к сожжению (только автор вправе быть

инквизитором к собственным ересям!), но совсем новую, много-много лучшую. А Карамзин слушал это чтение с явным одобрением и иногда кивал в знак согласия. От этого благословения, пусть и во сне даруемого, словно крылья вырастали у истомленной долгою борьбой со смертью души.

— Ты берешься за перо и хочешь быть автором, — звучал мудрый голос Николая Михайловича. — Спроси же у себя самого, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? Ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего. Творец всегда изображается в творении.

Теперь, после всего перенесенного, Миша Леницын уже знал, каков он. И оттого решительно отвергал свой первый труд и давал себе обет написать иной — такой, который будет достоин того внимания и одобрения, что грезилось ему во сне.

**Августейшая Матушка
(Императрица Мария
Федоровна)**

Тонкий голосок выводит заунывную песню... Коченеет Настасьюшка на ветру холодном, мокрый снег слезами стекает по бледному личику. Но несколько медяков уже в Петрушиной шапке, а значит, голодная смерть пока не грозит им.

— Настасьюшка, давай булку купим! Сдобную!

— Булка — баловство, миленький, купим ржаного хлеба, его хватит на дольше...

Слепит глаза ярящаяся дождливая ноябрьская метель... Но что это? Тянутся руки из нее, хватают Настасьюшку, тащат! Тащат к карете, одиноко стоящей посреди улицы.

— Помогите! Помогите!

Бросается Петруша на помощь сестре, виснет на руке злодея, но тот отшвыривает его, как кутенка, да с такой силой, что в голове мутиться от удара и боли.

— Мишка! Мишка! Взять!

Мишка — косматый, похожий на медведя пес. Петруша на уличных представлениях вертит с ним разные замысловатые кульбиты на потеху толпе, разбавляя этими играми сестрины протяжные песни. Мишка — умный, он и на задних лапах ходит, и лапу подает... А еще холодной ночью согревает, от злых людей защищает маленьких хозяев. Вот, уже бежит он с лаем на выручку Настасьюшке. А навстречу ему кнут:

— У-у-у! Проклятая псина!

Пронзительный вой надрывает душу.

— Помогите!!!

Петруша видит, как заталкивают сестру в карету, рвется на помощь ей, но даже пошевелиться не может, словно пригвоздило к земле...

— На помощь!!! — он очнулся от страшного сна и с облегчением понял, что это лишь очередной кошмар... Никто не угрожает его Настасьюшке, нет ни кареты, ни метели. И Мишку никто не сечет кнутом... И сам он лежит в теплой постели воспитательного дома. Вот, только пошевелиться и впрямь не может. Все тело — в оковах точно, и в голове горячей — гул мучительный, будто бы не во сне, а наяву ударился ею Петруша о мостовую. Голова горит, а при том нестерпимо холодно. Ах, если бы Мишка сейчас был рядом! Привалиться к теплому боку его...

— Мишка... Настасьюшка...

— Что ты, касатик? — сквозь туман проступает старушечье лицо тетки Макарихи, а подле нее другое — мужское, продолговатое, в старомодном накрахмаленном парике... Это, последнее, хмурится.

— Плохо, очень плохо, — говорит парик с акцентом, вертя перед лицом Петруши какими-то трубками. — Нужно оперироват...

— Это опасно?

— Опасно, но иначе мальчика не спасти.

Как ни худо было Петруше, а слова доктора слышал и понимал он отчетливо. Плохо, значит, дело его... Неровен час — призовет Господь. Оно и нестрашно, там, отец Василий сказывал, маменька с папенькой дожидаются его. Да, вот, только Настасьюшка как же? Неужто и не проститься с нею?.. С единственной близкой душой, на этом свете оставшейся?

— Позовите мне мою Настасьюшку... — шепчет Петруша и снова проваливается в забытие. А в нем опять — только холод и мокрый снег, и они, двое сирот, живущих милостью сердобольных людей...

Младенца Анастасию в дом родителей Петруши, в ту пору детей не имевших и от того много горевавших, принес ее отец, приходившийся другом и однополчанином отцу Петруши, Прохору Васильевичу

Сермяжному. Стоял памятный 1812 год, и офицер отбывал в свой полк, на войну, а дочь, незаконно прижитую, оставить было не с кем. О матери ее сказал он, что та умерла. Сам же надеялся, вернувшись с войны, девочку забрать и дать ей имя. Но с войны ему вернуться было не суждено... Так и осталась Настасья приемной дочерью в семействе отставного капитана Сермяжного, который, утратив левую руку в сражениях с турками, в новых кампаниях уже не участвовал. Девочку бездетные супруги любили, как родную, и о настоящем отце ничего не рассказывали ей. Да и она была мала еще и, любя родителей названных, не слишком расспрашивала о родителе настоящем.

Спустя 7 лет, Господь послал Сермяжным чудо — Феодосия Никитична, будучи уже в летах, неожиданно зачала и родила Петрушу, слабенького, но бойкого мальчугана. Четыре года счастья даровано было семье, прежде чем явилось на порог горькое горе. Этот жестокий гость призвал одного за другим супругов Сермяжных, а дом их был продан за долги... Так Настасьюшка и Петруша оказались на улице.

— Ах, как жаль, что мы не знаем имени твоего отца...

— Знаем, его Павлом звали, как покойного Императора... Я его каждый день поминаю в молитвах.

— Но фамилию-то ты не знаешь...

— Петрушенька, ангел, зачем тебе фамилия моего отца? Он же давно умер. А я ношу фамилию Прохора Васильевича.

— У него могли остаться родственники. Может быть, они были бы нам рады?..

— Если у отца были такие родственники, он не оставил бы меня чужим людям...

О родственниках, которые были бы рады нищим сиротам, приходилось только мечтать. Тем не менее скитания их были недолги. Той первой нищенской зимой

Петруша жестоко простудился, и доктор, к которому принесла его, захлебываясь слезами, Настасьюшка, определил обоих детей сперва в больницу, а затем в Гатчинский воспитательный дом...

На смену кошмарному сну приходит видение радостное. Чья-то мягкая, ласковая рука ложится на покрытый испариной лоб. Петруша открывает глаза и видит подле себя дородную, богато одетую даму. Дама, по всему видно, из знатных, но смотрит на удивление сердечно:

— Что же ты, родимый, по улицам-то бродяжишь?

— У меня дома нет...

— Впредь у тебя будет дом, мой дом. Будешь одним из моих многочисленных деток.

— А сколько их у вас?

— Тысячи, родимый мой, — смеется дама ласково и целует Петрушу в лоб. — Ох, и горячий же ты, сынок! Ну, ничего-ничего, доктор говорит — поправишься. А уж я справляться буду о тебе.

— Тысячи детей... Разве такое бывает?

— Бывает, родимый, бывает!

От ласковой дамы исходит покой и тепло. И от одного ее присутствия становится легче, как легче бывает от присутствия матери. У нее и впрямь — тысячи детей. Десять родных, старший из которых — Император Российский, и тысячи усыновленных, удочеренных огромным, любящим сердцем, в котором достало места всем сиротам. «Матушка», — так часто обращаются к царицам, но лишь в отношении вдовствующей Императрицы Марии Федоровны было это святое слово не обращением лишь, но самым душевным чувством. Две царицы заменяли в России мать осиротевшим детям: царица земная и Царица Небесная...

Гатчинский воспитательный дом был одним из первых в ряду многочисленных воспитательных

учреждений, основанных Государыней. Его воспитанники по получении азов образования разделялись на три категории: наиболее способные к наукам могли совершенствоваться в них и дальше и по достижении возраста поступать в университет или же академию художеств; имевшие тягу к ремеслу обучались сапожному, столярному или иному делу; прочие отправлялись на воспитание в добропорядочные крестьянские семьи при сохранении казенного содержания, что делало таких приемышей желанными для их новых родителей. Жен приемыши затем старались брать также из сирот, ибо такие семьи получали надел земли и подъемные, что являлось хорошим зачином для новой жизни.

Настасьюшку Бог способностями не обидел. Родись она мальчиком, быть бы ей в университете! А ведь окончание оно и личное дворянство дает — совсем иная жизнь! Но барышням в университетах учиться не полагается. Зато получила Настасьюшка, как и все способные девушки, диплом, дающий право обучать детей, становиться учительницами и гувернантками в благородных домах. Эти дома для них подыскивали попечители, они же пеклись о заключении договора, дабы ни юным наставницам барских недорослей, ни их работодателям не вышло какого-либо неудовлетворения. Получив свой диплом, Настасьюшка уехала в дальние края пестовать внучку престарелого и одинокого князя Лемецкого...

С той поры остался Петруша в Гатчине один-одинешенек. И хотя сестрица писала ему так часто, как только могла, но разве могут письма заменить присутствие родного человека рядом? К тому сам Петруша совсем не мастак был писать письма, тяжело давалась ему грамота да другие науки. Его бы отдали, как других таких не прытких в учении детей, в какую-нибудь крестьянскую семью, но этому препятствовало

слабое здоровье. Хворые дети должны были оставаться в воспитательных домах, дабы получать надлежащий уход.

Да, вот, не помог уход. Снова уложила Петрушу в постель беспощадная лихоманка, и не было сил бороться с нею, и не было рядом ни сестрицы названной, ни Матушки-благодетельницы... Липнет разбухший язык к гортани, отказываясь ворочаться, мелькают перед глазами тени и болезненно яркие видения — сон ли, явь ли, не разобрать!

— Не хочу операцию... Ничего не хочу... Напишите моей Настасьюшке... Позовите ее... И Матушку позовите!..

Недаром дома для содержания умалишенных называют домами скорби. В этом Мария Федоровна убедилась, переступив порог Обуховской больницы, на плачевное положение которое обратил ее внимание сын Николай. Государю донесли о бедственном положении больных в этом заведении и кому же еще мог доверить он разобраться с оным, как не матери, имеющей особое попечение обо всех сырых и убогих?

— Ваше Величество, стоило ли вам ехать самой? — покачал головой обер-штальмейстер Муханов, сопровождавший Императрицу. — Поверьте, зрелище вам предстанет весьма тяжелое...

— Охотно верю тебе в том, Сергей Ильич, — ответила Мария Федоровна, — но случилось и потяжелее зрелища созерцать...

И куда потяжелее, — прибавила от себя. Например, тело до смерти забитого мужа и его убийц, не желающих ей, Императрице, позволить даже приблизиться к родному праху... «Уберите отсюда эту бабу!» — крикнул граф Зубов стражникам, и те силой выволокли ее из покоев убитого Государя и заперли в своих. И никакие крики, заклинания и угрозы не подействовали на караульных. Они подчинялись заговорщикам, а не своей Царице... И не своему новому юному Царю, растерявшемуся и покоряющемуся убийцам отца...

Поплакаться над телом мужа ей разрешили, лишь когда она успокоилась и пообещала вести себя «правильно». И тогда она плакала последний раз. От бессилия, от стыда, от жгучей жалости к покойному... Пусть последние годы от их любви с Павлом не осталось и следа, но ведь была же она прежде! По крайней мере,

Мария Федоровна была в этом уверена. С детских лет ее воспитывали женой и матерью, покорной воле родителей и будущего супруга. Потому и мечты ее были в высшей степени добродетельны и лишены новомодной романтики. Принцесса Софья-Доротея мечтала быть хорошей женой своему мужу и хорошей матерью своим детям. Когда ее представили вдовому наследнику русского престола, она тотчас прониклась к нему сочувствием: великий князь только что лишился любимой жены и их не родившегося ребенка! В ней, Софье-Доротее, видел он теперь надежду на возможность нового счастья! И так хотелось утешить его и подарить это счастье. Желание это стало еще сильнее, когда принцесса поняла, насколько одинок ее нареченный, лишенный даже любви венценосной матери. В его лице обрела она не только мужа, но старшего ребенка, ребенка с душою изъязвленной и никогда не перестающей страдать... Может, этого ребенка она и любила? И любовь женскую возместило ей необычайно развитое материнское чувство? Как знать... Тем не менее, упрекнуть ни себя, ни судьбу Мария Федоровна не могла. Она сделалась хорошей женой и матерью десяти детей. Даже ироничная свекровь оценила:

— Ну ты, матушка, и мастерица детей рожать!

Что ж, у каждого свой талант. Мария Федоровна никогда не стремилась играть несвойственную ей политическую роль, оставаясь в тени сперва свекрови, а затем мужа. Но когда его не стало, само собой вырвалось:

— Я должна быть Императрицей! Вы должны присягать мне!

Нет, не власти хотела она тогда. Она хотела защитить сына. Ангела Сашу. Убили заговорщики отца Павла, Петра Федоровича, убили его самого... Словно проклятие какое-то над мужской линией довлеет в

семействе этом! Так, может, самой судьбой назначено, чтобы женщины наследовали трон? И почему не ей, Марии Федоровне, занять его? К тому же Саша так юн, так чист, и уже оробел перед убийцами отца, уже не может противиться им... А она сможет! И накажет злодеев, как тому и надлежит быть! Эти два желанья — защитить сына и покарать убийц мужа — исторгли той ночью такой несвойственный ей крик, такое несвойственное желание.

Крик повис в воздухе. Но с той ночи мягкая принцесса Софья-Доротея, всегда покорная настолько, что сравнивала ее свекровь с воском, всегда незаметная, превратилась в главу семьи, сильную, твердую, властную Императрицу-мать, в полной тени которой оказалась молодая Императрица... С той ночи, в которое орошала она изувеченное чело мученика-мужа, никто больше не видел ее слез. Даже когда так внезапно и скоропостижно умер Саша, она ничем не выдала своего отчаяния. Она слишком нужна была своим сыновьям в дни междуцарствования, едва не приведшего к трагедии, и своим названным деткам. Во все траурные дни продолжала Мария Федоровна заниматься делами своих благотворительных учреждений, не отложив, не отменив ни одно. Ни единого письма не оставив не ответленным, не прочитанным. Спустишь раз, дашь слаbinу — и попробуй восстанови потом! Так и сделалась «восковая принцесса» «чугунной Императрицей»! Последнее прозвище дал ей в шутку царствующий сын Николай.

Обуховская больница и впрямь явила собой зрелище прискорбное. Грязь, полное равнодушие к больным, даже рукоприкладство в отношении их!

— Я желаю видеть здешних больных!

— Но, Ваше Величество, это может быть опасно...

— Вы не расслышали, что я сказала?

Дрожат губы у доктора, чувствует он, что придется отвечать за ненадлежащее отношение к больным, но покорствуется венценосной инспекторше:

— Как будет угодно вашему величеству...

Такого сосредоточения боли и отчаяния еще не приводилось Марии Федоровне наблюдать нигде. Со всех стороны вышли к ней истощенные, грязные люди, одетые в однообразные отрепья, с глазами блуждающими и испуганными. Когда к ним хотели приблизиться санитары, они в страхе пятились. Тогда Мария Федоровна велела никому не приближаться к несчастным, а сама шагнула им навстречу:

— Христос с вами, дети!

Как еще назвать их? Они и есть дети, ибо лишены разума и не могут позаботиться о себе... Обнадеженные ласковым тоном, они настороженно приблизились, окружили нежданную гостью. Заметила Императрица, как побледнел, видя это, чопорный добряк Муханов.

— Благодетельная мадам, благодетельная мадам... — лихорадочно затараторила растрепанная, худая женщина, бросаясь перед ней на колени и целуя ее руку. — Заберите нас отсюда, благодетельная мадам...

— Полно, милая, успокойся, я обязательно заберу тебя, — ответила Мария Федоровна, погладив ее по спутанным волосам.

А уже тянулись к ней руки со всех сторон! Тянулись, чтобы просто прикоснуться, точно к иконе, чтобы осязать, что она не сон, не видение расстроенного воображения... Бедные, несчастные люди! Большинство из них явно не заслуживают, чтобы находиться в таком аду, в нем и здоровый с ума сойдет, а как же лечить больных? Да ведь тут и не имеют намеренья лечить их, лишь бы запереть и забыть. Что за надругательство над человеком!

Обласкав всех скорбных разумом, не брезгуя ни дурным духом их, ни бурными изъявлениями чувств, Мария Федоровна возвратилась в кабинет главного врача и, помолчав несколько минут, сказала:

— То, как обходятся здесь с этими людьми, это преступление. Будь моя воля, отправились бы господа лекари в каторгу, за этакое надругательство над живыми душами. Но это решать Государю. А мое дело — позаботиться о больных. Сергей Ильич!

— Слушаю, Ваше Величество.

— Распорядись купить землю и загородный дом для тех несчастных, что не опасны для окружающих и не окончательно безумны. Переселим их туда с тем, чтобы у каждого из них был свой отдельный садик, в котором могли бы они работать. Свежий воздух, возделывание сада и огорода, забота — я уверена, что в таких условиях им станет значительно лучше.

— Если каждому безумцу создавать такие условия... — покачал головой главный врач.

— Условия должны иметь единственную цель — помочь человеку, — холодно отрезала Императрица. — Если запереть вас в грязи и смраде без света и воздуха, то однажды вы сами обратитесь в полужверя, бессмысленно бормочущего и таращащего глаза. Вы никогда не задумывались, доктор, что такое милосердие? Милостивое сердце! Если мы берем на себя обязанность заботиться о больных, вдовах, сиротах, то заботу это нельзя никак осуществить циркулярным подходом. Здесь сердце нужно! Понимаете ли вы меня? Мы же не с предметами бездушными и бесчувственными дело имеем, а с людьми живыми! Представьте себе, что скорбь постигла бы вашу мать, или вашего ребенка? Как вы отнеслись бы к ним? Вероятно, продумали бы каждую мелочь — лишь бы облегчить их страдания, а, если хоть малая надежда есть, приблизить выздоровление. Так,

вот, с такую же сердечностью надлежит обо всех страждущих печься. С таким же вниманием к нуждам их относиться. Тогда бы, верю, много уменьшилось у нас число их... Ибо для всякой болезни — любовь и забота первое лекарство.

Отдав еще ряд распоряжений по наведении порядка в больнице и пообещав проверить исполнение их в ближайшем будущем, Мария Федоровна не без облегчения покинула дом скорби. Едва карета тронулась, она надела очки и велела подать шкатулку с письмами.

— Ваше Величество, позвольте я хотя бы буду читать их вам вслух, — предложил Муханов. — Нельзя же до такой степени не беречь своих сил, в которых столь нуждаются ваши многочисленные подопечные...

— Что мне нельзя, а что можно, решать лишь мне, — отозвалась Императрица, но, однако же, махнула рукой. — Читай уж, что с тобой, заботником, поделаться.

Писем было, как всегда, много. От директрис и воспитательниц воспитательных домов, от самих воспитанников. Назвавшись их общей матерью, Мария Федоровна стремилась, насколько возможно, быть ею. Она следила за судьбой каждого воспитанника — даже и по выпуске его из приюта, помогая, если в том являлась нужда. Каждый из ее «деток» мог написать ей, и она неизменно отвечала. Если кому-то из них случалось заболеть, она обязательно посылала подарки и лакомства и с материнским вниманием справлялась о здоровье хворающего вплоть до выздоровления. И уж, конечно, ни одни именины ее подопечных не обходились без поздравления и подарка от нее.

Мария Федоровна читала немало теоретических трудов об организации сиротских приютов, богаделен, а также воспитании, но редко руководствовалась ими. Хороша ученость, нет спора, но мало полезной оказывается она там, где вперед всего нужно сердце

отзывчивое иметь да смысл здравый, хозяйскую основательность. Ведь для людей всего-навсего по-людски всякое дело устроить надо. Как собственный дом устроишь — себе на удобство и на радость, и на годы долгие. И чтобы внукам-правнукам было в нем также тепло, уютно и радостно...

Об этом отдаленном будущем, которое не суждено уже видеть своими глазами, особенно думается, когда пройденный путь стремительно приближается к семидесяти годам, и силы, прежде не ведавшие утомления, вдруг начинают слабеть... Но как думать об отдыхе, когда столько нужд вокруг, столько дел требует попечения и догляда? С той поры, как покойный супруг поставил ее начальствовать над воспитательным обществом благородных девиц и воспитательными домами, Мария Федоровна не знала ни мгновения праздности. Даже в путешествиях, трясясь по ухабам, она работала. За эти годы ею были основаны училище для глухонемых и слепых детей в Павловске, бесплатная больница для неимущих в Москве, «Институт сердобольных вдов», воспитательные дома и сиротские училища в Петербурге и Москве, дом призрения инвалидов офицеров, Екатерининские институты для девиц в Санкт-Петербурге и Москве, первое в России училище солдатских дочерей в Санкт-Петербурге, училище для дочерей Черноморского флота в Одессе, Харьковский и Симбирский женские институты...

Все это требовало средств. Из миллиона, который ангел Саша положил на годовое содержание матери, на себя Мария Федоровна тратила лишь 17 тысяч, отдавая остальное на свои благотворительные учреждения. И не с тем лишь, чтобы суммы эти проедались, но с тем, чтобы умело вложенные, обращались в собственный капитал каждого заведения, гарантирующий ему безбедное существование в случае кончины

покровительницы. Все было продумано ею с хозяйским основанием, все рассчитано на многие годы вперед...

— ...А еще, матушка-благодетельница, приключилось у нас несчастье. Совсем плохонек воспитанник наш Петруша Сермяжный. Доктор за исход не ручается и настаивает на хирургическом вмешательстве. Сам же страдалец наш бредит и зовет то сестрицу Настасью, то вас, матушку свою нареченную...

— Что такое? — прервала Императрица мухановское чтение. — Петруша Сермяжный захворал? Так надо же поехать, навестить его! Коли сынок мой меня зовет.

— Помилуйте, Ваше Величество, да неужели же вы и вправду всех ваших воспитанников помните?

— Помню, батюшка, помню, — отозвалась Мария Федоровна. — Их с сестрой на улице подобрали. Сестра — умница замечательная, лучшею ученицею была. Родилась бы мужчиной, в профессора бы вышла. А к тому красавица, и голос замечательный...

— Да, такое средоточие талантов трудно забыть, — согласился Сергей Ильич. — Что же с нею теперь?

— В Орловской губернии у князя Лемецкого служит, внучку его пестует.

— Далекое!

— Куда как... Даже если поспешит, не вскоре у одра братца окажется. Значит, тем более мне при нем быть надлежит, — с этими словами Императрица постучала тростью в крышу кареты и скомандовала кучеру: — Поворачивай на Гатчину!

Так и поворотили с полпути в любезный Павловск... Неближний путь, а что поделаешь? Коли дитя зовет, матери надлежит быть рядом...

Осень выдалась дождливой и холодной, и тем радостнее бывали погожие дни, встречаемые как подарки небес. Настасья уткнулась в букет разноцветной листвы и глубоко вдохнула прелый запах. Она всегда любила эту печально-прекрасную пору, такую созвучную ее душевному настрою. Любила звенящую тишину и огнистость красок, и особый свет позднего солнца, рассеянно струящийся сквозь прорехи редящих крон, и прощальный клик птиц...

— У вас, Стасси, в глазах осень растворена, как в этом пруду, — Арсений Дмитриевич Тарутин отодвинул этюдник и, поднявшись со скамейки, приблизился к девушке: — Вы не замерзли?

— Ничуть, — отозвалась Настасья, стараясь смотреть на гладь пруда, а не на своего спутника. — Я редко мерзну... Даже когда на улице ночевать приходилось, не простужалась.

— Совершенно не могу представить вас ночующей на улице, — покачал головой Арсений Дмитриевич. — Вы такая утонченная, хрупкая...

— Мне скоро надо будет возвращаться, и вы можете не успеть окончить ваш этюд...

— А я почти закончил, — улыбнулся Тарутин. — Извольте взглянуть? — и он с самым галантным видом протянул ей руку. Настасья коснулась ее лишь пальцами и, снова стараясь смотреть в сторону, подошла к этюднику, где ожидал ее собственный портрет, написанный акварелью...

И впрямь осенние глаза, прав Арсений Дмитриевич. И вся она, в 18 лет свои, словно бы осени этой родная сестра. Печальная, строгая... И косы огнистые с пламенем листвы сливаются. Уловил Тарутин родство

это. Кажется, он и в самом деле хороший художник, не только видящий, но и чувствующий.

— Почему вы не занимаетесь живописью всерьез? — спросила Настасья.

— А что значит всерьез? Поступить в Академию, ехать на стажировку в Европу? Писать портреты на заказ...

— Что же в этом плохого?

— Ничего, разумеется! Но, милая Стасси, я не гордец по натуре, а от того знаю, что не обладаю талантом Рокотова или Боровиковского. Да и не готов я, как сии почтенные творцы, посвятить себя одной только живописи.

— Чему же хотели бы вы посвятить себя? — неосторожно спросила Настасья.

— Вам...

Девушка вздрогнула, и щеки ее залил густой румянец.

— Зачем вы говорите так, Арсений Дмитриевич...

— Затем, что это правда. И вы это знаете, хотя и боитесь смотреть в глаза правде — так же как и мне.

Настасья подняла взгляд на Тарутина и тотчас встретила с его пронзительно синими глазами. В этом молодом человеке было много притягательного. Невольный трепет охватил девушку еще при первой встрече с ним, когда Арсений Дмитриевич заехал по какому-то хозяйственному делу к старику Лемецкому, с коим соседствовал. Молодой человек был замечательно хорош собой, мужественность соседствовала в нем с тонкостью черт, изяществом. Темные волосы подчеркивали благородную бледность лица, а синие, святящиеся глаза привораживали. Но кроме красоты, кроме обаяния, было и другое. Тарутин прекрасно играл на фортепиано, недурно рисовал, был отменно начитан. Настасье было неизменно интересно с этим человеком, им нравились одни и те же книги, музыка... Арсений

Дмитриевич несколько раз сопровождал девушке, и голос ее звучал тогда с особенной силой и чувством, потому что невольно был обращен к синеокому маэстро...

— Я не боюсь смотреть правде в глаза, — тихо ответила Настасья. — Скорее боитесь вы, а я только это и делаю. Не нужно мне было приходить сегодня...

— Вы дали слово позировать мне...

— И, как видите, держу его. Но это... в последний раз. Не нужно вам приезжать больше.

— Боитесь, что князь рассердится на вас, как уже неведомо за что ополчился на меня?

С недавних пор князь Лемецкий под любым предлогом отказывался принимать своего юного соседа. Эта перемена к Тарутину произошла в старике, когда он заметил то повышенное внимание, с которым молодой человек относился к гувернантке. От того встречи последнего с Настасьей происходили теперь лишь в редкие погожие дни во время ее прогулок по обширному и совсем одичавшему княжескому парку, и эта скрытность породила в душе девушки чувство невольной вины перед Лемецким.

— Вы знаете, чего я боюсь, — тихо ответила Настасья. — Зачем вы делаете вид, будто не понимаете?

— Я действительно не понимаю, — покачал головой Арсений Дмитриевич. — Я ведь не какой-нибудь романический Ловелас, а вы не романическая дурочка, каких соблазняют обыкновенно подобные господа. Или, может быть, вы иного мнения обо мне и подозреваете меня в дурных намерениях?

— Я ни в чем не подозреваю вас, Господь с вами, — поспешила заверить Настасья. — Но я никогда не забываю моего места в этом мире. Не забываю, кто я, и кто вы...

— Разве вы знаете, кто вы? Вы знаете лишь то, что отец ваш был офицером, дворянином, что звали его Павлом...

— Я знаю, что синица и журавль летают в разных небесах.

— Но если бы...

— Не нужно! — почти вскрикнула Настасья, измученная этим разговором. — Прошу вас, не приходите больше, не пишите ко мне... Если и впрямь в сердце вашем нет дурного умысла, то прошу: пощадите, забудьте меня. И позвольте мне забыть вас.

— Я могу принудить себя не смущать ваш покой, но не могу ни забыть вас, ни разрешить вас от этой тяготящей вас памяти. Вы не сможете забыть меня, Стасси, и знаете это.

— Да, не смогу. Вы всегда останетесь в моем сердце — светлым и благодарным воспоминанием... Я буду молиться за вас. Прощайте!

Капли мелкого, заунывного дождя, вновь зарядившего после краткой передышки, смешались с выступившими на глазах слезами. Не дожидаясь ответа, Настасья отвернулась от Тарутина и побежала прочь. Конечно, она никогда не сможет забыть человека, наполнившего ее сердце удивительной мелодией, сравнимой лишь с хором птиц ранним весенним утром! Но каково это — видеть его, слышать его признания и понимать, что все они напрасны, что журавлю и синице в одном небе не летать. А, может быть, лучше было забыть себя и пойти за ним, очертя голову?.. Испить до дна сладчайший кубок отравленного счастья и... погибнуть? Даже горячая мысль об этом опалила Настасью стыдом. Себя забыть можно, коли нет страха Божия и людского, но можно ли обмануть надежды милого братца Петруши, доверие матушки-благодетельницы и старого князя?..

— Вас, барышня, его сиятельство к себе просят, — как всегда, церемонно доложил дворецкий Игнат, едва лишь Настасья переступила порог дома.

Все в этих стенах дышало церемониалом прошлого века, словно время остановилось в них. При этом из-за малого числа слуг дом выглядел заброшенным, лишь в нескольких комнатах его теплилась жизнь. Князь не был скуп, но не любил, чтобы в доме было много людей, а потому из челяди держал лишь слуг необходимых. Снаружи усадьба Лемецкого выглядела точно также, как внутри. Дом был наполовину увит сетями плюща, сад все больше походил на лес... Последнее обстоятельство Настасью порадовало. Разделяя вкусы своей Августейшей покровительницы, приказавшей придать паркам Павловска вид возможно дикий, девушка предпочитала простоту леса изысканному убранству «в версальском стиле».

Дом же сперва пугал Настасью. Особенно вечерами, когда казалось, будто в пустующих комнатах живут приведения. В каком-то смысле так оно и было. Те комнаты в прежние времена принадлежали детям князя. Судьба была немилостива к нему, судив пережить всех своих наследников. В память о них Алексей Кириллович запретил что-либо менять в их покоях, дозволив лишь время от времени стряхивать пыль. От того и казалось, будто бы век остановился в этих стенах, будто обитатели пустующих комнат только-только вышли из них и вот-вот вернуться. Эта иллюзия, вероятно, служила утешением осиротевшему старику.

Трое его сыновей положили животы на разных войнах, четвертый погиб на охоте в дни мирные. Лишь этот, последний, оставил после себя дочь, Анюту. Девочка оказалась круглой сиротой, так как мать ее скончалась при родах. Для несчастного же Лемецкого оказалась она единственным смыслом жизни,

заставлявшем его, перешагнувшего семидесятилетний рубеж, цепляться за земное бытие в единственном желании — успеть вырастить и устроить Анюту.

Старый князь был совершенно схож со своим домом. Живой памятник екатерининской эпохе, он был всегда одет по моде своего блистательного века и безукоризненно следовал его этикету. Сперва Настасья робела в присутствии этого сурового, педантичного и требовательного затворника-аскета, чувствуя, что ее присутствие в доме тяготит его. Алексей Кириллович не любил чужих людей, практически не брал новых слуг, и лишь необходимость дать любимой внучке порядочное воспитание вынудила его принять в дом гувернантку. Будучи врагом всего иностранного, старик избрал в наставницы девочке выпускницу сиротского приюта...

В первый месяц своей службы Настасья заблудилась в коридорах обширного дома и случайно вошла в одну из пустующих комнат. Эти покои, как нетрудно было догадаться по убранству, когда-то принадлежали некой молодой особе. Тут были ее платья и иные предметы туалета, несколько книг, каким-то чудом сохранившийся засушенный цветок, а также портрет самой хозяйки — черноокой красавицы с пышными каштановыми волосами...

— Как вы посмели войти сюда? — глухой надтреснутый голос, раздавшийся за спиной, немало напугал Настасью. Старый князь, высокий, сухощавый, в черном бархатном камзоле и белоснежном парике, со свечой в руке, был похож на призрак, и лишь блиставшие гневом глаза нарушали это сходство.

— Простите, ваше сиятельство, я заблудилась... — пробормотала Настасья.

— Мой дом не столь велик, чтобы заблуждаться в нем, если только ходить по нему с открытыми глазами, а не блуждая мыслями в неведомых кущах. Никогда больше не входите сюда.

На другой день кухарка поведала девушке, что заповедная комната некогда принадлежала бесследно исчезнувшей дочери князя...

— Истинное проклятье на этом доме лежит! — качала головой старуха. — Пятеро детей, и всех Бог прибрал. Как только барин сердцем и рассудком крепок остался, ума не приложу!

Настасья подумала, что ее воспитаннице, должно быть, куда как нелегко жить в стенах, пропитанных скорбью стольких утрат. Однако, юная княжна выглядела веселой и беззаботной, контрастируя с мрачным домом. Солнечным зайчиком врывается она в темный кабинет деда, и тот преображался от смеха и щебетания своей любимицы. Глаза его наполнялись теплотой, а изрубцованное морщинами лицо, не утратившее, впрочем, прежней красоты, светилось. Раз увидев это, Настасья перестала бояться князя, одно лишь бесконечное сочувствие осталось в ее сердце к этому пережившему столько горя человеку.

Смягчился и он к ней, видя, с какой заботой относится она к своей подопечной, сделавшись Аняте не наставницей лишь, но и старшей подругой, сестрой, которой так не доставало девочке. Настасья не только обучала ее наукам, но играла с нею в салки и пряталки. Время учению, время забаве — как еще можно воспитывать ребенка? Настасье и самой едва исполнилось восемнадцать, не столь многим была она старше Аняты, чтобы детские игры стали ей в тягость.

Однажды девочка показала ей старый дуб в саду и с ловкостью белки вскарабкалась на него:

— Стасси, голубушка, полезайте за мной! Вы не представляете, как здесь чудно!

Делать нечего, кое-как подвернув подол, взобралась и наставница на могучую ветку. И впрямь хорошо было там! Вся долина, что позади парка расстилалась — как

на ладони! Деревня, дорога, река... И черная полоса леса, на горизонте небо подпирающего...

— Это мое убежище. Когда я была маленькой, мне казалось, что здесь я ближе к маменьке и папеньке. И разговаривала с ними... Даже дедушка не знает об этом. Он бы запретил бы мне, испугался бы, что я упаду.

Конечно, Настасья должна была бы запретить подопечной такие проказы. Но разве послушала бы она запреты? Конечно, нет. А доверие к наставнице-подруге потеряла бы. Так и хранили они тайны друг друга. Настасья молчала об убежище, а Анюта о сеансах живописи на дальнем пруду.

Дружба с внучкой расположила к девушке сурового деда. Старик полюбил иногда скоротать вечер в беседах с нею, вспоминая счастливые дни молодости. Окончательное же признание пришло, когда он вздумал обучить Настасью шахматам, в которые дотолле играл сам с собою. К удивлению князя девушка легко овладела премудростями игры, и в ее лице он обрел с той поры не только внимательного слушателя, но и партнера в шахматных баталиях.

Когда Игнатий известил Настасью, что Алексей Кириллович ее ждет, она сперва подумала, что князь предложит ей сыграть партию, но, едва переступив порог его кабинета, поняла, что дело совсем в ином...

— Дорогая Стасси, я хочу серьезно поговорить с вами, — старик то и дело хрустел пальцами, что выдавало его сильное волнение. — За эти месяцы вы сумели стать частью этого дома, и я чувствую себя ответственным за вас. Я знаю, что вам оказывает внимание мой сосед Тарутин...

Настасья покраснела, а Лемецкий поднял руку, не давая ей ответить:

— Я не сомневаюсь в вашей добродетельности и рассудительности. Однако же, вы еще очень юны, почти дитя... И я не хочу, чтобы с вами случилась беда.

Поймите... — лицо старика подернулось болезненной grimасой. — Вы знаете уже, вероятно, что кроме моих четырех мальчиков, у меня была еще дочь. Кстати, вы очень напоминаете мне ее, и от того тревога моя еще больше... Моя Катя исчезла однажды ночью. Сбежала с одним мерзавцем... Мой старший сын, Семен, потом отыскал его и стрелялся с ним. Убил, но следов бедной Катеньки мы так и не нашли... Впрочем, и не слишком искали, — князь тяжело вздохнул. — Ведь вы понимаете, что значит позор... Она сделалась позором нашей семьи, и потому мы постарались забыть о ней. Похоронили заживо... А теперь, когда я прихожу в наш фамильный склеп и плачу над гробами моих сыновей, то иногда с ужасом думаю: а что если моя дочь жива? Что если она нуждалась в нас, а мы не протянули ей руку? Она согрешила, но ведь на всякий грех должно быть свое прощенье... А у меня не нашлось прощенья, милости. Может, за это Господь так жестоко карает меня...

— Ваше сиятельство...

Алексей Кириллович вновь поднял руку:

— Простите, я не о том говорю... Я лишь хотел, чтобы вы поняли, почему я отказал от дома этому человеку. Почему не желаю ваших с ним встреч... И, наконец, запрещаю вам их! Слышите? Если вы хотите и дальше служить в моем доме!

Князь разволновался настолько, что не мог справиться с нервной дрожью. Не говоря ни слова, Настасья опустилась перед стариком на колени и с дочерней покорностью коснулась губами его руки:

— Ваше сиятельство, Алексей Кириллович, я даю вам слово, что ваши тревоги напрасны. Еще когда Арсений Дмитриевич бывал у вас, я разрешила ему написать мой портрет. Я обещала позировать для него и не могла нарушить слова... Сегодня он закончил портрет, и это была наша последняя встреча... Поверьте

мне! И простите, если невольно огорчила вас. Я ведь ничего не знала...

Старческая рука коснулась волос Настасьи:

— Я верю вам, милое дитя. И вашего слова мне довольно... Но, хотя вы теперь не смотрите на меня, но я вижу слезы на ваших глазах. Эта последняя встреча... Вам больно от того, что она последняя, не так ли?

Девушка вскинула голову, смахнула предательские слезы:

— Это нестрашно, ваше сиятельство. Мне очень часто бывало больно. И много больнее, чем теперь. Я бесконечно привязалась к Анюте, к вам, к этому дому. Я дорожу дружбой Анюты и вашим доверием, это практически все, что у меня есть. И я никогда не позволю себе проступка, могущего нарушить их. Даю вам слово. Пожалуйста, не тревожьтесь обо мне, не волнуйтесь ни о чем. А слезы высохнут, как дождевая вода...

— Я рад слышать это, — князь заметно успокоился. — Простите старика за этот разговор... Вы, действительно, стали частью этого дома, и... мне было бы горько лишиться вас.

От этих слов у Настасьи потеплело на сердце, и ком подкатил к горлу. Дорого стоило такое признание, исторгнутое одиноким, затворенным на все засовы сердцем! Она и впрямь оказалась нужна и старому князю, и Анюте, и этому исполненному горя дома. Куда же ей теперь от них? Ее место здесь, рядом с Алексеем Кирилловичем и его внучкой, а все прочее — химеры и только...

— Пока вас не было, из столицы пришла почта для вас. Я распорядился отнести пакет в вашу комнату.

— Ах, это, наверное, от Петруши! — воскликнула Настасья. — Позвольте ли мне удалиться, дабы скорее прочитать письмо?

Едва заметная улыбка тронула сухие губы старика:

— Все-таки я не ошибся, взяв именно вас. Когда вы приехали, я подумал: совсем юница, ребенок, какая из нее наставница моей Анюте... Но именно такая наставница и была ей, сиротке, нужна. Можете написать своему брату, что этот дом будет рад принять и его.

— Ваше сиятельство!.. — так и накрыло Настасью волной беспредельной благодарности князю. Даже и сказать на милость такую нечего, только руки целовать...

Голос Каролины Мерсье, называемый поклонниками божественным, заполнял собой весь зал. В его низком, мягком тембре слушатели находили несравненное очарование. Этот голос окутывал душу, успокаивал волнения, дарил мгновения тихого умиротворения и радости. Чашка горячего шоколада, кашемировая шаль, голос Каролины Мерсье... Уют — верный синоним этим трем столь различным материям.

В последнее время Каролина сделалась частой гостьей в Павловске. Вдовствующая Государыня давным-давно основала в своей вотчине один из первых в России литературно-музыкальных салонов. В этом находила великая труженица отдохновение от трудов благотворительности. В этом, а также в живописи и токарном деле. Императрица стала одной из первых женщин в мире, овладевшей ремеслом токаря. На своем станке она вытачивала из янтаря и слоновой кости настольные украшения, чернильницы и иные изделия. Августейшей свекрови подарила Мария Федоровна портретную камею из яшмы и агата, изображающую Екатерину в образе Минервы. Своих возлюбленных детей милосердная художница также запечатлела, выгравировав их портреты по молочному стеклу. Для пейзажей и натюрмортов Государыня предпочитала пастель и акварельные краски...

Вот, и теперь что-то набрасывала твердая рука на мольберте — не умела мать династии находиться в праздности! Каролина же услащала слух ее своим пением. В этот вечер должны были навестить Императрицу Великая Княгиня Елена Павловна и другие гости, но разразилась сильнейшая непогода, и от того планировавшийся салонный прием отменился, обратясь

тихим домашним вечером в обществе фрейлин. А также Каролины Мерсье, с радостью откликнувшейся на очередное приглашение в Павловск.

— Скажите, мадемуазель Каролина, отчего это вы, артисты, всегда берете себе иностранные имена? Ведь, вот, вы, к примеру, совершенно русская, разве я ошибаюсь? — спросила Императрица, наконец, отложив кисти и велев подавать чай.

— Нет, Ваше Величество, не ошибаетесь, — отозвалась Каролина, садясь подле Государыни и принимая из ее собственных рук чашку ароматного чая. — Видите ли, многие артисты не желали бы, чтобы их настоящие фамилии были известны. В России... очень сильны патриархальные традиции. Да и не только в России. Актерское ремесло считается позорным в глазах многих. И чтобы не ронять тень на семью...

— Какая ерунда! — пожала плечами Мария Федоровна. — Вы выступали в лучших домах Европы, вам рукоплещут монаршие особы. К примеру, я. Ваши родные могли бы гордиться вашей славой.

— Вряд ли мои родные стали бы гордиться такой славой, — покачала головой Каролина. — В моей семье славою считалось иное...

Императрица пристально посмотрела на певицу, словно желая проникнуть в тайну ее происхождения.

— Выходит, вы даже не общаетесь с ними?

— С кем?

— С вашими родными?

— Так сложилось, — уклончиво отозвалась Каролина. — Ваше Величество, мне минуло сорок лет. Сегодня я известна, независима, имею свой дом... Но было время, когда все было иначе. Я... согрешила против моей семьи, и она была права, забыв меня.

— Простите мне мое любопытство, но я узнала, что вы стали часто бывать в моем воспитательном доме, в

Гатчине. И даже купили маленький дом неподалеку от него.

— Так и есть. Впервые в жизни у меня появился свой дом. И это огромное счастье... Знать, что есть, куда возвращаться, что есть место, откуда не прогонят. Однако, этому дому не хватает тепла. А моему сердцу кого-то, о ком я могла бы заботиться...

— Вы хотите взять на воспитание кого-то из наших подопечных? — улыбнулась Императрица, и Каролина отметила, что улыбка у венценосной благотворительницы очень открытая, сердечная. Весть о том, что кто-то из ее «деток» может обрести свой дом искреннейшим образом возрадовала ее душу. Царица-мать, как подходит этой крупной, дородной, но при том очень статной женщине, это название. На портретах она отчего-то чаще выходила суровой, но Каролина, бывая в Павловске, неизменно видела ее благодушной и ласковой. Государыня с первой встречи умела внушить к себе чувство совершенного доверия, говорить перед нею было легко, и вовсе не хотелось таиться. Казалось, что сильная, мудрая и добрая Царица сможет понять все, как понимает настоящая мать...

— Да, я думаю об этом, — Каролина помолчала. — Когда-то я потеряла свое дитя, и с той поры в моем сердце образовалась странная пустота. Будто бы пустая запертая на ключ комната, в которой бродят сквозняки... Я хочу, чтобы комната эта сделалась, наконец, жилой.

— Вы могли бы выйти замуж... Вы еще молоды, и, скажу без лести, я никогда не дала бы вам сорока. Я полагала, что вам не более тридцати пяти.

— Я актриса и должна выглядеть хорошо, — грустно улыбнулась Каролина. — Что же до замужества, то кто возьмет за себя стареющую актрису? Вы же знаете, к какому сорту женщин нас относят. Да и я... Не хочу больше ни боли, ни лжи. Я когда-то погубила свою

жизнь, свое будущее. Теперь мне хотелось бы дать будущее маленькому человеку, которого лишил оно рока. Я давно думала об этом, но для такого решения нужно было твердо стать на ноги. Теперь такое время пришло, моего годового дохода вполне хватит на то, чтобы дать достойное воспитание ребенку. Если, конечно, меня сочтут достаточно благонадежной, чтобы доверить мне такое дело...

Императрица опустила свою крупную ладонь на хрупкую руку Каролины:

— Я лично буду вашей поручительницей, так что можете не сомневаться в успехе.

— Безмерно благодарна за вашу доброту, Ваше Величество! — с чувством воскликнула певица.

— В Гатчине теперь тяжело хворает один из воспитанников. Я завтра еду к нему с гостинцами. Не желаете ли составить мне компанию?

— С превеликой радостью! Не знаю, как и возблагодарить мою Государыню за такое участие...

Мария Федоровна снова пристально посмотрела на певицу. Кажется, именно этот взгляд всего точнее переносили на свои полотна художники...

— Благодарить тебе, милая, меня не за что, — сказала Государыня, сделав знак фрейлинам удалиться. — Мое дело о моих детках печься, и если кому из них готово улыбнуться счастье обрести любящую мать, так и мне то счастье. Но, ежели желаешь доставить мне, старухе, удовольствие, то расскажи поболее о себе. Имени твоего настоящего не спрашиваю, пусть оно останется твоею тайною. Но твоя судьба меня занимает. К тому же, согласись, что попечителю надлежит знать порядком, кому вручает он детскую душу.

Этого вопроса Каролина боялась. Она от того именно до сих пор и не отваживалась начать дела об усыновлении, что не желала называть себя и

рассказывать о себе уполномоченным решать такие вопросы лицам. Однако, из возможных зол всех меньшая — это представить свою исповедь Царице-матери. Перед ней исповедоваться не так тяжело, и одной ее воли довольно, чтобы решить дело к счастью Каролины.

— Покоряюсь воле милосердной попечительницы, — тихо отозвалась она. — И заранее прошу простить, если рассказ мой будет сбивчив.

— Главное, чтобы он был искренен. А слог... Слогом меня утешат мои литераторы.

— Я принадлежу к старинному дворянскому роду. Мужчины нашей семьи во все века служили России на поле брани. Именно это я имела ввиду, говоря, что в моей семье гордятся иной славой. Моя мать покинула этот мир, когда мне исполнилось пятнадцать... Я страшно тосковала о ней, так как кроме нее у меня не было ни одной близкой души... Нет, конечно, я безмерно любила и отца, и братьев, как и они меня. Но у них был свой, мужской мир. И я была в нем чужой... Однажды непогода привела в наш дом одинокого путника, чья коляска изломалась на наших ухабах, а сам он при том серьезно расшибся, повредив ногу. Мы дали ему приют под нашим кровом на все время его болезни...

— И он соблазнил вас, дитя мое?

— Он... — Каролина в волнении закусила кончик перчатки. — Он был так непохож на моих родных! Он говорил так, что голова моя кружилась от этих слов...

— И, конечно же, неописуемо хорош собой?..

— Да, он был очень красив. Но дело было не в том... Дело было в нежности, которой я никогда дотоле не встречала в мужчинах, в том, как удивительно он понимал меня, точно читал мои мысли, предугадывал всякое мое слово, движение души... Когда он поправился и уехал, я не находила себе места, сходила с ума. Я буквально заболела и чахла от тоски. Родные

приписывали мою скорбь недавнему уходу матери, траур по которой мы еще носили, но я-то знала, что скорблю не по моей несчастной родительнице, а по человеку, вдруг разом заслонившему для меня собой весь мир. Он появился вновь через два месяца, в дом наш не заехал, но подкараулил меня на прогулке и предложил бежать с ним, сказав, что не может без меня жить.

— Отчего же он не пожелал посвататься к вам?

— Отец никогда бы не разрешил этого брака, так как у моего обольстителя не было ни титула, ни чина, ни состояния...

— Что же, вы тайно обвенчались с ним?

— Если бы! В ту же ночь я бежала и сделалась его женой... Но пред алтарем мы так и не предстали. И не могли предстать, ибо, как потом оказалось, мой возлюбленный уже был женат. Он был всего лишь игрок, страстный, отчаянный. Мог в одну ночь сделаться Крезом, а в другую оказаться беднее последнего нищего. И я также была для него игрой... Игрушкой... Когда игрушка приелась, ее просто оставили на постоялом дворе, на окраине Москвы, где оказались мы после нескольких месяцев скитаний. Я проснулась однажды утром, а моего похитителя уже простыл и след. Я осталась одна, без каких-либо средств к существованию, без защиты. Что было мне делать? Вернуться в дом, который я покрыла позором, было невыносимо... Найти хоть какую-то честную работу, чтобы не умереть с голоду, казалось невозможным. Для этого нужно хоть что-то уметь, а что умела я со своим благородным домашним воспитанием? Оставалось одно — утопиться во избежание позора худшего! С этим намерением я шла уже к реке, когда увидела объявление о наборе артистов в Большой Петровский театр. Мой голос с детства заслуживал самых высоких похвал, и я решила испытать судьбу. Судьба же в тот

раз решила мне улыбнуться. Так я стала актрисой Каролиной Мерсье... Почему-то русским именам публика верит меньше, хотя русский театр был основан человеком с самым что ни на есть русским именем — Федором Волковым...

— Что же было дальше?

— Дальше... — Каролина усмехнулась. — Дальше был путь к славе. С большими изгибами, колдобинами, рытвинами и даже пропастями... Двадцать лет назад я встретила человека, который заставил меня забыть жестокий обман, который лишил меня моего имени и моей семьи. Он был офицером, как и мои братья, и очень походил на них во всем. В том числе в понятиях чести, в гордости. Однажды он заподозрил меня в неверности... Клянусь, что не была виновна даже помыслом, но он мне не поверил и уехал, заявив, что не желает больше знать меня. Через несколько месяцев появилась на свет наша дочь. Первые годы своей жизни она росла у чужих людей, а я лишь навещала ее так часто, как только могла, и платила за ее содержание. Я мечтала скопить довольно денег, чтобы уехать с моей малюткой куда-нибудь, где никто меня не знает, и жить тихо и скромно, залечивая раны, нанесенные мне жизнью.

Однажды, когда я в очередной раз приехала проведать мое дитя, мне сказали, что ее увез какой-то офицер, оставивший для меня записку. В записке было сказано, чтобы я не вспоминала впредь о дочери. Что она не нуждается в подобной матери, и что ее отец позаботится о ее судьбе, дав ей имя и воспитание, подобающее его дочери.

— Какая жестокость! — воскликнула Императрица, живо тронутая драматическим рассказом.

— Он считал, что я изменила ему, предала. И в то же время считал долгом позаботиться о своей дочери. В том, что она его, сомневаться ему не приходилось — у

нее над губой, знаете ли, характерная родинка, в точности, как у него...

При этих словах Государыня отчего-то нахмурилась.

— Характерная родинка над губой... — повторила она. — Интересно...

— Что-то не так, Ваше Величество?

— Нет-нет, ничего. Продолжайте, моя милая. Что же, вы не пытались найти свою дочь?

— Пыталась, но безрезультатно. Сперва я была слишком потрясена и не знала, куда бежать. К тому же я понимала, что у законной дочери своего отца будущее будет совсем не то, что у незаконно прижитого ребенка певички... Я не хотела портить жизнь своей дочери. Что могла дать ей такая мать, как я? Много позже, обретя известность, я пыталась что-то узнать. Не для того, конечно, чтобы явиться моей девочке незванным призраком, но лишь для утешения собственного сердца. Но мне ничего не удалось выяснить, кроме того, что мой бедный капитан погиб в сражении с французами. Что же стало с нашей дочерью, никто не мог сказать мне. Никто даже не знал о ее существовании. Кто знает, может быть, Господь призвал ее также...

— Как звали вашу малютку?

— Анастасией, в память моей матери...

Снова какая-то странная тень пробежала по лицу Императрицы. Она тряхнула головой, словно отгоняя навязчивое видение, и сказала мягко:

— Вы много выстрадали, моя милая. И не мне судить вас. Я благодарю вас за то чистосердечие, с которым вы поведали историю вашей нелегкой жизни. Обещаю вам мое покровительство, и надеюсь, что наш воспитательный дом подарит вам то, о чем тоскует ваше сердце.

— Благодарю вас, Ваше Величество, за то великое снисхождение, с коим выслушали вы исповедь моей беспутной жизни.

— На дворе теперь совсем дурно, оставайтесь ночевать в Павловске. А днем, если распогодится, отправимся проведать наших подопечных!

Давно уже не было так тепло на душе у Каролины, как после этого казавшегося ей столь тяжелым и пугающим разговора с Государыней. Ее душу переполняло чувство бесконечной признательности и вместе с тем живительной надежды на новую жизнь, в которой уже не будет она одинока. Растроганная сочувствием Императрицы и исполненная самых отрадных мечтаний, Каролина покинула покои Марии Федоровны. Та же, в задумчивости глядя на свой этюд, запечатлевший черноокую красавицу-певицу с чудными цвета темного пламени волосами, повторила отрывисто:

— Характерная родинка над губой... Анастасия... Возможно ли быть подобному совпадению?..

Расстояние от Орловской губернии до столицы преодолела Настасья в считанные дни — фельдкурьерам на зависть! Мчалась она по расквашенным осенью дорогам, практически не делая остановок, не жалея ни себя, ни лошадей, ни денег, щедро данных на дорогу и иные возможные нужды старым князем. Алексей Кириллович с трудом сдерживал слезы, отпуская юницу-наставницу в дальний путь. Видно было, что старик боится не увидеть ее вновь, несмотря на все обещания девушки, что она вернется тотчас, как Петруша поправится и сможет ехать с нею, что будет всякий день писать...

— Анята, берегите, пожалуйста, деда, — шепнула на ухо воспитаннице, прощаясь. — Он у вас человек редкий, заботьтесь о нем до моего возвращения.

— Главное, возвращайтесь скорее, Стасси, — ответила девочка. — Пусть ваш брат поправится как можно быстрее. Мы будем очень скучать по вам!

В Гатчину карета въехала уже за полночь, и на стук Настасьи долго никто не отвечал. Наконец, дверь ей открыла старуха-смотрительница по прозвищу Макариха, сплеснула руками:

— Что ж ты, дитяtko, в двери-то колотишь? Нешто можно? Ночь на дворе, спят все!

— Я ведь с дороги, Марья Макаровна, от самого Орла на перекладных без остановок! Куда же мне было колотить еще? Где Петруша? Что он?..

— От самого Орла! — протянула старуха. — Да ты, милая, смотри себя-то не загони до болезни заради братца своего. На тебя же смотреть страшно — до чего ты бледна и дрожишь как в лихорадке!

— Это ничего, — вымученно улыбнулась Настасья. — Я сильная, меня и простуды стороной обходят. Петрушато, Петруша как?

— Да как... — Макариха пожала плечами. — Доктор рассказывает, худо. Но как будто бы в последние дни хуже не сделалось, а это уже и не худо...

— Марья Макаровна, отведите меня к нему, пожалуйста!

— И речи быть не может! — старуха поджала сухие губы. — Сперва переоденься, вымойся с дороги, чаю горячего испей, дух переведи, а поутру порадуешь братца приездом.

— Но Марья Макаровна!

— Спит твой брат теперь! Почивает, сердечный! Будить ты его собралась, что ли? И зачем? Чтобы он тебя вот такую, бледную и умученную, увидел и уже за тебя перепугался? Нет уж, не будет того! Вот, отдохнешь и явишься к страдальцу нашему бодрюю и румяною, какой и надлежит ему тебя видеть.

Скрепя сердце, принуждена была Настасья признать, что Макариха права. Будить среди ночи больного и пугать его своим изможденным с дороги видом не годилось. Да и себя доводить до обморока — также. Петруше она здоровой и бодрой нужна, а не на соседнем одре лежащей... Покорно скинула с себя девушка дорожное платье, с удовольствием омылась согретой старухой водой, выпила обжигающего чая на травах и... провалилась в глубокий сон, коего настоятельно потребовало разбитое долгой дорогой тело.

Утром Настасья очнулась от большого шума и, прислушавшись, догадалась, что воспитательный дом почтила своим визитом матушка-благодетельница. Улыбка коснулась уст девушки при воспоминании об этих визитах. Государыня самолично проверяла каждую мелочь — вплоть до целостности и чистоты белья,

привозила своим «деткам» многочисленные гостинцы и, самое главное, подолгу общалась с ними, расспрашивая обо всем, помня каждого воспитанника в лицо и по имени. Никто не оставался без материнского поцелуя, без ласкового слова. От того приезд Августейшей Матушки был всегда большим праздником для детей.

Настасья стала спешно одеваться: экая же она сонная тетеря! Поди уже и завтрак проспала! И Макариха не разбудила! Хотя ей, должно быть, и не до того с августейшим визитом... В этот миг в комнату как раз просунулась запыхавшаяся старуха:

— А, проснулась, сердечная! Ко времени! Матушка к братцу твоему проследовать изволила. Она к нему уже раз навевалась, когда всего хуже было ему. После ее посещения маленько полегчало голубчику нашему... Так что поспешай, пока милостивица не уехала! Очень она возрадовалась, что ты здесь, и велела немедленно звать тебя.

Кое-как прибрав непокорные волосы, Настасья почти бегом бросилась в комнату, куда на время болезни был помещен Петруша. Императрица сидела на его постели, спиной к двери, и о чем-то весело говорила с ним. Чуть поодаль стояла уже немолодая, красивая дама, тотчас обернувшись, едва Настасья появилась в дверях. Девушка удивленно остановилась. Это лицо было ей определено знакомо! Этот правильный овал, гордый лоб, темные, печальный глаза, эти прекрасные каштановые волосы... Ну, конечно же! Портрет в доме Лемецкого! Портрет его дочери Катюши... Конечно, девушка с портрета была много моложе этой дамы, и все же сходство было поразительным!

В свою очередь дама также как-то странно смотрела на Настасью. Хмурилось неведомой мыслью бледное чело...

— Настасьюшка! — раздался в этот миг радостный вскрик Петруши. И забыв обо всем, девушка бросилась к

брату. На мгновение она забыла и о Государыне, и о странной даме, похожей на портрет. Обнимая и покрывая поцелуями Петрушу, словно стараясь ему передать свои силы, напоить его ими и так возвратить к жизни, она быстро-быстро говорила мальчику о том, что совсем скоро они уедут отсюда и будут жить вместе.

— Князь Алексей Кириллович сам пригласил тебя! Он удивительно добрый человек, вот увидишь!

— Алексей Кириллович?.. — раздался внезапно дрожащий голос.

Неизвестная дама так и стояла в отдалении, только лицо ее сделалось белее полотна. Она неожиданно пошатнулась, и Настасья бросилась к ней:

— Осторожнее!

Следом устремилась и Императрица. Вдвоем они усадили теряющую сознание женщину в кресло, и Августейшая Матушка протянула ей свои соли:

— Ну-ну, милая моя, вы нашего больного этак перепугаете!

Петруша, удивленный происходящим, присел на кровати и, широко раскрыв глаза, наблюдал, как сестра и Царица приводят в чувство красивую незнакомку. Когда та, наконец, пришла в себя, Государыня опустила руки на плечи ей и Настасье и сказала:

— Мне кажется, сударыни мои, что вам двоим нужно поговорить наедине. Предлагаю вам пройти в приемный покой, а мы, — она обернулась к Петруше, — еще немного потолкуем с нашим болящим. Как, сынок, не утомили мы тебя?

— Совсем нет, Ваше Величество!

— Ну и славно, — Императрица снова уселась на постель мальчика и принялась разбирать с ним какие-то рисунки. Настасья же, поддерживая под руку все еще едва держащуюся на ногах незнакомку, провела ее в приемный покой, где та бессильно опустилась на диван.

Темные глаза, исполненные боли и подернутые пеленой слез, устремились в лицо девушке.

— Скажите мне, прошу, ваше полное имя! — попросила дама.

— Настасья Павловна Сермяжная...

— Павловна... — прошептала незнакомка. — Конечно же, Павловна... Вам 18 лет теперь, я не ошиблась?

— Скоро исполнится 19.

— Да... 22 декабря...

— Откуда вы знаете? — вздрогнула Настасья.

— Да как же мне не знать! — вскрикнула дама. — Если именно я без малого 19 лет назад, вьюжной ночью 22 декабря произвела на свет младенца, названного в память моей несчастной матери Анастасией! — она резко встала, опустила дрожащие руки на плечи онемевшей девушки. — Павел Иванович Дубницкий, так звали твоего отца, который отнял тебя у меня и запретил искать, не желая, чтобы мать-актриса бросала тень на его дочь... Да простит его Господь за это злодеяние!

— Вы моя мать?.. — дрогнувшим голосом спросила Настасья.

— Мне не нужно было даже знать твоего имени... Ты почти копия своего отца. И эта родинка над твоей губой — у него была в точности такая же!

Потрясенная девушка отступила на шаг. Теперь уже ей сделалось немного дурно от такой негаданной встречи. Инстинктивно она подошла к окну, от которого шла едва уловимая прохлада, оперлась ладонями о подоконник.

— Скажите, — проронила она, — это ведь ваш портрет висит в третьей правой комнате второго этажа дома князей Лемецких?

Женщина безмолвно закусила губу, но не ответила. Настасья вгляделась в искаженное мукой и отчаянием лицо и почти шепотом dokonчила вопрос:

— Вы княжна Екатерина Алексеевна Лемецкая?

Княжна выпрямилась, отерла слезы:

— Может быть, я была ею когда-то давно, в иной жизни. Но Екатерина Алексеевна умерла... И теперь есть только певица Каролина Мерсье.

— Вы должны ехать домой... — тихо сказала Настасья после продолжительной паузы. — Ваш отец...

— Стало быть, он еще жив!..

— Жив. И много скорбит о том, что когда-то давно не нашел прощенья для своей единственной дочери, не протянул ей руку помощи...

— Он так сказал вам?..

— Да, это его подлинные слова.

— Сказать так, считая дочь мертвой, одно, а простить живую, такую, как я, совсем иное... — покачала головой Каролина. — Я не могу ехать к нему, Настасьюшка... Да и ему не нужно знать, что я жива.

— Знаете ли вы, что ваш отец похоронил четверых сыновей?..

— Что?! — сплеснула руками княжна. — Мои братья?..

— Они погибли. Так же, как и мой отец... У вашего отца осталась лишь внучка, дочь вашего младшего брата. А теперь оказывается... — от волнения у Настасьи перехватило горло. — Оказывается, что внучек этих две? Что Анюта мне сестра, а Алексей Кириллович дед? Господи... Вот, значит, почему мне так хорошо было рядом с ними! Значит, они моя семья!

Каролина робко коснулась волос девушки:

— И я также... Девочка моя, я ведь никогда не отказывалась от тебя, никогда не забывала о тебе... Я не виновата в том, что нас разлучили!..

Настасья не дала ей договорить, повиснув у нее на шее:

— Я знаю, матушка, знаю! И теперь все будет иначе! И никто не разлучит нас больше! Но вы должны,

должны поехать к отцу. Он примет вас, и воскресение дочери будет для него счастьем!

— Нет... Нет... — княжна испуганно качнула головой. — Я не смею предстать перед ним, я слишком много виновата...

Дверь приоткрылась, и на пороге явилась высокая, статная фигура Императрицы.

— Я прошу извинить меня, что вторгаюсь, — весело сказала она, — но, уж коли я нечаянно услышала конец вашей беседы, то позвольте мне вынести вердикт по вашему спору. Ты, матушка, — обратилась Государыня к Каролине, — изволь-ка не дурить. Отец твой стар и не смеешь ты вынуждать его покидать этот мир с камнем на сердце, что он родную дочь не выручил из беды. Обоим вам друг у друга прощения испросить следует, и на том примириться для счастья этой прекрасной девушки, — Мария Федоровна кивнула на Настасью. — Будь она знатного рода, так своим к наукам рвением саму княгиню Дашкову превзошла бы. Ты что же, хочешь, чтобы она и дальше в гувернантках прозябала, имея деда-князя, которому такая внучка в конец дней истинный дар Божий после всех его потерь?

— Ваше Величество... — попыталась вступить за мать Настасья, но Государыня продолжала:

— Вы обе должны ехать к старику, пасть ему в ноги и сказать все, как есть! На том вам мое царское благословение. А чтобы и тень мысли о каком-то там позоре в его голову не приходила, объявите ему, что, когда его старшая внучка, княжна Анастасия Павловна, найдет себе мужа по сердцу, то сама Императрица будет ей посаженной матерью и крестной ее первенца. Вот, вам весь мой сказ, наказ и приказ. Ослушания не дозволю!

— Ваше Величество! — Каролина с рыданиями упала в ноги Императрице. — Не знаю, как благодарить вас за такую бесконечную щедрость к нам!

Опустилась на колени и Настасья:

— Век будем Бога молить о вас, Матушка!

— Полно уж, — поморщилась Государыня. — Нечего подолами полы натирать. Оставляю вас теперь. Думаю, разговоров вам хватит надолго и без меня.

С этими словами Августейшая благодетельница матерински расцеловала обеих княжон и, лучась радостью, отбыла в любимый Павловск, предоставив мать и дочь друг другу.

Эпилог

Права была Анята, когда называла свой заповедный дуб самым чудесным местом на земле. А весной, когда парк наполнен самыми изысканными ароматами и птичьим граем, только раю небесному и можно его уподобить. Устроившись на могучей ветви, княжна Анастасия Лемецкая, удочеренная старым князем Алексеем Кирилловичем, дабы незаконнорожденное дитя обрело все права законной наследницы старинного рода, задумчиво смотрела вдаль.

Как причудливо иногда меняется жизнь! Каких-то полгода назад она, Настасья, была лишь бедной сироткой, гувернанткой в знатном доме. Теперь она княжна, у нее есть мать и не чающий в ней души дед, которого полюбила она всем сердцем и старалась проводить с ним как можно больше времени.

Алексей Кириллович преобразился в эти месяцы, словно помолодел лет на десять. Он сделался необычайно бодр и оживлен и даже затеял строительство школы для крестьянских детей, в которой Настасья вызвалась преподавать. Преобразился вместе с хозяином и его дом, растворивший свои ставни, впусивший в сумрачные залы солнечный свет, наполнившийся радостными голосами и детским смехом.

В лице Петруши маленькая княжна Анята обрела верного друга своих детских игр, в которых проводили они все время, исключая часы занятий. Подчас и Настасья охотно присоединялась к их забавам.

Ее мать, примирившись с отцом, сочла все же не должным воскресать для всего общества, привлекая внимание к и без того пострадавшей семье. Она предпочла остаться для всех тою, кем знали ее уже

многие годы не только в России, но и в Европе — певицей Каролиной Мерсье. В родном же доме она подолгу жила под видом гостыи, после чего снова отбывала в столицу или на гастроли. Будущее же Настасьи было обеспечено удочерением ее князем...

Лишь одно печалило сердце молодой княжны. Когда она вместе с матерью и Петрушей возвратилась в усадьбу Лемецких, то обнаружила, что соседнее поместье опустело — Арсений Дмитриевич покинул его, и немногочисленная челядь не знала даже, в каком направлении и надолго ли убыл барин... Перед отъездом он отправил Настасье пакет, в котором оказался ее акварельный портрет. Таким было прощание без слов, без писем, которых она просила ей не писать...

Теплый майский ветер ласково звенел молодой листвой. Промелькнула стремительной огневицей белка и скрылась в полусумраке кущ. Солнце лениво клонилось к реке, возвещая приближение закатного часа. Пора было покидать «приют непозволительных мечтаний» и спешить домой — к ужину и очередной шахматной партии. Внезапно вдалеке, на дороге, ровною лентою стремящейся с холма, появился одинокий всадник. Ни его, ни коня невозможно было разглядеть на таком расстоянии, но у Настасьи радостно задрожало сердце, и она, легко соскочив на землю и мало беспокоясь о правилах хорошего тона, побежала к дороге — навстречу неведомому, но предугаданному всаднику.

**Граф Амура — хозяин Сибири
(Николай Николаевич
Муравьёв-Амурский)**

Конная команда мчалась по тульским дорогам в парадном строю. Кто знает, где удастся настигнуть Государя? Нужно во всякий миг быть как на Высочайшем смотре! Промчался Его Величество по тульской земле что вихрь, не дав знать о приезде своем, не сделав остановки. Совсем в своем обычае! Не любил Самодержец пышных встреч и кортежей, колесил по всей стране, как простой путешественник. Даже конвоя не брал с собой, а лишь жандармского генерала Орлова. На станциях попутных никто и не ведал, что сам Государь проезжать мимо изволят...

— Эй, любезный! Не проезжала ли здесь бричка с двумя генералами?

— Так точно, ваше превосходительство, часа два тому изволили проследовать!

Шибко забирает Его Величество, попробуй догони! Но догнать надо. Хотя не сделал Государь остановки в Туле, а адъютанта с дороги послал к губернатору: мол, разговор есть срочный, поезжай следом. Вот, и мчался Муравьев с командой по пятам царским, недоумевая странному Высочайшему распоряжению.

Наконец, к вечеру, у станции Сергиевская разглядел Николай Николаевич бричку и высоченного роста генерала, дававшего какие-то распоряжения. Это, конечно, не Государь был, а его неизменный попутчик Орлов²⁷. Увидев подъезжающих всадников, он широко раскинул руки в приветствии:

— А, догнали все-таки, Николай Николаевич!

— Не без труда, Алексей Федорович, не без труда! — отозвался Муравьев, спешиваясь. — А где же...

Орлов предупредительно поднял руку: Император не желал раскрывать инкогнито.

— Пройдите в дом, вас ждут!

Еще более озадаченный Муравьев, велев своим людям языками не трепать и устраиваться покамест до распоряжений, прошел в избу станционного зрителя. Там, за накрытым по русскому обычаю столом с самоваром да разною выпечкой, сидел, о чем-то весело беседуя с хозяйкой, сам Государь. Завидя губернатора, он сделал ему знак рукой подойти:

— Рад тебе, Николай Николаевич! Проходи, почаевничай со мной, — и повернувшись к хозяйке, прибавил: — Прости, матушка, должно нам теперь о важном деле потолковать!

Зрительша, дородная, румяная баба, тотчас поднялась из-за стола и, пожелав «их высокопревосходительствам» доброй трапезы, ушла.

— Прелюбопытная бабенка! — сказал Государь. — За то время, что я здесь, наговорила мне столько всяческих историй, что был бы я писателем, на книгу бы достало. Про всех тутошних помещиков, чиновников, заезжих путников вроде нас с тобой... И ведь как говорит! Не язык, а перец! Но, клянусь тебе, дольше получаса я бы этого перца уже не выдержал. Так что ты как нельзя более ко времени.

— Рад служить, Ваше Величество!

— Знаю, что рад, — кивнул Николай. — Потому и звал тебя, что радость и ревность твою вижу. Знаешь ли, какой шум в Совете наделал твой доклад о необходимости отмены крепостного права?

— Могу себе представить.

— Конечно, можешь. Иные уже записали тебя в якобинцы, называют опасным либералом и даже бунтовщиком. И требуют, между прочим, твоей отставки, как опасного для государства элемента.

— Ваше Величество желает удовлетворить эти требования? — приподнял бровь Муравьев, сисясь понять, что же сулит ему этот Высочайший прием.

Государь не ответил, принявшись вместо этого с основательностью намазывать маслом румяный блин.

— Ты не пренебрегай трапезой, — сказал он. — Наша хозяйка страшная болтушка, но прекрасная кухарка. Не обижай ее стряпни.

Муравьев покорно отдал должное хозяйкиной кулебяке. После долгого пути она была весьма кстати.

— Знаешь, — Николай отер руки салфеткой и посерьезнел, — я согласен с твоими хулителями. Такому якобинцу как ты не место в таком мирном и тихом захолустье, как твой самоварный рай.

— Я готов вновь отправиться на Кавказ! — воскликнул Муравьев.

— Кавказ... — задумчиво промолвил Государь. — Хорошее место для укрощения слишком пылких сердец. Но есть место и получше. Сибирь, например.

Николай Николаевич нахмурился:

— Неужели я имел несчастье до такой степени прогневить Ваше Величество?

— Именно, — кивнул Император, наполняя водкой две рюмки. — Ты до такой степени прогневил меня, что я решил отправить тебя в Сибирь... генерал-губернатором! С чем тебя и поздравляю! — с этими словами самодержец приподнял свою стопку, и Муравьев, от неожиданности на мгновение потерявший дар речи, едва сообразил чокнуться с Августейшим сотрапезником. Он готов был ко всему и в том числе к опале, но такого поворота ожидать не мог никак! Глаза Николая, между тем, смотрели весело, и красивое лицо его выражало явное удовольствие произведенному впечатлению.

— Что скажешь? Как тебе идея сменить Тулу на Иркутск?

— Скажу, что о лучшем поприще я не мог бы и мечтать! — с жаром воскликнул пришедший в себя Николай Николаевич. Это и впрямь было больше, чем

мог он мечтать. Получить под свою власть громадный, едва обжитой и толком неисследованный край — какое необъятное пространство для деятельности! От Красноярска до Охотского моря! Это, действительно, не Тула и даже не Кавказ! Там будет, где развернуться, где приложить все недюжинные силы свои, которым уж конечно тесно приходилось в самоварном раю!

— Лучшее поприще? — Государь усмехнулся. — Дикий край, потонувший в произволе и лихоимстве...

— Как старший блюститель законов и первый защитник казны, я искореню и произвол, и лихоимство, — твердо сказал Муравьев.

Николай внимательно посмотрел на него, кивнул:

— Вот, поэтому я тебя и выбрал. У тебя есть воля и решимость. И бесстрашие. Даже в отношении меня. Мне нужен в Сибири человек железный и неподкупный. Который наведет там порядок. Я видел тебя на Кавказе и здесь. И думаю, что ты именно тот человек, который нужен Сибири. И мне.

— Это великая честь для меня, — ответил Муравьев. — Выходит, Ваше Величество согласны с изложенным в моем докладе?

— Я считаю освобождение крестьян своей главной задачей, но, увы, не все делается так быстро и так просто, как нам бы того хотелось. И не думай, что с Сибирью у тебя получится справиться просто. Там ты наживешь врагов куда больше, чем здесь.

— Я не боюсь врагов, Ваше Величество. Они атрибут всякого порядочного человека.

— Понимаешь ли ты, с каким необъятным числом трудностей и задач предстоит тебе столкнуться?

Для сколь-либо достаточного понимания требовалось, разумеется, собрать как можно больше сведений о своей будущей вотчине, но и не вовсе же без ведома о ней был Муравьев, а потому стал перечислять:

— Золотопромышленность и торговля. Столь богатый край должен обогащать государство Российское, а не карманы нечистых на руку дельцов. Недаром Ломоносов писал, что Россия Сибирью прирастать будет!

— Да, в Сибири народ распущенный, возьми их хорошенько в руки.

— Необходимо исследование Амура на предмет выхода к Великому океану и решение пограничного вопроса с Китаем.

— Наши ученые мужи утверждают, что Амур несудоходен.

— Наши ученые мужи не могут этого утверждать, так как ни один из них не прошел по нему, не исследовал порядком этого края. Не составил описания Сахалина и Камчатки...

— Полагаю, что до Камчатки и тебе не добраться. Слишком много потребуется времени и весьма затруднительно, — заметил Государь.

— Постараюсь и туда добраться! Добрался же туда мой прадед, Степан Воинович, вместе с Берингом²⁸, — уверенно отозвался Муравьев, уже наметивший экспедицию на Камчатку первой из других по вступлении в должность. Что это за генерал-губернатор, который не знает своих владений, а одну лишь свою столицу? Какой толк от него? Нет, он, Николай Николаевич, не будет полагаться на непроверенные сведения, на чужие голоса, он сам изучит вверенный его попечению край, дабы доподлинно знать и нужды его, и возможности. Только тогда можно будет вполне отвечать за него и обустривать его по уму, а не по отвлеченным теориям, как делал то прежний сибирский губернатор Сперанский, заведший в медвежьем углу почти

республиканские установления с совещательными органами и прочей беспочвенной ерундой.

— У тебя возьмут Камчатку, а ты только через полгода узнаешь, — вздохнул Государь, взглянув в окно, за которым окончательно смерклось.

— Никто не возьмет у меня Камчатки. И найду способ защитить наши территории от любых посягательств. И прежде всего — английских. Восточный океан с его морями, как известно мне, обращает на себя внимание европейских морских держав. Овладение Амуром англичанами может дать им прекрасную возможность для экспансии во внутренние провинции Китая, на наш Дальний Восток и далее в Сибирь! Мы обязаны использовать наши географические преимущества и не допустить этого. Поверьте, Государь, у меня довольно твердости и постоянства, чтобы выполнить все то, что я вижу и представляю. Единственное, против чего я не умею бороться, это неблагонамеренность... А все дела Камчатки и Охотского моря, особенно после всеобщего европейского мира в 1815 году, положительно свидетельствуют, что в последние 35 лет враждебный дух руководствовал всеми нашими действиями в этой стороне!

Николай с любопытством посмотрел на Муравьева:

— Ты очень самоуверен. Посмотрим, насколько это хорошо в деле. Если ты оправдаешь мои надежды и свои заверения, то можешь быть уверен, я сумею вознаградить тебя по достоинству.

— Государь, лучшей наградой будет, если Вы разрешите мне направлять некоторые мои обращения на Ваше Высочайшее имя. Я полагаю ехать быстро, как то и требуется, но не хотелось бы, чтобы мои кони увязли в болоте бюрократии, утягивая за собой и всадника.

— Я даю тебе такое право, Муравьев, — кивнул Император. — Но будь осторожен и не гони своих коней чересчур быстро, ведь их можно и загнать...

— Прошу также дозволения доводить до Вашего Высочества с полной откровенностью о безобразиях, какие потребуют Вашего Высочайшего вмешательства!

Последовал еще один кивок, и Муравьев почувствовал, что поймал главную жар-птицу своей жизни!

— За официальным назначением поедешь за мною в Петербург. Конвой свой отпусти назад, нам эскорт не нужен.

В ту ночь глаз Николай Николаевич не сомкнул. Шутка ли сказать, в 38 лет он сделался хозяином территории, равной целой Европе, но при том толком неизвестной. Со времен Ермака обживали ее вольные люди, они же пролагали первые пути по ней. Но так и осталась Сибирь для России краем непознанным. Спросите самого просвещенного человека, и что ответит он? Снега, холода, пушнина, каторга... И ведь даже ни искры любопытства к краю, одна только карта которого восторг внушает! Реки, скалы, озера — чего только нет там! А чиновникам пришлым да дельцам местным только бы пенки снять, хозяйствовать никто не хочет. Золота намыли, пушнины набили и веселись душа! Да и что взять с этих разбойников, если сам военный министр Чернышов изволил мнение высказать, что сибирский люд к России, де, относится худо, и сама эта Сибирь России лишь обуза, а потому надобно отложить ее. И это человек, доблестно защищавший Отечество от французов, успешно выполнявший секретные миссии в Париже!

Будущее поприще не внушало Муравьеву робости. С юных лет он был уверен в себе и своем предназначении к чему-то великому. Да и почему было ему не питать такой уверенности? Сын родовитых и достойных

родителей, он окончил Пажеский корпус первым в своем выпуске, после чего вот уже 20 лет служил Отечеству сперва на военном, а затем на статском поприщах. Боевое крещение было принято им в русско-турецкой войне при осаде крепости Варны. Затем последовало подавление польского восстания и Кавказ. На Кавказе Николай Николаевич участвовал в нескольких походах против горцев, а затем был назначен начальником одного из отделений Черноморской береговой линии. Здесь понадобилось действовать уже не только мечом, но и дипломатией. Именно дипломатией удалось Муравьеву склонить к миру в Абхазии три прибрежных племена и покорить убыхов... Ранение помешало Николаю Николаевичу продолжить военную службу, и после лечения он был определен на должность тульского губернатора. И, вот, наконец, свершилась судьба! Открылась дорога, из глубины веков завещанная прадедом — сподвижником Беринга! И захватывало дух перед нею...

Все же удивляло Муравьева столь внезапное доверие к нему Императора. Доблестной службы на Кавказе и смелого доклада против крепостничества как будто бы маловато для оного? Но подсказывало сердце разгадку — знать, не обошлось дело без доброй феи, без той, кого Государь называл самым ученым человеком в Августейшем семействе, и кому с отроческих лет отдано было сердце Николая Николаевича...

Ему было пятнадцать, когда его, первого ученика Пажеского корпуса, определили пажом к юной Великой княгине Елене Павловне. Трудно было вообразить себе женщину более совершенную, более прекрасную наружностью, нежели она. К наружности же присовокуплялась изумительная мудрость. 16-летняя вюртенбергская принцесса, приехав в Россию, тотчас очаровала всех. Девушка на удивление хорошо владела

русским, довольно знала историю и словесность своей новой родины. Это позволило ей с основанием хвалить «Историю Государства Российского» и рассуждать об особенностях древнеславянского языка, покорив вечных антиподов — Карамзина и Шишкова. Она умела найти общую тему с каждым, ее такт и обаяние решительно никого не могли оставить равнодушным. Михайловский дворец, подаренный Государем ей и ее мужу, Великому князю Михаилу Павловичу, стал сердцем культурной жизни Петербурга, все просвещенное и талантливое стекалось туда... Муж много уступал своей удивительной жене, круг их интересов был весьма различен, и душевной близости между супругами так и не явилось. Таким образом юная Великая княгиня была в сущности одинока при всей пышности окружавшего ее общества.

Возможно ли было не полюбить такую женщину? Когда 15-летний паж стоял за спинкой кресла своей повелительницы, сердце его сладостно трепетало, когда же она говорила с ним, лицо его покрывалось краской до самых ушей... Доглядчивые фрейлины вовсю тешились над бедным воздыхателем, а сама повелительница смотрела ласково-сочувственно. И в этом сочувствии был приговор. Что-то вроде «Но я другому отдана, и буду век ему верна»... Паж мог только служить своей обожаемой госпоже. Но это была совсем не та служба, о какой грезил он. Пылкому юношескому сердцу мечталось защищать свою прекрасную даму с мечом в руках и умереть у ее ног со словами последнего признания на устах! Но от кого было защищать окруженную всеобщим почитанием повелительницу? Случая доблестно умереть у ее ног (а еще лучше — на ее руках! Под градом ее запоздалых слез!) ничто не предвещало... И оставалось лишь мечтать, поедать глазами предмет обожания и терпеть хихиканья фрейлин. Счастье еще, что пажеские

мучения завершились вместе с Пажеским корпусом, и молодой офицер поспешил остужать пыл на театр военных действий.

Ныне, получив назначение в края недостижимо далекие, Николай Николаевич счел необходимым нанести визит предмету своей отроческой страсти. Достигнув столицы, он направился напрямик в Михайловский дворец, где был тотчас принят его хозяйкой.

Минувшие 20 лет мало изменили Елену Павловну. Высокая, стройная, но не худая, с плечами плавными и округлыми, с шеей, которую в старину непременно называли бы лебязьей, она была совершенством. Греческие богини непременно уступили бы ей в грации и идеальности пропорций... А лицо!.. Красота — пустое слово для такого лица! Лучится оно и умом, и природной жизнерадостностью... И какое замечательное сочетание королевского достоинства и человеческого обаяния...

— Счастлива видеть вас, генерал, и приветствовать в новой должности!

Муравьев поклонился и поцеловал протянутую руку, ощутив в груди давно забытый трепет:

— Я почел своим долгом проститься с вами, Ваше Высочество, перед дальней дорогой! Мне показалось, что я сделался бы невеждой, уехав, не попрощавшись.

— Вам показалось верно... — мягкая улыбка коснулась филигранно очерченных губ. — И я ждала вас.

Опять дрогнуло позабытым чувством сердце. Ждала! Значит, он угадал: это ее слово стало решающим в его судьбе. Все знали, что Государь неизменно прислушивается к мнению Великой княгини, а мнение это всегда клонилось к пользе России. И ныне увидела она эту пользу в своем бывшем паже. Знать, не так глуп он бывал, как казался сам себе, когда

удостаивала она его долгих бесед? Краснел, трепетал, но мундира — пусть и пажеского в ту пору — не опозорил. И память оставил по себе добрую, не омрачив ее и в дальнейшем...

— Разобрались ли вы уже хотя отчасти с теми задачами, что будут стоять перед вами?

— Для того, чтобы разобраться порядком, должно сперва оказаться на месте. А покамест я могу лишь заключить, что канцелярия Сперанского создала страшную путаницу в делах. Бумаги перемарано много, а толку решительно нельзя разобрать. И что за блажь была в диком краю прививать английские формы?

— Покойный Николай Михайлович справедливо замечал, что даже самые идеальные формы идеальны лишь для того народа, в котором сложились они, но для другого могут быть совершенно губительны.

— Карамзин был мудрец, жаль, что к мудрецам у нас далеко не всегда прислушиваются!

— Что же вы намерены делать?

— Да ничего особенно, — пожал плечами Муравьев. — Разгоню эту чиновную писучую ораву и займусь делом! Иначе они мне все заболтают.

— Будьте осторожны, генерал. Есть обычаи, которые опасно нарушать...

— Есть. Например, круговая порука. Вот, такие обычаи я не только нарушу, но и искореню. И осторожничать в этом я не намерен. Полагаю, Государь ожидает от меня именно таких решительных действий. А как находите вы?

Синие глаза Елены Павловны засветились радостью — она явно была довольна услышанным ответом. И уж точно именно таких действий ожидала от своего протеже.

— Должно быть, вы правы. Но все же не натягивайте узду слишком сильно. Помните, что Государь не Бог, и не всегда свободен в своих действиях и решениях.

— Я помню об этом, Ваше Высочество. Но могу обещать вам лишь одно: я сделаю так, что Россия будет прирастать Сибирью, и этому отныне будет посвящена моя жизнь.

— Я не сомневаюсь в этом, Николай Николаевич, — прозвучал ответ. — И обещаю вам все возможное содействие в этом деле, которое лишь одному вам может быть по силам.

Низко-низко склонился бывший паж перед своей повелительницей, стремясь скрыть волнение. Как, оказывается, свято и непреложно верила в него эта удивительная женщина! И от этой веры ее, взгляда, голоса вдруг, как в отроческие годы, захотелось вновь сделаться рыцарем своей прекрасной дамы и погибнуть у ее ног, сражаясь. Впрочем, это уже мальчишество! Рыцарю дарован куда лучший жребий — оправдать веру своей повелительницы и принести к ее ногам не свою жалкую жизнь, но куда большее — неведомый край, манящий своими загадками! Великая битва предстоит теперь рыцарю с легкой руки прекрасной дамы, и в битве этой, сражаясь с бесчисленными врагами, не романтическим героем, стрелой пронзенным, должно выйти, но победителем! Куда как более вдохновительна эта мечта!

— Нет, нет и еще раз нет, Катрин! — Николай Николаевич буквально дрожал от негодования на «женский каприз». В такие моменты он походил на разъяренного тигра. Рыжеватые баки, словно становящиеся дыбом, дополняли сходство, и оно казалось Катрин очень забавным. — Вы останетесь дома и будете ждать моего возвращения!

— Если бы я пожелала остаться дома, то была бы сейчас на берегах По, а не Амура! — возразила Екатерина Николаевна, сохраняя в противоположность вспыльчивому мужу совершенное спокойствие. — Когда я решила бросить все и ехать за вами в Россию, мой отец говорил мне почти тем же тоном: «Вы останетесь дома и будете ждать...» ...Когда ваш суженный сам вспомнит о вас и приедет просить вашей руки. Но я не стала ждать. Может быть, я поступила неправильно?

Этот довод заметно охладил гнев Николая Николаевича. И то сказать, что мог он возразить ей? Несколько лет назад отец Катрин, барон де Ришемон, познакомился на водах с молодым русским генералом, лечившимся от полученного на Кавказе ранения и там же нажитой лихорадки. Барон так сошелся с новым знакомцем, что пригласил его погостить в своем фамильном замке... Там-то и увидела Екатерина Николаевна, а в ту пору еще Элизабет, своего будущего мужа.

Генерал в тридцать с лишком лет, невысок, подтянут, стремителен. Необычайная живость в движениях и речи. Рука на черной перевези... Элизабет сразу почувствовала сердечное влечение к этому герою. А он? Он сперва просто отдыхал от тяжелых военных будней, оттаивал, изучая под руководством юной

баронессы красоты Парижа. Его интересовало абсолютно все, он вникал в премудрости архитектуры, погружался в вехи французской истории, расспрашивал знатоков о тонкостях живописного искусства. В нем было столько энергии, что, казалось, хватило бы на десятерых, и она передавалась другим, вдохновляя их. Рядом с ним Элизабет всегда находилась в состоянии вдохновения, а ведь это, в сущности, и есть любовь. Прекрасное чувство, наполняющее сердце и озаряющее жизнь...

Однако, Николя настало время возвращаться в Россию. А просить руки богатой наследницы знатного рода он, не имеющий состояния, вынужденный покинуть военную службу и еще не получивший места на службе статской, не решился. Место он вскоре получил — Тульского губернатора. Но оно не отвечало его амбициям, его безграничным возможностям... Элизабет понимала это. С самого отъезда Николя между ними завязалась оживленная переписка, и оба все яснее понимали, что должны быть вместе. Но Николай Николаевич был все время занят на службе, тогда как юная баронесса целыми днями предавалась мыслям о возлюбленном, вспоминая счастливые дни в Ришемоне и прогулки по Парижу, мечтая о новой встрече, инстинктивно ревнуя неведомо к кому, перечитывая письма... Как она ждала каждое из них! Как воды! Как воздуха! Без этих весточек жизнь становилась тусклой и бессмысленной.

Наконец, Элизабет устала ждать. Ее характер был не менее решителен, чем характер ее генерала, и она, оставив попечения о приличиях, поехала в Россию, упредив Николая Николаевича о своем скором прибытии. С замиранием сердца ждала она долгожданной встречи, но в Туле ее встретили совсем незнакомые люди, оказавшиеся братом и сестрой Николя... Они смущенно пояснили, что сам он отбыл по

делам в губернию и наказал им встретить гостя. Так и оборвалось сердце тогда! Подумалось: раз даже встретить не считал должным после столь долгой разлуки, значит, и вовсе не нужна она ему, и, пожалуй, уже и не рад он такой навязчивости своей парижской зазнобы... Еле удержалась, чтобы не разрыдаться, представив свое позорное возвращение в Париж к отцу...

Но через несколько дней Николая приехал и буквально накрыл невесту волной нежности, растворил, расплавил в лаве своей страсти. Не откладывая дела, баронесса де Ришемон была крещена в Православие с именем Екатерина, а следом и обвенчана. А на следующий день после венчания муж с извинениями вновь уехал по делам службы...

— Николая, помните, что вы обещали мне на другой день после нашей свадьбы?

— Разумеется, я обещал, что буду любить вас вечно!

— Да, а еще, что у нас непременно будет медовый месяц, но несколько позже. Так, вот, я решила, что путешествие на Камчатку — это очень хороший способ провести наш медовый месяц!

Николай Николаевич схватился за голову:

— Вы хотя бы представляете себе, что вас ждет, Катрин? Вам придется многие версты ехать верхом, а то и идти пешком! Тайга, непроходимые скалы, горные реки, звери, наконец! Мы сами не знаем толком, с чем столкнемся в этом путешествии! Это тяжело и опасно даже для мужчины, Катрин!

— Скалы, реки, звери... Это очень романтично, Николая.

— В самом деле? Я не заметил, чтобы местные коровы показались вам романтичными созданиями. Вы едва ли не каждый день прибегаете в страхе, встретившись с ними у реки!

— Так то коровы... — смутившись, развела руками Катрин. — Они и впрямь выглядят очень... суровыми. Но я уже привыкла к ним. Привыкну и к другому.

— Вы сумасшедшая!

— Конечно, иначе я не поехала бы за вами, — улыбнулась Екатерина Николаевна. — Я не хочу вновь жить в разлуке и тревоге за вас. Я поеду с вами. Я так решила, а вы знаете, что я упряма!

— Как сто ослов... — покачал головой Николая, но сопротивление его было сломлено.

— Мадемуазель Христиани тоже поедет.

Николай Николаевич нервно усмехнулся:

— С виолончелью?

— Разумеется!

— Прекрасно! И вы вместе будете сплавляться на ее Страдивари по горным рекам, лучшего плота не придумать! — рыкнул с досадой муж и, хлопнув дверью, удалился.

Так начался «медовый месяц»... В дальний путь отправились небольшим отрядом в 16 человек. На Качугской пристани губернатора встречала масса бурятских всадников с тайшами во главе. Бурятский шаман по традиции окропил три баржи, и караван отчалил от берега — к Якутску. Плавание вызвало восторг обеих француженок, никогда еще не приводилось им видеть столь прекрасной природы, необузданно дикой, могущественной, величественной...

Никто из прежних правителей Сибири не бывал дальше Якутска. Все, что лежало позади него, считалось территорией недоступной для путешествий. Древний летописец, составивший первое описание «Сибирского царства» упреждал слишком отчаянных путешественников: «от Байкала-моря пошел пояс камень великой и непроходной позаде Лены реки». Этот «камень великой» означал Яблоновый или же Становой

хребет, опоясывавший Сибирь с северо-востока. И его наперекор летописцу вознамерился покорить Николая...

— Предупреждаю вас, мадам, в последний раз: вернитесь назад в Иркутск!

— Вы знаете ответ!

— Что ж, в таком случае извольте затем не жаловаться.

— Я обещаю вам, Николая, что мы с мадемуазель Христиани выдержим все тяготы пути и не будем вам обузой!

Николай Николаевич лишь усмехнулся этому самоуверенному заверению...

В том, что оно самоуверенно, Катрин убедилась после первых же двадцати пяти верст пути. С трудом спустившись с лошади, она, чуть не падая, с большим трудом дошла до станционной избушки и без сил повалилась на первую попавшуюся лавку. Все тело разламывалось от нестерпимой боли, в глазах темнело. Где-то рядом стонала не менее измученная виолончелистка...

Хлопнула дверь, и над Катрин возникло бодрое лицо мужа:

— Не теряйте времени, мадам. Лучше подкрепитесь хорошенько. До темноты нам предстоит сделать еще один переход. Выступаем через полчаса!

Екатерина Николаевна содрогнулась всем телом:

— Николая, прошу тебя! Давай останемся здесь хотя бы до утра! Мы совсем выбились из сил...

Лицо мужа исполнилось сочувствия. Ласково погладив ее по руке, он сказал:

— Отдохни, Катенька. А утром тебя проводят двое казаков до Якутска и дальше, до Иркутска.

— О чем ты говоришь?! — вскрикнула Катрин, не имея сил даже подняться.

— Я все сказал, — отрезал Николай Николаевич и ушел, оставив жену в полнейшем отчаянии.

Ровно через полчаса стук копыт возвестил о том, что отряд продолжил путь...

— Вставайте, моя милая, — окликнула Екатерина Николаевна подругу. — Нам надо ехать...

— Но я не могу! — раздался жалобный возглас.

— Я тоже. Но иначе нам придется возвращаться в Иркутск.

— Ваш муж тиран!

— Это правда. Но ведь мы дали ему слово терпеть и не жаловаться...

Шаткой походкой Катрин вышла на улицу и окликнула оставленных для ее сопровождения двух казаков:

— Подавайте лошадей! Едем за его высокопревосходительством!

И снова взбирались кони по горным кручам, и жутко было взглянуть кругом: отвесные скалы, ущелья, на дне которых гремят бурливые речные потоки. Иногда тропинки становились столь узкими, что одно стремя касалось отвесного склона, а другое парило над пропастью. Одно неверное движение и гибель! Но лошади хотели жить не меньше людей, а потому шли осторожно...

— Ах, Элизабет, я сейчас лишусь чувств, — с ужасом шептала бледная Христиани, но Катрин, уже преодолевшая первую слабость, отвечала с улыбкой:

— Полно, моя дорогая! Много ли найдется людей, которым довелось созерцать такую божественную красоту? Мы, вероятно, первые женщины в мире, которые добрались до этих краев, до этих высот! Давайте же гордиться этим!

Самое трудное — принять решение, преодолеть себя, свой страх, свою слабость. Когда решение принято, и сомнения отринуты, то препятствия расступаются сами, и все преграды становятся преодолимы. И в награду за дерзость даруют небеса

упрямцам второе дыхание, не позволяя изнеमочь от натуги.

Ночевать остановились в горной долине. Казаки проворно разбили палатки и принялись варить похлебку в походных котлах. Екатерина Николаевна с наслаждением расположилась у костра, дым которого немного отпугивал тучи гнуса, изъязвившие ее лицо, тщетно закутываемое башлыком.

— Ну, как ты, Катенька? — слышался ласковый голос мужа.

Он был бодр и весел, и, казалось, мог легко одолеть еще десяток таких переходов.

— Прекрасно, друг мой! — улыбнулась Катрин.

Николай Николаевич поднес к губам ее руки:

— Я горжусь тобой, Катя! Ты самая удивительная женщина из всех! — тигриные глаза при этих словах заблестели, и Екатерина Николаевна почувствовала себя абсолютно счастливой — она победила, она доказала ему, что ее желание путешествовать с ним вовсе не каприз взбалмошной женщины. И гордость, восхищение в его глазах — лучшая награда ей!

— Мадмуазель Христиани, может быть, вы порадуете нас вашим творчеством? — окликнула Катрин подругу.

Виолончелистка, полулежавшая на расстеленном шерстяном одеяле, встрепелась и велела принести ей ее инструмент.

— Только осторожнее! Это Страдивари!

Конечно, казак, принесший виолончель, не ведал имени великого мастера, но отнесся к поручению со всей ответственностью. Вскоре в освещенной лишь кострами и звездами ночи раздались дивные звуки, каких еще никогда не слышали окрестные скалы... Не слышали их и казаки, которые сперва притихли, а затем стали «подпевать» дрожащему в хрупкой руке смычку. Катрин сидела на земле, склонив голову на плечо мужа,

и думала, что более прекрасного концерта она в своей жизни еще не слышала.

Самая ли удивительная женщина она? Вряд ли. Но несомненно, что небеса дали ей в мужа самого удивительного мужчину. Он едва успел ступить на сибирскую землю, а уже ощутилось всеми — у Сибири появился хозяин. Не временщик, а хозяин, рачительный и твердый. Он начал с того, что пренебрег приемом, который готовили в его честь иркутские чиновники, и вывел в абшид почти всех сотрудников прежнего губернатора, ибо были они поголовно взяточниками, заменив их малым числом своих доверенных людей. Затем раскрыл и пресек махинации с золотодобычей: нечистые на руку чиновники за мзду записывали богатые месторождения в исчерпанные и передавали их золотопромышленникам. Многих лишил прибыли Николая и во многих нажил врагов, неустанно славших на него доносы в столицу. Доносили среди прочего о дружбе его со ссыльными декабристами, проживавшими в Иркутске — Волконскими, Трубецкими. Этот вопрос был закрыт самим Императором, заявившим, что он устранил бунтовщиков из столицы, но вовсе не намерен портить им жизнь в ссылке, и губернатор Муравьев совершенно точно понял его, Государево, желание, дав этим людям возможность приносить пользу Отечеству.

Но даже Государеву волю умудрился Николай Николаевич нарушить в короткий срок. В Петербурге положили закрыть пограничный вопрос с Китаем, приняв за основу границы, определенные Нерчинским договором во времена Царя Алексея Михайловича. Однако, Николая заявил, что таковых границ не существует вовсе, а потому договариваться о чем-либо с Китаем преждевременно, нужно сперва досконально изучить территории, которые предполагается делить с

соседом, дабы не вышло от незнания ущерба Государству Российскому...

С тем, не обращая внимания на гнев придворной камарильи, кипящий за тысячи верст, и снарядился губернатор в нелегкий поход до самой Камчатки. Сам не разведает своих владений — на кого полагаться тогда? Не раз слышала Катрин этот довод от Николая Николаевича и всегда соглашалась с ним. Ныне же, пересекая с мужем его необъятные владения, почувствовала она не без гордости, что заслужила, претерпевая все тяготы, именоваться вслед за ним — хозяйкою Сибири. Она уже всею душой полюбила этот край, столь не похожий на ее милую Францию, край, рядом с которым вся Европа видится крохотною...

Одно из труднейших препятствий похода — горные реки, бешено ревушие, неудержимые... А уж когда выходят они из берегов, грозно пенясь, то и вовсе пиши «пропало»!

— Не можно ехать! Пропадешь! — говорили проводники-якуты, остановившись у разъяренной реки Белой.

Не можно! Не знал Николая слова такого...

— Где брод? — крикнул он.

Проводники указали направление брода.

— Покроет спину лошади?

— С полбрюха будет.

— Сначала едем с тобой вдвоем, — велел Николай Николаевич своему помощнику, чиновнику для особых поручений Бернгарду Струве. Этот молодой человек, выпускник Царскосельского лицея, сам выбрал Иркутск местом службы, желая служить под началом генерала Муравьева. И теперь готов был по первой команде идти за своим генералом хоть в стремнину, хоть в полымя...

— Николая, ты с ума сошел! — воскликнула Катрин.

— Пропадешь! — вновь предупредили якуты.

Но Николай Николаевич уже пустил своего коня в воду. Струве последовал за ним. Замерло сердце Екатерины Николаевны — так и ревела река, норовя смести дерзких всадников! Вот, уже почти достиг Николя берега, и тут пошатнулся конь, не выдерживая напора воды. Всадник тотчас хватил его нагайкой и, крепко натянув повод, поставил против течения. Шаг, еще один, и рывком выскочил конь на противоположный берег! Ликующий возглас казаков и якутов пронесся над рекой.

Всадники, между тем, тронулись в обратный путь, который был преодолен также благополучно.

— А теперь, Бернгард Васильевич, сопроводим наших дам! — приказал Николай Николаевич.

Жутко было Екатерине Николаевне ступить в бушующую стремнину, но иного пути не было. Николя ехал сбоку, сбивая напор воды своим конем. Следом таким же манером шли Струве и перепуганная Христиани. А за ними отважились на переправу и казаки с вьючными лошадьми. Лишь проводники-якуты предпочли возвратиться на свое стойбище.

Одна из лошадей оказалась слаба, и ее унесло течением. А с нею и мешок с сахаром.

— Ничего не поделаешь, — пожал плечами Николя. — Придется теперь без сахара чаевничать!

Невелика беда, и не к таким трудностям притерпелись!

К началу июля путешественники добрались до Охотска. Здесь завершилась конная часть «прогулки», дальнейший путь лежал по воде. Пароход «Иртыш» взял курс на Петропавловск, но, не дойдя до него, сел на мель.

— Растяпа! — обругал Николай Николаевич капитана. — Разжалую к черту! В матросы!!!

— Полно, Николя, взгляни лучше, какой изумительный вид, — защитила Катрин бледного

капитана, уже привыкнув гасить вспышки мужниного гнева.

Вид и впрямь открывался удивительный. Морская пучина обнимала отроги гористого берега, разбивая о них тяжелые волны. Горы... Из морской синевы выростали они, покрываясь зеленью лесов, и белоснежными пиками упирались в синеву небесную... А меж ними высилась — гора необыкновенная, выбрасывающая клубы дыма...

— Что это? — спросила мадмуазель Христиани, изумленно созерцая невиданное зрелище.

— Ключевская сопка, — отозвался Николай Николаевич. — Наш русский Везувий. На Камчатке много действующих и уже потухших вулканов и сопок. Под этой землей словно гигантская доменная печь заключена.

— Страшно, — прошептала Катрин, не в силах оторвать глаз от завораживающего зрелища.

— Это, Катенька, нестрашно, — хмуро отозвался Николя. — Страшно, что в этих водах ходят вражеские эскадры, а мы спим! Спим!!! И даже порт у нас расположен кое-как, так что нельзя пристать к нему, не напоровшись на мель.

— Смотрите-смотрите, кит! — прервал рассуждения Николая Николаевича восторженный крик виолончелистки.

И впрямь замелькала в волнах громадная рыба. Вот, подпрыгнула она над волнами грозной тушей, и вновь обрушилась в волны, поднимая фонтаны брызг...

— Экое морское чудовище, — промолвила Екатерина Николаевна.

— Это не чудовище, это сивуч, — улыбнулся капитан. — Самый крупный обитатель здешних вод! Много им, беднягам, достается от иностранных охотников.

— Сильно они здесь разбойничают? — тотчас насторожился Николя.

— Куда как сильно, ваше высокопревосходительство! — отозвался капитан. — У нас ведь нет никаких законов насчет китобойства. И, вот, все кому не лень, добывают наших китов, рыбу, морских котиков на мех... Барыши с такой охоты добытчикам сказочные! А казне ничего!

Николай Николаевич слушал сосредоточенно, и Катрин без слов знала, что в голове у мужа уже созревает план, как упорядочить «китобойное дело», защитить морских обитателей от разбойного истребления и поставить добычу их на службу казне.

— Дельфины! — возвестил звонкий голос Христиани об очередном чуде, и дамы, оставив мужчинам деловой разговор, принялись любоваться элегантными обитателями морских глубин, приветствовавшими их пронзительными криками.

Наконец, прилив снял «Иртыш» с мели, и пароход пристал к берегу Петропавловска...

К обеду пожаловал особый гость — Апостол Севера, епископ Алеутский и Камчатский Иннокентий, ученый и миссионер, имя которого известно было даже в Европе. Сын пономаря из иркутского села Агинского, он стал первым епископом Камчатки и еще с 1824 года посвятил себя просвещению местных народов. Он крестил тысячи людей, строил церкви и школы, учил детей, составил алфавит для алеутского языка... Якутия и Командоры, Курилы и Чукотка, охотское побережье, Камчатка, Аляска — такова была география служения этого выдающегося пастыря, и вряд ли можно было найти человека, знавшего этот край лучше него. Потому встречи с ним Николай Николаевич ждал с особенным нетерпением.

— Я много видел портов в России и в Европе, — спешил поделиться он с гостем своими впечатлениями

от увиденного на Камчатке, — но ничего подобного Авачинской губе не встречал. Англии стоит только сделать умышленно двухнедельный разрыв с Россией, чтобы завладеть ею, и потом заключить мир, но уж Авачинской губы она нам не отдаст, и если б даже заплатила нам миллион фунтов за нее при заключении мира, то выручит его в самое короткое время от китобойства в Охотском и Беринговом морях. Англия, разумеется, никого не пустит в эти моря беспошлинно...

— Это верно, — степенно кивал владыка, хлебая наваристую уху, — подлецы-англичане уже серьезно положили глаз на эти воды. Да и американцы также... Неужели в Петербурге не видят этой угрозы? Если только мы оставим Амур, то или американцы, или англичане немедленно завладеют им, и уж не будут так вежливы с соседями нашими... Да и ни с кем вежливы не будут, отношение их к туземцам хорошо известно.

— А где же туземцы? — живо полюбопытствовала Екатерина Николаевна. — Мы увидим их?

Епископ Иннокентий мягко улыбнулся, погладил окладистую серебристую бороду:

— Это вам, сударыня моя, вглубь Камчатки надо проехать, а еще лучше проплыть по окрестным островам — много диковинного они вам явят! Первобытная жизнь в своем девственном состоянии...

— Неужели здешние племена совершенно дики?

— Как сказать... Когда я приехал сюда, алеуты не ведали даже глиняной посуды. А дома иногда заменяли им собственные парки...

— Парки?

— Рубахи из птичьих или нерпичьих шкурок и перьев. Это была единственная их одежда, не считая шапок, которые они делали, долбя выброшенные морем корни пней...

— Мой Бог, как же вы нашли общий язык с этими дикарями? Ведь они, должно быть, вовсе ничего не

понимают!

— С дикарями проще найти общий язык, чем с цивилизованными людьми. Они... чисты и бесхитростны и не знают зла нашего мира. К тому же их дикость вовсе не означает глупости. Напротив, алеуты очень способный и разумный народ. Поразительно, но эти люди, не ведающие самых простых предметов быта, знают шахматы и прекрасно играют в них.

— Откуда же они узнали эту игру? — удивилась Катрин.

— Вероятно, какой-нибудь китайский путешественник когда-то завез ее на их острова, и они обучились ей. Эти люди очень быстро учатся, поверьте.

— Думаю, что знакомство с алеутами мы оставим до иного случая, — произнес Николай Николаевич. — Сейчас важнее позаботиться о защите наших берегов... Если англичане займут устье Амура, то замкнут оно своей крепостью, и английские пароходы пойдут по Амуру до Нерчинска и даже до Читы...

— Тогда вся Восточная Сибирь сделается английской! — воскликнул епископ.

— Да, владыка... Но господин Нессельроде страшно боится ненароком задеть англичан! Их интересы он блюдет лучше русских! Ради призрака Священного союза он готов принести в жертву самое будущее России, — Николя нервно забарабанил пальцами по столу и, помолчав, прибавил решительно: — Но, клянусь, ему это не удастся! Потому что в устье Амура станет не английская, а русская крепость! Равно как и в Петропавловске. И когда между этими крепостями будет ходить флотилия, а для вящей предосторожности в крепостях расположатся наши гарнизоны, то этими небольшими средствами на вечные времена будет обеспечено для России владение Сибирью и всеми неисчерпаемыми ее богатствами. Лишь бы Невельской

оправдал мои ожидания, и тогда на руках у меня будет козырь, который никто не сможет побить!

Капитан Геннадий Невельской появился в губернаторском доме вскоре по прибытии Николая Николаевича в Иркутск. Этот странноватый моряк, говоривший с такой увлеченностью, что то и дело хватал собеседника за пуговицу сюртука или мундира, представил Николаю свой проект исследования Амура. Два века тому назад землепроходец Василий Поярков спустился по Амуру и проплывал вдоль Сахалина по проливу, существовали и карты, на которых Сахалин значился островом. Но с той поры отчего-то решено было считать его полуостровом. И это убеждение укоренилось так же, как и то, что Амур — «непроходимое болото», не приходное для судоходства, а потому для России бесполезное. Таков был вердикт Крузенштерна. Таково было заключение петербургских чиновников. Но Невельской имел дерзость не верить ни тому, ни другому и нашел себе в том неверии вернейшего единомышленника — нового генерал-губернатора.

На свой страх и риск, не имея на то разрешения столицы, отправил Николай Николаевич отважного капитана в экспедицию по разысканию устья Амура. Предпринимая свой поход на Камчатку, он рассчитывал в пути встретить Невельского, но напасть на его след до сих пор не удавалось, и это вызывало тревогу.

В недолгие дни пребывания на Камчатке Николаю самолично определил места возведения артиллерийских батарей: на Петропавловской косе, на Сигнальном мысе и у озера Култушное. Батареи должны были охватить Петропавловск подковой и защитить порт от вторжения неприятеля. По горячей рекомендации Преосвященного Иннокентия был назначен и новый губернатор Камчатки — герой славного Наваринского сражения, в коем уничтожен

был турецкий флот, адмирал Василий Степанович Завойко, человек отменной честности, деятельный и не боящийся трудностей.

По завершении дел в Петропавловске путешествие продолжилось. В поисках капитана Невельского «Иртыш» прошел вдоль северного берега Сахалина и, так и не найдя следов пропавшего мореплавателя, направился в порт Аян. Николай Николаевич был мрачен, его тревожила судьба Невельского.

— Уж не стряслось ли беды с ним? — хмуро качал он головой. — Тогда, пожалуй, будет карта наша бита...

— Ваше высокопревосходительство! На горизонте какое-то судно!

В рассветном тумане трудно было различить что-либо, и Николя сердито бранил свою подзорную трубу, упрямо не желавшую служить ему, как следовало.

— Должно быть опять какой-нибудь европейский хищник шныряет у наших берегов...

— Ваше высокопревосходительство, это не европейское судно, — покачал головой капитан. — Это... Не могу прочесть названия... Б... ба...

Николай Николаевич выхватил у капитана его подзорную трубу и, приставив ее к глазу, воскликнул:

— «Байкал»!

— «Байкал»? — устремилась к мужу Екатерина Николаевна. — Невельской?!

— Капитан, немедленно спустите шлюпку на воду! Плыдем навстречу «Байкалу»! — приказал Николя. Он слишком долго ждал этой встречи, чтобы длить ожидание еще хотя бы какие-то минуты! Катрин последовала за мужем. Ей тоже хотелось услышать вести об итогах экспедиции из первых уст, и она не собиралась ожидать их на палубе «Иртыша»!

Матросы гребли быстро, и вскоре шлюпка приблизилась к заметно потрепанному штормами и оттого шедшему весьма медленно «Байкалу». На

капитанском мостике легко было узнать характерную фигуру Невельского.

— Здорово, Геннадий Иванович! — зычно крикнул Николая.

— Здравия желаю, ваше высокопревосходительство! — раздалось с мостика.

— Рад видеть тебя в здравии! Докладывай же, что наш Амур?!

— Докладываю! Старые карты не врут, и мы оказались правы! Амур судоходен, а Сахалин вовсе не полуостров, а остров, отделенный от материка проливом! Снабжение Камчатки по Амуру возможно судами с осадкой до пятнадцати футов, а по Татарскому проливу — до двадцати трех! — срывался голос, победительную весть сообщаящий. Сбылись предчувствия! Оправдались расчеты! Слезы радости навернулись на глазах Катрин. Ей хотелось по-русски крикнуть «ура» и броситься на шею сияющему радостью мужу. Но шлюпка, матросы, экипаж «Байкала» — все это не позволяло столь бурного проявления эмоций.

— Слава тебе, Геннадий Иванович! — крикнул Николай Николаевич. — Сам Крузенштерн²⁹ может завидовать тебе! Множество экспедиций достигали европейской славы, но ни одна не достигла отечественной пользы по русскому смыслу! Россия не забудет службы твоей и подвига! Спасибо тебе!

Путешествие клонилось к завершению. Впереди предстоял еще нелегкий путь назад, но Екатерина Николаевна уже не боялась его тягостей. Сибирь заморозила ее, покорила ее сердце. Никакой самый прекрасный европейский город, творение гения человеческого, не мог соперничать с этим грандиозным творением Божиим.

— Знаешь, Николая, когда тебя отправят в отставку, я хотела бы остаться здесь, в Сибири...

— Ах ты, сибирячка моя! Погоди пока с отставкой, нам еще многое предстоит сделать!

Глаза Николая светились, и Катрин знала, что перед этими глазами теперь простираются не имеющие горизонтов планы... Сокращенная же их версия, пригодная для официального изложения, вскоре должна была лечь на стол Царю в виде обширного доклада. В нем Николай Николаевич, получив свой главный козырь, мог, наконец утверждать и требовать: «Соседний Китай, бессильный ныне по своему невежеству, легко может сделаться опасным для нас, и тогда Сибирь перестанет быть русской. Потеря этих пространств не может вознаградиться никакими победами и завоеваниями в Европе; чтобы сохранить Сибирь, необходимо ныне же утвердить за нами Камчатку, Сахалин, устье и плавание по Амуру».

Дивное зеркало Байкальское — сколько бы раз ни увидеть, а все одно дух захватывает! Хотя не был Митя ни в одном краю за пределами сибирскими, но не сомневался ни на миг: во всем мире не сыскать ничего прекраснее Байкала! Однако, теперь не до любования красотами было. Губернаторский конь резво мчал по берегу, и Митя едва поспевал за ним на своем приземистом казачьем каурке. Этим утром из села Бичура донесение пришло: взбунтовались там староверы из-за разладицы своего попа с местным земством. Земского заседателя избили и бросили в подпол, дело грозило принять оборот нештучный.

— А ну-ка поехали, разберемся, — тотчас собрался Муравьев.

Так и помчались вдвоем раскольничий бунт усмирять...

— Николай Николаич, может строевой роты дождемся?

— Без нее управимся!

Не сбавляя хода, влетели всадники в село. Бурлило оно, что при пугачевщине! Толпа собралась, потрясая рогатинами и топорами, у иных и ружья были — охотничий край, куда без них! Генерал спрыгнул с коня. Невысокий, сухой, нервный, нетерпеливо быстрый в движениях, он решительно вошел в толпу и, сурово оглядев ее, рыкнул зычно:

— Смир-рно!

Наверное, вели он окрестным скалам сойти в Байкал, и они бы подчинились ему. Как подчинилась только что бушевавшая толпа, разом подтянувшаяся и присмирившая.

— Бросить оружие!

И оружие посыпалось из рук бунтовщиков...

— На колени!

Миг, и вся площадь преклонила колени перед нестигаемой, бесстрашной властью. Муравьеву, действительно, не нужна была строевая рота для подтверждения своей силы и права. Эта сила исходила от него самого, внушая священный трепет и не позволяя противоречить себе.

— Заседателя немедленно освободить. Зачинщиков выдать полиции. Иначе повешу всех!

Сказано было холодно и жестко. Так, что и сомнений не могло возникнуть: повесит. «Я не из тех Муравьевых, которых вешают. В случае чего сам вешать буду!», — это губернаторское обещание, высказанное еще в первые дни правления краем, быстро разнеслись стоустой молвой. И в оном также не приходилось сомневаться: нрав у хозяина Сибири был крут.

Староверы повешенными быть совсем не желали, а потому покорно выдали и своего смутьяна-попа, и еще пятерых зачинщиков волнений...

Так начиналась служба подпоручика Дмитрия Галактионова в качестве адъютанта генерала Муравьева, человека, о счастье состоять при особе которого он не мог даже мечтать.

Митя Галактионов коренным сибиряком не добрым жребием уродился. Отец его, столбовой дворянин, сослан был в эти края за растрату казенных денег, чему причиной стала необузданная страсть родителя к карточной игре. В ссылке Афанасий Павлович скоро опустился, стал пить и, наконец, помер от горячки. Память об отце язвила память Мити стыдом. Его преступление и беспутная жизнь словно клеймом лежали на сыне, настоятельно требуя смытия. Лучшее средство для выведения пятен с репутации именуется кровью, — решил юноша и пошел по военной стезе. Вот, только беда — Сибирь край мирный, и кровь здесь разве

что в битве с волками и медведями пролить можно было.

То ли дело прежде, когда мужествовал здесь супротив Кучумки удалой атаман Ермак Тимофеевич! Да и после храбрецов славных немало было... Атаман Хабаров Ерофей, к примеру! А герои-албазинцы? История обороны Албазинского острога с детских лет будоражила душу Мити. В 1685-86 годах казачий гарнизон под командованием Алексея Толбузина и Афанасия Бейтона полгода оборонялся от многократно превосходящих сил маньчжурской армии. 700 отважных казаков погибли в сражениях, от болезней и голода, но и половина китайских войск навсегда осталась лежать под стенами русской цитадели... Это яростное сопротивление горстки героев вынудило Цинскую империю пойти на перемирие и согласиться с объявлением левобережья Амура буферной, «ничейной» зоной, что и было закреплено в Нерчинском договоре.

В пылких мечтах воображал себя Митя героем-албазинцем, но как далеки были эти мечты от действительности! Он несколько раз просил о переводе на Кавказ, но встречал отказ — начальство дорожило молодыми образованными офицерами «из благородных», коих сибирской окраине не доставало.

Впору было пасть духом, но в это время в Сибирь прибыл новый генерал-губернатор. И вся жизнь разом пришла в движение! Этот человек явно задумал довести до славного конца дело Ермака и Хабарова. Пользуясь ничейным статусом Амура и доказав его судоходность, он энергично взялся за заселение его, стремясь поставить китайских соседей перед свершившимся фактом: Амур — русская река! Муравьев добился, чтобы крепостные, бежавшие в Сибирь, освобождались от зависимости, принуждал к переселению казачьи семьи, наконец, прибег к мере дикой в глазах цивилизованного общества. Граф

распорядился выдавать женщин легкого поведения замуж за штрафников. Солдат и женщин выстраивали по росту друг против друга, затем каждый солдат подходил к стоящей перед ним девке и вел в церковь. После венчания и праздничного стола новобрачные проводили первую брачную ночь в общей казарме, а затем отправлялись на Амур, получив бесплатно по одной лошади, лес на строительство дома и необходимый в сельском хозяйстве инвентарь. При этом губернатор радел о народном просвещении, открывая школы и учреждая публичные лекции.

В народе Муравьев обрел славу гонителя лихоимцев и заступника простого народа: он и впрямь лично принимал жалобщиков из простонародья и скоро рассматривал всякое дело. В Петербурге же крепла у губернатора «слава» сатрапа и смутьяна-демократа одновременно. Особенно негодовали в высоких кабинетах самостоятельной внешней политике графа. Отважного Невельского за его подвиг исследования Амура Нессельроде едва не упек в матросы за самоуправство! Движимый патриотизмом капитан не ограничился исследованиями, но осмелился установить на Амуре первые русские посты. Худо бы пришлось герою, кабы не Государь, назвавший его поступок молодецким и наложившим резолюцию: «Где однажды поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

Землю не довольно исследовать и заселить. Землю нужно защитить. И для этого создана была Сибирская флотилия, ошестинились выписанными из Кронштадта пушками приморские порты. И ведь как ко времени! Не успели на выдолбленных в скалах Камчатки площадках орудия расположиться, а уж грянула война... Грянула далеко, на юге, у берегов едва имевшей в своей истории передышку от войн Таврии. Но дым этой дальней войны уверенно тянулся к дальневосточному побережью.

Тут-то и понял Митя Галактионов — пришел его час! Охотником отправился он на Камчатку и с тамошними казаками, не зная отдыха, спешно возводил укрепления на случай неприятельского нападения. Неприятель ждать себя не заставил. Французы и англичане шли к камчатским берегам, не предполагая встретить ни малейшего сопротивления. Шли нахально, словно на прогулку! То-то же было им удивление, когда ударила по ним береговая артиллерия с намеченных Муравьевым батарей и пушки фрегата «Аврора» и бригантины «Двина»... «Аврору», потрепанную штормами, на Камчатку занесло нечаянно, а, вернее всего, Божиим промыслом. «Двина» же с пушками и 350-ю солдатами была последним подкреплением, которое успел прислать Николай Николаевич Камчатке.

К этим солдатам да казакам присовокупились еще местные охотники, каждый из которых легко поражал в глаз белку. Это-то войско под водительством губернатора Завойко обратило в бегство десант превосходящих сил противника, а сопротивление батарей было столь яростным, что союзникам пришлось отступить от лакомых берегов Камчатки. Удар оказался настолько силен и неожидан, что командир вражеской эскадры покончил с собой.

Митя был тяжело ранен в бою у Никольской сопки, отражая атаку англо-французского десанта. Доблесть его была отмечена крестом Святого Георгия и новым назначением... Не имея до времени возможности вернуться в строй из-за полученных ран, подпоручик был определен адъютантом к самому генерал-губернатору.

С той поры началась для Галактионова новая жизнь. Двужильный хозяин Сибири не знал ни мгновения покоя, работая с шести утра до глубокой ночи, находясь в постоянных разъездах, вникая во всякое дело... И в

этом же режиме приходилось служить его сотрудникам. И в нем же вынуждена была жить его жена...

— Подпоручик! Я, кажется, подвернула ногу... Вы не могли бы мне помочь?

Никогда еще не случилось сибирскому юноше держать в своих руках такую нежную, прелестную, благоухающую ручку. Да и женщин таких не случилось встречать! Какое удивительное изящество, какая точеная фигурка... Фарфоровая статуэтка и только! А глаза... Эти искрящиеся угольки прожгли сердце Мити, и теперь во всякий час болело оно, лишившись радости.

Пароход «Айгунь» шел вниз по Амуру, предводительствуя каравану из сотни барж, перевозивших пушки и солдат для защиты устья реки, а также крестьянские и казачьи семьи для расселения их по ее берегам. Суда эти построены были в срочном порядке здесь же, на старейшем в Сибири Шилкинском заводе, хозяин которого перед отплытием эскадры закатил торжественный праздник в честь губернатора, не поскупившись на диковинные фейерверки. Николай Николаевич подобной пышности не жаловал, к тому же во время военное, но что взять с купца-заводчика, которому впервые выпали и такой громадный заказ, с коим он справился на славу, и счастье принимать у себя хозяина Сибири! Не мог же он в самом деле не развернуться по такому случаю во всю ширь русской купеческой души!

Тяжел и неизведан вполне был путь сплава: сперва по прихотливому руслу Шилки, затем по широкой ленте Амура. А в военную пору нельзя уверенно знать, не встретишь ли неприятеля в конце пути — всякое может случиться! Но несмотря на все угрозы генеральша не пожелала остаться скучать в Иркутске, а отправилась с мужем.

Скучно барыне коротать дни на борту. А уж барыне французской и подавно!

— Дмитрий Петрович, расскажите, как вы были ранены и Георгия заслужили!

— Да что ж рассказывать... — тушевался Митя, от природы не наделенный речистостью, а под жгучим взглядом и вовсе терявший дар речи. — Известно, как... Неприятель на сопку Никольскую полез, а мы его в штыки приняли и задали перцу ему. Знамя взяли... Да вам про то известно, оно Государю доставлено было.

Вздыхнула генеральша, хорошенькое личико солнцу подставив и не боясь испортить белизну его. Скучным собеседником оказывался мужнин адъютант...

— А как вы в Сибири очутились? Кто ваши родители?

Только про родителей и не доставало беседы... Был бы родитель, как у Волконского, интенданта нынешнего сплава, иной коленкор! Герой войны, бунтовщик, за высокие идеалы претерпевший — оно и не велика важность, что государственный преступник. А тут и сказать совестно!

— Моя семейная история грустна, Екатерина Николаевна, и мне бы не хотелось говорить о ней... Давайте лучше расскажу я вам, как в отроческие годы на медведя ходил.

С рассказом о таежных приключениях Митя недурно справился, генеральша звонко смеялась, и ее смех придавал Мите уверенности, он старательно оживлял в памяти иные забавные и примечательные истории.

Появившийся на палубе губернатор прервал веселье. Подпоручик тотчас вытянулся, отдавая генералу честь. Николай Николаевич махнул рукой:

— Вольно! — и обратившись к жене, известил: — Я нынче отобедаю с нашими солдатами, не прогневись, Катенька, на мое отсутствие.

То была одна из заведенных генералом традиций. Он навещал то одну, то другую баржу, разделяя трапезу с солдатами, казаками, крестьянами. Похваливая кислые щи и ржаные сухари, он вел самые

задушевные беседы со своими сотрапезниками. Последние забывали о том, кто перед ними, и общались с генералом совсем по-свойски, рассказывая ему о своей жизни и выслушивая рассказы его. Беседы эти бывали неизменно веселы, сопровождались дружным смехом. Николай Николаевич умел создавать настроение, умел располагать к себе знанием народного характера, шуткой-прибауткой. Грозный «сатрап» обращался первейшим другом простого люда...

Митя собирался последовать за генералом к шлюпке, но тот остановил его:

— А ты, брат, оставайся при Екатерине Николаевне. Не одной же ей скучать!

Так и приговорил женину скуку рассеивать... Оно бы и ничего, кабы не глаза эти. Решительно не мог выносить Галактионов этого взгляда. В неистовое волнение сердце приходило.

— Подпоручик, проводите меня до каюты...

И Митя провожал, трепетно поддерживая чернокудрую красавицу под локоть...

Так продолжалось день за днем, а по ночам подпоручик не мог сомкнуть глаз, словно жаром жгло изнутри, и виделось в наплывах лихорадочного бреда смеющееся лицо прекрасной генеральши.

Между тем, караван миновал Албазин, на славных руинах которого был отслужен молебен чудотворной Албазинской иконе Богородицы. По ходу сплава закладывал губернатор новые поселения, но без радости, а со страхом оставались переселенцы в неведомых и безлюдных краях.

— Мамка, где же мы будем жить? Здесь ведь ничего нет, — робко спрашивали дети.

— Вот, мы и построим... — отвечали матери.

Казачи, кроме вовсе безудельных, не желали менять обжитых мест, оставлять налаженные хозяйства. Кому исполнять губернаторскую волю, решалось жребием. Но

если выпадал он казаку зажиточному, то спешил тот продать имущество и заплатить кому-нибудь из бедноты, чтобы заместил его.

Страх переселенцев усугублялся и встречаемыми могилами казаков, чьи заставы были расположены на Амуре раньше. Многие из них не пережили зимы... Однажды, завидев несколько покосившихся крестов на берегу, Николай Николаевич велел спустить на воду шлюпку и отправился к этим безвестным могилам, взяв с собою лишь Галактионова.

Горькое зрелище предстало их очам. Тем беднягам, над прахом которых поднимались кое-как сбитые кресты, еще повезло. Их товарищи оказались несчастнее. Их, изнемогших от болезней и голода, хоронить было некому, и растащенные, обглоданные зверями кости беспорядочно валялись окрест, не отпеты, не оплаканы, не погребены...

На глазах Муравьева выступили слезы. Ни слова не говоря, он опустился на колени и стал быстро собирать останки. Митя последовал его примеру. Рядом с крестами была вырыта еще одна могила, но, по-видимому, очередного покойника некому оказалось положить в нее. В эту яму Николай Николаевич бережно сложил собранные кости и руками засыпал их землей. Распрямившись, стал читать заупокойную молитву...

— Что, Дмитрий Петрович, — глухо произнес генерал, перекрестившись, — полагаешь, я виноват в смерти этих мужественных русских людей?

— Что вы, ваше высокопревосходительство...

— Не отрицай. Виноват... Пусть и без вины, а виноват. И в скольких еще смертях буду виноват! Те, что плывут теперь за нами, те, кого уже оставили мы, словно новых Робинзонов, на берегах Амура, как ты думаешь, сколько из них не увидят следующего лета?

Подпоручик не ответил. Он с содроганием представил себе казаков, счастливо живших в своих

домах, возделывавших из поколения в поколение свою землю и обреченных теперь все начинать сызнова в краю глухом и диком. А ведь они не каторжане были, не преступники, ничем не заслужили ссылки, да еще и с семьями, с малыми детьми... Неужели их ждет такая страшная участь?

— Это мой грех, — тихо сказал Муравьев. — Все эти могилы... Но у России нет времени ждать, нет времени осваивать этот край постепенно. Промедлим чуть и потеряем его навсегда. Мы спали слишком долго, а теперь приходится наверстывать этот предательский сон. Жертвами, кровью наверстывать. Но иного пути нет. Ни у России, ни у меня. И только Бог мне судья...

— Осмелюсь заметить, Николай Николаевич, что полководец не может быть обвинен в гибели солдат на поле брани, если брань эта была честна и к тому завершилась победою.

Тигринные глаза губернатора потеплели, эти слова явно утешительны были для его незаметно для сторонних очей мучимой чувством вины души.

— Не зря вас отличает Екатерина Николаевна, подпоручик. Служите мне честно, и будьте уверены, ваша служба не пропадет.

С тем и вернулись на «Айгунь», никому не сказав о страшной находке и солгав, что осматривали берег на предмет возможного основания здесь поселения. С берега этого, тайком от генерала, принес Митя несколько цветов. Увидев их, он не мог удержаться и не сорвать их... Они были так хороши, так свежи и благоухающи... Совсем, как та, для которой предназначались...

Екатерина Николаевна сидела на палубе за столиком и читала, когда Митя, краснея и чувствуя, как пот выступает на лбу, подошел к ней и безмолвно положил цветы на стол.

— Ах, Боже мой! Какое чудо! — воскликнула генеральша, прихлопнув в ладоши. — И как это вы догадались принести? Слава Тебе, Господи, хоть один человек вспомнил о галантности в этих диких дебрях! — и она снова рассмеялась, уткнувшись очаровательным носиком в букет.

Митя почувствовал себя маслом, таящем на солнце. Так хорошо было сердцу от радости красавицы! И, как всегда, не находилось остроумных слов, а лишь блуждала по лицу улыбка, наверняка, глупая, как у всякого влюбленного болвана...

Генерал слишком занят был делами, чтобы обращать внимание на такие улыбки и красноречивые взгляды. Зато капитан Дубинский заметил и не преминул высказать:

— Не играйте с огнем, подпоручик. Вы прекрасно знаете, что эта дама не про вашу честь. К тому же мне бы не хотелось столь дурно думать о вас, чтобы допустить, что вы даже в мыслях можете позволить себе обмануть доверие, которым почтил вас генерал.

— Клянусь, что даже в мыслях не смею нанести урона чести начальника, которого я боготворю, — ответил Митя, — но...

— Но?

— Но эту женщину я люблю... — с отчаянием выдохнул Галактионов.

— Окститесь! Ведь она лишь от скуки приблизила вас и шутит над вами!

— Я это понимаю, капитан, — с горечью ответил Митя. — Но мое единственное счастье теперь — быть подле нее, слышать ее голос... Когда она рассказывает мне о своей прежней жизни во Франции или смеется моим охотничьим басням, я парить готов над этой землей. Понимаете ли вы меня?!

Дубинский покачал головой:

— Если хотите доброго совета, то попросите генерала как можно скорее откомандировать вас в полк, иначе рано или поздно навлечете на себя большую беду.

Подпоручик понимал, что сорокалетний холостяк-капитан, огрубевший в походах и странствиях, прав. Его любовь не имела будущего, а находиться подле предмета своего обожания, не имея никакой надежды — худшая из мук. Может, в расстоянии и утихнет эта безумная страсть, когда не будет ежечасно возбуждать ее манящий образ?..

Между тем, сплав подходил к концу. И конец этот принес вести тревожные. Летом, пока караван губернатора двигался по Амуру, группировка союзников в составе тридцати четырех английских и двадцати двух французских кораблей блокировала Охотское побережье, изредка высаживая разведывательные десанты. Жители Аяна, опасаясь нападения, ушли из порта вглубь материка... Николай Николаевич срочно занялся упорядочиванием оборонительных позиций. Главные силы были сосредоточены в Мариинске, гарнизон залива Де-Кастри был усилен сводным батальоном и дивизионом горной артиллерии. По указанию генерала войско разместилось в лесном массиве скрытым лагерем, оставив берег залива и постройки с аптечными магазинами приманкой для неприятельского десанта. Общее управление дальневосточным гарнизоном было поручено камчатскому губернатору Завойко.

Все эти хлопоты продлились до наступления холодов. Плавание из Николаевска, ставшим центром дальневосточной оборонительной линии, назад в Аян едва не обернулось бедой. Целую неделю губернаторский баркас преследовал французский фрегат. Лишь октябрьские туманы уберегли от встречи с ним!

После утомительного плавания сквозь осенние шторма, от которых приходилось прятаться в трюме, Екатерина Николаевна, мужественно перенесшая все тяготы, была счастлива вновь оказаться в Аяне, в уютном, жарко натопленном доме Русско-Американской компании. Хозяева встречали гостей обильным угощением. На ужин была подана медвежатина и иная дичь, экзотические вина с разных континентов, гаванские сигары... Казаки развернули гармошку, пели и плясали трепака, предпочитая винам родную русскую водку.

Митя вполне разделял их вкусы и с удовольствием предался бы веселому разгулу вместе с ними, но по долгу адъютанта должен был находиться при особе генерала. И генеральши... Последняя, напарившись в русской бане и оправившись от усталости, была по обыкновению весела и даже танцевала сперва с мужем, бывшим к прочим своим талантам отменным танцором, а после и с Галактионовым. Митя, однако же, плохо владел искусством танца и умудрился наступить на ногу своей очаровательной партнерше.

— Экий вы, право, медведь-медвежонок, — рассмеялась она. — В Иркутске мы непременно научим вас танцевать!

— Благодарю, мадам, но вряд ли у меня выйдет как у Николая Николаевича...

— С Николая не сравнится никто, но это не мешает брать с него пример! — назидательно заметила генеральша.

В этот момент в дом буквально ворвался хорунжий Попов:

— Прошу простить, ваше высокопревосходительство, но в гавани замечены три вражеских корабля!

— За мной охотятся, черти, — бросил Муравьев поднимаясь из-за стола. — Подготовить все к отъезду!

Мы отправляемся немедленно!

— Ваше высокопревосходительство! — шагнул Митя к губернатору. — Дозвольте мне остаться здесь, дабы в случае необходимости встретить неприятеля! Мои раны уже давно зажили, и я желал бы вновь служить Отечеству с оружием в руках! А также поквитаться с неприятелем за погибших товарищей!

Муравьев озадаченно посмотрел на своего адъютанта, словно желая удостовериться, что тот вызывается не под действием винных паров. Но подпоручик едва пригубил вино за ужином и был совершенно трезв и решителен.

— Не могу препятствовать вам в благородном желании, хотя и жалею расставаться с вами, Дмитрий Петрович. Помоги вам Бог!

Стараясь не смотреть на Екатерину Николаевну, Митя покинул дом, дабы проследить за подготовкой спешного отъезда. На улице мел снег, зимний путь едва успел установиться, и губернаторской чете предстояло обновить его первыми. Генеральше были поданы нарты, запряженные ватагой собак, а генерал браво вскочил верхом на оленя.

— Подпоручик! — послышался из темноты дорогой голос.

Митя подошел на зов. Екатерина Николаевна сидела в нартах, укутанная мехами. Черные глаза смотрели печально и тревожно.

— Зачем вы сделали это, Дмитрий Петрович? — спросила она, и тон ее едва ли не впервые в разговоре с ним был серьезен.

— Затем, что никому из смертных не дано смотреть на солнце и не ослепнуть, — ответил Митя. Низко поклонившись, он поцеловал руку прекрасной француженки: — Прощайте, бесценная Екатерина Николаевна!

— До свидания, Дмитрий Петрович! Напишите нам, пожалуйста. Мне будет тревожно за вас...

Митя поклонился вновь.

— В путь! — раздалась команда губернатора.

Собаки звонко залаяли и умчались в темноту, унося за собой черноокую красавицу. А следом промчалась и кавалькада оленей, предводительствуемая губернатором.

Галактионов знал, что не станет писать писем Екатерине Николаевне, и не сомневался, что она вскоре забудет и вспоминать о нем в водовороте новых впечатлений, событий, людей... Из Аяна он, получив на прощание предписание генерала, добрался до залива Де-Кастри и присоединился к стоявшей там казачьей сотне.

Николай Николаевич, как всегда, оказался прав. Именно сюда явились раздосадованные неудачным преследованием губернатора корабли противника. Побережье залива казалось совершенно пустынным, а потому, как и некогда на Камчатку, союзники направились к нему с наглостью не ожидающих сопротивления. Могли ли знать эти бедолаги, что хозяин Сибири оставил им здесь большую неожиданность. Вдоль залива были расположены заранее прицеленные вешки, а в лесу притаилась казачья сотня...

Едва шлюпки неприятеля приблизились к берегу, как были встречены ружейной стрельбой — да не из старых ружей, а из новейших дальнобойных штуцеров! Залп за залпом выводил из строя ранеными и убитыми нахальных пришельцев. Тогда последние призвали на помощь корабельную артиллерию, и под ее защитой с яростью ринулись в атаку.¹

— Вперед, братцы! — крикнул Галактионов казакам. — Постоим за Амур и Царя-батюшку!

Быстрой была та стычка, даже и развернуться порядком не удалось... Англичане — народ трусливый и избегает драться, если не уверен в своем полном превосходстве. А лес, оцетинившийся штуцерами, скрывающий в своих дебрях неведомое число русских воинов, чуть что бросающихся в штыки — явление исключительно пугающее для цивилизованных нервов! Так припустились бежать потомственные пираты, что любо-дорого! На бегу отстреливались, чертыхаясь по-своему...

Казаки, подхватив нескольких раненых товарищей, поспешили назад, в свое лесное укryвище. В этот миг почувствовал подпоручик, словно ужалило его что-то промеж лопаток. Он еще сделал несколько шагов, достигнув хвойной «цитадели», а затем рухнул ничком, кровь хлынула горлом. Засуетились вокруг казаки, подняли, понесли вглубь дебрей... Митя закрыл глаза и увидел свое солнце. Солнце сияло улыбкой и радостно вдыхало аромат скромных лесных цветов...

— До свидания, Дмитрий Петрович! Мне будет тревожно за вас...

— Прощайте, бесценная Екатерина Николаевна...

«Мы защитили Амур, и, стало быть, он наш!» — этот козырь стал главным козырем в переговорах Николая Николаевича с китайцами. Наследники Цинской империи приходили в оторопь от развернутого русскими вне всяких договоров, наперекор возражениям Пекина и даже собственному дипломатическому ведомству заселения Амура. Но Муравьев был непоколебим. Англичане и французы весьма на руку сыграли ему своими наглыми набегами на русское побережье и, в частности, нападением на залив Де-Кастри.

— У нас с вами общий враг, — терпеливо объяснял Николай Николаевич китайцам. — Можете ли вы обеспечить защиту Амура от посягательств англичан? Нет. Представьте же себе, что англичане придут на Амур! Какие последствия принесет это для вашей державы? Если Россия всегда будет вам добрым соседом, защищающим наши общие интересы, то нравы островитян вам уже хорошо известны!

Да, эти нравы китайцам пояснять не требовалось. Англичане, едва оправившись от войны с Россией, немедленно обрушились на Поднебесную, развязав очередную опиумную войну. Таких хозяев на Амуре китайцам уж точно не хотелось...

— Это регион наш, и наши интересы в нем общи, — давил Муравьев. — Россия достаточно сильна и могущественна, чтобы защитить их, и мы доказали это в минувшую войну. Посему мы требуем признать наше право на полновластное владение Амуром и прилегающими к нему территориями.

В сущности, восстановлением этого права Россия лишь возвращала свое, возвращала земли, утраченные

в 17-м веке. Но об этом необязательно было напоминать послам, пробуждая их национальную гордость за подвиги и победы предков.

Пока китайцы суетливо и безнадежно требовали уничтожения построенных на Амуре укреплений и вывода всех поселений, Николай Николаевич уже начертил план заселения правого берега реки Уссури. Роскошная уссурийская тайга с ее пальмами не уступала тропикам, а незамерзающие гавани на широте французского Лионского залива сулили громадные выгоды русскому судоходству.

— Поймите, Англия задушит вас, если вы не будете иметь сильной опоры в лице России, — вкрадчиво вторил Муравьеву владыка Иннокентий, которого он взял с собою на переговоры, успев разглядеть дипломатические дарования Преосвященного.

Англичане своей неукротимой алчностью и наглостью буквально загнали Поднебесную в объятия России. 16 мая 1858 года Китай скрепя сердце, подписал Айгунский трактат, по которому Амур возвращался России.

— Итак, с победою вас, Николай Николаевич! — поздравил Муравьева епископ Иннокентий. — То, к чему вы шли десять лет своего служения, свершилось! Амур — наш!

— Да, — отозвался Николай Николаевич, — но почивать на лаврах нам еще очень рано. Завтра же я отдам приказ об экспедиции на Уссури. Эта река также должна быть нашей и в кратчайшие сроки!

— В Петербурге не одобряют такой поспешности.

— Если бы я ждал одобрений Петербурга, нынешний договор не был бы заключен никогда. Главное, чтобы молодой Государь не был робкого десятка... В царствование его отца я был уверен в поддержке моего Государя, а сейчас я не чувствую прежнего доверия к себе. Моя опора — Великий князь Константин. Хотя

даже его «Морской журнал» позволяет себе опубликовать на меня завалишинские поклепы... Его высочество оправдывается, что это случилось в его отсутствие и впредь не повторится. Однако, что бы там ни было, а Уссури также будет нашей.

— Знаете, Николай Николаевич, вы теперь менее всего походите на победителя, без единого выстрела присоединившего громадные территории. Вы как будто бы даже раздражены и недовольны чем-то?

Муравьев вздохнул:

— Вы правы, владыка. Десять лет я шел к этому часу, а теперь, когда он настал, чувствую себя опустошенным.

— Это, должно быть, усталость. Вы работали все эти годы с такой невероятной отдачей, что теперь это утомление сказывается.

— Возможно и это... Но скорее иное. Вы правы, я одержал величайшую победу, которую не замарают ни Завалишины, ни Петрашевские, не перечеркнут и петербургские чиновники, но, вот, парадокс: мне не с кем сердечно разделить ее. Мой Государь умер, не дождавшись этого заветного дня, и в том я вижу большую несправедливость. А моя жена далеко от меня...

Мечты Катеньки остаться в Сибири даже после отставки мужа не сбылись. Ее прекрасные глаза перестали выносить сияние здешних снегов, и, чтобы не ослепнуть вовсе, ей пришлось вернуться в Ришемон.

— Смертным не позволено смотреть на солнце и не ослепнуть при этом, — грустно говорила она перед отъездом. — Даже если это всего лишь отражение солнца...

С отъездом хозяйки опустел губернаторский Белый дом, и никакие балы, театральные представления, общественные маскарады и иные светские мероприятия, заведенные Николаем Николаевичем, не

могли заполнить этой пустоты. Даже на пароходе теперь пусто сделалось! Сколько, бывало, отговаривал он Катеньку от поездок с ним в опасные и тяжелые экспедиции, но она не терпела разлук и сделалась истинной первопроходницей. И Николай Николаевич привык к тому, что она рядом, что ее мягкая уветливость гасила вспышки его гнева. Немало голов и судеб спасло ее заступничество в горячие минуты! Ведь и как бывало не выйти из себя, когда портили глупостью, разгильдяйством, а то и злым умыслом дело, которому самозабвенно служил он! В конце концов, ни от кого не требовал он больше, чем от себя самого... Разве что от бедолаг-переселенцев, тяжко страдавших в первые годы новоселья. От того не меньшим утешением, чем одержанная дипломатическая виктория, было для Муравьева созерцание постепенного обустройства жизни на амурских берегах. Прорастала эта жизнь городами и деревнями, отвоевывая свои права у диким зверем противящейся укрощению природы, укоренялась нарождающимися уже здесь, на новом месте, новыми поколениями. Ничейная земля пропитывалась русским потом, русской кровью и слезами, духом русским, и только тронь ее теперь — не сойдут, не уступят!

На протяжении всего плавания приветствовали люди губернатора, собираясь на берегах. Искренне ли? Или выполняя волю местных начальников, полагавших должным пышно встречать победителя без единого выстрела?

Эти пышные встречи и приторные, словно любимые Катенькой безе, славословия порядком надоели Николаю Николаевичу. Он хорошо знал цену им, а голова его была еще довольно крепка, чтобы принимать все похвалы себе за истинную монету. Люди, конечно, не могли не радоваться столь славной победе, но все хвалебные речи, встречи с музыкой и дарами носили

неистребимо ритуальный характер. А ритуал хорош лишь в церкви да на похоронах...

Уже рукой подать оставалось до Иркутска, когда на стремительной тройке примчалась к Байкалу Екатерина Михайловна Буссе, супруга молодого чиновника, служившего при Муравьеве. Молодая женщина была замечательно хороша собой! Мелкие черты белого, нежного личика, ясные голубые глаза, льняные волосы, похожие на пух... Что-то было в ней трогательное, детское, непосредственное. Нежность первоцвета и азарт гимназистки сохранились в этой замужней даме! Она преподнесла губернатору роскошный букет цветов и еще один, поменьше, мужу.

— Это что же, от имени и по поручению отцов города? — усмехнулся Николай Николаевич.

— Нет, — живо отозвалась Екатерина Михайловна, — это исключительно от собственного имени. А отцы города ждут вас в городе.

— Очень ждут?

— Очень! Они построили триумфальную арку для вашего въезда и назвали ее Амурской. Весь город иллюминирован! Епископ Евсевий готовится служить торжественную литургию, а общество — танцевать на торжественном балу!

— Ваш доклад, сударыня, будет исчерпывающим, если вы присовокупите к перечню дюжину бестолковых речей.

— Вам не нравится торжественный план вашей встречи? Его утверждал сам губернатор Венцель!

Он и видно... Есть люди, для которых льстивость вторая натура. Впрочем, тут и другое еще. Всю жизнь иркутский губернатор жил одним стремлением: никого не обидеть, никому не сделать зла. А в итоге, пожалуй, умудрился никому не сделать добра. Но каков уж есть!

— Просто я вконец устал от этих чопорных встреч! — признался Муравьев.

— Так поедemте лодкой, по Ангаре! — воскликнула мадам Буссе, и глаза ее заблестели тем озорным блеском, какой является у детей, замышляющих веселую проказу.

— А что? — Николай Николаевич обернулся к господину Буссе. — Превосходная идея, клянусь Богом! То-то удивятся все эти господа, жаждущие сделать из меня цезаря, когда зазря простоят у своих ворот и обнаружат меня уже в городе!

— Значит, едем?! — восторженно прихлопнула в ладоши светлокудрая проказница.

— Плыем, дорогая Екатерина Михайловна, плывем! И немедленно! — весело отозвался Муравьев, впервые за последние недели ощутивший прилив прежней бодрости и воодушевления.

Они отплыли по Ангаре втроем: чета Буссе и Николай Николаевич. Муж налегал на весла и, будучи молчалив по натуре, не мешал веселому воркованию жены с начальником. Красавица так и светилась восторгом, довольная своей изобретательностью. Она с задором представляла, как удивятся в Иркутске неожиданной «высадке» губернатора:

— Вы только вообразите, какие будут у них лица! — хохотала она.

Смеялся вслед за нею и Муравьев. Эта полуженщина-полуребенок оживила, осветила его сердце, поделилась своей юной легкостью и жизнерадостностью... Как было бы хорошо, когда бы все торжественные встречи были таковы, думал он, любясь своей нежданной спутницей.

В Иркутске случился переполох, когда генерал-губернатор, только что получивший от Государя титул графа Амурского, вдруг вырос посреди кафедрального собора, словно невидимка миновав выставленные для встречи его торжественные депутации.

Епископ Евсевий спешно начал литургию, по завершении которой Николай Николаевич проехал в свой Белый дом, где вечером назначен был большой бал. Эту часть торжественной встречи Муравьев, большой любитель танцев, всецело одобрял. Горожане провожали покорителя Амура до самой резиденции, поминутно крича «ура!». То-то жалость, что не видит этого торжества милый друг Катенька, а ведь в этой победе есть и ее лепта!

Не видит его и еще одна прекрасная дама, чей вклад в дело также невозможно переоценить. Великая княгиня Елена Павловна! Эта удивительная женщина никогда не оставляла своего бывшего пажа своей поддержкой. За эти годы она лишилась мужа, организовала первую в России общину красного креста, отправив сестер милосердия в Севастополь вместе с доктором Пироговым, и, наконец, сделалась наставницей молодого Царя. Ее дворец по-прежнему оставался центром творческой и мыслительной работы...

И радостно было на сердце у покорителя Амура от сознания, что он всецело оправдал доверие своей Августейшей покровительницы, а также своего незабвенного Императора. Он выполнил все, что обещал, ни на шаг не отступив от той программы, которую сам наметил себе, отправляясь в неизведанный край. Можно, пожалуй, и на лаврах почтить? Уехать в Париж к любезной Катеньке? Он уже однажды подал рапорт новому Государю об отставке, усомнившись в доверии к себе. Ведь даже на коронации Императора, ему, хозяину Сибири, досталось место где-то на задворках, подальше от монарших глаз... Великий князь Константин уговорил отказаться от столь вредного для амурского дела решения, а Государь подтвердил, что никто другой не сможет довести его до конца. Тем не менее Муравьев готовился к отставке. Уходить должно

вовремя, исполнив долг. Он уже подготовил себе достойного преемника и положил уйти от должности года через два. А к тому времени нужно поставить точку в деле, довершив уссурийский вопрос...

Пока же хотелось Николаю Николаевичу немного беззаботной радости, утренней, пробуждающей к жизни свежести... И то, и другое он обрел сразу же, как только вошел в бальную залу. Мадам Буссе в белоснежном платье казалась совершенной невестой или же вовсе бесплотной нимфой. Открывать бал, согласно правилам, надлежало с супругой градоначальника Венцеля, и, отбыв эту повинность, Муравьев, подкрутив рыжеватые усы и приосанившись более обычного, устремился к Екатерине Михайловне.

— Вы думаете, я о вас забыл? — улыбнулся Николай Николаевич, целуя руку красавицы.

— Нет, я не думала, — простосердечно отвечал она: — Я ждала! Я так счастлива!

Танцевала златокудрая нимфа с глазами-незабудками, едва касаясь паркета, не шла, а парила с легкостью бабочки... Что за неземное создание, и как бы хотелось удержать ее рядом подольше!

— А знаете, Екатерина Михайловна, какая мысль пришла мне?

— Узнаю, если скажете!

— Нам нужно съездить в Кяхту. Проверить, все ли там благополучно, посмотреть, как идет торговля.

— Нам?

— Мне и вашему мужу, ну, и вам, конечно. Вы же не захотите скучать в одиночестве, я прав?

— О, ни за что! Я готова ехать хоть на самый северный полюс! — воскликнула мадам Буссе.

Танец завершился, и Николай Николаевич тотчас подозвал к себе ее не любившего танцев мужа:

— Полковник, распорядитесь, чтобы к утру нам подали две тройки. Мы с вами отправляемся в Кяхту.

— Будет исполнено, ваше высокопревосходительство.

За окнами раздались громopodobные залпы, дрогнули стекла, рассвеченные разноцветными огнями.

— Фейерверк! — с детской радостью вскрикнула Екатерина Михайловна. — Идемте скорее смотреть! Венцель клялся, что это будет что-то невиданное!

Венцель не обманул, и фейерверкеры превзошли сами себя. Ночное небо то и дело озарялось и переливалось разноцветными огнями, фонтаны искрились из-под земли, вращались огненные колеса... В качестве кульминации удивительного зрелища одна за другой загорелись на площади перед губернаторским дворцом громадные буквы, сложившиеся в два победных слова:

АМУР — НАШ!

В 1860 году талантливый русский дипломат Николай Павлович Игнатьев заключил Пекинский договор, согласно которому России отходил не только Уссурийский край, но и южные порты. А через год генерал-от-инфантерии, граф Муравьев-Амурский навсегда покинул Сибирь, посчитав свой долг исполненным. Оставшиеся 20 лет своей жизни Николай Николаевич прожил с женой в Париже и был похоронен в фамильном склепе рода Ришмон. Уже в наши дни стараниями неравнодушных людей останки хозяина Сибири были перевезены в основанный им наряду с другими многочисленными городами Владивосток. Единственный дореволюционный памятник Муравьеву, установленный в Хабаровске, был уничтожен большевиками. В наши дни он восстановлен. Кроме того, памятники Николаю Николаевичу воздвигнуты во Владивостоке, Благовещенске, Чите и Находке.

**Воин жизни
(Алексей Степанович Хомяков)**

Все последние дни Алеша был более обыкновенного задумчив, и Федор, хорошо знавший младшего брата, сразу угадал, что тот что-то замышляет. Предчувствие оказалось верным. Дождливый вечером, когда отец по обыкновению уехал в Английский клуб, завсегдаем которого был многие годы, Алеша проскользнул в комнату брата.

— Бог мой, куда ты собрался в такой час? — воскликнул Федор, увидев его на пороге. Алеша был одет в теплую ваточную шинель, за плечо его был закинут небольшой мешок.

— Прощай, Федя! Ухожу биться за свободу эллинов!

Федор быстро поднялся из-за стола, забыв о прерванном занятии, и поспешно притворил за братом дверь:

— Алеша, свет мой, да ведь это безумие!

— Почему? — живо удивился 17-летний доброволец, блеснув темными глазами. — Разве не мечтали мы с тобой сражаться за Веру Христову, за правое дело?

Да, еще как мечтали! Сразу вспомнилось глубокое огорчение, когда еще в дни учения в Петербурге пришла весть о битве при Ватерлоо. Братья так надеялись, что Наполеон не уйдет от них, и они еще успеют сразиться с нахальным корсиканцем! Но, увы, их опередил Веллингтон...

— С кем же мы теперь будем драться? — разочарованно спросил тогда Федя.

И 11-летний Алеша, никогда не терявший бодрости духа, тотчас отвечивал:

— Будем бунтовать славян!

И это не был лишь мальчишеский пыл. Брат уже тогда близко к сердцу принимал и положение

угнетенных турками славян, и гонения на Православную веру — не только от басурман, но и от латинян. В то время на слуху было имя сербского героя Георгия Черного, его лубочные портреты можно было встретить всюду. Именно на него мечтал быть похожим Алеша. Что же до веры, то о ней он, еще совсем дитя, спорил, бывало, с аббатом Бувином, которого родители пригласили преподавать сыновьям языки. Немало натерпелся бедный аббат от въедливых вопросов воспитанника, никак не желавшего признавать непогрешимость Папы...

— Ах, Федя, душа моя! Бежим вместе! Сам Господь дает нам случай претерпеть за Его дело! — горячо говорил Алеша, обнимая брата.

Претерпеть за Божие дело они оба клялись еще в Петербурге, казавшемся им воистину языческим вертепом. Мальчишкам чудилось, что в этом городе непременно станут склонять их изменить вере, и они поклялись принять любые муки, но не отречься от Христа и Его Церкви.

Там, в Петербурге, судьба свела их с графом Каподистрией, славным греком, ведавшим иностранными делами Российской Империи. Граф был патриотом России, но еще большим патриотом своей несчастной Родины. И вспыхнувшая борьба греков за свою свободу, разумеется, всецело владела его сердцем. Впрочем, и русские сердца горели жаждой помочь единоверцам. Бывший гувернер Федора и Алексея, грек Арбе, рассказывал, что даже Пушкин и Вяземский рвались на войну, но Царь воспретил им... Он вообще много чего рассказывал, отважный и влюбленный в свою родину господин Арбе! И слушая его, загорался Алеша жаждой подвига, жаждой праведной брани. Красивое лицо его дышало вдохновением, а глаза блестели то гневом, когда речь шла о жестокостях басурман, то восторгом, когда

повествовалось о героях-греках и их доблестных деяниях...

— Алеша, голубчик, да ведь тебя схватят! — Федор старался быть рассудительным, хотя горячность младшего брата начинала будоражить и его. — Как ты собираешься добраться до Греции? Ведь нужны документы, деньги...

Алеша гордо улыбнулся и извлек из кармана паспорт:

— Об этом не волнуйся! Я хорошо подготовился!

— Откуда?..

— Г-н Арбе раздобыл по моей просьбе. Еще мне удалось скопить 50 рублей, их хватит на дорогу. А еще вот! — Алеша извлек из-за голенища сапожный нож. — Саблю добуду в бою! — рассмеялся он, пряча оружие. — Ну, так что, дипломат, пойдешь со мной басурманов бить?

Федор и рад бы был пойти. Но он уже избрал для себя дипломатическое поприще и с успехом готовился к нему. Впрочем, Алешу ожидало будущее ничуть не менее завидное. В свои 17 лет этот мальчик уже имел степень кандидата математических наук Московского университета — случай неслыханный в истории! К тому же знал он добрых две дюжины языков, не уставая выучивать все новые и новые. Казалось, что ему не нужно их даже учить, довольно раскрыть книгу на чужом наречии, либо завязать разговор с носителем дотоле неведомого языка, и язык сам приходил к отроку... Не было науки, в которой бы он не преуспел, не было искусства, которому не был он причастен. Как раз теперь работал Алеша над новой драмой в стихах... И эту-то голову золотую под пули и турецкие ятаганы подставлять?!

— Алеша, — осторожно заметил Федор, пытаюсь остудить воинственный пыл брата, — а как же матушка?.. Ведь она с ума сойдет, узнав о твоём побеге!

Лицо Алексея опечалилось и, присев на край стула, он сокрушенно покачал головой:

— Ты прав. Перед ней я теперь грешен. Но разве не сама она воспитала нас такими? Не она учила нас насмерть стоять за Веру, за правду, за Отечество? Да, мой побег станет для нее ударом. Но, — бледное лицо вновь оживилось, — уверен, потом она будет гордиться мною! А я так хочу, чтобы матушка мною гордилась! Гордилась, что ее сын следует ее заветам, что стал настоящим героем! — Алеша вскочил на ноги и порывисто обнял брата. — Ах, Феденька, душа моя! Я напрасно звал тебя с собою! Конечно же, ты должен, ты обязан остаться! Ради нашей матушки! Ты будешь ей опорой и утешением, если... — голос его прервался. — Я иду на войну, а там все может случиться! Ты прости меня, братец, если я был виноват пред тобою. Испроси за меня прощения у матушки, у отца. Скажи, что я бесконечно люблю и почитаю их. Что я буду писать им, как только смогу...

По щекам Федора покатались слезы. Он был уже слишком взрослым и степенным молодым человеком, чтобы совершать безрассудные порывы, но порыв Алексея, хотя и пугал, но искренне восхищал его. Он гордился в эту минуту своим младшим братом, завидовал ему и горевал, что не похож на него, что не может последовать за ним. И только страхом сжималось сердце — на войне все может случиться... А что если Алеша не вернется из Греции? Сложит там свою золотую голову? Что если в последний раз обнимает теперь Федор брата? И от этой мысли еще крепче стиснул он Алешу в объятиях.

— И тебя, милый Феденька, я тоже очень люблю. Ты самый родной, самый близки мой человек после матушки! Ты береги ее крепко, Феденька! — с этими словами Алексей вырвался из братних объятий и беспокойно взглянул на часы. — Однако, мне пора!

Прости и прощай, душа моя! — и поклонившись земно растерянному Федору, Алеша не вышел, но выбежал из его комнаты, точно боясь, что тот станет удерживать его, воспрепятствует побегу.

А разве не должен был воспрепятствовать? Как старший?

Федор выбежал на лестницу следом за братом.

— Алеша!

Алексей обернулся уже от самой двери черного хода. Несколько секунд братья молча смотрели друг на друга в полумраке. Затем Федор трижды перекрестил беглеца и глухо, но так, чтобы тот услышал, произнес:

— Благослови тебя Господь, братец!

Алексей улыбнулся из темноты, поклонился вновь и исчез в ночи... Протяжно завывал ветер за гулко захлопнувшейся дверью. Хлопья мокрого снега мешались с ледяным дождем, покрывая улицы склизким месивом. Вернувшись в свою комнату, Федор долго смотрел в окно, надеясь в последний раз увидеть тонкую фигуру брата с мешком на плече. Но тьма поглотила Алешу, и ничего нельзя было разобрать в ней, кроме грузных, разбухших от воды снежных хлопьев.

Взволнованный и удрученный, Федор попытался возвратиться к прерванным занятиям, но глаза упрямо не видели строчек в книге, а мысли, словно гончие, стремились по следам Алексея. Куда-то пошел он? Или поехал на извозчике?.. Один или с г-ном Арбе? Где он теперь, в эту самую минуту?

От брата мысли обращались к матери. Как-то сообщит он ей о побеге любимого сына? Гнев отца не страшил Федора, но горе матери заранее ранило его сердце. Однако, Алеша прав был, когда говорил, что именно она наполнила сердца сыновей верой, глубокой преданностью Церкви и Отечеству, любовью... Всем

тем, ради чего ее младший сын отправлялся теперь, быть может, на смерть.

Отец Федора и Алеши, Степан Александрович, был человеком добрым, но слабохарактерным и совершенно не способным к ведению дел. Капитал, оставшийся ему еще от деда, он умудрился дочиста спустить в карты в своем любимом Английском клубе. Мать, узнав об этом, потребовала, чтобы муж немедленно переписал на нее имение с тем, чтобы защитить от полного разорения детей. Отец был человеком достаточно совестливым и удовлетворил этому справедливому требованию. С той поры всеми делами семьи Хомяковых ведала Марья Алексеевна, женщина мудрая и основательная. Она сумела навести порядок в расстроеном мужем имении, строго следила за расходом средств и всю душу вкладывала в воспитание сыновей и дочери. Марья Алексеевна была женщиной глубоко религиозной и приверженной ко всему русскому. В семье строго соблюдали все посты и церковные уставы. Детство Федора и Алеши прошло в Москве, среди ее многочисленных церквей, старинных обычаев и преданий. Любовь к Отечеству и верность Православию стали основой мировоззрения обоих мальчиков. Оттого-то и было им затем так трудно принять Петербург с его европейским образом жизни, забвением веры, растленностью, отчего-то почитавшейся как «светскость»...

Мать сделала все, чтобы вырастить своих сыновей русскими и православными — без оглядки на модные поветрия. И ей это удалось. Ныне один из ее мальчиков уходил в чужую страну, чтобы утвердить сердцем и разумом воспринятые наставления делом и кровью...

Снизу раздался шум. Федор отвлекся от своих мыслей и, прислушавшись, понял, что отец вернулся из клуба. Час был еще не поздний, а потому впору было удивиться, почему родитель, возвращавшийся

обыкновенно уже ночью, приехал столь рано. Уж не проигрался ли опять? Мать, щадя гордость мужа, не лишала его привычного образа жизни и ежемесячно выделяла ему достаточные средства, дабы он мог поддерживать свое положение в привычном ему обществе. Это помогало сохранить известную гармонию в семье. Хотя денег отцу частенько не хватало, и это служило поводом для ссор, но все же, как человек совестливый, Степан Александрович вынужден был признавать правоту жены и терпеть свое «угнетенное» положение.

Еще больше удивился Федор, когда услышал, что шаги отца стремительно приближаются к его комнате. Мгновение, и дверь распахнулась настежь. Отец — в распахнутой шубе, в цилиндре, с тростью в руках — возник на пороге, и грозное лицо его не предвещало ничего хорошего.

— Потрудитесь объяснить, милостивый государь, где теперь ваш брат! — потребовал Степан Александрович без обиняков.

Вот так-так! Откуда бы знать ему? Значит, не только Федор заметил неладное в поведении брата? Кто же еще? Матушка была теперь в имении... Уж не дядька ли Артемий? Конечно, кому еще! Уж он-то знал своего питомца, как облупленного!

— Я не знаю, батюшка... Разве его нет в комнате? — неуверенно пробормотал Федор.

Отец с гневом ударил тростью по столу:

— Не смейте лгать отцу! Тем более так бездарно! Лгать, сын мой, нужно красиво и убедительно, запомните это. На дипломатическом поприще это вам пригодится. А если не умеете, не беритесь! И найдите себе иное применение!

— Простите, батюшка...

— Так где же ваш брат? Говорите правду!

Федор опустил глаза. Он не мог врать отцу, но не мог и выдать Алешу.

— Я жду! Я приказываю вам сказать, где теперь ваш брат! Разве ваша добродетельная матушка не учила вас, что лгать грешно?!

— Учила, батюшка. А вы не раз говорили нам, что грешно доносить, и мы никогда не выдавали вас матушке... — заметил Федор.

Трость мгновенно была убрана со стола. Цилиндр небрежно полетел в кресло. Сбросив шубу, в которой он порядком запарился, отец, наконец, расположился на диване и заметно помягчел.

— Хорошо, — кивнул он. — Пожалуй, дипломат из тебя все-таки получится. За словом в карман ты не лезешь. Но ты, мальчик мой, уже не ребенок, и должен, черт побери, понимать, что донос доносу рознь. Не сказать матери о крупном проигрыше отца — это лишь способ уберечь семью от лишнего скандала. А не сказать о, быть может, опасной затее младшего брата? Что это? Ты не думаешь, что твое покровительство может погубить его? И если это случится, как ты будешь жить с таким грузом? Донос! Мальчишка!

Федор вспыхнул, понимая справедливость слов отца, но все еще не решаясь выдать Алешу.

— Стало быть, упрямствуешь. Хочешь гибели родного брата... Вот, ваша матушка-то обрадовалась бы теперь, будь она здесь, этаким солидарности двух выпестованных ею недорослей! Один в пекло юрит, а другой на страже стоит, чтобы его за пятки ухватить и вырвать из того пекла не успели! Брависсимо!

— Я не знаю, где он теперь, — ответил окончательно раздавленный отцовским сарказмом Федор. — Я только знаю, что он в Грецию уехал... Воевать за свободу эллинов, как завещал еще князь Потемкин...

— Вот, только Светлейшего в ваши мальчишеские игры не впутывай, сделай одолжение! Ишь ты! Потемкины... — сердито фыркнул отец и позвонил в колокольчик. Явившейся на зов прислуге была тотчас дана команда разослать людей на все заставы и искать там молодого барина.

— О, я знаю, чье это влияние! — грозно говорил Степан Александрович, теребя тонкими пальцами набалдашник трости. — Все ваш Арбе! Я знал, что этого старого мошенника нельзя пускать на порог! Забил несмышленишам головы вздорными идеями...

— Это не вздорные идеи, отец! — воскликнул Федор. — И Алеша поступил благородно, желая..!

— В самом деле? Отчего же вы тогда не отправились вместе с ним, милостивый государь? Разве не долг старшего брата блюсти младшего? Но вы предпочли остаться дома и продолжать учение, дабы делать карьеру на избранном поприще, не так ли?

Федор вновь залился краской — стрелы отца, как всегда, попадали точно в цель.

— Молчите? И правильно делаете. Теперь лучше помолчать! Ваш брат еще ребенок. Ему простительно подобное мальчишество, хотя и в его лета пора иметь уже более рассудка. Но вы!..

— Вы ли будете учить нас рассудительности, отец?

Степан Александрович усмехнулся.

— Что ж, признаю, я не лучший пример для подражания. И все же я ваш отец, а это — мой дом. И, как вас воспитали добрыми христианами, то извольте чтить отца своего и повиноваться ему! Или, может, вас сей заповеди не учили? И говорили лишь о повиновении матери?

— Я повиновался и сказал вам...

— Брависсимо! — кивнул отец. — Благодарю тебя, сын мой, за сие одолжение. Молись, чтобы твоего безрассудного брата успели найти и вернуть домой!

Иначе несчастье, которое может случиться, будет единственно твоей виной!

Последние слова окончательно подавили Федора, и он умолк, последовав совету родителя и погрузившись в молитвы о брате.

Степан Александрович умолк также, закурился и время от времени поглядывая на часы.

Время тянулось медленно, точно и оно разбухло и отяжелело, подобно падающим за окном снежинкам. Наконец, около трех ночи внизу раздался юношески ломкий голос Алеши:

— Отпусти меня, старый черт! Ты не имеешь права останавливать меня!

И вслед за ним густой, слегка окающий, уветливый голос старика Артемия:

— И не совестно вам барин этакое браниться? Слышала бы ваша матушка!

Федор вскочил из-за стола, поднялся с дивана и отец. Через минуту на пороге комнаты появился красный, как рак, и безмерно раздосадованный Алексей, а за ним придерживавший его за плечо Артемий.

— Вот, барин, — обратился дядька к Степану Александровичу, — за Серпуховской заставой настиг. Едва не сбежал от меня! Как завидел — ну лататы задавать! Но уж я охотник бывалый, от меня не убежишь!

Алеша дернул плечом и вырвался из цепкой хватки старика.

— погоди! Убегу еще! — бросил он и исподлобья поглядел на отца, ожидая взбучки.

Артемий рассмеялся:

— Ну-ну, батюшка, не журишь! Куда ж ты без меня, дядьки своего, собрался? Надо было хотя меня с собой призвать, я б тебе за ординарца был! А то один! Да в чужие края! Виданное ли дело?

— Полно, Артемий, — махнул рукой отец. — Пойди в кухню, обогрейся. За службу я тебя после вознагражу.

— Помилуйте, Степан Александрович, батюшка! Какие ж тут награды! Вы моим заботам дите вверили, так как же мне не уследить за ним? Когда бы я его не уберег, меня бы на скотный двор отослать мало было!

— Это ты верно сказал, мало, — согласился отец. — Но коли за худую службу след наказывать, то за добрую всякий должен награду иметь. Ступай же, я с сыновьями потолкую.

— Слушаю, барин, — Артемий с поклоном удалился.

Отец вплотную подошел к Алексею и несколько мгновений молча изучал его, словно видел впервые.

— Стало быть, Алексей Степанович, науки менее притягательны для вас, нежели запах пороха и бряцанье стали? — осведомился он.

— Одно не мешает другому, батюшка, — отозвался Алеша, прямо глядя на отца. Ни тени смущения, а тем более страха не было в нем, и Федор в очередной раз позавидовал брату.

— Ты очень уверен в себе, сын мой, — заметил Степан Александрович. — Что ж, раз тебя так манят бранные пиры, то я найду твоим воинственным стремлениям лучший путь, нежели г-н Арбе, ноги которого, конечно, в этом доме больше не будет. Я сегодня же отпишу моему доброму другу, Дмитрию Ерофеевичу Остен-Сакену, и, уверен, он не откажет принять тебя под свое начало в Кирасирский полк. Война — это не игра. И прежде чем ты пойдешь совершать подвиги для своих эллинов, изволь хотя бы обучиться воинскому делу, как подобает благородному человеку.

С этими словами отец ушел, а Федор бросился на шею брату:

— Прости меня, Алеша! Но я не мог солгать ему!

— Если бы ты солгал, это бы не помогло, — ответил Алеша. — Артемий — борзая, каких поискать. Он бы меня и под землей нашёл...

— Если честно, то я рад, что все так получилось, — признался Федор. — Если бы ты погиб, я бы не смог простить себе, не смог бы жить с этим.

Алеша глубоко вздохнул:

— На все Божия воля! — и блеснув глазами, добавил: — А эллинов мы все-таки освободим! И славян также!

На третий месяц осады крепость Шумла открыла свои ворота русским воинам. Крепость не сдавалась. Крепость отдавала дань уважения русскому Мюрату, великому полководцу и в знак этого уважения позволяла предать его прах земле в ее стенах.

— Надо же, басурмане, а с понятием! — удивленно говорил дядька Артемий.

— Да, с **большим**, чем у иных наших... — с горечью отозвался Алексей.

Траурная дробь барабанов возвестила начало церемонии. Гроб почившего генерала тяжелой кладью лег на плечи его верных гусар. Врата крепости отворились, и скорбная процессия вошла в Шумлу.

Алексею вспомнилось первое видение генерала Мадатова. Его Белорусский гусарский принца Оранского полк как раз расположился на бивуак, когда в отдалении показался несущийся во весь опор всадник на вороном коне.

— Кто это там скачет? — спросил один из офицеров.

— Это какой-то генерал! — отозвался поручик Лаврецкий, взглянув в трофейную подзорную трубу.

Через несколько мгновений генерал, высокий и статный, в гусарском ментике, с георгиевским крестом на шее, смуглый, черноволосый, остановился прямо у бивуака:

— Здорово, молодцы! — прозвучал зычный, бодрый голос. — Поздравляю вас с войной! Мы подеремся славно — я это вам предсказываю. Надобно только выманить этих мусульманских собак в чистое поле, а тогда и нам, гусарам, будет работа... Я знаю турок, я с ними вырос... Я вам пророчу, господа, что через год вы все вернетесь в Россию с Георгиевскими крестами!

— Чтобы заслужить крест, надо, чтобы случай представился! — заметил Лаврецкий.

— Какой тут случай! — воскликнул Мадатов, осаживая своего бесом вертящегося коня. — Была бы охота да отвага! Знаете ли вы, как добываются Георгиевские кресты?

Еще в 1810 году под водительством графа Каменского здесь же, под Шумлой, храбровали Александрийские гусары, а в их числе капитан Мадатов. Молодому офицеру так хотелось получить Георгия, что он напрямик спросил своего командира, полковника Ланского, что ему сделать, чтобы получить заветную награду. Ланской указал на четырехтысячную колонну турецкой кавалерии, шагом выезжавшую из лагеря:

— Разбей их!

Полковник пошутил, но капитан принял шутку за приказ и, крикнув двум эскадронам: «За мной!» — бросился в атаку. Турки, не ожидая нападения, дрогнули, и два русских эскадрона изрубили их, покрыв вражескими трупами несколько верст... Это был день славной для русского воинства победы под Батином, в котором была наголову разбита 40-тысячная турецкая армия.

— Это было дело знатное, — заключил Валерьян Григорьевич, покрутив длинный, угольно черный ус, — оно утешает меня даже под старость. Дай Бог и вам когда-нибудь поработать таким же манером... А пока прощайте! Увидимся под Варной!..

С этими словами он круто повернул коня и поскакал по дороге в Мангалию... Только позже узнали гусары, что перед ними был легендарный генерал Мадатов. Этот блистательный военачальник покрыв себя славой еще в предыдущую турецкую кампанию, а затем много раз отличился в битвах с Наполеоном. Когда русский авангард буквально погибал, переправляясь через Березину, обледеневший мост через которую оказался

запружен артиллерией и обозом, Мадатов, командовавший Александрийским полком, выдвинул вперед своих гусар и, проскакав по их фронту, воскликнул: «Гусары! Смотрите: я скачу на неприятеля! Если вы отстанете — меня ожидает плен или смерть! Ужели вы в один день захотите погубить всех своих начальников?» Не ожидая ответа, он круто повернул коня, дал шпоры и помчался на неприятеля. Само собой, Александрийцы последовали за своим вождем. Много жертв понес в тот день полк, но спас остатки пехоты и честь русского знамени...

По окончании Заграничного похода Валерьян Григорьевич был назначен в родной для него край, сделавшись правителем Ширванского, Шекинского и Карабагского ханств. Любимый полководец Кавказского наместника генерала Ермолова, он творил чудеса, с одной стороны наводя страх на непримиримых горских разбойников и персов, с другой — личным влиянием, авторитетом и примером обращая в русское подданство своих единоземцев.

О его мужестве в боях с персами, неизменно победительных для русского воинства, рассказывали легенды. Генерал вступал в них во главе своих войск, в парадном генеральском мундире. Неприятель тотчас отличал его гарцующую на горячем коне фигуру с сияющими на солнце эполетами.

— Ваше превосходительство, вас видят, в вас метят! — кричали ему.

— Пускай видят! И боятся! — отвечал на это Мадатов.

И ни одна пуля не смела коснуться его...

Мог ли Алексей мечтать, что будет не просто служить под началом такого доблестного героя, но сделается его адъютантом? Судьба, однако же, распорядилась именно так.

Служба Хомякова сперва в Кирасирскому полку, а затем в Конной гвардии не приносила ему удовлетворения. Он мечтал о подвигах, а не об унылой полковой жизни и не о разухабистой столичной гвардейской. Поэтому с наступлением нового царствования Алексей взял отпуск и отправился в путешествие по Европе. Он обучался живописи в парижской Академии художеств, постигал секреты архитектурного мастерства в Италии, совершенствовался в науках и практиковался в языках... Но, вот, грянула новая война, и Алексей понял — пришло его время! Брат Федор в ту пору был назначен состоять по дипломатической части при графе Паскевиче на Кавказе и звал Алексея с собой. Но дипломатические маневры не манили Хомякова, а потому он поспешил вступить в ряды Белорусского гусарского полка, отправлявшегося на театр военных действий.

Первое дело, в котором отличился молодой офицер было сражение при Кулевче, открывшее русским войскам путь за Балканы. В этом бою поручик Хомяков спас жизнь поручику Лаврецкому, на которого напали разом три турецких конника. Один из них уже занес ятаган над вихрастой и удалой головой, но был сражен ударом сабли Алексея.

— Ну, брат! Ты мне теперь воистину брат! — говорил после боя Лаврецкий, обнимая Хомякова. — Жив останусь — весь твой буду!

Он был чрезвычайно горяч этот бесшабашный поручик, полная противоположность самому Алексею, но этим-то и привлекал к себе, заражая своим доходящим до ухарства молодечеством, увлекая веселым краснобайством.

На другой день войскам Мадатова была поставлена задача прервать сообщения разбитой турецкой армии с Шумлой. Едва только турки выдвинули из крепости

свою конницу, гусары ринулись в атаку, предводительствуемые своим бравым генералом. Алексей оказался совсем рядом с Валерьяном Григорьевичем. Мадатов, дерясь, как рядовой офицер, самолично вырвал знамя Ахмат-бея. Это был опасный момент! Турки с ревом бросились на русского Мюрата, и тот оказался в кольце их, отбиваясь на все стороны света. В таком положении куда как кстати бывает человек, способный прикрыть вам спину! Алексей и оказался таким человеком. Увидев критическое положение командира, он, не задумываясь врубился в ряды турок и, прорвавшись к Мадатову, прикрыл его от ударов вражеских клинков. Следом подоспели и другие гусары.

Сбитые с поля турки бросились в ближайший пехотный лагерь. Но гусары не привыкли просто так отпускать противника и ворвались в лагерь на плечах бежавших. Турецкая пехота, не ожидавшая нападения, была тотчас изрублена. Но и на этом не остановились доблестные гусары!

— За мной, ребята! — раздался зычный клич. Вороной демон-конь уже летел вправо, спеша отрезать от Шумлы другую пехотную колонну, поспешно отступавшую в укрытие ее стен из соседнего лагеря. На глазах гарнизона была истреблена и она.

После этого перед стенами крепости остались лишь редуты с грозной артиллерией. Военная наука воспрещает атаковать артиллерию в конном строю, но Мадатов предпочитал науке собственную никогда не подводившую его интуицию. Суворовскую быстроту и натиск.

— Гусары, в карьер!

И масса конницы в считанные мгновения достигла редутов, перелетая через рвы... Здесь гусары спешили и с саблями наголо уже в пешем строю ринулись на приступ. Первый редут был взят с налета,

победителям достались знамена и орудия. Второй редут, однако же, уже не мог быть застигнут врасплох и оцетинился против атакующих всем, чем мог: картечью, штыками, батальным огнем.

И что же? Непостижимый Валерьян Григорьевич, сделав своим людям знак остановиться, один подъехал к изрыгающему огонь редуту и на турецком языке стал уговаривать его защитников сдаться. Те ответили залпом, чудом не повредившим генералу. В этот момент на подмогу коннице подоспела пехота, и редут был взят русскими штыками.

Вечером того же славного дня, обещавшего всем участникам водопад наград от Государя, который в этой кампании лично предводительствовал войска и находился теперь под Варной с генералом Воронцовым, Мадатов пригласил к себе Хомякова. Генерал полулежал по восточному обычаю у низенького стола. Алексей заметил, что по мужественному лицу Валерьяна Григорьевича иногда пробегает судорога боли, и он инстинктивно тянется к левому боку. Уж не ранило ли командира?!

— Вы отважно сражались сегодня, поручик! — обратился к Хомякову генерал.

— Благодарю, но я сражался, как все.

— Да, все были молодцами. Настоящими гусарами! И все-таки вы очень вовремя подоспели помочь мне отбиться от той своры собак. Благодарю вас!

— Рад служить, ваше высокопревосходительство!

— Скажите, поручик, верно ли говорят о вас, будто вы знаете не то 12, не то 13 языков?

— Тридцать два... — смущенно признался Алексей.

Мадатов приподнялся и воззрился на молодого офицера со смесью недоверия и недоумения:

— Сколько-сколько?

— Тридцать два, — повторил Алексей.

— Вы это всерьез? Уж простите за вопрос, слишком невероятное число вы назвали...

— Всерьез, — вздохнул Хомяков.

— Вы так тяжело вздохнули, точно признались в низком грехе! — рассмеялся Валерьян Григорьевич. — Но, помилуйте, как это возможно?

— Не могу знать, ваше высокопревосходительство. Просто языки мне всегда давались чрезвычайно легко. К тому же у многих из них общая основа. Зная к примеру, латынь, санскрит...

— Санскрит! — протянул генерал. — Стало быть древние языки вам тоже знакомы?

— О, да! Они прекрасны, в них столько поэзии!

— И при этом вы простой офицер?

— Я служу моему Государю и Отечеству.

Валерьян Григорьевич некоторое время о чем-то думал, теребя свой черный ус:

— Знаете, Алексей Степанович, некоторые сочли бы вас сумасшедшим, но мне вы нравитесь. Сегодня турецкой картечью был сражен мой адъютант, и я хочу, чтобы вы заняли его место. Вы образованы, отменной нравственности и такой же отваги, лучшей кандидатуры мне не найти!

Так Алексей неожиданно для себя сделался адъютантом своего кумира. Очень скоро он понял, что Мадатова, хранимого судьбой от неприятельских пуль и клинков, тяготит куда более тяжелая и опасная рана. И нанес ее не враг, нанес ее и продолжал наносить граф Паскевич. Этот счастливый баловень судьбы и любимец Государя имел весьма неприглядную черту характера: он не мог выносить чужую славу. По крайней мере подле себя. Потому сменив на Кавказе Ермолова, он начал спешную замену соратников последнего. Не миновала эта участь и Мадатова. Любовь и уважение к князю в войсках и населении особенно распалили ревнивую натуру Ивана Федоровича и он, блестящий

полководец, герой, опустился до низких кляуз, до клеветы в отношении Валерьяна Григорьевича. Само собой, нашлось довольно ничтожеств, которые в угоду новому «хозяину» поспешили сочинять доносы, исправно направляемые в Петербург.

Мадатов мужествовал под Шумлой, а на него — хуже неприятельских ядер — сыпались вздорные и оскорбительные обвинения. И после боев он вынужден был не пожинать славу и не отдыхать, но отвечать на бесстыдные вопросные пункты, посылаемые ему Паскевичем. Травля, устроенная графом, была настолько возмутительна, что трудно было поверить, что человек такого положения может дойти до такой низости. В крепости Шуше, к примеру, барабанным боем на улицах приглашали жителей подавать жалобы на Мадатова. Князя обвиняли в незаконном завладении имением в Карабаге, хотя на руках у Ивана Федоровича были собственноручные рескрипты почившего императора Александра, утверждавшие за Мадатовым эти имения. Без ведома Валерьяна Григорьевича за небольшие долги, которые он легко мог погасить, был продан в казну за ничтожную сумму его тифлисский дом... Все эти унижения на глазах подтачивали силы отважного воина. Он умел сражаться лицом к лицу, на поле боя, но в «сражениях», где бьют из-за угла, был бессилён. 47-летний генерал угасал на глазах, снедаемый горькими несправедливыми обидами. И все же продолжал отважные вылазки и поиски вокруг осажденной Шумлы. В таких делах он вновь чувствовал себя прежним, и Алексей неизменно сопутствовал в них своему генералу.

Последняя вылазка была предпринята им за пять дней до смерти — к городу Тырнову. Впервые, отправляясь «на дело», был он не весел, а угрюм, и от этого так и обрывалось сердце Хомякова, искренне

привязавшегося к храброму и столь незаслуженно оскорбленному генералу.

— Ваше превосходительство, вам не стоит теперь ехать! — уговаривал Алексей своего командира, с мукой глядя на его страдальческое лицо. — Ведь вы совсем больны! Вам нужен отдых, лечение! Поберегите себя ради нас!

— Чтобы ко всем прочим обвинениям меня назвали еще и трусом? — вспыхнул Валерьян Григорьевич.

— Ваше превосходительство, русская армия знает, кто такой генерал Мадатов, и чем она обязана ему. Это знают не только ваши гусары, но и пехота, артиллерия, все. И точно также все хорошо знают вздорный характер графа Паскевича. Неужто же возможно вам искать себе смерти из-за его подлых происков?! Неужто он того стоит?!

Мрачное лицо князя посветлело, и в темных глазах его Алексей прочитал благодарность.

— Вы честный, благородный юноша, поручик, — сказал Валерьян Григорьевич. — Я рад, что не ошибся в вас. И за сердечное слово спасибо вам. Однако, от жалости вашей избавьте меня. Я не ищу смерти. Тем более из-за Паскевича... Но и бежать от нее не намерен. Кismet!

— Судьба — это не рок и не фатум...

— И здесь вы правы. Поэтому вот, что я вам скажу, Алексей Степанович. Когда закончится эта война, а она, несомненно, закончится очень скоро и славно для нас, подавайте в отставку.

— Почему вы хотите, чтобы я ушел из армии? Разве я плохо справляюсь со своими обязанностями?

— Вы справляетесь с ними блестяще, как и со всем, за что беретесь. Но храбрых и способных офицеров много. А вы — один. Генералом вам не стать, для этого вам понадобилось бы сосредоточиться лишь на военном поприще, а вы не сможете, слишком широк круг ваших

увлечений и дарований. Постарайтесь как можно полнее воплотить их. Поверьте, Россия выиграет от этого много больше, нежели от того, что у нее будет больше на одного доблестного офицера.

Таково было завещание Мадатова. Он словно уже знал, что настают его последние дни и спешил проститься. Результата его последняя экспедиция не принесла. Лишь вымотала его последние силы. На обратном пути генерал уже не мог сам сидеть в седле от слабости и жуткой боли в боку. Алексей все время ехал рядом с ним и поддерживал, чтобы тот не упал. Уже в лагере у Валерьяна Григорьевича пошла горлом кровь. Это была агония...

— Прочти мне что-нибудь свое... Порадуй напоследок... — глухо прозвучал в полумраке палатки голос умирающего генерала.

Судорожно сглотнув слезы, Хомяков постарался прочесть как можно более ровно:

— Не презирай клинка стального
В обделке древности простой
И пыль забвенья векового
Сотри заботливой рукой.
Мечи с красивою оправой,
В златых покояся ножнах,
Блистали тщетною забавой
На пышных роскоши пирах;
А он в порывах бурь военных
По латам весело стучал
И на главах иноплемнных
Об Руси память зарубал.
Но тяжкий меч, в ножнах забытый
Рукой слабеющих племен,
Давно лежит полусокрытый
Под едкой ржавчиной времен

И ждет, чтоб грянул голос брани,
Булата звонкого призыв,
Чтоб вновь воскрес в могущей дали
Его губительный порыв;
И там, где меч с золотой оправой
Как хрупкий сломится хрусталь,
Глубоко врежет след кровавый
Его синеющая сталь.

И, вот, теперь под моросью дождя под дробь барабанов по улицам не сдавшейся Шумлы русские гусары несли гроб своего вождя. А турки безмолвно отдавали честь русскому герою, ради погребения которого сам великий визирь приказал открыть врата своей цитадели. И кто осмелится сказать, что эти нехристи-бусурмане не оказались несравненно благороднее, нежели русский генерал-христианин Паскевич и его приспешники? Алексею было нестерпимо стыдно за них, из мелочного самолюбия, из зависти, из желания выслужиться погубивших замечательного человека, и нестерпимо больно за него самого, героя стольких войн, оказавшегося детски беззащитным против интриг.

Вечером после погребения Мадатова белорусские гусары узким кругом поминали безвременно ушедшего генерала.

— В тени садов и стен Ески-Сарая
При блеске ламп и шуме вод живых,
Сидел султан, роскошно отдыхая
Среди толпы красавиц молодых.
Он в думах был, — главою помавая,
Шумел чинар, и ветер, свеж и тих,

Меж алых роз вздыхал, благоухая,
И рог луны был в сонме звезд ночных.
«Чтоб кисть писца на камнях начертала,
Что все пройдет!»! — воскликнул падишах.
Я зрел Сарай и надпись на стенах,
И вся душа невольно тосковала,
И снова грусть былое воскрешала,
И мысль моя неслась на прежних днях.

— Хомяков! Это совершенно гениально, Хомяков! — восторженно воскликнул Лаврецкий, обнимая Алексея и троекратно лобызая его. — Истинное слово! А особенно восхитительно, что ты, мой свет, никогда того Сарая с его гуриями не видал!

— Так и что же из того? — вяло пожал плечами Алексей. — Разве кто-то видел рай, ад, библейских пророков и древнегреческих богинь... Однако же, описывают их весьма убедительно!

Лаврецкий рассмеялся, обнажив ряды крупных белоснежных зубов.

— Хомяков, голубчик, откуда вы можете знать достоверность описания древнегреческих богинь? Или библейских пророков? Их описывать легко! Никто не проверит!

— А Сарай кто проверит? Великий визирь или его евнухи? — усмехнулся Хомяков.

Тут несколько офицеров рассмеялись, и один из них пояснил:

— Дело в том, что наш поручик Лаврецкий однажды изрядно отличился, проникнув в гарем.

— Куда? — удивился Алексей.

— Ну, полно-полно! — смутился поручик. — Был грех, выпили, поспорили... Ну, вот, я на спор и проник. Сперва в крепость, а потом в гарем...

— Ну, не герой ли?! — тешились офицеры. — Тебе, Лаврецкий, за такое крест давать надо было!

— Узнай начальство о таком подвиге, меня бы вовсе в отставку отправили. Но, черт возьми, господа! Это того стоило!

— А если бы турки вас колесовали? — приподнял бровь Хомяков.

— Кисмет, как любил говаривать наш генерал, — пожал плечами Лаврецкий. — Зато будет, что вспомнить под старость, если я до нее доживу.

— И что, хороши ли были гурии, поручик?

— Хороши, братцы, — ответил тот, раскуривая трубку. — Но, сказать по чести, наши полтавские крали лучше!

Дружный хохот приветствовал эти слова, а Алексей невольно зарделся. Лаврецкий посмотрел на него с сочувствием:

— Удивляюсь я тебе, Алеша!

— Чему бы?

— Так воспевать сарай и так при том сторониться женского пола — такого я еще не видывал в нашей среде! Не ожидал я от тебя виршей этаких, брат! Экий, стало быть, и в тебе, праведнике, бесенок заключен!

— Ну, довольно! — нахмурился Алексей. — Мне не стоило трафить вам и читать этих стихов. Сегодня горчайший день для всех нас, сегодня следовало бы молиться и оплакивать того, кого мы потеряли... А что делаем мы? Пьем пунш и говорим несусветную чушь...

— Да полно тебе, свет мой! Мы гусары! И наш командир был гусаром! Любившим доброе вино, хорошеньких женщин, славную сечу и все радости нашей короткой жизни! И, уверен, он предпочел бы, чтобы мы вспоминали его вот так — бодро и безунывно, вспоминали не больным и измученным, а искрометным и веселым, каким он был всегда. И если он теперь невидимо посреди нас, то, уверен, смеется нашим

штукам вместе с нами. А наше уныние ему вовсе не понравилось бы.

— Может быть, и так, — не стал спорить Хомяков. — Но я лучше пойду... Тяжело на душе...

И оставив гудевшую у костерка компанию, он прошел чуть в сторону от лагеря. Пробовал молиться, но слова молитвы отчего-то не шли на распаленный пуншем ум. А вместо них вспоминались рассказы Лаврецкого о гаремных гуриях... Когда-то мать взяла с обоих сыновей клятву — блюсти целомудрие до свадьбы. В случае нарушения обета пригрозила не дать последнего благословения. И Федя, и Алеша обет родительнице дали. А дав, как не исполнять?.. Да только нелегко это молодому красавцу! Да еще и в офицерской среде! В окружении бражников и кутил! Заикнись им только о таком обете, на смех поднимут, и потом уж пощады не жди, изведут шуточками...

Еще во время службы в гвардии Алексей пережил сильное увлечение красавицей-гречанкой. Ею пленены были в ту пору решительно все: Жуковский, Вяземский, Пушкин, Мятлев... Не устоял и 20-летний корнет Хомяков. Красавицу звали Александрой Осиповной Россет. Фрейлина Императрицы, она по праву слыла первой придворной красавицей. Кто был для нее Алексей? Один из восторженно смотревших на нее юношей, не более того... Так она и отнеслась к нему. А юноше почудилось в том унижение, и красавица получила ответ, озаглавленный «Иностранке»:

Но ей чужда моя Россия,
Отчизны дикая краса,
И ей милей страны другие,
Другие лучше небеса,
Пою ей песнь родного края —
Она не внемлет, не глядит;

При ней скажу я: «Русь святая», —
И сердце в ней не задрожит.
И тщетно луч живого света
Из черных падает очей:
Ей гордая душа поэта
Не посвятит любви своей.

«Черноокая Россети» жестоко оскорбилась на эти вирши. От своих поклонников она привыкла получать совсем иные посвящения. И эти поклонники ценили в ней не только красоту, но и ум, вкус, и никому из них не приходило в голову обвинить ее в недостатке русскости. Напротив, именно русскою видели они в ней, и русской ощущала себя она сама.

Годы спустя, Алексей понял свою ошибку, но в ту пору распаленное сердце 20-летнего воздыхателя не могло судить справедливо. Красавица обиделась, а корнет оставил полк и уехал за границу. Таков был первый опыт любви... Каким-то будет следующий? Для его полковых друзей все легко и просто, для них точно и не написана был заповедь о прелюбодеянии. И, что самое поразительное, это ничуть не смущает и не разочаровывает целомудренных, казалось бы, девиц. Уже и в их души проникли современные веяния, и прямо обратное вызывает их удивление...

Но светлый миг очарованья
Прошел как сон, пропал и след:
Ей дики все мои мечтанья,
И непонятен ей поэт.
Когда ж?... И сердцу станет больно,
И к арфе я прибегну вновь,
И прошепчу, вздохнув невольно:

Досель безвестна мне любовь.

Ему исполнилось уже 25 лет, и душа его томилась от одиночества. Душа жаждала любви. Но не вульгарной любви, не подделки под нее, но истинного взаимного чувства, того чувства, когда двое воистину становятся одним целым, родной души. Всякая душа ищет такую душу. И безмерно счастлив нашедший!

— Батюшка! Алексей Степанович! А я-то вас по лагерю ищу-ищу! — раздался позади запыхавшийся голос старика Артемия.

— И везде-то ты меня найдешь... Чего тебе, старина?

— Да ведь иззябните вы! От костра ушли! Полушубочек оставили! — и уже нахлобучивал старик полушубок на молодецкие плечи. — Не хватало еще, чтобы простудилось дите и захворало! Что я матушке с батюшкой скажу тогда? Не уберег!

Хомяков улыбнулся этому наивному бормотанию своего старого дядьки и не стал спорить с ним, предавшись, как бывало в детстве, в его волю. Возвращаясь в лагерь, он думал, что надо будет непременно написать воспоминания о почившем генерале, позаботиться о сохранении его памяти и очищении ее от бессовестных наветов, сгубивших героя в расцвете лет.

Хороша на Руси золотая осень! А в деревне — особенно. Особливо, если деревня эта не моту какому принадлежит, а хозяину доброму, рачительному. Тут уж поневоле залюбуется глаз — и не одними только царскими золотом и порфирой короткий срок правящей госпожи Осени, но благолепием и достатком, о котором свидетельствует всякая крепкая и ухоженная изба, тучные стада, всякий встречный крестьянин, далекий от той испитости и оборванности, какую обычно описывают печальники о народе...

Вокруг Боучарова россыпь таких благолепных деревень была. И, хотя глаз подполковника Лаврецкого всегда много больше ласкали блеск столичных гостиных и пышность военных парадов, нежели поэтическая пастораль, а все же с немалым удовольствием осматривал он владения своего старого приятеля. А тот, с не меньшим удовольствием, показывал и рассказывал:

— Мужики мои вполне свободны, как и надлежит быть людям. Я заключаю с ними ряды, и они работают на меня по соглашению, как свободные люди. А я в свою очередь работаю для них, стремясь сделать труд их легче и производительнее. В прошлом году я, наконец, придумал, как усовершенствовать наши сеялки и веялки. И, ты знаешь, результаты весьма разительны!

— На все руки ты, брат, мастер, — улыбался Лаврецкий. — Я-то думал, ты только ружья проектируешь!

— Да, кстати, что там с моим ружьем? — живо отозвался Алексей, забыв о сеялках. — Уже месяц как я отправил опытный образец в военное министерство.

— Думаю, оно будет одобрено. Его конструкцией заинтересовался сам министр.

— Превосходно! — удовлетворенно кивнул Хомяков. — Но отчего же только сеялки? Ты забыл о паровой машине?

Паровая машина была его гордостью. Это изобретение было представлено им на Лондонской выставке и получило там патент.

— Если бы эту машину запустить в широкое производство, Бог знает, что можно было бы сделать!

Лаврецкий смотрел на Боучаровского хозяина и изумлялся. Минуло более 10 лет с той поры, как он знал его бравым поручиком, нещадно бившим турок. А ныне? Помещик, семьянин, изобретатель, писатель... Даже внешне переменился — отпустил по-мужицки бороду и длинные, до плеч, волосы. Но и в этом не то мужицком, не то священническом образе был по-прежнему красив собой. И красота эта дополнялась той живостью, увлеченностью, с какой говорил он о всяком предмете, с какой брался за всякое дело. И — вот, ведь чудо! — всякое дело оживало от прикосновения его! Восхищался Лаврецкий дивными Боучаровскими садами, медовый дух которых окутывал все окрестности. Эти яблони, вишни и груши вместе с мужиками барин сажал самолично. Да что яблони! Груши! Где в средней полосе России можно встретить обильно плодоносящие ананасы и бананы?! А у Хомякова их было в избытке. Хоть торговлю открывай! Тут же, рядом, и свой винокуренный завод у него.

Залюбовался гость церковью Сретенской. Скромна, но до чего гармонична! Ее тоже Алексей проектировал сам. Недаром в странствиях по Европе архитектурные премудрости постигал! А внутри храма среди росписей и икон есть образы, его же рукой написанные. Как успевал все это один человек? Как хватало ему памяти и часов в сутках? И ведь не то, чтобы слишком берег он

эти часы. Вставал поздно, ложился также... В этом отношении у помещика Хомякова сохранились привычки горожанина.

— И что же, не скучно тебе с твоими дарованиями в этой глуши? Без общества? — любопытно спросил Лаврецкий.

— Я не знаю значения этого слова, — улыбнулся Алексей своей ясной улыбкой. — Помилуй, жизнь прекрасна и удивительна! Как можно в ней скучать? О, я знаю! Теперь у нашего юношества в моде «сплин» и прочая мерехлюндия. Но ведь это все, братец, баловство и только!

— А я бы, пожалуй, взвыл от тоски, проживя в деревне долее двух недель.

— Если только жить да мух считать, то взвоешь. А если всякое мгновение занято тем, как эту деревню обустроить, как сделать так, чтобы крестьяне были не только сыты и довольны, но и просвещены, то выть-то и некогда окажется.

— О, ну, к такому труду свой талант потребен! Во мне его не бывало! Впрочем, мой папаша не оставил мне ничего кроме имени и дедовой сабли — единственного, что он каким-то чудом не проиграл. И с детских лет вся жизнь моя — это полк. Походы, зимние квартиры, парады-ретирады, атаки-осады... Ничего иного я не знаю.

— Погоди. Вот, обзаведешься семейством, появится у тебя свой дом, имение...

— Полно, брат, — Лаврецкий поморщился. — Всякому свой удел. К чему мне семейство, посуди сам? Я живу что цыган. И привык так жить. Семейство при такой жизни обуза... А самое главное, я хотя и не образец нравственности, но и не мерзавец же, чтобы испортить жизнь какой-нибудь порядочной девице или даме, которую угораздит пойти со мной к алтарю.

— Зачем же портить?

— Затем, что таков уж я! — развел руками гусар. — Не могу жить в хомуте, мне вольная воля нужна! К тому же, чего доброго, у этой несчастной оказалось бы приданное...

— И что же в том плохого?

— А то, что с ним произошло бы то же, что с приданным моей бедной матери. Я, мой друг, унаследовал все пороки моего отца. Я люблю веселую жизнь, люблю игру. Пока мне нечего проигрывать, кроме собственного жалования и исподнего, это нестрашно. А, вот, если появится имение, то беда!

— Мой отец тоже был игроком, но это не помешало мне стать неплохим как будто бы хозяином.

— По-видимому, ты унаследовал вместо пороков отца добродетели матери!

— Возможно... — пожал плечами Хомяков. — А также прадеда.

— Прадеда?

— Да, мой прадед, как говорит предание, был человек в высшей степени удивительный. Был он беден, но справедлив и добр, за что любили его все, и прежде прочих, крестьяне. И был у него у него дальний родственник, Кирилл Иванович Хомяков, владевший этим имением. Кирилл Иванович наследников не имел, а потому, когда пришло время отдавать Богу душу, призвал мужиков и велел им самим избрать себе нового барина. Те единодушно указали на моего прадеда, Федора Степановича, совсем еще юного сержанта гвардии.

— И такой юнец оказался справным хозяином?

— Более чем. Молва о нем вскоре пошла по всей губернии. Его деревни были образцом порядка и приносили такой доход, что ходили слухи, будто в кладовых у прадеда хранятся целые сундуки с серебром и золотом. Когда императрица Екатерина проезжала через Тулу и советовала здешним дворянам

открыть банк, те ответили ей: «Нам не нужно, матушка, банка; у нас есть Федор Степанович Хомяков. Он дает нам денег в заем, отбирает к себе во временное владение расстроеныя имения, устраивает их и потом возвращает назад».

— Не ошиблись, стало быть, мужики в выборе, повезло.

— А мужики, Петруша, вообще народ смышленный. Жаль, что у нас никогда не любопытствуют их мнением.

— Что я слышу? Уж не к либералам ли ты подался? — пошутил Лаврецкий.

— Вот, именно они-то менее всего и любопытствуют мнением мужиков. Они предпочитают подменять это мнение собственным и выдавать его за мнение мужика, некоего умозрительного мужика, существующего только в их воображении, так как мужика настоящего они не знают и знать не хотят.

— Тпру! Тпру! — рассмеялся подполковник. — Ты не на ваших московских любомудровских собраниях!

— И в самом деле — тпру! — Хомяков натянул поводья и остановил коляску у парадного крыльца своего дома. — Вот и приехали! Милости прошу! Сейчас ты узнаешь, как потчуют дорогих гостей в Боучарове!

И как только сочеталась в этом человеке хозяйская деловитость с юношеской веселостью, мудрость философа, ученые сочинения которого Лаврецкий никак не мог одолеть, с отменным жизнелюбием. Откроешь религиозный трактат — подумаешь, будто писал его какой-нибудь седовласый отшельник. Глядь, а вместо него — хлебосольный хозяин, знающий толк в хорошем вине и пище, любящий охоту, рыбалку и иные радости жизни.

Навстречу гостю вышла хозяйка — сестра именитого поэта Языкова Екатерина Михайловна. Алексею было уже 32 года, когда он, наконец, встретил свою мечту, свой идеал женщины в образе 18-летней Кити,

нежнейшего, чистого создания. Эта очаровательная женщина обладала главным талантом своего пола — талантом жены и матери. Своему возлюбленному супругу она подарила уже четверых ребятишек и теперь носила под сердцем пятого. По тому, с каким трепетом относились друг к другу супруги после пяти лет брака, было очевидно, что союз этот дал счастье и гармонию обоим.

Приветствуя Кити и со всей галантностью целуя поданную ему руку, Лаврецкий ощутил странную для себя неловкость. Эта женщина совсем не походила на тех, к обществу которых он привык. В ней не было ни тени кокетства, лишь чистота, простота, доброжелательность. При этом она вовсе не была глупа. Екатерина Михайловна получила подобающее домашнее образование, была довольно начитана и разбиралась в искусстве. Однако же, и начитанности, и разборчивости было в ней в меру, и обратиться в одну из «ученых дам», число которых все умножалось в последние годы, ей не угрожало. Мера — это слово определяло Кити. Мера, ровность, плавность, гармония. Ничего лишнего, острого, выпирающего. И в то же время ее никак нельзя было назвать скучной...

Кити смутила Лаврецкого. Он вдруг понял, что не знает таких женщин, женщин настоящих, таких, какими создал их Бог. Не знает и не умеет обращаться с ними. Проста, легка Кити, но деревенеет язык в ее присутствии, боясь сказать что-нибудь не то, но под ясным, доверчивым взором ее совестно становится за собственные пошлые мысли, и от этого присутствие ее стесняет. Лаврецкий представил себя мужем такой женщины и внутренне усмехнулся. Нет, он не Хомяков, он бы от такой агницы сбежал, не в силах рядом с ней своей порочности чувствовать. Добродетельному Алеше лучшей пары и желать невозможно было, истинно вымолил ее, не иначе. Ну, а «цыгану», гусару, повесе и

картежнику куда такое сокровище? Всякий день осквернять его и потом себя же святотатцем чувствовать? Сохрани Боже от такой жизни!

А обед был изобилен и превосходен. Богослов знал толк в кулинарии! Да и вино с Боучаровского завода было ничуть не хуже крымского. Вот, только беседа никак не клеилась... Большой частью о литературе толковать пришлось. Для удовольствия хозяйки. Говорили о ее брате, о ближайшем друге Гоголе, которым она детски восхищалась... Наконец, Кити удалилась отдыхать в свои комнаты, а Алексей пригласил гостя в биллиардную, велел подать туда наливку и сладости. Лаврецкий вздохнул с облегчением. Отпив превосходной смородиновки, раскурив трубку и расстегнув мундир, он вновь почувствовал себя самим собой.

— Кажется, — тонко улыбнулся Хомяков, метко направив шар в лузу, — моя идиллия не убедила тебя во благе степенной семейной жизни?

— Я не отрицаю этого блага, — покачал головой гусар. — Я лишь отрицаю оное для себя. И ты прав, брат, твоя идиллия, которой я счастлив всем сердцем, убедила меня в обратном.

— Отчего же так?

— Знаешь... рядом с твоей женой я себя чувствовал так, как если бы она была еще не падшей Евой, а я перед ней — падший с какой-нибудь обезьяной Адам...

Ответом Лаврецкому был залиvistый хохот друга, который, развеселившись, даже промазал кием мимо очередного шара.

— Ох, Петруша, помрешь с тобой, ей-Богу, помрешь! Так не надо грешить с обезьянами, чтобы потом так непристойно себя не чувствовать! Эх ты, знаток гаремов и гурий!

Захохотал следом и сам подполковник.

— Ладно, — махнул, отсмеявшись, рукой Алексей, — не стану больше соблазнять тебя уделом, что тебе не мил. Ко всякому пониманию, в личном ли или в общественном, человек только сам прийти способен.

— В самом деле? К чему же тогда ваши славянофильские баталии с бедолагами западниками? Если вы не рассчитываете ни в чем убедить друг друга?

— Вероятно, для тех, кто еще не имеет собственного твердого воззрения, а, следовательно, может стать как на одну, так и на другую сторону. А ведь таких, друг мой, большинство. И от того, чьи доводы окажутся убедительнее, будет зависеть путь, которым пойдет наша Родина, ее судьба.

— Ты всерьез думаешь, что судьба России решается в ваших журнальных драчках? Прости, но я думаю, она определяется совсем иными сражениями.

— Не спеши недооценивать значение журнальных полемик. Эта битва, быть может, и поважнее, чем те, что ведутся с оружием в руках... Оружием ведется борьба за внешнее, за территории, за политическое господство, за самую жизнь физическую. Но есть иная брань — духовная. Битва за умы и души. К кому будут обращены эти души? Ко Христу или к лукавому? К Отечеству нашему, с его Церковью, его древними преданиями, славным наследием, или к западу, который Петр опрометчиво навязал нам в вечные учителя?

— Сдается мне, что абсолютному большинству народа безразличен ваш диспут. Поскольку он безграмотен.

— Так в этом же и беда! — воскликнул Хомяков. — Народ темен, не наставлен в вере, не имеет собственного русского воззрения! Что есть такой народ? Глина, из которой можно вылепить все что угодно! А ну как найдутся те, что вылепят худое? Поэтому-то так необходимо просвещать народ! Только не так, как в свое время просветили наше образованное

сословие, отвратив от родного и растлив! А в русском духе просвещать! Надобно и непременно надобно вырабатывать все мысли, все стороны жизни, всю науку. Надобно переделать все наше просвещение, и только общий, постоянный и горячий труд могут это сделать. Пойми, русское просвещение — это жизнь России!

Понять эти мудреные речи было гусарскому подполковнику трудно, но он искренне любовался тем вдохновением, с которым говорил его друг, тем, как молодо и по-боевому блестели его глаза, будто бы с шашкой наголо летел он на невидимые полчища турок.

— Что ж, брат Алеша, душевно желаю тебе победить в этой битве, как мы побеждали в сечах нашей молодости под водительством Мадатова! — сказал Лаврецкий, наполнив рюмки. — А жена у тебя — ангел небесный. Береги ее, брат! И давай-ка, выпьем за ее здоровье!

Тост был с радостью поддержан:

— Спасибо, брат! За здоровье Кити!

— За Екатерину Михайловну! За вас обоих, как вы теперь единое и неделимое целое! Долгих лет и счастья вам!

Человеческий путь неизбежно испещрен крестами многих потерь. Страшно, однако, делается, когда кресты эти становятся частоколом... Первым ушел брат. Ушел совсем молодым, не изведав счастья, не раскрыв вполне заложенных в нем талантов. А дальше — точно бездна ненасытная пасть разинула. В одну ночь сгорели в тифу старшие сыновья, и он, Алексей Степанович, со всей ученостью своей ничем не мог помочь своим ненаглядным мальчикам. В ту ночь дотоле темная шевелюра его поседела. Следом отошел в лучшие миры Николаша, свояк, любимый брат Кити. Смерть и Николаша были так несовместимы! Ведь он был — самая жизнь! Самая радость! И такой же была его бодрая, не ведавшая и тени уныния, жизнелюбивая и жизнеутверждающая поэзия, столь ценимая Гоголем. Горько убивалась по брату бедная Кити, но убиваться суждено было недолго...

Она была беременна десятым малышом, когда все тот же беспощадный тиф погубил их обоих. И снова ничем не смог помочь Алексей Степанович... Ни наукой, ни молитвой... Когда-то он, юный адъютант, убеждал князя Мадатова, что рока, фатума не существует. Но сидя у одра своего почившего ангела, убитый своим горем, он уже не смог бы говорить об этом с такою уверенностью. Впрочем, нашелся на свете человек, для которого уход Кити сделался еще худшей трагедией. Которого при его и без того надорванном, тающем, как свеча здоровье, это несчастье просто убило. Этим человеком был Гоголь. Его похоронили совсем вскоре за нею, бывшей ему верным другом и ангелом-утешителем во всякой скорби.

— Жена у тебя — ангел небесный, береги ее, — сказал некогда друг военной младости, бесшабашный гуляка и отважный сражатель Лаврецкий.

А что сделал он? Не уберег... Не уберег... Десять лет упивался счастьем, не измеряя, не экономя, точно бы у кубка с хмельным этим напитком не может быть дна. Но дно есть у всего! Бездонна одна лишь бездна... Может, за то и пришлось платить такую огромную цену, что слишком быстро, слишком жадно, нерачительно выпил он свое долгожданное счастье? Но за что платила она? Дети?..

Кити оставила Алексею Степановичу семерых детей. И ради них должно было жить дальше. Продираться через частокол... И Хомяков продирался. Он обязан был быть отныне своим детям не только отцом, но и матерью, воспитать их со всей той нежностью и заботой, так, как если бы Кити была жива. Великое это дело — воспитать детскую душу! «Строй ума у ребенка, которого первые слова были Бог, тятя, мама, будет не таков, как у ребенка, которого первые слова были деньги, наряд или выгода. Душевный склад ребенка, который привык сопровождать своих родителей в церковь по праздникам и по воскресеньям, а иногда и в будни, будет значительно разниться от душевного склада ребенка, которого родители не знают других праздников, кроме театра, бала и картежных вечеров. Отец или мать, которые предаются восторгам радости при получении денег или житейских выгод, устраивают духовную жизнь своих детей иначе, чем те, которые при детях позволяют себе умиление и восторг только при бескорыстном сочувствии с добром и правдою человеческою. Родители, дом, общество уже заключают в себе большую часть воспитания, и школьное учение есть только меньшая часть того же воспитания...»

Ныне, когда старшие дети уже вошли в возраст, становясь подспорьем отцу, Алексей Степанович мог с

робкой надеждой заключать, что труды его не пропали зря, и его ангелу не придется скорбеть, созерцая своих чад с небес... Старший сын, Дмитрий, прилежно вникал во все хозяйственные заботы, сопровождая отца в поездках по имениям. Вот и теперь трясся он рядом, в порядке расшатавшемся на размытых осенью дорогах тарантасе.

Сентябрь клонился к концу, и налетевший ветер-листобой беспощадно расхищал его богатое убранство, призывая в подмогу холодный, уныло-равнодушный ко всему дождь.

— Мне кажется, отец, вам стоило бы больше беречь себя. К чему вам самому ехать в Ивановское? Я мог бы съездить один, — говорил Дмитрий, морщась от бьющего в лицо дождя.

— И что бы это дало? Ты, Митенька, хороший хозяин, но не знаешь медицины. А ивановским больным теперь пуще хозяйского рачительства врачебная помощь нужна.

— Там есть лекаря.

— Много толку от твоих лекарей! Помнишь, сколько три года тому назад у соседей наших мужиков вымерло от проклятой холеры? Тоже лекаря были! А я наших мужичков на ноги-то и поставил настойкой моей! Да тех соседских, кого успел, также.

— Правда, теперь со всего уезда, а то и губернии, чуть где вспышка холеры, так не лекарей, а вас зовут.

— И правильно делают, — Хомяков плотнее укутался в плащ. — Туляков мы уже поправили, теперь настала пора рязанцам пособить.

Микстуру, помогавшую в 80 % случаев заболевания холерой, Алексей Степанович изобрел сам, и это был его триумф, как медика. Холера принуждена была бежать из Боучарова, и многие жизни были спасены «барским снадобьем»...

Удивлялся некогда Лаврецкий, как может он, вчерашний удалой поручик, не тосковать по ратным подвигам в «скуке» мирной жизни. И не мог взять в толк, что удалой поручик никуда не исчез. Просто совсем иные войны вел он теперь. Со смертельной болезнью, а не с турками — за жизни своих крестьян, а не греков. С иезуитскими ересями — за Православную веру. С растлевающим духом либерализмом — за любезное Отечество. Острую саблю заменяло ему теперь не менее острое перо.

«Нам стыдно бы было не перегнуть Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою; но все это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного начала, раздорами внутренними, игом внешних врагов. Западным людям приходится все прежнее отстранять, как дурное, и все хорошее в себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить старое, привести его в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее», — с этой речи под названием «О старом и новом» началась история московских славянофилов.

Конечно, ни сам Хомяков, ни его единомышленники не называли себя так. Славянофилами в насмешку окрестили их оппоненты, западники. Алексей Степанович парировал надменную иронию: «Некоторые журналы называют нас насмешливо славянофилами, именем составленным на иностранный лад, но которое в русском переводе значило бы Славянолюбцев. Я с своей стороны готов принять это название и признаюсь охотно: люблю славян. Я не скажу, что я их люблю потому, что в ранней молодости, за границами России, принятый равнодушно, как всякий путешественник, в

землях не-славянских, я был в славянских землях принят, как любимый родственник, посещающий свою семью; или потому, что во время военное, проезжая по местам, куда еще не доходило Русское войско, я был приветствуем болгарами, не только как вестник лучшего будущего, но как друг и брат; или потому, что, живучи в их деревнях, я нашел семейный быт своей родной земли; или потому, что в их числе находится наиболее племен православных, следовательно связанных с нами единством высшего духовного начала; или даже потому, что в их простых нравах, особенно в областях православных, таятся добродетели и деятельность жизни, которые внушили любовь и благоговение просвещенным иностранцам, каковы Бланки и Буэ. Я этого не скажу, хотя тут было бы довольно разумных причин; но скажу одно: я их люблю потому, что нет русского человека, который бы их не любил; нет такого, который не сознавал бы своего братства с славянином и особенно с православным славянином. Об этом, кому угодно, можно учинить справку хоть у русских солдат, бывших в Турецком походе, или хоть в Московском гостинном дворе, где француз, немец и итальянец принимаются как иностранцы, а серб, далматинец и болгарин, как свои братья. Поэтому насмешку над нашей любовью к славянам принимаю я также охотно, как и насмешку над тем, что мы русские. Такие насмешки свидетельствуют только об одном: о скудости мысли и тесноте взгляда людей, утративших свою умственную и духовную жизнь и всякое естественное или разумное сочувствие в щеголеватой мертвенности салонов или в односторонней книжности современного Запада».

В отличие от «западников» «славянофилы» долгое время не имели своих изданий. Лишь с началом нового царствования явилась на свет, такая долгожданная, такая любовно выношенная в течение нескольких лет

«Русская беседа» — первый печатный орган русских консерваторов, отчизнолюбив... И, конечно же, его, Хомякова, слово открывало новое издание, задавая все направление его: «Русский дух создал самую Русскую землю в бесконечном ее объеме; ибо это дело не плоти, а духа Русский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных пределах; Русский дух понял святость семьи и поставил ее, как чистейшую и незыблемую основу всего общественного здания; он выработал в народе все его нравственные силы, веру в святую истину, терпение несокрушимое и полное смирение. Таковы были его дела, плоды милости Божией, озарившей его полным светом Православия. Теперь, когда мысль окрепла в знании, когда самый ход истории, раскрывающий тайные начала общественных явлений, обличил во многом ложь Западного мира и когда наше сознание оценило (хотя, может быть, еще не вполне) силу и красоту наших исконных начал, нам предлежит снова пересмотреть все те положения, все те выводы, сделанные Западною наукою, которым мы верили так безусловно; нам предлежит подвергнуть все шаткое здание нашего просвещения бесстрастной критике наших собственных духовных начал и тем самым дать ему несокрушимую прочность. В тоже время на нас лежит обязанность разумно усваивать себе всякой новый плод мысли Западной, еще столько богатой и достойной изучения, дабы не оказаться отсталыми в то время, когда богатство наших данных возлагает на нас обязанность стремиться к первому месту в рядах просвещающегося человечества».

Выход «Русской беседы» был победой, но, как и всякая победа, она горчила. Победа на поле брани горчит потерями, горчит сознанием того, сколько причастные к ней до нее не дошли и не подняли кубка в ее честь. Так было и тут. Частокол разрастался. Один за другим сошли в могилу Киреевские, в доме которых

прочтена была памятная речь. Умер художник Иванов и милый, совсем еще юный Шеншин... Алексей Степанович оставался один. Во всех сражениях участие передовых цепей самая незавидная. Передовые — почти никогда не празднуют победы, ложась в основание ее. То же и в битвах духовных, мировоззренческих. Передовые люди не могут быть двигателями своей эпохи; они движут следующую, потому что современные им люди еще не готовы. Разве к старости иной счастливец доживет до начала проявления своей собственной, долго носимой мысли...

Еще раньше в боях под Севастополем сложил свою буйную голову Лаврецкий. Он мечтал о генеральских эполетах, но его плечи украсились ими лишь посмертно. Когда ядро угодило бравому полковнику в грудь, он не знал, что приказ о его производстве уже подписан и спешит к нему, что он уже — генерал...

Та война забрала и Царя-рыцаря Николая Павловича. Хотя покойный Государь и не жаловал «славянофилов», относясь к ним настороженно, но Хомяков искренне скорбел о нем. Он всегда считал Императора правым, когда многие винули его, и смерть доказала нравственную правоту человека, порицаемого столь несправедливо...

Последней, самой тяжелой утратой стала для Алексея Степановича смерть матери. Не было с младенческих лет человека ближе нее, все лучшее, что было в нем самом, внушила, выпестовала она. Именно она помогла ему пережить горе от потери ангела Кити и воспитать детей, своих возлюбленных внуков. И, вот, отошла и она...

Что-то подсказывало Хомякову, что теперь приближается его черед замкнуть крестовый частокол. Он был еще не стар, совсем недавно ему минуло 56 лет. Но ему казалось, что земля больше не держит его. А свинцовое небо неодолимо притягивает... Недавно

зачем-то приснился ему незабвенный генерал — такой, каким он увидел его впервые, бодрый красавец-гусар в алом ментике, восседающий на горячем вороном коне... Валерьян Григорьевич выхватил саблю и помчался на невидимого врага, зовя:

— За мной, поручик! Не отставайте!

И Алексей Степанович во весь опор помчался за своим генералом — не зная, куда и зачем...

Приехав в охваченное холерой Ивановское, Хомяков тотчас принялся за дело: лично обошел, осмотрел всех больных и объяснил, как и в каких дозах давать им свою настойку. Бабы кланялись ему в ноги, плакали и смотрели, как на сошедшего с небес Николая-Угодника, явившегося спасти их мужей и детей от смертоносного поветрия.

— Ах, батюшка-барин, мы ведь тебя, как Христа, ждали, прости Господи, — причитала усталая, заплаканная баба, норовя поцеловать руки барина. — Спаситель наш, благодетель!

Рук себе целовать Алексей Степанович не дал:

— Как звать тебя?

— Настасьей, батюшка.

— Вот, иди, Настасья, в церковь и молись. Христу. И образ его, и святое распятие лобызай. И я молиться буду. За всех вас...

— Все сделаю, батюшка, все сделаю... — бормотала баба, но шла не в церковь, а за баринком. А с нею целая толпа... И всякий норовил поклониться, поцеловать если не руку, то хотя плечико, или уж на худой конец край барского плаща... Конечно, они верили в Христа, как учил их священник, но в своего барина верили явно больше.

Их вера, впрочем, не была посрамлена. От привезенной Алексеем Степановичем настойки большинству больных вскоре сделалось легче, и опасность прошла. Пользуясь этим, Дмитрий решил

отлучиться по иным делам, оставив отца довершать успешно начатое излечение страждущих.

Страждущие оживали, но сам врачеватель неожиданно почувствовал себя дурно...

— Что с вами, Алексей Степанович? — тщетно старавшийся скрыть испуг лекарь склонился к одру больного.

— Да ничего особенного: приходится умирать... Очень плохо. Странная вещь! Сколько я народу вылечил, а себя вылечить не могу.

Верно говорят: настоящий сапожник должен быть без сапог. Он вылечил, спас жизни тысячам людей. И не смог спасти лишь немногих: своих сыновей, свою жену, самого себя.

— Однако же, ваши руки потеплели, а глаза просветлели!

— А как они будут светлы завтра! — прошептал Алексей Степанович, перекрестился и закрыл глаза. Истинный воин кладет душу за други своя. И душе даруется великое утешение исполненного долга и грядущей радости сретения — со всеми, кто был ею любим в этой отлетающей, как осенний лист жизни...

Один день святого доктора (Фёдор Петрович Гааз)

— А, видишь ли ты, деточка, ту голубую звезду? Это Венера! Утренняя и вечерняя звезда...

Голос Федора Петровича звучал, как всегда, ласково, убаюкивающе. И синеватое мерцание вечерней звезды и ее сестер успокаивало Верочку. Ей чудилось, что из этой маленькой комнаты, прямо от стоящего у окна телескопа тянется ввысь тоненькая голубоватая тропинка-луч, ведущая прямо к Венере. Пойти бы теперь гулять по этой тропинке... Это, наверное, так удивительно!

— Ты непременно пойдешь по ней! Вот, поправишься и пойдешь! — уверенно говорит доктор. — Пойдет Вера к Венере.

— А вы, Федор Петрович, пойдете со мной?

— Конечно, пойду. Мы будем гулять вместе по твоей тропинке и даже бегать по ней.

— И играть в догонялки? — Верочка попыталась улыбнуться, но мгновенная страшная боль обратила улыбку в страдальческую гримасу. На глазах навернулись слезы. Доктор ласково поцеловал девочку:

— Тише-тише, вот, увидишь, будем мы еще и в догонялки играть... И обязательно увидим нашу Венеру. А сейчас тебе надо спать, дитя мое, набираться сил.

Спать она не могла, не давала невыносимая боль. Но длинный сутулый доктор брал ее на руки, укачивал, рассказывал, иногда смешно коверкая русские слова, дивные, чудесные сказки... И показывал, отверзал ей ночное небо, на каждой из бесчисленных звезд которого происходило что-то замечательное, жили

невидимые и неведомые люди, цвела совсем иная жизнь, не похожая на земную, полную страданий.

— Неужели вы, Федор Петрович, на всех этих звездах бывали?

— Конечно, бывал. И обязательно возьму тебя с собой.

— Обещаете?

— Обещаю!

Она все-таки задремала на его руках, когда время уже перевалило за полночь. Федор Петрович опустил свою невесомую ношу на кровать и, тяжело вздохнув, перекрестился, взглянув на любимый образ рафаэлевской Мадонны. Его маленькую пациентку в больницу принесла мать, испитая, обремененная большим семейством женщина. От дочери она буквально отшатнулась, не в силах скрыть ужаса, которой та ей внушала. Лицо бедного ребенка было страшно изуродовано волчанкой. Правая часть лица еще сохраняла миловидность ангельского детского личика, но левая... Кто видел эту сплошную язву, источающую смрад, не мог удержаться от содрогания. Девочка, едва живая от боли и слабости, всхлипывала, а обступившие ее взрослые растеряно молчали.

За Федором Петровичем послали тотчас, и он через несколько минут спустился к больной. Отстранил бестолково суетившихся санитаров, поднял девочку на руки, расцеловал ее, будто бы не видел уродства, не чувствовал смрада, улыбнулся:

— Ну-ну-ну, не плачь, моя красавица! Все будет хорошо! Как тебя зовут?

— Верочка... — еле слышно откликнулась девочка, давно отвыкшая от проявлений к себе ласки.

— Заберите ее, доктор, — сказала сквозь слезы мать. — Мы не можем дольше находиться с нею рядом! Соседи боятся и избегают нас. Дети боятся и плачут... И

я... я не могу это видеть! Не могу выносить! — она заломила руки и зарыдала.

— Успокойтесь, — мягко сказал Федор Петрович. — Я позабочусь о вашей девочке. Есть ли у вас деньги? Не голодны ли вы? Могу ли я чем-то еще помочь вам?

Женщина шало посмотрела на доктора, затряслась всем телом и, не говоря ни слова, убежала прочь.

С того дня Верочка стала жить у Федора Петровича. Санитары не умели обращаться с нею, поэтому доктор старался заботиться о тяжелой пациентке сам. Ее уродство, действительно, не ужасало его. Он привык видеть в каждом больном не язвы и струпья, не увечья, а живую душу, Божий образ, неизменно прекрасный. Когда в Москве бушевала эпидемия холеры, он нарочно целовал больных, доказывая, что прикосновение к ним не влечет заражения и тем защищая и их, и их близких от того панического страха, какие вызывают в темных, да и не только людях эпидемии. Его называли юродивым и сумасшедшим, а он просто любил людей...

Убаюкав Верочку, Федор Петрович еще четверть часа изучал в телескоп россыпи звезд — ночь выдалась ясной, и на ее шитом бисером черном атласном плаще можно было разглядеть даже самую крошечную светящуюся точку. Астрономия была единственным увлечением доктора, общаясь с небесными светилами его душа отдыхала от земных горестей, утешению которых он безраздельно посвятил себя.

Федор Петрович уже собирался лечь спать, когда дверь едва слышно приоткрылась. Из-за Верочки он запретил прислуге стучать, и потому старик Матвей просто заходил в комнату, дабы не производить никакого шума. Доктор тотчас вышел в прихожую, вопросительно глядя на слугу.

— Там за вами пришли, барин, — сказал тот. — От Алексеевых сказывают. Больному — того, хуже

поделалось. Неравен час помрет, так беспременно чтоб вас... Будто бы уж и других врачей в Москве нету! И самому вам вздохнуть не надобно...

Матвей еще привычно ворчал, сокрушаясь тому, что обездоленная и увечная братия совсем не бережет доброго доктора, а доктор уже спешно собирался на зов. Облачившись в старую волчью шубу и взяв всегда бывший у него наготове чемоданчик, Федор Петрович отправился в путь.

— Что ж вы, барин, по этакому холоду еще и пешком?! — возмутился Матвей.

— Где же я найду извозчика в такой час, старина? — улыбнулся доктор. — Да и идти здесь недолго. К тому же наукой доказано, холод полезен!

— Уж куда как полезен... Особливо, когда руки-ноги обмороженные резать приходится... Кажинный день теперь таких вашей милости свозят!

— Старик, не учи врача медицине! Лучше последи за моей пациенткой! — Федор Петрович дружески похлопал Матвея по плечу и скрылся в темноте.

Он не преувеличивал, говоря, что путь до дома больного невелик, однако же и коротким называть его было затруднительно. К тому же, когда ноги так и норовят поскользнуться на льду, а в лицо то и дело ударяет ветер. И то, и другое весьма замедляет путь...

— Куда спешишь так, барин, в такой час? — трое незнакомцев вынырнули из-за угла Малого Казенного переулка — чисто как черти. Правда, до чертей было им еще далековато. На этот счет у доктора глаз был наметан. Обычные мелкие тати... Никуда от них не денешься!

— По делу спешу, братцы, по самому неотложному делу, — невозмутимо откликнулся Федор Петрович. — А вам что же в этакий мороз дома не сидится?

— А нет у нас дома, — недобро усмехнулся коренастый детина с поросшим рыжеватой щетиной

лицом. — А в ночлежке согреться нечем!

— Нечем! — подтвердил его долговязый спутник, громко чихнув.

— А потому давай-ка, барин, шубейку свою, — продолжал коренастый, — и лучше по-хорошему, — при этих словах в руке его блеснул нож.

— Шубейки мне для вас, братцы, не жалко, — ответил доктор. — Равно как и исподнего. Но позвольте мне сперва до моего пациента дойти. А то ведь я без шубейки дорогой околею, и пациент мой умрет ни за что, ни про что. Приходите поутру в Полицейскую больницу, спросите доктора Гааза, и я вам эту шубу тотчас же вручу.

Рыжий вздрогнул и быстро спрятал нож за голенище.

— Так ты и есть доктор Гааз? — спросил недоверчиво.

— Точно так.

Грабитель снял шапку и вдруг поклонился Федору Петровичу до земли:

— Ну тогда, прости нас, Божий доктор! Не признали тебя в темноте! Твоего мы ничего не возьмем, ты всей нашей братии заступник.

— Премного признателен, — откликнулся доктор.

— А далеко ли твой пациент живет?

— Рукой подать.

— Все одно... Проводим тебя, — решил грабитель. — Айда, братва, проводим доктора! А то, чего доброго, другие-то и разденут, не разобрав! Кто тогда о нашем брате позаботится?

Двое других поддержали своего вожака.

— Проводим, проводим доктора! — захрипели простуженными глотками. — Не дадим в обиду!

Так и пошли вчетвером по пустынным московским улочкам — Божий доктор и его разбойничьего вида «ангелы-хранители»...

В ту ночь так и не удалось выспаться Федору Петровичу. Возвратившись в больницу, в которую обратил он трехэтажный нарышкинский особняк, оставив себе лишь три маленькие комнаты, он быстро позавтракал и поднялся к Верочке. Девочка ждала его, и здоровая половина ее личика засветилась радостью, когда он возник на пороге.

— Вы опять кого-то спасли? Правда, Федор Петрович? Спасли?

— Матвей разболтал? — улыбнулся доктор, целуя ребенка. — Что он еще успел тебе поведать?

— Много чего... — отозвалась Верочка. — Он о вас так много рассказывает... Он очень к вам привязан...

— Как и я к нему. Но рассказывать ему следовало бы меньше!

— А это правда, что у вас прежде свое имение было? И фабрика? И самый лучший выезд в Москве?

— Насчет самого — неправда, — покачал головой доктор. — Бывали и получше моего!

— А имение? Фабрика?

— Было и то, и другое.

Все было... И собственный дом в Москве... И имение в подмосковных Тишках с суконною фабрикою... И выезд с белоснежными рысаками... И лучшая практика... Сын немецкого аптекаря, своим трудом и разумом торивший себе путь, мог ли он рассчитывать на большее в чужой стране, приютившей его и ставшей новой Родиной?

Доктор Гааз прибыл в Россию в 1806 году. В Германии ему случилось вылечить от глазного недуга князя Репнина, и тот пригласил его в свою такую чужую и неведомую тогда страну... Сперва он служил в Преображенской больнице, прославившись как знающий врачеватель глазных болезней. Скоро слава преумножилась, к молодому талантливому врачу

обращалось все больше состоятельных и знатных пациентов. Его известность достигла ушей Императрицы Марии Федоровны — ангела милосердия Августейшей семьи, посвятившей себя заботе о страждущих. В Гаазе она тотчас узнала верного сподвижника своим трудам и сделала его главным врачом Павловской больницы.

Вот, тогда-то и явилось все... Дом, выезд, имение, фабрика... Но такое изобилие не заглушило главного — стремления помогать людям. Получая солидные вознаграждения от состоятельных пациентов, Гааз никогда не отказывал в лечении и помощи неимущим.

Когда болезнь посетила его самого, он покинул Москву и устремился на Кавказ, ища помощи своему расстроенному здоровью. Горячие и холодные источники, минералы, целебные растения этого дикого края еще толком никто не изучал. Федор Петрович занялся этим самозабвенно — в лабораторных условиях и путем личного эксперимента. Действия целебных источников и растений он методично опробовал на себе. Могло ли это повредить его здоровью? Возможно. Но вместо этого — напротив, спасло и укрепило его. И будучи исцелен сам, Федор Петрович озаботился исцелением других, написав обширный труд о своих кавказских открытиях.

В 1812 году он вновь покинул Москву, сделавшись походным лекарем. Вместе с русской армией доктор Гааз дошел до Парижа, а оттуда на несколько месяцев вернулся в родной Бад Мюнстерайфель, где застал отца на смертном одре. Схоронив его, Федор Петрович, несмотря на уговоры родных, снова засобирался в Россию.

— Почему же вы не остались дома? — спросила Верочка. — Ведь здесь вы совсем один... А там у вас были мама, братья, сестры... Мои братья и сестры меня

не любят, — голос ее дрогнул, — а ваши любили вас. Почему вы не остались с ними?

На несколько мгновений Гааз задумался.

— Я люблю... — промолвил он, — очень люблю здешних людей. Люблю Россию. Москву. Жить здесь — мой долг. Перед всеми несчастными в больницах, в тюрьмах...

— Разве у вас нет больниц и тюрем? Несчастных?

— Конечно, есть. Но, видимо, здесь я нужнее...

В 1818 году Император Александр Первый учредил Комитет попечительства о тюрьмах, задачей которого было позаботиться о положении заключенных, дотоле остававшимся решительно невыносимым. Наряду с московским губернатором в общество вошли митрополит Московский Филарет и доктор Гааз, назначенный главным врачом московских тюрем. То, что увидел Федор Петрович в тюрьмах и на пересылках, привело его в ужас. Голод, болезни, издевательства... Можно ли так жестоко терзать людей? Так бессмысленно и беспощадно ругаться над Божиим образом?

Он видел этот Божий образ и в самых падших, в каторжных. Как не могли язвы физические сокрыть его, так не могли сделать этого и увечья душ. Истинных от рождения злодеев ведь и нет почти. А чаще всего злодейства выходят из горьких и страшных обстоятельств. От страсти ли — болезни душевной, от нищеты бескрайней, от отчаяния слепого — мало ли от чего срывается слабый человек в бездну? Но ведь еще можно подать руку ему! Еще можно вытянуть из готового поглотить его зева! Да не бессмысленным же унижением и пыткой!

Конечно, за всякое преступление должно быть наказание. Но какой же толк поместить едва сбившегося с пути мальчишку с прожженными

каторжанами, чтобы они научали и укореняли его во зле? Какой толк и без того униженного и от отчаяния преступившего человека бросить гнить во вшах и нечистотах, чтобы уж окончательно озлобился он и утратил веру в добро? Какой толк множить больных и доводить до смерти на этапе немощных? А семьи? Особенно, крепостные? Какой же толк в разделении их, в сиротении детей? Федор Петрович на свои деньги выкупал семьи ссыльных, чтобы они могли следовать за ними...

А это бритье половины головы? Особенно для женщин? К чему это средневековое унижение — и при том зачастую за самый ничтожный проступок? Унижение ради унижения? Ведь наказание должно не только карать, но и стремиться к исправлению падшего человека! А бессмысленным унижением и жестокостью — кого исправишь?

Все это не раз говорил Гааз сильным мира, доходя до самого Императора. Привелось даже поспорить как-то с митрополитом Филаретом, с коим обыкновенно бывали они единомысленны. Усомнился святитель, слушая достойные лучших адвокатов речи доктора в защиту несчастных заключенных:

— Полноте, Федор Петрович, ведь они же за проступки свои, за преступления терпят. Безвинных не наказывают!

При этих словах доктор резко вскочил и вскрикнул:

— Что вы такое говорите, владыка! Вы же теперь Христа забыли!

Спохватившись, что взял неподобающий тон, он снова опустился за стол, стиснул руками голову.

Святитель Филарет ответил не сразу. Небольшие, мудрые глаза его на тонком, почти прозрачном лице опечалились.

— Нет, Федор Петрович, я не забыл Христа, — вымолвил он. — Но, когда я говорил эти слова, Христос

забыл обо мне...

— Мы должны отменить «прут», владыка... Нельзя так безжалостно калечить живых людей!

С этим митрополит не спорил. «Прут», к которому на время этапа без различия лет, пола и возраста, приковывались по 6–8 заключенных, был воистину изуверским изобретением. Он стирал в кровь руки и ноги. Слабых заключенных, не могших вынести длительных переходов, не отковывали, и остальные вынуждены были волочить их. Если случалось кандальнику умереть, то тащили и его... Покойника отстегивали лишь на привале, заменяя живым арестантом.

Несколько лет потребовалось Гаазу, чтобы добиться упразднения «прута». Его заменили легкие кандалы, обтянутые изнутри шерстью или кожей. Федор Петрович сам испытывал их, не снимая неделями, часами ходя по комнате, насчитывая версты этапов.

Заключенные были для него теми же больными и требовали врачевания: и тел, и душ. Для первого доктор занялся благоустройством больниц. Сперва благоустроена была тюрьма Владимирская. Сюда, на пересылку прибывали заключенные из 23 губерний. Федор Петрович увеличил пребывание в пересыльной тюрьме с трех дней до недели, сделал казармы теплыми, разделил их на мужские, женские, для рецидивистов и для впервые попавших в тюрьму.

Особой гордостью Гааза стала Бутырская тюрьма. Ее дворы он велел засадить сибирскими тополями, дабы они очищали воздух, в камерах деревянный пол был заменен кафельным, деревянные кровати — панцирными. Федор Петрович утроил четыре мастерских — столярную, сапожную, переплетную, портяжную — и... построил церковь, ставшую центром тюрьмы.

Мало помочь телу человека. Перво-наперво необходимо подать врачебную помощь его душе. И не только его, но и близких ему людей, ибо они одно целое с ним. А если расторгается целое, то отсюда и недуги души, и падения, и преступления. Ввиду этого при тюрьме была построена гостиница для родственников, приехавших навестить своих родных издалека. Для детей, чьи родители находились в заключении — приют и школа, для которой был набран специальный штат учителей. Воспитанников учили арифметике, грамматике, Закону Божию, а также давали некоторые прикладные практические знания.

А еще Федор Петрович основал собственное издательское дело. Его типография печатала для заключенных Евангелие, Жития Святых, молитвословы и иные духовные книги, которые доктор раздавал всем отправляющимся по этапу заключенным, наставляя, чтобы грамотные непременно читали эти книги неграмотным.

В это утро Гаазу нужно было спешить на Воробьевы горы. Оттуда уходила по этапу очередная партия заключенных. Отправки происходили три раза в неделю, и Федор Петрович не пропускал ни одной из них. Как врач — осматривал отправляемых, добивался снятия кандалов с больных, наиболее недужных, немощных удерживал для излечения. А еще одаривал книгами и лакомствами, и добрым напутствием, задушевным словом...

— Мама говорила, что они убийцы, каторжане, — заметила Верочка, следя за сборами доктора. — Вам не страшно их?

— Убийц и каторжан там не так много, — ответил Гааз. — Все это преимущественно глубоко несчастные, больные люди... Нет, дитя, мне не страшно их. Страшно другое. Страшно не успеть помочь, не подать помощи...

— Но разве можно помочь всем?

— Во всяком случае надо стараться. Спешить делать добро... Если мы любим Христа.

— Христа любить легко, он ведь был добрым и хорошим. И он Царь Небесный...

Доктор от души засмеялся детскому простосердечию:

— Да разве Христос к людям в царском обличи пришел, чтобы его тотчас же узнали и полюбили? Нет, Он был из тех, кому негде было преклонить головы... И кто знает, в каком обличье Он может постучаться в наши двери? Увечного, нищего, падшего... А мы отвернемся от Него и затворим дверь. А потом Он скажет нам, что был наг и жаждал, но мы не укрыли, не напоили его. То-то скорбь нам тогда будет, что Царя Царей не признали и сами же от порога своего прогнали Его!

— Значит, и в каторжных Христос?

— Христос во всех, дитя мое.

— Тогда поцелуйте всех их сегодня и от меня тоже...

Федор Петрович погладил Верочку по голове и, пообещав выполнить ее наказ, поспешил на Воробьевы горы. День выдался под стать ночи. Морозно хрустящий, ясный, солнце игриво метало россыпи своих искр в перламутровый снег, слепило глаза. Необычайно хороша Москва в такие дни! И без того сияющая белокаменными своими храмами и ослепительным золотом куполов, в дни зимнего ликования чудилась она сотканной из света. И даже не верилось, что рядом с этим светом возможно так много безысходного человеческого горя.

Гнедая тройка летела по улицам:

— Н-но, балуйся! — рычал зычно возница, отпугивая замешкавшихся прохожих.

Гааз, хотя и был природным немцем, любил быструю езду истинно по-русски. Давно уже не было в помине его белоснежных рысаков и для своей брички покупал он лишь старых и больных лошадей, обреченных на бойню. Но эти кони-инвалиды не годились для спешных поездок, и, когда дело было срочным, приходилось брать извозчика. А в такой день и не хотелось положительно отказывать себе в маленькой радости — промчаться с ветерком по любимому и ставшему родным городу!

Москва готовилась к Масленице. Скоро, предваряя великопостные строгости, закутит честной люд на веселых ярмарках да на высоченных горах, в трактирах и по домам хлебосольным, навещая друг друга! Хороша эта пора, и справедливо, чтобы всякого коснулся лучик радости ее.

Прежде доктора на Воробьевы прибыли первые гостинцы его. Еще пышущие теплом знаменитые филипповские калачи — Гааз всегда заказывал их для этапируемых у доброго булочника. С собой же Федор Петрович привез угощения для отправлявшихся в далекие края женщин: апельсины, орехи, конфеты. Завидев эти кульки в его руках, одна из бывших тут же дам-благотворительниц фыркнула:

— Уж как хотите, Федор Петрович, но это совершенное баловство! Одно дело — пропитание, чтобы они не изнурились в дороге! Но к чему им эти яства?

— А для радости, сударыня, для радости, — улыбнулся доктор. — Горбушку-то ржаную им на пути, пожалуй, и подадут Христа ради, не дадут с голоду пропасть. А, вот, лакомства какого им теперь долго не видать!

Дамы непонимающе пожимали плечами, а доктор, миновав выстроенную на его счет для ссыльных Троицкую церковь, прошел к своим подопечным. Те уже

ждали его. В среде заключенных, нищих и убогих не было таких, кто бы не знал «святого доктора». Сперва Федор Петрович подошел к молодой крестьянке, на руках которой истошно ревел ребенок. Затетешкал, успокаивая, сунул в чумазые ручонки сдобный пряник. Успокоился малютка, принимаясь за угощение.

— Терпи, матушка, Христос вас не оставит, — сказал доктор матери. — Здорова ли ты? Дитя твое не жалуется ли на что?

— Здоровы, батюшка, — смиренно отвечала крестьянка, нежно глядя на сына и благодарно принимая из рук Гааза апельсин и орехи. — Спаси тебя Бог. Не заслужили мы щедрот твоих...

— Разве их заслужить можно? И разве же это щедроты?

— Не знаешь ты, батюшка, какой грех лежит на мне, потому и ласков.

— Да ведь здесь, пожалуй, все не без греха...

— Мужа я отравила, — глухо сказала крестьянка. — А вернее и мужем не был он мне... Миловались только... Муж-то мой помер, когда я еще брюхата была. Хилый был, все кровью кашлял... Так и закашлялся. А потом тот пришел. Из солдатской братии... Не чета моему покойнику, быка свалить мог! Уж и налюбились мы с ним...

— Что ж потом случилось?

— А что обычно случается, батюшка. На змею одну променять меня мой сердечный удумал... Вот, я и порешила его. А ты меня ляпельсинками потчуеть...

— Жалеешь о нем?

— Не о нем, вот, я о ком жалею, — кивнула баба на ребенка. — Что-то ему за жизнь теперь, сиротине, с ссыльной матерью...

Много было таких разговоров у Федора Петровича. Много душевных бездн отворялось перед ним, много безумия и страдания человеческого. Он никогда не

расспрашивал узников об их преступлениях, но некоторые начинали рассказывать сами. Так рвалась из душ неисцелимая боль совершенного злодейства...

— Молись, матушка, дитя ни в чем не виновато.

— Добрый ты, верно говорят про тебя, — произнесла крестьянка. — Тогда, может, и тому поможешь, — кивнула она в угол, где сидел, обхватив голову руками худой, жилистый мужик.

Гааз подошел к нему:

— Болит ли у тебя что-то, братец?

Мужик тяжело поднял голову, посмотрел на доктора мутным, отчаянным взглядом, мотнул головой:

— Хуже, баба моя помирать надумала! У нас детей двое. Говорил ей, чтобы не шла со мной! Говорил, что не дойдет! Куда ей, горемыке, по стуже да в Сибирь!

— Стало быть, очень любит она тебя, раз на такой подвиг пошла?

— Любит... Я ж человека зарезал, слышишь ли, барин? Как свинью зарезал... А она за мной... Хотя... Ведь и куда ей еще? Кому она и где нужна? В родительской семье и то из-за меня, гада, не примут. Потому что вор я и убивец! Самый отпетый лиходея! Всю жизнь я ей искалечил! А теперь она горит вся, а меня на этап... Что с ней станет? А помрет — так и детям пропадать? И им я жизнь загубил, выходит! — мужик застонал хрипло.

— Как звать-то тебя? — спросил Гааз сочувственно.

— Еремеем.

— Воровать станешь впредь? Разбойничать?

— Если Катюха моя жива будет, вот тебе крест! — Еремей перекрестился. — У меня кроме нее никого нет! Я ж для нее... Я любого... — он жал кулаки. — И сам, если надо! Говорят, ты святой! Помоги, если можешь!

— Помогу, — спокойно ответил доктор. — Кашляй теперь понадсаднее да не шуми столь изрядно, а не то никак мне тебя за больного выдать не получится.

И впрямь сложное это было дело — здорового мужика представить чахоточным. А как быть? Не пропадать же живым душам. Спасти Еремеево семейство могла лишь отсрочка этапа. Самого его надлежало для того перевести в больничку Бутырской тюрьмы, а с ним и Катюху его с детками. А уж как поправилась бы она, так по весне, по теплу и идти...

Полицейский чиновник не находил слов, чтобы выразить свое возмущение требованием доктора не только избавить от кандалов дюжину слабосильных и перевести в больницу трех стариков и одну бабу, для которых Гааз настаивал вовсе отменить этап ввиду тяжелых недугов, но и отправить на больничную койку явного симулянта.

— В конце концов, Федор Петрович, всему есть предел! — гремел он. — Вам дай волю, так вы бы их всех на все четыре стороны пустили, и пускай бы резали и грабили дальше!

— Помилуйте, я никого не прошу отпускать на четыре стороны! — отвечал доктор, по обыкновению яростно жестикулируя своими длинными руками. — Я прошу лишь милосердия к больным! Разве цель наказания в том, чтобы они умерли на этапе от холода и истощения?

— Черт с вами, можете забрать ваших стариков! Но этого молодца я вам не отдам! Это же явный симулянт! Как это, доктор, позволяет вам ваша совесть столь беззастенчиво лгать и пытаться вызволить симулянта?

— Вы медик? — коротко спросил Гааз.

— Нет!

— В таком случае позвольте мне решать, кто здесь болен, а кто здоров, и выполнять мой долг.

Полицейский еще больше нахмурился, кивнул недобро:

— Извольте. Но и я также исполню свой долг и подам на вас жалобу, как на человека,

препятствующего исполнению законного наказания, способствующего уходу преступников от ответственности и оттого явно опасного!

— Ничего не имею против, — согласился Гааз. — А теперь прикажите перевести моих больных в больницу.

Жалоб Федор Петрович не боялся. Он верил в свое дело, верил в свою правду. Да и сколько уже было этих жалоб! Едва ли не после каждого этапа множились они! Конечно, приходилось держать ответ перед вышестоящим начальством, объяснять, оправдываться и... снова требовать и доказывать свою правоту.

Однажды пришлось держать ответ даже перед самим Государем. Император Николай Павлович, стремившийся лично входить во все преобразования, происходившие в его необъятной Империи, не обошел своим вниманием и комитета помощи заключенным с его кипучей деятельностью. В очередной раз прибыв в Москву, Государь прямиком пожаловал в Бутырскую тюрьму, желая своими глазами увидеть плоды трудов доктора, жалобы на которого доходили и до него.

Федор Петрович, в своем старомодном фраке, долговязый, не стоящий на месте, постоянно размахивающий руками и спешно говорящий о нуждах страждущих с неистребимым немецким акцентом, уже сам по себе произвел на Высочайшего гостя преоригинальное впечатление. Впрочем, и благоустройство тюрьмы и больницы было оценено им должным образом. Хотя и отметил Государь:

— Не чрезмерно ли ты о них печешься? Этак у нас скоро нарочно безобразничать станут, чтобы в такой тюрьме подкормиться да обогреться.

— Значит, нужно, чтобы снаружи было много лучше, чем здесь.

Сопровождавшие Императора полицейские чины наперебой жаловались на самоуправство Гааза, на то, что в больнице он укрывает симулянтов.

— Что же, Федор Петрович, правда это? — осведомился Государь. — Укрываешь симулянтов?

— Они не симулянты, Ваше Величество! Они просто очень стары и слабы, чтобы идти в Сибирь. Их бы и вовсе лучше было бы помиловать!

— Помиловать, говоришь? — Император усмехнулся. — А ну-ка, пойдем. Отведи меня в какую-нибудь из тутошних камер. Посмотрю, кто тут в милости моей нуждается.

Приказано — исполнено. Государя проводили в одну из камер, где тотчас в ноги ему бросилась дюжина заключенных, каждый из которых истово клялся, что страдает безвинно. Помалкивал лишь один хмурый дед.

— Ну, а ты, борода, что молчишь? — окликнул его самодержец. — Тоже, должно, за напраслину маешься?

— Какое уж там, — махнул рукой дед. — Человека я загубил, убивец я.

— Почто загубил?

— Так известно, по пьяному делу. Значит вовсе понапрасну...

— И как же такое с тобой приключилось?

— А так и приключилось. Пили мы с соседом моим, Силантием, да и разругались крепко. Ну я в горячке и пришиб его... Дал Бог дураку силушки...

— Значит, не хотел пришибить? — допытывался Государь.

— Видит Бог, не хотел! — мужик перекрестился. — Что ж, креста на мне нет? Все ж с пьяных глаз, от водки проклятой... И Силантия загубил, и душу свою с ним, и семейство по миру да по стыду пустил.

— И большое у тебя семейство?

— Уже и внуки народились. Старуха моя теперь шибко убивается... Эх... — махнул дед рукой, — что говорить. Этакого греха ни у людей, ни у Бога не отмолишь.

— Что ж, ясно, — кивнул Император. — Поскольку все здесь, как один, честные и невинные люди, за напраслину страдающие, то не будет вреда, если они пострадают еще. А этого старика освободите. Он, думается, теперь и под страхом смерти водки нюхать не станет.

На Малый Казенный Федор Петрович возвратился к обеду. Прежде, чем подняться к себе, обошел палаты. Зимой больных было традиционно больше, но места в трехэтажном особняке, некогда принадлежавшем семейству Нарышкиных, хватало всем. Через эти палаты прошли тысячи несчастных, и сотни находились в них теперь. Голодные, сбитые лошадьми, беспризорники, расслабленные и обмороженные, слепые и увечные — кого только не было здесь! Это были люди с самого дна Первопрестольной. И нуждались они не только в лечении и пище, но и во вспомоществовании, дабы по выходе не оказаться им вновь в положении отчаянном. Иногородним больница изыскивала средства на проезд, детей устраивала в приюты, старикам подыскивала богадельни. На эту больницу Гааз истратил все свои сбережения, а теперь помогали ей всем миром — все, в ком не очерствели сердца.

Едва собрался доктор отобедать, как явился пациент. Тощий, грязный, с затравленным взглядом, он, пройдя в кабинет, бормотал что-то плохо внятное, показывал на живот и ныл.

— Раздевайся-ка, голубчик, и ложись на койку, я осмотрю тебя, — сказал Гааз и на мгновение отлучился. Когда он вернулся, пациента в кабинете уже не было. А с ним — часов, вазы и письменного прибора, всего, что попало под руку грабителю.

В тот же миг в коридоре раздался шум, крики и звон разбитого стекла.

Федор Петрович выбежал наружу, и увидел, как двое санитаров крутят на полу извивающегося всем телом лже-пациента, а стоящий над ними Матвей заботливо протирает отнятые у него часы.

— Ах же ты, подлюка! — кричали санитары. — Сейчас мы тебе покажем, как доктора грабить! Стенька! Пристава зови!

— Отпустите его, — сказал Гааз. — Отведите обратно в кабинет, пока не придет пристав. Наше дело лечить, а не увечить.

— Федор Петрович! Да ведь в этом злодее, видать, вовсе ничего божеского не осталось! Сюда, к вам — грабить прийти! — воскликнул Матвей.

— Твоя правда, но делай, как говорю.

Грабителя водворили в кабинет, оставив один на один с доктором. Он забился в угол и смотрел исподлобья, ожидая, что скажет ему Гааз. Федор Петрович водворил на место часы и произнес:

— Ты, братец, действительно, подлец. Ты мог просто попросить у меня еды, если голоден, или денег. Я бы не отказал тебе ни в том, ни в другом. Но ты предпочел обмануть и обокрасть меня. Поэтому ты подлец. А теперь уходи, пока не пришел пристав.

Грабитель вздрогнул от неожиданности и впился в доктора недоумевающим взглядом.

— Я не хочу тебе зла. Уходи, — повторил Гааз.

Грабитель вскочил и опрометью выбежал из кабинета. Явившийся через мгновение Матвей лишь сплеснул руками:

— И этого отпустили! Да зачем же, скажите на милость? Чтобы он кого другого обобрал?!

— А вдруг наше милосердие что-то изменит в его душе?

— Как же! Ждите! — фыркнул старик. — Таких уж точно одна лишь могила исправит, а не ляпильсинки... — помолчав сердито, он вдруг прибавил

тихо. — Вы бы лучше к горемыке вашей пошли... Худо ей, бедняжке, совсем, кажись, худо...

Ей и впрямь было худо. Совсем худо. Солнце давно погасло, и за окном ярилась, словно негодуя на наступающую весну, метель. Ее заунывный, отчаянный вой еще больше терзал мечущуюся в жару и страдающую от страшной боли Верочку.

— Не хочу, не хочу, пусть она замолчит... — плакала она, зажимая уши слабеющими ручками. — Федор Петрович, миленький, где вы...

Он был уже рядом. Она не могла видеть его сквозь застилавший глаза морок, но чувствовала, как ласково обнимает он ее, а, вот, и голос долетел, рассеивая метельные вопли:

— Тише, тише, радость моя, Христос с тобой!

Сколько ласки, сколько тепла было в этом голосе, никогда и никто так не обращался к Верочке. Ей подумалось, что и у самого Христа должен быть именно такой голос...

— Федор Петрович, я умираю...

— Что ты, дитя мое, нет, нет. Мы ведь еще не побывали с тобой на Венере...

— Венера... — одним дыханием прошептала девочка. — Покажите мне ее еще раз...

За окном гудела метель, но сильные руки доктора подняли Верочку и поднесли ее к телескопу.

— Сегодня ненастье, дитя мое, и нашу Венеру сложно будет увидеть.

— Выходит, даже она меня покинула? — всхлипнула девочка.

— Что ты! Она вернется утром, чтобы приветствовать тебя.

— Доктор, она уже вернулась! — прошептала Верочка, из последних сил тяня вперед тонкую шейку. В темноте ей ясно виделся тонкий голубоватый луч,

уходящий вдаль — а на вершине его утренняя и вечерняя звезда... Такая прекрасная и добрая, звезда, где люди живут в мире и любви, не зная страданий и боли...

— Федор Петрович, миленький ведь правда, что там нет ни боли, ни горя?

— Конечно, и все люди там добры и прекрасны. И очень счастливы!

— И я, я тоже буду прекрасной там?

— Ты и теперь прекрасна, моя маленькая звездная принцесса.

— Ах, как хорошо... Как хорошо там... Федор Петрович, пойдите же! Пойдите к ней! Там так красиво! Так светло... Погуляет Вера по Венере...

Оборвался едва слышимый голосок в полутемной комнате. Боль и жар отступили, и Верочке вдруг стало необычайно легко. И она пошла, полетела по синеватой тропинке навстречу своей звезде. А доктор, длинный, сутулый, бежал следом за ней, подпрыгивая на худых ногах и широко размахивая руками, словно желая обнять ими всех и каждого. Они бежали по лучу вдвоем и счастливо смеялись...

— Ушла Вера на Венеру, — произнес доктор, не столько услышав, сколько почувствовав, как перестало биться маленькое сердечко. Последний раз поцеловав девочку, он бережно перенес ее на кровать, велел вошедшему Матвею:

— Батюшку позови, о похоронах распорядись. Сам знаешь...

Старик утер слезу:

— Отлетела душа безгрешная, Царствие Небесное ангелу нашему, — и, помолчав, прибавил с досадой: — А там опять по вашу душу какие-то изверги ломаются. В рассветный час и то покоя нет! Велите погнать!

— Не нужно никого гнать, — устало покачал головой Гааз. — Ты позаботься здесь... А я к ним выйду.

У входа в больницу Федору Петровичу было уготовано немалое удивление. Его дожидалась уже знакомая ему тройца во главе с рыжим вожаком.

— Батюшки! — сплеснул руками доктор. — Уж не за шубой ли моей пожаловали?

— Нет, барин, — серьезно мотнул головой вожак, комкая шапку. — И не за деньгами. Трезвые мы, как видишь. За ранний час не посетуй, душа в нас горит — после передумать можем.

— О чем же речь?

— Санитары больнице твоей нужны?

— В рабочих руках избытка никогда не бывает.

— Возьмешь нас?

— Вы хотите сделаться санитарями? — недоверчиво уточнил Гааз.

— Хотим, барин.

— А знаете ли вы наши правила? Не воровать, не пить...

— Не выражаться, — гоготнул один из разбойников.

— Замолкни, — цыкнул на него вожак. — Принимаем мы твои правила. С тем и пришли, чтобы с воровским ремеслом покончить. А не сдюжим, так выгонишь взашей или в полицию сдашь. Казенный дом нам не внове. Так что, барин, возьми нас?

— Входите, — кивнул Гааз. — Я распоряжусь, чтобы вас накормили и выдали все необходимое. А сдюжить... постарайтесь, братцы. И для себя, и для них, — он повел рукой в сторону палат. — Эти несчастные ждут нашей помощи. Спешите же делать добро!

На дворе светало. Ночная непогода улеглась, и небо рассеялось. Далеко-далеко зажглась, таинственно мерцая, утренняя и вечерняя звезда.

— Федор Петрович, а что такое счастье? — прозвенел в ушах тонкий детский голосок.

Много было вопросов у это несчастной девочки, таких серьезных не по летам вопросов...

— Счастье в том, чтобы делать других людей счастливыми. Дарить им любовь и добро. И они, подаренные нами, непременно вернуться к нам. И мы будем счастливы...

Венера погасла вместе с бледным месяцем, уступая место не терпящему конкуренции дневному светилу. Наступал новый день, в котором вновь нужно было спешить делать добро.

Милосердное служение людям святого доктора, его прямое и безыскусное следование Христу были таковы, что несмотря на приверженность западной вере, панихиды по нему служили во всех православных храмах Москвы. Таково было распоряжение Святителя Филарета Московского. Могила доктора Гааза на Введенском кладбище столицы и ныне не забыта «горемычной братией». Свежие цветы у скромного памятника не переводятся.

Семипроклятинск (Фёдор Михайлович Достоевский)

...Она ушла из жизни в невероятных страданиях, однако перед самой смертью примирившись со всеми, простив всех и успокоившись в первый раз за долгие годы болезни, и теперь холодная, чужая лежала на столе с лицом ясным, не искаженным, наконец, мукой. Он сидел рядом, бледный и измученный, точно и сам уже не жилец, освещенный тусклым светом близящегося апрельского серого, промозглого утра, и догорающая свеча едва-едва поблескивала в углу, угасая, подобно самой жизни. В эту первую ночь без нее он вдруг пришел к странному выводу:

— Все-таки она любила меня беспредельно... И никогда, никогда не могли бы мы перестать любить друг друга; даже, чем несчастнее были, тем более любили... Я, наверно, виноват перед нею... Она заслуживала лучшей доли, а я ничего не мог ей дать, не мог облегчить страданий ее. Обманул надежды... Но кто знает, с кем бы была она счастлива? Маша, Маша... Встретимся ли мы с тобою? ТАМ? Прости меня, Маша, за все! Прости!

Слезы катились по желтоватым, запавшим щекам. А лицо покойницы было просветленным, точно первый раз узнала она счастье... И в эту ночь не шли на память бесчисленный ссоры, припадки безумия, в которых она, харкая кровью и колотясь головой о стену, проклинала его, желала ему смерти и винила в своей искалеченной судьбе, в нищенском существовании их, в своих разрушенных мечтах... Все это ушло, забылось, а перед

глазами стояла та прежняя Маша, какой увидел он ее в первый раз...

* * *

Еще только направляясь к месту будущей службы, Федор Михайлович чувствовал, что в жизни его грядут какие-то очень большие события. «...Кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь очень решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то, и что будет что-нибудь, может быть, тихое и ясное, может быть, грозное, но, во всяком случае, неизбежное...» — писал он в одном из писем.

После долгих лет пребывания в остроге служба рядовым казалась большим облегчением, благо местное «высшее общество» было весьма радо знакомству с петербургским писателем, пусть даже и подзабытым теперь — здесь и такой в диковинку. Приглашали в разные дома, где просили прочесть что-нибудь, задавали многочисленные вопросы на самые разные темы, начальство зазывало на чай, разрешили даже и квартиру снимать в городе, недалеко от казармы... Однажды пригласил к ужину местный таможенный чиновник, Александр Иванович Исаев, человек добрый, но сильно пьющий.

— Приходите, пожалуйста! Мы с женою будем счастливы! Мы ведь ваших «Бедных людей» читали, восхищались даже! В особенности супруга. Она у меня женщина начитанная, интеллигентная. Отец ее, француз, был директором Астраханской гимназии. Так что сами понимаете, какого полета женщина. Ей, конечно, скучно приходится здесь... Так вы уж придите!

Я уверен, она вам очень рада будет. Ну, и я, конечно, премного признателен... Придете?

— С большим удовольствием, — кивнул Федор Михайлович.

Войдя в небогатую квартиру Исаевых, Достоевский увидел перед собой изумительно красивую женщину лет двадцати восьми. Тонкая, изящная, со светлыми волосами и огромными, печальными глазами, она протянула ему свою белую, маленькую руку. Несколько мгновений Федор Михайлович стоял, как вкопанный, не в силах оторвать глаз от этого поразившего его лица. «Какое удивительное лицо! Прекрасное! Но, однако же, сколько страдания в нем! В глазах! Кажется, очень страдала она... Несомненно, душа у нее высокая, вот, только добрая ли? Если б только сумела она остаться доброй...»

— Позвольте представить вам мою супругу, — переминаясь с ноги на ногу, заговорил Александр Иванович. — Мария Дмитриевна!

Достоевский вздрогнул и, спохватившись, поцеловал протянутую руку хозяйки:

— Весьма рад знакомству, — пробормотал, стараясь скрыть волнение. Второй раз в жизни так забило сердце его при виде женщины, как тогда, в Петербурге, когда предстала перед ним великолепная красавица Авдотья Яковлевна Панаева, и он на миг потерял дар речи, ослепленный ею...

Исаева болезненно улыбнулась и пригласила гостя к столу.

За ужином Александр Иванович быстро опьянел.

— Эх, Федор Михайлович... Все мы Макары Девушкины, все мы, бедные, несчастные, униженные и растоптанные! Горемычные! — вздыхал он, растягивая слова и размазывая по лицу слезы.

Мария Дмитриевна побледнела и бросила на мужа гневный взгляд, которого он, впрочем, не заметил. Наблюдая за ней, Достоевский понял, отчего так жестоко страдает эта умная, образованная и очень гордая женщина. Как нестерпимо было ей ее положение: вечно пьяный муж, от стыда за которого она не находила себе места, беспросветная нищета, кромешное одиночество, сплетни, окружавшие ее и ее сына, и, наконец, непроглядная, страшная, беспросветная мгла в будущем. Сердце Федора Михайловича наполнилось жалостью к Исаевой, ему стало больно смотреть на ее проникнутое скрытой мукой лицо, которое он почти не мог вынести.

Наконец, Александр Иванович уснул, сидя прямо за столом. Мария Дмитриевна поглядела на мужа, закусил губу и с трудом сдержала слезы.

— Не огорчайтесь так! — тихо сказал Достоевский. — Поверьте, все еще изменится... Тьма не может быть вечной.

— А какой выход из нее? — всхлипнула Исаева. — Видите, как мы живем? Так же нельзя жить!

— Трудно вам приходится?

— Местные сплетники выдумали, что дед мой — мамелюк. Дразнят моего сына, Пашу, арапчонком... А Александра Ивановича того гляди уволят от должности... за пьянство... Мы же с голоду погибнем тогда! А он точно не понимает...

Федор Михайлович погладил Марию Дмитриевну по руке:

— Успокойтесь, пожалуйста. Надо верить! Бог милостив и вас не оставит.

Исаева подняла голову и посмотрела на Достоевского как-то странно. Помолчав, она вдруг попросила:

— Вы многое пережили, Федор Михайлович и, кажется, хорошо знаете людей... Расскажите мне о

каторге... Как там? Очень тяжело вам было? Страшно?

— Поначалу очень тяжело. Мы в Петербурге боролись за народ, не зная его... А на каторге столкнулись с ним лицом к лицу. И лицо это поглядело на нас вначале с издевкой: что, мол, были баре, а теперь похуже нашего брата сделались? А потом свыклись, притерлись друг к другу... И теперь, знаете ли, думаю, что мертвые годы эти не напрасно прошли для меня и даже какую-то пользу принесли...

— Пользу? Общение с разбойниками — пользу? — поразилась Мария Дмитриевна.

Федор Михайлович внимательно взглянул на Исаеву, но тотчас отвел глаза и отозвался негромко:

— Вначале я тоже видел перед собой лишь разбойников... Но, проведя с ними бок о бок четыре года, отличил в них, наконец, людей. О, Мария Дмитриевна, вы, быть может, не поверите мне, но представьте: среди них есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото! Я сжился с ними и потому знаю их порядочно... Только на каторге я и смог узнать хорошо русский народ, так хорошо, как не многие знают... Нет, эти года не прошли для меня бесплодно! Видимо, так нужно было! Сказано ведь — «не оживет, аще не умрет». Быть может, мне было суждено пройти испытание «мертвым домом» с тем, чтобы теперь воскреснуть...

— Станный вы человек... — задумчиво произнесла Мария Дмитриевна. — Я таких прежде не встречала.

— И я не знавал вам подобных...

— А что же во мне особенного?

— Странствие... — выпалил Достоевский. — В вас страдания много!

Исаева опустила голову.

— Поздно уже, — проронила она. — Вам, должно быть, пора... А мне еще все здесь прибрать нужно.

— Я мог бы помочь вам...

— Не стоит, — Мария Дмитриевна поднялась и с усилием улыбнулась. — Спасибо вам, Федор Михайлович.

— За что, помилуйте?

— За понимание... Вы уж не забывайте нас теперь. Заходите почаще!

— Непременно! — пообещал Достоевский, крепко пожимая руку Марии Дмитриевны и с удивлением чувствуя, что одно лишь прикосновение к ней обжигает его.

Отойдя несколько шагов от дома Исаевых, Федор Михайлович оглянулся и увидел ее худощавую фигуру в ярко освещенном окне. Она смотрела ему вслед, и от этого сердце неровно застучало в груди, то падая куда-то глубоко, а то вдруг подкатывая к горлу.

Достоевский поспешил домой. Улицы города становились в этот час пустынными, на них царила непроглядная темень, так как фонарей нигде не было. Идти приходилось едва ли ни ощупью, вспоминая, где следует повернуть, и ежесекундно рискуя споткнуться о какую-нибудь из многочисленных колдобин, коими славилась местные дороги. Однако, в эту ночь Федор Михайлович позабыл обо всех неудобствах и даже не заметил, как оказался возле окруженного кустами малины и смородины небольшого бревенчатого дома, где он квартировал. Вероятно, Достоевский прошел бы мимо своего жилища, но хозяйский пес громко залаял, заслышав шаги его. Федор Михайлович ласково потрепал пса по холке и, стараясь не шуметь, прошел в свою комнату.

Привычно запалив сальную свечу, Достоевский подошел к тусклому, маленькому зеркалу, висевшему на стене, и взглянул на свое отражение.

— Вот, уже и 33 стукнуло, — тихо вымолвил он. — Христов возраст... И каков же итог? Много утекло воды за четыре года... Тургенев, Гончаров, Островский — все уж сколько шагов вперед сделали. Уже и новые имена появляются... А я, точно призрак прошлого. Ах, если бы достало сил вернуться! Нагнать упущенное! Неужели нет выхода из этой бездны? Не может быть так! Четыре года назад казалось, что и из острога нет выхода. И солдатчина не вечна! Ничего... Страдания душе потребны. Они уравнивают все на нашей грешной земле, на которой люди не умеют возлюбить ближнего, как им завещано... А страдание приближает к Христу, к Его жертве... И народ подсознательно знает это. Быть может, оттого самая великая и вечная потребность всякой русской души есть страдание...

Федор Михайлович отошел от зеркала и опустился к столу. Ничто не нарушало ночной тишины. Слышно было лишь, как бегают по стенам и полу, шуршат тараканы. Через некоторое время чистый лист бумаги был уже испещрен мелким почерком. Достоевский бегло проглядел написанное и приложил лист к стопке таких же, на первом из которых было аккуратно выведено название: «Записки из Мертвого Дома»...

Уже светало, когда он задремал ненадолго: рано утром нужно было спешить в казарму...

В казарме, едва окончилась проверка, Федор Михайлович подошел к молодому барабанщику, коего опекал и защищал от нападок сослуживцев, которые всячески насмеялись над нескладным и не умеющим постоять за себя юношей.

— Как поживаете, Кац? — спросил Достоевский.

Молодой человек отвернул голову, и Федор Михайлович заметил, что глаза его красны, а губы дрожат.

— Они опять дурно обращались с вами?

— Ах, это невозможно выносить дольше! Ей-богу, Достоевский, я или сбегу отсюда, или удавлюсь! — отозвался Кац.

— И думать не смейте! Вы еще так молоды: у вас же вся жизнь впереди!

— Но отчего они смеются надо мной? За что мучают?

— Они тоже многое перестрадали, Кац... Некоторые сильно страдающие люди находят себе облегчение в чужом страдании. Немецкий философ Штирнер выдвинул идею человекобожия... Большинство о ней, конечно, и не слышали, но подсознательно стремятся главенствовать хоть над кем-то, хоть в узком кругу быть Царем, Хозяином, Наполеоном, ежели угодно. Был у нас на каторге майор Кривцов. Так он нам прямо и заявлял: «Я ваш Царь и Бог!» Наш ротный мнит себя Царем и Богом, властвуя над солдатами... А солдаты, в свою очередь, стремятся создать у себя иллюзию власти хоть над единой живой душой.

— И я должен мириться с этим? Сносить? — в глазах барабанщика заблестели слезы.

— Нужно просто сцепить зубы и пережить. Не обращайтесь на них внимания, и тогда им станет неинтересно потешаться над вами, и они оставят вас в покое.

— Вы полагаете?

— Полагаю! Не показывайте им вашей боли, но, если нет сил держать ее в себе, приходите и делитесь ею со мной.

— Спасибо, — вздохнул Кац.

Достоевский вглядывался в бледное лицо юноши и вспоминал себя, начинающего литератора, застенчивого, неуклюжего, почти нелепого среди пышных гостиных, маститых писателей, светских красавиц... Вспомнилось, как упал он в обморок перед одной из них, сраженный эпилептическим припадком, и как затем потешались над ним Некрасов, Панаев,

Тургенев... Выдумали даже непотребную эпиграмму и пустили ее по всему городу. И как, страдая от их бесконечных издевок, не умея ответить тем же, недоумевал, как этот бедный мальчик Кац, за что, почему именно его? И неужели сами не страдали они, что так легко заставляют страдать другого человека? Не может быть такого! Вспомнилось еще, как после очередных нападков зубоскалов, Белинский утешал: «И стоит из-за этого переживать!» — и строго выговаривал Тургеневу, сияя своими холодными, синими глазами. Точно так недавно сам Достоевский увещевал одного из солдат, обижавшего Каца... Как, в сущности, все схоже везде! На удивление.

Едва переступив порог своей квартиры, господин стряпчий уголовных дел, Александр Егорович Врангель слышал знакомый голос, доносившийся из комнаты:

— Чертог сиял. Гремели хоры...
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир;
Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...

Врангель вошел в комнату и, улыбаясь, поглядел на расхаживающего взад-вперед в распахнутой шинели Достоевского.

— Я вижу вы сегодня в хорошем расположении духа! — весело произнес Александр Егорович, точно знавший, что «Египетские ночи» его друг читает только

в добром настроении. — Обожаю слушать, как вы читаете!

Федор Михайлович резко обернулся и кинулся навстречу Врангелю:

— Ну, наконец-то, а я уж заждался вас!

— Что-то случилось?

— Случилось! Я сейчас все вам расскажу, только, умоляю, велите вашему Адаму побыстрее подавать уху (ведь у вас уха сегодня, не так ли?). Я ужасно проголодался.

Александр Егорович позвал слугу и, сделав распоряжения относительно обеда, опустился на диван рядом с Достоевским, уже раскурившим длинный чубук.

— Я вчера встретил удивительную женщину, Александр Егорович, — произнес Федор Михайлович.

— Кто же она?

— Мария Дмитриевна Исаева...

— Исаева? — удивленно переспросил Врангель. — Я знаю ее... Очень красивая женщина... Но очень сложный характер...

— Такое изумительное создание в такой грязи... Как это несправедливо! Она так страдает, так страдает! Если б я только хоть чем-нибудь мог помочь ей! Вот, когда нестерпимым делается мое бесправное положение! Как ей возможно связать судьбу с бывшим каторжником, человеком, у которого за душой ничего!

— Уж не влюблены ли вы, Федор Михайлович?

— Кажется, так... — тихо отозвался Достоевский.

Александр Егорович помрачнел. Он уже успел неплохо узнать своего друга, перед которым преклонялся, еще не зная его лично, благодаря его книгам, и почувствовал, что Федор Михайлович очень серьезно увлекся Исаевой, женщиной замужней да еще такой гордой и требовательной, что, даже ответь она взаимностью, так ведь только измучает любящее ее,

горячее сердце... «Не к добру все это!» — подумал Врангель, однако промолчал.

Подали стерляжью уху. За обедом Достоевский поделился радостью:

— На днях я вновь буду у нее!

Они стали видеться часто, и разговоры их делались раз от раза продолжительнее и откровеннее. Он успокаивал бедную женщину, пытался вселить надежду, сам подчас утрачивая ее... А она удивлялась:

— Откуда вы только черпаете силу, чтобы верить?

— Ах, Мария Дмитриевна, я — дитя века, дитя неверия и сомнения. Если б вы только знали, каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая от доводов противных лишь усиливается! Но верить необходимо! Ибо ничего нет совершеннее Христа! И я вам больше скажу: если бы мне кто-нибудь доказал, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось остаться с Христом, нежели с истиной...

— А я уже во всем разуверилась, — сказала Исаева, обжигая Федора Михайловича своим метущимся, полным горечи взглядом.

— Не говорите так! Прошу вас! Мне невыносимо слышать от вас этакие слова! Ведь вы — Совершенство!

— Нет-нет! Не говорите! — испуганно прошептала Мария Дмитриевна. — Вы так смотрите на меня, что я... Я боюсь вас, Федор Михайлович!

— А я — вас. Вашего лица! Глаз ваших! И все-таки, Мария Дмитриевна, я люблю вас! Я понимаю, что едва ли не преступление мне, бывшему каторжнику, говорить вам такие слова, но не сказать их я не могу! Я умру за вас! Я всю кровь свою отдам, лишь бы вы были счастливы! Не гоните меня за это, прошу, ибо никогда, клянусь, я не позволю себе...

— Молчите! — вскрикнула Исаева. — Не унижайте себя! Вы лучше всех их! Вы, может быть, единственный настоящий человек из всех, кто меня окружает. И вы небезразличны мне... Но я не могу ничего вам ответить сейчас. Я еще сама себя не знаю и не понимаю!

— Но я знаю вас...

— Быть может. Но теперь, прошу вас, уйдите. Мне необходимо остаться одной. Разобраться в себе...

— Ваша воля для меня закон. Отныне я раб ваш! — с этими словами Федор Михайлович опрометью выбежал из квартиры Исаевых и, спотыкаясь, чувствуя огромное смятение в душе, отправился к Александру Егоровичу, единственному человеку, с которым мог поделиться он своей мукой, который слушал всегда со вниманием и бесконечным участием, склонив набок свое красивое, молодое лицо...

Врангель мгновенно понял состояние друга и, обеспокоенный его крайним нервным возбуждением, на другой же день, выхлопотав разрешение начальства, перевез Достоевского на свою загородную дачу, расположенную на берегу Иртыша.

На даче Федор Михайлович несколько успокоился. По утрам он ходил купаться на реку, днем работал в саду и обучал грамоте по просьбе Марии Дмитриевны дочку ссыльного поляка, семнадцатилетнюю Марину, а вечером они с Врангелем подолгу разговаривали, лежа на траве и глядя на звездное небо. Лето бывало в этих краях жарким (в том мае днем бывало под 30 градусов, и раскаленное солнце обжигало), и ночь, распуская свои черные крылья, освежала, дышала запахом реки и трав, доносила с другого берега шепот густых, суровых лесов. А звезды мерцали холодно и нездешне, завораживая и напоминая о необъятности и бесконечности вселенной.

Федор Михайлович приподнялся с земли и, не отрывая взгляда от неба, обратился к Александру Егоровичу:

— Знаете, когда я в юности читал Вертера, меня поразило, что, прежде чем покончить счеты с жизнью, он сожалеет о том, что более не увидит прекрасного созвездия Большой Медведицы... Я все думал, чем же так дороги были ему эти созвездия, а теперь, кажется, понял.

— И чем же? — осведомился Врангель, сорвав какую-то травинку и рассеянно крутя ее в пальцах.

— Созерцая их, Вертер сознавал, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божьих вовсе не выше его мысли, сознания его, не выше идеала красоты, заключенного в его душе, а, значит, равна ему и роднит с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывшуюся ему, он обязан лишь своему лику человеческому...

Врангель задумчиво взглянул на небо и, помолчав несколько минут, повернулся к своему другу:

— С восшествием на престол нового Императора, вы можете рассчитывать на изменение вашей участи. Молодой Государь слывет человеком просвещенным и даже отчасти либерально мыслящим. Многие заключенные сейчас освобождаются и получают послабления...

— Дай Бог, милый Александр Егорович, дай Бог! — вздохнул Достоевский. — Жаль, что не удалось передать мои стихи вдовствующей Императрице...

— Ну, не стоит унывать! — улыбнулся Врангель. — Я еще поговорю с Густавом Христиановичем³⁰ на сей предмет. Неужели не удастся договориться нам? Верноподданнические стихи пришлись бы теперь как нельзя кстати!

— Ах, не наступайте на больную мозоль... Как представляю, что эти стихи прочтут жандармы, которые приходили в бешенство от моей несговорчивости, аж в пот холодный бросает. Вот, уж возрадуются! Что, — скажут, — обломали мы тебе крылышки? Вон как запел! Но да черт с ними! Я сейчас на все готов! Пушкин и Державин писали же хвалебные оды Государям! Кто посмеет их в том упрекнуть? А в моем положении такая хитрость и тем более простительна. Умные поймут... А прочие будут, конечно, издеваться всячески...

— Я вас прежде не спрашивал, Федор Михайлович, но... Скажите, вы окончательно отказались от идеи политического переворота в России? — спросил Александр Егорович.

Достоевский опустил голову и, поразмыслив, ответил медленно:

— Теперь это невысказано. Массы не готовы к нему. И какая может быть конституция при абсолютном невежестве народа, который не то что политики, но грамоты еще не понимает! Конституция нужна горстке либеральномыслящей интеллигенции. А России нужно пока лишь освобождение от крепостничества и духовное просвещение народа! Но никак не переворот!

От реки потянуло сыростью, и Федор Михайлович зябко поежился.

— Холодно что-то. Вернемся в дом? — предложил он.

— Извольте, — кивнул Врангель, легко поднимаясь на ноги.

— Кстати, вы обратили внимание, как переменилась в последнее время Марина? Прежде была такой веселой и задорной, а теперь ходит мрачная, прибитая точно. Не случилось ли чего дурного?

— Да, неладно, — согласился Александр Егорович. — Я полагаю, следует завтра же побеседовать с ней. Может, ей помощь нужна?

Федор Михайлович не ошибся: разбитная, смешливая и, несмотря на юный возраст, уже кокетливая красавица Марина действительно очень изменилась. Во всем ее облике появилась какая-то скрытая страдальческая надломленность, и вся она походила на растерзанное бурей дерево... Во многом унаследовав характер отца, гордая полячка, Марина вначале пробовала отпираться и отшучиваться в ответ на вопросы своего учителя, но вскоре поникла и горько заплакала, закрыв лицо руками.

— Так что же произошло? — допытывался Достоевский, с болью глядя на рыдающую девушку.

— Марина, слезами горю не поможешь. Доверься нам! — поддержал его стоявший в углу Врангель.

Марина отрицательно мотнула головой:

— Поздно... Мне уж теперь никто не поможет... Это все Ванька... Ванька Саврасый. Креста нет на нем, окаянном...

— Ванька Саврасый? — Федор Михайлович покосился на Врангеля.

— Сын городского старосты... — отозвался тот.

— Он самый, — кивнула Марина. — Заглядывался он на меня с давних пор, подарки разные дарил, веселый такой был, добрый! Обещал, что женится да всю жизнь на руках носить будет... Грех на мне лежит: поддалась я ему... А он... Он... — девушка заплакала вновь.

— Обманул, бросил, да? — сочувственно спросил Достоевский.

Марина кивнула и, утерев слезы, продолжила:

— Это не все... Старик-киргиз, кучер Ваньки, знал все. Он заявился ко мне и пригрозил, что донесет отцу и мачехе... Если я... Господи, да как же мне жить с этим?! Если б вы знали, как я его боюсь! Это страшный человек! Я его ненавижу, а противиться не могу ему... Думала в Иртыше утопиться от вечного этого стыда и

страха, да духу не хватило. А жить так сил уже нет никаких! Простите меня...

Лицо Федора Михайловича побагровело, а губы задрожали. Он осторожно погладил Марину по голове и взглянул на приблизившегося Врангеля:

— Что ж мы делать будем, Александр Егорович? Видите, как...

— Подобное вопиющее дело не может, разумеется, так оставаться. Я завтра же займусь им. Слава Богу, и у меня есть кое-какая власть. И ее вполне достанет, чтобы выселить мерзавца из города...

Марина встала и, не поднимая глаз, прошептала:

— Простите. Я пойду лучше... Прощайте! — и выбежала из дому, закрыв руками распухшее от слез лицо.

Федор Михайлович принялся расхаживать по комнате. Руки его дрожали, а лицо судорожно подергивалось. Внезапно он остановился и, повернувшись к Врангелю, произнес хрипло:

— Много грехов на белом свете, Александр Егорович, но самый страшный, по мне, это такое надругательство... Ведь она же совсем еще ребенок...

Достоевский нервно закурил.

— В ближайшие дни я выселю негодяя из города, — сказал Врангель.

— Да, выселите... — едва слышно отозвался Достоевский. — А с душой-то что станет? С ее душой?! Из души всего этого никакую властью не выселишь... На всю жизнь мука останется! Вот, ведь что страшно, милый Александр Егорович!

Спать он лег, как всегда, на рассвете, чувствуя неприятную тяжесть в голове и какое-то недоброе предчувствие на сердце. Во сне, тревожном и болезненном, его мучило удушье, от которого он метался по постели, и память, выдававшая самые

чудовищные картины из его беспокойной жизни, делавшиеся еще более нестерпимыми во сне, чем даже наяву.

Крохотная комнатка, наполненная паром и жаром, и копотью, разъедающей глаза; под ногами — месиво из склизкой грязи; в нос ударяет вонь от нескольких сотен давно немытых тел... И тела! Красные, распаренные, в единое месиво смешавшиеся... И среди этого месива мелькают шрамы, клейма, безобразия различных болезней, кандалы и лица, тоже страшные, почти нечеловеческие... Наверно, если есть ад, то он должен быть именно таким, невообразимым и чудовищным, как эта каторжная баня... И движется, движется страшное человеческое месиво, окружает, сдавливает так, что нельзя уже ни вздохнуть, ни вскрикнуть...

Достоевский в ужасе проснулся и потрянул головой, стараясь отогнать от себя страшное видение.

В комнату осторожно вошел Александр Егорович и протянул письмо со словами:

— От нее...

Федор Михайлович дважды пробежал глазами письмо и покачнулся. Письмо само выпало из рук и свалилось на пол. Не зря именно сегодня такой жуткий сон!

Врангель обеспокоено взглянул на побледневшего Достоевского, быстро поднял письмо и прочел его. В письме сообщалось, что Александр Иванович Исаев, уволенный от таможни, получил новое назначение. В другой город.

— Значит, уезжает? — тихо спросил он.

Достоевский кивнул:

— В Кузнецк!! Это же пятьсот верст отсюда... Боже мой, Александр Егорович! Это же... конец! Я с ума сойду, не имея возможности хотя бы иногда видеть ее! Что же делать теперь?! Что делать..?

Александр Егорович опустился на край постели рядом с Федором Михайловичем и произнес задумчиво:

— Положение, конечно, сложное, но мы еще поборемся. Придумаем что-нибудь. Вы напишите письму Тотлебену³¹. Вы вместе учились, и он должен помнить вас. Вдобавок и я знаком с Эдуардом Ивановичем. Он севастопольский герой, его мнение веско. Если он замолвит за вас слово перед Государем, то последний наверняка не откажет ему! Держитесь же, друг мой! Еще не все потеряно.

— Я должен видеть ее, проводить... — глухо откликнулся Достоевский, поднимаясь.

— Разумеется, — кивнул Врангель и, пристально взглянув на Федора Михайловича, добавил решительно. — Я поеду с вами.

— Спасибо, — вздохнул Достоевский.

Исаевы уезжали тихой майской ночью. Александр Иванович, уже изрядно хмельной, едва уложили вещи, сел в экипаж и захрапел, тем самым дав возможность жене и Федору Михайловичу проститься перед долгой разлукой. Мария Дмитриевна подошла к Достоевскому, с трудом сдерживавшему рыдания. Заметив катившиеся по лицу его слезы, Исаева сказала:

— Ну, что ты? Господи, зачем же? Что ты плачешь-то? Ты не плачь, не тоскуй... Вот, посмотри на меня... — но тут голос ее предательски дрогнул, и она заплакала сама. — Видишь, милый, как выходит все. Совсем не так, как мы хотели...

Достоевский обнял Марию Дмитриевну и, прижав к груди, прошептал:

— Эта разлука не будет вечной, Маша. Я все для того сделаю! Ты только не забывай меня, слышишь? Умоляю тебя, свет мой, пиши! Мне ведь без тебя жизни нет! Обо всем пиши, слышишь? Обещай мне, Маша!

— Конечно! Я и сама не смогу иначе. Я так привыкла делиться с тобою всеми печалью и радостями, что не писать тебе мне невозможно будет. Ведь у меня никого в целом свете, кроме тебя. Ты у меня единственная родная душа. Светлая душа!

— Я тебя люблю, Маша. Я тебя всегда любить буду!

Кони нетерпеливо заржали, и Достоевский выпустил Марию Дмитриевну из объятий.

— Вот, и все, мой милый. Пора мне! — сказала она, утирая слезы. — Не поминай лихом и не забывай! Первый раз я такого человека встретила! Прощай!

— Прощай, Маша...

Прощально зазвенели колокольчики, надрывая сердце, и быстрые кони понесли Марию Дмитриевну прочь, в непроглядную ночную темень, в неведомую даль... И звезды мерцали вслед ее, провожая в дальний путь. Достоевский еще долго стоял, как вкопанный, посреди дороги, низко склонив голову, безмолвно глотая слезы. Тихо подошедший Врангель взял его под руку и усадил в экипаж, знаком велел кучеру трогать. За всю дорогу друзья не проронили ни слова: один — обессилев от свалившегося на него нежданного горя; другой — молча сострадавая ему.

Лето пролетело скоро, пришла осень. И без того печальная, на сей раз она казалась печальной вдвойне. Работа над «Мертвым домом» шла тяжело — мешали постоянные мысли о судьбе самого дорогого существа, Маши, Марии Дмитриевны, от которой приходили горькие, веявшие безнадежностью письма, приводившие в отчаяние. Тусклой вереницей тянулись серые дни, проводимые в казарме. «Я одинок, как камень отброшенный!» — жаловался Федор Михайлович. Лишь один человек скрашивал теперь это одиночество, верный и всегда готовый прийти на выручку Александр Егорович Врангель. И именно к нему

примчался в тот день Достоевский и задыхающимся голосом сообщил с порога:

— Исаев скончался! Получил письмо... Она в отчаянии, бедняжка! Больна! Денег ни гроша: одни долги. Им с сыном нечего есть! Положение крайнее! Хуже крайнего! Александр Егорович, я должен ехать к ней! Немедленно!

— Да что вы, Федор Михайлович! — развел руками Врангель. — Остыньте, пожалуйста! Куда вы поедете? Нельзя вам! По суд же отдадут!

— Да хоть бы и под суд! Послушайте, что пишет она: ей кто-то прислал три рубля серебром... — Достоевский извлек письмо и прочитал: — Нужда руку толкала принять, и приняла подаяние! Несчастливая! Не отговаривайте меня, дорогой друг! Я поеду...

Александр Егорович подошел к Достоевскому и, потрянув его за плечи, сказал тихо, но твердо:

— Я никуда не пущу вас. Давайте рассуждать здраво. Ваш приезд ничем ей не поможет. Для вас же побег — конец всему. Вас отдадут под суд, и тогда никакой надежды на снисхождение. Каково ей будет тогда? Подумайте, Федор Михайлович!

Достоевский провел рукой по лбу и тяжело опустился на стул.

— Вы правы... — проронил он сдавленно. — Ничего-то я не могу! Точно мой же герой из «Бедных людей». И даже хуже... Сам себе напороочил! Но что же делать, Александр Егорович? Я просто теряю рассудок! Ведь ее же спасти надо! Ведь она пропадет!

«Измучает она его...» — печально подумал Врангель, а вслух сказал, желая ободрить друга:

— Ее материальному положению поспособствовать легко. Я завтра же вышлю ей денег...

— Только умоляю вас...

— Разумеется, анонимно!

— Спасибо. Ведь она такая гордая... Страшно вообразить, что значит для нее принимать подаяние! Немыслимо... Несправедливо! У нее душа прекрасная! А прекрасные души счастливы быть должны! А несчастны только злые... Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай, Господи, никому этого страшного, грозного чувства. Велика радость любви, но страдания ее так ужасны, что лучше бы никогда не любить... Все кругом мрак кромешный... Еще и вы уезжаете! Вы даже не представляете, как горек мне ваш отъезд.

— Мне и самому жаль оставить вас, — отозвался Врангель. — Однако, нет худа без добра. Находясь в Петербурге, я лично смогу ходатайствовать за вас и передать письмо ваше Тотлебену. Вы, кстати, написали письмо?

— Да, да, — кивнул Достоевский и, пошарив в карманах, извлек конверт. — Вот, возьмите. Здесь изложил я, сколь невозможно мое теперешнее положение. Я желаю быть полезным, и трудно, имея в душе силы, а на плечах голову, не страдать от бездействия. Написал так же, что лишь на поприще писательском, кое я всегда считал благороднейшим, я мог бы истинно быть полезным. Военное же дело чуждо мне, и я мечтаю быть от него уволенным...

— Уверен, что это письмо поможет! Слово Эдуарда Ивановича значит много! — обнадежил Александр Егорович, убирая письмо в шкатулку для важных бумаг.

— Как жаль Александра Ивановича! — вдруг вымолвил Федор Михайлович. — Может быть, я только один из здешних и умел ценить его. Если были в нем недостатки, наполовину виновата в них его черная судьба. Желал бы я видеть, у кого хватило терпения при таких неудачах? Зато сколько доброты, сколько истинного благородства! Он умер в нестерпимых страданиях, но прекрасно, как дай Бог умереть и нам с вами. И смерть красна на человека. Он умер твердо,

благословляя жену и сына и томясь лишь об их участи... Боюсь, не виноват ли я перед ним, что подчас в желчную минуту передавал вам и, может быть, с излишним увлечением одни только дурные его стороны... Да простит он меня за то! Господи, упокой его душу! — Достоевский перекрестился.

Ему все-таки удалось увидеться с ней. В июне следующего года, получив командировку для лечения падучей в Барнаул, он, рискуя быть отданным под суд, свернул-таки в Кузнецк... Ехал Федор Михайлович с камнем на сердце, ибо совсем недавно получил от Марии Дмитриевны письмо, в котором уведомляла она его о своем желании выйти замуж за другого и просила обсудить дело хладнокровно, как следует другу, и дать ей совет... Сердце билось в смятенье, и ком подкатывал к горлу, но упреков в ее адрес не было.

«Что же было делать тебе, бедная моя, заброшенной и болезненно мнительной, потерявшей всякую надежду на устройство судьбы моей? — думал Достоевский, глядя невидящим взором на дорогу и расстилающиеся вокруг бесконечные просторы. — Ведь не за солдата же выходить тебе... Пусть теперь даже и унтера... Много ли это изменяет? И кто бы выдержал на твоём месте?»

Она встретила его на пороге своей крохотной, обнажающей всю беспросветную нищету, квартирке, похудевшая, бледная, но все еще прекрасная, и глаза ее обожгли Федора Михайловича так же, как и в первую их встречу. Он и теперь не мог их вынести. Губы Марии Дмитриевны дрогнули в бледном подобии улыбки:

— Здравствуй, милый... Проходи в комнату...

Окно комнаты было занавешено каким-то тряпьем, и Достоевского до боли поразила убогость ее, степени которой он не мог представить по письмам...

— Вот, теперь ты видишь воочию, как мы живем, — сказала Исаева.

Они сели за стол, и Федор Михайлович, собравшись с духом, спросил сходу:

— Кто он?

— Вергунов... Николай Борисович... — тихо отозвалась Мария Дмитриевна.

— Я не понимаю, Маша! — поразился Достоевский. — Ведь ты писала, что отказываешь мне лишь из-за моей бедности! Что тебе надо устроить судьбу сына и старого отца! Так при чем же здесь этот молодой человек? Он едва сводит концы с концами! Даже свое место учителя получил он благодаря моей протекции! А я... Я работать буду, Маша! Я все для тебя сделаю!

— Я люблю его, — отозвалась Мария Дмитриевна.

На это Федору Михайловичу возразить было нечего. Он собрался уже уходить, но Мария Дмитриевна удержала его:

— Не плачь, не грусти, не все еще решено... Умоляю тебя, брат, встретиться с ним! Объяснись! Только ты один помочь можешь! Он убьет себя, если я не выйду за него!

— С чего бы вдруг убьет?

— Он так сказал! Ты не знаешь его. Он тоже одержимый! О, поверь, он сдержит слово!

— Не волнуйся, Маша, я поговорю с ним, — пообещал Федор Михайлович, пожимая Исаевой руку и стараясь унять бешено забившееся от этого прикосновения сердце.

От Марии Дмитриевны Достоевский отправился к Вергунову, который, несмотря на свою внешнюю привлекательность, сразу же ему не понравился: было что-то отталкивающее в этом смазливом и, видимо, весьма самолюбивом юноше, который вначале отнекивался от разговора, а затем и вовсе расплакался:

— Умоляю вас, Федор Михайлович, не мешайте нашему счастью!

— Счастью? Но будет ли она с вами счастлива? На какую жизнь вы хотите обречь ее? — спросил Достоевский, уже внутренне жалея молодого человека.

Николай Борисович ответил не сразу, но предельно определенно:

— Вы спрашиваете, на какую жизнь я ее обрекаю? Но те самые двадцать четыре года, которые вы используете против меня, можно обратить и в мою пользу — ведь, если мне двадцать четыре года, то у меня еще все впереди! И неужели же ей лучше будет с вами, тридцатипятилетним пожилым человеком, у которого все уже позади, уже отличившимся, не в хорошем, а в плохом смысле, и тем самым закрывшим себе все пути? Наконец — не сердитесь, что она и об этом мне рассказала, — человеком больным, всегда мрачным и с дурным настроением! Она любит меня, а не вас, и странно было бы, если бы это было иначе!

Достоевский покинул Кузнецк с еще большей тяжестью на душе, чем прежде. Всю дорогу прокручивал он в памяти все, о чем говорили с ней и с ним, и пришел к неутешительному выводу, которым поделился в письме с Александром Егоровичем: «Дурное сердце у него, я так думаю. У ней же сердце рыцарское: сгубит она себя. Не знает она себя, а я ее знаю!..» Но тут же попросил своего неизменного друга похлопотать о сопернике: «Ради Бога, ради света небесного, не откажите! Она не должна страдать! Если уж выйдет за него, то пусть хоть бы деньги были. А для того ему надо место, перетащить его куда-нибудь... Это все для нее, для нее одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что! У него ничего нет, у нее тоже. Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся... За что же она, бедная, страдать будет? На

коленях готов просить за него. Теперь он мне дороже брата родного...»

Александр Егорович Врангель, оказавшись в столице, не терял даром времени. Глубоко тревожимый отчаянными письмами друга, отчетливо представляя себе его душевное состояние, он делал все возможное, чтобы помочь ему, в частности передал-таки письмо Эдуарду Тотлебену и убедил его ходатайствовать перед Государем. Благодаря этим усилиям, дело сдвинулось с мертвой точки, и Федор Михайлович был произведен в прапорщики с правом выхода в отставку.

Все предшествующие этому событию месяцы Достоевский получал письма от Марии Дмитриевны, в которых она то объявляла о своем разрыве с Вергуновым, то снова рассказывала о любви к этому юноше. «Хоть в воду, хоть вино начать пить!» — с отчаянием думал Федор Михайлович, осознавая, что, если б дела его пошли в гору, то он «был бы предпочтен всем и каждому». И, вот, наконец, замаячил свет в конце тоннеля. Получив радостное известие, Достоевский немедля отпросился в Барнаул и снова свернул в Кузнецк, на этот раз — с предложением руки и сердца.

Мария Дмитриевна ждала его и, едва он вошел, усадила пить чай «с холода», а сама глядела напряженно и выжидающе. Достоевский отпил несколько глотков и, прокашлявшись, произнес:

— Маша, ты явилась мне в самую грустную пору моей жизни... Ты знаешь, как сильно я люблю тебя. Моя любовь переросла уже в болезнь... Пощади же несчастного сумасшедшего! Я теперь офицер. Могу уйти в отставку. Недалек тот час, когда мне разрешат вернуться из изгнания. Послушай меня, Маша! Я буду работать, как проклятый! Адски работать! Мы с тобой поедem в Петербург! У нас все будет хорошо! Выходи за

меня замуж, Маша! Я займу денег у всех знакомых, и мы сможем обвенчаться в ближайшее же время! Прошу тебя, не отказывай!

Мария Дмитриевна вспыхнула, резко поднялась и подошла к окну.

— А как же Вергунов? — прошептала она. — Жаль его...

— Маша! — умоляюще воскликнул Федор Михайлович.

— Хорошо, — отозвалась Исаева. — Я согласна.

Достоевский вскочил с места и, заключив Марию Дмитриевну в объятия, поцеловал ее:

— Спасибо, Маша. Милая моя, спасибо. Больше я тебя не отпущу, никому не отдам, никому...

— Только одно условие, — вдруг сказала Мария Дмитриевна.

— Все, что угодно!

— Одним из моих поручителей на нашем венчании будет... Вергунов!

Федор Михайлович вздрогнул и изумленно взглянул на невесту:

— Ты действительно хочешь этого?

— Да!

— Как тебе угодно, Маша, — растерянно ответил Достоевский, с ужасом представляя, как будут смотреть на них обыватели, знавшие о том, какие отношения связывали Марию Дмитриевну с Вергуновым... Господи Боже, для чего же ей это унижение понадобилось?

Венчание было назначено на 15 февраля 1857 года в Кузнецке. Деньги удалось собрать с миру по нитке. Помог и Александр Егорович, до последнего пытавшийся отговорить друга от безумной, с его точки зрения, затеи. Однако, там, где говорит страсть, рассудок умолкает.

Накануне разыгралась метель. Всю ночь Федор Михайлович прислушивался к тоскливым, похожим на плач, завываниям ее, изредка поднимался, подходил к окну, вглядывался напряженно в непроглядную мглу, чувствуя легкий озноб и свинцовую тяжесть в голове. «Не к добру...» — не оставляла в покое навязчивая мысль. Чтобы как-то успокоить раздраженные нервы Достоевский открыл свое каторжное, заветное Евангелие, подаренное ему по пути в острог женами декабристов, и прочел несколько страниц. Стало немного легче, и Федор Михайлович задремал.

Под утро приснился кошмарный сон, от которого сделалось еще страшнее. Привиделось, будто бы посреди венчания Вергунов хватает Марию Дмитриевну за руку, и та кричит ему: «Увези меня, увези!» Толпа хохочет и тычет в него пальцем, а его Маша вместе с Николаем Борисовичем, тоже смеясь над ним, уносится прочь в санях, запряженных тройкой коней, исчезает в метели, и слышится лишь страшная, похожая скорее на какофонию, музыка, от которой бросает в дрожь. И грохот, и чей-то издевательский смех, громоподобный, страшный... Сани уносятся прочь, а он бежит за ними, увязая в сугробах, спотыкаясь, падая... «Не позовет ли он ее к смерти?» — мелькнуло, как ножом полоснуло, в голове при пробуждении. От этой мысли сделалось нестерпимо жутко. Федор Михайлович дрожащими руками зажег свечу и стал молиться, чтобы приснившийся кошмар не сбылся наяву.

Однако, вопреки опасениям, венчание прошло благополучно. Из церкви молодожены поехали на квартиру Марии Дмитриевны. Едва переступив порог, Федор Михайлович вдруг ощутил знакомое недомогание. Через несколько мгновений с пронзительным криком он повалился на пол, сраженный эпилептическим припадком. Мария Дмитриевна в ужасе отскочила в сторону, закрыв руками лицо.

— Господи! — прошептала она. — Этого еще не доставало! Что же со мной теперь будет?

Через несколько дней супруги отбыли в Семипалатинск. В дороге ослабевший после приступа Достоевский терзался внушенной странным поведением жены во время его болезни мыслью: «А любит ли она меня? Или же просто вышла замуж за офицера? А любит все-таки его?» Федор Михайлович старательно гнал от себя черные мысли, но они не отпускали его. Через несколько дней припадок повторился снова... Ничего хорошего такое начало семейной жизни не сулило...

* * *

За окном расцвело, и свеча, напоследок громко затрещав, погасла. Федор Михайлович вздрогнул, тяжело поднялся на ноги и, склонившись к покойнице, коснулся губами ее холодного лба.

— Прощай, Маша! — сказал он и с тоской поглядел за окно. Впереди был трудный, наполненный хлопотами о похоронах день. А следом — жизнь, полная тягостей и волнений, новая жизнь, жизнь без Маши...

**Победитель
(Александр Иванович
Барятинский)**

— Этот комод поставьте вон там, в углу, — князь небрежно указал мебельщикам в дальний угол своего временного и невольного пристанища.

— Эх, барин, и на что только такие траты? Целое состояние извели! Будто вы на этой гаупт, прости Господи, вахте всю оставшуюся жизнь провести собираетесь! — сердито выговаривал лакей Тихон, с явным неодобрением наблюдая суету обойщиков и мебельщиков меж тем, как хозяин его в сорочке и халате расположился в роскошном кресле и рассеянно листал французский роман.

— Чем черт не шутит! — ухмыльнулся он.

— Отца вашего в живых-то нет! Уж он-то бы такого безрассудства не попустил бы, царствие ему Небесное!

— Пожалуй, не попустил бы, — согласился Барятинский, отпив шампанского, ящик которого доставили еще утром. — Недурное... — оценил вкус. — Полно тебе ворчать, старина. Батюшка давно в Царствии Небесном, а я покамест здесь и, черт побери, если уж судьбе угодно было поместить меня в этих скучных стенах, то хочу провести отведенное для пребывания в них время весело! Если уж сидеть за решеткой, то не в темнице сырой, а в по первому разряду! С роскошью персидского шаха, как и подобает благородному человеку! Жизнь, Тихон, прелестная штука. Главное, овладеть искусством любую ситуацию обращать к своему удовольствию.

— И иметь на то миллионы, — усмехнулся лакей. — Только не прогневайтесь, барин, если всякую гауптвахту обставлять, как дворец, то никаких миллионов не хватит!

— А ты мои миллионы не считай, — весело откликнулся князь. — На то маменька есть, чтобы мне выговаривать! Лучше расплатись-ка с людьми и поди вон.

Старик глубоко вздохнул и, махнув рукой, исполнил повеление. Оставшись один, Александр с удовлетворением оглядел свое обиталище. За день унылая комната гауптвахты была обращена в царские покои: обита прекрасными обоями, обставлена самой дорогой мебелью...

— Недурно, недурно, — кивнул князь и, пригубив еще шампанского, шагнул к окну. Решетки — вот, единственное, что портило благородное убранство! И, конечно, вид... Кому только пришло в голову расположить гауптвахту в Воспитательном доме?! Да еще в полуподвале, ниже уровня двора — так, что из окна можно наблюдать лишь спешащие в разные стороны ноги. Точнее, большей частью — ножки... И эта последняя деталь в известной степени может примирять с унылой действительностью!

Основную часть прислуги Воспитательного дома составляли женщины. Мамки, няньки и прочие служанки. Не бог весть, какие крали, но случаются и среди их сестры премилые создания...

Сбросив халат, натянув форменные брюки и сапоги, Барятинский занял свой наблюдательный пункт у окна. Вот, прочавкали мимо чьи-то сапоги... Уныло проковыляли, потряхивая юбкой, отечные ноги неведомой матроны... А, вот, это уже лучше, уже совсем другое дело... «Ах, ножки, ножки...»

Бац! И метко пущенный маленький камушек из припасенной князем пригоршни полетел под ноги девице, запутался в ее подоле.

— Ай! — раздался звонки вскрик. — Да кто же это безобразит так?!

— Всего лишь несчастный узник, не видящий людей и вынужденный обращать на себя внимание таким беспардонным образом! — патетическим тоном отозвался Александр.

Ножки сделали несколько шагов в его сторону, согнулись в коленях, и в следующий миг князь уже мог созерцать миловидное личико нагнувшейся к его узилищу девушки.

— Я-то думала огольцы какие балуют, — покачала головой она. — А тут его благородие! Что ж вам, кроме как мальчишескими забавами, нечем развлечь себя?

— Какая ты суровая! — рассмеялся князь. — Но для мамки ты, сдаётся мне, слишком юна?

— Я швея, а не мамка, — ответила девушка. — Простыни подшиваю, белье штопаю.

— А как зовут милую белошвейку?

— Танею.

— Итак, она звалась Татьяной... А меня можешь звать просто Александром. Прости мое мальчишество, Таня, но как бы еще я привлек твое внимание? Конечно, можно развлекать себя книгами, но иногда очень хочется услышать живой голос, поговорить!

— Вы, должно быть, уже давно здесь? — сочувственно спросила девушка.

— О, да! Год и семь месяцев... — вздохнул Барятинский, въехавший в апартаменты Воспитательного дома лишь двумя днями раньше.

— Год и семь месяцев... — покачала головой Таня. — Что же вы такого натворили, что вас так наказали?

— Да ничего особенного, — на сей раз искренне пожал плечами князь. — Неудачно пошутил над полковым командиром.

— Чем же вы его рассердили?

— Видишь ли, Таня, наш новый командир оказался прескучнейшим солдафоном, не знающим и не понимающим ничего, кроме муштры. Ну, вот, мы и

решили проучить его... У него было день рождения, которое он отмечал здесь неподалеку, в своем имении. Собрался весь свет, бал, фейерверки — все, как полагается. А мы с приятелями нарядились в погребальные костюмы и поплыли мимо по реке на лодке с погребальными факелами. С берега нас окликнули, и мы как можно громче ответили, что хороним нашего командира!

— Дурные у вас шутки, ваше благородие, — покачала головой Таня.

— В самом деле? — Барятинский улыбнулся. — Может быть, ты и права... Но видела бы ты, какой переполох вызвало наше представление!

— Что же было дальше?

— Мы уплыли, бросили лодку, быстро переоделись в бальное и незамеченными примкнули к гостям. И, как и все, клеймили на чем свет скверных шутников!

— Как же вас поймали?

— Поймали лодочника... А эта продувная бестия, взяв с нас немалый куш за проделку, не посовестился назвать наши имена. Как только выйду, первым делом выдеру плеткой негодяя!

— А вы, ваше благородие, не иначе как зимой по реке плавали? — вдруг спросила девушка.

— Почему зимой? — не понял князь.

— Потому что год и семь месяцев назад была зима, — заметила белошвейка.

Александр от души расхохотался.

— Ай, да Таня! Да тебе бы не в швеи, а в сыщицы! В агентессы!

Миловидное личико исчезло.

— Эй! Постой! Куда ты? Я не хотел тебя обидеть!

— Где уж нам на господ обижаться, — прозвенел снаружи голос. — Только некогда мне с вами, барин, разговоры разговаривать. Мне работать надо!

— Да постой же! Поговорим еще! Хочешь, я тебе заплачу?

— Мамзелям вашим платите — они беседы вести мастерицы! — уже издали слышался ответ. И скрылись из виду изящные ножки... А жаль! Хоть и простая белошвейка, а, по всему виду, неглупа и собою недурна. Поболтать с нею еще немного было бы забавно.

Снова мелькали ноги в пыли и солнечном свете, снова летели камушки, и раздавались бабьи визги и брань, но достойной собеседницы больше не случилось. Может и права она, эта умненькая белошвейка — что за мальчишеское развлечение нашел он себе? И вся эта история с полковым командиром... Должно быть, она сочла его совершеннейшим вертопрахом без царя в голове. Хотя, пожалуй, и в этом права.

Покойный отец желал видеть сына образованным, серьезным и рачительным землевладельцем. Он настолько ответственно относился к воспитанию наследника, что уже в самый год рождения его составил целый трактат «Мысли о воспитании моего сына». До семи лет воспитание должно было быть главным образом физическим. Холодное купание, спортивные игры, верховая езда без седла... А, вот, затем... «Практическое по преимуществу образование должно сделать из него человека в том возрасте, когда другие мальчики играют комедии, муштруются во фрунте, занимаясь вообще одними глупостями. Я хочу, чтобы он был в состоянии управляться с топором, со стругом и плугом, чтобы он искусно точил, мог измерить всякого рода местность, умел бы плавать, бороться, носить тяжести, ездить верхом, стрелять; вообще, чтобы все эти упражнения были употреблены в дело для развития его нравственных и физических способностей... Я желаю, чтобы в его распоряжение предоставили несколько десятин земли, на которых он

бы производил агрономические опыты. Ему следует дать легкий и хороший плуг, также борону, маленькую сеяльную машину и т. д. Непременно нужно будет освоить его со всеми этими инструментами, научить его размежеванию полей, заставляя его анализировать состав почв, научить его отличить разные травы лугов, заставляя его вести по-русски списки о посевах и урожае его пашни».

Кроме того, мальчику надлежало постигнуть механику и химию, арифметику, рисование, латинский, греческий, славянский, французский и английский языки. Расписал отец и путешествия, которые должен был предпринять Александр для более глубокого постижения наук. Четыре года — по европейской России, два — по азиатской, год — в Голландии, два — в Англии, затем — все прочие страны.

«Внушение ему о правде и неправде следует делать с ранней поры. Ложь и неумеренность главные пороки детства. Необходимо быть неумолимым в искоренении лжи, потому что она унижает человека», — писал Барятинский-старший. Отец желал определить сына по финансовому ведомству, полагая, что с таким образованием «он будет лучше знать Россию, чем большинство управляющих министров, попавших на это место из придворных куртизанов, и руководимых корыстолюбивыми невеждами-секретарями». По завершении службы Александру надлежало «удалиться с честью в свои прекрасные владения, чтобы просвещать там своих крестьян, осчастливить их и ввести употребление искусств и ремесел, которые увеличат его состояние и вместе с тем доставят занятие массе праздных людей». Таким образом не только детство и всю жизнь предписал родитель возлюбленному наследнику. И словно предугадывая собственный ранний уход и невозможность проследить за воспитанием сына самостоятельно, обращался к

жене: «Я прошу, как милости, о стороны моей жены, не делать из него ни военного, ни придворного, ни дипломата. У нас и без того много героев, декорированных хвастунов, куртизанов. Россия больной гигант, долг людей, избранных по своему происхождению и богатству, действительно служить и поддерживать государство».

Мать честно стремилась выполнить завет мужа. Но... Александр предпочел упражнениям с плугом и бороной муштроваться во фрунте и заниматься глупостями. И, Боже мой, сколько же их было, этих славных веселых глупостей! Простите, незабвенный батюшка, но в дрожь бросает от мысли, что вместо них пришлось бы заниматься теперь севом да жатвой! Пусть даже вы тысячу раз были правы в ваших благородных мыслях и стремлениях. Не хватило наследнику благородства и серьезности вашей, видать в деда и бабку удался, от вольнодумства которых столько вы настрадались. Простите! Но что делать, если ты молод, и кровь кипит в жилах, и хочется — жить! Жить! Жить! Ненасытно, безрасчетно! Ведь жизнь — всего лишь одна! И такая короткая! Как миг ничтожный... Миг сей, однако, может быть разным. Он может долго оплывать унылой сальной свечой, а может вспыхнуть искристым фейерверком и погаснуть. Барятинский предпочитал жизнь-фейерверк. Со всеми даримыми ею радостями-глупостями, которые черпал он полной пригоршней.

На глупости молодого князя обыкновенно вдохновляли дамы. Однажды в Царском Селе он, 17-летний юнкер, настолько увлекся флиртом с красавицей-кокеткой, что не заметил наблюдающих за ним с балкона своего командира и еще дюжину зрителей из высшего общества. Когда юноша опамятовался, бравый генерал с балкона напутствовал его:

— Не смущайтесь, молодой человек! Продолжайте! В ваши годы у меня было уже четыре подруги!

Александр взял под козырек и... продолжил. Правда, это продолжение в конце концов стоило ему «вылета» из Гвардейской школы прапорщиков и Кавалергардского полка, к которому он был причислен по праву титула. Это, прочем, не слишком огорчило Александра. Князь продолжил службу в рядах любимых Государем кирасир, а школе «отомстил» шуткой. Нарядившись в одного из своих немецких дядюшек Келлеров, он явился в это Богом хранимое учреждение и произвел целую инспекцию. Никто не узнал в пожилом графе вчерашнего питомца. Даже родной брат Володя не узнал, когда директор призвал его к «дяде».

— Дурак, не узнаешь меня, что ли? — шепнул ему Александр, когда директор отвернулся. И лицо Володи вытянулось от испуга...

На другой день об этом очередном скоморошестве знала вся столица, но дальше кирасир не в меру шаловливого юношу не сослали.

Лишь только солнце стало скрываться в темных перинах надвигающегося вечера, как на пороге гауптвахты дружно зазвенели шпоры и сабли. Это собирались на поздний по английской традиции обед к заключенному князю друзья — кавалергарды и кирасиры. Из лучшей столичной ресторации был доставлен лучший обед и лучшее вино, карты же были принесены самим офицерами.

— Ну, за мое заключение! — поднял князь первый тост. — Ей-Богу, оно мне кажется великолепным!

— Тебе не достает здесь лишь дам, — заметил Мишель Лермонтов, с которым немало бедокурили они в Гвардейской школе.

— Погоди, Маешка, со временем будут и дамы, — лучезарно улыбнулся Барятинский. — Да уж, прости, не про твою честь.

— Что ж так? — нахмурился Мишель. — Или дамы только для сиятельных князей?

— О нет, дамы — для всех, чей слог скромнее объятий!

Несколько кавалергардов хохотнули, поняв намек Александра. Уж очень любил Маешка описывать веселые похождения друзей в своих виршах. Один недозволительный ни в каком пристойном обществе «Гошпиталь» чего стоил! Срам да и только... А в сраме этом главным героем Барятинский выведен оказался. Само собой читали, смеялись. Посмеялся бы, пожалуй, и сам князь, когда бы не про него срамная поэма лихо «сгваздана» была. Да оно бы и черт с ним... Но дошла она до начальства и, что всего хуже, до брата Володи, и неловко было перед ним. Слава тебе Господи, маменька жила в имении, вдалеке от столичного света, и до нее сих виршей о похождениях сына не доходило. А то ведь и удар мог с родительницей сделаться.

Странный был человек Лермонтов. Поэт, несомненно, даровитый, и удальства примерного. Во всех проказах — в первых рядах! Это с ним, с Маешкой, Барятинский смеху ради утопил пушку, которую Император подарил своему любимому брату Великому князю Михаилу Александровичу. Мишель и придумал привязать наградное оружие к рыбацким неводам.

Эта всегдашняя готовность на любую шалость Александру в Лермонтове нравилась. Но было и то, что отталкивало от него. Не нескромные стихи, пусть даже задевающие самого князя — в конце концов, это тоже шалость, и смеясь над выходками в отношении своих командиров, было бы нечестно гневаться на высмеивание собственной персоны. Беда заключалась в характере Маешки. Выросший без родительской ласки, скрытный, ершистый, он всегда оставался «вещью в себе». Нельзя было понять, что на уме у него, что в сердце. Это втуне хранимое пряталось за бесконечные

шпильки, раздаваемые и врагам, и друзьям, быстро обращающихся во врагов. Что-то болезненное было в этом юноше. Какая-то неисцелимая оскорбленность, вымещавшаяся на всех. А к самому себе смутно угадывал Барятинский и зависть приятеля. Конечно, ему было за что завидовать: знатен, богат, а к тому еще красавец, любимец женщин... А Мишель, несмотря на весь свой талант, вниманием последних обласкан не был. Да и то сказать... С таким-то характером... Дамы любят кавалеров веселых, легких, щедрых. Дамам нужно обаяние, шарм... Одними виршами их не взять.

Мрачно смотрел Маешка на Барятинского, и тот решил сменить болезненную тему.

— Полно, брат! Сегодня у нас мальчишник, и мы можем быть свободны в наших беседах и манерах!

Откуда-то взялась гитара, зазвенели струны, тягучий баритон прапорщика Берга завел жгучий цыганский романс... Вино и знатная закуска быстро сняли возникшее было напряжение, а, когда с ужином было покончено, на столе явились карты. В них Барятинскому неизменно везло, поэтому играл он легко и с удовольствием — так же как и жил. Мишель на сей раз уклонился от игры.

— Помилуй Бог, душа моя, что вдруг ты сторонись наших забав? — осведомился Берг. — Сыграем хотя по маленькой! Если ты на мели, так я, пожалуй, ссужу тебя, да и Саша также. Верно, Барятинский?

Князь широко развел руками:

— Мой кошелек всегда в распоряжении моих друзей!

При этих словах лицо Лермонтова подернулось, и Александр подумал, что их с Бергом широкий жест был неуместен, ибо ненароком задел болезненное самолюбие товарища.

— Благодарю вас, господа, — ответил Маешка. — Мой кошелек вполне достаточен, и я не играю совсем по иной причине.

— Уж не обет ли ты дал? — прищурился догадливый Трубецкой.

— Что-то вроде этого, — отозвался Лермонтов. — Я решил таким образом закалять свою волю.

— Похвально! Может быть, и от вина откажешься?

— Может быть, не все сразу, — улыбнулся Мишель впервые за вечер.

— Хочешь уподобится древним аскетам? — пошутил Барятинский.

— А ты полагаешь, что в наше время такие подвиги уже невозможны?

— Напротив, я считаю, что любые подвиги нам по силам. Было бы настоящее желание, воля к ним.

— Так уж и любые! — воскликнул Трубецкой. — Что ты скажешь, князь, о столпничестве? В древности бедолаги годами стояли на столбе, грязные, без одежды, в насекомых, птицы на них гнезда вили! Это тоже возможно?

— Разумеется, — пожал плечами Александр.

— Сказал человек, который даже на гауптвахте не пожелал находиться, как простой смертный, но только в восточной роскоши! — усмехнулся Лермонтов.

— Если бы я уверовал, что для моего вечного блаженства надо стать обиталищем птиц и насекомых, то смог бы себя понудить и к такой муке. Человек, Маешка, единственная тварь, которая при всей своей порочности, способна любую муку вытерпеть и к любому лишению себя принудить.

— Это ты, брат, хватил!

— Разве? Не ты ли теперь говорил о закаливании воли?

— Я говорил совсем об ином, — пожал плечами Мишель. — О преодолении страстей и страданий

душевных. Над ними человек властен, если дух его достаточно закален, а не расслаблен. Но с физическими муками мы бороться не способны. Мы слишком изнежены для этого.

— Ты недооцениваешь нас, Маешка. Ей-Богу, недооцениваешь! Человек способен любую боль вынести, если повелит себе!

— Довольно, Саша, — Лермонтов поморщился. — Какую боль вынес ты сам, чтобы говорить об этом так уверенно? Ты, барин и сибарит, метишь в столпники. Смешно!

— В столпники я, конечно, не мечу, для этого уверовать надо в спасительность такого безумного подвига. Но то, что человек властен над болью, я тебе, малOVERу, докажу практически, — решительно сказал Барятинский, поднимаясь из-за стола. Прежде чем приятели успели что-либо понять, он схватил за раскаленный колпак чадящую на столе лампу и поднял ее.

— Сашка, дурак! Что ты делаешь?! — в ужасе вскричал Трубецкой.

Александр не ответил, а, стиснув зубы, обошел вокруг комнаты и лишь после этого водворил лампу на место. Ладонь его обливалась кровью и была сожжена почти до кости. Князь гордо улыбнулся и обвел притихших в изумлении присутствующих торжествующим взглядом:

— Ну, что, Маешка? Слаба воля человеческая? То-то же! Надо было пари с тобой заключить...

— Ты сумасшедший, князь, — покачал головой Лермонтов. — А если пропадет теперь рука?

— Черт побери! — метнулся к Барятинскому Берг. — Руку-то, руку спасти надо! Лекаря!

— Лекаря! — немедленно повторила еще дюжина голосов.

В дверях показались испуганные лица надзирателя и Тихона.

— Быстро за лекарем! — крикнул им Трубецкой. — Александр Иванович нечаянно схватил раскаленную кочергу и сильно обжег руку!

— Беда-то какая! — простонал лакей и бросился исполнять приказание.

На другой день Барятинский с замотанной бинтами рукой сидел на полу у окна, приглядываясь к спешащим мимо ногам и ножкам в смутной надежде узнать ножки вчерашней белошвейки. Мысль продолжить разговор с нею казалась ему забавной. Рука отчаянно болела, и князь послал Тихона за водкой — шампанское годится для пущей веселости, но для лечения физических и душевных ран в высшей степени бесполезно...

— Ваше сиятельство, к вам посетительница, — доложил надзиратель.

— Одно мгновение! — Александр вскочил и проворно облачился в мундир. — Зови!

Через минуту порог его «узилища» переступила изящная дама в темно-синем дорожном платье и шляпке с вуалью, скрывавшей лицо.

Князь церемонно поклонился незнакомке:

— С кем имею честь, сударыня?

Вуаль вспорхнула вверх, и Барятинский с чувством неизъяснимого восторга узнал прекрасные черты:

— Ваше высочество! Вы! Здесь! Могу ли я в это поверить? Или это мой сон, сладостный бред?..

— Что с вашей рукой? — тревожно спросила Ольга Николаевна, чуть коснувшись перстами повязки.

— Ничего опасного, — отозвался Александр, ловко перехватив нежную ручку и с трепетом коснувшись губами кончиков ароматных пальцев. — Ночью здесь был небольшой пожар, я тушил печь, и у меня вышло не совсем ловко...

— Пожар?! Здесь?! — тонкое, прозрачное личико Великой княжны побелело от ужаса, а небесные глаза расширились. — Вы же могли погибнуть!

Князю показалось, что его нежданная посетительница вот-вот лишится чувств, и, бережно обняв ее за талию, он заботливо усадил ее в кресло:

— Для меня невыразимое блаженство видеть ваше волнение обо мне. Оно свидетельствует, что я вам дорог! И что такое все опасности мира в сравнении с этим счастьем, которое вы дарите мне одним лишь вашим участливым взглядом!

Щеки Ольги Николаевны порозовели, и она смущенно отвела глаза. Сердце Барятинского часто забилося. Он, имевший дурную славу повесы, искренне трепетал подле императорской дочери. И не потому, что была она дочерью Государя, но потому, что, действительно, трудно было представить создание более нежное, прекрасное, кроткое. Ольга Николаевна была второй дочерью Императора и его любимицей. Она была превосходно образована, обладала чарующим голосом, замечательно пела, играла на фортепиано и органе, занималась живописью и ваянием, к которому обнаружила немалый талант. Барятинскому случилось однажды танцевать с Великой княжной на одном из балов, и это положило начало их тайному роману. Разумеется, отношения не переходили грани дозволенного. Нежные письма, краткие встречи, высокие слова и говорящие более слов взгляды и вздохи — этим исчерпывался странный роман, в котором царская дочь предпочитала не прислушиваться к сплетням о своем возлюбленном, а молодой кирасир — забывать о том, кто отец его очаровательницы.

Александр опустился на колени перед Ольгой, приник губами к ее руке:

— Как вы решились прийти сюда? Ведь если ваш отец узнает... Что будет с вами тогда?

— Это неважно. Отец любит меня и простит. Но его гнев падет на вас, и этого я не могу допустить. Поэтому я была чрезвычайно осторожна. Никто не знает, что я здесь, кроме Мари. А она не выдаст меня.

— Но зачем вы так рисковали?

— Разве вы не понимаете? Я не могла не увидеть вас. Я слишком тревожилась о вас.

— И напрасно! Как видите, со мной все благополучно!

— Не все... — вздохнула великая княжна, и ее рука робко коснулась золотистых волос склонившейся перед ней головы. — Вы ранены... Заключены в тюрьму...

— Это не тюрьма...

— И все же — заключение... А, самое главное, говорят, что за ваши шалости вас могут отправить на Кавказ! И зачем, зачем только вам постоянно нужно сердить ваше начальство!

— Таков уж я! — рассмеялся Александр. — Мои шутки безобидны, они никому не причиняют зла!

— Похороны Гринвальда — по-вашему безобидная шалость?

— Но ведь он же живой!

— Вы, действительно, шут! — покачала головой Ольга, и в ее голосе не было раздражения, но лишь констатация факта, с которым ее любящая душа давно примирилась.

— Шут, мот, повеса... — Барятинский поднял озорные глаза на Великую княжну. — Кажется, я перечислил все свои добродетели? Вы правы, ваше высочество, такой как я, недостойн даже колени преклонять перед вами. Ведь вы ангел чистой красоты...

Глаза девушки смотрели откровенно и были исполнены нежности. Князю хотелось обнять ее, покрыть поцелуями это дивное лицо, но... Все же он не настолько забылся, чтобы не вспоминать, кто перед

ним. А воля дана человеку не только, чтобы по пьяной дури калечить собственные руки.

— Мне пора идти... Прошу вас, друг мой, будьте хоть немного осторожнее! Помните, пожалуйста, что вы мне очень дороги!

Тонкая ручка, согретая прощальным поцелуем, выскользнула из ладони князя, точеная фигурка устремилась к двери. На пороге Ольга почти столкнулась с Тихоном, проводившим ее низким поклоном. Старый слуга был единственным человеком, знавшим об этой связи своего барина, а потому приметливым глазом узнал Великую княжну даже под вуалью. Притворив дверь и поставив на стол графин с водкой, Тихон покачал головой:

— Не знаю, барин, как ваши проказы, но вот за этот лямур нам точно Кавказа не миновать. Виданное ли дело, императорской дочке голову морочить!

— Я не морочу ей голову, — серьезно ответил князь. — Наши отношения целомудренны и чисты. И мы оба знаем, что у них нет будущего. Самое странное, что она — единственная женщина, с которой я, пожалуй, готов бы был идти к алтарю...

— Царская дочка! Еще бы!

— Дурак ты, Тихон... Я пошел бы с ней к алтарю, будь она хоть... простой белошвейкой... Но, к сожалению, она царская дочь! — Александр с досадой опрокинул стопку водки. — И учитывая сию немаловажную подробность, думаю, что Кавказ для нас — меньшее из зол. Ибо еще один такой визит, и моя воля может дать слабину, и тогда я наломаю таких дров, что и плахи будет мало.

— Сохрани Господи! — перекрестился старик.

— И я о том же, — согласился князь, и вторая рюмка последовала за первой.

Сражаясь против персов и турок и одерживая в этих кампаниях одну блистательную победу за другой, Россия упустила из виду угрозу, вызревавшую уже в самих владениях ее, угрозу более опасную, нежели самоуверенный персидский принц Аббас-Мирза, вечно стремившийся восстановить могущество своей страны и победить русских и вечно получавший от них по сусалам. Мюридизм, подобно эпидемии, проник на Кавказ и стал овладевать его полудикими племенами. Что были по сути до той поры эти племена? Шайки разбойников, для которых набеги являлись промыслом, образом жизни. Мюридизм дал разбойникам идеологию, придал их злодействам смысл религиозной войны не во имя своей наживы, но во имя Аллаха. Идеальный разбойник стократ опаснее и злее обычного. Обычного можно просто-напросто купить, но с идейным все гораздо сложнее... Барятинский хорошо помнил, как женщины сбрасывались с утесов вместе с детьми, а мужчины заживо сгорали, запершись в саклях — лишь бы не предаться в руки неверных, взявших штурмом их аул. Этот исступленный фанатизм не ведал жалости ни к себе, ни к другим.

Худо было и то, что идеология вооружала горских разбойников не только духовной мотивацией своей борьбы, но придавала этой борьбе системность. Если раньше русским приходилось иметь дело с разрозненными бандами, то теперь им противостояло практически государство. Весьма своеобразное, но государство. Имамат, созданный и вдохновляемый одним человеком, по-своему, несомненно, гениальным. Этого человека звали Шамилем. Никогда еще народы Кавказа не имели такого вождя. Это был не просто

удачливый атаман разбойной шайки, но политик, государственный деятель, реформатор, честолюбивый и умный, знающий толк не только в войне, но и мирном устроении жизни. Он ввел в своих владениях единый закон, обязательный для всех, и, что удивительно, разбойники подчинялись ему. Если Магомет был для правоверных первым после Аллаха, то Шамиль — первым после Магомета. Посланником Пророка. Человеком, стоящим неизмеримо выше любого смертного. Полубогом.

Мюрид — в переводе означает «послушник». Человек, избирающий таррикат, путь к истине, и для следования оному всецело предающий свою волю во власть духовному наставнику — мюршиду. Первым кавказским мюршидом был алим Магомед Ярагский. Но по-настоящему знамя мюридизма поднял имам Гази-Мухаммад. Он обратил в своих последователей жителей Чечни и Дагестана, однако, погиб в бою, когда русские взяли аул Гимры в 1832 году. Рядом с Гази сражался в той кровопролитной битве его ученик, Шамиль... Судьбе было угодно, чтобы среди немногих уцелевших в тот день мюридов оказался и этот человек. Раненый волк, он ушел тогда от погони, зализал раны и вскоре сделался новым имамом Кавказа. Власть его была безгранична. Но, будучи человеком мудрым, он никогда не использовал ее для удовлетворения своей похоти — таррикат требовал полного нестяжательства, отвержения от страстей. Шамиль был жесток, как требовал его Закон, его народ и его время, но его жестокость никогда не была жестокостью ради жестокости. Дикость, зверство — эти пороки своего племени были чужды имаму. Хитрый восточный деспот знал, когда и к кому нужно быть жестоким, а для кого приберечь льстивое слово и богатый дар. Этому-то кавказскому гению и удалось взбунтовать Чечню, Дагестан и другие сопредельные территории. Бунт сей

именовался Газаватом. Священной войной мусульман против гяуров...

Не сразу поняло русское командование, с какой опасной угрозой столкнулось. Но одно поражение за другим раскрывает глаза и слепому...

В 1840 году Чечня отложилась от России, и к ней стали примыкать сопредельные села. Чтобы наказать непокорных, в Малую Чечню выдвинулся отряд генерала Галафеева и был изрублен горцами на знаменитой, благодаря лермонтовской поэме, реке Валерик. В 42-м году в Ичкерии потерпела поражение и понесла большие потери экспедиция генерала Граббе. Годом позже Шамиль захватил Аварию, Гергебиль, Мехтулинское ханство... Под аварским селом Унцукулем мюриды истребили пришедший на выручку аварцам русский отряд. Имаму удалось создать из мюридов настоящую регулярную армию, разделенную на сотни и десятки. Более того, у этой армии появилась артиллерия. Пушки были сперва отбиты у русских войск (неслыханное дело!), но вскоре сами горцы научились отливать и орудия, и ядра. Шамиль устроил пороховые заводы в Ведено, Унцукуле и Гунибе. Отныне не отряды полудиких варваров противостояли русским войскам, а армия во главе с человеком, наделенным огромным талантом стратега и животным чутьем.

Александр прибыл на Кавказ три года спустя после гибели Гази-Мухаммада. В том же году в отчаянной схватке с горцами он был тяжело ранен и принужден на некоторое время покинуть театр военных действий и предпринять лечение за границей. Так был отчасти исполнен завет отца относительно путешествий... Во время странствований по Европе князь уделял время не столько прекрасным дамам, как бывало в дни петербургской озорной младости, сколько книгам. Вместе с безвременно унесенным чахоткой Иосифом Вельегорским он собирал библиотеку редких книг с

намерением в дальнейшем завещать ее государству в целях просвещения. Книг этих в короткий срок, имея неограниченные средства, Барятинской собрал тысячи томов — и среди них совершенно уникальные, которые лишь такой библиофил, как Иосиф мог разыскать.

Но, вот, антракт завершился, и князь возвратился на Кавказ, где мюридизм разгорался, словно пал по сухой листве...

— Я не хочу, чтобы ты шел в этот поход... — полусонный голос прервал размышления Барятинского. Чуть улыбнувшись, он ласково поцеловал пробудившуюся подругу, дарившую ему свою нежность в последнюю ночь перед экспедицией, исход которой мог быть самым скверным.

— Я офицер, моя радость, и мой долг сражаться. Неужели ты хочешь, чтобы ради тебя я стал дезертиром?

— Я хочу, чтобы ты остался жив, — темные волосы рассыпались по перламутровым плечам, и князь, не давая красавице продолжить грустных речей, коснулся пальцем ее губ.

— Не плачь, не плачь, мое дитя,
Не стоит он безумной муки.
Верь, он ласкал тебя шутя.
Верь, он любил тебя от скуки!
И мало ль в Грузии у нас
Прекрасных юношей найдется?
Быстрее огонь их черных глаз,
И черный ус их лучше вьется!
Из дальней, чуждой стороны
Он к нам заброшен был судьбою;
Он ищет славы и войны, —
И что ж он мог найти с тобою?
Тебя он золотом дарил,

Клялся, что вечно не изменит,
Он ласки дорого ценил —
Но слез твоих он не оценит!

— Разве ты любишь меня шутя и от скуки? — прекрасные черные глаза влажно блестели, и Александр залюбовался ими.

— Нет, царица, тебя я люблю серьезно! — отозвался он, целуя подругу. — Эти стихи написал мой покойный друг... Я лишь хотел, чтобы наша разлука меньше печалила тебя.

— Прочти еще что-нибудь...

И князь читал. Про царицу Тамару, про грузинку в гареме... Миши Лермонтова уже не было на этом прекрасном свете. Такая глупая и нелепая смерть! Не в бою от удара чеченской сабли, а от собственного вздорного характера, с которым наконец один из приятелей не пожелал мириться. Можно, в сущности, удивляться только тому, что этот исход не наступил раньше... Нельзя ведь постоянно упрямо задевать чью-то честь и иметь бессрочный кредит на подобные оскорбления по случаю собственного таланта... А все-таки жаль Маешку! И таланта его жаль! И забавно было бы доспорить с ним теперь тот давнишний спор о воле над физической мукой. Что знали они тогда о муках, два гвардии повесы? Оказавшись на войне, оба узнали о них куда как больше...

Не может, говоришь, Маешка, человек над физическим страданием властвовать? Ну, а сам ты? Когда на Валерике несся в самое пекло боя — не властвовал ли над собой? Что такое война? Возможность ежечасно быть убитым, искалеченным, плененным. Что есть плен у дикарей? Погребение заживо... Ледяной колодец, в котором ты будешь

лежать, не видя света, в собственных испражнениях, заживо пожираемый червями, пока не сдохнешь в нестерпимых муках и безумии... Но есть же сила, которая заставляет офицеров и солдат, несмотря на это, служить на Кавказе, биться с горцами. И терпеть, терпеть... Лишения. Адскую боль получаемых ран. Это ли не триумф человеческой воли, Миша?

— Я люблю тебя! Ты царь мой! Бог мой! — жаркий шепот и поцелуи рассеяли воспоминания о Лермонтове и любые другие мысли. В сущности, совершеннейшее кощунство думать о чем-то стороннем рядом с такой красавицей, да еще накануне похода!

Поход, в который утром 31 мая выступили русские войска, имел своей целью вотчину Шамиля — аул Дарго. Разочаровавшись в прежних командующих, Император призвал усмирять Кавказ Новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова. Это назначение немного удивило Бярятинского. С семьей Воронцовых связывали его давние узы. Его отец некогда служил в Лондоне под началом Семена Воронцова, русского посла в Англии. С Семеном Романовичем, рано овдовевшим, жил и его сын. Граф воспитывал маленького Мишу в лучших традициях английского образования, но при том — совершенно русским и практически знающим многие ремесла. В этом подходы обоих отцов были сходственны. Семен Романович опасался, что в России может случиться революция, подобная французской. И на такой случай полагал необходимым, чтобы его сын всегда мог обеспечить себя своим трудом.

В отличие от Бярятинского Воронцов всецело оправдал и даже превзошел надежды своего родителя. Когда 17-летний Миша прибыл в Россию, дабы служить Отечеству, то оказалось, что он, выросший в Лондоне, лучше владеет родным языком, чем многие его сверстники, не покидавшие дома. Знал он и еще робкую в ту пору русскую литературу, и историю. В обществе

только и говорили о юном графе и его образцовых манерах английского джентльмена. И как же было потрясено общество, когда этот юноша пренебрег его пустыми забавами и, оставив гвардию, по собственной воле отправился на Кавказ! И если бы только это! Вступая в армию, граф, носивший статский чин камергера, должен был получить эквивалентный ему чин генерала. До Воронцова все высокородные юнцы так и поступали, ничуть не смущаясь несоответствием. Но Михаил смутился. И отказался от генеральства, попросив зачислить себя в полк простым поручиком. Это был первый случай в русской армии. Общество ахнуло.

В дальнейшем граф доблестно сражался на Кавказе, в кампанию 1812-го года и в Заграничном походе, стяжав себе заслуженную славу одного из лучших русских полководцев. Во время командования русским экспедиционным корпусом во Франции Воронцов имел репутацию чуть ли не вольнодумца, ибо занят был просвещением своих солдат и почти полностью упразднил телесные наказания. Новым же потрясением для общества стало то, что, покидая со своим корпусом Францию, Михаил Семенович выплатил все долги своих офицеров местному населению, продав для этого собственное имение, завещанное ему теткой, знаменитой княгиней Дашковой.

По возвращении в Россию карьера Воронцова была связана преимущественно с административной деятельностью, которую пришлось ему прервать лишь единожды, дабы возглавить русские войска, штурмовавшие турецкую крепость Варну. Став генерал-губернатором Новороссии и Бессарабии, он буквально преобразил это дотоле полудикое пространство. Побывав в тех краях по пути из Европы, Александр мог убедиться в этом собственными глазами.

Для скорейшего развития тонкорунного овцеводства Воронцов за свой счет выписал из Испании и Саксонии овец соответствующей породы, и вскоре высокосортная тонкорунная шерсть стала теснить в российском экспорте грубую шерсть. К этому добавились коневодство, шелководство, виноградарство и садоводство. Михаил Семенович приобретал в европейских странах и Армении виноградные лозы и черенки фруктовых деревьев лучших сортов, а затем размножал их в своих питомниках и раздавал бесплатно всем желающим. Леса и сады, насаждаемые им, исчислялись миллионами деревьев, под которые граф закупал также и землю. Примеру последовали богатые купцы и землевладельцы. При Воронцове Россия стала ведущим экспортером льняного семени в Англию. В Новороссии и Бессарабии появились шерстомойные, салотопенные, мукомольные и винокуренные предприятия. Развивалась текстильная промышленность. Появился завод искусственных минеральных вод и завод на паях для рафинирования американского сахарного песка. На собственные средства генерал-губернатор организовал широкую разведку и разработку угольных месторождений, и вскоре добыча угля стала даже опережать потребность в нем, что дало Новороссии независимость от привозного английского. Развил граф и разведку месторождений железной руды, благодаря чему начала развиваться металлургия. На верфях в Николаеве, Одессе и Херсоне стали строиться пароходы. Первый русский пароход был построен еще раньше в имении Воронцова и спущен им на речные воды. Параллельно с гражданскими строились и военные корабли. Для кораблей возводились порты, места для которых избирал сам Михаил Семенович. Строились дороги, благодаря которым в Крым

потянулись состоятельные люди, возводившие в нем летние резиденции.

Отстраивались один за другим города — Одесса, Алупка, Ялта... Трудившиеся на строительстве крестьяне получали за свой труд плату, лучшие работники — вольную для себя и своих семей. Граф был убежденным противником крепостного права и много радел о просвещении. Им было открыто большое число учебных заведений, музеев и библиотек, поощрялись археологические раскопки в Крыму и исследования старинных рукописей и других архивных материалов. Граф издавал газеты и на свой счет содержал Одесскую оперу...

«Нет другого человека в России, который бы так был способен и так умел творить, созидать, устраивать», — говорил о Воронцове Император.

И, вот, теперь этому человеку, совершившему чудо в Новороссии, было поручено повторить его на Кавказе. Оставаясь генерал-губернатором в своих прежних владениях, Михаил Семенович сделался и кавказским наместником. Никто во всей истории России не объединял доселе под своей рукой таких громадных территорий. И закрадывался тревожный вопрос: а не много ли возложил Государь на одного человека? К тому же ему шел 64-й год! Тридцатилетнему Бярятинскому граф представлялся совершенным стариком. Куда в этикие лета по горам за «Шамилькой» гоняться?! И куда сразу переть на него, не осмотревшись даже толком? На Дарго! На самую цитадель имама! Впрочем, тут выбора у нового наместника не было. Поход был намечен еще до него, и сам Государь требовал удара по шамилеву лежбищу...

Бярятинский в самый канун похода получил под свое начало 1-й батальон Егерей. Вместе с ними и другими частями экспедиционного отряда ожидал он на площади крепости Внезапной выступления в путь.

Ожидал сумрачно, размышляя о том, как собирается 63-летний старик предводительствовать войско в тяжелых горных условиях.

Но, вот, раздалась команда, и на плацу в сопровождении адъютанта появился новый наместник. Моложавый, подтянутый, свободно и легко держащийся в седле, он приветствовал своих солдат короткой, энергичной речью. Любопытно, после 30 лет статской деятельности не растерял ли этот человек своих воинских талантов? В 1812-м Жуковский посвятил ему больше строк в своем «Певце во стане русских воинов», нежели любому иному полководцу. Но — 30 лет! Многие изменилось за это время. И в армии, и на Кавказе. И... Но почему-то в этот раз не получилось назвать этого седовласого красавца-генерала стариком.

Поход обещал быть многотрудным с самого начала. Стоило подняться в горы, как резко похолодало, и повалил мокрый снег. Горцы следовали партизанской тактике, не вступая в открытые бои. На пути русских войск были сооружены завалы из срубленных, и уложенных поперек дороги вековых чинар. Завалы служили защитой против пуль наступающих, в то же время, давая горцам возможность стрелять из-за них в противника почти в упор. Когда русские солдаты подходили к завалам вплотную, горцы отступали в следующий завал, после чего ситуация повторялась. Завалы один за другим были взяты штурмом, однако, с немалыми потерями...

Дорога в Дарго, через дремучий ичкерийский лес, была поистине адской: то спускалась она с горы вниз, то шла уступами в аршин и более вышины по камням. На большом протяжении она была окаймлена с одного бока нешироким, но весьма глубоким оврагом, до дна которого брошенный туда камень долетал спустя лишь некоторое время, а с другой — отвесною почти стеною гор, покрытых густыми, вековыми чинарами. Сама

дорога местами была не шире двух аршин и годилась только для езды верхом, но не для обоза.

Шаг за шагом прокладывали себе русские путь под градом неприятельских пуль. Иногда по ночам горцы совершали вылазки против экспедиционного отряда. Во время одного из нападений Барятинский бросился в палатку наместника:

— Ваше сиятельство! Чеченцы атакуют нас!

Михаил Семенович тотчас легко поднялся со своей узкой походной кровати, взглянул на князя ясными, спокойными глазами:

— Так что же? Будем защищаться, — последовал невозмутимый ответ, и следом блеснула обнаженная шашка в холеных, но не утративших мужественной силы руках.

В ту ночь граф лично сражался с неприятелем, командуя двумя ротами, как простой офицер. Как и много лет назад в знаменитой битве под Краоном, его платье было прострелено, рядом с ним пал один из его адъютантов, еще трое были ранены, но сам он остался невредим. С той поры солдаты говорили, что их генерал заговоренный.

— Ваше сиятельство, дозволено ли мне будет задать вам один вопрос? — спросил Барятинский после боя.

На мягких губах графа заиграла тонкая приветливая улыбка:

— Милый Александр Иванович, вы вольны задавать любые вопросы. Вы нынче и ваши егеря — отменные герои! — в красивом, породистом лице с большими, выразительными глазами не было ни тени усталости, точно бы не было позади ночного боя и целого дня продирания сквозь ичкерийскую чащобу под ливнем пуль. Невероятная бодрость 63-летнего генерала изумляла.

— Так что же вы хотели узнать?

— Я хотел спросить, к чему вы подвергаете себя такому ненужному риску? Ведь вы — командующий, наместник! Что станет, если вас убьют или ранят? К чему вы ищете опасность для себя, подвергая ей всех нас? — спросил Бярятинский почти с досадой.

Михаил Семенович несколько мгновений помолчал, а затем ответил своим неизменно ровным, мягким тоном:

— Вы ошибаетесь, если полагаете, что я ищу для себя опасности. Я не менее вас люблю жизнь. Вдобавок подобные поиски несвойственны ни моим летам, ни занимаемой мной должности, и претят мне, как христианину. Но, поймите и иное: солдатам и офицерам неизменно приятно и ободрительно, когда главный начальник не слишком далеко от них находится. Когда разделяет их тяготы и опасности. Вы превосходный офицер и поймете это со временем.

— Неужели для удовольствия солдат командующий должен беспрестанно рисковать собой?

— Солдат — первый, о ком должен думать командующий. Дело не в удовольствии. Дело в духе. Наши солдаты уже месяц терпят тяжелые лишения и горькие потери. Это угнетает их. А угнетенный дух солдат приводит к поражениям. Посему дух этот нужно поднимать. А пример командующего в этом отношении — первейшее средство. А риск... Мы все в Божией воле. Разве не могу я погибнуть от случайной пули, например?

— Сохрани Господь от такого несчастья!

— Передайте вашим егерям мою благодарность, князь. Будьте уверены, они не будут забыты наградами.

Александр, отдав честь, удалился. После месячного похода он уже даже в мыслях не мог назвать 63-летнего полководца стариком. Дни напролет граф ехал в седле, не ведая усталости, ободряя подчиненных участливым словом или веселой шуткой, внушая

уверенность собственной бодростью. Он был прекрасен, этот генерал-джентльмен... Могущественнейший и богатейших из вельмож, живший в роскоши дворцов, ныне он спокойно спал на голой земле, грыз солдатские сухари и соблюдал тот уравнивающий начальника и подчиненного суворовский аскетизм, обращающий войско в братство.

Михаил Семенович был прав: его пример немало вдохновил солдат, и к непреступным стенам Дарго пришли они в настроении самом боевом. Крепость была взята за сутки, но... оказалась опустевшей. Шамиль со своими людьми успел перейти за Аксай, и оттуда, с другого берега, немедленно начался обстрел Дарго. На совещании у наместника было решено крепость сжечь дотла, а самим, получив идущие из Андии запасы провианта, уходить на Герзель-аул, согласно намеченному самим Императором плану возможного отступления.

Но тут ждал русские войска большой удар. Транспорт, шедший из Андии, а также посланный ему навстречу отряд генерала Клюгенау были буквально истреблены горцами. Дорога в Дарго, сквозь непроницаемую для солнца чащу, через вновь построенные завалы обратилась в настоящую бойню. Изувеченными телами убитых русских чеченцы обкладывали завалы, развешивали их на деревьях для устрашения. Юнкер Баумгартен закрыл своим телом пушку и был изрублен на куски, спасая тем самым орудейную прислугу, которой приказал бежать. Погиб, пытаясь поднять за собой своих солдат, славный генерал Пассек, в одиночку вскочивший на завал с обнаженной шашкой. Пал генерал Викторов... 450 солдат, 15 офицеров... Таковы были потери, понесенные в лесу мертвецов «сухарной экспедицией».

Выслушав доклад Клюгенау с непроницаемым лицом, Михаил Семенович коротко распорядился:

— Оставшийся провиант раздать солдатам. Все белье, которое есть у господ офицеров, использовать для перевязок раненых. Послать срочно гонцов к генералу Фрейтагу, чтобы спешил нам навстречу со свежими войсками. Аул сжечь. Все вещи — слышите ли, господа, все! — сжечь. Наш обоз должен везти только раненых, а не всякий хлам. Утром выступаем на Герзель-аул!

От последнего распоряжения Барятинский покраснел. Ни у кого из офицеров не было с собой столько «хлама», как у него и принца Гессенского. Одного столового серебра изрядно выходило... И зачем повез с собой все эти сундуки? Нашел место барствовать! Ичкерийский лес! Еще высокомерно помышлял, что для «старика», привыкшему к мирной и роскошной губернаторской жизни, поход непосилен окажется. Но «старик» его тягот словно не замечал. «Старик» — что казак. Собраться — только подпоясаться. Ни золота, ни серебра он с собой не взял. А нехитрый скарб, который был, сундучишко скромный, немедля сам бросил в огонь, подавая пример...

Александр вспомнил, что среди прочего о Воронцове рассказывали, как, будучи ранен при Бородино и доставлен в свой московский дом, он распорядился сбросить с подвод все книги и имущество, вывозимые челядью в деревню, и предоставить их под раненых солдат и офицеров. Всех, кого смог, граф вывез в свое владимирское имение Андреевское. Десятки увечных воинов разместились в его доме и домах его крестьян, жили и лечились за его счет. Солдаты, уходя в свои деревни, получали одежду и деньги на первый случай. В этом был весь граф Михаил Семенович. Ныне его сорочки лекаря спешно рвали на бинты для раненых... А он обходил этих несчастных, согревая ласковым словом — высокий, статный, не выдающий тревоги, даже в этом

капкане излучающий уверенность в благополучном исходе.

Дохрамав до своего шатра, Барятинский, контуженный в ногу, принялся за грустное дело уничтожения своего более чем солидного багажа. Черт бы взял всю эту грудку серебра! Как, спрашивается, сжечь его, чтобы не досталось врагу?!

— Принц, вы как там, справляетесь со сжиганием ваших драгоценностей? — окликнул Александр принца Гессенского.

Ответом ему был тяжелый вздох.

Барятинский вполголоса обругал себя непечатным словом. Пора уже взрослеть, бросать мальчишеские глупости! Ну, ладно, гауптвахту, как дворец, отделал для куражу и веселья общего. Но здесь-то, здесь-то на кой черт нужно было? Перед кем хвост распушать? «Слышите ли, господа? Все!» — так и звучал в ушах неизменно теплый и в то же время такой твердый и не допускающий противоречия голос графа. Словно бы именно к нему, к Александру обращены были слова седовласого героя. И стало нестерпимо стыдно перед ним, на земле спавшим и сухарями солдатскими не брезговавшим...

Обугленные ложки, блюда и прочий «хлам» еще плавилась в непотушенных кострах, когда отряд, в котором осталось едва 5000 человек, выдвинулся к Герзель-аулу. На своих плечах он вез тысячу раненых, обмороженных и больных товарищей. Раненых оставлять нельзя, — эта заповедь была нерушима. Лучше погибнуть всем, чем отдать на растерзание врагу хотя одного своего инвалида. Потому что после нельзя будет с этим позором жить...

— Я скорее погибну сам, чем позволю оставить хоть одного больного, — таков был ответ Воронцова, когда ему доложили, что обоз с ранеными слишком велик, и

вывезти его силами 5000 тысяч измученных воинов невозможно, что это погибель для всех.

Так, вероятно, и произошло бы. Крупный рогатый скот был съеден, войска страдали от голода и жажды. На каждом шагу горцы воздвигали новые завалы, расстреливали отряд из лесной чащи. Беря штурмом завалы, авангард подчас оказывался отрезан от основных сил, и тогда граф лично вел своих людей в бой, восстанавливал связь и заставлял противника отступить. Лишь его электризующая всех энергия, его хладнокровие и распорядительность, его твердость и вера, воодушевлявшая солдат и офицеров, спасали гибнущий отряд. На пути к Герзель-аулу, занятому русским гарнизоном, отряд ждала засада. Грянули первые выстрел. Пал насмерть сраженный адъютант князя. Бярятинский исподлобья взглянул на наместника. Лицо последнего было светло, глаза сияли неустрашимостью. Миг, и сверкнула шашка в его руке.

— Ну, что, господа, покажем, как умеют сражаться и побеждать русские?!

Александр подумал, что в сложившемся положении уместнее было бы сказать «и умирать». Но это было так не в духе графа! Рядом на подводах стонали и с ужасом ждали развязки беспомощные раненые, которых он, Воронцов, поклялся не оставить, вывезти, спасти. И он обязан был сдержать свое слово. Спасти раненых. Вывести из капкана своих людей. Оправдать доверие Государя. И ничего иного теперь не существовало для этого человека. Только победить! Потому так и ясно тонкое лицо, так сияли победной волей глаза...

— Вперед, друзья!

На сей раз чеченцы приняли бой. Они были уверены, что русский отряд уже истощен до предела и не может порядочно сопротивляться. Зазвенели клинки в яростной сшибке, заржали отчаянно кони, хлынула на

мерзлую землю, мешаясь воедино — кровь русская с кровью чеченской.

Внезапно с противоположной стороны, с тыла противника громыхнул орудийный залп. Дрогнули разбойные полчища, не ожидая быть атакованными сзади. Еще залп, еще... И, вот, уже замелькали в отдалении конники — русские конники!

— На-а-а-ши! — раздался хриплый рев солдатских глоток.

— Ур-р-р-ра!

— Фрейтаг! — выдохнул Барятинский, докалывая и сбрасывая с седла очередного мюрида.

— Фрейтаг! Фрейтаг! — зазвучало кругом. — Спасены!

Отхлынули, рассыпаясь по окрестным лесам, бандитские полчища. Из гущи боя, утирая со лба пот, выехал невредимый наместник. Оглядел радостно свое избавленное от истребления войско и перекрестился трижды:

— Слава Тебе, Господи! Успели наши гонцы весточку доставить! Что ж, господа, нам есть, чем гордиться. Мы не оставили врагу ни одного раненого, ни одного колеса, ни одной вещи, ни одного ружья. Мы шли очертя голову, делали все, что возможно, и вышли благополучно... И, смею опять сказать, не без славы! Мы потеряли несколько достойных начальников и храбрых солдат; это жребий войны: истинно русский всегда готов умереть за Государя и Отечество... — с этими словами граф соскочил с коня и, обратившись к кое-как строившимся после сражения солдатам, низко поклонился им: — Спасибо вам, братцы! Спасибо вам за ту твердость, усердие и неустрашимость, с какими вы исполнили трудный и славный подвиг! Русский солдат — первый во всей земле. А кавказский — среди русских первый!

— Ура! Ура нашему генералу! — раздался неуставной, но дружный возглас.

Воронцов тонко улыбнулся, и на ясных глазах его впервые за эти многотрудные недели навернулись едва заметные слезы. Он не лицемерил, не играл роль «отца-командира», не «рисовался», он искренне любил своих солдат и во все дни своей долгой службы был проникнут заботой о них. И они отвечали ему ответной любовью и почти религиозной верой в него. И это единство полководца и войска было примером и уроком для молодых отважных офицеров, лишь поднимающихся к вершинам карьерной лестницы. И один из них, князь Александр Барятинский, урок этот запомнил и сохранил в благодарной памяти.

Аул Гергебиль был некогда сожжен отважным генералом Пасеком, но так и не был возвращен под власть русского Царя. Его потеря принудила русских оставить Аварию, но теперь наступало время вернуть ее.

— Русскую кровь мы побережем, — сказал Михаил Семенович, постукивая тонкими, красивыми пальцами по расстеленной на столе карте. — Эту крепость невозможно взять, не положив за нее сотни наших солдат.

Барятинский согласно слушал. Невозможность штурма доказал прошлогодний поход на Гергебиль. Наиб Идрис, руководивший его обороной, обнес цитадель каменной стеной толщиной в 1,5 аршина и 2 сажени высотой, с пятью башнями. По последнему слову фортификации были устроены траверсы и блиндажи для защиты от навесного огня, подготовлена многоярусная оборона: «волчьи ямы» и сакли с фальшивыми крышами, в которые проваливались нападавшие.

— В пору моей юности здешние племена понятия не имели о подобных инженерных премудростях, — заметил Воронцов, задумчиво глядя на карту. — Хотя и тогда крови проливалось немало... Штурм Гянджи обошелся нам в изрядное число жизней. Капитан Котляревский был ранен, рядовой Богатырев, с которым мы выносили его с поля боя, убит... А меня поберег Бог, и Александра Христофоровича³²... Он был молотина в то время, и мы были почти неразлучны в сражениях...

Наместник иногда любил вспоминать дни своей кавказской молодости, своего друга Котляревского, о котором он заботился теперь, своего отца-командира

благородного князя Цицианова, относившегося к юному Мише, как к сыну. Кто бы мог подумать тогда, что однажды придется молодому офицеру занять место Цицианова, стать хозяином этого грозного края?

Александр Иванович с удовольствием слушал эти воспоминания. В них так живо воскресали славные дела прошлого, легендарные герои, при звуке имен которых волнением трепетало сердце!

— Вот, взгляните-ка, — Михаил Семенович протянул Барятинскому серебряный компас. — Во время боя в Закатальском ущелье эта вещица выпала из моего кармана. 22 года спустя ее нечаянно нашли у какого-то убитого чеченца. А еще через десять лет она вернулась ко мне. Такая неприметная вещь, а какая замечательная судьба!

— Просто чудо, что она вновь оказалась у вас через столько лет, — отозвался Александр Иванович, с любопытством разглядывая исторический компас.

— В самом деле... Целая жизнь прошла. И, ей-Богу, недаром прошла! — на губах наместника заиграла его чарующая, тонкая улыбка.

Да, этот человек мог сказать о себе, что жизнь его прошла недаром. Впрочем, разве уже и прошла? Видя эту замечательную легкость движений, неутомимость в работе и походах, быстроту разума, вовсе не вспоминалось, что седовласому генералу с манерами английского лорда, стальной волей многолетнего администратора и отвагой молодого поручика, уже семьдесят. Науку старения и бережения себя Михаил Семенович так и не освоил. Лишь глаза в последнее время стали подводить его, и все чаще для чтения корреспонденции призывал он жену, Екатерину Ксаверьевну, читавшую ему вслух. В качестве секретаря своего мужа она сопровождала наместника в его инспекционных поездках, которые предпринимал он

весьма часто, зная сколь велики злоупотребления повсюду.

Государь не ошибся, вверив Кавказ попечению Воронцова. От него ждали чудо, подобного новороссийскому, и он всецело оправдал эти ожидания. Получив за Даргинский поход титул Светлейшего князя, Михаил Семенович решил изменить прежнюю стратегию. Понимая, что законы европейских баталий не применимы к Кавказу, Воронцов сосредоточился на том, чтобы лишить Шамиля опоры, лишить среды, которая его питала. Начались вырубки лесов, строительство дорог и линий укреплений. Лишившись своих природных крепостей — лесов, окруженный русскими укрепленными линиями — Шамиль уже не смог бы так безнаказанно творить свои набеги. А получая всякий раз отпор, теряя на этом людей и территории, он должен был утратить самое главное — свою популярность у горских племен, их поддержку.

Но военная победа — это еще далеко не победа. Нужно было включить полудикий край в орбиту русской жизни, сделать его частью России. И снова, как совсем недавно в Новороссии, в намеченных Светлейшим пунктах возводились порты, строились корабли, создавались колонии хлебопашцев, виноделов, пастухов, развивалась торговля, насаждались сады, закупались тонкорунные овцы... По распоряжению князя стали буриться артезианские колодцы, благодаря чему ожила обширная безводная Мугабская степь. При его участии было создано Кавказское общество сельского хозяйства. В Алагире заработал серебряно-цинковый завод. В разных районах Кавказа были разведаны месторождения каменного угля и началась его добыча.

Опытный администратор, Воронцов сразу отметил многочисленные источники благосостояния края и энергично принялся за их разработку. Люди, обретшие

процветание, покой, порядок, куда менее бывают расположены к восстаниям и разбою, но дорожат миром и своим благосостоянием. Но для этого людям в первую голову потребна защита от лихоимства. Воронцов приказал повесить на своем доме в Тифлисе желтый ящик, в которой любой мог опустить жалобу на противозаконные действия. Зачастую князь самолично разбирался в жалобах и вершил скорый суд. Однажды ему заметили, что принятое им решение противоречит закону. «Если бы здесь нужно было только исполнять законы, Государь прислал бы сюда не меня, а Полный Свод Законов», — ответил Михаил Семенович, не считавший нужным обращать внимание на закон там, где тот не отвечал интересам дела или справедливости.

Уже совсем скоро лихоимцы стали бояться Светлейшего, как тени командора, грозного призрака, который непременно явится и призовет к ответу. Так явился он к генералу Тришатному, по должности своей обязанному пресекать злоупотребления в войсках, но вместо этого покрывавшему их. Тришатный был лишен всех наград, разжалован в рядовые и отдан под суд. Человек неиссякаемой доброты и щедрости, Воронцов не имел частого недуга доброты — уступчивости. Обладая железной волей, он мог быть беспощаден там, где полагал это необходимым и справедливым. Там, где требовал этого его долг. Некогда в дни эпидемии холеры в Севастополе вспыхнул бунт. Был убит тамошний губернатор Столыпин. Воронцов лично приехал усмирять бунтовщиков, не боясь расправы. Одурманенных увещевал словом, подстрекателей, запятнавших себя кровью, карал. Сам вел следствие, чтобы уберечь от расправы невиновных... И ни одна душа не знала, что в эту самую пору умирает в жестоких муках, призывая отца, его любимая дочь, от одра которой был он оторван долгом и при чьих последних минутах не смог присутствовать...

Барятинский, отсутствовавший некоторое время на Кавказе, был поражен тому, что удалось в короткий срок сделать здесь наместнику. Тифлис и Владикавказ нельзя было узнать. Оба они сделались европейскими городами с бульварами, мощеными улицами, театрами... Итальянская опера звучала теперь здесь! Многочисленные училища, христианские и мусульманские, библиотеки, больницы, бесплатные столовые для бедняков — все это явилось как-то вдруг и ниоткуда, и все самым энергичным образом работало, просвещая дотоле дикий край, принося в него облагораживающую нравы культуру.

О самом же наместнике шла слава, какой не ведал никто из его предшественников. Светлейший мало обращал внимание на форму и муштру, ратуя лишь о чести и доблести на поле брани, презирая трусость, не любя фанфаронства и в самой храбрости более всего ценя скромность. Как и прежде, он с величайшим вниманием относился к нуждам своих подчиненных. Ему довольно было узнать о нуждах кого-нибудь, чтобы совершенно естественно и просто прийти ему на помощь со свойственной ему одному только деликатностью. При Воронцове в Кавказской армии утвердились основанные на духовной близости товарищеские отношения между всеми чинами — от солдат до генералов. Как следствие, энтузиазм к новому начальнику был безграничный. Никогда еще население Тифлиса не видело в наместнике более ласкового приема, большей доброты и мягкости в соединении с таким величием. Он не походил ни на одного из своих предшественников, недоброжелатели тщетно пытались поймать его на чем-нибудь, но он не поддавался никакому объяснению и оставался неуязвимым. Ермолова на Кавказе уважали и боялись. Паскевича недолюбливали. Воронцова боготворили.

Еще следуя в Тифлис и созерцая плоды неустанных трудов Михаила Семеновича, Барятинский с сожалением подумал, что, пожалуй, лишь напрасно потерял время, сражаясь в бунтующей Польше, а после скучая под видом болезни в своем имении. А, впрочем, служивый человек отнюдь не всегда волен в своем выборе! Некоторые полагают, что не волен в нем и человек вообще. Но сие глубокое заблуждение Александр Иванович опроверг, и это опровержение было самым значимым достижением временной «ссылки с Кавказа».

Все началось в тот недобрый миг, когда Цесаревичу Александру Николаевичу, чьим адъютантом и другом был Барятинский, пришла в голову идея устроить счастье своего друга. Его Высочество только что женился на очаровательной гессенской принцессе и, еще не успев пресытиться своей юной супругой, искренне желал князю такого же блаженства. На беду доброе стремление мужа всецело разделила и свежеиспеченная Великая княгиня. Вдвоем они нашли для Барятинского, как показалось им, самую подходящую для него пару — вдову Столыпину, с давних пор влюбленную в Александра Ивановича.

Хуже и придумать ничего нельзя было! Цесаревич был князю другом, а к тому считался просвещенным человеком — как-никак воспитанник Жуковского. Но ни дружба, ни пестования Жуковского почему-то не утвердили в Александре Николаевиче такого, казалось бы, простого сознания, что нельзя никому навязать «счастье», что нельзя в приказном порядке устроить чью-либо жизнь, что нельзя желать подчинения в подобных деликатных вопросах!

Понимая, что на шею его готовятся набросить хомут, Барятинский, как мог, цеплялся за службу, не желая возвращаться в столицу, отговариваясь от

приезда всяким удобным и неудобным поводом. Но пришел приказ, и ехать все-таки пришлось...

Возвращаясь в Петербург, Александр Иванович постарался, сколь возможно, испортить свою внешность. Коротко остригся, волочил некогда раненую ногу, опираясь на трость, смотрел угрюмым зверем. Типичный одичавший кавказский служака без тени прежнего лоска, грубый и неотесанный. Он надеялся, что такая перемена отпугнет назначенную невесту, но дама оказалась упорной — не то в своем чувстве, не то в желании исполнить волю Августейшей четы. Ее вальсирующий от радости встречи взор лишил Барятинского последней надежды. А тут еще прозналось, что в г-жу Столыпину влюблен не кто-нибудь, а Семен Воронцов, сын Светлейшего! Ну, уж ему-то совсем не желал Александр Иванович дорогу переходить. Даже проказы ради.

— Милая Марья Васильевна, я должен объясниться с вами!

— Да, князь, я слушаю вас! — в волнении подалась навстречу Столыпина. Барятинский мысленно выругался: мадам, прелесть которой он не мог оценить вполне из-за навязывания ее ему в жены, явно ожидала услышать из его уст предложение. И не допускала мысли, что исход дела может быть иным. Вопрос ее нового брака казался ей совершенно решенным, и своеволие кавказского героя не представлялось возможным. Эта всеобщая уверенность в решенности вопроса окончательно раздражила Барятинского и, глубоко вздохнув, он объявил без обиняков:

— Я должен сообщить вам, что не могу стать вашим мужем!

Столыпина отпрянула и некоторое время смотрела на несостоявшегося жениха с недоумением. Ей, должно быть, весьма хотелось задать глупый в таких случаях вопрос, чем она, красавица с немалым состоянием и

сватьями в лице Наследника и его супруги, не подошла своему избраннику. Но гордость помешала ему сорваться, замкнула обидчиво поджатые уста.

Тем разговор и завершился к вящему облегчению князя, который готов был уже солгать, что по примеру Ермолова завел себе на Кавказе гарем из трех жен.

Дело, однако, этим не окончилось. Цесаревич и Цесаревна были обижены на адъютанта за такое небрежение к их дружеским хлопотам. А к тому Александру Ивановичу начали подыскивать новую партию! Общество поставило себе целью женить строптивца! Экое варварство! Этим людям, видимо, касалось решительно несправедливым, чтобы человек был красив, богат да еще и свободен! Свободу нужно было отнять, и тогда бы все сделались довольны.

Но Барятинский вовсе не собирался расставаться со своею свободой, а к тому подчиняться чьей-то прихоти. Удалившись ввиду опалы в свое имение и от нечего делать занявшись обустройством его по заветам отца, князь нашел выход из своего затруднительного положения.

На Рождество собралась вся семья, включая дальнюю родню. Даже один из дядюшек Келлеров прибыл из Германии. Весело блестели свечи и игрушки на высоченной елке, манко переливались разными цветами коробочки и свертки с подарками — одно из лучших воспоминаний детства! Хлопотала раскрасневшаяся матушка, радостная, что в кои-то веки собрались вместе все ее дети...

В это Рождество самый роскошный подарок получил брат Володя.

— Владей, Вольдемар! Теперь это все твое! — с этими словами Барятинский вручил опешившему брату свернутую в трубочку бумагу, перевязанную праздничной ленточкой. Это была дарственная на все

имущество, принадлежавшее Александру Ивановичу по праву старшего сына.

Он остался без малого нищ и это лишало его славы «завидного жениха». Теперь число посягательниц на его свободу должно было свестись к минимуму.

Судьба мадам Столыпной вскоре устроилась, она ответила согласием на предложение князя Семена Михайловича. Барятинский же, наконец, получил дозволение возвратиться на ставший ему родным Кавказ — под начало его отца. Тот с первого мгновения изумил Александра Ивановича радушной встречей.

— Рад вашему возвращению, князь! Здесь вас очень не хватало!

— Возможно ли? В храбрых офицерах здесь, кажется, нет недостатка.

— В храбрых офицерах — нет. А в вас — есть, — серьезно ответил наместник. — Такие люди, как вы, нужны этому краю. И нужны мне.

Это признание дорого стоило и немало воодушевило Барятинского. Вскоре он сделался ближайшим сподвижником Воронцова. Вместе разрабатывали они экспедиции против горцев, и именно Александр Иванович убедил наместника, что основную тяжесть удара следует направлять не на Дагестан, а на Чечню — осиное гнездо всех разбойников. С этой целью Михаил Семенович направил туда самого Барятинского во главе Кабардинского егерского полка. Там находился князь в постоянных стычках с горцами. Теперь же пришла пора по-настоящему крупного дела.

— Итак, дело на сей раз решит артиллерия, — резюмировал наместник. — Нет ничего более ценного, чем жизни русских солдат. И грешно производить вдов и сирот там, где в том нет никакой необходимости. Мы разрушим Гергебиль. А пока артиллерия будет делать свое дело, расставим засады на всех путях отступления. Возьмем на вооружение тактику врага! Теперь не они

будут вести на нас охоту из своих проклятых лесов, но мы на них!

Обороной Гергебиля руководил теперь самый предприимчивый и влиятельный сподвижник Шамиля — Хаджи-Мурат. Идрис погиб годом раньше, когда Воронцов неожиданным маневром развернул русские войска от непреступной крепости и обрушил их мощь на аул Салты. Идрис поспешил туда и был изрублен при взятии аула.

Хаджи-Мурату удалось еще больше укрепить цитадель. Горцы сумели даже выстроить редут с крепостным орудием на высоте Ули и окружить его 30-ю укрепленными саклями. Но 8 мортир, 11 батарейных и 6 легких орудий уговорят любую крепость. Пройдя проторенной дорогой до Гергебиля, основные силы русских встали лагерем на недосягаемом для пушек противника расстоянии и представили слово своим орудиям. Тем временем отряд саперов незаметно подобрался к водонапорной башне в Аймакинском ущелье и подорвали ее, лишив осажденных воды. Другие отряды столь же незаметно занимали позиции вдоль горных троп, в лесах и ущельях, через которые должны были отступать горцы. Охота началась!

Три дня понадобилось русским мортирам, чтобы сокрушить «неприступную» крепость Шамиля. Ее защитники принуждены были спасаться бегством. Большая часть из них рвалась укрыться на высоте Ули, но лишь немногим удалось добраться до нее. Теперь уже не чеченцы устраивали на каждом шагу засады русским войскам, а русские, переняв их тактику, поджидали их везде, не давая перевести дух и хоть на миг ощутить себя в безопасности. Остановливаясь при отступлении, чтобы подбирать тела убитых и раненных товарищей, мюриды теряли вдвое больше. Так была отомщена «сухарная экспедиция» и все жертвы Даргинского похода. А заодно и истребленный некогда

русский гарнизон самого Гергебиля, последние герои которого взорвали пороховой склад вместе с собой, но не сдались врагу.

В этот раз Михаил Семенович не водил сам своих людей в атаки. В этом не было нужды. Он наблюдал за ходом битвы с командного пункта, предоставив действовать Барятинскому и другими командирам. Когда избиение разбойников было завершено, а русские солдаты ступили в обращенный в руины Гергебель, разгоряченный боем Александр Иванович предстал пред очи наместника. Тот обнял его:

— Сегодня был ваш день, князь! Жаль, что вы не могли видеть себя и своих людей со стороны!

— Противник разбит наголову и большей частью истреблен, — доложил Барятинский. — Наши потери минимальны.

— Вот, так и следует воевать, — кивнул Воронцов. — Берегите русского солдата, Александр Иванович! Кровь его дороже золота! Это мой вам завет.

— К чему заветы, ваше светлость? Покамест вы сами более кого иного бережете ее! — отозвался князь.

— Так будет не всегда.

Александр Иванович с удивлением и тревогой посмотрел на Светлейшего. Он был, как всегда, бодр, и глаза его светились прежним юношеским светом. Откуда же такие мысли?..

— Не беспокойтесь, дорогой князь, — с улыбкой откликнулся Воронцов на немой вопрос. — Я не покидаю Кавказ и не болен. Но мне уже 70, а вечность не дарована на сей земле ни одному человеку. И мне было бы отрадно знать, что в этом краю, достойном много лучшей участи, чем та, что он влачит, есть человек, способный продолжать принятую нами стратегию, начатые преобразования.

— Таких нет, — искренне откликнулся князь. — Второго Светлейшего князя Воронцова не существует.

— Зато есть князь Барятинский, — сказал Михаил Семенович. — Помилуйте, Александр Иванович, где ваше честолюбие и даже тщеславие, коим вас любят попрекать завистники?

— Вероятно, они смирились по минованию юности.

— Это недурно. Но не смиряйтесь чрезмерно. Вас ждет большое будущее, в этом я могу вас заверить.

— Пока что я лишь простой полковник...

— За Гергебиль вы получите генерала.

Сердце князя горячо забилося. Наконец-то! Генерал! Он так давно ждал этого производства!

— Представление на вас я уже написал, — продолжал Воронцов своим вкрадчивым, невозмутимым голосом. — А пока... — он извлек из кармана серебряный компас. — Примите от меня личный подарок в знак моей благодарности за нынешнее блестящее дело.

— Помилуйте, ваша светлость, ведь это настоящая реликвия! — неприятно смутился Александр Иванович.

— И я хочу, чтобы она была у вас. И всегда указывала вам путь, — прозвучал ко многому обязывающий ответ Светлейшего, и серебряный компас с удивительной судьбой переместился в карман Барятинского. Эта личная награда наместника стоила генеральского чина!

Волокна белесого тумана едва-едва успели рассеяться над прозрачными водами Эльбы, оставив солнцу высушивать покрывающие траву обильные росы. В этот ранний час на берегу не было ни души, и совершенно некому было удивиться престранному зрелищу. Две кареты с опущенными шторами, врач, изготовивший свои пугающие пуще всякого оружия инструменты, двое штатских господ и почтенных лет русский генерал с пышными бакенбардами, тяжело опирающийся на массивную трость и с презрительным безразличием взирающий на русского капитана, целящегося в него из дуэльного пистолета...

Экая пошлость, право! — думал генерал. Хотя и смешной, и никчемный человек капитан Давыдов, и руки у него дрожат от досады, но ведь — чем черт не шутит! — может и попасть случайно! Жизнь-то что? Копейка! Он столько раз рисковал ею и давно не боялся смерти. Но пошлость — вот, что дурно! Бранил беднягу Маешку, нашедшего бесславный конец не в бою с горцами, а от глупой дуэльной пули, выпущенной рассерженным приятелем. А сам-то, сам! Представить только, сколько разговоров будет! Гроза Кавказа, пленитель Шамиля, всесильный наместник, фельдмаршал! — пал от пули собственного адъютанта, приревновавшего к нему жену! Смех да и только! Был бы жив Маешка, такую бы поэму сочинил, что остаток дней до ушей красным ходить бы пришлось. То-то уж посмеялся бы! И есть чему...

Перед боевыми соратниками куда как неловко будет, если этот болван Давыдов не промажет. Хотя и без того... С Кавказа теперь придется уйти, дело ясное. Это ничего. Свой долг там Александр Иванович

исполнил сполна, за это краснеть ему не придется. Да и прогрессирующая подагра все больше затрудняла исполнение обязанностей. Но скандал... Неловко перед боевыми друзьями. И перед памятью незабвенного Михаила Семеновича, человека, к образу которого за всю его долгую жизнь не пристало ни соринки... Что-то бы сказал он, глядя на эту глупейшую дуэль?

Живо представилось Бярятинскому тонкое лицо Светлейшего. Его серебряный компас и теперь лежал в кармане... Этот компас исправно указывал ему путь в делах служебных, но в личных оставался Александр Иванович судном, не ведающим ветрил.

Михаил Семенович безошибочно угадал своего преемника и все годы совместной службы оказывал ему возможную протекцию. Под его началом Бярятинский вырос не только в одного из лучших кавказских военачальников, но и в умелого администратора. Он заслужил любовь к себе в войсках не только примерной доблестью в сражениях, но и заботой о подчиненных. В своих частях Александр Иванович устанавливал дух истинного братства, семейственности. Когда его людям нужно было закупить образцы новейшего стрелкового оружия, князь не стал дожидаться непозволительно медлительной в этом отношении казны, а приобрел льежские штуцеры за свой счет. Его офицеры и солдаты всегда знали, что в трудном положении могут обратиться за помощью к своему генералу, и он непременно откликнется. Талантов в области гражданского устройства Бярятинский до времени не подозревал в себе, но их прозорливо предвидел Воронцов. При его поддержке Александр Иванович разработал военно-народную систему управления покоренной Чечней, доказавшую свою полную эффективность. Обустройство Чечни, фактически предоставленной наместником его попечению, стало для князя бесценным опытом. Как полководец, он

покорил ее, разгромив войска Шамиля и уничтожив укрепленные аулы, как администратор — строил новые города и дороги, налаживал работу гражданских учреждений, упорядочивал быт. Если видел с небес родитель эти успехи сына, то, быть может, утешился в своей скорби, что тот сделался военным, и успокоился, что вовсе не чужда оказалась ему хозяйственная жилка — даже без упражнений с плугом и прочих предписаний...

Когда старый наместник под гнетом лет все же вынужден был покинуть Кавказ, поняв, что уже не имеет сил исполнять свои обязанности с прежней отдачей, он рекомендовал на свое место Барятинского. Однако, эта воля была исполнена лишь несколькими годами позже. В свою новую должность Александр Иванович вступил уже сложившимся государственным деятелем с абсолютно продуманной программой действий. «Менее всего можно устрашить войною людей, которые от колыбели привыкли к ней и в битвах поставляют себе честь и славу, — писал он в своем докладе. — Но если мы вместе с тем будем действовать на них влиянием нашего нравственного превосходства, то нельзя сомневаться, чтобы влияние это осталось бесплодным. Прочность завоеваний каждого великого народа зависит от двух главных условий: хорошей системы военных действий и искусной, мудрой политики в управлении непокоренными странами».

Успех любого начальника, на войне или в миру, в большой мере зиждется на умении подбирать сподвижников, команду. Своей командой Барятинский мог гордиться. Можно ли было найти лучшего начальника штаба, чем Милютин³³? Более грамотного офицера для особых поручений, участвовавшего в разработке всех операций и проектов, а к тому исполнявшего функции секретаря, нежели Ростислав

Фадеев³⁴? Врангель, Козловский, Орбелиани, Евдокимов, Вревский, Ридигер... Все они блестяще знали Кавказ и свое дело, и слаженно шла их работа на благо измученного войнами края.

Войны, меж тем, следовало еще завершить. А сделать это можно было лишь одним способом — окончательным разгромом Шамиля и пленением или уничтожением его самого. Барятинский предпочитал первое. Шамиль был не просто военным вождем восставших горцев, но их духовным лидером. Убитый духовный лидер обретает ореол мученика и уже в этом качестве остается знаменем и угрозой. Поэтому имама нужно было не убить, но победить — не только на поле брани, но и духовно.

Год за годом преследовал Александр Иванович неуловимого Шамиля. Сколько раз он уже почти оказывался в руках русских, но непостижимым образом ускользал! И пламя мятежа вспыхивало вновь... Все же имам постепенно лишался своей базы, лишался территорий, укрытий, поддержки в народе. С ним оставались лишь наиболее фанатичные горцы, и стареющий Шамиль все более походил на обложенного со всех сторон волка. Волк еще огрызается, но участь его уже решена.

Впрочем, в последний миг едва не испортила все дело вечно никудышная российская дипломатия. Затравленный волк послал своего представителя к русскому послу в Константинополе с предложением о заключении мира. Практически разгромленный враг пытался спасти себя «миром»! Последствия оного были очевидны. Шамиль получил бы передышку для того, чтобы зализать раны и вновь собрать силы, а затем, с новыми силами, вновь начал бы войну, и пламя, рожденное дипломатической глупостью, пришлось бы тушить кровью русских солдат!

Так и закипал Барятинский, читая письмо канцлера Горчакова: «Если бы вы дали нам мир на Кавказе, Россия приобрела бы сразу одним этим обстоятельством в 10 раз больше веса в совещаниях Европы, достигнув этого без жертв кровью и деньгами. Во всех отношениях момент этот чрезвычайно важен для нас, дорогой князь». Без жертв кровью и деньгами?! Совещания Европы?! Да могут ли они в Петербурге думать хоть о чем-то еще, кроме своей треклятой Европы?! И почему вещи очевидные любому, и даже не военному, и даже не знающему Кавказ близко, являются нисколько не очевидными для русского министра иностранных дел, который вот уже готов бестрепетной рукой отбросить прочь все русские победы и замириться с опаснейшим и вероломным врагом?!

Как хотелось тогда написать в ответ Александру Михайловичу нечто предельно краткое и резкое... Но положение не позволяло. Позвал Барятинский Милютина с Фадеевым.

— Что скажете, господа?

Что могли сказать они? Да, в общем, то же самое... Но того же самого не напишешь же в официальном ответе. Да и делу не пособишь. А дело — чувствовал Александр Иванович — горит. Дело надо спасать. Или загубят его дипломаты. Это они, дипломаты, отговорили покойного Государя от исходного им разработанного плана кампании против Турции, страшая все тою же Европой, которую нельзя, де, было сердить. И не рассердили. Глупо спровоцировали податливостью, заискиванием. Сорвали план и поплатились — гибелью Черноморского флота, унижительным мирным соглашением, запрещающим его воссоздание... И теперь эти дипломаты хотят таким же образом «замирить» Кавказ?!

— Что посол в Константинополе принял всерьез нахальное заявление Шамилева посланца — это еще извинительно, но непонятно, как министры и сам Государь могут придавать значение примирению с имамом, когда считанные шаги остались нам до окончательной победы, и уже самые местные жители встречают нас как освободителей, видя, что мы несем им не рабство, не месть, но законность и благоденствие под скипетром Царя! — недоумевал Милютин.

При упоминании Государя Барятинский поморщился, как от подагрической боли. Хуже письма Горчакова было только его письмо, Августейшего друга Александра Николаевича... Ему, кажется, тоже мало было унижения от «мира» по итогам Восточной войны, и теперь вслед за своим министром он рекомендовал Александру Ивановичу «серьезно рассмотреть возможность»...

— Надо форсировать наши действия, — решительно сказал князь. — Пока они там в Петербурге не решили нашу судьбу за нас, не испортили все дело.

— Шамиль заперся теперь в Гунибе со всеми приближенными.

— Вот, всех и возьмем. А Гуниб, если надо, сотрем с земли. Иного мира здесь не будет! — Барятинский со злостью хватил кулаком о стол. — Мир всегда основан на чьей-то победе и чьем-то поражении. Никак иначе. Победитель, вместо того, чтобы довершить разгром неприятеля, заключающий с ним мировую, обращается в побежденного. Я этого не допущу!

— И что же мы ответим канцлеру? — осведомился Фадеев, уже заготовивший бумагу и оточивший перо.

— Напиши ему, Ростислав Андреевич, от моего имени... — на мгновение князь задумался. — Напиши, что, когда он изволит добратся до местопребывания Шамиля, дабы подписать с ним мирное соглашение, война уже будет завершена.

Крепость Гуниб, расположенная в горном Дагестане, была последней цитаделью имама. Туда он бежал из недавно взятой русскими чеченской крепости Ведено. Возвышающийся над окружающими ущельями на 200–400 метров, Гуниб имел на большей части своего периметра практически отвесные в верхней своей части склоны. Вершина горы представляла собой продольную ложбину, вдоль которой протекал ручей, в восточной части плато падающий вниз, к реке Каракойсу. Единственным путем к аулу и на вершину плато была крутая тропа, поднимавшаяся от Каракойсу вдоль ручья на восточную наиболее пологую часть горы. Имея достаточно времени и людей, Шамиль, несомненно, превратил бы эту природную крепость в самую неприступную цитадель. Но людей у имама осталось не более четырехсот, а времени Барятинский ему не оставил.

Эта последняя решающая охота будоражила кровь. Столько лет гнался Александр Иванович за горским вождем, и, вот, теперь он был в ловушке, теперь ему уже некуда было отступать! Лишь бы только не изыскал опять неведомую тропку или пещеру, не растворился бы, как нечистый дух! Прежде всего, Барятинский направил в Гуниб и распространил среди населения воззвание с предложением капитуляции. В случае мирной сдачи крепости ее защитникам обещалось полное прощение и возможность уехать в Мекку.

Однако, старый имам не желал капитулировать. Этот хитрый хищник еще надеялся выиграть время, истомить осаждающих, дожидаться осени, когда русские войска начнут косить болезни, когда запасы провианта подойдут к концу, и блокады будет снята. Но у Александра Ивановича были другие планы. Сперва он рассчитывал взять крепость измором, не желая растрачивать русские жизни на штурм. Но упорство

Шамиля и опасная активность Петербурга понуждали к мерам радикальным.

24 августа русские войска ринулись на штурм Гуниба. Мюриды сопротивлялись отчаянно, но силы были неравны. На вторые сутки у Шамиля осталось лишь сорок человек, с которыми он заперся в мечети. Здесь старый волк готовился принять свой последний бой и погибнуть за Аллаха. Но его собственные сыновья не пожелали разделить этот славный жребий и заявили отцу, что не будут драться, а сдадутся русским. После этой измены Шамилю ничего не оставалось, как сложить оружие.

— Будьте покойны теперь, Кази-Мухаммад и Мухамад-Шафи! Вы начали портить дела мои и dokonчили их трусостью! — с презрением бросил он сыновьям, но те не устыдились позорного обвинения. Эти юноши хотели жить, как хотел жить их брат, сперва отданный отцом в «аманаты» русским, выросший при дворе Императора и служивший ему, а затем возвращенный отцу по случаю одной из неудач русских войск... Бедняга, уже привыкший к совсем иной жизни, умер от тоски, став первым крупным разочарованием имама.

Когда Шамиль выехал из своего укрытия в сопровождении уцелевших мюридов, русские солдаты приветствовали его на всем пути криками «ура!». Русский человек незлобив по природе, и побежденный враг перестает быть для него врагом. К тому русский человек памятлиv на добро.

— Человек-то он стоящий: только там пленным и бывало хорошо, где Шамиль жил али где проезжал он, — говорили об имаме солдаты. — Забижать нас не приказывал нашим хозяевам, а чуть бывало дойдет до него жалоба, сейчас отнимет пленного и возьмет к себе, да еще как ни на есть и накажет обидчика. И дарма, что во Христа не верует, иначе стоящий человек!

Таких врагов, как Шамиль, можно ненавидеть, но нельзя не уважать, не восхищаться ими. Шамиль по масштабу гения своего по праву мог именоваться кавказским Наполеоном. И такой враг, сложивший оружие, должен был приниматься с честью. То, что начальники понимали умом, простой солдат чувствовал безошибочным инстинктом.

Александр Иванович встречал своего пленника в живописной долине, расположившись в березовой роще. Он сидел на камне, окруженный офицерами штаба и горцами, присягнувшими России. Шамиль медленно спешил и с достоинством приблизился к наместнику. Его величавая фигура, гордое лицо, обрамленное густой рыжеватой бородой с проседью, прямой, уверенный взгляд — все свидетельствовало о несломленности пленника. И даже удивительно было, что он все-таки решился на сдачу. Ведь мог бы остаться и, погибнуть сражаясь, в одиночестве. Или же убить себя... Но вождь мюридов отчего-то избрал жизнь.

— Если бы ты принял мое предложение еще до штурма, твои люди остались бы живы, — заметил князь, неотрывно глядя на поверженного врага, с любопытством изучая того, кто столько лет был его наваждением, неуловимым призраком, погоня за которым казалась бесконечной.

— И твои также, — усмехнулся Шамиль. — Ты исполняешь свой долг. А я исполнял свой. Мой долг перед моим Богом и моими людьми разрешал мне сдаться тогда только, когда не останется никакой надежды на продолжение борьбы.

— Теперь ты будешь должен поехать в Петербург. Твою дальнейшую судьбу решит Государь. Я же подтверждаю, что ни ты, ни твои родные можете не опасаться за свою жизнь и будущее. Русский Император милостив к тем, кто покорен ему.

Государь в самом деле был милостив и щедр к плененному имаму. В протяжении всего путешествия в столицу ему оказывались подобающие его положению почести. В Москве Шамиль пожелал встретиться с Ермоловым, назвав его «настоящим старым львом». Два старых льва встретились и долго общались... Император определил местом жительства пленника Калугу, назначив ему достойный пенсион. Там, в Калуге, непримиримый Шамиль уже по собственной воле принял русское подданство. Это была настоящая победа. Победа Барятинского, победа подготавливавшего ее Воронцова, победа славной Кавказской армии.

После больших триумфов, завершения крупных дел в душе всегда является пустота. И Александру Ивановичу очень не хватало своего «закадычного» врага, вечной погони за ним, вечного поединка равного с равным. В эту-то пору и встретила его красавица грузинка Лизонька, Елизавета Дмитриевна, урожденная княжна Орбелиани... Она была еще совсем юна, но родители уже успели выдать ее замуж за капитана Давыдова. Капитан сей был ума весьма ограниченного, а потому великую комиссию составляло найти ему применение — желательно, где-нибудь подальше от Тифлиса... Куда бы ни отсылал его Барятинский, вскоре горе-адъютант возвращался назад с результатами плачевными.

Меж тем юная Лизонька сделалась постоянной гостьей генерал-губернаторского дома. Она приходила по вечерам, и пустой дом, полноте которого не способствовала ни восточная роскошь, ни множество слуг, обретал душу. Эта почти девочка еще толком ничего не знала о жизни, о любви, об иных достойных внимания предметах. В своей огромной библиотеке князь читал ей вслух заботливо выбираемые книги, а она слушала, сидя неподвижно, как примерная институтка, глядя на него широко распахнутыми

глазами и ловя каждое слово... В этом взгляде было столько преданности и восторга! И не столько мудрыми мыслями и изящными словами, сокрытыми в книгах, сколько тем, кто произносил их.

По летам Елизавета Дмитриевна могла бы быть дочерью князя. Но в молодые годы менее всего думал он о продолжении рода... Та же, чей ангельский облик некогда пробуждал в его душе самые высокие и лучшие чувства, долгое время прождав своего счастья, все же вышла замуж и ныне сделалась королевой Вюртембергской. Лизонька внешнею своей была полной противоположностью императорской дочери, но по-своему также хороша. К ней влекла ее почти детская наивность, неиспорченная даже солдафоном-мужем, трепетная заботливость... С какой нежностью ухаживала она за Александром Ивановичем во время припадков подагры, одним присутствием своим укрощая боль!

Тифлис, хотя и сделался европейской столицей, но не перестал от этого быть большой деревней, где всякая тайна мгновенно становится явной. Для Давыдова, однако, мгновение сие оказалось продолжительным. То ли и впрямь был он столь недалек, то ли предпочитал до времени закрывать глаза в надежде на карьеру «в благодарность». И будь он хоть чуточку способнее, карьера бы его удалась... Но способностями капитана природа жестоко обделила. И когда обделенность эта стала явной, ничего не осталось ему, как устроить скандал! И ведь мало того, что надавал оплеух жене, которая после этого сбежала от него, так еще грозил самому князю, что напишет жалобу в Петербург, Царю, потребует защиты своей чести! Олух, истинный олух! Если каждый рогоносец станет подавать челобитные Государю, то, пожалуй, о государственных делах придется забыть Его Величеству!

Но из-за олуха пришлось под благовидным предлогом приключившейся вовремя подагры уехать в отпуск на воды... Здесь уже ждала Барятинского Лизонька, а вскоре прибыли и ее родители. А еще некоторое время спустя явилась тень командора... А, вернее, вполне живой и донельзя взбешенный капитан Давыдов. Бывший адъютант отвесил фельдмаршалу подлеца и потребовал сатисфакции. Конечно, смешно фельдмаршалу драться с мальчишкой-капитаном, но, когда тебе нанесли оскорбление, какой остается выход?

Пуля просвистела у самого виска князя, но не заставила его пошевелиться. Давыдов едва слышно чертыхнулся. Как же хотелось ему войти в историю убийцей победителя Шамиля! Но и в этом оказался он бездарен! Что за отменный болван!

— Ну, что же вы?! Стреляйте, ваше сиятельство! Я требую, чтобы вы стреляли!

Он еще и требовал... Мальчишка...

Александр Иванович заметил слетевшую с дерева ворону и, молниеносно прицелившись, выстрелил. Сраженная на лету птица упала на землю. Фельдмаршал отбросил пистолет и захромал прочь. Раздосадованный Давыдов ринулся к привязанному неподалеку коню. Проходя мимо одной из карет, он зло бросил:

— Я немедленно потребую расторжения нашего брака! Публичной девке не пристало носить честную фамилию Давыдовых!

С этими словами он ускакал.

Подойдя к той же карете, князь отворил дверцу — тотчас воззрилась на него пара заплаканных глаз, протянулись вперед тонкие трепещущие руки. Барятинский поднес их к губам:

— Полно, дитя мое, не плачь, — сказал он с нежностью. — Фамилия Давыдова тебя недостойна. На мой вкус княгиня Елизавета Барятинская будет звучать

гораздо лучше! Жаль, что сей поединок был столь вопиюще бездарен, я желал бы выиграть тебя в настоящей битве и положить победу к твоим ногам!

— Мне нет дела до него, до фамилии, до его слов, до твоих побед! — по-детски ответила Лизонька. — Я лишь боялась за тебя! Безумно боялась, что он тебя убьет!

Трепетные руки обвилились вокруг шеи князя и, дабы не смущать секундантов и доктора, он поспешил скрыться в карете и притворить за собой дверь с плотно задернутой шторой. Крепко обняв свою все еще всхлипывающую от пережитого волнения избранницу, он рассмеялся:

— Ну, вот, нашелся хомут и на мою вольную волю! Но, клянусь, это самый прекрасный хомут, какой только может быть, и я счастлив склонить под него свою выю!

Карета тронулась в путь, и в полутьме ее запенилось игристое шампанское, коим отмечена была странная «помолвка».

— Ваше здоровье, княгиня Барятинская!

Русская Женщина (Юлия Вревская)

Боже, какое же это счастье — впредь никакого устава, регламентирующего каждый шаг! Никаких экзаменов! Никаких менторских наставлений почтеннейших, но нестерпимо скучных классных дам! Свобода! Свобода дышать полной грудью! Свобода видеть дорогих людей! А, самое главное — простор! Ведь как это тоскливо для выросшего на вольнолюбивом юге, в военной среде ребенка, когда даже прогулки ограничены маленьким садом ставропольского пансиона и строго определенными часами! Как в тюрьме...

А теперь молоденькая дымчатая кобылка летит по утопающей в зелени и разноцветье горной долине, и ей не нужно давать шенкелей, ибо она не менее своей всадницы рада стремительному бегу, свободе, простору! На горизонте высятся, подпирая небесный лазоревый купол снежными пиками, горы... Сияет, презрев облачные покровы, солнце, всегда щедрое к этому краю... А вокруг — зелень, цветы... Их запах, посвист птиц — как же не хватало этого Юлии во все годы учебы!

Наконец, разгоряченная скачкой лошадь остановилась у бурливой и непокорной, как все на Кавказе, реки Цейдон. Река эта брала начало от Цейского ледника, венчавшего Цейское ущелье, чьи покрытые густым лесом склоны высились впереди.

Цейское ущелье было самым романтическим местом Осетии. На входе в него возвышалась скала, напоминающая бородатого охотника-осетина в капюшоне, который выезжает из горы на коне. В детстве Юлия, несколько раз бывавшая в этих краях с отцом, мечтала, что однажды каменный охотник

оживет. Местные пастухи рассказывали, будто в ущелье появился тур с золотыми рогами, но охота за ним никому не удавалась. Тогда один охотник поклялся, что подстрелит этого тура, а рога преподнесет в дар святому Георгию, коего осетины считают своим покровителем. Увы, завладев золотыми рогами, охотник поддался искусу и оставил трофей себе. За это-то и был он превращен в камень. Весной, когда ледники таяли, казалось, что всадник плачет, прося прощения у святого Георгия. И маленькая Юленька плакала вместе с ним и молилась Георгию, чтобы тот умилоствовал над несчастным.

После стремительной скачки девушка чувствовала немалый жар и с сожалением посмотрела на блазнящие своей прохладой речные волны. Будь она одна, непременно окунулась бы в них — плавала юная амазонка ничуть не хуже, чем держалась в седле. Но...

— Бесценная Юлия Петровна, мне показалось, что еще немного, и вы умчались в горы, прямо к самым высотам их! — Ипполит Александрович осадил своего гнедого коня, соскочил на землю и, галантно подав девушке обе руки, помог ей также сойти на бrenную твердь. Благородное лицо сорокалетнего генерала теперь светилось юношеским задором, а глаза с восхищением смотрели на Юлию. От этого взгляда, от прикосновения сильных рук девушка почувствовала ранее неведомое приятное щекотание внутри, что-то затрепетало в груди, будто бы вон та большая, яркая бабочка, что порхает теперь вокруг, попала в нее и щекочет своими крыльями. И так удивительно хорошо от этого...

— Признаюсь, я всегда мечтала об этом. Мечтала подняться на самую-самую высокую гору. В детстве я думала, что тогда смогу достать рукой до неба, до звезд!

— И похитить одну из них? — улыбнулся Ипполит Александрович, покручивая пышный ус.

— Может быть. А еще я думала, что с такой вершины смогу увидеть всю-всю землю!

— Вы мечтательница, Юлия Петровна! — генерал расстелил на траве плед и поставил на него корзину с нехитрой снедью. — Вы, должно быть, любите поэзию?

— А вы нет? — Юлия с удовольствием опустилась на служившее одновременно скатертью покрывало и стала раскладывать на нем взятые из дома припасы. Она всегда любила пикники! После таких прогулок любая самая простая пища кажется божественно вкусной!

— В моем доме всегда собирались литераторы и любители литературы. А также меломаны... Видите ли, когда меня назначили командующим войсками Лезгинской кордонной линии, я уделил внимание не только военной подготовке оных: она и так была на высоте, кавказского солдата учить — только портить. А, вот, оркестр полковой музыки оставлял желать лучшего. Я же совершенно не могу переносить, когда фальшивят! Поэтому я выписал хорошие инструменты и хорошего капельмейстера, и наш оркестр сегодня звучит весьма порядочным образом и может удовлетворить даже вполне взыскательному вкусу. Вы его непременно услышите в будущее воскресенье на обеде в честь вашего досточтимого семейства! Конечно, до петербургских салонов нашему обществу далеко, и все же оно достаточно любопытно.

— Что же, и известные литераторы бывали у вас? — с живостью спросила девушка.

Ипполит Александрович лукаво прищурился:

— Не знаю, что сказать... Как на ваш взгляд, Лермонтов — достаточно ли известен?

Юлия широко раскрыла глаза и забыла о взятом было бутерброде с ароматным куском копченого окорока:

— Вы были знакомы с самим Лермонтовым?!

Генерал весело рассмеялся ее детскому восторгу:

— Дело в том, что с Мишей мы учились вместе в школе гвардейских прапорщиков. Я был лишь курсом старше его. А потом судьба свела нас уже на Кавказе, и, конечно, он стал моим частым и дорогим гостем. И достопримечательностью наших вечеров... Вся молодежь собиралась вокруг него, не давая ему прохода! Впрочем, не подумайте, Юлия Петровна, что мы только предавались подобным просвещенным удовольствиям. Мы еще иногда и воевали. И, клянусь вам, знатно воевали! При Валерике...

— О! Валерик! Вы тоже участвовали в том сражении? Бок о бок с Лермонтовым?

— Да, так и было. И Миша затем очень точно и блестяще описал сей бой.

— Раз — это было под Гихами,
Мы проходили темный лес;
Огнем дыша, пылал над нами
Лазурно-яркий свод небес.
Нам был обещан бой жестокий.
Из гор Ичкерии далекой
Уже в Чечню на братний зов
Толпы стекались удальцов.
Над допотопными лесами
Мелькали маяки кругом;
И дым их то вился столпом,
То расстилался облаками;
И оживились леса;
Скликались дико голоса
Под их зелеными шатрами, — с вдохновением
прочла Юлия.

— Вы знаете наизусть стихи Миши?

— О, да! «Валерик», «Бородино», некоторые другие...

Ипполит Александрович опять рассмеялся:

— Вы удивительная девушка! «Валерик»! «Бородино»! Почему бы не «Парус», не «Молитву»? Вас так прельщает Марс?

— Я выросла среди военных, — пожала плечами Юлия и добавила не без гордости. — Мой отец, как вы знаете, сражался с Наполеоном, а затем был переведен на Кавказ. Дед бил турок при Екатерине под началом Суворова... Я выросла, слушая рассказы о славных походах прошлого и вблизи боев нынешних. И, признаюсь, иногда жалела, что не рождена мальчиком, чтобы участвовать в них!

— Слава Богу, что вы не рождены мальчиком, иначе мир лишился бы гения чистой красоты в вашем лице!

Юлия чуть покраснела, она еще не успела привыкнуть к комплиментам.

— Но должен заметить, что из вас вышел бы отменный лихой кавалерист! — добавил Ипполит Александрович, принимаясь за холодную курицу.

— Могу поспорить, что стрелок из меня вышел бы не хуже! — самоуверенно заявила девушка.

— О! Какое изобилие талантов! — генерал отложил куриную ножку, вытер руки салфеткой и, пройдя к своей лошади, достал пистолет. — И на что же мы с вами поспорим, бесценная Юлия Петровна?

— Право, не знаю... — растерялась девушка, поднимаясь. Она не ожидала такого поворота.

— Моя фуражка против вашей шляпки! — предложил генерал и подал юной амазонке пистолет. — Осторожно, он заряжен.

— Я могла бы зарядить и сама.

— Нисколько в этом не сомневаюсь, — Ипполит Александрович вновь улыбнулся и стал отмеривать шаги. Отойдя на порядочное расстояние, он отвел в сторону правую руку с фуражкой и крикнул: — Если попадете в эту мишень, то она ваша!

— А вы не боитесь, что я промахнусь и нечаянно попаду в вас? — отозвалась Юлия.

— Нисколько! Я на лезгин и чеченов ходил, Юлия Петровна! Неужели после этого я могу бояться такой очаровательной ручки? К тому же я совершенно доверяю вашей меткости!

Не то, чтобы Юлия сама сомневалась в своей меткости, однако же из-за учебы в пансионе она давно не практиковалась, а ее мишени никогда не находились столь близко от живых людей. Но опозориться в глазах этого человека девушка не могла! А потому, поборов волнение, она старательно прицелилась и, шепнув тихонько «Господи, благослови!», выстрелила. И тотчас зажмурила глаза от страха.

— Bravo, Юлия Петровна! — раздался возглас генерала.

Юлия открыла глаза и с облегчением увидела, что он уже идет к ней, неся в руке простреленную фуражку.

— Вот, — подал он ее девушке, — ваш боевой трофей!

В фуражке лежал сорванный цветок. Девушка вдохнула его запах и приладив его к трофейному головному убору, озорно надела фуражку на голову.

— Она вам очень к лицу! — рассмеялся Ипполит Александрович. — Клянусь, я с удовольствием взял бы вас в адъютанты!

— А я бы с превеликим удовольствием согласилась, — искренне ответил Юлия.

Какая славная улыбка у этого показавшегося ей при первом знакомстве мрачным и хмурым человека, какой заразительный смех... Сколько в нем

жизнерадостности, обаяния, открытости. И никакой заносчивости, педантства, будто бы не генерал он, а... капитан. В свои 42 года он по-юношески строен и гибок. Его лицо, овеянное дымом многих сражений, дышит отвагой и благородством. Лицо это кажется строгим, почти суровым, но, едва касается его улыбка, оно преобразуется, выцветляется.

— Скажите, Ипполит Александрович, а какое *ваше* любимое стихотворение у Лермонтова? — спросила девушка, когда с трапезой было покончено.

Генерал ненадолго задумался, а затем негромко прочел своим глуховатым, вкрадчивым голосом:

— Как небеса твой взор блистает
Эмалью голубой,
Как поцелуй, звучит и тает
Твой голос молодой;
За звук один волшебной речи,
За твой единый взгляд,
Я рад отдать красавца сечи,
Грузинский мой булат;
И он порою сладко блещет,
И сладостней звучит,
При звуке том душа трепещет
И в сердце кровь кипит.
Но жизнью бранной и мятежной
Не тешусь я с тех пор,
Как услышал твой голос нежный
И встретил милый взор.

Юлия зарделась и опустила глаза.

— Нам пора ехать, — заметил Ипполит Александрович. — Я отвечаю за вас перед вашими

родителями, а они, должно быть, уже волнуются нашему долгому отсутствию.

И снова сладостный трепет охватил девушку, когда генерал с исключительной предупредительностью и галантностью помог ей забраться на лошадь. Ей было немного стыдно этого чувства, и в то же время она стремилась удержать его как можно дольше, лелея его сладость.

— Ипполит Александрович, а давайте завтра навестим каменного охотника! — попросила Юлия.

— Конечно же, мы его навестим, — отозвался генерал, поправляя ее стремя. — Только теперь лето, и глаза его не увлажняют слезы.

— Зато мои, боюсь, не удержатся от них, и я снова будут молить святого Георгия помиловать охотника. Как в детстве...

И снова стремительный аллюр через долину! Снова ветер в разгоряченное лицо, не боящееся могущих навредить его белизне солнечных лучей! И неудержимый, рвущейся их груди ликующий крик! От свободы, от полета, от того, что подле нее человек, с которым (страшно признаться самой себе!) она хотела бы никогда не разлучаться!

Поздно вечером в комнату Юлии шаловливой змейкой скользнула младшая сестра, Натали. Вид у девушки был самый заговорщицкий. Юлия, тщетно пытавшаяся сосредоточиться на чтении, живо отложила книгу и поманила сестру к себе. Та, как когда-то в детстве, проворно забралась к ней под одеяло:

— Ты знаешь, что говорят? — заговорила она, округляя глаза.

— И что же?

— Что наш хозяин, Ипполит Александрович, будет просить твоей руки! Я слышала, как маменька говорила об этом с Парашей!

Юлия зарделась и не смогла сдержать счастливой улыбки:

— По правде, мне и самой кажется, что к этому все идет.

Натали с удивлением посмотрела на сестру:

— Так ты что, рада этому?

— Конечно же, рада! — развела руками Юлия.

Как можно не радоваться стать женой такого прекрасного и достойного человека? Сын фаворита Императора Павла князя Куракина, до того, как пойти по военной стезе, он успел окончить Дерптский университет, получив медицинское образование. Оно позволяло Ипполиту Александровичу в сражениях самому оказывать помощь раненым. Даже теперь, имея генеральский чин, он ходил в атаку со своими солдатами и при надобности помогал им, как медик. Об этом Юлии рассказывал отец по дороге из Ставрополя во Владикавказ, куда хлебосольный генерал Вревский пригласил погостить семейство Варпаховских, с главой которого был дружен. Отец рассказывал также, что Ипполит Александрович имеет три золотых шашки «за храбрость»... Еще в 1838 году он участвовал в экспедиции Раевского на восточный берег Черного моря, был ранен на штурме Аргуани. Затем находился в экспедиции Граббе в Северном и Нагорном Дагестане, усмирлял мятежную Чечню, сражался с Шамилем... Брат же Вревского пал в Крыму в дни Восточной кампании. Слушая эти рассказы, девушка ожидала увидеть пред собой уже немолодого, сурового героя-генерала, человека войны, жесткого и далекого от светских привычек. Каково же было ее удивление, когда ей предстал богатый дом, обставленный с вельможным блеском и изысканностью, со множеством безделиц и диковин, в том числе слугой-арапчонком, которому тотчас было поручено заботиться о барышнях. Сам же хозяин легко украсил бы собой любой императорский

прием, Юлия еще не встречала человека столь светского, обходительного, галантного...

— Сестрица, да ты... не влюблена ли в него? — еще больше удивилась Натали, приподнявшись на одном локте и пытливо заглянув в лицо откинувшейся на подушки Юлии.

Юлия повернулась к сестре и ответила просто и для самой себя неожиданно легко:

— Да, душенька Наташенька, я в него влюблена. И если только он сочтет меня достойной быть его женой, то не будет в мире женщины счастливее меня.

Глаза Натали напоминали два блюдца, она не верила своим ушам.

— Но Юленька, светик мой, он же в отцы тебе годится!

— И что же? Разве она какая-нибудь дряхлая развалина? Ничуть... К тому же это так прекрасно, что он мудрее меня, опытнее меня. Я еще не жила, ничего не знаю... А он! Сколько всего за его плечами! Сколько испытаний, сколько встреч, сколько знаний! Я буду всему учиться у него!

— Испытаний... — хмыкнула Натали. — Знаешь ли ты, что в этом доме живет трое внебрачных детей его?

Юлия побледнела и закусила губу. Конечно, не одна ее младшая сестрица с детства слушала все разговоры в людской, долетали и до Юлии отголоски их. И о детях Вревского, носивших фамилию Терские, она слышала. Слышала и о том, что их мать, черкешенка, не была Ипполиту Александровичу женой и скончалась два или три года назад.

— Я их даже видела сегодня, — продолжала Натали. — Точнее одного, старшего... Настоящий Мцыри! А, может быть, даже Демон... Или Печорин? Лицо бледное, волосы черные, глаза горят! Еще мальчик совсем, но хорош, светик мой, удивительно

хорош! Жаль, что он бастард без имени, а не то вот был бы жених!

— Какой же ты ребенок еще, Наташенька! — Юлия обняла сестру и поцеловала ее в голову. — Как ты верно заметила, Ипполит Александрович годится мне в отцы. Он уже зрелый мужчина, много лет на войне провел. И могло ли быть, чтобы до сих пор не было у него женщины? Мне больно, конечно, знать, что была в его сердце иная любовь, что первенцы его не мною рождены будут, но я принимаю это. И о детях его я буду заботиться, как если бы они мои были.

Натали с любопытством смотрела на сестру:

— Надо же, а я-то думала, что утешать тебя придется! А ты у нас, оказывается, счастливица! Ну, так жди своего суженного со дня на день. Матушка сказывала, будто уж на воскресном обеде гостям о помолвке объявлено будет.

Эти слова наполнили сердце Юлии безмерным ликованием. Девушка вскочила с постели и закружилась по комнате. Схватив за руку сестру, она и ее потянула за собой, напевая в полголоса мотив известного вальса.

— Сумасшедшая! — смеялась Натали.

Месяц с умудренной улыбкой заглядывал в спальню, наполняя ее мечтательным мерцанием, и в его синеватом свете кружились в вальсе две босые, облаченные в ночные сорочки юные красавицы, похожие в этот миг на вынырнувших их реки русалок.

«Ваше Императорское Высочество, вот уже два месяца как я в Петербурге... и до сих пор не имела счастья ни встретить Вас, ни увидеть даже издали. На первой неделе Поста я была один раз в церкви, в Мраморном дворце, но на следующий день письмом от ген. Комаровской получила запрещение от Е. В. Великой княгини когда-либо приходить туда. Не умею выразить, как мне было это больно, обидно, грустно; тем более что в этот день именно я горячо молилась о счастье всех, которые близки Вашему сердцу. Простите... неуместность этих строк. Я ничего не прошу. Это от полноты душевной хотелось выразить Вам беспредельную и, к несчастью, ненужную преданность. Да пошлет Милосердный Господь Вам здоровья и удачи во всем...»

Завершив это тяжелое и не единожды переписанное письмо, Юлия откинулась на спинку кресла и посмотрела на картину «Перенесение раненого генерала Вревского на Лезгинской линии», написанную по ее заказу художником Горшельтом. Чем больше лет проходило с того страшного дня, тем отчетливее сознавалось: никто и никогда не сможет заменить ей ее Ипполита Александровича. Он был для нее всем: заботливым и нежнейшим мужем, мудрым и снисходительным отцом и наставником, надежным и преданным другом... И этому-то счастью был положен ничтожный срок в один год. Год, в который она не успела даже дать ему наследника и теперь не имела себе этого утешения.

В 1858 году Ипполит Александрович отправился в экспедицию в Дидоэтию — давний очаг мятежей. В этом походе русские войска разорили 40 аулов и взяли

штурмом три каменных укрепления с орудиями. Как всегда, генерал Вревский лично вел в атаку своих солдат... 20 августа при штурме аула Китури он был смертельно ранен двумя пулями. Его успели перевезти в Телав, куда срочно приехала Юлия. Возлюбленного мужа нашла она уже без сознания, но еще надеялась, что ее уход, ее любовь смогут спасти его. Несколько дней Юлия не отходила от умирающего, но все ее старания оказались напрасны. Ипполит Александрович скончался у нее на руках...

Уже тогда знала она, что никакой другой мужчина не займет его места, но все же по настоянию матери поехала с нею в Петербург. Родители полагали, что столица с ее придворной жизнью скоро поможет зарубцеваться ране 19-летней вдовы. В конце концов, она была юна, хороша собой, получила от мужа немалое наследство, которое, впрочем, по своему желанию разделила с его детьми, несмотря на противление родных. Ничто не мешало ей вновь устроить свою жизнь. Ничто, кроме памяти. Памяти, которая оставалась верна одному человеку...

Петербург на первых порах увлек Юлию. Никогда не покидав Кавказа, ей было интересно все в новом прекрасном городе. К тому же Государыня Императрица отнеслась к ней с материнским участием и сделал ее своею фрейлиной. Однако, вскоре придворная жизнь начала тяготить молодую вдову. Она чем-то напоминала ей жизнь в пансионе, где все подчинено уставу, и нет ни простора, ни воли, к которым так привыкла ее душа. Правда, в пансионе Юлия хотя бы постигала науки. А что делала она здесь? На роскошных балах и приемах? Нарядная, роскошная пустота, парадное безделье...

Императрица в ту пору родила девятого ребенка и начинала серьезно хворать легкими. Хрупкое здоровье этой ранимой и глубоко религиозной женщины подрывало и то, что ее муж дарил свою

благосклонность другим дамам... Стремясь скрыться от постоянных сплетен и пытаюсь хоть как-то укрепить здоровье, Мария Александровна часто путешествовала. Вместе с нею, сделавшись не только компаньонкой, но при необходимости и сиделкой Государыни, Вревская побывала во многих странах: Германии, Италии, Франции, Сирии и даже в Палестине, у Гроба Господня. Эти путешествия были лучшим временем в жизни Юлии в последние годы. В детстве грезилла она о далеких странствиях, и, вот, благодаря Императрице, мечта сбылась. Она увидела если не весь мир, то, по крайней мере, значительную часть его.

Конечно, не только частые путешествия скрашивали тоску петербургского «плена». Она сблизилась здесь со многими прекрасными людьми: художниками, литераторами, музыкантами... Вокруг нее всегда собиралось достойное общество, чему служили и ее красота, и неизменная сердечность обращения, и умение поддерживать беседу. Ее друзьями были Полонский и Григорович, Верещагин и Айвазовский, Ференц Лист и Виктор Гюго... Ею многие восхищались, а многие завидовали. Восхищались — мужчины. Завидовали — женщины. Восхищение первых мало трогало сердце Юлии, зависть вторых иногда причиняла боль... Но никому и никогда не отвечала она дурным словом, взяв за правило никого не осуждать и не хулить.

Среди частых гостей Вревской был и младший брат Императора Великий князь Константин Николаевич, общество и беседа которого доставляли Юлии особенную радость.

Генерал-адмирал российского флота, сам с азов и на практике постигший морское дело и буквально возродивший его после несчастливой Восточной войны, соавтор многих реформ и поборник развития русского Дальнего Востока, Константин Николаевич был одним

из образованнейших людей своего времени. Он много читал и прекрасно разбирался в литературе, особой же страстью его была музыка. Великий князь владел несколькими музыкальными инструментами, часто музицировал на виолончели, органе и фортепиано — один, в четыре руки, а подчас и в восемь с гостями. Фортепиано сопровождало его даже в плаваниях. Эта страсть напоминала Юлии мужа и его полковой оркестр, который при нем стал звучать не хуже столичных...

Конечно, даже такой обаятельный, просвещенный, красивый внешне и внутренне человек, как Константин Николаевич, не мог вытеснить из ее сердца незабвенный образ Ипполита Александровича. И их отношения не могли зайти дальше дружеских, платонических. Тем более, что Юлия не допускала мысли об иной связи, нежели освященный Церковью брак. Однако, внимание Великого князя доставляло ей известную приятность. А когда они играли в четыре руки в ее гостиной или же беседовали о новинках литературы за чаем, серебристые колокольчики начинали звенеть в ее душе, рассеивая всякую печаль, даруя чувство тепла, радости, уюта...

Было ли грешно это чувство? Эти странные отношения с женатым мужчиной, имевшим к тому — и это знали все в столице — еще одну, побочную семью? Может быть, и так. Юлия не искала в них ничего больше, нежели вполне невинные часы душевной близости, радости общения, но может ли мужчина быть столь же чист в своих помыслах и желаниях? Ведь не слепа же была она и видела, каким взором время от времени смотрит на нее Великий князь, с каким давно уже не дружеским трепетом подносит к губам ее руку. Видела, но предпочитала делать вид, что не видит, боясь лишиться сердечного удовольствия, идя на поводу у... слабости. Да, это была слабость, и теперь

Юлия отчетливо сознавала этого. И в этой слабости была единственная ее «вина»...

Но Великая княгиня заподозрила иное. Обидно и унижительно было это подозрение, но и могла ли Александра Иосифовна рассудить иначе, зная, как любим ее муж дамами и как не равнодушен к ним сам? К тому же... всему Петербургу было ведомо, что юная сестра баронессы Вревской, Натали, очаровала самого Государя...

Лицо Юлии подернулось болью. Ее любимая Наташа всегда была чересчур ветреной, а столичная жизнь, столь богатая соблазнами, окончательно вскружила хорошенькую головку. Когда же на очаровательную девушку обратил внимание Император, то ничто в ней не воспротивилось этим отношениям. Любила ли Наташа Государя? Если бы она его действительно любила! О, насколько бы легче было тогда Юлии! Настоящее, все покоряющее себе чувство, готовое на любую жертву, пусть и не снимает греха, но все же не может не служить оправданием согрешающим. Но Наташа Александра Николаевича не любила... Конечно, он был приятен ей, она была даже увлечена, но не больше. Самолюбию юной кокетки просто льстило внимание Царя. И роль фаворитки казалась ей не позором, но честью. А Государь? Любил ли он Наташу? Юлия в это не верила. С его стороны это было также одно из многочисленных увлечений доброго, прекрасного, но иногда очень слабого человека...

Императрица, узнав о новой фаворитке мужа, отдалила от себя Вревскую. Конечно, умом эта мудрая женщина понимала, что Юлия не может отвечать за поступки своей сестры, что за ней нет никакой вины, но измученное сердце больной Государыни тяготилось присутствием той, которая волей-неволей напоминала ей об очередной обиде мужа. Юлия понимала чувства своей дорогой покровительницы и страдала тем

больше, что считала себя виноватой перед ней за то, что не смогла удержать сестру на верной стезе. Потеря дружбы Марии Александровны стала для нее большим ударом, ведь за годы, проведенные вместе, она всей душой привязалась к кроткой и такой несчастливой Царице...

Немного поразмыслив, Вревская окончила письмо, прибавив постскрипtum о том, что уже завтра вновь покидает столицу с тем, чтобы сперва навестить свое орловское имение, а затем совершить вояж по Европе, который, быть может, отвлечет ее от грустных мыслей и даст время улечься страстям в столице.

— Доставь это письмо Великому князю Константину Николаевичу, — велела Юлия явившейся по звонку горничной.

— Слушаюсь, барыня.

Остаться в истомившем ее Петербурге Юлии, действительно, было больше незачем. Тем более после страшной трагедии, сделавшей фамилию Вревских предметом всеобщих пересудов...

«Мцыри», «Демон», «Печорин», — так шаловливая Наташа с отрочества называла Павла, старшего сына Ипполита Александровича. Он и впрямь был удивительно хорош, этот черноокий мальчик, унаследовавший мужественную статью отца и восточную красоту матери. После гибели Ипполита Александровича Юлия добилась, чтобы его дети унаследовали его фамилию, титул и всячески заботилась об их будущем. Годы не приглушили интерес, питаемый к Павлу Наташей. Да и его блестящие глаза загорались страстью, когда он видел ее. Идя навстречу чувствам молодых людей, Вревская устроила их брак, надеясь, что хотя бы сестра ее будет счастлива в семейной жизни, и жизнь эта будет долгой и многоплодной.

Если бы не ветреность Наташи... Если бы не горячий нрав Павла... Есть мужья, которые закрывают глаза на неверность жен. Есть и такие, что используют ее для продвижения по службе, если избранником неверной становится особа высокопоставленная. Но Павел отнюдь не был Печориным. То есть не был человеком, привычным к растленности света. «Мцыри», возросший на необузданном Кавказе, с молоком матери впитал нрав этого края.

— Поль — настоящий дикарь! — иногда жаловалась Наташа после очередной ссоры.

Да, дикарь... И этот дикарь не мог выносить кокетства любимой жены. И ее измену снести не мог... Будь соперником ровня, дело кончилось бы дуэлью. Но царей на дуэли не вызывают... И «Мцыри» обратился «Демоном». «Мне не достает актерской жилки для этой жизни», — как-то сказал он. И впрямь... Чтобы жить в свете, нужно уметь играть роль, а этот мальчик не хотел и не умел играть, а хотел просто жить. Во время очередной ссоры он до полусмерти избил Наташу. А когда пришел в себя и понял, что натворил, бежал прочь из сделавшегося адом дома. Нет, он не бежал от возмездия, но лишь от ужасного зрелища окровавленной, безжизненной жены... Какое-то время Павел блуждал по улицам столь чужого ему, дитю заснеженных гор и зеленых долов, города, а затем бросился в величавую и такую непохожую на веселые горные стремнины Неву и тем покончил все расчеты с жизнью.

От мыслей о несчастных детях закололо сердце, оно последнее время стало сбивать, но Юлия не придавала этому значения. Бедные-бедные дети... Могла ли она защитить их? Предотвратить трагедию? Может быть, если бы они жили во Владикавказе, их жизнь сложилась бы счастливее? Но Натали никогда бы не согласилась уехать из столицы. К тому же соблазны есть везде, и

поддаться им или укротить себя, зависит лишь от человеческого сердца. А сердца этих детей оказались так слабы... Каждое — по-своему...

Хотя перед дальней дорогой следовало выспаться и запастись силами, Вревская всю ночь не сомкнула глаза. Утром, выпив кофе и без аппетита позавтракав, она уже облачалась в дорожное платье, когда горничная доложила, что барыню спрашивают на улице. Окончив свой туалет, Юлия поспешно вышла из дома и огляделась в поисках того, кто желал ее видеть, но не решился войти в дом. Заметив стоявшую за углом карету, окна которой были плотно зашторены, она подошла к ней. Дверца тотчас отворилась, и знакомая рука протянулась ей навстречу.

— Мне кажется, такие меры предосторожности могут дать лишь больше пищи для сплетен, — сев в экипаж, заметила Вревская, немного задетая тем, как по-воровски приехал к ней Великий князь.

— Простите, ма шер, но я не мог иначе, — откликнулся Константин Николаевич. — К тому же ваша Дарья и мой Андрей — люди проверенные и надежные, а больше никто не знает ни о вашем письме, ни о моем визите.

Тонкое, благообразное, холеное лицо Великого князя выражало глубокую печаль и смущение. И это непритворное выражение изгладило явившееся было неприятное чувство.

— Вы могли бы не рисковать, а прислать письмо.

— Как можно! — воскликнул Константин Николаевич. — Я не мог не увидеть вас перед новой столь долгой разлукой, не проститься с вами, не попросить прощения...

— За что?

— За все, бесценная и чудная Юлия Петровна! За невольную компрометацию, за грубость моей жены...

Она не имела никакого права так возмутительно обойтись с вами!

— Оставим это, — Юлия мягко коснулась руки своего августейшего друга. — Ваша супруга — женщина, которая вас любит...

— Если бы! Вы прекрасно знаете, сколь несчастлив оказался этот брак для нас обоих! Она никогда не понимала меня...

— Все же она ваша жена и имеет право на ревность.

— И как вам только это удастся, ма шер? Никогда никого не осуждать? Не говорить дурного слова? Да еще и живя в свете...

— Один святой муж говорил: чаще заглядывай в свою душу, и тогда отпадет желание судить других.

Константин Николаевич помолчал:

— Мудрый совет, но исполнимый лишь для таких чистейших душ, как ваша. Знаю, что и меня вы не осуждаете... И все же, ангельское вы создание, простите меня! За все простите!

— Вас я благодарю, — тихо ответила Вревская. — За все. И за то, что вы приехали сегодня — также. Мне было бы очень жаль не увидеть вас напоследок. Не пожелать не в письме, а вживе, чтобы Господь всегда-всегда хранил вас.

Великий князь с почтительностью и нежностью взял в свои обе руки Юлии и поднес их к губам. Она не спешила отнять их, хотя прощальный поцелуй затянулся, ибо знала, что поцелуй этот последний. Ей хотелось ответить ему какой-нибудь невинной лаской, сестринской, провести рукой по его пышным с легкой проседью волосам, утешая в предстоящей разлуке. Но такая ласка была бы уже нескромной, почти неприличной. И Вревская удержалась от нее.

— Прощайте, ангельская душа, бесценная Юлия Петровна! Пишите хотя бы изредка и непременно

возвращайтесь. И берегите себя. И знайте, что... вы всегда в моем сердце, и этого ничто не изменит.

— Как и вы в моем, как бесконечно дорогой мой друг...

— Кланяйтесь от меня Тургеневу.

— Откуда вы знаете, что я увижу его?

— Ваши имения соседствуют. И если вы не найдете его там, то уж непременно встретитесь в Париже.

— Я передам и поклон, и то восхищение, что вы выказывали его последним вещам.

Константин Николаевич улыбнулся:

— Передавайте лишь поклон и неизменное почтение. А мое восхищение оставьте себе, ибо, верьте слову, нет женщины, которой бы я восхищался больше, нежели вами.

Никогда природа не бывает столь прекрасна, как в мае и июне, когда солнце почти не гаснет, а на земле все цветет, благоухает, все поет на разные голоса. Вот, божественный оркестр, чудо которого не превзойдут даже дивные «Грезы любви» Листа в его собственном несравненном исполнении! Вот, аромат, подобного которому не создаст даже самый искусный парфюмер! Вот, красота которую не в силах передать даже самые великие художники! Хотя подчас они умеют дивно дополнять ее... Как удалось это Воронихину чудными беседками и мостиками, ставшими единым целым с природою Павловска.

Из всех парков Павловск Юлия любила особенно. Императрица Мария Федоровна, которой принадлежал он, и при которой в большой степени был обустроен, любила природу, а потому стремилась, чтобы ее вотчина походила не на декоративный парк — творение рук человеческих, но на первозданный лес, сад — творение Божие, лишь заботливо ухоженное и украшенное человеком.

Хотя до дома Полонского³⁵ было недалеко, но Вревская не спешила, нарочно замедляя шаг и время от времени останавливаясь, сворачивая на ту или иную аллею. Прощаясь с любимым парком, она хотела впитать в себя его образ, его аромат и забрать с собой — туда где пахнет порохом и кровью, где вся земля изувечена войной и насилием...

— Будь мне теперь лет 35, я и сам бы отправился в Болгарию! — промолвил Тургенев, заботливо поддерживавший Юлию под локоть.

Вревская чуть улыбнулась, представив себе Ивана Сергеевича, этого холеного барина, сибарита, в

солдатском мундире сражающимся с турками. Хотя... Многие ли могли представить ее, блестящую светскую даму, фрейлину Государыни, красавицу, неизменно окруженную поклонниками — сестрой милосердия?.. А вот, уже обряжена она в сестринской платье, оказавшееся по уверению Тургенева ей очень к лицу, а через считанные дни начнется для нее другая жизнь. Настоящая жизнь, к которой всегда стремилась ее душа. Жизнь, в которой не останется места душепагубной праздности, но все будет подчинено делу, служению людям, облегчению страданий...

К этой настоящей жизни устремились уже и иные знакомые Юлии: Верещагин, Поленов, Гаршин... А сколько молодежи! Служащих, студентов... Юноши, которые, казалось бы, привыкли и желали лишь предаваться неге, вдруг порывали с беспечной жизнью и устремлялись навстречу опасности, лишениям, страданиям, может быть, даже смерти. Среди них был и милый Саша Раменский, приятель младшего брата Вревской, нередко бывавший в ее доме... Юноша год не доучился в университете, боясь, что война закончится раньше, чем он успеет на нее попасть.

События на Балканах преобразили русское общество. Когда славяне Герцеговины подняли восстание против турецкого владычества в 1875 году, Славянские комитеты России тотчас организовали сбор пожертвований в пользу страдающих под игом единоверцев. Общество попечения о больных и раненых воинах направило в Черногорию свои лазареты. Один из первых возглавил князь Петр Алексеевич Васильчиков. Следом за ним на фронт отправился хирург Николай Васильевич Склифосовский. Отправились к месту военных действий и русские добровольцы — и первым из них редактор консервативной газеты «Русский мир» и покоритель Ташкента, генерал Михаил Григорьевич Черняев, имя которого стало символом русской борьбы

за славянское дело, доблести и героизма. Лучшие умы России требовали от правительства оказания помощи страдающим братьям. Аксаковы, Достоевский, Самарин, Мещерский, Иловайский и многие другие погрузились в славянский вопрос. Пожертвования поступали отовсюду, жертвовали и вступали в добровольцы все: от аристократов до простых мужиков. Давно уже русский народ — от верхов до низов — не переживал такого единения и такого духовного подъема!

Государь, однако, не спешил официально вступить в войну. Памятуя горькие уроки Восточной кампании, стоившей жизни его отцу, он опасался их повторения. Однако, общественное мнение требовало решительных действий по защите варварски истребляемых братьев, и Государь сдался...

— Мне немного жаль, что вы продали ваше имение, — прервал размышления Юлии Тургенев. — Хотя мы с вами весьма нечасто бывали в наших вотчинах, а все же мне приятно было соседствовать с вами.

— Мне также, Иван Сергеевич. И те дни, что я гостила у вас в Спасском, были одними из лучших за годы моего вдовства.

— Вы тогда спасли мне жизнь!

— Не преувеличивайте.

В тот свой приезд в орловское имение, оставленное ей мужем, Юлия навестила Тургенева и застала его тяжело больным. Нисколько не беспокоясь о сплетнях, она осталась подле страждущего друга и выхаживала его, как образцовая сиделка. С той поры в истории их дружбы открылась новая страница, страница глубочайшей взаимной привязанности и доверительности. Теперь имение было продано с тем, чтобы на вырученные деньги сформировать санитарный отряд для отправления в Болгарию. Сама Юлия стала в нем рядовой сестрой милосердия...

Отряд был сформирован из 22 двух сестер и добровольцев Свято-Троицкой обители милосердия. В их числе были и другие знатные дамы — Дондукова-Корсакова, Новосильцева, Абаза, Цурикова... Свято-Троицкая община была старейшей «кузницей» сестер милосердия. Ее основали еще в 1844 году принцесса Терезия Ольденбургская и Великая княгиня Александра Николаевна, любимая дочь Государя Николая I, скоропостижно скончавшаяся в том же году. Вместе с мужем, принцем Петром Георгиевичем, известным благотворителем, Терезия Васильевна пожертвовала в общину свыше 130000 рублей из собственных средств. Эта удивительная женщина сама трудилась в ней с великой ревностью: кроила и шила одежду детям приюта и школы при общине, привлекала к этому и детей своих. Принцесса ни разу не пропустила своей очереди дежурства у постели больных. В итоге, возвращаясь однажды пешком с ночного дежурства в больницу, она простудилась, и это послужило началом сведшей ее в могилу чахотки. Жертвенный характер матери унаследовала дочь Терезии Васильевны, Великая Княгиня Александра Петровна. В детстве она раздавала все свои карманные деньги на помощь бедным и больным детям, а в юности из своих средств стала помогать различным благотворительным учреждениям, возникающим, в том числе, по ее инициативе.

Свято-Троицкую же общину возглавила Елизавета Алексеевна Кублицкая-Пиоттух, под руководством которой будущие сестры милосердия проходили специальный курс. Елизавета Алексеевна скончалась в самом начале 1877 года, и это несчастье отсрочило отправку отряда Вревской на фронт.

— Знаете, милый Иван Сергеевич, единственное, что примиряло меня с постоянными отсрочками нашего отъезда в действующую армию, это возможность

увидеться с вами. Ведь если бы мы отправились, как было намечено, этой встречи бы не состоялось.

— Мое самое искреннее сочувствие сопровождало бы вас в вашем странствии, но мне было бы нестерпимо жаль, если бы я опоздал приехать и уже не застал вас в Петербурге.

Тургенев некоторое время молчал, глядя себе под ноги. Его красивое, породистое лицо, которому удивительной шла ранняя седина густых волос и бороды, не старящая его, но еще более прибавлявшая благородства, было печально.

— Знаете, — сказал он неожиданно, — мне сегодня отчего-то хочется говорить с вами непростительно откровенно. Должно быть, ваш отъезд так действует на меня. И этот прекрасный день, в который... не хочется думать о том, что где-то льется кровь, и люди терпят страшные мучения... С тех пор, как я вас встретил, я полюбил вас дружески — и в то же время имел неотступное желание обладать вами.

Вревская опустила глаза, но рука ее осталась лежать на руке Ивана Сергеевича. Он же продолжал, время от времени взглядывая на свою спутницу:

— Желание это было, однако, не настолько необузданно, чтобы просить вашей руки. Ведь я уже немолод... К тому же другие причины препятствовали. А с другой стороны, я знал очень хорошо, что вы не согласитесь на то, что французы называют *une passade*...

А с третьей — милый Иван Сергеевич никогда не смог бы оставить своей Полины, — мысленно окончила Юлия. Эта любовь русского барина к французской певице принесла ему не мало унижений (каково быть всю жизнь «приживалом» при чужой семье, ведь Виардо была замужем!) и отняла многое из того, что могла бы дать ему жизнь. Тургенев был богат, знаменит, многими любим. Но у него не было ни семьи,

ни детей. А ведь он заслуживал семейного счастья! Но вместо этого бедный Иван Сергеевич год за годом, как привязанный, ездил по Европе за своей возлюбленной... И жаловался в письмах Юлии на свое униженное положение, на обреченность вечно оставаться «в прихожей». Но кто же обрек его на это, если не он сам? Бедный, милый Иван Сергеевич! Юлия, действительно, дружески любя его всем сердцем, жалея его, ничего не могла предложить ему кроме дружбы. Она никогда не смогла бы обречь на «прихожую» себя, делить мужа с другой женщиной...

Вревская чуть пожала руку своего спутника, которой он с величайшей заботой поддерживал ее. Тургенев виновато улыбнулся:

— Простите, дорогая. Я слишком разболтался... Как-то вы написали мне, что ваш женский век прошел. Хотя это и клевета ваша на саму себя, ибо вы прекрасны, но я не о том. Когда вы вернетесь, и когда мой мужской век пройдет — а ждать мне уже весьма недолго — тогда, я не сомневаюсь, мы будем большими друзьями — потому что ничего нас тревожить не будет. А теперь... — глаза седовласого красавца блеснули юношеским озорством, — я все же скажу последнюю дерзость. Вот, я иду теперь рядом с вами, держу вашу руку в своих, и мне все еще становится тепло и несколько жутко при мысли: ну, что, если бы она меня прижала бы к своему сердцу не по-братски?

Юлия весело рассмеялась и, обратившись к Ивану Сергеевичу лицом, коснулась пальцами обеих рук его груди:

— Мой милый друг, вы всегда в моем сердце, но вы правы, самые нежные объятия мои могут быть лишь объятьями преданно любящей вас сестры. А теперь, — она поправила платок, — еще более, чем когда-либо.

Прогулка подходила к концу, впереди показался дом Полонского, и сам Яков Петрович уже бежал

навстречу гостям, раскинув руки для объятий.

— Друзья мои, ну, что же вы так долго! Мы уже заждались вас! Юлия Петровна, несравненная! Вы не можете себе вообразить, как вам идет этот наряд! Все-таки истинно-русская женщина совершенно схожа с русской природой! Одевание простое и скромное подчеркивает ее красоту паче всякой роскоши! А вы, Юлия Петровна, — заключил поэт, целуя руку Вревской, — истинно русская женщина!

Бои на линии сел Мечка и Трстеник разгорались с начала октября. Войскам рвущегося к Бяле Сулейман-паши противостояла здесь русская 12-я дивизия. Здесь же храбровал Руцукский отряд Наследника Цесаревича Александра Александровича.

Эта ноябрьская ночь выдалась непроглядно темной, ливень хлестал, не переставая, так что окрестное бездорожье грозило окончательно превратиться в месиво, а воды Лома — выйти из берегов. А с рассветом воздух сотряс оглушительный грохот орудий. Турки начали атаку русских позиций...

Метко била турецкая артиллерия, норовившая вести огонь с возможно близкого расстояния. Смешивались фонтаны грязи с осколками и фрагментами растерзанной человеческой плоти... Господи, сколько же страшных приспособлений изобрели люди, чтобы убивать и увечить друг друга! Ядра, разрывные гранаты...

— Осторожно, сестра!

Упала Юлия в грязное месиво, и совсем рядом разорвался снаряд. Тут же и заблажил кто-то... Ползком добралась Вревская до раненого. Взрывом оторвало ему руку, другой уцелевшей он судорожно крестился и плакал:

— Как же, как же я домой вернусь теперь? Кому я буду нужен там без руки?! Я же пахать не смогу...

— Тише, тише, голубчик, вы жене своей нужны будете, любим, лишь бы живым только! — Юлия уже проворно перетягивала страшную рану, чтобы несчастный солдат не истек кровью.

Присутствие женщины заставило страдальца взять себя в руки. Стиснув зубы, он молчал, по-видимому,

продолжая молиться, а, когда Вревская попыталась взять его под уцелевшую руку, чтобы отвести на перевязочный пункт, мотнул головой:

— Сам дойду...

И он, действительно, пошел сам, шатаясь, придерживая культу здоровой рукой, вздрагивая, но не пригибаясь от взрывов, точно надеясь, что очередное ядро довершит начатое...

Сколько таких страдальцев уже вывела, вытащила сегодня Юлия с поля боя? Разве здесь до счета... В этот земной ад сестры милосердия не ехали. Их было здесь лишь двое, она и Маша Нелидова. Ночевали в кишасей мышами сырой землянке с «окнами» из промасленной бумаги. И ладно бы они! Но и раненые находились в таких же условиях! Велик русский солдат! Как только способен он был выносить все это?

И снова била, била, не переставая, артиллерия... А совсем рядом уже всю шла рукопашная. Встретили русские штыки неприятеля в лощине, где располагалось село Мечка, и теперь кололи яростно — зря Сулейман пошел этим путем! Станет мечкская лощина могилой многим его башибузукам... Но и мы — сколько же недочтемся сегодня?

А что если прорвутся турки?..

Эта мысль неотступно являлась Юлии все последние недели, и даже смертельная усталость не могла истребить ее. Что будет, если прорвутся турки? Что будет с ранеными? С мирными жителями, и без того столь настрадавшимися? Будет только то, что Бог попустит... Но, Милосердный, какие же ужасы попускаешь Ты подчас на нашей горестной земле!

Ее служение началось в румынских Яссах, далеко от передовой, в госпитале, и должно было продлиться четыре месяца — таков был срок командировки сестер. Страна, в которой очутились они, оказалась совершенно дика. В хате, в которой поселилась Вревская, у нее не

было ни стула, не стола. Спала она на носилках, а письма писала на чемодане. В первую же ночь она проснулась от шума и увидела прямо перед собой хозяина-румына, сидевшего перед ней на корточках, кутившего трубку и с любопытством разглядывавшего. Его жена пряла при лучине, сидя в углу. Эти люди вставали и принимались за работу очень рано. И к этому надо было привыкнуть, равно как и к их бесцеремонному любопытству. А также к местной «кухне», состоявшей преимущественно из кукурузы.

Но можно ли было роптать, изо дня в день видя столько калек, безруких, безногих, и все это без куска хлеба в будущем?..

Юлия всей душой привязалась к своим раненым, большим добрякам и умницам, не чаявшим души в заботливой «сестрице». Она быстро училась всему — ассистировала при операциях, при необходимости сама извлекала пули... А необходимость случалась. Врачей и сестер в госпитале не хватало катастрофически: ведь в день приходило от одного до пяти поездов с ранеными! От трех до одиннадцати тысяч больных! Иногда перевязки длились сутками. А ведь нужно же было еще раздавать лекарства, кормить тяжелых, следить за кухней и за сменой белья. Сестры падали в обморок от усталости...

Наконец, четыре месяца миновали, и измученные женщины засобирались домой — в двухмесячный отпуск. Ждали дома и Юлию, но она не могла уехать. Видя, как не хватает рук в госпитале, она страшилась вообразить, в каком же положении находятся раненые на передовой? Кто же ходит за ними там? Поэтому из Ясс она отправилась в Болгарию — сперва в Бухарест, а оттуда — в полевой госпиталь близ деревни Бяла, откуда было уже совсем близко до передовой, и где всякий день ожидали прихода турок.

«Родной и дорогой мой Иван Сергеевич! — писала она Тургеневу. — Наконец-то, кажется, буйная моя головушка нашла себе пристанище в Болгарии, в передовом отряде сестер... тут уже лишения, труд и война настоящая, щи и скверный кусок мяса, редко вымытое белье и транспорты с ранеными на телегах. Мое сердце екнуло и вспомнилось мое детство и былой Кавказ... 14 ноября видела бомбардировку из Журжева и грохот орудий долетал до меня. Дороги ужасны. Всякое утро мне приходится ходить за три версты в 48-й госпиталь, там лежат раненые в калмыцких кибитках и мазанках и их 400 человек на пять сестер, ранены все очень тяжело».

Плетни, смазанные глиной — в таких условиях должны были находиться раненые 48-го госпиталя. Посетивший его великий хирург и герой Севастопольской обороны Пирогов предупреждал, что в подобной сырости раны не могут хорошо заживляться, а к тому она способствует развитию опасных болезней. Но слова великого хирурга ничего не могли изменить. Снабжением армии и лазаретов занимались сплошь ушлые местечковые подрядчики из числа банкиров и обычных авантюристов, каким-то образом получивших разрешения на то у нечистых на руку чиновников. Эти бесстыжие деятели наживались на русском солдате самым отвратительным образом. Ему поставляли сухари с примесью глины и воды из отравленных холерой источников, его норовили обобрать на каждом шагу. Ну и, конечно, раненые герои никогда не могли рассчитывать на необходимое количество бинтов и лекарств... Возмущение сестер и врачей наживательством проходимцев на войне и людских страданиях и бездействием правительства ничего не меняло...

Ежедневно в прифронтной госпиталь поступало по 800-1500 человек. Но и этой нечеловеческой нагрузке

Юлии показалось мало, поэтому, когда brave солдаты Руцукского отряда, расквартированные в Бяле, выдвинулись на передовые позиции, она отправилась с ними — на передовой перевязочный пункт.

— Сестрица... — этот страдальческий голос показался Вревской смутно знакомым. Она напрягла слезящиеся от дыма глаза и с большим трудом различила лежащего у дерева человека. Солдат бессарабского полка... И тотчас екнуло сердце — какие страшные раны! Обе ноги, точно лохмотья... Странно, что этот несчастный еще в сознании, еще не истек кровью. В несколько прыжков, низко пригнувшись от ружейных пуль, Юлия достигла раненого и опустилась перед ним на колени. Взглянув в лицо несчастного, она едва не лишилась чувств.

— Саша?! Сашенька, голубчик, да как же это вас...

— Юлия Петровна... — по посиневшим губам искаженного мукой лица промелькнула тень улыбки, а глаза прояснились. — Это сон или это правда вы?

— Это я, миленький, я, — шептала Юлия, утирая его лицо и сглатывая слезы. Этот мальчик, частый гость ее дома, был глубоко дорог ее сердцу. Не имевшая детей, она матерински привязалась к милому, молчаливому, застенчивому юноше, так по-детски робевшему в ее присутствии и смотревшему на нее с безмолвным восторгом...

— Лучшего сна я не желал бы в свои последние минуты... Теперь мне будет легче уйти...

— Что вы, Сашенька! Вы жить будете! Милый, родной, я вас выхожу! — в этот миг Вревской отчетливо вспомнился Телав, безжизненное тело раненого мужа, и сама она, целующая руки его и сквозь слезы шептавшая с мольбой: «Милый, родной! Только не оставляй меня! Свет мой, я здесь, я рядом! Я ни на шаг не отойду от тебя! Я тебя выхожу!»

Голова юноши поникла, он, наконец, лишился сознания...

В этот миг неведомо откуда показался турецкий солдат с обнаженным ятаганом. Увидев Юлию и Раменского, он что-то закричал и ринулся на них. Подле Саши лежало его ружье. Вревская, не раздумывая, схватила его и, едва успев прицелиться, выстрелила. Старая тренировка не подвела: турок свалился замертво... Юлия дрожащими руками отбросила оружие. Она поняла, что зашла слишком далеко, и следом за убитым могли показаться другие турки. Что если они уже прорвали фронт?.. Надо было уходить, а, самое главное, спасти Сашу...

И откуда взялись силы, чтобы взвалить его на свои плечи? Чтобы нести, увязая в растекающейся глине? Она уже не пригибалась, не падала, когда рядом раздавался взрыв. Она боялась одного: причинить еще большую боль Раменскому, боялась не удержать, не донести его до перевязочного пункта... или донести слишком поздно...

— Сестра, да вы с ума сошли! — какой-то солдат бросился к Вревской, перехватил у нее ее ношу. — Я сам отнесу его! Не для ваших плеч такая кладь!

Вдвоем они дотащили Сашу до перевязочного пункта и уложили на носилки. Врач, лишь глянув на него махнул рукой:

— Этот — уже покойник! Давайте следующего!

Юлия хотела рвануться за ним, умолять помочь, но силы оставили ее. К тому же, как бы не бунтовало обливающееся кровью сердце, но сестра милосердия знала: доктор прав... Опустившись на колени у носилок Раменского, она заплакала. От ее ли слез или от иного он неожиданно пришел в себя.

— Сестрица, не плачьте... — прошептал он, не узнавая Вревскую. — А Юлия Петровна? Ах да, это был сон...

— Нет, миленький, нет! Я здесь, рядом! — отвечала Юлия, целуя юношу в лоб, растирая его ледяные руки и стараясь не смотреть на то, что было еще недавно его ногами.

— Сестрица, если вы когда-нибудь встретите Юлию Петровну, скажите ей... — голос Саши прервался. — Скажите ей, что я всегда любил ее... И что умираю с ее именем на устах...

Голос вновь затих. На этот раз — навсегда. Вревская, содрогаясь от рыданий, уткнулась головой в грудь усопшего. Милый, бедный мальчик! Зачем вы оказались здесь? Зачем мы все здесь в этом крошечном аду? И зачем сам этот ад?.. Вы были так юны, так чисты, вы должны были жить долго и непременно быть счастливым!

Лишившись чувств, она не помнила, кто и как перенес ее в землянку. Наутро, разбитая и подавленная, Юлия присутствовала на похоронах Раменского. День выдался вновь дождливый и темный. С поля боя, оставшегося за русскими, отогнавшими турок прочь, убирали тела погибших. И весь этот траурный пейзаж дополнял надрывающий душу вой собак, стаями бродивших вокруг лагеря, рвавших мертвые тела и всякий миг готовых напасть на живых, если таковые в одиночку слишком далеко отходили от бивуака...

У Юлии болело сердце. Еще в детстве говорили доктора, будто слабо оно у нее, но она никогда не думала об этом. Да и не верилось амазонке, искательнице приключений в остережения врачей... А вот теперь перехватывало дыхание мучительно, и темнело в глазах. Впрочем, полгода таких перегрузок, пожалуй, и здоровое сердце не выдержит? Может быть, все-таки стоит уехать в отпуск, отдохнуть? Но как можно отдыхать, когда здесь такой ад? Когда ежедневно прибывают транспорты с ранеными

солдатами, и эти несчастные лежат в сырых землянках и мазанках, среди мышей и насекомых, питаюсь одними сухарями... И нескольким измученным сестрам нет времени подойти к каждому, позаботиться о каждом... Нет, нельзя уезжать. Этим людям она теперь нужнее, чем кому бы то ни было в этом мире. А человеку должно быть там и с теми, кому он нужен...

В госпиталь Вревская возвращалась, сопровождая транспорт с ранеными. Тяжело ползли подводы по размытым дорогам. На всяком ухабе их встряхивало, и несчастные страдальцы пронзительно стонали или бранились, но помочь им было нечем. Иного транспорта для их перемещения не было. И иных дорог также... И даже иной погоды... Господи, как же ухаживать за ранами, если все повязки на них вымокли от дождя? И какую крепость нужно иметь, чтобы не простудиться в такую погоду и без того ослабевшим людям? Велик русский солдат! Но зачем же до такой степени не щадят его?

Из госпиталя в Бялу Юлию и других сестер часто подвозили на телегах, но в этот вечер все было отдано под прибывавших раненых. Делать было нечего, пришлось идти пешком. Этот путь совсем не внове был Вревской, она преодолевала его всякое утро — только в противоположную сторону. Но по утрам он давался легче...

«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна...» — раз за разом повторялся в усталой голове 90-й Псалом — оберег от всякой напасти. И впервые в жизни то и дело выпадали из памяти с младенчества заученные строки его. Дождь так и не прекратился, хотя и моросил теперь слабо, иногда обращаясь снежной пылью... Хлюпали высокие сапоги, увязая в грязи, и как нельзя

кстати была захваченная из госпиталя палка, ставшая отменным посохом. Счастье еще, что вокруг Бялы не бродят ужасные стаи собак, как в окрестностях Мечки и Трстеника...

Наконец, три версты остались позади, и Юлия вошла в дом, занимаемый Красным Крестом. Здесь, при свете свечей, показавшемся Вревской после непроглядного ночного морока нестерпимо ярким, четыре ее подруги, вернувшиеся прежде и, по-видимому, успевшие воспользоваться телегой, как раз принимались за ужин. Картошка с курицей! Даже дурно сделалось от запаха...

— Ах, Юленька! Какая ты бледная! Ты вымокла вся! У тебя, кажется, жар! — тотчас засуетились сестры, забыв о трапезе и бросаясь к Юлии.

Ее немедленно переодели в чистое, сухое белье, и Вревской стало совестно за свое, успевшее обратиться в лохмотья, укутали теплым пледом, напоили сладким горчим чаем. Есть Юлии не хотелось, но она все же сделала над собой усилие и проглотила несколько картофелин и маленькую куриную ножку.

— Тебе, Юленька, отпуск нужен, иначе заболеешь и свалишься, — озабочено заметила сестра Гагарина.

— Тут слишком много дела, чтобы можно было решиться оставить... — покачала головой Вревская. — Тут все меня привязывает, интересует... И труд слишком мне по сердцу. А о болезнях Бог ведает.

— При Дворе уже соскучились по тебе. Государыня недавно изволила заметить, что ей тебя не хватает...

— Подвиг уже совершен, орден она получит, — усмехнулась Юлия. — Брат также писал мне об этих словах Императрицы. Господи, как же меня злят ее слова! Неужели они думают, что я прибыла сюда совершать подвиги? Мы здесь, чтобы помогать, а не получать ордена!

Милая, добрая, кротчайшая Государыня! Неужели даже ее голубиная душа не в состоянии вместить этого? Неужели за столько лет так худо узнала она свою наперсницу? Или ожесточилась эта душа от болезни и обид? А Константин Николаевич? Неужели и он думает, что она поехала в этот ад искать подвигов и орденов? Единственный «подвиг», которого искала она — это служить страждущим там, где всего более не хватает этого служения...

Ночью Юлия забылась тяжелым, лихорадочным сном. Прерывистый этот сон, путающийся с явью и более походящий на бред, не дал ей отдыха, мучая кошмарами. Кошмарами, которые день за днем проходили перед ее глазами... Раненый, которому на операции удалили всю верхнюю челюсть... Раненые, расплющенные столкнувшимися вагонами поезда... Калеки без губ, без носов, без рук... Беженцы! Вот, они идут по пыльной дороге жутковатым табором... Женщины, дети... Мужчин нет. Они или убиты, или сражаются. Женщины и дети истощены, грязны, едва прикрыты отрепьями. Они уже ни о чем не молят, кроме как о хлебе, и едят его со звериной жадностью... «Мамочка, мамочка!», — плачет девочка, сунув в руку растрепанной женщины с остановившимся взглядом ломоть хлеба. Но та не отвечает, только смотрит перед собой, и недвижимое лицо ее страшно. Ее мужа распяли на воротах их собственного дома, а грудного ребенка турок вырвал из рук, подбросил и... рассек ятаганом надвое... Несчастливая помешалась. А, вот, еще девочка... Ей не больше двенадцати. Она не безумна, нет. Только то и дело вздрагивает, заикается, и лицо, глаза... Это не лицо ребенка, но лицо старухи! О том, как глумились над нею турецкие изверги, не могли слушать даже солдаты... И сколько их — таких! Растерзанных детей, опозоренных и замученных женщин, вдов, сирот... Вся земля должна была бы содрогнуться от слез их,

разверзнуться и поглотить их мучителей! Но земля стояла непоколебимо, и солнце освещало ее, не отвращая лица от творимых преступлений, и лишь русские солдаты орошали ее своей кровью, чтобы все эти матери и дети более не знали подобных ужасов. Велик русский солдат!..

Мелькали, как в калейдоскопе, лица страдальцев в распляемом лихорадкой мозгу. Звучали, сливаясь воедино, голоса, плач, крики... Наконец, Вревская очнулась. Солнце стояло уже высоко, и Юлия удивилась, что никто не разбудил ее. Вскоре, однако, недоумение разрешила записка сестры Гагариной, в которой та просила дорогую Юленьку хотя бы день провести в покое, дабы восстановить надорванные силы.

Какой же может быть покой? Когда столько страдания... Вревская решительно поднялась, поборов слабость, умылась ледяной водой, выпила горячего чаю и тронулась в привычный путь. На счастье, небо, наконец, сменило настроение и вместо потоков своих слез одарило землю солнечным светом. Это придало Юлии бодрости, и она, несмотря на мучающий ее жар, к полудню достигла госпиталя. Доктор Павлов, увидев ее, обрадовался:

— Юлия Петровна, а мне сказали, что вы сегодня не придете!

— Я немного устала после нахождения на передовой, заспалась, простите.

— Что вы, что вы! Вы более, чем кто-либо, заслужили отдых! Но раз вы здесь, то прошу вас, займитесь вон тем пациентом, — Павлов кивнул на изможденного, заросшего щетиной солдата с блуждающими глазами, привязанного ремнями к носилкам.

— Что с ним?

— Сильная контузия и в результате помутнение рассудка. Временное или нет, сказать не берусь. Сейчас он совершенно невменяем и даже агрессивен. Мы пытались покормить его, но он выбил из рук сестры миску с похлебкой... Может, у вас получится?

Юлия молча кивнула и прошла на кухню. Взяв миску с похлебкой, она возвратилась к безумному солдату и села подле него.

— Господь с тобой, мой родной, — сказала она негромко, опустив руку на лоб страдальца. Солдат чуть вздрогнул и глухо зарычал.

— Не сердись, братик, я не обижу тебя. И никто тебя больше не обидит. Ты много боли принял на себя. Мы все много боли приняли... Но Господь покроет нашу боль и воздаст радостью.

Солдат притих, и в мутных глазах его промелькнуло что-то похожее на осмысленность.

— Давай помолимся с тобой, как в детстве... Как учили нас наши матушки... Отче наш, иже еси на небесех... — когда Вревская дочитала молитву, безумный уже смотрел на нее неотрывно расширившимися глазами.

— А теперь нам нужно подкрепить наши силы, — сказала Юлия. — Давай, мой родной, разделим по-братски эту еду, — с этими словами она проглотила ложку похлебки, а другую протянула ко рту солдата, и тот покорно принял ее. Так, «по-братски», была съедена вся миска.

— Вот и славно, — вымучено улыбнулась Вревская, чувствуя нестерпимую дурноту, и перекрестила страдальца.

Тот вдруг весь задрожал, на глазах его выступили слезы.

— Святая... — дрожащим голосом вымолвил он и заплакал.

Юлия также не могла сдержать слез. Погладив безумного по сплывшимся волосам, Вревская встала, чтобы отнести на кухню пустую миску. Но вдруг в глазах ее все потемнело, и она упала на пол.

— На помощь! На помощь! — раздались взволнованные голоса раненых. — Сестре Вревской плохо! Помогите!

Кто-то уже давал ей нюхательные соли, щупал лоб...

— Она вся горит... Простудилась, бедняжка... Тиф...

...Каменный охотник ожил, вздохнул полной грудью, выехал из ущелья и с ликующим криком поскакал навстречу солнцу. Юлия, в черной амазонке, на маленькой дымчатой кобылке мчалась рядом с ним, счастливая, что святой Георгий, наконец, услышал ее молитвы. А навстречу им летели два всадника на белых конях: в одном из них Юлия узнала Ипполита Александровича, а в другом — копьеносце с сияющим вокруг головы нимбом — святого Георгия, покровителя Русского воинства.

Последние свои дни баронесса Юлия Петровна Вревская провела без сознания, лежа на соломе в сырой мазанке. Ухаживали за ней раненые солдаты. За свою жизнь отважная амазонка сражалась столь же мужественно, как и за их. И почти победила, страшная болезнь стала сдаваться, но... Перетруженное сердце милосердной сестры не выдержало. Хоронили ее все те же солдаты. В той же могиле нашла последний приют и сестра Мария Нелидова. Памятник, поставленный им, стоит по сей день, и болгары чтут память русских женщин, отдавших жизни за их свободу. Иван Сергеевич Тургенев написал проникновенный некролог памяти женщины, которая была для него больше, чем

другом. Стихами откликнулись на ее безвременную кончину Яков Полонский и Виктор Гюго. «Русская роза, погибшая в болгарской земле», — так написал о ней великий французский писатель... Четверть века спустя, уже в годы Первой мировой войны, скульптор Павел Антокольский, вдохновляясь прекрасным и жертвенным образом баронессы Вревской, создал скульптуру сестры милосердия.

В доме картин (Павел Михайлович Третьяков)

Знаменательный день, к которому готовилась Вера Николаевна все последнее время, пришел как-то вдруг. Рано-рано проснулась она и уже не могла заснуть вновь из-за волнения. Дочь замуж отдавала — и то не переживала так! Но и шутка ли сказать — дочерей все замуж отдают, а Государя чаем потчевать не всякому в жизни доводится.

Прежде Императора Вера Николаевна видела лишь издали, несколько лет назад, во время коронационных торжеств. Что за торжества были — любо вспомнить! Вся Москва, что дворец сказочный была! А фейерверки! А иллюминация! Весь Кремль сиял в ночи, электричеством освещенный! Диво да и только! Паша еще сказал тогда, что за электричеством будущее, что со временем в каждый дом придет это диво...

А каков был Государь! Само величие! Высился он надо всеми окружавшими его, а статью был истый богатырь! Но не грозен был богатырь этот, от него исходило ощущение спокойной и ровной силы, силы — не угрожающей, а защищающей. Его встречали ликованием, его любили так, как, может быть, не любили его предшественников. Потому что в глазах народа величие соединялось в нем с народностью. Он казался «своим».

Странно, но совсем не терялась подле могучего мужа миниатюрная Императрица. Было в этой маленькой, живой и улыбчивой женщине замечательное обаяние, которое никак не могло остаться в тени...

И, вот, теперь венценосная чета должна была почтить своим посещением дом Веры Николаевны.

«Заехать на чай». Вот так, запросто... Вера Николаевна бросилась было хлопотать об обильном угощении, но Паша остановил:

— Его Величество знает, к кому и зачем жалуется. И мы примем его достойно, как то надлежит. Суеты и торжеств не нужно ни ему, ни нам. Государь, сколь мне известно, ценит простоту и честность. Я разделяю его вкусы.

Некоторое время Вера Николаевна оставалась в постели — силы стали подводить ее со смертью бедного Ванечки. Да и Пашу повергла она в отчаяние. Все мечты, все планы свои о продолжении семейного дела основывал он на любимом сыне. И, вот, забрал Господь ангелочка... С той поры милый Неулыба, и без того редкой даривший окружающих своей улыбкой, стал мрачен и угрюм, будто бы ушел в себя. Репин так точно уловил это и передал! Ушедший в себя взгляд, отрешенность от внешнего и полная сосредоточенность на невидимом, неведомом досужим людям сокровенном. На этом портрете он был похож на пустытника, погруженного в «умное делание». Не хватало лишь рясы да скуфьи... Знать, недаром мальчишки прозывали его в отрочестве Архимандритом!

Вера Николаевна тяжело поднялась с постели, преклонила колени перед образом, умылась и, облачившись в капот, вышла из спальни. Где в этот час искать мужа, сомнений не было. Павел Михайлович всегда строго следовал своему расписанию: ежедневно вставал в 6 утра, летом купался или гулял, зимой под чашку кофе работал в кабинете, затем хотя бы на полчаса заходил в галерею, а к 9 утра был уже в конторе. В 3 часа отправлялся в Московский коммерческий банк, а оттуда — в свой магазин, располагавшийся неподалеку. После обеда вновь работал в конторе... А затем до глубокой ночи читал у себя в кабинете. За все годы совместной жизни Вера

Николаевна не видела мужа праздным, никогда не могла убедить его отдохнуть. «Я не могу без работы», — следовал неизменный ответ. И, действительно, не мог...

Миновав несколько залов галереи, расположенной в смежном с жилым домом здании, специально выстроенном для картин мужем Пашиной сестры Каминским, Вера Николаевна, наконец, увидела высокую сухопарую фигуру мужа. Скрестив руки на груди, Павел Михайлович в задумчивости стоял перед двумя портретами. Погрузившись в свои мысли, Неулыба не услышал приближения жены и, оглянувшись, лишь когда ее ласковые руки легли ему на плечи:

— Намыкаемся мы, Паша, с твоими картинами, — пошутила Вера Николаевна. — Я, вот, недавно мимо «Чаепития в Мытищах» Перова прошла, так толстый поп с картины на меня столь презрительно глянул, будто я ему и вправду чай пить мешаю!

Нет, напрасно силилась она вернуть хотя бы на миг на лицо мужа чудную улыбку, так преображавшую его. Правда, карие, темные, как любимый им кофе, глаза потеплели. И, положив ладонь на руку жены, он отозвался тихо:

— Я и сам, Веруша, чувствую, что картины своей жизнью живут. Намедни принес два портрета на одну стену и сразу понял: не хотят они висеть рядом. Один портрет даже утром упал — видать, выжил его соперник! Вот, перевесил! Посмотрим, как эти уживутся.

— Когда-нибудь они нас выживут! На улице жить станем!

Все-таки промелькнула улыбка под проседью усов:

— А разве плохо на свежем-то воздухе? У нас щеки будут — кровь с молоком! Станем на улице чаи распивать и целоваться... — и Павел Михайлович ласково поцеловал жену. — Глядишь, и здоровьем крепче станем!

Вера Николаевна рассмеялась. В свое время уже едва-едва не выселили ее картины из дома. Когда уж совсем проходу не стало от них и от посетителей, желавших осмотреть уникальное собрание, да и от скипидара и лака дышать нечем сделалось, пришлось ставить вопрос со всей строгостью: или картины, или семья! Неулыба, точно очнувшись и заметив, наконец, отчаянное положение родных, быстро разрешил неудобство: не могут родные с картинами в одном доме ужиться, значит, построим отдельный дом для картин!

— Ах, Паша, сегодня сам Государь к тебе жалует, а тебе будто бы и дела нет! Небось, еще в конторе работать будешь?

— Конечно, — пожал плечами Павел Михайлович. — Отчего бы нет? Их Величества лишь к полудню быть обещали. До этого времени многое успеть можно!

— А когда раньше приедут они?

— Я полагаю, что Государь — человек пунктуальный. Но даже если и нет, то что с того? Я во всякий час готов принять его. Передо мной ведь, Вера Николаевна, в отличие от вас и всего дамского сословия проблема гардероба не стоит!

Вера Николаевна снова засмеялась. Да уж, трудно было найти человека, перед которым эта проблема стояла бы в меньшей степени, чем перед ее мужем. Во все годы ходил он в черном сюртуке одного покроя, сапогах с квадратным мысом и голенищами под брюки, одного покроя драповом пальто... Со стороны казалось, будто бы Паша вовсе не меняет одежды, что служит она ему вечно. Но нет, менял, когда изнашивалась она — на точно такую же. «Помилуйте, такой фасон давно вышел из моды!» — говорил ему портной. А Паша отмахивался: «Ты, братец, не по моде шей, а по вкусу моему».

— Ты, Пашенька, конечно, и для Государя переодеваться не станешь?

— А ты, Веруша, полагаешь, что он приедет полюбоваться на меня в клоунском фраке и каких-нибудь кружевах? — приподнял бровь Павел Михайлович. — А я, вот, предполагаю, что Его Величество едет насладиться прекрасной живописью, представленной в этих залах!

— Вы, Павел Михайлович, просто несносный мизантроп, — покачала головой Вера Николаевна, целуя мужа. — Хотя что я хочу от человека, сбежавшего с открытия собственной галереи! Подумать только! Открытие детища всей его жизни! Торжественное собрание в его честь! А он сбегает, как Подколесин от женитьбы... Еще и нас с собой увез, полгода по заграницам путешествовали.

— По-моему, тебе с девочками куда как понравились те заграницы? Денег в Париже порастратили без моего одобрения... Виданное ли дело! Рояль им американский приглянулся! Рубинштейн играет на рояле русском и ничего! А нашей девочке захотелось заграничный...

— Он обошелся дешевле русского, и он лучше!

— Платите за худшую вещь дороже да дома! Можно, можно желать иностранную вещь совсем у нас не производимую, но заказывать за границей то, что преспокойно можно купить дома, это глупая блажь!

— Полно-полно, ты уж измучил нас этим несчастным роялем! — сплеснула руками Вера Николаевна.

— Как и вы меня моим побегом с собственных торжеств.

— Милый Стасов до сих пор обижается на тебя. И не он один.

— Милому Стасову не нужно было писать той восторженной ерунды, что он посвятил моей персоне. Такие мадригалы хороши разве что на похоронах! Да и то, на своих я предпочел бы подобного не слышать.

— Эх, милый ты мой Неулыба, — Вера Николаевна склонила голову на плечо мужа. — Ладно, попью

сегодня кофе с тобой, а затем займусь приготовлениями к приезду Государя.

Уже покидая зал, она оглянулась и добавила:

— А, знаешь, ты, пожалуй, прав...

— В чем именно? — обернулся Павел Михайлович.

— Эти портреты лучше смотрятся вдвоем, нежели со своими прежними парами.

— Значит, так их и «повенчаем»!

Кофе этим утром собралась пить вся семья, кроме уехавшей в очередное путешествие с Зилоти маленькой Веры и Миши. Бедный Миша, как всегда, завтракал у себя. Не считая смерти ангела Ванечки, не было в жизни Третьякова дня более черного, чем тот, когда консилиум врачей, осмотрев Мишу, что-то долго говорили по-немецки, и в их мало понятных речах Павел Михайлович услышал и понял одно слово: «идиотизм». Физически здоровый, милый ребенок был слабоумен, и медицина ничем не могла помочь этому несчастью. Третьякову и всегда тяжело было смотреть на больного сына, но после смерти Ванечки это стало причинять ему физическую боль. Нет-нет, а прокрадывалась в сознание кощунственная мысль-ропот: почему, Господи, не Мишу взял ты, но единственного наследника, гордость и надежду семейную?..

Скарлатина, бич Третьяковского рода. Без малого полвека назад забрала она, треклятая, отца и четверых младших... Остался у матери лишь Павел, старший, да Сергей с Сонечкой. Сергею в ту пору 15 было, Павлу — 17. Слава Богу, родитель покойный с малолетства к труду приучил их, и даже в эти нежные годы сумели они с матерью сохранить семейное дело.

Делу тому не первый век шел. С середины 17 века известны были купцы Третьяковы, а в конце 18-го основался в Москве прадед — Елисей Мартынович с сыновьями. Отцу, Михаилу Захаровичу, купцу 2-й

гильдии, принадлежало уже пять лавок в Старых рядах на Красной площади, в которых велась торговля полотном, а также торговые, всенародные, дворянские и семейные мужские и женские бани на Якиманке. Под стать отцу была и мать, Александра Даниловна, дочь крупного коммерсанта по экспорту сала в Англию.

Михаил Захарович дал детям достойное домашнее образование, поощрял любовь к чтению и даже сам составил и издал книгу «Цветы нравственности, собранные из лучших писателей к назиданию юношества Михаилом Третьяковым». Но पुще всего приучал родитель детей к труду. Праздность — мать пороков, труд человека кормит, а лень портит, — это с детства усвоилось твердо. С отроческих лет Павел Михайлович служил мальчиком в лавке: бегал по поручениям, зазывал покупателей и помогал их обслуживать, выносил помои и мел полы... С тех патриархальных пор многое переменялось. Многие купцы стали стремиться к тому, чтобы дети их росли и воспитывались барами! А зачем, спрашивается? Нехорошая вещь деньги, вызывающая ненормальные отношения. Для родителей обязательно дать детям воспитание и образование и вовсе не обязательно обеспечение! Вырастают молодцы и девицы, никакого дела порядочно не знающие, ни на что не годные, но привыкшие к увеселениям и роскоши. Ни обществу от них пользы, ни самим им от себя радости. Потому что праздность не может приносить радости, а расточительство рано или поздно приводит к разорению. И что же дальше? Разорившихся, проигравшихся в пух и прах дворян навидались уже, теперь и дети купеческие по их стопам пошли. Спустит такой сорванец родителями скопленное и все — пропал человек! На Хитровке сгинет или руки на себя наложит... Потому что дела в те руки не дадено!

Отец завещал матери распоряжаться делами до 25-летия старшего сына. Под ее чутким приглядом и с ее мудрыми советами Павел и Сергей принялись преумножать отцовское наследие. Вступив же в наследование, они основали Новую Костромскую мануфактуру льняных изделий, построили в Костроме несколько фабрик по переработке льна, учредили знаменитое Товарищество Большой Костромской льняной мануфактуры с капиталом 270 тысяч рублей золотом. Эта мануфактура производила теперь больше пряжи, чем вместе взятые льнопрядильни Швеции, Голландии и Дании, а их ткани получали награды за рубежом. Кроме того, братья построили бумагопрядильные фабрики, на которых работало около 5 тысяч человек. Эти-то предприятия, в первую очередь, и давали необходимые средства для главного дела жизни...

— Папенька, а можно ли Сережа придет сегодня к нам?.. — робко спросила Александра, размешивая сливки в кофе и не поднимая глаз на отца. Щеки девушки покрыл при этом густой румянец.

И эта туда же... Имея четырех дочерей, Павел Михайлович мечтал, чтобы все они вышли замуж за купцов, людей основательных, крепких, которые сделались бы и ему надежными помощниками. И что в итоге? Дурной пример подала девочкам тетка! Некогда Третьяков познакомился в Италии с молодым архитектором Александром Каминским и ввел его в свой дом. Сорванец не нашел ничего лучшего, как влюбиться в Соню. И она влюбилась в него! Не рассчитывая на благословение, которое Павел Михайлович в ту пору никогда бы не дал (выдать сестру замуж за человека без постоянного дохода!), они попросту сбежали, и о своей свадьбе Соня сообщила брату в письме... Что было делать? Только одно — обеспечить нежданному зятю доход. Каминский стал сперва семейным

архитектором, а затем и главным архитектором Московского купеческого общества. В 70-е годы братья Третьяковы приобрели участок на Никольской улице, снесли часть китайгородской стены и проложили короткую улицу между Никольской и Театральным проездом. Каминский строил комплекс зданий и торжественный въезд на новую торговую улицу. Само собой, строить дом для своих картин Павел Михайлович также поручил зятю.

Следующей птичкой, еще более безвозвратно улетевшей из родного гнезда, стала дочь Вера. Ее избранником оказался пианист Александр Зилоти... Все же есть известный вред от удовольствия иметь всегдашними гостями своего дома художников, композиторов, музыкантов и литераторов! Все они прекрасны в качестве друзей, но вот беда: некоторым из них приходит в голову мысль породниться. А поддерживать таланты Павел Михайлович предпочитал в независимом качестве мецената, а не в роли тестя... Но что было делать? Встретив нежелание отца благословить ее брак, девочка так огорчилась, что заболела! Пришлось явиться к ее одру и обещать ей дать в мужья кого она пожелает — лишь бы только была здорова и счастлива!

Теперь, вот, новые амуры... У милой Сани явился ухажер — Сережа Боткин. Этот хоть врач, профессия на всю жизнь. Однако же, не купец... Пожалуй, и младшие выберут себе женихов из среды интеллигенции. Не за сапожников же пойдут... Павел Михайлович с уважением относился к любой профессии — лишь бы дело велось честно и давало средства к жизни. И честный сапожник, трудолюбивый и искусный в своем ремесле, виделся ему во всяком случае достойнее, чем нечестный или неталантливый ученый. Но девочки, как ни старался отец, уже тяготели к иному, нежели патриархальный купеческий, миру. Что ж, ведь сам же и

воспитывал их барышнями... Языки, фортепиано, искусства... Только что не позволил Вере, большой музыкантше, в консерваторию поступать. Хотя сам Чайковский настаивал!

— Так что же, папенька? Можно Сереже прийти? — нетерпеливо ерзала Саня.

— Может, еще всю родню позовем? На Царя поглазеть? Не медведь, чай, — отозвался Третьяков, отхлебывая кофе.

— Ну, папенька! — вздернулось от чашечки хорошенькое пунцовое личико, умилительно-умоляюще смотрели глаза. И что делать? Как таким глазам отказать? Уже и еще три пары глаз впились в него требовательно, и особенно — Веры Николаевны, которой Сережа, всегда готовно и со знанием обсуждавший с ней ее хвори, очень нравился.

— Бог с ним, пусть приходит. Но чтобы больше ни о ком не заикались мне! Знаю я вас! Дай вам волю — целую ярмарку мне здесь устройте! — с нарочитой сердитостью разрешил Павел Михайлович.

— Спасибо, папенька! — Саня выпорхнула из-за стола, так и не притронувшись к кофе, и, поцеловав отца, убежала в свою комнату.

— Невеста! — улыбнулась, вздыхая, Вера Николаевна.

Павел Михайлович покачал головой и, не тратя времени, отправился в контору.

Большое хозяйство большого попечения требует, только припусти все самотеком да чужому догляду вверх — прахом пойдут труды многолетние. За себя Третьяков не беспокоился. Он был вовсе равнодушен к роскоши и никогда не тратил на себя лишней копейки. К тому же приучал семью: даже вещи покупал домочадцам лишь тогда, когда старые изнашивались. Павел Михайлович был убежден, что человеку позволительно иметь лишь то, что ему действительно

необходимо для достаточной жизни, все же средства сверх того должны идти на благо общества. И, вот, учреждения, основанные им к последнему, вызвали у Третьякова наибольшую заботу. Одно только Арнольд-Третьяковское училище для глухонемых, основанное с покойным братом, скольких хлопот стоило! Молодой Арнольд, будучи глух сам и выучившись за границей, пытался организовать училище для подобных себе детей из неимущих семей, но не мог найти на это благое начинание средств. На помощь пришел Третьяков. Он купил для училища большой каменный дом с садом на Донской улице, отправил директора Органова за границу ознакомиться с постановкой дела в аналогичных школах, организовал попечительский совет училища... Ныне в его стенах жили и обучались общеобразовательным предметам и ремеслам 156 учеников и учениц. В люди они выходили в 16 лет, получив профессию. Павел Михайлович, привыкший вникать во все, лично подбирал лучших преподавателей, знакомился с методикой обучения, следил, чтобы воспитанников хорошо кормили и одевали. Позже он построил рядом больницу на 32 кровати.

А еще был приют для слабоумных на Большой Серпуховской, приют для вдов и сирот художников на 16 квартир, стипендии студентам Московского и Александровского коммерческих училищ, помощь семьям солдат, погибших во время Крымской и Русско-турецкой войн, школам, храмам, содержание русскоязычной газеты «Рижский вестник», поддержка экспедиций Миклухо-Маклая...

Для человека, не имевшего концессий и зарабатывавшего свои капиталы трудом, куда как велика была эта кладь! Но иначе жить Павел Михайлович не умел. Да и отец, Царствие ему Небесное, не завещал иного... С малолетства усвоил Третьяков:

все, от общества нажитое, должно возвращаться обществу. Отец, уходя в мир иной, завещал простить должников. Сам Павел Михайлович на случай своей смерти уже давно расписал свое состояние на нужды опекаемых им учреждений и начинаний...

Государь, как и ожидал Третьяков, был человеком пунктуальным. Ровно в полдень у крыльца остановилась открытая коляска, запряженная четверкой белоснежных коней. Кроме венценосной четы в галерею пожаловал и брат Императора, генерал-губернатор Москвы Великий Князь Сергей Александрович с супругой. Замечательный контраст представляли эти два брата! Оба очень высокого роста, но один — подобен дубу, массивен и кряжист, огромен, а другой — вроде самого Третьякова — тонок и хрупок, и, кажется, будто бы нарочно вытянут. Но при внешнем несходстве близки были братья. Оба истые русаки, русофилы. Оба страстные любители живописи и коллекционеры. Их стараниями стала возрождаться и расцветать оттесненная прежде на задворки Петербурга Москва.

Еще в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке на Ходынском поле преобладали русские промышленные товары и русские произведения искусства. А к последовавшей через год коронации Государя были отреставрированы соборы, расписана стенною живописью Грановитая палата, в том виде, в каком она была при царе Алексее Михайловиче, устроены новые помещения для Патриарших библиотеки и ризницы... Под руководством историка Забелина открылись палаты Исторического музея — любимого детища Великого князя. Императорскими театрами стали заведовать Островский и Майков... Московская консерватория получила значительные средства на постройку нового

большого здания. В архитектуре стал преобладать русский стиль.

Все это не могло не радовать такого же русака и русофила Третьякова. Вместе с Верой они встречали гостей на лестнице своего дома. Жена в ожидании важных гостей не находила себе места и даже принуждена была принять капли. Однако обращение Августейших особ скоро утишило ее волнение. Из всех четверых лишь генерал-губернатор держался строго и словно напряженно. Государь был весел и прост в обхождении. Дамы же — сама сердечность и обаяние. Внешне они также имели мало сходства меж собою: высокая, статная Елизавета, слывшая первой красавицей Европы, и миниатюрная, лучистая Мария. От обеих при этом веяло теплом и доброжелательством. Эти женщины тотчас без всякой натуги располагали к себе своей внимательностью, не наигранным радушием.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, Павел Михайлович! — заговорил Император мягким басом, приветливо улыбнувшись хозяевам. — Счастлив, что, наконец, смогу увидеть ваши сокровища! А то, вот, недавно, являюсь на выставку, а на всех приглянувшихся мне работах уже надпись стоит: «Продано Третьякову»! Ничего-то нам, бедным петербуржцам, не достается! — Государь рассмеялся, а вслед за ним — Государыня. Улыбнулся и Третьяков:

— Простите, Ваше Величество, не знал, что перебиваю картины у столь важного коллекционера!

— Полно, — Государь опустил тяжелую руку на острое плечо Павла Михайловича, — коллекционеры равны в своем праве. А если вы те картины отобрали, то, значит, и у меня вкус недурен. Говорят ведь, что у вас дьявольское чутье на шедевры!

— Я лишь беру, весьма может быть ошибочно, все только то, что нахожу нужным для полной картины

нашей живописи, избегая по возможности неприличного...

— Не скромничайте. Идемте же, я желаю видеть ваши шедевры!

Павел Михайлович, поклонившись, повел гостей по залам своего возлюбленного детища. Полторы тысячи картин лучших русских живописцев — ему было что показать!

— Позвольте ли спросить вас, Павел Михайлович... — негромко заговорила Великая княгиня с еще довольно заметным акцентом.

— Я весь к вашим услугам, Ваше Высочество.

— Теперь многие коллекционируют живопись, но полторы тысячи работ — ни одна частная коллекция не сравнится с вашей. И вы собирали ее столько лет, почти незаметно для общества... Как, с чего началась ваша коллекция?

— С Сухаревского рынка, — ответил Третьяков.

— С Сухаревского рынка?

— Да, однажды, еще юношей я купил там собрание работ фламандских мастеров. Они и теперь висят у меня в кабинете. А после я почувствовал неудержимую страсть к собирательству...

— И это все? — недоверчиво прищурилась Императрица.

— Не совсем. Был еще Эрмитаж! Двадцатилетним юношей я впервые приехал в столицу и был потрясен! Всем! Но более всего — Эрмитажем! Я увидел тогда несколько тысяч картин! Картин великих художников... Рафаэля, Рубенса, Вандерверфа, Пуссена, Мурилла, Розы... Видел несчетное множество статуй и бюстов! Видел сотни столов, ваз, прочих скульптурных вещей из таких камней, о которых я прежде не имел даже понятия! Это-то потрясение и было началом всему.

— Однако, — заметил Государь, — вы остались патриотом и отдали предпочтение русскому искусству,

а не фламандцам.

— Правда, — кивнул Павел Михайлович. — Зарубежную живопись собирал мой брат, и теперь она также представлена в моей галерее. Увы, многие положительно не хотят верить в хорошую будущность русского искусства и уверяют, что если иногда какой художник наш напишет недурную вещь, то как-то случайно, и что он же потом увеличит собой ряд бездарностей. Но сам я как-то невольно верую в свою надежду: наша русская школа не последнею будет! Сознаюсь, впрочем, что мной руководил не только патриотизм.

— Что же еще?

— Я, Ваше Величество, купец, хотя и имею антикупеческие достоинства. Я не могу считать себя знатоком живописи, поэтому не могу быть уверен, что при случае отличу настоящего Рубенса от поддельного. Настоящего же Крамского или Верещагина я совершенно спокойно могу купить напрямую у Крамского или Верещагина.

Император вновь рассмеялся, смех его был открыт, добродушен и заразителен:

— Вы правы! Это много надежнее!

— Однако же, вы, должно быть, где-то учились? — спросила Императрица.

— В «голутвинском константиновском институте»! — ответил Третьяков.

— Я не слышала о таком...

— Прошу прощенья, Ваше Величество, это была шутка. Я и мой брат учились у голутвинского дьячка Константина. Ну, а некоторые тонкости живописного ремесла преподавали мне много позже сами художники. Писать картин я, конечно, не могу, но покрыть их лаком или удалить повреждение на холсте...

— Не скромничайте, Павел Михайлович, — подала голос осмелевшая Вера. — Расскажите лучше, как вы сами красноту лба на репинском портрете закрасили!

— Вы отважились поправить самого Репина? — спросил Государь.

— Взял грех на душу.

— Невелик грех. Я бы иные его работы... весьма и весьма сильно поправил бы... Его реализм слишком часто нарочито уродлив, неправдоподобно уродлив, я бы сказал. Некоторые его работы попросту ужасны!

— И все же из всего, что у нас делается теперь, в будущем первое место займут работы Репина, будь это картины, портреты или просто этюды.

Император с сомнением покачал головой, но не стал вдаваться в спор, остановившись у картины «После побоища Игоря Святославича с половцами».

— Кажется, господа передвижники не жалуют Виктора Михайловича? — заметил Император.

Третьяков был удивлен такой осведомленности Государя об отношениях в среде живописцев.

— Правда, Мясоедов немало сердится на меня за Васнецова, считает его картины «былинками». А я люблю картины Васнецова и не опасаюсь это говорить, хотя, может быть, да и наверное, многие от них приходят в такой же ужас, как другие от последних произведений Ге.

— И я не опасаюсь говорить то же, — одобрительно кивнул Великий князь, друживший с Виктором Михайловичем и покупавший многие его работы.

Григорий Мясоедов был строг не только к Васнецову, но еще больше — к Серову. «Девушку, освященную солнцем» он назвал прививанием сифилиса галерее Третьякова. Но Павел Михайлович оставил это суждение без внимания. Он был убежден в большом будущем молодого живописца, у которого приобрел

также «Девочку с персиками», для которой позировала племянница Веры Николаевны...

Много времени провели Августейшие гости перед работами Иванова и Верещагина. Третьяков не только приобретал картины на выставках и непосредственно в мастерских художников, но покупал и целые собрания вместе с этюдами и эскизами. Так были приобретены туркестанская и индийская серии Верещагина, 80 этюдов Иванова, 102 этюда Поленова, собрание эскизов Васнецова к росписям в киевском Владимирском соборе...

Работы Верещагина Государю и его брату, прошедшим Русско-Турецкую войну, были близки по-особенному, и они долго обсуждали их, вспоминая какие-то эпизоды собственных военных будней.

Но особое внимание венценосного коллекционера привлекли картины мирные — пейзажи Николая Дубовского. Потеплели глаза самодержца глядя на них, и какое-то замечательное вдохновение озарило его лицо.

— А знаете, — произнес он с ностальгией, — когда-то ведь и сам я пытался изображать нечто подобное... И даже не совсем позорно выходило. Моим педагогом по живописи был Алексей Петрович Боголюбов.

— О, Алексей Петрович — великолепный художник! — воскликнул Павел Михайлович, хорошо знавший работы известного мариниста.

— Да... И вслед за ним меня, мальчишку, влекла водная стихия. Море! Несколько приличных этюдов я написал тогда, — Император вздохнул. — Но, увы, потом на занятия живописью стало категорически не хватать времени. Может, моя Бэби³⁶ будет счастливее меня. Она очень любит рисовать, и для своих лет у нее недурно выходит!

После осмотра галереи гостей пригласили к чаю, накрытом в одном из залов. Вера сама разливала чай, подавая варенья и пастилы собственного приготовления. Однако, Государь едва пригубил угощение. Его взгляд был прикован к простершейся на всю стену суриковской «Боярыне Морозовой». Третьяков знал, что, когда она была выставлена впервые, Августейший коллекционер хотел приобрести ее, но... «купец опять обошел!» Теперь в глазах Императора читался восторг истинного ценителя.

— А что, Павел Михайлович, — не удержался ценитель, — не уступите ли вы эту картину мне? За ценой я не постою!

— Рад бы, Ваше Величество, да не могу, — развел руками Павел Михайлович. — Всю свою галерею я передал в дар городу, и она больше не принадлежит мне.

Государь внимательно посмотрел на Третьякова и вдруг... поклонился ему.

— Так вам вся Москва кланяться должна за такой дар. Да и вся Россия.

Павел Михайлович растерялся, но тотчас зазвенел голос Марии Федоровны:

— Позвольте, я сама! — Государыня легко подхватила чайник и принялась вместо хозяйки хлопотать у стола. И снова подивился Третьяков этому замечательному сочетанию — природного величия и такой же природной непосредственности...

— Да, — промолвил Великий князь, приняв из рук Государыни чашку, — это великий дар Москве! И тем дороже он, что сделан еще при жизни, а не по завещанию. Обычно коллекционерам трудно расстаться со своими собраниями.

— Но ведь я не расставался с ним, — возразил Третьяков. — Оно осталось со мной, но только в более почтенном статусе... Впрочем, вы отчасти правы. Еще

28-ми лет я завещал моему брату устроить общественную галерею, которую могли бы посещать все желающие. Но мой брат опередил меня с отбытием в лучший мир, и мне ничего не оставалось, как исполнить собственную последнюю волю самому.

— Двадцать восемь лет... Как, оказывается, давно владел вами этот благой замысел, — с уважением заметил Сергей Александрович.

— Видите ли, Ваше Высочество, моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось также обществу, народу, в каких-либо полезных учреждениях. Мысль эта не покидала меня всю жизнь. А для человека, истинно и пламенно любящего живопись, не могло быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие.

Снова и снова вглядываясь в лица своих гостей, Третьяков привычно размышлял о том, как прекрасно было бы пополнить галерею и их портретами. Более 20 лет он заказывал художникам портреты известных людей, заботясь уже не только о художественной, но и об исторической ценности коллекции. Немалая то была комиссия решить, какому художнику лучше удастся чей портрет, да потом еще сговорить позировать нелегких характером и неизменно занятых знаменитостей, да свести художников с их будущими моделями — при том, что находились они в разных городах, а то и странах... А все же удавалось это! И, вот, смотрели со стен галереи, как живые, Достоевский, Чайковский, Тургенев...

Пожалуй, образы великокняжеской четы стоило бы доверить Нестерову. У них обоих в лицах есть что-то иконописное, что-то несовместимое, например, с жестким реализмом Репина... А Государя и Государыню среди прочих, и Репина в том числе, писал Крамской, вернейший друг и неизменный консультант на

протяжении долгих лет. Прекрасные вышли портреты! Впрочем, у Крамского иных и не бывает. А, вот, как бы передал эти замечательные лица, характеры Серов?..

— Вашим подвижничеством вы заслужили дворянский титул! — решительно заявил Государь, покончив с чаем и вишневым вареньем.

— Благодарю, Ваше Величество, — покачал головой Третьяков, — но я купцом родился, купцом и умру.

И снова долгий, внимательный, немного удивленный взгляд ясных царских глаз. И снова нежданный поклон:

— И на том вам кланяюсь, ибо не знаю, кто бы еще ответствовал так.

Августейшие гости откланялись, но не простились. Вечером в Большом театре Чайковский представлял «Иоланту». Павел Михайлович не пропускал новых постановок, а Государь бывал почти на всех премьерах Петра Ильича. Император, большой любитель музыки, с первых дней своего правления всемерно поддерживал Русскую оперу, почти вдвое увеличив ее бюджет, присутствовал на всех генеральных репетициях ее. Чайковскому же покровительствовал он, еще будучи Цесаревичем. Почитая талант композитора, Государь помогал ему материально, сделал директором Императорских театров его поклонника Всеволжского, не раз заказывал ему написание музыки — в том числе для собственной коронации, а также духовные сочинения. Именно благодаря Августейшему ценителю, было сломлено критическое мнение о «Евгении Онегине», и началось триумфальное шествие этой великолепной оперы.

Петр Ильич в долгу не оставался. Им был посвящен Государыне дивный цикл романсов, а Государю — опера «Чародейка». Последней оперой Чайковского, поставленной в Москве несколько лет назад, были «Черевички», и композитор полагал, что это и

последняя опера в его жизни. Однако, его Гений судил иначе, и, вот, грянули под величественными сводами погрузившегося во мрак Большого первые чарующие аккорды увертюры «Иоланты»...

Исчезла в темноте белоснежная голова Петра Ильича, лично дирижировавшего на своей премьере. Исчезла царская ложа с восседавшим в ней васнецовским богатырем... Павел Михайлович, неизменно стремившийся быть незаметным и потому занявший место в углу зала, откуда можно было видеть все и не привлекать внимание к себе, погрузился в созерцание... Созерцать можно не только прекрасные виды или картины, внимание музыке — это тоже созерцание. Может быть, наиболее поэтическое, высокое из всех...

Чайковский сделал великое дело, соединив русскую музыкальную традицию с мировой, необычайно расширив ее пространство, достигнув высшей гармонии звука. Если Глинка был Жуковским русской музыки, то Чайковский — ее Пушкиным, гением, которому подвластны были любые жанры, традиции, культуры. В своих творениях они могли становиться итальянцами, немцами, кем угодно, на чью почву сходил их гений, но при этом оставались они всецело русскими.

— Я остаюсь и навеки останусь верен России, — говорил Петр Ильич. — Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи... Напрасно я пытался бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами русского народа. Качества эти, конечно, есть, но влюбленный человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими добродетелями, — он любит потому, что такова его натура, потому, что он не может не любить. Вот почему меня глубоко возмущают те господа, которые готовы умирать с голоду в каком-нибудь уголку Парижа,

которые с каким-то сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей на том основании, что в России удобств и комфорта меньше. Люди эти ненавистны мне; они топчут в грязи то, что для меня несказанно дорого и свято!

Это-то незыблемое русское чувство, а вовсе не угодничество, в котором обвиняли его злые языки, и единило русского композитора и русского монарха... И в этом чувстве всем сердцем примыкал к ним русский купец с антикупеческими достоинствами.

Как одно мгновенье пролетела дивная опера, и, вот, уже переливался звучными голосами финальный хор, каждому слову которому хотелось вторить, как молитве в Божием храме:

Прими хвалу рабы смиренной,
мой голос слаб и робок взгляд
Перед Тобою сонм блаженный
и Херувимы предстоят!

Но Ты велик и в снисхожденьи,
Твоей любви пределов нет,
и в самом малом из творений
блестишь, как в капле солнца свет!

Прими хвалу рабов смиренных!
Во прахе мы перед Тобой!
Слава Тебе, Творец всесильный!
Осанна в вышних! Осанна в вышних!
Ты света истины сиянье,
Слава, слава Тебе, Господь всемогущий!
Ты света истины сиянье,
Слава, слава, Господь Вседержитель,
Творец всемогущий!

Хвала Тебе! Хвала Тебе!

Сказка под названием «Отец» (Цесаревна Ольга Александровна и Император Александр Третий)

Птичий гомон ворвался в комнату вместе со сполохами солнечного света и утренней ароматной прохладой, напоенной запахами летнего разнотравья.

— Просыпайтесь, ваше высочество! Нельзя быть такой засоней!

Ольга зажмурилась. Наступающий день был, несомненно, прекрасен, но еще прекрасней он стал бы, если бы начался чуточку позднее...

— Ах, Нана, ну, пожалуйста, еще несколько минуточек!..

Но Нана неумолима. Это другие дети могут капризничать, но царской дочери не пристало. Царская дочь должна быть примером во всем. Поэтому никаких пуховых перин и сладких снов до полудня: узкая солдатская кровать, шерстяное одеяло, ранний подъем с обязательным обливанием холодной водой и... овсянка на завтрак.

— А Миша? Миша уже проснулся?

— Конечно. Но он, как и вы, был сегодня очень сонлив. Хорошо ли вы спали, дитя мое?

— О да, прекрасно!

Ольга солгала. Но что было делать? Не рассказывать же Нана, что всю ночь они с Мишей, вместо того, чтобы спать, ловили привидение...

На днях приехавший в Гатчину Победоносцев рассказывал за чаем, как донимало его приведение на старой квартире. По ночам сердитый призрак нападал

на бедного Константина Петровича и срывал с него одеяло. Неупокоенного духа пытались изгнать с помощью священника: квартиру кропили святой водой, служили молебны, но все без толку! Приведение словно бы насмеялось над главой Священного Синода! В сущности оно было не злобно, а лишь проказливо. Ольга даже подумала, что это может быть душа какого-нибудь бедного мальчика, такого же озорника, как брат Жоржи, и посочувствовала ему, представив, как, должно быть, скучно и одиноко ему, что приходится развлекать себя таким способом. Пожалела Цесаревна и старика Победоносцева. Взрослые отнесли к его рассказу с добродушной иронией, не поверив в существование призрака и приписав происходившие в доме обер-прокурора странности сквознякам и иным объяснимым причинам.

Но Ольга всецело верила Константину Петровичу. Этот сухощавый, всегда чопорный старик, кажущийся чрезвычайно строгим, просто не мог лгать. Он всегда казался немного странным: почти никогда не улыбался, был сосредоточен, однако, когда Ольга или Миша шаловливо подбегали к нему, строгое лицо вдруг делалось ласковым, а скрытые стеклами очков глаза теплели. Победоносцев любил детей. Не имея собственных, он пестовал царских, и от того со времен покойного дедушки был близким человеком для Императорской семьи. Теплота и ласка его, однако, была скупа в своих проявлениях, как будто обер-прокурор стеснялся их и нарочно прятал под чопорной маской, под равнодушными стеклами очков... В сущности, этот человек был очень одинок, и Ольга с жалостью представила, как было не по себе ему, когда в ночной тьме напал на него неведомый призрак. По счастью, жена Константина Петровича положила конец страданиям мужа, найдя другую квартиру. На новом месте странности прекратились.

Когда Победоносцев уже покидал Гатчину, Ольга подстерегла его в саду с восторженным вопросом:

— А вы правда, правда видели его?!

— Кого, Ваше Высочество? — склонился к цесаревне обер-прокурор.

— Привидение!

По бледным губам скользнуло подобие улыбки, тонкая рука дрогнула, будто бы желая погладить девочку по голове, но так и не позволила себе вольности в отношении к царской дочери.

— Видеть Господь миловал, а вот слышать и осязать...

— А я бы так хотела увидеть его!

Победоносцев удивленно вздернул брови:

— Что за странные фантазии являются в вашей юной головке?

— Говорят, что у нас во дворце тоже живет привидение! Нашего предка, Императора Павла! Некоторые слуги уверяют, что они его видели! Как вы думаете, Константин Петрович, это правда?

Тонкие, в голубых прожилках, руки с длинными, красивыми пальцами мягко легли на плечи цесаревны. Обер-прокурор был очень серьезен.

— Да, — тихо ответил он, — я думаю, что они не лгут. Конечно, им мало кто верит, как и мне...

— Я верю! — воскликнула Ольга. — И вам, и им!

Снова теплые лучи заблестели в глазах старика, изливалась в них нерастроченная, затаенная застенчиво нежность его сердца. Цесаревне хотелось обнять и поцеловать его, как деда, которого не застала она в живых. Но это было бы так не по этикету...

— Мне кажется, Император Павел был очень милым человеком, — шепотом поделилась Ольга своими мыслями. — И я бы очень хотела увидеть его, сказать ему об этом. Ему бы ведь было это приятно, разве я не права?

Вызвать улыбку человека, улыбающегося столь редко, большая заслуга. Цесаревне показалось на миг, что вот-вот она услышит смех сурового обер-прокурора, которого никто во дворце не слышал, но смех погас где-то внутри его.

— У вас золотое сердце, Ваше Высочество, и Император Павел, столь мало кем любимый при жизни, был бы без сомнения счастлив слышать слова любви от своей праправнучки, но послушайте доброго совета: не ищите встреч с призраками. Слова любви вы можете сказать ему и так, он услышит вас. А всего лучше помолитесь о нем со всей горячностью вашего прекрасного сердечка, уверяю вас, это будет ему особенно радостно.

— Спасибо вам, милый Константин Петрович! — она все-таки чмокнула старика в бледную, впалую щеку и стремглав убежала во дворец.

Совет обер-прокурора цесаревна исполнила лишь наполовину — горячо помолившись об упокоении души прапрадеда. Но отказаться от мысли увидеть его Ольга не могла. И в этом стремлении была поддержана братом Мишей. Он, правда, не собирался говорить Императору Павлу о своей любви к нему, но лишь мальчишески жаждал захватывающего приключения в виде «охоты на призрака».

— Миша, ты только не обижай прапрадедушку, если он появится, — предупредила Цесаревна, когда они крались по темным галереям в то крыло, где со слов прислуги появлялся скорбный дух Императора «в ботфортах и треуголке, совсем как на портрете».

Миша пожал плечами:

— Чем бы я мог его обидеть? Я стану во фрунт и отдам ему честь! Ему должно это понравиться!

Что-что, а это у Миши точно бы получилось хорошо. Маленький воин, он бы удовлетворил своей отменной выправкой взыскательного пращура...

Укутавшись в плед, они прождали Императора Павла всю ночь. Когда свечи, взятые ими, чтобы освещать путь, почти оплыли, пришлось поспешить в спальни, чтобы не возвращаться в темноте и нечаянно не заплутать. Заплутать в собственном дворце брат с сестрой не боялись, но, вот, столкнуться с кем-нибудь из слуг и быть выданными ими родителям...

— Как ты думаешь, почему он не пришел? Почему слугам он показывается, а нам, своим праправнукам, нет? — спросила Ольга уже на пороге своей комнаты.

— Может быть, у него есть особые даты для посещения своей вотчины? — предположил Миша.

Может быть... Но, не зная этих дат, как же встретить привидение? Нельзя же «охотиться» за ним каждую ночь...

— О чем вы задумались, дитя мое? — голос Нана пробудил Ольгу от размышлений о ночной проказе. — Кушайте быстрее. Уж не захворали ли вы? Не выспались, не голодны...

Овсянка на воде не слишком аппетитное блюдо, но царские дети не избалованы изысками и привыкли есть, что дают. А сознание того, что до обеда невозможно будет раздобыть ни кусочка (идти просить на кухню — недопустимо дурной тон!), обостряет и без того редко замирающее чувство голода.

Когда овсянка и тост с маслом были съедены, наступила самая радостная минута утра — встреча с отцом!

* * *

Во всем свете не было у Ольги человека ближе и дороже, чем отец. И не было, в этом Цесаревна была уверена, человеку прекраснее, чем он. Отец был

олицетворением силы, доброты и мудрости. Рядом с ним всегда было спокойно и надежно, казалось, что он может защитить от любой опасности. Защитить всех и защититься сам. Настоящий богатырь, отец мог с легкостью согнуть кочергу, завязать узлом вилку, пальцами сложить вдвое медный пятак... Мать отчего-то не любила подобных «шалостей», и при ней отец не показывал своих «фокусов».

Трудно было представить людей более несходственных в своих привычках, нежели родители Ольги. Принцесса Датская Дагмара, ставшая русской Императрицей Марией Федоровной, имела все привычки своего круга. Она любила красивые наряды, общество, светскую жизнь с ее приемами и балами. Она была рождена для этой жизни и чувствовала себя в ней, как рыба в воде, умея очаровывать всех находящихся подле нее, становясь центром притяжения, блистая... Отец предпочитал простую загородную жизнь, прогулки по лесу за грибами, рыбалку. Светские приемы утомляли и раздражали его, и он под любым предлогом стремился избегать их. Он любил музыку, прекрасно музицировал сам, но наслаждаться ею предпочитал в театре или же в узком кругу, сам играя в маленьком духовом оркестре. Танцевать же не любил в противоположность матери, прекрасной танцовщице.

Когда во время «петербургских сезонов» балы, даваемые Императрицей, затягивались, отец прекращал их радикальным образом — ровно так, как его камердинер прекращал его ночные бдения за многочисленными государственными делами. Камердинер по договоренности с отцом входил в его кабинет в установленный час и гасил свет. Отец — без договоренности с женой — заходил в зал и также тушил свет. И самолично выпроваживал музыкантов оркестра. После этого матери ничего не оставалось, как с самым лучезарным видом сообщить гостям, что «Государь, по-

видимому, намекает нам, что пора расходиться». Гости ждуть себя не заставляли.

Мать любила верховую езду, отец, обожая животных, лошадей опасался. Его старший брат Николай, за которого должна была выйти датская принцесса, однажды неудачно упал с лошади, и это послужило началом тяжелой болезни позвоночника, унесшей юного Великого князя в могилу. Эта-то тяжелая утрата и объединила некогда отца и мать...

Императрица любила навещать многочисленных родных за границей, Император предпочитал узкий семейный круг и родной дом — Гатчину или Петергоф. «Уж эта мне родня, просто повернуться нельзя, вздохнуть свободно не дадут и возись с ними целый день!» — случалось, ворчал он. Правда, отчужденность отца от родни в семье не разделяли. Хотя бы потому, что только в гостях у ан-папа, в тихой и по-домашнему уютной Дании, русская Императрица и великие князья и княжны могли жить... как обычные люди. Просто гулять по улицам безо всякой охраны, ходить в магазины, парки или же зоопарк. Только в Дании король, гуляя со своим сыном, греческим королем, и своим зятем, русским царем, мог встретить одного из своих землевладельцев и, не будучи узнан, толковать с ним о жизни.

— Вы живете где-то рядом? — спрашивал под конец собеседник. — Кто вы?

— Я ваш король, — отвечал ан-папа. — Это мой сын, король Греции, и мой зять, Император России.

— А я Иисус Христос! — фыркнул не верящий такому удивительному явлению подданный.

И все же пестрым собраниям в милой Дании отец предпочитал тишину рыбалки в любимой Гатчине.

Несмотря на такую разницу вкусов и характеров, жили отец и мать душа в душу, не противореча, а

дополняя друг друга и бесконечно скучая друг по другу в случае разлук.

Ольга, однако же, тянулась к отцу, бывшему для нее целым миром. Мать воплощала собой этикет и строгость правил, и Цесаревна, как и другие дети, побаивалась ее. Если отец, хотя и бранил за шалости, сам же весело смеялся им, то у матери детские проделки не вызывали даже улыбки. Мать была «взрослой». Отец в глубине души оставался ребенком. Чего стоили только его собственные проделки! Однажды, гуляя в саду ан-папа, он увидел брошенный шланг, из которого лилась вода, и... не преминул направить струю на одного из принцев-родственников, которого в семье недолюбливали. Это озорство, эта добродушная веселость роднили отца с детьми. Он был «своим», а мать... «взрослой».

В это утро родители, как всегда завтракали вместе. Отец поднимался много раньше, сам варил себе кофе, насыпал в тарелку сушки, и за этой нехитрой трапезой работал до завтрака. Царский завтрак был столь же прост, как и детский: овсянка на воде и тосты с маслом.

Мать приветствовала Цесаревну улыбкой и поцелуем в лоб. Отец дополнил этот ритуал заговорщицким подмигиванием, словно говоря: обожди, пока останемся одни, и можно будет забыть об этикете. Ольга послушно забралась под стол, где также смиренно ожидала окончания трапезы лайка Камчатка, с которой отец не расставался.

Собака приветственно лизнула Цесаревну в щеку, и та прижалась к ее теплему боку с ощущением тихого счастья. Мать тем временем разливала чай. Миниатюрная, изумительно изящная, замечательно нарядная, она была похожа на фарфоровую статуэтку тонкой работы. Конечно, лесная глушь, сельская жизнь были не для такой очаровательной женщины, и грешно было бы лишить ее общества. Этим утром она торопилась с визитом к своей подруге — герцогине

Ольденбургской. Тепло простившись с отцом и послав воздушный поцелуй дремавшей вместе с Камчаткой под столом дочери, она выпорхнула из кабинета.

Через мгновение, после того, как дверь за женой затворилась, Император поднялся и хлопнул в ладоши. Из-под стола тотчас выскочила Камчатка и с веселым лаем бросилась к нему, запрыгала, касаясь лапами могучей груди хозяина, завертелась вокруг него, облизывая ласкающие ее руки. Следом подоспела и Ольга. Отец подхватил ее на руки, чмокнул в нос, легко, как пушинку, подбросил и тотчас поймал, закружил, смеясь:

— Ну, здравствуй, дочь! Рассказывай, что успела напроказить!

— Мы с Мишей хотели выследить призрак Императора Павла, но он к нам не пришел... — посетовала Цесаревна.

Император залиvisto расхохотался:

— Не пришел? Ай-ай-ай, вот досада! Расскажи это в другой раз Константину Петровичу, он большой дока в этом вопросе.

— Он говорил нам этого не делать, а лучше помолиться о душе прапрадедушки.

— Вот как? У моей детки уже есть секреты с Константином Петровичем от меня?

— Нет, папа! Разве у меня могут быть от тебя секреты?

— И я так думаю, что не могут, — кивнул отец, располагаясь у письменного стола и сажая дочь на колени. — А Константин Петрович прав. Помолиться о душе прапрадедушки было бы значительно лучше, чем охотиться за его призраком!

Ольга рассмеялась:

— Ты говоришь совсем, как Мишкин. Он тоже называл это «охотой». Только ты не говори ему, что я тебе рассказала.

— Не скажу, — кивнул отец, — будет это нашим с тобой секретом. А сейчас... — последовала загадочная пауза... — я покажу тебе, детка, мой секрет!

Сердце Цесаревны с волнением забилося — отец решил доверить ей свою тайну! О, она конечно же сохранит ее!

— Что за секрет, папочка?

— Когда-то это был наш на двоих секрет с братом Николая... — отозвался Император, выдвигая верхний ящик стола и доставая из него пожелтевший от времени альбом. — Мы были еще совсем детьми, только что закончилась Восточная кампания, и наш отец взошел на трон...

Альбом раскрылся, и Ольга взвизгнула от восторга: на его страницах мастерской рукой были изображены люди с мордами мопсов...

— Мы с Николая придумали сказку о городе Мопсополь, городе, где живут одни только мопсы... Сперва хотели изобразить бульдогов, но, понимаешь, это могло повредить нашим и без того сложным в ту пору внешним делам, — отец рассмеялся. — А теперь Берти и эта вечно сующая нос не в свое дело королева Виктория объявили бы мне бойкот за такие художества!

Отец был хорошим художником. В детстве его обучал живописи замечательный колорист Боголюбов, и он писал прекрасные пейзажи. С принятием на богатырские плечи груза государственных забот времени на живопись не осталось. Тем радостнее было Императору заметить наследственный талант у младшей дочери. Ей тотчас были наняты лучшие педагоги, а на занятиях по иным предметам — разрешено рисовать. Рисуя, Цесаревна лучше запоминала уроки.

— Папочка, как чудно! А можно мне перерисовать твоих мопсов?

— Конечно, можно, — кивнул отец. — Только не показывай никому, даже маме. Обещаешь?

— Клянусь! — воскликнула Ольга.

— Тогда ты, детка, пока нарисуй мне мопсов, а я немного поработаю. Нужно разобрать некоторые глупости, которые понаписали наши министры. А потом мы с тобой придумаем какое-нибудь более занимательное занятие, договорились?

Цесаревна кивнула и, спрыгнув с колен отца, устроилась у окна с карандашом, бумагой и заветным альбомом. Ей очень хотелось перерисовать мопсов так, чтобы вышли они столь же хорошо, что у отца, и она всецело отдалась этому увлекательному творчеству. Отец же склонился над кипой докладов и писем, читал, писал что-то, иногда всердцах ругался вполголоса: «Ну, что же за скоты!» Камчатка лежала у стола и с сочувствием смотрела на хозяина, вынужденного тратить свое время на каких-то «скотов», и, вероятно, недоумевая, откуда берется столько «скотов» в человеческом племени...

* * *

От рисования Ольгу отвлекло возникшее на улице оживление. К крыльцу была подана коляска, и старший брат, Ники, легко вскочил в нее и натянул вожжи. Два белых коня заржали, готовые мчаться вперед. Миг, и на крыльце явилась нарядная Ксения в изящной шляпке. Ники подал сестре руку, и та уселась рядом с ним.

— Ники и Ксения уезжают... — вымолвила Цесаревна.

Отец поднялся из-за стола и подошел к окну.

Брат и сестра, завидев его и Ольгу, помахали им руками и, получив ответное приветствие-прощание,

уехали.

— Вот и славно... — почему-то грустно сказал отец. — Ники будет кстати проветриться. Он был очень печален последние дни, и, ей-Богу, уже не было сил смотреть на это олицетворение скуки. А Ксении я предложил намеренно покататься вместе, она отказалась. Раньше всегда бывала рада... Теперь общество брата ей интереснее, чем общество отца.

— Давай я покатаюсь с тобой, папа! — предложила Ольга, потершись щекой об огромную ладонь Императора. — Я всегда буду рада кататься с тобой, и ничьего другого общества мне не нужно.

Отец погладил Цесаревну по голове:

— Спасибо, детка! Но у меня есть идея получше! Мы с тобой и Мишуткиным пойдем в поход.

Ольга радостно захлопала в ладоши. Она знала, что отец не любит конных прогулок, и делал исключение лишь для Ксении, унаследовавшей материнскую страсть к лошадям, но не любившей долгие пешие странствования по лесным чащам.

— Ты нарисовала мопсов?

— Почти, — Ольга робко протянула отцу неоконченный рисунок. Тот некоторое время внимательно разглядывал его, повернувшись к свету, затем довольно кивнул: — Ты просто молодец! В твои годы моя рука еще не была столь тверда! Умница, детка!

Щеки Цесаревны зарделись от дорогой похвалы. Отец вновь подхватил ее на руки и с заговорщицким видом сказал:

— Слушай, детка, план наших действий! Сейчас ты пойдешь к себе обедать, предупредишь Мишкина, чтобы был готов к нашей вылазке, передашь от меня привет волчонку и кролику, а после я жду вас с Мишкиным, и мы отправляемся в поход!

— А куда мы пойдем?

Император улыбнулся:
— Искать приключения, детка!

* * *

Волчок кружился по вольеру, всецело оправдывая свое прозвище, и скулил. Ольга ласково погладила его по морде, и серый друг радостно облизал ее пальчики.

— Скучно тебе, Волчок? Хочешь пойти в поход с нами?

— Ваше Высочество, вы прекрасно знаете, что Волчка брать с собой нельзя! — напомнила Нана. — Он ведь совсем дикий!

Волчонок глухо зарычал на гувернантку и грустно поглядел на свою маленькую хозяйку.

— Прости, Волчок, — развела руками та. — Но я не могу тебя взять с собой...

Она чувствовала себя виноватой перед серым другом. Несправедливо, что она будет гулять, а он останется один, запертый в вольере. Но ведь, если выпустить его, то он убежит: сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. А в лесу Волчок, выросший в неволе, уже не выживет. По крайней мере, так говорили Нана и отец...

Ольга бесконечно любила животных, и в гатчинских стенах у нее не было недостатка в четвероногих друзьях. Кроме волчонка, были среди них и белый кролик, и многочисленные собаки, и обезьяны... Какое-то время во дворце жил чудный медвежонок, но, когда он вырос, пришлось отправить его в зоопарк. Очень горевала Цесаревна о буром друге. И зачем медведи вырастают такими огромными? Остался бы медвежонок маленьким, и не пришлось бы разлучаться с ним... В зоопарк же отправлялись и экзотические звери,

которых дарили послы восточных стран. Кого только они не дарили! От диковинных птиц до тигра! Тигренка дети очень хотели оставить у себя, но мать не позволила ему задержаться даже ненадолго, боясь, что клыкастый «котик» поранит своих юных хозяев.

Мать, всегда практичная, с куда большим почтением, нежели к всевозможной «экзотике», относилась к таким простым и обыденным животным, как коровы. Тут в Императрице говорила хозяйка и мать семейства. Ибо что такое корова? Молоко! А молоко необходимо детям. Поэтому даже в морское путешествие к берегам Дании на борт яхты возводилась изумленно и испуганно мычащая пассажирка. Во время плавания у детей должно было быть свежее молоко! Многочисленные собаки и иные питомцы, разумеется, также путешествовали со своими хозяевами. И императорская яхта весьма напоминала собой Ноев ковчег.

Простившись с серым и белым друзьями, Цесаревна дождалась брата, и вдвоем они поспешили к отцу. Походы с ним были для детей настоящими праздниками! В прошлый раз цель похода была прозаичнее, чем теперь, и именовалась «охотой на ослов». Ники и Ксения, как «большие», в этой проказе не участвовали. А, вот, брат Георгий не отказал себе в удовольствии потешиться детской забавой. Жоржи вообще был удивительно весел и охоч до всевозможных шуток и проделок. Сколько терпели учителя от его выходов на уроках! Ники, всегда от души веселясь бедокурству брата, записывал его шутки в специальную тетрадь: уж больно смешны они были — жаль позабыть! Родители, конечно, веселились куда меньше... Каково, к примеру, было Императрице, когда в присутствии ее гостей, на традиционной чайной церемонии, на которой сама она разливала чай, ее средний сын подставил подножку лакею, несшему поднос с чайным сервизом...

Бедняга растянулся на полу, опрокинув поднос, чашки и блюда разбились... А проказник-Цесаревич хохотал, довольный своей выходной!

«Охота на ослов» прошла куда более мирно. Были «пойманы» три осла, и дети должны были сами довести их до дворцовой конюшни. Но ушастые упрямы так кричали, что напугали Мишу и Ольгу, и в итоге отец вынужден был вести «добычу» сам. И даже для него, богатыря, оказалась эта задача не из легких, ибо ослы отчаянно упирались, и пришлось Императору меряться с ними силами. Конечно же, ушастых бунтовщиков он одолел! Разве могло быть иначе?

В этот раз Жоржи болел и не мог составить компанию отцу и младшим. Отец же ждал Ольгу и Мишу на крыльце. Облаченный в свою обычную крестьянскую рубаху и сапоги, с мешком за плечом — не дать, не взять, простой деревенский мужичина! Для детей были приготовлены мешочки поменьше. В мешочках этих было все самое необходимое: топорик, чтобы рубить дрова для костра, спички, чтобы разводить его, фонарик, чтобы освещать себе путь в темноте, веревка, ножик и... яблоки.

— А остальное найдем по дороге! — весело сказал отец, и верная Камчатка поддержала его громким лаем.

Так и отправились вчетвером — впереди счастливая предстоящей прогулкой собака, следом Император, позади — Великий князь с Великою княжною... Дорогой встретились им лишь несколько солдат, низко раскланявшихся с ними и приветливо улыбавшихся. Ольга и Миша очень любили общаться с солдатами и казаками. Эти простые русские люди были искренни, добродушны и ласковы — без заискивания, без фальшивых улыбок и натянутых любезностей. С ними было легко и весело. Брат и сестра иногда тайком убегали в казарму пообщаться со своими друзьями-солдатами, а под вечер также тайком возвращались, с

честным видом говоря старшим, что играли в прятки в закоулках парка. Отец вряд ли бы всерьез рассердился на такие проделки, он сам всегда легко общался с людьми из народа, будь то солдаты или крестьяне, и находил их куда более цельными и заслуживающими доверия, нежели «образованное сословие». Однако, этикет диктовал правила, и эти правила не предусматривали такого «моветона», чтобы маленькая Великая княжна дружила с солдатами и проводила время в их казарме...

— А, вот, и наша первая находка! — в могучей руке отца был зажат не менее могучий белый гриб.

Ольга и Миша радостно вскрикнули и бросились в чащу в поисках бурых, малиновых и розовых шляпок, ожидающих глазастых охотников на них. Дети любили грибную охоту не меньше отца. Они хорошо разбирались в грибах и легко ориентировались в лесу. Император, желавший, чтобы его отпрыски росли не фарфором, а нормальными, здоровыми детьми, стремился привить им навыки обычной жизни. Как не заблудиться в лесу, какие грибы и ягоды пригодны для употребления в пищу, как правильно развести костер и приготовить на нем нехитрую пищу — всему этому отец учил сыновей и дочерей. А к тому — распознавать следы зверей и голоса птиц, рубить дрова и прокладывать себе путь сквозь чащу, зимой — чистить снег... Мише и Ольге давали совсем маленькие лопаточки, но они орудовали ими, расчищая сугробы, с большим прилежанием.

Продираться сквозь чащу тяжелее, чем чистить снег. Особенно, когда комары целыми стаями так и лезут в глаза и уши. Но Ольга чувствовала себя покорительницей необитаемого острова, путешественницей, пролагающей первый путь сквозь таежные дебри. Лес всегда манил ее неразгаданной тайной. Ей чудилось, что вот-вот деревья расступятся, и

взгляду откроется опушка, на которой будет стоять терем. А может быть, даже несколько? Затерянное село, волшебное, зачарованное. А в нем... Как знать, кто в нем! Может быть, пушкинские семь богатырей? Или иное диво?

Душе Цесаревны хотелось чуда, и она шла за ним, радуя отца ловкостью и выносливостью. Вот, раздается мелодичный посвист...

— Кто мне скажет, что за птица?

— Сойка? — неуверенно предполагает Мишкин.

— Похоже на иволгу, — качает головой Ольга.

— Это камышовка, — улыбается отец, поглаживая бороду. — Но ты права, детка, похоже на иволгу. А все потому, что камышовка умеет подделывать голоса других птиц.

Зачарованный терем, как и призрак прадедушки Павла, не пожелал раскрыться Августейшим путникам. А, вот, удобная опушка с весело звенящим ручейком нашлась. Ольга и Миша с удовольствием умыли ледяной водой разгоряченные лица и под руководством отца принялись разводить костер. Дождей не было давно, а потому задача эта была нетрудной. Сухой хворост быстро вспыхнул, заплясали веселые язычки пламени. И снова грезилось детскому воображению, будто бы это вовсе не Гатчина, не маленький пикник, а они трое вместе с верной Камчаткой оказались в далеком неведомом краю. Вот, они сами развели костер и сейчас будут жарить на нем собственноручно добытый ужин, затем лягут спать прямо на земле, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть, а утром вновь отправятся в путь... Ах, как бы чудесно это было! Никакого этикета, никаких правил! Только леса, поля, дороги, не имеющие конца, горы... И уж тогда бы они точно нашли приключения, и зачарованный терем или целое село с волшебными обитателями, и чудо...

Собственноручно добытая снедь на самом деле осталась нетронутой. Грибы по традиции надлежало передать дворцовому повару с тем, чтобы он приготовил их надлежащим образом к семейному ужину. На углях же были запечены захваченные с собой яблоки. И ничего-то не было вкуснее этих печеных яблок после долгой прогулки! Вот, только всегда мало оказывалось этого нехитрого яства...

— Ну, что, лесорубы-охотники, идем в обратный путь? — отец сидел на земле и ошкуривал ножом массивную палку, более похожую на дубину. — Хорош «посох», правда?

— Я тоже хочу «посох»! — воскликнула Ольга.

— И я! — согласился с сестрой Миша.

Отец весело рассмеялся и, поднявшись на ноги, проворно срубил две крепкие ветки орешника. Тотчас обломав их сучья, он протянул «посохи» детям:

— А теперь команда «сбор»!

«Сбор» так «сбор». Собирать-то, однако, и нечего! Только кострище засыпать, залить ручьевой водой, чтобы пожара не приключилось. С этим Ольга и Миша легко справились.

Обратно шли, опираясь на посохи и неся за плечами грибной улов — точно как из сказки русской троица! Ольга уже предвкушала, как перед сном будет рассказывать Нана об их приключениях. Нана, добрейшая, но все же чопорная англичанка, конечно, будет качать головой, считая, что Цесаревна не должна натирать мозоли на нежных ручках, орудуя топориком и ножом, а потом настаивать, что Ее Высочеству пора спать, а не болтать. И все же обязательно дослушает до конца, с материнской нежностью глядя на свою непоседу-питомицу...

Путь домой всегда кажется тяжелее. Мираж чуда уже рассеивается и не будоражит воображение, а силы — утомлены долгими плутаниями по лесу. Ольга

крепились как могла, стараясь не отставать от отца и брата. Но отец вдруг остановился, протянул руку, и Цесаревна во мгновение ока очутилась на его могучих плечах. И это тоже точно в сказке — «высоко сижу, далеко гляжу»... А название этой сказке — «Отец». К чему искать семерых богатырей, волшебные терема и прочие чудеса в глухих чащах, когда есть он? Ее чудо, ее богатырь, ее самая дорогая сказка.

— Я очень люблю тебя, папочка! — прошептала Цесаревна, наклонившись к самому уху родителя.

— И я тебя, детка, — ответил он.

Сумерки медленно сходили на лес, затихли, разлетевшись по гнездам, птицы. Лишь хрустели ветки под крупными шагами отца, и время от времени лаяла Камчатка, учуяв лесного зверя... Наконец деревья расступились, и на горизонте в закатных лучах показался волшебный замок, по приближении к нему оказавшийся родным гатчинским дворцом.

— Папочка, давай я пойду теперь сама. Чтобы Нана видела, что я сама, что я не устала!

— И то правда, — отец легко опустил Ольгу на землю. — А то Императрица скажет, что мы с Мишуткиным тебя совсем уходили, — с улыбкой добавил он.

Троица путешественников возвращалась домой. Впереди бежал вприпрыжку не знающий усталости Миша, вокруг него бегала, высунув язык, Камчатка. А чуть позади неспешно шли, держась за руки, Император и Ольга. В закатных лучах все тени кажутся непомерно длинными, и в огромной тени отца терялась слившаяся с ней маленькая тень дочери.

Цесаревна Ольга Александровна выросла в прекрасную художницу и мужественную женщину. В

1914 году она ушла на фронт простой сестрой милосердия, работала в полевом госпитале, ходя за ранеными, ассистируя на операциях, подчас рискуя жизнью вблизи передовой. Ее мужем после неудачного брака с принцем Ольденбургским стал полковник Николай Куликовский. Они обвенчались в Киеве в конце 1916 года. В 1920 году Ольга Александровна была вынуждена уехать за границу, спасая от большевиков, не щадивших никого из Романовых, двух младенцев-сыновей. В эмиграции младшей дочери Императора Александра Третьего пришлось самой зарабатывать на жизнь продажей своих картин. Скончалась Ольга Куликовская-Романова в США, куда после Второй мировой войны они с мужем были вынуждены вновь эмигрировать, спасаясь от преследований СССР теперь уже в Европе, и где держали свою ферму. Потомки последней Великой княгини, внуки и правнуки Царя-Миротворца, ныне проживают за границей.

Великий герой (Николай Зуев)

И почему это небо в этих краях всегда точно подернуто желтизной, точно когда-то переболело оно желтухой и так и носило на себе эту печать? Сам Коля никогда не болел желтухой и вообще еще ни разу ничем не болел, но солдат Давыдыч рассказывал, что его брат пожелтел с такой хворобы. Давыдыч еще смеялся, что, видать, в этих краях прежние поколения жителей подверглись массовой эпидемии этой самой желтухи, и оказалась зараза такой сильной, что и потомки теперь желтолицыми рождаются.

Как ни умаялся Коля за целый день пути, а, вот, поди ж ты: не шел сон! Ну, никак не шел... Будоражили всевозможные мысли голову мальчика. Пригрезилась вдруг станица... Он и не помнил ее почти, так как и четырех лет не прожил в ней. Сперва на дальних рубежах погиб отец — урядник Оренбургского казачьего войска, а потом и матушка преставилась. Царствие небесное обоим! Отца своего Коля не помнил вовсе, как ни силился воскресить в памяти его образ. Лишь одно смутное воспоминание осталось — отцова борода, колющая еще нежную младенческую щеку... А, вот, лицо матушки вживе в памяти вставало. И Коля часто представлял его до мельчайших деталей, боясь позабыть и его. Нельзя забывать лицо матери, кому же тогда помнить его... И голос, поющий старую казачью колыбельную... Слов Коля не помнил, а только голос. И истомленное, печальное, но такое ласковое лицо матери...

Мальчик снова впери́л глаза в ночное небо, усеянное звездами. Говорят, что звезды — это души хороших

людей. Души людей плохих просто гаснут, а хороших — сияют остающимся до времени на земле. Наверняка среди этих мигающих, хвостатых, мелких и крупных звезд есть и его родители, и лейтенант Зуев — его приемный отец. Своего нового отца, привезшего его в Порт-Артур, Коля обожал. Моряк, красавец, умница — быть похожим на него во всем! Быть достойным его! Коля страстно мечтал пойти по стопам отца и стать моряком, и тот обещал ему определить его в Морской корпус, а затем взять к себе юнгой.

Как раз в 1904 году Коля должен был покинуть Порт-Артур, чтобы начать учебу, к которой лейтенант Зуев лично готовил своего приемыша, обучая его всем азам, необходимым ему, чтобы не ударить в грязь лицом в первые, самые трудные месяцы в корпусе. Коля показал себя учеником примерным и усидчивым.

В это время в воздухе запахло войной. Японии не понравилась экспансия России в Маньчжурии и Корее, а Россия, в свою очередь, считала необходимым осваивать дальневосточные рубежи. Территориальный спор перерос в военный конфликт, грянувший в январе 1904 года. В ночь на 27 января без официального объявления войны японский флот вероломно напал на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. Это привело к выводу из строя нескольких сильнейших русских кораблей и обеспечило беспрепятственную высадку японских войск в Корею...

— Эх, как жаль, что я не успел отправить тебя в корпус прошлой осенью! — сокрушался отец. — Теперь бы ты уже учился, был далеко отсюда, и мне было бы спокойнее.

— А мне спокойнее быть здесь, с тобой! — возражал Коля, радуясь, что не оказался разлученным с отцом в пору военной страды. — А в корпус я поступлю осенью, когда война закончится!

Лейтенант Зуев потрепал его по голове:

— Может, ты и прав. Долго эта война не продлится. Не такой противник Япония, чтобы нам пришлось долго возиться с ним... Наш Степан Осипыч покажет наглецам, где раки зимуют!

Степан Осипыч — это адмирал Макаров, славой которого и преклонением перед ним отца были освещены все детские годы Коли. В его детском воображении Макаров был таким морским Ильей Муромцем, которому всякое лихо нипочем! Степан Осипыч был лучшим адмиралом русского флота. А к тому — океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель... Дарования этого человека были огромны, и Коля был страшно горд, что его любимый отец служит под началом такого славного флотоводца на его броненосце «Петропавловск»!

В Порт-Артур Макаров прибыл в марте, будучи назначен командовать Тихоокеанской эскадрой и руководить обороной крепости. Это назначение, лучше которого нельзя было и представить, в крепости встретили всеобщим ликованием. Дни японского флота, казалось, сочтены.

Дважды Коле довелось видеть адмирала-богатыря собственными глазами. Статный, с окладистой, разделенной надвое бородой, с очень русским, открытым лицом, он излучал бодрость и уверенность. И вместе с тем было что-то человечески добродушное в его лучистых глазах. Особенно, когда, завидя Колю, он весело приветствовал его:

— А! Наш будущий юнга!

Адмирала сопровождал еще один бородач, по виду штатский. Отец объяснил, что это знаменитый художник-баталист Василий Верещагин... Верещагин Коле тоже понравился, но все же взор его был прикован к адмиралу, на которого смотрел он с немым восторгом, вспоминая все рассказы о нем отца. Этот человек таранил льды Ледовитого океана (увидеть бы когда

такое диво!) ледоколом — впервые использовав это новое чудо инженерной мысли... Сколько приключений было в его жизни! Сколько открытий было им сделано! Конечно же, он разгромит япошек! Где им со Степан Осипычем тягаться!

Но в апреле случилась катастрофа. На японской mine подрвался броненосец «Петропавловск». Вместе с ним ушла на дно вся команда, а с нею адмирал Макаров, художник Верещагин и... лейтенант Алексей Зуев... Осиротел флот. Осиротел Порт-Артур. Осиротела Россия. Осиротел второй раз в своей короткой жизни Коля.

Убитого горем мальчика взял к себе близкий друг отца штабс-капитан Харитонов. Однако, предаваться скорби было некогда. Война разворачивалась совсем не так, как ожидалось вначале. Осажденный Порт-Артур был отрезан от основных русских сил и не имел с ними связи. Между тем, разведка доносила важные сведения, необходимые командованию русской армии! Генерал Стессель, командующий гарнизоном крепости, сломал голову, ища возможность передать донесение главнокомандующему генералу Куропаткину. Тут и подал идею штабс-капитан Харитонов:

— Мальчонка мой, приемыш, может с этим поручением справиться. Местность он знает, по-китайски, как на родном, балакает. В нем никто гонца не заподозрит.

— План недурен, но, однако же... ребенок! — усомнился Стессель. — Путь неблизкий и опасный...

— Я сильный, ваше превосходительство! — горячо воскликнул Коля. — Я дойду до наших и передам пакет!

— Ну, а если японцы тебя схватят?

— Они ничего от меня не добьются! А донесение я, если понадобится, съем! Мой отец погиб... Я хочу быть достойным моего отца. Я хочу сражаться или быть полезным хоть чем-то!

Стессель опустил обе руки на плечи мальчика:

— Желание твое понимаю и хвалю. Выйди-ка пока, нам со штабс-капитаном потолковать надо.

Коля послушно вышел и стал с волнением ждать своего нового отца.

Уже вечером тот вручил ему запечатанный пакет, а затем положил перед ним три шашки:

— Колюша, вот тебе три шашки, выбирай любую; она твоя навеки!

Глаза мальчика загорелись радостью: теперь у него будет своя шашка! Теперь он становится настоящим воином! И ему доверяют важнейшее поручение! О, если понадобится, он даст разорвать себя на куски, но выполнит его и докажет, что стоит этого доверия! С легкостью схватив сильной и ловкой рукой один из клинков, он тут же проделал несколько упражнений с ним и заметил удовлетворение в глазах Харитонова:

— Добрый офицер из тебя выйдет, если со смертью без нужды в русскую рулетку играть не станешь. Слушай же теперь внимательно, сынок, — впервые так назвал Колю штабс-капитан. — Самое главное, не попадись японцам в руки, они тебя того... Днем иди больше гаоляном да по рытвинам и долам, а если издали увидишь неприятеля — ложись на землю и жди, пока не скроется... Дорогу в Вафангоу ты знаешь хорошо, лучше любого китайца, ты ведь бывал там... Одно помни, мальчик мой, что пакет надо беречь пуще ока и доставить его в военный штаб, как обозначено на адресе, и никому другому не отдать его, ни-ни-ни, пуще всего японцу... Ежели что, лучше разорви, уничтожь, но чтобы не достался в руки врага, понимаешь? Лучше сам... — при этих словах Харитонов осекся и, обняв Колю, с чувством чмокнул его в макушку. — Ступай, сынок! И сохрани тебя Бог!

Напоследок штабс-капитан прибавил обещание, от которого сердце мальчика запрыгало от радости.

— Генерал сказал, что, если доставишь пакет в целости и вернешься живым, то представит тебя к Георгию 2-й степени!

Георгий 2-й степени! Ему! 14-летнему мальчишке! Даже отец получил его лишь посмертно! Бросившись на шею Харитонову, Коля заверил:

— Я доставлю пакет и обязательно вернусь живым!

Как же не вернуться тут? Лишиться целого Георгия? Шалишь, брат-япошка, не бывать этому!

Дорогу до Вафангоу Коля, действительно, знал прекрасно. Там располагалась железнодорожная станция, где он часто бывал и с отцом, и с другими офицерами. Правда, одному да еще и пешком не приводилось проделывать ему этот путь. К тому идти нужно было самыми пустынными тропинками в обход основных дорог, подчас и вовсе по бездорожью, продираясь сквозь густые кусты гаоляна, чтобы не нарваться на противника. То и дело мальчик трогал рукой карман, в который был зашит драгоценный пакет, инстинктивно стремясь убедиться, что он на месте.

Первая часть пути была преодолена им с легкостью. Но чем дальше, тем опаснее становилась местность. Все чаще стали встречаться неприятельские траншеи и окопы, виднеться палатки... С японских позиций то и дело доносились ружейные выстрелы. До вражеских аванпостов оставалось несколько верст.

Хотя высокие кусты гаоляна надежно скрывали лазутчика, но как быть с открытой местностью? Как пройти там, где неприятеля станет уже совсем густо? А еще немало тревожило Колю Гайопинское ущелье. Порт-Артурцы называли его Волчьей долиной, а китайцы рассказывали, что ночью там рыскают волки. Иной раз по дороге на станцию этаких страстей случалось послушаться мальчику и от китайцев, и от своих солдат, любивших иной раз пострадать для забавы, что и теперь холодок по спине пробегал.

А ночь, меж тем, приближалась, заботливо укутывая солнце своим мрачным одеялом, дабы могло оно, светило многощедрое, отдохнуть до утра от трудов.

Это была первая ночь, которую предстояло Коле провести одному, под открытым небом, вдали от людей... Вокруг него простиралось бескрайнее поле, поросшее гаоляном и скалистые горы с зияющими ущельями.

Была не была! Ночевать в чистом поле — так ночевать в чистом поле! Только уж не в кустах, где, подобно зверькам, любят устраиваться на ночлег китайцы. Русской душе роднее поле чистое да небо надо головой! Кое-как подкрепив силы солониной и сухарями, Коля растянулся на земле, положив вещмешок под голову и, вот, уже добрый час лежал, глядя на небо, тщетно призывая сон и тревожно прислушиваясь к каждому шороху. Самое главное, не быть захваченным во сне... Если схватят во сне, не будет времени уничтожить пакет, а тогда беда...

Как и когда усталость взяла свое, он не заметил и очнулся лишь утром, разбуженный солнцем, в задумчивости остановившимся над ним и посылавшим свои яркие лучи прямо в сомкнутые сном глаза. Проверив, на месте ли пакет, и размяв от ночной стылости гибкое тело, Коля бодро продолжил путь.

Никаких волков в Волчьей долине ему не встретилось, однако преодоление скалистых препятствий отняло немало времени и сил. В одном месте мальчик вовремя приметил японский дозор и вынужден был свернуть с дороги. Преодолев несколько верст, он вышел к почти отвесному ущелью, на дне которого протекала глубокая и стремительная река. Перейти ее вброд оказалось невозможным, и Коля с досадой повернул назад — искать иной путь.

Проблуждав в горах целый день, он все же нашел безопасный брод и дальнейшую дорогу, но солнце уже

садилось, а силы были на исходе. Пришлось, забыв рассказы о волках, ночевать среди негостеприимных скал. Холодно, жестко... Но уже так измаялось за день тело, что, хоть стоя к скале прислони, уснет мертвым сном. В эту ночь Коля уже не смотрел на звезды, не вспоминал родных и не думал ни о чем. Едва голова его коснулась почти пустого вещмешка, как сон сморил измученного путника.

Утром он, раздевшись донага, переправился через горную речушку, положив вещмешок, шашку и одежду на голову, и, наконец, продрогнув до костей, вышел на нужную дорогу. Однако же, потерял целый день! И, самое скверное — съедены все запасы... И как тут, спрашивается, подкреплять силы? Костер разводить нельзя — он может привлечь внимание противника. Солонина и сухари кончились. А вокруг, как назло, чистая пустыня! Ни яблоньки дикой, ни кустика бузины, ни даже дрянного китайского проса, которого Коля теперь с аппетитом поел бы даже в сыром виде!

— Степь да степь кругом,
Путь далек лежит,
В той степи глухой
Замерзал ямщик...

Любил эту песню сипло выводить солдат Давыдыч, и Коля иногда подтягивал ему тонко:

— Ты, товарищ мой,
Не попомни зла,
Здесь в степи глухой

Схорони меня...

У ямщика хоть товарищ был. Повезло! А, впрочем, что это еще за «схорони меня»? Шалишь, брат! Нас хоронить не надо! Это пусть неведомые ямщики в снегах наказы такие отдают! А нам надо пакет главнокомандующему доставить и назад возвратиться, и Георгия заветного получить! А потом япошек бить подаренной шашкою. А как япошки побиты будут, так уж отцовскую мечту исполнить — в корпус поступить и офицером стать.

Эти вдохновляющие перспективы сразу придали Коле сил, и он ускорил шаг.

К вечеру четвертого дня на горизонте показалось китайское селение. Едва державшийся на ногах от усталости мальчик перекрестился: наконец-то он может рассчитывать на ужин и отдых! И наконец-то можно будет хоть что-то разузнать о нахождении армии! Самое главное теперь убедительно разыграть свою роль, чтобы китайцы ничего не заподозрили.

Коля постучался в одну из крайних фанз, где жил одинокий старик.

— Дедушка, пусти меня переночевать! — попросил мальчик по-китайски.

— А ты кто ж такой будешь? — спросил китаец, разглядывая его и пощипывая редкую, в три волоска бородку. — Русский, да?

— Русский, — подтвердил Коля.

— И куда же ты идешь, русский? И откуда?

— Из Порт-Артура, дедушка.

— Из Порт-Артура!.. — протянул китаец.

— Там живет моя матушка, — соврал Коля. — Она хворает теперь и послала меня в русскую армию, чтобы узнать, жив ли мой отец, или он убит, так как мы уже

больше полугода не имеем о нем никаких известий. И это очень мучает мою матушку. Если отец жив, ей наверняка станет легче!..

— Пускай бы был жив, пускай! — согласился старик. — Ну, а шашка тебе зачем?

— А это мне солдат Давыдыч дал в дорогу, чтобы защищаться от волков.

— От волков! — китаец беззубо рассмеялся. — Ну, от волков, так от волков... Ладно, заходи уж. Солома и похлебка тебе найдутся.

И тому, и другому мальчик был рад, как манне небесной и царскому ложу.

— А что, дедушка, далече ли русская армия? — спросил он, жадно хлебая горячую просяную жижу.

Китаец лукаво ухмыльнулся:

— Завтра будешь у своих. Тут их позиции, несколько часов пути.

Коля едва подавил в себе радость, услышав эту новость. Неужели к концу подходит тяжелый путь? Теперь бы только не расслабиться, не наломать дров в последний момент. С этим китайцем тоже ухо остро держать надо. А старик, меж тем, продолжал:

— Армия ваша к большому бою готовится. Скоро должно быть тому бою. Несколько раз побили уже японцев, мелкие стычки были... А теперь большая будет. Тоже, должно быть, побьют.

Помолчав немного, китаец прибавил:

— Странно, что ты дошел сюда.

— Почему странно?

— Здесь рядом японские позиции. На днях наши видели возле селения разведчиков. К нам они не заходили, но расположились на высокой сопке и издали, при помощи этих... — китаец изобразил руками нечто продолговатое у глаз.

— Подзорных труб? — догадался Коля.

— Вот, верно, — закивал старик. — Через них они наблюдали за тем, что происходит на ваших позициях. Мы даже послали людей предупредить об этом ваших.

Такой услужливости Коля, хорошо знающий китайцев, поверил слабо. Впрочем, и китаец вряд ли вполне поверил его легенде. Поэтому спал мальчик в эту ночь, несмотря на усталость, чутье обычного, ни на мгновение не выпуская из руки шашку.

Опасения, однако, оказались напрасны. Утром старик разбудил своего гостя и даже указал ему, как обойти японские позиции.

Уже к полудню Коля разглядел вдали ряды укреплений, за которыми располагались русские резервные войска. Позади них на огромном пространстве был разбит лагерь: подводы с разными военными припасами, арсеналы, перевязочные пункты, амбулаторные палатки. Уже немало поднаторевший в военном деле, мальчик с легкостью сообразил, что аванпосты, то бишь необходимые ему главные силы, штаб, находятся на несколько верст подальше и, видимо, действительно готовятся к скорой битве.

В расположение резервных войск Коля поспел аккурат к обеду. Солдаты как раз суетились у кухни, от которой разносился ароматный запах каши. Несколько человек, заметив приближающегося путника, вскочили на ноги и вперили в него настороженные взгляды.

— Ты откуда? — раздался грубоваты окрик. — И как сюда явился?

— Я из Порт-Артура! — ответил Коля.

— Из Порт-Артура? Неужели? — раздался смех.

В этот миг к мальчику приблизился пожилой казак со сросшимися, косматыми бровями и сурово спросил, взяв за плечо:

— Ты, братец, не шути и скажи, кто ты и откуда? Знаешь, в наше время не до шуток. И откуда, братец, у

тебя эта шашка? Посмей только врать, ты увидишь... — при этих словах он убедительно погрозил пальцем.

Угроза Колю не напугала. Он вырос среди таких казаков, солдат, а еще моряков, и напугать его эти родные лица и голоса не могли. Мальчик повторил спокойно:

— Я из Порт-Артура и послан начальством в штаб, чтобы передать казенный пакет.

Казаки и солдаты, от любопытства оставившие своих котелки и подошедшие к нежданному гостю, переглянулись. Насмешки больше не было в их глазах.

— Когда, как, каким образом? — посыпались вопросы.

— Я пятый день оттуда, — коротко сказал Коля. — Отведите меня немедленно в штаб, я имею передать важную бумагу.

Его тон, то достоинство, с каким держал он себя, произвело надлежащее впечатление. О гонце из Порт-Артура было доложено батальонному командиру, и тот, получив от мальчика казенный пакет и усадив его на свою лошадь, незамедлительно поскакал вместе с ним и двумя казаками в штаб, находившийся в двух-трех верстах от месторасположения резервов.

В штабе Маньчжурской армии Колю принял лично генерал Куропаткин. В присутствии старших военачальников мальчик, немного волнуясь, подробно рассказал о своем путешествии из Порт-Артура. Когда он закончил свой рассказ, главнокомандующий улыбнулся и, подойдя к Коле, сказал:

— Да, Зуев, вы настоящий герой! А герою подобает награда!

И в следующий миг полная рука генерала приколола к старенькой, пропыленной колиной куртенке... Георгиевский крест! Так и задохнулся мальчик от восторга! Сбылось обещанное штабс-капитаном

Харитоновым! Он, 14-летний Коля Зуев — Георгиевский кавалер!

— Поздравляю вас, Зуев! — и большая холеная рука главнокомандующего пожимает дочерна загорелую руку мальчика.

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство! — выпалил Коля.

Куропаткин сделал знак адъютанту и, когда тот приблизился, распорядился:

— Вверяю нашего героя вашему попечению, пока мы снабдим его другим пакетом, чтобы он доставил его гарнизону в крепости.

Коля еще больше выпрямился от гордости — уже новое опасное поручение ждет его! Сам главнокомандующий доверяет ему! Глаза мальчика счастливо блестели, а присутствующие генералы и офицеры все, как один, смотрели на него с отеческим одобрением, поздравляли с заслуженной наградой и хвалили за проявленную доблесть.

У адъютанта генерала Куропаткина Степана Андреевича Морозова Коля вместо предполагавшихся нескольких дней прожил без малого месяц. За это время мальчик успел привязаться к молодому офицеру. Был он из казаков, правда, из семейства родовитого, отец его был гвардейским полковником, а дед и вовсе генералом. Посему Морозов, можно сказать, уже родился офицером и, конечно же, кавалерийским офицером. Ах, как гарцевал под ним его изумительный Буран, бравший призы на многих скачках в мирные дни! Коля еще никогда не видал такого красивого коня! Степан Андреевич, балуя юного гостя, позволял ему иногда ездить на своем красавце-скакуне, и от этого сердце мальчика замирало восторгом не меньше, чем при получении Георгиевского креста.

— Ах, если бы мне такого коня!

— Обожди, вот, выучишься, будет и у тебя свой конь.

Задумался Коля. Он ведь должен был поступать в Морской корпус, по стопам отца... А зачем моряку конь? И впервые промелькнула робкая мысль, а верно ли, что именно для морского дела рожден он? Да, отец учил его на будущего моряка, но его ли это жребий? К нему ли призван он? Может быть, его судьба — кавалерия? Ведь он — потомственный казак, и любовь к лошадям у него в крови. И эта вылазка из крепости... Теперь все говорят ему, что из него вышел бы добрый разведчик! Но не будет ли это предательством памяти отца?

— Полно! — успокаивал Морозов. — Твой отец будет гордиться, если его сын станет доблестным и знающим офицером, достойным слугой Царю и Отечеству. А будешь ли ты служить на море или на суше, не суть важно. Важно, чтобы служил! И служил достойно памяти своего отца! Впрочем, в этом и теперь можно не сомневаться! Ты, Колюша, такой же пес войны, как и я...

— А что значит пес войны?

— А это, — рассмеялся Степан Андреевич, — такие странные люди, для которых естественная среда обитания — только война, а вне ее, в мирной жизни, они маются и не находят себе места. Скучно нам в мирной жизни, Колюша!

Коля, всю свою недолгую жизнь возраставший среди военных и жизни мирной толком не знавший, подумал, что Морозов, скорее всего, прав. Что там есть в этой мирной жизни? Ничего, пожалуй, значительного и замечательного...

Бой в Вафангоу начался через несколько дней после его приезда в штаб, и Коля всей душой рвался принять в нем участие, но генерал Куропаткин строго-настрого запретил ему это, наказав Морозову проследить, чтобы юный герой не нарушил приказа.

— Каждый, брат, должен своим делом заниматься! — наставительно сказал Степан Андреевич. — Ты можешь, как мы с Бураном, в кавалерийских стычках биться? То-то же. А я не могу по скалам и гаолянну пробраться в Порт-Артур в обход японцев. Убьют тебе или ранят, и что тогда? Кто пакет-то в крепость доставит? Архангел Гавриил? Ты разведчик, лазутчик, вот, и жди своего череда и не юри поперек батьки в пекло.

Не юрить, так не юрить... Пришлось Коле быть пассивным зрителем разгоравшейся битвы! Но что же пришлось созерцать ему день за днем! Как жестокоско ошибся старик-китаец, суля русским победу! Нет, конечно, славные солдаты и офицеры бились со всей отвагою, не раз нанося неприятелю чувствительные удары, отбивая атаки его, громя отдельные его части и позиции. Иногда казалось, что победа уже близка, но... Японцы превосходили русскую армию числом, и это число — давило, наваливалось массой и теснило, теснило, несмотря на все удары, все самоотверженное геройство. Слышался к тому в среде офицерской ропот на нерешительность собственного командования, лично генерала Куропаткина. Судить о том Коле не по летам и чину было, а только обливалось кровью сердце, видя, как гибнут русские герои, как армия, в победу которой так верили, неудержимо откатывается назад, не имея сил сопротивляться натиску врага...

Поражение! Это слово обжигало нестерпимой болью стыда, горечи и разочарования, теснило сердце, кружило голову. Но и рождало волевое требование — отомстить, взять реванш, поставить на место зарвавшегося врага!

А тут еще убили Бурана... Осколок снаряда ударил в стройную, мускулистую шею дивного коня, и он истек кровью в считанные минуты. Степан Андреевич, потеряв любимого друга, был безутешен, и Коля, так

восхищавшийся красавцем-конем, разделял его горе. Но уже пришло время и ему покинуть своего нового товарища. Генерал Куропаткин вручил удачливому гонцу пакет и велел срочно пробираться в Порт-Артур.

Провожал мальчика тою же ночью один лишь бледный и не похожий на себя Морозов.

— Ну, брат, сохрани тебя Бог! Береги себя, Колюша! Авось, еще свидимся! — с этими словами молодой офицер с чувством обнял и расцеловал Колю.

— Обязательно свидимся! — обещал Коля, отвечая ему не менее сердечными объятиями. Мальчику очень хотелось хоть чем-то утешить своего удрученного потерей друга. Но чем тут утешить, когда пал безвозвратно прекрасный Буран? — Вы тоже берегите себя, Степан Андреевич! Я много думал, я в кавалерию идти хочу! Я очень обязан вам за все наставления и буду еще больше обязан, если вы не откажете мне в них впредь!

Морозов потрепал Колю по плечу:

— Хороший ты парень, Колюша. И добрый из тебя офицер выйдет. Ты вот что, брат... Пиши мне, знаешь? А я уж, коли жив буду, всегда тебе отвечу, и чем могу — советом ли, делом ли — помогу всегда.

Они обнялись еще раз, и мальчик отправился в обратный путь, обещавший быть много труднее и опаснее, чем прежний. Поражение в Вафангоу привело к тому, что неприятель занял новые пространства и уже успел расположить на них ряд укрепленных линий. Пробираться мимо них приходилось буквально ползком с риском во всякое мгновение быть пойманным, либо обходить вражеские укрепления по горам, по самым узким, непроходимым тропкам, спускаясь на четвереньках с отвесных склонов и рискуя сорваться в пропасть...

Добрые ангелы любят смельчаков. И, вот, измученный, голодный, весь в ссадинах и грязи, Коля,

наконец, увидел родные стены Порт-Артура! Здесь встречали его общим ликованием. Ведь прошел уже месяц с той поры, как покинул он крепость, и, не имея никаких вестей о нем, стали помышлять о нем, как о погибшем или, в лучшем случае, попавшем в плен. До здания штаба счастливый, что его приемыш жив, Харитонов и еще несколько офицеров пронесли усталого героя на руках, а генерал Стессель лично вышел встречать его.

Коля молодецки отдал честь и подал коменданту пакет. Тот немедля распечатал его, прочел, темнея лицом с каждой прочитанной строчкой, затем поднял запавшие, в черных обочьях, глаза на гонца:

— Что, брат, жарко пришлось?

— Никак нет, ваше превосходительство! — звонко откликнулся Коля.

Генерал кивнул, удовлетворенный бодрым ответом, скользнул взглядом по блестящему кресту на груди героя и, подойдя к своему столу, поманил к себе мальчика. Тот подошел и вытянулся по стойке смирно. Стессель достал из ящика Георгиевский крест и аккуратно приладил его на возбужденно заколыхавшуюся грудь Коли:

— Я свое слово держу. Третья степень у тебя уже есть, а теперь будет и вторая. Носи с честью! Заслужил!

И, вот, уже два заветных крестика гордо поблескивали на мальчишеской груди... Его порт-артурские друзья теперь смотрели на него с почтением, будто бы был он не Колька Зуев, с которым с малолетства играли они и дрались в здешних дворах и улочках, а служивый человек, почти чужой, к которому, как говорится, «на кривой козе не подъедешь». Коля, заметив эту почтительную отчужденность, быстро внес в отношения с приятелями порядок, задав хорошую трепку Васе Сафонову, с которым они некогда едва не потонули, уплыв в рыбацкой лодке в открытое море.

— Ты ж ведь теперь того, егорьевский кавалер, — заметил Вася.

— Так ведь не император же японский! — рассмеялся Коля.

— Ампиатора бы ихнего мы бы того... в навозе утопили... — мечтательно заметил Сафонов.

— С удовольствием поучаствовал бы в таком подвиге, — согласился Коля. — Дело за малым. Пробраться в ихнюю столицу, во дворец и выкрасть его! Тогда и войне шабаш.

— Ну, вот, тебе и карты в руки, — хохотнул Вася. — До Вафангоу дошел, авось, и до Японии доберешься!

Отношения с друзьями были восстановлены, и дважды Георгиевский кавалер вновь носился с толпой сверстников по улицам Порт-Артура, беззаботно предаваясь детским играм и получая ссадины в мальчишеских потасовках.

Между тем, положение крепости становилось все тяжелее. 16 мая Стессель без боя сдал неприятелю порт Дальний, не позаботившись даже разрушить портовые сооружения и вывезти снаряжение. В руки японцев попали сотня складов, электростанция, железнодорожные мастерские, большое количество рельсов и подвижного состава, значительные запасы угля и 50 грузовых судов... Отныне Дальний становился гаванью для японских кораблей и перевалочным пунктом для подвоза вооружений и свежих частей для воюющей в Маньчжурии армии.

— Предатель! Подлец! — не мог сдержать своего негодования штабс-капитан Харитонов. Коля впервые видел приемного родителя в такой ярости. — Это же удар в спину нашей армии! Да его за это под суд отдать надо! По-ве-сить!!!

Это мнение разделяли многие защитники Порт-Артура. Глухой ропот против коменданта крепости буквально носился в воздухе.

— Теперь вся надежда на Романа Исидоровича, — говорил Харитонов. — Уж он-то сдаваться япошкам не станет!

Военный инженер генерал Роман Исидорович Кондратенко, возглавлявший сухопутную оборону крепости, был подлинной душой Порт-Артура. Именно благодаря ему уже с началом боевых действий была оборудована передовая линия обороны, состоявшая из ряда временных фортов и полевых укреплений. Их захват стоил японской армии огромных усилий и жертв. Ключевая оборонительная позиция была оборудована им на горе Ляотешань, огромной скалистой возвышенности, господствовавшей над фортами, городом и портом. Роман Исидорович рассчитывал, что, если японские войска прорвут линию фортов главного оборонительного пояса, то русские войска отойдут на Ляотешань и там дадут врагу последний бой, сражаясь до последнего патрона.

Под начало Кондратенко стекались все самые решительные и инициативные люди. К примеру, лейтенант Подгурский соорудил из гильзы 37-миллиметрового снаряда самодельную ручную гранату, и Роман Исидорович немедленно запустил производство таких «бомбочек». Мичман Власьев ввиду дефицита пулеметов предложил связывать винтовки по пять в одном станке и применять их, как скорострельное многоствольное артиллерийское орудие, ведущее залповый огонь патронами винтовочного калибра. Этот же изобретатель-самоучка разработал миномет, используя мины для стрельбы из 47-миллиметровой морской пушки. Капитан Леонид Гобято развил эту инициативу, взявшись за создание «минных мортир» и изобретя надкалиберную мину со стабилизатором. А сапер Дебигорий-Мокриевич предложил Кондратенко идею осветительной гранаты. Не остались в стороне и моряки, придумавшие использовать морские минные

аппараты для стрельбы торпедами на суше и пропускать через колючую проволоку электрический ток...

Талантлив, что и говорить, был порт-артурский народ! Порт-артурское воинство! Но вдохновителем всем этим талантам был Кондратенко, своим отеческим отношением, своей бодростью и неутомимостью скреплявший весь гарнизон, превращавший его в единый могучий организм, для которого ничем был никакой враг. «Никакой штурм не может быть страшным, — говорил защитникам крепости Роман Исидорович, — если мы решили до конца выполнять данную нами присягу!» И солдаты верили ему безоговорочно.

— С Кондратенко сам черт нестрашен! — таким было общее мнение.

Прошел месяц с той поры, как Коля возвратился в крепость. Прошел он в редких (да простит покойный отец) занятиях, к которым так не располагало жаркое погожее лето, и веселых играх с мальчишками. Однажды утром, когда Коля с друзьями самозабвенно предавался любимой игре в бабки, мечтая повторить достижение Васи и тоже вышибить одним ударом два «гнезда», к нему подошел озабоченный Харитонов и, взяв его за плечо, тут же при всех сообщил:

— Идем, сынок. Командование решило доверить тебе новую разведку.

Мальчишки тотчас затихли и с уважением посмотрели на Колю. Тот же просиял от радости, что ему вновь представляется случай отличиться, послужить Отечеству, что в ближайшее время ждут его не детские игры, а настоящие, захватывающие приключения, о которых потом так увлекательно рассказывать друзьям!

— Удачи тебе, брат! — кинулся ему на шею Вася.

— Ни пуха, ни пера! С Богом! Языка приводи, мы его допросим! — загомонили остальные мальчишки.

— До встречи, братцы! — отвечал им Коля, следуя за приемным отцом.

Новая задача, возложенная на него, оказалась сложнее предыдущей. На этот раз мальчик отправлялся именно для сбора разведданных окрест крепости, мертвым кольцом окруженной неприятелем. У стен Порт-Артура японцами на каждом шагу была расставлена стража, которая должна была не выпускать из крепости ни единой живой души. Коле предстояло обмануть внимание караульных, выбраться наружу, за несколько дней обследовать близлежащие территории и вернуться обратно, вновь неведомым образом обманув бдительность стражи.

Первая вылазка оказалась успешной. Под покровом безлунной ночи ловкий мальчик тенью проскользнул мимо отвлеченного нарочно поднятым за стеной крепости шумом караульного и, прежде чем тот успел заметить его, скрылся в глубокой ложбине, по которой и отполз в сторону от самого опасного места.

Утром Коля был уже далеко от крепости. Рискую быть захваченным противником, вести записи или делать зарисовки местности нельзя, значит, остается лишь приметливый глаз и хорошая память. Ни то, ни другое юного разведчика доселе никогда не подводило. Взобравшись на высокую сопку и притаившись за деревом, мальчик стал наблюдать за японским лагерем. Избранная позиция оказалась удачной — японцы были видны с нее, как на ладони, и Коля похвалил себя за догадливость.

Ближе к полудню его зоркий глаз заметил подозрительное движение верстах в трех-четыре. Присмотревшись, мальчик разглядел, что большая группа неприятельских солдат тащит в гору большую пушку. Пушка, по-видимому, была очень тяжела, и

японцы никак не могли сладить с ней. Несколько человек отделились от общей группы и принялись стрелять в воздух из ружей. На этот призыв с разных сторон сбежался целый батальон, и всей артелью уперлись они в упрямую пушку. Наконец, строптивница поддалась и была установлена на вершине горы — «жерлом» прямо на Порт-Артур. На этом вражеские приготовления не завершились. Вслед за первой пушкой на гору была поднята вторая, третья, наконец на крепость нацелилась цела батарея, выстроенная в два ряда.

Окончив установку пушек, японцы принялись окапываться и делать траншеи, в которые были принесены ящики с патронами, порохом и другими военными припасами. Уже через несколько часов новая позиция была оборудована и готова к бою.

— Ах ты, язва! — ругнулся Коля, чей наблюдательный пункт находился аккурат напротив новой японской батареи. — Это же, если они палить начнут, так первым же залпом по мне угодят!

Сообразив эту угрозу, мальчик стал проворно спускаться вниз. Увиденного уже было с избытком для срочного донесения в гарнизон. Но внизу его подстерегала большая неожиданность. Едва Коля спрыгнул с последнего уступа на землю, как оказался лицом к лицу с тремя японцами... Мальчик замер. Японцы вскинули ружья. «Бежать бесполезно, — пронеслось в голове, — пристрелят... Эх, язва, попался, как ворона в суп!» На сей раз у Коли не было ни шашки, ни пакета, ни иных уличающих в нем лазутчика предметов. Одет же он был китайцем. Сощуриив свои маленькие глаза и подняв руки, мальчик торопливо и жалобно залопотал по-китайски:

— Ай-ай-ай, не стреляйте! Я не сделал ничего плохого!

Один из японцев выстрелил, пуля просвистела прямо над ухом Коли, и он и воплем упал на колени, зажимая уши и изображая панический страх.

— Ты кто? Что забыл здесь? — грозно спросил японец. — Ты из Артура или из Вафангоу?

— Меня зовут Си-Кан-Ю, господин. Я сирота. Мой отец, Тай-Дзун-Ма-Тесин недавно умер, — Коля всхлипнул. — А я возвращаюсь в нашу деревню Фи-Чи-Яни... Не знаете ли вы, в какой она стороне, и далеко ли идти до нее? Мне кажется, я заблудился. Поэтому я поднялся на эту сопку — я думал, что с нее я разгляжу знакомые места и пойму, куда идти...

Японцы переглянулись, посоветовались между собой. Тот, что, по-видимому, был старшим, взял Колю за руку и велел идти с ними.

Идти пришлось довольно долго — большей частью по горам. И Коля то и дело начинал всхлипывать, жалуясь на усталость и голод. Его привели в одну из резервных частей японской армии и представили на суд некому офицеру. Офицер стал задавать Коле вопросы то на китайском, то на русском языках, оба из которых он знал одинаково плохо. Коля же отвечал ему на чистом китайском и сильно ломаном на китайский манер русском. Выслушав легенду сироты из деревни Фи-Чи-Яни и не добившись от пленника ничего иного, кроме слезной мольбы не убивать и отпустить его, офицер велел послать в указанную деревню гонца, чтобы узнать, живет ли там мальчик Си-Кан-Ю, отца которого звали Тай-Дзун-Ма-Тесин. Лазутчика в Коле, выглядевшем младше своих лет, видимо, не заподозрили, потому что даже не посадили под замок, а накормили и предложили ночевать в фанзе или на дворе.

— Позвольте мне спать на открытом воздухе, в фанзе теперь так душно! — жалобно попросил мальчик.

— Ладно, спи здесь, — махнул рукой японец. — Только думать не смей бежать, а не то пристрелим.

— Спасибо, господин!

Угроза расстрела не испугала Колю. Он с аппетитом поужинал и сделал вид, что уснул, а на самом деле терпеливо выжидал, когда сон охватит японский лагерь. Присмотрливый глаз юного разведчика уже давно присмотрел маленькую каурюю лошадку — одну из тех, что паслись поблизости, привязанные на веревке.

Скоро солдаты разошлись по фанзам, а иные расположились на ночлег прямо на земле. Лишь караульные, позевывая, ходили взад-вперед, охраняя лагерь. Вот, очередной прошел мимо, скрывшись в темноте, и Коля тихонько пополз на животе к привязанным лошадям. Слух его уже уловил шаги очередного приближающегося стража, когда он перерезал ножиком веревку, которой была привязана его каурая избранница... Эх, была не была! Помогай, Господи, смельчакам! Одним прыжком Коля вскочил на спину расседланной лошади и, вцепившись ей в гриву, «дал шенкелей» пятками... Лошадь испуганно заржала и понеслась во мрак. Позади раздались крики, прозвучало несколько выстрелов. Погони, однако, не последовало.

Коля мчался всю ночь, прикинув к шее каурки и слыша только стук собственного сердца. Наутро он очутился в незнакомой китайской деревне. Окликнув вышедшую из фанзы китайянку, мальчик спросил, где он находится. Оказалось, что каурка унесла его далеко не только от японцев, но и от Порт-Артура. Деревня, в которой он очутился, располагалась в пределах Ляояна. Одно было славно: японцев поблизости не было, а дружественные китайцы пообещали дать мальчику проводника, чтобы добраться до русских позиций.

Через несколько дней Коля уже сидел в окружении своих порт-артурских друзей, затаив дыхание

слушавших о его новых приключениях. А на груди его гордо поблескивали уже не два, а три Георгиевских креста.

— Ну, Колька, осталось тебе и впрямь только ампиатора япошкина в плен взять! — воскликнул Вася Сафонов, и вся компания дружно засмеялась.

— И возьму! — весело отвечал Коля. — Надо ж мне четвертый-то крест выслужить, чтобы полный бант был! А пока давайте, ребята, в бабки, что ль, сразимся или в лапту. Страшно я по этому занятию соскучился!

Второе занятие «Роты молодой смены им. генерала Кутепова» подошло к концу. Невысокий, подтянутый инструктор распустил насчитывавший двадцать слушателей класс до следующего раза:

— Вы свободны, господа! Уверен, что каждый из вас покажет отличные успехи в учебе в память наших почивших вождей, а, когда придет заветный час, с честью послужит Родине!

Молодой полковник казался олицетворением самого понятия «офицер», «военная кость». Коротко стриженный, с небольшими, умными, все примечающими глазами, всегда лаконичный, неизменно собранный, ровный, излучающий неиссякаемую бодрость и веру в конечную победу Белого Дела, он буквально завораживал своих слушателей, не томя их сухой теорией, но стараясь дать как можно больше практических знаний, подкрепленных примерами из боевой жизни.

«Молодая смена» стала формироваться после похищения и убийства большевиками Александра Павловича Кутепова, и 18-летние Саша Греч и Родя Старицкий, еще детьми покинувшие Отечество с родителями в ноябре 1920 года и с той поры

проживавшие в Софии, в числе первых записались в роту. И, вот, наконец-то, начались занятия! Скоро они смогут не в мечтах, а на деле послужить горячо любимой Родине!

— А ты знаешь, кто наш наставник? — загадочно спросил Саша, когда они с Родей вышли на улицу.

— О, конечно! Это легендарный полковник Зуев! — с восторгом отозвался Старицкий. — Он несколько раз ходил за «чертополох», выполняя поручения генерала Кутепова! Говорят, даже работал в штабе Ленинградского военного округа и благополучно вернулся, так и не разоблаченный красными! Настоящий герой! Полковник в 20 с лишним лет! Артиллерист... Два ранения, две войны... Эх, Сашка, ну, почему мы с тобой опоздали родиться?!

— Да-да, — лукаво улыбнулся Греч и достал из-за пазухи пожелтевшую от времени брошюру. — На-ка, брат, почитай на досуге. Дед мой, порт-артурец, отыскал вчера сию примечательную реликвию.

На обложке брошюры помещалась фотография маленького казачонка, сидящего на некрупной, под стать седоку лошадке. На груди мальчика красовались три Георгия... «Великий герой — 14-летний Георгиевский кавалер Коля Зуев» — гласил крупный заголовок. Родя с изумлением поднял глаза на друга.

— Да-да, — кивнул тот, — наш Николай Алексеевич. А в корпус и в Михайловское артиллерийское его за все подвиги лично Государь Николай Александрович определил.

При упоминании незабвенного Императора воспитанный в семье ревностных монархистов Родя перекрестился и, с благоговейным чувством листая брошюру, произнес восхищенно:

— Великий герой! Пример всем нам!

Дочь своего отца (Пётр Аркадьевич и Ольга Петровна Столыпины)

Противники государственности хотят освободиться от исторического прошлого России. Нам предлагают среди других сильных и крепких народов превратить Россию в развалины — чтобы на этих развалинах строить неведомое нам отечество. ИМ НУЖНЫ — ВЕЛИКИЕ ПОТрясения, НАМ НУЖНА — ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!

П.А. Столыпин

— Вот, Олечек, возьми конфеты. Только, смотри, с сестрами поделись!

— Ах, папочка, как я тебя люблю!

— Неужто только за конфеты?

— Нет! Еще за подарки!

Отец весело смеется этому простодушному детскому ответу, а затем, от смеха, начинает кашлять. Он сильно простужен, как и все сестры, а потому полулежит на оттоманке, то погружаясь в дремоту, то переговариваясь с матерью. Последняя сидит подле, за столиком, и с сокрушенным видом пишет карточки. Намеченный детский бал пришлось отменить из-за постигшей семью простуды.

— Ах, что за мучение с этими карточками! — вздыхает мать, качая головой. — Ведь для каждого нужно подобрать слова, тон...

— А ты не старайся так, — сонно пожимает плечами отец. — Напиши всем одно и то же, но в стихотворной форме, могла бы даже дать напечатать. Например, так:

Плохи делишки,

Больны детишки,
И детский бал
Совсем пропал!

Мать со вздохом отмахивается и продолжает «мучение». А отец, повернув голову к Олечку, заговорщицки улыбается:

— Обожди, детка! Как только поправимся, поедem кататься!

Сердце девочки наполняется восторгом. Кататься! Это ничуть не менее весело, чем бал! Скорее сообщить об этом сестрам! Пусть скорее поправляются и вперед! Вперед на легком тормозе, как любит говорить отец...

И, вот, уже запряжена «курлянка», крепкая коляска, способная выдержать ухабиcтoсть местных дорог. Бьет копытами гнедой масти конь, на которого с гордостью взирает Казимир. Об этом своем питомце не скажет он, как о чужих лошадях, презрительное: «Без ног!» Этот конек — вихрь-конек! И матушка, всегда боявшаяся лошадей после гибели сестры, смотрит на него с тревогой:

— Петр Аркадьевич, уж ты поосторожнее! Может быть, посмирнее лошадь запрячь?..

— Не тревожьтесь, барыня, — улыбается Казимир. — Этот конь умный, ничего барышням не сделает.

Между домом и «курлянкой» — лужа-море. Накануне был сильный дождь. Из-за этой вечной лужи шутили извозчики местные: «Если к Столыпинам желаете, нанимайте не нас, а лодку!» Миг, и могучая рука отца усаживает Олечку в коляску. На нем высокие сапоги, и им нипочем какая-то лужа. Одно худо — правая рука его почти не действует, так как искалечена. Но чтобы поднять и усадить такую кроху, как Олечек, довольно и одной руки. От мгновения полета над лужей наполняется восторгом душа, и девочка громко кричит. Отец смеется и легко

вспрыгивает на кучерское место. Конь радостно срывается с места...

В августовскую пору деревня Колнобереже утопает в цветах. Штокрозы, мальвы, георгины — бордовые, алые, желтые, белые — гордо взирают их прекрасные, королевские головы из тенистых садов. Литовцы любят порядок. Благоустроены их сады и дома, размерена их жизнь, в которой каждый знает, что и когда надлежит ему делать. Даже их скот дисциплинирован не хуже солдат! Вечером огромное стадо под приглядом пары пастухов входило в деревню, возвращаясь с пастбища, и коровы и овцы сами сворачивали у ворот своих хозяев, каждая в свой хлев. И так, миновав деревню, само расходилось стадо до последней коровы...

За деревенской околицей простираются луга и поля... Что может быть прекраснее августовских полей, готовых одарить жнецов обильным урожаем? Полевых цветов? Теплового летнего ветра?.. Реки, чьи прозрачные воды так манят окунуться в них? Но матушка запретила: не хватало только новой простуды... Купаться нельзя, зато пикник никто не запрещал! Что нужно для хорошего пикника? Стог мягкого, ароматного сена, в которое так весело зарываться, кринка молока, ломоть свежего, только утром испеченного, благоухающего хлеба, сыр... Совсем крестьянская трапеза! Но что может быть вкуснее? Даже конфеты не превзойдут ее!

Отец хорошо знает крестьянскую жизнь. Знает мужика, знает и любит землю. Хотя и малы еще его девочки, но он увлеченно рассказывает им и о премудростях хозяйства, и о мужицкой нелегкой доле, которую так старался и мечтал он переменить к лучшему. Крестьяне эту заботу чувствовали и предводителя местного дворянства встречали с искренним почтением. Они знали, что всегда могут обратиться к нему со своей нуждой и будут услышаны.

— Ну, девочки, пора собираться обратно, — говорит отец, глядя на резвящихся в поле дочерей. — И тучи близятся, и учитель танцев скоро придет.

— Опять этот господин Лейкинд! — недовольно морщится Матя.

— Чем он так досадил тебе? — любопытствует отец.

— У него руки всегда потные! И так неприятно, когда он нас ими касается! — выпаливает, опережая сестру, Наташа.

— О, ну, это неудобство мы легко поправим! Я подарю господину Лейкинду перчатки, каковые и подобает иметь кавалеру!

Это обещание немало утешает Матю и Наташу, и они, водрузив на головы сплетенные из полевых цветов венки, забираются в коляску. Следом на отцовской руке воспаряет туда и Олечек.

И снова резво мчится по дороге гнедко, утоливший аппетит свежей травой и готовый одолеть многие версты. Косматые тучи, меж тем, и впрямь надвигаются все ближе. Поднявшийся ветер стремительно несет их следом за «курляжкой», и грозно ударяют бубны где-то вдалеке.

До дома остается уже совсем чуть-чуть, когда в сгустившемся грозном сумраке раздается все сотрясающий грохот, вспышка молнии загорается впереди, на мгновение лишая зрения. Отчаянно ржет испуганный конь, становясь на дыбы. Отчаянно визжат сестры.

— Быстро! Вон из коляски! — кричит отец. — Под мост!

Коляска как раз успела въехать на мост, когда взбесился от страха гнедко. Сложно совладать с ним отцу одной рукою! Спрыгнув на землю, он грудью заслоняет коню дорогу, не выпуская узды. Тем временем Матя и Наташа кубарем скатываются в канаву, таща за собой Олечка.

Хлещет дождь, раздирают небо вспышки молнии, мечется несчастный конь... И, кажется, вот-вот забьет он копытами стоящего перед ним отца, сметет его со своего пути, растопчет!

— Папочка! Папочка!

Но конь утихает, смиряется перед силой своего однорукого хозяина и уже виновато тупится, и отец ласково гладит его по морде. Олечек вместе с сестрами бросаются к нему.

— Все хорошо, девочки. Что вы испугались? Смотрите, ничего не говорите маме, а то в другой раз она точно не разрешит нам кататься.

* * *

Олечек открыла глаза и несколько мгновений непонимающе смотрела перед собой. Ах, вот, оно что! Ей снилось Колноберже! Милое, незабвенное Колноберже — колыбель ее беззаботного детства! Господи, как давно это было... Как-то там теперь, в Колноберже? Должно быть, не так уж плохо. По крайней мере, там нет большевиков... Нужно было давно уехать туда, домой. Но матушка хотела быть ближе к отцу. Да и старая княгиня Щербатова не желала покидать свою вотчину...

Сквозь занавески просачивались яркие лучи солнца. До глубокой ночи продежури у одра больной сестры, Олечек заспалась. За окном уже стоял день. И день этот тревожил непонятным шумом, гулом незнакомых голосов... Девушка приподнялась с постели с намерением выглянуть в окно, но не успела сделать этого, так как в комнату ворвалась бледная Саша.

— Красные пришли! — с испугом выпалила младшая сестра.

Дождались! — упало с горечью сердце. Да и как не дожидаться было? Уже отошли назад, в Крым, обескровленные врангелевские части, раненых солдат которых Олечек и Саша совсем недавно перевязывали на дворе усадьбы. И уже дважды приходили к княгине большевистские представители, чаевничали, беседовали, выражали желание организовать в щербатовском дворце воспитательный дом. Княгиня Марья Григорьевна гордо отказывала. А ее не менее гордая прислуга брезговала даже постелить на ночь постели незваным гостям. Олечек и Саша стелили сами...

Марья Григорьевна была барыней в самом полном значении этого слова. Она привыкла быть полновластной хозяйкой в своем доме и в своих владениях. Умело и рачительно ведя хозяйство, заботясь о крестьянах, она пользовалась их неизменным уважением, и, благодаря этому, ужасы гражданской войны, полыхавшей уже три года, обходили ее имение стороной. Петлюровцы, большевики, немцы, поляки, всевозможные батки со своими бандами — кто только не куражился на Украине в эти годы! Но в Немирове, во дворце Щербатовых, время как будто остановилось. Марья Григорьевна не желала замечать того, что жизнь давно уже сделалась иной, что она уже не хозяйка ее. И следом за ней «не замечали» действительности и ее домочадцы.

Милый «старорежимный» уклад, милые вечерние чтения вслух и музицирования — все это не чистым ли безумием было, когда вокруг бушевал ад? И, вот, ад пришел в Немиров...

Олечек поспешно оделась и с тревогой выглянула в окно. То, что заволокло двор и лезло в дом, менее всего можно было назвать «армией». Даже с приставкой «красная». Полупьяная орда, разряженная самым немислимым образом — иные даже в бабьем

тряпье! Разбойничья ватага, нацепившая на себя все, что могла вытащить из разграбленных сундуков — шубы, шляпы, драгоценности... Все это галдело, вопило и материлось на все лады. И, конечно же, тащило в карманы и обозы все, что попадалось под руку. А что не могло или не желало тащить, то жгло, рубило, кромсало...

— Варвары! Немедленно верните картину на место! — это Марья Григорьевна бросилась защищать фамильный портрет, написанный еще по заказу ее пращура, графа Александра Сергеевича Строганова. — Это же 18-й век!

Бедная, старая барыня... Что для этой орды был «18-й век»? Портреты? Строгановы? Вся культура, все искусства мира?

— Пошла прочь, старая...! — замахивается на нее нагайкой верзила в бабьей шубе.

Княгиня не столько в испуге, сколько в удивлении (никто и никогда не смел обращаться с нею подобным образом!), отступает назад.

— Как вы смеете!

А в это время под пьяный гогот бестрепетные руки шашками рассекают драгоценный холст...

Перепуганные Вадим и Сандра стараются увести мать, боясь за нее и за себя.

— Пойдем вниз, — сказала Олечек сестре, отходя от окна. — Что Лена?

— С ней мама, — подавленно отозвалась Саша.

Елена который день лежала в тифу. Положение было столь серьезным, что накануне звали священника, чтобы он отпустил находящейся в беспамятстве больной грехи. Детей к ней не допускали, боясь заразы, и они оставались в своих комнатах с няней.

Стараясь не столкнуться с бандитами, девушки проникли в комнату сестры и бросились на шею заплаканной матери.

— Боже мой, какой ужас! — всхлипывала та. — Эти варвары сказали, что устроят здесь свой штаб! Ведь это чудовищно! Это невозможное, возмутительное соседство! Этого нельзя терпеть!

Бедная, бедная мама... Она, как и княгиня, все еще жила в другом мире. Покидая Петербург осенью 18-го года, она оставила все деньги и семейные ценности на хранение в государственном банке... И все это через считанные дни пополнило казну большевиков. Ныне она с отчаянным ужасом прислушивалась к звериному реву, доносившемуся из-за дверей, и... негодовала на «возмутительное соседство»...

— Разве могло что-либо подобное быть при вашем отце?! Он никогда, никогда! — не допустил бы подобного ужаса!

* * *

Это правда. Отец не допустил бы. Отец стоял стеной на пути этого ужаса. Стоял практически один... Единственной рукой и могучей грудью удерживая бешеных коней, готовых разнести в щепы «курлянку» под названием «Россия» со всеми ее пассажирами...

Глядя на разряженных в краденые тряпки товарищей, Олечек вспоминала саратовского бунтаря, звавшего крестьян к топору в одеждах «царей московских»... Саратовские бунты страшными ключьями сохранились в детской памяти. Отчетливо памятен был переполох, когда в губернаторском (их!) доме террористка застрелила прибывшего для усмирения беспорядков генерала Сахарова. Ныне эта особа вошла в руководство страны и в числе других высокопоставленных большевиков заключала позорный Брестский мир, по которому правительство Ленина

отдало Германии Украину, Белоруссию и еще львиную долю русских земель...

Саратовская губерния в 1904 году оказалась одной из самых революционных. Горели помещичьи усадьбы (не исключая и столыпинскую), вырезался без жалости скот, что приводило в ужас трудолюбивых крестьян, гибли люди... Когда революционные банды осквернили церковь, мужики обратились против этих банд и... убили 40 человек. Когда разошлись в неугасимой пугачевщине сами мужики, побили их казаки...

Отец, впрочем, всемерно стремился избежать жертв среди дорогих его сердцу крестьян, не жалея для этого собственной жизни...

— Ваше высокопревосходительство! В Чулпановке бунт! — докладывает примчавшийся к губернатору гонец.

Что же губернатор? Шлет карательный отряд на расправу? Нет. Велит седлать коня и сам — верхом! без охраны! — мчится в бунтующую деревню. Он знал, что вид сильной, спокойной, уверенной в себе, своем праве и своей правде власти подчас лучше карательных мер способен остужать страсти во взбаламученном народе. Кары необходимы для подстрекателей и смутителей души народной, а самому народу нужно дать то, в чем нуждается он — закон, возможность работать для своего блага, просвещение... «Главная наша задача — укрепить низы, — говорил отец. — В них вся сила страны. Их более 100 миллионов и будут здоровы и крепки корни у государства, — и слова Русского Правительства совсем иначе зазвучат перед целым миром... Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа — вот девиз для нас всех, Русских. Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Но врагам России не нужны были 20 лет покоя, напротив, они жаждали разжечь пламя мятежей, чтобы в них

сгорело дотла здание великой Империи. Для построения «всеобщего счастья» нужно было пепелище, и революционеры старательно обращали в него русские города и веси, ввергая их в хаос восстаний и террора.

Примчавшись в Чулпановку, отец без страха въехал в бурлящую толпу, удивленно расступившуюся перед ним. Давно отвык народ от явления пред собой властной силы. Последний раз — уж не Николай ли Первый выходил самолично усмирять холерный бунт, без охраны являясь пред разъяренной толпою? С той поры без малого век минул...

Губернатор соскочил с коня, и тотчас метнулся к нему весь дрожащий от возбуждения человек. Он уже хотел разразиться какой-то тирадой, но отец с невозмутимым видом сбросил ему на руке свою шинель:

— Подержи-ка, голубчик!

И пропали враз слова у краснобая мятежных сходов. Так и пошел с раскрытым, но онемевшим ртом следом за «душителем свободы», неся его шинель, точно лакей.

Отец шел к наскоро сколоченному посреде площади помосту, с которого только-только заезжие ораторы и свои бузотеры звали братья за вилы, жечь, бить помещиков и свергать власть. В нескольких шагах от одной «трибуны» путь ему преградил худощавый юноша, по виду из горожан. Глаза юноши лихорадочно горели, а в руках он сжимал нацеленный на губернатора пистолет. Толпа затихла, ожидая развязки...

Отцу уже не в первый раз приводилось смотреть в дуло пистолета. Много лет назад в него уже целились. Только не революционер, а убийца брата. Последний погиб на дуэли, оставив по себе безутешную невесту, которую отец взял в жены. Но прежде отдания этого долга отдал и другой, вызвав убийцу на дуэль. Именно в том поединке и получил он рану, навсегда искалечившую его правую руку...

Теперь заезжий террорист уже явно готов был нажать на курок, и все же рука его предательски подрагивала. Он волновался: не так-то легко убить человека, особенно, в первый раз! Отец решительно шагнул навстречу юноше, расстегнул мундир и, почти упершись грудью в дуло пистолета, холодно произнес:

— Ну! Стреляй же!

В этом голосе было столько непоколебимого спокойствия, столько бесстрашия и силы, что террорист отшатнулся. Рука его бессильно повисла в воздухе.

И в этот миг толпа заревела. Но не от гнева, а от восторга при виде явленного героизма. Под ликующие крики отец поднялся на помост и своим густым, зычным голосом обратился к народу:

— Кому поверили вы, отцы семейств, мужья и хозяева? Тем ли, кто ни дня в жизни не работал на земле, кому чужда она, как чужда и вера наша? Третьего дня эти люди перерезали лошадей в тридцати верстах отсюда! Потому что они были барские! Коровам отрезали вымя! Мучали и избивали несчастную скотину! Это ли по душе вам, мудрым и рачительным хозяевам?! Эти люди грабят церкви, глумятся над святыми образами! — продолжал отец. — Или же вы Бога не боитесь, чтобы допускать такое?!

— Да что ж мы, без креста, что ли?! Самих их, сволочей, резать за такое! — грянули голоса. — Подай нам, батюшка, этих извергов, сей же час управимся с ними!

И, вот, уже толпа, за полчаса до того стремившаяся растерзать губернатора, готова была по его велению ловить и «управляться» с революционерами. Дело кончилось вынесением из храма хоругвей и торжественным молебном, который непременно пожелали служить опамятававшиеся мужики.

Домой отец вернулся лишь к ночи. Полумертвая от страха за него мать бросилась навстречу:

— Слава Бог, живой! Что ты? Что — там?

— Ничего, Леля, — ласково ответил отец, обнимая и целуя жену. — Все хорошо. Правда, озорники несколько раз стреляли в меня из кустов, но, как видишь, ничего не случилось. А в Чулпановке ныне мир, и молебен служили о моем здравии. А что у нас с ужином, ангел мой? Если честно, я страшно голоден после этой прогулки!

— Я сейчас распоряджусь! — тотчас заспешила мать на кухню.

Отец же устало подошел к письменному столу, усмехнулся:

— Озорники... Думают, можно напугать, остановить меня криком «Руки вверх!» Напрасно... Не запугают! — с этими словами он с силой сжал кулак и ударил им по столу. При этом кожаная перчатка его лопнула.

Олечек, тайком выскользнувшая из спальни и прокрававшаяся в кабинет отца, охнула от испуга. Тот быстро оглянулся и, заметив дочь, ласково поманил ее к себе, опустил перед ней на корточки, погладил по плечу, поцеловал в лоб:

— И тебя, детка, ничто не должно пугать! Слышишь? Ничего-ничего не бойся! Запомни, когда в нас стреляют, прятаться нельзя!

* * *

Выстрелы, истошный собачий визг и площадная брань прервали размышления Олечка. Вместе с сестрой они бросились к окну. Глазам девушек предстало страшное зрелище. На земле в луже крови лежал бродячий пес, по-видимому забредший в усадьбу с красной шайкой, и... лакей Трофим.

— Изверги! — пронесся над общим шумом гневный крик Марьи Григорьевны.

Неуемная старуха опять выбежала во двор, не обращая внимание на пытающуюся удержать ее дочь.

— Что вы натворили?! Вы убили человека! Злодеи! Звери! Будьте вы прокляты!

Дверь отворилась, и в комнату вбежал брат Адя.

— Куда смотрит Вадим?! — воскликнул он. — Она же погубит всех нас своими проклятиями!

— Слава Богу, с тобой все в порядке! — мать протянула руки навстречу любимому сыну. — Куда ты пропал? Я места себе не находила!

— Что там произошло? — спросила Олечек, отворачиваясь от окна.

— Трофим выстрелил в собаку, а эти мерзавцы спьяну решили, что он стреляет в них, и стрельнули в ответ! Ну и пошло! А тут княгиня...

Адя не успел договорить, ибо события снаружи приобрели предсказанный им оборот.

— Взять эту старую дуру! — рявкнул красный главарь. — И девку тоже!

— Вы не смеете! Вы в моем доме! Вы бандиты! Татаре! Хуже татар! — исступленно кричала княгиня. — Вас всех повесят!

— Вашего, буржуйское отродье, больше ничего нет! — ответил главарь. — Даже ваши вонючие жизни больше не ваши! Расстрелять эту контру! Попили крови нашей, будя! Теперь мы пить будем! Мы вам покажем татар!.. — к этому большевистский вожак присовокупил несколько грязных ругательств. — Никого из буржуев из дома не выпускать! Они все под арестом!

— Мы под арестом?.. — ахнула мать, оседая в кресло.

Саша бросилась за нюхательной солью. Один удар у матери уже был, и теперь впору было опасаться второго — так она сделалась бледна.

— Несчастливая Марья Григорьевна!..

Адя опустился перед ней на колени и стал взволнованно растирать ей руки, не зная, что сказать в создавшемся отчаянном положении. На лестнице слышался властный голос княгини и брань красноармейцев. Старую барыню и ее дочь уводили под арест.

— Несчастливая Сандра!.. Господи, что же делать?!

В этот миг в комнату проскользнул бледный, как смерть, Вадим.

— Катастрофа! — прошептал он. — Я только что слышал, как они сказали, что расстреляют всех!

— Нужно немедленно бежать! — воскликнула Олечек.

— Правильно! — вскинул голову Адя. — Слава Богу, здесь первый этаж! Нужно дождаться удобного момента и давать деру!

— А матушка?! Сестра?! Лена?! Дети?! — Вадим бросился к безжизненной жене и стал покрывать поцелуями ее ледяные руки. — Ангел мой, счастье мое, как хорошо, что ты всего этого не видишь!

— Лену мы понесем! — твердо сказала Олечек. — О детях позаботится няня. Она мудрая женщина, а они совсем младенцы...

— Эти звери не пощадят и младенцев!

— У нас нет другого выхода! — поддержал сестру Адя. — Иначе мы погибнем все! Твоя мать не должна была их провоцировать!..

— Полно, Адя! — одернула Олечек брата от выпадов против приговоренной хозяйки дома. — Ты с мамой должен уходить первым. Позаботиться о маме!

— Я готов!

Конечно, он готов. Ведь речь шла и о его жизни. Олечек любила брата, но хорошо знала его слабость. Единственный сын в семье, избалованный матерью, он никогда не имел тяги к подвигам. Если сама Олечек и

Саша рвались на фронт, то брат никогда не обнаруживал этого стремления: ни в годы Германской войны, ни в гражданскую, когда его сверстники уходили на Дон. Оно, конечно, было к лучшему: мать бы не пережила разлуки с ним, но все же иногда Олечек огорчалась недостатку мужественности в Аде. Однако, теперь он, несомненно, сделает все, чтобы спастись от бесполезной и уродливой смерти. И не бросит же, в самом деле, родную мать...

— Бежать?.. Но куда?.. — спросила, приходя в себя, последняя.

Вадим кивнул на виднеющийся в отдалении дом:

— Сперва к Домбергу. Он человек благородный и поможет нам укрыться!

Домберг был директором местной школы, построенной еще покойным князем Щербатовым для крестьянских ребятишек. И хотя надеяться на пиетет красных зверей к учителю было сложно, а все же иного укрытия не находилось.

Когда за окном смерклось, и разогревшиеся самогоном и хозяйскими винами разбойники разбрелись по дому или сгрудились у костров, спасаясь от мороза, Адя осторожно выпрыгнул из окна и сделал знак матери следовать за ним. Мать, потерянная, с красными, опухшими от слез глазами, села на подоконник, обняла бросившихся к ней дочерей, перекрестила дрожащей рукой всех остающихся:

— Дети, милые мои дети! Простите меня, это я во всем виновата! Господи, лишь бы вы все были живы!

* * *

Эти слова навеяли Олечку воспоминания о другом страшном дне, с коего минуло уже 14 лет...

— Все дети живы?! — крикнул отец жене, выбравшись из развалин взорванной террористами дачи.

— Нет Наташи и Ади! — прозвучал в ответ срывающийся голос матери...

«Судьба моя решилась! Я Министр Внутренних Дел в стране окровавленной, потрепанной, представляющую из себя шестую часть мира, и это в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. Человеческих сил тут мало, нужна глубокая вера в Бога, крепкая надежда на то, что он поддержит, вразумит меня. Господи, помоги мне. Я чувствую, что он не оставит меня, чувствую по тому спокойствию, которое меня не покидает», — так писал отец незадолго до этого дня, сообщая жене о своем назначении на расстрельную должность. Его предшественники, Плева и Сипягин, были убиты террористами один за другим... Государь Император оценил деятельность саратовского губернатора, буквально спасшего свою губернию из пламени революции, и призвал его в столицу. От новой должности отец сперва категорически отказывался, но Государь ответил на все отказы коротко:

— Тогда я приказываю вам принять этот пост.

Отец был свято убежден, что каждый сын России обязан по зову самодержца встать на защиту Родины от всякого посягательства на ее величие и честь. Верноподданный своего Царя, не выполнить монаршей воли он не мог. Узнав о назначении отца, Олечек прибежала к нему в кабинет с поздравлениями. Выслушав ее щебетание, он грустно улыбнулся и, посадив дочь на колени, сказал:

— С этим, девочка, поздравлять не стоит. Это «чиновники» придают такое значение чинам, а я работаю в надежде принести пользу нашей родине, и

награда моя — видеть, когда мои начинания идут на благо ближним.

Вскоре семья покинула Саратов и расположилась на уютной министерской даче на Аптекарском острове. Стояли погожие летние дни, и повышенные меры безопасности не мешали детям радоваться им. По утрам Матя и ее подруга Маруся Кропоткина уходили с этюдниками на пленэр. Полюбила увязываться за старшей сестрой и Олечек.

Жизнь на Аптекарском текла ровно, и никто из соседей не обращал внимание на юных художниц, когда они, весело болтая, направлялись к воде, где в тени и прохладе рисовалось особенно хорошо. Матя, уже барышня, была замечательно хороша собой. Говорят, впрочем, что в этом возрасте хороши все девушки, но сестра казалась Олечку несомненно красивее других, даже Маруси. Матя уже была представлена Императрице, и матушка с уверенностью говорила, что скоро она будет пожалована шифром фрейлины. Олечек с восторгом представляла сестру во всем блеске Императорского бала. Ах, как жаль, что сама она еще слишком мала, чтобы бывать на подобных торжествах!

— Ничего, детка, — смеялся отец на эти сожаления. — Как сказал твой дед, когда я пришел к нему просить руки твоей матушки: «Юность — это недостаток, который быстро проходит!»

В то утро Матя и Маруся расположились на облюбованной с первого дня поляне и занялись наброском летнего пейзажа. Олечек время от времени заглядывала на расцветавший красками картон — обе девушки очень старались передать переливы светотеней, но выходило пока не очень убедительно.

— Олечек, нехорошо подглядывать через плечо!

— Но мне же интересно! И это не письмо...

— Все равно! Ты меня отвлекаешь! Лучше поиграй. Только, смотри, куда не убегай от нас!

Не убегать, так не убегать... Хотя играть в одиночку — занятие довольно скучное. Разве что попробовать поймать вон ту большую стрекозу?.. Увлеченная «охотой» на стрекозу, девочка не заметила, как подъехала коляска, в которой сидело трое молодых людей. Эти господа начали развязно и громко разговаривать.

— Распустить Государственную Думу — экая гнусность!

— Г-н Столыпин, видимо, полагает, что можно расправляться с парламентом, как со своими крестьянами! Перепороть да перевешать!

Заслышав имя отца, Олечек быстро поспешила к сестре.

— Не обращай на них внимание, — шепнула та по-французски. — Кажется, они хотят нас подразнить...

— Скажите, милые барышни, неужели вы не считаете, что Россия достойна быть свободной страной, а не азиатской деспотией?

— Оставь их! Они и так свободны ничего не делать и развлекаться целыми днями! Что им до матерей и детей, работающих на заводах по 12 часов в сутки!

— А я, однако же, хочу верить, что барышни достаточно сознательны, чтобы понимать передовые идеи! Вот ведь, рисуют! Значит, расположены к искусству, значит, натуры тонкие. А разве тонким натурам может быть все равно, что г-н Столыпин притесняет прогрессивно мыслящих людей? Бросает их в тюрьмы?

Матя покраснела и переглянулась с подругой. Положение становилось невозможным. Продолжать игнорировать нахалов было глупо, но отвечать им — еще глупее!

— Столыпин — реакционер! А реакция погубит Россию!

— России нужна конституция, республика!

Один из молодых людей спрыгнул на землю и, подойдя к Мате, протянул ей какую-то похожую на газетный лист бумагу:

— Не желаете ли ознакомиться с нашей программой, мадемуазель? — насмешливо спросил он. — Может, и г-ну Столыпину она пригодится?

Матя ничего не ответила, а вместо этого разорвала прокламацию на мелкие кусочки и бросила в воду:

— Маруся! Нас ждут к обеду!

Обе девушки подхватили свои этюдники и быстро зашагали прочь.

— А ты еще надеялся на их сознательность! — фыркнул агитатор, обернувшись к приятелю. — У таких барышень ее быть не может! У них один только эгоизм!

— Вы дурак! — крикнула на него Олечек и, метнув гневный взор, побежала за сестрой и ее подругой.

Вслед ей раздался дружный хохот нахальной компании.

— Не слишком-то охраняют министра внутренних дел, если такие милостивые государи могут угрожать его дочери, — заметила Маруся.

— Они нам не угрожали, — ответила Матя. — Просто посмеялись над нами... И что бы ты хотела? Чтобы весь Аптекарский остров обнесли крепостной стеной? Или чтобы за нами всюду ходила пара дюжих офицеров?

— Если эти офицеры будут похожи на г-на НН, то пожалуй... — кокетливо улыбнулась Маруся и задорно рассмеялась.

Засмеялась за нею и Матя. Осадок неприятной стычки рассеялся, и, придя домой, они рассказали о ней родителям. Матушка разволновалась, сказав, что следовало уйти тотчас по появлении незнакомцев, а отец одобрил поведение девушек и особенно то, что Матя порвала революционную листовку.

Олечек, все еще негодующая на нахалов, посмеявших дурно отзываться об отце и смеяться над сестрой,

взбежала в детскую, где принялась захлебчиво рассказывать Саше и Лене, а также няне, о произошедшем.

А затем произошло что-то непонятное. Раздался страшный грохот, звон разбитого стекла, и весь дом точно бы сошел со своего места, и выходящая на улицу стена его обрушилась...

Дальнейшее помнила Олечек обрывочно, словно какой-то страшный сумбур. В пыли, у самой двери лежит няня, юная крестьянская девица 18 лет. За мгновение до этого румяное и веселое лицо ее теперь мертвенно бледно и искажено мукой.

— Нога, нога... — стонет она. — Снимите...

Олечек бросается к раненой, думая, что та просит снять с изувеченной ноги башмак, развязывает шнурки, снимает... Но вместе с башмаком «снимается» и нога бедной девушки...

А следом появляется перепачканная пылью и известкой мать, и вместе с нею спешат сестры вниз, на улицу...

— Мамочка, мамочка, что это?!

Вместо матери слышится голос лакея Казимира:

— Ничего особенного, барышня. Просто бомба.

День был приемный, и в доме было множество посетителей — простых людей, пришедших к министру просить о своих нуждах. Среди них были и женщины, и дети... Пробираясь на улицу, Олечек видела их изувеченные, окровавленные тела. Без ног, без рук, без... голов... А отец?! Что — отец?! Ведь это его хотели убить! В его кабинет метили! И люди, находившиеся подле него, в приемной, погибли!

Но отец жив. Каким-то чудом взрывная волна словно разбилась о дверь его кабинета. Каким счастьем было увидеть его невредимым! А также Матю, спрыгнувшую на улицу со второго этажа, так как иначе выбраться из

ее комнаты было невозможно из-за обрушившихся стен...

На улицу выносили раненых, клали прямо на землю, спешили оказать первую помощь. Какой-то ничком лежавший господин хрипло молил подать ему воды. И Олечек бросилась за водой и принесла ее, и, преодолевая ужас, склонилась к несчастному, чтобы влить живительную влагу в его запекшиеся губы. Но он уже ни о чем не просил. Он был мертв...

Сад аптекарской дачи превращался в огромную мертвецкую. Число убитых шло на десятки... Вот, пронесли мимо тело маленького мальчика, которого проситель-отец, также погибший, привел с собой. Ребенку было лет пять... Совсем как Аде...

— Адя! Наташа!!

Их принесли с другой стороны дома. Взрывом брата и сестру выбросило с балкона второго этажа. Адя сильно разбил голову и сломал руку. А Наташа... Олечек не смогла сдержать крик ужаса, когда увидела, что у сестры, безжизненное тело которой нес какой-то офицер, вместо ног — окровавленные лохмотья... Несчастливая попала под копыта обезумевших от ужаса лошадей...

— Носилки сюда! Немедленно в больницу! Скорее!

Наташу и Адю отвезли в ближайшую больницу. До иной истекавшая кровью девушка просто не дожила бы. Само собой, мать поехала вместе с изувеченными детьми, а с нею и младшие девочки. Матя и Маруся приехали позже, оставшись помогать раненым. С ними прибыл и отец.

К тому времени Наташа уже пришла в себя, и сердце разрывалась от ее страшных, протяжных криков.

— Петр Аркадьевич, ноги надо ампутировать! Немедленно! Иначе девочка погибнет!

Лицо отца делается белым, как смерть. Какому отцу под силу вынести такой приговор любимой дочери? Ампутировать обе ноги... Иначе девочка погибнет... Но что же за жизнь будет у нее, если останется она навеки безногой калекой?!

— Я прошу вас, доктор, отложить решение до завтрашнего дня.

— Но это может иметь фатальные последствия!

— Я понимаю. И все же прошу.

Той ночью отец спас Наташу. На другой день консилиум врачей счел, что ноги можно спасти. И их спасли. На это ушли годы, и муки сестры были поистине ужасны, но все же она вернулась к жизни, стала здорова, обрела семейное счастье... А если бы отец послушал первые отчаянные настояния врачей? Но он всегда и все решал сам. Он умел принимать решения и отвечать за них. «Ответственность — величайшее счастье моей жизни...» — так говорил он. И отвечал. За свою семью. Свою губернию. И, наконец, всю Россию.

— Что ваши дети, Петр Аркадьевич? — лицо Государя, поспешившего выразить поддержку своему министру в эти горькие часы, казалось опрокинутым. Таких жестоких террористических актов Империя еще не знала...

— Дочь — калека... Сын... За его выздоровление врачи ручаются. Он лишь очень напуган и спрашивает, накажут ли злых дядь, выбросивших его из окна...

— Скажите ему, что злые дяди наказали себя сами. Я прикажу выделить из казны помощь вам... — голос Императора прервался, точно и сам он почувствовал неуместность, несвоевременность сказанного.

— Благодарю, Ваше Величество, но кровью своих детей я не торгую...

Этот ответ отца резок был, неподобающ даже, но Государь понимающе кивнул. Помолчав немного, он сказал негромко и вкрадчиво:

— В таком случае прошу вас и вашу семью быть нашими гостями в Зимнем. Там вам будет безопаснее. Я прикажу приготовить покои и все необходимое для вашего переезда.

Это приглашение отец принял с благодарностью. Хотя Зимний дворец в недавние годы также был мишенью террористов, еще при деде царствующего Императора террорист Халтурин устроил в нем взрыв и убил 11 солдат и офицеров Л.-гв. Финляндского полка, однако более безопасного места для главы правительства не находилось.

В Зимнем семья оказалась в положении поистине арестантском. Единственным местом прогулок, которые дозволены были мерами безопасности, сделались коридоры и крыши дворца. Но и сюда доходили угрозы... Террористы угрожали отравить Адю, пытались выманить для встречи Матю. Матя получила два письма. Революционеры желали встретиться с нею, дабы поговорить о своих идеях. Первое письмо сестра уничтожила, сочтя неблагородным донести охране, но второе принуждена была показать. Проведенное расследование установило, что девушку хотели познакомить с неким гипнотизером, чтобы тот внушил ей ввести в дом своего сообщника под видом учителя для младших детей. Этот учитель должен был застрелить отца... Нервы Мати в итоге не выдержали, и ее пришлось отправить за границу для поправления здоровья.

Часто вспоминала Олечек прогулки по коридорам и крышам Зимнего дворца, в стенах которого жила, казалось, вся история Империи. Иногда она гуляла вместе с отцом. Сутками напролет проводя за работой, он даже это удовольствие не мог позволить себе часто. Даже его богатырским плечам тяжела оказывалась легшая на них огромная ноша. Отец выглядел

уставшим, но это ничуть не уменьшало его решимости и энергии.

— Мы будущими поколениями будем привлечены к ответу, — говорил он. — Мы ответим за то, что пали духом, впали в бездействие, в какую-то старческую беспомощность, утратили веру в русский народ! Я верю в Россию. Если бы я не имел этой веры, я бы не в состоянии был ничего делать... А еще я верю в Бога и знаю наверное, что все предназначенное я совершу, несмотря ни на какие препятствия, а чего не назначено — не сделаю ни при каких ухищрениях...

Титанические силы требовались, чтобы обуздать сбесившихся коней! А ведь в той повозке, что стремились опрокинуть они, сидели безумцы, которые норовили подхлестнуть их и кричали неистово:

— Н-но! Пошли!

И стремились направить коней, и повозку-Россию, и самих себя, обезумевших — к пропасти. Но на их пути, точно скала, высился один-единственный человек.

— Умейте отличать кровь на руках врача от крови на руках палача! — отвечал он депутатам очередной Думы на обвинения в жестокости правительственных мер. — Где с бомбами врываюся в поезда, под флагом социальной революции грабят мирных жителей, там правительство обязано поддерживать порядок, не обращая внимания на крики о реакции! Борьба ведется не против общества, а против врагов общества!

Жестокость! В жестокости обвиняли человека, на которого шла самая настоящая охота, и который нес свое служение, зная совершенно точно, что однажды эта охота увенчается успехом. Олечек хорошо помнила, как однажды отец признался:

— Каждое утро, когда я просыпаюсь и творю молитву, я смотрю на предстоящий день, как на последний в жизни, и готовлюсь выполнить все свои обязанности, устремляя уже взоры в вечность. А

вечером, когда опять возвращаюсь в свою комнату, то благодарю Бога за лишней дарованный в жизни день. Это единственное следствие моего постоянного сознания о близости смерти, как расплаты за свои убеждения. Порою, однако, я ясно чувствую, что должен наступить день, когда замысел убийцы наконец удастся...

Но Дума не понимала. Думе не нужна была Великая Россия, о которой радел отец, она жаждала великих потрясений.

— Помилуйте, как же вы собираетесь справиться с раздуваемыми в народной среде страстями? Ведь это — стихия! Она не укротится по одному лишь вашему слову, — говорил отец надменному либеральному профессору Милюкову, свято убежденному в том, что именно он и его единомышленники должны править Россией. — Вы же не имеете никакого опыта государственной работы! Вы не сможете удержать власть!

— О, не беспокойтесь! Если будет нужно, мы поставим гильотины и будем рубить головы всем, кто выступит против правительства! — прозвучал либеральный ответ...

Гильотин профессор не поставил. Он лишь проложил дорогу тем, кто с усердием расставлял их теперь... Большевикам...

Два года назад, получая в большевистском учреждении разрешение на выезд из Петрограда, Олечек и Саша услышали от секретарши в красной косынке и кожанке:

— Подождите! Мы до вас всех скоро доберемся!

Теперь ее единомышленники пришли исполнить угрозу...

Над пьяным гомоном голосов, похабной бранью и не менее похабными революционными песнями раздается властный возглас хозяйки.

— Вам приказано расстрелять меня, а не толкать!

Кто-то из конвоиров, выведших старую княгиню и ее дочь на расстрел, толкнул ее в спину, чтобы она шла быстрее... Сколько истинного величия было в Марье Григорьевне в этот миг! Она шла на свою голгофу ровным шагом, высоко подняв гордую голову, прямая, несломленная, всем своим существом презирающая своих палачей. И бедная Сандра, обреченная разделить участь матери, старалась держаться под стать ей. Наверное, так восходили на эшафот Мария Стюарт и Мария-Антуанетта...

— Мама!.. — Вадим в ужасе метнулся к двери, но Олечек успела преградить ему путь.

— Не смей! — прошептала она. — Им ты уже ничем не можешь помочь! У тебя жена и дети! Ты должен их спасти!

Сникли плечи молодого князя, и он с болью взглянул на безжизненную жену.

— Тогда уходим сейчас... Сейчас они... заняты... — голос Вадима оборвался. Дрожащими руками он закутал Лену в одеяло и, подхватив ее на руки, устремился к окну. За ним последовали Олечек и Саша.

Им обоим не привыкать было к «приключениям». Особенно Олечку, которая с малолетства была настоящим постреленком. Она могла забраться на любое дерево, перелезть через любой забор! Когда новую дачу отца обнесли проволочной оградой, Олечек легко пролезла в найденную щель, даже не поранившись, и начальник охраны, долго сокрушавшийся этой акробатике, принужден был

сделать проволочную сетку еще более густой. Ведь акробатическими способностями могли обладать отнюдь не только министерские дочери!

Сильная, быстрая, ловкая, она опрометью припустилась по снегу к дому Домберга, видевшемуся спасительной гаванью. Там мама и Адя! Там непременно укроются и они! Саша и Вадим со своей драгоценной ношей спешили следом.

Но что это?!

— Сбежа-а-али!

— Братва, сюда! Держи их!

— Бей контру!

Замечены! Что же делать теперь? До «гавани» рукой подать, но туда нельзя! Нельзя навести преследователей на убежище матери и брата! Наоборот, нужно отвести их прочь! Олечек обернулась и крикнула:

— Бежим врассыпную! Авось, кто-нибудь и спасется!

Но слабы, слабы были ее собеглецы... Вадим, понимая, что с женой на руках далеко не уйти, бросил ее в снегу прямо за управительским домом. А Саша — уж от нее-то не ждала Олечек такой слабости! — кинулась к самым дверям «гавани» и стала отчаянно стучать в них:

— Мама, мама! Открой мне! Спаси меня! Мама!

Олечек мчалась сквозь деревья, быстрые ноги ее давали ей хорошую фору против разъяренных, но неповоротливых кабанов-преследователей. Вскоре она оторвалась от них и оказалась в лесной темноте одна. Можно было уходить прочь, подальше от опасности, но защемило сердце. А Саша? А Лена? А Вадим? Спасти себя самой, но оставить их? Отец не поступил бы так. И она не могла...

Осторожно, вслушиваясь в каждый звук, Олечек двинулась в обратный путь. Через некоторое время до ее слуха донеслись сдавленные рыдания. Плакал,

несомненно, мужчина. Очень скоро она набрела и на него самого, лежащего в снегу. Олечек тотчас узнала свояка и бросилась к нему.

— Вадим! Ты сошел с ума! Нужно уходить немедленно! — воскликнула она, трясая несчастного князя за плечи.

— Зачем мне уходить?! — с отчаянием отвечал он. — Я не смог никого спасти! Я всех потерял! Мать, сестру, жену, детей! Я ничтожество, Оля! Я обязан был защитить их, а я их потерял! Брось меня, беги одна!

— Не говори глупостей! — рассердилась Олечек. — О Лене мы ничего не знаем! А дети живы! И им нужен отец! Живой! Слышишь?! Что ты хочешь, оставить их сиротами?! Ты не должен, не смеешь так поступить с ними! Вставай и беги! Ну же! Ради Лены!

В ночном мраке раздались голоса. Рядом, за деревьями, блеснули огни. Это охотники напали на след своей дичи!

— Беги, Вадим! — выдохнула Олечек, толкая наконец вставшего на ноги свояка в спину. — Я отвлеку их!

— Бежим вместе!

— Нет! Врассыпную! Я быстрая, я в этом лесу что заяц — меня они не поймают! Не думай обо мне! Беги! — девушка перекрестила князя, и он скрылся во мраке леса. Меж тем, саму ее уже заметили...

— Держи ее! Стоять, барское отродье!

Олечек отпрыгнула в сторону, припустилась бежать. Но вслед раздались выстрелы...

Когда что-то прожгло спину, она еще по инерции продолжала бежать, не веря, не желая сдаваться. Но, вот, ноги подкосились, и девушка упала в снег. Голоса преследователей становились все ближе, и Олечек, уже не в силах подняться, развернулась им навстречу. Смерть надо встречать лицом к лицу, как отец...

Осветилась лесная чаща, выплыли из-за деревьев пьяные, глумливые, мерзкие личины.

— А, попалась, барышня! То-то же! От нашей пролетарской мести никакая буржуйская сволочь не уйдет!

Глумящиеся личины слились в бесформенное месиво, но из этого месива выступила рука, сжимающая пистолет, и черное дуло уставилось слепым и беспощадным зраком на раненую девушку.

Черный зрак беспощадного дула... Отцу не единожды приводилось смотреть в него. На дуэли, во время саратовских бунтов и, наконец, в киевском театре... Ее не было с ним в те роковые дни. И о том, что его больше нет, она узнала лишь на 40-й день. В то время она сама лежала в тяжелой болезни и почти при смерти, так что мать, уезжая к умирающему отцу и оставляя своего Олечка на попечение Мати, не знала, увидит ли дочь живой.

От смерти мужа матушка так и не оправилась, и, выздоровев, девушка стала первой ее опорой. Она была истинной дочерью своего отца, и внешностью, и характером. И когда возникла необходимость навести порядок в расстроенных семейных делах, осмотреть заброшенные на управителей саратовские имения, то мать отправила туда Олечка.

В той экспедиции, проезжая через Россию, колеся по родной губернии, много разговаривая с крестьянами, девушка воочию увидела, что удалось сделать отцу, за что он боролся и положил жизнь.

«Кто будет владеть землей, тот будет владеть Россией!», — эти слова врезались в память Олечка еще с детства. Отец был убежден, что подлинное благополучие страны определяется благополучием каждого отдельно взятого ее гражданина, и ставил себе целью взрастить класс независимых крестьян-

собственников, хозяев, которые сделались бы надежным фундаментом новой России, парализующим всякие попытки к смуте. «Нельзя укреплять больное тело, питая его вырезанными из него самыми кусками мяса; надо создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда весь организм осилит болезнь; все части государства должны прийти на помощь слабой — в этом оправдание государства как социального целого», — объяснял он думцам. Искореняя крамолу, туша пламя террора, отец как никто понимал, что мало уничтожить следствие, необходимо излечить причину: «Правительство желает видеть крестьянина богатым, достаточным, а где достаток — там и просвещение, там и настоящая свобода. Дня этого надо дать возможность способному трудолюбивому крестьянину, соли земли русской, освободиться от нынешних тисков, избавить его от кабалы отживающего общинного строя, дать ему власть над землей; Землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных вместо голодающих и погромщиков. Отсутствие у крестьян своей земли подрывает их уважение ко всякой чужой собственности».

Едва ли не впервые первый министр был главным образом озабочен положением крестьян и, более того, лучшим образом знал это положение. Именно поэтому чужды были ему убогие социалистические фантазии, жаждавшие сравнить трудолюбивого крестьянина с ледащим, пьяницу с рачительным хозяином. Он провозглашал прямо, что его политика имеет в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых.

Пьяных и слабых по христианскому милосердию должно жалеть и поддерживать. Но кто и из чего станет поддерживать их, если во имя равенства в нищету и безнадёжье окажутся ввергнуты разумные и сильные? Они — становой хребет государства. Без них

пропадет оно. Пропадет деревня. Пропадут в конечном итоге и пьяные-слабые, ибо паразитировать станет им не на ком.

Отвлеченные умы не понимали этого. Зато куда как понимали сами мужики. Недаром еще в дни саратовских бунтов встречали они своего губернатора словами: «Ждали тебя, как Царя!» За несколько лет реформы отца преобразили деревню. Дома повсеместно покрывались железом, крестьяне заметно приоделись, стол их сделался много изобильнее и разнообразнее. Воистину, все, кто умел и хотел работать, стали жить достойно и позабыли о нищете. Имя Столыпина благословлялось в крестьянской среде. Впервые мужики обретали то, о чем столько мечтали! Право владеть землей и работать на ней так, как они считали нужным. Не барин, не мир, но они — ее хозяйева!

Отец создал крестьянский банк, в который крестьяне, по той или иной причине не могшие работать на земле, могли продать свои наделы, банк же перераспределял их в пользу нуждающихся мужиков.

Те же хлебопашцы, которым не доставало земли в густо населенной центральной России по правительственной программе уезжали осваивать Сибирь, получая там землю, инвентарь, подъемные, и весьма скоро крепко становясь на ноги. Так решалась и другая задача: пропитывался русскими соками важнейший для России регион, манящий своим богатством соседей.

В своей поездке Олечек с радостным сердцем видела мечтаемое отцом укрепление низов. Он и сам успел увидеть его во время инспекционного путешествия, предпринятого вместе со своим верным сподвижником, министром земледелия Кривошеиным незадолго до гибели...

Это была, вероятно, последняя радость отца...

Все прошедшие годы Олечек силилась представить себе его последние дни, понять, как могло произойти такое несчастье, когда террор был практически задавлен решительными мерами возглавляемого отцом правительства.

В придворной камарилье шушукались об отставке, об охлаждении Государя к премьеру, взявшему слишком много самостоятельности. Мать-Императрица прислал отцу записку: «Я верю, что только Вы можете спасти Россию!» Увы, понимали это немногие... Против отца были старцы Государственного совета, горько названные им «льдом усталых душ», и пылкие крикуны Государственной думы, возмущавшейся, что премьер мало считается с мнением ее демагогов. Кадет Родичев с трибуны оскорбил отца, назвав виселицы столыпинскими галстуками. Он и подумать не мог, этот болтун, что не все в России забыли понятие чести, он и забыл, что обращается не к своей ровне, а к столбовому дворянину, все понятия помнящему прекрасно. Вызов на дуэль пришел депутату уже в перерыве между заседаниями. Бедный кадет³⁷ не на шутку испугался и тотчас поспешил просить у отца прощенья...

Интриганы, как и террористы не убивают в честных поединках, но действуют исподтишка, по-подлому. Когда отец прибыл в Киев, ему не дали не только охраны, но даже экипажа. Второй человек государства добирался до места своего постоя на извозчике. Постой этот располагался в губернаторском доме — открытыми окнами на улицу. Кто хочешь — бросай бомбу!

Но бомбу не бросили. Сотрудники охраны по какой-то непостижимой халатности пропустили в театр, где в присутствии Государя должна была состояться опера «Жизнь за Царя», своего внештатного агента, еврея Мордко Богрова. И не просто пропустили, но и снабдили оружием!

В антракте террорист подошел к стоявшему в партере отцу и дважды выстрелил в него. Отец медленно обернулся к ложе, в которой находился Император с дочерьми, и трижды перекрестил его слабеющей рукой...

Мордко Богров был казнен, но чины охраны, допустившие столь ужасное преступление, неожиданно для всех были Государем прощены. И это прощение нет-нет, а саднило в душе — непониманием...

Когда Олечек приехала в Киев на открытие памятника отцу, она побывала в роковом театре, живо представляя себе произошедшую здесь трагедию, долго стояла на том мечте, где пули настигли отца... «Похоронить там, где убьют!» — таким было его завещание. Его исполнили... Отец нашел последнее пристанище в киевской земле. И здесь же на народные пожертвования со всей России был установлен памятник ему. По правой и левой сторонам монумента располагались фигуры Мощи (русский витязь) и Скорби (русская женщина). Над фигурами были выбиты слова отца: «Твердо верю, что затеплившийся на западе России свет русской национальной идеи не погаснет и вскоре озарит всю Россию» и «Вам нужны великие потрясения, — нам нужна великая Россия». Надпись на передней стороне памятника была краткой: «Петру Аркадьевичу Столыпину — русские люди».

Через несколько лет русские — или уже какие-то иные? — люди по наущению либерального Временного правительства набросили на шею монумента петлю и под глумливые улюлюкания повергли «вешателя» на землю...

* * *

— Олечек! Олечек! Да как же это?! Да что же это?! — Саша горько рыдала у постели сестры, целуя ее безжизненные руки. Олечек с трудом повела замутившимися от боли и слабости глазами. Какая-то незнакомая комната...

— Где я?.. — слабо прошептала девушка.

— Тебя нашли в лесу крестьяне и принесли в дом счетовода Марьи Григорьевны... — Саша положила на пылающий лоб сестры холодный компресс. — Слава Тебе, Господи, очнулась! — закрестилась истово.

Олечек хотела улыбнуться, но не было сил. Она чувствовала, что они, силы, по капле вытекают из нее, не оставляя надежды подняться. Но расстраивать сестру было жаль... Она так верит в чудо! Странно, они всегда были вместе. И всегда Олечек была заводилой, была сильнее. И ныне, на исходе души, они снова вместе, но только поменялись ролями...

Когда грянула война, обе сестры пошли ухаживать за ранеными в лазарет Зимнего дворца. Делу этому, как и многие русские девушки, начиная с царских дочерей, отдавались они самозабвенно. Однако, Олечку мало было служить сестрой милосердия в столичном госпитале. Тоже мне заслуга! С таким делом любая барышня сладит! Олечку хотелось сражаться за свою Родину на передовой, сражаться наряду с мужчинами!

Приехавший в отпуск кузен Муравьев, служивший в Дикой дивизии, отнесся к мечте девушки с участием и вызвался обучить ее отдельным приемам и премудростям, чтобы не «запалилась» она, записавшись в вольноопределяющиеся. Женских батальонов тогда еще не было, и попасть на фронт солдатом женщина могла лишь под видом мужчины.

— И как мне удалось тогда тебя, такую примерную барышню, увлечь в свою фронтовую авантюру?..

— Это было несложно, я ведь всегда восхищалась тобой, Олечек, я бы за тобой куда угодно пошла!

Да, так, пожалуй, и было. Саша всегда, с младенческих лет, старалась подражать ей, быть похожей на нее... Поэтому вскоре и она под покровом ночи стала лихо маршировать по крышам Зимнего дворца под командой «дикого унтера».

Когда первые уроки были освоены, Олечек добыла два комплекта солдатской формы и все необходимое для побега. Две барышни записались вольноопределяющимися и в пыльной солдатской теплушке сбежали на фронт, в Дикую дивизию, оставив родным письмо... Знать бы тогда, в какое отчаяние повергнет оно добрейшую матушку! От горя ее хватил удар, и долгое время она оставалась наполовину парализованной...

Но сестры этого не знали и благополучно достигли действующей армии. Они даже успели вступить в свой полк и начать службу. Олечку все давалось легко. Выносливая и ловкая, она была прирожденным солдатом. А, вот, Саше тяжело пришлось. Страдала она и от мужского общества, и от отсутствия всяческих удобств... Когда же велено ей было толкать орудие, то нежные ручки ее никак не могли с ним сладить. И под хохот солдат она упала в грязь...

— Эх ты, барышня! — презрительно бросил кто-то.

На глазах Саши выступили слезы, но ей на помощь уже спешила Олечек...

Их, впрочем, вскоре отыскали посланные из дома люди. Когда Саша узнала о болезни матери, то в отчаянии тотчас стала собираться к ней, каясь за причиненные родительнице страдания. Олечек тоже жалела мать, но все же не готова была расстаться с мечтой. Ладно, пусть не в солдатской шинели, но в платье сестры милосердия она должна остаться на фронте! За разрешением она обратилась к командиру Дикой дивизии Великому князю Михаилу Александровичу. Но Государев брат был категоричен и

велел непрошенному пополнению немедленно возвращаться домой.

Так и закончилась боевая вылазка сестер Столыпинах...

— Что наши, Санечка? Мама? Адя?

— Мама и Адя — слава Богу, спаслись! Когда мы бежали, их уже не было у Домберга. Он, боясь за них, успел отправить их дальше. А я, не зная этого, стучала в его двери, моля впустить...

— И он впустил?

— Впустил, — кивнула Саша. — И тем спас меня! Я ведь думала уже, что погибла... Лежу у его порога, стучу, кричу, а стать не могу, ноги от волнения не слушаются...

— Отважный человек, сохрани его Господь...

— Он и Лену спас!

— Лену?! — даже всколыхнулось что-то на миг в груди, точно угасающая жизнь вспыхнула.

— Вадим бросил ее с другой стороны дома... На счастье эти звери не заметили ее! Ведь она лежала в снегу неподвижно, немо. Мы потом втащили ее в дом, растерли... Знаешь, она, кажется, будет жить, наша Лена! Это чудо! Может быть, Бог смилуется, и не оставит деток сиротами. Няня уберегла их. Большевики ушли уже утром, и мы смогли узнать судьбу малышей!

— Сиротами... — машинально повторила Олечек, припоминая события страшной ночи. — Вадим... Где Вадим?

По бледности, залившей лицо сестры, она поняла, что несчастного молодого князя больше нет.

— Его настигли, да? Я не смогла их задержать?..

— Ты смогла... Но при нем была сумка с письмами Лены, он не мог расстаться с ними...

— Я помню...

— Лесник, у которого он укрылся, решил, что там драгоценности... И зарубил его! Мы едва смогли

опознать нашего беднягу Вадима... Ах, Олечек, это было так страшно! Что-то будет с Леной, когда она узнает?!

— Она справится... — тихо отозвалась Олечек, чувствуя, как в серо-розовом мареве растекается и бедная комната, приютившая ее на последние дни ее бытия, и силуэт плачущей сестры. — А я нет...

— Что ты, Олечек? — всполошилась Саша. — Ты должна жить! Я сейчас позову доктора!

— Не нужно. Доктор уже не поможет... Лучше бы священника, да он не успеет... Прости, Санечка. Поцелуй за меня маму и попроси у нее за меня прощение. И всех, Лену, Адю, малышей... поцелуй от меня... Скажи им, что я всех их очень люблю...

Саша надрывно зарыдала, уткнувшись головой в живот сестры:

— Нет, нет, нет... Ты не должна!..

Но Олечек уже не слышала ее. Перед ней стоял — Отец. Он был в белом министерском кителе, но еще совсем молодой — такой, каким был он еще в Колноберже. Отец весело улыбался и протягивал своему Олечку руки. Обе руки — точно и правая вдруг сделалась у него здорова.

— Папочка! Папочка! Наконец-то! Я так хотела сказать тебе!..

— Что, детка?

— Я тебя не только за подарки люблю!

Отец радостно смеется и кружит дочь, вдруг ставшую совсем маленькой, в объятиях. А вокруг простираются, спело колосясь, бескрайние и раздольные поля Колноберже...

Рождённый с душой птицы (Александр Прокофьев- Северский)

Посвящается Олегу Шилову

Летать как птицы! Это ли не мечта человечества на протяжении его существования? Где еще можно чувствовать себя таким свободным, как в небе? У Саши Прокофьева замирало сердце — не от страха, от чувства всепоглощающего восторга. Все брэнное, скучное, печальное осталось где-то там, на земле, и не было ничего, кроме ослепительной небесной лазури, бороздимой кое-где белоснежными барашками-облаками. А еще — ветер! Саша любил эту могучую, победительную, вольную стихию, ничем не окольцованную, не ведающую препятствий.

— Ну, как? — весело улыбнулся Сикорский³⁸, глянув на своего юного пассажира. — Не страшно?

— Нет! — воскликнул Саша. — Я еще никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо!

— О, брат! Да ты, видать, из нашей стаи! Рожден с душою птицы! — продолговатое лицо Сикорского светилось. Рожденных с душою птицы лишь небо делает счастливыми. Их не страшит земное притяжение, а страшит лишь одно — бескрылая жизнь.

— Да, Игорь Иванович, я из вашей стаи! И я буду, буду, непременно буду летать! — возглас Саши потонул в вое ветра. Аэроплан зашел на последний вираж и стал снижаться...

Лишь несколько месяцев минуло с того знаменательного дня, как на бывшем военном поле Кирасирского полка в Гатчине открылся первый в

России аэродром. На открытии премьер-министр Столыпин не побоялся лично подняться в воздух в качестве пассажира одного из аэропланов. Русское общество буквально заболело авиацией. Семья Прокофьевых исключением не стала. Главу семейства, прославленного артиста, хозяина собственного театра, в Гатчине принимали с уважением. Николай Георгиевич легко сошелся с начальником Офицерской воздухоплавательной школы генералом Кованько и теперь приезжал с мальчиками на аэродром, как только выдавалось свободное время. В Гатчине они быстро стали своими людьми, вникали в устройство фарманов и вуазенов и... мечтали летать!

И, вот, настал счастливый день — Игорь Иванович Сикорский, талантливый пилот, конструктор и добрейший человек, устроил воздушные катания поочередно для всех Прокофьевых, по старшинству: сперва для отца, затем для Саши и, наконец, для Жоржа. Саша, приоткрыв рот, следил за рисуемыми на небе фарманом узорами и представлял себя уже не пассажиром, но пилотом!

Но вот, фанерная птица опустилась на землю, и Жорж, на ходу снимая шлем, бегом устремился к родным:

— Папа, Саша, это чудо! Это... Я так счастлив! — и уже брат обнимал Сашу, и оба юноши, словно дети, закружились, наперебой делясь восторженными впечатлениями. Отец с видимым трудом удерживался, чтобы не присоединиться к ним. Все-таки солидный человек, засмеют, пожалуй, за мальчишество.

К нему подошел улыбающийся Сикорский:

— Вижу, все Прокофьевы рождены с душами птиц!

— Да, наверное, это у нас семейное, — детски счастливо отозвался Николай Георгиевич. — Я уже давно не юноша, но клянусь вам, Игорь Иванович,

сегодня я впервые узнал, что значит быть на седьмом небе! Спасибо вам!

— Не стоит благодарности. Думаю, вам и вашим сыновьям радостно будет узнать, что в Гатчине открывается частная авиашкола «Гамаюн», в которой каждый желающий сможет обучаться летному мастерству за соответствующую плату.

— О, папа! — в один голос вскричали оба юноши, забыв резвиться. — Мы обязательно должны поступить туда!

— Согласен, — кивнул отец. — Только не «должны», мальчики, а поступим! Мы обязательно поступим в эту школу! — воскликнул он и довольно расхохотался, когда при этих словах Саша и Жорж повисли у него на шее, выражая свои восторги по этому поводу.

Восторг Саши, впрочем, несколько поутих по дороге в Петербург. Он понял, что, будучи кадетом Морского корпуса, не сможет совмещать обучение в нем с тренировками в Гатчине. Эка жалость! И зачем только понадобилось деду определять его в этот корпус, никогда еще не казавшийся Саше столь постылым, как теперь! То ли дело Жорж — птица вольная! А Саше что ж? Ждать окончания корпуса? И только потому, что дед мечтал о продолжении традиций рода, которые нарушил отец...

Прокофьевы были потомственными военными. Поначалу пошел по военной стезе и Николай Георгиевич. Но артистическая природа не вынесла строгой военной дисциплины! Красавец, обладавший превосходным голосом, он предпочел плацу сцену, и вскоре прославился, как певец. Оставив родной Тифлис, он долго гастролировал по России, организовав свой театр, а затем, накопив довольно денег, осел в Петербурге. Его театр продолжал успешно существовать, а отец, взявший сценический псевдоним Северский, выпускал пластинки и время от времени

выступал, радуя почитателей своего недюжинного таланта.

Дед надеялся, что внук восстановит прерванную традицию. И, в общем-то, Саша не имел ничего против этого, но теперь, обретя крылья, он никак не желал вновь погружаться в морские глубины...

Дома в ожидании обеда Саша и Жорж занялись моделированием. Последнее время они вместе с отцом жадно читали всевозможную литературу об авиации, и юноши с увлечением мастерили модели существующих воздухоплавательных машин. Саша, натура творческая, не мог, впрочем, ограничиваться лишь повторением известных моделей, ему всегда хотелось добавить к ним что-то свое, усовершенствовать. Вот, и теперь он показывал брату свое новое изобретение: аэроплан с соосным пропеллерами, вращаемыми резиновыми моторчиками в разные стороны. Показали «самолетик» и маленькой Нике, прибежавшей звать братьев к столу. Но девочка лишь растерянно хлопала глазами — до авиации она еще явно не доросла!

— Ах, сестричка, ты не представляешь себе, как это здорово — летать! — восклицал Саша, ища передать сестре свое упоение. — Вот, сейчас я покажу тебе! — с этими словами он подхватил девочку на руки, и попытался сделать ею в воздухе вираж. На малышка испугалась и взвизгнула.

— Перестань, Сашка! — Жорж опасливо посмотрел на дверь. — Варвара подумает, что мы ее обижаем.

Саша покорно опустил девочку в кресло, ласково потрепал по щеке:

— Никуся, я ведь не обидел тебя, правда? Я только хотел, чтобы ты тоже хоть немножко полетала...

Навернувшись было на глазах сестры слезы высохли, и она улыбнулась.

А дверь, между тем, распахнулась, и на пороге появился встревоженная мачеха.

— Что здесь случилось? Никуся, с тобой все хорошо?

— Да, мамочка, — пропел детский голосок.

Мачеха успокоилась и, заметив, что обед уже стынет, ушла, забрав с собой и Нику.

Саша вздохнул. Нет, Варвара была, в сущности, хорошей, доброй женщиной. Она безмерно любила отца, и он отвечал ей тем же. Да и к Саше с Жоржем мачеха относилась очень тепло, любя их, как детей любимого человека. Однако же, мать есть мать! Ее место никто не мог занять, и оно всегда зияло сквозящей пустотой.

Уход матери стал самым большим горем в жизни братьев Прокофьевых. В последнее время они много и сильно ссорились с отцом. А затем мать ушла. Уехала... А вскоре порог их дома переступила Варвара с младенцем Никой на руках... Первое время мальчики ершились, не принимая ни мачеху, ни сестру. Но время стерло острые углы, болезненно ранившие всех. Мальчики бесконечно любили отца и восхищались им. Он же души не чаял в них, и появление новой жены никак не переменяло его отношения. Малышка была настоящей душкой, которую нельзя было не полюбить, а молодая красавица-мачеха делала все, чтобы сохранить в доме мир и тепло. Сгладились углы, но остались шрамы, и саднили иногда. И как ни хорошо было в родном доме, вместе с дорогим отцом, а все-таки безумно не хватало матери.

Впервые за все время с ее отъезда Саша почувствовал, что это чувство на время отпустило его, когда фарман Сикорского стал подниматься в небо... Он был точно выпавший из гнезда птенец, наконец, обретший крылья...

За обедом и отец, и оба брата наперебой делились впечатлениями от первого полета, забывая подчас о трапезе. Мачеха слушала со вниманием и благодушной иронией, читавшейся в ее глазах — так смотрят мудрые

родители на расшалившихся не в меру детей, не препятствуя шалости, снисходя к младенческим летам и тешась сами этим непоседливым весельем. Выражение благодушия сошло с лица Варвары, когда отец, опрокинув третью стопку и по-гусарски закрутив усы объявил:

— А знаете что, дети мои? Научиться летать — это еще не все! Этому мы научимся в два счета! Но нужно, чтобы было, на чем летать!

Повисла театральная пауза. Саша и Жорж затаили дыхание, предчувствуя один из тех потрясающих сюрпризов, на какие отец был большой мастак.

— Что нам нужно, дети мои?

— Аэроплан! — в один голос ответили юноши.

— Вы совершенно правы! Я узнал сегодня, что возможно по достаточно разумной цене приобрести совсем новенький фарман.

— Ур-ра! — воскликнул Саша, вскочив из-за стола. — У нас будет свой фарман!

— Ур-ра! — эхом повторил Жорж. — Папочка, как здорово!

Оба брата бросились целовать отца, а тот благодушно рассмеялся, обнимая их:

— Запомните, мальчики, никогда и ничего не делайте наполовину!

— Николай, ты, кажется сошел с ума! — не выдержала мачеха, нервно комкая салфетку. — Ну, ладно мальчики! Они еще дети! Но ты!..

— Но что же такого безумного в моем решении, мадам? — отец всегда называл любимую жену «мадам», когда им случалось ссориться.

— Все! — сплеснула руками Варвара. — Во-первых, это огромные деньги!

— Это уж вы позвольте мне решать. Мой театр дает, славу Богу, хороший доход. И можете не беспокоиться, покупка самолета никак не скажется на нашем

семейном бюджете, экономить на хозяйстве и иных нуждах вам не придется.

— Но ведь это опасно! — почти закричала мачеха, не на шутку разволновавшись. — Самолет может разбиться! Вот, совсем недавно, вы сами говорили, разбился тот пилот, что летал со Столыпиным...

— Бедняга Мациевич, — вздохнул Николай Георгиевич.

— Да-да! Так, вот, Николай, я не хочу потерять ни тебя, ни мальчиков! Не хочу, чтобы вы рисковали собой для какой-то мальчишеской забавы!

— А, вот, тут, милый друг Варенька, ты как есть не права, — покачал головой отец. — Мы, конечно, ведем теперь себя, как отменные озорники, это правда. Но авиация — это не мальчишеская забава. Это... будущее человечества! Армии в том числе. А риск... Помилуй Бог! Мы рискуем всякий миг нашей скоротечной жизни! Можно попасть под лошадь или свернуть себе шею, свалившись с лестницы. Мало ли опасностей подстерегает нас на каждом шагу!

— Ты точно сошел с ума! Ты сумасшедший! — Варвара вскочила из-за стола и выбежала из столовой, утирая глаза платком.

Такие приступы случались у мачехи чрезвычайно редко, и братья настороженно притихли, ожидая, что будет.

— Может быть, и сумасшедший... — согласился отец, выпив еще одну рюмку. — Но разве не за это вы полюбили меня, драгоценная Варвара Григорьевна? — помолчав с минуту, он заговорщицки подмигнул сыновьям. — Ничего, ребятки! Эта буря пройдет, а фарман у нас будет! Я так решил!

Саша и Жорж просияли радостью и под столом пожали друг другу руки. Отец, меж тем, поднялся из-за стола и направился вслед за женой:

— Все же нехорошо! Испортили мы, безобразники, обед Варваре Григорьевне... Надо пойти успокоить голубицу. Может, когда-нибудь и она отважится прокатиться на нашей птичке?

* * *

«Птичку» отец, конечно же, купил. Вместе с Жоржем они скоро овладели летным мастерством в то время, как Саша изнывал от зависти и жажды неба в ставшем для него темницей Морском корпусе. С началом войны отец с братом поступили инструкторами в Гатчинскую авиашколу. Прокофьев-старший, не смущаясь своими летами, вновь надел мундир поручика и возвратился на службу. А Саша... продолжал свое обучение, мучась теперь еще и стремлением скорее отправиться на фронт.

И, вот, наконец-то первое офицерское звание и назначение на боевой корабль! Но... корабль стоял на ремонте, и Саша, получив разрешение начальства, отправился в Гатчину, где Жорж с видом старшего — как-никак уже опытный пилот! — похлопал брата по плечу:

— Не переживай, Сашка! Ты же окрыленный, как и мы все! Быстро научишься! Я сам тебя учить стану.

Жорж ли был талантливым учителем или Саша — исключительно способным учеником, но слова брата оправдались. Вскоре третий Прокофьев уже сам чертил замысловатые фигуры на лазурном полотне. Генерал Кованько отметил одаренного юношу и счел, что грех рожденному летать тонуть в морских пучинах. Сашу направили в Севастопольскую летную школу. Юноша был беспредельно счастлив: его мечта сбывалась! Он уже летал, а вскоре должен был стать

профессиональным пилотом и уже в этом качестве отправиться на фронт...

Однако, вместо этого едва-едва не пришлось вновь оказаться на палубе корабля. И виной тому было самое обыкновенное мальчишество! На очередных показательных выступлениях перед высокой комиссией мичман Прокофьев должен был, согласно плану, атаковать лучшего курсанта школы и потерпеть от него поражение. Атаковать-то Саша атаковал, еще как атаковал! Да затем увлекся и... в пух и прах разгромил соперника. Тот спикировал вниз, а победитель, упоенный игрой, еще и отметил свою победу, проделав несколько сложных фигур, после чего ушел в пике прямо над головами начальства и, едва не коснувшись оных, вновь взмыл в небо...

«Воздушное хулиганство», — расценил эти «подвиги» разъяренный директор школы и отослал «хулигана» назад в Гатчину... Здесь, спасибо отцовскому авторитету и дружескому отношению к Прокофьевым со стороны добрейшего Кованько, Сашу приняли и доучили до звания полноценного пилота. Успешно сдав экзамен, юноша получил назначение на Балтику, на остров Эзель.

На Эзель в самом начале войны была из-за угрозы захвата немцами переведена морская авиабаза, где располагались гидроаэропланы-разведчики. За год у поселка Кильконд была отстроена новая учебно-боевая база. Здесь Прокофьев впервые увидел летающие лодки. Или же плавучие фарманы. Как зачарованный смотрел Саша, как эти морские «птицы» плавно опускались к водной глади, осторожно касались ее и наконец погружались в волны фанерное брюхо... У этих аэропланов не было шасси, и это поначалу тревожило. Ведь вода лишь кажется более «мягкой» для посадки, чем земля, на деле же при ударе о нее она столь же тверда. И хрупкое фанерное тело могло не выдержать

такого столкновения, если пилоту не удастся провести посадку мягко. Для управления гидропланом требовалось воистину филигранное мастерство!

Первые недели Саша летал с инструктором, учась премудростям управления летающими амфибиями. В свободное время он тщательно изучал их, расспрашивая механиков об их устройстве, наблюдая за их работой. Он должен был знать свою «птичку», понимать ее.

Наконец, настал день испытательного полета без инструктора. Механик Блинов, летевший с Сашей, был заметно бледен, и молодой пилот ободрил его:

— Да ты не волнуйся, братец Блинов! Я штурвалом, как своими пальцами владею! Такие кренделя выпишем — небо удивляться будет!

От этих слов механик побледнел еще больше и, лязгнув зубами, отозвался:

— Так точно, ваше благородие!

Гидроплан плавно поднялся в воздух, и на душе Саши стало, как всегда в полете, необычайно легко. Словно уходило земное притяжение, словно освобождалась душа, оставаясь один на один с небом. И хотелось подниматься все выше, хотелось делать немислимые фигуры, от которых самое тело точно растворялось в ветре, сливаясь с ним, становясь одной стихией!

Все же совсем один на один остаться не выходило. Рядом лязгал зубами Блинов, которому счастливая во все лицо улыбка испытуемого пилота внушала самые серьезные опасения.

— Голубчик Блинов, да ты не бойся! — вновь успокоил его Саша. — Я очень хорошо сажаю самолет! Ты и не заметишь, как на воде очутимся!

— Главное, чтобы не под водой... — пробормотал Блинов, а затем, встряхнувшись, прибавил: — Так точно, ваше благородие!

Саша хвалил себя не напрасно. Он, действительно, очень аккуратно посадил свою «птичку». Лишь несколько раз подпрыгнула она на волнах, а затем устало осела, предоставив им омыwać свои бока.

— Поздравляю вас, Прокофьев! — приветствовал «дебютанта» командир отряда лейтенант Литвинов. — Из вас получится отличный летчик!

С того дня начались для Саши боевые будни. Гидропланы Эзеля патрулировали Рижский залив, южную часть Балтийского моря и вход в Финский залив. Если случалось обнаружить корабли противника, их подвергали бомбежке. По две небольших бомбы прикреплялись на такой случай снаружи кабины в вертикальном положении. В аппаратах, не оборудованных внешними держателями бомб, их укладывали прямо в кабины. Такая устаревшая модель досталась и Прокофьеву.

Первое время Саше «не везло». Ни на море, ни в воздухе не случалось ему встретить неприятеля. Старшие соратники успешно атаковали корабли противника, прогнали разведывательный дирижабль немцев, а Прокофьев с Блиновым возвращались с воздушной охоты ни с чем. И, вот, однажды...

— Блинов, голубчик, гляди! — даже горло перехватило от волнения. Сквозь плотную пелену белесого тумана проступила огромная темная тень.

— Похоже на корабль, ваше благородие! — откликнулся Блинов.

Саша снизился: так и есть! Корабль! Немецкий линкор, нахально вторгшийся в неприкосновенные воды Рижского залива!

— Ну, что, Блинов, атакуем «кита»?

— Атакуем, Александр Николаич! — решительно кивнул механик, погладив одну из лежащих у него на коленях бомб.

— Ну, держитесь, черти! — крикнул Прокофьев и потянул на себя штурвал. — Приготовить бомбы!

Самолет прошел над самой палубой линкора: Саша успел разглядеть в испуге мечущихся по палубе матросов. А затем грянул взрыв: это Блинов бросил на палубу неприятельского судна две бомбы.

— Ура! Попали! — воскликнул Прокофьев. — Браво, голубчик!

Блинов просиял, гордый успешным «дебютом». Однако, снизу уже гроыхали орудия линкора. «Кит» был полон решимости дать отпор и наказать напавшую на него нахальную «чайку».

— Еще одно исполнение «на бис» и уходим! — решил Саша, кладя самолет на боевой курс. — Приготовить бомбы!

Гидроплан уже приближался к линкору, когда хрупкое тело его сотряс мощный удар.

— Попадание! — воскликнул Прокофьев и в тот же миг почувствовал, что раненый самолет начинает крениться на бок.

— Ваше благородие! Держи! Держи! — взревел Блинов.

Саша держал. Держал до предела наклоненный штурвал, выравнивая положение своей подбитой «птички». Ему удалось вывести ее из зоны огня и взять курс на Эзель. Гидроплан плохо слушался рулей и время от времени вздрагивал, словно в ознобе. Нужно было садиться и ждать, пока подберет терпящих крушение какой-нибудь катер или судно...

Но Прокофьев продолжал тянуть свою летающую лодку. Вот, показались в молочной дымке знакомые очертания Кильконда... Теперь можно и садиться! Только бы руль высоты не отказал...

Руль не отказал, но сработал худо. Гидроплан сильно ударился о воду, но уцелел, зарылся носом в

волну, подпрыгнул и, быстро теряя скорость, начал оседать. Кажется, уберег Господь! Сели!

В этот момент Саша заметил, что Блинов пытается снять взрыватель с оставшейся бомбы.

— Блинов, братец, полно! Мы сели, к чему теп...

Договорить Прокофьев не успел. Страшный взрыв разорвал на части фанерное тело самолета, и все потонуло во мраке...

* * *

Мрак иногда прореживался калейдоскопом ужаса... Береговой катер... Госпиталь Эзеля в полном составе — врач и две сестры... Водка, нещадно заливаемая в горло... Морфий... И боль, жуткая, невыразимая боль...

Боль — первое чувство вернувшегося с того света. Боль — первое доказательство бытия.

— Нога... Нога... Как болит!

— Слава Тебе, Господи! Очнулся!

Второе впечатление — родное лицо, проступающее из тумана полубреда. Лицо отца... Отец — в мундире, покрытом белым халатом — сидит у его изголовья, бледный, осунувшийся.

— А Жорж — знаешь? — в соседней палате. Разбился... Перелом обеих ног. Но уже поправляется, молодцом! Ты тоже поправишься, да... Эх! Летуны вы мои!.. Варенька-то, Варвара-то Григорьевна как плакала, когда узнала... Говорила, мол, вам! Так что ж сделаешь, война... — по полному лицу отца текли беззвучные слезы.

— Что с моей ногой? — тихо спросил Саша и по тому, как вздрогнул отец, как опустил голову, не смея ответить, понял: болеть уже нечему, ноги у него нет...

— Отец, неужели я больше не смогу летать?!

От этого сознания он вновь провалился во мрак с отчаянным желанием более никогда не возвращаться назад. Зачем возвращаться, если нельзя больше будет летать? Если он, двадцатилетний, останется инвалидом на всю жизнь?! Зачем такая жизнь?! Зачем?!

Отчаяние — первое чувство ставшего калекой. Сон неумолимо отступал, силы возвращались. Но как не хотелось открывать глаза, встречаться с ужасной явью...

— Сашенька, милый, тебе очень больно?

Вместо ужасной яви его встречала девочка с победительным именем.

— Ника?

Его маленькая сестричка... Повзрослевшая, вытянувшаяся и все такая же очаровательная...

— Она так рвалась увидеть тебя, что я не мог ей отказать, — чуть виновато сказал отец.

— Ты не сердись, что я пришла?

— Ты очень хорошо сделала, что пришла, — попытался улыбнуться Саша. — Спасибо тебе!

— Я принесла тебе подарок, — сказала повеселевшая девочка и протянула ему маленькую плюшевую обезьянку. — Пусть она всегда будет с тобой и приносит тебе удачу!

— Но ведь это твоя любимая игрушка? Твой талисман?

— Пусть он теперь будет твоим! — с этими словами Ника посадила обезьянку на тумбочку у кровати Саши и чмокнула его в щеку. — Поправляйся, Сашенька!

Прокофьев был искренне растроган заботой маленькой сестры и, пожав ее ручку, благодарно шепнул:

— Твой подарок всегда будет со мной! А ты приходи почаще, я очень рад тебе!

Отец не только привел с собой сестру, но и принес гитару, дабы порадовать страждущих сыновей

импровизированным концертом. Порадовался вместе с младшими Прокофьевыми и весь госпиталь — особенно сестры, наперебой забежавшие посмотреть на знаменитого певца, чарующий голос которого разносился по всем этажам.

Уймись, волнения страсти!
Засни, безнадежное сердце!
Я плачу, я стражду, —
Душа истомилась в разлуке;
Я стражду, я плачу, —
Не выплакать горя в слезах.

Заглянувший доктор смущенно осведомился, не согласится ли уважаемый Николай Георгиевич дать благотворительный концерт для всех наличных раненых?

— О, с превеликой радостью! — воскликнул отец. — Я весь в вашем распоряжении и готов, чем могу, служить нашим героям!

Когда отец с Никой ушли, Саша повернул голову к обезьянке:

— Ну, что скажешь? Полетаем еще, как думаешь? Я молод и здоров, что же из-за отрезанной стопы мне превратиться теперь в калеку? Знаешь, в детстве я любил книжки про пиратов... И среди них встречались пираты на деревянных ногах. Представь, в те времена они со своими деревяшками продолжали бороздить моря на своих фрегатах, сквозь шторма! Продолжали корсарствовать... И чем же я хуже одноногого Джона Сильвера? — от этого сравнения Саша даже развеселился, представил себя в роли известного стивенсоновского пирата. — Летать с одной ногой душе

птичьей не должно быть много труднее, чем плавать — душе морской. Верно ли я говорю? Нет, не засыпай, сердце, не унимайтесь, страсти! Мы еще поборемся! Повоюем! Мы еще будем летать!

* * *

Человек может преодолеть, если не все, то почти все. Если только у человека есть воля и цель. У Саши Прокофьева не было недостатка ни в том, ни в другом. Хороший протез, над совершенствованием которого он работал вместе с мастером, позволил ему через несколько месяцев не только ходить, но даже практически не хромать — со стороны никто бы не заподозрил в стремительном юноше одноногого инвалида.

Но, вот, беда — врачи упрямо не желали признать, что летать можно и с одной ногой, и их беспощадный вердикт не позволял ему вернуться к боевой службе. На время вынужденного «стояния на якоре» Саша устроился контролером на завод Щетинина — первый русский авиазавод. Именно здесь, на Крестовском острове, конструктор Григорович проектировал первые же русские гидропланы — летающие лодки Григоровича типа «М».

Прокофьев с головой ушел в новую работу, практически все время проводя или на заводе, или на испытаниях новых самолетов. Он с увлечением изучал конструкторское дело, разбирал устройство различных моделей аэропланов и сам придумывал для них новаторские приспособления. Иногда Саша просыпался ночью и спешно набрасывал чертеж явившейся идеи. Это ведь тоже своего рода полет! Полет фантазии! Творческой мысли! И он также удивителен!

И все же... Небо окрыленной душе ничто не может заменить! И следя в качестве контролера завода за чужими полетами обмирала эта душа, дрожала неутолимой жаждой оказаться на месте пилотов!

Набравшись опыта на заводе, Саша подал рапорт на имя командующего Балтийским флотом с просьбой о восстановлении в действующей армии. Командующий просьбу удовлетворил и назначил бойкого мичмана на должность старшего инспектора морской авиации Петроградского военного округа. Теперь Прокофьев отвечал за всю авиацию Балтийского флота и сухопутные эскадрильи округа. Немалая ответственность! Но ее Саша не боялся, он был уверен в себе, и уверенность эта была оправдана.

Не менее уверен был Прокофьев и в том, что стоит ему сесть за штурвал, и он взлетит столь же легко, как до катастрофы. Но как, как донести это до бумажных душ, знающих лишь букву и не имеющих понятия о крыльях?!

Первую «пробу крыла» Саша провел с помощью боевого товарища по Кильколду. Тот испытывал отремонтированную на щетининском заводе лодку Григоровича, и Прокофьев попросил его уступить ему место на один полет. Упоительно было вновь ощутить свою власть над фанерным телом гидроплана! Вновь ощутить себя «в седле»! Полноценным пилотом, а не калекой, в каковые так упорно старались записать его! Даже навыков не утратил он за время простоя! Также уверенно лежала рука на штурвале, также послушно шел самолет, выписывая «кренделя на небе», та же чудесная легкость царила в душе!

Что ж, раз бумажные души не желают верить слову, то придется убеждать делом. Когда-то уже довелось Саше быть «воздушным хулиганом», отчего бы не повторить былые «подвиги»?

16 мая 1916 года в Севастопольской бухте был назначен смотр авиации Черноморского и Балтийского флотов в присутствии командного состава и самого военного министра. Подготовку и контроль этого мероприятия поручили старшему инспектору штаба Балтийского флота мичману Прокофьеву... За время организации смотра Саша сдружился без исключения со всеми экипажами. Он вникал в их нужды, хорошо понимал их, оперативно решал всякое возникавшее затруднение. К тому же репутация раненого в бою героя, продолжающего служить без ноги, неизменно вызывала уважение. К заветной дате уже решительно никто и ни в чем не мог отказать внимательному и участливому инспектору...

— Брат Степанов, будь благодетелем, уступи-ка мне свое место на один полет!

Мичман Степанов, чей вылет должен был последовать с минуты на минуту, растерянно отступил от кабины.

— Так ведь не положено, Александр Николаевич...

— Под мою ответственность! — откликнулся Прокофьев, проворно забираясь в кабину.

Хорошие отношения — это хорошо, но должность старшего инспектора — еще лучше! Кто-то решится отказать? Да еще так наспех, не рассудив? С начальством спорить не любят, дело известное! И иногда... полезное, если в качестве начальства выступаешь сам. Говорят, наглость берет города. Значит, и собственное командование взять должна.

Взревел с предчувствующим победу азартом славный М-5! Легко оторвался он от земли и лег на правое крыло, подчиняясь штурвалу. Где-то внизу, у самого берега едва различима была группа высокопоставленных наблюдателей. Саша устремил гидроплан прямо на них, имитируя заход самолета для бомбометания. Как когда-то здесь же, в Севастополе,

вновь над самыми адмиральскими головами пролетел Прокофьев и, набрав высоту, принялся показывать самые сложные фигуры. В финале он сделал мертвую петлю, после чего плавно, точно не вода то была, а масло, посадил гидроплан на переливающуюся в лучах солнца волнистую гладь... Глубоко вздохнув, расстегнул свою кожаную куртку, шутливо потрепал спрятанную за пазуху обезьянку:

— Ну, что, талисман, кажется, мы победили? Даже если нас отправят под арест, мы все равно победили! Теперь они не смогут утверждать, что летать с одной ногой нельзя, не смогут отрицать очевидное!

Скандал вышел нешуточный. Командующий Балтийским флотом Тучков метал молнии вне себя от гнева:

— Как вы посмели сесть за штурвал, Прокофьев?!

— У меня не было иного способа доказать, что я могу летать и без ноги.

— Молчать! Вы преступник, мичман! Вы под суд пойдете! А я ведь так вам доверял!

Да, обмануть доверие начальника, назначившему тебе столь ответственный пост, полагавшемуся на тебя, не самый лучший поступок. Но что было делать?

— Однако, ваше превосходительство, все ведь обошлось... — вкрадчивый голос принадлежал начальнику балтийской авиации контр-адмиралу Непенину.

Тучков метнул на него испепеляющий взгляд и коротко приказал, кивнув на своего не оправдавшего доверия протеже:

— Арестовать его! И не думайте, — прибавил, обращаясь к Саше, — что слава вашего отца вам поможет!

— Я и не думаю... — одними губами шепнул Прокофьев. Слава отца тут, действительно, ничему не поможет, а, вот, слава собственная... Эх, ваше

превосходительство, в России давно уже большое значение имеет общественное мнение! А оно уж непременно будет на стороне безногого смельчака и его отчаянного безрассудства.

Уводимого под арест Сашу провожал полный сочувствия взгляд контр-адмирала Непенина.

Андриан Иванович был не тем человеком, который ограничивается молчаливым сочувствием ближнему. Приняв сторону безногого смельчака, он подал рапорт на имя самого Государя, прося в нем разрешить в порядке исключения выполнять боевые полеты мичману Прокофьеву и коротко описывая произошедшее на смотре.

Ответ Императора был лаконичен: «Потрясен! Восхищен! Пусть летает!»

* * *

После триумфального возвращения в небо имя Александра Прокофьева облетело все газеты. Восхищен его мужеством был не только самодержец, но и все русское общество. Но все эти чествования меркли в сравнении со счастьем вновь вернуться на боевую службу...

— Ну, держись, Александр Николаич, сейчас начнется! — кряжистый, по-крестьянски сбитый Сазонов прильнул к пулемету — ими оснащены теперь были гидропланы Григоровича.

Семь немецких бипланов взмыли в воздух после того, как русские бомбы упали на их базу Ангерн. Стервятники пылали желанием отомстить. Два самолета против семи — не лучшее сочетание для боя! Но его уже не избежать...

За штурвалом второй русской лодки был лейтенант Дитерихс, отважный и опытный пилот. Он тотчас устремился к самой воде, и Александр последовал за ним. Снизившись, они вместе, как сказали бы в рукопашной схватке, прикрывая друг другу спины, стали отстреливаться от немецкой чернокрестной стаи. Неприятельские машины приближались так близко, что можно было различить разъяренные лица пилотов. Чем не рукопашная? Только успевай лавировать, чтобы не зацепиться крыльями! Чистая эквилибристика!

Два биплана удалось повредить, и они вынуждены были покинуть поле боя, но вдруг замолчал пулемет Дитерихса... Екнуло сердце.

— Ах ты, дьявол, неужто заклинило!

А на командира уже нацелились острыми клювами немцы, и первый из них ринулся в атаку. Миг — и конец лейтенанту и его лодке! Прокофьев рванул штурвал и устремился наперерез стервятнику:

— Сазонов, милый, не подведи!!!

Он уже готов был повторить подвиг Нестерова и протаранить противника, но Сазонов не подвел: пулеметная очередь сразила чернокрестную «птицу», и она с предсмертным моторным ревом рухнула в море.

Оставшиеся четыре стервятника предпочли не рисковать и, набрав высоту, исчезли в тумане...

* * *

Гидропланы — самолет сезонный. Усмирили льдовые окопы Балтику, и хоть медведем засыпай! Но дорвавшись до неба сквозь столько преград Прокофьеву менее всего хотелось теперь в берлогу. Он ведь только-только ощутил вкус к воздушной охоте, поднаторел в ней, сбивая самолеты противника!

Однако же, кто сказал, что нельзя летать зимой? Ведь, вот, к примеру, колеса — заменяют на зиму полозья саней? Отчего же и самолетам полозья не приладить?

Чертежи «самолетных лыж» Александр выполнил сам и сам же испытал свое изобретение, изготовленное на родном щетининском заводе под чутким контролем Григоровича. Новая модель лодки, получившая название М-11, зарекомендовала себя блестяще и была признана лучшим изобретением 1916 года. Отныне и зима не могла подрезать крылья русским «птицам»!

Зима не могла, а, вот, люди...

— Александр Николаевич, поговорите с рабочими! Они вас знают, доверяют вам, вы единственный человек, которому они поверят! — начальник морской авиации Дудоров не мог скрыть растерянности и отчаяния. Замутилось на душе и у Прокофьева... Если уж щетининцы взбунтовались, наученные большевистскими пораженческими прокламациями, то куда дальше?.. А, впрочем, после избиения офицеров Балтики, учиненного матросами, чему удивляться? Сколько славных моряков было растерзано в эти страшные дни! И среди них благодетель Непенин, всегда так заботившийся о нижних чинах...

Страшно и отвратительно разнуздание черни! Самые темные силы замутившихся и невежественных душ выплескиваются тогда наружу, испепеляя и уродуя все, что окажется на пути. А эти петроградские болтуны и вздорные барышни щеголяли красными бантиками и поздравляли друг друга с «освобождением»! От чего — «освобождением»? Кто и в чем теснил этих пресыщенных людей?! Все они праздновали предательство собственного Отечества и соучаствовали ему! И ведь даже иные офицеры увлеклись революционной химерой. Слышал Александр одного такого витию при погонах:

— Вот, теперь без распутицев быстрее немцев обломаем!

— С милюковцами и керенцами обламывать будете? И с пьяной от офицерской крови сволочью?!

Ох, и тошно было Прокофьеву на это безумие смотреть! Пожалуй, единственный раз только и было так тошно — когда в госпитале без ноги лежал... Но ногу человеку можно вполне удовлетворительно заменить деревяшкой. То ли дело голову! А России-матушке аккурат голову и оторвали без жалости, и теперь билось в страшных конвульсиях тело... Улететь бы навсегда от зрелища жуткого!..

На завод Щетинана он, конечно, поехал. Бушевал завод! Требовал! Ми-ра. В разгар войны... Теперь везде — митинг! Везде — требования! Комитеты! Хотим работаем, хотим пишем резолюции и бастуем, и пусть пропадают братья наши без боеприпасов. Да и те такую же моду завели. Хотим идем в бой, хотим бузу бузуем — а сколько своих же боевых товарищей поляжет без подмоги, плевать хотели! Свобода! Всем отныне право даровано — иудами быть!

Закипела кровь, застучала в висках от глупости и подлости митинговой. Вскочил Александр на крыло одного из самолетов, крикнул, перекрывая гул толпы:

— Тихо! Я старший лейтенант Прокофьев-Северский, и вы все хорошо меня знаете!

Неужто и эти рабочие зверями обратились? Неужто способны растерзать, как матросы Непенина?

— Знаете или нет?!

— Точно! Знаем! Говори, Алексан Николаич!

И он стал говорить. О тех, кто погибал на фронте и продолжал бить немцев. О тех, кто так нуждался теперь в поддержке, и кому безжалостно бьет в спину митинговая анархия и саботаж.

— Вы все умные, честные люди! Вы же прекрасно понимаете, что у мира может быть лишь один

фундамент — победа! Наша или неприятельская. Хотите ли вы, чтобы немцы победили, чтобы они пришли к стенам Петрограда, чтобы самолеты, сделанные вашими руками, достались врагу или были уничтожены?!

— Нет! Нет! Не хотим!

— Значит, у нас есть только один путь — победить врага!

Прежде Прокофьев не знал за собой особых ораторских дарований, но тут не иначе, как высшая сила помогла, вложив в уста доходящие до простых сердец слова. Услышали их, вняли, еще не совсем пропащими были русские души...

* * *

И все же не мог фронт сопротивляться ударам собственного тыла. Русская армия, оплеванная и осмеянная тыловой сволочью, отступала. Отряду Прокофьева, базировавшемуся на родной базе острова Эзель, было приказано прикрывать отход отступающих частей с островов Моонзундского архипелага.

Ирбенский пролив — ключ к господству над Балтикой. Путь на Ригу... Именно к ней рвалась теперь немецкая армада, и четырехорудийная батарея Эзеля препятствовала этому прорыву. Немецкие самолеты изо дня в день осыпали остров бомбами, ища уничтожить батарею, и каждый раз новенький ньюпор Прокофьева поднимался им навстречу, ведя за собой остальную стаю — всего 12 аэропланов, хорошее библейское число, но какое же недостаточное для противостояния все более наглежащему врагу!

Больше эзелевских орудий немецкой эскадре мешали русские мины, которыми был вооружен

Ирбенский пролив. Неприятельские тральщики под прикрытием корабельных орудий без устали разминировали его.

— Скоро наша песенка будет спета, — лейтенант Сафонов сделал несколько глотков кипятка, прогревая простуженное горло.

Немецким работам уже не препятствовали, и вражеская эскадра в любой час могла вторгнуться в Рижский залив. Тогда ее орудия всей мощью обрушатся на изможденный Эзель... Ввиду создавшегося положения командование приказало перебазировать эскадрилью на авиабазу Кюваст на восточном побережье острова Мун. Но как оставить на погибель гарнизон Эзеля?

— Если и вы улетите, мы погибнем...

Эти слова ножом по сердцу полоснули, и снова встал перед глазами пеной революционного бешенства захлебнувшийся Петроград... Проклятые! Гибли из-за них теперь усилия стольких лет, стольких славных героев, пропадали пропадом все жертвы, принесенные на алтарь Отечества... Погибнем! Да, уж не спасти Эзеля — с самолетами или без. Не спасти... Но это — знание рассудочное, а есть и иные мотивации, безрассудные... Например, честь, высшее из безрассудств в бесчестное время!

Эскадрилью с обреченного острова Прокофьев отправил, а сам с разрешения командования остался в компании еще одного благородного самоубийцы — Сафонова. Вместе теперь всякий день на разведку летали и адмиралу Бахиреву³⁹ доносили о продвижении германской армады.

— Полно, Миша, кому что на роду написано, то и будет. Я уже умирал один раз, а этот опыт, знаешь ли, располагает к фатализму.

Сафонову, конечно, трудней. Он едва-едва успел жениться на очаровательной Людочке Чеботаревой, сестре милосердия, вышедшей его после ранения. Жаль навеки разлучаться с любимой женой, не успев даже порядком узнать друг друга! Хотя и Прокофьеву очень даже есть, о чем жалеть. Целая папка чертежей и еще больше идей ждали своего воплощения! Да где уж теперь воплощать... Так и пропадут, пожалуй, дорогие сердцу изобретения...

Невеселые размышления и чаепитие пилотов было прервано сильнейшим грохотом, сотрясшим Эзель. Еще залп... Еще...

— Ну, поздравляю, брат! — усмехнулся Сафонов. — Кайзер нам салютовать начал!

Немецкая эскадра преодолела минные заграждения и теперь била по беззащитным укреплениям Эзеля...

Прежде чем связь оказалась перебита, с большой земли успела прийти радиограмма с приказом лейтенантам Прокофьеву и Сафонову немедленно покинуть Эзель. Начальство дорожило своими асами и самолетами (где-то теперь новые возьмешь в наступившем хаосе?). К этому времени большая часть острова уже была захвачена противником. Тошно было бежать, оставляя на гибель и плен гарнизон, но приказ есть приказ, а два самолета бессильны перед целой эскадрой... Снаряды уже рвались на летном поле, когда Александр и Михаил заводили моторы. Вылетали по густому туману, чтобы противник не заметил их с земли. Впереди — точно молоко разлитое — ничего не разглядеть! А снизу гроыхает, а внизу рвется нещадно плоть земли...

Сафоновский самолет, шедший впереди, скоро растворился в тумане⁴⁰. Прокофьев остался один. Плотная пелена со всех сторон, и едва можно разобрать, не сбился ли с курса, осталась ли позади

захваченная противником территория. Грохот, однако же, стих — значит, самая опасная часть пути пройдена. Теперь бы только не нарваться на немецких охотников!

Внезапно «птичка» хрипло закашлялась и стала терять высоту. Ох, ты, дьявол! Мотор! Да неужто не мог ты, милый, выбрать иного времени, чтобы заглохнуть?! До рези в глазах напряг Прокофьев зрение — что-то там внизу? Как будто бы поле какое-то... Не летное, конечно, но для посадки сгодится.

— Ну же, родной, не подведи!

Обессилившая, но все еще подчиняющаяся пилоту «птичка» тяжело коснулась земной тверди. На этом ее покорность была исчерпана. Все попытки Александра оживить самолет и вновь запустить мотор оказались тщетными. Прокофьев взглянул на безмятежную обезьянку, припрятанную за пазухой:

— Ну, что скажешь? Опять влипли... Не хватало теперь еще в плен угодить!

Мартышка-талисман смотрела, как обычно, озорно и, видимо, нисколько не сомневалась, что ее хозяин справится и с этой напастью.

— И то правда, — кивнул ей Александр. — Где наша не пропадала! Нельзя лететь, значит, придется топтать пешком... — подумав несколько минут, он добавил: — Самолет уже не выручить, а, вот, оружие врагу мы не оставим.

С этими словами Прокофьев вытащил из кабины тяжеленный «Викерс», а затем облил не подававший признаков жизни «Ньюпор» керосином и со вздохом бросил в него зажигалку:

— Прости, друг!

Самолет вспыхнул жертвенным костром, а пилот перекрестился, глядя на него. Взвалив на плечи пулемет, он захромал прочь, боясь, что немецкие крылатые разведчики могут увидеть полыхающий «Ньюпор» и обнаружить его самого.

Сколько он шел? Никак не меньше нескольких часов... Хотя с такой кладью — час за три! Семь потов сошло... Да и протез, не привыкший к столь продолжительным пешим прогулкам, начинал тереть ногу.

— Pea kinni! Kes sa oled selline?⁴¹

Александр остановился и опустил на землю пулемет. Перед ним стояло несколько человек — мужики и бабы. Судя по одежде, эстонские поселяне. Вид у них был встревоженный и грозный одновременно. Эстонского Прокофьев не знал, но когда один из поселян ткнул его в грудь пальцем и, вскинув острый подбородок, повторил:

— Kes sa oled selline? — догадался, что окружившие его люди хотят знать, кто он.

— Я русский летчик. Русский! Свой!

Черт знает, как еще объяснять... Ведь по-русски они, похоже, ни бельмеса. А как на языке мимики и жестов объяснить, что ты русский?

— Рус-ский! Рос-си-я!

Должны же они хоть это слово понимать... Названия стран на разных языках обычно звучит сходственно.

С большим трудом Прокофьеву удалось донести до эстонцев, что он не враг им. Для того же, чтобы объяснить, каким ветром занесло его в их края, и куда он направляется, язык мимики и жестов пришлось дополнить рисованием «перстом на песке». Название острова Мун поселянам оказалось понятно. Один из мужиков начал что-то энергично говорить своим соплеменникам, в чем-то убеждая их. Немцам, что ли, выдать намереваются? Легко может стать! Нынче все малые народности национальной гордостью исполнились, а по этому случаю готовы служить любой более крупной, кроме русской... Может, лучше было немцем представиться? Хоть бы в общих чертах понять,

что говорит этот детина, и потребуется ли использовать пулемет по назначению...

Наконец, эстонцы, по-видимому, вняли убеждениям своего «предводителя», закивали согласно головами:

— Hästi! Õige!⁴²

«Предводитель» подошел к Прокофьеву с видом благожелательным, ткнул пальцем сперва себя, потом его, а затем изобразил пальцами по ладони пешую ходьбу. Кое-как Александру удалось понять, что этот добрый эстонец вызывается быть его проводником. Поскольку слова благодарности на эстонском ему были неведомы, оставалось лишь изобразить благодарный полупоклон.

Через трое суток пути изможденный, перепачканный грязью Прокофьев с «Викерсом» на плечах подошел к авиабазе Муна. Здесь его остановили часовые:

— Кто вы?

— Старший лейтенант Прокофьев-Северский прибыл к месту прохождения дальнейшей службы...

— Прокофьев?! — воскликнул один из часовых. — Сын артиста Северского?! Герой на протезе?!

— Показать протез? — усмехнулся Александр, опуская на землю пулемет.

— Помилуйте, да ведь вас считали мертвым! Уже четыре дня, как...

— В самом деле? А я, видишь, как Лазарь четырехдневный, из мертвых восстал! Второй раз.

* * *

Люди нередко боятся неба, считая его опасным и жестоким. Так считала мачеха, противясь, чтобы муж и пасынки посвятили ему жизнь. Она и все другие просто

не знали, что бояться надо (если вообще стоит чего-либо бояться в жизни) земли, что земля куда более опасна и безжалостна...

Об этом размышлял Прокофьев, когда «братишки»-конвоиры, матерясь и дыша перегаром, гнали его, «контру», в свой «штаб» — для вынесения окончательного приговора. А в остановленном на середине Трансиба поезде обмирала от страха за него мать, которую вывез он из Петрограда...

Впрочем, спасибо «братишкам», что сразу на штыки не подняли, не пристрелили прямо на глазах у матери, у вагона, как генерала Репьева, заводчика Колокольцева и других... Знать, мандат Троцкого слегка охладил пыл борцов за революционную справедливость. Не то, чтобы персона Льва Давидыча вселяла страх в разбойную ватагу, плевавшую на всякую власть, но все-таки имени большевистского военмора хватало на то, чтобы заменить бессудную расправу на «законную» (по приговору заседавшего в «штабе» «трибунала»).

Еще при недолгой жизни бездарного Временного правительства Прокофьев получил приглашение в США. Воспользоваться им он не успел, да и не желал, считая долгом оставаться в строю, пока идет война. Но большевики войну закончили — фактическим поражением России. По Брест-Литовскому договору немцы получали огромные русские территории, и их войска бодро замаршировали по улицам Киева и Минска. Такого позора Империя не ведала в своей истории! Впрочем, Империи уже не было... Ее подло зарезали ножом в спину, когда она почти победила в единоборстве с открытым противником...

Балтийский флот также мог достаться немцам или — в лучшем случае — быть уничтожен. Но... капитан Щастный, последний командующий Балтийским флотом, не допустил этой беды и на свой страх и риск, торя путь сквозь льды ледоколом, увел эскадру к

берегам Петрограда. Троцкий капитану этого Ледового похода не простил. Щастный был расстрелян в июне того же, 1918 года, его обвинителем на т. н. «суде» выступал лично военмор.

Демобилизованный после подписания мира-капитуляции Прокофьев понимал, что в большевистской России ему оставаться нельзя, служить предателям и насильникам своей Родины он не мог. Отец и брат к тому времени уже покинули столицу, дабы бороться за Россию в рядах белых армий. Тут-то и вспомнил Александр о приглашении в США! Наудачу как раз в эту пору у большевиков стали портиться отношения с немцами, и они предприняли попытку наладить их со странами Антанты. В Вашингтоне как раз пустовало место помощника морского атташе по авиации... Троцкий подписал Прокофьеву разрешение на выезд вместе с матерью в США. Само собой, работать на советское представительство Александр не собирался, но это был единственный легальный способ покинуть страну и вывезти мать из голодного и погружающегося в пучину террора Петрограда.

Худо лишь, что террор отнюдь не ограничивался одною лишь столицей...

— Пшел!

Очередной удар в спину был столь силен, что Прокофьев едва удержался на ногах. Его втолкнули в грязную, залузганную, провонявшую сивухой, табаком и неведомо чем еще комнату, где за столом восседал пьяный здоровяк-матрос. Стол украшала изрядная и уже початая бутылка самогона... Это и был «штаб».

— Митрич! — рявкнул один из конвоиров. — Глянь-ка! Взяли тут одного буржуя, брешет, что летун и что мандат у него от Троцкого!

— Плевал я на Троцкого! — махнул волосатой лапой главарь и метко плюнул сквозь брешь в зубах в пепельницу, погасив тлеющий там остов папирасы.

— Шлепнуть?! — радостно уточнил конвоир, уже снимая с плеча винтовку.

— Погодь... — поморщился главарь. — Кажь сюды мандат. Посмотрим, что за фря.

И это русские матросы! Краса и гордость, судя по всему, родного Балтийского флота! Должно быть, знаменитые хитровские обитатели выглядят порядочнее!

— Прокофьев-Северский Александр Николаевич... — по складам прочитал, между тем, «судья». Внезапно багровое лицо его с бешено выпученными от хмеля глазами прояснело. — Постой, постой! — взглянул он на Александра. — Ты летун с Балтики? Тот, что с протезом летал?

— Да, это я, — отозвался Прокофьев.

— Вот же, едрить твою...! — выругался главарь, вставая. — Так это ж другое дело! Ну-ка кажь протез!

Делать было нечего, и Александр закатал штанину, демонстрируя свою деревяшку.

— Точно! Тот самый Прокофьев! — возрадовался отчего-то главарь, и в его зверином облике даже проступило что-то от прежнего человеческого облика. — Я матрос с эсминца «Быстрый»! Ты спас нам жизнь, когда сбил немецкий самолет. Он уже нацелился бомбить нас. Тебя уважали все матросы Кронштадта!

Надо же, он еще не забыл понятия «уважение»... Значит, что-то человеческое и впрямь осталось в этой беспутной душе...

— Братва, отпустите его! Он хоть буржуй, а нашинский! Жизнью я ему обязан!

Мать еще долго дрожала и принималась рыдать, не в силах успокоиться от пережитого ужаса, а Александр обнимал ее, заверяя, что больше ничего страшного не произойдет с ними в их путешествии. Сам он, впрочем, отнюдь не был в этом уверен. Путь через охваченную пламенем гражданской войны, погрязшую в терроре и

анархии Россию опаснее всякого полета! И как долгов был этот путь от столицы до Тихого океана! А на всем пути орудуют шайки головорезов, жаждущих крови буржуев... Добро, если просто пристрелят, а то ведь и запытают, как иных...

— Ох, Сашенька, может, лучше бы в Петрограде остались?

Кто его знает, что теперь лучше? Но сыну и брату белых офицеров оставаться в красном Петрограде равносильно самоубийству. Чуть раньше, чуть позже, а пустят «в распыл». Значит, не о чем и сокрушаться.

— Ты же сама всякий день боялась за меня в столице, от каждого стука в дверь вздрагивала...

Она и приехала-то в столицу — от страха за сына. Боясь, что его, как других офицеров, убьют, растерзают... Приехала — будто бы могла защитить! И этот страх ее вернул Александру мать. За недели, проведенные в большевистском Петрограде, она вновь сделалась для него родным и необходимым человеком. Да и не переставала быть! Просто за годы он успел немного забыть об этом, а теперь — вспомнил...

— И почему мы столько лет провели в разлуке? Кто в этом виноват...

— Никто не виноват, Сашенька, так судьба сложилась...

Судьба! Странная птица, траекторию полета которой не предсказать и не угадать...

— Пшел!

На этот раз перед ним были не матросы, а солдаты. До границы уже оставалось подать рукой, когда два разбойника в шинелях вошли в вагон «проверить документы». Походка вразвалку, морды небриты и наглы... И, конечно, сивухой разит за версту! Революционная «гвардия» — во всей красе! Кто такой Троцкий, эта шпана, почему-то командующая станцией, слухом не слыхивала. Надеяться встретить среди нее

земляка-балтийца тоже не приходилось... Мать пронзительно закричала и лишилась чувств. Броситься ей на помощь никто не посмел, а Прокофьева уже гнали к выходу:

— Шагай, контра! Трибунал разберется, какой там еще Троцкий!

В тамбуре солдаты оказались впереди Александра. Времени на размышления не было... Схватившись обеими руками за горизонтальную стойку наверху, он со всей силой ударил ногами в спину стоявшего ближе к нему солдата. Тот не удержал равновесия и повалился на своего товарища. «Принцип домино» сработал — мерзавцы, вереща и заходясь бранью, рухнули на платформу. Прокофьев быстро закрыл дверь — и вовремя! На выручку «патрульным» из здания станции уже бежали их товарищи и, не разбирая, что к чему, палили в поезд. Теперь бы старый-добрый «Викерс» в помощь! Нараз бы разбежалась эта банда! Но «Викерса» не было. Не было даже револьвера...

На счастье, машинист не стал дожидаться побоища и дал полный ход.

В вагоне перепуганные дамы приводили в чувство мать, давая ей нюхательные соли, прикладывая ко лбу смоченный водой платок...

— Ничего, мама, скоро все это кончится, скоро мы будем в безопасности, — ласково говорил Прокофьев, целуя ее руки.

— Мне кажется, ты никогда не будешь в безопасности, — слабо откликнулась мать.

— Твоими молитвами я в безопасности всегда! — улыбнулся Александр.

В этот раз его обещание исполнилось. Вскоре белоснежный лайнер отплыл от берегов Владивостока... Мерно плескались волны, разбиваясь о борта судна, и их мелодичный говор сливался с перекличкой чаек. Вот,

растаяли в тумане контуры прибрежных холмов, и с ними растворилась Россия. Надолго ли? Навсегда ли?..

Впереди, за океаном, лежала неведомая страна, с которой решила связать его судьба. Как-то сложится эта судьба на дальнем берегу, на чужом континенте?

* * *

9 мая 1945 года бывший рейхсмаршал Германии Герман Геринг, сдавшийся в плен американцам, был впервые доставлен на допрос. Его проводили генералы Спаак и Ванденберг. Однако, кроме них на допросе присутствовал какой-то майор — примерно одних с Герингом лет. Майор сперва молчал, а потом стал задавать вопросы, сразу обнаружившие знатока авиационного дела. Как ни прискорбны были обстоятельства, а не удержался от любопытства рейхсмаршал:

— Могу ли я узнать ваше имя?

— Александр Прокофьев-Северский.

Геринг удивленно приподнял бровь:

— Пойдите-пойдите, я, кажется что-то припоминаю... Не тот ли вы Прокофьев, о котором писали газеты в дни прошлой войны? Летчик на деревянной ноге?

— Да, это я.

Рейхсмаршал тяжело вздохнул. В ту войну и он был асом, героем Германской империи... И с этим одноногим Северским они вполне могли встречаться в воздухе...

— Да, много воды утекло с поры нашей молодости. 30 лет... 30 лет... Жаль, что мы встречаемся с вами при таких обстоятельствах!

Александр не спорил. Хотя ему в отличие от «толстого Германа», перед которым зримо маячила

петля или расстрел, никак не приходилось пенять на обстоятельства! Приехав в США нищим изгнанником, он сделался одной из влиятельных фигур рождающейся заокеанской Империи, одним из родоначальников ее авиации, крупным предпринимателем... Но самое главное — он смог реализовать свои самые безумные идеи, самые смелые проекты! И небо всегда оставалось открыто ему.

Америка не знала Александра Прокофьева, но узнала Александра де Северского. Еще в России чиновник, оформлявший ему документ на выезд, заявил, что двойная фамилия Прокофьев-Северский слишком длинна и не помещается в нужную графу.

— Давайте мы вас просто Северским запишем!

— Ну уж нет! Я дворянин!

Чиновник хмыкнул, но, подумав, нашел решение:

— Тогда мы вас де Северским запишем. Годится?

Звучало забавно, и Александр согласился.

Его путь в США начался с родной стези — летчика-испытателя и конструктора. Однажды на маневрах он познакомился с генералом Митчеллом, создателем американских стратегических ВВС. По протекции Митчелла не имевший гражданства русский летчик был назначен советником ВВС США при военном министре. Вскоре Александр основал собственную компанию «Северски Аэрокрафт Корпорэйтед», главным конструктором в которой стал его земляк-тифлисец авиаконструктор Александр Картвели. Наступили благодатные годы! Сконструированный Северским цельнометаллический трехместный моноплан-амфибия SEV-3 установил мировой рекорд скорости для амфибий, а истребитель «П-35» был признан лучшей разработкой на конкурсе ВВС США. Много, много было замечательных изобретений, новых, оригинальных моделей...

Все дело испортили назревавшая на европейском континенте война, большевики и... Картвели... После «П-35» Александр разработал истребитель сопровождения «П-43», но близорукая американская военщина сочла, что их высокоскоростные бомбардировщики обойдутся и без сопровождения! Близорукость руководителей всегда оплачивается жизнями подчиненных. Ее и оплатили — жизнями летчиков в дни войны...

Между тем, «П-43» закупила Япония, а следом явился и неожиданный покупатель — СССР. Северский продавать что-либо большевикам категорически не желал, а руководство США традиционно предпочитало принципам наличные... В это время был смещен с поста покровитель Александра Митчелл. Следом пришла очередь Северского. Совет директоров созданной им компании, его детища, сместил его с поста председателя и выбрал на освобожденное место — Картвели... Компанию переименовали, самолет большевикам продали. Попытки отстоять свои права через суд успехом не увенчались.

Впрочем, американцы не привыкли разбрасываться нужными людьми. Лишенный своей компании, Северский был привлечен военным ведомством в качестве консультанта. И наступая на горло своей ненависти к большевизму, Александр с началом войны призвал США помочь России, указав, что, хотя советская система преступна, но русский народ никогда не покорится иноземным захватчикам.

Кроме консультаций, он написал несколько книг. Одна из них, «Воздушная мощь — путь к победе», посвященная стратегии воздушной войны, была сразу же экранизирована студией Диснея. И, вот, теперь в качестве ведущего эксперта в области авиации его пригласили к участию в допросах Германа Геринга...

9 мая клонило к концу. Где-то далеко-далеко праздновала победу страна, в которую Александр не мог вернуться. Такая родная и такая бесконечно чужая... Россия... Или СССР? Почти тридцать лет назад большевики украли у России великую победу, до которой оставалось так немного! И русский народ принял это, соблазнившись правом на бесчестье, позволив ввергнуть себя в кровавый хаос междоусобицы. А теперь русские солдаты вошли в Берлин... Или советские? Теперь и не распутать этого. Русские солдаты в советских мундирах... Они победили... Но далеко-далеко отсюда, в красной Москве, продолжала сидеть преступная большевистская гидра, записавшая на свой счет победу русского солдата и этой победой лишь утвердившая свое иго.

Смутно было на душе у Северского. Радость окончанию войны и гордость за свой народ смешивалась в нем с горечью о судьбе этого народа и тоской по Родине, которую никогда не увидит ему вновь.

Вернувшись в гостиницу, он затворился в своем номере и, выпив рюмку водки, принялся за письмо жене... Послал же Бог в спутницы такую же окрыленную душу! Красавица, потомка знатнейшего семейства Нового Орлеана, Эвелин, как и Александр, влюбилась в небо. Втайне от него она стала учиться летать в одном из аэроклубов. Северский узнал об этом нечаянно. На удивленный вопрос, зачем она скрывала свои занятия, жена потупилась:

— Я боялась, что ты рассердишься.

Александр рассмеялся:

— Напротив, я счастлив, что мы с тобой из одной стаи! Я сам буду твоим инструктором!

Эвелин оказалась способной ученицей, установив несколько женских авиационных рекордов... Теперь они

нередко совершали совместные авиапрогулки на собственном самолете. Северский мечтал катать на нем и своих детей, но их Бог не дал. Пришлось катать собаку. Говорят, что четвероногие друзья перенимают привычки хозяев. Спаниель, получивший шутливую кличку «Водка», вполне оправдал это утверждение, оказавшись собакой с окрыленной душой! Он не боялся самолета, но счастливо повизгивал, когда его сажали в кабину, и обижался, если оставляли на земле...

— Геринг рассказывает много любопытного, но, признаюсь, у меня нет большой охоты слушать его, — писал Северский. — Надеюсь, что скоро я смогу вернуться домой и обнять тебя. Поцелуй за меня Водку! Люблю вас обоих.

Побег (Лавр Георгиевич Корнилов)

— Во время победоносного прорыва русского фронта в Карпатах пленен был один из лучших генералов русской армии генерал Корнилов. В короткое время генерал этот дважды пытался бежать из плена, и лишь благодаря наблюдательности стражи повторный побег не удался...

Санитар Францишек Мрняк вскинул голову и весь обратился в слух. Ему уже приводилось слышать имя русского генерала, чья дивизия, недаром прозванная «стальной», доблестно сражалась на австрийском фронте, а затем, прикрывая отступление основных сил Русской армии, попала в окружение...

Австрийский офицер, между тем, продолжал зачитывать приказ, для оглашения которого был собран весь личный состав госпиталя города Кессег:

— Генерал Корнилов теперь заболел и будет отправлен в здешнюю больницу на излечение. Военное командование видит в генерале Корнилове человека в высшей степени энергичного и твердого, решившегося на все, и убеждено, что он от замысла побега не откажется, болезнь же симулирует, чтобы легче было повторить попытку бегства. Бесспорно, что в случае побега в настоящее время враждебные державы нашли бы в нем серьезного, богатого военным опытом противника, который все свои способности и полученные в плену сведения использовал бы для блага России. Обязанность каждого этому воспрепятствовать! Высшее командование приказывает тайно, но строго охранять генерала Корнилова! Всякое сношение с ним

кого бы то ни было запретить, а в случае побега воспрепятствовать этому любой ценой!

Уже сам этот приказ свидетельствовал о том, что речь идет о совсем необычном узнике. Никто из пленных генералов не прославился попытками побега, не вызывал такую тревогу командования. Едва прозвучала команда «разойдись!», Мрняк поспешил отыскать Спиридона Цесарского, пленного русского фельдшера, работавшего в госпитале. От него Францишек еще прежде слышал, будто бы в России формируется Чехословацкая дружина из добровольцев — чехов и словаков. Это известие немало вдохновило Мрняка. Будучи патриотом своего народа и славянства, он ненавидел австрийцев, господствовавших на его родине, и всей душой жаждал сражаться против них. Чехословацкая дружина под водительством России открывала путь к исполнению этого давнего желания. Нужно было лишь добраться до России... Сбежать! Мысль о побеге и поступлении на службу в дружину стала для Мрняка навязчивой идеей. День за днем продумывал он пути и способы, как с наименьшим риском пересечь линию фронта. И вдруг этот русский генерал с «синдромом беглеца»! Еще не видя, не зная Корнилова, Францишек почувствовал в нем единомышленника и единовеца, человека, которому уже сейчас, не достигая России, он готов был служить во имя общей славянской победы!

— Цесарский, верно ли все то, что говорят австрийцы о Корнилове? — взволнованно спросил чех фельдшера.

Спиридон лукаво ухмыльнулся в усы:

— А что тебя интересует?

— Все!

— Все! — рассмеялся Цесарский. — Всего, брат, не расскажешь! Скажу только, что Лавр Георгиевич — всем генералам генерал. Нашинский, солдатский

генерал. Солдата всегда берег, а себя ни разу не жалел. Бывалочи, ночь, все, кроме дозорных, спят, только в его землянке коптилка светится, и сам он один-одинешенек над картой сидит. Когда сам спал, неведомо. По два-три часа разве... В бою всегда на самых опасных участках. Ему адъютанты его: мол, убьют, ваше превосходительство! А он отмахнется только, да под пулями неприятеля в бинокль изучает. Кismet! — да и весь разговор!

— Что?

— Да это на арабском, стало быть, наречии... Судьба по-ихнему! Кому суждено быть повешенному, тот не потонет. Австрияки про генерала всю правду сказали. Опасный он для них враг, недаром они его боятся. Удивляюсь, что позволили его к нам в госпиталь перевести. Знать, Красного Креста убоялись. Чай, не простой заключенный, генерал! Уморишь — не оправдаешься.

— Цесарский, братец, а можно ли мне будет увидеть этого вашего героя?

Спиридон внимательно посмотрел на Мрняка, прищурился:

— А ты, я чаю, мысли-то своей о дружине не оставил?

— Не оставил, Цесарский. Я хочу добраться до России и служить в этой дружине!

— Бог владеет смелым! — пожал плечами фельдшер. — Стало быть, компаньона ты себе уже наметил?..

Чех промолчал и отвел глаза. Цесарский помолчал также, затем сказал негромко:

— Лечить его будет доктор Гутковский, у которого мы с Мартьяновым в помощниках. Гутковский человек наш. Я думаю, он не откажется устроить вашу встречу.

Францишек просиял и с жаром пожал руку фельдшера:

— Спасибо, Цесарский! Спасибо!

— Ты не сияй только елкой рождественской, а то, пожалуй, австрияки отошлют тебя от греха.

Прошло несколько дней, и доктор Гутковский с невозмутимым видом провел Мрняка в комнату, отведенную Корнилову. Смежную с ней занимал... Цесарский, к чьим обязанностям санитара добавилась служба денщиком при пленном генерале.

Глазам Францишека предстал невысокого роста, очень сухой человек с выраженным монгольским типом лица, также очень худого. Внешне генерала вполне можно было принять за больного, но узкие глаза смотрели с живостью и подозрительным вниманием.

— Садитесь! — прозвучал негромкий, глуховатый голос.

Мрняк послушно опустился на стул против кровати Корнилова. Тот принял оставленный доктором порошок и произнес:

— До меня дошел слух, что вы слишком заметно интересуетесь моею особой и участью. Советую вам вовремя это оставить. Иначе вы будете иметь крупные неприятности. Я знаю австрийские законы и знаю, что вас ожидает. Будьте поэтому осторожны и не подвергайте себя опасности.

Эти слова были столь неожиданны, что Францишек растерялся. Он ожидал, что генерал, ищущий возможности бежать, тотчас попытается завербовать его в ряды своих помощников. Опомившись, Мрняк ответил:

— Ваше превосходительство, я также знаю законы и свою участь, поэтому действую совершенно осознанно. Мои расспросы не имели иной цели, кроме как помочь вам в побеге, и я буду счастлив, если смогу быть вам в этом полезен.

— Откуда такое самопожертвование?

— Я чех, ваше превосходительство. Наш народ ненавидит Австрию, и я не исключение. Я хочу сражаться за свободу моего Отечества. И вам я готов помогать при любых условиях, поскольку уверен, что мой поступок будет одобрен всеми сознательными чехами.

Смуглое лицо генерала просветлело. Видно было, что ответ добровольного помощника пришелся ему по сердцу.

— Я с удовольствием принимаю ваше предложение, — прозвучал ответ. — Вам будет благодарна не только Россия, но и все славянство!

* * *

Славным и искренним малым оказался приведенный Гутковским чех... Лавр Георгиевич задумчиво мерил шагами комнату. С той поры, как раны его затянулись, он не находил себе места. Плен ощущался им, как позор. И то, что его дивизия геройски билась до последнего часа, что сам не поднял белого флага, но был захвачен в бою, раненым, не облегчало невыносимости двух слов: разгром и позор. Преодолеть это изводящее чувство можно было, лишь снова оказавшись на своем месте — на фронте, лишь расквитавшись с противником за гибель своей дивизии. Но для этого нужно было вырваться из плена! Бездействие — вот, положение, которое было решительно нестерпимым для кипучей и деятельной натуры Корнилова. Тут и впрямь до нервного расстройства дойдешь, и симулировать будет не нужно...

Дважды он пытался бежать из плена, но дело затрудняли постоянные переводы из одной тюрьмы в

другую. Боялись австрийцы сколь-либо долго держать опасного пленника на одном месте. В последнем своем «узилище» подговорил Лавр Георгиевич бежать своего сокамерника и старинного знакомца генерала Мартынова. Тот вовсе не стремился к риску и ничего не имел против того, чтобы пролежать на нарах до конца войны, пользуясь послаблениями режима за примерное поведение. Но напор Корнилова сломил его, и благодаря тем самым послаблениям удалось раздобыть штатскую одежду... На том все и закончилось. Австрийцы оказались бдительными бестиями и пресекли дело на корню. Мартынов же так перепугался перевода на более строгий режим, что разговаривать с ним сделалось просто бессмысленно.

Оставалось последнее: испытать проверенный метод всех беглецов — перевестись в лазарет. В лазаретах режим всегда мягче, а охрана хуже. Именно поэтому бывалые заключенные бегут именно из лазаретов, предварительно симулировав какой-нибудь недуг. Корнилов симулировал нервное расстройство и получил перевод в Кессег. Перевод оказался весьма удачным, в госпитале Лавр Георгиевич тотчас обрел помощников в лице санитаров Цесарского и Мартянова, а также доктора Гутковского. У всех этих троих был, однако, недостаток. Они были такими же пленниками, пусть и при должностях. Чех-доброволец — дело совсем иное! Он — человек вольный, ему открыты все двери, а, значит, ему куда сподручнее подготовить все необходимое для побега!

На другой день Мрняк снова явился к Корнилову, и Лавр Георгиевич, отбросив секретность, расстелил перед ним свое умело таимое сокровище — подробную карту Австро-Венгрии:

— Смотрите, Францишек. Румыния вот-вот вступит в войну с австрийцами, но австрийские войска еще не заняли приграничную полосу Венгрии с Румынией. Мы

должны воспользоваться этим. Поэтому, — он провел пальцем по намеченному маршруту, — вот, наш путь. Через Сомбатхель, Раб и Будапешт до Карансебеша поездом, оттуда через границу в Румынию пешком. Это единственный путь, по которому можно легче всего проскользнуть, но это должно произойти до августа. Время не терпит!

— Нам понадобятся документы и одежда...

— И оружие. Компас, карта, электрический фонарь — все это у меня уже есть, так что ориентироваться на местности мы сможем. Документы — сможете ли вы раздобыть их?

— Думаю, что да, — кивнул чех. — Я уже думал об этом. Я смогу раздобыть все, но...

— Но? — нахмурился Корнилов.

Юное лицо Францишека порозовело от смущения.

— Ваше превосходительство... — запинаясь, начал он. — Я... Дело в том, что у меня есть лишь 180 крон...

Лавр Георгиевич облегченно вздохнул:

— Если это единственная трудность, то она решаема, — с этими словами он вручил чеху 300 крон, исправно сэкономленных с получаемого содержания. — Этого довольно?

— О, вполне, ваше превосходительство! — детски-счастливо просиял Мрняк, принимая деньги. — Будьте уверены, я исполню все в самые кратчайшие сроки!

— Я верю вам, — кивнул Корнилов. — Впредь все сообщения передавайте через Цесарского или Мартьянова. Нам не нужно больше видеться с вами, чтобы не вызывать подозрений.

Старт был положен. Будет ли он удачным в этот раз? Бог любит троицу, — часто говаривал отец. Этот побег будет третьим... И он должен удалиться! Ведь прежде удавалось Лавру Георгиевичу обманывать бдительность афганцев, китайцев, англичан... Ужели не

справится с австрийцами? Ну уж нет, он и их сумеет провести, просочиться через все кордоны.

Сон не шел в распаленную мыслями о грядущем побеге голову. Вперив острый взгляд в темноту, снова и снова представлял себе Корнилов весь предстоящий путь, все возможные препятствия, продумывая, как обойти их, что отвечать на вопросы, как держать себя. Да не забыто ли что-нибудь в инструкциях Мрняку? Да не нужно ли что-то еще в этом отнюдь не увеселительном путешествии?

Русские пленники бежали от немцев и австрийцев не столь уж редко. Но были это преимущественно солдаты. Их положение в плену было незавидным. Русское правительство явно недостаточно заботилось об их судьбе, если сравнивать с той заботой, какую проявляли к своим узникам англичане и французы. Посему русских не только использовали на тяжелых работах, но, случалось, и подвергали пыткам. Например, за то, что они отказывались рыть окопы и строить укрепления на линии фронта — стало быть, против своих. От такой собачьей жизни побежишь! Впрочем, чаще бежали не из отдаленных от фронта тюрем и лагерей, бежали «свежезахваченные», те, кого не успели еще перегнать вглубь вражеских территорий...

Старшим же офицерам в плену жилось сравнительно неплохо, потому и не стремились они бежать, как тот же Мартынов... Злость охватывала Корнилова при мысли об этих сыто-равнодушных пленниках! Неужто не требовала от них их офицерская честь во что бы то ни стало вернуться на свои позиции, в свои полки? Защищать вновь окровавленное Отечество? Как можно было спокойно есть паек, спать, почитывать австрийские газеты да взятые в библиотеке книги, степенно прогуливаться и вести светские беседы, когда Россия продолжала сражаться? Не

понимал, не мог вместить этого Корнилов. И от того приходил в раздражение.

Раздражали и газеты, наперебой сообщавшие о конфликтах между государственной думой и Царем. С каким бы удовольствием перевешал Лавр Георгиевич всех этих Милюковых, Гучковых и прочих праздноболтающих тыловых забияк! А Государь отчего-то предпочитал не замечать их возмутительных в военное время выходок... Черт знает, что такое поделалось в России. Война идет, а болтуны митингуют. Война идет, а пленные генералы мирно читают об этой болтовне во вражеских газетах, не ища возможности вернуться к исполнению своего долга...

А, вот, солдаты бежали. И в этом един был с ними Корнилов. Сын простого казака и неграмотной казашки, своим умом прошедший все ступени военной науки в теории и практике, он, став генералом, все же остался тем, кем был рожден — простым русским казаком, твердо знающим такие понятия, как родина, долг и служба. Жить — Родине служить, — эту присказку тоже отец любил повторять. С младенчества запала она в душу и сидела в ней не требующей доказательств формулой. Так и жил Лавр Георгиевич уже пятый десяток лет. И иной жизни не знал и не желал. А другим, знать, формулу нехитрую уже доказывать надо...

* * *

Документы были добыты самым простым из возможных способов. Францишек купил в солдатском магазине два отпускных бланка, в обеденный перерыв проник в кабинет начальника госпиталя доктора Клейна и поставил на них гербовую печать. Подпись Клейна он

также сумел подделать весьма искусно. Красными чернилами Мрняк нанес надпись о бесплатном проезде до Карансебеша и обратно. Бланки были заполнены им на имена рядовых Штефана Латковича и Иштвана Немета. Решив задачу самую трудную, чех отправился в город, где купил два поношенных штатских костюма, два ранца, бинокль и револьвер.

Побег был назначен на 29 июля. Доктор Гутковский заблаговременно добился от начальства отмены ежечасного осмотра «больного» санитаром, мотивировав это необходимостью полного покоя для пациента, чье состояние и без того крайне неудовлетворительно. Начальство перестало «раздражать больного», но усилила внешнюю охрану. Караул располагался прямо напротив единственного окна в комнату Корнилова. Однако, ничего любопытного там охрана заметить не могла, так как Лавр Георгиевич усиленно симулировал тяжелое состояние и почти не поднимался с постели.

Никто не заметил, как утром 29 числа постель вместо генерала занял его денщик Цесарский, которого для вида продолжил навещать доктор Гутковский. Корнилов же, с перевязанной бинтами головой и одетый в форму Цесарского, выпрыгнул из окна уборной и направился в аптеку, где ожидали его Мартьянов и Францишек.

— Переодевайтесь скорее, ваше превосходительство! Я проверю, не заметил ли вас кто! — сказал Мрняк и быстро выбежал наружу.

Двор, как и всегда в обеденный час, был тих и безлюден. Никто ничего не заметил.

Вернувшись, чех застал Лавра Георгиевича уже переодетым в форму австрийского солдата. Оставалось сколь возможно изменить его примечательную внешность. Отправив Мартьянова в дозор, Францишек принялся за дело. Усы генерала были коротко

подстрижены, на щеке выжжена родинка, узкие глаза надежно скрыты темными очками. Трубка в зубах довершила образ бравого рядового австрийской армии.

Когда Мартьянов подал условленный знак, извещавший, что путь свободен, Мрняк запер аптеку и вместе с генералом быстрым шагом двинулся к воротам госпиталя. Два австрийских солдата ни у кого не вызвали подозрения, и, когда ворота остались позади, они со всех ног помчались к вокзалу — времени до отправления их поезда оставалось в обрез.

Поезд уже подходил к станции, когда два запыхавшихся беглеца показались на платформе. Они успели заверить в кассе свои отпуска и благополучно разместились в вагоне.

— Прощай, Кессег! — счастливо прошептал чех.

Из-под черных очков на него взглянули строгие генеральские глаза:

— Не спешите радоваться, до Румынии еще очень далеко.

С этими словами Корнилов скрылся за развернутой газетой. Францишек последовал его примеру, сделав вид, будто погружен в чтение прессы. Сердце его однако трепетало от восторга и волнения. Глаза бессмысленно скользили по газетным строкам, а перед глазами, как в калейдоскопе, мелькали все действия последних дней, а особенно нынешнего лихорадочного утра... Вот, они совещаются в аптеке с Цесарским и Мартьяновым... Вот, он укладывает в ранцы последние вещи, внимательно проверяя, не забыто ли что-нибудь... Документы... Револьвер... Вот, пишет последние скупые строки отцу: «Дорогой отец! Прощай! Я уезжаю в Россию вместе с генералом Корниловым, чтобы сражаться за свободу нашего Отечества! Знаю, ты поймешь и поддержишь меня. Поцелуй маму. Францишек».

И вдруг оборвалось сердце, и разом почернело в глазах. Письмо! Это проклятое письмо он положил в конверт, запечатал и... Руки судорожно зашарили в карманах в последней отчаянной надежде. Он ведь хотел бросить этот конверт в почтовый ящик на станции Карансебеш, не раньше...

Холодный пот проступил на лбу...

— Вот он! — вспыхнул в памяти полусшепот-полукрик Мартьянова.

А вслед затем бегущая через пустой двор фигура Корнилова...

Он забыл о письме в тот момент! Оставил его у себя на столе! Оставил такую улику! Напрасно теперь самопожертвование Гутковского, его визиты к лже-генералу не продлятся сколь-либо долго. А что если письмо уже нашли? Что если их уже ищут? И все из-за его, Францишека, глупости!

Он поднял глаза на сидевшего напротив Лавра Георгиевича, но его лицо было надежно скрыто газетой... Сказать ли ему?.. А что если все обойдется? Что если письмо не найдут сразу? Просто не обратят внимание? Честнее было сказать все, как есть, Мрняк это понимал. Но... Не хватало духу, не поворачивался прилипший к гортани язык признаться в своей роковой, быть может, оплошности! Ведь все шло так хорошо...

— Поезд прибывает на станцию Раб.

Газета быстро свернулась.

— Идемте, друг мой. Перекусим что-нибудь, пока будем ждать поезд на Будапешт!

Проклиная себя самыми последними словами и моля Бога, чтобы его проступок не стал роковым для генерала, Францишек последовал за Корниловым. От недавнего восторга не осталось ни следа, вместо него прописалась в груди все подавляющая тревога.

— Францишек! Какими судьбами? Вот уж не даром говорят, что мир тесен! — молодой светловолосый человек в австрийской форме с самым радушным видом устремился к столику, за которым сидели Корнилов и Мрняк.

Черт бы подрал такую тесноту... Надо же было в этой захудалой привокзальной ресторации нарваться на знакомца. Бросив быстрый взгляд на чеха, Лавр Георгиевич шепнул:

— Мы с вами не знакомы!

Мрняк поднялся и устремился навстречу приятелю:

— Рад видеть тебя, Алоис! Я думал ты на фронте!

— Только что оттуда! — широко и простодушно улыбнулся австриец. — Еду в отпуск! А ты что же? Разве ты больше не служишь в госпитале?

— Конечно же служу, — отвечал Францишек, приглашая приятеля за соседний с Корниловым столик. Теперь они сидели друг напротив друга, а не ко времени случившийся австриец — между ними, спиной к Лавру Георгиевичу, коего не мог видеть. Корнилов мысленно одобрил догадливость чеха и посмотрел на часы. До отхода поезда был еще без малого час...

Мрняк заказал две кружки пива и с самым бодрым видом поднял свою:

— За встречу, дружище!

— За встречу! — подхватил тот.

Отхлебнув горького напитка, Францишек с заговорщицким видом подмигнул приятелю:

— Я, Алоис, также в отпуске...

— Но твоя семья...

— Да-да, они живут совсем в другой стороне, и я еду не к ним.

— К кому же? — лукаво прищурился австриец, изобразив догадливую иронию на румянном лице.

— Видишь ли, в Будапеште живет одна девушка...

— Ясно! — Алоис хлопнул чеха по плечу. — Дела любовные! Я так и знал! Поздравляю, дружище! Я всегда знал, что ты парень не промах!

И еще какой! — усмехнулся про себя Корнилов, заказав чашку довольно гнусного, как и все заведение, кофе. Молодец, очень убедительно разыгрывает спешащего на свидание любовника.

— Что же? У тебя серьезные намерения или..?

— Отстань, Алоис, я и сам пока не знаю. Мы знакомы не так давно. И прошу тебя, дружище, никому ни слова об этом! Я не хочу пока, чтобы кто-нибудь знал...

— Да полно тебе! Чего тут стесняться? Или, прости, у твоей дамы случайно есть муж? Может быть, он теперь на фронте, а его жена решила развлечься?

— Прекрати, прошу тебя! — гнев у Францишека вышел очень убедительно. — У нее нет мужа. Просто я не хочу... разговоров! Вопросов вроде твоих, любопытных взглядов, намеков и прочего!

— Ого, какое целомудрие! — рассмеялся австриец. — Не всякий день такое встретишь! Ладно, не сердись. Я сохраню твою тайну. Но с одним условием!

— С каким еще условием?

— Ты пригласишь меня на свадьбу! — захохотал Алоис, снова хлопая чеха по плечу могучей дланью. — А если родится сын, назовешь Алоис!

— А если дочь? — усмехнулся Мрняк.

— Тогда Алоиза! — пожал плечами австриец. — Однако, дружище, мой поезд! — молодой человек спешно допил пиво. — Удачи тебе с твоей красоткой! Она ведь красотка, не так ли? Другую бы ты не выбрал, уж я тебя знаю! Счастья вам обоим!

— И тебе счастья, Алоис! И доброго пути!

На прощание приятели крепко обнялись, и австриец поспешил на поезд. Францишек вопросительно взглянул на Корнилова, и тот сделал ему знак сесть на прежнее место за их столик. Мрняк со вздохом облегчения опустился напротив Лавра Георгиевича.

— Это Алоис Домносил, он раньше служил в нашем госпитале...

— Ваш приятель, судя по всему, славный малый, — отозвался Корнилов, раскуривая трубку. — Но лучше бы нам больше не встречать ни друзей, ни братьев, ни кумовьев.

Поезд на Будапешт пришел без задержек, и следующая часть пути прошла без приключений. В столицу Венгрии беглецы прибыли ночью. Францишек тотчас справился, когда отходит первый поезд в Карансебеш.

— Только в шесть утра! — сообщил понуро, тревожно озираясь по сторонам.

— Не оглядывайтесь так затравлено, вы привлечете внимание, — сказал Корнилов. — До шести часов не так уж много времени...

— Да, но после полуночи находиться на вокзале запрещено!

— Черт побери... Это уже хуже, — нахмурился Лавр Георгиевич.

— Нам нужно подумать о ночлеге. Может быть, отправимся в гостиницу?

— С нашими-то «документами»?

— Вы правы, слишком опасно...

— А на улице еще опаснее, первый же патруль нас остановит и препроводит, куда следует.

— Значит, выход один. Остаться здесь и ночевать в помещении для солдат... — развел руками Мрняк.

— Прекрасное место! Там мы будем под защитой военной полиции и, значит, вне подозрений, — тонко

улыбнулся Корнилов. — Идемте же, друг мой, устраиваться!

Солдатская ночлежка была заполнена до отказа, и для новых постояльцев нашлась лишь одна постель. Но что за важность? На войне, как на войне! И в худших условиях приводилось ночевать, куда худших... Утомительный и полный тревог день мгновенно поверг обоих беглецов в сон. И в эту ночь не виделись Лавру Георгиевичу ни Кессег, ни истребительные бои в карпатских горах, ни австрийские патрули. Ему снился совсем иной край, край его молодости и приключений, рядом с которыми меркло нынешнее опасное путешествие.

...Непреступной цитаделью возвышается на берегу Аму-Дарьи, у выхода из ущелья Гинду-Куш крепость Дейдади, построенная англичанами в Афганистане для защиты своих индийских владений на дальних подступах. Бдительны афганцы, и страшной смертью грозит русским разведчикам попытка узнать план укреплений крепости, а потому таковых не существует, и этот факт немало огорчает генерала Ионова, начальника 4-й Туркестанской линейной бригады и крупного исследователя Центральной Азии...

Капитан Корнилов немедленно загорелся желанием добыть план крепости. Конечно, никто и никогда не разрешил бы ему такой риск, поэтому пришлось пойти на обман. Получив трехдневный отпуск, он направился к знакомым туркменам, язык которых знал, как родной, а потому имел возможность сойтись с ними довольно коротко.

— А не расскажите ли вы мне, что делается теперь в Дейдади? — спросил как бы между прочим.

— Поезжай сам и посмотри, что там делается, — с лукавой улыбкой отозвался один из туркменов.

— Меня некому вести на том берегу, но я бы поехал, если бы нашлись проводники.

— Таксыр, я поведу тебя, если ты поедешь. Но ты обещаешь нам, что не отдашься живым, если попадешь в плен. Будет неудача — мы все примем страшную смерть!

— Последняя пуля будет мне. Люди вашего народа не возьмут меня живым, — пообещал капитан.

Обрив голову и усы, надев афганский полосатый халат, Лавр Георгиевич вместе с проводниками-туркменами ночью переправились через Аму-Дарью и на рассвете, передохнув на постоялом дворе, достиг крепости. Внезапно из солнечного марева и клубов пыли явился всадник, и капитан успел услышать тревожный шепот одного из проводников:

— Осторожно! Это офицер из охраны Дейдади!

— Кто вы и куда едете? — сурово спросил всадник.

Корнилов по восточному обычаю сложил руки и низко поклонился:

— Великий Абдурахман, эмир Афганистана, собирает всадников в конный полк. Я еду к нему на службу.

— Да будет благословенно имя Абдурахмана! — воскликнул афганец и уехал.

Как мало понадобилось, чтобы провести бдительность стража! Капитан хладнокровно подъехал к крепости, отмечая каждую деталь, сделал пять фотоснимков, произвел съемку двух дорог, ведущих к российской границе и, проехав среди бела дня 50 верст по неприятельской территории, переправился обратно на свой берег. И об этой-то крепости сложили столько легенд о ее неприступности! От того лишь и была она столь неприступна, что никто не набрался мужества приступить...

— Голубчик, вас же могли посадить на кол афганцы! — восклицает генерал Ионов, заключая в объятия Корнилова и не веря своим глазам, которым

предстал не только фотоотчет, но и подробный доклад с описанием Дейдади.

— Я знал, на что шел, ваше превосходительство, но зато вы получили необходимые вам сведения! — следует невозмутимый ответ.

С той поры началась многолетняя разведывательная и исследовательская деятельность Корнилова на востоке. Здесь непримиримо сталкивались интересы двух великих держав — России и Англии. И работа Лавра Георгиевича сделала его отнюдь не последней пешкой в Большой Игре... Афганистан, Индия, Китай, Персия... Корнилову, знавшему восточные языки не хуже европейских, понимавшему традиции и быт восточных народов, легко удавалось налаживать контакты с местным населением и добывать сведения, за которыми тщетно охотились другие разведки... Шведские и британские географы упорно изучали территорию Кашгарии (Восточного Туркестана), считавшейся древней, таинственной и почти неисследованной страной, и их находки производили сенсации в научном мире. А в то же самое время русский капитан всего лишь с двумя помощниками без привлечения внимания также изучал этот загадочный край, встречался с китайскими чиновниками и предпринимателями, налаживал агентурную сеть. 18 месяцев путешествовал он по Кашгарии, районам Тянь-Шаня, вдоль границ Ферганы, Семиречья, Индии и Тибета... Все это время на пятки ему наступала британская разведка, встревоженная русской экспедицией и стремившаяся следить за ее действиями. По итогам этого путешествия Лавр Георгиевич написал книгу «Кашгария или Восточный Туркестан», имевшую большой успех в научных кругах. Несколько лет спустя англичане довольно бесцеремонно позаимствовали планы городов и укреплений, опубликованные в этом издании, для своего «Военного отчета по Кашгарии»...

Знать, своим картографическим материалом осторожные островитяне так и не обзавелись...

— Ваше превосходительство, просыпайтесь! Поезд скоро придет!

Корнилов мгновенно открыл глаза и поднялся, точно и не спал вовсе.

— Вы бы меня еще по имени-отчеству назвали... Иштван...

— Простите, ва... Штефан... Нас ждет завтрак. Солдатам он здесь полагается бесплатно.

— А, вот, это весьма кстати, друг мой! Идемте, подкрепим наши силы!

* * *

Всю дорогу Францишек со страхом всматривался в попутные военные посты, ему повсюду мерещилась погоня. Когда на станции в Карансебеше он увидел скопление военных полицейских, тотчас окруживших прибывший состав и взявшихся за проверку документов, сердце Мрняка упало. Ну, вот, и все! Его записка найдена, их с генералом ищут! Может, и Алоис уже разболтал кому-нибудь о встрече в Рабе? Сейчас их арестуют, и тогда все погубло!

— Пройдемте в комендатуру! — это грозное требование прозвучало почти приговором.

Францишек затравлено покосился на генерала. Тот с самым невозмутимым видом, попыхивая трубкой, направился за полицейским. Чех уныло поплелся следом, укоряя себя, что струсил открыть Корнилову правду о своем непростительном промахе.

В комендатуре тучный полицейских чин лениво, изучив документы беглецов, принялся задавать им вопросы о положении австро-венгерских войск. Что-что,

а это Лавр Георгиевич знал отлично. И на немецком языке говорил, как на родном. А потому отвечал легко, быстро, четко, немного грубовато, как и положено бывалому бравому солдату. Когда полицейский вручил генералу его документы, от сердца Мрняка отлегло: значит, не так плоха была его подделка, коли не вызвала подозрений при такой проверке! Ободренный, он также легко ответил на заданные вопросы и был отпущен с миром.

Из комендатуры чех вышел с ощущением свершившегося чуда.

— Сам Бог помогает нам, ва... Штефан!

— Мы еще не в Румынии, Иштван. Поторопимся. Чем быстрее мы покинем город, тем лучше. У меня такое чувство, что мы идем по горящему мосту, пролеты которого осыпаются в пропасть прямо за нами.

Аналогия была вполне точной. Огонь уже облизывал беглецам спины, и от этого бросало в жар. Покинув город, они устремились к горной гряде, достигнув которой, решились передохнуть под сенью леса.

— Пора нам сменить наше платье, — сказал генерал, раздеваясь. — Вот, только костюмы, голубчик, вы взяли явно не для этой местности...

Францишек огляделся. На горных склонах располагались бедные венгерские деревеньки, и крестьянская одежда разительно контрастировала с городскими костюмами, купленными в Кессеге. В таком наряде на люди здесь и показаться нельзя, немедленно заметят, как подозрительных, и донесут...

— Полно, друг мой, — успокоил Корнилов, пряча в карман пиджака очки, и вооружаясь компасом и картой. До границы порядка тридцати часов хода. Пойдем через лес, подальше от людей. Надо лишь соблюдать осторожность. В приграничной полосе всегда много секретов и караулов. Идемте! Мы уже близки к цели!

— Гар бар сари нафси худ амири, марди,
Бар куру кар ар нукта нагири, марди,
Марди на бувад, ки фитодаро пой задан.
Гар дасти фитодае бигири, марди.

Незнакомое, вязью сплетающееся наречие, хотя и непонятно, но сладко звучало для музыкального слуха.

— Это Хаям?

— Нет, Саади.

— А как это будет по-русски?

— В себе ты прихоть подавляй, и будешь человеком,
Слепых, калек не оскорбляй, и будешь человеком,
Тот просто нелюдь, кто на грудь упавшему наступит.
Нет, ты упавших поднимай, и будешь человеком.

Он знал неисчислимое множество стихов персидских поэтов, этот удивительный русский генерал. После четырех дней кружений по лесу, голодный и изнемогший, он лежал теперь на земле и, вперив взгляд в темноту, по памяти читал Хаяма, Саади, Фирдоуси... Читал на языке оригинала и тут же переводил.

— Пришла пора, чтоб истинный мудрец
О разуме поведал наконец.
Яви нам слово, восхваляя разум,
И поучай людей своим рассказом.
Из всех даров что разума ценней?
Хвала ему — всех добрых дел сильней.
Венец, краса всего живого — разум,
Признай, что бытия основа — разум.
Он — твой вожатый, он — в людских сердцах,
Он с нами на земле и в небесах.
От разума — печаль и наслажденье,
От разума — величье и паденье.
Для человека с чистою душой
Без разума нет радости земной.

«Шахнаме», великая поэма великого Фирдоуси, о котором Францишек прежде даже не слышал... Чудо, как хорошо! Одно худо: голода эти прекрасные строки ничуть не укрощают, а голод в свою очередь нестерпим настолько, что гонит прочь единственное облегчение — сон...

— Лавр Георгиевич, я завтра в деревню пойду.

— Это слишком опасно!

— Но иначе мы умрем с голоду...

— Человек вынослив и может выдержать без еды до 30 дней... Сразу видно, друг мой, что вы не бывали в степи отчаяния!

— Степь отчаяния? Что это?

— Жаркая пустыня, до недавнего времени изображаемая на картах Ирана белым пятном с надписью «неисследованные земли». Когда-то наши разведчики под моим началом стали первыми людьми, сумевшими преодолеть ее. Сотни верст бесконечных песков, ветра, обжигающих солнечных лучей, пустыня,

где почти невозможно найти воду... Все путешественники, пытавшиеся прежде изучить этот опасный район, погибали от нестерпимой жары, голода и жажды. Даже английские исследователи обходили степь отчаяния стороной. А мы, Францишек, не только прошли этот путь, но еще и привезли с собой изрядный географический, этнографический и военный материал! Не сомневайтесь, лес отчаяния мы с вами преодолеем также. Пусть и не так скоро, как рассчитывали. Эх, если бы я, растяпа, не потерял компас...

Компас был утерян в лесу уже в первый день пути, и это нарушило все планы, ибо карта становится нема в лесной чаще, если к ней не приложен верный компас, а сам лес в таком случае обращается заколдованным лабиринтом, из которого нет выхода.

День за днем плутали беглецы по чаще, раз за разом возвращаясь к местам своих прежних стоянок. Идти в деревню и спрашивать дорогу — значит, выдать себя. Но без указаний лабиринт казался все более безвыходным.

Всего хуже, что уже утром второго дня были доедены скудные припасы, и с той поры пропитанием путников сделались лишь дары леса — ягоды, орехи... Но возможно ли насытиться подобной снедью? Силы неумолимо таяли, и Францишек чувствовал, что его выносливости точно не достанет на 30 дней. В конце концов, так ли опасно зайти в одинокую корчму и купить немного сыра и черного хлеба? Неужели ее хозяева окажутся столь бдительны, что тотчас донесут о странном покупателе? К тому же не в каждой деревне стоят военные (здесь, поблизости не заметил их Мрняк), так неужто поспешит за ними корчмарь? А если поспешит, то кто будет охранять «лазутчика»? Другие крестьяне? Может случиться и так... Крестьяне бедны, а за пойманного «лазутчика» их наградят... Но, возможно, они все-таки не обратят внимание на истрепанный в

лесных брожениях городской костюм?.. Или предпочтут не обратить? Ведь не австрияки же они, а венгры, такой же порабощенный империей народ...

— Быть может, выход мы найдем с тобой, —

Есть избавление от беды любой.

— Фирдоуси?

— Угадали!

— Хорошо бы он оказался прав...

— Фирдоуси и Хаям правы всегда. Потерпите, друг мой, мы обязательно найдем выход из этой треклятой чащобы!

Генерал задремал, а Францишек так и не смог сомкнуть глаз. С рассветом он осторожно поднялся, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Лавра Георгиевича, и, положив в карман револьвер, направился в сторону маленькой горной деревеньки, где у дороги им еще накануне вечером был примечен приветливый деревянный домик с вывеской «Корчма Барловица».

* * *

...Яркое солнце заливает плац, ровные шеренги китайских войск проходят церемониальным маршем перед взором «посланника Богдыхана». Ладно идут! Словно и не люди, а единая машина, сбоек не знающая. Недаром этот отряд англичане обучали по европейскому образцу, а китайцы так тщательно скрывали от сторонних глаз! А теперь их офицеры наперебой докладывали «посланнику сына неба» все, что так желала узнать русская разведка... И не так много потребовалась, чтобы этим посланником стать. Всего лишь надеть пышный китайский балахон, покрыть голову шапочкой с шишечками мандаринов и

приехать в город, где дислоцировался загадочный отряд, титулуя себя соответствующим образом. Документов в этих краях спрашивать еще не научились.

Это китайское приключение было последним ярким эпизодом разведывательной деятельности Корнилова. Ему предшествовало много иных, на основании которых какой-нибудь Майн Рид или Киплинг вполне могли бы сочинить не один захватывающий роман... Персию с ее степью отчаяния сменила Индия. Бомбей, Дели, Пешавар, Агра... Лавр Георгиевич наблюдал за британскими военными, анализировал состояние колониальных войск. «Отчет о поездке по Индии», написанный им, Главный штаб опубликовал двумя годами позже.

После Индии была война с японцами... В битве под Мукденом во всеобщем хаосе ответственность за судьбу солдат легла на плечи офицеров батальонного и полкового звена, и, приняв эту ответственность, Корнилов сумел, отстреливаясь и атакуя, вывести из окружения свою уже считавшуюся уничтоженной бригаду, с ранеными и знаменами, сохраняя полный боевой порядок. Этот подвиг принес ему орден Святого Георгия и славу не только разведчика, но и отличного боевого командира.

Мир дипломатии вскоре отторг слишком ревностного офицера, целиком и полностью предоставив его военной стезе. Однако, этому предшествовала служба военным агентом в Китае. Лавр Георгиевич изучил китайский язык, историю, обычаи, отправлял подробные отчеты в МИД и Генштаб и вел собственные записки, предполагая написать о Китае обстоятельную книгу. Все эти знания и навыки, столь легко усваиваемые им, и сделали успешным рискованный спектакль под названием «инспекция посланника Богдыхана»...

...Браво шагают шеренги китайских солдат, дрожит земля от их марша. А узкие глаза русского разведчика подмечают все, каждую деталь, и, нисколько не отвлекаясь от своей роли, он уже сочиняет в уме рапорт в Генштаб обо всем узнанном...

Вдруг раздается выстрел...

Лавр Георгиевич мгновенно очнулся ото сна и вскочил на ноги. Вокруг него был вовсе не Китай, а все тот же «лес отчаяния», в котором заблудился он так нелепо. Однако, выстрел? Ведь он был не во сне?

— Францишек!

Корнилов огляделся по сторонам, чеха нигде не было. Не было и револьвера. Зато со стороны деревни доносился какой-то шум, свидетельствующий о явном оживлении в этих безлюдных краях. Сомнений не осталось: голод оказался сильнее страха, и Мрняк решил пойти в деревню за провизией. Что случилось с ним там? Убит ли он? Покончил ли с собой, чтобы не даваться в руки полиции? Или все-таки жив, но схвачен? Может быть, только ранен? Теперь уже не узнать и не помочь.

— Прощай, мой бедный друг Францишек, я тебя не забуду! — прошептал Корнилов и спешно устремился в чащу. Нужно было как можно скорее покинуть опасное место, пока не начались облавы.

* * *

Лес отчаяния оказался страшнее степи. В степи Лавр Георгиевич был не один. Здесь же он лишился единственного человека, который разделял с ним этот опаснейший путь. Вдобавок австрийцы прочесывали лес, ища беглеца. Как затравленный зверь, пробирался Корнилов к румынской границе, не разводя костров,

чтобы не выдать себя, промерзая до костей, изнемогая от голода... Иногда чуткий слух его слышал собачий лай — где-то совсем рядом шли патрули, искавшие его! Чтобы сбить собак со следа, приходилось идти по руслам лесных ручьев.

На пятые сутки пути Лавр Георгиевич без сил повалился на траву, до крови закусив губу от принизывающей нутро боли. Ягоды и сырые грибы — скверная пища... Скрючившись и сдерживая стон, который мог бы достичь слуха преследователей, беглец лишился сознания.

Он очнулся от того, что кто-то облизывал ему лицо, дыша в него тяжелым духом. С трудом открыв глаза, Корнилов увидел перед собой собачью морду. Конец! — пронеслось в затуманенном мозгу. Патрульные ищейки все-таки выследили его! Сейчас его схватят... И уже нет сил не только бежать, но даже подняться. И нет револьвера, чтобы пустить последнюю пулю в лоб, прежде выпустив обойму в преследователей...

По мере того, как сознание прояснялось, Лавр Георгиевич заметил, что собака ведет себя странно. Патрульные псы злы, они обучены ловить и сторожить людей. Этот же косматый гигант был явно дружелюбен... И был он не один, еще две собаки держались чуть поодаль, басовито лая — не на пленника, а, по-видимому, зовя кого-то.

Наконец, из леса показались два человека, по наряду которых Корнилов угадал пастухов. На сердце немного полегчало. Еще не все было потеряно. Пастухи приблизились к Лавру Георгиевичу.

— Cine ești?⁴³ — прозвучал вопрос.

Румыны! Слава Богу, румыны! — еще легче сделалось на сердце от звучания румынской, а не австрийской речи.

— Я русский солдат... — слабо отозвался Корнилов. — Я был в плену, бежал... Помогите мне добраться до границы, прошу вас!

Пастухи понимающе закивали:

— Soldat rus! Soldat rus!

Измученного беглеца подняли на руки и понесли прочь. Вскоре Лавр Георгиевич очутился в маленькой сторожке, где ему подали глиняную миску с теплым молоком и размоченным в нем хлебом. После продолжительного голода нельзя сразу есть много, иначе умрешь. Поэтому Корнилов принудил себя к умеренности, несмотря на жгучее желание тотчас разговесться и изрядным ломтем «ржанухи», и остро пахнущим овечьим сыром.

Пастухи смотрели на него с искренним сочувствием. Эти добрые люди всегда хорошо относились к русским солдатам, к России. Казалось, даже их собаки взирали на спасенного человека с участием и были довольны тем, что избавили его от страшной голодной смерти.

Все же открывать свое настоящее звание и имя Корнилов счел слишком опрометчивым, солдатский чин был безопаснее, неприметнее. Да и не смущал души бедных людей лишним соблазном. За беглого солдата много не выручишь, а потому ничто не препятствует исполнению долга добрых христиан. Но генерал... Генерал — совсем иной товар. Тут и самый добрый христианин может соблазниться наградой, особенно если живет он в нищете.

В пастушьей сторожке Лавр Георгиевич оставался до утра, согреваясь и восстанавливая необходимые для дальнейшего пути силы. На рассвете добрые румыны снабдили его краюхой хлеба и сыром и указали путь к границе.

Опасное путешествие продолжалось, но теперь лес уже не казался беглецу столь враждебным, как раньше. Иногда ему встречались румынские пастухи, и он уже

не скрывался от них. Эти люди были неизменно дружественно настроены к русским и охотно делились с Корниловым своей скудной провизией.

Путь, который должен был занять 30 часов, продлился долгих две недели... Последней преградой на нем стала горная река, которую пришлось преодолевать вплавь. Выбравшись из воды на румынском берегу, продрогший Лавр Георгиевич заметил невдалеке тонкую струйку дыма. Осторожно двинувшись в ее направлении, Корнилов вскоре набрел на гревшихся у костра трех русских солдат — судя по истрепанному виду, таких же беглецов, как он сам. Слава Богу, свои!

— Здорово, братцы!

— И тебе не хворать!

— Кажись, нашего полку прибыло...

— Отколь путь держишь?

— Из плена бежал, кличут меня Спиридоном.

— Все мы тут беглые. Давай, брат, садись к нашему костру, грейся.

— Благодарствую, продрог до самых костей, — Корнилов устроился у костра, раскурил трубку, для которой один из солдат щедро пожертвовал припасенного табаку.

— Долго ли плутаешь, дядька?

— Да уж третью неделю, почитай. Думал, помру. Слава Богу, пастухи выручили, не дали пропасть христианской душе.

— Пастухи — народ добрый, — закивали солдаты, также имевшие с ними знакомство.

— Куда путь-то держите, братцы? — спросил Лавр Георгиевич.

— В Тур-Северин. Там теперь миссия генерала Веселкина.

— Ну, стало быть, и я с вами!

Дальнейший путь уже легок был: в доброй компании да без страха патрулей — все что прогулка увеселительная! Шли бодро, иногда заводили походные песни — с песней-то завсегда идти веселей! Так и добрались до Тур-Северина. Здесь всех пленных поочередно принимал и опрашивал капитан 2-го ранга Ратманов. Не поднимая глаз на очередного вошедшего в его кабинет солдата, он повторил обычные вопросы:

— Фамилия, имя, чин? В каком полку служил?

— Я командир 48-й дивизии генерал-лейтенант Корнилов.

Капитан поднял голову и изумленно воззрился на стоявшего перед ним Лавра Георгиевича.

— Так, стало быть, вы живы?.. Австрийские газеты писали, будто вы убиты при побеге!

— Как видите, я не убит, — отозвался Корнилов, — хотя господам австрийцам этого бы очень хотелось.

Придя в себя от растерянности, Ратманов отдал генералу честь:

— С благополучным освобождением из плена вас, ваше превосходительство!

— Благодарю вас, капитан!

Францишек Мрняк избежал смертной казни, симулировав психическое расстройство. После поражения Германии и ее союзников, он был освобожден из заключения.

Лавр Георгиевич Корнилов в 1917 г. стал первым военачальником, поднявшим знамя борьбы против революционных бесчинств, приведших к полному разложению русской армии. Вокруг него стали объединяться все верные Отечеству офицеры. Временное правительство в лице А.Ф. Керенского арестовало Корнилова, в ту пору Верховного

главнокомандующего русской армии, и его сторонников, обвинив их в измене. После октябрьского переворота Лавр Георгиевич вместе со своими союзниками бежал из тюрьмы и под видом румынского беженца пробрался на Дон, где основал Добровольческую армию. Выдающийся русский военачальник, разведчик и исследователь был убит при штурме г. Екатеринодар в апреле 1918 г. После отступления армии большевики нашли свежую могилу генерала и, раскопав ее, целую ночь глумились над телом своего врага на улицах кубанской столицы.

**Железные люди
(Сергей Николаевич Марков и
Николай Степанович
Тимановский)**

Белый цвет... Боль... Больничные стены... Белые халаты докторов... Боль... Боль... Точно бы в самую спину снова и снова ударяет вражеская дура-пуля, и от удара разлетаются раскаленные стрелы — в грудь, в живот. Хочется кричать, но кричать нельзя. Мужчина не должен кричать, он должен уметь перенести любую боль!

Но есть то, что хуже боли. Боль — значит, жизнь. Но, вот, уже три месяца не знают боли-жизни неподвижные ноги, ничего не чувствуют они, точно чужие. Хоть огнем их жги... Закипали слезы на глазах Николаши, когда гас на ночь свет, и никто не мог видеть его слабости.

Ему было 15 лет. Его отец, сын виленского крестьянина, сумел выбиться в люди, обосноваться в столице и определить сына в лучшее учебное заведение — старейшую, основанную еще при Александре Благословенном Вторую Санкт-Петербургскую гимназию. В ней учились преимущественно дети из дворянских семей, и крестьянскому отпрыску не всегда было уютно среди «благородных». Да и науки не слишком увлекали мальчика. Его отчаянно манили дальние странствования, приключения, подвиги, и, сидя за партой, он нередко смотрел мимо объясняющего новую тему учителя, видя себя на резвом коне, атакующим турок под Плевной, или сражающимся с французами под началом славного генерал Раевского, или...

— Тимановский, вы поняли задание? — менторский голос учителя возвращал замечтавшегося Николашу в класс, и к общему веселью он начинал городить в ответ сущую ерунду, так как самым примерным образом промечтал весь урок.

Когда мальчик учился в 6-м классе грянула весть: война началась! На далеких неведомых рубежах сошлась великая Империя в единоборстве с японскими самураями. Потянулись эшелоны через всю родимую необъятность, увозя солдат на фронт. Загудели протяжные солдатские песни. Где-то далеко-далеко от столицы уже шли бои, проливалась русская кровь, а столица жила своею жизнью, веселясь в театрах и ресторациях и... грезя о революции. Даже среди гимназистов находились такие, что, нисколько не помышляя о патриотическом долге, тайком приносили запрещенные газеты и прокламации. С одним таким юным бунтарем, неведомым образом попавшим в гимназию, будучи выходцем из еврейского местечка, Николаша однажды сцепился до кулаков и за это подвергся взысканию. Взыскания он мог бы и избежать, но для этого нужно было донести на подрастающего революционера, сообщить директору, что Юлик Карцев принес в гимназию «Искру» и вел возмутительные речи супротив Государя... Доносить Николаше претило. Этого не позволял ему внутренний закон. Поэтому он стерпел строгий выговор за разбитую Юликову губу и живописный «бледолей» под его косым глазом.

Однако, продолжать учение, вести обыденную жизнь, когда Отечество вело войну, Тимановский не мог. Он был крепок и ловок телом, физически развит более многих своих сверстников и даже старших мальчиков. Он ничем не уступал уходившим на войну молодым крестьянским парням. Почему же они должны были воевать, а он нет?

Тайком от отца Николаша раздобыл солдатскую форму и сбежал из дома, сев в один из отправлявшихся к дальневосточным рубежам эшелон. Несколько недель шел поезд до театра военных действий. За это время 15-летний доброволец успел сдружиться с солдатами-новобранцами, с которыми ему куда легче было найти

общий язык, нежели с гимназистами. По прибытии на фронт его зачислили в полк, и началась совсем новая жизнь, та самая, о которой он мечтал...

Военному делу Тимановский учился куда быстрее и легче, чем наукам. В маньчжурских степях он убедился, что мирная жизнь, статская служба не для него. А, вот, грохот пушек, дым, ружейная пальба — совсем иное дело. На поле боя мальчик чувствовал себя, как рыба в воде, и примерной доблестью не раз заслуживал похвалу командиров. И не только похвалу. Два солдатских Георгия были лучшей аттестацией добровольцу. Когда второй крест украсил его грудь, Николаша знал уже твердо: как только враг будет разбит (а может ли быть иначе?!), он выучится на офицера и непременно продолжит службу.

И, вот, теперь эта ненавистная палата... Боль... И чужие, неподвижные ноги... И... Портсмутский мирный договор... Поражение... Заставленная революционерами воевать на два фронта: внешний и внутренний, истерзанная беспощадным террором борцов за общечеловеческое «счастье», Россия вынуждена была завершить войну, пойдя на уступки самураям. И эта боль была для Николаши ничуть не менее острой, чем та, что ежеминутно пронзала его спину.

Этим утром весь персонал госпиталя был в большом волнении. В палатах наводили чистоту и красоту. Ждали Государя!

Он прибыл в двенадцатом часу в сопровождении небольшой свиты. Невысокого роста, но ладного сложения, в скромном полковничьем мундире, держащийся скромно и просто, Царь, когда бы облик его не был известен по портретам, когда бы не суетились вокруг него доктора, мог был легко остаться неузнанным, незамеченным. Быть принятым за обычного офицера.

Государь переходил от койки к койке, коротко беседовал с каждым раненым. Непритворная сострадательность его печального, открытого лица располагала к нему. Вот, наконец, Царь приблизился к Тимановскому.

— Вольноопределяющийся Николай Тимановский. Дважды Георгиевский кавалер. 15 лет. Тяжелое ранение в спину. Поврежден позвоночник. Паралич. Прогнозы неутешительны.

При последних словах Николаша метнул на врача полный ярости взор. Он готов был почти ненавидеть этого пожилого эскулапа! За то, что слова его звучали как приговор, за то, что он не верил в возможность излечения своего пациента и не давал ему никакой надежды! За то, что менторским, похожим на учительский тоном — хоронил его — 15-летнего, полного жизни и мечтаний юношу — заживо!

А Государь этот взгляд поймал. И, подойдя вплотную к койке Николаши, взял его за руку:

— Когда вы поправитесь, то что намерены делать? — спросил, не считаясь с врачебными прогнозами, обогревая и вопросом этим, и тоном отеческим, и теплотой ясных глаз... Будто солнечный луч тьму рассеял!

Над ответом Тимановский не раздумывал. Выпалил тотчас самым сердцем исторгнутое:

— Служить Вашему Величеству!

— Благодарю вас за вашу службу, вольноопределяющийся и, верю, что вы еще не единожды явите свою доблесть! — светятся непритворной верой ласковые царские глаза, и следом звучит приказ: — Запишите все расходы по лечению этого юноши на наш счет!

Сердце Николаши трепетало от восторга. Теперь он твердо верил, что вопреки всем консилиумам и даже самой природе, он снова станет на ноги, снова вернется

в строй и будет служить своему Государю до
последнего вздоха!

«Обо мне не плачь и не грусти, такие как я не годны для жизни, я слишком носился с собой, чтобы довольствоваться малым, а захватить большое, великое не так-то просто. Вообрази мой ужас, мою злобу-грусть, если бы я к 40-50 годам жизни сказал бы себе, что все мое прошлое пусто, нелепо, бесцельно!

Я смерти не боюсь, больше она мне любопытна, как нечто новое, неизведанное, и умереть за своим кровным делом — разве это не счастье, не радость?!

Мне жаль тебя и только тебя, моя родная, родная бесценная Мама, кто о тебе позаботится, кто тебя успокоит.

Порою я был груб, порой, быть может, прямо-таки жесток, но видит небо, что всегда, всегда ты была для меня все настоящее, все прошлое, все будущее.

Иногда желание захватить побольше от жизни делало меня сухим и черствым, но верь, что только наружно и с показной стороны. Судьба распорядилась по-своему. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Верь, как верю я в настоящую минуту, и верю искренне, глубоко, что все, что ни делается, делается к лучшему и нашему благу», — это письмо капитан Сергей Леонидович Марков написал матери, отправляясь в Мукден. Судьба, однако, действительно распорядилась по-своему. Война забрала жизнь его брата Леонида, на попечение которого он оставлял мать, но выпустила из своего пекельного зева его самого.

После несчастливой Японской кампании Марков посвятил себя воспитанию будущих офицеров. Николаевская академия, Михайловское и Павловское училища — везде читал он курсы по тактике, военной

географии и русской военной истории, а к тому дополнял их написанием учебных пособий. Вдоволь насмотревшись на промахи командования в последней войне, Сергей Леонидович жаждал одного: вернуть в русскую армию победительный дух Суворова и Скобелева, выхолощенный из нее пассивным регулярством. Вся военная история доказывала, что при пассивном выполнении задач невозможен решительный успех; чаще это приводит к неудаче и лишнему пролитию крови! Ни одно воинское качество не является ценностью само по себе! Дисциплина должна быть сопряжена с разумностью, мужество — с силой воли и силой влияния на подчиненных, храбрость должна быть активной и должна быть связана с инициативой. Суворовский принцип «противник обходящий легко может быть сам обойден» находит свое решение, лишь когда в полной мере осуществляются инициатива, активная храбрость, «партизанские» меры... При регулярстве в этом случае достаточно донести об обходе противника, принять пассивные меры и ждать распоряжений начальства. К чему приводит подобная «дисциплина», наглядно продемонстрировала последняя кампания. А что если новая война? С противником более сильным? Таким как Германия? Недалеко и до новой беды будет, если не вынести уроков из старой! И мало, мало построить новые корабли, запастись новым оружием. Первое и главное — вспомнить науку побеждать!

В этом убеждении 33-летний профессор, манкируя общепринятыми теориями, наставлял своих питомцев:

— Забудьте все теории, все расчеты. Помните одно: нужно бить противника и, выбрав место и время для удара, сосредотачивайте там наибольшее количество ваших сил... Весь ваш дух должен быть мобилизован на месте удара!

Юнкера и академическая молодежь обожала своего преподавателя, умевшего вдохнуть жизнь в самую нудную лекцию, подать предмет неожиданно, заставить не просто выполнять задания, но думать, анализировать, самостоятельно искать решения. Сам же Марков всей душой рвался применять свои знания и убеждения на практике.

Ждать практики этой долго не пришлось.

— Хотя я здесь призван уверять вас, что ваше счастье за письменным столом, в науке, но я не могу, это выше моих сил; нет, ваше счастье в подвиге, в военной доблести, на спине прекрасной лошади. Идите туда, на фронт, и ловите ваше счастье! На фронте, в окопах — вот где настоящая школа. Я уйду на фронт, куда приглашаю и вас! — такими словами завершил Сергей Леонидович свою последнюю лекцию в Николаевской академии и с тем, подавая личный пример, отбыл в действующую армию.

Прибытие к театру военных действий оказалось для Маркова менее эффективным, нежели оставление Академии... Совсем рядом громыхали пушки, 4-я стрелковая бригада генерал Антона Деникина яростно отражала неприятельские атаки, а свеженазначенный начальник ее штаба крестился от боли на кровати с клопами в какой-то случайной избе! Позванный хозяином врач расположенного неподалеку полевого госпиталя явился скоро. Увидев бледное, измученное лицо Сергея Леонидовича, спросил с порога:

— Помилуй Бог, вы ранены, господин полковник?!

Марков досадливо скривился и попытался подняться:

— Какой там! Не так обидно было бы, если бы ранили, а то заболел подлейшей болезнью — аппендицитом, и, как колода, лежи вот, а там моя бригада гибнет! Ай, не могу я так лежать. Уеду к

черту! — ему, наконец, удалось сесть, но врач лишь сплеснул руками:

— Куда вам ехать? Помилуйте, на вас лица нет!

— Надо ехать, надо! — отозвался Сергей Леонидович, почувствовал прилив энергии от противодействия эскулапа. Трудности никогда не останавливали его. Напротив, чем сложнее вставала задача, чем больше препятствий являлось, тем сильнее было желание преодолеть их.

Еще усилие, и Марков уже стоял перед испуганным врачом, опираясь на костыль:

— Видите? Не так-то уж это и сложно! — бледно улыбнулся, жмуря застилаемые мороком глаза.

— Что вы делаете, господин полковник? Вам должно лежать! Вы даром погибнете, если отправитесь теперь!

— Пустое! — махнул рукой Сергей Леонидович.

— Вам необходима срочная операция! У вас жар! — в голосе врача звучала мольба.

— Ничего, прогулка его остудит, — усмехнулся Марков, решительно отстраняя его со своего пути. — Милейший хозяин зазря потревожил вас, доктор. Вы нужны раненым! А я что? Я, слава тебе Господи, здоров! — при этих словах он покачнулся, но успел уклониться от рук попытавшегося поддержать его эскулапа. — Не могу я здесь сидеть, не могу лечиться, когда моя бригада гибнет, поймите!

Свежий воздух и впрямь немного рассеял подступавшую от боли и лихорадки дурноту. Сергей Леонидович с трудом вскарабкался в запряженную парой лошадей коляску и тронул поводья. Конечно, на передовую молодому полковнику следовало бы вихрем примчаться на коне, но коня уж точно не вынесло бы теперь предательское тело.

Лошади рысцой помчались в ту сторону, где гремел бой. Каждый ухаб вызывал вспышки жгучей боли, но близость передовой придавала сил. Деникинский штаб

и несколько представителей союзников расположились на возвышенности и с тревогой следили за ходом битвы. Когда Марков остановил свою колымагу позади них, офицеры не без удивления оглянулись на нежданного гостя. Сергей Леонидович весело улыбнулся:

— Скучно стало! Приехал посмотреть, что тут делается! — с этими словами он соскочил на землю и, отдав честь невысокому, крепко сложенному генералу с седеющей остроконечной бородкой, смотревшему на него с нескрываемым недоумением, отрапортовал: — Полковник Марков прибыл в ваше распоряжение! Прошу простить за опоздание и этот экипаж. Приключившаяся глупая болезнь помешала мне передвигаться верхом!

— Рад приветствовать вас, господин полковник...

Но не было ни малейшей радости в лице Антона Ивановича. И в остальных лицах — также... Оно и понятно. Для них Марков покамест «человек с вокзала». Какой-то полковник-штабист, профессор... Да еще и без малого белобилетник! Небось, уже записали в бесславную плеяду тыловых неумех-теоретиков... Ну, что ж, придется разубедить будущих сослуживцев в этом заблуждении! И чем раньше, тем лучше...

Забыв о боли, Сергей Леонидович присоединился к штабу и, взяв бинокль, стал внимательно изучать поле боя. То и дело свистевшие над головой пули не смущали ни его, ни остальных...

Тяжелым выдалось сражение! Куда как тяжелым! Трепали нещадно превосходящие силы австрийцев уже немало обескровленные русские части! Уже и отступить бы им, поберечь жизни солдатские и офицерские, да нельзя! Соседи молят не сдавать высоту! Иначе потом ее заново брать придется — а это еще больше жертв!

— А это?.. Что это за герой, господа?..

Какой-то офицер сумел собрать разрозненных и уже подавшихся назад стрелков и вновь повел их в атаку.

При этом смельчак шел впереди редкой цепи без оружия, опираясь на массивную палку. Он заметно приволакивал ногу, шел неспешно, не пригибаясь, иногда останавливался, давая какие-то распоряжения. Словно на учениях, если не на прогулке! И как уверенно командовал! Вот, пример истинного суворовского духа! Скобелевской закалки! С такими офицерами можно чудеса творить!

— Степаныч! — вырвалось у генерала, а один из офицеров пояснил новоприбывшему начштаба:

— Это поручик Николай Тимановский!

— Он ранен?

— Парализован еще с Японской. Настоящий герой и абсолютно бесстрашен!

— Bravo! Bravo! — восторженно крикнул крутившийся рядом французский союзник.

Bravo им... Куда уж bravo, когда гибнут стрелки в атаках напрасных! Вот, уже окружили австрийцы бесстрашного поручика, как волк отбивается он от их собачьей своры, отбросив палку — шашкой и револьвером. И падает раненым... Или убитым?.. Стрелки, видя это, собираются с силами и, отбросив врага, выносят командира из боя.

— Ваше превосходительство! Почему я не вижу командира 13-го полка? — Сергей Леонидович уже окончательно забыл думать о своем недуге и весь обратился в пламенный порыв — немедленно ударить на врага!

— Полковник Гамбурцев был тяжело ранен сегодня утром, — мрачно ответил Деникин. — Заменить его пока некем...

— Ваше превосходительство! — с нетерпеливой горячностью воскликнул Марков. — Дайте мне 13-й полк!

Антон Иванович удивленно посмотрел на своего нового начштаба, горевшего не то от лихорадки, не то

от жажды действия...

— Помилуйте, но вы ведь, кажется, больны? И даже в седле не можете держаться?

— Стрелку седло ни к чему, а ноги меня пока что держат! — ответил Марков, бодро улыбнувшись. — Болячка пустяшная, ваше превосходительство! Я здоров и прошу позволения взять полк!

Деникин развел руками:

— Что ж, голубчик, пожалуйста! Я очень рад!

Ничто так не бодрит и не врачует телесные хвори, как добрая битва на все четыре стороны света, когда от трудности положения становится даже весело. Где уж тут вспоминать о хворях! Хвори — удел мирной жизни, когда можно позволить себе предаваться им, валяясь на постели и лакая бесполезные микстуры! Но в пламени сражения душа и тело человеческие живут по иным законам, быть может, даже противоречащим природным.

Уже пала ночная тьма, а битва все кипела.

— А ну-ка, братцы, гряньте нам что-нибудь бодрое! — крикнул Марков полковым музыкантам. — Помирать — так с музыкой! А побеждать — тем паче!

— Что играть-то прикажете?

— Да хоть «Комаринского», черт вас подери!

На «Комаринского» музыканты-регуляристы не отважились, их инициативы хватило лишь на полковой марш 13-го стрелкового полка. Но и то ладно! Приободрились стрелки уцелевшие, бравурные звуки заслышав, собрали последние силы в кулак и начистили хвосты недооценившим русской стойкости австриякам!

Под марш и на позиции возвращались к изумлению всеобщему. Кажется, уже никто и не ждал, что живым явится из ночной тьмы 13-й стрелковый? И где тот французик, что так звонко кричал «Браво!»? Хотя к чему его «браво»? Русскому солдату русское «ура!» подай да «Богу слава!»

— В такую кашу попал, что сам черт не разберет — где мои стрелки, где австрийцы; а тут еще ночь подходит. Решил подбодрить и собрать стрелков музыкой, — коротко отрапортовал Сергей Леонидович Деникину и по лицу генерала понял, что отныне он больше не «странный чужак», а совершенно «свой» для славной 4-й бригады. Ну, да то ли еще будет!

— Вы, однако, голубчик, позаботьтесь о здоровье вашем! Для бригады оно отныне драгоценно!

— Пустое! Здоровье мое австрийцы уже поправили!

В лазарет он все же наведалься. Но не с тем, чтобы предаться в руки эскулапов и лечить ноющий бок, а в поисках героя-поручика, что так доблестно сражался этим утром.

— Помилуй Бог! Это вы?! — знакомый врач взирал на Маркова, как на по меньшей мере восставшего из гроба Лазаря.

— Я! — с виноватым видом развел руками Сергей Леонидович. — Как видите, не умер.

— Отменно рад этому. И вы... хорошо себя чувствуете?..

— По сравнению с медицинскими прогнозами неплохо!

— Рад, рад... Но что же вы в таком случае делаете в лазарете?

— Ищу одного из своих доблестных офицеров!

— Кого же?

— Поручика Тимановского!

Доктор как-то странно улыбнулся:

— Вот оно что! Ну, могу вас уверить, несмотря на штыковое и пулевое ранения, этот непременно вернется в строй. Железный человек, для которого законов природы не существует!

— Вам обидно за законы природы? — пошутил Марков.

— Ничуть! Николай Степанович лежит там, — врач указал рукой в нужном направлении. — Не сомневаюсь, что с ним вы сразу поладите.

— И я в том уверен, — рассмеялся Сергей Леонидович. — Железные люди всегда поймут друг друга!

Раненого поручика он отыскал скоро. Еще совсем юноша, но рано возмужавший в боях, он был очень бледен от большой потери крови, но глаза его светились веселостью.

— За вашу инициативу и доблесть, проявленные сегодня, я представляю вас к ордену Святого Георгия, поручик. А пока примите мою благодарность и дружбу! Надеюсь, вскоре увидеть вас в строю!

— О, я не заставляю вас долго ждать, господин полковник! — горячо пообещал Тимановский, отвечая на рукопожатие Маркова. — Для меня будет большой честью и счастьем сражаться под вашим началом!

Белый цвет... Снег... Метель, заметающая Россию... Белое, как мел, лицо начальника штаба Верховного Главнокомандующего... Боль... Боль от бессилия. Бессилия, куда более нестерпимого и отчаянного, чем было то, 12-летней давности. 12 лет назад ему всего лишь отказали собственные ноги. А ныне была обезглавлена Россия... И он, один из самых награжденных офицеров Русской Армии, полный георгиевский кавалер, командир Георгиевского батальона при Ставке Верховного Главнокомандующего, полковник Николай Тимановский ничего не мог сделать. Руки, ноги повиновались ему, но оказывались бесполезны против безумия, которое все больше охватывало обезглавленную страну.

— Господа офицеры! — по возгласу генерала Алексеева офицеры вытянулись по стойке «смирно». Михаил Васильевич отступил на шаг, давая дорогу Государю, коему позволено (уже в одном этом слове по отношению к монарху — безумие!) было проститься с войсками...

Тимановский взглянул на Алексеева. Тот выглядел больным и смотрел то в пол, то куда-то в сторону. Начштаба Армии! Правая рука Императора! Неужели и он ничего не мог сделать? Что за неведомый паралич скрутил всех, кто мог, кто должен был! — действовать?

— Господа, сегодня я вижу вас в последний раз! — глуховатый голос Государя дрогнул. Осунувшееся, разом состарившееся лицо его было полно невыразимой скорби, а рука, лежавшая на эфесе шашки, подрагивала. Он шел вдоль выстроившейся для прощания с ним шеренги медленно, вглядываясь в каждое лицо. Точно запоминая... Хотя ему не нужно

было — запоминать. Все знали, что Царь наделен феноменальной памятью и способен узнать человека, которого видел единожды мельком четверть века назад...

Офицеры сосредоточенно молчали. Некоторые не могли сдержать слез. Седой вахмистр, нарушая строй, пал перед отреченным Императором на колени и зарыдал. Ясные глаза Государя заволокла пелена слез... Все клокотало в душе Тимановского. Как наяву вспоминался 12-летней давности день, госпитальная палата, ласковый взгляд и ободрительный тон Государя. И собственная мальчишеская клятва — служить Его Величеству. И он служил... Служил верой и правдой... И 12 ран — лучшее свидетельство тому. Но теперь?! Почему он ничего не может сделать теперь?! И почему сам Государь не призвал всех верных на помощь?.. Военная психология поражена микробом регулярства, как верно говаривал генерал Марков. Военные забыли об инициативе... Они привыкли подчиняться приказам и ждать — приказов. Царь не приказал прийти и защитить Его и Семью, и войско не шелохнулось...

Когда Государь приблизился к Николаю, тот не выдержал и, опираясь на трость, с трудом сгибая так и не восстановившуюся, даже несмотря на окончание Гимнастической школы, ногу, опустил на одно колено. Для него, полковника Тимановского, его Государь оставался его Государем — навсегда...

— Благодарю вас всех. Служите Родине по-прежнему так же верно! — прозвучало, как эхо, последнее напутствие. Серая черкеска, все те же полковничьи погоны, которые Император Всероссийский не считал себя вправе сменить на генеральские, Георгиевский крест на груди... И полные неисцелимой боли глаза, в которые нет мочи смотреть.

— Я буду служить Вашему Величеству... — едва слышно прошептал вслед уходящему Императору командир Георгиевского батальона.

С того мучительного дня минуло более полугода. За это время «многомудрые» временные министры, фатоватые диктаторы, калифы на час умудрились полностью разложить армию и добиться того, чего немцы и австрийцы тщетно добивались три года — обрушения русского фронта. Солдаты митинговали, братались с противником, дезертировали и убивали своих офицеров. Остановить это безумие было по силам лишь одному человеку — генералу Корнилову, занявшему в июле пост Главнокомандующего. И что же? Фатоватый диктатор Керенский объявил Лавра Георгиевича изменником и приказал арестовать его и сочувствующих ему генералов и старших офицеров. Считай, без малого весь командный состав Русской Армии!

Арестованных генералов во главе с Корниловым свезли в Быхов и заключили под арест. А роль тюремщиков отвели... Георгиевскому батальону! Думал Тимановский сперва отказаться от позорной должности, но затем скрепил сердце: ведь находясь на этом подлом посту, он мог лучше кого-либо иного помочь пленникам, среди которых были и прежние командиры Николая — генералы Марков и Деникин.

Их, а также генералов Эрдели и Орлова доставили из Бердичева в состоянии растерзанном. Там их держали в 10-метровых одиночках, подвергая постоянным издевательствам. У генерала Маркова не оказалось с собой пальто, и один солдат одолжил ему свою шинель, но из-за нападок товарищей отобрал на другой же день... Сергей Леонидович, прочем, не терял своей обычной бодрости и рассказывал о пережитом почти весело:

— Обслуживали нас пленные австрийцы и солдат, бывший финляндский стрелок, очень добрый и заботливый человек. В первые дни и ему туго приходилось — товарищи не давали прохода! Заботы его о нашем питании были прямо трогательны, а новости умилительны до наивности. Он, между прочим, заявил мне, что будет скучать, когда нас увезут... Я его успокоил тем, что скоро на наше место посадят новых генералов — ведь еще не всех извели!

Голова генерала при этом была забинтована. Когда узников вели из тюрьмы на вокзал для отправки в Быхов, озверевшая толпа солдат едва не разорвала их. Лишь охрана из юнкеров, мальчишек, своей грудью заслонявших генералов, спасла их от расправы. Однако, комья грязи и булыжники сыпались на арестантов градом и несколько раз попали в цель...

— Эх, милый Николай Степанович, приходилось мне уже в дерьме бывать, но все не в таком! — говорил Марков уже вечером, прогуливаясь вместе с Тимановским в тюремном дворе.

— Вы имеете ввиду прежние неудачи на фронте?

— Да нет! — поморщился Сергей Леонидович. — Я имею ввиду — дерьмо! Еще до войны привелось мне быть в разведке. Моей задачей было сфотографировать укрепленные форты крепости Торн. Снимки я сделал, но, видать, где-то наследил, и немцы выслали патруль на мои поиски. Попадись я им, можете вообразить, какой вышел бы скандал?

— И что же вы сделали?

Марков пожал плечами:

— Спрятался так, чтобы не нашли. В выгребной яме!

Тимановский не удержался от улыбки, представив себе генерала, прячущегося в подобном укрытии. Сергей Леонидович улыбнулся также:

— Верите ли, месяц потом отмывался, и все одно мне чудилось, что разит! — помрачнев он прибавил. — А

теперь, кажется, всей матушке-России отмываться придется. Да не мылом, а кровью...

Повисло тяжелое молчание.

— Все так безнадежно? — прервал его Николай, поправляя очки и всматриваясь близорукими глазами в подвижное лицо Маркова. Тот прищурился на заходящее солнце:

— Я верю, что все будет хорошо, но боюсь — какой ценой? — отозвался он, машинально тронув нервными пальцами разбитую булыжником голову.

За эти месяцы линчевать его пытались уже несколько раз. Начиная с безумной весны, Сергей Леонидович, имевший немалый ораторский талант, вынужден был сделаться агитатором — убеждать освобожденных от обязанности исполнять долг и приказы начальства солдат в лице их т. н. депутатов, комитетов и советов в необходимости воевать. В ходе бурных, страстных и иногда крайне острых прений ему подчас удавалось достигнуть нужного результата. Но бывало иначе... Так, вызволив в Брянске 20 арестованных офицеров, он вместе с ними был окружен на вокзале беснующейся толпой. Расправа казалась неминуемой, но Марков смело обратился к осатаневшей массе:

— Если бы тут был кто-нибудь из моих железных стрелков, он сказал бы вам, кто такой генерал Марков! — крикнул он.

— Я служил в 13-м полку, — отозвался какой-то солдат из толпы.

— Ты?!

Сергей Леонидович с силой оттолкнул нескольких окружавших его людей, быстро подошел к солдату и схватил его за ворот шинели.

— Ты? Ну так коли! Неприятельская пуля пощадила в боях, так пусть покончит со мной рука моего стрелка!

Толпа заволновалась еще больше, но уже от восторга. И Марков с арестованными при бурных криках «ура» и аплодисментах толпы уехал в Минск...

— По крайней мере в Быхове пока безопасно, — заметил Тимановский.

Сергей Леонидович посмотрел на него пристально и удивленно:

— Для нас такого места нет больше. Разве вы не понимаете? Участь наша предрешена! Люди жестоки, и в борьбе политических страстей забывают человека. Мы не воры, не убийцы, не изменники. Мы иначе мыслим, в этом наша «вина», и в новой яви нам места нет! Военное дело, которому мы целиком отдали себя, приняло формы, при которых остается лишь одно: взять винтовку и встать в ряды тех, кто готов еще умереть за Родину. Императорская Армия перестала существовать! Значит, нам нужна новая армия! Армия, в которую пойдут по зову сердца все, кому еще дорога Родина, кто не забыл о чести!

— Добровольная армия? Думаете, это возможно?

— Несомненно, полковник! Ведь легко быть смелым и честным, помня, что смерть лучше позорного существования в оплеванной и униженной России! А это сознание свойственно не только нам с вами...

Он говорил, как всегда, энергично, ни мгновения не стоя на месте. Он желал бы биться с врагом, но враг был всюду. Как биться с ним, когда нет ни фронта, ни тыла? И нет армии, чтобы сражаться? Значит, нужно создавать армию! С нуля, отбросив нежизнеспособные теории. Перейти к активному партизанству! В этом был весь Марков...

В отдалении промелькнула сухопарая фигура генерала Корнилова, сопровождаемого адъютантом Ханом Хаджиевым, чей живописный текинский наряд был заметен издалека. Хан каждый день ездил в город и привозил Главнокомандующему все газеты, какие мог

раздобыть. Чтения более горького найти было нельзя. Обезглавленная страна билась в предсмертных корчах, а калифы на час все еще дрожали над своей «властью» и сводили личные счёты с теми, в ком боялись «конкурентов».

— Знаете, Николай Степанович, я был бы окончательно сражен, если бы почему-либо товарищ Керенский со своими присными не признал меня достойным быховского заключения. Здесь собралась лучшая компания, о которой мог бы лишь мечтать всякий порядочный человек! — воскликнул Марков, чьи мрачные прогнозы удивительным образом сочетались с искрящейся, заразительной бодростью.

— Вы правы, Сергей Леонидович, и мне жаль, что я не удостоился быть здесь в качестве арестанта.

— О, не переживайте! — рассмеялся генерал. — У вас все впереди! А пока вы куда полезнее в качестве тюремщика!

— Это единственное, что меня утешает. Но я, пожалуй, знаю место, где теперь компания не хуже.

— В самом деле? Где же?

— В Тобольске... — проронил Тимановский, вспомнив о судьбе отреченного Царя.

— Да, пожалуй...

Снова повисло молчание. Слякотно было на душе и в природе. Слякотно и безнадежно, несмотря на электризирующую марковскую энергию.

— Нет, Николай Степанович, жизнь все-таки хороша! — точно прочтя мысли полковника, произнес Сергей Леонидович, глядя на играющих в мяч генерала Эрдели и капитана Ряснянского. Мяч как раз упал к его ногам, и был тотчас с ловкостью отброшен обратно мыском сапога. — И хороша — во всех своих проявлениях! — заключил генерал.

Он уже давно не ждал для себя ничего хорошего, а одно только плохое. Но тем больше хотелось втиснуть обратные ожидания в грудь других, внушить веру в лучшее будущее другим — и в первую очередь, славным мальчишкам, что так просто и искренне шли умирать за поруганную Родину в первых рядах. Это их чистой и невинной кровью искуплялись теперь грехи поколений. Так как же не быть для них факелом горящим, не ободрить веселой шуткой, не увлечь своим примером? Таких мальчишек несколько лет наставлял Сергей Леонидович. Правда, и в страшном сне не могло привидеться, что его науку побеждать придется им применять не в боях с внешним врагом, но в неравном противоборстве с озверевшими от крови бандами, некогда бывшими народом.

Новый, в 1918-й год генерал Марков встречал в обществе кадетов и юнкеров. Запросто накрывал с ними стол, по профессорской привычке наставлял в науке служения Отечеству. Хотя этих до срока повзрослевших детей уже не нужно было наставлять. В этой науке многим бывалым офицерам могли они дать большую фору. Однако же, слова генерала ловили жадно, нужны им были слова эти. И, значит, нужно было говорить. И Марков говорил. Первый тост поднял он за гибнущую Родину, за Императора, за Добровольческую армию, которая принесет всем освобождение. Затем воодушевленные юнкера пели бодрое «Братья, все в одно моленье души Русские сольем»... Под этот гимн и встретили 18-й. И когда часы отбили положенное, Сергей Леонидович поднял бокал и произнес:

— Сегодня для многих из нас это последняя застольная беседа. Многих из собравшихся здесь не

будет между нами к следующей встрече. Вот почему не будем ничего желать себе, нам ничего не надо кроме одного: Да здравствует Россия!

Тост оказался пророческим. Совсем скоро закуролесил очередной февраль, грозя загубить с таким трудом начатое дело создания новой армии. Погиб есаул Чернецов, застрелился атаман Каледин, бродило еще не осознавшее опасности большевиков казачество. А большевики напирали, не давая времени сосредоточиться враждебным им силам. В ночь на 22-е февраля Добровольческая армия вынуждена была оставить Новочеркасск.

3689 душ — эта горстка худо вооруженных людей, принужденных экономить каждый патрон, носила гордое имя Армии...

— Здравствуйте, мои друзья! Немного же вас здесь! По правде говоря, из трехсоттысячного офицерского корпуса я ожидал увидеть вас больше... — приветствовал Сергей Леонидович свой Офицерский полк, состоявший из 800 офицеров. И тут же поспешил приободрить последних верных: — Но не огорчайтесь! Я глубоко убежден, что даже с такими малыми силами мы совершим великие дела! Командиры батальонов переходят на положение ротных командиров, ротные командиры на положение взводных. Ну и тут вы, господа, не огорчайтесь: здесь и я с должности начальника штаба фронта фактически перешел на батальон! Не спрашивайте, куда и зачем идем, а то все равно скажу, что идем мы к черту на рога, за синей птицей! Вперед, друзья!

Весь штаб Офицерского полка был сведен до двух человек: доктора Родичева и полковника Тимановского. После захвата власти большевиками он немало поспособствовал побегу быховских узников, порознь добиравшихся до Дона под видом солдат и статских. На Дону в это время уже организовывал Добровольческую

армию генерал Алексеев. Когда Быхов опустел, вслед за бывшими узниками отправился и Тимановский. И вовремя — вскоре по его отъезде Ставка была захвачена большевистским главкомверхом прапорщиком Крыленко. Его подручные подняли на штыки последнего Верховного Главнокомандующего генерал Духонина и убили многих офицеров.

30-летний полковник, выглядевший старше своих лет, с неизменной палкой в руках и трубкой во рту, всегда невозмутимый и чуть насмешливый, он был прекрасен на поле брани. Железный «Степаныч» — это прозвище прилепилось к нему еще со времен деникинской Железной дивизии. Лучшего начштаба пожелать себе Марков не мог.

Два месяца похода — два месяца невозможных подвигов и горчайших жертв. Во всех боях на пути к Екатеринодару мужествовал Офицерский полк впереди других. Где всего бывало тяжелее, туда стремглав мчался Марков. А так как тяжело было везде, то и быть приходилось — вездесущим, поспевать повсюду, затыкать прорывы, останавливать бегущих...

— А мне как раз нужна подмога! — по-суворовски приветствовал он отступавших под натиском врага. — За мной, друзья! — и увлекал их за собой назад в атаку.

Так, чудом отваги и выносливости последних верных, дошли до Екатеринодара. Думали — к гавани спасительной шли, а уперлись в цитадель красную. Чтобы разбиться о ее стены...

Накануне Офицерский полк одержал очередную блистательную победу: была взята станица и станция Георгие-Афипская. Марковцы ворвались в станицу с востока, совместно с другими частями разгромив до 1000 человек красных и захватив до 700 артиллерийских снарядов. Эта победа открыла Добровольцам путь на Екатеринодар. И тем огорчительнее было для Маркова решение Корнилова

оставить его охранять обоз с ранеными, когда другие части пошли на штурм.

Впрочем, Главнокомандующему уже вскоре потребовалось ввести в бой резерв.

— Черт знает что! — на ходу ругался Сергей Леонидович, размахивая нагайкой. — Раздергали мой полк, а меня вместо инвалидной команды к обозу пришили. Пустили бы сразу со всей бригадой — я бы уж давно в Екатеринодаре был!

— Не горюй, Сережа, — ответил на это генерал Романовский, вместе с которым недавно пробирались они на Дон. — Екатеринодар от тебя не ушел...

Три дня штурма не увенчались успехом и привели лишь к тяжелым потерям армии. Тем не менее Корнилов принял решение о новом, решающем штурме. В этом решении было отчаяние человека, поставившего на карту все и игравшего ва-банк. Марков давно заметил, что Верховный будто бы нарочно ищет во время боев наиболее опасные места. Сам он не боялся смерти, но страх за Лавра Георгиевича подчас настигал его в разгар сражения, и он налетал на Романовского:

— Уберите вы его Бога ради! Я не могу воевать, чувствуя моральную ответственность за его жизнь!

— Вот, сам пойд и убери, — хмуро отвечал Романовский.

Никто кроме генерала Алексеева не поддержал решения о штурме Екатеринодара, видя его самоубийственность. Но оба вождя шли на самоубийство, и армия повиновалась.

— Наденьте чистое белье, у кого есть. Будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а если и возьмем, то погибнем, — бросил Марков своим офицерам, возвратившись в расположение полка, и повалился спать от усталости после двух суток боев.

Однако, Бог судил иначе. На другой день неприятельский снаряд угодил в здание фермы, где,

несмотря на все отговоры, находился Главнокомандующий. Один единственный снаряд, попавший туда, убил одного единственного человека. Корнилова...

И, вот, теперь обескровленная армия отступала, уже отчаявшись поймать своенравную синюю птицу. Отступала, оставив в руках врага самое драгоценное — своих раненых и своего убитого Главнокомандующего. Отступала, обложенная со всех сторон, почти обреченная на гибель. Но армия не должна была погибнуть! Армию нужно было спасти во что бы то ни стало! И кому было сделать это, как не тому, кого звали в ней Ангелом-Хранителем?

Через двое суток отступления Сергей Леонидович с несколькими разведчиками в ночной тьме подъехал к переезду недалеко от станции Медведовской. Железная дорога находилась в руках красных, на ней действовали их бронепоезда. Однако, в этот глухой час поездов поблизости не было, лишь в железнодорожной сторожке светился огонек, и раздавались голоса. Марков спешил и, осторожно приблизившись, заглянул в окно. Трое железнодорожных служащих резались в карты, попивая самогон. Генерал сделал знак своим офицером, и те с быстротой молнии ворвались в будку. Железнодорожники не успели и вскрикнуть, как были разоружены и связаны.

— Скажите к полковнику Тимановскому и передайте приказ двигаться вперед и остановиться в двухстах шагах от железной дороги, — велел Сергей Леонидович одному из разведчиков, а затем, сняв папаху, хмуро взглянул на связанных пленников:

— Большевики?

Те не могли ответить, так как рты их были заткнуты кляпами, и лишь в ужасе смотрели на генерала.

— Пристрелить бы вас, сукиных детей...

В этот момент задребезжал телефон, и Марков поспешно схватил трубку:

— Слушаю! Кто говорит?

— Станция Медведовская, — ответили на другом конце провода. — Что, не видать кадетов?

— Нет, все тихо!

— У нас на станции стоят два бронепоезда. Может, прислать один к переезду на всякий случай?

— Пришлите, товарищи, — тотчас откликнулся Сергей Леонидович. — Оно будет вернее!

Повесив трубку, он обернулся к ожидавшим приказаний офицерам:

— Быстро установить два орудия у полотна железной дороги! Будем встречать бронепоезд!

Орудия едва успели расположить по обе стороны дороги, когда гул колес известил о приближении состава. Несколько мгновений, и выбрасывающая клубы дыма из трубы машина надвинулась на переезд. Марков, размахивая белой папахой, бросился к паровозу:

— Поезд, стой! Раздавишь, сукин сын!

— Кто на путях? — окликнул машинист.

— Разве не видишь, что свои?!

Увидели товарищи, остановились родимые! Даже сердце замерло в этот решающий миг! Выхватив гранату у одного из своих офицеров, Сергей Леонидович швырнул ее в топку поезда и, отпрыгивая во тьму, крикнул:

— Орудие — огонь!

Штабс-капитан Шперлинг дернул за боевой шнур, и первая граната с треском ахнула по паровозу. Загалдели большевички по всему поезду! Застрекотали вслепую пулеметы, ища попасть в ненавистных «кадетов». Но этим не сбить было Шперлинга. Вторая граната «добила» уже дымившийся паровоз. В зареве огня замелькали метавшиеся по платформам люди и лошади. Третья граната накрыла платформы...

— Вперед! — скомандовал Марков, выскочив на самое полотно.

— Ура! — откликнулись из темноты добровольцы и со всех сторон ринулись на обездвиженный поезд, закидывая его гранатами, прорубая топорами отверстия в стенах вагонов, взбираясь на крыши и коля, рубя шашками, расстреливая революционных матросов, из которых состояла команда бронепоезда. Это они, революционные матросы, рвали на части своих офицеров на мятежных кораблях, это они, озверевшие от вседозволенности, избивали захваченных в плен раненых, запытывая их до смерти... К этим зверям в человеческом облики не было, не могло оставаться жалости. Команда бронепоезда во главе с комиссаром Подкидышем была перебита до последнего человека.

— Снаряды, — отрывисто бросил Сергей Леонидович, убирая шашку в ножны. — Перегружать снаряды. Повозки сюда!

В предрассветном тумане добровольцы спешно грузили на подводы снаряды. Основные силы армии, между тем, переправлялись через переезд. А на подмогу своим убитым товарищам уже перли другие бронепоезда. Обездвиженное тело сожженного предшественника мешало им подойти вплотную к переезду, и красные спешивались, наступали цепями под прикрытием пулеметов.

— Орудие — огонь!

Раненый в плечо капитан Шаколи, курсовой офицер Михайловского артиллерийского училища, встретил атакующих метким ударом, разметавшим передовые цепи. Еще залп, еще...

Под прикрытием Марковцев армия перешла железнодорожное полотно и таким образом вырвалась из вражеского кольца.

— Отходим! — скомандовал Сергей Леонидович. Пора было догонять своих...

Вскочив на лошадь, генерал, пригибаясь от летящих вдогонку пуль, вместе со своими разведчиками покинул Медведовскую. Вскоре они нагнали колонну Добровольческой армии. Восторженное «Ура!» встречало их. В это утро армия снова поверила в будущее. Почти сломленные сражатели воспрянули духом, их потухшие было с гибелью Вождя глаза вновь загорелись. Просветлели, ободрились осунувшиеся, потемневшие лица. Победа — живая вода для души армии!

Во главе колонны Маркова встречал принявший командование по смерти Корнилова генерал Деникин. Заключив Сергея Леонидовича в объятия, он не без тревоги осведомился:

— Не задет?

— От большевиков Бог миловал, — улыбнулся Марков. — А вот свои палят, как оглашенные. Один выстрелил над самым моим ухом — до сих пор ничего не слышу!

В бою у Медведовской было взято 360 орудийных снарядов, около 100000 ружейных патронов, пулеметные ленты, продукты питания. В этом была жизнь армии, ее спасение. Через несколько дней она вторично благополучно пересекла железнодорожное полотно. Проводив взглядом последнего бойца, Сергей Леонидович, прошел в железнодорожную будку, снял трубку телефона и телефонировал красным:

— Имею честь сообщить, что Добровольческая армия благополучно опять перешла железную дорогу!

В станице Успенской армия, наконец, смогла перевести дух. На первом построении Марков с гордостью оглядел свой Офицерский полк. Многих славных воинов не досчитался он, но не сломлены были души верных, и верой в победу светились их глаза.

— Ныне армия вышла из-под ударов, оправилась, вновь сформировалась и готова к новым боям! —

обратился к своим офицерам Сергей Леонидович. — Но я слышал, что в минувший тяжелый период жизни армии некоторые, не веря в успех, покинули наши ряды и попытались спрятаться в селах. Нам хорошо известно, какая их постигла участь, они не спасли свою драгоценную шкуру! Если же кто-либо еще желает уйти к мирной жизни, пусть скажет заранее. Удерживать не стану. Вольному — воля, спасенному — рай, и... к черту!

— Не желаете ли глоток моей наливки, Александр Палыч? — Тимановский протянул свою флягу продрогшему под проливным дождем и зябко водящему плечами полковнику Кутепову, в недавнем прошлом — последнему командиру легендарного Преображенского полка.

— О, благодарю вас, Николай Степанович! — Кутепов с охотой принял флягу и сразу сделал крупный глоток. Лицо его побледнело и вытянулось, а глаза расширились. Тимановский с трудом подавил смех. Спирт с перцем оказался слишком ядерной «наливкой» для такого трезвенника, как Александр Павлович.

— Черт возьми! — едва откашлялся последний. — От такой «наливки» лошадь сдохнет!

— Лошадь — быть может, — весело откликнулся Николай, закуривая трубку. — Но мы-то, слава Богу, не лошади! А человек — такая скотина, которую спиртом не убьешь. Поверьте, дорогой Александр Палыч, лучшего средства от простуды не существует. Да и от других болезней также!

— Расскажите это нашим эскулапам.

— Не стоит травмировать их хрупкие души!

В отличие от Кутепова Николаю и впрямь спирт был нипочем. Спирт и табак помогали ему заглушать постоянную боль от многочисленных ран, был необходимой анестезией. Голова же при этом оставалась совершенно ясной. Даже слишком... В некоторых случаях, пожалуй, и неплохо было бы замутиться ей и во хмелю освободиться от тяжких дум, дав возможность просто порадоваться веселым минутам жизни. Ему было 33 года, и большая часть этих лет прошли в боях и на больничных койках. А ведь за

пределами их шла жизнь, та самая, которая прекрасна и удивительна!

Когда армия не вела боевых действий, молодой полковник любил собрать у себя друзей, попотчевать их добрым ужином, позвать музыкантов. Он любил музыку, любил петь сам. Боевые товарищи удивлялись, когда «Степаныч» в разгар застолья вдруг затягивал арию или речитатив из «Бориса Годунова» или «Хованщины». В редких паузах между госпиталями и сражениями Николай всегда стремился побывать в Опере, это была страсть и отдушина «железного человека».

Накануне Второго похода Тимановский собрал на ужин своих офицеров. Ласкал слух гитарный перезвон. Только нетрезвые голоса фальшивили... Что ж, нельзя требовать от них дарований Шаляпина или Собинова. И, вот, еще незадача: подкрашенная йодом водка довольно скоро, как бывало обычно, разморила компанию. Лишь сам Николай ни капли не захмелел. Это состояние было чуждо ему, даже если было выпито очень немало. Иные офицеры даже всерьез завидовали такому «таланту» — пить и не пьянеть! Но Тимановскому было скучно, как всякому вполне трезвому человеку, слушающему разговоры людей, изрядно набравшихся...

Утром все опять завидовали «железному человеку». Значение слова «похмелье» было ему также неизвестно. Он был бодр и свеж, как всегда.

Во Второй поход на Екатеринодар Николай вступал в должности командира Офицерского полка, которую принял он от генерала Маркова, получившего под свое начало дивизию. За прошедшие два месяца армия стала куда более многочисленной и сильной. Изведав на своей шкуре кошмар большевистского террора, поднялись на борьбу казаки, из Румынии привел свой полк и освободил Ростов отважный полковник Дроздовский. Те, кто прежде колебался, думал

«отсидеться», пока все «как-нибудь само утрясется», потеряв близких, увидев воочию, что несет большевизм, вступали в ряды армии. Со всей России пробирались на Дон верные...

Тем не менее, тяжело давался и новый поход. Ведь и большевики не сидели сиднем это время, но формировали из своих банд — организованную армию. И находились офицеры-иуды, шедшие в нее на службу. И красные солдаты — пусть утратившие человеческий облик — все же были... русскими. И сражались, как русские — насмерть. А, вот, побеждали и мстили уже не как русские, но как большевики. Русские никогда не смогли бы расправляться с ранеными... Рубить топорами, терзать беспомощных пленников... Жечь на огне раненого полковника Жебрака... Эти существа еще могли умирать, как русские. Но жить, как русские, уже не могли, обратившись в бесов, не знающих человеческой жалости.

Особенно яростно сопротивлялись красные под Кореновской. Эта станица памятна была добровольцам еще по первому походу. Тогда корниловской армии противостояли здесь 10000 солдат противника. Большевики бросали в бой все новые резервы, и атаки добровольцев, резервов не имеющих, захлебывались.

— Сергей Леонидович, кажется придется нам здесь ночевать? — спрашивал Лавр Георгиевич у Маркова.

— Ночевать не будем! — с неизменной бодростью отвечал Сергей Леонидович. И, вот, уже мелькала его белая папаха в самом пекле, под огнем противника перебежками спешил он к передовой цепи.

— Что, жарко?!

— Жара! Да вот патронов нет! — отвечали ему.

— Вот нашли чем утешить! В обозе их тоже нет. По сколько есть?

— Десять, пятнадцать, двадцать... — в разной ответили ему.

— Ну, это еще не так плохо! Вот если одни штыки, то будет хуже. Ну, а теперь в атаку, добывать патроны! — и генерал первым бросился вперед...

Кореновская была взята Марковцами однажды, должна была покориться им и вторично. О непокорную станицу уже разбились при попытке штурма части Казановича и Дроздовского. Истекал кровью и Марковский полк. Наступление захлебывалось, и отдельные слабодушные бойцы начали отступать...

— Господин полковник! Николай Степанович, большевики пытаются обойти нас справа!

— Превосходно! Значит, наш резерв сможет ударить им во фланг! — невозмутимо откликнулся Тимановский на эту тревожную весть.

— Но у нас нет резерва!

Николай Степанович взглянул на только что присланных на позицию новобранцев. Сырье, конечно, толпа, а не войско, даже и стоять-то как следует не умеют, учить и учить... Но учить уже некогда. Учиться придется в бою!

— За мной, друзья! Вперед!

Может и не так задорно выходило у Тимановского поднимать в атаку своих людей, как у Маркова, но не менее действенно. Видя, как он идет в атаку, опираясь на палку, с неизменной трубкой в зубах и полным презрением к свистящим вокруг него пулям, подчиненным становилось совершенно невозможно отстать или тем паче отступить. Они шли за ним, увлекаемые его примером, заражаемые его спокойной уверенностью в грядущей победе.

Кореновская была освобождена. Но недолго пришлось Марковцам радоваться своему очередному триумфу, ибо судьба уже готовила для них весть, в сравнении с которой все неприятельские снаряды казались камнями мальчишеских рогаток...

— Убит генерал Марков!

— Что?!

— Смертельно ранен в бою у станции Шаблиевка!

Ничто не могло заставить дрогнуть полковника Тимановского, но от этого известия покачнулся он, не оперся, а осел потрясенно на свою палку. Марков... Убит... Не вмещалось в голове, не принималось сердцем. Марков — сама жизнь! Сама энергия! Марков и смерть — несовместимо! Стремительный, вездесущий, щедрый на острое слово, с плетью, то и дело взлетающей в угрожающем жесте и со свистом рассекающей воздух, втайне желая достичь спин обозной оравы политиканов, погубившей Россию и продолжавшей путаться под ногами сволочи... Таким вставал в памяти Сергей Леонидович! Пули всегда щадили его, будто бы был он заговорен от них. Он казался бессмертным... «Жизнь тогда и хороша, когда не боишься потерять ее. Не бойтесь пули, предназначенная вам — она все равно везде вас найдет...» — вспомнились небрежно брошенные однажды слова генерала. Его нашла не пуля, а снаряд, буквально выворотивший плечо и грудь, разорвавшись в трех шагах от него...

— «Умираю за вас... как вы за меня... Благословляю вас...» — таковы были его последние слова, — офицер, доставивший роковое известие, не мог сдержать слез.

— Полно... — тихо сказал ему Тимановский. — Он умер за нас, а мы оставлены жить, чтобы исполнять наш долг, как он нам завещал...

Тяжело отошел он прочь, пытаясь справиться с потрясением, которого не должны были заметить в нем его подчиненные. Рука привычно потянулась к фляжке. Глоток, другой... Но без толку! Спирт — хорошее средство от простуды и нитья недолеченных ран, но от горя сердечного он не помогает. По крайней мере, «железным людям»...

Белый цвет... Боль... Смерть... Белая марковская папаха... Белые фуражки марковцев и белые просветы их погон... «Те, кто умирают красиво»... Рыцари Белой дамы, которые неизбежно должны прийти в ее ледяные объятия, исполнив свой долг. Рыцарский орден, воины которого отрекаются от всего во имя Родины... Таким орденом видел свой полк генерал Марков. И мундир полка он придумал сам. Черный мундир — траур по погибшей России. Белая фуражка и просветы погон — вера в ее воскресение. Некоторые офицеры также носили на руке монашеские четки. «Позор страны должен смыться кровью ее самоотверженных граждан», — говорил Сергей Леонидович. И его собственная кровь пролилась теперь во искупление этого позора...

На вечернем построении все офицеры были подавлены. Такого тяжелого удара не ждал никто, и тем горше был он, тем труднее было с ним примириться. Счет к большевикам сделался отныне еще больше, и много больше. Но никакое отмщение, никакая победа не возвратит к жизни умерших, не возместит утрат. Лишь даст успокоение чувством исполненного перед их славной памятью долга. Тимановский шагнул вперед и, оглядев поникнувший головами строй, объявил:

— Приказом Главнокомандующего наш полк отныне будет именоваться в память своего 1-го командира — 1-м Офицерским генерала Маркова полком. Отныне каждый чин полка носит имя первого его командира; не будет с нами генерала Маркова, но он будет жить в сердцах всех нас и незримо вести нас, руководить нами; мы увековечим его память своей жертвенной любовью к Родине, непоколебимым духом, своими делами, пример которых он показал нам; мы в рядах полка его имени будем выполнять свой долг с полной верой, что Россия снова будет Великой, Единой и Неделимой!

Николай Степанович Тимановский пережил своего командира лишь на полтора года. Один из самых награжденных русских офицеров, получивший 18 ранений в трех войнах, он умер от тифа в декабре 1919 года в возрасте 34 лет.

Две клятвы (Николай Меркулов)

Посвящается Сергею Олюнину

В тот октябрьский день 1914 года Александровский лицей был, как никогда, скорбен. С фронта пришла горькая весть — пал в бою первый багрянородный воспитанник лицея, юный князь Олег Константинович, сын любимого всеми Великого князя-поэта Константина Романова. Руководство лицея гордилось тем, что в их стенах наконец-то приобщается к наукам представитель правящей династии. Император Александр Первый, основатель лицея, желал, чтобы в нем обучались его младшие братья — Николай и Михаил. Но осуществлению этого желания помешала грянувшая война с французами, и, вот, только век спустя первый Романов переступил порог лицея в качестве его воспитанника...

Вместе с лицедем скорбело все Царское Село. И скорбел гимназист Коля Меркулов, никогда в жизни не видевший князя, но буквально влюбившийся в его образ.

Он был так прекрасен, этот юный князь! Тонкий, хрупкий, мечтательный... Начинающий поэт и восторженный пушкинист, он первым издал факсимиле гениального автора «Руслана и Людмилы». В нем не было ни капли надменности, но весь он был — воплощенное благородство. Благородство не от мира сего... Почтительный со старшими, ровный с товарищами, внимательный к младшим, Олег был любим всеми. На эту войну он мог бы не идти по слабости здоровья. Но в действительности — разве мог?

Когда все его братья отправились на фронт? К тому же юный князь был славянофил по убеждениям и считал за счастье сражаться за благородное дело спасения братской Сербии, чьей Августейшей дочерью была жена его брата Иоанна...

Остатки грозной Византии,
Постройки древних христиан,
Где пали гордые витии,
Где мудрый жил Юстиниан —
Вы здесь, свидетели былого,
Стоите в грозной тишине
И точно хмуритесь сурово
На дряхлой греческой стене...
Воспряньте, греки и славяне!
Святыню вырвем у врагов,
И пусть царьградские христиане,
Разбив языческих богов,
Поднимут крест Святой Софии,
И слава древней Византии
Да устрашит еретиков.

Эти стихи Олега хорошо запомнились Николаю... И, вот, теперь нет неотмирного князя! Страшное ранение получил он в бою, и обречен был еще жестоко мучиться несколько часов. Передавали, что, когда отец привез ему крест Святого Георгия, страдалец говорил: «Это хорошо, что пролилась кровь царствующего дома! Это воодушевит народ!» Какой жертвенной душой нужно было обладать, чтобы сказать так в тягчайших муках, на пороге смерти!

Меркулов испытывал трепетный восторг перед памятью светлого князя и твердо решил последовать

его примеру — отправиться на фронт! Вот, только годы помеха... Конечно, со всех концов России бегут мальчуганы в действующую армию и изрядно геройствуют, почему бы не последовать их примеру? Тем более, в семье он пятый ребенок, и, значит, не оставит любимых родителей безутешно сиротствовать под старость лет...

В таких размышлениях мальчик шел к Федоровскому собору. Этот величественный храм в старорусском стиле, любимом Императором, был выстроен в Царском Селе недавно. Теперь здесь часто молилась Государыня и Августейшие дети. Меркулов видел их дважды, и всякий раз испытывал чувство глубокого благоговения. Шутка ли сказать, сама царица и старшие царевны облачились сестрами милосердия и ходят за ранеными воинами в открытом в Царском же лазарете?

Однако, не возможностью увидеть Государыню и цесаревен манил Николая Федоровский собор...

Вот, остановился у белоснежного храма легкий экипаж, и из него вышла дородная, пожилая дама и девочка лет одиннадцати в голубом платье и темной накидке...

Ее звали Лидинькой. В Царском она жила с бабушкой и отцом. Впрочем, отец большей частью находился в Петербурге, будучи занят делами службы, а дочь с тещей проводывал лишь время от времени. Впервые Коля встретил Лидиньку весной — вот, в той липовой аллее, что сажал сам Государь подле собора... Был июнь, и липовый дух кружил голову, и ослепительно яркое солнце разбивалось о белоснежные стены храма... И десятилетняя девочка, отбившись от богомольной бабки, о чем-то разговарившейся с приятельницами, радовалась этом торжеству лета. Белое, воздушное платье ее как будто светилось, и она

не шла, а парила, летела над землей... Прекрасное, сотканное из света видение!

Вот, видение склонилось, заинтересовавшись большой нарядной бабочкой, упал на землю ее шелковый платок... Николай мгновенно поднял его и со всей галантностью подал девочке.

Так они познакомились. И с Лидинькой, и с ее бабушкой, Маргаритой Петровной. Суровая старуха отнеслась к мальчику милостиво: прилежный ученик, сын директора гимназии, потомок старинного дворянского рода — такое знакомство было достойно ее милой внучки.

Несколько раз Коля бывал в гостях в доме Бурцевых, пил чай с пирожными вместе с Лидинькой и ее бабушкой... Он даже пытался написать стихи для своей подруги, но с сожалением должен был убедиться в отсутствии у себя даже подобия поэтического таланта.

В теперешние печальные дни Меркулов особенно захотел увидеть Лидиньку, поделиться с нею своим намерением идти на фронт. Она заметила его и через короткое время тихонько выскользнула из храма. Черные, как смоль, косы, черные, быстрые глаза, в ее внешности при всей тонкости было что-то восточное, унаследованное от бабки по отцовской линии, урожденной княжны Грациани.

— Что с вами случилось? У вас такой решительный вид! — спросила девочка, пожимая руки Николая.

— Скажите, Лидинька, чтобы вы сказали, если бы узнали, что я... — Меркулов помялся, — сбежал на фронт?

Потомица грузинских князей резко отдернула руки и слегка побледнела:

— Я бы сказала, что вы... сумасбродный мальчишка!

— Но почему?! — вспыхнул Николай, уже начинавший представлять себя героем.

— Потому что на фронте нужны солдаты. И офицеры. А вы? Что умеете вы?

— Я научусь!

— Где и когда вы собираетесь учиться? На фронте? То-то обрадуются там подмоге, которую всему надо учить!

Меркулов потупился. Он чувствовал, что девочка права, но признать это было обидно.

— Вы говорите, как ваша бабушка, — заметил он.

— А вы как ребенок, — сердито отозвалась Лидинька. — Поклянитесь мне, что ничего подобного не сделаете! Сейчас же поклянитесь, или вы не друг мне больше, — голос ее задрожал от волнения.

На душе у Меркулова внезапно потеплело, и он лукаво улыбнулся:

— А знаете, по-моему, вы просто не хотите, чтобы я от вас уезжал!

— Вот еще! — фыркнула девочка, пряча глаза. — Вздор какой! Но... вы клянетесь или нет?

Меркулов помолчал, прислонился спиной к роняющей золото листьев липе, и, глядя на тусклое осеннее небо, едва окрашенное робким солнцем, ответил:

— Я клянусь вам, Лидинька, что не сбегу теперь. Вы правы, это было бы мальчишеством... Но себе я клянусь в другом: как только я окончу учебу здесь, то тотчас поступлю в одно из военных училищ, чтобы стать офицером. И, вот, когда я буду знать и уметь все необходимое...

— Война уже закончится! — радостно рассмеялась девочка, кладя руки на плечи Николая. — Правда, — добавила она смущенно, — мне было бы очень страшно, если бы вы отправились туда... Я не хочу, чтобы вас убили, я хочу, чтобы вы жили долго-долго... И были очень счастливы...

Сказав это, девочка вдруг коснулась щекой его плеча, а затем резко отстранилась и, не говоря больше ни слова, бегом бросилась к храму. Уже у самой лестницы она обернулась и крикнула:

— И помните, вы поклялись мне!

Свою клятву Коля Меркулов сдержал. Еще два года он учился в Николаевской гимназии, успев получить начальную подготовку. Весной 1916 года в газетах появились объявления о приеме по конкурсу аттестатов в младший общеобразовательный класс, соответствующий 4-му классу кадетских корпусов, открываемого в Севастополе Морского кадетского корпуса. Возраст: от 13 до 15 лет, предварительный строгий медицинский осмотр, число вакансий — 125.

— Лидинька! Я подаю аттестат в Морской кадетский корпус!

Было 5 апреля... День ее именин...

Дрогнуло еще более похорошевшее за два года личико, но на сей раз ей нечего было возразить. Поступление в корпус уже не назовешь ни сумасбродством, ни мальчишеством.

— Какой же вы... упрямец...

— Вы не можете упрекнуть меня, я сдержал слово и не сбежал! — улыбнулся Николай и, видя расстройство именинницы, постарался утешить ее: — Полно! В корпусе ведь мне еще придется учиться! А за это время...

— ...война кончится, — тихо dokonчила девочка. — Как было бы хорошо, если бы она действительно кончилась. Я хочу, чтобы вы жили долго-долго. Поклянись, что так и сделаете! Поклянись сейчас...

Николай никогда не умел возражать этому требовательному голосу, этим серьезным, таким же требовательным глазам.

— Я клянусь вам в этом, Лидинька!

В тот вечер он танцевал с нею практически один к досаде других бывших на празднике мальчишек. А утром посыльный доставил ему «от Бурцевых» коробку, в которой оказались чернильный прибор и толстая стопка почтовых открыток. Приложенная записка гласила:

— Зная, что литература не ваша стезя, я не ожидаю пространных писем, но посылаю вам эти открытки и надеюсь получить их назад все до одной с сообщениями о том, как идет ваша учеба.

В Севастополь переводили кадетские роты из Петербурга. Здесь, в городе русской морской славы, постигать морское дело на практике можно было целый год. Выросшему на севере Меркулову в диковинку были южные красоты и изобилие во всем: красках, солнечном свете, тепле, прямо на улицах растущих лакомствах...

В Севастополь прибыли на поезде, с вокзала путь шел на Екатерининскую улицу в строительную канцелярию, а оттуда на Минную пристань, где будущих кадет для доставки в корпус ожидал пароход «Алушта». Новый корпус был только что отстроен и являл собой шедевр архитектурного искусства. Красивый и оригинальный белый трехэтажный дворец из инкерманского камня, внутри — просторные, светлые залы, церковь, плавательный бассейн... Над крышей — астрономический купол. От пристани до верхней площадки вела широкая каменная лестница в несколько сот ступеней.

Корпус получил имя Наследника Цесаревича, ставшего его Шефом. По случаю этого погоны кадет к их немалой гордости украсили вензеля Алексея Николаевича. Открывался корпус в день его тезоименитства — 5 октября. Отец Георгий Спасский, преподававший кадетам Закон Божий, отслужил молебен в корпусной церкви, освященной в честь

святого Павла Исповедника и Алексея митрополита Московского. По окончании молебна командующий Черноморским флотом легендарный адмирал Колчак, прославившийся своими полярными экспедициями и доблестной службой на Балтике, обратился к воспитанникам с речью. Обводя будущих моряков орлиным взором, Александр Васильевич наставлял их, что надо учиться и хорошо себя держать, чтобы в будущем стать знающими свое дело офицерами и быть достойными преемниками своих предков — орлов-черноморцев.

Бодро и весело начиналась учеба в корпусе. Юные кадеты тратили карманные деньги на сладости, которые продавала им добродушная жена каптенармуса, и шутливо «приволакивались» за дочерью экономки Киной... Чувство настоящего братства и молодой безудержной силы, жажда подвигов и уверенность в скорой и неизбежной победе, все это создавало атмосферу замечательную, и Николай ни единого мига не пожалел, что променял мирный уклад Царского на доселе незнакомое ему морское дело.

Одного только и не доставало здесь: Федоровского собора, липовой аллеи, небольшого домика, обрамленного аккуратным, во все время, кроме зимы, цветущим садом, тоненькой, темноволосой девочки с быстрыми, требовательными глазами.

Он честно отослал ей все ее открытки — до Рождественских каникул. А каникулы те как одно мгновение пролетели! Но как же чудно и чудно было после севастопольского тепла окунуться в русскую зиму — с хрустящими морозами и искристыми снегами!

Вот, летит по этим подвенечным снегам пегая тройка Лидинькиного троюродного кузена Поля, а в санях, кроме него, сама Лидинька, жена Поля, Ася, и

Николай. Лицо Лидиньки покраснелось на морозе, платок сбился набок, угли-глаза горят восторгом:

— Ну, быстрее! Еще быстрее! — кричит она.

Поль смеется, сильнее нахлестывает коней, отмахиваясь от робких укоризн своей осторожной жены. Поворот и... сани все-таки опрокидываются, выпрастывая седоков в пушистые сугробы. Где-то, как будто далеко, стонет и сердито выговаривает мужу за лихость Ася, оправдывается и успокаивает ее незадачливый возница... Но все этот тонет в заливистом серебристом смехе Лидиньки. Неожиданно для себя Коля поцеловал ее в щеку. Она замерла на мгновение, а затем, снова хохоча, бросила в него снегом. Он не остался в долгу... И, вот, уже носились они по сугробам, бросая друг в друга снежками, бесконечно счастливые в этой детской забаве...

10 января Меркулов вернулся в корпус. Счастливой жизни оставалось ему и его товарищам и командирам менее двух месяцев. В начале марта был оглашен манифест об отречении Императора от престола. Государь отрекся также за своего сына. А следом сложил со своих плеч груз власти и царский брат Михаил...

Всего постыднее было в те дни спарывание вензелей Цесаревича с кадетских погон. Закипали слезы бессильного негодования на эту несправедливость! Свои вензеля Меркулов сохранил — зашил во внутреннем кармане на груди. С ними и возвратился в Петроград с приходом летних каникул.

Своей дорогой подруги в Царском Николай не застал. Девочка уехала погостить у родни в Тифлисе. Потускнело, запустело Царское Село... Не было в нем больше черноволосой Лидиньки. А в Александровском дворце, под стражей, томились царственные узники. Несколько раз проходил Меркулов вдоль ограды парка,

надеясь увидеть кого-нибудь из них, но тщетно. Не желало сердце мириться с этим бессовестным поруганием... Как возможно это? Как возможно, чтобы мальчик-наследник, кумир всех кадет, был арестован, взят под стражу, терпел оскорбления тюремщиков? Как возможно, чтобы сестры его, с такою смиренной щедростью расточавшие себя на чужое горе, врачевавшие раны увечных воинов — были теперь пленницами? И никто не защитил их! Никто не заслонил собой... О, если бы мог Николай! Он бы... Он остался бы подле них, он защищал бы их до последней капли крови... А Царь? Этот кроткий Царь с ласковыми, ясными глазами... И Царица... Такая несчастная, с таким неизменно скорбным лицом, точно наперед знала беду... Птица Сирин в кругу дочерей-Алконостов...

Что с ними со всеми будет? И что будет — с Россией?..

А Россия рушилась на глазах. По возвращении в Петербург Меркулов был потрясен всем. Улицами, вдруг ставшими грязными, залузганными семечками, заплеванными. Неряшливым видом матросов и солдат, и тех несомненного вида девиц, что бывали с ними. Но больше всего — жуткими рассказами о том, как убивали офицеров... Просто так. Среди белого дня. Просто за то, что на них были погоны... А что творилось на Балтике! Сколькие офицеры во главе с адмиралом Непениным были растерзаны озверевшими матросами!

Прежде матрос в восприятии Николая неизменно ассоциировался с теми славными молодцами, что бились на бастионах Севастополя, с Кошкой, с другими нахимовскими храбрецами. Что же это поделалось такое, что теперь матрос — это не то? Это что-то много-много более страшное, чем всякий супостат? Зверь, утративший обличье человеческое, пулеметными лентами и оружием увешанный и жаждущий крови? Страшно!

И на фоне всего этого страшного и подлого не мог понять Николай восторженности многих людей. Иные рукоплещут Керенскому. Барышни даже до обмороков доходят, да и поэты, Пастернак, Мандельштам, близки к тому. И ладно бы они! Но убеленный сединами Куприн? Чем его покорила этот фигляр дешевых подмостков?

А, впрочем, клонилась уже к закату его истеричная слава, уже иные паяцы развлекали толпу... Фабрики — рабочим! Землю — крестьянам! На балконе захваченного каким-то самозванным советом дворца Кшесинской извивался всем коротеньким телом вертлявый лысый человечек, бросая в сгрудившуюся внизу толпу визгливо-картавые лозунги.

— Bravo, Кшесинская! — заорал Федька Юрасов, с которым в этот день бродил Николай по городу.

— Bravo, Кшесинская! — поддержал он товарища, чувствуя, как закипает молодецкий задор в крови.

— Вы чего это разорались? — понадвинулся на них оказавшийся рядом пролетарий. — Вот, я тебе сейчас покажу Кшесинскую! — засучил он рукава, припечатал срамным ругательством.

Пришлось задать лататы господам кадетам. И хоть и противно было бежать от какого-то чурбана, да уж лучше так, чем угадать воронами в ошип!

— Слушай, Юрась, а кто это был-то?

— Да, говорят, какой-то Ленин...

В Севастополь кадетам возвратиться не пришлось. Осенью обучение продолжилось уже в Петербурге, где из прибывших в столицу севастопольцев была сформирована 6-я рота... Занятия продолжались по расписанию, но все труднее было сосредоточиться на них — что-то неумолимо, неотвратимо роковое надвигалось, и не чувствовать этого не могли даже в младших классах.

В корпусе все труднее становилось с продовольствием. Ароматная белая булка, столь обыденная в прежнее время, стала теперь лакомством... Не лучше обстояло дело с корреспонденцией, и это особенно тяготило Николая, долгими неделями не имевшего вестей от своей Лидиньки. Не стало прогулок... Не стало парадов... Строевой подготовки... В октябре прямо напротив окон училища стал на якорь крейсер «Аврора»...

Холостые залпы этого прежде славного судна, ныне, как и многие иные корабли, обогранные кровью своего убитого матросней командира, возвестили начало эры большевизма. С плеч кадет исчезли дорогие белые погоны, все звания упразднились и были заменены одним — «военный моряк». В училище тотчас образовались непонятные комитеты, ставшие целыми днями заседать в Столовом зале, клеймя само училище и его «старорежимных» преподавателей «кровавым насосом» и «осиным гнездом». Наконец, в этом славном зале стали устраивать народные «балы», на которые потянулась все та же матросня, дезертиры, гулящие девицы и прочая праздная публика. Подле зала для них были организованы «кубрики счастья»... Вся эта орда нахально забиралась на палубу брига «Наварин», на пьедестал статуи Петра и... лузгала, лузгала семечки, заплывавая все вокруг.

Январской ночью, тайком от педагогов, в этой зале кадеты провели свой последний «парад». Один из них восседал у пьедестала великого Императора с трезубом в руках и короне на голове, изображая Нептуна. Прочие, в галстуках на бедрах, портупелях на голых телах и фуражках, чинно маршировали перед ним.

— Отвечать, как морскому Богу! — требовал «Нептун».

И кадеты замирали перед ним по стойке «смирно».

Той ночью было весело и горько одновременно. Разъезжавшееся на каникулы нептуново войско чувствовало, что собралось вместе в последний раз. Чувствовал это и Николай. Даже знал определенно. Пребывание в училище тяготило его. И не столько из-за новых порядков, проникавших в него, но из-за того, что все это учение казалось бессмысленным на фоне заживо разлагающейся страны. Нужно было что-то делать! Куда-то ехать, спешить! Спасать Отечество! А не сидеть за партой, делая вид, будто ничего не изменилось... Ведь изменилось — все! И ничего уже не будет как прежде!

Меркулов еще не знал, куда именно стремиться ему. До Петрограда доходили слухи о том, что на Дону формируется против большевиков новая армия. Но до Дона — как добраться в царящем хаосе?

— Из Петрограда сперва уйти надо, — говорил Юрасов. — А там, разузнав, где теперь русский флаг реет, туда и пробираться. Хоть вплавь, хоть пешком, хоть на карачках ползком...

Перво-наперво решили пробираться в Гельсингфорс, где жила тетка кадета Брауна. Условились отправляться втроем сразу по Рождестве — через Финский залив... Когда решение это было принято, на душе у Меркулова впервые за несколько месяцев воцарилось то неколебимое спокойствие, которое рождает уверенность в правоте избранного пути. Накануне праздника он говел и с особым чувством исповедовался добродушному о. Чуеву. Впрочем, даже ему, кадетскому духовнику, не раскрыл он своих с Юрасовым и Брауном намерений. Ведь не грех задумали они, а дело благое, значит, и нет греха «сокрытия на исповеди»...

Звонящая морозная тишина, стоявшая в снежные рождественские дни, также вносила необычайное умиротворения в душу юноши. Однако, умиротворение

это было разрушено аккурат в канун дня, избранного тремя кадетами для осуществления своего плана. В этот день прочие воспитанники разъезжались на каникулы по домам, а отважная троица собиралась отбыть совсем в иные пенаты.

Накануне, уже в сумерках, из Царского приехал посыльный с письмом... Руки Николая дрожали, когда он распечатывал конверт. Три месяца он не имел вестей от нее! Три долгих месяца — после того, как в последнем письме сообщала она, что скоро возвращается домой, т. к. нужна бабушке, чье здоровье стало ослабевать.

«Милый мой гардемаринчик! Как же бесконечно я соскучилась по Вам! Гранмама непременно упрекнула бы меня за непозволительный тон в обращении к молодому человеку, но мне сейчас совершенно все равно! К тому же я ведь точно знаю, что Вы не упрекнете меня!

Николенька, Вы не поверите, и сама я едва верю этому, но я — в Царском! Я наконец-то дома! Господи, мне казалось, что я уже никогда не увижу ни моего дома, ни сада, ни нашей с Вами аллеи, наших лип, Федоровского собора... Вас, Николенька!

О, я теперь совсем не та, что прежде... Я столько пережила за эти последние месяцы! Я почти умерла... Мы выехали из Тифлиса в начале октября. Революционная езда — можете ли вы вообразить себе, что это такое? Эти полупьяные оравы дезертиров, оккупировавших все поезда — даже крыши их! Николенька, я не могу свыкнуться с мыслью, неужели это — наши солдаты? Те чудо-богатыри, которыми мы восхищались, за которых молились? Не верю! Не верю!..

Но не о том речь, у меня мысли путаются и, может быть, легкая горячка... Мы все ехали, ехали... Подолгу сидели на каких-то станциях, потом ехали вновь... А потом я заболела. Тиф! Мои волосы были безжалостно

острижены... Можете ли вы представить себе меня без моих кос? Я теперь похожа на мальчишку! Мне бы пошел Ваш мундир! Дадите мне поносить Вашу фуражку?

Мать ли покойница умолила за меня Господа, не знаю, но я поправилась и в Рождество — о, как я мечтала и спешила успеть домой именно в Рождество! — добралась до Царского... Знаете, Николенька, я готова была на коленях стоять, целовать снег моего дорогого Царского — от восторга, что я дома!

А теперь я жду видеть Вас! И все-все рассказать Вам... И узнать, наконец, как Вы? Что Вы? Я сохранила все Ваши открытки, знайте!

Не совершили ли вы какого-нибудь сумасбродства? Помните обещание, что Вы мне дали когда-то? Вы должны жить долго-долго, Николенька, должны сберечь себя... Я много страшного увидела и услышала, пока ехала. Но я не хочу теперь об этом... Ведь теперь Святки... И Вы приедете на каникулы, и пусть хоть мгновения все будет так, как было прежде!»

Николай благоговейно прижал письмо к губам, стараясь уловить его аромат и представить себе ту, что писала его — повзрослевшую, с остриженными косами... Маленькую прекрасную женщину... Слезы струились из глаз юноши. И как чутко угадала она, почувствовала, что замыслил он очередное сумасбродство!

Его первым сердечным движением было теперь же мчаться в Царское. Ведь он так долго ждал этой встречи! Но как же Браун и Юрасов?.. Ведь им же не объяснишь всего... Да и не поймут. Так и встало перед глазами строгое лицо Брауна:

— Отечество, товарищество — ничто для вас, Меркулов? Только мазурки и барышни на уме?

Паша Браун — лучший гардемарин 6-й роты, отличник, аккуратный и педантичный во всем, он

искренне презирал тех, кто в столь тяжелые для России дни находил допустимым развлечения, радости жизни и прочую «чушь». Он считал, что пока хмари над любимым Отечеством не рассеются, лишь одно чувство, одно стремление, одна мысль должна быть у всех — служение России, спасение ее. Николай и весельчак Юрась искренне восхищались волей друга и немного побаивались его.

Впрочем, Федю Юрасова в такой щекотливой ситуации нужно опасаться пуще Брауна... Непременно скорчит рожу и прокозлоголосит:

— Нас на бабу променял...

Покраснел Меркулов, как жаром обдало! А ведь они правы будут, и Юрась, и Пашка... У всех свои обстоятельства, свои чувства, и если каждый будет в угоду им жертвовать долгом, то что же будет? Пожалуй, будет именно то, что теперь происходит: солдаты, забыв о долге, дезертируют с фронта, офицеры — надевают красные банты и братаются с революционерами...

Нет-нет, он не имеет права стать дезертиром, предать своих друзей, забыть свой долг. Он исполнит его, а потом, если Богу будет угодно...

Быстро достав лист бумаги, Николай написал Лидиньке ответ, в котором сообщал, что утром покидает Петроград, чтобы сражаться за Россию. Жребий был брошен, и дороги назад не было.

Когда училище погрузилось в царство Морфея, три тонкие фигуры, крадучась, прошли в Столовый зал и преклонили колена перед статуей Императора Петра.

— Благослови, великий Государь, защищать Отечество от супостата, как защищал его ты! — негромко произнес Браун. — Клянемся, что не посрадим ни знамен святых, ни нашего корпуса. Клянемся, что будем биться до последнего вздоха — за Россию!

— За Россию! — эхом повторили Меркулов и Юрасов.

— Канальи! Истинные канальи! — зло ругался капитан Лаврецкий, попыхивая неизменной трубкой. — Ведь могли же, могли же дать они больше оружия! Больше обмундирования! Тогда бы мы поставили под ружье не эти жалкие 20, а... хотя бы 100 тысяч добровольцев!

20 тысяч штыков — это все, что удалось собрать и экипировать генералу Юденичу к осени 1919 года. 20 тысяч против многотысячного советского войска, собранного для обороны Петрограда... Иные старые офицеры качали головами: авантюра! Но разве Бог не на стороне отважных? Разве сам Суворов не был подчас неисправимым «авантюристом»? А Николай Николаевич Юденич заслуженно прозывался Суворовым Великой войны. Старый лев не проиграл ни одного сражения, и уже это служило порукой успеха.

Меркулов свято верил в этот успех и изнывал в ожидании наступления. Ему уже снилось родное Царское... Родительский дом, Лидинька... Что-то там теперь, в Царском? Невелико расстояние, а не узнать...

В Петрограде свирепствовал голод. Зная об этом, Юденич заботился не только об экипировке армии, но и о запасе продовольствия, которого должно было хватить, чтобы накормить умирающую от голода столицу. Это должно было сразу обеспечить белым поддержку населения. Необходимый ресурс в гражданской войне! Она бушевала уже два года, заливая Россию кровью... На Дону погиб в бою юный рыцарь Паша Браун. Ему было пятнадцать лет... Много их, кадетов, гимназистов предпочли шинельное сукно мягкой постели родительских домов. За Россию!.. Теперь — это очевидно было каждому — приближался решительный час в ее судьбе. С Юга к Москве шли славные полки генерала Деникина, из Сибири надвигались доблестные рати Колчака. А здесь, на

северо-западе Юденич принял решение идти на Петроград. Дольше ждать было нельзя.

План командующего был до отчаяния дерзок. Сбить противника с толку отвлекающим маневром, а самим ударить по кратчайшему пути на столицу! Достичь ее в несколько дней, пользуясь смущением неприятеля, перекрыть все пути сообщения, дабы красные не могли подтянуть подкрепления, и организовать оборону силами свежепримкнувших добровольцев из рядов освобожденного населения. Оружие и амуницию добывать в бою. Больше его в достаточном количестве взять неоткуда. Недаром бранился Лаврецкий и другие на союзников. Они помогали, но как бы нехотя, едва-едва поддерживая жизнь армии. Да еще и двуличные эстонцы начали какие-то сношения с Совдепом... Им важно было лишь одно — их независимость, а общее дело рассматривалось в ракурсе полезности оногo основной цели. Тем тяжелее была зависимость армии и ее главкома от союзнических подачек.

— Помяните мое слово, господин гардемарин, эти союзнички еще ударят нам в спину, — мрачно прочил Лаврецкий. — Иногда мне кажется, что вся их помощь нам — это такая игра... Им ведь вовсе не нужна наша победа. Не нужна воскресшая из пепла великая Россия, единая и неделимая. Правда, и Советы пугают их. И, вот, они поддерживают нас так, чтобы мы могли сопротивляться, но не могли победить.

— Зачем им это? — недоуменно пожал плечами Николай.

— Чтобы продолжалась эта бойня, господин гардемарин... Как можно дольше. Чтобы русские убивали русских, а Россия оставалась гниющим трупом, на который слетаются, радуясь поживе, стервятники.

— Полно, господин капитан! Скоро снова поднимется русский флаг над Петроградом и Москвой, и

тогда не будет поживы никаким стервятникам! — раздался бодрый голос подошедшего Юрася.

Он очень повзрослел за этот год и выглядел уже совсем мужчиной. Николай немного завидовал ему, стесняясь детской нежности собственного лица...

— Надежды юношей питают... — проронил Лаврецкий и отошел в сторону — там г-да офицеры намеревались сразиться в преферанс.

— Какой все-таки мизантроп! Похож на чеховского Соленого! Нет, ей-Богу! — Юрась фыркнул. — Разлившаяся желчь на двух ногах!

— Но в одном он прав. Союзники — порядочные мерзавцы...

— Ну, чухонцы-то без сомнений, — согласился Юрасов. — А хочешь ли, Николаша, новость?

— Валяй, — махнул рукой Меркулов.

— Завтра будет приказ о наступлении.

— Врешь!

— Ей-Богу! Так что потрепем большевичков по загривкам. Кстати, готовься спешиваться, говорят, пути у Ямбурга уже испорчены, поэтому бронепоезда в деле участвовать не будут.

В последние месяцы Меркулов служил в команде бронепоезда, носившего гордое имя «Адмирал Колчак». Однако, если не считать этого дорогого сердцу имени, Николаша ни мгновения не сожалел о предстоящей смене рода войск. Он и сам думал просить о переводе, желая сражаться с противником лицом к лицу. Худо лишь, что при скудости своего вооружения теряет армия и это подспорье.

Армия выступила в поход 28 сентября. Стремителен был этот марш отважных! На подступах к Ямбургу добровольцев встречал ураганный огонь красной артиллерии. То там, то здесь падали снаряды, вздымая фонтаны земли и оставляя огромные рытвины на еще

совсем недавно безмятежных полях. Эти черные ямы казались ранами на теле еще обряженной травянистым платьем земли...

На счастье, били большевистские орудия «в молоко». Они перепахивали окрестные поля, но лишь редкие снаряды попадали в дорогу. Командование особенно беспокоилось о сохранности нескольких английских танков. Попади красные артиллеристы по ним, и это стало бы невосполнимой потерей для маленькой армии!

На временном деревянном мосту через реку Лугу красные заняли оборонительную позицию. Здесь были сосредоточены значительные силы пехоты, поддерживаемые артиллерией, броневыми автомобилями и бронепоездами, укомплектованными матросами Балтийского флота и вооруженными 102-миллиметровыми морскими орудиями. Сам мост был прикрыт кольцевым окопом, пулеметы которого держали верхние обшивки моста под перекрестным огнем.

Сплошной огонь противника заставил добровольческие цепи залечь. Яростно чертыхался Юрасов, легко раненый пулей в руку. Под шквальным огнем не было возможности даже перевязать рану. Тут же курил свою неизменную трубку Лаврецкий, привыкший смотреть в глаза смерти с равнодушием истинного фаталиста. За плечами капитана была Германская война, на которой он был трижды ранен, и теперь, сильно припадая на правую ногу, не мог передвигаться без трости.

Серые хмари осеннего неба готовились принимать души во поле брани убиенных. Моросил мелкий противный дождь. Сыро, холодно лежать брюхом на расквашенной земле, слушая жужжание шмелиного роя пуль над головой. А главное — досадно! Там, в каких-то считанных шагах лежит Ямбург! А армия теряет

драгоценное в наступлении время! Нужно взять этот мост! Выбить с него противника!

Однако, никто не стремился броситься на харкающие огнем пулеметы. Ударный танковый батальон застыл в ожидании...

Николай обернулся, оглядел застывшие цепи и... с каким-то диким, отчаянным криком «ура!» вскочил на ноги и бросился вперед. Он не узнавал своего сорванного, вдруг охрипшего голоса. И не слышал раздавшихся позади криков — Юрасова, командира батальона лейтенанта Камчатова, других...

— Николаша, куда?! Стой! Убьют, дурак!

— Назад, Меркулов! Назад!

Эти крики потонули в свисте пуль, были заглушены стуком собственного сердца юноши. Он бежал вперед, упоенный неизъяснимым восторгом своей безумной атаки, и смерть не страшила его теперь.

— Ура! Вперед! За Россию!

Не с этими ли словами пал в далеких донских степях кадет Павел Браун? Будь спокоен, Паша, твои друзья исполнят клятву также доблестно, как и ты...

Меркулов не оборачивался назад до тех пор, пока его безрассудный порыв — всем смертям и пулеметам назло — не вынес его прямо на лужский мост. И был немало удивлен, обнаружив следующего за ним капитана Лаврецкого... Контуженный в ногу офицер просто шагал вперед, словно не было сплошного огня неприятеля, словно бы он был вовсе один... Словно... Только шашка его разила убийственно. И в ударах ее было то же жесткое хладнокровье. И хотя Николаю некогда было изучать стиль капитанова боя, все же успел он заметить лед глаз на каменном лице. Здесь не было горячки сражения, не было никаких эмоций. Казалось, что Лаврецкий просто делал свою работу. А работа эта была — убивать врагов.

Их двоих, конечно, изрубили бы, если бы следом уже не неслись вдохновленные двумя храбрецами и поднявшиеся в атаку роты.

— За Россию! Ура!

Лих был удар, откатились не привыкшие еще к дисциплине красноармейцы прочь с моста, а иные и руки подняли — насильно мобилизованные, мол, не погубите!

Задыхаясь от восторга, Николай остановился на противоположном берегу реки. Ямбург был взят! И он, кадет Меркулов, первым из добровольцев ступил в него! Как гордилась бы им теперь Лидинька! А, впрочем, наверняка пожурила бы, напомнив то давнее гимназическое обещание.

— Кадет Меркулов, за ваш подвиг я представлю вас к чину прапорщика! — объявил лейтенант Камчатов, широко улыбаясь и пожимая Николаю руку.

Все кружилось перед глазами юноши. Подбежавшие добровольцы стали качать героя...

Этот славный день омрачило лишь одно. «Союзники»-эстонцы спешно принялись натягивать колючую проволоку, обозначая границу своего молодого государства. И видя это, Меркулов подумал, что кое-чем Лаврецкий прав — такие «союзники» легко могут ударить в спину.

Вечером Николай навестил в лазарете Юрасова.

— Ну ты молодец! — воскликнул тот. — Герой! Я бы так не смог... Хотя кабы не моя рана... Вторым бы точно я на мост ворвался, а не Лаврецкий! Вот уж от кого не ожидал... Встал и пошел себе, насвистывает! Но ты-то, ты как решился? Уверен был, что убьют тебя... Ведь на самые пулеметы шел! О чем ты думал-то?

— Я не думал, — честно пожал плечами Меркулов. — Я просто чувствовал, что должен идти, вот и все.

Северо-Западная армия стремительно приближалась к столице. Ужасался Николай — во что только способно превратить большевистское владычество цветущие города! Голод, нищета, грязь, страх — вот, что встречали добровольцы на освобождаемых территориях. То, что рассказывали их жители не укладывалось в голове.

В Петрограде мор, едят похлебку из картофельных очистков, а «чай» пьют — из морковных... Едят падаль... Едят все, что можно и нельзя съесть... XX век! Столица — еще вчера только! — величайшей империи мира! Умирает от голода... И в этом аду рыскает чрезвычайка, забирая всех, кто внушил ей подозрения...

Никакой Торквемада, никакая инквизиция не смогла бы породить того кошмара, который в XX веке учинили Дзержинские и Урицкие...

Наступление добровольцев вызвало ужесточение террора.

В Гатчине исхудавшая женщина с каким-то навсегда испуганным, застывшим взглядом монотонно рассказывала, как расправлялись с ее соседями.

— Им дали лопату, чтобы они рыли себе могилу, а потом сбросили... Они умоляли, чтобы их сперва расстреляли, не закапывали живыми...

Но закопали. Живыми...

Холодела душа от мысли: а в Царском что?.. А мать с отцом?.. А Лидинька?..

И каждый миг промедления в походе казался вечностью, казался чем-то недопустимым. Ведь в этот миг красные изверги тащат к очередному расстрельному рву очередных жертв! Добровольческие победы оплачиваются головами заложников... Заложники! Вот кто есть теперь жители подъяремной России! Вся Россия — под властью большевиков — заложница!

В Гатчине застала армия писателя Куприна, тотчас присоединившегося к ней и взявшегося за выпуск ее газеты. Должно быть, теперь уже не казался Александру Ивановичу Керенский этаким Богом посланным России Иваном-Царевичем...

В нормальной войне наступающая армия может разжиться провиантом и фуражом, а на северо-западном фронте все иначе, здесь провиант нужен освобождаемым! Провиантом, как говорили, забиты склады в Ревеле — Юденич немало старался для этого. Но не успевалось поставлять вовремя. И за всем уследить не успевалось! А дисциплина в революционных вихрях расшаталась не только у красных...

Казалось бы, имея во главе армии целого «Суворова Великой войны» — возможно ли даже помышлять о своеволии? Раньше и не было бы возможно. А теперь генерал Ветренко по взятии Гатчины в нарушение приказа, вместо того, чтобы перекрыть железную дорогу на Москву, ринулся вперед к столице! Первым войти! Лавры освободителя Петрограда надеть! И что в итоге? До Петрограда, понятно, не дошел, а красные подкрепления в тыл армии пропустил...

Но все-таки, все-таки близилась столица! Считанные версты остались до нее! Еще самую малость поднапрячься, еще рывок — и в дамках! И шабаш красному владычеству, шабаш кровавому террору...

Наконец, настал долгожданный день — добровольцы подошли к Царскому Селу. Обороняли его против ожиданий красные курсанты. Горько было от этого! Ведь это не матросы-«братишки», крови напившиеся, а мальчишки... Но и не мобилизованные, а, значит, сражаться будут за идею, не жалея живота... И за какую же идею будут отданы эти юные жизни? За безбожный антирусский интернационал? За товарища

военмора Бронштейна-Троцкого, руководившего обороной Петрограда?

Курсанты рассыпались цепями перед парком у изгороди. Они не стреляли, а старались задержать бегущих красноармейцев. В ворота выкатили единственную трехдюймовую пушку, которая стала бить прямо по шоссе.

Англичане на штурм Царского отжалели целых два танка... Они некоторое время шли вместе с наступающими частями, но, едва красные открыли огонь из своей пушки, проворно развернулись и поползли назад! Одному из них успел преградить путь своей лошадью генерал Пермикин. Но напрасно, англичане закричали на ломаном русском, что у них нет снарядов...

Бегство танков немало воодушевило обороняющихся. Они затворились за высокой чугунной оградой Царского и оттуда крыли огнем добровольческие части.

Ерзал Николай, лежа в цепи. Уже не в верстах, уже в считанных шагах был от него родной дом! Там, за этим забором, каждая улочка, аллея с детства знакома — кажется, завяжи глаза, вслепую бы отыскал и отчий дом, и гимназию, и собор Федоровский и... Она так и стояла перед ним теперь — быстроглаза девочка с длинными черными косами. Он так и не увидел ее без них, повзрослевшую... Должно быть, теперь отрасли они вновь, а сама Лидинька стала красавицей-барышней. Совсем скоро Николай увидит ее. Вот, удивится она, узнав, что освободить ее пришел именно он. И переменам в нем удивится. Ведь она помнит его мальчиком-гимназистам, а теперь в свои 16 лет он уже офицер и герой.

— Да не ерзайте вы, Меркулов, — раздался голос Лаврецкого. — Хотите добрый совет? Не пытайте судьбу и не искушайте Бога дважды. Предоставьте на сей раз

кому-нибудь другому юрить в петлю. Война — она ведь как игра... Новичкам иногда везет. А вы уже не новичок.

— Зачем в таком случае вы сами под Ямбургом последовали за мной? Вы уж тем более не новичок.

— Я игрок, — ответил Лаврецкий. — А игра ва-банк будоражит нервы более всех иных...

Грозивший завязаться спор разрешил приказ атаковать позиции красных. Меркулов резво вскочил на ноги и устремился вперед, на ходу целясь из винтовки по маячившим за оградой большевикам. Еще несколько часов, и он будет дома. Как обрадуются ему родители! Как будут гордиться им! Лишь бы только... Но дурные мысли юноша гнал от себя все дни наступления.

Николай был так увлечен сражением, что, когда что-то пребольно ударило его в грудь, он по инерции сперва продолжал идти. Но затем все вдруг померкло перед глазами юного прапорщика, и он ничком повалился на землю.

— Меркулов! Черт возьми, Меркулов! — донесся словно бы эхом голос лейтенанта Камчатова. — Ах ты, как же это вас угораздило-то! — могучие руки командира подхватили юношу. — Потерпи, родненький, потерпи! — вдруг как-то непривычно по-родственному, не по уставу заговорил он. — Не смей помирать, голубчик! Рано тебе еще помирать!

В голосе лейтенанта слышались слезы. Николай уже не видел его лица, совсем иное лицо стояло перед его меркнувшим взором. И послышалось как наяву тревожно-звонящее:

— Я хочу, чтобы вы жили долго-долго. Поклянитесь, что так и сделаете. Поклянитесь сейчас.

— Простите меня, ангел Лидинька, я не сдержал данной вам клятвы... — еле слышно прошептал Меркулов.

— Что? Что ты говоришь? — Камчатов бережно положил юношу на землю, принялся судорожно

расстегивать залитую кровью шинель. — Санитары! Немедленно сюда! Потерпи, голубчик, ну же...

Николай широко раскрыл глаза... Над ним уныло сочилось влагой все то же ожидающее души во поле брани убиенных серое осеннее небо...

— Дай Бог вам победить большевиков! — последним вздохом сорвалось с побелевших губ.

Войска генерала Юденича освободят Царское Село, но Петроград им так и не суждено будет взять. Поход к нему станет первым поражением великого русского полководца. Но не только горькую чашу поражения придется испить северо-западникам, но и предательства. Заключившие мир с большевиками эстонцы нанесут удар в спину отступающим добровольческим частям. Особенно страшная участь постигнет славный Талабский полк, уничтоженный при переправе через реку Нарву, с одного берега его станут расстреливать красные, с другого — эстонцы...

Прапорщика Николая Меркулова похоронили на Знаменском кладбище Ивангорода (Нарвы). Могила его не сохранилась. Однако, в 2010 году стараниями краеведов на Ивангородском кладбище, на месте братских могил воинов-северо-западников, была установлена гранитная доска в память юного героя с его портретом.

История одной любви (Владимир и Ольга Каппели)

Свет тусклой лампы время от времени дрожал, будто бы само электричество боялось этого кабинета и его хозяев. За массивным письменным столом, сгорбясь, сидел человек в черной кожанке. Когда-то такие куртки носили летчики, но новые владельцы России, разграбив склады, нашли им другое применение. Как и шлемовидным шапкам, придуманным Васнецовым для победного парада Императорской армии в Берлине. В изуродованных красными звездами шеломах красноармейцы сражались теперь не с врагами Отечества, а с русскими людьми, сохранившими этому Отечеству верность. В черных кожанках вурдалаки в человеческом обличи убивали русских людей уже не в бою. Убивали безоружных. Убивали стариков, женщин, даже детей. Убивали за случайное слово, за «неправильное происхождение», за найденную при обыске запрещенную книгу или портрет, за то, что одеты не по-пролетарски, за... Просто так. Потому что попали под железную метлу в общей массе других. Масса! Никогда еще во всей истории России расправы не носили столь массового и бессудного характера. И добро бы они лишь убивали, расстреливали... Но им этого было мало. И несчастных жертв перед смертью жестоко мучили, глумились над ними. Праведного архиепископа Пермского Андроника живым закопали в землю за то, что смел он взывать:

— Предметом позора и поругания сделались мы для всех народов мира. От нас все отстраняются как от зачумленных и крайне опасных, а между собою уже уговариваются — как поделить нашу землю родную,

пока мы деремся да ссоримся между собою из-за нее. Дорогие мои, от Господа данные духовные чада! Всех, кто верует в Бога, в свою душу и в вечную жизнь, всех, кто любит Родину святую, всех таких зову и молю — встаньте и воодушевитесь на защиту веры и земли родной. Удалившись от Бога, народ одичал и озлобился, а враг ослепил всех и подулстил восстать друг на друга. Помогите всем прийти в рассудок и опомниться: ведь мы теперь не только на краю гибели, но уже погибаем...

А скольких, скольких, кроме него, истязали и убили! Топили баржами, жгли, рубили... Отца-священника расстреляли, сыновья посмели заклеить убийц, и всех троих мальчиков, еще студентов, убили. Застрелили разрывными пулями... И мать хоронила всех четверых...

Отчего они не расстреляли и ее, Ольгу? Отчего, всякую ночь выводя «в расход» невинных, упрямо оставляют ее жить? Она знала ответ. Они хотят использовать ее для давления на мужа, которого так беспредельно ненавидят и боятся. Она слишком ценный заложник, чтобы убить ее...

— Гражданка Каппель, признаете ли вы себя виновной в том, что специально внедрились в Красную армию для шпионажа в пользу наших врагов? — длинный птичий нос вздернулся от бумаг, и маленькие злые глазки впилась в лицо Ольги.

— Нет, не признаю. В Красную армию я не внедрялась, но устроилась на службу, чтобы иметь паек для моих двух детей и престарелых родителей.

Она не спала уже несколько суток. Ночь за ночью мытарили ее одними и теми же вопросами и слышали в ответ те же ответы.

— Вы утверждаете, что не поддерживали связь со своим мужем?

Ах, если бы она могла поддержать ее! Для того и устроилась она на службу машинисткой в одно из

красноармейских учреждений, чтобы при первом же случае перейти линию фронта и соединиться со своим Володей, чьи части храбровали на Волжском фронте. Но связи не было... А учреждение перебросили на другой фронт — против генерала Гайды. Правда, Володя каким-то образом узнал об этом и сумел передать весточку с доверенным человеком. Предупредил, чтобы постаралась задержаться на месте хотя бы до нового года. Ольга не сомневалась, что, если бы ей это удалось, муж нашел бы способ вызволить ее, похитить, если потребуется. Но не сбылось! Штаб 3-й армии перебросили в Глазов, а с ним и машинистку Ольгу Сергеевну Каппель. Там-то в Глазове и задан ей был вопрос, которого она так боялась:

— Вы — жена генерала Каппеля?

В сущности, могли бы догадаться и раньше. Не столь уж распространенную фамилию носила Ольга... Из штаба ее немедленно уволили, а затем арестовали и этапировали в Москву, в Бутырскую тюрьму.

— Нет, с моим бывшим мужем связи я не поддерживала.

— Так уж и бывшим? — кривятся в усмешке сплюснутые, как два блина, губы.

— Да, бывшим. Мой муж, Владимир Оскарович, бросил меня два года назад.

— Ай-ай-ай! Бросить такую красивую жену! Отчего же вы не развелись с ним?

— Вы знаете, что прежде это было непросто, так как подобного рода дела были в компетенции Церкви. К тому же у нас с Владимиром Оскаровичем двое детей, и каковы бы ни были наши отношения, я надеялась, что если не муж, то отец образумится и вернется в семью.

— Теперь другие времена, и согласие попов, чтобы покончить с ненужными узами не требуется. Что же, готовы ли вы оформить свой развод с вашим мужем официально? Вы же понимаете, что носить фамилию

врага советской власти опасно и для вас, и для ваших детей.

— Я с удовольствием оформлю развод с моим бывшим мужем. У него другая жизнь и другие привязанности, и ни я, ни мои дети не желаем отвечать за него!

Прости, Володя... Прости за ложь о тебе, самом благородном человеке из всех, единственном навсегда любимом. Ты знаешь, что ложь эта — только ради детей и стариков-родителей. Что станет с ними, если ее, Ольгу, расстреляют? А развод... Что значит «официальный» развод по большевистским законам? Ничего. Ибо то, что соединил Бог, люди не расторгнут. Они могут написать, что угодно в своих бумажках, могут впредь именовать Ольгу девичьей фамилией, но что это изменит? Она навсегда останется женой своего мужа — перед Богом, перед самой собой, перед своими детьми. Иного человека в ее судьбе не будет, — это Ольга знала с того самого первого дня, когда на балу в Пермском дворянском собрании ее, 17-летнюю гимназистку, пригласил на танец синеглазый витязь со светло-русыми, немного вьющимися волосами и веселой, не без толики озорства, улыбкой. Поручик 17-го Новомиргородского полка, адъютантские аксельбанты, безукоризненная выправка... Заразительный смех и несомненный талант к танцам. Должно быть, по этому предмету у молодого офицера в пору его учебы были все 12 баллов!

Закружил в тот вечер Ольгу молодой поручик так, что ни о ком ином не могла она думать после, так и стояло перед мысленным взором лицо синеглазого витязя, слышался голос его и смех. И продолжала девушка с ним, уже воображаемым, прерванный концом бала разговор. Мать всю дорогу домой подозрительно косилась на сияющую восторгом дочь: женское сердце

безошибочно угадывало стремительно
пробуждающееся чувство.

На другой день Ольга с подругой Таней возвращалась домой из гимназии. День был морозный и солнечный. На полпути от дома девушки повернули за угол и остановились, как вкопанные. Прямо навстречу им шагнул синеглазый поручик с букетом бережно обернутых бумагой роз... Таня игриво заулыбалась и, чмокнув подругу в щеку, соврала, будто бы совсем забыла, что ей еще нужно забежать к Ксюше Миловановой, чтобы помочь ей с математикой... Раскрасневшаяся Ольга не находилась, что сказать, как вести себя. За ней никто и никогда еще не ухаживал всерьез, и девушка растерялась. А поручик смотрел на нее весело и беззаботно.

— Ольга Сергеевна, поедemте кататься! — прозвучал, как в тумане, глубокий, красивый баритон.

— Что?.. — не поняла Ольга.

— Кататься!

— Господь с вами, Владимир Оскарович! Да ведь меня дома ждут!

— А мы совсем чуть-чуть! Зато с ветерком! — и не дожидаясь согласия, уже останавливал поручик извозчика. — Держи, борода, — с гусарской щедростью давал ему «беленькую», — да только чтобы вихрем прокатил нас с барышней!

— Это мы запросто! — готовно басил в ответ извозчик.

И сама не понимала Ольга, как оказалась в санях. Не было ни страха, ни смущения у нее в тот миг. Все чувства вытеснило одно — упоение неведомым доселе счастьем. Вся она обратилась точно бы в хрустальный сосуд для этого драгоценного содержимого, счастья, переливисто звеневшего конскими бубенчиками, сиявшего ослепительным отражением солнца в белоснежном снегу... Сани не мчались, а летели по

улице, но стремительно быстро завершился этот удивительный полет — совсем недалеко от дома Ольги. Поручик соскочил на землю, подал своей спутнице руку:

— Я помню, что вас ждут дома, Ольга Сергеевна, и не смею задерживать вас дольше и причинять волнения вашим родителям. Скажите лишь одно: могу ли я надеяться быть вашим гостем?

— О, мы всегда будем рады вам! И я... буду очень вам рада!

Эти слова не выражали и сотой доли того, что чувствовала тогда Ольга. Рада! Счастлива! Все не то, все не годится, чтобы описать ту небесную музыку, что пела в душе девушки. Однако, ее взгляд, видимо, выражал куда больше, нежели слова, потому что лицо Владимира Оскаровича ответно засветилось, и он с чувством пожал кончики ее пальцев.

— До встречи, Ольга Сергеевна! До очень скорой встречи!

Первый визит в гости был не менее оригинален, чем вторая встреча. Синеглазый поручик просто перепрыгнул через забор дома Стрельманов, когда Ольга была в саду. Еще один букет был преподнесен ей с церемонным поклоном. На этот раз девушка рассмеялась:

— Владимир Оскарович, голубчик, да что же я буду делать с этими розами? Я ведь даже домой не смогу их отнести.

— Отчего же, Оленька?

— А как я объясню родителям их происхождение? Папа не понравится, что к его дочери кавалеры лазают через забор, словно тати.

— Виноват, — улыбнулся поручик. — Знаете ли, мы, военные люди, привыкли брать крепости штурмом, а не входить в распахнутые двери! Но, видимо, вы правы, и стоит поменять тактику!

В тот вечер Владимир Оскарович впервые переступил порог дома Строльманов, и был приглашен к чаю. А еще через две недели бравый кавалерист попросил руки Ольги. Однако, ответ отца был категоричен:

— Мою дочь, господин поручик, я вам не отдам.

— Но почему? Мне кажется, имя мое ничем не запятнано.

— Пятна на имени — дело наживное. Мне не нужен зять-вертопрах.

— Не слишком ли вы мало знаете меня, чтобы давать столь нелицеприятную оценку?

— Именно так. Именно так! Делать предложение, будучи знакомым с избранницей меньше месяца, и рассчитывать, что родители дадут согласие на подобный скороспелый брак, может лишь человек безосновательный. Оставьте кавалерийские наскоки для сражений, а семья — дело совсем иного рода.

Отец придерживался строгих правил. Действительный статский советник, инженер, начальник крупнейшего на Урале металлургического предприятия — Пермских пушечных заводов, Сергей Алексеевич Строльман был человеком знаний и труда. Как и дед — инженер и геолог, исследователь Кузнецкого Алатау и Горного Саяна, руководитель крупнейших горных заводов и горнопромышленных округов Сибири и Урала. Сергей Алексеевич дни напролет проводил в работе. Его стараниями Пермские заводы вдвое увеличили производство: отец установил на них мартеновские печи, запустил электростанцию и литейные фабрики... При этом он заботился о положении рабочих и их семей. Рабочие в свою очередь отвечали ему безусловным уважением. Когда в страшные дни бунта 1905 года орудовавшие в Мотовилихе революционные боевики сражались с правительственными войсками на территории завода, и

рабочие по сути оказались заложниками в этом столкновении, то именно к Сергею Алексеевичу обратились они, чтобы он спас их. Отец послал на завод своих инженеров, и те, рискуя собой, вывели рабочих в безопасное место.

Мог ли такой человек увидеть желанную партию для горячо любимой дочери в молодом кавалеристе, ничем не отличившемся по службе и имевшем весьма скромный доход в виде офицерского жалования?

— Папочка, но ведь я люблю его, и он меня любит! — пыталась Ольга переубедить отца.

— Милая, оставь эту блажь. Военные люди созданы для войны, а не для семьи!

— Как ты можешь так говорить? — возмутилась девушка. — А как же мама? Она дочь военного! А ты — внук героя Бородина!

— Твой воздыхатель покамест не герой Бородина, — усмехнулся отец. — Нынешние герои то надерутся пьяны, то городского изобьют. Вон, только недавно однополчане его отличились таким образом! Позор!

— Почему Володя должен отвечать за проступок какого-то своего однополчанина?

— Потому что у твоего Володи такой же ветер в голове, как и у него! Этот лошадиный самый образцовый галопом прокутит и твое приданное, и тебя саму!

— Ты не должен так говорить о нем! Это несправедливо! — Ольга не могла сдержать слез, но отца они не трогали.

— Мала еще отцу указывать! — вспыхнул Сергей Алексеевич. — Ты еще ребенок, ни людей, ни жизни не знаешь! Я понимаю, красивая форма, шарканье шпор, кавалерийский натиск и прочее гусарство — на это вы, романтические барышни, все падки! Но, слава Богу, есть родительское разумение, чтобы отваживать таких женихов. Я запрещаю тебя, Оля, встречаться впредь с этим человеком! Слышишь ли ты меня? А если пойдешь

против отцовской воли, то перестанешь быть мне дочерью!

Что могла ответить на это Ольга? Лишь залиться слезами и убежать в свою комнату. Рыдала она в тот вечер долго и самозабвенно — как и положено едва встретившей свое восемнадцатилетие влюбленной барышне, которую пытаются разлучить с тем, без кого жизнь уже не мила и бессмысленна. Из царства слез и отчаяния ее вывел осторожный стук в окно...

Была глубокая ночь, когда на подоконнике девичьего окна явился сперва заботливо укутанный плотной бумагой букет, а затем показалось разрумяненное морозом озорно улыбающееся лицо...

Ольга спрыгнула с постели и настезь растворила окно:

— Ты?!

Ночной гость буквально висел на подоконнике второго этажа:

— Позвольте войти, сударыня? Снаружи нынче зябко... Да и вы простудитесь!

В следующее мгновение Володя уже стоял посреди ее комнаты, отряхивая с себя снег.

— Помилуй Бог, неужто я попал в покои царевны Несмеяны? — рассмеялся он, ласково обнимая заплаканную девушку. Ольга спрятала опухшее от слез лицо, уткнувшись в его плечо. Ей стало неловко, что он видит ее такой — неприбранной, с красными глазами и носом...

— Как ты можешь смеяться теперь? Отец запретил мне даже видеться с тобой!

— И что же? Ты собираешься последовать его приказу?

— О! Конечно же, нет! — всколыхнулась Ольга.

— И прекрасно! Мое начальство ведь тоже не разрешает мне жениться. Нашему брату не положено

сочетаться браком до 30 лет и без надлежащего обеспечения совместной жизни...

— И как же ваш брат выходит из этого положения?

— В некоторых случаях добивается благословения от полкового отца-командира. А в большинстве — просто венчаются со своими избранницами безо всякого разрешения. В конце концов, хотя я и не революционер, но это, ей-Богу, какое-то крепостничество, чтобы взрослые люди не имели права распоряжаться своей личной жизнью по своему усмотрению, а не по полковому уставу.

— И что же, наказывают вас за такое своеволие?

— Должны наказывать, но... Милая Оленька, отцы-командиры не звери. Они предпочитают делать вид, что не знают о «противоуставном» семейном положении отдельных молодых офицеров. А со временем провинившиеся могут покаяться. Перед начальством и даже перед Царем-батюшкой. И те, как положено строгим, но любящим отцам, разумеется, покаяние принимают и даруют послушникам прощение. Все, как в обычных семьях.

— Ты думаешь, мой отец простит нас, если мы нарушим его волю? — задумчиво спросила Ольга, слезы которой окончательно высохли.

— По крайней мере, если я докажу ему, что он ошибается во мне, должен. Ведь он любит тебя, не так ли?

— А ты докажешь? — лукаво прищурилась Ольга.

— Ты сомневаешься? — Володя улыбнулся своей чудной, открытой улыбкой. — Нет, конечно, мне всегда было далеко до первого ученика... Моя матушка, растившая нас с братом одна после смерти отца, определила нас в военное училище лишь от того, что, будучи офицерскими детьми, потерявшими кормильца, мы имели право обучаться за казенный счет. И, признаюсь, особого рвения мы не проявляли. Но теперь

иное дело! — глаза поручика заблестели, и он крепко сжал ладони девушки. — Теперь у меня есть цель! Ты! Твое счастье! Благополучие наших будущих детей! Вот увидишь, в будущем году я смогу поступить в Академию! И тогда уж твой отец не назовет меня вертопрахом!

— Я люблю тебя, — тихо сказала Ольга, целуя склоненную к ее рукам голову. — И не сомневаюсь, что ты добьешься всего, чего захочешь. И непременно станешь генералом!

— Конечно же, стану! — рассмеялся Володя. — Плох тот поручик, который не мечтает стать генералом! Ну, а ты, ангел мой? Готова ли сделать первый шаг на пути к званию генеральши?

— Какой именно шаг?

— Бежать со мной, — просто ответил будущий генерал.

— Бежать?!

— Ну, конечно! Дело не оригинальное. Деревенька недалеко от города, священник — сердобольная душа, готовая соединять любящие сердца, дабы уберечь их от греха в глазах Божиих и человеческих, пара свидетелей... Помнишь ли товарища моего, Сверчкова? Он нам охотно услужит в этом качестве. А потом и я ему — он ведь тоже собирается жениться в нарушение устава!

— Это прямо, как у Пушкина... — вымолвила Ольга.

— Похоже, да, — согласился Володя. — Но у нас с тобой будет одно большое отличие. Я в отличие от пушкинского ротозея-жениха не позволю, чтобы моя невеста добиралась до церкви одна, а доставлю ее к алтарю самолично!

Девушка рассмеялась:

— Очередной кавалерийский наскок?

— По-иному не умею! Так ты согласна или нет?

Ольга недолго помолчала, стараясь справиться с чувствами. Страшно было в одночасье переменить всю свою жизнь, решить судьбу, страшно — навлечь гнев отца и, может быть, даже матери... Но если иначе нельзя?.. Отец сам учил ее, что, дабы принять правильное решение, нужно всегда отбросить все второстепенное, оставив главное, точно определить цель и идти к ней. Что было главным для Ольги Стрельман? Синеглазый витязь, смотревший на нее полным обожания взглядом. Без него жизнь ее теряла всякий смысл. Какова была цель ее? Быть со своим ненаглядным Володей, любить его, заботиться о нем, дарить ему счастье, рожать ему детей и воспитывать их. Стать мадам Каппель... Прочее, сколь бы важно не было, вторично. А, значит, решение может быть только одно.

— Милый мой, неужели ты сомневаешься в ответе? Я же в сердце своем, в мыслях своих — уже твоя жена. Я на край света пойду, если потребуется!

— Тогда будь готова встречать новый год уже госпожой Каппель!

Стремительность кавалерийской атаки — в этом был весь Володя. Ему потребовалось лишь несколько дней, чтобы все организовать...

Сразу по Рождестве отец уехал по делам службы в Петербург, строго-настрога наказав матери блюсти дочь. Ольга изо всех сил старалась играть роль скорбной жертвы родительского деспотизма, лишенной возлюбленного жениха, скрывая лихорадочное возбуждение от готовящегося побега. Тягостным было то Рождество... Последнее Рождество в родительском доме... Тягостна атмосфера распри, превращавшая всегда радостный праздник в принужденное соблюдение ритуала. Тягостна ложь, особенно предосудительная в такой светлый день. Нестерпимо тяжело было Ольге обманывать родителей, и она

мысленно торопила решительный час — после него, что бы ни случилось, но лгать больше не придется! И она от всего сердца попросит прощения у отца и матери за то, как дурно обошлась с ними!

Накануне намеченного побега, Ольга тайком уложила свой саквояж. Володя должен был приехать за ней ночью, и девушка, притворившись спящей, ожидала в своей комнате условленного знака. Вот, ударил снежок в окно... А за ним — еще один... Ольга вспорхнула с кровати и выглянула на улицу: на углу ее дома стояла великолепная тройка, а подле нее — Володя, тотчас при виде невесты снявший фуражку и пославший ей воздушный поцелуй.

«Карета» была подана, судьба решилась. Ольга покрыла голову пуховым платком, надела шубку и шапочку и, подхватив саквояж, вышла на лестницу. Она уже почти спустилась вниз, когда почувствовала, что кто-то смотрит ей вслед. Девушка обернулась. Наверху, держа в руках свечу, стояла мать. Она была в домашнем платье, какое было надето на ней за ужином, и это свидетельствовало о том, что Елена Александровна этой ночью не ложилась спать. Сердце Ольги упало. Она хотела было выбежать из дома, но уважение к матери не позволило сделать этого. Некоторое время женщины молча смотрели друг на друга.

— Ты уверена в том, что делаешь? — прозвучал ровный голос Елены Александровны.

— Да, мама. Я люблю его и хочу быть его женой. Я все решила. Прости меня и не останавливай, прошу.

Мать тяжело вздохнула и, ничего не ответив, скрылась в своей комнате.

Утерев выступившие слезы, Ольга выбежала на улицу и тотчас очутилась в объятиях своего синеглазого витязя.

— Не передумала ли ты, радость моя?

— А ты? Не передумал?

Володя подхватил ее на руки, усадил в сани и сам сел подле нее, скомандовав вознице:

— А теперь гони так, чтобы только ветер свистел! Так, как если бы за нами враги гнались! Шибче гони!

Громко заржали застоявшиеся кони. Смахнув слезы, Ольга в последний раз взглянула на отчий дом и вдруг увидела в одном из окон блеск свечи... Мама! Она стояла у окна и провожала свою своевольную дочь. Ольга не могла в темноте разглядеть лица матери, но была уверена, что та плачет. Слез увидеть было невозможно, зато с благодарным трепетом разглядела девушка, как поднялась и благословила ее материнская рука.

— Н-но, залетные!

Сорвалась птица-тройка с места и полетела по-над землей, точно не обычные кони, а крылатые пегасы запряжены были в сани. И только ночь непроглядная вокруг, и холодное сияние звезд, и синие, мерцающие снега, и свист ветра в ушах... И при этом окутывающее все тело тепло, даже жар — не от покрывала медвежьего, а от нежных объятий того, кто через какой-нибудь час должен был сделаться ее венчанным мужем перед Богом и людьми. И снова обратилась Ольга в сосуд для единственного волшебного прекрасного содержимого под названием счастье...

* * *

В больших Казармах на окраине Екатеринбурга было собрано больше тысячи пленных красноармейцев, выразивших желание служить в Белой армии. Треща и фыркающая старая машина подвезла Каппеля к воротам казарменного двора. Молодой генерал быстро вышел из

машины. Сквозь открытые ворота, во дворе виднелась толпа его будущих солдат, но перед воротами стояло двое часовых и к нему, держа руку у головного убора, подошел с рапортом поручик, караульный начальник. Приняв рапорт, Владимир Оскарович хмуро спросил:

— Скажите, поручик, к чему приставлен ваш караул?

— К пленным красноармейцам, ваше превосходительство!

— К пленным красноармейцам? Каким? — еще строже спросил генерал.

— К тем, которые во дворе и в казарме — вот к этим, ваше превосходительство.

Владимир Оскарович побледнел и отчеканил:

— К моим солдатам я не разрешал ставить караул никому. Я приказываю вам, поручик, немедленно снять своих часовых с их постов. Здесь сейчас начальник — я, и оскорблять моих солдат я не позволю никому. Поняли?

Пройдя мимо окаменевшего поручика, он быстро вошел во двор к замершей толпе, слышавшей весь этот разговор, и, приложив руку к папахе, крикнул звучным голосом:

— Здравствуйте, русские солдаты!

Дикий рев не знавшей уставного ответа толпы огласил двор. Каппель улыбнулся. Красноармейцы, сами понимающие нелепость своего ответа генералу, также сконфуженно заулыбались, переминаясь с ноги на ногу.

— Ничего, научитесь, — вздохнул Каппель. — Не в этом главное — важнее Москву взять — об этом и будет сейчас речь. — А затем громыхнул по-уставному: — Встать, смирно!

И недавно бесформенная толпа вытянулась по струнке... Из этой толпы предстояло Каппелю воспитывать солдат. Русских солдат. Белых солдат... Владимир Оскарович давно понял, что гражданская война не может быть выиграна на фронте, победа в ней

должна быть одержана в сознании, в психологии простого человека. Гражданская война — это не то, что война с внешним врагом. В гражданской войне не все приемы и методы, о которых говорят военные учебники, хороши... Эту войну нужно вести особенно осторожно, ибо один ошибочный шаг если не погубит, то сильно повредит делу. Особенно осторожно нужно относиться к населению, ибо все население России активно или пассивно, но участвует в войне. В гражданской войне победит тот, на чьей стороне будут симпатии населения... И легче победить тому, кто поймет, как революция отразилась на народной психологии. Если это будет понято, то будет и победа. А для того, чтобы обрести это спасительное понимание, нужно забыть всякую партийность, всякое разделение. Будучи убежденным монархистом, Каппель, однако же, понимал, что теперь рано говорить о цвете наряда тяжело больной Родины, нужно сперва облегчить ее страдания.

Проникновение в психологию простых людей помогало Владимиру Оскаровичу с его горсткой добровольцев успешно громить большевистские полчища. Его называли теперь «волжским Наполеоном». Вот уж Господь свидетель, никогда не прельщали Каппеля лавры великого корсиканца. И на фронте Великой войны он, хотя и сражался отважно и доблестно, но не стяжал себе какой-либо выдающейся, отличной от многих других храбрых офицеров славы. Когда же ввергнута оказалась Россия в жуткое полымя гражданской войны, то менее всего стремился Каппель в «вожди», с большой охотой он уступил бы эту роль более достойным и опытным. Но...

В начале июня 1918-го года в Самаре состоялось собрание офицеров генерального штаба, на котором обсуждался вопрос о том, кто же возглавит срочно создаваемые для борьбы с большевиками

добровольческие части. Поднявшие в мае восстание чешские части освободили Самару от красного владычества, и вскоре по всем улицам города было расклеено воззвание о вступлении в народную антибольшевистскую армию. Здание женской гимназии, где производилась запись, было забито молодыми добровольцами. Эту зеленую, в большинстве необученную военному делу молодежь нужно было кому-то возглавить... Собравшиеся офицеры смущенно молчали, покашываясь друг на друга и явно надеясь лишь на одно: что найдется сумасшедший самоубийца, и их «чаша сия» минет. Кто-то робко предложил бросить жребий. Наблюдая эту сцену, Владимир Оскарович готов был провалиться от стыда. Старшие офицеры! Краса и гордость генерального штаба! И такая беспомощная трусость! Студенты, гимназисты собирались в добровольческом штабе и рвались защищать Родину, а эти господа, неведомо зачем носящие погоны, думали лишь о том, как бы отсидеться в стороне! Стыдно было перед юными патриотами за подобное поведение тех, кто должен был бы являть им пример отваги и жертвенности. Спасти офицерскую честь можно было лишь одним способом...

— Раз нет желающих, то временно, пока не найдется старший, разрешите мне повести части против большевиков...

Само собой, офицерское собрание с радостью разрешило безвестному полковнику, недавно приехавшему в город, «временно» возглавить добровольческие части. И с этого дня для Владимира Оскаровича началась новая жизнь — головокружительно стремительная, как летящая птица-тройка...

В распоряжении Каппеля оказалось всего 350 человек. Бросить такой отряд против красных, превосходящих его числом во много раз, казалось

безумием. Но приказ о выступлении на Сызрань был отдан и... погрузив свой отряд в вагоны, Владимир Оскарович освободил прежде оставленную под натиском красных чехами Сызрань. Хорошее начало требовало достойного развития. Из простых теплушек был немедленно составлен броневик, бросившийся преследовать отступающих большевиков. В итоге при потере всего четырех человек противник был разгромлен, а его военные склады стали первым трофеем добровольцев.

Спустя сутки армия Каппеля уже спешила на пароходе к Ставрополю. И эта цитадель сдалась кавалерийскому натиску. В результате блестяще проведенной операции вся артиллерия красных, все пулеметы и пять пароходов, стоявших на Волге, были захвачены добровольцами. В те дни Владимир Оскарович практически не спал и не ел — не было времени. При столь малом числе войска требовалось с ювелирной точностью разрабатывать детали проводимых операций...

Следом за Ставрополем был освобожден Симбирск, жители которого восторженно встречали добровольцев, гордо именовавшихся «каппелевцами». Победа эта была так велика, что на фронт явился сам Бронштейн-Троцкий, объявивший революцию в опасности. За голову Каппеля большевизский штаб назначил денежную премию — пятьдесят тысяч рублей! Дешево оценил товарищ военмор... И напрасно! Уже совсем скоро пришлось Льву Давидовичу удирать от каппелевцев, как зайцу, под Свяжском. Чуть-чуть не поймали тогда мерзавца, по сей день язвило душу это упущение!

В ту пору добровольцы только что триумфальным маршем прошли по ликующим улицам освобожденной Казани. Суворовские «быстрота и натиск» делали свое дело! Однако, и здесь, в Казани, столкнулся Каппель с

тою же бедой, что в Самаре. Его призыв к офицерству стать на защиту Родины остался почти безответным. Одни предпочитали отсиживаться в стороне, другие уезжали в Омск, не желая подчиняться неизвестному полковнику... В Казани среди прочих трофеев добровольцами был взят золотой запас, насчитывавший 650 миллионов рублей в золотой валюте, 100 миллионов рублей кредитными билетами, запасы платины и другие ценности. Эту несметную казну Каппель переправил в Омск, к Колчаку...

Не имея достаточных пополнений, Владимир Оскарович не мог удерживать все более расширявшийся фронт. Он еще успел вновь отбить Симбирск, разгромив красного командарма Тухачевского, но горстка добровольцев не могла бесконечно метаться по всему фронту, затыкая собой каждый прорыв...

Адмирал Колчак произвел Каппеля в генералы, но это не обрадовало Владимира Оскаровича. Лучше бы Омск прислал на подмогу хотя бы один батальон пехоты! Может быть, не пришлось бы тогда оставлять врагу освобожденные территории с несчастными людьми, так радовавшимися своему освобождению. Но Омск не отвечал на все прошения о помощи замерзшим и измученным каппелевским частям, бывших «чужими» для жирных крыс штаба Верховного Правителя, видевших в «волжском Наполеоне» угрозу себе.

На пути к Уфе «каппелевцам» приходилось сражаться и с большевиками, заседавшими со всех сторон, и с морозами, чувствительными для не имевшей достаточного обмундирования армии. А еще приходилось учиться главному — умению говорить с населением. Как русские с русскими...

Горные рабочие Южного Урала отнеслись к Волжанам враждебно. На митинге рабочие Аша-Балашовского завода постановили чинить белым частям

всяческие препятствия, а определенной группе рабочих было поручено провести покушение на самого Каппеля. Получив донесение об этом, Владимир Оскарович, ничего не сказав своим офицерам, в одиночку отправился на завод. В шахте N2, где шел очередной митинг, никто не обратил внимания на скромно вошедшего человека в шведской куртке. В полумраке витийствовали ораторы, призывавшие к мести, уничтожению, борьбе, кричали обычные митинговые лозунги, полные звонких слов, лжи и злобы, которые встречали аплодисментами и криками:

— Верно! Правильно!

— Товарищи! — крикнул председатель, обращаясь к двум или трем красноармейцам, стоявшим около трибуны: — Вы были захвачены белогвардейцами, но удачно спаслись. Расскажите товарищам, что вы видели у Каппеля, о его зверствах, расстрелах и порках!

Красноармейцы смущенно переглянулись.

— Не стесняйтесь, товарищи! — подбодрил их председатель: — Говорите прямо обо всем, что у них делается, как вы спаслись из кровавых рук царского генерала!

— Да как спаслись? — пожал плечами один из солдат. — Взяли у нас винтовки, а нас отпустили. Каппель, говорят, никого из нас не расстреливает, а отпускает, кто куда хочет...

Владимир Оскарович чуть улыбнулся. Простые честные русские парни, сказали, как было, не будучи научены митинговому вранью. Каппель, действительно, всегда щадил пленных солдат, расстреливая лишь бывших офицеров, ставших красными командирами, и комиссаров. Эти, последние, ведали, что творили, и соблазняли «малых сих» — тех самых солдат с неискушенными детскими душами. С них и спрос...

Смущенное молчание тем временем повисло в шахте.

— Это, товарищи, только ловкий трюк! — объявил председатель: — Мозги нам запудривает. А вам, товарищи красноармейцы, даже довольно таки стыдно говорить так на митинге!

На трибуну вскочил разгорченный молодой человек и срывающимся голосом, перекрикивая шум, стал читать популярные тогда стихи какого-то красного поэта:

— Мы смелы и дерзки, мы юностью пьяны,
Мы мезтью, мы верой горим.
Мы Волги сыны, мы ее партизаны,
Мы новую эру творим.
Пощады от вас мы не просим, тираны —
Ведь сами мы вас не щадим!

— Не щадим... Нет пощады... Смерть белобандитам!
Смерть Каппелю! — раздался гром голосов.

Под эти яростные крики Владимир Оскарлович спокойно подошел к президиуму и попросил слова.

— Товарищи! — закричал председатель, — слово принадлежит очередному оратору!

«Очередной оратор» быстро и легко вспрыгнул на трибуну. Никто еще ничего не понял, и лишь у красноармейцев вдруг побледнели и вытянулись лица. Владимир Оскарлович спокойно стоял на трибуне и ждал тишины. Наконец, она настала. Тогда громким и уверенным голосом он начал свою речь:

— Я — генерал Каппель, я один и без всякой охраны и оружия. Вы решили убить меня. Я вас слушал, теперь выслушайте меня вы.

Присутствующие замерли, а некоторые стали осторожно пробираться к дверям.

— Оставайтесь все! — резко и повелительно бросил Каппель. — Ведь я здесь один, а одного бояться нечего!

Мертвая тишина повисла в шахте. Владимир Оскарович говорил просто и ясно. Он рассказал, что несет с собой большевизм, обрисовал ярко и правдиво ту пропасть, в которую катится Россия, объяснил, за что он борется.

— Я хочу, чтобы Россия процветала наравне с другими передовыми странами. Я хочу, чтобы все фабрики и заводы работали и рабочие имели вполне приличное существование!

Еще мгновение длилось молчание, и вдруг толпа, считанные минуты назад алкавшая его крови, стала рукоплескать ему. И те, что перед этим кричали «Смерть!» теперь столь же громко грянули «Ура!». После этого шахтеры подхватили Каппеля на руки и понесли к штабу, где уже царила тревога из-за внезапного исчезновения командующего, ушедшего «на прогулку» перед ужином. На утро делегация шахтеров явилась в штаб и передала, что они не только не будут чинить препятствий, но всем, чем могут, будут помогать... Бедные русские люди... Обманутые, темные, такие часто жестокие, но русские...

К концу сумасшедшего 18-го года Владимир Оскарович добрался до Омска. Его части были расквартированы в Кургане для отдыха и пополнения. Впрочем, ни пополнения, ни снаряжения штаб Верховного посылать не спешил...

Тем временем 27-летний генерал Пепеляев взял Пермь. Однако, победа эта не принесла Каппелю ожидаемого счастья. Его ненаглядную Оленьку увез в Москву в качестве заложницы комиссар Мрачковский. Слава Богу, не тронули детей и стариков Стрельманов, сразу по освобождении Перми перебравшихся к родне в Екатеринбург... Теперь Владимир Оскарович приехал забрать семью в Курган. Поприветствовав своих будущих солдат, молодой генерал поспешил на квартиру, где проживали его родные.

Он еще только поднимался по лестнице, когда навстречу ему с радостным криком выбежала 9-летняя Танюша:

— Папочка!

Каппель подхватил дочь на руки, расцеловал сияющее личико:

— Ну, здравствуй, здравствуй, красавица! Здравствуй, моя маленькая кавалеристка!

— Мы так ждали тебя! Так соскучились по тебе!

Скрипнула половица. В дверях квартиры показалась заметно постаревшая Елена Александровна, державшая на руках внука Кирюшу. Владимир Оскарович выпустил из объятий дочь и шагнул навстречу теще и сыну. Малыш смотрел на отца со смесью любопытства и удивления, а отец не сразу решился взять его на руки. Танюша родилась в первый год их с Ольгой брака, и после этого у них не было детей. Появление на свет Кирюши, в сентябре рокового 17-го года, стало настоящим чудом. Каппель даже не успел толком насмотреться на сына. Когда Кирюша родился, он был на фронте, а затем началась гражданская война... Из революционного Петрограда Ольга с детьми уехала в Пермь к родителям. Там в последний раз удалось семье собраться вместе — на перепутье двух войн... С той поры и не виделись, лишь редкие весточки получали друг о друге.

— Володя, вы не можете представить себе, как мы рады вас видеть! Как мы ждали вас! Сколько пережили... — по впалым щекам Елены Александровны потекли слезы. — Слава Богу, вы живы! Слава Богу...

Когда-то явившихся с повинной «молодых» Стрельманы не пустили на порог, не простив им своевольтва. Елена Александровна втайне от мужа переписывалась с дочерью, но сам старик Стрельман твердил, что дочери у него больше нет. Зато мать Владимира Оскаровича приняла невестку с

распростертыми объятиями, и та поселилась у нее. Стрельманы же «держали оборону» ровно год — пока не убедились в «добропорядочности» зятя-похитителя, поступившего в Академию Генштаба, и не обрели любимую внучку.

Сергей Алексеевич приветствовал Каппеля не столь сердечно, как его жена, но также тепло. Старый горнозаводчик вообще относился к числу людей, считающих дурным тоном излишнее проявление эмоций. Всегда сдержанный, строгий, педантичный, он был немного «человеком в футляре» и предпочитал хранить свои чувства глубоко в себе. Вот, и теперь тоном самым ровным, не выдающим изводящую сердце муку, полюбопытствовал, когда жена с внуками прошла на кухню:

— А нет ли у вас, Володя, каких-нибудь вестей о нашей Оленьке?..

— К сожалению, никаких, — покачал головой Каппель. — Знаю лишь, что она в Москве...

— И в тюрьме... — добавил тесть. — Значит, надо теперь Москву взять, чтобы освободить мою дочь?

Владимир Оскарович не ответил. Только полыхнуло сердце бессильной яростью. Он бы взял Москву! Взял бы, как Симбирск и Казань! Если бы только ему позволили, если бы дали хотя бы минимум людей и оружия, если бы... Но ничего не желали давать тыловые крысы! И даже партизанские рейды по тылам противника делать воспрещали!

— Помилуйте, что же мы можем вам дать? — равнодушно разводил руками начштаба Лебедев на требования Каппеля прислать обещанные пополнения и снаряжение. — Ведь вы не один. Пепеляев просит, Гайда...

Ничто не пробивало этого человека. Холодно-бесчувственно смотрели рыбы глаза. Зачем он вообще оказался в Белой армии? Почему не остался сидеть в

каком-нибудь затхлом углу, как пристало крысе? И какая сила, зачем и почему вынесла это ничтожество на пост начальника штаба всей сибирской армии?! Не для того же в самом деле, чтобы безвозвратно погубить эту армию, и рыцаря долга адмирала Колчака, который, как и Каппель, не своей волей, но одним только долгом вознесен был в Верховные правители гибнущий России, и все дело русское?..

— Кажется, наши войска действуют успешно? — спрашивал тесть уже за обедом. — Глядишь, и впрямь скоро Москва будет освобождена, и весь этот ужас закончится...

— Как вы думаете, Володенька, долго ли еще продлится это безумие, эта война? — спрашивала и теща.

Оба они читали газеты, и по газетам дела выглядели неплохо. Но не рассказывать же, в самом деле, старикам о полках без сапог, глядящих оборванцами героях, над которыми измывается Лебедев и его интенданты! О том, что оружие и лошадей для своего формируемого Волжского корпуса он, Каппель, вынужден закупать в окрестных деревнях за любые деньги, потому что Ставка не дает ничего! И о том, с каким камнем на сердце, приехал он теперь в Екатеринбург, не говорить же и без того удрученным бедой людям...

На все требования пополнений Ставка не нашла ничего лучшего, как пополнить формируемый в Кургане корпус пленными красноармейцами. Такое пополнение не могло усилить корпус, а лишь ослабить его, так как непроверенная, непрофильрованная масса новобранцев непременно должна была поглотить старые кадры, и в момент боевой работы от нее можно было ожидать всего, что угодно... И все же нужно было принимать их, работать с ними. Завоевывать их. На самом сложном фронте под названием мировоззрение.

Но для того, чтобы выиграть это сражение, мало избрать верную стратегию и тактику. Нужно еще время. А гражданская война, обратившая в театр военных действий всю Россию, не оставляет этого времени.

— Папа, а когда вернется мама? — при этом вопросе Танюши на глазах Елены Александровны выступили слезы, и, резко поднявшись, она стала хлопотать о чае.

Заерзал на своем стуле и Сергей Алексеевич, затеребил папиросу, отвел глаза в сторону.

Владимир Оскарович усадил дочь на колени, ответил ласково:

— Скоро, мой ангел, скоро. Она обязательно вернется.

— Когда *ты* победишь большевиков?

Генерал грустно улыбнулся:

— Да, детка, когда *мы* победим большевиков.

— Тогда победи их побыстрее и спаси маму. Мы очень скучаем без нее...

Ком подкатил к горлу от этой наивной детской просьбы и от своего бессилия — не перед большевиками, нет! Перед собственным командованием...

В преддверье отъезда семья легла спать рано. Но Владимиру Оскаровичу не спалось. Разбередила встреча с родными рану не ко времени. Нужно было всецело сосредоточиться на работе с опасным пополнением, а перед глазами Ольга стояла. Румяная, веселая девочка-гимназистка с восторженными глазами в облаке серебящейся снежной пыли... Смелая молодая женщина, регулярно приезжающая на фронт навестить любимого мужа — она так стремилась всегда быть рядом с ним! Стремилась и сейчас... А он — впервые в жизни! — не успел к ней! Не успел вырвать ее из большевистских тисков. Он, стремительным вихрем врывавшийся в волжские города и покорявший их, не успел. Так роково и непоправимо... Холодела душа от

мыслей, каким мукам могут подвергнуть красные жену человека, едва не захватившего в плен самого Троцкого! Может, и прав был тесть, что запрещал любимой дочери связывать свою судьбу с «вертопрахом»? Послушайся она его, и жизнь ее могла бы сложиться куда счастливее...

Робкий стук в дверь отвлек Каппеля от тяжелых мыслей. Погасив папиросу и отодвинув прочь графин с водкой (правду говорят: горе вином не зальешь! лучше и не пытаться), Владимир Оскарович поспешил открыть, дабы стук не разбудил родных. На пороге стоял его адъютант поручик Кириллов.

— Ваше превосходительство, прошу простить за столь позднее вторжение...

— Говорите короче, что стряслось?

— Из большевистского плена вернулся один человек. Точнее они сами отпустили его, чтобы он передал вам что-то о вашей жене. Я решил, что не стоит ждать утра...

— Вы правильно решили, поручик, — кивнул Каппель. — Где он? В штабе?

— Так точно.

— Я сейчас буду.

С трудом сдерживая волнение, генерал быстро оделся и спустился к автомобилю, в котором ожидал его Кириллов. Четверть часа спустя они были уже в штабе, где глазам Владимира Оскаровича предстал сильно истощенный и заметно испуганный человек лет сорока.

— Кто вы? — спросил его генерал.

— Я врач... Моя фамилия Никифоров. Андрей Максимович...

— Вы были в плену у большевиков?

— Д-да... Когда они оставляли Пермь, то в последние дни многих арестовывали. Обвиняли в

участии в подполье, а то и просто так. Ну, вот, взяли и меня.

— А вы в подполье не участвовали?

— Н-нет... — мотнул головой врач. — Я только лечил...

— Почему именно вас решили послать ко мне?

— Я не знаю...

Большевистский посланник выглядел жалко, но это было недостаточным поводом для того, чтобы верить его словам.

— Кто именно вас освободил и послал ко мне?

— Комиссар Мрачковский.

Владимир Оскарович хрустнул пальцами при звуке ненавистной фамилии.

— И что же товарищ Мрачковский велел передать мне? — спросил резко.

— Он сказал, чтобы вы не спешили возвращаться на фронт. Что если вы больше не будете сражаться против них, то они пощадят вашу жену, не убьют. И освободят со временем...

Кровь бросилась Каппелю в голову. Эти мерзавцы смели шантажировать его жизнью Ольги! Смели считать, что он откажется от борьбы и поверит их лживым обещаниям!

— Это все? — глухо спросил генерал.

— Все, ваше превосходительство.

— Увести, — сделал знак Владимир Оскарович и добавил тихо: — Дальше пусть контрразведка определяет, отпущенный ли это пленник или лазутчик...

Когда большевистского посыльного увели, Каппель тяжело опустился за стол, закурил и сумрачно посмотрел на стоявшего перед ним навтыяжку в ожидании приказаний адъютанта. За окном светало. Нужно было ехать в Казармы, а затем — вместе с пополнением — на вокзал. А он даже не пожелал

доброе утра Танюше... И ни на минуту не сомкнул глаз...

— Какие будут распоряжения, Владимир Оскарович? — осторожно спросил Кириллов.

— Надо отправить ответ товарищам, — отозвался генерал.

— Каким образом?

— Таким же, как и они изволили ко мне обратиться. Отправьте к ним кого-нибудь из пленных. Нет... Даже трех! Именно так! Вышлите трех пленных и скажите им передать товарищу Мрачковскому, Дзержинскому, Троцкому, всей этой сволочи, что генерал Каппель Родиной не торгует. И я их буду бить так же, как бил прежде! Пусть расстреливают жену, ибо она, как и я, считает для себя величайшей наградой на земле от Бога — это умереть за Родину!

— Так и передать? — уточнил адъютант, не смея выражать сочувствия грозно смотревшему на него генералу.

— Да, слово в слово! Хорошо ли вы запомнили мои слова, поручик?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Хорошо. Тогда ступайте, выполняйте. А когда выполните... — Владимир Оскарович закашлялся, пересохло от волнения в горле. — Когда выполните, поезжайте к моим. Проводите их на вокзал и проследите, чтобы они благополучно сели в поезд. Сам я буду занят нашими... — генерал горько усмехнулся, — новобранцами и вряд ли успею исполнить долг отца и зятя.

Отдав честь, Кириллов быстро покинул кабинет. Каппель стиснул ладонями голову и некоторое время сидел неподвижно. В ушах словно эхом звучал собственный голос — «пусть расстреливают жену!» Расстреливают... Его Оленьку... Мать его детей... Неужели смог он этот приговор произнести? Смог...

Прости, родная, единственная, незабвенная... Ты знаешь, что иной ответ был невозможен. Ты сама бы устыдилась мужа, который сделался бы предателем, поставил чувства выше долга. Ты все поймешь, все простишь... Только как жить с этой страшной ношей на сердце? Как смотреть в глаза Танюше, ждущей, что папа освободит маму?

Слезы беззвучно текли по щекам. В этот миг их никто не мог увидеть, и можно было не таить «слабости». За окном, между тем, окончательно рассвело. Докурив последнюю папиросу, Каппель глубоко вздохнул и, приняв вид решительный и непоколебимый, привычный для всех его подчиненных, отправился в Казармы...

Долго и неуклюже строились красноармейцы для отправления на вокзал. Они и не солдаты еще были, в сущности. В основном мобилизованные, толком необученные... Впрочем, оно и лучше, что так. Больше надежды, что большевистская пропаганда лишь поверхностно замутила их умы, не проникнув глубоко, не угнездившись в душах.

— Ну и пополненьице досталось нам, Владимир Оскарович! — сокрушенно качал головой полковник Топорков. — И что делать с ними?

— Всех поделить между частями... — почти машинально отозвался Каппель, немигающим взглядом смотря на проходивших мимо солдат, вглядываясь в их лица, пытаюсь уже теперь проникнуть в их мысли, души. — Усилить до отказа занятия, собрать все силы, всю волю — перевоспитать, сделать нашими — каждый час, каждую минуту думать только об этом. Передать им, внушить нашу веру, заразить нашим порывом, привить любовь к настоящей России, душу свою им передать, если потребуется, но зато их души перестроить! — постепенно воодушевляясь, генерал продолжал: — Их можно, их нужно, их должно сделать

такими как мы. Они тоже русские, только одурманенные, обманутые. Они должны, слушая наши слова, заражаясь нашим примером, воскресить в своей душе забытую ими любовь к настоящей родине, за которую боремся мы! Рассказать этому пополнению о том, какая Россия была, что ожидало ее в случае победы над Германией, напомнить какая Россия сейчас. Рассказать о наших делах на Волге, объяснить, что эти победы добывала горсточка людей, любящих Россию и за нее жертвовавших своими, в большинстве молодыми, жизнями, напомнить, как мы отпускали пленных красноармейцев и карали коммунистов. Вдунуть в их души пафос победы над теми, кто сейчас губит Россию, обманывая их. Самыми простыми словами разъяснить нелепость и нежизненность коммунизма, несущего рабство, при котором рабом станет весь русский народ, а хозяевами — власть под красной звездой. Мы должны свои души, свою веру, свой порыв втиснуть в них, чтобы все ценное и главное для нас стало таким же и для них. И при этом ни одного слова, ни одного упрека за их прошлое, ни одного намека на вражду, даже в прошлом. Основное — все мы русские и Россия принадлежит нам, а там в Кремле не русский, чужой интернационал! Если нам это удастся, то, когда туман из их душ и голов исчезнет, они первые будут кричать «ура» будущему царю и плакать при царском гимне...

На перроне екатеринбургского вокзала Владимир Оскарович тотчас увидел Танюшу и Сергея Алексеевича. Елена Александровна с Кирюшей уже устроились в генеральском вагоне, а девочка ждала отца под приглядом деда.

— Она очень ждала вас, Володя, — сказал старик, ласково погладив по голове внуку. — И очень боится вновь с вами разлучиться. Она боялась, что мы уедем без вас...

— Почему ты этого боялась, радость моя? — спросил Каппель весело, присев на корточки и взяв дочь за руки.

— Потому что ты всегда уезжаешь, а мы остаемся, — ответила девочка. — И не знаем, где ты... Я сказала, что никуда не поеду без тебя!

— И не поехала бы?

Танюша замотала головой.

— Я осталась бы на перроне и ждала тебя.

Взрослея, девочка все больше напоминала мать. И слова ее отозвались в душе Владимира Оскаровича жгучей болью. Из далекого безоблачного эхо родного голоса слышалось: «Я на край света пойду, если потребуется!» Ничего не ответил генерал дочери, лишь прижал крепко к груди и понес в вагон, к бабушке и брату. Поезд издал прощальный посвист и, тяжело громыхнув колесами, взял курс на Курган.

* * *

Первые воспоминания детства для Кирюши были связаны с поездами. Протяжные гудки, грохот колес, суতোлка перронов, промельк городов и весей за мерзлыми окнами, мерное, убаюкивающее покачивание вагона... Он был слишком мал, чтобы помнить переезд из Перми в Екатеринбург, а из Екатеринбурга в Курган. Чуть лучше припоминался путь в Иркутск, куда отец спешно отправил семью, когда армия стала терпеть неудачи. Он сделал это вовремя, иначе семье пришлось бы разделить кромешный ужас общего отступления, когда множество беженцев просто замерзли насмерть в замерших на путях поездах, у которых безжалостные чехи, думавшие лишь о своем спасении, отняли паровозы...

С Иркутском были связаны первые сознательные воспоминания мальчика. Страшные воспоминания! Не от того, что сам он мог уже понимать ужас положения, в котором оказались они с сестрой, бабушкой и дедом, но от ужаса, который он видел в глазах бабушки, от ее слез и страха. Страх! — вот, главное слово, определявшее в то время жизнь.

Белая армия отступала стремительно. Преданный «союзниками» адмирал Колчак был отдан на расправу большевикам. Его привезли туда же, в Иркутск, сперва держали в тюрьме, затем — расстреляли... Мимо той тюрьмы Кирюша не раз проходил с сестрой и дедом. Старик всякий раз крестился, молясь о спасении Верховного правителя. Молитва услышана не была...

Смутно помнил Кирюша, как взволновались дед и бабушка, когда пронесся слух, что «каппелевцы» идут на Иркутск! Затрепетала и Танюша.

— Скоро папа придет за нами и увезет нас! — надеялась сестра, вслушиваясь в гул орудий на подступах к городу.

Вся семья вслушивалась тогда в тот гул с отчаянной надеждой. И сколько еще в полоненном Иркутске! «Каппелевцы» — это слово звучало магически! Оно было синонимом победы... Чаще бились сердца при его звучании.

Но в этот раз «каппелевцы» отступили... Потом уже узналось, что отца к тому времени уже не было в живых. Когда войска оставили свою столицу, Омск, адмирал Колчак призвал, как последнюю надежду, Каппеля и назначил его главнокомандующим гибнущей армии. Отец принял этот крест и сделал все, чтобы спасти ее. Тайга, лютый мороз, тиф, красные части, наступающие по пятам, красные банды, орудующие окрест — и неоткуда было ждать помощи в этом беспримерном ледяном походе! Отступало разгромленное войско, увозившее с собой беженцев и

раненых, по хрупкому льду таежной реки Кан. Отец шел впереди, пролагая путь... Точно также, как прежде шел в атаку — впереди своих войск, как ходили средневековые рыцари. Он и был таким рыцарем. Без страха и упрека... Таежная речушка оказалось коварной, отец провалился в полынью и обморозил ноги. Ступни в какой-то попутной избе отрезали ему простым раскаленным на огне ножом — иных инструментов у врача не было. Обезноженный, задыхающийся от пневмонии, отец все равно потребовал посадить себя на коня — чтобы войско видело, что вождь с ним. Он знал, как важно это для его людей! В этом был весь отец... Сколько мог, уже в полубреду от жара, он еще продолжал путь, поддерживаемый офицерами. Но, не доходя до Иркутска, слег. «Боже, спаси армию!» — были его последние слова.

Все это рассказал старикам Стрельманам и их внукам бывший каппелевский офицер, по ранению не могший продолжать борьбу и по подложным документам отважившийся вернуться в большевистскую Россию — здесь у него оставалась семья, и он, во что бы то ни стало, хотел найти ее. Кирюша хорошо запомнил изможденного, небритого человека, мучимого нехорошим кашлем, его лихорадочно блестящие глаза... Он прожил у Стрельманов два или три дня. Бабушка хлопотала вокруг него, уговаривала остаться, подлечиться. Но офицер отказался:

— Надо идти... Искать своих... И опасно вам, чтобы я у вас задерживался.

Он был сильно болен, этот осколок некогда победоносной армии. И будто бы напоследок хотел выговориться. И все рассказывал, рассказывал, не мигая застывшими глазами, об эшелонах насмерть замерзших людей, о стаях волков, нападавших на

отбившихся от армейско-беженского каравана несчастных, об ослабевших воинах, молча умиравших в снегу, о страшной своим безучастием тайге, о зверствах красных партизан... И — об отце. О «нашем генерале», при упоминании которого сероватое лицо вдруг освещалось, и в сломленном болезнью и лишениями человеке вновь виделся — «каппелевец»! Он говорил безумолчно, а еще курил, беспощадно выхаркивая остатки легких. А бабушка слушала и плакала. А с нею и Танюша...

Убедившись, что зятя уже нет в живых, старики засобирались уезжать из чужого города, где семья буквально голодала. Последний долгий путь из Иркутска в Пермь Кирюша помнил уже отчетливо. Тесная, смрадная теплушка, многочасовые стояния у перронов, толпы солдат и гражданских — как один оборванных, грязных, нищих... Бабушка что-то выменивала у мешочников, чтобы хоть как-то напитать прозрачных от голода внуков. Полугнилая картошка и кипяток — «пир» времен разрухи!

В Перми дед устроился на службу по своей профессии инженера. Новой власти нужны были специалисты, и она предпочла закрыть глаза на послужной список царского горнозаводчика и его родственные связи. Старик целыми днями проводил на работе, а бабушка хлопотала по хозяйству, растила внуков. Танюша пошла учиться, но тяжело же было ей, дочери своего отца, учиться в советской школе! Об отце нельзя было вспоминать теперь... Отныне Таня и Кирилл писались не Каппелями, а Строльманами. Хорошо помнил Кирюша ужасом исказившееся лицо бабушки, когда на вопрос зашедшего по случаю коллеги деда:

— А тебя как зовут, малыш? — он с гордостью несмышлениша отвечивал:

— Кирилл Каппель!

Коллега чуть побледнел, потрепал мальчика по голове, многозначительно взглянул на бабушку и ничего не сказал.

Больше Кирюша фамилию отца не произносил. Зато часто-часто думал о нем, пытаюсь вспомнить... Вот и теперь, примостившись на заборе, неподалеку от дома, и подставив жаркому солнцу и без того загоревшее лицо, он, зажмурившись, представлял себе — отца. Не фотографию, которую тайком показывал ему сестра, как самую драгоценную реликвию, а живого отца. Но как ни напрягал Кирюша память, ничего не выходило. Ему не было у двух лет, когда отец в последний раз поцеловал и благословил его, отправляя в Иркутск. Что уж тут можно вспомнить?

— Мальчик! — женский голос заставил Кирюшу открыть глаза. Перед ним стояла худощавая женщина средних лет, державшая в руках небольшой дорожный чемодан. Ее лицо сразу показалось мальчику очень знакомым. Он вопросительно взглянул на женщину.

— Не знаешь ли ты, здесь ли проживает семья Стрельманов? — прозвучал вопрос.

Кирюша вздрогнул и не спрыгнул, но почти свалился с забора, очутившись прямо у ног нежданной гостьи. Она смотрела на него усталыми, печальными глазами и, конечно, не узнавала... Зато он узнал ее! Нет, он не мог помнить ее вживе, он был младенцем, когда ее отняли у него, но фотографии, над которыми подолгу сидела, целуя их, бабушка! Конечно, на них она была молодой и веселой, но все же не узнать ее было нельзя! Сколько раз он любовался на это лицо, сидя рядом с бабушкой! Сколько раз мечтал обнять ее и завидовал сестре: для той слово «мама» носило не общий характер, а излучало тепло живого, любимого человека. И как же хотел Кирюша сказать это слово не фотографии, а живой, любимой матери, сказать и броситься ей на шею!..

— Мама! — воскликнул Кирюша. — Мамочка! Наконец-то ты вернулась!

Пальцы женщины разжались, чемодан с грохотом стукнулся о мостовую, губы ее задрожали, на расширившихся глазах выступили слезы...

— Сынок... Кирюша...

В следующий миг мальчик впервые очутился в материнских объятиях и зарыдал, не стесняясь слез. Дед учил, что мужчина не должен плакать. Пусть так! Не должен плакать от боли, от обиды, от горя, потому что обязан быть сильным. Но от счастья можно плакать и мужчине! Тем более, если он впервые смог обнять свою мать, о которой пять лет неведомо было, жива ли она еще или соединилась в ином мире с отцом, которого так горячо любила.

— Мама... Мама... — повторял Кирюша, и, казалось, что нет и не может быть слова более прекрасного, теплого и дорогого, чем это. И не может быть мига счастливее, нежели миг обретения матери.

Ольга Сергеевна Строльман, ее брат Константин и сын Кирилл были арестованы в 1937 г. по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Сергея Алексеевича Строльмана арестовать не успели. Чекисты застали старика уже на смертном одре.

Константин Строльман был расстрелян в 1938 г. Ольга Сергеевна после пыток и угроз детям и старухе-матери дала признательные показания, от которых позже отказалась, и была приговорена к 5 годам лагерей. В 1942 г. срок был продлен. Кирилл Строльман был освобожден после следствия, своей вины он не признал. Сын генерала Каппеля прошел всю войну, работал строителем, стал отцом троих сыновей.

Судьба его сестры сложилась трагично. Трое ее сыновей погибли на фронте, а вскоре по возвращении с войны умер и муж. После возвращения из заключения матери Татьяна Владимировна жила с ней. Ольга Стрельман еще при жизни добилась своей реабилитации и скончалась в 1960 г.

Прах генерала Каппеля, вывезенный белым воинством в Китай, в 2010 г. был возвращен в Россию и погребен в некрополе Донского монастыря. При вскрытии гроба тело генерала было найдено практически нетленным.

Воскресший из мёртвых (Николай Васильевич Фёдоров)

Первый удар рассек бровь, но от второго Николаша увернулся. Он хотя ростом был и мал, да, как говорится, удал. Что с того, что верзилам-хулиганам он едва по грудь? Суворов, может, тоже гигантом не был. А уж Наполеон так и вообще...

— Ай-й! — Шурка схватился левой рукой за правое предплечье. Рукав набухал кровью. Один из нападавших ранил парня ножом.

— Гад! — заорал Николаша и, подкатившись юлой под ноги верзиле, повалил его на землю, спасая товарища.

Дрался он в этот вечер с особой яростью. Совсем недавно такие же мерзавцы напали на него, когда он возвращался домой из гимназии, заставили раздеваться, залезть на забор и кукарекать под их гогот! Вреда не нанесли, но каково было унижение! И теперь Николаше страшно хотелось поквитаться за оскорбление. Благо был он не один. Хотя силы хулиганов явно превосходили гимназистов. Вот, и Венька схлопотал ножом по спине. Но бьется отчаянно! Кто под его пудовый кулак попал, тот уже нескоро с земли поднимется. И кулаки эти работали с молчаливо-сосредоточенным ожесточением.

И во что только превратился славный Новочеркасск считанные месяцы спустя после революции! Не то, что ночью, но уже и днем ходить небезопасно! Откуда столько взялось разбойников на некогда мирных улицах? Дезертиры, бывшие рабочие окраин, нашедшие более легкий промысел, обычные уголовники — вся

сволочь вдруг в одночасье всплыла со дна и... диктовала свою волю.

— Дядь, купи пальто! — подскакивает малолетний голодранец к сошедшему с поезда господину.

— Какое пальто, мальчик? Вот, у меня есть пальто...

— Вот, его и купи! — появляются из-за спин огольца старшие. И если господин не платит, то снимают с него не только пальто, но и исподнее...

Грабежи и убийства сделались обычным делом. Под самым Новочеркасском уже орудовали большевистские банды, а правительство Дона смущалось объявить мобилизацию господ офицеров, вернувшихся с фронта и по собственной воле не спешивших сражаться вновь. А ведь их до 5000 шашек насчитывалось! А еще до 10000 молодых казаков, подлежащих призыву на воинскую службу! Но правительство считало недемократичным употребить свою и Атамана власть, предпочитая разговаривать разговоры, лишь ухудшавшие положение.

Отплевываясь кровью, Николаша вертелся меж своих противников, уклоняясь от знакомства с их ножами и улучая моменты нанося свои удары. Совсем рядом, у Атаманского дворца, стояли и наблюдали за этим караульные казаки. Они не могли прийти на помощь гимназистам. Они были на посту, и устав воспрещал им оставлять его. Оно, конечно, верно: ведь какие-нибудь террористы могут разыграть подобную потасовку и, воспользовавшись отвлечением караула, совершить покушение на Атамана... Караульные отвечают за его жизнь, а за свою гимназисты должны отвечать сами.

— Стоять, сукины дети!

Ну, слава Тебе, Господи! Хотя и с большим опозданием, бежали на выручку городовые — редчайшее явление в городе, доселе Николаша лишь одного полицейского видел. Хулиганы кинулись

врассыпную, кроме тех, что лежали поверженные Венькиными кулаками. Свист, стрельба, неразбериха... Конечно, никого не догнали. Куда этим не привыкшим к таким бесчинствам блюстителям порядка, за огольцами, что растворились в переулках, так что и след их простыл! Веню с Шурой отправили в больницу, а Николаша возвратился домой, где милая матушка, причитая и охая, до ночи промывала и смазывала его ссадины. А отец, ректор Новочеркасского городского училища, только качал головой:

— Погубят Дон эти болтуны... И на что Алексей Максимович дает им волю...

Избранный Атаманом генерал Каледин стремился удержать Дон от кровопролития. Но оно уже шло, нарастая день ото дня. Некоторые казаки выступил против Алексея Максимовича: вахмистр Смирнов, фельдшер Лагутин, урядник Подтелков и войсковой старшина Голубов. Этот, последний, имел наглость даже провозгласить себя революционным атаманом! Душа Николаши так и кипела от возмущения. Как возможно, чтобы казак, офицер, предал своего Атамана?! Голубов за революционную агитацию был арестован, но бывший учитель истории родной для Николаши Платовской гимназии Митрофан Богаевский, ставший правой рукой Каледина, под свое поручительство добился освобождения мерзавца. Тот немедленно бежал к своим подельникам и продолжил поднимать казаков на бунт...

В Новочеркасске стояло два пехотных полка, 16000 солдатских душ, неведомо что способных сотворить. Им приказали разоружиться. Они ответили отказом. Артиллерийская часть, брошенная на них, отказалась их разоружать. Тогда это дело было поручено юнкерам... Юнкера же вместе со стариками-казаками подавили восстание матросов военного судна «Колхида». Дело

шло к большой крови, но большинство словно бы не желало этого видеть.

На другой день Николаша никак не мог сосредоточиться на занятиях. Учеба в последнее время вообще давалась ему, отличнику, с непривычным трудом. Что толку сидеть теперь за партой, когда занимается пожар на Дону, когда гибнет Россия? Три дня назад Николаше исполнилось 16, и сердце его стремилось прочь из ставшего душным и тесным класса, туда, где решалась судьба его Родины, туда, где он мог бы служить ей. В этих размышлениях в перерыве, длившемся с полудня до часа дня, он вышел из стен гимназии на воздух и прямо на ступеньках столкнулся с приятелем, Кокой Апрышкиным. Мальчики были похожи, как братья. Оба малорослые, но крепкие, они даже в оркестре играли на одном инструменте — корнете. Николаша, правда, к тому еще пел в хоре. Однако, в последний год пение пришлось оставить из-за ломки голоса.

— Федоров, голубчик, ты уже слышал ли?! — глаза Апрышкина сияли радостью, он был чем-то необычайно взволнован.

— О чем?

— Чернецов создает партизанский отряд для борьбы с большевиками! Он объявил об этом три дня назад! Сам Атаман благословил его на это дело!

Три дня назад! — зашлось сердце волнением. Это не может быть случайностью! Это судьба!

Кока, между тем, продолжал торопливо говорить:

— Сбор идет в стенах училища! Я теперь же иду туда. Ты со мной?

Николаша бросил взгляд на родную гимназию, затем на связку книг и тетрадей, которую держал в руке. Была не была! Для учебы у него будет еще довольно времени, если останется жив... Положив свою связку на ступени гимназии, он погрозил им пальцем:

— Дождитесь меня! Я за вами еще вернусь!

— Молодец! — хлопнул его по плечу Кока. — А теперь айда!

И оба мальчика поспешили в Новочеркасское казачье училище, где есаул Чернецов начал собирать своих добровольцев.

Василий Михайлович еще год назад вернулся в родные края с фронта, и имя его уже гремело на Дону. В 1915 году он организовал партизанский отряд, действия которого в тылу противника были столь успешны, что немцы назначали за голову нового Дениса Давыдова награду в размере 500000 марок. Русское же командование вознаградило героя Георгиевским оружием за храбрость. После четвертого ранения Чернецов был отправлен для лечения домой, здесь его застала революция, и вернуться на фронт славный есаул не успел. В марте станичный сбор единогласно избирал его своим представителем в качестве делегата на Общеказачий съезд в Петроград. Едва вернувшись из столицы, Василий Михайлович стал делегатом 1-го Войскового Круга Дона, а оттуда вновь отправлен в Петроград на Учредительный Общеказачий съезд, где произнес яркую речь, в которой призвал, «забыв прежние обиды встать на защиту Родины и казачества, которые стоят на краю гибели».

На недавнем собрании офицеров в Новочеркасске Чернецов, взяв слово после выступлений Каледина и Богаевского, призвал собравшихся вспомнить о присяге и выступить на защиту Дона.

— Да, я погибну! — горячо говорил он, надеясь достучаться до рассчитывавших отсидеться хороняк. — Но также погибните и вы! Разница между моей и вашей смертью будет в том, что я буду знать, за что я умираю и умру с восторгом, а вы не будете знать, за что умираете и погибните в глухом подвале, с тупым молчанием, как овцы на бойне... И если меня убьют или

повесят «товарищи», я буду знать, за что; но за что они вздернут вас, когда придут?

В перерыве Василий Михайлович предложил офицерам записываться в его отряд или составить самостоятельный отряд партизан. Однако большая часть слушателей осталась глуха к этому призыву: из присутствовавших 800 офицеров записались сразу... лишь 27.

— Всех вас я согнул бы в бараний рог, и первое, что сделал бы, — лишил содержания. Позор! — вспылил Чернецов, но все же приступил к организации своего отряда.

Николаша рассчитывал увидеть в стенах училища очередь добровольцев, спешащих стать на защиту Родины и Дона. Но очереди не было. Молодой офицер записывал в отряд немногочисленных охотников, большую часть которых составляла учащаяся молодежь.

— Николай Васильевич Федоров! — Николаша молодцевато щелкнул каблуком. — Прошу записать меня в партизанский отряд.

Офицер смерил его сочувственным взглядом:

— Тебе, хлопчик, небось, и десяти лет еще не исполнилось? Ступай-ка ты домой к тятке с мамкой, нам только детворы здесь не хватало...

Николаша покраснел до кончиков ушей. Конечно, будучи самым маленьким в своем классе, имея рост 4 фута и 6 дюймов, он давно привык к замечаниям и шуточкам на этот счет. Но из уст офицера подозрение в том, что ему, 16-летнему юноше, не исполнилось и 10 лет, прозвучало особенно обидно.

— Три дня назад мне исполнилось шестнадцать, господин поручик! — воскликнул он.

— Ой ли? — усомнился офицер.

— Даю вам слово чести! Хотите, поцелую крест? Запишите меня в отряд, я хочу сражаться за Дон и

Россию! Разве рост помеха для того, чтобы быть хорошим солдатом? Наполеон...

Поручик поморщился и поднял руку:

— Довольно-довольно! Наполеон... — он усмехнулся. — Иди уже с Богом. Не могу я тебя записать.

— Что тут происходит? — щегольски одетый есаул с весело поблескивающими, чуть прищуренными лукаво глазами подошел к столу, у которого топтались Николаша и Кока.

— Да, вот, — ответил поручик, поднимаясь и отдавая честь старшему по званию, — явились мальчуганы записываться в отряд. Но куда ж такой малышне в бой? Это ж... избиение младенцев какое-то будет...

Есаул перевел взгляд на юных охотников.

— Сколько вам лет, братцы?

— Шестнадцать! — хором выдохнули мальчики.

— А не врете ли вы?

— Никак нет!

— Гимназисты?

— Так точно, Платовская гимназия!

— Платовцы... — вздохнул есаул. — Что ж мне с вами делать, платовцы?

— Разрешить нам защищать Родину, как Платов! — воскликнул Николаша.

Есаул улыбнулся:

— Запиши их, Сотенный. Когда юноши хотят сражаться за Отечество, негоже останавливать их порыв. Может, глядя на мужество младенцев, возымеют его и мужи...

С этими словами он стремительно ушел, а поручик пожал плечами:

— Записать, так записать... — и совсем тихо добавил. — Армия детей, прости Господи...

Армия детей не имела времени на обучение. Большевики уже рвались в Новочеркасск. Детям наскоро показали, как обращаться с винтовкой, и разослали малыми группами на разные участки обороны.

Николаша и Кока в составе 24-х добровольцев — кадетов, юнкеров, реалистов и гимназистов, были направлены в предместье Новочеркасска Хотунок и размещены на ночлег в бараках, откуда накануне были «выбиты» большевистские солдаты. Младших добровольцев поставили в караул, старшие же завалились спать.

Декабрьские ночи — ледяны и непроглядны. Замотав лицо башлыком до самых глаз, Николаша переминался с ноги на ногу, греясь у костра.

— Шшш! — вдруг вскинулся Кока, поднеся палец к губам. — Слышишь?..

Николаша прислушался: какой-то странный шорох доносился из-за расположенных неподалеку кустарников.

— Ветер, наверное... — неуверенно предположил он, зябко поеживаясь.

— А, может, и не ветер, — Кока снял с плеча винтовку, тревожно вглядываясь в темноту.

Теперь уже оба они вслушивались в ночную тишину, уже предугадывая появление врага. Шорох становился ближе. И Николаше показалось, что он различает даже дыхание надвигающегося противника.

— А ну, стой! Нас голыми руками не возьмешь! — вдруг заорал срывающимся голосом Кока и выстрелил в воздух.

Барак тотчас ожил. Из него, на ходу заряжая винтовки, выскочили заспанные добровольцы, шало озираясь по сторонам в поисках большевиков.

— Что стряслось?!

— Там кто-то есть! — указал Кока на заросли кустарника.

— Да, — подтвердил Николаша. — Там кто-то ходит, мы слышали.

Утер-офицер Ковальский, старший из добровольцев, нахмурился:

— Сейчас поглядим, кто там ходит. За мной, хлопцы!

Цепью, с винтовками наперевес, ринулись охотники на невидимого врага.

— А ну, язвить твою в душу! — грозно крикнул Ковальский. — Кто бы там ни был, выходи, не то будем стрелять!

Враг по-видимому был немногочислен, и угроза бравого унтера напугала его. Сучья затрещали. Добровольцы замерли, готовые во всякий миг вступить в бой с неприятелем. Наконец, из темноты показалась голова... Увенчанная рогами. Ночную тишину огласило удивленно-испуганное мычание.

— Язвить твою в душу! — выругался Ковальский, опуская винтовку. — Ну, вы и растепели... Корову за большевиков приняли!

Николаша с Кокой покраснели, а остальные охотники дружно расхохотались. Засмеялся и унтер, а следом и сами паникеры. Всем было радостно от того, что тревога оказалась ложной.

— А что бы и не принять, — пошутил кто-то. — Большевики они тоже рогатые, черти!

— Вот, мы им рога-то и пообломаем!

— Айда спать, хлопцы! — махнул рукой Ковальский. — А вы, — насмешливо обратился он к караульным, — сторожите дальше. Да смотрите не примите в другой раз за большевиков какого-нибудь зайца!

Снова последовал дружный смех, и через четверть часа весь барак уже вновь погрузился в крепкий молодецкий сон.

Наутро в Хатунок прибыл сам Чернецов. В нем Николаша с радостью узнал того самого есаула, который приказал принять их с Кокой в отряд. Василий Михайлович был истинный молодец. Среднего роста, ладно сложенный, в сером полушубке и серой сбитой набок папахе, со стеклом в руке, он лучился бодростью и добродушной веселостью, несмотря на всю тягость положения. Обходя шеренгу выстроившихся добровольцев, он запросто шутил с ними, давал какие-то наставления.

— Немного нас, друзья, — сказал есаул, завершив смотр. — Но ничего! У нас все впереди! Нас ждут славные дела, это я вам обещаю! А пока прошу вас всех запомнить, высечь на сердцах ваших следующие заповеди нашей дружины. С оружием в руках мы боремся с тем шкурным, анархическим и разбойничьим большевизмом, который попирает всякое право и грозит погубить Россию. Мы не признаем насилия. На нашем боевом знамени написано: за Родину, свободу, право и культуру. Мы взяли за оружие, чтобы отстоять эти лозунги от напора темных сил. Всякий, кому дороги Родина, ее культура и счастье и личная безопасность ее граждан, кто желает свободного развития свободных народов России, — становится в наши ряды. Кому дороги права человека и гражданина, кто хочет свободы личности, совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов и равноправия — идут под наше знамя. Итак, за Родину, честь и свободу, друзья!

— Ура! — дружно ответили добровольцы своему командиру.

В тот же день Николаша стал свидетелем телеграфных переговоров Чернецова с неведомым большевистским вожаком, не пожелавшим представиться.

— Я предлагаю вам мирные переговоры. Каковы ваши условия? До имени моего вам нет дела, —

передавали из красного штаба.

Василий Михайлович усмехнулся и, пощипав ус, сделал знак телеграфисту сообщить товарищам свой ответ:

— Думаю, что переговоры эти все равно ни к чему не поведут. Впрочем, если вам так хочется узнать мои условия, товарищ таинственный главковерх, то вот они: все ваши доблестные революционные войска должны немедленно сложить оружие и выслать таковое в распоряжение моих войск. Вы же и местные ваши комиссары явитесь ко мне в качестве заложников. Это будет для начала, а там дальше посмотрим. Официальные переговоры кончены. Позвольте мне, старому вояке, сказать на прощанье несколько частных слов вам, неведомый главковерх, стыдящийся своего имени. Я, конечно, не сомневаюсь в вашем блестящем знании и опытности в боевом деле, приобретенных вами, по всей вероятности, в бытность вашу чистильщиком сапог где-нибудь на улицах Ростова или Харькова. Все же мне почему-то кажется, что вас вскоре постигнет участь друга вашего Коняева. То же самое получат и все присные ваши — Бронштейн, Нахамкесы и прочие правители советской державы. Напоследок позвольте у вас спросить: все ли вы продали или еще что осталось? Ну, до скорого свидания, ждите нас в гости.

Все войско доблестного есаула насчитывало лишь 800 шашек, да и то весьма условных, ибо гимназисты и реалисты едва умели владеть оружием. И все же этот герой, прозванный кем-то донским Иваном-Царевичем, творил чудеса, наводя ужас на большевиков.

Мечась по всему фронту, Чернецовцы разогнали совет в Александровске-Грушевске, усмирили Макеевский рудничный район, захватили станцию Дебальцево, разбив несколько эшелонов красногвардейцев и захватив всех комиссаров.

Гипнотическое влияние оказывал Василий Михайлович не только на своих подчиненных, боготворивших его, но и на врагов, не смевших противоречить ему, оказавшись с ним лицом к лицу. Так, на митинге в «Макеевской Советской Республике» шахтеры решили арестовать Чернецова. Враждебная толпа с угрозами и бранью тесным кольцом окружила его автомобиль. Но Василий Михайлович невозмутимо вынул часы и заявил: «Через десять минут здесь будет моя сотня. Задерживать меня не советую...» И рудокопы отступили. Многие из них были искренно убеждены, что Чернецов со своей сотней, если захочет, загонит в Азовское море население всех рудников... Схоже разворачивались события и в Дебальцево. Поезд Чернецова был остановлен красными. Выйдя из вагона, есаул встретился лицом к лицу с членом военно-революционного комитета. Солдатская шинель, барашковая шапка, за спиной винтовка — штыком вниз.

— Есаул Чернецов?

— Да, а ты кто?

— Я — член военно-революционного комитета, прошу на меня не тыкать.

— Солдат?

— Да.

— Руки по швам! Смирно, когда говоришь с есаулом!

Член военно-революционного комитета вытянул руки по швам и испуганно смотрел на Василия Михайловича. Два его спутника — понурые серые фигуры — потянулись назад, подальше от внушавшего им языческий трепет офицера...

— Ты задержал мой поезд? — продолжал допрос Чернецов.

— Я...

— Чтобы через четверть часа поезд пошел дальше!

— Слушаюсь!

Не через четверть часа, а через пять минут поезд отошел от станции.

Когда смерть все же настигла донского Ивана-Царевича Николаши не было с ним рядом. В неравном бою под станицей Глубокой отряд его был разбит, а сам есаул и еще 40 партизан попали в плен. Когда уцелевшие добровольцы предприняли атаку на красных, и с пленными остался лишь небольшой конвой, на горизонте показалось три всадника — казаки предателя Голубова. Заметив их, Чернецов, желая сбить с толку красных, крикнул: «Ура, это наши!» Окровавленные партизаны подхватили этот возглас с отчаянной верой смертников, и красные испугались и стали разбегаться. Воспользовавшись сумятицей, партизаны кинулись врассыпную с криками «Ура, генерал Чернецов!» Сам Василий Михайлович, раненый в ногу, завладел одной из лошадей и смог добраться до родной станицы. Но и там нашлись иуды, которые выдали героя на расправу большевикам. Совершил ту расправу Подтелков, изрубивший своего безоружного и раненого пленника...

Эта горчайшая весть, бывшая по сути приговором донскому правительству, лишившегося своего меча, застала Николашу в Ростове, куда его отряд был отправлен для защиты города.

— Не вздумайте сунуться в город, покуда не получите приказа, — мрачно предупредил начальник станции с потемневшим от усталости лицом. — Эпидемия у нас...

— Что? — удивленно вскинул свои «домиком» брови Кока. — Какая-токая эпидемия?

— Режут вашего брата... — отозвался начальник, и лицо его подернулось нервной гримасой. — Офицеров, юнкеров. Не дай Бог в одиночку забрести в какой-нибудь квартал на окраине. Живым не придешь. Да что

там живым! Целым и то не вернешься, только по кусочку... Сволочь красная, совсем озверели!

Замутилось от этих слов на и без того сумрачной душе.

— За что они так ненавидят нас? — спросил Николаша, лежа на верхней полке теплушки и прислушиваясь к протяжным напевам зурны, тоскующей о далекой родине в губах корнета Джапаридзе. Чем-то он напоминал юного Багратиона, этот смуглый, носатый офицер с пышно вьющейся черной шевелюрой.

— Ведь они такие же русские, — продолжал рассуждать Федоров. — Крещеные...

— Не все русские и не все крещеные, — хмыкнул Ковальский. — Их совдепом, небось не только Голубов с Подтелковым, черт бы их подрал, заправляют, но и товарищи Зиссерман с Френкелем.

— Так-то оно так, — подал голос Кока. — Только, пожалуй, банды, которые режут теперь офицеров и юнкеров в Ростове, не из френкелей с зиссерманами состоят.

Николаша вспомнил хулиганов, избивавших его в Новочеркасске. Небось, и они теперь — режут. Лиха беда начало... И они точно не френкели. Своя чернь, свое дно. Но русские же? Крещеные же? Ладно, грабежи, разбой — обуял голытьбу дух наживы и живодерства. Но убивать, истязать? Зачем? Откуда такое исступление?

— А читали ли вы, господа, Достоевского? — Ковальский свешивает с полки длинные ноги и ожидает ответа.

Достоевский! Кое-что читали, конечно, кое-как... «Белые ночи», например... Унтер усмехается. Он Федора Михайловича успел куда подробнее проштудировать.

— У него в «Преступлении и наказании» пророчество есть. О трихинах! Которые будут

проникать в человеческие души, питать их ненавистью и заставлять людей убивать друг друга. Господин начальник станции не ошибся, назвав происходящее эпидемией. Это и есть эпидемия! Худшая, страшнейшая, чем чума. Только смертельный вирус поражает не тело, а души.

— В народе ваших трихин бесами зовут, — заметил Кока.

— Пожалуй. Массовая эпидемия беснования.

— Но откуда она взялась? Откуда?! — допытывался Николаша.

— От бронштейнов с нахамкесами, — хмыкнул Ковальский.

— И все равно я не понимаю. Хорошо, пусть эпидемия. Но мы ведь не становимся зверями!

— А, может быть, Федоров, у нас все только впереди? — прищурился унтер. — Вы так в себе уверены, что ни при каком условии не сможете сделаться зверем?..

Николаша ничего не ответил. Можно ненавидеть врага, но ненавидеть людей лишь за то, что они принадлежат к той или иной социальной группе — как это возможно? И ведь не каких-то богатеев режут бесноватые — это хоть как-то можно было бы понять. Но офицеров и юнкеров, большую часть которых составляют даже не дворяне, а уж тем более не богатеи... Офицеры живут на свое жалование, а оно куда как скромно...

Через три дня плач зурны вдруг оборвался на полувсхлипе, а посреди теплушки возник белый, как полотно, Кока с лицом опрокинутым, потрясенным. Губы и руки его тряслись, и он не сразу смог объяснить бросившимся к нему товарищам, что произошло.

Но объяснять и не нужно было. Скоро жуткое зрелище предстало очам всех Чернецовцев. На дрезине, пришедшей в Ростов из Батайска, разбойного гнезда

красных пролетариев и дезертиров, лежало пять обнаженных трупов. У несчастных были выколоты глаза, изрезаны в лохмотья уши, носы, половые органы. Убитым было... 9-11 лет. Это были ученики пригготовительного класса кадетского корпуса, попавшие в лапы извергам. До чего же должна была раскалиться ненависть, если столь лютой расправе подвергали невинных детей?!

И вспомнился Николаше пытливый вопрос Ковальского: «А так ли вы уверены, что ни при каком условии не сможете сделаться зверем?» Глядя на изуродованные детские тела, он чувствовал, что готов растерзать их убийц, предать их самой мучительной казни, какая только может быть, хотя ни одна казнь не превзойдет совершенного ими злодейства! Затем юноша подумал о любимом брате Петруше, о сестре и родителях. А если с ними?.. Над ними?.. От этой мысли кровь бросилась в голову. А над ухом прозвучал подрагивающий голос Ковальского:

— Ну что, господин гимназист, теперь вы уже не так в себе уверены, правда? Для этих выродков не может быть пощады. Их нужно уничтожать! И нужно было уничтожать много раньше! Уничтожать, а не уговаривать! — голос его сорвался, и он пошел прочь, со злостью теребя рукоятку своей шашки.

— Он прав, — проронил бледный Кока. — Этого нельзя прощать! Никогда...

Таким было общее мнение, и наутро последовала ожидаемая всеми команда:

— На Батайск!

Отряд поступал в распоряжение генерала Маркова.

Путь на Батайск лежал через Дон, но мост находился в руках красных. Полупьяные толпы подходили к нему, изрыгая грязные ругательства, и открывали беспорядочную стрельбу. Недостатка в патронах у них не было. Чернецовцы же и марковцы

принуждены были патроны беречь и стрелять только наверняка.

В Батайске стояла десятитысячная группировка красных, и горстка добровольцев была против них все что Давид перед грозным Голиафом. Однако, где было взять такую пращу, которая поразила бы чудовище?

— Наверное, мы все погибнем здесь, — сказал Кока, вжавшись маленьким телом в январский снег и ожидая мишени, чтобы ударить наверняка.

— Наверное, — хмыкнул Николаша. — Околеем на таком холоде и помрем, как в степи глухой ямщик.

— Самое главное не попасться в плен, — продолжал его приятель. — Если меня ранят, обещай мне, Федоров, что добьешь меня, не оставишь!

— Ты совсем ошалел? — рассердился Николаша. — Поди ты к черту! Я обещаю, что вынесу тебя, а об остальном забудь! Нам с тобой еще гимназию окончить надо, последний класс остался! Я обещал моим книгам вернуться, и, черт возьми, Апрышкин, я за ними вернусь!

С этими словами он метко выстрелил и убил одного из неосторожно оказавшихся в прицеле красных бандитов.

Паровозный гудок возвестил о том, что большевики от беспорядочной пальбы переходят к серьезному наступлению. Бронепоезд подошел к мосту и ударил артиллерией по добровольцам. В тот же миг под его прикрытием красные пошли в атаку. Огонь был такой интенсивности, что ледяной воздух раскалился от снарядов и пуль. Одним из снарядов оторвало голову шедшему вдоль залегшей цепи офицеру. Замер Николаша в немом ужасе, видя, как обезглавленное тело по инерции еще продолжает идти. Взрыв, взметнувший землю совсем рядом, подбросил его, и он на какое-то время лишился сознания. Очнувшись, с трудом поднял голову: убитый офицер уже лежал на

расплавленном кровью снегу. Голова страшно болела, из ушей сочилась кровь. Николаша был контужен и тщетно пытался напрячь затуманенное зрение, чтобы отстреливаться от наступавших орд.

Где-то в стороне промелькнула белая папаха генерала Маркова. А затем раздался залп добровольческой батареи. Снаряды приходилось беречь, как и патроны. Но гений артиллерии Миончинский промахов не давал. Его выстрел пришелся akurat по паровозу красных, и тот взорвался с оглушительным грохотом, разбросав прочь от себя атакующих.

Атакующие были одеты в солдатскую форму, но не были солдатами. Они были дезертирами и бандитами. Трусами. Поэтому, как только фортуна отступилась от них, вся многотысячная толпа бросилась врассыпную.

— Федоров, голубчик, очнись! — Кока изо всех сил теребил Николашу за отвороты отсыревший и ставшей необычайно тяжелой шинели.

— Да не тряси, хуже сделаешь! — раздался рядом голос Ковальского. Рука унтера была наспех перевязана, но он явно не собирался покидать строй. — Тащи его прочь! Его в лазарет надо!

— Держись, дружище, держись! — говорил, задыхаясь, Апрышкин, таща приятеля по снегу. — Вот, клялся ты меня вытаскивать, а приходится мне тебя...

Он был такой же «малец», у него не был сил поднять и понести раненого.

— погоди, я помогу! — в тумане уже невозможно различить лиц, но южный акцент выдает Джапаридзе. Сильные руки подхватывают Николашу и стремительно несут прочь от поля боя, где царит несмолкающий грохот...

Внезапно раздается пронзительный вскрик Коки:

— Князь, миленький, что с вами?!

И в тот же миг Николаша снова ощутил холод снега и адскую боль от удара о землю... В угасающем сознании мелькнула горькая догадка, что бедняга Джапаридзе погиб...

Свет померк, но тьма воцарилась ненадолго. Неожиданно перед взором Федорова предстала родная гимназия. Ярко освещенный зал, оркестр в полной готовности. Маленький Николаша со своим корнетом стоит в первом ряду, рядом — Кока Апрышкин. Оба они, да и все мальчики-оркестранты очень волнуются, ведь сейчас им предстоит играть для самого Государя! Суетится взволнованный не менее своих подопечных капельмейстер, проверяет каждый инструмент, смахивает каждую пылинку, замеченную на мундирчике того или иного воспитанника.

Наконец, раздаются шаги, и в зале появляются учителя, среди которых возвышается фигура всеми любимого преподавателя истории, певца донской старины Митрофана Богаевского. Мальчики с волнением вглядываются в вошедших, не тотчас рассмотрев окруженного педагогами монарха. Но вот он выступает вперед, и по знаку капельмейстера оркестр начинает играть преображенский марш...

Как ни сосредоточен Николаша на своей партии, как ни боится сфальшивить, а неотрывно смотрит на Царя. Тот смотрит на оркестрантов ободрительно-ласково, словно призывая их безмолвно не тушеваться. Они и не тушевались к большому удовольствию капельмейстера и других учителей.

— Молодцы! — говорит Государь, аплодируя. Голос у него неожиданно густой, даже немного сипловатый.

И, вот, счастливый миг, от которого замирает восторженно душа: Император, подойдя к оркестрантам, ласково гладит по головам двух младших исполнителей — корнетистов Федорова и Апрышкина.

Тепло отеческой царской руки — разве можно забыть его?..

Все это было совсем недавно, в дни 300-летнего торжества Династии, за пять лет до ее гибели, о которой в те счастливые и благодатные дни никто не мог и помыслить... Каким изобилием дышал тогда Дон! Какая надежность, какой казавшийся нерушимым порядок был во всем размеренном, как сами донские волны, течении жизни. Как могло случиться, что в считанные годы благословенный край обратился в вертеп злодеев, убийц, отщепенцев? Кто посеял страшные трихины, и почему столько душ оказались плодородной почвой для произрастания страшного урожая ненависти?..

— Якие вам тут охвицеры?! Кубыть не видите, що здесь тилько старый дидко со своею жинкой да больной мальчонок!

Сердитый голос старухи-няни был первым, что услышал Николаша, очнувшись от долгого забвения. Совершенно обессилевший, он лежал на постели в крохотном чулане, а за стеной слышались грубые голоса и топот тяжелых сапог... Как ни затуманена еще была контуженная голова, а догадался Николаша, что лежит он не дома, а на квартире своей старой няни, которая, по-видимому, не побоялась укрыть у себя раненого Чернецовца. А теперь к старухе нагрянули товарищи с обыском, и она, бой-баба, бесстрашно старается выпроводить их.

Но, однако, как же это? Новая догадка раскаленным шаром ударяет в висок. Если большевики пришли с обыском к няне, значит... Новочеркасск в руках красных?! А что же Атаман? Правительство? Генерал Корнилов и его Добровольческая армия? Николаша в отчаянии пошарил под подушкой: пистолета там не было! Даже пулю в лоб в случае худшего не из чего

пустить... А ведь прав был Кока: нельзя к ним в руки живым попадать! Не убьют ведь проклятые, замучают.

Постепенно голоса и шаги затихают, захлопывается входная дверь. Неужто ушли изверги? Уберег Господь?

— Убрались окаянные разбойники, — слышится голос няни, и через миг она появляется на пороге Николашиного чулана. — Мать Пресвятая Богородица! — сплескивает старуха руками. — Да дитяtko-то мое ожило!

На этот возглас прибежали отец и мать. Мать с рыданиями бросилась к сыну, обнимая его, целуя руки. Слезы выступили и на глазах Николаши. Мать любил он беспредельно, и до сих пор оставалась она единственной женщиной, которой писал он признание в любви. То признание, написанное на клочке бумаги крупным детским почерком, он, шестилетний малец, долго прятал в кармане штанов, не решаясь отдать матери. Она, конечно, нашла эту записку, но призналась в этом много позже, как и в том, что хранит ее, как реликвию, в своей шкатулке. Мать плакала, отец с трудом сдерживал слезы.

— Ну, здравствуй, Лазарь Четырехдневный! — приветствовал он сына.

И Николаша с трудом улыбнулся ему. Няня тем временем принесла с кухни водянистый кисель, требуя, чтобы ее дитяtko проглотило хоть несколько ложечек. И пока он делал над собой усилие, чтобы побороть дурноту и справиться с этой скромной трапезой, отец рассказывал, что произошло в дни его беспамятства. Застрелился, не перенеся предательства казаков, отказавшихся защищать Дон, Атаман Каледин. Ушел в поход, спасая от неминуемой гибели свою маленькую армию, генерал Корнилов. С ним, с армией ушел и брат Петр... На Дону — в Ростове, в Новочеркасске, везде — заправляли теперь большевики. От всех этих страшных новостей захотелось Николаше снова провалиться в

целительное забвение, но оно, как назло, не возвращалось. И надо же было так не вовремя получить проклятую контузию! Ведь мог бы и он теперь не прятаться в чулане в страхе расправы, а сражаться бок о бок с Петрушей, с уцелевшими Чернецовцами, с генералами Марковым и Корниловым... А вместо этого лежи теперь, как чурбан, не в силах даже подняться!

* * *

Новочеркасск захватила банда Голубова. Завладев казачьей столицей, бывший войсковой старшина явился в зал заседания Войскового Круга.

— Встать! — рявкнул самозванный «революционный атаман».

И казаки встали... Все, кроме принявшего булаву по смерти Каледина Атамана Назарова.

— Встать! — бросился к нему Голубов. — Ты кто такой?!

— Я выборный атаман, — спокойно ответил Назаров. — А вы кто?

— Я революционный атаман товарищ Голубов! — отрекомендовался самозванец и приказал своим подручным: — Взять его!

Атамана схватили и, выведя наружу, приказали стать спиной.

— Солдат встречает смерть не спиной, а лицом, — с достоинством ответил Назаров и, перекрестившись, скомандовал своим убийцам: — Слушай команду: раз, два, три... Пли!

Вместе с Атаманом были расстреляны несколько генералов и более пятиста офицеров. Сбывалось пророчество Чернецова: не пожелавшие погибать за Дон на поле брани, гибли бездарно и жутко,

застигнутые в собственных домах. Город погрузился в пучину террора и грабежей. Ими заправляли каторжник-убийца Медведев и товарищи Френкель с Зиссерманом — руководители местного совдепа. Вскоре был расстрелян Митрофан Богаевский — так отблагодарил его спасенный им совсем недавно Голубов.

Вакханалия расправ продолжалась. Дочиста были разорены и сожжены 40 станиц в окрестностях Новочеркаска. В самом городе избивали «офицерье» и «буржуев». Раненых и больных, застигнутых в госпитале, выбрасывали из окон и добивали. Какую-то старуху остановили на улице и пообещали 50 копеек за душу, если она укажет дома, где скрываются «кадеты».

— А не покажешь, старая карга, так мы тебя вместо них шлепнем!

Бабка с перепугу ткнула пальцем в первый попавшийся дом. Изверги бросились туда, вывели и тут же расстреляли двух ни в чем не повинных людей...

Николаша, уже достаточно поправившийся, узнавал обо всем творящемся от няни. Сам он не выходил на улицу — это было слишком опасно.

Изведав ужас, несомый «народной властью», казаки поднимались на борьбу. Первого апреля в Новочеркасск прорвались казаки станицы Кривянской, но против них тотчас были переброшены красные части из Ростова.

Четвертого апреля Николаша увидел в окно идущий строевым шагом отряд добровольцев, среди которых он узнал своих друзей-партизан: братьев Ждановых, Коку Апрышкина. С волнением распахнув окно, он окликнул их. Ребята тотчас бросились на зов, отбившись от колонны.

— Федоров, ты?! Живой, голубчик! Ну, слава Богу! А мы-то уж тебя похоронили!

— Апрышкин, дружище! И я уже не чаял тебя увидеть! А куда вы идете?

— К кирпичному заводу, — ответил старший Жданов. — Встречать ростовских большевиков.

— Так и я с вами, братцы! — воскликнул Николаша.

— Айда! — одобрили друзья.

Мгновенно натянув куртку и сапоги и чиркнув три слова матери, с которой не было времени проститься, Николаша выпрыгнул в окно и присоединился к колонне добровольцев. Кто-то тотчас протянул ему «свободную» винтовку, и он почувствовал себя в родной среде. Наконец-то кончился его затвор! Наконец-то и он, как брат Петруша, сможет вновь сражаться с ненавистными большевиками!

Весенний воздух ударял в голову, дышалось легко. Бодро шагал отряд к своему рубежу, укрепляя боевой дух походными казачьими песнями, которые Николаша звонко запевал, вспоминая прежние занятия в хоре.

У самого кирпичного завода отряд был встречен кинжальным пулеметным огнем с трех сторон.

— Ложись!

Некоторые уже лежали... Мертвыми... Другие заметались, беспорядочно стреляя и не находя, где укрыться от смертоносного огня. Большевики достигли завода раньше и устроили засаду! Закружился и Николаша, не понимая, что делать.

— Федоров! Бежим! — младший Жданов схватил его за рукав и потянул за собой. Около завода пролегла глубокая балка, и братья, хорошо знавшие это место, прыгнули в нее, увлекая за собой приятеля.

Притаившись в своем укрытии, троица с отчаянием слышала, как наверху красные расправлялись с не успевшими убежать добровольцами. Страдальческие вопли, грязная брань, хрипы...

— Ножом его! На куски!

Дернулся было Николаша, подумав об Апрышкине, но Ждановы удержали:

— Мы ничем не сможем помочь, только погибнем зазря! Уходить надо!

— Куда?!

— К реке!

То просто пригнувшись, то ползя по дну Куричьей балки, трое друзей двинулись прочь от смертельно опасного места. Выбравшись на поверхность, побежали по окраинным улочкам. Эти улочки таили в себе угрозу на каждом шагу, в каждой подворотне, на каждой крыше, за каждой дверью и окном могли оказаться враги. Но Ждановы знали каждый закоулок, и вскоре запыхавшаяся троица достигла речки Тузла.

— Куда теперь? — спросил Николаша, озираясь в поисках переправы.

— Да хоть бы вплавь! — ответил младший Жданов, расстегивая куртку.

— Эй, ребята! — услышался вдруг оклик.

Совсем рядом, у побуревшего камышатника, увидели друзья мальчонку лет десяти, махавшего им рукой.

— Давайте шибче сюда! У меня здесь лодка!

Маленькая рыбацкая лодчонка была укрыта в камышах, и маленький рыбачок проворно вытянул ее.

— Забирайтесь шибче! — сказал он подбежавшим друзьям. — Я уже пятерых ваших на тот берег переправил. Что, побили вас?

— Побили, да... Но ничего! Вот, вернемся — сами их бить будем!

Лодка, покачиваясь, отчалила от берега. Николаша с удивлением смотрел на худенького, светловолосого хлопчика. И откуда только взялся он такой? Рабочие окраины пылали ненавистью к «кадетам»! А этот мальчуган спасал их от расправы, рискуя собой. Совсем один, никого из взрослых рядом... Словно ангел небесный! Может, это ангел и есть?

— Ну, вот, и приплыли! — ткнулась лодчонка носом в песчаный берег. Рыбачок улыбался, довольный собой. — Живы будьте, братцы!

— И ты будь жив! До самой смерти тебе, малец, обязаны! Спаси тебя Христос!

Николаше почудилось, что их спаситель сейчас растворится в воздухе, как и полагается ангелу. Но он снова сел на весла и, помахав рукой, погреб назад, к многострадальному Новочеркасску.

— Куда теперь?

Вопрос был решающий. Солнце уже начинало склонять усталую голову на запад, а вокруг верст на десять простирались болота. И что всего хуже, невозможно было предугадать, где теперь большевики, а где свои казаки.

— Пойдем на Заплавскую, — махнул рукой старший Жданов. — Авось свезет, найдем там наших!

Везение, столь нелюбезное к добровольцам поутру, к ночи решило явить им щедрую милость. В станице Заплавской порядком уставшие и продрогшие друзья нашли не просто своих, но целый штаб во главе с полковником Денисовым и войсковым старшиной Поляковым. Именно сюда, как оказалось, стекались казаки из окрестных станиц и самого Новочеркаска. Несмотря на то, что на дворе стояла уже глубокая ночь, на станичном майдане, в свете костров и факелов, шел чрезвычайный сход. Казаки решали, что делать в создавшемся положении.

А что, собственно, можно было делать? Одно лишь: срочно собирать силы для отпора большевикам, срочно объединяться и освобождать свою столицу, свою землю от бесчинствующих и алчущих крови захватчиков. Так и постановили. А, постановив, стали претворять в жизнь. В первом же не замедлившем последовать бою с атаковавшими казачью «цитадель» красными, благодаря умелым действиям Денисова и Полякова,

удалось захватить артиллерию, автомобили, лошадей и множество пленных. Однако, скоропалительно переходить в наступление, не ведая расположения красных частей, маленькая армия не решалась.

Братья Ждановы расположились на постой у своей знакомой, поселился с ними и Николаша. О собственном пропитании добровольцы принуждены были заботиться самостоятельно, и удачливую троицу выручала рыбная ловля. По вечерам, раздевшись донага, Николаша лез в ледяную воду и ставил бредень, к утру наполнявшийся уловом. Ждановы ждали его на берегу с теплым одеялом, которым сразу растирали друга, чтобы он не простудился.

Занимаясь рыболовством, Николаша с грустью вспоминал счастливые дни своего детства. В июле 1914 года, в самый канун войны, вместе с братом приехали они рыбачить в заповедную часть Дона. Рыбы там водилось такое множество, что во время нереста стаи ее могли перевернуть лодку. Так как братья были еще малы, то смотритель поручил их попечению проводника — знатного рыболова и мастера по приготовлению ухи Василия Кедрова по прозвищу «Папа». Еще не старый, но совершенно седой казак, он опирался при ходьбе на костыль, а на руке его не доставало пальцев. Папу покалечило на Японской войне, и с той поры он подвизался проводником в рыбацком заповеднике. Под его руководством мальчики за полчаса поймали целых 11 сазанов весом по 12–18 футов. Кедров улыбался ребячьему восторгу по случаю улова:

— Жаль, что вас не было во времена моего детства! Вот, тогда действительно рыбы было много! Хотя и теперь хватает.

Хватало не только рыбы. Но и раков, птиц. Стаи гусей и уток взмывали ввысь перед лодкой Папы. Он же, показывая на ту или иную птицу, рассказывал, что это за порода, каковы ее повадки. Папа был замечательным

рассказчиком. Говорил ли он о войне, об охоте или о казачьей старине — все было увлекательно и красочно, и хотелось слушать и слушать его напевную речь.

Лучше кедровских рассказов могла быть только кедровская стряпня. Ее оценил и сам Государь, который был в заповеднике годом раньше.

— Каждому я поднес тогда по миске каши и ухи с целыми рыбами в ней. К великой моей радости Государь попросил добавки, — вспоминал Папа. — Окончивши завтрак, он встал, подошел ко мне, поблагодарил и добавил: «Первый раз в жизни ел я такую прекрасную уху и рыбу!»

Хотя Николаша не вкушал царских яств, но мог бы поклясться, что вкуснее кедровской ухи ничего на свете быть не может. Жарким июльским днем, сидя на берегу у костерка, на котором дымился котелок, уплетали они с братом ту уху за обе щеки, а Папа лишь добродушно посмеивался, глядя на них. Слопав не одну порцию этого несравненного кушанья, они беззаботно валялись затем на траве, а их проводник сидел рядом и рассказывал, рассказывал... Показал, между прочим, и золотую медаль в честь 300-летия Дома Романовых, которую прислал ему сам Император.

Кто бы мог подумать, что эта медаль, которой добрейший Папа так дорожил, будет стоить ему жизни. Красные разбойники явились на хутор Кедрова и стали избивать его, калеку, требуя отдать им золото.

— У меня нет золота! — отвечал он.

— Врешь! У тебя есть золотая медаль!

Папе удалось вырваться из лап злодеев. Выскочив из дома, он бросился к реке и уже почти достиг своей лодки, когда большевистская пуля ударила его в спину. Папа упал в воду... Через несколько дней его тело выловили из Дона, но даже отпеть невинно убиенного не могли сразу: большевики расстреляли многих священников. Батюшка все же сыскался в соседнем

хуторе. Когда по отпевании он хотел вложить в руку новопреставленного бумажку с отпускной молитвой, то обнаружил зажатую в изувеченной ладони золотую медаль. Так и не отдал славный казак царского подарка бесам...

Сколько прекрасных людей истребила уже разгулявшаяся на Дону и по всей России нечисть? И сколько еще истребит?..

Заплавская армия росла, и росло беспокойство красных на ее счет. Большевики предприняли атаку на станицу Кривянскую, но были разгромлены. При этом погибли сотня красных бандитов и их командир. Столь же успешно отражена была и новая атака на Заплавскую. После этой победы Денисов и Поляков, видя воодушевление казаков, решили, что настало время освободить Новочеркасск!

Сразу после Пасхи началось наступление. Заплавская армия вошла в Новочеркасск, но навстречу ей тотчас выдвинулись свежие большевистские части. Пробиваясь с боями по улицам родного города, Николаша достиг Троицкой церкви. Сюда братья Ждановы затащили оружие, и полковник Бугураев бил из него по напиравшим красным. От непрерывной стрельбы оружие раскалилось докрасна, и пришлось обкладывать его мокрыми тюфяками.

Метко косил Бугураев цепи противника, наступавшие от Хотунка, но все новые волны красных полчищ продолжали напирать. Положение становилось все более тяжелым. Разгоряченный и раскрасневшийся не менее оружия, Николаша сбросил куртку и уже в одной рубахе, сырой от пота, таскал снаряды. На счастье в прошлых боях довольно удалось захватить их у красных.

— Денисов бросил в бой последний резерв, — с тревогой сообщил младший Жданов. — Только бы не повторился кирпичный завод!

Воспоминание о заводе так и ожгло Николашу. Неужели и впрямь все повторится, и захлебнется наступление? Неужели вся подготовка, все жертвы окажутся напрасными? А в Новочеркасске и окрест вновь продолжится кровавая вакханалия?

Но в это время что-то переменялось в стане красных. Цепи их вдруг смешались, рассыпались. Передовые группы сперва ослабили натиск, а затем стали поспешно отступать.

— Что это там приключилось? — изумился Николаша. Но долго задаваться этим вопросом ему не позволил охрипший крик Бугураева:

— Снаряд, дьяволы! Живее! Снаряд!

Полковник спешил послать вослед отступавшим как можно больше «горячих приветов».

Загадка стремительного бегства большевиков разрешилась сразу по завершении боя. Оказалось, что в тыл красным зашел отряд полковника Дроздовского, что добрался до Дона из Румынии и уже успел освободить Ростов. В помощь Новочеркасску прислал он бронепоезд «Верный», орудия которого и разметали внезапным ударом большевистские части.

Простившись с боевыми соратниками, Николаша поспешил к себе домой, немало тревожась о том, что найдет там. Не то от тревоги, не то от усталости, не то от холода, вдруг сковавшего тело после жаркого боя, его изрядно лихорадило. Но юный партизан не обращал на это внимания. Стремительно шагал он по родным улицам, с каким-то особым чувством совсем новой любви вглядываясь в знакомые здания. Шедшие навстречу люди счастливо улыбались освобождению и благодарно приветствовали добровольца:

— Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе!

Густой колокольный звон плыл над Новочеркасском и в багряных лучах заката сияли победно кресты его

древнего собора.

Наконец, с часто-часто бьющимся сердцем, Николаша подошел к родной калитке. Остановился, перекрестился, перевел дух и решительно толкнул ее. Пронзительный крик был первым приветствием ему. Младшая сестрица, Вера, бывшая в саду, упала в обморок. Николаша бросил винтовку и кинулся к ней:

— Сестричка, что с тобой? Это же я! Очнись!

На крики из дома выбежали мать и отец и почему-то смертельно побледнели. Отец подхватил на руки Веру и понес ее в дом, как-то странно посмотрев на Николашу.

— Мама... — прошептал тот, с детской радостью глядя на мать и едва сдерживая слезы. Господи, как же он скучал по ней! Как тревожился о ней!

Мать заплакала, протянула к нему руки, обняла, покрывая его голову поцелуями. Некоторое время они стояли молча, молча радуясь встрече. Наконец, Николаша осторожно спросил:

— А что, Вера больна? В чем дело?

— Нет... Просто она очень впечатлительная, обморок скоро пройдет, — мать словно бы смутилась, а затем объяснила: — Видишь ли, Коля, отец тебя похоронил...

— Как? — не понял Николаша.

— Твой одноклассник Маханьков видел тебя 4 апреля идущим к кирпичному заводу, но не видел среди убегающих оттуда. Он сообщил нам, что ты, вероятно, убит...

— Вот, дурак! — возмутился юный партизан.

— Отец при первой возможности пошел к заводу и опознал тебя...

— Опознал?!

— Да. Тебя похоронили. И тут вдруг тыходишь в дом... Вот, Вера и испугалась.

— Опознал... — снова пробормотал Николаша. — Но как же...

— Там был мальчик такого же роста, с такими же волосами, как у тебя. И на плече такая же родинка...

— Господи! Да ведь это Кока! — воскликнул Николаша. — Значит, он все-таки не смог убежать... Бедняга!

— Отец сказал, что он, по-видимому, был застрелен в бою. Пуля попала в лицо, поэтому и трудно было опознать... — мать всхлипнула, промокнула глаза платком. — Это единственное, что нас утешало: что тебя не терзали, не мучили... — она вновь заплакала, и воскресший доброволец крепче прижал ее к груди.

На крыльце появился взволнованный отец.

— Вере уже лучше, — известил, спускаясь. Когда же мать отступила, давая место ему, крепко обнял сына: — Христос Воскресе, Николенька!

— Воистину Воскресе, папа!

— Знать долгий век тебе сужден, сынок, коли второй раз Бог тебя нам с того света возвращает! Эх, теперь бы Петрушу нам еще дождаться!

В окне второго этажа показалось все еще испуганное, бледное личико сестры. Николаша заметил ее и радостно помахал ей рукой:

— Христос Воскресе, сестрица!

— Воистину Воскресе! — неслышно отозвались губы.

Николай Васильевич Федоров прожил удивительно долгий век — 102 года. Он эвакуировался из России с армией барона Врангеля, некоторое время играл в болгарском военном оркестре и участвовал в разгроме пытавшихся захватить власть в Болгарии коммунистов. После этого Николай Васильевич переехал в США, где уже находился его брат. Здесь Федоров выучил английский язык и окончил университет. Со временем он стал одним из ведущих ученых-гидравликов мира.

Заслуженный профессор, почетный член Британской королевской ассоциации прогресса науки, почетный пожизненный член Американского общества гражданских инженеров, почетный член Нью-Йоркской академии наук, кавалер ордена Академических пальм от Французской Академии Наук и французского Военного креста (за заслуги во время 2-й мировой войны) — таков далеко неполный перечень регалий Николая Васильевича. При этом он никогда не забывал оставленную Родину и вел активную работу в Русском Зарубежье. Будучи избран Атаманом Всевеликого Войска Донского Зарубежом, он много способствовал возрождению казачьих традиций в постсоветской России, в частности, много помогал Донскому Императора Александра III казачьему кадетскому корпусу. В возрасте 96 лет Федоров посетил Россию, побывал в родных краях, проведя ряд рабочих встреч. До последних дней Николай Васильевич продолжал работать. О своей удивительной жизни он оставил воспоминания «От берегов Дона до берегов Гудзона». Все свои средства старейший русский доброволец потратил на благотворительность, сам же ушел из жизни в пансионате для престарелых.

Ангел Ольга (Ольга Михайловна Врангель)

Страшно начинался год 1918-й... Не успели отпраздновать Рождество, как уж на другую ночь Ялту захватили большевики. Уже в полдень было объявлено, что отныне единственной властью в городе является местный совет, а под вечер прибывшие из Севастополя матросы принялись за повальные обыски. Похолодело сердце Ольги, когда раздались грубые крики на Нижне-Массандровской, а через несколько минут удары кулаков и прикладов обрушились на ворота дачи семьи Иваненко.

— Ваше высокопревосходительство, там матросы! — сообщил перепуганный дворецкий. — Требуют впустить их для производства обыска. Мандатом тычут... И кабы только мандатом! Так ведь еще пулеметами и штыками!

— Ты прав, Федор, — спокойно отозвался Петр, лишь недавно вернувшийся с фронта, полностью деморализованного большевистской пропагандой, — пулемет более увесистый аргумент, чем мандат... Впусти их, иначе они выломают ворота.

Через несколько мгновений в дом вошли шестеро разбойников, обвешанных, точно рождественские елки, гирляндами пулеметных лент и гранатами.

— Оружие есть? — рявкнул один из них.

— Ищите, — пожал плечами Петр. — Если найдете, ваше.

Оружие они с ольгиным братом, Мишелем, еще поутру надежно спрятали в подвале и на чердаке. Не быть же глупцами, чтобы сдавать его, как велено, самозванным советам! Пожалуй, куда как пригодится еще...

— Петруша, а не сыграть ли нам в пикет? — обратился Петр к старшему сыну, невозмутимо располагаясь за карточным столиком.

Семилетний мальчик, старавшийся держаться так же спокойно, как отец, на коего был он удивительно похож, присоединился к нему и принял поданные карты. Вокруг «революционный народ» уже переворачивал мебель...

— Ишь ты, контра! Погоди! Еще всех вас на штыки подыдем!

Петр пропустил эту угрозу мимо ушей, делая вид, что занят игрой. Прозрачные глаза его, однако же, смотрели вовсе не в карты, но пристально следили за погромщиками, дабы они, пользуясь своим мандатом, не украли что-нибудь... Зная вспыльчивый характер мужа, Ольга боялась, что наглые выпады матросов спровоцируют его на неосторожное слово, и тогда все может закончиться бедой. Она хорошо помнила, как совсем недавно, когда озверевшие молодчики еще в разгар «бескровной» революции избивали и убивали офицеров лишь за наличие погон, ее муж проехал с фронта до революционного Петрограда, не снимая оных. Более того, несколько дней ходил в них по улицам революционной столицы. Когда же в поезде какой-то дезертир посмел оскорбить даму, Петруша попросту схватил его могучими руками за шиворот и вышвырнул прочь из вагона... В этом было столько силы и неколебимой решимости, что никто из приятелей вышвырнутого негодяя не посмел за него заступиться и напасть на генерала.

Однако, на сей раз Петр сумел сохранить совершенное самообладание, и молодчики ушли ни с чем.

На третий день Ялта была разбужена орудийной стрельбой. Два прибывших из Севастополя миноносца обстреливали город, который с другой стороны

пытались отбить спустившиеся с гор крымские драгуны. Несколько осколков снарядов попали в сад, а следом за ними в саду вновь появились незваные гости. На сей раз было их уже пятнадцать человек — матросов и штатских. Они бесцеремонно выставляли караульные посты у входа в усадьбу.

Петруша вместе с братом Мишей вышел на балкон, крикнул своим зычным командным голосом:

— Кто здесь старший?

Вперед вышел сбитый, коренастый матрос в бескозырке набекрень.

— Ну, я старший!

— В таком случае заявляю вам, что я генерал, а это, — Петр кивнул на Михаила, — тоже офицер — ротмистр. Знайте, что мы не скрываемся!

— Это хорошо, — сказал матрос, судя по всему, не отличавшийся особой кровожадностью. — Заявляю и я вам, что мы никого не трогаем, кроме тех, кто воюет с нами.

— Это точно! — подал голос его товарищ. — Мы только с татарами воюем. Матушка Екатерина еще Крым к России присоединила, а они теперь, вишь, отлагаться удумали!

— Матушка Екатерина... — покачал головой Петруша, возвращаясь в дом. — Извольте-ка полюбоваться на этого сознательного интернационалиста! Несчастные люди, сведенные с ума мерзавцами...

— Они ничем не отличаются от тех бедолаг-солдат, что на Сенатской площади ратовали за Константина и жену его Конституцию, — вздохнул Мишель, закуривая.

— В смысле сознательности несомненно. Но в жестокости они успели много превзойти своих предшественников.

— Просто предшественников поставили на место в тот же день. А нынешним бузотерам позволили пьянеть

от крови месяцами. Если бы эта вакханалия была остановлена сразу, сколько жизней и душ было бы спасено! А теперь... — брат махнул рукой. — Уходить надо, Петя. В горы к татарам или к черту на кулички — все едино. Иначе, помяни мое слово, выведут нас с тобой «в расход» без церемоний.

— Вероятно, ты прав, — согласился Петр. — Прoberемся на Украину, а там видно будет...

Этому намерению, однако, не суждено было исполниться. Уже на следующее утро разбойная ватага явилась вновь и на сей раз ворвалась прямо в дом.

— Где хозяин? — грозно спросил старший у побелевшего, как мел, дворецкого.

Старик указал дрожащей рукой в сторону спальни хозяина, и шестеро вооруженных до зубов молодчиков без стука вошли в нее. Петр, страдавший сердечными спазмами от недолеченной контузии, еще лежал в постели. Двое матросов подбежали к нему с винтовками:

— Ни с места! Вы арестованы!

— Могу я осведомиться, что происходит? — невозмутимо спросил Петр.

Маленький прыщавый матрос, старший в этой шайке, наставил на него револьвер:

— Одевайтесь, генерал!

— Уберите ваших людей, вы видите, что я безоружен и бежать не собираюсь. Сейчас я оденусь и готов идти с вами.

— Хорошо, — кивнул матрос, — только торопитесь, нам некогда ждать.

Перепуганные слуги жались по углам, многие плакали. В саду арестантов ожидали еще десять негодяев, а с ними — так и бросило Ольгу в жар от гнева — бывший помощник садовника ее матери! Этот пьяница и хам однажды оскорбил Ольгу, и Петруша, услышав это, ударил его тростью и выгнал взашей.

Теперь торжествующий мерзавец тыкал в него пальцем, крича:

— Вот, товарищи, этот самый генерал возился с татарами, я свидетельствую, что он контрреволюционер, враг народа!

— Да побойся Бога! — воскликнул проживавший по соседству грек, человек правдивый и сердечный. — Они ни в чем не виноваты, и в бою не участвовали!

— Там разберутся! — коротко ответил один из матросов, отстраняя непрошеного адвоката.

Перед глазами Ольги все плыло. Вот, из ворот вывели Петрушу и Мишеля. Столпившиеся зеваки приветствовали их улюлюканьем и бранью... Некоторые, впрочем, сочувствовали. Когда арестантов подвели к автомобилю, Ольга бросилась следом и, вцепившись в дверцу, попыталась также сесть в салон, но матросы преградили ей путь штыками.

— Пустите меня! — крикнула Ольга с рыданиями. — Я хочу быть арестованной вместе со своим мужем!

— Вот, будет приказ, тогда и арестуем! А сейчас отойдите!

— Я никуда не уйду!

— Олесинька, прошу тебя, останься, — взволнованно сказал Петруша. — Подумай о детях!

— Нет! — отчаянно замотала головой Ольга. — Я никуда тебя не пущу, я поеду с тобой!

— Черт с ней, пусть едет! — махнул рукой прыщавый командир разбойничьей ватаги. — Ей же хуже...

Штыки раздвинулись, и через мгновение Ольга уже уткнулась заплаканным лицом в плечо мужа.

«Вместе в печали и в радости, пока смерть не разлучит», — эти слова были для нее не ритуальной формулой, но законом всей ее жизни с самой первой встречи с Петром...

Ольга Михайловна Иваненко, внучка знаменитого издателя и публициста Каткова и дочь камергера Двора Его Величества, она ввиду знатного происхождения получила шифр фрейлины и была близка с Государыней Императрицей Александрой Федоровной. Государыня всегда с большой заботой относилась к своим дамам, хлопотала об устройении их судьбы. И ее материнское сердце огорчало, что красавица и умница Ольга долго не выходит замуж, отвергая предложения претендентов. Ольга и в самом деле не спешила с замужеством. Она изучала медицину, поступила на курсы медицинских сестер и мечтала стать врачом. Мечта эта сбылась. Она сделалась второй в России женщиной-врачом после княжны Гедройц, будущей руководительницы Царскосельского госпиталя.

Но одновременно явилось то, что навсегда затмило мечту...

Синеватые, прозрачные глаза, аквамарин, осколочки льда, вдруг начинающие плавиться и сиять... Таких глаз нет ни у кого больше. И не было. И не будет. Они могут метать молнии, а могут — наперекор льдистости своей! — обогреть такой лаской, что невозможно вместить сердцу. И это удивительное лицо, тонкое, благородное. Рыцарское лицо, словно из средневекового альбома. Барон Петр Николаевич Врангель... Вся родня его — именитые герои многочисленных войн, а также прославленный мореплавателю... Дядя, семипалатинский прокурор — ближайший друг Достоевского. Даже с Пушкиным он в дальнем родстве, хотя, глядя не него, едва верится в это. Сам же он — пока всего лишь поручик. Но зато герой Русско-японской войны, о которой опубликовал он прелюбопытные записки, а также... горный инженер. Военная карьера Петруши в самом начале ее едва не оборвалась. Молодой и горячий гвардеец после знатного кутежа изрубил саблех любимые деревца

своего командира, представив их врагами. Пришлось осваивать мирную профессию. И в этом отличник военных дисциплин преуспел не меньше. С отличием окончив Горный институт, он некоторое время работал в Сибири, но грянувшая война возвратила его в строй.

Отличником оказался инженер-гвардеец и в танцах. На памятном балу, который познакомил их, Ольга танцевала лишь с ним, чувствуя себя невесомой в его сильных руках. А он, высокий, тонкий, гибкий, легко кружил ее по залу, словно гипнотизируя льдинками невозможных глаз...

Ольга была покорена однажды и навсегда. Вскоре она стала баронессой Врангель. Первые годы брака были нелегкими. Молодой офицер не тотчас отстал от гвардейских привычек, нередко предпочитая веселую пирушку с друзьями домашнему уюту. Но Ольга была терпелива и знала, как добиться своего. Самая худшая стратегия — это пытаться командовать мужчиной. Тем более таким, который привык быть лидером сам. Большая женская нечуткость — пытаться решать возникающие трудности скандалами и обидами. Это лишь отдалит мужчину, утомит его, разрушит доверие. А помимо любви, доверие, уважение, взаимные интерес — основа брака. Любовь, оставшись в одиночестве, может погибнуть, но, имея таких союзников, будет крепче стали. Ольга стала методично приучать мужа к дому. В какое бы время не возвратился он, она всегда ждала его. И не с вопросами и укорами, но неизменно — приветливая и радостная, нарядная и с ужином наготове. Этот заботливо создаваемый уют, это любовное внимание, наконец, перевесили «гвардейские замашки», и Петруша обратился в образцового мужа и отца.

В Четырнадцатом сомнений у Ольги не было. Хотя на руках у нее было уже трое детей, и младшей, Наташе, едва исполнился годик, она была свято

убеждена: ее место рядом с мужем. На фронте. Не зря же училась она врачебному искусству! Пора и вспомнить свою первую мечту, свое первое призвание, соединив его с призванием главным.

Три года длились фронтовые будни Ольги. Чреда походных лазаретов, передвижные летучки, операции под грохот идущих совсем близко боев, нескончаемый поток раненых... «Ангел Ольга» — так прозвали ее они. Слава Богу, Петруша во все время войны избежал ранений. Даже в смертоносной Каушенской битве в первые дни войны, когда полегла в атаке на немецкие позиции славная русская конница, он оказался одним из немногих уцелевших. Хотя прошел слух, будто бы ротмистр Врангель убит, но на самом деле убит был лишь конь под ним, а сам он, прорвавшись на вражеские позиции, оседлал немецкую пушку и рубил наседавших на него солдат противника! И ведь — победил! Взята была батарея непреступная! И из всех офицеров первый в той войне орден святого Георгия именно Петруша за свой подвиг получил!

Конечно, в эти годы они не всегда были вместе. Отнюдь не всегда... Но каким же великим счастьем были встречи! В самый канун революции судьба свела их в Кишеневе. Это было что-то вроде привала на обочине войны... Балы в губернаторском доме... И уже не юный поручик, но молодой генерал с прежней легкостью отплясывал гавоты, кадрили и вальсы со своей сменившей монашеский наряд милосердной сестры на подобающее случаю платье красавицей-женой. А кроме того, по старой памяти, брал на себя иногда обязанности капельмейстера. Всегда тонко чувствующий музыку, Петруша замечательно дирижировал оркестром. Взметались вверх крупные, артистические руки с длинными пальцами и подчиняли себе, своей энергии музыкантов. В те дни казалось, что до победы осталось несколько шагов...

Но грянула революция, не стало Царя, и бездарные самоуверенные временщики в считанные месяцы умудрились обрушить в хаос великую еще вчера Россию. Разложившаяся и утратившая всякие ориентиры армия бежала, наводняя страну бандами дезертиров. В этих условиях Ольге пришлось оставить фронт и отправиться в Ялту, где жила вместе с внуками ее мать. Вскоре к ней присоединился и Петр.

И, вот, теперь «новая власть» пыталось отнять его у нее! Могла ли она допустить это? Она три года следовала за мужем по всем фронтам. Последовала и теперь. В тюрьму, на плаху — все равно, лишь бы вместе. И, укрепленная в этой мысли, Ольга осушила слезы и крепко сжала руку Петра.

Автомобили быстро домчались до мола, где гудела огромная толпа. На пристани лежали в луже крови несколько растерзанных тел... Завидев новых арестантов, озверевшие убийцы взревели:

— Вот они, кровопийцы! Золотопогонники! Что там разговаривать, в воду их!

Похолодело сердце Ольги. Она уже внутренне смирилась с самой печальной участью, с расстрелом, но такая чудовищная расправа!.. Скользнули глаза по бледным от бессильного гнева лицам мужа и брата: Господи Всемогуший, защити!

Матросы вскинули винтовки, предостерегая толпу от самосуда, арестантов быстро возвели по сходням на миноносец и проводили в каюту, куда следом вошел какой-то растерянный человек в офицерской форме без погон, оказавшийся капитаном этого судна.

Ольга немедленно бросилась к нему:

— Скажите, что с нами будет?! Мой муж и мой брат, они ни в чем не виноваты! Их оклеветал один из наших бывших слуг из мести!

Капитан смущенно мялся и отводил глаза.

— Вам нечего бояться, если вы невиновны, — бормотал он. — Сейчас ваше дело разберут и, вероятно, отпустят...

При этих словах дверь распахнулась, и ватага матросов огласила каюту своим звериным ревом:

— Подавай сюда контру! Утопим и дело с концом! Нечего тянуть!

— Товарищи! — широко раскинул руки капитан, словно заслоняя ими арестантов. — Их дело должен рассмотреть наш революционный суд!

— Какой там еще суд генералам! На штыки и в море!

В этот миг Ольге показалось, что первым поднимут на штыки, как совсем недавно несчастного Духонина, этого капитана, никакого не командира, а заложника своих матросов. На его и узников счастье их сторону взяли несколько «братишек», еще не вовсе потерявших человеческое обличье.

— Цыц, братва! Здесь наша власть, советская! И суд наш, революционный! Иль не так? Вы что же, нашему же суду не доверяете? Своим товарищам, которых мы сами выбрали?!

— Доверяем!..

— Тогда обождем, когда они свой вердикт скажут! А тогда и на штыки, коли так решат!

Когда озверевшая банда бывших матросов ушла, Петр взял жену за плечи и заговорил, неотрывно глядя ей в глаза:

— Олесинька, родная моя, послушай меня, пожалуйста! Здесь ты помочь мне не можешь, а там ты сможешь найти свидетелей и привести их, чтобы удостоверили мое неучастие в борьбе! Никто, кроме тебя, не сможет этого сделать, а это единственное, что может нас спасти! Умоляю тебя, сделай это ради нас! Ради меня!

Он умел убеждать, умел говорить так, что невозможно было противиться его воле... Слезы снова потекли по щекам Ольги:

— Хорошо, я сделаю, как ты скажешь...

Петруша быстро снял с руки часы-браслет, которые она подарила ему еще невестой и которые с той поры он никогда не снимал:

— Возьми это с собой, спрячь! Ты знаешь, как я ими дорожу, а здесь их могут отобрать.

Ольга взяла часы, молча обвила шею мужа и, поцеловав в последний раз, вышла. Едва помня себя, плохо видя из-за застилающих глаза слез, она поднялась на палубу и в ужасе остановилась. Из подъехавшего к миноносцу автомобиля беснующаяся толпа вытащила какого-то полковника. Дикий бранный рев, плевки, беспорядочные удары, и, вот, поверженная жертва исчезла в клокочущем море палачей... Прошли секунды, море расступилось и обнажило зрелище еще более кошмарное: кровавое месиво и разбросанные части изрубленного в куски, растерзанного тела...

Ольга не лишилась чувств, но точно оледенела. С трудом переставляя ноги, она вернулась в каюту. Петр с тревогой вскочил ей навстречу:

— Что с тобой, родная? Почему ты вернулась? На тебе нет лица...

Ольга протянула ему часы и несколько мгновений молча всматривалась в дорогое лицо. Неужели с ним будет то же... Неужели... Да ведь он знает это! Он понял все раньше нее! Для того и отослал прочь, чтобы не на ее глазах...

— Я поняла, все кончено, — тихо прошептал Ольга, — я остаюсь с тобой!

Крупная рука мужа легла на склоненную голову, теплые губы коснулись лба. Он ничего не ответил, лишь крепко-крепко прижал к себе, приняв ее решение-жертву.

Ближе к вечеру в каюту явилось несколько матросов и какой-то лохматый молодой человек в пенсне.

— Врангель Петр Николаевич, признаете ли вы себя виновным? — спросил он, приняв театральную позу и высоко вскинув голову с острым, гладко выбритым подбородком.

— В чем? — приподнял бровь Петр.

— А за что вы арестованы? — наивно полюбопытствовал юнец-комиссар.

— Это я должен был бы спросить вас, но думаю, что и вы этого не знаете, — усмехнулся Петр. — О настоящей же причине я могу только догадываться. Помощник нашего садовника позволил себе низким образом оскорбить мою жену, будучи пьян. Я ударил наглеца, и он отомстил мне ложным доносом. Я не знаю, есть ли у вас жена, но думаю, что если есть, то вы ее также в обиду бы не дали.

Жены у комиссара, по-видимому, не было. Поэтому, записав показания, он распорядился лишь, чтобы заключенных перевели к остальным арестантам, в здание таможни, где разместилась новая тюрьма. По счастью толпа, не то пресытившись невинной кровью, не то замерзнув под ледяным дождем, разошлась, и переход в новые «апартаменты» прошел без происшествий. В огромном зале бывшей таможни с выбитыми стеклами и заплыванном полом собралось самое разнообразное общество: генералы и гимназисты, татары и офицеры, интеллигенты и сущие оборванцы... Снаружи пленников сторожили матросы и солдаты, чья неумолчная матерщина заглушала негромкие разговоры и вздохи узников.

— Когда они поведут нас на расстрел, — тихо сказал Петр Михаилу, — мы не будем вести себя как бараны, которых гонят на убой. Постараемся отнять винтовку у одного из них и будем отстреливаться, пока не погибнем сами. По крайней мере, умрем сражаясь!

Мишель согласно кивнул. А Ольга подумала, что, если бы все находившиеся в зале офицеры и мужчины, способные носить оружие, поступили бы таким же образом, то еще неизвестно, кто бы взял верх. По крайней мере, это и впрямь был бы бой, а не жуткая гибель от рук обратившихся в бесов людей.

Утром допрашивать арестантов явился «революционный трибунал» в лице ночного лохматого юноши, комиссара с гоголевским именем «Вакула» и сопровождавших их матросов. «Трибунал» переходил от одного арестанта к другому, производя допросы.

— Это тот самый генерал, о котором я вам говорил, — шепнул юноша Вакуле, когда тот приблизился к Петру и Ольге.

— За что арестованы? — спросил «председатель трибунала».

— Вероятно за то, что я русский генерал, другой вины за собой не знаю, — пожал плечами Петр.

— Отчего же вы не в форме, небось раньше гордились погонями, — усмехнулся Вакула и повернулся к Ольге. — А вы за что арестованы?

— Я не арестована, я добровольно пришла сюда с мужем, — ответила она.

— Вот как? — удивился комиссар. — Зачем же вы пришли сюда?

— Я счастливо прожила с ним всю жизнь и хочу разделить его участь до конца.

Вакула подбоченился, обвел присутствующих многозначительным взглядом. Видимо, театральщина была в крови этого сорта людей. Словно бы они перешли на революционные посты с подмостков скверных провинциальных театров. После истинно театральной паузы и с таким же эффектом комиссар объявил:

— Не у всех такие жены — вы вашей жене обязаны жизнью, ступайте! — картинный жест протянутой руки

указал на дверь...

* * *

...Их рубили на ставших скользкими и красными от крови палубах... Сбрасывали с привязанным к ногам грузам с волноломов... Пришедшие в Ялту немцы нашли у ее берегов целый лес трупов. Такова была участь многих арестованных в жуткие январские дни, кошмарными снами время от времени настигавшие Ольгу. Вот, и этой ночью привиделись растерзанные тела на ялтинском молу, заплеванной зал таможни, комиссар Вакула, оказавшийся любовником матушкиной прачки... Милая, славная мама! Это она тогда, не страшась никого и ничего, привела делегацию соседей и прислуги в защиту зятя и сына, а в приватной беседе с «председателем ревтрибунала» употребила главный довод: прачка Маня больше не пустит его на порог, если он не освободит ее добрейших хозяев. Довод оказался убедительным, а Маня — не четой пьянице-доносчику, но барыне своей душою верной. Этот-то комиссарский «лямур» и решил исход дела. Чудо и только! Перекрестилась Ольга. Всякий день теперь за чудо это Бога благодарить... Но содрогается, обливается кровью сердце от мысли, что в это самое время ялтинская бойня повторяется вновь, но в масштабах куда более страшных, по всему Крыму идут расправы над теми, кто остался на родной земле, не решившись уйти на чужбину. Господи всемогущий, защити их!..

Чувствуя, что сон уже не вернется, она вышла из каюты, глубоко вдохнула прохладный ночной воздух. Море было на редкость покойно после недавнего шторма, его посеребренная светом месяца гладь лишь едва колебалась ленивыми волнами. В этот час, среди

водной бескрайности, чудилось, будто время — закончилось, уступив место вечности... Но это лишь мираж. Через считанные часы на смену ночи явится день, пробудятся спящие вповалку на палубе измученные люди, а корабль причалит к чужим берегам... И иллюзия вечности рассеется под жестоким напором пугающе уплотнившегося, беспощадного времени. Но в этом времени вновь соединится Ольга с тем, с кем поклялась быть, «пока смерть не разлучит».

За мужем она следовала от Ялты до Кубани... Получив под свое начало дивизию, Петруша совсем скоро призвал на фронт и ее:

«Здесь все болеют всякой дрянью — тифом, инфлюэнцей, малярией и т. д. Сегодня у меня поднялся сильный жар, кашель и озноб, а затем пот. Операция затягивается до бесконечности — сюда прибыла вся 3-я дивизия Дроздовского, атаковала, но безрезультатно и понесла большие потери. Наша санитарная летучка, импровизированная, без всяких средств, закрывается и в дивизию назначена форменная, земская. Все это вместе заставляет меня предложить Тебе, Киська, приехать ко мне — сперва частным человеком, а там — увидим. Не говори, пожалуйста, никому, что я болею — это лишние разговоры. Захвати, если приедешь, градусник, антипирин и т. д. — всякую дрянью, здесь даже и термометра нет. Киська! Не думай, что я сильно болею и от того Тебя выписываю, но очень тоскливо без Тебя».

Само собой, Ольга тотчас примчалась на этот зов — лечить мужа, организовывать походный лазарет, выхаживать раненых... Возвратились фронтовые будни: снова ее санитарная летучка возникала на самых опасных участках фронта, спасая драгоценные жизни. Это служение страждущим, сердечность в обращении с людьми, открытость им стяжали ей всеобщее уважение. Когда после освобождения Северного Кавказа

перебрались всей семьей в станицу Константиновскую, Ольга сделалась почетной гражданкой оной наряду с мужем.

В одну из ночей на лазарет напали красные. Большинство медсестер имели с собой ампулы с ядом, чтобы принять его в случае необходимости и тем самым избежать пыток и насилия. Имела такую ампулу и Ольга, но это крайнее средство на последний миг приберегла. Казаки, бывшие при лазарете, и способные держать оружие раненые приняли бой. Закипела в ночном мраке ожесточенная перестрелка. Между тем, один из раненых поскакал в располагавшийся неподалеку штаб...

Уже совсем-совсем рядом раздавались выстрелы, когда что-то мгновенно переменилось. Разом ослаб натиск красного отряда, и куда-то в сторону сместилась пальба...

— Наши! — раздались радостные крики.

Закрестились сестры и тяжелые раненые:

— Спасены, слава Тебе, Господи!

Ударила красным во фланг подоспевшая белая конница, срочно примчавшаяся на выручку. И тут уж стрельбой дело не ограничилось, быстро до рубки дошло. Получаса не прошло, как разглядела Ольга мчащегося прямо на нее из темноты всадника. Высокую фигуру мужа в казачьей папахе и бурке она узнала сразу.

— Петруша, как же ты вовремя! — радостно простерла к нему руки Ольга, едва лишь он осадил коня, останавливаясь перед ней.

— Вовремя? — лицо Петра подергивалось от едва сдерживаемого гнева. Покосившись на подъехавших следом казаков, он перешел на французский, не желая, чтобы сторонние поняли семейный разговор. — Ты считаешь, что это «вовремя»? Еще каких-нибудь десять минут, и ты была бы мертва!

— Вот, тогда было бы не вовремя... — резонно откликнулась Ольга, также переходя на французский.

Муж с досадой сжал хлыст:

— Вот что, моя дорогая, я не намерен ждать, когда случится это «не вовремя», и наши дети останутся сиротами! У меня и без того довольно дел, чтобы еще постоянно волноваться о том, не грозит ли опасность моей жене! Я чуть с ума не сошел, когда примчавшийся казак сообщил, что красные напали на лазарет!

— Петруша, но ведь ты сам поручил лазарет моим заботам!

— Это была моя ошибка!

— Но все же обошлось!

Петр отшвырнул хлыст в сторону:

— Нет! Не обошлось! Теперь работа налажена и будет продолжаться без твоих забот!

В ночной темноте, в степи, среди разгоряченных боем казаков, бросающих на своего генерала и его жену любопытствующие взгляды, этот эмоциональный французский диалог был так комичен, что Ольга не удержалась и звонко рассмеялась, чуть прикрывая ладонью рот. Петр вспыхнул и, помянув французского черта, пришпорил коня так, что тот встал на дыбы, и ускакал прочь...

Из лазарета все же пришлось уйти, дабы не испытывать терпение мужа. Вскоре, однако, уже ему самому понадобилась сестра милосердия... Тиф нещадно выкашивал как ряды армии, так и мирное население. Эпидемия развивалась с чудовищной скоростью. Станции были сплошь забиты составами, переполненными умершими и умирающими, лежавшими вперемешку без врачебной помощи, так как врачи заболели также, а иные бежали. Не обошла стороной болезнь и Петра... На пятнадцатый день врачи отчаялись спасти его и признали положение безнадежным. Но когда священник пришел исповедать

и причастить умирающего, тот неожиданно пришел в себя и в полном сознании приобщился Святых Тайн. Спустя два дня кризис миновал... Долгие недели болезни, в которые Ольга безотлучно находилась при муже, показали, какой любовью и уважением пользовался он решительно во всех слоях населения. Врачи и различные поставщики отказались от вознаграждения за свои услуги. Неизвестные присылали вино и фрукты, справлялись о его здоровье. Ряд освобожденных им станиц избрали его почетным казаком, а Кубанская Чрезвычайная краевая рада наградила учрежденным недавно крестом Спасения Кубани 1-й степени...

Еще не оправившись, Петр возвратился на фронт, дабы открыть армии путь к Волге. Битва на Маныче, подобная величайшим сражениям прошлого, продолжалась несколько дней. Генерал Улагай наголову разгромил кавалерийский корпус красного командира Думенко. Полки белых несли тяжелые потери. Был момент, когда возникла угроза отступления на одном из направлений, и тогда Петр отдал приказ своему конвою на месте расстреливать дезертиров и паникеров. Командующий Кавказской армии неделями ночевал в степи, положив под голову седло и укрывшись буркой... С железной решимостью вел он свои войска на штурм, лично объезжая полки и подавая пример мужества и воли к победе, и уверенности в ней. Так была освобождена Великокняжеская, а следом — Царицын...

День 19 июля ярко вставал в памяти Ольги. Еще шли бои на окраинах города, еще доносились залпы орудий, но движимые робкой надеждой на освобождение от красного ига, жертвами которого стали 12000 невинных, люди уже стекались отовсюду на главную площадь, к собору, где шла благодарственная служба. Ослепительно сияло солнце, словно приветствуя

победителя. Когда же явился он сам, подтянутый, энергичный, сосредоточенный, площадь буквально взорвалась восторженными криками. Освобожденные люди приветствовали своего героя. А он возвышался над ними, стоя на лестнице собора, и не то молился, не то размышлял о чем-то. Он не упивался своим триумфом, слишком тяжело и дорого дался этот триумф армии, и слишком много предстояло дел впереди. И все же еще более обычного высохшее после болезни и тягот последних сражений лицо, почти прозрачное и потемневшее от загара, светилось, и сияли аквамариновые льдинки-глаза...

— Вам тоже не спится, Ольга Михайловна? — к стоявшей у борта Ольге приблизилась генеральша Шатилова.

— Да... Мне, знаете ли, только теперь отчего-то припомнился Царицын. Помните?..

Софья Федоровна грустно улыбнулась. Эта добрейшая женщина, не имея детей, питала великую привязанность к кошкам. И в освобожденном Царицыне принялась она спасать бедных животных, натерпевшихся голода не меньше, чем люди, обратив свой дом в настоящий кошачий приют.

— Помилуй Бог, зачем вам все эти кошки?! — возмутился убежденный собачей Петруша, зайдя как-то на квартиру своего начальника штаба. — Давайте я лучше подарю вам одну хорошую собаку!

«Угрозу» он сдержал. И на другой день к ужасу кошек генеральши Шатиловой бравый адъютант доставил ей подарок — огромного красавца-пса.

Улыбнулась и Ольга, вспомнив этот курьез и пса, встречавшего ее залиvistым лаем, и перепуганных кошек, вынужденных привыкать к косматому соседу...

— Неужели мы никогда больше не увидим Царицына?.. И Севастополя?.. И... — вырвался у Софьи

Федоровны вопрос, терзавший сердца всех пассажиров белой эскадры.

Ольга не ответила. Когда она покидала родные берега год назад, сомнений в возвращении у нее не было. Тогда армия еще продолжала сражаться, а Петр вынужден был покинуть ее из-за конфликта с генералом Деникиным, чья стратегия неуклонно приближала конец Белого дела. Эта стратегия, превращавшая Царицынский триумф в Пиррову победу вызывала у Петруши глухое отчаяние.

— Бездарность, уверенная в своей непогрешимости, и на этот раз свела на нет сразу весь успех доблестнейших войск... — сокрушался он. — Больно и бесконечно жаль невинных жертв неспособности и бездарности....

Эти настроения разделяли многие в армии. В итоге главнокомандующий обвинил «соперника» в интригах против себя и потребовал, чтобы он покинул Россию...

Тогда же покинул Родину и Павел Шатилов, ближайший друг Петра еще со времен Японской войны.

Прошло совсем немного времени, и армия была практически разгромлена. После катастрофы Новороссийска, где из-за хаоса и неспособности организовать эвакуацию была брошена на расправу масса людей, Деникин вынужден был оставить пост Главнокомандующего и пригласить изгнанника на военный совет, который должен был избрать нового вождя. Умиравшая армия уже в агонии призвала своего героя в последней отчаянной надежде, что он сможет сотворить чудо и спасти безнадежно загубленное дело...

Приглашение на военный совет в Константинополь доставили англичане и, вручая оное адресату, предупредили, что их правительство отказывает в поддержке Белой армии, показав соответствующую ноту...

— Благодарю вас, — сказал на это Петр. — Если у меня могли быть еще сомнения, то после того, как я узнал содержание этой ноты, у меня их более быть не может. Армия в безвыходном положении. Если выбор моих старых соратников падет на меня, я не имею права от него уклониться.

— Ты с ума сошел! — воскликнул Шатилов, вскакивая с кресла, в котором дотоле сидел молча, с видом самым сумрачным. — Ты знаешь, что дальнейшая борьба невозможна! Армия или погибнет, или вынуждена будет капитулировать, и ты покроешь себя позором. Ведь у тебя ничего, кроме незапятнанного имени не осталось! Ехать теперь — безумие!

Петруша помолчал, а затем спокойно ответил, положив руку на плечо другу:

— Я не тешу себя пустыми иллюзиями, Паша. Дело наше безнадежно, но, если кончать его, то уж хотя бы без позора! Нужно попытаться остановить это позорище, это безобразие, которое происходит теперь! Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью... И спасти, наконец, то, что можно... Тех, кого можно. Словом, нужно прекратить кабак! Выиграть время, навести порядок. И если это удастся, попытаться сделать жизнь возможной хотя бы в Крыму... Показать остальной России... вот у вас там коммунизм, то есть голод и чрезвычайка, а здесь идет земельная реформа, вводится волостное земство, заводится порядок и возможная свобода... И если слава пойдет, что вот в Крыму можно жить, тогда можно будет двигаться вперед... Только не так, как мы шли при Деникине, а медленно, закрепляя за собой захваченное... Чтобы отнятые у большевиков губернии были источником нашей силы, а не слабости, как было раньше... Втягивать их надо в борьбу по существу, чтобы они тоже боролись, чтобы им было за что бороться! Чтобы они знали, за что они борются.

Все это Петр говорил, расхаживая по комнате, уже мысленно перенесясь в Крым, уже претворяя в жизнь свой план. Весь он при этом дышал неукротимой энергией и решимостью.

Шатилов развел руками, усмехнулся:

— И эту утопию ты называешь «не тешить себя иллюзиями»?

— Пусть утопия, но, по крайней мере, мы восстановим честь национального знамени и, как говорят господа марковцы, умрем красиво. Одним словом, вопрос этот решенный — я отправляюсь с первым же судном!

— Ты хотел сказать, мы отправляемся?

— Но зачем же тебе, Паша, принимать участие в безумии? — прищурился Петр лукаво.

— Ну... хотя бы из чувства долга. Ты считаешь долгом быть с армией, а я — быть с тобой.

— Я тоже считаю долгом быть с тобой! — вмешалась Ольга, все это время даже не пытавшаяся отговорить мужа от безумного решения, зная точно, что он не изменит его. — Я еду с тобой!

— Нет, Олесинька, — покачал головой Петр, — на этот раз нет. Рисковать тобой, самым дорогим, что осталось у меня, я не могу. И не настаивай, пожалуйста! Представь лишь, какой огромный вал работы обрушится на меня там. Неужели ты думаешь, что мне будет легче, если к нему добавится еще тревога за тебя? Я хочу быть уверен, что с тобой все хорошо, что ты в безопасности, это будет лучшей твоей помощью мне!

Она смирилась. Осталась. Даже несмотря на недобрый знак: с первым же судном Петр не смог добраться до Севастополя. От нервного напряжения обострилась старая контузия, вызвавшая сердечный приступ. Пришлось возвращаться, лечиться и лишь после вновь отправляться в путь.

Софье Федоровне повезло больше. Ей муж не запрещал следовать за собой, и она разделила с Белым Крымом последние месяцы его бытия. Месяцы, в которые Петруша почти смог воплотить свою «иллюзию» и отчаянную веру армии в чудо. Он и сотворил чудо, отбросив большевиков, реорганизовав почти разгромленное воинство, проведя ряд реформ в гражданской сфере и обеспечив ими порядок и достаток жителям белого анклава. Если советская Россия голодала, то Крым мог даже экспортировать зерно. Если в советской России царил грабеж и беззаконие, то в Крыму господствовал закон, а всякие грабежи прекратились под страхом смертной казни. Мужики говорили, что только врангелевцы не грабят их. Даже рабочие признали белую власть и в дальнейшем много помогли эвакуации. Но мог ли клочок земли выдержать натиск громадной машины?..

Участь Крыма была предрешена. Оставалось уйти с честью. Эвакуация готовилась с первых дней. Когда же красные перешли в наступление, и стало ясно, что уходить придется в самом скором времени, Павел Николаевич предложил жене немедленно вернуться в Константинополь. Софья Федоровна отказалась. На ее попечении находились в ту пору все склады белья и продовольствия для госпиталей. Кроме того, надо было эвакуировать из приюта в Севастополе детей на стоящие на рейде суда. Между тем, подмога уже спешила к генеральше Шатиловой...

Едва узнав об эвакуации, Ольга с первым пароходом отправилась в Севастополь. В этот роковой час она не могла оставаться вдали от мужа. Не могла не делить с ним его заботы. И... в случае трагедии не могла остаться без него. Так и всколыхнулись перед глазами жуткие видения Ялты! Как и без малого три года назад, готова была повторить она: «Я люблю моего мужа, я

прожила с ним всю жизнь и хочу разделить его участь!»
С тем и ехала — разделять участь...

— Ты не должна была приезжать!

— Я не должна была оставлять тебя!

— Ты сумасшедшая...

— Я твоя жена...

— А муж и жена... — бледное от гнева лицо смягчается ласковой иронией, плавится ледяная сталь глаз...

— Мы сумасшедшие оба. Я не могла запретить тебе ехать сюда и исполнить свой долг, но и ты не можешь запретить мне исполнить свой.

После нескольких месяцев разлуки и нескончаемых тревог что за счастье великое было вновь любимое лицо видеть и поцелуями покрывать, вновь прикинуть к груди, вновь — пусть на считанные минуты, пусть в дни горчайшие и погибельные — рядом быть!

Все эти дни был Петр сплошным потоком энергии, животворящим все вокруг. Он не знал отдыха. Он был везде. Трудности и опасности лишь придавали ему сил, если только не скован он был по рукам и ногам чужими бездарными решениями, но нес всю полноту ответственности сам. Ответственность — крест слабодушных и счастье сильных... Придавало сил и уверенное чувство собственной правды и исполненного долга. Он поклялся спасти армию от бесчестия, и его армия уходила не побежденной, не разгромленной, уходила в боевом порядке на заранее подготовленные для отступления позиции — корабли... Недаром говорят, что полководец проверяется именно отступлением, способностью организовать его, избежав хаоса.

— Я отплываю на крейсере «Корнилов», вас взять с собой не смогу. Со мной поедет лишь дочь генерала Корнилова. За вами же прислал катер адмирал Дюмениль, вы отправитесь на его корабле! — это были последние слова мужа, которые слышала Ольга на родном берегу. С того момента она не видела его.

Главнокомандующий на катере до последнего мига лично инспектировал все порты, проверяя все ли желающие смогли погрузиться. Он дал слово, что не покинет Крыма, пока последний желающий не ступит на борт спасительного судна. И конечно сдержал его, дождавшись, пока погрузятся последние казаки, а на горизонте замаячат первые красные разъезды...

Впрочем, и Ольга не многим отстала от мужа. После краткого сообщения Петра, тотчас ушедшего, она с горячностью сказала генеральше Шатиловой:

— Мы не можем уехать так просто... Идемте скорее в храм! Помолимся в последний раз на родной земле!

В соборе Святого Владимира было в тот час практически пусто. Сжалось горечью сердце при взгляде на могилы четырех славных адмиралов — их-то, пусть и упокоившихся давно, оставляли теперь во власти врага!.. Скорбный батюшка благословил нежданных прихожанок и с готовностью согласился отслужить напутственный молебен. По щекам Софьи Федоровны текли слезы. Не могла их сдержать и Ольга. Обе женщины опустили на колени, молясь каждая о своем и об одном, для всех уходящих общем...

Когда молебен уже завершался, в собор вбежал запыхавшийся адъютант Главнокомандующего. Увидев молящихся дам, он с видимым облегчением вздохнул и объявил:

— Его превосходительство приказал, чтобы я немедленно проводил вас к катеру адмирала Дюмениля и проследил, чтобы вы погрузились!

— Мы уже идем!

При этих словах какая-то невыносимая тяжесть легла на сердце. Все кончено. Пусть с честью, пусть красиво, но кончено. Кончено!.. И какое отчаяние охватывает душу от этой мысли! Столько жертв, столько трудов и надежд... И что станет теперь с Россией? С Севастополем? И с теми, кто уходит теперь?

Последний поклон. Последние лобзание родной земле — плитам священного собора. Последние благословение едва сдерживающего слезы священника... Господи, благослови!

И, вот, уже уносил катер двух генеральш прочь от родных берегов, и на чужестранном судне приветствовал их галантный французский адмирал...

— Я, пожалуй, вернусь в каюту, меня что-то знобит, — подернув плечами, сказала Софья Федоровна. — Да и вам бы отдохнуть, впереди тяжелый день.

— Впереди — очень много тяжелых дней, — отозвалась Ольга. — Но мы все выдержим, не правда ли? Мы, как всегда, исполним свой долг столь же достойно, как наши мужья...

Софья Федоровна молча кивнула и, пожав подруге руки, удалилась. Ольга вновь осталась одна. Вглядываясь в ночную тьму, пыталась различить она очертания «Корнилова». Она была уверена, что Петруша также не спит теперь, занятый бесконечными трудами, и пыталась представить его, угадать, чем именно он занят.

Совсем скоро взойдет солнце, а на горизонте покажутся увенчанные полумесяцами минареты. Константинополь! Чужбина! Многотысячная армия изгнанников, за судьбу которой отвечает один человек — ее муж, генерал Врангель. Какая неподъемная простому смертному кладь! Но Петруша — не простой смертный, он вынесет. А она поможет ему в этом, разделит ношу. И всегда-всегда, что бы ни было, будет рядом. Пока смерть не разлучит...

В эмиграции баронесса Ольга Михайловна Врангель стала вернейшей сподвижницей мужа, посвятив себя

заботе о беженцах. В Константинополе, всюду, где звучала русская речь, можно было услышать: «Вы не видели Ольгу Михайловну?..», «Ольга Михайловна поможет...», «Ольга Михайловна напишет... скажет... достанет... придет... сделает...». И она делала: писала, хлопотала, помогала, никогда не отказывая, всегда доброжелательно, быстро и без суеты... По воспоминаниям современников, никто не мог с таким искренним участием поговорить с простым казаком, солдатом, офицером, ставшим инвалидом, с безутешными матерями и вдовами, как это делала она. Ее сердце было распахнуто детям, и они отвечали ей взаимностью.

Уже перебравшись в Сербию, Ольга Михайловна решила организовать санаторий для больных туберкулезом. Находясь проездом в Париже, она получила приглашение поехать в США для сбора необходимых средств. Мужу была послана срочная телеграмма с просьбой разрешить поездку. Спустя несколько часов пришел ответ: «Ты сошла с ума. Желаю удачи и счастливого пути! Петр».

Перед американской публикой она выступала дольше полутра часов — это было первое ее публичное выступление. Люди аплодировали ей стоя. Собранных денег хватило на организацию целых двух здравниц — в Болгарии и Сербии. В дальнейшем Ольга Михайловна собирала средства и на обучение русских студентов. Америку она изъездила вдоль и поперек.

При такой огромной общественной работе и трудном финансовом положении собственной семьи (чтобы содержать ее главнокомандующий Русской Армии вынужден был вспомнить свою старую профессию и устроиться на работу простым инженером) эта удивительная женщина родила в эмиграции четвертого ребенка, сына Алексея.

«Я прожила с ним всю жизнь и хочу разделить его участь...» — говорила Ольга Врангель в 1918 г. Судьба распорядилась иначе, судив ей пережить мужа на целых сорок лет. Прирожденный вождь, полководец, администратор, политик, человек ясновидящей интуиции, генерал барон Петр Николаевич Врангель был слишком опасным противником для советской власти. В 1928 г. он был отравлен агентами ОГПУ. Ольга Михайловна скончалась в 1968 г., в США, где проживала со старшей дочерью.

notes

Примечания

1

Название сел в старину, сохранившееся в некоторых губерниях вплоть до 20 века.

2

Черное море

3

Императорская ложа

4

Бог огня в славянской мифологии

5

Споры

6

Бродячие торговцы

Убийца Святого князя Глеба, совершивший его по приказу старшего брата Глеба, князя Святополка Окаянного.

8

Полк

9

Башня

10

Крепостные стены

11

Центральная часть города

13

Палатка

14

Портретом

Манзы, богдойцы — китайцы.

Полководцы

17

Греби сильнее!

Жертва шулеров на жаргоне картежников

Слабые игроки на жаргоне картежников

20

Положение карт в колоде, остающееся неизменным после тасования ее шулером

Федот Шубин — выдающийся русский скульптор. Из поморских крестьян. Василий Баженов — русский архитектор, теоретик архитектуры и педагог, зачинатель русской псевдоготики. Федор Рокотов — русский художник, крупнейший мастер портрета. Выходец из крепостных, получил вольную.

Американский политический деятель, изобретатель, писатель, философ, естествоиспытатель. Один из лидеров войны за независимость США. Единственный из отцов-основателей, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа, лежащих в основе образования Соединенных Штатов Америки как независимого государства.

23

Строчка из стихотворения М.В. Ломоносова

Марсельеза, гимн французской революции.

Иудейская героиня. Жена персидского царя Артаксеркса. Добилась от мужа казни его первого вельможи Амана, бывшего врагом иудейского народа, и указа о праве иудеев защищаться и истребить тех, кого они считают своими врагами и кто нападал на них. В силу этого указа иудеи восстали и убили порядка 70 тыс. чел. Аман был повешен вместе с десятью сыновьями. Эта кровавая расправа лежит в основе одного из главных иудейских праздников — Пурима.

Дмитриев Иван Иванович (1760–1837) — поэт, баснописец, министр юстиции (1810–1814), друг В.Л. Пушкина, Н.М. Карамзина, наставник многих московских и петербургских поэтов.

Алексей Федорович Орлов — русский государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант; главноначальствующий III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии и шеф жандармов.

Витус Беринг — российский мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор. По происхождению датчанин. В 1725–1730 и 1733–1741 годах руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями.

Иван Федорович Крузенштерн — русский мореплаватель, адмирал. Происходил из остзейских дворян. Возглавлял в 1803–1806 годах первое русское кругосветное плавание.

Гасфорт, Густав Христианович — военный губернатор областей степных киргизов.

Тотлебен, Эдуард Иванович — инженер-фортификатор, создатель севастопольских укреплений, герой обороны Севастополя.

Имеется ввиду начальник 3-го отделения, шеф российских жандармов граф А.Х. Бенкендорф.

Милютин Дмитрий Алексеевич — русский военный историк и теоретик, военный министр, основной разработчик и проводник военной реформы 1860-х годов. Последний из русских, носивший звание генерал-фельдмаршала.

Фадеев Ростислав Андреевич — русский военный историк, публицист, генерал-майор. Противник военных реформ Д. А. Милютина, сторонник панславизма. В Русско-турецкой войне доброволец, участник национально-освободительной борьбы балканских народов.

Полонский Яков Петрович — русский поэт и прозаик.

Великая Княжна Ольга Александровна

«Кадетами» называли членов Конституционно-демократической партии П.Н. Милюкова.

Сикорский Игорь Иванович — русский авиаконструктор, летчик, ученый, изобретатель, философ, богослов, благотворитель. Создатель первых в мире: четырехмоторного самолета «Русский витязь», тяжелого четырехмоторного бомбардировщика и пассажирского самолета «Илья Муромец», трансатлантического гидроплана, серийного вертолета одновинтовой схемы. После октябрьской революции вынужден был покинуть Россию. Проживал в США. В 1923 году основал авиационную фирму «Sikorsky Aero Engineering Corporation», где занимал должность президента.

Бахирев Михаил Коронатович — российский морской военачальник, флотоводец, один из храбрейших и популярнейших адмиралов Российского флота. Командовал силами русского флота в Моонзундском сражении. С приходом к власти большевиков уволен в отставку без права получения пенсии. Отказался от предложения бежать в Финляндию и осенью 1919 г. был арестован и расстрелян в Петрограде.

Михаил Иванович Сафонов в 1918 г. бежал из красного Петрограда вместе женой и четырьмя боевыми товарищами, угнав свои самолеты, в Финляндию. Служил в финской авиации К.-Г. Маннергейма, сражаясь против финских большевиков. После победы Маннергейма продолжил службу сперва в Добровольческой армии, а затем, по оставлении Белыми Крыма, на Дальнем Востоке. Эмигрировал в Китай. Поступил на службу в армию маньчжурского губернатора Чжан Цолиня, участвовал в китайской гражданской войне и был сбит в бой. Останки самолета и летчика найдены не были.

41

— Стой! Кто ты? (эст.)

42

— Ладно! Правильно! (эст.)

43

Кто ты? (венгр.)